



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

P. Slav 176. 25

*Recd. May, 1889.*



**Harvard College Library**

FROM THE FUND OF

**CHARLES MINOT**

(Class of 1828).

Received *1 April - 30 April, 1889.*











ВЪСТЪЖЪ ЕВРОПЪ

APR 1 1889

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРИИ-ПОЛИТИКИ.

ЛЮБИМЪ.

ДВАДЦАТЬ-ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ.—КНИГА 3.

13 МАРТЬ, 1889.

ПЕТЕРБУРГЪ.

И. ШАХМАТОВЪ

1889/1890

I.—ПОШЕХОИСКАЯ СТАРИНА.—Жизнь и приключенія Индямора Затра- лезваго. — XXX. Сложуденскія дѣла и проч. — XXXI. Заключение. — П. Щедрина . . . . .	5
II.—ДЕВОНТЪ ДЕ-ЛИЛЬ.—Изъ современной французской литературы.—I.—М. Ф.	41
III.—НАРУШЕНІЕ ВОЛИ.—Ив. А. Гончарова . . . . .	71
IV.—МИРАЖИ.—Романъ въ четырехъ книгахъ. — Книга вторая: XXII-XXIX. — О. А. Шаипръ . . . . .	91
V.—ЗАВЫТЫЙ ПОЭТЪ.—А. П. Полежаевъ и его сѣихотворенія.—А. П. Ны- пина . . . . .	153
VI.—НОВЫЙ ФАРАОНЪ.—Романъ въ четырехъ книгахъ, соч. Фр. Шиндльгагена.— Книга третья.—А. Э. . . . .	198
VII.—ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЮБИЛЕЙ.—А. А. Фетъ, Вечерніе огни.—К. К. Арсеньева.	248
VIII.—СТИХОТВОРЕНІЯ.—Они, какъ звѣзды въ мутной мглѣ.—А. М. Жемчужникова.	264
IX.—О ТЕОРИЯХЪ ПРОГРЕССА.—I. Характеристическія черты современной ной социологии.—II. Спенсеръ и г. Михайловскій.—Д. З. Слонич- ескаго . . . . .	265
X.—В. Д. СТОЮНИНЪ.—Биографическій очеркъ.—В. Д. Саповскаго . . . . .	298
XI.—ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РАЗВИТІЯ ИСТОРИЧЕСКИХЪ НАРОДОВЪ. —Д. М. . . . .	331
XII.—ХРОНИКА.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Отчетъ оберъ-прокурора св. си- нода за 1886 г.—Борьба съ католицизмомъ въ западныхъ губерніяхъ и съ лютеранствомъ въ остзейскомъ краѣ. — Расколъ при дѣйствіи закона 3-го мая.—Церковно-приходскія школы и церковно-приходскія попечительства.— «Инословинное» воспитаніи духовно-учебныхъ заведеній.— Вракорауэво- лия дѣла.—Отчетъ департамента неокладныхъ сборовъ за 1887 г.—Личу- щая московская газета . . . . .	363
XIII.—СУДЬБА ЗЕМСКОЙ СТАТИСТИКИ. — В. Б. . . . .	383
XIV.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ. — Новое министерство во Франціи. — Волненія рабочихъ въ Италіи и пудачи министра-президента Криспи. — Положеніе дѣлъ въ Венгріи.—Парламентская борьба въ Румыніи.—Печальный конецъ экспедиціи Ашинова и архам. Палсиа . . . . .	388
XV.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Памяти В. М. Гаршина. Художественно-ли- тературный сборникъ. — Красный цѣтокъ. Литературный сборникъ въ па- мять В. М. Гаршина. — Что читать народу? Критическій указатель книгъ для народнаго и дѣтскаго чтенія.—И. Я. Фойнцкій, Ученіе о палачахъ въ связи съ тюрмоустройствомъ.—П. В. Магалнскій, С.-Петербургская присяж- ная адвокатура.—В. Ф. Мухинъ, Общій порядокъ насажденія въ кре- стьянъ.—К. К.—Дневникъ школьника. Книга для дѣтой Эдмунда де-Ами- чисъ.—Очеркъ литературной исторіи малорусскаго нарѣчія въ XVII и XVIII вв. П. Житецкаго.—А. П. . . . .	403
XVI.—НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.—I. W. Stead, Truth about Rus- sia.—II. The Bismarck dynasty.—III. J. Lubbock, The pleasures of life.— J. C.—Dietzel, Karl Rodbertus. Darstellungen s. Lebens und s. Lehre.— А. П. . . . .	420
XVII.—ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.—В. С. Соловьева . . . . .	431
XVIII.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.— По вопросу: кого Ашиновъ обманулъ больше—Петербургъ или Москву?—Изъ переписки Ашинова съ Н. С. Акса- ковымъ и m-me Adam . . . . .	433
XIX.—ИЗВѢЩЕНІЯ.—I. Отъ Распорядительнаго Комитета по устройству саратовской земской сельско-хозяйственной и вузтарно-промышленной выставки 1889 года. —II. О подписаніи на сооруженіе памятника Н. В. Гоголю . . . . .	438
XX.—БИБЛИОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.—Полное собраніе сочиненій Н. А. Гонча- рова, т. IX. — Приключенія и впечатлѣнія въ Италіи и Египтѣ, Дѣдлова (В. П. Книзь).—Жизнь европейскіхъ народовъ, Е. П. Водозововой, т. I.— Гигіена, А. Доброславина, ч. I.—Эмаль де-Лавело, Балканскій полуостровъ, пер. Н. Е. Васильева.	

117-457

**ВѢСТНИКЪ**  
**Е В Р О П Ы**

---

8.

**ДВАДЦАТЬ-ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ. — ТОМЪ II.**

ГОДЪ ЛШ. — ТОМЪ ООХ. — 1/13 МАРТА, 1889.





# ВѢСТНИКЪ Е В Р О П Ы

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРИИ — ПОЛИТИКИ — ЛИТЕРАТУРЫ

---

СТО-ТРИДЦАТЬ-ШЕСТОЙ ТОМЪ

---

ДВАДЦАТЬ-ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ

---

ТОМЪ II

---

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“: ГАЛЕРНАЯ, 20.

Главная Контора журнала:      Экспедиція журнала:  
на Васильевскомъ Острове, 2-я линія,      на Вас. Остр., Академич. переулокъ,  
№ 7.      № 7.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

---

1889

P Skw 176.25

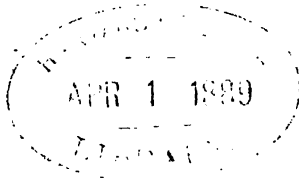
~~131.84~~

Slav 30.2

1000 copies 1 - 1/2 10 50.

Abent - 10.





# ПОШЕХОНСКАЯ СТАРИНА

Жизнь и приключения Никанора Затрапезнаго \*).

## XXX.—Словущенскія дамы и проч.

Я разумѣю здѣсь помѣщицъ-вдовъ, занимавшихся хозяйствомъ самостоятельно.

Ихъ было въ Словущенскомъ двѣ: Степанида Михайловна Слѣпушкина и Марья Марѣвна Золотухина, и обѣ жили черезъ дорогу, другъ противъ друга.

Слѣпушкина была одна изъ самыхъ бѣдныхъ дворянонь нашего захолустья. За ней числилось всего пятнадцать ревизскихъ душъ, все дворовые, и не больше ста десятинъ земли. Жила она въ маленькомъ домикѣ, комнатъ въ шесть, довольно ветхомъ; передъ домомъ былъ разбитъ крошечный палисадникъ, сзади разведенъ довольно большой огородъ, по бокамъ стояли службы, тоже ветхія, въ которыхъ помѣщалось большинство дворовыхъ.

Несмотря на недостатки, она, однакожъ, не запиралась отъ гостей, такъ что, отъ времени до времени, къ ней наѣзжали сосѣди. Угощеніе подавалось такое же, какъ и у всѣхъ, свое, некупленное; только ночлега въ своемъ тѣсномъ помѣщеніи она предложить не могла. Но такъ какъ въ Словущенскомъ существовало около десяти дворянскихъ гнѣздъ, и въ томъ числѣ усадьба самого предводителя, то запоздавшіе гости обыкновенно размѣщались на ночь у сосѣднихъ помѣщиковъ, да встать и слѣдующій день проводили у нихъ же.

Степанида Михайловна рано осиротѣла. Восемнадцати лѣтъ

\*) См. выше: 1887 г., окт., 599; нояб., 192; дек., 639; 1888 г., мар., 5; апр., 461; сент., 5; окт., 438; нояб., 5; дек., 431; 1889 г., янв. 5; февр., 478.

она уже сдѣлалась вполне самостоятельной хозяйкой, и принялась за дѣло съ такимъ умѣньемъ, что всѣ сосѣди дивились ей. При старикахъ (оба, и отецъ и мать, были пьяненькіе) хозяйство пришло въ упадокъ, такъ что надо было совѣмъ новые порядки завести. Съ величайшимъ рвеніемъ погрузилась она въ массу хозяйственныхъ подробностей, и онѣ полюбились ей. Съ утра до вечера, въ лѣтнюю пору, расхаживала она по своимъ владѣніямъ, спрашивала, совѣтовалась, а порой и сама совѣтъ давала. Дворовые полюбили ее. Хоть положеніе ихъ было нелегкое, но барышня обращалась съ ними такъ просто и ласково, была такая веселая и бодрая, что, глядя на нее, и подневольнымъ людямъ становилось веселѣе. И барышня, и дворовые жили вмѣстѣ, въ одной усадебной оградѣ, общеою жизнью. Даже въ пицѣ Степанида Михайловна старалась не отличаться отъ дворовыхъ. Словомъ сказать, ее называли не иначе, какъ веселою барышней, и въ будущемъ, когда ее посѣтилъ тяжелый недугъ, это общеніе сослужило ей великую службу.

За тѣмъ да за сѣмъ (какъ она выражалась) веселая барышня совѣмъ позабыла выйти замужъ, и только достигши тридцати лѣтъ догадалась влюбиться въ канцелярскаго чиновника уѣзднаго суда Слѣпушкина, который былъ моложе ея лѣтъ на шесть и умеръ чахоткой, года полтора спустя послѣ свадьбы, оставивъ жену беременною. Мужа она страстно любила, и все время, куда его точилъ жестокій недугъ, самоотверженно за нимъ ухаживала.

Это былъ кроткій молодой человѣкъ, блѣдный, худой, почти ребенокъ. Поворно переносилъ онъ иго болѣзненнаго существованія и покорно же угасъ на рукахъ жены, на которую смотрѣлъ не столько глазами мужа, сколько глазами благодѣтельствованнаго человѣка. Считая себя какъ бы виновникомъ предстоящаго ей одиночества, онъ грустно вперялъ въ нее свои взоры, словно просилъ прощенія, что встрѣча съ нимъ не дала ей никакихъ радостей, а только внесла бесплодную тревогу въ ея существованіе.

Черезъ нѣсколько недѣль послѣ того какъ она осталась вдовой, у нея родилась дочь Клавденька, на которую она перенесла свою страстную любовь къ мужу. Но больное сердце не забывало, и появленіе на свѣтъ дочери не умиротворило, а только еще глубже растравило свѣжую рану. Степанида Михайловна долгое время тосковала и, наконецъ, стала исеать забвенія...

Забвеніе это она обрѣла въ винѣ, и изъ года въ годъ недугъ ея принималъ все большіе и большіе размѣры.

Пила она не постоянно, а запоемъ. Каждые два мѣсяца дней на десять она впадала въ настоящее бѣшенство, и въ теченіе этого времени домъ ея наполнялся чисто адскимъ гвалтомъ. Утративши всякое сознаніе, она бѣгала по комнатамъ, выкрикивала бессмысленныя слова, хохотала, плакала, ничего не ѣла, не спала напролетъ ночей.

Даже зимой, несмотря на двойныя рамы, крики ея слышались на улицѣ и пугали прохожихъ. Но чтó всего хуже, подѣ этотъ безумный гвалтъ росла ея дочь.

Клавденькѣ шель ужъ восемнадцатый годъ. Вышла она вся въ отца, такая же блѣдная, худенькая, деликатная. Училась, конечно, поверхностно, ходя ежедневно въ сосѣдямъ, у которыхъ была гувернантка, за чтó, впрочемъ, мать ежегодно вносила извѣстное вознагражденіе домашними припасами. По началу пьяныя припадки матери пугали ее, но чѣмъ болѣе приближалась она къ сознательному возрасту, тѣмъ больше испугъ уступалъ мѣсто глубокому состраданію. Она въ свою очередь была страстно привязана къ матери, и сердце ея наполнялось безпредѣльнымъ жалѣніемъ, какъ только показывались первые признаки приближающагося припадка.

Начиналось обыкновенно съ того, что все существо Степаниды Михайловны проникалось тревогой. Она пряталась отъ дочери, избѣгала свѣта, безпрестанно ощипывала и обдергивала на себѣ платье и дико озиралась, словно чего-то ища. Наконецъ, запиралась въ спальнѣ, откуда вслѣдъ за тѣмъ начинало раздаваться безсвязное бормотанье. Дочь молча плакала, но не пыталась стучаться въ дверь, зная, что въ подобныя минуты самое сердечное и мягкое вниманіе можетъ только раздражить. Дней черезъ пять, когда пароксизмъ доходилъ до высшей точки и наступало настоящее бѣшенство, Степанида Михайловна съ шумомъ отворяла дверь своей спальни и прибѣгала къ дочери.

— Клавдюшка! подлячка у тебя мать? говори! подлячка?— раздавался во всѣхъ углахъ дома ея рѣзкій крикъ.

Этотъ страшный вопросъ повторялся въ теченіе дня непрерывно. Повидимому, несчастная даже въ самыя тяжелыя минуты не забывала о дочери, и мысль, что единственное и страстно любимое дѣтище обязывается жить съ срамною и пьяною матерью, удваивала ея страданія. Въ трезвые промежутки она не разъ настаивала, чтобы дочь, на время запоя, уходила къ сосѣдямъ, но послѣдняя не соглашалась.

— Нѣтъ, маменька, мнѣ дома лучше, — отвѣчала она, и въ безконечной деликатности даже не объясняла причинъ своего от-

ваза, опасаясь, чтобы объясненіе не придадо преувеличеннаго значенія ея жертвѣ.

Когда кончался запой, Степанида Михайловна приказывала истопить баню и парилась. Дня два послѣ этого, она бродила по комнатамъ, тоскуя и не приступая ни къ какому дѣлу. Осухшее лицо выражало глубокое утомленіе, руки и ноги дрожали, глаза безъ мысли смотрѣли въ даль. Вино сразу дѣлалось ей противнымъ, аппетитъ и сонъ черезъ-чуръ медленно вступали въ свои права. Мало-по-малу, однакожь, все приходило въ порядокъ. Она принималась за хозяйство, но это была ужъ не та бодрая, совѣтливая и веселая барышня, какою ее знали лѣтъ двадцать тому назадъ. Такъ что ежели дѣло не совсѣмъ приходило въ упадокъ, то именно благодаря тому, что сами дворовые поддерживали установившіеся порядки.

— Марья Маревна!—отъ времени до времени переликалась черезъ дорогу съ Золотухиной, своею сосѣдкой, Слѣпушкина:— зашла бы ты ко мнѣ.

Золотухина приходила, и между сосѣдками завязывалась бесѣда.

— Хоть бы ты въ себѣ Клавдюшку-то уводила, повуда я колоброжу,—сѣтовала Степанида Михайловна.

— И то сколько разъ пыталась, да никакъ уломать не могу. „Мое, говорить, мѣсто при матери“.

— Срамная я...

— Чего ужъ хуже! Воли надъ собой взять не можешь... Не вели вина давать—вотъ и вся недолга!

— А лучше будетъ, ежели я въ кабакъ дебоширствовать убѣгу?

— Чтой-то ужъ и въ кабакъ... спаси Богъ!

— Было уже со мной это — неужто не помнишь? Строго-на-строго запретила я въ ту пору, чтобъ и не пахло въ домѣ виномъ. Только пришло мое время, я кричу: вина!—а мнѣ не даютъ. Такъ я изъ окна ночью выпрыгнула, убѣжала къ Троицѣ, да цѣлый день тамъ въ одной рубашкѣ и чуделесила, повуда меня не связали да домой не привезли. Нѣтъ, видно, мнѣ съ тѣмъ и умереть. Того гляди, сбѣгу опять ночью, да гдѣ-нибудь либо въ рѣкѣ утоплюсь, либо въ канавѣ закоченѣю.

— Ахъ, грѣхъ какой!

— Ничего не подѣлаешь. Я, впрочемъ, не о себѣ, а объ дочкѣ хотѣла съ тобой поговорить. Не нравится мнѣ она.

— Чему-жъ въ ней не нравится — дѣвица какъ дѣвица. Смотрите! родная дочка уже разондравилась!

— Не о томъ я. Не нравится мнѣ, что она все одна да

одна, живеть съ срамною матерью да хирѣть. Посмотри, на что она похожа стала! Блѣдная, худая да хилая, все на грудь жалуется. Боюсь я, что и у нея та же болѣзнь, что у покойнаго отца. У Бога милостей много. Мужа отнялъ, меня разума лишилъ—пожалуй, и дочку въ себѣ возьметъ. Живи, сважетъ, подлая, одна въ кромѣшномъ аду!

— Ишь вѣдь ты какая! и въ Бога-то вѣрить перестала!

— Вѣрила я...

Слѣпущина не доканчивала и задумывалась.

— Ничего, все обойдется благополучно,—утѣшала ее Марья Маревна. — Нивакой болѣзни у Клавденьки нѣтъ—что пустяки говорить! Вотъ, черезъ годъ мой Мишанка изъ-за границы воротится, въ побывку къ матери прѣдетъ. Увидитъ Клавденьку, понравятся другъ дружкѣ—вотъ и женихъ съ невѣстой готовы!

— Ахъ, кабы...

Сосѣдки расходились, и въ сердцѣ пьяницы поселялась робкая надежда. Давно, признаться, она ужъ начала мечтать о Михайлѣ Золотухинѣ—вотъ бы настоящій для Клавденьки мужъ!—да посмотреть, посмотреть на дочку, вспомнить о побойномъ мужѣ да и задумается. Что, ежели въ самомъ дѣлѣ отецъ свой страшный недугъ дочери передалъ? что, если она умретъ? Куда она тогда съ своей пьяной головой дѣнется? неужто хоть одну минуту такое несчастье пережить?!

Къ сожалѣнію, пьяная мать оказалась права. Несомнѣнно, что Клавденька у всѣхъ на глазахъ сгорала. Еще когда ей было не больше четырнадцати лѣтъ, показались подозрительные припадки кашля, которые съ каждымъ годомъ усиливались. Наслѣдственность брала свое, и такъ какъ помощи ни откуда ждать было нельзя, то дѣвушка неминуемо должна была погибнуть.

Повидимому, она и сама это подозрѣвала. Отъ нея не умѣли скрыть, какимъ недугомъ умеръ ея отецъ, и она знала, что это недугъ наслѣдственный. Тѣмъ не менѣе, жажда жизни горѣла такъ сильно, что она даже въ самыя тяжелыя минуты не переставала вѣрить и надѣяться.

Ноги начинали подкашиваться, багровыя пятна на щекахъ рѣдѣли, голова тяжелѣла и покрывалась пѣтомъ, а ей вазалось, что на встрѣчу идетъ чудо, которое вотъ-вотъ сниметъ съ нея чары колдовства.

Наконецъ, и двгаться стало не въ мочь. Ее усадили въ кресло, неподалеку отъ окна, изъ котораго былъ видѣнъ палисадникъ и сѣвовъ чащу аваций мелькала избушка Золотухиной,

обложили подушками и для послугъ приставили ей любимую горничную.

— Ты бывала когда-нибудь больна, Папа? — спрашивала она свою собесѣдницу.

— Сколько разъ, барышня!

— Нѣтъ, вотъ такъ, какъ я?

— Во сто разъ хуже... какая ваша болѣзнь!

— Отъ этой болѣзни, говорятъ, спасенья нѣтъ. Чахотка. Покойный папенька въ чахоткѣ умеръ. Вонъ какія у меня на щекахъ красныя пятна выступили!

— Чтò вы, Христось съ вами! такъ, неможется вамъ... Простудились, должно быть. И пятень на щекахъ нѣтъ! — просто румянчикъ! Красавица вы у насъ!

Въ постепенномъ увяданіи прошло цѣлое лѣто. Съ наступленіемъ зимы пришлось закупориться; и палисадникъ, и улицу занесло снѣгомъ такъ, что и глазамъ не на что было порадоваться. Отсутствіе свѣта, духота комнатъ давили сильнѣе и сильнѣе. Настали изнурительныя бессонныя ночи, и такъ какъ молодое существованіе еще не успѣло запасть въ внутренній содержаніемъ, то ни о чемъ другомъ не думалось, кромѣ представленія о зіяющей безднѣ, которая съ каждымъ днемъ выступала яснѣе и яснѣе, ежеминутно готовая поглотить ее. Ужели судьба такъ жестока! безпрестанно жаловалось тоскующее сердце: — ужели она не приготовила ей никакихъ радостей, одну только смерть?..

— Тяжело, Папа, умирать? — спрашивала она.

— Не знаю, не умирала, — отдѣлывалась Папа шуткой: — да чтò вы, барышня, все про смерть да про смерть! Вотъ ужò весна придетъ, встанемъ мы съ вами, пойдемъ въ лѣсъ по ягоды... Еще такъ отдохнемъ, что лучше прежняго заживемъ!

Но положеніе, по истинѣ, дѣлалось страшнымъ, когда у матери начинался пьяный запой. Домъ наполнялся безсмысленнымъ гвалтомъ, проникавшимъ во всѣ углы; обезумѣвшая мать врывается въ комнату больной дочери и бросала въ упоръ одинъ и тотъ же страшный вопросъ:

— Подлячка у тебя мать? говори! подлячка?

Пробовали запирать Степаниду Михайловну въ спальнѣ, но больная всякій разъ приказывала отворить дверь.

— Пускай ходитъ! ей легче, когда она на свободѣ, — говорила она: — а я ужь привыкла.

Наступило тепло. Въ воображеніи больной рисовалось родное село, поле, луга, солнце, просторъ. Она все чаще и чаще заговаривала о томъ, какъ ей будетъ хорошо, если даже недугъ не



сразу оставить ее, а позволить хоть вынести въ креслѣ въ палисадникъ, чтобы свѣжимъ воздухомъ подышать.

Привали, наконецъ, и доктора, который своимъ появленіемъ только напугалъ больную. Это былъ одинъ изъ тѣхъ неумѣлыхъ и неразвитыхъ захолустныхъ врачей, которые изъ всѣхъ затрудненій выходили съ честью при помощи формулы: въ извѣстныхъ случаяхъ наша наука безсильна. Эту формулу высказалъ онъ и теперь; высказалъ самоувѣренно, безапелляціонно и, принявъ изъ рукъ Степаниды Михайловны (на этотъ разъ трезвой) красную ассигнацію, уѣхалъ обратно въ городъ.

Оставалось умереть. Всѣ съ часу на часъ ждали роковой минуты, только сама больная продолжала мечтать. Поле, цвѣты, солнце... и много-много воздуха! Точно живительная влага изъ полной чаши, льется ей воздухъ въ грудь, и она чувствуетъ, какъ подъ его дѣйствіемъ стихаютъ боли, организмъ крѣпнеть. Она дѣлаетъ надъ собой усиліе, встаетъ съ своего одра, отворяетъ двери и бѣжать, бѣжать...

Вотъ она встала и озирается. Еще рано, но окна ужъ поблѣли, и весеннее солнце не замедлитъ повололтитъ ихъ. Рядомъ съ ея кресломъ сидитъ Паша и дремлетъ; нѣсколько поодаль догораетъ салный огарокъ, и желтое пламя чуть-чуть выдѣляется изъ утреннихъ сумерекъ. Ей становится страшно; она протягиваетъ руку, чтобы разбудить Пашу, хочетъ крикнуть — и въ изнеможеніи падаетъ...

Смерть застигла ее какъ разъ во время запоя матери. Собрались сосѣди и съ помощью дворовыхъ устроили похороны. На этотъ разъ къ Степанидѣ Михайловнѣ приставили прислугу и не выпускали ее изъ спальни, такъ что неизвѣстно, поняла ли она что-нибудь, когда мимо нея огонь проносили на погостъ гробъ...

Когда запой кончился, старуха, по обыкновенію, вымылась въ банѣ, потомъ зашла къ дочери и, увидѣвъ ее опустѣлую комнату, поняла.

— Ну, теперь и мнѣ готовиться надо, — произнесла она чуть слышно, и на цѣлыя сутки заперлась въ спальнѣ. Никто не видѣлъ ее слезъ, не слышалъ ея жалобъ; многіе думали, что она опять зашла.

Но, повидимому, у нея уже задолго до того, въ виду возрастающаго недуга дочери, созрѣла завѣтная мысль, и теперь она торопилась осуществить ее.

Дня черезъ два она уѣхала въ городъ и всѣмъ дворовымъ дала отпускныя. Потомъ, совершила на ихъ имя дарственную

запись, которою отдавала дворовымъ, еще при жизни, усадьбу и землю въ полную собственность, а съ нихъ взяла частное обязательство, что до смерти ея они останутся на прежнемъ положеніи.

Сдѣлавши эти распоряженія, она спокойно стала ждать роковой минуты. Запой не замедлилъ. Несчастная кричала и бурлила больше обыкновеннаго, и хотя дворовые даже строже, чѣмъ прежде, наблюдали за нею, но на этотъ разъ она съумѣла обмануть ихъ бдительность.

Въ одну изъ ночей, въ самый пароксизмъ застоя, страшный, удручающій гвалтъ, наполнявшій домъ, вдругъ смѣнился гробовою тишиной. Внезапно наступившее молчаніе пробудило дремавшую около ея постели прислугу; но было уже поздно: „веселая барышня“ въ лужѣ крови лежала съ перерѣзаннымъ горломъ.

Въ виду всѣмъ извѣстнаго болѣзненнаго состоянія, ее похоронили не какъ самоубійцу, а по христіанскому обряду. Все село собралось на погребеніе, а въ томъ числѣ и сосѣди. Говорили преимущественно о „странномъ“ распоряженіи, которое сдѣлала покойная относительно своего имѣнія.

— Нашего полку прибыло! вотъ и еще дворяне проявились у насъ на селѣ!—поздравляли другъ друга сосѣди.

Марья Маревна Золотухина была еще бѣднѣе Слѣпушиной. Имѣніе ея заключалось всего изъ четырехъ ревизскихъ душъ (дворовыхъ) при сорока десятинахъ земли, да еще предводитель Струнниковъ подарилъ ей вучеренка Прошку, но документа на него не далъ, такъ что Золотухина находилась въ постоянномъ недоумѣніи—чей Прошка, ея или Струнниковскій.

— Стану я въ городъ ѣздить да купчія совершать!—отзывался Струнниковъ на ея настоянія закрѣпить за ней Прошку:—живеть онъ у тебя—и будетъ.

Усадьбу ея, даже по наружному виду, нельзя было назвать господской; это была просторная изба, раздѣленная на двѣ половины, изъ которыхъ въ одной, „черной“, помѣщалась страпущая и дворовые, а въ другой, „чистой“, состоявшей изъ двухъ комнатъ, жила она съ дѣтьми.

Когда-то изба была покрыта тесомъ, но отъ времени тесъ содрѣлъ, и новую крышу сдѣлали уже соломенную, такъ что и съ этой стороны жильѣ перестало отличаться отъ обыкновенной крестьянской избы. Даже палисадника не существовало; только сбоку былъ разведенъ небольшой огородъ, въ которомъ росли

лишь самыя необходимыя въ хозяйствѣ овощи. При такой бѣдности и въ то дешевое время существовать было трудно.

Происходила Золотухина изъ духовнаго званія. Отецъ ея Марій (по-просту Марей) Семенычъ Скорбященскій до конца жизни былъ настоятелемъ словущенской церкви и слылъ опытнымъ и гостеприимнымъ хозяиномъ. Марья Маревна никогда не могла назваться красивою, но полюбилась Гервасію Ильичу Золотухину, захудалому дворянину, родъ котораго издавна поселился въ Словущенскомъ. Она была ужъ немолода, когда выходила замужь, а Золотухинъ дѣтъ на двадцать былъ старше ея, и, кромѣ того, попивалъ. Долгое время, дѣвица Скорбященская не рѣшалась отдать ему руку и сердце.

— Колотить ты меня, пожалуй, подъ пьяную руку, будешь?— говорила она своему обожателю.

— Ахъ, голубка! да ты мнѣ тогда...

— То-то! ты у меня это помни! я и сама одной рукой трехпудовую гирю поднять могу! такъ тебя кулачищемъ окрещу, что свѣта не взвидишь!

Сдѣлавшись дворянкою, Марья Маревна прежде всего занялась перевоспитаніемъ стараго мужа. Держала его дома, не давала вина, а когда ему удавалось урваться на свободу, и онъ возвращался домой пьяный, то въ наказаніе связывала ему руки, а иногда и просто-на-просто била. Перевоспитаніе дѣйствительно удалось; Гервасій Ильичъ совсѣмъ пересталъ пить, но въ то же время засеучалъ и началъ хирѣть. Человѣкъ онъ былъ смиренный, какъ листъ дрожалъ передъ женой, и потому въ избушкѣ, за рѣдкими исключеніями, господствовала полная тишина. И хозяйствомъ, и домоводствомъ полновластно распоряжалась жена, а мужъ по цѣлымъ днямъ уныло бродилъ по единственной свободной горницѣ, бормоча безсвязныя слова и завидливо прислушиваясь, не доносится ли съ Слѣпущиной усадьбы гвалта, свидѣтельствующаго о началѣ запоя. По временамъ, онъ выбѣгалъ въ сѣни, пріотворялъ дверь въ стряпущую и, пресунувъ плѣшивую голову, шопотомъ обращался въ стряпухѣ:

— Ты бы, Ненилушка, хоть полставанчика водки у вѣдьмы на кушанье выпросила!

Но на его горе всегда въ такихъ случаяхъ словно изъ-подъ земли выростала Марья Маревна, и въ одинъ мигъ водворяла его на чистую половину.

— Вотъ тебѣ „вѣдьма“! вотъ тебѣ за „вѣдьму“!—кричала она, вытальывая его могучими руками въ шею и въ спину, такъ

что онъ ежеминутно рисковалъ растянуться на полу и, пожалуй, расшибиться.

Результатъ этой системы перевоспитанія не заставилъ себя долго ждать. Не прошло и трехъ лѣтъ совмѣстной жизни супруговъ, какъ Гервасій Ильичъ умеръ, оставивъ на рукахъ жены двухъ мальчиковъ-близнецовъ. Снесла Марья Маревна мужа на погостъ, и, какъ говорится, обѣими руками перекрестилась.

— Ну, теперь я, по крайности, хоть дѣтми займусь!— сказала она себѣ, и дѣйствительно всю страстность горячаго материнскаго сердца отдала этимъ дѣтямъ.

По странному капризу, она дала при рожденіи дѣтямъ почти однозвучныя имена. Перваго, увидѣвшаго свѣтъ, назвала Михаиломъ, второго—Мисаиломъ. А въ уменьшительномъ кликала ихъ: Мишанка и Мисанка. Старалась любить обоихъ сыновей одинаково, но, помимо ея воли, безотчетный материнскій инстинктъ все-таки болѣе влекъ ее въ Мишанкѣ, нежели въ Мисанкѣ.

Несмотря на то, что смерть мужа въ значительной мѣрѣ развязала ей руки, вдова очень скоро убѣдилась, что при той бѣдности, на которую она осуждена, ей ни подъ какимъ видомъ не сдобровать. Будущее дѣтей наполняло ее сердце безконечной тревогой. Покуда они были малы, жизнь еще представлялась возможною, но вѣдь какія-нибудь пять-шесть лѣтъ пролетать такъ быстро, что и не замѣтишь. Подойдетъ „наука“, и вотъ тогда-то начнется настоящее неисходное вдовье горе. Происходя изъ духовнаго званія, она хоть и смутно, но понимала, что мальчикамъ безъ „науки“ не прожить. У нея было четыре брата, изъ которыхъ двое ужъ кончили курсъ въ семинаріи, а двое еще учились; было двѣ сестры замужемъ за священниками (одна даже въ губернскомъ городѣ), которые тоже считали себя причастными наукѣ. Самъ отецъ Марій хоть и позабылъ многое, а все-таки въ свое время кончилъ въ семинаріи курсъ, а иногда и теперь рисковалъ просклонять: *mensa, mensae* и т. д. Да и она была грамотная, и по части церковной и даже гражданской печати могла хоть кого угодно за поясъ заткнуть.

Да, нужна наука, нужна; и время, когда азбука всевластно опутаетъ существованіе невинныхъ дѣтей, подкрадется невидимо, яко тать въ нощи.

И дѣйствительно, оно наступило, когда мальчикамъ минуло шесть лѣтъ. Можно было бы, конечно, и повременить, но Марья Маревна была нетерпѣлива, и, не отвлаadyвая дѣла въ долгій ящикъ, сама начала учить дѣтей грамотѣ.

Марья Маревна учила толково, но тутъ между дѣтми ска-

залась значительная разница. Тогда какъ Мисанка быстро переходилъ отъ азбуки къ складамъ, отъ складовъ къ изреченіямъ, и съ казкимъ-то упоеніемъ выеркивалъ самыя неудобопроизносимыя сочетанія буквъ, Мисанка то-и-дѣло тормазилъ успѣшнѣйшій ходъ учѣбы своею тупостью. Нѣкоторыхъ буквъ онъ совсѣмъ не понималъ, такъ что приходилось подниматься на хитрость, чтобы заставить его усвоить ихъ.

Въ особенности его смущали буквы *э, ө и ґ*.

— Какой ты, однако, глупый!—сердилась мать:—ну помнишь пѣсню! *Эко сердце, эко сердце, эко бѣдное мое? Эко!* чувствуешь: *Э...ко?* ну вотъ оно самое и есть!

Или:

— Федора Васильича, предводителя, знаешь? Федоръ.. Фѣ-фѣ-фѣ... өѣ-өѣ-өѣ... вотъ эта самая оита и есть!

Или:

— А ижицу самъ запомни. Вотъ она! стоитъ растопырей словно вилы, которыми сѣно на стогъ подають!

Разумѣется, въ концѣ концовъ Мисанка усвоилъ-таки „науку“, только съ оитой долго не могъ справиться и называлъ ее не иначе какъ Федоромъ Васильичемъ и наоборотъ. Однажды онъ даже не мало огорчилъ мать, увидѣвъ черезъ окно проѣзжавшаго по улицѣ Струнникова и закричавъ во все горло:

— Мамка! Оита ѣдетъ! Оита!

Марья Марѣвна не на шутку перепугалась, и, чтобы окончательно запечатлѣть образъ оиты въ умѣ Мисанки, тутъ же выскла его.

Въ предвидѣніи предстоящей дѣтской учѣбы, Золотухина заранее устраивала себѣ связи въ помѣщичьей средѣ. Дома ей рѣшительно не у чего было хозяйствовать, а съ смертью мужа и жить на одномъ мѣстѣ, пожалуй, не представлялось надобности. Поэтому она почти постоянно разъѣзжала въ рогожной кибитченкѣ, запряженной парой рабочихъ лошадей, по помѣщичьимъ усадьбамъ, и у нѣкоторыхъ сосѣдей, въ семействахъ которыхъ жили гувернантки или окончившіе курсъ семинаристы, заживалась подолгу. Приѣдетъ и ребятинешъ съ собой привезетъ; сама около хозяйки дома пристроится, разговорами занимается, семейныя жалобы выслушиваетъ, домашнія несогласія умиротворяетъ, по хозяйству полезныя совѣты подаетъ. Попросятъ ее на свотный дворъ сходить присмотрѣть—она сходитъ; попросятъ въ амбарѣ зерно перемѣрить—перемѣритъ.

— Заждались мы тебя!—говорятъ хозяева, привѣтствуя ея

пріѣздъ:—слова молвить безъ тебя не съ вѣмъ, даже хозяйство черезъ пень колоду пошло!

А мальчижи, между тѣмъ, усѣвшись въ классной комнатѣ, вмѣстѣ съ хозяйскими подростками на практикѣ познаютъ, что ежели ворни ученія горьки, зато плоды его сладки.

Ѣздила она, такимъ образомъ, да ѣздила—и добилась своего. Хотя ученье, по причинѣ частыхъ кочеваній, вышло нѣсколько разношерстное, а все-таки, года черезъ два-три, и Мишанка, и Мисанка умѣли и по-французски, и по-нѣмецки нѣсколько ходячихъ фразъ безъ ошибки сказать, да и изъ прочихъ наукъ начатки усвоили. Имъ еще только по десятому году пошло, а хоть сейчасъ вези въ Москву да въ гимназію отдавай.

Конечно, этотъ результатъ достался не легкой цѣной, но ужъ и то было счастье, что среди постоянныхъ скитаній она удержалась на извѣстной чертѣ и не перешла въ буфонство. Это доказывало присутствіе въ ней такта, очень рѣдкаго въ бѣдной мелкопомѣстной средѣ, всецѣло, ради сладкаго куска, отдающей себя на потѣху болѣе зажиточной собратіи. Она была толковита, совѣтлива, осторожна. Не всякое слово, какое на языкъ попадалось, вылаживала, вѣстей изъ дома въ домъ не переносила, и вообще старалась держать себя не какъ приживалка, а какъ гостя, на равной ногѣ съ хозяевами. Много ей въ этомъ случаѣ помогали Мишанка, ласковый и экспансивный мальчижъ, всѣхъ приводившій въ восторгъ. Его не только нигдѣ не считали лишнимъ, но нерѣдко даже упрашивали мать оставить его погостить на продолжительное время. Но Марья Маревна пуще всего боялась, чтобы изъ сына не выработался заурядный приживалецъ, а сверхъ того у нея ужъ созрѣлъ насчетъ обоихъ дѣтей особенный планъ, такъ что она ни на какія упрашванія не сдавалась.

— Нѣтъ, что ужъ!—обыкновенно отговаривалась она:— и надобсть онъ вамъ, да и не слѣдъ дѣтямъ отъ матери отбывать.

И возвращалась на короткое время домой или переѣзжала, по очереди, къ другимъ сосѣдямъ.

Повторяю: во всякомъ случаѣ Золотухина стужѣла огородить себя отъ тѣхъ надругательствъ, которыя такъ часто испытываетъ бѣдный людъ въ невѣжественномъ и грубомъ захоластномъ кругу. Только однажды предводитель Струнниковъ позволилъ себѣ сыграть надъ ней пошлую шутку, и вотъ въ какихъ обстоятельствахъ.

4-го іюля, въ день именинъ Струнникова, въ предводительскомъ домѣ давали обѣдъ. Народа собралось не меньше пятидесяти человекъ, а въ томъ числѣ и Золотухина. По окончаніи

обѣда, начали разносить десертъ, и между прочимъ шпанскія вишни, которыя въ эту пору года только-что появились. Набралось небольшое блюдо, ягодъ около полутораста, такъ что гости брали по одной и по двѣ ягоды, только чтобы отвѣдать. Но Марья Маревна не сообразила этого, и, когда дошла до нея очередь, взяла съ блюда цѣлую горсть, да и за другою полѣзла. Разумѣется, Струнниковъ не выдержалъ.

— Я знаю, Марья Маревна, что ты не для себя берешь, а дѣтокъ побаловать хочешь, — сказалъ онъ: — такъ я послѣ обѣда велю полную коробьешечку ягодъ набрать, да и отправлю къ тебѣ домой. А тѣ, что взяла, ты опять на блюдо положи.

Марья Маревна сконфузилась, но, какъ женщина справедливая, поняла, что сдѣлала ошибку, и безпрекословно положила обратно на блюдо свою добычу. Возвратившись домой, она прежде всего поинтересовалась узнать, прислалъ ли Струнниковъ обѣщанную коробьешку, и, получивъ утвердительный отвѣтъ, приказала подать ее.

Увы! коробьешка была дѣйствительно полна вишнями... но мокрыми, побѣлѣвшими, изъ-подъ прошлогодней наливки!

Конечно, Золотухина и на этотъ разъ вынуждена была промолчать, но она кровно обидѣлась, не столько, впрочемъ, за себя, сколько за дѣтей. И въ чести ея слѣдуетъ сказать, что съ тѣхъ поръ нога ея не бывала въ предводительскомъ домѣ.

Наконецъ, Марья Маревна сдѣлала рѣшительный шагъ. Мальчикамъ приближалось ужъ одиннадцать лѣтъ, и все, что захолустье могло ей дать въ смыслѣ обученія, было уже исчерпано. Приходилось серьезно думать о продолженіи воспитанія, и, натурально, взоры ея прежде всего обратились къ Москвѣ. Неизвѣстно, сама ли она догадалась, или надумилъ ее отецъ, только въ одно прекрасное утро, одѣвши близнецовъ въ новенькія курточки, она забрала ихъ съ собой и раннимъ утромъ отправилась въ Отраду.

— Вы смотрите, чаще у княгинюшки ручки цѣлуйте! — твердила она дѣтямъ дорогой.

Владѣлецъ Отрады, князь Андрей Владиміръчъ Кузьминъ-Перекуровъ по зимамъ обыкновенно жилъ въ своемъ домѣ въ Москвѣ<sup>1)</sup>, а лѣтомъ пріѣзжалъ въ Отраду вмѣстѣ съ женой, бывшей французской актрисой Селиной Архиповной Бульмишъ. Жили они роскошно, дѣтей не имѣли, принимали въ имѣніи московскіяхъ друзей, но съ сосѣдями по захолустью не знали. Князь

<sup>1)</sup> Въ первой главѣ былъ ошибочно названъ Петербургъ.

былъ однимъ изъ тѣхъ разслабленныхъ и чванныхъ представителей старинныхъ родовъ, которые, повидимому, отстаиваютъ корпоративную связь, но, въ сущности, пресмыкаются и ползаютъ, исключительно посвящая свою жизнь поддержанію дворскихъ и высоко-бюрократическихъ отношеній. Онъ прошелъ всю школу благовоспитанныхъ и богатыхъ идиотовъ. Родился въ Парижѣ, воспитывался въ Оксфордѣ, прослужилъ нѣкоторое время въ качествѣ attaché при посольствѣ въ Берлинѣ, но далѣе по службѣ не пошелъ, и наконецъ поселился въ Москвѣ, гдѣ корчилъ изъ себя англomана и писалъ сочиненіе подъ названіемъ: „Рѣка времеченія“, въ которомъ, каждый вечеръ, ложась спать, прибавлялъ по одной строчкѣ. И наружность онъ имѣлъ нелѣпую: ходилъ не сгибая ногъ и выпятивъ грудь и чванно несъ на длинной шеѣ несоразмѣрно большую голову съ лошадиного типа лицомъ, расцвѣченнымъ желто-красными подпалинами, какъ у гнѣдого мерина. Ни въ какія распоряженія по имѣнію онъ не входилъ, ничего въ хозяйствѣ не смыслилъ и предоставилъ управляющему и бурмистру устраиваться какъ хотятъ, наблюдая только, чтобы малѣйшее желаніе Селины Архиповны было выполняемо точно и безотговорочно.

Золотухиной, которая вообще въ своихъ предпріятіяхъ была удачлива, посчастливилось и на этотъ разъ. Когда она явилась въ Отраду, супруги были одни и скучали. Впрочемъ, князь, услышавъ, что пріѣхала „въ гости“ какая-то вдова Золотухина, да притомъ еще Марья Маревна, хотѣлъ-было оцетиниться, но, по счастью, Селина Архиповна была въ добромъ расположеніи духа и приказала просить.

Марья Маревна вошла въ роскошную княжескую гостиную, шурша новымъ ситцевымъ платьемъ и держа за руки обохъ дѣтей. Мисанка, завидѣвъ Селину Архиповну, тотчасъ же подбѣжалъ къ ней и поцѣловалъ ручку; но Мисанка, красный какъ ракъ, уцѣпился за юбку материнскаго платья и съ вызывающею закоснѣlostью оглядывалъ незнакому обстановку.

— Иди, душенька, иди! — поощряла его мать: — поцѣлуй у княгинюшки ручку!

— Не пойду! — упорствовалъ Мисанка, зарывая лицо въ складки платья.

— Не беспокойте его! — вступилась за Мисанку Селина Архиповна: — онъ у васъ дикарь, не привыкъ. Вотъ познакоимся повороче, онъ и самъ увидитъ, что во мнѣ ничего страшнаго нѣтъ. Но какой у васъ этотъ прелестный мальчикъ! — прибавила она, любуясь Мисанкой: — просто заглядѣнье! какъ его зовутъ?



— Михайломъ, ваше сіятельство!

— Прелестное имя. Michel! вы меня будете любить?

— Я и теперъ васъ люблю, ваше сіятельство!

— Ну, вотъ видите. И вы меня любите, и я васъ люблю. Вы добрый мальчикъ, ласковый. Я увѣрена, что мы подружмся.

Словомъ сказать, Мишанка сразу заполонилъ сердце добродушной француженки, тогда какъ Мисанка, своею неблаговоспитанностью, въ такой же мѣру оттолкнулъ ее отъ себя.

Марья Маревна объяснила свой прїѣздъ настойчивостью дѣтей. Они такъ много слышали объ Отрадѣ и ея чудесахъ, что непременно требовали, чтобы мать показала имъ, какъ живутъ вельможи. Объясненіе это видимо польстило Селинѣ Архиповнѣ, которая вызвалась сама показать прїѣзжимъ и садъ, и паркъ, и оранжереи.

— Надѣюсь, что передъ этимъ вы съ нами позавтракаете, — любезно прибавила она.

— А я, между тѣмъ, распорядюсь, чтобъ вашъ экипажъ отложили, — съ своей стороны отозвался князь: — вѣдь вы издалека?

— Верстъ двадцать-пять, ваше сіятельство, будетъ. Да какой у меня экипажъ! Кибитчѣнка рогожная — только и всего. Я ее на селѣ у мужичка покинула.

Селина Архиповна удивилась: дворянка — и въ рогожной кибиткѣ ѣздить! Но удивленіе ея возросло еще болѣе, когда Золотухина прибавила:

— Горевая я, ваше сіятельство, дворянка! и всего-то имѣнія у меня четыре души да сорокъ десятинъ земли — тутъ и въ ширь, и въ мѣрь!

— Ахъ, Боже! четыре души... est-ce possible! Но какъ же вы живете?

— Таковская ужъ и жизнь, ваше сіятельство. Не живемъ, а волотимся. Дѣтей вотъ жалко.

Селина Архиповна совсѣмъ растерялась. Недоумѣло переглядывалась она съ мужемъ, и наконецъ изъ груди ея вырвался вопль:

— Но что же смотреть правительство? Ахъ, какъ мнѣ жалъ васъ! André! вѣдь правительство обязано поддерживать дворянское сословіе? вѣдь дворяне — это опора? Ты, конечно, напишешь объ этомъ въ своемъ сочиненіи... n'est-ce pas? Ахъ, какъ мнѣ жалко, какъ жалко васъ!

За завтракомъ Марья Маревна рассказала всѣ подробности своей скитальческой жизни, и чѣмъ больше развертывалась передъ глазами радушныхъ хозяевъ повѣсть ея непригляднаго существо-

ванія, тѣмъ больше загоралось въ сердцахъ ихъ участіе къ бѣдной страдалицѣ-матери.

Однимъ словомъ, день кончился полнымъ триумфомъ для Золотухиной. Селина Архиповна сама показала гостямъ чудеса Отрады, и не только накормила ихъ обѣдомъ, но и оставила почевать. Но, что всего важнѣе, въ этотъ же день была рѣшена участь Мишанки и самой Марьи Маревны. Перваго князь взялся опредѣлить на свой счетъ въ московскій дворянскій институтъ; второй Селина Архиповна предложила мѣсто экономки въ московскомъ княжескомъ домѣ.

— Такимъ образомъ, воспитаніе вашего сына будетъ обезпечено,—сказала она:—а въ то же время и вы будете неразлучны съ вашимъ сокровищемъ.

Объ Мисангѣ въ этихъ переговорахъ ни словомъ не было упомянуто: очевидно, мальчикъ-диварь не понравился. Съ своей стороны, и Марья Маревна не настаивала на дальнѣйшихъ милостяхъ...

Само собою разумѣется, впрочемъ, она не забыла и о другомъ сынѣ; но оказалось, что у нея внезапно сложилась въ умѣ комбинація, съ помощью которой можно было и Мисанку легко пристроить. Одна изъ сестеръ Золотухиной, какъ я уже упомянулъ выше, была выдана замужъ въ губернскій городъ за приходскаго священника, и Марья Маревнѣ пришло на мысль совершенно основательное предположеніе, что добрые родные, какъ люди зажиточные и притомъ бездѣтныя, охотно согласятся взять къ себѣ въ домъ племянника и помѣстить его въ губернскую гимназію приходящимъ ученикомъ. И, какъ въ скоромъ времени оказалось, надежда не обманула ея.

Такимъ образомъ, оба мальчика были пристроены, и Марья Маревна свободно вздохнула. Въ концѣ августа, она собралась изъ Слободскаго; чистую половину въ избѣ заколотила и надзоръ за хозяйствомъ и дворовыми поручила старику-отцу. Цѣлыхъ семь лѣтъ, повуда длился учебный искусъ дѣтей, она только изрѣдка лѣтомъ навѣщала родное гнѣздо изъ Отрады, куда, въ качествѣ экономки, пріѣзжала вмѣстѣ съ „господами“ изъ Москвы. Жилось ей, повидимому, недурно; „господа“ дорожили ею, жалованье она получала хорошее, такъ что явилась возможность копить. Съ своей стороны, и старикъ отецъ продавалъ оставшіяся за прокормленіемъ дворовыхъ сельскіе продукты, и тоже копилъ.

Черезъ семь лѣтъ, Мишанка кончилъ университетскій курсъ первымъ кандидатомъ и былъ посланъ на казенный счетъ за

границу. Очевидно, въ недалекомъ будущемъ его ожидала профессура. Мисанка, конечно, отсталъ, однакожь и онъ успѣлъ-таки, почти одновременно, кончить курсъ въ гимназiи, но въ университетъ не дерзнулъ, а поступилъ на службу въ губернское правленіе.

Разставшись съ Мишанкой и пославъ Мисанеѣ заочно благословеніе, Золотухина оставила княжескій домъ и вновь появилась въ Слободенскомъ. Но уже не ѣздила кормиться по сосѣдямъ, а солидно прожила лѣтъ шесть своимъ домкомъ и при своемъ капиталѣ. Умирая, она была утѣшена, что оба сына ея пристроены. Мишанка имѣлъ каеэдру въ московскомъ университетѣ, а Мисанка, въ чинѣ губернскаго секретаря, пользовался благоволеніемъ начальства и репутаціей примѣрнаго столоначальника.

На погребеніе ея пріѣхали оба сына. Подѣливши между собою наличный капиталъ (около пяти тысячъ), они рѣшили отпустить дворовыхъ на волю, безвозмездно предоставивъ имъ усадьбу со всей землей.

Послѣ Слѣпушиной это былъ второй примѣръ помѣщичьяго великодушiя въ нашемъ захолустьѣ.

---

Описанныя въ настоящей и трехъ предыдущихъ главахъ личности наиболѣе прочно удержались въ моей памяти. Но было и еще нѣсколько сосѣдей, о которыхъ я считаю нелишнимъ вратцѣ упомянуть, ради полноты общей картины.

Прежде всего укажу на Перхунова и Метальникова, изъ которыхъ первый, выражаясь нынѣшнимъ языкомъ, представлялъ собой либеральный элементъ, а второй—элементъ консервативный.

Собственно говоря, кличекъ этихъ въ то время не существовало, потому что ни о какой сословной или партійной рѣзни и въ поминѣ не было. Время было глухое и темное. Правительство называли „начальствомъ“, а представленіе о внутренней политикѣ исчерпывалось выраженіями: „ежовыя рукавицы“ и „канцелярская тайна“. Послѣдняя покрывала все своимъ непроницаемымъ пологомъ и лишь изрѣдка нарушалась отгровеніями „Московскихъ Вѣдомостей“ о цѣлодневномъ звонѣ съ Ивановской и иныхъ колоколенъ, да зрѣлищемъ торговой казни, производимой публично черезъ палача, на городской площади. Однакожь и тогда по мѣстамъ прорывались ушибы, которыя имѣли не столь низменный характеръ, какъ обыкновенныя захолустныя пререванiя, и доказывали, что, несмотря на суровую регламентацію, изъ-

подъ спуда общаго знаменателя все-таки порой выдѣлялись какіе-то тенденціозные пустяки, которые сообщали взаимнымъ отношеніямъ обывателей нѣкоторую партійную окраску.

Григорій Александрычъ Перхунъ жилъ въ старинной родовой усадьбѣ неподалеку отъ Слобущенскаго. Это былъ уже пожилой и закоренѣлый холостякъ, имѣвшій довольно хорошее состояніе, что давало ему возможность считать себя независимымъ. Отъ природы онъ былъ надѣленъ однимъ изъ тѣхъ непосѣдливыхъ темпераментовъ, которые заставляютъ человѣка тормозиться даже безъ особенно побудительныхъ поводовъ. Канцелярская тайна, царствовавшая окрестъ, подстрекала его любопытство и заставляла доискиваться смысла ежовыхъ рукавицъ, а эти исканія сообщали его личности нѣкоторыя своеобразныя черты, которыя до известной степени выдѣляли его изъ общей массы собратій-помѣщиковъ.

Въ кругу „своихъ“ онъ слылъ вольнодумцемъ и острякомъ („бритва—язычокъ“, говорили про него), хотя, въ дѣйствительности, лишь въ самой слабой степени оправдывалъ эту репутацію.

Вольнодумство его ограничивалось довольно низменнымъ и неопытнымъ кощунствомъ да назойливымъ критиканствомъ, для котораго онъ находилъ легкую пищу въ малограмотности и мелкихъ беззаконіяхъ и плутняхъ мѣстной администраціи.

Домъ его служилъ центромъ, изъ котораго выходили разнообразнѣйшія розсказы о дѣйствіяхъ приказной братіи, начиная съ судьи и исправника и кончая подъячими низшаго разряда. Къ сожалѣнію, онъ не отступалъ отъ анекдотовъ собственнаго изобрѣтенія, что въ значительной мѣрѣ подрывало вѣру въ состоятельность его критикъ и сообщало имъ характеръ (какъ тогда выражались) шумарканья и фордыбаченья. Но, во всякомъ случаѣ, за предѣлы захолустной мурьи онъ не выходилъ, во-первыхъ потому, что у него не было достаточной подготовки для оцѣнки явленій высшаго порядка, а во-вторыхъ и потому, что кругъ этихъ послѣднихъ былъ такъ прочно замкнутъ, что не только въ захолустья, но и повыше ничего оттуда не проникало. Тѣмъ не менѣе, несмотря на безобидность его критическихъ упражненій, начальство смотрѣло на него косо и держало на счету безповойныхъ людей. Нерѣдко ему даже дѣлали, черезъ предводителя, реприманды и указывали перстомъ въ ту сторону, куда Макаръ телятъ не гонялъ. Послѣ такихъ указаній онъ временно притихалъ, но потомъ опять принимался за прежнее, и, въ общему удивленію, прожилъ свой вѣкъ благополучно...

Что касается до остроумія, то въ этомъ отношеніи Перхунъ въполнѣ удовлетворялъ непрехотливымъ представленіямъ, сло-

жившимся въ затхлои мурьѣ, въ которой онъ жилъ. Онъ ковер-калъ имена и фамиліи, изобрѣталъ клички и былъ неистощимъ на проказы, отъ которыхъ, несмотря на ихъ незатѣйливость, иногда приходилось жутко. Прозоветь Калерію Степановну Че-пракову—Кавалеріей Степановной; Тараса Прохорыча Металь-никова—Тарантасомъ Прохорычемъ—и всѣмъ любо. Или судью Глазатова наградить кличкою „дѣвицы вольнаго поведенія“—и еще того всѣмъ любѣе. А если ночью въ гостяхъ кому-нибудь изъ „простенькихъ“ подложить подъ подушку кусочекъ вонючаго сыра или посыплетъ простыню солью, то и конца края общему веселью нѣтъ. Рассказываютъ другъ другу о случившемся, шепчутся, хохочуть...

За всѣмъ тѣмъ, репутація вольнодумца и остряка сослужила Перхуну существенную службу. Благодаря ей, когда наступила крестьянская реформа, онъ, въ качествѣ „занозы“, былъ избранъ отъ нашего уѣзда въ губернской крестьянской комитетъ, а оттуда пробрался даже въ редакціонныя комиссіи.

Тарасъ Прохорычъ Метальниковъ представлялъ совершенную противоположность Перхуну. Насколько послѣдній былъ недо-стовѣренъ и проказливъ, настолько же первый отличался досто-вѣрностью и серьезностью не только помысловъ, но и тѣлодви-женій. Все въ его міросозерцаніи было ясно, внушительно и без-спорно; все доказывало, что онъ заранее намѣтилъ себѣ колею, которая, такъ сказать, сама собой оберегала его отъ уклоненій вправо и влѣво. Въ вѣрнопопданнической задумчивости онъ шелъ по жизненному пути, инстинктивно угадывая, гдѣ слѣдуетъ оста-новиться, чтобы упереться лбомъ въ стѣну. И тамъ, гдѣ Перху-новъ тормозился и восклицалъ: „на чтѣ похоже“!—онъ учительно и вполне убѣжденно утверждалъ: „съ насъ будетъ и этого!“

Разумѣется, начальство репримандовъ ему не дѣлало, но благосклонно предоставляло совершать жизненный путь, на ряду съ другими, въ сладкомъ сознаніи, что если онъ никого не тронетъ, то и его никто не тронетъ (таковъ былъ тогдашній идеалъ мирнаго житія, которому большинство, отчасти добровольно, от-части страха ради іудейска, подчинялось). Чтѣ касается до со-братій-помѣщиковъ, то въ ихъ средѣ Метальниковъ слылъ му-жемъ совѣта, и вездѣ, гдѣ онъ ни появлялся, его принимали съ радушіемъ и почетомъ. Это общее уваженіе нагляднымъ обра-зомъ выразилось въ томъ, что Тарасъ Прохорычъ нѣсколько трехлѣтій подрядъ былъ избираемъ исправникомъ съ такимъ еди-нодушіемъ, что о конкуррентахъ и рѣчи быть не могло.

Перхуну и Метальникову постоянно враждовали другъ съ

другомъ и рѣдко встрѣчались. Но зато когда встрѣчались, то начиналась безконечная потѣха. Задирой являлся, конечно, Перхуновъ, а Метальниковъ только щетинился; но оба были такъ „уморительны“, что встрѣчи эти надолго оставляли по себѣ веселый слѣдъ, сообщавшій живость и разнообразіе непрехотливымъ собесѣдованіямъ, оглашавшимъ стѣны помѣщичьихъ гнѣздъ въ длинные зимніе вечера.

Затѣмъ, могу указать еще на братьевъ Урванцовыхъ, ближайшихъ нашихъ сосѣдей, которые остались у меня въ памяти, потому что во всѣхъ отношеніяхъ представляли очень курьезную аномалію.

Отецъ ихъ Захаръ Капитонычъ Урванцовъ, одинъ изъ бѣднѣйшихъ помѣщиковъ нашего края, принадлежалъ, подобно Перхунову, къ числу „проказниковъ“, которыми, за отсутствіемъ умственныхъ и общественныхъ интересовъ, такъ таровата была тогдашняя безпросвѣтная жизнь. Но проказливость его была уже до того назойлива и цинична, что даже наше захолустье не признало его своимъ. Одинокю прозябалъ онъ въ своей берлогѣ, не принимая никакого участія въ общемъ помѣщичьемъ раздольѣ и растрчивая свою озорливость среди безотвѣтныхъ дворовыхъ и не щадя даже кровной семьи.

Двоихъ близнецовъ-сыновей, которыхъ оставила ему жена (она умерла родами), онъ назвалъ Захарами, а когда они пришли въ возрастъ, то опредѣлилъ ихъ юнкерами въ одинъ и тотъ же полкъ. Мало того: умирая, оставилъ завѣщаніе, которымъ подѣлилъ между сыновьями имѣніе (оно было, по несчастію, благопріобрѣтенное) самымъ возмутительнымъ образомъ. Господскій домъ раздѣлилъ на-двое съ такимъ расчетомъ, что одному брату достались такъ-называемыя парадныя комнаты, а другому—жилья; двадцать-три крестьянскихъ двора распредѣлилъ черезъ дворъ: одинъ дворъ одному брату, другой—рядомъ съ первымъ—другому и т. д. И, что всего обиднѣе, о двадцать-третьемъ дворѣ ничего не упомянулъ.

Результатъ этихъ проказъ свазался, прежде всего, въ безконечной ненависти, которую дѣти питали къ отцу, а по смерти его, опутанныя устроеною имъ кутерьмою, перенесли другъ на друга. Оба назывались Захарами Захарычами; оба одновременно вышли въ отставку въ одномъ и томъ же поручичьемъ чинѣ и носили одинъ и тотъ же мундиръ; оба не могли опредѣлить границъ своихъ владѣній, и передъ обоими, въ видѣ неразрѣшимой и соблазнительной загадки, стоялъ вопросъ о двадцать-третьемъ дворѣ.

Къ довершенію всего, какъ это часто бываетъ между близнецами, братья до такой степени были схожи наружностью, что не только сосѣди, но и домочадцы не могли отличить ихъ другъ отъ друга. Да и въ духовномъ смыслѣ, въ большинствѣ случаевъ, оба жили и дѣйствовали подѣ вліяніемъ однихъ и тѣхъ же наитій.

Положеніе было безвыходное, почти трагическое, и служило предметомъ безвѣчныхъ розсказней, въ которыхъ играла главную роль мучительная семейная свара, въ смѣшливый часъ устроенная безпутнымъ старикомъ.

Я помню, что и въ нашемъ домѣ разсказывались по этому поводу совершенно невѣроятные анекдоты, особенно въ первое время послѣ смерти старика, когда путаница только-что еще разгоралась.

— Намеднись, такая ли перестрѣлка въ Вялицынѣ (такъ называлась усадьба Урванцовыхъ) была—какъ только до убивства не дошло!—сообщалъ это-нибудь изъ пріѣзжихъ гостей.— Вышли оба брата въ березовую рощу грибковъ собирать. Одинъ съ одного конца взялся, другой—съ другого. Идутъ задумавшись на-встрѣчу и не замѣчаютъ другъ друга. Какъ вдругъ столкнулись. Смотрятъ другъ дружку въ глаза—онъ ли, не онъ ли?—ни-кто не хочетъ первый дорогу дать. Ну, и пошло тутъ у нихъ, и пошло...

— Нѣтъ, вы подумайте, каково положеніе крестьянъ!—перевбывалъ другой гость:—намеднись одинъ братъ взялъ да всѣхъ мужиковъ у другого перепоролъ, а тѣ, дурачье, думаютъ, что ихъ *своей* баринъ сѣчетъ...

— Вотъ такъ маскарать!

Или:

— Встанутъ съ утра, да только о томъ и думаютъ, какую бы родному брату пакость устроить. Услышнть одинъ Захаръ, что братъ съ вечера по хозяйству распоряженіе сдѣлалъ—пойдетъ и отиѣнить. А въ это же время другой Захаръ подѣ другого брата такую же штуку подводитъ. До того дошло, что теперь мужики, какъ завидятъ, что по дорогѣ идетъ Захаръ Захарычъ—свой ли, не свой ли—во всѣ лопатки прочь бѣгутъ!

Или, наконецъ:

— Въ завѣщаніи-то старый пакостникъ такъ дѣтей подѣлил: такой-то вкрестьянскій дворъ—сыну моему Захару Урванцову *первому*, а такой-то сыну моему Захару Урванцову *второму*. Вотъ судья, пріѣхавши ихъ дѣлить, и говорить: „ужь вы, господа, какъ-нибудь уладьтесь! вы, Захаръ Захарычъ, будьте первый Урванцовъ, а вы, Захаръ Захарычъ—Урванцовъ второй. И что-жъ,

не успѣлъ судья отвернуться, анъ и самъ не знаетъ, котораго Захара Захарыча онъ назвалъ первымъ, котораго вторымъ. Наконецъ, догадался: взялъ да бумажки съ номерами тому и другому на грудь пришилилъ. Только такимъ манеромъ и успѣлъ раздѣлъ совершить.

И такъ далѣе.

Очевидно, что при такихъ чудовищныхъ условіяхъ совместное существованіе было немислимо. Поэтому, Урванцовы не долго выдержали. Проживъ въ нашихъ мѣстахъ не больше двухъ лѣтъ, они одновременно и неизвѣстно куда исчезли, оставивъ и отческій домъ, и деревнюшку на волю случайности.

Въ заключеніе, скажу нѣсколько словъ еще о Петрѣ Антоничѣ Грибовѣ, котораго всѣ единогласно называли Псомъ Антоничемъ.

Лично я его никогда не видалъ, но то небольшое, чтѣ привелось мнѣ въ дѣтствѣ слышать о немъ, было по истинѣ ужасающе. Это былъ, въ полномъ смыслѣ слова, извергъ, превосходящій въ этомъ отношеніи даже тетеньку Анфису Порфирьевну. Въ особенности возмутительны были подробности гаремной жизни, которую онъ велъ. Вслѣдствіе этого, изъ сосѣдей не только никто не водилъ съ нимъ знакомства, но даже говорить о немъ избѣгали: какъ будто боялись, что одно упоминаніе его имени произведетъ смуту между домочадцами. Нѣсколько разъ его судили, неоднократно устраивали опеку и выселяли изъ имѣнія съ воспрещеніемъ въѣзда, но, благодаря послабленіямъ опекуновъ и отдаленному родству съ предводителемъ Струнниковымъ, онъ преспокойно продолжалъ жить въ своемъ Олонкинѣ и безчинствовать. Но, наконецъ, его постигла казнь, еще болѣе жестокая, нежели та, жертвою которой сдѣлалась Анфиса Порфирьевна. Ночью, человекъ тридцать крестьянъ (почти вся вотчина) оцѣпили господскій домъ, ворвались въ спальню и, повѣсивъ барина за ноги, зажгли домъ со всѣхъ сторонъ. Къ утру Олонкинская усадьба представляла уже груды развалинъ. Только немногія изъ гаремныхъ узницъ успѣли спастись и впоследствии явились по дѣлу докащиками.

Я помню, однажды семейный обѣдъ нашъ прошелъ совершенно молчаливо. Отецъ былъ блѣденъ, у матушки, по временамъ, вздрагивали губы... Очевидно, совершилось нѣчто такое, чтѣ надлежало сохранить отъ насъ въ тайнѣ. Но ничто не могло укрыться отъ любознательности брата Степана, который и на этотъ разъ такъ изловчился, что къ вечеру намъ, дѣтямъ, были уже извѣстны всѣ подробности олонкинской катастрофы.

О прочихъ сосѣдяхъ умалчиваю, хотя ихъ была цѣлая масса.



Въ памяти моей осталось о нихъ такъ мало опредѣленнаго, что обременять вниманіе читателей воспоминаніемъ объ этой безличной толпѣ было бы совершенно излишне.

### XXXI.—ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Изъ элементовъ, съ которыми читатель познакомился въ теченіе настоящей хроники, къ началу зимы образовывалось такъ-называемое попехонское раздолье. Я не стану описывать его здѣсь во всѣхъ подробностяхъ, во-первыхъ, изъ опасенія повтореній, и, во-вторыхъ потому, что порядочно-таки утомился и желаю какъ можно скорѣе придти къ вожделѣнному концу. Во всякомъ случаѣ, предупреждаю читателя, что настоящая глава будетъ имѣть почти исключительно перечневой характеръ.

Мы, дѣти, еще съ конца сентября начинали загадывать объ ожидающихъ зимою увеселеніяхъ. На первомъ планѣ въ этихъ ожиданіяхъ, конечно, стояла перспектива свободы отъ ученія, а затѣмъ шумныя встрѣчи съ сверстниками, вкусная ѣда, бѣготня, пляска и та общая праздничная суета, которая такъ соблазнительно дѣйствуетъ на дѣтское воображеніе.

Въ особенности волновался предстоящими веселыми перспективами братъ Степанъ, который, несмотря на осеннее безвременье, безъ шапки, въ одной курткѣ, убѣгалъ изъ дома по направленію къ погребамъ и кладовымъ и тщательно слѣдилъ за процессомъ припасанія, какъ главнымъ признакомъ предстоящаго раздолья.

— Капусту рубленную въ прокъ набиваютъ!—возвѣщаль онъ намъ:—въ маленькія кадуски—для господъ, въ чаны—для людей!

Или:

— Вчера изъ Васютина цѣлую бычью тушу привезли, а сегодня ее на части для солонины разрубаютъ! Пожирѣе—намъ, а жилы да кости—людямъ. Сама мать на погребѣ въ кацавейкѣ засѣдаетъ.

И, наконецъ:

— Ну, братцы, кажется, наше дѣло скоро совсѣмъ выгоритъ! Самъ сейчасъ слышалъ, какъ мать приказаніе насчетъ птицы отдавала, которую на племя оставить, которую бить. А ужъ если птицу велятъ бить, значить конецъ и дѣлу вѣнецъ. На все лѣто полотковъ хватить—съ голоду не помремъ.

Иногда съ Покрова выпадалъ снѣгъ и начинались серьезные морозы. И хотя въ большинствѣ случаевъ эти признаки зимы

оказывались непрочными, но при наступленіи ихъ сердца наши были усиленную тревогу. Мы съ любопытствомъ слѣдили изъ оконъ, какъ на прудѣ, подъ надзоромъ ключницы, дворовыя женщины замакивали въ водѣ и замораживали ошипанную птицу, и заранѣе предвкушали то удовольствіе, которое она доставить намъ въ вареномъ и жареномъ видѣ въ праздничные дни.

— Гусь-то! гусь-то!—по временамъ восликала въ азартѣ Степанъ:—вотъ такъ гусь! Ахъ, хорошъ старикъ!

Санный путь чаще всего устанавливался около 15-го ноября, а вмѣстѣ съ нимъ открывался и сезонъ увеселеній. Наванунѣ Введеньева дня, нашъ околотокъ почти поголовно (очень часто больше пятидесяти человѣкъ) былъ въ сборѣ у всенощной въ церкви села Лыкова, гдѣ на завтра предстоялъ престольный праздникъ, и церковнымъ старостой состоялъ владѣлецъ села, полковникъ суворовскихъ временъ, Оома Алексѣичъ Гуслицынъ. Естественно, домъ послѣдняго служилъ убѣжищемъ для съѣхавшейся массы сосѣдей, большинство которыхъ оставалось гостить здѣсь на два и на три дня.

На этомъ первомъ сезонномъ праздникѣ я остановлюсь нѣсколько подробнѣе, такъ какъ онъ служилъ, такъ сказать, прототипомъ всѣхъ остальныхъ.

Раннее утро, не больше семи часовъ. Окна еще не начали бѣлѣть, а свѣчей не даютъ; только нагорѣвшая свѣтильня лампадки, съ вечера затепленной въ углу передъ образомъ, разливаетъ въ жарко натопленной дѣтской меркнущій свѣтъ. Двѣ дѣвушки, ночующія въ дѣтской, потихоньку поднимаются съ войлокъ, разостланнахъ на полу, всемирно стараясь, чтобы неосторожнымъ движеніемъ не разбудить дѣтей. Черезъ пять минутъ онѣ навидываютъ на себя затрапезныя платья и уходятъ внизъ доканчивать туалетъ.

Но дѣти уже не спятъ. Ожиданіе предстоящаго выѣзда спозаранку волнуетъ ихъ, хотя выѣздъ назначенъ послѣ ранняго обѣда, часовъ около трехъ, и до обѣда предстоитъ еще провести нѣсколько скучныхъ часовъ за книжкой въ классѣ. Но имъ уже вѣжется, что на конюшнѣ запрягаютъ лошадей, чудится звонъ бубенчиковъ и даже голосъ кучера Алемпія.

По уходѣ дѣвушекъ, они въ восторгѣ вскакиваютъ съ кровати и начинаютъ кружиться по комнатѣ, раздувая рубашонками. Топотъ, пѣнье пѣсенъ, крики „ура“ наполняютъ дѣтскую.

— Чу, колокольчикъ звякнулъ!—сообщаетъ Гриша, внимательно прислушиваясь.

— Запрягаютъ—это вѣрно!—подтверждаетъ Степанъ: — еще намедни я слышалъ, какъ мать Алемпію приказывала: „въ пятницу, говорить, вечеромъ у престольнаго праздника въ Лыковѣ будемъ, а по дорогѣ къ Боровковымъ обѣдать заѣдемъ“.

— Ёдемъ! Ёдемъ!

Но восторги наши непродолжительны. Черезъ четверть часа уже раздаются въ корридорѣ шаги, слышавъ которые мы проворно прячемся подъ одѣяла. Входитъ матушкина наперсница Ариша и объявляетъ:

— Маменька велѣли сказать, что сейчасъ съ розгой придутъ.

Разумѣется, это только угроза, но она уничтожаетъ всякій поводъ для дальнѣйшихъ самообольщеній. Какъ и въ прошлые годы, насъ засадятъ съ утра за книжку и вплоть до обѣда заставить томиться.

Утро проходить тоскливо. Къ счастью, Марья Андреевна на этотъ разъ снисходительна и безпрестанно выходитъ изъ классной посмотрѣть, какъ бы, укладывая, не смяли ея „матѣрчатаго“ платья, которое у нея всего одно и бережется для выѣздовъ. Мы отвѣчаемъ уроки машинально, заглядывая въ окно и прислушиваясь къ шуму, который производятъ сборы.

Нетерпѣніе наше растетъ съ каждой минутой, такъ какъ все общается, что поѣздка предстоитъ благопріятная. Отецъ еще за чаемъ объявилъ, что на дворѣ всего три градуса холода, а такъ какъ санный путь только-что сталъ, то лошади, навѣрное, побѣгутъ бойко и незамѣтно доставятъ насъ въ Лыково. Ни одного ухаба, дорога какъ полъ, въ тихомъ воздухѣ гулко раздается звонъ колокольчиковъ и громыханье бубенчиковъ... Для такихъ несчастныхъ узниковъ, какими были мы, поѣздка въ подобныхъ условіяхъ сама по себѣ представляла цѣлую перспективу наслажденій. Ахъ, кабы поскорѣе! Поскорѣе бы вырваться изъ этого постылаго Малиновца!

Навонецъ, бьетъ часъ, подають обѣдать. Всѣ ѣдятъ наскоро, точно боятся опоздать; только отецъ, словно нарочно, медлитъ. Всегда онъ такъ. Тутъ, того гляди, къ третьему звону во всю ночь не попадемъ, а онъ въ каждый кусокъ вилокъ тыкаетъ, каждый глотокъ разговорцемъ пересыпаетъ.

— А послѣ обѣда одѣваться да умываться начнеть!—ворчить свозъ зубы братъ Степанъ.

И дѣйствительно, въ тремъ часамъ вся семья, укутанная по дорожному, уже въ сборѣ въ лакейской, а изъ отцовской спальни все еще доносятся звуки приводимаго въ движеніе рукомыльника.

— Скоро ли?—въ нетерпѣніи кричитъ матушка.

Но вотъ укутали и отца. На дворѣ уже спустились сумерки, но у насъ и люди, и лошади привычныя, и въ потьмахъ дорожку сыщутъ. Свѣжій вѣспительный воздухъ съ непривычки волнуется намъ кровь. Но ощущение это скоро уляжется, потому что черезъ минуту насъ затискаютъ въ крытый возокъ, и такъ, въ завулпуренномъ видѣ, и доставать по назначенію.

— Какъ бы вѣтеръ не разыгрался! — выражаетъ опасеніе матушка.

— Не знаю, какъ сказать, — отвѣчаетъ Алемшій: — врутить по дорогѣ, да и сверху мшица мжить. Не впервые; Богъ милостивъ!

— Еще бы! цѣлый часъ папенька около рукомойника валандался! тутъ хоть какая угодно погода испортится! — негодуетъ братъ Степанъ.

— Цыцъ... пострѣленокъ!

До Лывова считаютъ не больше двѣнадцати верстъ; но такъ какъ лошадей берегутъ, то этотъ небольшой переѣздъ беретъ не менѣе двухъ часовъ. Тѣмъ не менѣе, мы приѣзжаемъ на мѣсто, по крайней мѣрѣ, за часъ до всенощной и останавливаемся въ избѣ у мужичка, гдѣ происходитъ процессъ переодѣванія. Къ Гуслицынымъ мы поѣдемъ уже по окончаніи службы и останемся тамъ гостить два дня.

Гуслицины, бездѣтные старикъ и старуха, принадлежатъ къ числу зажиточнѣйшихъ помѣщиковъ нашего околотка. И Ома Алексѣичъ, и жена его Александра Ивановна очень усердные прихожане, и потому церковь залита огнями по праздничному. Почти всѣ гости ужъ на лицо: Пустотѣловы, Боровковы, Корочкины, Чепраковы, майоръ Клобутицынъ и съ нимъ человекъ четыре офицеровъ. Господа стоятъ впереди, одѣтые по праздничному; глубина церкви кишитъ простонародьемъ. Служба происходитъ парадная въ такъ-называемой „настоящей“ церкви (у праздника), которая, по случаю зимы, черезъ недѣлю закрывается вплоть до Пасхи.

По окончаніи всенощной, всѣ подходятъ къ хозяевамъ съ поздравленіями, а дѣти по очереди цѣлуютъ у старой полковницы ручку. Старушка очень привѣтлива, всякому найдетъ доброе слово сказать, всякаго спроситъ: „хорошо ли, душенька, учишься? слушаешься ли папеньку съ маменькой?“ — и, получивъ утвердительный отвѣтъ, потреплетъ по щекамъ и перекреститъ.

Въ просторномъ домѣ Гуслицыныхъ все уже готово къ приему дорогихъ гостей. Стѣны (по старинному, нештукатуренныя) и полы тщательно вымыты; въ комнатахъ слегка навурено лада-

номъ; по угламъ, передъ образами теплятся лампадки. Въ большомъ залѣ накрытъ ужинъ, а для желающихъ подается и чай. Но конецъ вечера проходитъ тихо, почти въ безмолвіи. Во-первыхъ, гости съ дороги устали, а во-вторыхъ такъ ужъ изстари заведено, что большіе праздники встрѣчаютъ въ благоговѣйномъ умленіи, избѣгая разговоровъ. Въ десять часовъ всѣ расходятся въ покой, причеиъ только самымъ почетнымъ гостямъ отводятся особыя комнаты, а прочіихъ укладываютъ, какъ попало, по диванамъ и въ-повалку на полу.

На другой день, съ утра начинается сущее столпотвореніе. Приѣзжая прислуга перебѣгаетъ съ рукомойниками изъ комнаты въ комнату, разыскивая господъ. Изъ всѣхъ угловъ слышатся возгласы:

- Параша! скоро ли умываться?
- Оеша! гдѣ же мой корсетъ?
- Маланья! опять мочалку забыла?

А въ залѣ, гдѣ разиѣстали на ночь подростковъ, они повскакали съ разостланныхъ на полу пуховиковъ и въ одиѣхъ рубашкахъ, съ крикомъ и хохотомъ, перебѣгаютъ изъ конца въ конецъ, по неровной поверхности, образуемой подушками и перинами, на каждомъ шагѣ спотыкаясь и падая. При этомъ происходитъ словесная перестрѣлка, настолько нецѣломудренная, что дѣвушки, стоящія у рукомойниковъ, безпрестанно покрикиваютъ:

- Ишь вѣдь, что говорить... безстыдники!

Кстати скажу здѣсь: вообще въ мое время дѣти были очень невоздержны на языкъ, и лексиконъ срамныхъ словъ самаго послѣдняго разбора былъ достаточно между ними распространенъ. Къ счастью, брань слетала съ языка скорѣе машинально, по наслышкѣ, въ родѣ хвастовства, нежели сознательно, такъ что дѣйствительное значеніе ея оставалось загадкой. По крайней мѣрѣ, мнѣ помнится, что когда я, будучи десяти лѣтъ, поступилъ въ московскій дворянскій институтъ, гдѣ всякое срамное слово уже произносилось съ надлежащимъ смавомъ, то ровно ничего не понималъ, хотя самыя слова мнѣ были давно извѣстны.

По приѣздѣ отъ обѣдни, начинается безпрерывная ѣда, такъ какъ въ этомъ, собственно говоря, и состояло наше захолустное раздолье. За чаемъ слѣдуетъ закуска, которая не снимается со стола вплоть до обѣда; послѣ обѣда особо подаютъ десертъ, затѣмъ пѣужинъ и т. д. до самой ночи. Въ особенности барыни, какъ усядутся въ гостиной кругомъ стола съ закуской, такъ и не оторвутся отъ него. Изрѣдка, ѣда перемежается тѣмъ, что кто-нибудь изъ барышень или изъ офицеровъ сядетъ за старыя

клавикорды и споетъ романсъ. Любимыми романсами въ то время были: „Прощаюсь, ангель мой, съ тобою“, „Не шей ты мнѣ, матушка“, „Что затуманилась, зоренька ясная“, „Талисманъ“, „Черная шаль“ и т. д. Я, впрочемъ, не помню, чтобы встрѣчались хорошіе голоса, но хуже всего было то, что и пѣвцы, и пѣвицы пѣли до крайности вычурно; глотали и коверкали слова, картавили, закатывали глаза и вообще старались дать понять, что, въ случаѣ чего, недостатка по части страстности опасаться нѣтъ основанія. Заслышавши пѣніе, маменьки выползаютъ изъ гостиной въ залъ и устраиваютъ уже настоящую выставку талантовъ, а солидные мужчины, неохотники до дивертисментовъ, забираются въ билліардную, гдѣ тоже ставится закуска и водка. У всякой барышни есть какой-нибудь танецъ, въ которомъ она спеціально отличается. Вѣрочка Чепракова танцуетъ „По улицѣ мостовой“; одной ручкой подбоченится, другую подниметъ вверхъ и скруглитъ; затѣмъ поплыветъ по залу и пошевеливаетъ плечиками, подманивая прапорщика Синеусова, который изо всѣхъ силъ стучитъ сапогами, стараясь изобразить лихого русскаго парня. Өеничка Боровкова отлично пляшетъ по-цыгански. Откинетъ головку назадъ, разбѣжится изъ одного конца залы въ другой, потомъ обратно, потомъ начнетъ кружиться, а за ней то же самое повторяетъ прапорщикъ Завулоновъ, и никакъ не можетъ Өеничку изловить... Разумѣется, куда дочки показываютъ товаръ лицомъ, маменьки хлопаютъ въ ладоши и поочереды поздравляютъ другъ друга.

Такимъ образомъ, утро проходитъ довольно однообразно. Гости, очевидно, еще не вошли въ праздничную колею. Барышни, показавши таланты, начинаютъ попарно ходить взадъ и впередъ по анфиладѣ комнатъ, перешептываясь съ офицерами; маменьки, похваставшись дочерьми, снова присаживаются поближе къ закуску; даже между дѣтьми оживленія не видать. Хотя старая полковница уже нѣсколько разъ предлагала имъ побѣгать и поиграть, но они не успѣли еще возобновить между собой знакомства, прерваннаго продолжительнымъ уединеніемъ, въ которомъ ихъ держала все лѣто сельско-хозяйственная страда. Чинно и смиренно бродятъ они слѣдомъ за барышнями и рассказываютъ другъ другу неблизцы въ лицахъ. Ваня Боровковъ сообщаетъ, что ихній кучеръ Пармѣнъ недавно на всемъ скаку зайца кнутомъ пополамъ перерѣзалъ; Сашенька Пустотѣлова — что у нихъ корова Бѣлогрудка цѣлыхъ три года пропадала, и вдругъ проплымъ лѣтомъ пошли въ лѣсъ, а она забралась въ самую чащу и ужъ съ тремя телятами ходить.

— Такъ безъ быка и отеллась?—удивляется Сонечка Корочкина.

— Нѣтъ, послѣ узнали, что быкъ въ ней въ гости ходилъ. Замѣтили, что онъ часто изъ стада пропадаетъ, и начали слѣдить...

— Нѣтъ, это чтò! — прерываетъ Петя Корочкинъ: — вотъ у васъ кучеръ такъ молодець! Прошлаго года зимой попалъ со всей тройкой и съ санями въ прорубь; видитъ — бѣда неминуемая, взялъ да и разогналъ подо льдомъ лошадей... И вдругъ выскочилъ изъ другой проруби!

Наконецъ, братъ Степанъ рассказываетъ, что въ малиновецкомъ саду такая лягушка завелась, что какъ только прыгнетъ, такъ изъ нея червонецъ вылетитъ.

— И много ты такихъ червонцевъ набралъ?—завидуютъ ему.

— То-то, братцы, что штука эта не простая. Пытался я хоть одну монетку подтирить, да только-что наклонюсь, анъ она въ моихъ глазахъ и растаетъ!

Вообще хвастовство, какъ и сквернословіе, въ большомъ ходу между дѣтьми. Повидимому, они наслѣдовали это качество отъ отцовъ и значительно приумножали это наслѣдіе позаймствованіями, сдѣланными у челядинцевъ.

Насъ, дѣтей Затрапезныхъ, сверстники не долюбиваютъ. Быстрое обогащеніе матушки вызвало зависть въ сосѣдяхъ. Старшіе, конечно, остерегаются высказывать это чувство, но дѣти не чинятся. Они пристають къ намъ съ самыми ехидными вопросами, сюжетомъ для которыхъ служатъ скопидомство матушки и та приниженная роль, которую играетъ въ домѣ отецъ. Въ особенности неприятна въ этомъ отношеніи Сашенька Пустотѣлова, шустрая дѣвочка, которую всѣ боятся за ея злой языкъ.

— Правда ли, что у васъ недавно бунтъ былъ изъ-за того, что ваша мамаша велѣла большую корову зарѣзать и людямъ въ застольную отдать?—пристаетъ она къ намъ.

Или:

— Правда ли, что папенька вашъ изъ старыхъ писемъ сургучныя печати вырѣзываетъ, а на внутренней сторонѣ конвертовъ письма старшимъ дѣтямъ пишетъ?

Нерѣдко приставанья эти длятся цѣлое утро. Поэтому понятно, что первое время мы ходимъ нѣсколько сконфуженные и ждемъ не дождемся обѣда, послѣ котораго обыкновенно затѣваются игры и заставляютъ нашихъ сверстниковъ и сверстницъ позабыть о Малиновцѣ и его порядкахъ.

Обѣдъ подается по праздничному, въ три часа, при свѣчахъ, и дится, по крайней мѣрѣ, полтора часа. Цѣлая масса лакеевъ,

своихъ и чужихъ, служить за столомъ. Готовятъ три повара, изъ которыхъ одинъ отличается по части старинныхъ русскихъ кушаньевъ, а двое обучались въ Москвѣ у Яра, и выписываются въ деревню зимою на нѣсколько недѣль. Сверхъ того, для пирожныхъ имѣется особенный кондитеръ, который учился у Педотти и умѣетъ дѣлать конфеты. Вообще, въ кулинарномъ отношеніи Гуслицыны не уступаютъ даже Струнниковымъ.

Разнообразная и вкусная ѣда на первыхъ порахъ оттѣсняетъ на задній планъ всякіе другіе интересы. Среди общаго молчанія слышно, какъ гости жуютъ и дуютъ. Только съ половины обѣда постепенно разыгрывается обычная бесѣда, темой для которой служатъ выяснившіеся результаты лѣтнаго урожая. Оказывается, что лѣто прошло благополучно, и потому всѣ лица сіяютъ удовольствіемъ, и собесѣдники не прочь даже прихвастнуть. — И урожай хорошъ, и заготовки вышли удачныя, только вотъ грибовъ не родилось: придетъ великій постъ, въ щи покинуть нечего! И замѣтите, ужъ третій годъ безъ грибовъ сидимъ, а рыжика такъ и въ поминѣ давнымъ давно нѣтъ, — что бы за причина такая?

— А та и причина, что настоящихъ грибныхъ дождей не бывало! — разрѣшаетъ какая-нибудь опытная хозяйка.

— Нѣтъ, кажется, и дождей не мало прошлымъ лѣтомъ было, — возражаетъ другая опытная хозяйка: — а такъ, должно быть, не въ году...

— Были дожди, да не грибные, — настаиваетъ первая: — иной разъ цѣлое лѣто льютъ дожди, а грибами и не пахнеть. А отчего? — оттого, что дожди не тѣ! И вдругъ подъ самый конецъ грянетъ грибной дождикъ — и поидеть, и поидеть! И рыжики, и грузди, и бѣлые грибы... обору нѣтъ!

— Дивны дѣла Твои, Господи! вся премудростію сотворилъ еси! — отзывается голосъ съ мужского конца стола.

Наконецъ, подають нетерпѣливо ожидаемое дѣтми пирожное. Оно двухъ сортовъ. Сначала разносятъ фигурные вѣнички, сдѣланные изъ нарѣзаннаго миндаля; потомъ — желѣ малиноваго цвѣта съ прилѣпленною во внутренней пустотѣ восковою свѣчей. Эффектъ, производимый этимъ своеобразнымъ освѣщеніемъ, всѣхъ приводитъ въ восторгъ.

— Ишь вѣдь, до чего дошли! — любится Надежда Игнатьевна Корочкина: — не только для вкуса, да и для глазъ чтобы приятно было! Скоро ладиколономъ вспрыскивать будутъ, чтобъ и пахло хорошо!

— Эту новинку нашъ Сидорка-кондитеръ изъ Москвы принесъ,



—сообщаетъ хозяйка:—нынче, говорить, у главнокомандующаго всегда за парадными обѣдами такое желѣ подають.

— Это еще что! калеты въ папильѣткахъ выдумали!—привыкаетъ полковникъ:—возьмутъ, въ бумагу калетку завернуть, да вмѣстѣ съ соусомъ и жарять. Мнѣ, признаться, Сенька-поваръ вызывался сдѣлать, да я только рукой махнулъ. Думаю: что ужъ на старости лѣтъ новыя моды заводить! А впрочемъ, коли угодно, завтра велю изготовить.

— Вели, сударь, вели! пускай дорогіе гости попробуютъ!—рѣшаетъ старушка-полковница.

Но вотъ гости съ шумомъ отодвигаютъ стулья и направляются въ гостиную, гдѣ уже готовъ десертъ: моченныя яблоки, финики, изюмъ, смовва, разнообразное варенье и проч. Но солидные гости и сами хозяева не прикасаются къ сладостямъ и скрываются на антресоли, чтобы отдохнуть часика два вдали отъ шума. Внизу, въ парадныхъ комнатахъ остаются только молодые люди, гувернантки и дѣти. Начинается дѣтская кутерьма.

Дѣтскія игры того времени были очень разнообразны и притомъ совершенно чужды мысли о соединеніи забавнаго съ полезнымъ. Я помню только слѣдующія: въ лошадей, фанты, жмурки и „сизу-посизу“.

Первая была самая любимая, потому что въ ней принимали участіе исключительно дѣти, что совершенно устраняло какія-либо стѣсненія. Подбирались тройки, причемъ коренныхъ лошадей и кучеровъ изображали мальчики, а пристяжныхъ—дѣвочки. Коренныя ржали и „шалили“, не сразу трогались съ мѣста, перемѣняли аллюры, бѣжали и вскачь, и рысью, и иноходью; пристяжныя отвѣчали тоненькими голосами ржанью коренниковъ и скакали, завиваясь въ кольцо; кучера махали веревочными кнутами. Поднимался невообразимый гвалтъ. Тройки вскачь неслись по корридорамъ и комнатамъ; шагомъ взбирались по лѣстницамъ, изображавшимъ собой горы, и наконецъ, наскочившись и набѣгавшись, останавливались на кормежку, причемъ „лошадей“ разставляли по угламъ, а кучера отправлялись за „овсомъ“ и, раздобывшись сладостями, одѣляли ими лошадей.

Въ фантахъ принимали участіе и взрослые. Обыкновенно, въ углу залы садилась одна изъ гувернантокъ и выкликала: „ворона летитъ! воробей летитъ!“—и вдругъ, совсѣмъ неожиданно: „Анна Ивановна летитъ!“ Если слово „летитъ“ было употреблено въ примѣненіи къ дѣйствительно летающему предмету, то играющіе должны были поднимать руку; если же оно было употреблено неподлежательно, то руку поднимать не слѣдовало. Преступав-

шіе это правило платили „фантъ“, заключавшійся въ гѣніи какого-нибудь романа, въ чтеніи стиховъ, а иногда и въ томъ, чтобъ по-очереди перецѣловать всѣхъ играющихъ.

Въ жмуркахъ и въ „сизу-посизу“ одному изъ играющихъ по жребію завязывали платкомъ глаза. Въ первой игрѣ участвующіе бѣгали по комнатѣ, а играющій съ завязанными глазами долженъ былъ „ловить“ и угадать, кого онъ поймавъ. Во второй участвующіе разсаживались по стульямъ, а играющій съ завязанными глазами садился по очереди ко всѣмъ на колѣни, и долженъ былъ угадать, у кого онъ сидитъ. Эту послѣднюю игру особенно любили барышни-невѣсты (а иногда и молодыя замужнія женщины), которыя подолгу засиживались на колѣняхъ у кавалеровъ. При этомъ нерѣдко кто-нибудь изъ дѣтей цинично восклицалъ:

— Что, словно налимъ о плотину, трешься! небось отлично знаешь, у кого на колѣнкахъ сидишь!

Къ семи часамъ, когда молодежь успѣла ужъ набѣгаться и наиграться, сходятъ съ антресолей солидные гости. Появляются лакеи съ подносами, установленными чашками съ чаемъ; за ними другіе разносятъ цѣлыя груды разнообразнаго печенья; десертъ въ гостиной освѣщается. Словомъ сказать, полагается начало новой ѣды, которая ужъ и не прекращается до глубокой ночи. Послѣ чаю, хозяева предлагаютъ молодежи протанцевать; за старья клавикорды усаживаютъ одну изъ гувернантокъ, и пары танцующихъ съ шумомъ разстнавливаются вдоль и поперекъ большой залы.

Изъ мелкихъ танцевъ въ то время извѣстенъ былъ только вальсъ, который танцовался чинно подъ музыку на мотивъ: „Ach, mein lieber Augustin“. Фундаментальными танцами считались: французская кадрили и мазурка, которыя существуютъ и нынѣ. Кромѣ того, танцовали „экоссезъ“ и „русскую кадрили“ (послѣднюю я, впрочемъ, только по имени помню), нынѣ совсѣмъ оставленные. Въ мазуркѣ принимали участіе и солидные гости, а въ особенности отличался Григорій Александрычъ Перхунъ. Онъ облачался для этого въ польскій костюмъ, лихо стучалъ по полу каблуками и по окончаніи фигуры становился на колѣни, подавая руку своей дамѣ, которая кружилась около него, выдѣлывая пѣ. Дама, съ своей стороны, бросала ему платокъ, который онъ ловилъ налету и, быстро вставши съ колѣнъ, дѣлалъ новый кругъ по залѣ, размахивая лѣвой рукой, въ которой держалъ свой трофей.

— Ни дать, ни взять, полякъ!—восклицали присутствующіе.

— Bravo! bravo, панъ Перхуновскій!—въ восторгѣ гудѣла вся зала, хлопая въ ладоши и передѣлывая на польскій манеръ фамилію расхолодившагося барина.

Около полуночи, веселье прекращалось, и день заключался ужиномъ.

Слѣдующій день былъ повтореніемъ предыдущаго, но проводился нѣсколько проще. Во-первыхъ, было не такъ людно, потому что часть гостей ужъ разъѣхалась, а во-вторыхъ, и оставшіеся гости чувствовали утомленіе послѣ вчерашней ночной кутерьмы. Зато ѣда, какъ будто, ожесточалась еще болѣе. Вечеромъ, танцы хотя возобновлялись, но не надолго, и въ десяти часамъ гости уже расходились на ночлегъ, предварительно попрощавшись съ гостепріимными хозяевами, такъ какъ завтра утромъ часамъ къ девяти предполагалось выѣхать изъ Лыкова, а старики въ это время очень часто еще нѣжились въ постели.

По дорогѣ въ Малиновецъ, мы обыкновенно заѣзжали къ Боровковымъ, у которыхъ проводили цѣлыя сутки, отъ Боровковыхъ къ Корочкинымъ и т. д., такъ что домой возвращались нерѣдко черезъ недѣлю. Затѣмъ, отдохнувши нѣсколько дней, объѣзжали другую сторону околотка, гостили у Пустотѣловыхъ и забирались въ Словущенское, гдѣ, начиная съ предводителя Струнникова, не пропускали никого и изъ мелкопомѣстныхъ.

Вездѣ пили и ѣли, но всего искреннѣе веселились въ Словущенскомъ, гдѣ, за исключеніемъ Струнниковыхъ, помѣщики были побѣднѣе и съ ними меньше чинились. У Слѣпушкиныхъ, напримѣръ, хотя и не танцевали, по причинѣ тѣсноты помѣщенія, но зато изъ всѣхъ усадебъ собирали сѣнныхъ дѣвушекъ, которыя пѣли подблюдныя пѣсни (мнѣ, помнится, это развлеченіе нравилось даже болѣе, нежели танцы). На ночь всѣ размѣщались по разнымъ усадьбамъ, и такимъ образомъ нѣсколько дней сразу переходили изъ дома въ домъ.

Собирались раза два-три въ зиму и въ Малиновцѣ, и я долженъ сказать правду, что въ этихъ случаяхъ матушка измѣняла своимъ экономическимъ соображеніямъ и устраивала праздники на славу. Да и нельзя было иначе. Домъ былъ громадный, помѣщенія для всѣхъ вдоволь, запасовъ — тоже. Притомъ же сами всюду ѣздили и веселились — стыдно было бы и сосѣдямъ не отплатить тѣмъ же.

Дней за пять до Рождества раздолье на время прекращалось, и помѣщики разъѣзжались по своимъ усадьбамъ, чтобъ встрѣтить праздникъ въ тишинѣ, среди семействъ.

— En classe! en classe!—провозглашали гувернантки къ

великому горю дѣтей, которымъ даже опомниться послѣ длиннаго рада праздниковъ не давали.

За нѣсколько дней до праздника, весь малиновецкій домъ приходилъ въ волненіе. Мыли полы, обметали стѣны, чистили мѣдные приборы на дверяхъ и окнахъ, перемѣняли шторы и проч. Потоки грязи лились по комнатамъ и корридорамъ; цѣлые вороха паутины и жирныхъ оскребковъ выносились на дѣвичье крыльцо. Въ воздухѣ носился запахъ прокислыхъ помоевъ. Словомъ сказать, вся нечистота, какая таилась подъ спудомъ въ теченіе девяти мѣсяцевъ (съ послѣдняго Свѣтлаго праздника, когда происходила такая же чистка), выступала наружу.

Въ кулинарномъ отношеніи приготовленія были не такъ сложны. Откармливался на скотномъ дворѣ боровъ на буженину и ветчину, да для отца ѣздили въ городъ за свѣжей говядиной. Только и всего.

Ни ёлки, ни праздничныхъ подарковъ, ничего такого, что предназначалось бы спеціально для дѣтей, не полагалось. Дѣти въ нашемъ семействѣ были не въ авантажѣ.

Къ сочельнику все было готово, и этотъ день проводили уже въ абсолютномъ бездѣйствіи и тишинѣ. Даже сѣнныя дѣвушки были освобождены отъ урочныхъ работъ и праздно толпились въ дѣвичьей и сосредоточенно вздыхали, словно ожидая, что съ минуты на минуту отдернется завѣса, скрывающая какую-то великую тайну. Никто, не исключая и дѣтей, до звѣзды не ѣлъ; обѣдать подавали не ранѣе пятого часа, но отецъ обыкновенно и къ обѣду не выходилъ, а ограничивался двумя чашками чая, которыя выпивалъ послѣ всеобщей на сонъ градушій. Обѣдъ былъ строго постный и преимущественно состоялъ изъ сладкихъ блюдъ. Въмѣсто супа подавали „взварецъ“ изъ сушеныхъ грушъ, чернослива и изюма; затѣмъ слѣдовали пудинги, облитые морсомъ, и наконецъ овсяный кисель съ медовою сытою.

Около семи часовъ, служили въ домѣ всеобщую. Образная, сосѣднія комнаты и корридоры наполнялись молящимися. Не только дворовые были на-лицо, но приходили и почетнѣйшіе крестьяне изъ села. Всеобщую служили чинно съ муропомозаніемъ, а за нею слѣдовалъ длинный молебень съ водосвятіемъ и чтеніемъ трехъ-четырёхъ аваѣистовъ. Служба кончалась поздно, не раньше половины десятого, послѣ чего на-скоро пили чай и спѣшили въ постели.

Рождественское утро начиналось спозаранку. Въ шесть ча-

совъ, еще далеко до свѣту, весь домъ былъ въ движеніи; всѣмъ хотѣлось поскорѣе „отмолиться“, чтобы разговѣться. Обѣдня начиналась ровно въ семь часовъ и служилась на-скоро, потому что священнику, независимо отъ поздравленія помѣщиковъ, предстояло обойти до обѣда „со святомъ“ все село. Церковь, разукрасится, была до тѣноты наполнена молящимися.

По пріѣздѣ отъ обѣдни, дѣти цѣловали у родителей ручки, а иногда произносили поздравительные стихи. Къ чаю въ этотъ день вся семья собиралась вмѣстѣ, не исключая даже тетенежь-сестрицъ. Старались провести время безъ ссоръ и избѣгали всякихъ поводовъ къ столеновенію. Матушка ласково заговаривала съ золовками; послѣднія умильно на нее посматривали. Отецъ, очень рѣдко обращающій вниманіе на дѣтей, на этотъ разъ измѣнялъ своему обычаю и шутить съ нами. Но въ то же время было замѣтно, что всѣ спѣшили отпить чай поскорѣе, чтобы какъ-нибудь ненарокомъ не проронить слова, которое праздничную идиллію какъ бы волшебствомъ обратило бы въ обыкновенную будничную свару.

Праздновали Рождеству три дня; въ теченіе этого времени дворян раздѣлялась на три смѣны, изъ которыхъ каждой предоставлялось гулять на селѣ по одному дню. Но мы, дѣти, надо сказать правду, проводили эти дни очень невесело. Безъ дѣла слонялись по параднымъ комнатамъ, ведя между собой безсвязные и вялые разговоры, опасаясь замарать или разорвать хорошее платье, которое, ради праздника, надѣвали на насъ, и избѣгая слишкомъ шумныхъ игръ, чтобы не нарушать праздничное настроеніе. Все въ домѣ смотрѣло сонно, начиная съ матушки, которая, не принимая никакихъ докладовъ, не знала, куда дѣваться отъ скуки, и разъ по пяти на дню ложилась отдыхать, и кончая сѣнными дѣвушками, которыя, сидя празднично въ дѣвичьей, съ утра до вечера дремали. Таковъ былъ общій тонъ, съ которымъ обязательно и мы должны были согласовать свое поведеніе.

Новый годъ весь уѣздъ встрѣчалъ у предводителя Струникова, который давалъ по этому случаю балъ. Вереница экипажей съѣзжалась 31-го декабря со всѣхъ сторонъ въ Слобущенское, причемъ помѣщики покрупнѣе останавливались въ предводительскомъ домѣ, а бѣдные—на селѣ у мелкопомѣстныхъ знакомыхъ. Впрочемъ, о предводительскомъ балѣ я уже говорилъ въ своемъ мѣстѣ, и болѣе распространяться объ этомъ предметѣ не считаю нужнымъ.

Въ продолженіе всего рождественскаго мясоѣда безъ пережки шли съѣзды и гощенія, иногда многолюдные и парадные;

но большею частью запросто въ кругу близкихъ знакомыхъ. Въ числѣ этихъ собраній въ особенности выдавался балъ, который давалъ въ городѣ расквартированный въ нашемъ уѣздѣ полкъ. Этотъ балъ и новогодній предводительскій считались кульминантными точками захоластнаго раздолья.

Словомъ сказать, цѣлыхъ три мѣсяца сряду захоластье ѣло, пило и гудѣло, какъ пчелы въ ульѣ. Въ это же время, и молодые люди сходились между собой. Происходили предварительныя ухаживанья, затѣвались свадьбы, которыя отчасти игрались въ рождественскій мясоѣдъ, отчасти отлагались на красную горку.

Масляницу проводили дома. Всѣ были настолько возбуждены, что казалось рискованнымъ перейти прямо къ безмолвію и сосредоточенности великаго поста. Поэтому масляницей пользовались какъ удобнымъ переходнымъ временемъ, чтобы отдохнуть отъ трехъ-мѣсячной сутолоки и изгнаніемъ мяса изъ кулинарнаго обихода приготовить желудокъ къ принятію грибной пиши.

Блины, блины и блины! Блины гречневые, пшеничные (красные), блины съ яйцами, съ снѣтками, съ лукомъ...

На первой недѣлѣ великаго поста отецъ говѣлъ вмѣстѣ съ тетеньками-сестрицами. Въ чистый понедѣльникъ до усадьбы доносился звонъ маленькаго церковнаго колокола, призывавшій къ часамъ и возвѣщавшій конецъ пошехонскому раздолью...

---

*Р. С. Отъ автора.* Здѣсь кончается первая часть записокъ Никанора Затрапезнаго, обнимающая его дѣтство. Появится ли продолженіе хроникѣ—объщать не могу; но ежели и появится, то, конечно, въ менѣе обширныхъ размѣрахъ, всего скорѣе въ формѣ отрывковъ. Я чувствую, что уже послѣднія главы написаны слабо и небрежно, но прошу читателей отнестись къ этому снисходительно. Масса образовъ и фактовъ, которую пришлось вызвать, подѣйствовала настолько подавляющимъ образомъ, что явилось невольное утомленіе. Поэтому, я и кончилъ, быть можетъ, раньше, нежели предполагалъ, но во всякомъ случаѣ съ полнымъ и непритворнымъ удовольствіемъ пишу здѣсь:

К о н е ц ъ .

Н. Щедринъ.



---

# ЛЕКОНТЬ ДЕ-ЛИЛЬ

ИЗЪ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

---

## I.

Въ XIX-мъ вѣкѣ, историческія науки, языковѣденіе, искусства, поэзія—все содѣйствуетъ обогащенію и осложненію нашей духовной жизни. Поэзія, которая пользуется результатами наукъ и располагаетъ средствами искусствъ, принадлежитъ предъ всѣми другими преимуществу приобщать насъ жизни отдаленнѣйшихъ временъ и народовъ, вводитъ насъ въ ихъ нравственную атмосферу; она живетъ душой дальнихъ народовъ, отжившихъ поколѣній.

Первая поэтическая попытка такого всенароднаго общенія была сдѣлана въ концѣ прошлаго вѣка Гердеромъ, который въ „Головахъ народовъ“ собралъ съ юга и сѣвера, востока и запада глѣсны культурныхъ и не-культурныхъ народовъ, какъ образцы свободнаго національнаго или мѣстнаго творчества. Романтическая школа послѣдовала за нимъ по широкому пути поэтическаго космополитизма, охватившаго впослѣдствіи и другія страны.

Затѣмъ вся новѣйшая литература въ большей или мѣньшей мѣрѣ, посредственно или непосредственно, сдѣлалась восприимчивой этого космополитическаго направленія. Самымъ серьезнымъ и послѣдовательнымъ представителемъ его въ наше время во Франціи является Леконтъ де-Лиль. Имя его получило громкую извѣстность очень недавно. Среди массы поэтическихъ дарovitостей и посредственностей, которыя кипятъ и соперничаютъ въ Парижѣ, имя Леконта де-Лилиа долго ступшеывалось. Этому трудно найти причины, — и ближайшая изъ нихъ та, что онъ никогда

не льстили вкусамъ читающаго большинства, и равно, какъ человекъ и какъ поэтъ, одинаково сохранялъ положеніе безстрастнаго наблюдателя и поэта-художника, гордаго и неотзывчиваго. О немъ знали развѣ только, что онъ принадлежитъ въ группѣ „ragpassiens“, что онъ написалъ „Poèmes barbares“, почему-то болѣе всѣхъ извѣстныя; о немъ говорили, что онъ поэтъ объективный, представитель „безличной“ поэзіи и пессимистъ. Но мало кто читалъ его произведенія. Въ самомъ Парижѣ съ нимъ хорошо знакомы только въ литературныхъ кружкахъ. Нѣтъ года, какъ всѣ газеты заговорили о томъ, что онъ принятъ въ академію, и заговорили именно потому, что предшествующая избранію борьба была хотя и глухая, но продолжительная, и приемъ былъ почти враждебный, рѣчь — колкая.

Леконтъ де-Лиль — старшій изъ группы „ragpassiens“, нѣкогда провозглашавшихъ, что красота — высшая и единственная цѣль поэзіи; но нельзя назвать его вожакомъ ихъ. Сходство съ многими изъ нихъ несомнѣнно, но онъ оригинальнѣе и разнообразнѣе всѣхъ. Гередія (Heredia) въ своихъ сонетахъ отличается такою же точностью и рельефностью, и это все. Симпатичный Сюлли-Прюдомъ — весьма изящный поэтъ затаенной мысли, болѣзненнаго анализа. Его иронически называютъ поэтомъ Faubourg St. Germain, между тѣмъ какъ Леконтъ де-Лиль, несмотря на такія же качества, не пользуется большою любовью въ высшихъ слояхъ общества. Съ перваго взгляда бросается въ глаза сходство „Légende des siècles“, Виктора Гюго, съ „Poèmes antiques“, „Poèmes barbares“. Но, даже бѣгло просмотрѣвъ тѣ и другія, всякій легко убѣдится, что помимо замысла, и по тону, и по содержанию, онѣ имѣютъ мало общаго. Если за В. Гюго нужно признать качества, которыхъ мы напрасно искали бы у Леконта де-Лиль, то, съ другой стороны, у В. Гюго нѣтъ ни той чуткости, ни той изящной законченности въ воспроизведеніи временнаго и мѣстнаго, ни той способности отказаться отъ своего личнаго я, чтобъ жить съ отжившими вѣками, противнуться ихъ идеалами, мыслями и чувствами. А по художественности формы наврядъ ли кто-либо изъ современныхъ поэтовъ выше Леконта де-Лиль. Онъ до сихъ поръ среди литераторовъ занималъ то же изолированное положеніе, какъ и въ литературѣ, и этимъ напоминаетъ А. де-Виньи, о которомъ С.-Бѣвъ говорилъ, что онъ живетъ „на высокой башнѣ изъ слоновой кости“, удачно характеризуя этимъ его аристократическое изолированіе, какъ и высокой полетъ и идеальную чистоту его произведеній. Трудно свазать, гдѣ охотнѣе пребываетъ Леконтъ



де-Лиль: подъ южными ли пальмами, или подъ греческими портиками, но только никакъ не въ Парижѣ и не въ современности, которая внушаетъ ему однѣ мрачныя мысли и горькіе упреки; онъ потому и отводитъ ей самое незначительное мѣсто, по крайней мѣрѣ въ своихъ поэтическихъ замыслахъ. Но такая „*tour d'ivoire*“ можетъ нынѣ оградить поэта отъ современныхъ вѣяній, отъ вліяній, которыми насыщена атмосфера, отъ унаслѣдованныхъ поколѣніями другъ отъ друга воззрѣній и тенденцій, наконецъ отъ всего того, что живетъ и дышетъ въ книгахъ?

Поищемъ же причину исключительнаго положенія Леконта де-Лилья, этого замѣчательнѣйшаго изъ поэтовъ нашего времени.

Передъ нами три тома его произведеній (не говоримъ о его переводахъ греческихъ трагиковъ): „*Poèmes antiques*“, „*Poèmes barbares*“, „*Poèmes tragiques*“.

Начнемъ съ гимна, заимствованнаго изъ Веды и озаглавленнаго: „*Sûryâ*“ (Sûryâ)—богъ солнца у индусовъ. Вотъ самый текстъ гимна: „Ты обитаешь у береговъ древнихъ океановъ, Владыка! Вѣковѣчныя воды омываютъ священныя стопы твои. Да разсѣтъ морской вѣтеръ ночную нѣгу,—встань, покажись во всей славѣ своей... Ты катишься какъ потокъ, о, царь, источникъ бытія! Необъятный видимый міръ пронизанъ твоимъ блескомъ, потоки твоего свѣта трепещутъ въ пространствѣ. Сила и величіе твое бьются во всемъ живущемъ.—Лучезарный воинъ, ты шествуешь по небу, не зная границъ ни въ пространствѣ, ни во времени. Ты, который проливаешь въ нѣдра могучей земли плодотворную струю божественнаго тепла, царь вселенной, услышь насъ и возьми подъ щитъ свой людей съ чистою кровью, тѣ мирныя поколѣнія, которыя востѣвваютъ тебя на берегу древнихъ океановъ!“

Затѣмъ идутъ: „Смерть „Вальмики“, „Лугъ Сивы“, „Видѣніе Брами“ и др. Въ „*Poèmes barbares*“, во главѣ стоитъ поэма „*Кайнъ*“, а далѣе: „*Неферу-Ра*“, „*Генезисъ Полинезіи*“, „*Легенда Норнъ*“, „*Видѣніе Снорра*“ и т. д.

Очевидно, мы имѣемъ дѣло съ поэзіей, такъ сказать, эрудиціонной, пониманіе которой требуетъ подготовки. Этнографія, культурная исторія, археологія, послужили тутъ фундаментомъ; въ поэмахъ масса деталей изъ бытовой и исторической жизни народовъ; мифы и космогонія, саги и легенды, обычаи и вѣрованія, названія оружія и сосудовъ—все это переполняетъ произведенія Леконта де-Лилья и даетъ каждому своеобразный колоритъ, но затрудняетъ читателя, требуя отъ него самыхъ разнообразныхъ свѣденій.

Впрочемъ не однихъ познаній требуютъ подобныя поэтическія

произведенія: для полной оцѣнки ихъ нужна еще особенная воспримчивость фантазіи, навыкъ и способность примѣняться къ тону и содержанію. Прочтите у него греческое стихотвореніе послѣ гимна изъ Ригведы или спекулятивнаго мудрствованія буддистовъ, и оно покажется вамъ безцвѣтнымъ, пожалуй даже наивнымъ. Вчитавшись въ греческія стихотворенія, вернитесь къ метафизикѣ индусовъ, къ торжественному паэосу браминовъ, и вы найдете ихъ темными и запутанными. Красота и грація первыхъ и величественность вторыхъ представляютъ слишкомъ рѣзкій контрастъ; примѣненіе къ нимъ требуетъ вдумчивости и труда. Такими контрастами полны произведенія Леконта де-Лилля, и въ этомъ вся своеобразность и сила его таланта. Нужно замѣтить, что ни въ одномъ томѣ содержаніе не соответствуетъ вполне заглавію: въ каждомъ есть античныя стихотворенія, въ каждомъ есть и поэмы изъ временъ варварскихъ, рисующихъ средневѣковую жизнь. Заглавіе книги опредѣляется только преобладаніемъ одной какой-нибудь эпохи; всѣ они болѣе или менѣе *трагичны*, и въ нихъ преобладающая нота—трагизмъ человѣческихъ судебъ. Поэтъ облачаетъ варварство и въ культурныхъ временахъ, и видитъ трагедію въ жизни всего человѣчества. Такая разрозненность содержанія и несоответственность заглавій обуславливаются большими промежутками времени, въ которые появлялся каждый отдѣльный томъ.

Леконтъ де-Лиль родился въ 1818 г. и сравнительно написалъ немного, что и не удивительно: при тщательной отдѣлкѣ работа всегда идетъ медленно. Гередіа написалъ также всего одинъ томикъ сонетовъ, но трудно было бы прибавить, выкинуть или измѣнить хоть одно слово въ нихъ безъ ущерба стихотворенію. Впрочемъ обожаніе формы у французовъ составляетъ традицію, начиная съ Малерба, который среднимъ числомъ отчеканивалъ около 35-ти стиховъ въ годъ—не болѣе. Этой традиціи измѣнили только тогда, когда проза вытѣснила поэзію, какъ въ XVIII-мъ вѣкѣ, или во время того сильнаго литературнаго броженія, во главѣ котораго сталъ В. Гюго. Но рядомъ съ поэтическимъ произволомъ романтическая школа стяжала виртуозность въ разнообразныхъ формахъ поэзіи, въ рельефности и колоритѣ. Группа поэтовъ „*parnassiens*“ отличается именно тщательной отдѣлкой формы; романтическая ширь у нихъ уступила мѣсто выдержанности, законченности. Эпитоны-романтики въ Германіи, Рюккертъ и Платенъ, также отличались мастерствомъ отдѣлки и разнообразіемъ поэтическихъ формъ. Французскіе романтики искали реализма; „*parnassiens*“ главнымъ образомъ заботятся о красотѣ.

Леконтъ де-Лиль стоитъ во главѣ этого послѣдняго направле- нія, какъ художникъ и какъ противникъ современнаго реализма. Онъ не любитъ высказывать ни личныхъ чувствъ, ни говорить о настоящей минутѣ, онъ обозрѣваетъ предметы издали; у него нѣтъ ничего интимнаго и обыденнаго. Это поэтъ-аристократъ, замкну- тый и величавый, который смотритъ на все задумчиво и свысока; изображаетъ преимущественно отдаленное прошлое или отдален- ное будущее, историческіе перевороты или космическіе катаклизмы, и, какъ мыслитель, вдумывается въ міровоззрѣнія народовъ, а какъ художникъ—передаетъ ихъ съ замѣчательной поэтической силой. У него нѣтъ ни одного крупнаго произведенія, вполне самобытнаго, съ широкимъ замысломъ, съ изобрѣтенными подробностями. Его поэмы всѣ возникли на основаніи исторической или мифической фа- булы, а наука снабдила его подробностями; но, благодаря поэтиче- скому ясновидѣнію, всѣ эти подробности встаютъ передъ читате- лемъ съ удивительною отчетливостью, съ яркимъ колоритомъ. Та- кого рода творчество видимо указываетъ скорѣе на объективную поэзію, чѣмъ на выраженіе личности. Но личность сказывается не въ одномъ произволѣ творчества, какъ и не въ однихъ ли- рическихъ изліяніяхъ. Не менѣе опредѣляется она общимъ то- номъ произведенія, т.-е. вводимыми подробностями и окраской ихъ, какъ и самымъ выборомъ сюжета. Часто употребляемыя выраженія: объективный и субъективный, идеализмъ и реализмъ— относительныя. Гдѣ нѣтъ хоть частицы обоихъ элементовъ, тамъ нѣтъ и поэзіи. Вопросъ въ томъ: чтѣ увидитъ поэтъ въ жизни? какъ отнесется къ видѣнному? чтѣ скажетъ ему исторія, и на чемъ онъ въ ней остановится? Различно смотритъ на событія даже историкъ, отъ котораго мы ждемъ только передачи фактовъ. Воз- можна ли послѣ этого абсолютная объективность въ поэтѣ?

Двѣ поэмы, помѣщенныя въ началѣ „*Roèmes antiques*“, ука- зываютъ на Магабарату или, вѣрнѣе, на Багавать-Гиту, часть Магабараты, вѣроятно позднѣйшую вставку дидактическаго со- держанія. Багавать-Гита имѣетъ большое значеніе и интересъ при изученіи индійской поэзіи, такъ какъ въ ней изложена сущ- ность міровоззрѣнія индусовъ. Въ Багавать-Гитѣ впервые раздался въ поэзіи вопль мировой скорби: „Горе жизни—скорбной, непо- стоянной въ этомъ мірѣ! Она—корень и источникъ всякаго зла, зависящая, исполненная недуговъ. Безмѣрное страданіе неразлучно съ жизнью, ибо жизнь и страданіе тождественны“.

Въ Багавать-Гитѣ находится и то выраженіе пантеизма, ко-

тому такъ часто подражали въ новой поэзіи: „Я источникъ мірозданія, я же и разрушеніе. Мною все держится, какъ жемчугъ, нанизанный на нити. Я—сокъ жидкости, я—свѣтъ солнца и луны; я—благочестіе, скрытое въ священныя книги, звучитъ въ воздухѣ, разумъ въ человѣкѣ. Я — чистое дуновеніе и сила земли, свѣтъ изъ свѣта, жизнь всего сущаго; покаяніе кающихся, зародышъ всякой жизни споконъ вѣковъ; я—мудрость мудрыхъ и слава славныхъ; я—сила въ сильномъ, я же и любовь въ живущихъ, отрѣшившихся отъ гордыни и себялюбія, — любовь, не знающая ни закона, ни границъ“.

„Багаватъ“—это одно изъ именъ Будды; а на Будду индусы смотрятъ какъ на одно изъ воплощеній Браммы. Эта поэма даетъ поэту поводъ изложить сущность индійской метафизики. Вотъ содержаніе ея въ сокращенномъ видѣ.

На берегахъ Гангеса три мудреца сидѣли, погруженные въ думу. Жизнь безконечная, необъятная, величественная билась, трепетала, сверкала, вздымалась и плыла вокругъ. Зарывшись живо въ суровыя мечты и неземное бездѣйствіе, нѣмые, обремененные годами, они направили думы на созерцаніе души и сущности всего видимаго и черпали наслажденія изъ невидимаго міра. Солнце, клонясь къ закату, озарило ихъ пурпуровымъ сіяніемъ, и каждый изъ нихъ прервалъ рѣчью мистическую тишину.

Мудрецъ *Майтрея* въ молодости видѣлъ дѣву, прекрасную какъ заря; отъ нея вѣяло свѣжестью, подобно дуновенію лѣса; вротость и стыдливость сіяли во взорѣ ея. „И я съ любовью слѣдилъ за юнымъ призракомъ, дорогимъ мнѣ; но приблизиться къ нему не могъ. О, святое созерцаніе сущности бытія, изгладь изъ сердца моего воспоминаніе объ этомъ станѣ, этихъ очахъ, чары которыхъ нарушаютъ миръ, даруемый тобой! Блаженный Багаватъ, прими меня подъ сѣнь небесныхъ смоковницъ, столбистеннаго лотоса, дабы я, освободившись отъ жгучихъ желаній, могъ всецѣло потонуть въ тебѣ, какъ въ океанѣ!“

Мудрецъ *Нарада* взываетъ къ богу, ибо не можетъ забыть своего одиночества на землѣ; утренней и вечерней зарей воспоминаетъ онъ о матери, единственной любви его на землѣ. Однажды, когда онъ скорбный сидѣлъ у берега водъ, онъ увидѣлъ дивный лотосъ, отъ котораго исходило сіяніе; это сіяніе росло и манило его; онъ понялъ священный знакъ, и съ тѣхъ поръ, храня образъ въ душѣ, проводитъ дни въ отрѣшеніи отъ міра, но въ душѣ подчасъ гаснетъ свѣтъ и медленъ возвратъ его.

Третій, *Анжира*, обуреваемъ сомнѣніями. Напрасно онъ удался отъ искушеній міра и слушалъ мудрецовъ,—спокойствія

онъ не нашель. Начало, конецъ и формы бытія остались для него тайной. И брамины плакали въ душевной тоскѣ своей.

Слѣдуетъ лирическое отступленіе самого поэта:

„Неясный гулъ ночи покрываетъ голоса тоски и скорби, необъятное страданіе, невѣдомые стоны, которые поднимаются отъ земли до небесъ. Суровая боль, крикъ измученной души, кто можетъ слышать тебя, не содрогаясь отъ любви и состраданія?

„Кто не плакалъ надъ тобой, горделивая немощь человѣка, духъ котораго, побуждаемый свыше, терпитъ сокрушеніе и боль?! Человѣкъ тщетно стремится познать себя, и, постоянно подстрекаемый высокими, несбыточными желаніями, обнимаетъ необъятное только въ безплодномъ сновидѣніи. О, скорбный духъ, жаждущій свѣта и красоты, ты, парящій на небесныхъ высотахъ, гдѣ ищешь родины, и всегда низвергнутый стонешь отъ ужаса и боли,—о, покоренный завоеватель, кто не плакалъ надъ тобой?!“

Мудрецамъ является Ганга, лучезарная богиня потока, которая слышала ихъ жалобы. Она указываетъ имъ путь къ Багаватѣ, воссѣдающему на священной горѣ, вершина которой уходитъ въ небеса. Отъ лика божества исходитъ сіяніе; улыбка его — Маія, верховная мечта; вокругъ стана его катятся великія воды; остовъ громадныхъ горъ—то кости его; быстрые потоки полились изъ жилъ его; чело его скрываетъ мудрость Ведъ, а вихрь—дуновеніе его; поступь его—совмѣстно и время, и дѣйствіе; безсмертный взоръ тождественъ сотворенію міра, и необъятное мірозданіе составляетъ туловище его. „Идите,—говоритъ Ганга,—путь длиненъ, а жизнь коротка“. Мудрецы, слушая богиню, осушили слезы и, семь разъ протянувъ руки къ синимъ волнамъ, благословили имя дѣвы-защитницы и направились сквозъ темныя дѣбри и мимо священныхъ озеръ къ тѣмъ бѣлоснѣжнымъ вершинамъ, гдѣ на тронѣ изъ слоновой кости воссѣдаетъ во славу лучезарный Багаватъ.

Подобно слону, который бѣжитъ изъ горящаго лѣса, задыхаясь и съ пылающей грудью ищетъ свѣжей волны, чтобы погрузиться въ нее, такъ брамины преслѣдовали путь свой безостановочно, днемъ и ночью, съ закрытыми глазами, направляемые только свѣтомъ, который теплился въ сердцахъ ихъ. Солнце жгло и пылало, заря смѣнялась зарей, какъ отъ жгучихъ лучей опадаютъ листья розы; день былъ поглощаемъ ночью, и ночь вновь порождала день изъ нѣдръ своихъ; мудрецы, поддерживаемые живительнымъ воздухомъ, окружавшимъ гору, достигли подножія ея и, выкупавшись трижды въ свѣтлыхъ волнахъ, продолжали восхождение, исполненные радости и силы.

Чудеса видимаго міра, несказанная роскошь природы, птицы съ огненными крыльями и женщины неземной красоты, изъ усть которыхъ вылетали гимны — все возвѣщало о той обители, которой нѣтъ наименованія, откуда въ постоянной смѣнѣ потоками свѣта изливается Маія, первобытная мечта. Духи плавали въ таинственномъ воздухѣ и сладкогласные киннары, пѣвцы боговъ, на флейтахъ и струнахъ воспѣвали Багавата.

Киннары возвѣщаютъ сущность божества:

„Онъ былъ съ начала вѣковъ, единственный и мощный, безъ видимой формы содержа въ себѣ вселенную. Ничего не было внѣ его, верховной идеи. Онъ видѣлъ, не глядя и не сознавая себя. И вдругъ, ты явилась изъ него и облекла его, ты, вѣковѣчный источникъ всего, что есть, и чего еще нѣтъ, ты, чрезъ которую все измѣняется и падаетъ въ забвеніе, все умираетъ, возрождается, страдаетъ, размножается и исчезаетъ, Маія, ты, которая въ лонѣ своемъ, отверстомъ, хотя и невидимомъ, заключаешь человѣка и боговъ, жизнь и ничтожество“. Затѣмъ киннары воспѣваютъ подвиги Багавата. Онъ извлекъ изъ безднъ землю, и когда, доставая ее, онъ спустился въ океанъ, океанъ завопилъ, и члены его расторглись. Онъ однимъ перстомъ въ продолженіе семи дней поддерживалъ Гималайскія горы — и такимъ образомъ спасъ землю, когда разгнѣванный Индра, богъ свѣта, хотѣлъ потопить ее, и т. д.

Браминны слушали, исполненные горячаго желанія; ноги ихъ попирали цвѣты и душистыя травы; глаза ихъ были устремлены въ даль; они шли мимо синихъ водъ и подъ зелеными кущами, и вотъ явился имъ, исполненный величія и чарующей прелести, вѣчно-юный богъ, чистый какъ лучъ, лучезарный какъ солнце и кроткій какъ луна, прекрасный какъ радуга и яркій, какъ молнія. Сіяніе, исходившее изъ его собственнаго величія, вѣнчало божественное чело его. „Багаватъ, Багаватъ, сущность сущности, источникъ красоты, рѣка возрожденія, свѣтъ, которымъ все живетъ и все умираетъ: они увидѣли тебя и онѣмѣли. Отъ мистическаго дыханія твоего ихъ главы опустились, какъ злакъ подъ напоромъ вѣтра, и сердца ихъ възграли, какъ плѣненный левъ, который рвется на свободу. Дуновеніе жизни проникло въ грудь ихъ и, соединясь подъ черепомъ съ ихъ духомъ, проложило имъ путь къ безконечному. Подобно солнцу, любящему вершины, ты улыбаешься высокимъ душамъ, о, Багаватъ! Ты, податель благъ, развязалъ узы, сковывающія духъ, и на безграничномъ лонѣ твоемъ, свѣтовомъ океанѣ, они соединились съ первобытною сущностью, которая есть начало и конецъ, заблужденіе и истина, дѣйстви-

тельность и ничто, которую на вѣки облакаетъ въ плодотворное пламя невидимая Маія, родительница видимаго міра, надежда и воспоминаніе, мечта и разумъ, единая, вѣковѣчная и свѣтлая мюзія“.

Ученіе о Маіѣ составляетъ центръ индійской философіи, и поэтъ излагаетъ его неоднократно въ индійскихъ поэмахъ; съ особеннымъ пристрастіемъ возвращается онъ и въ другихъ стихотвореніяхъ къ мысли о вѣчной смѣнѣ, о постоянномъ разрушеніи; стихотворенія подобнаго содержанія встрѣчаются часто. Такъ, въ „*Rèmes tragiques*“ находимъ слѣдующія: „Маія“, „Верховная Мечта“ и др.

„Маія! Маія! Потокъ смѣняющихся химеръ, ты порождаешь въ сердцѣ человѣка кратковременное наслажденіе и горькую ненависть, неясный міръ чувствованій и небесное сіяніе; но что такое сердце человѣка, еслибы не ты, о, Маія, вѣковѣчный миражъ! Истекшіе вѣка, грядущія минуты теряются въ тѣни твоей вмѣстѣ съ нашимъ воплемъ, плачемъ, съ кровью и слезами. Цвѣтъ жизни, тяжелые сны, живое будущее, вся сумма жизни, древней, вѣковѣчной, подобная вихрю, въ которомъ все кружится, измѣняется, теряется и возникаетъ вновь, чтобы вновь кануть въ бездну небытія“.

Въ „Верховной Мечтѣ“ поэтъ грустно вспоминаетъ юные дни свои и тѣ мѣста, гдѣ впервые улыбнулись ему жизнь и природа, и послѣ изящныхъ картинъ жизни на югѣ (поэтъ родился на островѣ Бурбонъ), обращаясь къ своимъ воспоминаніямъ, онъ заканчиваетъ словами:

„Духъ, который сознаетъ васъ, увлечетъ васъ въ бездну небытія, въ ту нѣмую тайну, всторая увлечетъ и его. Молодость и любовь, радость и мысль, голоса морей и лѣсовъ, небесныя дупленія, что всѣ они, не будучи вѣчны? Да, такъ и человѣчскій прахъ, добыча времени, и нѣга, и слезы, и борьба, и отчаяніе, и боги, которыхъ онъ же породилъ, и бессмысленное мірозданіе, — все это не стоитъ безстрастнаго мира усопшихъ“.

Въ „*Villanelle*“ подъ формой триолета находимъ отголосокъ того же спекулятивнаго мышленія, той же тоски. Стихотвореніе написано во время штудіа, подъ экваторомъ:

„Время, число и пространство упали съ темнаго неба въ неподвижное море, черное какъ бездна. Ночь, подобно савану изъ безмолвія и мрака, покрыла время, число и пространство. Словно вѣмой, тяжелый обломокъ, духъ погружается въ спящую бездну, въ безмолвное, мрачное море. Въ немъ и съ нимъ все подвер-

жено крушенію: воспоминаіе, чувство и мечта; все канетъ въ безмолвныя, черныя волны—и число, и пространство, и время“.

Такова же и поэма: „Сюнасепа“, сущность которой заключается въ буддистскомъ ученіи о покаяніи. Висвамитра—идеаль аскетизма въ Магабаратѣ; созерцаіемъ и умерщвленіемъ плоти онъ дошелъ до богоподобія. Чудесныя дѣянія его подробно описываются въ индійскомъ народномъ эпосѣ. Онъ же служитъ центромъ разсказа и въ „Сюнасепа“. Поэма начинается художественнымъ описаніемъ утра; природа исполнена пантеистическаго вѣянія. „Большіе лѣса, густые, таинственные, полные неясныхъ голосовъ, чувствуя, какъ по жиламъ ихъ пробѣгаетъ живительный огонь, а по стволу поднимаются питательные соки, словно помолодѣвши, выпрямляютъ станъ въ тонкомъ, голубомъ эфирѣ. Подъ сѣнью ихъ мудрецы, погруженные въ аскетическій сонъ, не считаютъ болѣе дней, нисходящихъ съ древнихъ небесъ. Заря, проливая лучи на алѣющую землю, небеснымъ взоромъ проникаетъ вселенную; но вмѣстѣ съ роємъ часовъ она несетъ и заботы на порогъ человѣческихъ жилищъ, ибо ничто не отдыхаетъ при яркомъ свѣтѣ ея. Безмятежно простираетъ въ ней руки только праведникъ, который не заботится о грядущихъ заряхъ и не желаетъ зрѣть ихъ, ибо онъ знаетъ, что Маія, вѣковѣчный обманъ, безразлично смѣется надъ всѣмъ, что дышетъ и плачетъ на землѣ, и въ безчисленныхъ формахъ и плодотворныхъ сновидѣніяхъ она зрѣла міръ до начала временъ“.

Слѣдуетъ повѣствованіе: царь обѣщалъ богамъ человѣческую жертву, но жертва будто чудомъ спаслась въ ту минуту, когда браминъ уже заносилъ надъ ней ножъ. Царь, чувствуя себя оскорбленнымъ и боясь гнѣва Индры, дабы умиротворить его, обѣщаетъ другую жертву, которую отыскиваетъ въ странѣ по известнымъ признакамъ. Онъ останавливается у хижины богатаго брамина, у котораго три сына, и требуетъ одного изъ нихъ. Отецъ отказываетъ ему въ старшемъ, будущемъ главѣ семьи. „Кланусь тѣмъ, которымъ зиждется весь обманчивый міръ явленій, о, царь! не отдамъ будущаго главу семьи; между всѣми живущими, мимолетными видѣніями текущаго дня, онъ мнѣ дороже всѣхъ“. Мать дрожитъ за младшаго, любимца своего. Тогда средній, менѣе любимый, задумчиво сядя за столомъ отца и не касаясь пищи, встаетъ и предлагаетъ себя въ жертву, дабы отецъ его могъ исполнить волю царя и боговъ. На другой день на закатѣ онъ долженъ явиться на мѣсто жертвоприношенія. Когда онъ прощается съ семьей, старый браминъ говоритъ ему: „Все естество есть не болѣе, какъ суетное сновидѣніе“.



Юноша, готовясь умереть, оплакивает, лежа въ травѣ, далеко отъ отцовскаго жилья, свою молодость и силу. Но ему дороже, чѣмъ молодость и сила, возлюбленная его. Тихими шагами подходитъ она къ нему на мѣстѣ обычнаго свиданія. Услыхавъ объ угрожающей ему опасности, она предлагаетъ ему бѣжать съ нимъ; но онъ отказывается, говоря, что честь семьи выше земного счастья. Дѣва предается отчаянію. Тогда птица необыкновеннаго вида съ дерева заговорила съ ними и дала имъ совѣтъ обратиться съ просьбой о помощи къ аскету Висвамित्रѣ, покаяніе и самовольныя мукы котораго уподобили его богамъ. „Онъ одинъ можетъ спасти тебя, сынъ брамина“, сказала птица и взвилась къ небесамъ. Любящая чета идетъ въ лѣсную чащу искать святаго отшельника. Наконецъ, когда солнце было уже на половинѣ дневнаго пути своего, они увидѣли его; онъ стоялъ на лѣсной луговинѣ, подъ палящимъ солнцемъ. Впалые глаза старца, которыхъ никогда не смыкалъ сонъ, блестѣли неземнымъ блескомъ; исхудалыя руки, сожженныя солнцемъ, повисли вдоль бедръ; оголенные ноги поднимались межъ камней и засохшихъ травъ и поддерживали туловище подобно недвижнымъ желѣзнымъ подпорамъ; по шеѣ и спинѣ спадали беспорядочными космами волосы его, перепутанныя терніями и нечистотами. Такъ стоялъ онъ и мечталъ, подобно божеству, высѣченному изъ сухой, пероховатой колоды. Дѣва, при видѣ его, содрогнулась, но юноша обратился къ нему. Аскетъ слушалъ ихъ, будто ничего не слыша. „Учитель, неужели ты не дашь отвѣта?“ спрашиваетъ юноша. Исхудалый старикъ, не опуская на нихъ очей, заговорилъ: „Радуйся, сынъ, хотя одинаково суетны и слезы, и смѣхъ, какъ напрасны ненависть и любовь. Очищенный искупленіемъ, ты выйдешь изъ темнаго міра чувствъ и страстей, и въ молодые еще годы шагнешь чрезъ порогъ тѣхъ лучезарныхъ воротъ, за которыми смертныя блаженно тонуть въ первобытной мечтѣ. Жизнь подобна волнѣ, въ которую опускается тяжелое тѣло: паденіе отмѣчено сначала узкимъ кольцомъ, которое, расширяясь, терается въ безграничномъ пространствѣ. Маяя искушаетъ тебя; но если духъ твой бодръ, то гнѣвъ, любовь, желаніе и боязнь испарятся изъ него, какъ легкій дымъ, и обманчивый міръ съ безконечными измѣненіями рухнетъ подъ тобой, какъ вуча песку“. Юноша вторично проситъ отшельника, но не за себя, а за возлюбленную, ибо ея жизнь неразрывно связана съ его жизнью. Висвамитра изрекъ: „Бурныя волны, которыя катятся и пѣнятся подъ напоромъ вѣтра, и лѣса, которые онъ гнетъ и колышетъ, и озера, со дна которыхъ вихрь вздымаетъ тину, пятнающую нѣжный

лотось, который красуется на поверхности ихъ,—всѣ они менѣ бурны, чѣмъ человѣческое сердце, сдѣланное изъ праха. Удались! Жизнь есть сонъ; срокъ жизни—день, не болѣе, а ничтожество не знаетъ любви“. Юноша отказывается отъ дальнѣйшей мольбы: „Отецъ,—говорить онъ,—я готовъ умереть; напрасно и слишкомъ долго уклонялся я отъ дальнѣйшихъ воплощеній; но, отецъ, осуши слезы возлюбленной, молись за нее, дабы я, умирая, благословилъ твое имя“. Дѣва взываетъ къ старцу; она говоритъ о молодости и любви, и о томъ, какъ сладко жить любя. Асвѣтъ, съ глазами, устремленными въ пространство, слушалъ ее. „Я слышу райское пѣніе юныхъ дней моихъ,—сказалъ онъ,—и лѣсная куца шелеститъ и шепчетъ, какъ въ тѣ дни, когда я жилъ между людьми. Или я проспалъ сто лѣтъ, храня, какъ сокровище, живое воспоминаніе человѣческихъ страстей, и остывшая кровь горячей струей вновь полилась по жиламъ моимъ? Довольно, источникъ вселенной, о, Маія! я отжилъ. Ты, женщина, подобная газели, которая легкими ногами несется по травѣ и по камнямъ, и ты, сынъ брамина, слушайте и удалитесь, и не нарушайте болѣе мира, обрѣтеннаго мною въ умерщвленіи плоти“. Онъ предсказываетъ имъ, что въ роковую минуту жертвоприношенія, если юноша прочтетъ про себя семь разъ священный гимнъ Индрѣ, съ небесъ раздастся громъ, узы его расторгнутся сами собой, испуганные люди разбѣгутся, и конь замѣнитъ его на жертвенникѣ. „Если хочешь еще страдать,—заканчиваетъ онъ,—то будешь жить. Простите, я вернусь въ вѣчное безмолвіе, какъ капля воды въ безмѣрный океанъ“. Предсказаніе отшельника сбывается; юноша пользуется смятеніемъ, чтобы спастись бѣгствомъ, а бѣлый конь, со спутанными ногами, опускается на жертвенникъ, и браминъ закалываетъ его въ честь бога-громовержца.

Это сказаніе, весьма характеристичное для индійской поэзіи, не менѣе характеристично и для самого поэта, который старается изъ каждой эпохи воспроизвести преобладающую идею, обуславливающую весь строй жизни, иногда и судьбу народа. Греція завѣщала культъ красоты; средніе вѣка дали торжество идеѣ христіанства и ознаменовались возникновеніемъ, борьбой и усиленіемъ новыхъ, сѣверныхъ расъ; въ Индіи встрѣчается первое выраженіе того міровоззрѣнія, которое отразилось не только въ средневѣковыхъ религіозныхъ идеалахъ, но къ которому клонится и современная мысль, въ проявленіяхъ пантеизма, какъ и въ научныхъ взглядахъ на постоянное измѣненіе вещества. Догматъ о силѣ покаянія занимаетъ важное мѣсто въ индійской

поэзіи; покаяніе надѣляетъ аскета божественной, чудотворной силой и далеко превосходитъ монастырскій идеалъ среднихъ вѣковъ, выраженный въ легендахъ; со времени крестовыхъ походовъ встрѣчаются и въ западной поэзіи, вслѣдствіе сближенія ея съ Востокомъ, мудрецы-отшельники и аскеты, обладающіе даромъ пророчества. Жизнь аскетическая и созерцательная живо приобщаетъ индуса блаженству невозмутимой, безличной міровой жизни, слиянію съ божествомъ — Нирваны. Въ стихотвореніи „Лука Сивы“, Лавшмано отправляется, по велѣнію отца, искать брата своего Раму. Онъ спрашиваетъ всѣхъ встрѣчающихся ему земледѣльцевъ, дѣвъ и охотниковъ, не видали ли они Раму; всѣ отвѣчаютъ отрицательно, ссылаясь на мірскія занятія; но мудрецы-созерцатели отвѣчаютъ: „Не видали! Сонъ вѣчности сомкнулъ наши очи, и мы видимъ только боговъ“.

Особенно характерно въ этомъ отношеніи стихотвореніе: „Смерть Вальмики“, древнѣйшаго поэта Востока, индійскаго Гомера, предполагаемаго автора Рамайяны. Доживъ до ста лѣтъ, онъ удалился въ пустыню, дабы предаться созерцанію и, забывъ о желаніяхъ, огорченіяхъ и надеждахъ, перейти къ вѣчному успокоенію, ибо: „Время идетъ, чаша полна, дѣло сдѣлано“. Онъ поднимается на высокую гору и оттуда обзирываетъ безстрастнымъ взоромъ лежащіе подъ нимъ города и рѣки, лѣса и озера, и безмѣрный, звучный океанъ, на окраинѣ котораго цвѣтеть вѣчно-юная заря, подобно кустарнику алыхъ розъ. Вокругъ его сверкаетъ и влочетъ жизнь; свѣтъ однимъ лобзаніемъ золотитъ и нѣжитъ все, отъ бездны до облака, отъ зенита до былинки, отъ задумчиваго слона до мельчайшаго насѣкомаго, отъ владѣтельнаго раджи до презрѣннаго парія, и ослѣпительный свѣтъ освѣщаетъ все мірозданіе. Дуновеніе неизсякаемой жизни наполняетъ то безмѣрное и мощное сновидѣніе, въ которомъ Брама позналъ самого себя. Душа поэта тонетъ въ этой славѣ, и, упоенная небесной гармоніей, соединяется съ сонмомъ безплотныхъ духовъ. Согласно со сказаніемъ, Вальмики былъ заживо съѣденъ муравьями, приступа которыхъ онъ и не замѣтилъ, будучи поглощенъ всецѣло мечтой своей и потерявъ сознаніе вѣшняго міра и самого себя. „Такъ умеръ безсмертный поэтъ; но звучная душа его наполняетъ тѣнь, въ которой мы пребываемъ, и не замолкаетъ на устахъ людей“.

Если три названныя поэмы резюмируютъ сущность буддистскаго ученія, то „Видѣніе Брамы“ облекаетъ въ фантастическіе и роскошные образы основной принципъ индійской теогоніи, отличающей Брамю, бога-создателя, облекшагося въ конкрет-

ныя формы, и Брамю, какъ верховный принципъ, изъ котораго вышла тройственная сила созиданія, сохранения и разрушенія въ трехъ лицахъ индійскаго Тримурти. Не только отвлеченность индійской метафизики достигла здѣсь крайняго предѣла, но и пантеизмъ — своего крайняго выраженія. До сихъ поръ Брама еще олицетворялъ вселенную; здѣсь же божество является совершенно обезличенной верховной идеей, предвѣчной и безформенной. Замѣчательна при этомъ способность поэта проникаться мировоззрѣніями отдаленныхъ народовъ, ассимилировать себѣ образы и подробности, присущіе теозофическому ученію ихъ. Мистическій ужасъ проходитъ чрезъ всю поэмю, наполненную гиперболически-грандіозными образами въ духѣ индійской поэзіи. Вотъ сущность ея: „Закутанный въ первоначальную тьму, Брама искалъ въ самомъ себѣ начало и конецъ всего сущаго; Маія закрыла его своею божественною снѣнью, и холодное, мрачное сердце его наполнилось свѣтомъ. Онъ увидѣлъ — окруженнаго духами — того, кого никто не видалъ, — душу всего сущаго, подобнаго водяной лиліи въ пламенномъ потокѣ, изъ котораго струилась жизнь въ безчисленныхъ образахъ. Прекрасный богъ мечталъ о мірозданіи. Бамбуковые лѣса опоясывали его; въ дланяхъ блестѣли озера; отъ чистаго, ровнаго дыханія его двигались міры, возникая изъ него и вновь теряясь въ немъ. На устахъ его, подобно пчеламъ, любовно жужжали Веды, и онъ, въ блаженномъ и святомъ бездѣйствіи, пребывалъ неподвижный, но довольный своимъ совершенствомъ. Очи его, зеркала чистоты, сіяя кротостью, казались неизмѣримыми безднами успокоенія и невозмутимаго міра. Брама, увидя ликъ Верховнаго Начала, почувствовалъ въ себѣ неукротимую силу; черепъ его, расширившись, вмѣстилъ въ себѣ міры и пространства. И мудрость, и страсти, и добродѣтели, и пороки, и бѣдствія, и радости, — все въ немъ заговорило какъ гуль и какъ пѣніе. Онъ почувствовалъ многообразность и безчисленность существъ. Опустивъ очи, онъ сказалъ: „Владыка владыкъ, сила котораго въ то же время скрыта и безмѣрна, я не могу постичь ни причинъ, ни законовъ волнующагося бытія. Если вселенная тобою дышетъ и живетъ, и ничего нѣтъ внѣ тебя, едино-сущаго, на тебя же ничто не влѣзетъ, ни пространство, ни случай, ни дѣйствіе, то какъ могла сказаться сила твоя въ небесахъ и во всемъ живущемъ на землѣ? Я самъ, погруженный тысячелѣтія въ первобытную ночь, кто я? Душа ли нѣкоего блуждающаго міра, или гордыня, которая, отдѣлившись отъ источника, не можетъ вернуться къ нему? Меня гложетъ сомнѣніе, но напрасно зажигаю искру въ душѣ своей, — осѣни меня мудростью, дабы я проникся

истиной, какъ пожирающимъ пламенемъ". Верховное Начало отвѣтило Брамѣ, и все смолкло и остановилось въ мірозданіи. Голосъ его былъ тихъ и необъятенъ, и, наполняя семь небесныхъ сферъ, не имѣлъ отголосковъ и не нарушалъ тишины. То не былъ звукъ мірской, ни голосъ грозы или морскихъ волнъ; то были скорѣе тѣ таинственные голоса, которые живутъ въ смутныхъ сновидѣннѣхъ. Брама, слушая его, чувствовала, какъ блаженство наполняло его, а сердце его поглощалось какъ роса при лучахъ солнца. И голосъ рекъ: „Мною движется все, и люди, и стихіи; сила моя сказывается въ мимолетныхъ явленіяхъ, ибо нѣтъ ни сущности, ни дѣйствительности внѣ вѣчности, нѣмой и недвижной. Знай, что все есть сонъ, видѣнный въ сновидѣніи. Маія живетъ и трепещетъ въ груди моей. Инерція моя есть источникъ бытія, и форма мірозданія вылилась изъ ледяннаго мною призрака. Бездѣйствіемъ, суровостью къ плоти своей и вѣрой добродѣтель сливается съ моимъ блаженствомъ. Ты самъ не что иное, какъ мое же тщеславіе и тайное сомнѣніе моего небытія“. Голосъ смолкъ и видѣніе исчезло.

Страннымъ во всемъ этомъ можетъ казаться то, что Леконтъ де-Лиль, проникнувъ въ поэмахъ своихъ въ самый центръ буддистскаго ученія, не посвятилъ ни одного стихотворенія этикъ буддизма въ дѣятельномъ ея проявленіи, т.-е. въ милосердіи ко всему живущему. Съ другой стороны, онъ высказываетъ мало сочувствія въ дѣятельной жизни. Не знаемъ, вѣрно ли, что „въ каждомъ изъ насъ дремлетъ буддистъ“, какъ говоритъ Буржэ въ своихъ „Очеркахъ современной психологіи“, гдѣ онъ отводитъ такое широкое мѣсто Леконту де-Лилью, какъ одному изъ представителей пессимизма въ современной поэзіи; но несомнѣнно то, что Леконтъ де-Лиль—буддистъ и внѣ индійскихъ поэмъ; въ міровоззрѣніи буддистовъ коренится всегда преобладающая нота его творчества. За отшельниками, мудрецами, браминами, кроется самъ авторъ. Отголоска ихъ встрѣчаемъ въ личныхъ взглядахъ поэта на природу, въ личныхъ впечатлѣніяхъ его. Такъ наприм., въ стихотвореніи „Солнце золотое“, поэтъ говоритъ: „Солнце медленно тонетъ въ морѣ, бросая прощальный отблескъ на алѣющія вершины. Какъ тихій вздохъ, грустный и нѣжный, вѣтеръ колышетъ верхушки деревь; благоухающія испаренія поднимаются съ земли подобно кадильному дыму. Душа, созерцаая, забываетъ себя среди божественной тишины, и зная, что все суетно,—безъ желаній, какъ и безъ скорби, тонетъ въ безконечныхъ сновидѣннѣхъ непробуднаго сна“. Или, въ „Ravine St. Gilles“, послѣ прекрасной картины южной природы мы читаемъ: „Для того, кто умѣетъ проникнуть, природа,

въ пути твои, твоя поверхность обманчива, и иллюзія служить тебѣ покровомъ; ярость твоя безстрашна, и въ ликованіяхъ твоихъ нѣтъ увлеченія. Счастливы тотъ, кто среди тревоженной жизни хранитъ невозмутимое спокойствіе, чья душа подобна безднѣ, безмолвія которой не нарушаютъ мірскіе звуки“. Мысль о призрачности и скоротечности всего сущаго встрѣчается у Левонта де-Лиль постоянно то въ отрывочномъ, то въ полномъ выраженіи. Больше того: жизнь и смерть тождественны; первая понятна только во второй. Такъ, въ стихотвореніи: „Тайна жизни“, отрицаніе дѣйствительности достойно самаго спекулятивнаго индуса. „Тайна жизни—въ могилѣ; только отжившее имѣетъ за собой дѣйствительность; и окончательное уничтоженіе всего сущаго есть единственная причина бытія. О, вѣковѣчная мечта, породившая весь міръ явленій, почему вызвала ты насъ изъ ничтожества? Вся тварь, и человѣкъ, и боги, и міръ,—все возникаетъ, все умираетъ въ твоихъ измѣненіяхъ... Въ вѣкахъ, которые ты родишь и разлагаешь, духъ, разсѣяющій ихъ подобно молніи, способенъ постигнуть только собственное ничтожество и неизбежное уничтоженіе всего видимаго... Все, что было, получаетъ дѣйствительность только потому, что отжило. Не стой смиренно и безстрастно у закрытой двери, человѣкъ! умѣй умереть, дабы дать сущность себѣ; и вѣдь таинственнаго водоворота явленій ищи въ одной могилѣ дѣйствительность и разгадку жизни“.

Шопенгауеръ говорилъ, что пониманіе его философіи требуетъ знакомства съ Ведами; но для полнаго пониманія Левонта де-Лиль нужны и Веды, и самъ Шопенгауеръ. Пантеизмъ его не упоенно-восторженный пантеизмъ восточныхъ поэтовъ; это и не философски-безстрастное созерцаніе Спинозы, и не свѣтлый пантеизмъ Гёте: это пантеизмъ пессимистическій. Вопль „мировой скорби“ проходитъ черезъ большинство произведеній поэта. Онъ видитъ въ смерти не радостное сліяніе съ душой вселенной, а прежде всего избавленіе отъ мукъ или обмана жизни. Такъ, въ сонетѣ: „Умершему поэту“, онъ говоритъ: „Почій во мракѣ, наложившемъ печать на очи твои. Слышать, видѣть, чувствовать? Все это вѣтеръ, дымъ и прахъ. Любить? Златая чаша жизни горечи полна. Прольются-ль слезы надъ истлѣвшими останками, или нѣтъ, — пусть пошлый вѣкъ тебя прославить или забудетъ, завидую тебѣ: во мглѣ могилы избавленъ ты отъ мукъ бытія, избавленъ и отъ срама мыслить скудно, и отъ ужаса быть человекомъ!“

Не одинъ Левонтъ де-Лиль нашелъ въ міровоззрѣніи Востока соотвѣтствующую духу времени форму отрицанія. Къ Востоку

сильно клонится вся современная мысль. Вѣшній гнетъ вызвалъ буддистскую спеуляцію въ Индіи; гнетъ неудовлетворенной мысли породилъ современную симпатію къ буддизму. Буддиста подавляла природа; современнаго мыслителя часто подавляетъ привычка анализа и широкихъ обобщеній, которыя даютъ явленіямъ характеръ роковой законности. Естественныя науки и исторія одинаково указываютъ на скрытыя въ самой сущности вещей неопровержимыя силы, которыя видоизмѣняютъ явленія природы, руководятъ судьбами людей и народовъ. Контроль человѣка надъ этими силами ограниченъ и медленъ, часто даже безуспѣшенъ. Съ этой точки зрѣнія міръ становится театромъ, на которомъ разыгрывается величавая, живописная, но мрачная трагедія человѣчества,—трагедія, показывающая столкновение между поколѣніями, безсильную борьбу недѣлимаго, побѣду одного или другого, какъ явленіе болѣе случайное или роковое, чѣмъ плодъ усилій и мудрости; временемъ этой трагедіи является весь послѣдній историческій періодъ; развязка ея въ то же время случайная и неизбежная,—случайная, потому что можетъ зависѣть отъ песчинки, тогда какъ страданіе медленно готовится ея; неизбежная какъ для народовъ, такъ и для индивидуума, для человѣческихъ дѣлъ, равно и для человѣческихъ идеаловъ. Въ наше время, когда желанія далеко превышаютъ возможность исполненія; когда фантазія обогатилась и требованія расширились, вслѣдствіе чего и разладъ между дѣйствительностью и идеаломъ усилился, а интенсивная жизнь мысли даже въ самыхъ энергичныхъ натурахъ временно порождаетъ потребность успокоенія,—ученіе буддистовъ пришлось по-сердцу многимъ. Эта симпатія усиливается вліяніемъ науки, и громадныя опытыя обобщенія въ естественныхъ наукахъ сходны съ спеулятивнымъ обобщеніемъ индузовъ. Результаты и пріобрѣтенія химіи равняются самому широкому ученію о метемпсихозѣ. И Левонть де-Лиль—созерцатель, но созерцатель не только сущности бытія, но также исторіи и жизни народовъ; а здѣсь его останавливаетъ не столько дѣятельность ихъ, сколько тотъ идеалъ, который лежалъ въ основаніи ихъ дѣятельности. Задумчиво обозрѣвая прошлое, онъ, главнымъ образомъ, поражается постоянной смѣной и неизбежнымъ исчезновеніемъ идей и формъ. Двоякая эволюція, въ исторіи и въ природѣ,—вотъ философская суть его поэтическаго творчества, но эволюція не въ смыслѣ прогресса, а того же рокового поглощенія всякаго частнаго явленія жизнью общей, міровой. Выше было указано на мнимое у него сходство съ „Légende des siècles“, В. Гюго. Разница между ними не въ томъ, что торжественный паеозъ В. Гюго замѣняется у Левонта де-

Для грустнымъ созерцаемъ. Коренное различіе мы находимъ въ цѣляхъ автора, хотя Леконтъ де-Лиль цѣлей своихъ нигдѣ не высказываетъ, а съ цѣлями В. Гюго знакомить болѣе оглавленіе книги и выпреннее предисловіе къ ней, чѣмъ самое содержаніе, въ которомъ такъ много безсодержательнаго, растапу-таго и произвольнаго. Вотъ что говоритъ В. Гюго въ этомъ предисловіи о своемъ поэтическомъ замыслѣ: „Цѣль этой книги — дать выраженіе человѣчеству въ цѣломъ поэтическомъ цивлѣ... въ его движеніи впередъ, въ его восшествіи къ свѣту“. Далѣе: „Эти поэмы связаны между собой одною таинственною нитью въ человѣческомъ лабиринтѣ — прогрессомъ. — Человѣческій родъ является намъ въ двухъ видахъ: въ исторіи и въ легендѣ; оба вида имѣютъ долю истины, оба даютъ просторъ и догадкамъ. Расцвѣтъ человѣчества, восхожденіе его изъ мрака къ идеалу; религиозный гимнъ, имѣющій основаніемъ глубокую вѣру, а вершиной — святую молитву; драма творенія, освѣщенная ликомъ Творца“ и т. д.

В. Гюго задается въ „Légende des siècles“ идеей прогресса; человѣкъ — вѣнецъ творенія; его страданія, его борьба, его торжество — вотъ цѣль и сущность его поэзіи. Леконтъ де-Лиль, съ высоты XIX-го вѣка обозрѣвая прошлое, отвелъ мѣсто исторіи и легендѣ, но не задаваясь никакими цѣлями, а только съ тѣмъ любопытствомъ, которое свойственно новому человѣку. Трудно было бы указать у него хоть на одно стихотвореніе, посвященное человѣческому прогрессу. Онъ вдумывается въ характеръ и вѣрованія народовъ, но изображаетъ одно крушеніе и смѣну ихъ. Онъ даетъ драму человѣческой мысли, а не человѣческихъ дѣлъ. Пластическія видѣнія эллинской мифологіи у него смѣняются роскошью и мудростью Востока, суровые нравы, дикія страсти Сѣвера; вездѣ человѣкъ представленъ въ средѣ, въ естественной рамкѣ, со-отвѣтствующей извѣстнымъ вѣрованіямъ, извѣстнымъ представленіямъ. В. Гюго живетъ съ человѣкомъ; все живущее ему близко и говоритъ его воображенію. Леконтъ де-Лиль живетъ міровою жизнью, въ человѣчествѣ видитъ только типы, а не индивидуумы, и типы такіе, которые олицетворяютъ извѣстное историческое явленіе или служатъ органомъ его же мысли; ему нѣтъ дѣла до малыхъ міра сего. В. Гюго — краснорѣчивый вѣщатель нравственныхъ началъ, хотя бы и въ сентенціозномъ выраженіи; высокій полетъ мысли нерѣдко смѣняется у него тривіальностью деталей и неожиданныхъ выходовъ; но всѣ неровности, вычурности, граничація съ каррикатурностью, величественность, доведенная до ходульности, — выкупаются силой нравственнаго убѣжденія, горячей вѣрой въ прогрессъ и несокрушимость человѣчества. Ле-



конть де-Лиль — художникъ, какихъ немного, видимо объективный созерцатель прошлаго, въ которомъ онъ живетъ силою мысли и эрудици, но съ отгѣнкомъ лиризма, коренящимся въ пессимистическомъ взглядѣ на міровыя явленія. Аристократизмъ мысли отразился у него на классической правильности формы, безукоризненности выраженія. Горделивость и спокойствіе, благородство и величавость его поэзи могли бы, взятыя въ совокупности, казаться монотонными, какъ и всякій аристократизмъ, еслибы не богатство внесеннаго вклада, совершенство отдѣлки, живописное разнообразіе и новизна представленій и образовъ. Поэтъ такъ искусно играетъ размѣромъ, сплетаетъ рѣзмы, отчеканиваетъ самыя разнообразныя строфы, что даже трудно оцѣнить всѣ эти подробности при бѣгломъ чтеніи. Форма у Леконта де-Лиль такъ тѣсно сливается съ содержаніемъ, что мы сначала любуемся однимъ въ ущербъ другому; увлекаемые прелестью выраженія, не останавливаемся на мрачной мысли, которая часто скрадывается до самаго конца стихотворенія, будучи сопровождаема или прикрыта изяществомъ оболочки, красотою ведущихъ къ ней картинъ. При всемъ богатствѣ, онъ, какъ истинный художникъ, всегда остается въ границахъ изящнаго; въ повѣствованіи, какъ и въ описаніи, его не оставляетъ то чувство мѣры, которое лежитъ въ французскихъ традиціяхъ. Романтическая школа измѣнила этимъ традиціямъ. В. Гюго зъ особенности любитъ громоздить эпизоды, описанія, подробности. Гиперболическіе приемы характеризуютъ его поэзію. Группа „*raguassiens*“, поставивъ себѣ цѣлью красоту, вернулась къ той экономіи въ выраженіи, которая составляетъ отличительный признакъ латинской расы. Такъ, въ индійскихъ поэмахъ Леконтъ де-Лиль одинаково избѣгаетъ чудовищности и нагроможденности индійскаго эпоса, сложной запутанности индійской драмы. Дѣйствіе у него всегда просто; нигдѣ нѣтъ лишнихъ эпизодовъ. Крайне умѣренный въ повѣствованіи, онъ даетъ себѣ просторъ въ описательной части: тутъ поэтъ щедро расточаетъ картины и краски, эпитеты и сравненія; онъ не щадитъ подробностей для изображенія той рамки, среди которой движется и мыслить человекъ. Связь между этой природой и этимъ міровоззрѣніемъ очевидна: зрѣлищемъ первой обусловливается пониманіе второго. Подъ палящимъ солнцемъ, въ виду колоссальныхъ явленій вѣшняго міра возникаютъ такіе идеалы; громадность формъ, яркость красокъ, воздухъ, насыщенный благоуханіями, сильно возбуждаютъ воображеніе, болѣзненно настраиваютъ его. Подъ такими вліяніями человекъ создаетъ фантастическую космогонію; возникаютъ чудовищныя понятія о за-

гробной жизни. Быстрыя измѣненія въ природѣ, сильныя пере-вороты, избытокъ жизни и внезапное разрушеніе питають мысль о метемпсихозѣ. Природа — другъ и сотрудникъ человѣка у насъ — тамъ подавляетъ его, внушаетъ ему не желаніе подчинить ее своимъ цѣлямъ, а безусловное смиреніе. Нѣга въ воздухѣ, палящій зной, подавляющая роскошь — дѣйствуютъ на человѣка какъ опиумъ; онъ стремится не къ жизни и дѣятельности, а къ уничтоженію личности, къ полному сліянію съ міровымъ духомъ, и видитъ высшее блаженство въ Нирванѣ. И все-таки поэтъ, который задался мыслью передать самыя характеристическія черты духовной жизни индусовъ, не увлекся фантазіей ея и при всей грандіозности остановился на рубежѣ ихъ гигантскихъ представленій о мірозданіи. Любопытно то, что мысль о переселеніи душъ нигдѣ не встрѣчается у него, также какъ и связанное съ нею родственное отношеніе къ міру животныхъ. Обѣ эти черты коренятся въ индійскомъ пантеизмѣ. Если у Леконта де-Лиль нѣтъ слѣда ихъ, то въ этомъ можно видѣть новое доказательство того, что въ воспроизведеніи эпохи каждый усваиваетъ себѣ то, что соотвѣтствуетъ его личнымъ взглядамъ, тѣмъ отгѣнкамъ, которые принимаетъ мысль, пересаженная на другую почву, перенесенная въ другое время.

Природѣ Леконтъ де-Лиль вездѣ отвелъ широкое мѣсто. Для В. Гюго природа — символъ, и символъ радостный и прекрасный. Какъ поэтъ, онъ видитъ и живописную сторону ея, но особеннаго мѣста онъ описаніямъ не отводитъ. Леконтъ де-Лиль, какъ мыслитель, видитъ въ природѣ выраженіе психической жизни человѣка, движущагося среди нея. Какъ истый буддистъ, онъ поражается возникновеніемъ и разрушеніемъ, составляющими сущность ея явленій. Какъ художникъ, онъ видитъ красоту міра въ разнообразныхъ явленіяхъ его. Наконецъ, какъ поэтъ-эволюционистъ, онъ привыкъ къ космическимъ представленіямъ, и они у него преобладаютъ надъ повседневными. Такое сложное отношеніе къ природѣ есть вообще характеристическая черта современной мысли.

Любовь къ природѣ болѣе лежитъ въ характерѣ германской, чѣмъ латинской расы. Въ литературѣ XVII-го в. во Франціи природа отсутствуетъ. Въ XVII в. на нее указываетъ мнимый сынъ природы, Ж.-Ж. Руссо, поборникъ естественныхъ отношеній и нравовъ. Бернардень де С.-Пьеръ, въ извѣстномъ идиллическомъ романѣ: „Павель и Виргинія“, вводитъ природу „эзотическую“. Но только къ концу XVIII-го в., во время упадка и обыкновенно сопровождающей упадокъ дидактики, описанія

природы становятся жанромъ. Представитель ихъ, Ж. Делиль, никогда не выѣзжавшій изъ столицы, описывалъ природу, которую видѣлъ сквозь окна парижскихъ салоновъ. Успѣхъ, который имѣли эти описанія, условныя и холодныя, но бѣглыя и изящныя по выраженію, позволялъ автору, въ концѣ литературнаго поприща, самодовольно высчитывать значительное число „сдѣланныхъ“ имъ закатовъ, восходовъ солнца и пр. Насколько въ началѣ вѣка описанія природы были условны, настолько поэты современной Франціи боятся шаблонности, избѣгаютъ повседневности въ описаніяхъ. Описанія природы у нихъ вытекаютъ въ большинствѣ случаевъ изъ прямого наблюденія и блестятъ мѣткою детальностью, живописными эпитетами, художественной отдѣлкой. Но боязнь впасть въ банальность часто порождаетъ опять вычурность. Поэты, гонимые за утонченность впечатлѣнія, впадаютъ въ изысканность содержанія и выраженія. У современныхъ молодыхъ „*décadents*“ эта изысканность, вычурность, доходитъ до абсурда. Избѣгая шаблонности, они становятся непонятны; чтобы не впасть въ банальность, — впадаютъ въ безвкусіе; гонимые за рѣдкостью формы, — жертвуютъ смысломъ. Эта юная, вырождающаяся отрасль „*ragpassiens*“, вѣроятно, беззвучно канетъ въ Лету, оставляя по себѣ только память любопытнаго симптома нездоровой гиперкультуры, если представители ея не выйдутъ на настоящій путь, отдавая дань той „*école du bon sens*“, къ которой они презрительно относятся, но которая характеризуетъ литературныя традиціи латинской расы. Съ почина романтической школы все экзотическое вошло въ моду. Французскіе поэты до сихъ поръ любятъ щегольнуть незнакомыми названіями, вычурными заглавіями, живописными мотивами, научными подробностями. Изображеніе отдаленныхъ странъ, преимущественно южныхъ, соответствуетъ такому пристрастію. Романтики, ратуя за поэтической космополитизмъ, эксплуатировали Востокъ, какъ источникъ поэзіи, но воспроизводили скорѣе внѣшнюю, живописную сторону его; они для палитры искали красокъ, а тутъ красокъ всегда много. Починъ принадлежитъ В. Гюго и его „*Orientales*“. Востокъ искони былъ странною чудесъ, а „*Orientales*“ появились въ то время, когда общество почувствовало къ Востоку новое влеченіе. „Поѣздки на Востокъ“ въ стихахъ и въ прозѣ, начиная съ Шатобріана, не столько живописующія, сколько умиленные, ознаменовывали послѣ-революціонный періодъ, когда общество вернулось къ прежнимъ вѣрованіямъ. Шатобріанъ и Ламартинъ отправлялись на Востокъ какъ паломники, какъ и подобало поэтамъ реакціоннаго времени, вновь открывшаго храма, въ которые толпа хлынула съ

новымъ усердіемъ. Интересу, возбужденному Востокомъ, сильно содѣйствовали труды ученыхъ ориенталистовъ. Въ Германіи поэтическая дѣятельность нѣкоторыхъ романтиковъ шла рука объ руку съ изслѣдованіями ученыхъ. Пургшталь, братья Шлегели и др. ознакомили съ мудростью Индіи, съ сокровищами Востока; по ихъ слѣдамъ шли въ 30-хъ годахъ Рюккертъ и Платенъ въ своей поэтической дѣятельности. Въ англійской литературѣ около того же времени интересъ, возбужденный Востокомъ, ознаменовался появленіемъ поэмы Мура: „Лалла-Рукъ“, со своими роскошными описаніями Востока, хотя и не настоящаго, а фантастическаго, условнаго, сильно прикрашеннаго, съ розами и благоуханіями на каждомъ шагѣ. Извѣстно, что поэтъ давалъ волю поэтическому воображенію, глядя на продолжительные дожди и на снѣга родного края. Большинство этихъ поѣздокъ и описаній имѣли предметомъ не дальній Востокъ, всемірно-историческій, колыбель арійскаго племени, а Востокъ библейскій, нынѣ мусульманскій или же Востокъ Шехерезады, т.-е. сказочный и живописный. Этому взгляду соотвѣтствуютъ и „Orientales“ В. Гюго, въ которыхъ нашли отголосокъ и современныя событія. Со времени появленія ихъ Востокъ сдѣлался излюбленнымъ предметомъ поэтическихъ описаній; пальмы и минареты, фонтаны и розы не только вошли въ моду, но сдѣлались надолго новымъ условіемъ поэзіи. На нее указываютъ у Леконта де-Лиля заглавія: „Испанскія розы“, „Подъ тѣнистымъ сикоморомъ“; также повѣствованія: „Нурмагалъ“, „Совѣтъ Факира“, „Джиганъ-Ара“,—послѣднія съ обычнымъ содержаніемъ: любовь и коварство, измѣна и злодѣяніе. Если эти мотивы не блещутъ новизной, то ихъ весьма немного зато до него ни одинъ поэтъ не далъ въ цѣлой группѣ поэмъ идейную сущность того Востока, который нашему времени, направленію современной мысли, ближе мусульманскаго Востока. Описательная часть у Леконта де-Лиля всегда отличается не только колоритностью, но имѣетъ и преимущество новизны и свѣжести образовъ. Если у него много алыхъ заватовъ и ревущихъ океановъ, то они одинаково соотвѣтствуютъ раннимъ воспоминаніямъ поэта, особенному складу его мысли, его поэтическаго воображенія.

Отношеніе человѣка къ природѣ различно, смотря по той умственной атмосферѣ, въ которой привыкъ онъ вращаться; различно смотрять на природу туристъ и поэтъ, художникъ и агрономъ, естествоиспытатель и философъ. Какъ мыслитель, Леконтъ де-Лиль любитъ рисовать картины, соотвѣтствующія духовному міру и темпераменту представленныхъ имъ народовъ. Тропическая природа ска-

зала человѣку не совсѣмъ то, что далекій сѣверъ сынамъ своимъ; утѣренная природа Элады внушила другія понятія о божествѣ, чѣмъ подавляющая воображеніе природа Индіи. Роскошныя описанія и грандіозныя картины повторяются у Леконта де-Миля и въ индійскихъ поэмъ. Рисуешь ли онъ природу юга или сѣвера, океанъ, снѣжныя горы, дѣвственные лѣса, палящій зной подъ тропиками, или леденящій холодъ дальняго сѣвера,—картины яркія или величественныя преобладаютъ надъ картинами болѣе скромными и повседневыми. Эти картины въ большинствѣ случаевъ чужды намъ, и, соотвѣтствуя скорѣе географическимъ понятіямъ, чѣмъ окружающей насъ дѣйствительности, дѣлали бы, пожалуй, впечатлѣніе чего-то декоративнаго, еслибы искусство поэта не придавало имъ характера знакомой намъ, живой дѣйствительности. Грандіозные образы, величественный характеръ описаній ближе къ космическимъ представленіямъ, болѣе соотвѣтствуетъ взглядамъ поэта-эволюціониста. Такъ въ стихотвореніи: „Закатъ солнца“, фантастическое описаніе заката у береговъ Тихаго Океана и распаденіе міра сливаются въ одну картину. „Жаръ-птица въ клювъ держитъ солнце, а въ когтяхъ—молнію; гигантъ Оріонъ встаетъ и поражаетъ его стрѣлой—солнце падаетъ и разбивается въ дребезги; въ паденіи своемъ оно проливаетъ потоки свѣта и огня, искры отъ него разсыпаются по лугамъ; въ міровомъ пространствѣ еще сверкаютъ пылающіе обломки, но и они потухаютъ, и ночь, нѣмая, глубокая, угрюмая, охватывая небесное пространство, заволакиваетъ чернымъ бархатомъ безмолвіе опустѣлой земли“. Въ „Лунныхъ сіяніяхъ“ поэтъ въ трехъ картинахъ отъ описанія луны, какъ остывшей планеты, переходитъ къ описанію пустыни, окраины которой левъ посѣщаетъ въ ночную пору, и оканчиваетъ картиной безлунной ночи на морѣ и эффектнымъ появленіемъ луны надъ поверхностью ея.

Картины тропической природы преобладаютъ надъ прочими. Ютъ видимо ослѣпилъ поэта. Тутъ находимъ и отголосокъ ранихъ его впечатлѣній, узнаемъ и привычку его уноситься изъ окружающей его дѣйствительности въ далекія времена или страны. Пристрастіе ко всему грандіозному идетъ рука объ руку съ привычкой вдумываться въ космическіе перевороты, видѣть въ природѣ прежде всего возникновеніе и разрушеніе, болѣе поразительныя въ громадныхъ формахъ и роскошныхъ картинахъ тропическихъ странъ. Поэтъ любитъ останавливаться на видѣніи нестройнаго еще мірозданія, описывать борьбу стихій, будто недавно вышедшихъ изъ хаотическаго состоянія и не подчинившихся еще человѣку; любитъ заноситься и въ отдаленное будущее, когда

человѣкъ, мимолетное явленіе, исчезнетъ съ лица земли и стихійныя силы сотрутъ слѣды его пребыванія. Такъ, въ стихотвореніи: „Дѣвственный лѣсъ“, находимъ мрачное пророчество, основанное на гипотезѣ ученыхъ о томъ дальнемъ будущемъ, когда человѣчество, размножаясь, истощивъ всѣ средства въ существованію, придетъ черпать изъ дѣвственнаго лѣса: „Тогда уничтожатся краса и величіе твое; ты падешь предъ человѣкомъ, какъ камышъ“ и т. д. Картина лѣса, вѣчно юнаго, предшественника человѣка, съ его богатою жизнью и несмолкаемымъ гуломъ, смѣняется картиной паденія его. Его наполняетъ смрадъ городовъ, звуки человѣческихъ страстей; кровь и слезы падутъ на почву, гдѣ онъ красовался. Но величіе человѣка хрупко; природа безсмертна и отмститъ за себя. Изъ нѣдръ земли, на пепелищѣ человѣческихъ обиталищъ, онъ воспрянетъ вновь и зацвѣтетъ, поправъ останки враговъ своихъ“. Въ стихотвореніи: „Послѣднее видѣніе“, поэтъ рисуетъ картину конца вселенной, но не съ точки зрѣнія догмата, а также согласно съ гипотезами ученыхъ. Земля превратилась въ пустыню; солнце меркнетъ. На землѣ „вѣка заковали въ ту же могилу небесныя видѣнія и гулъ поколѣній“, и въ мировомъ пространствѣ свѣтила рассыпаются и тухнуть. Погаснетъ и солнце, и тогда „настанетъ ночь слѣпая, безформенная и безплодная, — вѣчная тѣнь, которая подобно тихой безднѣ поглотитъ суетность всего, что было связано съ временемъ, числомъ и пространствомъ“.

Поэтъ ни разу не связалъ картинъ природы съ идеей прогресса, нигдѣ не показалъ изумительной борьбы и торжества надъ ней человѣка. Идея прогресса замѣнена у него идеей эволюціи, но эволюціи не въ смыслѣ совершенствованія.

Когда же уничтожится этотъ міръ? что приведетъ мірозданіе въ концу? Неужели поэтъ остановится на гипотезѣ ученыхъ и дастъ не болѣе какъ поэтическую парафразу ихъ? Нѣтъ, въ стихотвореніи: „Послѣднее божество“, читаемъ, что Эросъ — древнѣйшій изъ боговъ, переживетъ всѣхъ, и только когда онъ погибнетъ и небесный лучъ выпадетъ изъ рукъ его, тогда все умолкнетъ, все застынетъ. Поэтъ описываетъ намъ видѣніе, представившее ему такой конецъ міра. Поэтической древній мнѣ могъ бы вызвать картины радости и силы, возникновенія и жизни; а у Леконта де-Лиля мы встрѣчаемъ его только въ связи съ замираніемъ земли. Разрушенію и смерти посвященъ цѣлый рядъ мрачныхъ, но замѣчательныхъ по красотѣ и энергіи стихотвореній.

Какъ художникъ, Леконтъ де-Лиля любитъ природою, но какъ поэтъ и мыслитель рѣдко находитъ въ ней примиряющее и успокоивающее начало. Чтобы найти успокоеніе въ природѣ, нужно жить

съ ней, слѣдить за ней въ ежедневныхъ ея отправленіяхъ, работать среди нея и въ ея намѣреніяхъ, или подчинить ее себѣ трудомъ и направить ее. Поэту вообще свойственно смотрѣть на нее болѣе съ высоты, чѣмъ вглядываться въ мелкую работу ея, и задаваться вопросомъ о конечныхъ цѣляхъ, а не жить настоящей минутой. Съ развѣдающимъ анализомъ, даже въ виду ея щедроты и ея красоты, онъ все-таки спрашиваетъ: что же послѣ? Потому наша природа съ ея болѣе интимнымъ, безпритязательнымъ характеромъ почти не нашла мѣста у Левонты де-Лили. Для него природа не сотрудникъ, и не мать, не кормилица человѣка: это сила чарующая и величавая, но подавляющая, разрушительная и неумолимая, какъ рокъ, въ непрестанномъ обмѣнѣ, вѣчномъ движеніи порождающая, измѣняющая, поглощающая все видимое въ своемъ водоворотѣ. Какъ для истого буддиста, природа для него: „солнце и радуга, лучъ и молнія“. Въ радугѣ много красокъ, но она высоко на небесахъ и, сверкая, переливаясь, плѣняетъ издали и скоро исчезаетъ. Сущность бытія, Маія, т.-е. мечта, бесплодный обманъ. Но какъ хороша Маія! Какъ много у поэта красокъ, чтобы изобразить ее! Съ какою любовью рисуетъ онъ тѣ картины юга, гдѣ впервые увидалъ ее, гдѣ она представилась ему въ праздничномъ одѣяніи. Такую природу находимъ мы въ прекрасныхъ стихотвореніяхъ: „La Fontaine aux lianes“, „Le Bepnica“, „La Ravine St. Gilles“ и многія др. Не только человѣкъ любитъ онъ показать въ природной его рамкѣ, какъ въ стихотвореніяхъ: „Пустыня“, „Трубка Сахема“ и др., но и животныхъ, какъ въ слѣдующихъ: „Оазисъ“, „Джунгли“, „Черный барсъ“, „Сонъ ягуара“ и др. Всѣ эти произведенія поражаютъ живостью впечатлѣнія, тонкою детальностью. Животныя—цари этихъ странъ. Какъ художникъ, Левонтъ де-Лиль отвелъ имъ то мѣсто, котораго не далъ бы имъ какъ буддистъ. Передъ нами проходитъ цѣлый рядъ характерныхъ картинъ южной природы. Такъ, слоны, цѣлымъ стадомъ, медленно и твердою поступью чрезъ пустыни направляются къ морямъ, въ родную страну. Во главѣ ихъ старій вождь, съ туловищемъ шероховатымъ какъ кора дерева, потрескавшаяся отъ времени. Чтобы не дѣлать обхода, онъ шагаетъ по песчанымъ дюнамъ, и онѣ руются подъ его ногами. Гигантскіе пилигримы, по слѣдамъ своего патріарха, медленно и бодро совершаютъ длинный путь свой. Они мечтаютъ о большой рѣкѣ, гдѣ плаваютъ гишпопотамы, гдѣ при свѣтѣ луны они спустятся къ камышамъ, чтобы утолить жажду. Въ пустынѣ вновь станеть все безлюдно и тихо, когда тяжелые путники исчезнутъ на горизонтѣ. Кондоръ на вершинѣ скалистаго мыса ждетъ прибоа

морскихъ волнъ, которыя покрываютъ его брызгами; онъ испускаетъ хриплый крикъ радости и подымается въ ту область, гдѣ нѣтъ болѣе вѣтровъ: тамъ онъ спитъ въ морозномъ воздухѣ съ распростертыми крыльями. Въ „Альбатросѣ“ поэтъ рисуетъ послѣ художественной картины бури на морѣ, царя морской пустыни, альбатроса, который, привыкнувъ къ бурямъ, медленно и величественно пересѣкаетъ воздухъ желѣзными крыльями. Поэтъ, поклонникъ красоты міра, видитъ ее всюду: она говоритъ его воображенію не только въ роскоши тропической природы, въ виду грозоздающихъ горъ, онъ видитъ ее и въ борьбѣ стихій на сѣверѣ, въ завываніи вѣтра, въ тяжелыхъ тучахъ, которыя нависаютъ надъ пѣнацимися волнами. Но чтó говоритъ она ему, какъ пессимисту? Въ ней онъ слышитъ стонъ и вопль; природа, безстрастная и неумолимая, дѣлается символомъ непреклонности рѣки, могилою человѣческихъ страданій; его поражаетъ равнодушіе ея, необходимость въ ней борьбы, неизбежность смерти. Картины борьбы и смерти въ животномъ царствѣ представлены въ стихотвореніяхъ: „Охота орла“, „Ягуаръ“ и др. Ягуаръ, вѣжась подѣ благоухающими кущами, чуетъ запахъ живого мяса; онъ облизывается и съ нетерпѣніемъ рветъ и кусаетъ кору осѣнявшаго его дерева; притаившись, онъ ждетъ добычи; громадный быкъ пампасовъ выходитъ на поляну; завидѣвъ врага, онъ останавливается, ошеломленный, и испускаетъ отчаянный ревъ; ягуаръ однимъ скачкомъ впивается въ его шею; взбѣшенный быкъ несется со своимъ всадникомъ по безконечнымъ дугамъ; передъ ними горизонтъ раздвигается; они исчезаютъ: мракъ ночи и смерть поглощаютъ звуки безсильной борьбы. Въ „Sagra fames“ поэтъ переходитъ къ общей мысли о борьбѣ за существованіе и о смерти, какъ послѣдствіи этой борьбы. Акула въ морѣ ждетъ добычи,— „что ей необъятная лазурь, чтó сіяющія созвѣздія? Ее поглощаетъ дума о мясѣ, и кровожадныя желанія одни наполняютъ ее. Увы! чудовище, въ тебѣ познаю человѣка, отчаяннаго и кровожаднаго. Завтра ты пожрешь его; или завтра онъ уничтожитъ тебя. Святой голодъ не что иное, какъ долгое, законное убійство, борьба тьмы подѣ сіяющимъ пологомъ неба; и человѣкъ, и акула, убійца и жертва, передъ твоимъ ликомъ, о, смерть, одинаково невинны“. Итакъ, природа, видимо совидающая, есть въ сущности сила разрушительная. Человѣкъ въ ней — явленіе мимолетное и ничтожное, одаренное способностью безгранично страдать, но теряющееся въ пространствѣ и во времени, какъ капля въ океанѣ. Страданія его въ общей экономіи значенія не имѣютъ; смерть оканчиваетъ ихъ; потому безумно и мелко останавливаться на нихъ и роптать.



Такъ, въ стихотвореніи „Requies“ поэта оставляетъ молодость и надежда; смерть приближается, а жизнь, много обѣщавшая, счастья не дала. Безумно плавать или роптать; могила поглощаетъ все: и вопль страданія, и протестъ мятежника, и стойкость мудреца. Вопль человѣка беззвученъ передъ ревомъ океана; силы его надрываются въ бесплодной борьбѣ; онъ можетъ только страдать и взывать, и падать на лоно земли, обезсиленный годами и борьбой. Въ „Умершихъ снахъ“, — море бушуетъ и пѣнится, гложетъ скалы и поглощаетъ жертвы; потомъ стихаетъ. Душа подобно морю: послѣ отчаянной борьбы и жгучихъ страданій она успокоивается и нѣмѣетъ; но гений, надежда, любовь, сила и молодость гибнуть въ борьбѣ и несутся какъ трупы на пѣнистыхъ, кровавыхъ волнахъ затихшаго моря. Послѣ душевныхъ терзаній и обмановъ человѣкъ вернется къ праху безвозвратно; человечество сольется со стихіями; міры рушатся и въ космическихъ пространствахъ и періодахъ замѣнятся другими... Поэтъ особенно неистощимъ въ выраженіи утомленія жизни и желанія успокоенія, призрачности жизненныхъ явленій, а также ужаса передъ неизбѣжнымъ концомъ. У него есть цѣлый рядъ стихотвореній, представляющихъ какъ бы гамму скорбныхъ мотивовъ, начиная отъ тихой грусти и доходя до потрясающаго трагизма. Таковы: „Fiat pox“, „Холодный вѣтеръ ночи“, „Усопшимъ“ и др. Въ сонетѣ Fiat pox“ поэтъ уподобляетъ смерть морскому приливу, который безостановочно растетъ, рожаетъ, поднимается до высоты утесовъ и увлекаетъ все, что на горѣ и что въ долинѣ. Когда волна коснется и нашей ступни, тогда и муки, и счастье, покажутся намъ не болѣе какъ сонъ, порожденный сновидѣніемъ.... „Ты, котораго пожираютъ любовь и ненависть, ты, который жаждешь свободы и лобызаешь цѣль свою, смотри! Волны влопочутъ, растутъ и влекутъ тебя въ бездну! Ахъ музъ твоихъ потухнетъ, и черный приливъ погрузитъ въ священную, вѣковѣчную тѣнь забвенія тебя и страданія твои“. Стихотвореніе: „Холодный вѣтеръ ночи“, начинается съ зимняго ландшафта. Вѣтеръ завываетъ, изъ могилъ будто слышатся стоны. Иль это рыданіе горькихъ воспоминаній вретъ на свѣтъ? „Забудьте, забудьте! Блаженные мертвецы, вспомнивъ о прожитомъ, предайтесь сну! Когда, подобно старому каторжнику, съ котораго спадаютъ оковы, я сойду въ глубокое ложе, съ какою радостью почувствую, какъ все, что нѣкогда было „я“, вернется къ праху! То былъ обманъ слуха! Мертвые молчатъ среди ночного мрака. То вѣтеръ, то унылый вздохъ твой, неумолимая природа; то больное сердце мое стонетъ и плачетъ. Молчи! Небеса глухи, земля не принимаетъ тебя. Въ чему слезы, если

исцѣлиться не суждено тебѣ? Будь какъ раненый волкъ, который умираетъ молча, окровавленную пастью кусая оружіе, нанесшее рану. Еще страданіе, еще бѣшеніе сердца, затѣмъ — молчаніе. Земля откроется, останки падутъ; трава покроетъ могилу, а забвеніе, подобное злакамъ, скроетъ отъ живущихъ всю суетность заключеннаго въ ней праха“. Въ сонетѣ „Усопшимъ“, онъ завидуетъ мертвымъ. „Послѣ апоѳеоза или послѣ позора, одинаково отмѣченные клеймомъ забвенія, безголосая толпа усопшихъ, имя которыхъ — пустой звукъ; отжившія поколѣнія, листья величаваго дуба или смиреннаго кустарника; вы, о тяжелой агоніи которыхъ никто не гласитъ; вы, пылавшіе священнымъ огнемъ, сподвижники и герои; исчадіе челоуѣчества или мужественные геніи, всѣ вы, сложенные въ нѣдра земли подобно удобренію, накапливаемому вѣками: о, блѣдный сонетъ усопшихъ, завидую вамъ, если, пока поверхность земли объята лихорадочнымъ трепетомъ жизни, вы, оставивъ будущимъ поколѣніямъ наслѣдіе своихъ немощей, вкушаете на вѣки ненарушимый миръ, безвѣстный намъ; и если, гости кромѣшной тайны, вы погрузились въ вѣчную ночь, и эта ночь поглотила васъ всецѣло“. Въ стихотвореніи: „Послѣднее воспоминаніе“, могильный ужасъ выраженъ съ замѣчательною интенсивностью. Это потрясающій монологъ, который напоминаетъ страшный кошмаръ и заканчивается крикомъ страданія. Вотъ онъ: „Я отжилъ, я мертвъ; съ открытыми глазами, но ничего не видя, я медленно опускаюсь въ неизмѣримую бездну, медленно, какъ агонія, и тяжело, какъ толпа. Безъ движенія, помертвѣлый, будто на дно воронки, опускаюсь безостановочно сквозь мракъ и безмолвіе. Я думаю, но перестала чувствовать. Испытаніе кончено. Чтѣ же такое жизнь? Былъ ли я молодъ или старъ? Солнце? Любовь? — Ничего, ничего. — Плоть, которую я сбросилъ, опускайся, падай въ бездну! Предъ глазами мракъ и пустота, а забвеніе все болѣе стучается и поглощаетъ тебя. Не сонъ ли это? Нѣтъ, я умеръ. Тѣмъ лучше. Но этотъ призывъ, этотъ крикъ, эта страшная боль? Это случилось когда-то очень давно. О, ночь, ночь хаоса, возьми меня! Да, такъ, припоминаю: кто-то грызъ мнѣ сердце. Теперь помню“.

Словами: „Ты замолчишь, угрюмый гласъ живыхъ!“ начинается стихотвореніе „Solvat seclum“. Оно рисуетъ картину всеобщаго конца: земля столкнется съ другой планетой, искры и прахъ разсыплются въ необъятномъ пространствѣ, оплодотворяя его. Этой космической картиной и заканчиваются „Poèmes barbares“, въ которыхъ помѣщено большинство упомянутыхъ стихотвореній песимистическаго или описательнаго содержанія.

Неужели у поэта нѣтъ болѣе свѣтлыхъ видѣній, нѣтъ упований и надеждъ? Возможно ли, чтобы природа, которую онъ любитъ, говорила ему только о призрачности и разрушеніи, и ничего не сказала ему иного? Мыслимо ли, чтобы пессимизмъ до того всецѣло поглотилъ человѣка, и человѣкъ предался ему безъ борьбы, безъ возвратовъ къ болѣе радостному міровоззрѣнію? Могутъ ли у поэта не быть хорошихъ минуты, когда радость и надежда, жизнь и стремленія къ дѣятельности разносятъ думы, омрачавшія его душу,—минуты, когда небесная лазурь вновь улыбаются ему?

Сожалѣніе объ утраченныхъ идеалахъ встрѣчается у Леонта де-Лиль не въ одномъ стихотвореніи. Такъ наприм., въ сонетѣ: „Заря“, гдѣ пантеистическое описаніе природы связано съ воспоминаніями молодости. „Въ тонкомъ эфирѣ струится нѣжное журчанье, будто невидимые духи, душа всего сущаго, покоятъ въ ручьяхъ и срываютъ розы“, и т. д. Поэтъ заканчиваетъ словами: „Святая молодость, утраченное блаженство, когда душа восторгъ свой изливала въ слезахъ; цвѣтъ и сила промчавшихся дней, вы унеслись и сіяете на далекихъ горизонтахъ! О, свѣтъ, о, свѣжесть горъ и лѣсовъ, утопающихъ въ синевѣ, бурныя игры счастливыхъ морей, вы живете, поете, трепещете, чудныя формы идеала, но вы исчезли изъ моего сердца!.. Увы! я забылъ гимны прежнихъ дней, и боги, которымъ я измѣнилъ, болѣе не слышать моего голоса!“ Въ сонетѣ: „Смерть солнца“, онъ говоритъ заходящему солнцу: „Усни, ты вновь возстанешь! Эта надежда не обманетъ. Но кто возвратитъ жизнь, и голосъ, и пламя—сердцу, которое страдало въ послѣдній разъ и разбилось на вѣки?“ Въ стихотвореніи: „Ultra coelos“, стремленіе впередъ борется съ безнадежностью, утомленіе—съ привычкой и потребностью борьбы. Даже среди величественной тишины сынъ своего времени слышитъ призывъ жизни; лихорадочное волненіе болѣе соотвѣтствуетъ душевному состоянію его, чѣмъ величавое спокойствіе, безстрастность природы, а потому, заключаетъ онъ: „Будемъ сражаться, думать, любить и страдать; вкусимъ всю полноту человѣческихъ терзаній, и будемъ жить, если не въ нашей власти ни забыть, ни умереть“.

„In Excelsis“ выражаетъ тщетность порывовъ души и усилій ума передъ неразгаданными тайнами будущаго. Человѣкъ возносится надъ старыми символами, но тутъ начинается и агонія его. Пессимизмъ и жажда упованія видимо борются въ душѣ поэта. Стихотвореніе начинается съ апофеоза человѣческихъ усилій въ приобрѣтеніяхъ естествознанія, въ мечтахъ мыслителя. Но стремленіямъ его поставлена грань. Онъ сознаетъ свое безсиліе,

суетность созданныхъ идеаловъ. „Поднимайся, возносись, отъ мечты къ мечтѣ; отъ идеала къ идеалу! Взбираясь по безконечнымъ ступенямъ, попирай боговъ, низвергнутыхъ тобою. Но вотъ область Неизвѣднаго, Неповѣдимаго, и ты дошелъ до агоніи своей, до самопрезрѣнія, до угрызений, до полного отрѣшенія отъ собственнаго генія своего. Свѣтъ истины, гдѣ же ты? Можетъ быть въ могилѣ“.

Въ вышеназванномъ описаніи южной природы, въ „Ravine St. Gilles“, поэтъ завидуетъ тому, кто хранитъ невозмутимое спокойствіе среди тревоженій жизни. „Звуки міра не находятъ отголоска въ его душѣ, и небо не роняетъ въ нее своихъ лучей. Но одна искра живетъ и теплится среди безмолвія и тьмы: то утраченный отблескъ лучшаго бытія, то мимолетное, но лучезарное сіяніе твое, бессмертная надежда, которая будитъ его въ могилѣ и призываетъ въ міръ иной“.

Наконецъ, въ стихотвореніи „Le Bernica“, поэтъ находитъ полное успокоеніе въ созерцаніи природы: она говоритъ ему о Богѣ. Картина родной поэту природы дышетъ свѣжестью. Отъ пейзажныхъ подробностей онъ переходитъ къ животнымъ и птицамъ. „То—внезапные хоры, безконечныя пѣсни, продолжительное щебетаніе, перемѣшанное съ веселыми возгласами, или жалобы любви, перебиваемыя раскатами смѣха; но такъ нѣжно несутся по воздуху эти гармоніи, что не нарушаютъ тишины его. Душа проникается ими; она погружается всецѣло въ плѣнительную красоту этого счастливаго міра; она сочувствуетъ птицѣ, цвѣтку живому ключу и свѣту; она облекается въ твои покровы, первобытная чистота, и тихо отдыхаетъ въ Богѣ“.

Такіе звуки въ поэзіи Левонта де-Лили позволяютъ отдохнуть среди звуковъ безнадежности и скорби, среди мрачныхъ возрѣній его пессимизма. Эти порывы, эти возвраты къ утраченному вѣрованію какъ бы доказываютъ, что нѣтъ отрицанія, которое могло бы вполне подавить голосъ традицій; нѣтъ пессимизма, который былъ бы сильнѣе прирожденныхъ потребностей чловѣческаго духа.

М. Ф.



---

# НАРУШЕНИЕ ВОЛИ

---

## I.

Какое нарушение, чьей воли?—спросить читатель.

А может быть и не спросить, если дастъ себѣ трудъ прочитать собранія писемъ Пушкина, Тургенева, Кавелина и недавно изданныя Крамского и многія другія, то-и-дѣло появляющіяся въ печати.

Онъ увидитъ, что надъ умершими извѣстными, особенно знаменитыми писателями, учеными, художниками, вообще лицами съ болѣе или менѣе громкимъ именемъ, и просто съ именемъ, безцеремонно совершается явное нарушение ихъ воли.

Я бы не рѣшился, особенно печатно, высказывать только свое мнѣніе объ этомъ, которое неавторитетно и ни для кого необязательно: но я на каждомъ шагѣ встрѣчаю въ обществѣ подтвержденіе моего взгляда на обычай передавать черезъ печать публичному оглашенію частныя, интимныя письма, писанныя однимъ лицомъ къ другому—и только для одного этого лица.

Это значитъ переводить на бумагу интимный разговоръ между собою двухъ близкихъ лицъ, который при свиданіи вели бы въ кабинетѣ, на прогулкѣ, съ глазу на глазъ, не подозрѣвая, конечно, никакой измѣны довѣрія съ обѣихъ сторонъ.

Но если одно изъ этихъ лицъ или кто-нибудь, случайно подслушавшій разговоръ, станетъ передавать его встрѣчному и поперечному—породитъ толки, пересуды,—такого вѣстуна заклеями бы нежеланнымъ именемъ сплетника. Общество не терпитъ сплетниковъ: ихъ остерегаются, запираютъ отъ нихъ двери. Тѣмъ болѣе осмотрительно, казалось бы, слѣдовало поступать въ печати, не упрямая сплетни на весь міръ.

Между тѣмъ, это творится сплошь и рядомъ. Разныхъ извѣстныхъ,—не говоря уже о знаменитыхъ,—дѣятелей, писателей, ученыхъ, художниковъ, *заставляютъ самихъ*, въ ихъ письмахъ, не назначавшихся ими для печати, разсказывать о себѣ и о другихъ то, чего они, очевидно, вслухъ вовсе не желали разсказывать.

Едва умершій закроетъ глаза, какъ его такъ-называемые „друзья“ пускаются на поиски его писемъ, собираютъ ихъ, приводятъ въ порядокъ, издають. Можно судить, кабая молвь выстукаетъ наружу изъ сопоставленныхъ на очную ставку между собою разнообразныхъ, нерѣдко разнорѣчивыхъ отзыовъ, мнѣній, противъ воли и желанія писавшаго.

Онъ говорилъ на ухо, такъ сказать, шопотомъ одному, другому, третьему, нерѣдко про того, другого, про третьяго—подъ влiянiемъ минутнаго неудовольствiя, мимолетнаго раздраженiя или, пожалуй, веселаго настроенiя—и вдругъ это находитъ эхо, передается, какъ по телефону, во всеуслышанiе, идетъ въ потомство.

Такое нарушенiе воли авторовъ писемъ совершается безцеремонно, *bravement*, и не только надъ умершими лицами, иногда даже и надъ живыми. До того дошло самовольное обращенiе съ чужимъ добромъ и съ чужой волей. А умершему какъ будто говорить эти нарушители воли: „ты умеръ, мы и пропечатываемъ тебя до самой утробы; ты намъ теперь не помѣха; нраву нашему не препятствуй. Намъ это прiятно или полезно, т.-е. выгодно, и ты ничего не подѣлаешь“.

Но по какому же праву совершается такое насилiе воли? Кто его далъ—и кому? Законъ, сколько мнѣ извѣстно, опредѣляетъ только право собственности: предоставляетъ владѣнiе письмомъ, какъ вещественнымъ документомъ, тому лицу, къ которому оно писано. Это и справедливо. Оглашенiе же въ печати такихъ писемъ разрѣшается съ согласiя наслѣдниковъ ихъ автора. Кажется, такъ сказано въ законѣ. Здѣсь опять очевидно принимается во вниманiе право материальной собственности; письма подведены подъ одно значенiе съ рукописями. А рукописи представляютъ извѣстную материальную цѣнность, денежный капиталъ, который могутъ представлять и письма. Стало-быть, законъ опредѣляетъ одну юридическую сторону вопроса: никакой другой онъ не касается. Онъ не обязанъ, да и не въ силахъ этого сдѣлать.

Я предоставляю рѣшать этотъ нерѣшенный и, можетъ быть, неразрѣшимый вопросъ—даже съ юридической стороны—компетентнымъ людямъ, юристамъ, и обращаюсь къ другой сторонѣ, нравственной.

Если нѣтъ прямого закона въ общемъ сводѣ законовъ про-

тивъ нарушителей чужой воли и собственности, то не можетъ ли и не должно ли само общество дополнить пробѣлъ въ юридическомъ кодексѣ и преслѣдовать своимъ судомъ, — судомъ общественнаго мнѣнія, — за самовольное распоряженіе чужимъ именемъ и чужимъ добромъ.

Законы грубы: они, какъ полицейскіе солдаты, хватающіе за воротъ явныхъ и грубыхъ нарушителей порядка, караютъ за злоупотребленія по опредѣленной статьѣ уложенія; но они безсильны тамъ, гдѣ нарушеніе ихъ принимаетъ утонченный, вообще неуловимый для нихъ, сложный характеръ.

Судъ общественнаго мнѣнія вообще безпощаднѣе законовъ уложенія о наказаніяхъ. Онъ проникаетъ во всѣ изгибы злоупотребленія, рѣдко допускаетъ смягчающія и жадно хватается за отягчающія обстоятельства. Тысячеглазый его аргусъ производитъ слѣдствіе, и судъ этотъ произноситъ безапелляціонный приговоръ. Кто-то изъ англійскихъ парламентскихъ ораторовъ, — помнится, Биконфильдъ, — сказалъ, что нравы общества спасаютъ англичанъ отъ ихъ законовъ, т.-е., что англичанинъ-джентльменъ боится не кары закона по уложенію, которая можетъ и миновать виновнаго: онъ боится самого общества, которое за неблаговидный поступокъ выкинетъ его изъ своей среды, — и оттого онъ рѣдко является на скамьѣ подсудимыхъ, не отъ добродѣтели, которой часто у него и нѣтъ, а отъ крайней осторожности сдерживаетъ или прячетъ свои страсти.

## II.

Въ прессѣ у насъ иногда затрогивался вопросъ о маніи печатать письма, но говорилось объ этомъ мало, равнодушно. Не такъ давно, кажется, въ прошломъ году, въ газетахъ упоминалось о томъ, какъ мало интересны и какъ ненужны безсодержательныя письма, печатаемыя потому только, что они писаны болѣе или менѣе извѣстнымъ лицомъ. Вообще же, при оглашеніи такихъ писемъ пресса остается равнодушной, какъ будто такъ оно и должно быть, или входитъ въ критическій анализъ самыхъ писемъ, а о томъ, почему, по какому праву они напечатаны — не заботится. Да ей и трудно было бы протестовать, такъ какъ она сама орудіе, участница въ нарушеніи права, проводница контрабандныхъ писемъ въ свѣтъ — слѣдовательно, первая отвѣтчица за нихъ передъ судомъ общественнаго мнѣнія.

Между тѣмъ въ публикѣ всякій разъ поднимается говоръ, иногда ропотъ по поводу появленія нѣкоторыхъ писемъ. Напри-

мѣръ, о письмахъ Пушкина, изданныхъ подъ редакціей Тургенева, поднялся въ свое время въ обществѣ дружный ропотъ противъ появленія многихъ писемъ поэта, очевидно не предназначенныхъ въ печать.

Удивлялись, что такія письма, черезъ „умѣлыя руки“ (какъ выражались тогда) Тургенева, могли явиться въ свѣтъ.

За вѣкъ же, спрашивается, слѣдуетъ признать право на изданіе посмертныхъ писемъ писателя, художника и вообще дѣятеля съ извѣстнымъ именемъ? По официальному закону отнюдь не за тѣмъ, какъ сказано выше, къ кому писано письмо, а за наслѣдниками умершаго лица.

Но по законамъ нравственнаго права, по чувству справедливости, принадлежитъ ли и должно ли принадлежать такое право и близкимъ лицамъ, законнымъ наслѣдникамъ умершаго извѣстнаго лица? Имъ принадлежитъ, я полагаю, право протеста противъ диффамациі, грубаго оскорбленія родственнаго имъ лица—имъ же, должна, конечно, принадлежать вещественная стоимость всякой, между прочимъ, и литературной собственности на литературномъ рынкѣ. Этимъ, я полагаю, только и обусловливается предоставленіе согласію наслѣдниковъ автора на изданіе его писемъ.

Право же изданія писемъ должно оставаться навсегда за самимъ авторомъ: надо знать его волю, назначалъ ли онъ самъ, желалъ ли предавать гласности свои письма, и какія именно?

— А какъ же, спросятъ, это узнать, когда автора нѣтъ въ живыхъ, и когда онъ не сдѣлалъ никакого распоряженія насчетъ своей переписки при жизни?

Такой вопросъ или дѣтски наивенъ, или казуистически лукавъ.

Всякій разумный, добросовѣстный, не чуждый литературнаго развитія читатель, пробѣгая письма Пушкина, Тургенева, Кавелина и недавно изданныя письма Крамсова и многихъ другихъ, почти съ математическою точностью можетъ опредѣлить, пожелалъ ли бы авторъ, чтобы то и другое письмо, писанное къ женѣ, къ сыну, брату, вообще къ близкому лицу, было оглашено на весь свѣтъ, чтобы всякій соръ выносился изъ избы и раскидывался по вѣтру всюду, и доходилъ далеко, въ потомство.

Но вѣдь, напримѣръ, Тургенева, замѣтять на это, просматривавшаго письма Пушкина для печати, нельзя упрекнуть ни въ недостаткѣ такта и деликатности, еще больше—въ неуваженіи къ памяти Пушкина.

Конечно, нѣтъ,—особенно въ неуваженіи. Напротивъ: Тургеневъ именно и погрѣшилъ, благодаря страстному поклоненію Пушкину. Мы всѣ, сверстники Тургенева, питомцы школы великаго



поэта, вскормленные его поэзіей, мы всё сохранили въ себѣ навсегда обаяніе его гения; для насъ дорогъ каждый штрихъ его пера. Тургеневъ религиозно собиралъ и подбиралъ, какъ перлы, всякія писанныя поэтомъ строки, не бракуя, повидимому, ни одной, боясь проронить всякую мелочь. И всё ближайшіе современники и поклонники Пушкина были бы также въ затрудненіи, какъ поступить,—въ томъ числѣ, признаюсь, и я.

Для просмотра и редакціи писемъ Пушкина нуженъ былъ другой или другіе, менѣе страстные и болѣе безпристрастные почитатели великаго поэта. Впрочемъ—я слышалъ, что многія, неудобныя письма исключены Тургеневымъ: зачѣмъ же не всё, до публики не касающіяся?

Если признать,—а этого нельзя не признать,—что всякое неизданное литературное произведеніе умершаго писателя, въ томъ числѣ и письма, помимо указанныхъ закономъ правъ на матеріальное обладаніе послѣдними, принадлежитъ всему обществу, то надо допустить, что и заботы объ изданіи бумагъ покойнаго, и контроль надъ нимъ должны раздѣлить съ наслѣдниками писателя или съ корреспондентами его и другіе, свѣдущіе въ подобныхъ дѣлахъ люди, особенно когда сами наслѣдники не имѣютъ надлежащаго знанія и опытности въ литературныхъ и издательскихъ вопросахъ. Конечно, найдется не одинъ, не два, а многія лица, разумныя, добросовѣстныя и литературно-развитыя, какъ Тургеневъ, напримѣръ, которыя могутъ въ интересахъ литературы, коллегіально сослужить такую почетную службу—и публикѣ, и умершему писателю, и наслѣдникамъ его, не увлекаясь личнымъ слѣпымъ поклоненіемъ, очистить бумаги и письма его отъ лишняго, ненужнаго или слишкомъ интимнаго, иногда даже бросающаго тѣнь и на характеръ самого автора, и также на затрогиваемыхъ имъ въ письмахъ постороннихъ лицъ.

Стоитъ только пробѣжать письма Пушкина къ женѣ, чтобы заключить, что нарушеніе воли совершилось и надъ его памятью.

Самъ Пушкинъ намекаетъ на то. Въ 45-мъ письмѣ къ женѣ есть слѣдующія строки: „Пожалуста,—пишетъ онъ:—не требуй отъ меня нѣжныхъ, любовныхъ писемъ. Мысль, что письма мои распечатываются и прочитываются на почтѣ, въ полиціи и т. д., охлаждаютъ меня, и я, по-неволѣ, сухъ и скупченъ“.

Это доказываетъ, какъ Пушкинъ смотрѣлъ даже на немногихъ, предполагаемыхъ имъ, случайныхъ постороннихъ читателей того, что онъ пишетъ къ женѣ, т.-е. что онъ говоритъ ей наединѣ. Что еслибы онъ могъ предвидѣть, что нѣжныя, иногда ревнивыя изліянія его сердца будутъ вынесены на свѣтъ, пере-

несены изъ секретнаго письма на книжный прилавокъ и стануть предметомъ любопытства всѣхъ и каждаго?

Едва ли, можно смѣло заключить, написать бы онъ эти письма, или, еслибы написалъ, то сухо и сдержанно, какъ подъ глазами почтовыхъ и полицейскихъ чиновниковъ. Въ письмахъ къ князю Вяземскому, къ Соболевскому и къ другимъ у него нерѣдко играетъ необузданная веселость, сыплется то крупная, то мелкая соль остроумія, безпрестанныя эпиграммы въ прозѣ и стихахъ—желчныя отзывы о противникахъ и также нескромныя намеки и неупотребительныя въ печати, кроющіяся подъ инициалами слова. Словомъ, ведется вольный, живой, несдержанный разговоръ, свойственный веселой бесѣдѣ, иногда за трапезой и т. д.

Хотѣлъ ли бы авторъ предать всю эту шаловливую домашнюю бесѣду на услышаніе всему свѣту? Конечно, нѣтъ.

Отчего же, если такъ, спросять, онъ не уничтожилъ этой переписки? Оттого, можно съ достовѣрностью заключить, что ему, конечно, и въ голову не приходило, чтобы посторонніе глаза видѣли его вѣжныя, интимныя письма, чтобы чужія руки прикасались къ нимъ, копались въ нихъ, разбирали и распоряжались.

Можно жалѣть только,—и въ публикѣ, повторяю, при выходѣ писемъ въ свѣтъ, жалѣли и роптали, что интимныя письма поэта сдѣлались предметомъ любопытства всей читающей публики. Жалѣть и роптать имѣють право всѣ искренніе, глубокіе почитатели поэта на то, что не оказано должнаго вниманія къ его памяти.

Стало-быть,—спросять поклонники поэта и вообще почитатели умершаго дѣятеля,—все, что написано и не назначено самимъ писателемъ для печати, то и должно пропадать для свѣта? между тѣмъ въ перепискѣ блеститъ тотъ же талантъ. Посмотрите, какъ, напримѣръ, письма Пушкина игривы, какъ сверкаютъ искрами юмора, милыми капризами пера и т. д.

Талантъ остается талантомъ во всемъ, до чего коснется его перо. Юморъ, игра фантазіи, искры поэзіи сверкаютъ вездѣ, и даже иногда придають поэтическій колоритъ фактамъ, т.-е. украшаютъ ихъ и этимъ порой грѣшатъ противъ голой истины. Художникъ является художникомъ вездѣ, даже въ мелочахъ. Не мало потрачено поэтомъ таланта на его многія эпиграммы, совершенно недоступныя печати. Нельзя же оглашать ихъ, какъ нельзя выводить на показъ хотя бы и умершаго поэта во всей неприглядной домашней обстановкѣ, подслушивать и передавать его семейный, домашній, несдержанный разговоръ.

— Пропадать ли?

Конечно, пропадать, если авторъ самъ обрекъ письма на

забвеніе, ибо поступить вопреки—значить, совершить грубое насиліе его воли.

Если же онъ не выразилъ своей воли, то, кажется, есть средство, безъ насилія послѣдней, удовлетворить поклонниковъ таланта и пріобрѣсти вкладъ въ литературу изъ крупницъ, падающихъ отъ богатой трапезы такого таланта, какъ Пушкинъ. Это—печатать не все сплошь да рядомъ, цѣликомъ, а съ строгимъ, добросовѣстнымъ выборомъ того, что цѣнно, вѣско, что имѣеть общій интересъ, значеніе, какъ мысль, какъ авторитетный взглядъ писателя на тѣ или другіе вопросы науки, искусства, общественной жизни и т. д., словомъ, что достойно дополняетъ его сочиненія. Не мало, конечно, найдется примѣровъ въ печати ссылокъ на письма извѣстныхъ дѣателей, извлеченій, выписокъ для всѣхъ интересныхъ, безъ примѣси множества или ненужныхъ, или интимныхъ подробностей. Я не говорю уже о письмахъ, писанныхъ цѣликомъ на извѣстную тему, какъ, напримѣръ, недавно найденное въ бумагахъ Жуковского письмо Гоголя, выражающее полный взглядъ автора на искусство. Есть цѣлая литература въ формѣ писемъ двухъ лицъ между собою, посвященная тѣмъ или другимъ вопросамъ. Эти письма прямо назначались авторами ихъ для свѣта и составляютъ чистый вкладъ въ литературу.

Но то сочиненія, назначенныя для печати, а не частныя, писанныя къ одному лицу и для одного лица. Въ одномъ черновомъ письмѣ (къ неизвѣстной дамѣ), найденномъ въ бумагахъ Пушкина, онъ говоритъ: „не показывайте этого письма никому, кромѣ тѣхъ, кого я люблю, и кто принимаетъ во мнѣ участіе не изъ любопытства, а по дружбѣ“. Онъ самъ предостерегаетъ отъ оглашенія его переписки между равнодушными, посторонними ему, для праздної забавы, для удовлетворенія ихъ любопытства.

Противъ гласности мудрено возставать, какъ противъ Архимедова рычага, по своему двигающаго міромъ, но есть такіе уголки въ частной жизни, которыхъ не долженъ касаться этотъ рычагъ. Если въ самой природѣ есть тайны, то въ людской жизни есть свои наготы, гдѣ необходимо покрывало; этого требуетъ простая пристойность. Я разумѣю индивидуальную, частную жизнь, которая должна быть защищена, ограждена, гезрестѣе (говоря непереводимымъ въ этомъ смыслѣ французскимъ словомъ); это основной законъ общезитія. Типично общественная жизнь доступна всякому наблюдателю, мыслителю, ученому, писателю, художнику, которые изучаютъ, разрабатываютъ и изображаютъ со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ деталяхъ, никого лично и индивидуально не оскорбляя, не задѣвая и не насилуя чужой воли и правъ.

Какъ же, — замѣтить на это, — за границей сплошь да рядомъ печатаются письма отъ живыхъ, писанныя къ одному лицу и для одного лица, и этотъ обычай не находятъ предосудительнымъ. Тамъ на частныя письма нерѣдко ссылаются какъ на улики въ пререканіяхъ, въ борьбѣ разныхъ политическихъ партій, которыхъ у насъ нѣтъ, или письма приводятся какъ свидѣтельства при судебныхъ процессахъ, что бываетъ и у насъ и что иногда необходимо и неизбежно, напримѣръ, въ уголовномъ и другихъ процессахъ. Про такія письма и говорить нечего. Есть историческія письма, есть цѣлая ученая литература писемъ; они къ дѣлу не идутъ. Оглашеніе же интимной частной переписки просто для любопытства публики, нежелательное для автора, хотя бы и умершаго, такъ же неблагоприятно за границей, какъ и у насъ.

Въ Англии, если не ошибаюсь, есть законъ, запрещающій касаться въ печати подробностей домашней, семейной жизни частнаго лица, разумѣется, безъ его согласія, хотя бы послѣднія и не заключали въ себѣ ничего предосудительнаго. Домъ англичанина, его home—это святиныя, недоступная для любопытства публики. Не худо бы перенять это хорошее правило и намъ, такимъ охотникамъ перенимать все чужое!

Надъ самимъ Тургеневымъ, редакторомъ Пушкинскихъ писемъ, совершилось, по смерти его, хотя въ слабой степени, то же самое, что допущено имъ въ письмахъ поэта. Несмотря на то, что письма Тургенева прошли черезъ руки нѣсколькихъ лицъ, подъ редакціей стараго и опытнаго литератора В. П. Гаевского—и тутъ проскользнуло нѣсколько писемъ (напр. на стр. 133, 259, 307, 400—письма 105, 203, 244, 339), которыхъ Тургеневъ, конечно, не разрѣшилъ бы печатать, и много другихъ, гдѣ онъ дѣлаетъ рѣзкіе и иногда несправедливые отзывы о людяхъ или сочиненіяхъ. Въ письмѣ 339-мъ къ Я. П. Полонскому, Тургеневъ, по поводу выраженаго имъ въ одномъ частномъ письмѣ мнѣнія о Сарѣ Бернаръ, проскользнувшего въ печать, говорить: „изъ всего этого вышла грязная сплетня, перебранка... Я не привыкъ отказываться отъ своихъ мнѣній и могу только сожалѣть о томъ, что *высказанныя частнымъ образомъ, они (мнѣнія) вдругъ являются въ публикѣ, благодаря нѣ-которому отсутствію деликатности*“.

Вотъ какъ самъ Тургеневъ выразилъ неудобство оглашенія нѣкоторыхъ частныхъ писемъ. Онъ объясняетъ это не деликатностью.

Когда онъ писалъ это, то, конечно, не предвидѣлъ, сколько высказаннаго имъ самимъ частнымъ образомъ, такъ сказать, на

ухо, пріятелямъ, всплыветъ наружу передъ всѣми, не въ далекомъ будущемъ, а вслѣдъ за его гробомъ.

Группа издателей его писемъ, вѣроятно, тоже увлекалась, изъ участія къ автору и его перу, желаніемъ подѣлиться неизданными произведеніями этого пера съ многочисленными его почитателями и исключивъ, по слухамъ, очень многое, оставила, однако, кое-что немногое, несовсѣмъ удобное для оглашенія. Кромѣ выпещенныхъ писемъ, много есть такихъ, которыя лишены содержания, не имѣютъ ничего общаго съ литературой; напримѣръ, ласковыя изліянія въ пріятелямъ, шутивыя краткія замѣтки, записки въ деревню изъ-за границы, или изъ деревни, мелкія замѣтки по хозяйству, съ разными мелкими порученіями о полученіи денегъ, о присылкѣ книгъ и т. п., ни для кого не интересныя.

И такихъ писемъ масса. Они загромоздили и засорили, такъ сказать, переписку, которая могла бы быть интереснѣе, если выкинуть лишнее. Вышла пухлая, объемистая книга, какъ биткомъ набитый omnibusъ, которую не только читать, но тяжело въ рукахъ держать.

Набросанныя, такимъ образомъ, въ кучу, эти письма, также какъ и письма Пушкина, при чтеніи, à la longue, цѣликомъ, производятъ крайнее утомленіе, несмотря на мастерской языкъ, на искры остроумія, свойственныя такимъ талантамъ. Письма эти читаются вовсе не такъ, какъ художественныя произведенія тѣхъ же авторовъ, не потому только, что они небрежны, что авторъ является во многихъ на распашку. Читая ихъ, какъ будто ѣдешь по нескончаемому парку, съ длинными однообразными аллеями, гдѣ нѣтъ остановки, центра, не на чемъ успокоиться глазу. Можно возвратиться назадъ и начать съ первыхъ страницъ, или броситься въ конецъ и читать обратно—все одно и одно. Точно льется непрерывный, однообразно журчащій каскадъ. Читатель пробѣгаетъ письма, какъ равнодушный прохожій зѣваетъ на улицѣ мимоходомъ въ нижніе этажи домовъ; тамъ сидятъ за обѣдомъ, тамъ играютъ въ карты, тутъ занимаются музыкой и т. д. Кажется, разнообразно. Онъ мелькомъ взглядываетъ въ одно окно, другое, третье и идетъ дальше, и, выбравшись на просторъ, онъ забываетъ все это разнообразіе, всю пестроту, не знаетъ, на чемъ остановиться, все смѣшивается въ безцвѣтное пятно, и онъ чувствуетъ себя только крайне утомленнымъ, не вынося никакого цѣльнаго впечатлѣнія.

## III.

Теперь слѣдуетъ упомянуть еще о письмахъ Кавелина и Крамского. Издатель первыхъ, помѣщая ихъ въ „Вѣстникъ Европы“ 1886—1887 г. подъ заглавіемъ „*Материалы для біографіи Кавелина*“, оговорился, что печатаетъ письма, между прочимъ, и къ сестрѣ Кавелина, своей матери, за исключеніемъ того, что имѣетъ чисто семейный интересъ.

И это сдѣлано. Письма безупречны въ этомъ отношеніи. Въ обще-интересныхъ вопросахъ, отведено только незначительное мѣсто нѣжной любви Кавелина къ его дочери, въ свою очередь бывшей извѣстною въ петербургскомъ педагогическомъ мірѣ.

Остальное же все въ его письмахъ всецѣло просится въ свѣтъ, въ публику, въ литературу: все писано будто не къ одному кому-нибудь, а ко всѣмъ.

Это не письма, это бесѣды умнаго, даровитаго профессора, такъ сказать, лекціи, занимательныя, поучительныя для всѣхъ, хотя тутъ нѣтъ ни блеска, ни остроты, ни юмора, неожиданной игры пера и искры фантазіи, какъ у Пушкина, Тургенева. Но зато все вѣско, цѣнно, авторитетно, о чемъ бы онъ ни писалъ: о политикѣ, по социальнымъ, экономическимъ, сельско-хозяйственнымъ вопросамъ. Сколько ума, глубокихъ философскихъ афоризмовъ, вѣрныхъ практическихъ замѣтокъ о разныхъ общественныхъ явленіяхъ, болѣе всего объ устройствѣ быта крестьянъ, да и обо всемъ!

И во всѣхъ этихъ вопросахъ свѣтится душевная теплота и къ людямъ вообще, и къ общему благу. Ею согрѣты всѣ идеи автора, всѣ стремленія, весь его анализъ ученой и общественной дѣятельности. Это будто не перомъ писано, сама кровь говоритъ; справедливо замѣчаетъ его издатель, что въ его натурѣ было даже больше любви къ идеямъ, чѣмъ къ людямъ. Это ученый идеалистъ, и главный идеалъ его—наука, прогрессъ и общее благо. О личностяхъ, объ интимностяхъ у него почти и помину нѣтъ.

Письма Крамского также неизлишни, какъ вкладъ въ литературу. Это—цѣлый сводъ мнѣній, взглядовъ, приговоровъ, анализа произведеній живописи и старыхъ, и новыхъ, и новѣйшихъ мастеровъ до его современниковъ, сверстниковъ, товарищей и учениковъ по кисти включительно. Самъ старшій мастеръ, онъ съ любовью смотритъ на нарождающіеся юные таланты, хвалитъ, одобряетъ, иногда порицаетъ, словомъ—учитъ. Онъ столько же,

если не больше, учитель искусства, сколько художникъ. Умъ, логика, изложеніе—все есть на его литературной палитрѣ. Онъ философъ, цѣннитель талантовъ и самой живописи.

Издатель этихъ писемъ, В. В. Стасовъ оказалъ услугу собраніемъ ихъ, и въ предисловіи довольно вѣрно опредѣлялъ характеръ, значеніе и достоинства писемъ. Но... и тутъ есть *но* — и большое.

Меня упрекнуть, пожалуй: „вы находите же, что частныя письма, писанныя въ одному лицу, имѣютъ свою цѣнность, и сами не нахвалитесь письмами хоть бы Крамского: какъ же не слѣдуетъ издавать такия письма?!“...

И теперь повторю, что не слѣдуетъ издавать — лишнее въ письмахъ, что мало интересно для всѣхъ. Письма Крамского могли бы составлять практическое руководство для художника, цѣлый курсъ живописи—съ умозрительной, эстетической и критической сторонъ, который благотворно дѣйствовалъ бы на развитіе всякаго интеллигентнаго, сознательнаго художника, не слѣпо мажущаго вистью что попадетъ на глаза. Но въ письмахъ Крамского много лишняго, имѣющаго мало прямого отношенія къ искусству. Все это, безъ вреда интересу книги, можно бы было исключить, отъ этого книга только бы выиграла. Писемъ масса—это цѣлый архивъ, гдѣ теряешься, утопаешь какъ въ волнахъ. И самъ авторъ такъ разбросанъ въ этомъ безконечномъ анализѣ взглядовъ и мнѣній, въ мелкой критической оцѣнѣ, что почти не приходитъ къ общимъ выводамъ. Не видишь точекъ опоры въ его взглядахъ на искусство: все тонетъ въ пучинѣ отдѣльных афоризмовъ объ искусствѣ, въ опредѣленіи школъ, направлений, характера искусства за границей и у насъ... Это лабиринтъ безъ всякой руководящей нити. Не знаешь, гдѣ, на чемъ сосредоточиться въ хаотическомъ смѣшеніи, и получаешь вмѣсто чего-то цѣлаго, святаго, опредѣленнаго, теоретическаго и практическаго руководства для художника—ничто въ родѣ справочной книги, въ которой и не добудешь нужной справки, или если добудешь, то случайно, невзначай.

Нельзя не пожалѣть, что этотъ громадный архивъ писемъ не былъ подвергнутъ, въ интересахъ самого Крамского, художниковъ и читающей публики и искусства, болѣе тщательному разбору и классификаціи писемъ. Но нельзя не пожалѣть, конечно, и издателя, который, при собираніи и изданіи писемъ, по словамъ его, „съ большимъ спѣхомъ“ совершилъ по истинѣ гигантскую работу.

Вотъ этотъ „спѣхъ“ и былъ причиной повальнаго изданія

писемъ. А тутъ мало опять-таки одного человѣка—нужна цѣлая группа горячихъ любителей и знатковъ, и цѣнителей искусства.

Письма дышутъ такою наполняющею всю душу художника любовью къ искусству и притомъ сознательною, разумною и горячею любовью, какой, по словамъ В. В. Стасова (въ предисловіи), „не выказывалъ въ отношеніи къ искусству своей страны ни одинъ европейскій критикъ“.

Такая любовь, и такъ умно и горячо высказанная, есть полное и всецѣлое выраженіе и воплощеніе творческаго призванія. Она способна заразить читателя-художника и довершить высшее и конечное развитіе таланта.

„Все это такъ: но покороче бы, покороче!“—скажетъ читатель, утомленный чтеніемъ. Лишнія письма, чуждыя главнымъ мотивамъ книги, являются, какъ чужіе гости, въ дружескій тѣсный кружокъ и охлаждають читателя, мѣшаютъ сосредоточиться на разбросанныхъ взглядахъ автора на искусство, свести его отдѣльныя, отрывочныя мнѣнія, критическія замѣтки въ какому-нибудь центру. Есть и такія письма, которыя Крамской, конечно, не разрѣшила бы печатать, напримѣръ нѣкоторыя, чисто семейнаго характера письма. Хотя издатель въ предисловіи и оговаривается, что такихъ немного, и что тѣ личности, которыхъ Крамской неосторожно касался перомъ, сами „величюдушно“ разрѣшили печатать, но тутъ дѣло не въ согласіи и въ великодушіи затронутыхъ лицъ, а въ томъ, не противорѣчитъ ли оглашеніе такихъ писемъ волѣ самого Крамского. Я стою на уваженіи къ памяти и желанію умершаго.

Мотивы собиранія такихъ писемъ послѣ умершаго лица понятны: это прежде всего, я полагаю, боязнь, чтобы послѣднія не затерялись отъ времени и небреженія. „Слѣхъ“ же изданія ихъ друзьями покойнаго менѣе извинителенъ. Онъ не даетъ осмотрѣться и разобраться въ архивѣ бумагъ и писемъ, изъ которыхъ, отчасти по этой причинѣ, много и попадаетъ неимѣющихъ никакого значенія—ни для біографіи писателя или художника, ни для исторіи литературы и искусства и наконецъ—слишкомъ откровенныя и неудобныя, какъ для памяти самого автора, такъ и для другихъ затронутыхъ лицъ. Подобныя письма или копіи съ нихъ могли бы до поры до времени храниться подъ спудомъ, напримѣръ, хоть въ императорской публичной бібліотекѣ или частныхъ книгохранилищахъ, которыя не отказали бы въ гостеприимствѣ всякимъ важнымъ или интереснымъ бумагамъ.

Пробѣгая нѣкоторыя письма умершихъ, съ ѣдкими, насмѣшливыми или презрительными отзывами о разныхъ лицахъ, чита-



тель, чего добраго, заподозрить въ авторѣ ихъ писемъ злое сердце, человѣконенавидѣніе, дурной характеръ—или же двуличность, когда прочтеть въ этой кучѣ противоположныя мягкіе отзывы о тѣхъ же лицахъ,—и ничего не бывало. Всѣ эти отзывы суть минутныя вспышки, чисто нервныя движенія, не имѣющія ничего общаго съ основными чертами характера, но могутъ быть приняты за выраженіе послѣдняго и ввести въ заблужденіе. Мало ли чтѣ говорится въ минуту раздраженія, временной легкомысленной досады, наединѣ, вѣрному товарищу—о томъ, о другомъ, о третьемъ. И эти соломинки тщательно подбираются и заносятся въ формуляръ его нрава. Поэтому и судятъ иногда всего человѣка, забывая, что языкъ данъ, по извѣстному афоризму, между прочимъ, и для того, чтобы скрывать свои мысли. Поэтому всего легче заблуждаться, полагаясь на частную интимную переписку писателя или художника, или кого бы то ни было, съ разными лицами. Онъ часто говоритъ разное, выражая себя такъ или иначе, какъ бываетъ и въ изустномъ разговорѣ, смотря по собесѣднику. Дѣло не касается какихъ-нибудь капитальныхъ сторонъ характера, убѣжденій, нравовъ и проч.; просто, имъ нерѣдко руководитъ личный взглядъ на того, кому онъ говоритъ; кое-что онъ умалчиваетъ или измѣняетъ свою настоящую мысль такъ или иначе, примѣняясь къ характеру человѣка. Ужели слѣдуетъ все сказанное летучимъ перомъ, такъ сказать, на вѣтеръ, принимать на вѣру, дѣлать серьезныя заключенія о писавшемъ?

А литературные слѣдователи дѣлаютъ это; они пойдутъ серьезно заключать: вотъ-де онъ въ томъ случаѣ объ этомъ сказалъ то, а въ другомъ другое, противоположное, изъ этого-де слѣдуетъ... Ничего изъ этого не слѣдуетъ... Въ одномъ случаѣ онъ былъ подъ однимъ впечатлѣніемъ, а въ другомъ—подъ другимъ, и мало ли чтѣ онъ сказалъ!

И выходитъ, что частная переписка общественнаго дѣятеля съ разными лицами не всегда представляетъ „дѣнный автобиографическій матеріалъ“, какъ говоритъ предисловіе, напримѣръ, въ письмамъ Тургенева.

И говоря правду, въ обширномъ смыслѣ, я не понимаю, а если и понимаю, то не сочувствую стремленію рыться глубоко въ частной, интимной жизни писателя, художника, ученаго: еще пусть допытывались бы, и это не трудно, гдѣ онъ учился, чтѣ читалъ, какъ работалъ и т. п.; а то хотятъ знать всѣ мелочи: чтѣ онъ ѣлъ, пилъ, какія имѣлъ привычки и прочее, вовсе къ дѣлу не идущее. Къ чему тутъ частная жизнь? Зачѣмъ, напри-

мѣръ, знать, что Байронъ былъ не строгой нравственности, что Джоржъ-Зандъ носила въ молодости мужской костюмъ и отличалась разными капризами... а Руссо былъ просто—что называется—рукой махнуть! Поэтъ, ученый, живописецъ, ваятель выражаютъ то или другое, что они хотѣли выразить такъ или иначе въ своихъ твореніяхъ, и надо бы, по здравому смыслу и чувству справедливости, довольствоваться тѣмъ, что выражено въ книгахъ, поэзіи, картинахъ и изваяніяхъ этихъ дѣятелей и подвергать послѣднія суду критики за выраженное ими. Нѣтъ, начнутъ добираться, каковъ самъ былъ дѣятель, разбираютъ связь писателя или художника съ его произведеніями, согласенъ ли его характеръ, нравственныя свойства съ тѣмъ, что имъ выражено, и почему, и какъ? И пойдутъ, и пойдутъ—судить, трепать его, вазнить или миловать. А потребно едино: *какъ* и *чѣмъ* онъ служилъ наукѣ, искусству, какими произведеніями или подвигами, —а все другое, закулисное въ частной жизни, нужно, кажется, больше всего самимъ изыскателямъ,—чтобы себя показать, свой умъ, стойкость и вѣрность суда и т. п.

Даже и въ литературныхъ критическихъ отзывахъ Пушкина, Тургенева, о тѣхъ или другихъ произведеніяхъ литературы, не всегда звучитъ вѣрность взгляда, прямота и искренность. Къ произведеніямъ своего корреспондента, такъ сказать, въ лицо, авторы писемъ большею частью относятся мягко, лестно, пріятно; какую-нибудь литературную мелочь разбираютъ серьезно, важно, возводятъ чуть не въ перлъ созданія. А „въ сторону“, какъ на сценѣ, иногда срывается эпиграмма. Слѣдовательно, и критической оцѣнкѣ произведеній литературы и живописи, разсѣянной въ письмахъ, придавать особеннаго вѣса нельзя. Издатель писемъ Крамского дѣлаетъ въ предисловіи также замѣчаніе о „невѣрности въ иныхъ случаяхъ сужденій послѣднихъ о художникахъ и художественныхъ произведеніяхъ“, и упоминаетъ, что Крамской иногда тоже бывалъ „несправедливъ къ людямъ“. Очень мало,—говоритъ онъ,—но дѣйствительно бывалъ, какъ показываютъ письма.

#### IV.

Я сказалъ выше о мотивахъ, побуждающихъ издателей, друзей автора, собирать письма отъ его корреспондентовъ: это—сохранить для современныхъ читателей и для потомства полный образъ писателя или художника. Цѣль, конечно, хорошая, но она, какъ я сейчасъ сказалъ, рѣдко достигаетъ желаемого, а скорѣе

ведеть къ противоположному результату. Писатель по натурѣ своей словоохотливъ, изліятеленъ; его тянеть къ перу тамъ, гдѣ онъ (я говорю о письмахъ) не связанъ ни содержаніемъ, ни планомъ, ни техникой. Онъ не стѣсняется. Мысль и воображеніе играютъ чтò хотять, какъ въ разговорѣ наединѣ, онъ пишетъ вольно, съ плеча, сверкая нечаянно то умомъ, то фантазіей, то юморомъ. И этимъ удовлетворяетъ прежде всего самого себя, удовлетворяетъ потребности излиться, какъ музыкантъ, встрѣчая подъ рукой инструментъ, играетъ, живописецъ чертитъ на лежащемъ случайно на столѣ бумагѣ карандашомъ какой-нибудь эскизъ.

Гдѣ же тутъ искать реальной вѣрности съ фактической стороною жизни? Это только своего рода художественные штрихи, наброски, которые, конечно, можно, если они интересны для всѣхъ, собрать и огласить, подъ двумя непремѣнными условіями: во-первыхъ, *могли ли бы желать авторы огласить ихъ въ печати;* и, во-вторыхъ, *не задѣты ли за живое другія личности.* Эти вопросы должны служить заповѣдью для умныхъ и добросовѣстныхъ издателей.

Прошу имѣть въ виду, что я отнюдь не ратую за умолчаніе писемъ quand même; я только противъ выворачиванія автора наизнанку, чтò не можетъ не портить цѣльности его образа и характера, не разочаровывать его почитателей и притомъ несправедливо. Потому я — противъ обременѣнія прессы ненужнымъ лишнимъ балластомъ, только утомляющимъ читателя, и особенно, конечно, противъ всякихъ злоупотребленій, нескромностей и беззастѣнчивыхъ противъ автора писемъ поступковъ.

Въ одномъ моемъ письмѣ (появившемся въ печати, мимоходомъ скажу, неожиданно для меня самого, въ альбомѣ: „Мои знакомые“, изданномъ при *Русской Старинѣ*), писанномъ, кажется, давно, я выразилъ сожалѣніе, что писатель по смерти является не въ томъ видѣ, въ какомъ онъ хотѣлъ являться въ свѣтъ, что разные литературные гробовопатели разбираютъ его по мелочамъ и нарушаютъ цѣльность его образа, какимъ онъ думалъ явить себя передъ публикой и потомствомъ. (Я не помню редакціи этого письма, а книги у меня подъ рукой нѣтъ; но смыслъ вѣренъ.) Les beaux esprits se repentent, и я очень радъ, что выраженное въ этомъ моемъ письмѣ мнѣніе недавно нашло подтвержденіе въ печати мнѣніемъ о томъ же одного извѣстнаго литератора; значить, въ этомъ мнѣніи есть правда. Я держусь этой мысли и теперь, и буду ея держаться. Въ самомъ дѣлѣ, пусть судить читатель: писатель проявляетъ себя во всеоружіи своего таланта, приноситъ зрѣлыя, глубоко обдуманныя и тщательно обработанныя созданія, является

цѣльнымъ, полнымъ, какъ монументальное изваяніе, образомъ и хочеть этимъ произвести ожидаемое имъ впечатлѣніе. Въ этомъ цѣль его дѣятельности, его гордость, его награда, его слава. А литературные археологи возьмутъ да и выкопають какой-нибудь набросокъ, стихъ, фразу, страницу, словомъ, все отброшенное, непригодное художнику, чтò въ его черновой работѣ не вошло въ дѣло, чтò выметается обыкновенно изъ мастерской. Зачѣмъ? Говорятъ—интересно, даже поучительно, какъ онъ работалъ у себя въ мастерской, чтò предполагалъ первоначально и чтò отвергнулъ потомъ. Полезно-де изучать приемы творчества и т. д.

И все неправда. Пользы никакой; приемамъ творчества не научишься. У всякаго творца есть свои приемы. Можно только подражать ви́шнимъ приемамъ, но это ни къ чему не ведетъ, а въ работу творческаго духа проникнуть нельзя. Между тѣмъ этими отбросами художника нарушается цѣльность его художественнаго образа. Онъ хотѣлъ бы явиться въ торжественныхъ одеждахъ художественной зрѣлости, а тутъ рядомъ 'показываютъ его дѣтскія пеленки, курточку, каракули, которыя онъ чертилъ ребенкомъ, и говорятъ: „вотъ онъ какимъ былъ младенцемъ, юношей!“

Къ чему это? Сколько ненужнаго дѣлають люди, взрослые, умные, иногда какъ будто съ виду и дѣловые, вымышляя это ненужное, выискивая его иногда въ потѣ лица! Для чего, спросите: любопытно, говорятъ: такой замѣчательный дѣятель, слѣдовательно—и все, что его касается, тоже замѣчательно... Нѣтъ, не слѣдовательно и не все. Пусть бы отыскивали неизданныя рукописи или цѣнные отрывки, свидѣтельствующіе о полномъ талантѣ писателя, наконецъ замѣчательныя цѣлыя строфы, страницы, все-таки подъ условіемъ, что авторъ хотѣлъ, да не успѣлъ огласить ихъ—нѣтъ! иногда полустроки, выраженія, даже намѣренія его, какъ онъ сначала задумывалъ и какъ отдумалъ и т. д. И все потому, что „любопытно“, т.-е. для удовлетворенія празднаго любопытства толпы дробять писателя на куски и портятъ величавую цѣлость его фигуры. „Вѣтрнное племя!“—невольнo сважешь съ поэтомъ.

По какому праву это дѣлается, не нужно и спрашивать. Чѣмъ руководствуется изыскатель оставленнаго наслѣдства писателя или художника? Да тѣмъ же, чѣмъ и издатели посмертныхъ писемъ, на примѣръ, Пушкина, Тургенева и другихъ, не предназначенныхъ самими авторами для печати.

Какъ тѣло писателя дѣлается добычею анатомическаго ножа, для опредѣленія болѣзни или для судебной медицины, и оно по-

томъ предается землѣ и истлѣваетъ; такому же процессу хотѣть подвергнуть и духъ писателя, его безплотный нравственный организмъ, свершаютъ насиліе надъ его умомъ, волей и сердцемъ!

Какъ будто это одно и то же! Любившія нѣжно, близкія покойному лица препятствуютъ, сколько могутъ, даже и тѣло подвергать анатомическому ножу. А тутъ разсѣкаютъ его духъ! Ты умеръ, думаютъ его друзья, почитатели, поклонники его таланта, его издатели, слѣдовательно и твои мысли, твоя воля, твой духъ — наше достояніе. Мы заставимъ тебя *высказывать твоими же словами*, чего ты не сказалъ бы самъ; ты такъ же добыча молнии, какъ твое тѣло; ты болѣе не принадлежишь себѣ, мы взроемъ всю твою жизнь — и все предадимъ любовденію и любопытству толпы. Это-де значитъ изучать жизнь.

Вѣроятно, такъ и думаютъ равнодушные въ умершему люди, поступая безцеремонно съ его волей и памятью послѣ смерти. Пусть бы изучали его со стороны, если ужъ это необходимо, собирали свѣденія, факты, но зачѣмъ заставлять его самого обижать себя!

Какъ это противорѣчитъ всему тому, чѣмъ окружаютъ и провозглашаютъ гробъ усопшаго въ могилу! Какъ прикажете разумѣть послѣ того проливаемые надъ могилой слезы, приносимые вѣнки, рѣчи, наконецъ воздвигаемые усопшимъ монументы? Вѣдь не тѣлу же его посвящается это поклоненіе, а душѣ его, уму, таланту, словомъ, духу?

Еще упрекнуть меня, пожалуй, что я чопоренъ, педантически смотрю на такое простое житейское дѣло, какъ безцеремонное обращеніе съ человѣкомъ, переставшимъ жить, что это похоже на китайское преувеличеніе почестей усопшимъ... Пусть упрекаютъ, пусть назовутъ недотрогой, но я буду утѣшаться тѣмъ, что очень многіе въ обществѣ раздѣляютъ эту мою „серупулезность“ и, смѣю думать, большинство соглашается со мной. Но многіе, конечно, и не согласятся, между прочимъ, болѣе всего собиратели и издатели историческихъ матеріаловъ, журналовъ, посвященныхъ прошлому.

Они наговарятъ много громкихъ и чувствительныхъ словъ о наукѣ, объ исторіи, о необходимости реставрировать старую жизнь и вообще много приведутъ благовидныхъ причинъ и предлоговъ. А причины, большею частью, другія, проще. Издатели историческихъ сборниковъ и журналовъ не всегда обеспечены постояннымъ серьезнымъ историческимъ матеріаломъ, и оттого они добываютъ всякую старую ветошь, даже мало занимательные мемуары, дневники людей вовсе не историческихъ, и между про-

чимъ и частныя письма, чтобы пополнять появляющіяся въ опредѣленный срокъ изданія. Они ловятъ всякую мелочь, извѣстіе, анекдотъ — нерѣдко не важнаго, иногда и недавно умершаго лица, и все это сходить съ рувъ за quasi-историческій матеріалъ. И сколько накапливается такого матеріала! Невольно вспомнишь бывшаго когда-то министромъ просвѣщенія Уварова, который въ одной брошюрѣ своей поставилъ вопросъ: „достовернѣе ли стала исторія съ тѣхъ поръ, какъ размножились ея источники?“, т.-е. съ тѣхъ поръ, когда вмѣсто одного ключа на поясѣ исторія явились сотни ключиковъ, которые почти невозможно подбирать, и сотни дверей въ темный лабиринтъ давно минувшаго, которыя не ведутъ къ свѣту.

Корреспонденты извѣстнаго лица, представляя охотно издателямъ имѣющіяся у нихъ его письма, руководствуются разными побужденіями: одни — участіемъ, дружбой къ умершему, желаніемъ подѣлиться разсыпанными въ письмахъ перлами таланта, якобы затѣмъ, чтобы увѣковѣчить его память, да встать и свою. Есть такіе охотники до бессмертія. Другіе побуждаются просто мелкимъ самолюбіемъ: „пусть знаютъ, что вотъ, молъ, такое лицо было со мной въ перепискѣ, слѣдовательно я тоже особа!“ Это жалко, мелко.

Отъ всего этого и забирается въ переписку писателя или художника много лишняго, что только вредитъ цѣлости впечатлѣнія и отъ чего „истиннымъ друзьямъ“ и издателямъ переписки усопшаго дѣятеля слѣдуетъ всячески очищать письма, мемуары, дневники и т. п.

Но нарушеніе воли совершается, какъ я упомянулъ вначалѣ, не только надъ умершими, но и надъ живыми: печатаютъ ихъ письма безъ ихъ согласія, не какъ улики какія-нибудь въ препирательствахъ, въ судебныхъ процессахъ и т. п., а просто взятыя изъ житейскаго быта и напечатанныя для извѣстнаго имени, въ видѣ рекламъ, безъ согласія автора. Это уже ни на что непохоже. Я не придумаю, какъ назвать такіе поступки.

Ратуя за соблюденіе приличій въ отношеніи къ живымъ и къ волѣ усопшихъ, я не претендую, на безусловное раздѣленіе моего взгляда, но искренно желаю (а со мной и очень многіе, смѣю увѣрить), чтобы вопросъ о печатаніи частной переписки былъ глубоко обдуманъ и рѣшенъ въ удовлетворительномъ для всѣхъ сторонъ смыслѣ. Онъ стоитъ того. Заявляя объ этомъ вопросѣ, я только привелъ немногія неудобства, происходящія отъ оглашенія писемъ отъ одного лица къ другому, писанныя только для одного лица. Я указываю выше и средство не становиться

въ щекотливое положеніе нарушителей ихъ воли: это—не объявлять писемъ и бумагъ преждевременно, по крайней мѣрѣ, пока еще живы современники автора и корреспонденты, и потому не всегда цѣликомъ, а печатать въ извлеченіяхъ, выпискахъ, тѣ письма, которыя, кромѣ обще-интереснаго, изобилуютъ интимными и семейными подробностями. Можетъ быть, другіе, болѣе меня компетентные и авторитетные судьи въ дѣлахъ печати, раздѣляющіе мой взглядъ, придумаютъ лучшей рецептъ: я и отдаю дѣло на ихъ судъ—а самъ ставлю только вопросъ на очередь.

„Изучать жизнь“, конечно, интересно, но всякая человѣческая жизнь всегда представляетъ своего рода интересъ: почему же это совершается надъ писателемъ, художникомъ, ученымъ? Потому, скажутъ, что онъ самъ говоритъ о себѣ письмами или какимъ-нибудь дневникомъ: что это-де надежное средство, т.-е. собственные сообщенія о себѣ писателя или художника. Выше я старался доказать противное и позволю себѣ сослаться на великій авторитетъ Пушкина. Онъ въ 31-мъ письмѣ къ князю Вяземскому (стр. 46 дешев. изд. Суворина) вотъ что говоритъ по этому поводу: „Никого такъ не любишь, никого такъ не знаешь, какъ самого себя. Предметъ неистощимый. Но трудно писать о себѣ. Не лгать можно; *быть искреннимъ*—невозможность физическая. Перо иногда становится какъ съ разбѣга передъ пропастью, на томъ, что посторонній прочтетъ равнодушно“.

Стало-быть, едва ли можно полагаться на вѣрность автобиографическихъ данныхъ въ письмахъ, въ мемуарахъ и т. п.

Прочтя все написанное въ защиту усопшихъ дѣятелей отъ оглашенія, противъ ихъ воли, оставшихся послѣ нихъ рукописей, писемъ, чего бы то ни было, для печати ими не назначеннаго, могутъ подумать, что и я, близкій кандидатъ въ покойники, защищаю вмѣстѣ и самого себя противъ посягательствъ на изданіе какихъ-нибудь моихъ посмертныхъ бумагъ. Полагаю, что знающіе меня сколько-нибудь близко этого не подумаютъ: но другіе, можетъ быть, и заподозрятъ. Поэтому, встати, на всякій случай, я считаю необходимымъ и важнымъ для себя выразить здѣсь мое желаніе и мою волю.

Завѣщаю и прошу и прямыхъ, и непрямыхъ моихъ наследниковъ и всѣхъ корреспондентовъ и корреспондентокъ, также издателей журналовъ и сборниковъ всего стараго и прошлаго не печатать *ничего*, что я не напечаталъ, или на что не передалъ права изданія, и что не напечатаю при жизни самъ, конечно,

между прочимъ и писемъ. Пусть письма мои остаются собственностью тѣхъ, кому они писаны, и не переходятъ въ другія руки, а потомъ предадутся уничтоженію.

Еслибы я претендовалъ на оглашеніе ихъ и другихъ. какихъ-нибудь своихъ бумагъ, я собралъ бы самъ, пересмотрѣлъ и напечаталъ бы тѣ изъ нихъ, которыя имѣютъ какой-нибудь общій интересъ.

Но въ письмахъ моихъ нѣтъ ничего дѣльнаго, серьезнаго, глубокаго, какъ, напримѣръ, въ письмахъ Кавелина, Крамского; не пѣнятся они и той игрой блеска, остроумія, таланта, какъ письма Пушкина, Тургенева, словомъ, нѣтъ ничего олимпійскаго, и нѣтъ даже почти ничего касающагося литературы. Это безцеремонная болтовня съ пріятелями, пріятельницами, рѣдко съ литераторами, иногда, можетъ быть, живая, интересная для тѣхъ только, къ кому писалась, и въ то время, когда писалась. У меня есть своего рода „rideur“ являться на позоръ свѣту съ такимъ хламомъ. И я прошу пощады этому чувству, т.-е. rideur.

Пусть же добрые, порядочные люди, джентльмены пера, исполнять послѣднюю волю писателя, служившаго перомъ честно, — и не печатаютъ, какъ я сказалъ выше, ничего, что я самъ не напечаталъ при жизни — и чего не назначалъ напечатать по смерти. У меня и нѣтъ въ запасъ никакихъ бумагъ для печати.

Это исполненіе моей воли и будетъ моею наградою за труды и лучшимъ вѣнкомъ на мою могилу.

И. Гончаровъ.

14 января. 1889.





---

# МИРАЖИ

РОМАНЪ ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ КНИГАХЪ.

---

## КНИГА ВТОРАЯ.

XXII \*).

Анна безъ сожалѣнiя прислушивалась, какъ Ожогинъ уходилъ. Слезы неудержимо струились по ея лицу.

Одно спасенiе—выйти замужъ во что бы то ни стало, какъ можно скорѣе! Имѣть, наконецъ, свое законное мѣсто въ жизни, исполнять долгъ—хотя бы это одно! Не терзать нѣхота сердецъ, не быть виноватой на каждомъ шагѣ. Все равно—любить некого. До какихъ же поръ ждать? гдѣ искать? Ей двадцать-три года. Въ прошломъ жизнь была полна и безъ любви. Ей не могло бы на умъ придти искусственно настраивать себя или гладновровню выбирать ту или другую судьбу. Эта судьба сама должна преградить ей путь. Любовь властная и неотразимая должна повести за собой на горе и радость. И она не спѣшила; она наслаждалась своимъ каждымъ днемъ, жила одними эстетическими восторгами. Какъ и всѣ вокругъ ея, она расточала силы на достиженiе возможнаго совершенства всегда съ самозабвенiемъ и со смиренiемъ, безъ котораго никто не приступить къ завѣтному труду. Она не думала, что настанетъ день, когда ей *нужно* будетъ полюбить! когда замужество встанетъ передъ нею труднымъ и пугающимъ житейскимъ вопросомъ. Муза художника Голубина могла бы и вовсе не выйти замужъ, если она не нашла достой-

---

\*) См. выше: февр., 551 стр.

наго; сестра Мишеля видѣла ясно, что ей не оставалось ничего больше—она не исключеніе. Она ничѣмъ не выше другихъ, тѣхъ сотенъ, тысячъ дѣвушекъ, которыя выходятъ замужъ не любя, потому только, что для одного этого онѣ родились на свѣтъ Божій, потому что имъ не на что больше употребить своихъ силъ. „Какъ всѣ!.. какъ всѣ!“—твердила Анна горько, вглядываясь отчаянными глазами въ мягкій мракъ алькова.

Анна не могла думать о замужествѣ безъ того, чтобы передъ нею не вставалъ яркимъ примѣромъ „счастливый“ бракъ ея брата. Добрый, благородный Мишель, для котораго послѣ семи лѣтъ такой жизни весь нравственный критерій сводился къ одобренію или порицанію Мани, пропадалъ постепенно интересъ во всему, что не имѣло прямого отношенія къ благоденствію и процвѣтанію его семьи. Марья Павловна, враждующая инстинктивно со всѣмъ, что сколько-нибудь стремится въ высъ и ширь, преисполненная самодовольства, убѣжденная, что любить мужа и дѣтей есть послѣднее слово земной добродѣтели. Маня, умѣющая съ невиннымъ видомъ хитрить и, пользуясь минутой, преслѣдовать систематически свои антипатіи и осуществлять мелкія цѣли... Вотъ всѣми признанная счастливая пара! люди, со всеобщаго одобренія и уваженія замкнувшіеся въ тѣсный мірокъ первобытнаго эгоизма и самыхъ ограниченныхъ интересовъ!.. Дѣти?.. Шура! Боже мой, что дѣлается безъ нея во флигель?!

Анна вышла изъ алькова разбитая. Ни проблеска надежды не было въ душѣ. Жизнь сходилась впереди узкой, торной тропинкой, на которую нѣтъ духу ступить, еслибъ не подталкивала посторонняя сила. „Какъ всѣ!“—повторила она еще разъ два слова, заключавшія въ себѣ такое полное отреченіе отъ ея дорогаго прошлаго.

Анна собиралась ужъ выйти изъ павильона, когда приближалъ Володя звать ее обѣдать. У нихъ гости—Ожогинъ и докторъ, всѣ сидятъ на балконѣ и ждутъ. Анна отослала его назадъ. Она нечаянно проспала и теперь торопится во флигель; она тамъ будетъ обѣдать. Пусть думаютъ что хотятъ! Ожогинъ бѣдный... больной!.. И вся сцена-то не доказываетъ ли только, что онъ еще не совсѣмъ оправился, нервы не успѣли окрѣпнуть? Не бездушно ли его же наказывать?! Одну минуту Анна готова была переимѣнить рѣшеніе... А!.. нѣтъ, пусть образумится! Скажутъ: новое кокетство? пусть, ей ужъ за одно...

По совѣсти, было или нѣтъ кокетство въ томъ живомъ, непосредственномъ интересѣ, съ каковымъ она шла на встрѣчу каждому человѣку, умѣла затронуть лучшія стороны ума и сердца,

найти малѣйшее сходство во взглядахъ и вкусахъ и умѣла всѣмъ насладиться, всему дать высшую цѣну? Это ли советство? Ей не нужна ихъ любовь, не трогающая ея сердца. Развѣ, напротивъ, эта любовь не портила всего—не отнимала у нея друзей, не лишала того именно, чѣмъ она дорожила въ ихъ близости?.. Развѣ не любовь создавала заботу и затрудненія, вмѣсто прежнихъ невинныхъ радостей!

„По совѣсти, Анна?!“—пытаетъ себя дѣвушка. Она осталась посреди дорожки и подняла заплаканные глаза къ небу, передъ которымъ духу не хватить покривить душой.

На небѣ пышныя облака громоздились причудливой выпуклой цѣпью, сверкая серебромъ и нѣжнѣйшими тѣнями. Можно было легко различить всѣ отдѣльные слои, прослѣдить, какъ они поднимались все выше и тонули въ залитомъ свѣтомъ пространствѣ, точно послѣднія, свѣгвыя вершины далекихъ горъ сверкали сквозозъ золотой туманъ. На первомъ планѣ гигантскія скульптурныя фигуры выдѣлялись съ отчетливостью настоящихъ статуй, неуловимо мѣняя свои очертанія.

Будь къ земному безучастна  
И безстрастна, какъ они!

—вспомнился невольно стихъ великаго поэта.

Анна глубоко вздохнула и перевела отуманенный взоръ на флигель, мелькавшій впереди, въ группѣ старыхъ вязовъ. Передъ небомъ, которое она такъ любила, передъ собственнымъ тоскующимъ сердцемъ она могла сказать, что не хотѣла играть легкомысленно спокойствіемъ несчастнаго человѣка, поселившася подъ этой кровлей...

Проходя подъ окнами дѣтской, Анна услышала плачь Шуры. Она быстро вбѣжала на маленькое крылечко, проскользнула черезъ корридоръ и стояла на порогѣ какъ разъ въ ту минуту, когда старуха грубо ворчала:

— Ну-у, дери горло громче! Я тебѣ не тетя Аня, баловница. Вотъ приберусь, тогда и принесу. Не всѣмъ сломя голову капризы твои исполнять. Дѣла за меня небось никто не сдѣлаетъ... не десять рубль!

Половицы неприятно дрожали подъ грузной походкой. Старуха безъ всякой предосторожности топала всей пятой съ брезгливымъ и сумрачнымъ видомъ старой няньки, не услѣдившей обжиться въ домѣ, которой не удалось въ законный часъ напиться чаю на кухнѣ.

Вотъ чтó тутъ дѣлается безъ нея!

— А-а-а! солнце наше красное! Шурочка, глянь-ка сюда скорѣе, пришелъ кто?.. Полно тебѣ плакать, дитятеко болѣзное!—перемѣнила нянька тонъ на фальшиво-слащавый, какимъ не обмануть ни одного ребенка на свѣтѣ.

— Можете идти на кухню! Я знаю теперь, какъ вы обращаетесь съ нею безъ меня!—выговорила Анна, дрожа отъ негодованія.

— Какъ обращаюсь? Владычица Казанская! Сорокъ лѣтъ при дѣтахъ, ни отъ кого нарочу не слыхивала. Матери родныя благодарны оставались. Тоже живой человекъ—съ утра росинки маковой во рту не было, ноженьки всѣ притоптала. Непто съ съ такимъ дитей совладеетъ кто!

— Я слышала своими ушами. Ступайте, вы не нужны теперь. Крошка моя бѣдная! ты о чемъ плакала? чего ты хочешь?

Анна цѣловала маленькія горячія ручки, до того худыя, что до нихъ страшно было дотронуться. Вотъ гдѣ ея мѣсто!

Въ маленькомъ залцѣ накрытъ столъ на два прибора. Строевъ стоялъ у окна, когда Анна вошла грустная, но безъ того волненія, въ какое привело ее свиданіе съ Ожогинимъ. Удовлетвореніе можетъ быть и тамъ, гдѣ нѣтъ вовсе радости. Еслибъ она могла спросить того, кому привыкла вѣрить на слово, чье мнѣніе ей представлялось непогрѣшимымъ, — еслибъ стариву Голубину пришлось въ трудную минуту подать совѣтъ своей пріемной дочери, неужели онъ не благословилъ бы ее на благородный путь самоотверженія и великодушія?!

— Да, да, я спала, я прекрасно отдохнула!—отвѣтила Анна на заботливый вопросъ Строева.—Но, я боюсь, ей, кажется, еще хуже теперь?

— Ей давно ужъ должно бы быть лучше. Это ясно.

— Она умираетъ!!

Строевъ смотрѣлъ въ тарелку.

„Истуканъ!“—вырвалось у нея мысленно, но черезъ мигъ она съ раскаяніемъ подняла къ нему глаза.

— Простите! Можетъ быть... Нельзя этого знать до послѣдней минуты...

— Нѣтъ, можно и должно. Но должно также и въ самомъ состраданіи отличать то, что прямо дѣйствуетъ на наши чувства, отъ истинной сути. Жизнь не такъ ужъ красна, Анна Владиміровна, чтобы считать смерть самымъ большимъ зломъ.

Это говорилъ отецъ о дочери! Первый спазмъ сдавилъ Аннѣ горло.

— Однако, мы всё безъ исключенія считаемъ ее благомъ для себя!

— Мы малодушны: малѣйшая радость заставляетъ забывать прошлое зло. Чужую жизнь каждый можетъ оцѣнить вѣрно. Такая крайняя болѣзненность, такое раннее сиротство — слишкомъ плохіе залого для счастья.

Онъ смотрѣлъ ей въ лицо, какъ человѣкъ, которому не въ чемъ себя упрекнуть. Анна забывала, что онъ выстрадалъ это право судить жизнь по своему. Она помнила только, что въ соседней комнатѣ изнемогало живое существо.

— Въ прошломъ году въ Москвѣ одинъ профессоръ прямо сказалъ мнѣ, что она не можетъ вынести ни одной серьезной болѣзни.

Кажется, они перемѣнились ролями? это онъ утѣшаетъ ее?!

— Вы, стало быть, давно готовы въ ея смерти! — выговорила она, не поднимая глазъ.

— Я вижу, васъ это возмущаетъ?

— Да!

— Это такъ, я не буду лицемерить. Она уходитъ отъ страданій гораздо болѣе жестокихъ. Она умираетъ, не сознавая этого, не успѣвъ еще полюбить жизнь.

— Мы всегда находимъ, чѣмъ утѣшиться, когда хотимъ этого!

Анна дрожащей рукой отставила свой приборъ.

— Когда же вы будете кушать?

— Я сыта.

— Кончится тѣмъ, что вы сами заболѣете.

— Пожелайте тогда, чтобы и я умерла — вѣдь нельзя знать, какія страданія ожидаютъ меня въ жизни!

Она почувствовала облегченіе, выговоривъ дивую фразу. Строевъ отвѣтилъ не сразу.

— Было бы странно, еслибъ вы могли разсуждать такъ же, какъ я, но не менѣе странно, еслибъ я только оплакивалъ то, что самъ я теряю въ ней. Воспитаніе маленькаго ребенка, конечно, затруднительно для одинокаго человѣка; но взрослая дочь была бы утѣшеніемъ, вѣроятно единственнымъ, въ моей судьбѣ. Пока я невольно думаю только о ней; о себѣ подумать будетъ время послѣ.

Анна сознавала, что должна чувствовать себя пристыженной, но въ его словахъ и теперь не было того одного, что она хотѣла бы слышать въ нихъ.

— Вы должны извинить меня, я дѣйствительно разстроена сегодня.

— Подозрѣваю, что вы не совсѣмъ правдивы со мной: вы не уснули у себя? Я никогда еще не видалъ васъ таковой.

— Я буду, вѣроятно, еще больше разстроена, когда придется хоронить вашу дочь!

На такія вещи способны однѣ женщины. Чего хотѣла она отъ него?..

— И тогда (уже задыхалась отъ слезъ Анна) — тогда вы будете безутѣшны! Вы не простите себѣ, что могли хладнокровно разсуждать, философствовать въ такія минуты!

— Анна Владиміровна, человѣческія чувства не въ словахъ и даже не въ слезахъ.

Она добилась, что и его самообладаніе не выдержало.

— Не знаю. Мои чувства всегда выражаются въ томъ и въ другомъ. Я сознаю, что это бываетъ часто совершенно лишнимъ, какъ, напримѣръ, въ настоящую минуту!

— Я не говорилъ этого. Я всегда предпочитаю знать ваши чувства, каковы бы они ни были.

Анна налила себѣ воды и поспѣшно отпивала маленькими глотками, задрывая зубами за стекло. Чѣмъ меньше понималъ Строевъ въ подобныхъ вещахъ, тѣмъ сильнѣе было впечатлѣніе этой чисто женски-эзальтированной сцены. Онъ не переживалъ ничего подобнаго въ своихъ салонныхъ ухаживаніяхъ за свѣтскими женщинами и еще меньше въ своей короткой семейной жизни. Онъ больше не разсуждалъ, умѣстны ли, резонны ли ея упреки — онъ хотѣлъ только одного: чтобы она не думала о немъ дурно.

— Вы считаете меня бездушнымъ человѣкомъ.. вы не подозреваете, что именно теперь всего меньше я заслуживаю подобное обвиненіе. Только теперь я нашелъ свою душу!

Онъ устремилъ ей прямо въ глаза не взгляды влюбленнаго чловѣка, а тотъ свѣтящійся, напряженно-мыслящій взоръ, какой она такъ часто замѣчала у него въ послѣднее время.

— Я не могу быть равнодушнымъ къ вашему осужденію. Прошу только: не спѣшите съ нимъ!.. Произнесите его, когда вы будете знать все...<sup>13</sup>

О, нѣтъ, она ничего не хотѣла знать, ничего не могла слышать въ эту минуту. Она испуганно поднялась съ своего мѣста.

— Я пойду къ ней! Я не могу обѣдать...

— Что же это будетъ?.. вѣдь вы ни къ чему не притронулись. Теперь вы сами должны убѣдиться, наконецъ, что все это вамъ совершенно не по силамъ.

Что же будетъ ей подъ силу послѣ этого, если двѣ недѣли ухаживанія за больнымъ ребенкомъ до такой степени распатали

ей нервы, что она не придумала ничего умнѣе, какъ устраивать чувствительныя сцены человѣку въ его положеніи... Хороша помощница! надежная поддержка въ трудную минуту!.. Она уныло опустилась на прежнее мѣсто.

— Вотъ я какая... простите меня, Бога ради! Вы не знаете, тутъ не однѣ безсонныя ночи. Меня волнуетъ еще многое другое.

— Еще многое другое?—повторилъ Строевъ подозрительно, стараясь взглянуть въ ея лицо, полузакрытое одной рукою, которою она защищала глаза отъ свѣта.

Поглощенные разговоромъ, они не разслышали шаговъ на балконѣ и не замѣтили, когда въ открытой двери появился докторъ Заботинъ и остановился на порогѣ, созерцая выразительную группу за столомъ.

— Анна Владиміровна, — произнесъ грудными нотами голосъ Строева.

— Виновать, я прерываю... вапшъ обѣдъ!

Анна обрадовалась третьему лицу, хотя бы даже доктору. Она не замѣтила предательской паузы, сдѣланной имъ передъ послѣднимъ словомъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, мы все равно ничего не ѣдимъ! Мы васъ ждали, докторъ!

„Могу это представить себѣ! Хороши оба, чрезвычайно какъ хороши!“

Докторъ нетерпѣливо скидывалъ рукою свои очки, перебѣгая блестящими глазами отъ одного къ другому.

— Я сиѣшу сюда прямо отъ стола. Намъ сказали, что вы *не можете* придти къ обѣду, и я боялся, что случилось что-нибудь особенное. Очень радъ, что застаю васъ за мирной бесѣдой.

— Нѣтъ, худо у насъ, очень худо!—воскликнула Анна, все также не вслушиваясь въ его слова.

— Неужели? я бы не подумалъ этого, войдя сюда!

— Это доказываетъ только, Орестъ Павловичъ, что людямъ вообще свойственно мѣрять своей собственной мѣркой, — вмѣшался неожиданно Строевъ.

Обыкновенно дерзкія выходки доктора отпарировала всегда Анна. Заботинъ повернулся, какъ ужаленный, въ его сторону:

— Совершенно вѣрное замѣчаніе! Напримѣръ, счастливые люди рѣдко догадываются о страданіяхъ другихъ, но зато люди погибшіе находятъ, что ничего не можетъ быть естественнѣе того, чтобы и другіе, здорово живешь, погибали съ ними вмѣстѣ. Такія вещи видны только со стороны.

Докторъ договорилъ развязно подъ упорнымъ взглядомъ

Строева. Анна только по лицамъ ихъ догадалась, что она что-то пропустила мимо ушей.

— О какой погибели вы говорите, господа? Нашли время философствовать!

— Погибель, Анна Владиміровна, не всегда бываетъ наглядна, да и слово-то это старомодное какое-то! При желаніи самое величайшее безразсудство всегда можно сдобрить эффектнымъ словечкомъ или прикрыть яркимъ ярлычкомъ. Къ тому же иные люди на это патентованные мастера и охотники.

Строевъ держался обѣими руками за спину своего стула. Почему этотъ человѣкъ позволяетъ себѣ такъ много? Быть можетъ, за нимъ имѣются какія-нибудь особенныя права, о которыхъ онъ ничего не знаетъ?.. Ему вспомнилась послѣдняя фраза Анны, что ее волнуетъ многое.

— Но зато другіе, Орестъ Павловичъ, — отвѣтила насмѣшливо дѣвушка, — всю свою жизнь только и дѣлаютъ, что лишаютъ каждый поступокъ, каждое чувство человѣческое не ярлыка, а всякаго благороднаго смысла. Очевидно, о вкусахъ спорить бесполезно!

— До тѣхъ поръ, пока это вопросъ вкуса, а не чего-нибудь болѣе существеннаго. Благоустроенныя общества тѣмъ и отличаются, что ихъ жизнью руководитъ общественное мнѣніе.

Ого! противъ кого была направлена эта стрѣла? Противъ легкомысленнаго поведенія Анны или, быть можетъ, противъ рокового прошлаго Строева? Не было времени взвѣшивать, и они приняли это каждый на свой счетъ. Строевъ поблѣднѣлъ. На лицѣ Анны появилась ея задорная саркастическая усмѣшка:

— Общественное мнѣніе всегда торжествуетъ, Орестъ Павловичъ; оно вовсе не нуждается въ черезъ-чуръ усердныхъ агентахъ.

Этой прелестной усмѣшки Заботинъ не могъ выносить хладнокровно.

— Напротивъ, Анна Владиміровна, — имъ слишкомъ пренебрегаютъ въ русскомъ обществѣ. Пренебрегаютъ даже и тѣ, кому довелось на собственной шкурѣ испытать его когти. Я полагаю, что родъ человѣческой даже и въ загробной жизни едва ли отрѣшится отъ своего прирожденнаго грѣха — эгоизма!

— Вамъ первому не мѣшаетъ отрѣшиться отъ него на нѣсколько минутъ и вспомнить, что васъ ждетъ больная.

Они ушли.

Строевъ смотрѣлъ имъ вслѣдъ... Докторъ Заботинъ открыто заявляетъ, что всякое сближеніе съ нимъ уже бросаетъ тѣнь на репутацію. Онъ губитъ Анну, принимая ея участіе, ея состраданіе къ умирающему ребенку. Подъ его кровомъ гнѣдится без-



славіе и падеть на каждаго, хотя бы его привело сюда христіанское милосердіе... Или онъ забылъ ужъ, что это такъ и не будетъ иначе?.. что клевета не умираеть, что неразгаданная тайна ложится вѣчнымъ клеймомъ, темное подозрѣніе остается на-вѣки готовымъ оружіемъ въ каждой враждебной рубцѣ?..

Убаюванный неподдѣльной симпатіей великодушныхъ людей, онъ позволилъ себѣ забыть, что у него нѣтъ будущаго, дождался, что посторонній человѣкъ безцеремонно напомнилъ ему это! Напомнилъ, что на свѣтѣ есть только одна семья Голубинныхъ, знавшая его ребенкомъ, и во имя этого... или, быть можетъ, просто оберегая собственныя сердца отъ разочарованія?? вѣдь всѣ идеалисты на свѣтѣ боятся его пуще огня! Конечно, для Анны и для Мишеля легче повѣрить чуду, нежели усомниться серьезно въ благородствѣ человѣческой природы. Что-жъ! найдутся помощники, которые насильно просвѣтятъ ихъ, вольютъ отраву и въ ихъ хрустальныя души. Онъ проклянетъ еще тотъ день, когда допустилъ малодушно хоть одно исключеніе для своихъ пострадавшихъ истинъ!..

Бровь горячей волной ударила въ голову. Онъ вынесъ много оскорбленій, но ни одно, казалось ему, не уязвляло его такъ больно, ни одно не проникало такъ глубоко, до новаго, еще незатронутаго, уголка души... Онъ пережилъ всѣ муки растоптанной гордости, зналъ всѣ терзанія безсилія и страха. Онъ все потерялъ въ жизни и глядѣлъ въ глаза величайшимъ опасностямъ: онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ, выносилъ незаслуженный позоръ, испыталъ полное одиночество обезславленнаго человѣка, отъ котораго отшатнулись случайные друзья. Только одного онъ еще не испытывалъ никогда: жгучей муки сердца, не принадлежащаго больше самому себѣ.

Строевъ сидѣлъ у стола, на которомъ остывалъ нетронутый обѣдъ. Онъ припоминалъ слово за словомъ разговоръ съ Анной, какъ будто слышалъ еще горькій звукъ ея голоса, видѣлъ слезы въ негодующихъ глазахъ, избѣгающихъ его взгляда. Безъ сомнѣнія, дѣло ужъ сдѣлано... Великодушный порывъ начинаетъ ослабѣвать, и онъ является ей въ подобающемъ ему видѣ—изверга, вливающаго отраву собственной женѣ, ожидающаго равнодушно смерти единственнаго ребенка! Чего еще нужно? какого лучшаго подтвержденія подозрѣніямъ, которыя съѣтъ щедрой рукой его неразборчивый противникъ?.. Вотъ объясненіе всей странной сцены, вотъ причина ея волненія и разгадка тѣхъ словъ — онъ знаетъ теперь то „многое другое“ что довело ее почти до истерики на его глазахъ!

„Все кончено!“ — повторялъ мысленно Строевъ, не спрашивая себя, что такое это „все“ и почему онъ такъ безмѣрно несчастливъ въ эту минуту.

## XXIII.

Осмотръ Шуры на этотъ разъ кончился очень скоро. Поглощенная своимъ горемъ, Анна не удостоила объясняться съ Заботиннымъ по поводу его новой непростительной выходки; къ тому же она плохо вникла въ истинный смыслъ быстро промелькнувшей сцены и вовсе не подозрѣвала о глубокомъ оскорбленіи, вынесенномъ изъ нея Строевымъ. Анна приняла на свой счетъ то, что относилось всецѣло къ нему, а она не чувствовала никакого желанія отстаивать себя въ глазахъ Ореста Павловича.

Докторъ оставилъ всѣ старыя лекарства и не прибавилъ ничего новаго къ своимъ прежнимъ распоряженіямъ; безъ всякаго впечатлѣнія, безъ интереса онъ выслушивалъ сумрачно все, что ему излагали. За неимѣніемъ кого-нибудь другого, Анна одна испытывала гнетущее впечатлѣніе подобной визитаціи у постели больной, положеніе которой ухудшалось съ каждой минутой.

— Вы такъ-таки ничего и не пропишете??—воскликнула она въ ужасѣ, когда Заботинъ поднялся со стула съ подавленнымъ вздохомъ врача, которому нечего больше дѣлать.

— Ничего.

— Нельзя такъ, докторъ—вѣдь вы же слышали?!

— Слышалъ-съ. Не уподобляйтесь Марья Павловнѣ и всѣмъ маменькамъ,—благодаря Бога, это только дочь Строева, а не ваша. Вы можете настолько владѣть разсудкомъ, чтобы понять, что тутъ дѣлать нечего. Я удивляюсь, что она жива до сихъ поръ.

— Такъ откажитесь ѣздить!!

— Не имѣю права. Долженъ дожидаться, чтобы сказали, что я уморилъ ее. Вы можете прибавить къ этому: изъ ревности къ отцу. Но я, вонечно, избралъ бы мѣсть для него болѣе чувствительную!..

Что приходитъ на умъ этому человѣку! что онъ въ состояніи выговорить! Анна все пропускала мимо ушей, помня только, что онъ уходитъ, а помощи ждать больше не отъ кого.

— Облегчите, по крайней мѣрѣ, чѣмъ-нибудь—ваша микстура не дѣйствуетъ!

Заботинъ прописалъ наркотикиъ.

— Что это такое?!

— Давать, какъ написано.

— Будетъ она спать?

— Отпустите меня, Анна Владиміровна! Я предпочитаю не видѣть, до чего вы себя доводите. Понимаю прекрасно причину всего этого.

— Прошу оставить при себѣ ваше открытіе!

Но Орестъ Павловичъ ужъ закусилъ удила:

— Вы,— вы никогда не бываете просты въ вашихъ чувствахъ! Еслибъ вы дѣйствительно могли влюбиться въ этого человѣка, вамъ не отъ чего было бы сумасшествовать! Нѣтъ, вы вымучиваете изъ себя насильно какую-то противоестественную нѣжность къ этой муміи...

— Орестъ Павловичъ!!..

— Къ этому маниаку!

Анна бросилась въ дверь.

„Умирала бы ужъ, что ли, скорѣе; тутъ собственныхъ потроховъ не соберешь! Печень болѣть начинаетъ не шутя... Плюнуть на все, да уѣхать куда-нибудь подальше на остатокъ лѣта. Пусть дурятъ тутъ сколько хотятъ! Этотъ теленокъ праведный, Голубинъ, глядитъ и не видитъ, словно загнипнотизированы всѣ нашей феей изъ павильона. И чего такого нашли въ ней въ сущности? а вотъ поди-жъ ты, обматываетъ всѣхъ вокругъ своихъ пальчиковъ, да сама же еще чуть не плачетъ... вотъ ужъ во истину дурь-то!“

Докторъ какъ ураганъ несея по саду, сбивая траву своей палкой, отшвыривая ногой камешки съ дорожекъ, готовый растерзать и разнести собственными руками всю безмятежную красу благоухающаго стараго сада.

Въ подобномъ настроеніи его особенно тяготила „канитель“ съ Маней. Онъ до-сыта налюбовался на ея пышную красоту. Черезъ-чуръ достаточно для того, чтобы не подвигаться ни на шагъ впередъ и не идти дальше пожиманія ручекъ да дурацкой игры во взгляды и улыбки, въ намеки и аллегоріи. Инымъ женщинамъ такая игра никогда не надоедаетъ, но онъ—слуга покорный развлекать Марью Павловну въ ея добродѣтельной скудѣ! Нѣтъ, милая барыня, ужъ что-нибудь одно: добродѣтель такъ добродѣтель, а скука такъ скука. А такъ выходитъ — ни Богу свѣчка, ни чорту вочерга.

До парохода оставалось еще нѣсколько часовъ. Заботинъ звалъ напередъ все, что ему предстояло: Мишель, конечно, хранить теперь въ кабинетѣ, дѣти отправились гулять въ поле, и

романическое настроеніе прелестной хозяйки достигло своего кульминаціоннаго пункта. Кстатѣ всѣ дневныя заботы справлены, хлопоты по хозяйству прикончены — на досугѣ отчего и не поамурничать невиннымъ способомъ? Вотъ она, мѣщанская натура, въ которой нѣтъ ни истинной чистоты, ни настоящаго увлеченія!.. Коли захотѣть, можно бы сегодня, заведя въ аллею подальше, безъ большого риска поцѣловать въ сахарныя уста. Вотъ, жаль, стараться-то нехота и никакіе архи-сиропные tête-à-tête'ы не стоятъ мимолетной встрѣчи съ Анной, вливающей отраву въ его душу. Нѣтъ, не пойдетъ онъ теперь ее разыскивать! Въ тѣни подъ дубами полежить въ качалкѣ, пока не найдутъ его.

Проходя подъ окнами кабинета, докторъ, къ удивленію своему, слышалъ не храпъ, а громкій голосъ Голубина, запальчиво выговаривавшаго кому-то:

— Такъ помни же! покрѣпче затверди себѣ это! на всю жизнь запомни, какъ это на меня подѣйствовало!!

...Разводить, по обыкновенію, одну изъ своихъ душеспасительныхъ нотаций какому-нибудь вору, котораго считалъ образцомъ честности и еще вчера своей головой ручался за его безкорыстіе. Этого — изъ породы вѣчныхъ младенцевъ, про которыхъ сказано: каковъ въ колыбелькѣ, таковъ и въ могилу. У него міръ населенъ честнѣйшими людьми, великодушными друзьями, вѣрными женами, нѣжными мужьями и цѣломудренными дѣвками. Оттого у нихъ и Строевъ чистъ, какъ голубь, и невиненъ, какъ Христосъ передъ жидами. Нѣтъ, небось, такую важную персону, какою онъ былъ, не очень-то посмѣли бы тронуть зря!.. Нѣтъ дыма безъ огня, милѣйшій Михаилъ Владиміровичъ, какъ бы вы ни распинались съ вашей полоумной сестрицей...

На балконной площадкѣ стояла сложенная тѣнь. Гость фамильярно развалился въ буковой качалкѣ хозяйки. На высокой спинкѣ забыта элегантная голубая накидка изъ какой-то пушистой матеріи, обшитая сивелевой бахромой. Орестъ Павловичъ пренебрежительно захватилъ ее двумя пальцами и перебросилъ на столъ. На него пахнуло знакомыми духами.

Эта накидка — новость, и воздушное голубое платье, въ которомъ сегодня Маня смотритъ молоденькой дѣвушкой, вообще всѣ ея свѣжіе лѣтніе наряды. Нельзя — въ Загѣвсѣ жить чуждой человѣкъ! Разумѣется, Мишель безропотно уплатитъ по всѣмъ счетамъ и еще отъ души пожалѣетъ, что пребываніе его пріятели принесло женѣ столько стѣсненій... Ха, ха, ха!.. ну, не глупо ли быть такимъ теленкомъ? не смѣшно ли полагаться такъ слѣпо на добродѣтель глупенькой бабенки и на порядочность доктора За-

ботина, давно стяжавшаго громкую репутацію по этой части? И вѣдь во снѣ не видитъ! Счастливъ твой Богъ, Мишель, что въ сущности ему вовсе не до твоей красотки, и тянетъ онъ эту канитель не то со скуки, не то со злости. Не такъ было бы, еслибъ лазурныя очи, въ самомъ дѣлѣ, вадѣли его за живое,—еслибъ она водворилась въ его сердцѣ такъ же деспотически, какъ та мучительница съ ея бреднями...

Глаза Ореста Павловича затуманились. Желчное, сухое лицо, осунувшееся еще больше за послѣднія недѣли, смягчилось и приняло выраженіе печальнаго раздумья. Злость утомительна даже и для того, кто успѣлъ съ нею сродниться.

Уединеніе доктора Заботина продолжалось, однако, недолго. Голубинъ вышелъ на балконъ и, увидя гостя одного, спустился въ садъ. Мишель двигался не своей обыкновенной, лѣнливой походкой, а тяжело ступалъ рѣшительными крупными шагами, то и дѣло нетерпѣливо мотая головой и опирая рукой воротникъ рубашки.

— Чтѣ, спать не дали? Какого смертнаго вы тамъ разносили, не жалѣя живота своего? Помилосердуйте, батюшка! съ вашей комплекціей, въ такую жару, да еще послѣ обѣда, гнѣву предаваться! Это во истину гнѣвъ Божій призывать на собственную голову. Такъ-то вотъ добрые люди ударъ и наживаютъ.

— И наживешь! — процѣдилъ мрачно Мишель: — нашему брату не всегда можно о собственномъ животѣ помнить; есть и еще что-нибудь, не менѣе важное.

— Ну! сей афоризмъ, полагаю, не такъ-то легко доказать. Хозяйственные убытки—дѣло наживное, а человѣческихъ пороковъ вы не исправите, хоть въ ключи свою собственную печенку взорвите.

— Такъ, по вашему, ужъ и дѣтей воспитывать не нужно?! рукой махнуть, пусть ихъ растутъ, какъ грибы?

— Какъ дѣтей?! да вы кого же разносили тамъ? Я думалъ, Мишеньку вашего безвзрыстѣйшаго или Аванасія богомольнаго.

— Володъку чуть розгами не отодралъ! И глупо,—слѣдовало отодрать, вѣрнѣе было бы!

Голубинъ вскочилъ со стула, на который только было присѣлъ, и снова принялся вымѣрять наискось балконную площадку. Докторъ залился беззвучнымъ смѣхомъ.

— Ха, ха, ха! это вы-то собственное чадо отодрать? ну, батенька,—другому кому-нибудь, а ужъ меня вы такъ не смѣшите!

Черные глаза Мишеля засверкали, лицо побагровѣло еще больше.

— Вы такъ полагаете, что я и мерзость всякую имъ спускать стану?

— Ну-ну... что за мерзость въ восемь лѣтъ?

— Да-съ, въ восемь лѣтъ! вотъ это-то и возмутительно!

Нѣсколько минутъ слышно было только короткое дыханіе, шумно вырывавшееся изъ богатырской груди, да гнѣвные шаги по песку. Наконецъ, Мишель подошелъ къ столу, вынулъ портсигаръ и спросилъ глухо сквозь сигару, зажатую въ зубахъ:

— Ну-ка, отгадайте, что придумалъ этотъ мальчуганъ, которому, право, молока развѣ птичьяго не хватаетъ?

— Гм... отгадать мудрененько. Мерзость, говорите? Стащилъ что-нибудь изъ мамашиной кладовой—такъ что ли?

— Га! Стащилъ! да развѣ же я не таскалъ вишни черезъ заборъ, и огурцы изъ парниковъ, и варенье, и все что могъ? а потомъ задавалъ пиры своимъ босоногимъ пріателямъ гдѣ-нибудь въ укромномъ уголкѣ. Хвалить за это, разумѣется, не приходится, но и къ сердцу принимать не сталъ бы. Знаю, что отъ этого еще воровъ не вырастетъ!

— Ну, тогда не знаю.

— То-то, не знаете. Однѣ женщины могутъ смѣяться и не понимать подобныхъ вещей. У матерей нынче одна забота: чтобы у ребятъ животы были цѣлы!

Мишель ожесточенно чиркалъ спичками и бросалъ ихъ поломанными на землю.

— Мой сынъ—понимаете вы?—мой собственный Володька въ моемъ домѣ торговлю завелъ... ей Богу, выговорить мерзко!

— Какъ торговлю?

— А вотъ не угодно ли! дѣвчонки деревенскія ему землянику да чернику таскають, а онъ раздаетъ имъ—какъ думаете, что?—лоскутки! Тряпки пестрыя отъ питья бросались въ корзину, такъ они съ нянюшкой надумали пользу извлекать... А?.. нѣтъ, ей Богу, до сихъ поръ въ толкъ взять не могу! а Марья Павловна видѣла и хлопотала только объ одномъ: какъ бы не объѣлись ягодами, да, сохрани Богъ, не захворали бы!

— Сами же вы сказали, что нянюшка придумала—чего же такъ трагически принимаете? Глупость.

— Глупость?! Дѣвчонкѣ, такому же ребенку, какъ онъ самъ, вмѣсто лакомства сунуть тряпку? Нѣтъ, ужъ вы меня извините! Я понимаю, коли ему дать хочется до смерти, а нечего, такъ онъ возьметъ изъ дома, гдѣ всего въ волю, но это—ягодъ у насъ мало? не дають имъ до-сыта?

— Полно вамъ, Михайлъ Владиміровичъ. Мало ли что иной

разъ въ дѣтскія головы забредеть! Запретили на будущее время — и вонецъ. Воды сельтерской выпейте.

— Нѣтъ, ужъ теперь шабашъ, нѣтъ для меня больше прежняго Володьки! Тутъ не глупость, Орестъ Павловичъ, а сердце сказывается. Вѣдь не одинъ разъ и не два — система цѣлая! Манька никогда бы этого не сдѣлала — никогда!

— А ягоды, навѣрное, тоже ѣла, и надо думать, что тряпками-то она, какъ дѣвочка, главнымъ образомъ и орудовала.

Голубинъ повосился на него:

— Нѣтъ, про Машу нието не говорить — нѣтъ! Да это, впрочемъ, я узнаю еще.

— Послушайтесь моего совѣта: и не узнавайте лучше. Вольно же вамъ воображать, что коли ваши дѣти, такъ стало-быть ангелы? Это, батенька, первостепеннѣйшіе эгоисты; всѣ побужденія чело-вѣчскія имъ свойственны, да еще не хватаетъ разума, чтобы отличить зло.

Зло — и его дѣти! Сигара Голубина пылала, какъ яркій уголекъ. Густые клубы дыма по нѣскольку секундъ держались въ неподвижномъ воздухѣ, прежде чѣмъ разстались тонкими голу-боватыми пленками.

— Да вы только разсудите, — спокойно резонировалъ докторъ, покачиваясь въ креслѣ: — это какъ нельзя болѣе въ духѣ всей деревенской обстановки! Здѣсь все, рѣшительно все имѣетъ свою цѣнность. Здѣсь ничего не дѣлается даромъ. Дѣти растутъ и изо дня въ день слышать о выгодѣ, о прибыли; видятъ, какъ вы хлопочете только о томъ, чтобы получить дешево, а продать дорого. Ваше хозяйство, надо полагать, основано не на великодушій и щедрости. Оно даже не основано на справедливости. Стало-быть вашъ Володя только послѣдователенъ, находя, что пестрая тряпка не должна пропадать даромъ, какъ не пропадетъ куча навоза, шайка помой и рѣшительно никакая дрянь. И если вы хотите, чтобы изъ вашего сына вышелъ примѣрный хозяинъ, вы не искоренять должны, а напротивъ того укрѣплять въ немъ подобныя утилитарныя воззрѣнія.

— Благодарю покорно! Я не считаю себя дурнымъ хозяиномъ, а однакожъ никогда не рисковалъ впасть въ утилитарныя крайности.

— Да чтѣ вы! вы развѣ коренной хозяинъ? вы баринъ, щеголявшій когда-то въ гвардейскомъ мундирѣ и швырявшій трешницами на водку. Вы еще старое, испорченное поколѣніе и въ образцы вовсе не годитесь.

— Вы говорите— вліяніе деревни? но вѣдь и мы тоже росли въ деревнѣ!

— Эхъ вы, батенька, хватили: вы росли! такъ вѣдь то была прежняя деревня, такъ сказать, деревня „божьей милостью“; людямъ и надобности не было соблюдать свои выгоды: всѣ блага сами собою сыпались на нихъ свыше. Въ той деревнѣ всякія понятія уживались рядомъ—и розги на вонюшнѣй, и щедрія милости (что было, впрочемъ, особенно легко, ибо все, не подходившее подъ рубрику кары, подходило тѣмъ самымъ подъ рубрику милости, за полнымъ отсутствіемъ таковой нейтральной вещи, какъ право!). Прежде! Нѣтъ, вы и сами-то забудьте получше, да и дѣтямъ своимъ не мѣшайте устраиваться на новомъ положеніи безъ этой старой закваски.

— Ну, а я такъ иначе думаю. Мнѣ это слово ваше на сердце запало... И въ самомъ дѣлѣ, здѣсь немного возвышенныхъ примѣровъ увидеть! Коли, съ одной стороны, проповѣдывать отвлеченное благородство, а съ другой—выжимать каждый грошъ—нищету непокрытую созерцать хладновротно — быть вѣчно въ оборонительномъ положеніи относительно всей этой черной трудовой толпы,—такъ оно и мудрено, пожалуй, требовать, чтобы прекрасныя слова оказались внушительнѣе фактовъ. Нѣтъ, видно, пора убирать его прочь отсюда! Въ яволу!..

— Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже  
Насъ возвышающій обманъ?...

продекламировалъ иронически докторъ.

— И дороже!—крикнулъ запальчиво Голубицъ съ жестомъ, удивительно живо напомнившимъ Анну:—Успѣютъ еще въ тину житейскую оунуться, будетъ время! Если въ юности не воспитать безворыстныхъ побужденій, такъ жизнь ихъ только исворенять да душить умѣеть.

— А коли такъ, стало-быть и спросу на нихъ нѣтъ — небось, ея логика почище нашей будетъ.

— Въ комъ задуться, а въ комъ и вѣтъ,—нахмурился Мишель.—Да и съ чего, наконецъ, вы взяли, что я собираюсь сдѣлать изъ Володьки примѣрнаго хозяина? По себѣ знаю, батенька, каково сладко!

— Замѣчательно!—усмѣхнулся докторъ:—мы, русскіе люди, почти всегда разсуждаемъ именно такъ. Укажите мнѣ профессію, гдѣ бы отцы не вопіяли: только сына своего я не пущу по ней! Какъ разъ обратное тому, что мы видимъ вездѣ въ Европѣ.

— Стало-быть порядки наши больно ужъ заманчивы или



въ натурѣ русской нѣтъ устойчивости и самодовольства западнаго человѣка?

— Выдержки-съ нѣтъ и любви къ самому дѣлу—вотъ что несомнѣнно. Оттого мы такіе плохіе мастера создавать что-нибудь. Мы любимъ себя, собственное благополучіе,—дѣло же, созданіе рукъ своихъ, рѣшительно ни въ грошъ не ставимъ.

— Ну, а вы сами, Орестъ Павловичъ, вы отдали бы вашего сына въ доктора?—полюбовничествовалъ Мишель.

— Я? въ доктора, всенепремѣнно!—разсмѣялся Заботинъ.—Что-жь... я не жалеюся, я судьбой своей доволенъ.

„Ты, полагаю, и вездѣ съумѣлъ бы устроиться какъ рыба въ водѣ!“—подумалъ Голубинъ.

#### XXIV.

Въ то время, какъ на балконной площадѣ происходилъ этотъ разговоръ, въ столовой Марья Павловна изо всѣхъ силъ старалась изгладить въ другомъ гостѣ впечатлѣніе неприятной сцены. Ожогинъ, утомленный поѣздкой, убитый ссорой съ Анной, принастился послѣ обѣда на кожаномъ диванѣ, въ надеждѣ, что здѣсь ему ничто не помѣшаетъ предаваться размышленіямъ. Вслѣдствіе этого онъ сдѣлался невольнымъ свидѣтелемъ бурнаго объясненія. Все произошло такъ быстро, что юноша не успѣлъ сообразить, какъ ему поступить; прежде чѣмъ онъ успѣлъ подумать о возможности прилично ретироваться изъ столовой, онъ былъ противъ воли вовлеченъ въ споръ. Размахивая тарелкой съ злополучной черникой, Мишель взывалъ къ его безпристрастію посторонняго человѣка. Правда, онъ не нуждался нисколько въ такой поддержкѣ и даже не дослушивалъ его мнѣній, но все же молодой художникъ присутствовалъ при объясненія. На этотъ разъ дѣло шло уже не о прерогативахъ той или другой стороны, не о проявленіяхъ того или иного настроенія—дѣло касалось главнаго, основнаго пункта общей жизни: воспитанія дѣтей.

Марья Павловнѣ приходилось сознаться, что някто еще не видалъ ея въ такомъ унижительномъ положеніи. Вся ея ссоровка оказалась безсильной—онъ былъ въ своемъ правѣ и даже не замѣчалъ, что взрывъ его негодованія бьетъ по ея самолюбію. Усилия отшутиться казались пошлостью передъ искренностью его оторченія. Попытки укрыться за милой наивностью хорошенькой женщины заставили Мишеля прямо сказать ей:

— У тебя, моя милая, трое дѣтей; пора понять, что вос-

питаніе заключается именно въ такихъ вотъ „пустякахъ“, а совсѣмъ не въ томъ, чтобы они исправно долбили молитвы да съ пеленовъ болтали на иностранныхъ языкахъ.

Маня привыкла выходить по наружности всегда правой изъ столкновений съ мужемъ. Она этимъ довольствовалась и внутренно любовалась собственнымъ тактомъ. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, требовать, чтобы онъ вовсе ужь отказался отъ своихъ „мужскихъ“ воззрѣній!.. отъ этой несносной манеры придать неожиданную важность какому-нибудь вздору (какъ, напримѣръ, сегодня!), отъ страсти принимать близко къ сердцу что-нибудь, отъ чего имъ, въ сущности, ни тепло, ни холодно... Ей было не подъ силу, потому она и не пыталась сразиться со всѣмъ этимъ, такъ сказать, en masse, объявить рѣшительную, открытую борьбу; Маня вела партизанскую войну, нанося пораженія въ разбродъ, въ удобныя минуты. Она непоколебимо, ежеминутно ощущала свой антагонизмъ, понимая чутьемъ, что тутъ она не должна уступать ни пяди. И развѣ она не торжествовала? Развѣ этотъ отдѣльный отъ нея, его собственный міръ не служивался все больше, по мѣрѣ того, какъ міръ ея—ея потребностей, заботъ и нуждъ—пышно разрастался, заполаяя собою жизнь?

Однако-жъ постороннему зрителю трудно было бы повѣрить всему этому, судя по сегодняшнему злополучному столкновению. Сегодня она не была находчива. Она не сумѣла помѣшать ему сдѣлать изъ мухи слона и выдвинуть на сцену громоздкіе „принципы воспитанія“ по поводу блюдечка черники! Манѣ было досадно до слезъ. Было стыдно передъ „чужимъ“ за это нелѣпное разслѣдованіе вопроса о какихъ-то лоскуткахъ, блюдахъ съ ягодами, деревенскихъ дѣвчонкахъ... Было обидно за своего Вовочку, котораго чуть не заставили сосчитать, сколько именно ягодъ помѣщается въ тарелкѣ. Еслибъ Маня поддавалась своимъ ощущеніямъ, она бы расплакалась такъ же озлобленно, какъ и ея сынишка, въ первый разъ въ жизни увидавшій розгу въ отцовскихъ рукахъ. Присутствіе Ожогина заставляло Маню овладѣть собой, зато на сердцѣ ея вспыхнуло совсѣмъ новое чувство неприязни къ мужу. А! онъ такъ-то съ нею обращается? Онъ третируетъ ее какъ дѣвочку и преслѣдуетъ пошлыми дразгами передъ посторонними людьми! Тутъ могъ быть и не одинъ Ожогинъ, могъ быть докторъ... Маня вдругъ открыто, не таясь, съ мстительной радостью начала думать объ ухаживаніи Заботина.

И она нарочно осталась въ столовой „какъ ни въ чемъ не бывало“, чтобы показать чужому, что все это отнюдь не важно. Она великодушно снисходитъ къ раздражительности мужа,—въ

хозяйствѣ такъ много неприятностей и досады, что по-неволѣ характеръ испортится. Конечно, сегодня же Мишель будетъ просить у нея прощенія и самъ станетъ смѣяться надъ тѣмъ, что онъ наговорилъ горяча ребенку о торгашествѣ, эксплуатаціи, бездушнн и невѣсть еще какихъ ужасахъ... Недаромъ вѣдь онъ родной братецъ Анны Владиміровны, одаренный фамильной Голубинской фантазіей! Можно надѣяться, что еще и не одинъ разъ, пока ихъ дѣти вырастутъ, Мишель будетъ видѣть въ нихъ погибшихъ людей, неисправимыхъ лѣнтяевъ, чудовищныхъ эгоистовъ, и пр., и пр.

Снисходительно-покровительственный тонъ Мани въ первую минуту привелъ Ожогина въ тупикъ, послѣ сцены, которой онъ только-что былъ свидѣтелемъ. Но—странное дѣло!—очень скоро въ ея словахъ ему слышалось уже не одно легкомысленное отношеніе къ серьезному вопросу, не одно игнорированіе того, что оказывалось выше ея уровня (попробуйте выслушать послѣдовательно двѣ враждебныя стороны и которой-нибудь изъ нихъ отказать совершенно въ вашемъ сочувствіи!)...

Въ концѣ концовъ, оно, быть можетъ, и не всегда легко ладить съ этимъ характеромъ, представляющимъ странную смѣсь флегмы и необузданности. Разумѣется, необходимо было вразумить Володю, но едва ли было правильнымъ педагогическимъ приемомъ угрожать ребенку розгой за поступокъ, совершенный съ вѣдома матери. Ожогинъ не удержался и позволилъ себѣ высказать какое-то замѣчаніе въ этомъ духѣ. Въ отвѣтъ онъ выслушалъ отъ обрадованной собесѣдницы новыя ироническія ссылки на „Голубинскіе характеры“ — эффектные фейерверки, въ которыхъ много треску и блеску, но мало существенныхъ результатовъ.

Художникъ перемѣнилъ усталую позу и пододвинулся ближе къ красивой хозяйкѣ. Разговоръ начиналъ интересоваться его. Онъ жадно ловилъ слова, забывая, что передъ нимъ неумная женщина, въ которой говорить въ эту минуту животрепещущая обида. А Маня, какъ нарочно, избѣгая неловой роли жены, жалующейся на мужа, все придерживалась множественнаго числа и незамѣтно увлеклась возможностью излить передъ кѣмъ-нибудь накопившую досаду... Вѣдь напрасный трудъ жаловаться Мишелю на Анну или обратно! Если онъ, какъ мужъ, бываетъ вынужденъ выслушивать ее, зато Анна буквально не дастъ ей и слова вымолвить противъ своего брата.

О! со стороны о многомъ вовсе невозможно и судить. „Обожаемая жена“ можетъ быть, тѣмъ не менѣе, въ весьма затруднительномъ положеніи, если ее окружаетъ такое безусловное род-

ственное пристрагіе. Положеніе двухъ женщинъ въ одной семьѣ рѣдко бываетъ пріятно, особенно если имъ приходится дѣлить привызанность мужчины, хотя бы то и былъ братъ и мужъ. Конечно, Анна любитъ Мишеля; курьезно было бы, еслибъ она не любила единственнаго близкаго человѣка и не цѣнила всѣ его нѣжныя заботы о ней. Но, въ сущности, Анна всегда поступаетъ только такъ, какъ ей угодно, и вовсе не интересуется, удобно ли это для нихъ. Она ужъ испортила имъ нѣсколько знакомствъ, и скоро они останутся совсѣмъ безъ общества по ея милости. Между тѣмъ вся ея самостоятельность, въ концѣ концовъ, только на словахъ; до тѣхъ поръ, пока она живетъ въ ихъ домѣ, на нихъ ложится главная отвѣтственность за ея поступки, за малѣйшую тѣнь на ея репутаціи, не правда ли? Каждый скажетъ: чего смотрѣли братецъ и его супруга... Легко сказать! Въ настоящее время Аннѣ угодно проводить дни и ночи во флигель у Строева. Когда ей доказываютъ, что это нарушаетъ всѣ приличія,—она отвѣчаетъ избитыми тирадами о высшихъ матеріяхъ. Все это прекрасно, но старо какъ міръ. Въ любой деревушкѣ въ двухъ шагахъ отъ нея умираетъ множество несчастныхъ дѣтей, еще гораздо болѣе нуждающихся въ попеченіи, и однакожъ это до сихъ поръ не отравляло ей жизни и не мѣшало сидѣть въ павильонѣ и лѣпить изъ глины богини! Выходитъ, что дѣло не въ высшихъ матеріяхъ, а совсѣмъ въ другомъ. Шура все равно умретъ, сколько бы ни щеголяла Анна своимъ самоотверженіемъ, но еще невѣстно, какъ смотреть на это самъ Строевъ...

Ожогинъ вскочилъ, наконецъ, съ дивана. Долго говорила Маня. Онъ ее слушалъ, не перебивая. Нѣтъ: онъ вставлялъ по временамъ коротенькія поощрительныя словечки, вопросы, междометія... Мучительное, жадное, страстное любопытство палило его какъ огнемъ. Наконецъ-то узнаетъ онъ что-нибудь! Онъ проникнетъ въ эти загадочныя недѣли и составитъ себѣ хотя смутное понятіе о томъ, что происходило въ Загъсѣ въ его отсутствіе: почему Анна такъ раздражена, взволнована и измучена. Почему она приняла его такъ непріязненно, почему такъ безжалостно, безъ всякаго снисхожденія отнеслась къ его порыву... Развѣ это было такъ ужъ непростительно?! Развѣ не знала она давно, что онъ ее обожаетъ, боготворитъ?!.. Больной, забытый, неужели онъ не въ правѣ былъ ждать отъ нея ни искры участія, ни проблеска ласки, когда она узнала, наконецъ, что онъ умираетъ?!

Вся горечь обиды снова поднялась въ его сердцѣ, вся жгучая боль разочарованія, внезапнаго отказа въ томъ, чего ждешь, къ чему рвешься, что считаешь своимъ — и вдругъ видишь, пони-

мнешь съ одного взгляда: что-то случилось! что-то прошло между тобой и этимъ другимъ существомъ, котораго ты ни на мигъ не выпускалъ изъ своихъ думъ, держалъ плѣненнымъ въ своемъ сердцѣ... Цѣлая полоса жизни, въ которой не было твоего мѣста, легла между послѣднимъ мигомъ, которымъ только ты и жилъ съ тѣхъ поръ, и этимъ новымъ свиданіемъ—ужасной минутой, когда изъ милыхъ глазъ на тебя какъ будто смотреть все то, чего ты не знаешь и не узнаешь.

О, да—узнать! Не отъ нея, такъ хоть изъ третьихъ рукъ—выспросить, выпытать, навести справки, хотя бы даже у ея врага! Знать вѣдь онъ это, знаетъ твердо,—знаетъ онъ, что ни симпатіи, ни пониманія, ни справедливости не можетъ быть въ этой передачѣ, знаетъ—и все-таки ловить жадно каждый звукъ, поддается бессознательно смыслу словъ. Неужели онъ вѣрить? Неужели ему можно сказать, что Анна изъ вѣковъ ридится въ состраданіе и великодушіе?! Неужели онъ могъ выслушать, что Анна заставляетъ ревновать, стремится всячески довести до отчаянія доктора Заботина, не подозревая, что онъ излечился отъ своего безумія и отвернулся съ отвращеніемъ отъ такой нравственной испорченности? Неужели онъ вѣрить всему этому?!..

Ожогинъ не отдавалъ себѣ отчета. Имъ владѣлъ всецѣло страшный, нездоровый порывъ. Больные нервы трепетали какъ струны. Дикая смѣсь удовольствія и тоски, жалости къ себѣ и злораднанаго торжества надъ ея неправотой, страхъ узнать что-то ужасное и вѣстѣ жажда этого ужаснаго—пусть все погибнетъ, чтобы не оставалось ничего отъ того, чему онъ вѣрилъ, чему поклонялся...

Нѣсколько разъ слезы выступали ему на глаза и высыхали, прежде чѣмъ онъ замѣчалъ ихъ. Раза два онъ схватывалъ Маню за руку, какъ бы желая остановить.

„Извините!“—бормоталъ онъ, отступая, и дотрогивался рукою до головы, гдѣ клокотала вся его кровь, гдѣ перепутывались въ мучительномъ хаосѣ ядовитыя клеветы, подозрѣнія, еще не умолкнувшія въ этой комнатѣ, и всѣ негодующія, презрительныя и жестокія слова, произнесенныя Анной въ это утро.

Марья Павловна также не ожидала, куда заведетъ ее этотъ разговоръ. Она была возбуждена, встрѣтивъ неожиданно сочувствующаго слушателя; то обстоятельство, что этимъ слушателемъ оказался молодой художникъ—самый вѣрный и пылкій рыцарь Анны—это обстоятельство служило наилучшимъ доказательствомъ ея правоты.

— А что сдѣлала она съ вами?!—воскликнула увлечшаяся

Маня:—вѣдь если вы не умерли, то только благодаря своей молодости! О, Анна уже пожинаетъ плоды своего безсердечія! Орестъ Павловичъ слышать о ней не можетъ, послѣ всѣхъ своихъ восторговъ... Вы—даже вы!—вынуждены соглашаться со мной! Вамъ нечего возразить мнѣ, не правда ли? вы не можете больше защищать ее! Вотъ что значить не имѣть сердца, Дмитрій Дмитриевичъ. Кокетство, разумѣется, большая сила и всего легче кружить вамъ головы, но кокетство никому еще не дало счастья. Я надѣюсь, надѣюсь, что Анна пойметъ это когда-нибудь къ своему благу!

Таеъ заключила разговоръ жена Мишеля, чтобы быть родственной и доказать свое доброе расположеніе. Она отвела душу. Довольно пока заниматься Анной и всѣми неприятными осложненіями, каковыми она переполняетъ ихъ жизнь. До парохода остается немного времени, а она съ самаго обѣда еще не видела Ореста Павловича. Дѣлать нечего! что бы ни наговорилъ тѣмъ временемъ доктору Мишель, теперь остается только стерпеть, но показать потомъ на дѣлѣ, что переполохъ, поднятый супругомъ, не болѣе какъ самое обыкновенное домашнее разногласіе.

— Мужчины все вѣдь должны понимать лучше насъ!—усмѣхнулась саркастически Марья Павловна:—Михайлъ Владиміровичъ воображаетъ, что поступилъ невѣстъ какъ умно, запугивая и ожесточая ребенка... Володя даже мнѣ не хотѣлъ рассказать, что произошло въ кабинетѣ! Точно сумасшедшій вырвался изъ рукъ, забился куда-то, такъ что его и отыскать не могутъ. Еслибъ папаша предоставилъ все мнѣ, я бы безъ всякаго крика и шума объяснила имъ, почему именно онъ таеъ недоволенъ ихъ затѣей. Развѣ я не права?—прибавила молодая женщина оживленно.

Ожогинъ посмотрѣлъ на нее съ удивленіемъ. Онъ не сразу понялъ, о чемъ она говоритъ; когда понялъ, то испугался того, что все кончилось.

— Вы уже уходите?!

— Да, а что? мы съ вами ужасно заговорились, а мнѣ надо еще напоить васъ чаемъ до парохода.

— Нѣтъ, позвольте! Вы сказали, что Строевъ сталъ неузнаваемъ? вы это сказали?

Маня нахмурила брови, недовольная такой безтактностью. Глупо не знать мѣры и приставать съ разспросами, когда разговоръ конченъ. Она мелькомъ взглянула на него. На его лбу выступили красныя пятна, пересохшія губы дрожали, глаза впились въ нее напряженнымъ, горячимъ взоромъ.

„Больной совѣмъ; какъ я раньше не подумала!“ — сообразила она, не зная, что сказать ему.

— Вы это сказали??—повторилъ еще разъ художникъ.

— Да, можетъ быть. Довольно, ради Бога, Дмитрій Дмитриевичъ! Вы ужъ слишкомъ много волновались сегодня! Я дурно сдѣлала, что не подумала объ этомъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, вы мнѣ досажаете!—нѣтъ, такихъ вещей не бросаютъ на вѣтеръ!

— Что же мнѣ сказать вамъ?—Образумьтесь! Я высказала, какъ близкому человѣку, что нахожу поведение Анны не совѣмъ приличнымъ—и только! Это всякій скажетъ. Орестъ Павловичъ—и онъ, не думаю, чтобы онъ сталъ щадить Анну, если объ этомъ гдѣ-нибудь зайдетъ рѣчь. Вы знаете, сколько сплетенъ у насъ въ городѣ: и каждый въ правѣ высказывать свое мнѣніе. Я не могу дѣлать ей замѣчаній, но знаю, что меня же всѣ будутъ осуждать.

Ожогинъ понялъ, что не узнаетъ отъ нея ничего больше. Мучительный смыслъ ея намековъ снова ускользалъ отъ него. Маня ушла, повторивъ еще разъ, что она должна напоить ихъ чаемъ. Онъ не удерживалъ ее больше.

Чего же добился онъ, въ концѣ концовъ? Для чего выслушивалъ всѣ клеветы, искаженія, ложь — о, конечно, злую ложь! Онъ какъ будто соглашался. Маня даже прямо сказала ему это. Что куплено этимъ? какую роль разыгралъ онъ, другъ Анны?! Онъ вдругъ опомнился. Натянутые нервы упали. Какъ внезапно въ немъ вспыхнула жажда узнать правду, во что бы то ни стало, все равно, какой цѣной, — также внезапно теперь эта жажда смѣнилась ужасомъ передъ собственнымъ поступкомъ. Боже мой! Онъ шпионилъ, выпрашивалъ. Онъ продавалъ свою Анну, онъ чернилъ ее!.. Онъ—онъ!!!

## XXV.

Между тѣмъ во флигелѣ Анна отпустила спать няньку и сидѣла одна у больной. Дѣвушка была утомлена, измучена; злобная тишина комнаты дѣйствовала томительно на ослабѣвшіе нервы. Дыханіе больной едва уловимо. Крошечное личико смутно темнѣетъ въ подушкахъ; руки, вытянуты безжизненно вдоль тѣла, не шевелятся. На стѣнѣ рисуется фантастическая тѣнь отъ свѣчи, горящей на комодѣ. Анна зажгла эту свѣчу, потому что ей вдругъ сдѣлалось жутко въ стемнѣвшей комнатѣ. Въ первую минуту стало какъ будто легче... Она не спускала глазъ съ Шуры и могла уло-

вить чуть замѣтное колыханіе ея груди; но вотъ, случайно, ей бросилась въ глаза тѣнь на стѣнѣ—это совсѣмъ не Шура! строгій, вытянутый профиль, угловатая фигура, длинная, теряющаяся въ темномъ углу... Вдругъ пламя свѣчи отчего-то вздрогнуло, и громадная тѣнь шевельнулась. Съ этой минуты Анна боялась отвести отъ нея глаза: ей неудержимо казалось, что фигура движется, поднимается. Она впивалась глазами, чтобы убѣдить себя, что это только тѣнь, но тогда ее пугали самыя очертанія, смутно напоминающія человѣческой обликъ. То вдругъ ей казалось, что Шура не дышетъ больше. Она не могла заставить себя нагнуться ближе, не могла шевельнуться, охватываемая все сильнѣе и сильнѣе безотчетнымъ нервнымъ ужасомъ.

Хоть бы пришелъ кто-нибудь! Неужели она просидитъ тутъ одна еще часъ, два, три?—Неужели она будетъ тутъ одна и въ ту страшную минуту—вѣдь она настанетъ! это неминуемо приближается съ каждой секундой. Гдѣ же люди? Она не въ силахъ быть одна съ чужимъ умирающимъ ребенкомъ!

Анна прислушивалась изо всѣхъ силъ, но слышала только глухіе удары собственнаго сердца. Она еще боролась, чтобы не вскочить и не броситься вонъ изъ комнаты. Минутная слабость, физическое изнеможеніе, о которомъ будетъ стыдно вспомнить. Пусть такъ; она все-таки мучилась неодолимымъ болѣзненнымъ ощущеніемъ. И она чувствовала, что ей не побѣдить его, что ничѣмъ не изгладить впечатлѣнія этихъ нѣсколькихъ часовъ. Вотъ что всего хуже! Она не войдетъ больше въ эту комнату спокойно, какъ прежде. Она боится недвижимаго, изможденнаго остова, въ которомъ жизнь еле теплится, который вдругъ пересталъ быть для нея прежней, бѣдненькой Шурой. Какъ охотно она ласкала ее! какъ бережно переворачивала съ боку на бокъ, укрывала, кормила и лелѣяла еще вчера, еще сегодня! И вотъ точно зловѣщій призракъ вошелъ въ комнату и сталъ между ними. Она не можетъ больше ни о чемъ думать, она не видитъ ничего, кромѣ смерти... Слѣпая, животная жажда вырваться и убѣжать охватываетъ все непобѣдимѣе.

Анна, наконецъ, не выдержала: холодѣя, задерживая дыханіе, она встала и, врадучись, выскользнула изъ комнаты. Она боялась сдѣлать быстрое движеніе, трепетала каждаго звука, словно кто-нибудь могъ услышать и помѣшать ея бѣгству. Въ корридорѣ она бросилась за перегородку, гдѣ спала нянька. Дверь въ дѣтскую осталась открытою—у нея не хватило духу дотронуться до нея. Старуха спала какъ убитая; Анна принялась будить ее,



тряса за плечи. Ее преслѣдовала одна мысль: Шура сейчас отчетеся и заплачеть...

Старуха разоспалась и долго не могла придти въ себя. Она отмахивалась руками и бормотала какія-то длинныя фразы.

— Няня!.. няня!.. няня!!!—твердила Анна въ смятеніи.

Наконецъ Строевъ изъ своего кабинета услышалъ и пришелъ узнать, что случилось. Тогда только Анна окончательно пришла въ себя и вернулась вмѣстѣ съ нимъ въ дѣтскую. Страхъ прошелъ, но осталось сознаніе, что она не можетъ оставаться наединѣ съ умирающей. Не вернулась также прежняя нѣжность къ ребенку—Шура какъ будто умерла уже для нея...

Анна въ первый разъ сама созналась Строеву, что она устала и должна освѣжаться. Она вдругъ точно вся застыла... Можно исполнить долгъ свой до конца, но и только!—нельзя по желанію создавать свои ощущенія.

Анна ушла изъ флигеля подѣ тягостнымъ гнетомъ недовольства собой и какой-то новой, холодной жалости; въ этой жалости была вся глубина сознанія, была готовность сдѣлать все, что въ ея силахъ,—не было только той маленькой искорки живого волненія, которое заставляетъ трепетать сердце, прежде чѣмъ мысль сложится въ умѣ.

Анна взяла слово, что Строевъ продежурить самъ эту ночь около Шуры и ни въ какомъ случаѣ не оставить ея одну съ нянькой (до сихъ поръ она всячески старалась удалять его изъ дѣтской). Бросивъ съ порога послѣдній взглядъ на кровать, она поймала себя на смутной, безформенной надеждѣ—на желаніи, копошившемся гдѣ-то глубоко, помимо ея воли и сознанія: пусть бы лучше здѣсь все кончилось безъ нея...

Анна бродила по саду въ мучительномъ состояніи человѣка, который хочетъ, но не можетъ плавать. Нѣтъ, такъ жить тяжело, страшно тяжело! Это тягостная работа—исполнять лишь по долгу, по разъ принятому на себя обязательству, то, что должно выливаться свободно, въ непосредственномъ порывѣ чувства... Развѣ она хотѣла высчитывать и оцѣнивать все то, что дѣлала для Шуры и для ея отца? Напротивъ! она хотѣла, искренно хотѣла, не ставить этого ни во что. Но, помимо воли, она испытывала глубокую усталость, чувствовала изнеможеніе, которое вызывается только тягостнымъ усиленіемъ. Точно запасъ ея силъ истощился до конца, и она ощущала странную пустоту тамъ, гдѣ до сихъ поръ почерпала свою энергію.

Между нею и этимъ несчастнымъ человѣкомъ, котораго она хотѣла, *взялась* примирить съ жизнью — между нею и умира-

рающей крошкой, которой она собиралась замѣнить мать — между нею и ими стояло непрощенное, сухое, почти непріязненное ощущеніе: она имъ чужая! Ея мѣсто не здѣсь. Почему не можетъ она совладать съ этимъ ощущеніемъ, хоть и презираетъ себя за него?

„Эгоистка, бездушная эгоистка!“ — шептала Анна безъ слезъ, хоть ей и казалось, что она плакала: — „Все равно, милѣйшая Анна Владиміровна, можете быть увѣрены, что это вамъ не отпустится! Конечно. Это вѣдь не глина, которую можно скомеать и начать сначала... Вы этого хотѣли, искали, добивались — получите и вступайте во владѣніе!“

Анна машинально добрела до павильона, поднялась на лѣстницу и вложила ключъ въ замокъ. Онъ поворачивался съ особеннымъ музыкальнымъ звукомъ, который долго держался въ воздухѣ. Щелкъ замка такъ краснорѣчиво говорилъ, что за дверью безмолвная комната, одиночество съ его нескончаемыми думами... О, она такъ устала отъ нихъ, такъ устала! Что, если и здѣсь съ нею повторится припадокъ мучительнаго страха, какъ часъ тому назадъ во флигелѣ? Вѣдь ея нервы не стали крѣиче.

Анна испуганно повернула ключъ обратно и сбѣжала назадъ по лѣстницѣ. Она съ радостью вспомнила, что пароходъ еще не ушелъ. Ожогинъ еще въ Залѣсьѣ. Неужели она отпустить его такъ послѣ утренней ссоры?

На балконной площадкѣ всѣ были въ сборѣ за чайнымъ столомъ.

— Анна!..—увидаль ее первый Мишель.

Заботинъ и Ожогинъ встали, чтобы очистить для нея мѣсто. Маня вспыхнула и чайникъ дрогнулъ въ ея рукѣ.

— Какъ испугалъ! можно ли такъ кричать?—замѣтила она недовольно мужу.

Это были ея первые слова къ нему послѣ ихъ ссоры. Когда Маня явилась дѣлать чай, Мишель и не подумалъ прекращать своего разговора съ докторомъ о земствѣ. Онъ ничѣмъ не обнаруживалъ готовности помириться съ нею (Марья Павловна никогда не дѣлаетъ перваго шага—это ея основное правило). И теперь мужъ пропустилъ ея замѣчаніе безъ вниманія, занятый Анной.

— Мнѣ хотѣлось еще застать васъ,—сказала Анна ласково Ожогину и сѣла около него.

Она знала, что онъ страдаетъ, вспоминала объ этомъ озабоченно нѣсколько разъ въ теченіе дня. Но она была поражена страннымъ волненіемъ, съ какимъ онъ выслушалъ ее: это не было по-

тоже ни на радость, ни на признательность. Художникъ поблѣднѣлъ и опустилъ глаза.

— А я ужъ подумалъ-было, что вамъ понадобится экстренный совѣтъ врача! — вмѣшался извѣтельно Орестъ Павловичъ. — Приятно видѣть, что вы еще думаете и о чемъ-нибудь постороннемъ.

Анна и на него посмотрѣла криво своими усталыми глазами.

— Вы не особенно преощряете обращаться къ вамъ за совѣтами. По крайней мѣрѣ я не назвала бы васъ, даже еслибъ умерла.

— Я также отнюдь не желаю бы лечить васъ.

— Почему такъ? — освѣдомился наивно Голубинъ, переводя глаза отъ одного къ другому.

Орестъ Павловичъ не нашелся, что отвѣтить. Онъ продолжалъ, сощурившись, смотрѣть на Анну и машинально крутилъ прядь своей бороды.

— Докторъ, отвѣтъ за вами! — напомнила неожиданно Маня сухой ноткой въ голосѣ.

— Да? но развѣ всѣ отвѣты обязательны, Марья Павловна? Иныя замѣчанія вырываются необдуманно.

„Вотъ какъ!“ — отвѣтила себѣ ревниво молодая женщина.

— Вѣроятно Орестъ Павловичъ считаетъ Анну капризной, — выступилъ снова добродушно Голубинъ. — Къ сожалѣнью, и я долженъ сознаться, что онъ отчасти правъ.

— Вотъ именно! — подтвердилъ докторъ съ тонкой усмѣшкой.

Анна нисколько не интересовалась тѣмъ, что говорилось про нее. Она все смотрѣла на Ожогина. Его видъ тревожилъ ее; она никогда не видала его такимъ мрачно несчастнымъ. Болѣзнь не свой братъ!

— Дмитрій Дмитриевичъ, вы такъ и намѣрены молчать до конца? Сію минуту придетъ пароходъ! — попыталась она ласково заглянуть ему въ глаза.

Онъ поблѣднѣлъ еще больше и попытлся отъ нея со своимъ стуломъ.

— Теперь... теперь поздно! намъ пора идти, докторъ. Сейчасъ Петръ прошелъ съ фонаремъ на пристань.

Онъ первый поднялся и отошелъ поблагодарить хозяйку за чай. Анна грустно смотрѣла ему вслѣдъ. Заботинъ злорадно любовался ея поражениемъ. Ага! попалась, кажется? Мальчуганъ-то набрался отваги, видно и ему не втерпѣшь придется.

Въ Залѣсѣ давно ведется обычай провожать гостей на пристань. Ожогинъ попробовалъ-было проскользнуть впередъ, но Анна преспокойно вернула его.

— Кажется, я бы лучше сдѣлала, еслибъ вовсе не пришла васъ провожать?—спрашивала Анна съ горечью нѣсколько минутъ поздне.

— Да... лучше.

— Да-а?.. Какъ вамъ угодно! C'est vous qui êtes en jeu. Надо сдѣлать какъ лучше для васъ.

Онъ молчалъ. На этотъ разъ похоже на серьезный разрывъ. Она сама сказала: „вы не вернетесь въ Залѣсье, пока не излечитесь отъ этого безумія“—сказала не для того, чтобы играть словами. У нея тоскливо сжималось сердце. Этотъ не былъ „чужой“—о, отнюдь нѣтъ! Одинъ изъ всѣхъ онъ ей остался отъ прошлаго, отъ кружка дяди. Она никогда не допускала возможности разрыва съ нимъ. Неужели же именно теперь онъ покинетъ ее? Ей пришлось напомнить себѣ то, что она только-что сказала ему: дѣло шло не о ней, а о его душевномъ покоѣ.

— Помните же, Ожогинъ, вы этого захотѣли! Меня не назовите жестокой. Я вспыхнула утромъ... Отъ слова не станется! Но удерживать васъ я не могу, вы сами это понимаете. Не должна, еслибъ и хотѣла!

Она почти сказала: я хочу... Онъ по прежнему точно не понималъ ее. Они далеко отстали отъ остального общества и только еще начинали спускаться по узенькой дорожкѣ черезъ лугъ, сильно затянутый росой послѣ жаркаго дня.

— Вамъ развѣ не велѣно беречься послѣ воспаленія? Смотрите какъ сыро! У васъ нѣтъ плаща?

Она каждую минуту забывала, что это „разрывъ“, что они больше не друзья. Она провожаетъ его куда-то, гдѣ ничто касающееся его не воснетъ ея. Неужели же это такъ и будетъ? Зачѣмъ онъ молчитъ такъ упрямо! Ей хотѣлось плакать. Слезы, выплывшія на сердцѣ весь этотъ день, теперь подступали въ глаза.

— Дмитрій Дмитриевичъ!.. ау!—послышался снизу окликъ доктора.

Анна остановилась.

— Прощайте!

Въ отвѣтъ у него вырвалось что-то похожее на рыданіе, какой-то сухой, мучительный звукъ. Его рука судорожно забила подъ ея рукой.

— Вы не знаете... вы не знаете!—только и разобрала Анна.

— Я не знаю? чего? Нѣтъ, я всегда знала, что мы свои, слышите вы это?—*свои!* Намъ дико, грѣшно раскоидаться врагами; изъ-за чего, скажите ради Бога? Ваша любовь... Это... это

еще не все, повѣрьте мнѣ! вы любите меня не только такъ: вы любите прежде всего человѣка—вашего друга, вѣдь да?.. да?.. Вы, мой прежній Митя, его ученикъ, вы не смѣете измѣнить нашей дружбѣ! Вижу, я васъ слишкомъ обидѣла—ну, вы простите! И мнѣ не сладко! и вы не правы! Когда-нибудь поймете это сами...

Анна нѣжно шептала слова сквозь слезы, струившіяся по ея лицу. Она, пригнувшись, старалась увидѣть его глаза, хотѣла скорѣе прочесть въ нихъ счастье, восторгъ... Ничего подобнаго не бывало раньше; ничего похожаго на этотъ горячій и довѣрчивый порывъ къ нему всего ея существа. Она ждала восторга и видѣла съ ужасомъ, что онъ бросается не къ ней, а отъ нея, хватаясь себя съ отчаяніемъ за голову.

— Господи, чтѣ съ вами?!—крикнула она съ тоской.

— Чтѣ?! этого сказать нельзя двумя словами! Надо объяснять долго... Я самъ не понимаю! Фактъ вопіющъ, и только! Я не могу самъ поднять на себя руку... это свыше силъ моихъ!

— Вы бредите. Я ничего не понимаю.

— Все равно... Повѣрьте на слово... можете вы мнѣ повѣрить? теперь, послѣ вашихъ словъ, нельзя солгать... О, Господи! можете вы повѣрить мнѣ, Анна?

— Я вамъ всегда вѣрила.

— Я вамъ клянусь,—клянусь, что я неспособенъ на низость!

— Я это всегда знала!

— Я ее сдѣлала противъ васъ.

— Не говорите, не говорите мнѣ ничего!—проговорила Анна быстро, срывающимся голосомъ:—не могу сегодня! Я очень, очень дурно настроена сегодня. Послѣ когда-нибудь, если вы не фантазируете...

Онъ молчалъ.

— Ожогинъ! Дмитрій Дмитриевичъ! Ожогинъ!—кричали все нетерпѣливѣе голоса снизу. По рѣвѣ отозвался протяжный свистокъ парохода.

Анна машинально пошла впередъ. Онъ пошелъ за нею. Такъ они сдѣлали молча и быстро всю остальную дорогу. На встрѣчу имъ несся гулъ голосовъ, слышался все явственнѣе плескъ рѣки, мигали два фонаря на углахъ бѣлой пристани.

Вдругъ Анна круто повернулась къ нему и спросила въ упоръ:

— Что же такое вы сдѣлали?

— Я не прощу себѣ этого никогда.

— О, зачѣмъ я пришла сюда!..

Точно во снѣ, Анна слышала, какъ его распекали, торопили, тащили къ лодкѣ. Онъ молча пожималъ руки всѣмъ, въ томъ числѣ и ей. Лодка поспѣшно отвалила, гребцы работали изо всѣхъ силъ, пароходъ нетерпѣливо свистѣлъ.

Анну допрашивали, почему они такъ опоздали. Марья Павловна не могла скрыть своей досады.

— Я очень устала!—твердила дѣвушка манинально и этимъ отвѣтомъ еще больше бѣсила ее.

— Ты опять ночуешь во флигелѣ?—спросилъ сухо Мишель. Онъ тоже былъ холоденъ съ нею сегодня.

— Нѣтъ!—отвѣтила Анна разсѣянно.

## XXVI.

Толстая тетрадь въ зеленомъ переплетѣ не сходитъ со стола. Тетрадь быстро наполняется. Строевъ пишетъ рано утромъ, пишетъ днемъ, пишетъ поздно ночью. Если онъ не пишетъ, то сидитъ надъ нею, тяжело опустивъ голову на руки, или вкружится безпокойно по тѣсной комнатѣ. Онъ выходитъ только, чтобы взглянуть на больную Шуру, переговорить съ Анной, встрѣтить доктора. Но и эти перерывы не нарушаютъ теченія его мыслей, они скользятъ по нимъ поверхностно. Умиравшій ребенокъ, неожиданная близость съ чудной дѣвушкой—это лишь части главнаго, мощнаго теченія, которое подхватило и несетъ его быстро впередъ. Онъ еще не знаетъ, куда вынесетъ. Какъ ни ужасна грозящая потеря, какъ ни властны новыя, неизвѣданныя волненія, они пока тонуть въ этомъ потоцѣ...

Цѣлая жизнь, начиная съ далекаго, полузабытаго дѣтства, проносится мимо отрывочными, пестрыми картинками. Толпа лицъ, живыхъ, неотвязныхъ, переполняетъ маленькую, узкую комнату. Прошлое все ближе охватываетъ, тѣснить со всѣхъ сторонъ...

Это какъ будто чужая жизнь, это посторонній человекъ, котораго онъ разглядываетъ и анализируетъ съ жгучимъ, почти непріязненнымъ любопытствомъ. Нельзя сказать, что Строевъ страдаетъ; такое мощное напряженіе жизни, такая пожирающая работа мысли уже не страданіе. Преобладающее ощущеніе—недоумѣніе. Глубокое недоумѣніе, точно разомъ освѣтилась яркая картина, до этой минуты подернутая флеромъ, и онъ увидѣлъ не то,—о, всѣмъ не то, что ему мерещилось!

Блестящій, надменный и самодовольный господинъ побѣдо-

носно проходить короткую служебную карьеру. На нее другие убивают добрую половину своей жизни,—но то другие, не он! Он не сознает несоразмерности собственных усилий; он считает одну заслугу, он не оглядывается назад—развѣ для того только, чтобы разъяснить чье-нибудь безтактное недоумѣніе. Некогда. Въ мозгу кипит лихорадочная, непрестанная работа, влияющая въ остроумные проекты, удачныя мнѣнія, доклады, записки, ловко выполненныя порученія, отважно побѣжденные затрудненія, и пр. и пр. Сознаніе собственныхъ силъ бьетъ въ голову сладкимъ хмѣлемъ. Поощренія и обѣщанія, лесть и усилія подталкиваютъ нечувствительно по гладкому пути. Впереди смутно рисуется что-то грандіозное и блестящее—что-то, долженствующее вознаградить за всѣ недочеты: за сиротливое дѣтство, за холодность и неприязнь швольныхъ товарищей, зависть и интриги сослуживцевъ, за всю скуку, за все утомленіе сухого, напряженнаго труда безъ передышки. Нельзя иначе. Иначе онъ не будетъ выдѣляться изъ ряда вонъ, не поднимется надъ общимъ уровнемъ; иначе онъ не затмитъ работу всѣхъ другихъ, которые и знаютъ, и могутъ ничуть не меньше его. Затмить—въ этомъ весь секретъ. Честолюбіе—главная, надо всѣмъ преобладающая страсть...

Такъ представляется оно теперь человѣку, сидящему въ раздумьи надъ зеленой книгой... но тогда? вѣдь то была молодость!.. Животрепещущая жизнь кипѣла гдѣ-то совсѣмъ близко, бокъ-о-бокъ. Порой она кинется въ глаза въ прорвавшейся наружу загадочной драмѣ, блеснетъ въ манящей улыбкѣ молодыхъ устъ, прозвучитъ заочно въ чужомъ счастливомъ смѣхѣ... О, все это еще успеется, это все у него впереди! когда будетъ сдѣлано главное. Главное—создать блестящую обстановку, въ которой разыграется настоящая жизнь. Главное—выбраться какъ можно скорѣе изъ числа рядовыхъ, изъ презрѣнной толпы, покорно выдающейся въ ту сторону, куда направляютъ ее невидимыя пружины въ рукахъ избранныхъ...

Жизнь представлялась только въ этой упрощенной формѣ. Становилось смѣшно, какъ это они не понимаютъ, до какой степени все просто дѣлается! Неужели и вправду совсѣмъ-таки не сознаютъ, что то, что обложено для нихъ въ громкіе, торжественные термны, на самомъ дѣлѣ, не болѣе какъ... Иванъ Ивановичъ, плюсь Сергій Михайлычъ, плюсь Петръ Андреичъ! Матушка Русь, заключенная въ пышныхъ дворцахъ, въ безчисленныхъ департаментахъ, канцеляріяхъ и казармахъ столицы. Многообразная, необъятная жизнь, умѣщенная въ шнуrowыхъ книгахъ, въ разграфленныхъ стопахъ бумагъ занумерованныхъ, подшитыхъ и

скрѣпленныхъ надлежащимъ подписомъ. Пыльные, величаво безмолвные архивы — исторія родины. Торжество Ивана Ивановича надъ Петромъ Петровичемъ, соперничество одного вѣдомства съ другимъ, чьи-то промахи, удачи или ошибки — ея настоящее. Блестящія идеи въ головахъ милліона чиновниковъ, усердно входящихъ съ донесеніями, докладами и резолюціями — ея будущее.

— И однако-жь я не былъ ни глупъ, ни нивозъ!.. — говорить себѣ Строевъ, пораженный картиной, которая постепенно слагалась въ его памяти. Я не вовсе лишенъ былъ совѣсти, усердія и желанія добра, какъ не были лишены этого и другіе?!..

Онъ вскакиваетъ со стула и кружится безпокойно по узкой комнатѣ, наводненной смутно-знакомыми, официально улыбающимися лицами. Чтò мудренаго, если лица эти представляются ему загадочными, глубоко затаившими свою душу и показывающими только эту сухую, ничего не выражающую улыбку — вѣдь и онъ жилъ между ними чужой, поглощенный всецѣло однимъ собой, глубоко равнодушный къ ихъ судьбѣ, подозрительно завистливый къ каждому успѣху, недовѣрчивый къ заявленіямъ ихъ пріязни.. У него не было друзей. О Мишелѣ Голубинѣ онъ вспоминалъ каждый разъ, когда являлось „мальчишеское“ желаніе похвастать быстрымъ шагомъ впередъ и возвѣстить какую-нибудь новую блестящую побѣду.

— Считаю себя счастливымъ? — вопрошаетъ Строевъ себя, блестящаго молодого человѣка, поставленнаго безповоротно передъ его судомъ...

О, предъ безпристрастнымъ судомъ, будьте увѣрены!.. Какъ только можетъ быть безпристрастенъ покончившій всѣ личные счеты, готовый уже уйти и лишь случайно замѣшкавшій на сценѣ. Вполнѣ безпристрастнымъ къ себѣ дѣлаетъ только ровной ударъ, на время убивающій всѣ страсти. Вотъ, убить умъ несравненно труднѣе — онъ всегда хватается за то, чтò само собою становится на очередь: за позднюю оцѣнку прошлаго, подъ которымъ судьба подвела свой внезапный итогъ. Потеривъ безповоротное крушеніе, нетрудно стать мудрѣйшимъ философомъ. Дорожить нечѣмъ, бояться нечего и невозможно уже любить свою жизнь, т.-е. себя, такъ слѣпо, чтобы желать защищать и отстаивать ее, вопреки логикѣ. Обычное равновѣсіе нарушено — ни страсти, ни чувства не затемняютъ могучей, все охватывающей, всюду проникающей работы мысли. Цѣлые потоки свѣта льются на то, чтò вчера еще было смутно и обманчиво, расцвѣченное всѣми пестрыми окрасками жизни, затемненное ея нескончаемыми противорѣчіями, усиленное шумнымъ, подавляющимъ переполохомъ. Для однихъ —



это будет мигъ одинъ. Для другихъ—переломъ, рѣшающій всю дальнѣйшую судьбу. Но даже и отдѣльный мигъ не потонетъ безслѣдно въ новомъ расцвѣтѣ жизненныхъ силъ. Въ самой мятежной, въ самой строптивой душѣ онъ ляжетъ строгой полосой смиренія, и кто скажетъ, когда именно и по какому поводу этотъ мигъ отзовется въ далекомъ будущемъ, когда жизнь залечитъ всѣ раны и развѣетъ всѣ страхи?..

Вотъ что записалъ въ эти дни Строевъ:

„Я гордился своей дѣятельностью. Ничего не презиралъ я такъ глубоко, какъ лѣнь, апатію и безалаберность русской натуры. Я выслушивалъ равнодушно, какъ нѣчто должное, когда меня (въ застольныхъ спичкахъ) величали „талантливымъ и неутомимымъ молодымъ бойцомъ“ (??), когда превозносили мою „чисто европейскую выдержку и систематичность“. По всей вѣроятности я самъ умѣлъ внушить эту мысль моимъ панегиристамъ. Я былъ убѣжденъ — кажется, это я могу утверждать — былъ убѣжденъ твердо, что мною руководить благородное честолюбіе энергичнаго человека, сознающаго собственныя силы и стремящагося посвятить ихъ на благо родной страны. Безъ сомнѣнія и вы слышали не разъ что-нибудь подобное?.. (Должно быть я казался черезъ-чуръ трудолюбивымъ и усидчивымъ для обыкновеннаго честолюбца!) Но если я былъ гордъ *по праву*, то, Бога ради, что же случилось съ этой гордостью потомъ?! Дѣйствительныхъ заслугъ отнять нельзя, — почему же мои необыкновенныя дѣянія не утѣшаютъ меня въ несчастіи? Если я дѣйствительно стоялъ на вѣрномъ пути, если энергія моя не была напускною, а мои идеалы и цѣли были такъ почетны — то кто же могъ отнять у меня все это? Какимъ образомъ безбожная клевета злыхъ людей могла бы разрушить не только будущее, но и прошлое? — почему не мечтаю я больше ни о какой дѣятельности? Кто хочетъ дѣла, тотъ знаетъ, что большое и малое одинаково важно и необходимо. Я считалъ себя очень счастливымъ человекомъ. Главный ужасъ обрушившагося удара заключался именно въ поразительности контраста (съ чѣмъ люди не сживаются *полегоньку!*). И вотъ, во всемъ этомъ прошломъ, въ лучшей половинѣ жизни своей я не могу отыскать даже проблеска того, что стоило бы назвать счастьемъ... Этому должны быть свои причины. Изъ двухъ дѣтей, стоявшихъ рядомъ, не вырастаютъ ни съ того, ни съ сего характеры въ такой степени разные, какъ я и вапъ братъ. Старая пѣсня: я былъ сирота. У Мишеля не было причины особенно симпатизировать мнѣ, кромѣ той, что любить меня кромѣ него было некому. Вы знаете его чувства. У меня были всѣ основанія отдать свое сердце единственному вели-

водушному другу: всего чаще я ощущалъ только то, что чувствуютъ обыкновенно къ благодѣтелямъ...

„Зачѣмъ пишу я все это? Та малая доля симпатіи, какую способенъ я внушить, и та поколеблется передъ отталкивающей фигурой. Но она сама собою вырастаетъ изъ моихъ воспоминаній, а вы должны знать все, что знаю я.

„27-ю, ночью. Я долженъ писать. Еще одна страница прочтена отъ начала до конца! Зеленая книга ждетъ честнаго итога. Вы не знаете, въ какой мѣрѣ это ощущение странно для человѣка, никогда не знавшаго откровенности. Я хорошо припоминаю: на моемъ языкѣ это называлось (и какъ проиически!) *изліяніями*. Я ихъ выслушивалъ съ снисходительной скукой, и мое мнѣніе объ умѣ собесѣдника немедленно понижалось на нѣсколько градусовъ.

„Я спросилъ васъ сегодня, и вы мнѣ отвѣтили, что дѣйствительно вы читали мое письмо къ брату по случаю женитьбы. Посмотрѣли на меня при этомъ такимъ холоднымъ, недоумѣвающимъ взоромъ... Я понялъ. О, вѣдь вы не подозреваете, какой удесятеренною жизнью я живу! Это та кипучая мозговая работа, которую когда-то я любилъ—только объектъ ея уже не своевольныя мудрствованія надъ важнѣйшими факторами жизни, о которой у гениальнаго реформатора имѣются лишь тусклые и мертвые представленія шпеольника, твердо зазубрившаго свои тетради—объектъ ея живая человѣческая душа—моя душа! Но вамъ—не правда ли?—вамъ кажется, что я недостаточно сознаю совершающееся... Или, еще хуже, что я совершенно равнодушенъ къ нему?

„Въ зеленой книгѣ да не будетъ лицемѣрнаго слова. Дитя мое! смерть не такое зло, какъ мы привыкли думать... Счастливіѣе всѣхъ тотъ, кто не родился. Попробуйте понять меня: остановиться на полпути нельзя, по крайней мѣрѣ не на всякомъ пути!

„Вернусь лучше къ письму. Казалось ли вамъ, что его писалъ любящій человѣкъ? Такъ думалъ я самъ, когда писалъ его, и только теперь (клянусь вамъ, только теперь!) я понимаю, что зовется любовью.

„Дѣвушка мнѣ нравилась, потому вѣроятно, что была вполне подходящей для меня партіей. Она была мила, прилично воспитана, богата и съ родни первымъ фамиліямъ мѣстной аристократіи. Впереди это создавало мнѣ независимое положеніе на службѣ, отъ которой до сихъ поръ я вполне зависѣлъ, этимъ завязывались прочныя связи. Являлась возможность приложить свою энергію и свою изобрѣтательность не къ одной безжизненной канцелярщинѣ. Я рассчиталъ все это очень быстро и такъ же быстро

полюбилъ въ ней все новое благополучіе. Заманчивые планы заронились въ неутомимой головѣ. Да, это могло быть только такъ: женился по расчету, котораго даже не сознавалъ. Доказать это не трудно: не женился бы навѣрное, будь это бѣдная сирота. Тогда я не занимался праздными вопросами.

„Вы считаете, что я былъ женатъ по любви — я понялъ это давно изъ одного вашего замѣчанія. Но вѣдь и я самъ называлъ любовью снисходительное равнодушіе къ женщинѣ, которая принесла мнѣ такъ много! Это было тѣмъ легче, что мнѣ не приходилось порывать никакихъ старыхъ связей. Мы были счастливы, — т.-е. мы никогда не ссорились. Только на судѣ, только отъ враговъ своихъ я услышалъ въ первый разъ, что жена моя была несчастлива, — что она плакала, чахла, что я разбилъ ее жизнь... Понятно, что я отнесся къ этому со всѣмъ возмущеніемъ праваго человѣка и назвалъ это клеветой.

„Но теперь — теперь я не увѣренъ въ этомъ больше... Почему это клевета? Я считалъ, что люблю ее ровно настолько, насколько это обязательно для приличнаго мужа; но развѣ женщина не могла думать иначе?..

„Вы видите, на вашихъ глазахъ я переживаю всю свою жизнь шагъ за шагомъ: ничто не сохранилось въ моей душѣ такъ смутно, какъ эти двадцать-восемь мѣсяцевъ брачной жизни. Вѣроятно ихъ изгладила страшная катастрофа. Помню ее полумертвую, страдающую въ долгой, страшной агоніи. Почему же я не помню ее счастливую, любящую?! Она была сдержана, замкнута. Я называлъ это застѣнчивостью. Мнѣ это было чрезвычайно удобно, потому что предоставляло меня самому себѣ. Семейная жизнь не требовала отъ меня жертвъ — чего же лучше?! Я былъ занятъ по горло службой, хозяйствомъ въ ея имѣніяхъ, перепиской съ Петербургомъ и своими общественными отношеніями. Всѣ наши неудовольствія сводились къ одному: она тяготилась свѣтской жизнью, а я ее любилъ и былъ вынужденъ къ ней своимъ служебнымъ положеніемъ. Впрочемъ она легко уступала мнѣ. Неужели же она дѣйствительно была серьезно несчастна?..

„2-ю іюля. Не могу въ руки взять зеленой книги безъ волненія. Знаю, что напишу въ ней только голую правду, какова бы она ни была! У меня всегда была крѣпкая голова; когда-то я не даромъ гордился своей логикой и успѣлъ значительно развить ее въ долгихъ ухищреніяхъ сдѣлать карьеру на счетъ чужой лѣни или чужой оплошности... Въ книгѣ судьбъ должно быть сказано: все да обратится противъ него.

„Знаете вы, какъ трудно оторваться отъ завлекательной книги? но если эта книга—ваша собственная жизнь! если самые жестокіе сюрпризы подготовлены не изобрѣтательнымъ авторомъ, а вашими собственными поступками?! Сегодня сторѣлъ со стыда, когда вы стали утѣшать меня, объясняя по своему мой больной видъ. Не потому, чтобъ я хотѣлъ обмануть васъ—но что бы могъ я сказать вамъ??

„5-го *юля*. Не сплю съ тѣхъ поръ ни одной ночи. Спрашиваю себя: а если и она никогда не любила меня? Мало ли какъ женщины выходятъ замужъ. Быть можетъ, ее уговорили—принудили даже—не отказывать столь блестящему жениху? (Я сдѣлалъ предложеніе въ письмѣ — маленькая подробность, которая также представляется мнѣ теперь краснорѣчивой.) Можетъ быть, въ глубинѣ сердца тихаго, покорнаго созданія таилась другая, неудачная любовь, которая и свела ее въ могилу? Что знаю я объ этомъ?? Знаю только, что съ нею легко было жить тому, кто, какъ я, жаждалъ одного: простора своему эгоизму.

„Быть можетъ, я не такъ виноватъ, какъ вы готовы думать... Я привыкъ жить одинъ, привыкъ полагаться только на себя и не нуждаться ни въ чьей поддержкѣ. Вы, женщины, не можете вовсе понять, съ какимъ безусловнымъ одиночествомъ способенъ мириться мужчина, коль скоро онъ имѣетъ достаточно пищи для ума и энергіи (сознаніе подчасъ горькое, но исполненное силы и покоя). Оттого-то, какъ это ни странно на первый взглядъ—бракъ есть переворотъ гораздо болѣе трудный въ нашемъ существованіи, нежели въ вашемъ. Вы имъ начинаете вашу жизнь; вы приносите съ собою такой незначительный жизненный багажъ, что для васъ не представляетъ большой трудности устроиться на навосельѣ. Но въ наше существованіе, давно опредѣлившееся и принявшее извѣстный складъ, разомъ врывается совершенно чуждый элементъ. Переходъ отъ свободнаго одиночества къ связанности общей жизни не имѣетъ себѣ подобнаго. О, я понимаю!—это все сгладить, все сврасить страстная любовь. Она одна можетъ заставить разлюбить свободу и распахнуть собственную душу другому, чужому существу. Одна, вѣрьте мнѣ! Я не испытывалъ такой готовности; даже и мысли подобныя не приходили мнѣ въ голову. Я сдѣлалъ и этотъ шагъ холодно и самоувѣренно, какъ жилъ до той минуты. Жена моя не могла или не сумѣла хотя бы на время отодвинуть мое возлюбленное я на второй планъ. Кто скажетъ мнѣ теперь, была ли сама она согласна называть это счастіемъ?! Гордость или равнодушіе мѣшали ей бороться? Или же были какія-нибудь попытки

съ ея стороны, но я не понялъ, пропустилъ ихъ безъ вниманія. И то возможно!.. Вѣроятно ли, чтобы она была счастлива?

„Какая пытка—поднять въ душѣ эту тучу роковыхъ вопросовъ и знать, что никто, ничто не придетъ на помощь! Между тѣмъ въ этомъ узелъ вопроса. Понимаете ли вы все значеніе этого для меня??"

„5-го, ночью. Былъ праздникъ. Я поѣхалъ въ обѣднѣ. Уѣзжая, спросилъ жену, не нужно ли вернуть ей экипажъ. Она отвѣтила, что не совсѣмъ здорова и останется дома. Спустила часть за мною прискакали въ соборъ. Я нашелъ ее одѣтую на кровати. Она громко стонала, хоть въ кровь искусала себѣ руки, чтобы не кричать. Она твердила все одно и то же: ошиблась, выпила не то лекарство. Пустая стельянка валялась разбитая на полу. Доктора съѣхались послѣ меня. Она промучилась около сутокъ. На глазахъ у всѣхъ, безъ всякихъ требованій или намековъ, она черезъ силу написала на листѣ бумаги, что выпила отраву случайно вмѣсто лекарства. Утверждали, что она сдѣлала это изъ великодушія: мы, будто бы, успѣли объясниться наединѣ до приѣзда докторовъ. (Потомъ мы больше не оставались наединѣ.) Я поѣхалъ ея словамъ—почему бы могъ я не вѣрить имъ? Я не усомнился ни разу и позже, когда другіе озлобленно, всевозможными ухищреніями силились доказать невозможность подобной ошибки и называли убійцей меня. Такъ какъ ни я и никто другой не вливалъ отравы—очевидно, она выпила ее сама.

„Логика неумолима: если эта женщина была дѣйствительно несчастна; если ее приводила въ ужасъ дальнѣйшая перспектива комедіи, носившей громкое имя семейнаго счастья — если она носила въ сердцѣ смертельную обиду, разбитую, поруганную любовь—если это такъ, то не логичнѣе ли предположить, что она добровольно выпила роковую стельянку, чѣмъ допускать какою-то маловѣроятную случайность?

„6-го июля. Не странно ли, что никогда раньше дѣло не представлялось мнѣ въ такомъ свѣтѣ? Я соображаю теперь: на присяжныхъ могла подѣйствовать не столько слабость уликъ обвиненія, сколько неподдѣльно правдивый тонъ моего возмущенія. Но вѣдь ни единый фактъ не прибавился и не разъяснился иначе съ тѣхъ поръ! Ученые называютъ иныя вещи *аффектомъ*—теперь не разсуждаю ли я подъ влияніемъ подобнаго аффекта? Какія бы странныя гипотезы ни создавала моя фантазія, какими бы загадочными тайнами ни населяла она прошлаго — все это только мой фантазіи и не будетъ ничѣмъ инымъ! Какая польза, какой смыслъ въ такихъ усиліяхъ? Какъ бы велика ни была

наша строптивость, должны же мы преклониться смиренно передъ такими безусловными вещами, какъ прошлое, отомедненное въ вѣчность,—какъ смерть! Я не могу узнать теперь, вольною или невольною смертью умерла эта женщина—напрасно вопрошать вѣчную могилу!

„*Позже.* Неожиданныя, невѣроятныя мысли посѣщаютъ меня... Что если и враги мои были въ свою очередь вполне искренни? Дѣйствительно ли ими руководила одна алчность, досада на потерю значительнаго состоянія, или—или на самомъ дѣлѣ катастрофа представлялась черезъ-чуръ подозрительной? Это все порядочные люди, какъ мы привыкли понимать. Когда я съ презрѣніемъ швырнулъ имъ проклятое наслѣдіе, они съ неменьшимъ презрѣніемъ отказались принять его. (Деньги внесены въ государственный банкъ на имя Шуры; въ случаѣ ея смерти капиталъ поступать на благотворительныя учрежденія.) Вы должны помнить главную улику противъ меня: за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти жена *по моему настоянію* продала одно изъ своихъ имѣній. Рѣшено было переѣхать осенью въ Петербургъ, и я уговорилъ ее купить домъ. Жизнь въ провинціи перестала мнѣ нравиться. Я все больше и больше не ладилъ съ родней жены и сталъ считать провинцію ареной черезъ-чуръ тѣсной для моихъ способностей (увлеченіе хозяйствомъ принесло результаты весьма плачевныя). Изъ Петербурга меня звали, обѣщали лестное значеніе въ ближайшемъ будущемъ. Случайно подвернулся выгодный покупатель, и мнѣ не хотѣлось упустить случая. Когда именно и почему ей пришло въ голову сдѣлать духовное завѣщаніе въ мою пользу—понятія не имѣю. Вѣроятно она боялась умереть въ родахъ. Неизбѣжно она должна была скрывать это отъ меня, потому что я не допустилъ бы этого. На судѣ рассказывались цѣлыя легенды о томъ, какъ я исподволь склонялъ ее къ этому, какъ нарочно запугивалъ ее предстоящею болѣзью. Мнѣ поставили въ вину даже то, что я выписалъ изъ Москвы акушера, „въ которомъ не было никакой надобности“—это тоже получило значеніе „нравственнаго давленія“.

„Но можетъ быть и это все—тоже аффектъ? Бывали вы когда-нибудь въ судѣ? Испытали ли вы, что такое это страстное, иступленное, единственное въ своемъ родѣ ристалище страстей?

„8-ю іюля. Я не только не разъясняю своихъ недоумѣній,—напротивъ, запутываюсь въ нихъ все больше съ каждымъ днемъ... Возможно ли, чтобы человѣкъ прожилъ половину своей жизни слѣпымъ! Полная удовлетворенность собой, безусловная вѣра въ свое превосходство разрѣшились такимъ беспощаднымъ банкротствомъ!

„Ищу, страстно ищу хотя проблеска въ этомъ мракѣ, и не нахожу его. Я считалъ себя правымъ и потому безмѣрно несчастнымъ. Измѣните посылку — и нельзя больше удержатъ вывода: я виновенъ. Имѣю ли я послѣ этого право считать себя обиженнымъ?“

„Присяжные оправдали меня. Еслибъ я былъ осужденъ, я нашелъ бы способъ лишить себя жизни. Быть можетъ, я просто умеръ бы отъ *невозможности* пережить это. Тогда, я помню, у меня было вполне отчетливое ощущеніе, что только такъ это и можетъ кончиться. Изъ всѣхъ чувствъ уцѣлѣло только отвращеніе къ жизни и ненависть къ людямъ...“

„*Позже.* Первая фаза пробужденія состояла въ томъ, что передо мною, въ нашемъ павильонѣ (вы, конечно, забыли этотъ день!), мелькнуло впервые яркое представленіе о мірѣ духовномъ, отдѣльномъ отъ міра людей. Представленіе о чуждомъ, никогда не интересовавшемъ меня мірѣ искусства, гдѣ собраны всѣ сокровища человѣческаго генія, но нѣтъ живого человѣка съ его несправедливостью и ложью. Этотъ міръ нечувствительно и быстро — о, съ быстротой поразительной! — слился съ вашимъ образомъ. Вы знаете, какъ я научился любить! Да! любовь потому дщерь неба, что она спасаетъ насъ, вопреки намъ самимъ! Деспотически, властно она входитъ въ нашу душу, когда душа эта закрыта наглухо и не открывается добровольно, чтобы принять ее. Все возрождается одною любовью. Давно ужъ это сказано сознательно живущими людьми, и всегда выслушивалось съ снисходительной ироніей такими эффектными вершителями житейскихъ дѣлъ, каковыя я прожилъ свои тридцать-пять лѣтъ...“

„Но никогда не поздно. Не странно ли? — я смутно чувствую это уже теперь, сквозь всю тьму, какая царитъ въ моей душѣ. Чтобы понять — довольно прожить день одинъ.“

„Это не счастье — о, нѣтъ! но это больше чѣмъ счастье. Начинать жизнь съизнова въ мои годы — смарать начистѣ все, что поглотило лучшія силы, донести до этого распутья только одно смиренное сознание своей вины — не то ли это, что зовется *крестомъ*? Какъ на свѣтѣ живу, въ первый разъ произношу это слово — и впереди конца не вижу такимъ новымъ словамъ.“

„О, будьте же благословенны вы, моя любовь, за тотъ свѣтъ, который внесли въ помраченную душу!! Умъ человѣческой могучъ. Сердце человѣческое честно и мужественно, и жизнь довольно длинна, чтобы искупить все. Тайна въ томъ, чтобы призвать къ жизни неизсякаемый источникъ живыхъ силъ.“

„9-го июля. Да, это больше чѣмъ счастье. Это *свобода*. Сво-

бода, ради которой пролиты рѣки крови. Она не тамъ, гдѣ мы ищемъ ее—она въ насъ самихъ, въ каждомъ изъ насъ. Она легка—о, какъ она легка!—тяжелъ путь, ведущій въ ней... Онъ пройденъ. Я оглядываюсь на него уже безъ ненависти. Не чудо ли это??

„Я принужденъ прятаться отъ васъ, чтобы не выдать себя. Не странно ли!—вы живете рядомъ со мной, вы великодушно отдаете мнѣ свое время, свое здоровье, силы—и вы даже не подозрѣваете, какъ я далеко отъ того, что вамъ представляется столь роковымъ... и разъяснить этого невозможно! Надо выстрадать, какъ я, чтобы понять, что умереть въ дѣтствѣ—удача, которую мы оплакиваемъ только по привычѣ. Дорогое дитя мое, какая непроходимая бездна между нами! Какъ трудно вамъ понять меня, даже очищенного и обновленного любовью, не держащаго никого ненавидѣть! Но попытайтесь понять. Соберите всѣ ваши силы. Въ первый разъ въ жизни я раскрываю душу до ея послѣднихъ изгибовъ и молю одного: поймите до конца и простите... Вы одна за всѣхъ людей. Рядомъ съ судомъ собственнымъ произнесите судъ чужой совѣсти, и да не будетъ онъ менѣе милосердъ, чѣмъ приговоръ моихъ судей, не захотѣвшихъ признать убійцей того, въ комъ и они, быть можетъ, видѣли ясно безсознательнаго виновника той смерти.

„Да, я стоялъ передъ ними правый, я твердо смотрѣлъ имъ въ глаза. Смерть моей жены не внушала мнѣ и сотой доли того ужаса, какой она внушаетъ мнѣ теперь. Припоминается, что я почти даже не жалѣлъ ея! Ударъ, постигшій меня самого, былъ слишкомъ страшенъ, внезапно—все ступевалось передъ нимъ. Но вѣдь и на нее, мертвую, я смотрѣлъ съ чистою совѣстью, какъ на жертву несчастной случайности—и передъ нею я былъ правъ. Передъ вами стою виновный и говорю вамъ, одной изъ всѣхъ женщинъ: я убилъ эту женщину, я довелъ ее до смерти, хоть она довѣрила мнѣ свою жизнь.

„Что я дѣлаю?! какую бездну я вырываю добровольно между нами! Зачѣмъ навязываю вамъ весь ужасъ такого сомнѣнiя—вѣдь это не больше какъ сомнѣнiе! Никто не сказалъ мнѣ, что такъ было. Слова умирающей ясны, точны. Ихъ написала отъ начала до конца ея собственная рука, и гдѣ-нибудь еще цѣлъ тотъ клочокъ бумаги. Я прожилъ почти два года безъ этого страшнаго призрака—и только теперь, на вашихъ глазахъ, на страницахъ этой книги онъ родился и выросъ до страшнаго кошмара...

„Мелькаетъ малодушная мысль—изорвать зеленую книгу. Вы меня ни о чемъ не спрашиваете... То, что вамъ извѣстно о моемъ



прошломъ, объ дѣлѣ, не оттолкнуло васъ отъ меня, а привлекло ко мнѣ все ваше состраданіе. Зачѣмъ обнажать передъ вами тайники надломленной души? Какъ смѣть надѣяться, чтобы вы поняли то, что вамъ такъ чуждо?! Зачѣмъ искушать судьбу, подвергать себя риску потерять вашу дружбу, оттолкнуть вашу симпатію?! Будетъ ли ложью скрыть—не фактъ, а лишь собственные больныя мысли и сомнѣнія?

„12-го іюля. Да, это будетъ ложь. Трусомъ Строевъ никогда не былъ.

„14-го іюля. Вижу, какъ вы отдаляетесь отъ меня все больше... Вы считаете меня бездушнымъ! Какъ хотите вы, чтобы я проникся всецѣло отдѣльной частицей въ то время, какъ душа моя отдана на жертву цѣлому?! Въ ней нѣтъ мѣста для подробностей. Что могу я сдѣлать противъ этого? Лгать никогда не умѣлъ. Прежде—изъ гордости, теперь изъ смиренія.

„15-го іюля. Замѣчаю въ васъ странную тревогу, которую не умѣю объяснить себѣ. Сейчасъ мнѣ показалось (пусть это дико, я здѣсь не таюся ни въ чемъ), мнѣ показалось будто вы подозреваете во мнѣ какія-то безумныя надежды... О, дитя мое! Зачѣмъ вы вооружаетесь противъ меня такъ незаслуженно?? Не скажу вамъ, что въ сердцѣ моемъ нѣтъ мѣста надеждѣ,—но въ моихъ надеждахъ не можетъ быть мѣста для любви.

„И все-таки отъ васъ одной я жду помощи—человѣческой, братской помощи. Нѣтъ болѣе гордыни, которая служила оплотомъ въ счастья и въ бѣдѣ. Вопросовъ жизни никто не разрѣшитъ одинъ и никто нигуда не уйдетъ отъ нихъ...

„Вы такъ горячо призывали меня къ жизни. Вамъ хотѣлось примирить меня съ судьбой и съ людьми. Не удивляйтесь же, что обновленный человѣкъ не будетъ похожъ на прежняго! Возможно только жизнь новая. Она еще рисуется неясно, въ неопредѣлившихся образахъ, но нѣтъ тревоги и колебаній въ душѣ: все узнается, все сдѣлается въ свое время. Теперь одно неотложно—повончить навсегда съ прошлымъ, похоронить мирно и непостыдно несчастнаго безумца, котораго судьба ли, люди ли—поставили на ложный путь!..

„Вотъ въ чемъ нужна ваша помощь, ваша чистая совѣсть, умъ возвышенный, сердце ваше великодушное! Не прошу васъ шадить меня. Униженіе—не правда ли?—не есть смиреніе истинное. Не пощады, но снисхожденія. Недалеко то время, когда каждый сочувственный взглядъ для меня равнялся оскорбленію, когда доброта и участіе—были новой жгучей обидой\*...

## КНИГА ТРЕТЬЯ.

## XXVII.

Не исполнилось невольное желаніе Анны, не миновало ее скорбное зрѣлище послѣднихъ минутъ несчастной Шуры. Въ хиломъ, тщедушномъ ребенкѣ оказалась неожиданная, едва вѣроятная живучесть.. Казалось, организмъ такъ уже свѣлся со всевозможными недугами, что для него это стало состояніемъ нормальнымъ. Надо, чтобы истощились силы до ихъ послѣдней капли, чтобы органы дошли до полного перерожденія и умирали одинъ за другимъ; человѣческій обликъ распадался на глазахъ, а непостижимая нервная сила еще цѣплялась за проблескъ жизни. Доктѣръ Заботинъ не скрывалъ своего изумленія и, наконецъ, бросилъ ѣздить подъ благовиднымъ предлогомъ. Окружающіе все труднѣе и труднѣе боролись съ своимъ нетерпѣніемъ. Нянька громко роптала, что упускаетъ выгодное мѣсто въ городѣ, о которомъ начала хлопотать чуть не съ первыхъ дней болѣзни. Всѣ сбились съ ногъ, всѣ устали, всѣмъ хотѣлось насладиться уходящимъ лѣтомъ, хорошей погодой и собственнымъ здоровьемъ. Зловѣщій призракъ смерти отравлялъ жизнь Залѣся, хотя запасъ состраданія давно истощился и всѣ были согласны въ томъ, что Шура должна умереть.

Она умерла наконецъ.

Строевъ стоялъ надъ нею съ искаженнымъ лицомъ, поразившимъ Анну. И въ тотъ же мигъ ей показалось близорукимъ и дерзкимъ собственное сомнѣніе въ его чувствахъ. О, конечно, этотъ человѣкъ выстрадалъ свое право и любить, и скорбѣть не такъ, какъ другіе! Раскаяніе и жалость, жалость безъ конца впиалась въ ея сердце. Пусть онъ узнаетъ тутъ же, сейчасъ, что еще кто-то страдаетъ съ нимъ вмѣстѣ, страдаетъ за него!

Анна дотронулась дрожащей рукой до его плеча и подняла взоръ, залитый слезами.

— Странно... Я теперь только вижу, какъ она похожа на мать,—произнесъ задумчиво Строевъ, точно говоря самому себѣ.

„Тѣмъ хуже!—подумала Анна.—Съ годами это сходство становилось бы все замѣтнѣе“...

И опять такъ ясно, такъ очевидно ей представилось, какъ ему не къ кому вовсе обратиться отъ этого маленькаго родного трупа... Послѣдняя связь съ міромъ живыхъ людей порвалась вмѣстѣ съ жизнью вѣчно больной, вѣчно безпокойной и требова-

тельной Шуры. Исчезъ центръ, вокругъ котораго въ этомъ флигелѣ, какъ и всюду, гдѣ бы онъ ни жилъ, группировалась живая суeta и тревога неотложныхъ требованій и вѣчно смѣняющихся нуждъ. Это было безповойно, было утомительно и скучно—но это одно призывало къ бодрости, отрывало отъ собственной судьбы и говорило о будущемъ „Чѣмъ будетъ онъ жить теперь?“—спрашивала себя дѣвушка съ тоскою...

За гробикомъ, засыпаннымъ цвѣтами, Анна вышла изъ флигеля, чтобы не войти въ него больше. Она не думала объ этомъ до послѣдней минуты—но случайно ей понадобилось вернуться въ домъ, когда всѣ уже вышли, за платкомъ, который она забыла на какомъ-то стулѣ. Изъ пустыхъ комнатъ какъ будто глядѣла пустота разбитой, одинокой жизни... На полу увядали цвѣты, множество цвѣтовъ, собранныхъ въ полѣ дѣтми и присланныхъ бабушкой изъ ея великолѣпнаго цвѣтника. Сію минуту ихъ вымететъ проворный казачокъ и останется отнынѣ единственнымъ сожителемъ своего барина.

„Я не могу больше придти сюда... не могу!“—внушала себѣ Анна, напряженно прислушиваясь къ окружающему безмолвію. Такъ дико, что и тамъ, въ задней комнатѣ, теперь пусто и тихо. Кончилось томительное напряженіе нѣсколькихъ недѣль. Въ памяти дѣвушки эти недѣли слились во что-то очень долгое—такое долгое и такое памятное, что онѣ заслонили собою все, что было раньше. Пока нарядный гробикъ стоялъ на столѣ и въ немъ спала восковая фигурка, одѣтая въ пышное бѣлое платье, спитое Маней, пока во флигелѣ толпились люди, тихо двигались, тихо переговаривались и къ чему-то готовились—это было лишь видоизмѣненіемъ того, что было раньше. Невозможно было ни о чемъ думать, ничѣмъ заниматься, что не имѣло бы прямой связи съ одною этою вещью столь обыденной и всегда необычайной, какъ бы часто ни попадалась она на глаза живому человѣку. Теперь этой вещи не стало.

Пустая, безмолвная комната говорила объ одномъ: общее дѣло кончено. Осиротѣвшій человѣкъ вернется сюда одинъ...

Мысль эта неотступно преслѣдовала Анну во все время похоронъ.

„Это ничего еще!—думала она, не спуская глазъ со Строева:—ты идешь пока впереди цѣлой толпы. Если это и не друзья, то все же люди, сочувствующіе твоему горю. Всѣмъ жаль бѣдную крошку, столько выстрадавшую для того, чтобы умереть! Ты еще не одинъ. Вотъ всѣ мы молимся съ тобой вмѣстѣ... Мы смирились, мы не думаемъ, но ощущаемъ помимо сознанія, что это

былъ живой человекъ, такой же, какъ и каждый изъ насъ... Въ нашихъ слезахъ надъ ребенкомъ, всѣмъ чужимъ и никому не милымъ, связывается смутная жалость къ себѣ, страхъ собственного конца... Да, да, мы съ тобой за-одно! Вотъ всѣ руки протягиваются, чтобы нести гробъ къ могилкѣ, всѣ глаза слѣдятъ въ тяжеломъ раздумьѣ за быстро вырастающимъ землянымъ холмикомъ...

Воображеніе работало все горячѣе. Бросались въ глаза какъ-то странно раздѣльно слова и движенія небольшой кучки людей и посреди нея этого одного человека. Анна напряженно слѣдила за всѣмъ, точно надѣялась увидѣть во очю, когда порвется послѣдняя связь, когда именно онъ останется совсѣмъ одинокъ...

Съ кладбища вернулись въ экипажахъ. Маня пригласила Строева въ коляску, и онъ машинально сѣлъ съ нею рядомъ. Одна Анна всю дорогу неудержимо плакала. Маня странно поглядывала на нее. Мишель мрачно молчалъ. Строевъ о чемъ-то думалъ или, можетъ быть, нарочно избѣгалъ смотрѣть на нее.

Строевъ не принялъ приглашенія Голубиныхъ, и какъ будто даже не понималъ, почему они такъ усердно уговариваютъ его не уходить во флигель и у нихъ на балконѣ дожидаться обѣда. Онъ ушелъ. И безъ того черезъ-чуръ ужъ долги онъ отвлекалъ всѣхъ отъ собственныхъ дѣлъ. Пора всему войти въ обыденную колею. Онъ поцѣловалъ руку Марьи Павловны и поблагодарилъ ее за участіе и помощь. У Мани въ глубинѣ сердца шевельнулось раскаяніе...

Передъ Анной Строевъ остановился и неожиданно растерялся. Всѣ съ любопытствомъ смотрѣли на нихъ: всѣ ждали, что онъ скажетъ. И всѣ видѣли, какъ онъ не находилъ словъ, блѣднѣлъ и какая-то мучительная мысль проступала на его лицѣ.

Онъ ничего не сказалъ. Медленно, низко склонилъ передъ ней голову и едва коснулся руки, которую Анна поспѣшно протянула ему, испуганная.

## XXVIII.

„Неужели я такъ отвыкла отъ моего павильона?“ — думала Анна, блуждая въ тоскѣ по вруглой комнатѣ.

Въ послѣднее время она почти вовсе не жила у себя. Приходила на нѣсколько часовъ отдохнуть, но и эти часы пролетали безъ всякаго вниманія къ окружающему. Ее поглощала всецѣло новая, быстро окрѣпшая связь съ чужою жизнью, гдѣ она созна-

вала себя необходимой. Могла ли связь эта порваться со смертью Шуры? Почему же тогда ей кажется, непобѣдимо, до боли явственно кажется, что ея мѣсто не здѣсь, не въ этой причудливой комнатѣ, гдѣ такъ хорошо праздному человѣку подыскивать на досугѣ, во что бы уложить избытокъ молодыхъ силъ, какъ олицетворить красивѣе порывъ горячей мечты. Здѣсь ей нечего дѣлать теперь, когда искать больше не нужно. Странное было ощущение — человѣка, долго и съ увлеченіемъ собиравшагося въѣхать, и которому внезапно пришлось вернуться въ покинутое мѣсто со своими упавованными чемоданами. Нѣтъ! рѣшительно ей нечего больше дѣлать въ павильонѣ ни теперь, ни завтра, никогда.

Анна попробовала подойти къ круглому огню, полюбоваться на свою любимую картину. Почему она представлялась ей всегда такой оригинальной, фантастической? Однообразныя очертанія деревьевъ ничего не говорили остывшей фантазіи. Неуловимое очарованіе исчезло.

У нея щемило сердце. Она безпомощно оглядывалась. Любимая жить здѣсь одна и никогда не испытывала ни страха, ни тоски одиночества. Что-то толкало теперь отсюда. Реальная, дѣятельная жизнь властно призывала изъ міра грезъ. Ребическими, безцѣльными казались разбросанныя всюду неконченныя работы. Кому нуженъ весь этотъ вздоръ?! — жалкій плодъ многихъ часовъ горячихъ думъ и страстнаго исканія...

Анна думала о Строевѣ. Въ глазахъ ея неотступно стояла пустая зала съ раздвинутой мебелью и увядающими на полу цвѣтами. Что дѣлаетъ онъ тамъ одинъ? Блуждаетъ по безмолвнымъ комнатамъ, переживая во сто кратъ мучительнѣе, чѣмъ чувствовала она порвавшуюся связь... Никто не придетъ къ нему съ участіемъ и помощью. Нѣтъ больше единственной точки соприкосновенія — ребенка, съ которымъ онъ не могъ справиться одинъ. Все личное этотъ человѣкъ обреченъ выносить молча и гордо...

А если... если нѣтъ?..

Анна вскочила. Ее вдругъ кинуло въ жаръ. Кто поручился ей, что онъ захочетъ выносить все?! Чѣмъ еще можетъ онъ дорожить? Что удержать его теперь, когда не стало послѣдней обязанности, отъ которой нельзя было отречься? Что удержать теперь? Онъ свободенъ!..

Ужасъ охватывалъ Анну все сильнѣе. Роковой исходъ представлялся вполне возможнымъ, очевиднымъ — еще минута, и онъ уже казался неизбежнымъ... Неужели она будетъ сидѣть сложа руки и ждать, пока къ ней придутъ и скажутъ: ты была права,

все кончилось именно такъ, какъ ты боялась. Она будетъ соблюдать приличія въ глазахъ Мани и доктора Заботина!..

Если раньше что-то смутно толеало Анну изъ павильона, то теперь она буквально не въ силахъ была оставаться на мѣстѣ. Дорога отъ роши до флигеля казалась безконечной. Вспомнилось странное прощанье Строева... Такъ легко опоздать! Такъ просто пропустить ничтожныя пять минутъ и цѣлую жизнь потомъ терзаться угрызениями! Анна все ускоряла шаги. На ступенькахъ балкона силы вдругъ оставили ее. Чтѣ если дверь заперта? Кабинетъ выходилъ на балконъ своимъ единственнымъ окномъ; оно было открыто. Ни малѣйшій порошокъ не доносился изнутри.

Анна съ усиліемъ поднялась на лѣсенку. Весь ея ужасъ сосредоточился теперь на этой стеклянной двери. Если она заперта и никто не отзовется на ея стукъ? Никогда не хватить у нея мужества заглянуть въ окно! Но и вернуться, бѣжать не легче. Все пугающее имѣетъ странную притягательную силу: бѣжать, чувствовать его у себя за спиною едва ли менѣе жутко, чѣмъ оставаться. Съ Анной повторилось тяжелое нервное состояніе, которое она испытала ужъ разъ въ комнатѣ умирающей дѣвочки. Нѣсколько минутъ она простояла совсѣмъ безъ воли, прислонившись къ тонкой колонкѣ. Кто-нибудь могъ пройти мимо палисадника и увидеть ее на балконѣ; она не думала объ этомъ, пока гдѣ-то близко не залаяла собака. Анна вздрогнула и пришла въ себя настолько, что взялась, наконецъ, за ручку замка. Безъ всякаго усилія дверь подалась подъ ея рукой, и она очутилась въ залѣ, прежде чѣмъ успѣла опомниться.

Полъ былъ выметенъ, но мебель оставалась сбитой въ кучу. Бѣлыя салфетки на картинахъ и на зеркалѣ еще не были сняты. Все это Анна увидала, не глядя, не отрывая глазъ отъ двери въ кабинетъ.

— Кто тамъ?—спросилъ голосъ Строева. Слышно было, какъ онъ двинулъ стулъ.

У Анны закружилась голова — такъ моменталенъ былъ переходъ отъ напряженнаго страха къ полному успокоенію.

— Вы? — выговорилъ Строевъ пораженный и бросился къ ней съ порога въ ту минуту, какъ она безсознательно хватала рукой воздухъ, ища опоры.

— Чтѣ случилось? Анна Владиміровна! Боже мой, чтѣ съ вами?..

— Воды!—выговорила Анна съ усиліемъ, и когда онъ бросился изъ комнаты, она закрыла лицо руками и залилась слезами. Тревога, волненія, усталость, бессонныя ночи, — все, чтѣ она выно-

сила, не рассчитывая силъ, разрѣшилось внезапно въ этихъ безсильныхъ слезахъ. И недавній, безумный бредъ, опасеніе, что она можетъ опоздать и не застать его въ живыхъ—это было послѣднею каплею, переполнившюю сосудъ. Анна рыдала, не сознавая, что чувствуетъ она—облегченіе или еще болѣе жгучій приступъ тоски.

Строевъ принесъ воды. Они молчали. Онъ не могъ выговорить вслухъ вопроса: зачѣмъ она пришла къ нему? Наконецъ Анна затихла и встала съ дивана. Какая печальная комната! почему онъ не велитъ привести ее въ порядокъ скорѣе? Анна прошла въ кабинетъ. Тутъ прежде всего ей бросилась въ глаза раскрытая тетрадь на столѣ: Строевъ, оказалось, преспокойно писалъ что-то, въ то время, какъ она воображала его себѣ погибшимъ. Ей стало стыдно собственной экзальтаціи. Когда научится она давать всему настоящую цѣну?..

Строевъ замѣтилъ, что она смотритъ на тетрадь. Онъ подошелъ и закрылъ ее какимъ-то особеннымъ, значительнымъ движеніемъ.

— Я, Анна Владиміровна, похожъ на человѣка, кругомъ запутавшагося въ долгахъ: роковымъ образомъ онъ вынужденъ занимать снова и снова, чтобы дотянуть до той минуты, когда явится возможность распутать все.

Рука его, лежавшая на зеленой обложкѣ, начала вздрагивать. Голосъ звучалъ подавленно.

Анна сѣла.

— Я васъ совсѣмъ измучилъ. Не я, но это одно и то же! Пора бы вамъ страхнуть съ себя гнетъ чужого несчастія. Вы такъ добры...

— Для чего вы все это говорите?—перебила его Анна.

Строевъ помолчалъ:

— Чтобы предупредить васъ: быть можетъ, еще самое худшее впереди.

Дѣвушка бросила на него быстрый взглядъ. Что-то въ его лицѣ подняло въ ней едва улегшуюся тревогу. Отъ него не ускользнуло ея смущеніе; грустная усмѣшка шевельнула его губы.

— Тотъ, кто протянулъ руку утопающему, долженъ быть приготовленъ, что руки этой не выпустятъ добровольно.

— Если цѣль—вытянуть на берегъ, то зачѣмъ и отнимать руку преждевременно?

— Мы за все расплачиваемся: за свои великодушные поступки, какъ и за безразсудные... Едва ли даже не больше, по-

тому что ничто не заводитъ такъ неожиданно далеко, какъ великодушiе!

Строевъ договорилъ это съ внезапной нѣжной улыбкой, обращенной уже прямо къ ней. Анна покраснѣла своимъ прелестнымъ румянцемъ, едва уловимымъ, точно севозившимъ изъ глубины, почти не обрашивая, а только оживляя лицо.

— Вы знаете, я не люблю этой темы, ни этихъ словъ! — проговорила она тихо.

Онъ все смотрѣлъ, какъ никогда раньше не позволялъ себѣ смотрѣть на нее; но въ глубокой нѣжности его взгляда не было ни смущенiя, ни страсти влюбленныхъ глазъ.

— Чтѣ же дѣлать, я не могу обойтись безъ такихъ словъ. Вы поймете это, когда прочтете зеленую книгу.

Онъ выдвинулъ ящикъ, положилъ въ него тетрадь и громко щелкнулъ замкомъ, точно опасаясь, чтобы это не сдѣлалось преждевременно — сейчасъ же.

Почему-то сердце Анны сжалось. Она не почувствовала себя ни польщенной, ни заинтересованной. Строевъ обогнулъ столъ и подошелъ къ ней.

— Вамъ пора идти, дитя мое!

Ее задѣлъ этотъ переходъ къ отеческому тону.

— Деревенская свобода не безпредѣльна! — договорилъ онъ уже менѣе свободно.

— Я всегда дѣлаю только то, чтѣ сама считаю нужнымъ, — отвѣтила она строптиво.

Въ сущности онъ даже не зналъ еще, чтѣ привело ее къ нему.

— Сергѣй Михайловичъ, я вамъ не сказала... Чтѣ вы подумали давеча?

— Подумалъ, что вы слишкомъ мало думаете о себѣ.

— А! да, я думала... я испугалась за васъ! Я опять буду бояться, какъ только перестану васъ видѣть.

— За меня?.. бояться? — переспросилъ Строевъ послѣ мгновеннаго, напряженнаго раздумья.

Она безразсудна — онъ это знаетъ! Но онъ не будетъ смѣяться надъ нею? Онъ долженъ дать ей слово, долженъ отвѣтить по чистой совѣсти, можетъ ли она не бояться за него... Точно ли это ужасное одиночество не доведетъ его до отчаянiя?

— Да, вы можете не бояться этого, — раздался твердый и вѣскiй отвѣтъ Строева. Но потомъ у него вырвался порывистый жестъ, легкая краска показалась въ лицѣ.

— Такъ вы за меня боялись?!.. — переспросилъ онъ во второй разъ.



Конечно, она боялась. Странно, почему теперь она не могла подтвердить этого без смущения.

Въ одинъ мигъ передъ нимъ промелькнула недавняя сцена со всѣми подробностями: какъ она внезапно вошла къ нему, изнемогающая отъ волненія. Онъ понялъ, что она разстроена всѣмъ предшествовавшимъ, похоронами Шуры... И вотъ, новый свѣтъ готовъ упасть на всю сцену. Достанетъ ли у него силъ вернуться къ первому благо разумному объясненію?

Строевъ ходилъ по комнатѣ, опустивъ голову, чувствуя, какъ холодѣютъ его крѣпко стиснутые пальцы.

— Чтѣо долженъ я сдѣлать?—остановился Строевъ передъ Анной взволнованный и печальный.

— Я не понимаю...

— Я не хочу васъ тревожить, мучить, васъ обирать—да, обирать! Силы, здоровье, жизнь—все уходитъ на такіе порывы. (Онъ бессознательно провелъ рукой по лбу.) Я долженъ взять и я беру назадъ свои слова, Анна Владиміровна: я избавлю васъ отъ чтенія зеленой книги.

Анна не могла оцѣнить, какого усилія стоили эти, повидимому, простые слова.

— А если я потребую прочесть ее?—улыбнулась она, угадывая истинно, что онъ этого желаетъ.

— Да?

Строевъ отошелъ на нѣсколько шаговъ:

— Вы шутите?—спросилъ онъ глухо.

— Н-нѣтъ...

— Такъ вы требуете?—спросилъ онъ уже рѣзко, и глаза его странно блеснули на нее изъ глубины комнаты.

— Какъ вы хотите... Я, конечно, не имѣю права ничего требовать.

— О, что касается вашего права!..

„Уйти!“—думала Анна, не слушая. Назадъ, въ павильонъ, гдѣ нечего дѣлать, жить не тѣмъ. А здѣсь? Для чего она ворвалась сюда, внося тревогу и надежды—развѣ можетъ быть иначе? развѣ она слѣпа и не видитъ?! Она шла, летѣла спасать отъ отчаянія. Почему же теперь молчить и не говорить ему этого? Она уйдетъ: все станетъ по прежнему мертво, безотраднo! Опять жизнь сосредоточится въ зеленой книгѣ. Чтѣо въ ней? Исповѣдь. Ненужное, совершенно лишнее усиліе доказать свою правоту, въ которой она никогда и не сомнѣвалась. О, почему же она колеблется, отчего духу не хватаетъ высказать все, чтѣо есть, чтѣо она чувствуетъ ежеминутно?! Чувствуетъ,—стало-быть это уже ему

принадлежить, это его. Но что-то въ самой глубинѣ ея существа сопротивлялось, отстаивало себя...

Когда она заговорила, ея голосъ звучалъ совсѣмъ иначе, чѣмъ передъ этимъ; онъ сталъ какъ будто выше, звонче, поверхностнѣе. Онъ вовсе не гармонировалъ съ значительностью самихъ словъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, я должна идти! Но я хочу, чтобы прежде вы сказали мнѣ самое главное, въ двухъ словахъ, иначе опять я буду терзаться. Понимаете вы... хоть она умерла, но вы менѣе одиноки, чѣмъ когда-нибудь... Вѣрите вы мнѣ? Хотите вы этого? Имѣть друга, къ которому можно придти всегда, со всѣмъ??..

Она говорила, прерываясь, слушая боязливо собственные слова, — тѣ ли они, какъ нужно? — и горечь этого сознанія туманила ей лицо. Онъ видитъ ея волненіе! Тогда на нее напалъ настоящій ужасъ, ужасъ быть уличенной во внутреннемъ разладѣ.

Оно пусто, безцѣльно, ея существованіе! Всѣ силы погибнуть даромъ, она это знаетъ. Ничего достойнѣе она не можетъ выбрать, какъ посвятить эти силы тому, кто такъ много выстрадалъ незаслуженно. Если доля его станетъ хотя на іоту легче — онъ не знаетъ, какъ она будетъ счастлива... счастлива!..

Ужасно, что и теперь Строевъ не помогать ей ни словомъ.

— Все равно, — улыбалась Анна сквозь слезы: — къ прежнему возврата нѣтъ! Очарованіе павильона исчезло. Добрые духи отступились отъ меня! Нужно жизни — живого дѣла — о, вы не думайте, я не только фантазерка! И это... это по мнѣ!! — договорила она съ увлеченіемъ.

— Воскресить изъ мертвыхъ?..

Никакой отвѣтъ не могъ быть удачнѣе въ этотъ мигъ. Глаза Анны заблестали:

— Помочь воскреснуть — да, да! если это не черезъ чуръ самонадѣянно?..

Она хотѣла заглянуть ему въ глаза, и ласковымъ, довѣрчивымъ движеніемъ отвела его руку.

— Мы друзья, да? да? вы меня называете иногда „дѣтя мое“ — нѣтъ, зовите меня: мой другъ...

— Дружба — договоръ, Анна Владиміровна. Каждый договоръ предполагаетъ обоюдныя выгоды.

„Онъ правъ... договоръ!“ — подумала она уныло.

Строевъ еще приблизился къ ней и взялъ опущенныя руки.

— Вашему великодушію нѣтъ предѣловъ, я это знаю. Не удивляйтесь, что я... я какъ будто не цѣню! Это не такъ. Не могу высказать всего. Не теперь еще... Вы мнѣ предлагаете вашу дружбу — но вѣдь она давно моя! Неужели вы не сознавали,

когда расточали ее мнѣ такъ щедрѣ?.. Неужели вы думали, что не приди вы сюда, я самъ не съумѣлъ бы найти васъ?... Понимаю, понимаю, чего вы боялись! Нѣтъ, дитя мое—я хочу жить. Есть для чего жить! Я бы не понялъ этого безъ васъ—это вы спасли меня!

Онъ прижалъ къ своей груди ея руку, стиснувъ вѣрѣе въ своей холодной рукѣ. Лицо свѣтлѣлось глубокимъ, восторженнымъ волненіемъ.

Анна смотрѣла на него съ удивленіемъ: не хочетъ понять... о! тѣмъ хуже, у нея не хватить духу вторично пойти на-встрѣчу.

— Вы меня смирили, вывели на дорогу, — говорилъ Строевъ: — Дѣло сдѣлаю, живое дѣло, о которомъ вы мечтаете. Вы его сдѣлали!

Анна отрицательно качала головой, готовая рыдать, зачѣмъ ничто въ ея собственномъ сознаниіи не подтверждаетъ его словъ.

— Но ваша дружба еще не все дала мнѣ, я еще прошу у нея услуги—долженъ просить!.. Вы не только моя спасительница — вы олицетворяете всѣхъ людей, съ которыми я долженъ примириться, прежде чѣмъ можетъ начаться новая жизнь... Согласны вы помочь мнѣ?

— Я сказала, — прошептала Анна робко, сбывая съ толку этимъ неожиданнымъ настроеніемъ.

Строевъ помолчалъ нѣсколько долгихъ, томительныхъ секундъ.

— Вы видите—можно говорить только о томъ, чтѣ вы даете мнѣ! Договоръ черезъ-чуръ неровень. Справедливость требуетъ назвать его другимъ именемъ—не дружбой.

Онъ выпустилъ ея руку и отошелъ къ открытому окну. Анна осталась въ той же позѣ, смущенная. Глубокая тишина царилла вокругъ, въ пустыхъ комнатахъ, куда она входила каждый день такъ просто и свободно, самоувѣренная, удовлетворенная собственной великодушной ролью. Въ этотъ мигъ она базалась себѣ безразсуднымъ ребенкомъ, самонадѣянно забравшимся на опасную кручу.

— Васъ ищутъ, — обернулся къ ней внезапно Строевъ: — Слышите?

Анна бросилась къ окну. Точно гора упала съ ея плечъ.

— Ан-на! Ан-на!!—кричали въ саду дѣти.

— Пора обѣдать. Пойдемте вмѣстѣ, Сергѣй Михайловичъ.

— О, нѣтъ, я не могу. Я сію минуту пошлю сказать.

Аннѣ было стыдно, но не въ ея власти было не чувствовать облегченія, уходя изъ флигеля. Она ужъ знала, что не придетъ

сюда во второй разъ. Она такъ спѣшила, что едва не позабыла проститься...

Строевъ остался стоять на порогѣ и смотрѣть, какъ она уходила. Онъ тоже былъ радъ, что странное свиданіе кончилось. Въ немъ глухо волновался, его охватывалъ все сильнѣе, все властнѣе наплывъ неизвѣданныхъ ощущеній, мыслей страшныхъ по своей новизнѣ и по своей несбыточности...

## XXIX.

Строевъ совсѣмъ заперся у себя. Онъ просилъ у хозяйки позволенія продолжать еще нѣкоторое время обѣдать у себя во флигелѣ. Эта просьба не вызвала никакого ропота. Марья Павловна не жаловалась больше, какъ во время болѣзни Шуры, что прислуга „сбилась съ ногъ“ отъ бѣготни взадъ и впередъ. Въ глубинѣ души всѣ были довольны такимъ оборотомъ.

Ничего не можетъ быть томительнѣе присутствія человѣка, только-что понесшаго тяжелую утрату. Самые сострадательные люди не могутъ отрѣшиться отъ увѣренности, что они созданы для счастья, и все существо ихъ сопротивляется передъ необходимостью чувствовать себя за него сконфуженными, какъ бы несправедливо награжденными...

Манѣ казалось, что жилецъ не будетъ въ силахъ смотрѣть равнодушно на ея дѣтей, и это смутно пугало ее за нихъ. По ея мнѣнію, на дѣтей нужно смотрѣть съ добрымъ чувствомъ, иначе это не принесетъ имъ счастья.

Мишель былъ доволенъ, что Анна вернулась, наконецъ, въ семью. Она меньше чѣмъ прежде уединялась въ своемъ павильонѣ, и хоть была грустна и задумчива больше чѣмъ когда-нибудь, но все же ему пріятно было имѣть ее у себя на глазахъ.

Бабушка жаловалась, что она не запомнитъ въ Залѣсѣ такого непріятнаго лѣта. Она терпѣть не могла, когда кто-нибудь умиралъ. Такихъ обстоятельствъ, конечно, нельзя предвидѣть, но вѣдь она съ самаго начала говорила, что не для чего было приглашать сюда этого Строева, коли ужъ по пятамъ за нимъ гонятся всевозможныя бѣды. Всякій долженъ оберегать свой покой; у Мишеля молодая жена и маленькія дѣти, если ужъ не охота подумать о старухѣ-бабѣ.

Каждый день за завтракомъ Мишель выслушивалъ запоздалые упреки съ своимъ обычнымъ трогательнымъ терпѣніемъ. Настасья Ивановна сообщала по секрету, что бабушка стала дурно спать;

да онъ и самъ находилъ, что она смотритъ гораздо хуже, чѣмъ въ началѣ лѣта. Никто не говорилъ такъ много о Шурѣ, какъ эта старуха, вовсе не занимавшаяся ею при жизни. Грустное зрѣлище — эта невольная тревога существа, смутно ощущающаго, что чередъ его! Судьба совершила одну изъ своихъ слѣпыхъ несправедливостей, вырвавъ рядомъ созданіе полное силъ, тогда какъ могильныя тѣни ложатся заживо на его черты. Мишель удвоилъ свою нѣжность и вниманіе, но бабушка этого не замѣчала и принимала все холодно. Онъ сталъ-было заходить къ ней иногда не въ очередь, среди дня, но, къ его удивленію, ей это прямо не понравилось.

— Что ты это нынче, точно справляешься, не собралась ли з помирать!—срѣзала она его въ одинъ изъ такихъ визитовъ.

Не зная, чѣмъ успокоить ее, Голубинъ съ величайшимъ трудомъ упросилъ ее посоветоваться съ докторомъ, и послалъ въ городъ за Орестомъ Павловичемъ.

Бабушка никому не позволила присутствовать при этомъ визитѣ и очень скоро выпроводила отъ себя Заботина.

— Твой докторъ только къ Аннѣ приставать и умѣть... Я и безъ него знаю, что надо больше спать да ѣсть... За это имъ денегъ платить не стоитъ,—выслушалъ Мишель отъ бабушки на другое утро.

— Я, grand, тапан, просилъ его не для васъ, а для себя, —отвѣтилъ смиренно внукъ:—мнѣ необходимо въ городъ уѣхать на недѣлку, и меня тревожить, что вы дурно спите.

— Совсѣмъ лишнее. Старая дура насплетничала. Я, кажется, никому своими недугами не надоѣдаю.

Бабушка недовольно пожевала губами.

— Вхатъ собрался въ рабочую пору. Какіе теперь выборы?

— Экстренное собраніе, grand'тапан. Поддержать надо, чтобы не провели чужого. Неохота мнѣ тащиться, сами знаете, да дѣло-то общее.

— Справятся здѣсь и безъ тебя. Дворянину неприлично сидѣть за печкой. Барыня, небось, тужить?

— Сама посылаетъ,—улыбнулся Мишель.

— Чудеса. Нынче ѣдешь, что ли?

— Завтра, grand'тапан...

Дѣйствительно, Маня усердно уговаривала мужа ѣхать. Обыкновенно Голубинъ былъ крайне тяжелъ на подъемъ, но на этотъ разъ и въ немъ проснулось желаніе освѣжиться, страхнуть съ себя нескончаемыя хозяйственныя заботы и всѣ тяжелыя впечатлѣнія этого лѣта. Да и въ картишки перекинуться невредно вечеромъ

— смѣшно сказать, за все лѣто ни одного винта составить не удалось! Маня ему завидуетъ, — она и сама прокатилась бы съ удовольствіемъ въ городъ. Она перечисляла всѣхъ знакомыхъ, съ которыми онъ увидится, расписывала, какъ будетъ проходить его день отъ утра и до ночи — ничего похожего на домашнюю канитель! А въ клубѣ новый поваръ и превосходный, увѣрялъ докторъ. Разумѣется, денегъ онъ оставитъ тамъ порядочную толпу, да нельзя же забиться въ свою берлогу и вовсе отъ людей отстать. Да! Съ Русовымъ и Мейеромъ пусть сойдется по прежнему и пригласитъ ихъ въ Залъсье. Не вѣкъ же ему оставаться безъ партіи, по милости Анны! Пора ей, наконецъ, простить, что они имѣли дерзость просить ея руки!

Мало-по-малу всѣ эти разговоры привели Мишеля въ то пріятное возбужденіе, когда человекъ не можетъ ужъ больше сидѣть на мѣстѣ и довольствоваться обычными условіями своей жизни. „Всѣхъ дѣлъ не передѣлаешь“, — любилъ повторять, успокоивая его, старичокъ-приказчикъ. Вотъ только бабушка не вздумала бы расхвораться серьезно. Впрочемъ Заботинъ обязательно согласился навѣдываться черезъ день въ Залъсье, и послѣдній предлогъ для колебаній былъ устраненъ.

По суетѣ, поднявшейся въ домѣ, можно было подумать, что Голубину предстоитъ дальняя дорога, а не переѣздъ въ сорокъ верстъ до города, который былъ такъ же хорошо знакомъ ему, какъ и родное Залъсье. Нѣско́ро мылось и гладилось крахмальное бѣлье, успѣвшее пожелтѣть за нѣсколько мѣсяцевъ привольнаго деревенскаго житья. Черная скюртучная пара выѣтривалась на балконѣ, распространяя запахъ камфоры и возбуждая сомнѣніе въ должномъ соотвѣтствіи ея съ богатырскими размѣрами хозяина.

— Нѣтъ, нѣтъ, поѣзжай! Это просто непозволительно, до чего ты толстѣешь! — повторяла Маня съ совсѣмъ новымъ оттѣнкомъ брезгливости. Она говорила это такъ, какъ будто посылала его куда-нибудь на воды.

Послѣ памятной сцены, разыгравшейся недѣлю полторы тому назадъ, супруги, точно по безмолвному соглашенію, избѣгали всякихъ объясненій. Въ примиреніи, повидимому, не предстояло и надобности; но какая-то неясная переменна, что-то неуловимое, какъ холодное дуновеніе, прошло надъ самыми интимными ощущеніями Мишеля. Словно подбавилась горькая капля разочарованія къ той горячей нѣжности, какую онъ питалъ къ своей семьѣ. Володька и Маша, и Вавочка, смотрѣвшая ожившимъ херувимомъ съ картины Мурильо, и сама Маня были точно не тѣ, что прежде... Мишель старался и, какъ это умѣютъ иные

люди, ему удавалось не думать о томъ, что неприятно; но Мишель былъ не въ духѣ... На него напало равнодушіе, апатія, какъ будто онъ вдругъ усталъ и потерялъ охоту съ обычнымъ рвеніемъ тянуть свою ляму. Какая-то внутренняя неловкость, что-то непривычное, мѣшающее, лежало на сердцѣ... Такой слѣдъ оставляетъ по себѣ чувство негодованія, котораго не ждешь. Такъ бываетъ нарушенъ душевный покой, если внезапно окажется минусъ тамъ, гдѣ мы давно привыкли ставить плюсъ въ своихъ итогахъ.

Голубинъ ухватился за надобность ѣхать въ городъ. „Всѣхъ дѣлъ не передѣлаешь“, — повторялъ онъ съ отгѣвкомъ горечи, формулируя въ этихъ словахъ инстинктивную потребность страхнуть свою хандру. Цѣлый день прошелъ въ распоряженіяхъ. Привязчикъ едва успѣвалъ добраться до своихъ очередныхъ работъ, какъ за нимъ летѣлъ уже новый гонецъ и опять требовалъ его къ барину, запаматовавшему что-то очень важное. Но, наконецъ, старикъ сталъ проявлять такое явное нетерпѣніе, что деликатный баринъ не рѣшался больше безповоить его; такимъ образомъ, Мишелю совершенно некуда было дѣвать послѣднихъ часовъ, оставшихся до отъѣзда. Маня была занята собираніемъ его въ дорогу; Анна—но вѣдь Анна была одной изъ главныхъ причинъ его тугостнаго настроенія! Мишель совершенно не понималъ ея поведенія. Онъ принужденъ былъ соглашаться съ женой, что она черезъ-чуръ безцеремонно пренебрегаетъ приличіями, а самому себѣ онъ не умѣлъ объяснить ея очевидной тоски. Къ чему это неумѣстное сближеніе со Строевымъ, такое экзальтированное состраданіе къ Шурѣ и этотъ убитый видъ, точно она похоронила близкое существо, а не чужого ребенка, которому, конечно, лучше было умереть, чѣмъ оставаться жить? Мишель смутно угадывалъ, что за всѣмъ этимъ кроется нѣчто гораздо болѣе важное, передъ чѣмъ онъ безсиленъ, и что грозило поставить передъ нимъ мудреную задачу его жизни: чѣмъ удержать Анну въ Зальсѣ и какъ излечить ее отъ роговой тоски, не обѣщавшей впереди ничего хорошаго? Но Мишель отнюдь не расположенъ былъ обсуждать теперь столь тяжеловѣсныхъ вопросовъ; да къ тому же и Анна вовсе не звала его въ павильонъ. Она вторила Манѣ и также совѣтовала ему не торопиться возвращаться домой. Всѣ въ Зальсѣ внезапно охладѣли другъ къ другу. Бываютъ такія полосы въ жизни самыхъ близкихъ людей.

„Вотъ курьезно, ей Богу, — болтаюсь тутъ словно чужой!“ — недоумѣвалъ Мишель, блуждая изъ комнаты въ комнату въ томъ-

леніи человѣка, у котораго увязаны чемоданы. Всѣ обязанности, дѣла, заботы отошли отъ него, но ни что новое еще не заступило образовавшейся пустоты.

Въ одну изъ подобныхъ минутъ Голубинъ вспомнилъ, что онъ нѣсколько дней какъ не видалъ вовсе Строева. Какъ хозяинъ, онъ даже обязанъ былъ предупредить жильца о своемъ отъѣздѣ. И онъ отправился во флигель съ легкимъ сердцемъ человѣка, который увѣренъ въ себѣ.

Строевъ бросился ему на-встрѣчу съ несвойственной поспѣшностью, встревоженный этимъ неожиданнымъ приходомъ.

„Не даромъ!“ — сказалъ онъ себѣ, завидѣвъ издали, какъ Мишель пробирался къ флигелю въ городскомъ платьѣ, котораго не надѣвалъ ни разу за все лѣто. До сихъ поръ хозяинъ Залѣся свято исполнялъ его просьбу не касаться интимныхъ вопросовъ. Но, какъ человѣкъ въ высшей степени искренній, Мишель не умѣлъ сладить съ натянутостью такихъ отношеній. „Если я не другъ тебѣ, то что же мы такое?“ — какъ будто говорилъ неровный, то черезъ-чуръ вѣжливый, то опечаленный тонъ его обращенія съ жильцомъ. Мишель не умѣлъ скрыть, что послѣ объясненія подъ дубами общество стараго пріятеля тяготило его, а необходимость лавировать представлялась бесплодной и недостойной задачей. Впрочемъ продолжительная болѣзнь Шуры скоро положила конецъ натянутому положенію, такъ какъ они не видѣлись все это время, по настоянію Мани.

Строевъ понималъ какъ нельзя лучше, что Голубинимъ не могло нравиться его сближеніе съ Анной. Его мысли и чувства были отвлечены всецѣло въ другую сторону, но по старой привычкѣ свѣтскаго человѣка онъ лучше чѣмъ кто-нибудь звалъ, въ какой мѣрѣ поступки Анны грѣшили противъ рутины, по которой обязательно жить и тѣмъ паче обязательно это для молодой дѣвушки. Чего добраго еще, обнаружилось какъ-нибудь ея послѣднее посѣщеніе флигеля, и мѣра терпѣнія ея кроткаго брата истощилась... Не намѣревается ли онъ дать понять пріятелю, что существуютъ границы, которыхъ нельзя переходить безответственно, въ какихъ бы исключительныхъ условіяхъ ни стоялъ человѣкъ?..

— Извини, помѣшалъ тебѣ, можетъ быть? Я на минуточку. Тебя нынче совсѣмъ не видно, по-неволѣ пришлось нарушить твое уединеніе.

— Тебѣ вѣдь извѣстно, что у меня нѣтъ никакихъ занятій, — отвѣтилъ Строевъ, вслушиваясь подозрительно.



— Но зато у тебя очень много желанія не видѣть никого изъ насъ?—пошутилъ добродушно Мишель.

Они сидѣли въ кабинетѣ. Строевъ одинъ знаетъ, какъ много пережито, глазъ на глазъ съ собственною совѣстью, въ этой небольшой, узкой комнатѣ. Для другихъ это былъ только скучный уголъ, уныло освѣщенный однимъ окномъ, выходящимъ на балконъ. Голубинъ оглядывался, поддаваясь невольно подавляющему впечатлѣнію царившей въ домѣ безжизненной тишины.

— Не постигаю, какъ ты можешь высидывать тутъ одинъ цѣлыми днями! И комната эта пребезобразная. Почему бы тебѣ не устроить лучше кабинета въ залѣ? Тамъ свѣтлѣе и расположиться можно гораздо уютнѣе.

„Кажется, я ошибся“, — думалъ въ это время его собесѣдникъ.

Со стороны Строева оставить чье-нибудь замѣчаніе безъ всякаго отвѣта было дѣломъ настолько обыкновеннымъ, что это нисколько не удивило Голубина. Онъ вышелъ въ сосѣдную комнату и началъ глазами прикидывать новое распредѣленіе мебели; потомъ вернулся до порога и, прищурившись, вымѣривалъ примѣрную длину стариннаго дивана съ высокими мягкими бочками, напоминавшаго неуклюжій ящикъ, обтянутый матеріей.

— Есть у меня одно очень покойное кресло дѣдушкино, — цѣлая карета! оно, конечно, не казисто на видъ, да зато уже въ немъ хоть спи. Я прикажу принести его тебѣ. Признаться, мы рассчитывали, что ты будешь иначе пользоваться деревней, а не проводить дни и ночи въ комнатахъ... Ну, да лучше поздно, чѣмъ никогда! можно хотя на остатокъ лѣта обставить тебя покомфортабельнѣе. А всего лучше поручить это Аннѣ—она въ два мига обсудитъ все наилучшимъ образомъ.

Строевъ порывисто поднялся съ своего мѣста. „Да, я ошибся“, — подумалъ онъ опять, уже увѣренно и радостно. По оживившемуся лицу можно было подумать, что его заинтересовала переѣздна, предложенная хозяиномъ. Мишель такъ и принялъ это и началъ съ увлеченіемъ объяснять всѣ преимущества квадратной комнаты.

— Удивляюсь, какъ это Анна до сихъ поръ не обратила вниманія, — замѣтилъ онъ еще разъ вскользь.

„Что это, снисхожденіе или невниманіе?“ — спрашивалъ себя Строевъ съ недоумѣніемъ. Имя Анны, случайно срывавшееся съ равнодушныхъ устъ, каждый разъ заставляло его внутренно вздрагивать.

— Я, однако, не сказалъ еще тебѣ, что уѣзжаю въ городъ?

На дѣлю недѣлю, братецъ, коли не больше. Не хочешь ли проѣхаться со мной? Экстренное собраніе господъ дворянъ. Послушаешь отъ скуки; тебѣ эти вещи такъ хорошо знакомы. Заинтересуешься по старой памяти.

По лицу Строева скользнула странная усмѣшка.

— О, нѣтъ, я интересуюсь отнюдь не старымъ,—новымъ, только однимъ новымъ!

Голубинъ невольно посмотрѣлъ на него. Онъ стоялъ, прислонившись къ двери, засунувъ руки въ карманы, и смотрѣлъ незнакомымъ Мишелю взглядомъ, мягкимъ и свѣтящимся.

— И потому-то, что я поглощенъ этимъ новымъ,—продолжалъ онъ вѣско и раздѣльно,—я получилъ наконецъ способность говорить и о прошломъ. Обо всемъ, о чемъ ты можешь пожелать, если у тебя еще не вовсе пропала охота интересоваться моею особой.

„Вотъ теперь это встаетъ, нечего сказать!“—было первой досадною мыслью Голубина. Вслѣдъ затѣмъ онъ понялъ, что ему слѣдуетъ радоваться такому неожиданному перевороту въ чувствахъ его стараго друга. Мишель понялъ это, но не ощутилъ радости, потому что не могъ забыть, что нужно скоро ѣхать, и нельзя теперь начинать серьезнаго разговора, котораго невозможно прерывать во всякую минуту. Онъ бессознательно пропустилъ первыя секунды, когда ему слѣдовало откликнуться горячо на такіа слова.

— Ты мнѣ какъ будто не довѣряешь? — спросилъ Строевъ, удивленный его смущеніемъ.

— Не вѣрю?! вотъ идея! Почему, съ какой же стати я могъ бы тебѣ не вѣрить?

— Ну, на это, пожалуй, найдется чтò и отвѣтить...

Опять „разводы“, на которые у Мишеля положительно нѣтъ времени! Онъ сдѣлалъ рѣшительный жестъ дѣловаго чловѣка, у котораго минуты на счету.

— Ты повѣришь, конечно, какъ мнѣ отрадно было выслушать то, чтò ты сказалъ только-что?

„Я этого не вижу“,—подумалось невольно Строеву. Этотъ чловѣкъ имѣлъ достаточно многое противъ него, для того, чтобы запоздалая готовность раскрыть передъ нимъ душу была встрѣчена съ тою же горячностью, какъ и два мѣсяца назадъ.

— Лучше поздно, чѣмъ никогда, ты сказалъ только-что... Я бы желалъ, чтобы ты повторялъ это, но не по поводу лишняго комфорта, въ которомъ я, право, не нуждаюсь, а по поводу на-

шихъ взаимныхъ отношеній, въ которыхъ, разумѣется, я одинъ кругомъ виноватъ.

Это было ужъ вовсе необычайно и было такъ неожиданно со стороны Строева, что Голубинъ почувствовалъ что-то похожее на испугъ. Тонъ смиреннаго сознанія былъ до такой степени новъ и чуждъ въ устахъ именно этого человѣка, что бессознательно Мишель трепеталъ уже, какъ-то придется потомъ расплачиваться за такой странный капризъ!

— Богъ съ тобой!.. Къ чему ты это? Какая вина! кто можетъ винить тебя!—пробормоталъ онъ.

— Всякій,—возразилъ спокойно Строевъ. — Нѣтъ человѣка, который бы не былъ въ правѣ осудить беспощадно всю мою жизнь.

Голубинъ машинально поднялъ руку и потеръ себѣ лобъ.

— Ты одинъ стоялъ ко мнѣ нѣсколько ближе другихъ. Говорю: нѣсколько... Ты знаешь, насколько условна и формальна была даже и эта близость! Если ты этого до сихъ поръ еще не сознаешь, то только потому, что ты самъ ни въ чемъ не похожъ на меня. Въ свое сужденіе о другихъ мы вѣдь не можемъ не вносить частицы собственнаго я.

Взглядъ Строева, напряженный и свѣтлый, былъ устремленъ куда-то выше головы Мишеля; но ему казалось, что онъ смотритъ прямо на него. Онъ слушалъ съ недоумѣніемъ, не поднимая глазъ. Тревожная мысль мелькала въ его умѣ.

— Я же не только вносилъ это я въ свое сужденіе о людяхъ,—продолжалъ Строевъ,—а въ цѣломъ мірѣ вовсе не видѣлъ ничего кромѣ него! Я на cadaго смотрѣлъ только какъ на помѣху или какъ на удобное орудіе для своего успѣха. Успѣхъ... а! пусть обратятся ко мнѣ за справками жадные новобранцы его неслѣтной и все растущей арміи!—*J'en saurai leur dire des nouvelles*, какъ говорить въ гостиныхъ!..

Сухой, горькій смѣхъ рѣзнулъ по нервамъ Голубина.

— Ты не нуждаешься въ этой проповѣди, я знаю. Одному изъ немногихъ, тебѣ нечего извлечь изъ моего поучительнаго опыта. Ты не гонялся никогда за предательской химерой; тебѣ дано само собой то одно, чего достигнуть трудно и безъ чего нѣтъ счастья: ты добръ и простъ сердцемъ, Мишель. Ты любишь меня, когда я этого не стоилъ. Ты жалѣлъ меня, когда я этого не заслуживалъ. Ты держалъ всегда на-готовѣ протянутую братскую руку, которую всю мою жизнь я только высококомѣрно отталкивалъ. Нечего удивляться, что эта рука наконецъ опускается, помимо твоего сознанія. Ты слушаешь точно бредъ сумасшед-

шаго мои слова — первыя настоящія и честныя слова мои къ тебѣ...

Вся кровь винулась въ лицо Голубину, когда онъ услыхалъ изъ устъ Строева собственную робкую, тревожную мысль. Эта мысль не родилась теперь въ его умѣ — она только всплывала, какъ отголосокъ чужого мнѣнія, которое до сихъ поръ онъ выслушивалъ съ искреннимъ негодованіемъ. „Вы увидите, что въ концѣ концовъ Строевъ спатитъ съума. Такіе господа не переживаютъ своей великолѣпной гордости“, — развивалъ съ нѣкоторыхъ поръ все усерднѣе и настойчивѣе докторъ Заботинъ.

На лицѣ Мишеля горѣлъ не стыдъ, а испугъ. Какъ въ открытой книгѣ Строевъ прочелъ на немъ подтвержденіе своей случайной фразы.

— Вотъ не ожидалъ, чтобы тебѣ могли приходиться на умъ подобныя мысли! — воскликнулъ Голубинъ, чувствуя полную невозможность молчать дольше. — Недостаетъ, чтобы ты принялся теперь разстраивать себя какими-то угрызениями... Если ты и былъ въ чемъ-нибудь неправъ, мой милый, то можешь себѣ зачестъ это съ спокойной совѣстью: съ тебя взыскано сторицею за прошлое, да и за будущее!

— Странныя мысли, ты находишь? — повторилъ задумчиво Строевъ.

— По крайней мѣрѣ относительно меня, — заспѣшилъ Мишель. — Я дѣйствительно всегда любилъ тебя душевно и никогда не считалъ, не считаю и теперь себя въ правѣ взвѣшивать твои... твои права, что ли, на мою привязанность! Прости, пожалуйста! я всегда былъ глупъ и не умѣлъ развивать никакихъ тонкостей. Я, кажется, не оцѣнилъ какъ должно твоихъ словъ? Но у меня одно желаніе: чтобы ты отрѣшился наконецъ отъ того, чего нельзя передѣлать! Тебѣ тридцать-восемь лѣтъ, Сергѣй. Это не много и не мало, но какъ разъ довольно, чтобы понять, изъ чего въ концѣ концовъ слагается человѣческое счастье. Ты всю свою жизнь толкался въ толпѣ, и оттого преувеличиваешь цѣну людского мнѣнія. Ты...

— Позволь! — остановилъ его Строевъ съ тонкой усмѣшкой: — Ты говоришь въ такой мѣрѣ *не то*, что мнѣ твоихъ словъ жалъ. Ты стараешься утвердить меня въ сознаниі моихъ незаслуженныхъ несчастій, не правда ли? Чтобы быть краткимъ и не томить тебя долго, я скажу въ двухъ словахъ: мое освобожденіе — только въ сознаниі моей вины! Несчастія незаслуженнаго я, ты знаешь, не былъ въ силахъ снести покорно. „Толкался въ толпѣ“ —

вотъ это вѣрно! Но съ *модъми* я не жилъ. Ты, счастливый семьянинъ и такой, каковъ ты есть, — ты и представить себѣ не можешь, въ какой мѣрѣ для меня новы самыя обыкновенныя человѣческія ощущенія! Это невѣроятно, это смѣшно должно быть — но это одно дастъ мнѣ силу жить... Никогда не поздно, — я вѣрю!.. Не поздно понять жизнь, какою она должна быть, на мѣсто жалкой и постыдной каррикатуры, въ какую мы добровольно превращаемъ ее сплошь и рядомъ. Не поздно сказать хотя одному ослѣпленному: стой! ни шагу дальше! иди за мной и загляни въ ту бездну, на днѣ которой я очутился... Трудно ли найти подобнаго безумца? Можетъ ли правда, выстраданная и очищенная всѣми муками, не дойти до сердца??..

Глаза Строева сіяли. Худое лицо принимало все болѣе и болѣе просвѣтленное выраженіе. Голосъ звучалъ глубокими, колеблющимися нотами.

Вотъ до чего ужъ дошло! а они-то беззаботно оставляли его одного и предоставляли полную свободу распалать свой мозгъ! Теперь недѣлю цѣлую онъ и дома не будетъ.

— Сергѣй Михайловичъ, сдѣлай мнѣ такую милость, — поѣдемъ вмѣстѣ въ городъ! Повѣрь мнѣ, ты развлечешься и отдохнешь!!

Эти слова вырвались у Мишеля такъ непосредственно и тревожно, виноватая улыбка такъ плохо маскировала беспокойство, что нельзя было сомнѣваться въ значеніи просьбы.

Лицо Строева разомъ потухло. По немъ разлилась краска, прошла легкая судорога. Онъ опустилъ глаза и нѣсколько секундъ не поднималъ, пряча ихъ выраженіе, которое самъ онъ вдругъ почувствовалъ, угадалъ въ тотъ мигъ, когда понялъ, какъ это принято... Старая, болѣзненная гордость и новое, еще непривичное смиреніе — боролись въ душѣ. Но это была минута одна, показавшаяся ему безконечной. Онъ улыбнулся съ сожалѣніемъ и поднялъ твердый взоръ на Голубина.

— Благодарю. Ты не долженъ тревожиться за меня — я здоровъ и тѣломъ, и духомъ. Въ городѣ мнѣ дѣлать нечего. Ты когда ѣдешь?

Голубинъ поспѣшно выхватилъ свои часы, обрадованный внезапнымъ освобожденіемъ и въ то же время безотчетно сконфуженный. Онъ не умѣлъ разобраться въ этихъ быстрыхъ переходахъ.

— Да, вотъ... пора бы уже въ сущности. Хотѣлъ добраться въ ночи. Жаль, страшно жаль, что ты не соглашаешься! Такъ и быть, я отложилъ бы для тебя до утра.

— Спасибо, — улыбнулся Строевъ, какъ улыбаются дѣтямъ. — Тебѣ пора въ такомъ случаѣ. Желаю успѣха твоей политикѣ. А ты въ ней большой искусникъ?

— Я-то? ну, можешь себѣ это представить! — разсмѣялся добродушно Мишель. — Въ концѣ концовъ на меня всегда кто-нибудь да въ претензіи. То я выдалъ преждевременно ихъ хитроумные планы, то я нарушилъ какую-то глубокомысленную дипломатію. Плевать я хочу на все это! Слава Богу, я ничего не добиваюсь для себя, никому ножки не подставляю, ни на чье мѣсто не мѣчу, стало-быть я могу прекрасно обойтись и безъ дипломатіи.

Пріятели распрощались. Съ порога Голубинъ оглянулся и крикнулъ:

— А тебя я все-таки поручу попеченіямъ Анны!

— Ни въ какомъ случаѣ! Я прошу тебя не говорить ей ни слова обо мнѣ! — отвѣтилъ почти повелительно Строевъ.

Ольга Шапиръ.



# ЗАБЫТЫЙ ПОЭТЪ

— Стихотворенія Полежаева, съ біографическимъ очеркомъ, портретомъ и снимками съ рукописей. Подъ редакціею П. А. Ефремова. Спб. 1889 (8°, I, IV и 546 стр.).

— А. И. Полежаевъ. Собраніе сочиненій съ біографіею, портретомъ и факсимиле. М. Изданіе книгопродавца В. Н. Улитина. 1888 (8°, X, 387 и 2 стр.).

— Памяти А. И. Полежаева. 16-го января 1838—1888 гг. Біографическій очеркъ по вновь собраннымъ матеріаламъ П. А. Ефремова („Пантеонъ литературы“, 1888).

Послѣднее изданіе Полежаева, до изданій 1888 г., вышло уже тридцать лѣтъ тому назадъ; такъ мало вспоминали о немъ за послѣдніа десятилѣтія. Два явившіяся теперь изданія вызваны тѣмъ, что въ 1888 г. миновало пятидесятилѣтіе со смерти Полежаева и сочиненія его стали общою собственностью. Забвеніе выразилось и въ другомъ обстоятельстве: о Полежаевѣ рѣдко вспоминали историки литературы, говорившіе о двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ. Это объясняется прежде всего, конечно, тѣмъ, что политическая дѣятельность Полежаева, вслѣдствіе несчастной личной судьбы писателя, являлась чѣмъ-то недовершеннымъ и стояла въ сторонѣ отъ общаго хода литературы; творчество его вслѣдствіе той же причины было неровно и отрывочно, не оставило въ литературѣ прочнаго слѣда; наконецъ широкое развитіе литературныхъ интересовъ съ той поры, какъ закончилось его поприще, такъ поглотило вниманіе литературныхъ кружковъ и общества, что начинанія Полежаева остались въ тѣни. Ближайшіе современники имѣли довольно ясное понятіе объ упомянутыхъ неровностяхъ поэзіи Полежаева, объ иныхъ крупныхъ недостаткахъ его произведеній, объ исключительности его литературнаго положенія, но, несмотря на то, высоко цѣнили его дарованіе, которое сохранило свою самобытность среди обаянія Пушкинскои поэзіи. Въ

свое время, и особливо въ молодомъ поколѣннн читателей, имя Полежаева пользовалось большою извѣстностью и симпатіями, какъ вслѣдствіе печальной судьбы, постигшей поэта въ самой первой его молодости, такъ и по особеннымъ чертамъ его пылкаго, страстнаго вдохновенія. Историкъ новѣйшей русской литературы не долженъ забыть этого поэта, владѣвшаго своеобразнымъ дарованіемъ и ранняя гибель котораго не лишена знаменательности, какъ черта русскаго общественнаго быта и литературы во второй четверти столѣтія.

Бѣлинскій былъ всегда строгимъ литературнымъ критикомъ; никакая слава писателя, никакое собственное увлеченіе не оставляли Бѣлинскаго, когда онъ замѣчалъ художественные недостатки въ его произведеніяхъ; такъ онъ былъ строгъ и къ Полежаеву. Въ спеціальной статьѣ, которую Бѣлинскій посвятилъ его произведеніямъ <sup>1)</sup>, онъ прежде всего выдѣляетъ Полежаева изъ толпы современныхъ стихотворцевъ и, наблюдая въ немъ признаки паденія поэтическаго дарованія, способнаго на болѣе совершенную дѣятельность, предупреждаетъ читателя, что это паденіе не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ, что говорилось тогда объ иныхъ поэтахъ, которыми критика восхищалась и у которыхъ оказывались недостатки. Бѣлинскій самымъ рѣшительнымъ образомъ отвергаетъ возможность сравнивать Полежаева съ тѣми стихотворцами, которыми восхищалась тогдашняя рутинная критика. „Каждый вѣкъ и каждое время питаетъ свою думу о жизни, стремится къ своимъ цѣлямъ, и источникомъ всѣхъ своихъ побужденій имѣетъ единое начало; и чѣмъ поэтъ выше, тѣмъ болѣе выражается въ немъ эта дума его времени. Всякое истинное содержаніе отличается жизненностью, вслѣдствіе которой оно движется впередъ, развивается, а не стоитъ, оцѣпенѣлое, на одномъ мѣстѣ, или, подобно попугаю, не повторяетъ вѣчно одного и того же, и притомъ одними и тѣми же словами“. Такого движенія не можетъ быть у писателя, у котораго нѣтъ этого жизненнаго содержанія. „Откуда же возьмется это движеніе, эта постепенность совершенствованія, если поэтъ барабанитъ своими гладкими и звучными стихами вѣчно одно и то же, — на примѣръ: студентскія попойки, звонъ рюмокъ, хлопанье пробоекъ, дѣву красоту, у которой перси всегда полны, а сердце пусто? Тутъ можетъ быть услуга только языку и версификаціи, а отнюдь не поэзіи. И не диво, если такой стихотворецъ, ошибочно провозглашенный поэтомъ, скоро выпишется, всѣмъ надобѣтъ старыми погудками на

<sup>1)</sup> Сочиненія Бѣлинскаго, т. VI, изд. 2-е, стр. 167—192.



новый ладъ". Точно также Бѣлинскій, намекая на извѣстнаго въ свое время московскаго профессора, любившаго писать стихи, не находитъ поэзіи въ риторическихъ завитушкахъ или въ „дикомъ сближеніи несближаемыхъ предметовъ“, какъ, напримѣръ, въ извѣстныхъ стихахъ о Дантѣ: „что въ морѣ купаться, то Данта читать; его стихи упруги и полны, какъ моря упругія волны“, или въ другихъ стихотвореніяхъ, гдѣ поэтъ посовѣтуетъ юношамъ не „призывать вдохновенія на высь чела, вѣнчаннаго звѣздой“, или станетъ воспѣвать грудь, которая „высоко взметалась безпредметною любовію“; „любовь, которая гнѣздится въ ущеліяхъ сердецъ“; дѣву, которой станъ „поэтъ вносилъ въ вихрь круженія на огненной ладони“, струи времени, „возрастившія мочъ забвенія на развалинахъ любви“, и пр. „Все это не болѣе какъ дикая галиматья, которую иногда и на самомъ дѣлѣ выдаютъ намъ за полную мыслей поэзію, и которую основательная критика должна преслѣдовать огнемъ и мечомъ, какъ преступленіе противъ здраваго смысла, языка, литературы и искусства“.

О такихъ стихотворцахъ, которыхъ по ошибкѣ считаютъ поэтами, никакъ нельзя говорить, что они-де много общали, но погубили дарованіе, увлекшись звономъ риемъ, — потому что все ихъ дарованіе и заключалось въ риеменномъ звонѣ; но Бѣлинскій считаетъ возможнымъ паденіе и для талантовъ истинныхъ, въ которыхъ онъ и причисляетъ Полежаева. „Гораздо поучительнѣе паденіе такихъ поэтовъ, которые не такъ сильны, чтобы не бояться паденія, и не такъ слабы, чтобы выдохнуться незамѣтно и испариться въ болотной атмосферѣ житейской повседневности; но которые или достигаютъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, той степени развитія, что ихъ творенія дѣлаются капитальнымъ, хотя и второстепеннымъ сокровищемъ отечественной литературы; или, при неблагопріятствѣ судьбы, пролетаютъ по пути жизни блудящею кометою, являя своею жизнью и своими произведеніями зрѣлище печальное и поучительное. Таковъ былъ талантъ Полежаева“. Зрѣлище было дѣйствительно печальное и поучительное, но не совсѣмъ въ томъ отношеніи, какъ полагалъ это Бѣлинскій.

Критикъ такъ опредѣляетъ обстоятельства и причины того, что онъ называетъ паденіемъ Полежаева. Поэзія Полежаева, по словамъ Бѣлинскаго, была тѣсно связана съ его жизнью, „а жизнь его представляла грустное зрѣлище сильной природы, побѣжденной дикою необузданностью страстей, которая, совративъ его талантъ съ истиннаго направленія, не дала ему ни развиться, ни созрѣть. И потому, къ своей поэтической извѣстности, не для

всѣхъ основательной, онъ присовокупилъ другую извѣстность, которая была проклятіемъ всей его жизни, причиною ранней утраты таланта и преждевременной смерти... Это была жизнь буйнаго безумія, способнаго возбудить въ себѣ и ужасъ, и состраданіе: Полежаевъ не былъ жертвою судьбы и, *кромя самого себя*, никого не имѣлъ права обвинять въ своей гибели“.

Бѣлинскій говоритъ, что можетъ быть откровеннѣе, такъ какъ Полежаева уже нѣтъ <sup>1)</sup>; что онъ хочетъ не осуждать, а только указать поучительный примѣръ; что онъ основывается не на какихъ-нибудь сомнительныхъ свидѣтельствахъ, а на признаніяхъ самого поэта въ его произведеніяхъ. Изъ этихъ произведеній Бѣлинскій извлекъ такое опредѣленіе внутренней жизни Полежаева, давшей содержаніе его поэзіи.

„Слишкомъ рано понявъ безотчетнымъ чувствомъ, что толпа жила и держалась правилами, которыхъ смысла сама не понимала, но къ которымъ равнодушно привыкла, Полежаевъ, подобно многимъ людямъ того времени, не подумалъ, что онъ могъ и долженъ былъ уволить себя только отъ понятій и нравственности толпы, а не отъ всякихъ понятій и всякой нравственности. Освобожденіе отъ предрасудковъ онъ счелъ освобожденіемъ отъ всякой разумности, и началъ обожать эту буйную свободу. Свобода была его любимымъ словомъ, его любимую рѣчью, — и только въ минуты душевной муки понималъ онъ, что то была не свобода, а своеволие, и что наиболѣе свободный человѣкъ есть въ то же время и наиболѣе подчиненный человѣкъ. Избытокъ силъ пламенной натуры заставилъ его обожать другого, еще болѣе страшнаго идола—чувственность“... Полежаевъ не могъ обойтись и безъ идеальныхъ влеченій, но онѣ приходили уже слишкомъ поздно. Бѣлинскій приводитъ нѣсколько примѣровъ этого запоздалаго стремленія въ область чистаго чувства и идеала. „Онъ имѣлъ право, не клеветая на самого себя для краснаго слова, сказать красавицѣ, не сводившей съ него задумчивыхъ очей и припадавшей къ нему на грудь въ порывахъ забвенія:

Ты ничего въ меня вдохнуть  
Не можешь, кромѣ сожалѣнья!  
Меня не въ силахъ воскресить  
Твои горячія лобзанья,  
Я не могу тебя любить,  
Не для меня очарованья!  
.....  
Я рано сорвалъ жизни цвѣтъ;  
.....

<sup>1)</sup> Писано въ 1842 году; Полежаевъ умеръ въ 1833.

И прежнихъ чувствъ, и прежнихъ лѣтъ  
 Не возвратитъ ничто земное!  
 Еще мнѣ милы—красота  
 И дѣвы пламенные взоры;  
 Но сердце мучить пустота,  
 А совѣсть—мрачные укоры!  
 Люби другого: быть твоимъ  
 Я не могу, о другъ мой милый!..  
 Ахъ, какъ ужасно быть живымъ,  
 Полуразрушась надъ могилой!

Онъ приводитъ дальше другое интересное и глубокое стихотвореніе:

О, грустно мнѣ! Вся жизнь моя—гроза!  
 Наскучилъ я обителю земною!  
 Зачѣмъ же вы горите предо мною,  
 Какъ райскіе лучи предъ сатаною,  
 Вы—черные волшебнице глаза!  
 Увы! давно печаленъ, равнодушень,  
 Я привыкалъ къ лихой моей судьбѣ;  
 Неистовый, безжалостный къ себѣ,  
 Презрѣлъ ее въ отчаянной борьбѣ  
 И гордо былъ несчастію послушенъ! и т. д.

Но эти идеальные порывы были для поэта не вѣстникомъ радости, а вѣстникомъ гибели всѣхъ надеждъ: „поэтъ не воскресъ, —говоритъ Бѣлинскій,—а только пошевелился въ гробѣ своего отчаянія; солнечный лучъ поздно упалъ на поблекшій цвѣтъ его души“; стихотвореніе, внушенное ему этимъ чистымъ, мелькнувшимъ для него чувствомъ, стало не гимномъ торжества, а страшною похоронною пѣсней самому себѣ. Бѣлинскій замѣчалъ, что самая форма этого стихотворенія, неясная и неровная, отражаетъ въ себѣ неопредѣленную смутность настроенія. „За сильнымъ началомъ, остальная половина этой поэтической исповѣди,—говоритъ Бѣлинскій,—остальная половина этого стихотворенія отличается тою хаотическою неопредѣленностью, въ какую погрузило душу поэта его полувозрожденіе; и какъ ничего положительнаго не могло выйти изъ новаго состоянія души поэта, такъ ничего не вышло и изъ стихотворенія, въ которомъ онъ слился его выразить. Эта неопредѣленность отразилась и въ стихахъ; стихъ, доселѣ поэтический, даже крѣпкій и сжатый, становится прозаическимъ, вялымъ и растянутымъ, и только мѣстами свергаетъ прежнимъ огнемъ, какъ угасающій вулканъ; цѣлые куплеты ничего не заключаютъ въ себѣ, кромѣ словъ, въ которыхъ видно одно тщетное усиліе что-то сказать. Можно догадываться изъ этихъ стиховъ, что душа поэта пережила его тѣло“.

Несмотря на то, что поэзія Полежаева представлялась такимъ образомъ Бѣлинскому однимъ порывомъ сильнаго дарованія, который подорванъ былъ по винѣ самого поэта неустойчивостью его нравственнаго содержанія, онъ имѣлъ объ этомъ талантѣ очень высокое представленіе. Дальше мы приведемъ его общую оцѣнку таланта Полежаева, въ которомъ онъ угадывалъ нѣчто весьма своеобразное и самостоятельное, и остановимся теперь на той сторонѣ этого поэтическаго явленія, котораго знаменитый критикъ коснулся очень мало. Самъ онъ замѣчалъ, что поэзія Полежаева тѣсно связана съ его жизнью, но не развила этого положенія, какъ оно того заслуживало. Бѣлинскій, рассматривая произведенія Полежаева съ чисто художественной точки зрѣнія, коснулся этой „жизни“ лишь настолько, чтобы извлечь изъ нея одно общее и, въ сущности, довольно неопредѣленное представленіе о страстяхъ и „буйномъ безуміи“, погубившихъ поэта. Какія были эти страсти, какими обстоятельствами обружена была жизнь Полежаева во всю ту пору, которая должна была быть періодомъ его молодой, свѣжей дѣятельности, объ этомъ Бѣлинскій умалчиваетъ. Нѣтъ сомнѣнія, что Бѣлинскій, который былъ ближайшимъ современникомъ Полежаева, долженъ былъ хорошо знать преданія, оставшіяся о немъ въ томъ самомъ московскомъ университетѣ, и знать всѣ подробности бѣдствія, которое постигло Полежаева при первомъ вступленіи въ жизнь; тѣмъ не менѣе это бѣдствіе, разрушавшее безвозвратно всю личную жизнь Полежаева, какъ будто осталось для Бѣлинскаго фактомъ безразличнымъ и, по его заключенію, Полежаевъ вовсе не былъ жертвою судьбы и кромѣ самого себя никого не могъ винить въ своей гибели. Но исторически это дѣло должно, кажется, представиться иначе.

Біографія Полежаева никогда не была рассказана достаточно обстоятельно, и до сихъ поръ въ нѣкоторыхъ пунктахъ остается неясной. Въ свое время о ней трудно было говорить по чисто внѣшнимъ обстоятельствамъ; только впоследствии явились объ ней случайныя упоминанія въ мемуарахъ одного современника. По смерти поэта изъ людей, ближе его знавшихъ, не нашлось никого, кто бы собралъ и сохранилъ факты его внѣшней біографіи и рассказалъ о той внутренней жизни, которая дала содержаніе его порывистой и мрачной поэзіи. Лишь въ послѣдніе годы явилось одно прекрасное исключеніе—въ воспоминаніяхъ г-жи Бибиковой, которая (въ тридцатыхъ годахъ) видала близко Полежаева въ теченіе нѣсколькихъ дней въ первую пору своей молодости и года за три до смерти самого поэта. Первая болѣе или менѣе обстоятельная біографія Полежаева составлена теперь

г. Ефремовымъ при послѣднемъ изданіи его сочиненій, составляющимъ лучшее ихъ изданіе. Мы воспользуемся изъ этой біографіи нѣсколькими характерными чертами, дополняя ихъ тѣмъ, что представляютъ автобіографическаго самаго произведенія Полежаева <sup>1)</sup>.

Александръ Ивановичъ Полежаевъ родился въ 1805 году. Отецъ его былъ помѣщикъ пензенской губерніи Леонтій Николаевичъ Струйскій; мать — крѣпостная этого помѣщика, выданная впоследствии замужъ за мѣшанина Полежаева, отъ котораго поэтъ и получилъ свое имя. Что былъ за человекъ Струйскій — мало извѣстно; онъ былъ сынъ извѣстнаго въ Екатерининскія времена богатаго помѣщика въ тѣхъ же мѣстахъ, любителя литературы и стихотворца, который для напечатанія своихъ произведеній устроилъ даже въ своемъ имѣніи типографію. Послѣ него имѣніе раздробилось, такъ что отецъ Полежаева уже не былъ такъ богатъ, но повидимому имѣлъ все-таки независимое состояніе. Мать Полежаева, какъ говорятъ, была выдана замужъ по семейнымъ интригамъ, противъ воли самого Струйскаго, на котораго это произвело крайне тяжелое впечатлѣніе, между прочимъ потому, что отняло у него возможность узаконить своихъ дѣтей; у Полежаева была еще сестра. Этому обстоятельству приписываютъ то, что Струйскій съ тѣхъ поръ предался разнымъ излишествамъ и, наконецъ, по настоянію Сперанскаго, бывшаго тогда пензенскимъ губернаторомъ, сосланъ былъ на поселеніе въ Тобольскъ. Г. Ефремовъ предполагаетъ, что именно къ Струйскому относится показаніе въ біографіи Сперанскаго (барона Корфа), что, между прочимъ, во время пребыванія въ Пензѣ Сперанскій присудилъ одного тамошняго помѣщика къ ссылке въ Сибирь за жестокое обращеніе съ крестьянами. Уѣзжая въ Сибирь, Струйскій поручилъ дѣтей попеченію своихъ родныхъ.

Самъ Полежаевъ впоследствии съ любовью вспоминалъ о своемъ отцѣ; ему посвящено нѣсколько теплыхъ словъ въ стихотвореніи „Арестантъ“, написанномъ въ концѣ 1820-хъ годовъ. Рассказывая о своей ужасной судьбѣ, о своемъ нравственномъ паденіи, Полежаевъ вспоминаетъ отца:

<sup>1)</sup> Что касается двухъ вышедшихъ теперь изданій Полежаева, лучшее безспорно то, которое приготовлено г. Ефремовымъ. Изданіе Улитана весьма небрежно по тексту и лишено объяснительнаго матеріала. Въ изданіи г. Ефремова помѣщена, во-первыхъ, обширная статья, представляющая первую, сколько было возможно обстоятельную біографію Полежаева; во-вторыхъ, текстъ исправленъ по прежнимъ изданіямъ и дополненъ по рукописямъ; въ концѣ присоединены бібліографическія замѣчанія объ отдѣльныхъ стихотвореніяхъ. Наконецъ, при изданіи г. Ефремова помѣщенъ портретъ, повторенный съ подлинной современной акварели и который, безъ сомнѣнія, достоинъ рѣше плохихъ портретовъ, помѣщавшихся въ прежнихъ изданіяхъ Полежаева.

А ты, примѣрный человѣкъ,  
 Душа высокой образецъ,  
 Мой благодѣтель и отецъ,  
 О Струйскій, можешь ли когда  
 Добычу гнѣва и стыда —  
 Пѣвца преступнаго простить?..  
 Неблагодарный изъ людей,  
 Какъ погибающій злодѣй  
 Передъ свѣрой роковой,  
 Теперь стою передъ тобой:  
 Мятажный вѣкъ свой погубя,  
 Въ слезахъ раскаянья тебя  
 Я умоляю. . . . .  
 . . . . . Еще моимъ отцомъ  
 Хочу назвать тебя... зову..  
 И на покорную главу,  
 За преступленія мои,  
 Прошу прощенія любви..  
 Прости меня—моя вина  
 Ужасной местию отмщена! <sup>1)</sup>

Повидимому, Полежаевъ иначе относился въ Струйскому въ то время, когда, будучи въ университетѣ, писалъ свою шутиливую поэму „Сашка“, съ которой начались его несчастія <sup>2)</sup>.

Воспитаніе мальчика, судя по автобиографическимъ воспоминаніямъ въ той же поэмѣ, было совершенно заброшено, какъ это нерѣдко бывало въ тогдашнемъ деревенскомъ помѣщичьемъ быту и какъ особливо могло быть въ ненормальной домашней обстановкѣ Полежаева. Это воспитаніе предоставлено было лакею изъ отцовской дворни, отъ котораго мальчикъ заимствовалъ первую испорченность. Вотъ подробность изъ той же поэмы:

<sup>1)</sup> Изд. Ефремова, стр. 66.

<sup>2)</sup> Быть можетъ, въ Пензѣ городишка  
 Несноснѣе Саранска нѣтъ —  
 Подъ нимъ есть малое селишко,  
 И тамъ мой другъ увидѣлъ свѣтъ..  
 . . . . .  
 Нельзя сказать, чтобы богато  
 Или бѣдно жилъ его отецъ,  
 Но все довольно таровато,  
 И промотался наконецъ.  
 Но это прочь.. Отцу быть можно  
 Такимъ, сякимъ и разсякимъ,  
 Намъ говорить о снѣгъ должно.

(Изд. Ефремова, стр. 447.)

Пропустимъ также, что родитель  
Его до крайности любилъ,  
И первый Сашеньки учитель  
Лакей изъ дворни его былъ.  
Пропустимъ, что сей менторъ славный  
Былъ и въ французскомъ Соломонъ  
И что дитя болталъ исправно  
Весь сквернословья лексиконъ.  
Пропустимъ, что на балабайкѣ  
Въ шесть лѣтъ онъ „барыню“ игралъ,  
И что въ . . . , бабкахъ, свайкѣ  
Онъ кучерамъ не уступалъ <sup>1)</sup>.

По указанію Полежаева, десяти лѣтъ онъ былъ отправленъ въ Москву въ модный тогда пансіонъ Визара. Какъ онъ тамъ учился, неизвѣстно.

Я думаю, что всѣмъ извѣстно,  
Что значить модный пансіонъ.  
Итакъ, немногимъ будетъ лестно  
Узнать, чему учился онъ <sup>2)</sup>.  
Должно быть, кой-чему учился,  
Иль выучилъ онъ на алтынъ,  
Когда достойнымъ учинился  
Носить студента знатный чинъ.

Но вслѣдъ затѣмъ поэту вспоминается Гёттингенъ, Вильно и Оксфордъ, гдѣ „не можетъ колокольный звонарь на левціи сидѣть“ (т. е. быть профессоромъ) и гдѣ „не вздумаетъ мальчишка шипѣть, надувшись: я студентъ!“, гдѣ „студентъ есть мужъ почтенный, а не паршивецъ, не пошлякъ“ и т. д. <sup>3)</sup>. Слѣдуютъ въ подлинникѣ другія, еще менѣе благоприятныя сопоставленія, которыхъ мы не находимъ въ печати.

Картина воспитанія получается весьма тяжелая. Съ дѣтства мальчикъ, несмотря на любовь къ нему отца, былъ заброшенъ; въ пошлой обстановкѣ чувство должно было огрубѣть, воображеніе загрязниться; модный пансіонъ, повидимому, не устранилъ недостатковъ первоначальнаго „воспитанія“, а можетъ быть еще развилъ ихъ; университетъ, кажется, далъ также не много.

Въ архивѣ московскаго университета нашлось прошеніе „уволненнаго изъ мѣщанства“ Александра Полежаева о допущеніи къ слушанію лекцій, поданное въ сентябрѣ 1820 года. Онъ выдержалъ экзаменъ и въ октябрѣ былъ принятъ вольнымъ слу-

<sup>1)</sup> Стр. 448.

<sup>2)</sup> Т. е., герой поэмы.

<sup>3)</sup> Стр. 449—450.

пателемъ. Въ октябрѣ слѣдующаго года Полежаеву пришлось подавать прошеніе объ увольненіи изъ университета „по встрѣтившимся обстоятельствамъ“, — какъ полагаетъ г. Ефремовъ, вслѣдствіе неприсылки денегъ отъ родныхъ; но уже черезъ нѣсколько дней Полежаевъ снова проситъ о зачисленіи его въ университетъ, такъ какъ обстоятельства, которыя передъ тѣмъ „противъ его воли“ принуждали его покинуть университетъ, теперь измѣнились.

Московскій университетъ того времени, — до тридцатыхъ годовъ, когда вступилъ въ него цѣлый кружокъ талантливыхъ и преданныхъ наукъ профессоровъ, впервые доставившихъ ему высокое научное и общественное значеніе, — былъ въ очень жалкомъ положеніи. За очень рѣдкими исключеніями, гдѣ проявлялась съ извѣстнымъ достоинствомъ специальная наука, „словесное отдѣленіе“ (нынѣшній филологическій факультетъ) жило сухой, отсталой схоластикой, представители которой были для слушателей только предметомъ насмѣшекъ. Молодое поколѣніе не находило здѣсь руководства, въ которомъ такъ нуждается и которое, при другихъ, лучшихъ условіяхъ, приноситъ столько высокаго и благороднаго возбужденія; оно предоставлялось самому себѣ и вліяніямъ окружающей среды, которыя могли бывать, и для Полежаева вѣроятно были, не весьма полезны.

Въ той же автобіографической поэмѣ Полежаевъ даетъ понятіе о томъ, какъ складывались его учебные годы; въ рассказѣ есть извѣстная стихотворная неопредѣленность, но несмотря на нее можно замѣтить, какъ — очевидно, внѣ и независимо отъ профессорскихъ лекцій — мысль начинала работать и возникало отрицательное отношеніе къ окружающему.

Въ упомянутомъ выше сравненіи съ Гёттингеномъ и Оксфордомъ, Полежаевъ продолжаетъ:

Не ректоръ духомъ вашимъ <sup>1)</sup> править—  
 Природный умъ вамъ кажется путь,  
 И онъ вамъ честь и чинъ доставить,  
 А не: „нельзя ли какъ-нибудь“.  
 Но ты, воинными брадами  
 Длншь пресловутая земля,  
 . . . . .  
 . . . . .  
 Когда тебѣ настанетъ время  
 Очнуться въ дикости своей?..

Предаваясь молодому веселью, поэтъ размышляетъ:

<sup>1)</sup> Духомъ студентовъ благоустроеннаго университета.



Пусть смотритъ Гераклитъ унылый  
 Съ улыбкой жалкой на тебя,  
 Но ты блаженъ, о другъ мой милый,  
 Забывъ въ весельи самъ себя.  
 Отринемъ, свергнемъ съ себя бремя  
 Старинныхъ умственныхъ цѣпей,  
 Которыхъ гибельное время  
 Еще падить до нашихъ дней.

Хорошъ философъ былъ Сенека;  
 Еще умнѣй—Платонъ мудрецъ;  
 Но черезъ два или три вѣка  
 Они, ей-ей, не образецъ.  
 И въ тѣхъ, и въ новыхъ шарлатанахъ  
 Лишь сборъ наглостей однихъ;  
 Да и весь свѣтъ нашъ на обманахъ  
 Или духовныхъ, яль мірскихъ...

Во время ученья въ пансіонѣ, герой поэмы —

Вой въ чемъ довольно успѣвалъ.  
 Могъ изъясняться по-французски  
 И по-нѣмецки лепетать,  
 А что касается по-русски,—  
 То даже ризмы сталъ кропать.

Хоть математикѣ учиться  
 Охоты вовсе не имѣлъ,  
 Но поколоться, порубиться  
 Съ лихимъ гусаромъ не робѣлъ.  
 Онъ зналъ науки и другія,  
 Но это болѣе любилъ...  
 Ну, вѣдь нельзя-жъ, друзья драгіе,  
 Сказать, чтобъ онъ невѣжда былъ!  
 Притомъ же, правду-матку молвить,  
 Умомъ—не то, что не ученъ...

Итакъ, университетъ того времени далъ немного, и едва ли не имъ внушена эта мысль о разницѣ между ученостью и умомъ. Учености герой поэмы не приобрѣлъ, но въ средѣ молодежи, какъ видно, шла своя жизнь и своя работа мысли; въ этой работѣ она не имѣла здраваго руководства, и не мудрено, что, сталкиваясь, безъ оружія опыта, съ окружающимъ бытомъ, она приходила къ смѣлымъ рѣшеніямъ, къ крайностямъ отрицанія и, наконецъ, къ крайностямъ разсѣянной жизни. Герой поэмы, молодой студентъ, рисуется за это время въ такомъ портретѣ:

Черты характера его:  
 Свобода въ мысляхъ и поступкахъ,

Не знать судьбу нивого,  
 Ни подчиненности трусливой,  
 Ни лицемерія ханжей  
 (О, жажда вольности строитивой  
 И необузданность страстей!),  
 Судить рѣшительно и смѣло  
 Умомъ своимъ о всѣхъ вещахъ,  
 И къ фарисеямъ въ хомутахъ  
 Горѣть враждой закоренѣлой.

.....  
 Я для того распространяюсь  
 О столь существенныхъ вещахъ,  
 Что Сашу выказать стараюсь,  
 Какъ самого, во всѣхъ мѣстахъ;  
 Чтобъ знали всѣ его какъ должно,  
 Съ сторонъ—хорошей и худой...  
 Конечно, многимъ не по вкусу  
 Таковой удалый сорванецъ,

.....  
 А, право, добрый молодецъ.

Вотъ все, чему онъ научился—  
 Свидѣтель университета!

Относясь отрицательно къ господствующимъ нравамъ и обычаямъ и не стѣсняясь ихъ условіями и моралью, герой поэмы отдался молодымъ страстямъ. Передъ тѣмъ авторъ показалъ уже его читателю въ трактирномъ кутежѣ.

Теперь, какими же судьбами,  
 Меня вы спросите опять,  
 Сидитъ въ трактирѣ онъ...  
 Извольте слушать и молчать.  
 Рожденный пылкимъ отъ природы,  
 Не долго былъ онъ средъ озовъ.  
 Искалъ онъ буйственной свободы—  
 И сталъ свободнымъ...

Какъ вихрь или вонь мятежный въ полѣ  
 Лететь, въ свирѣпости своей,  
 Такъ въ первый разъ его на волю  
 Узрѣлъ я въ пламени страстей.  
 Ни вы—театры, маскарады,  
 Ни дамъ московскихъ лучшій двѣтъ,  
 Ни петиметрскіе наряды  
 Не были думъ его предметъ.  
 Нѣтъ, не такихъ мой Саша правилъ:  
 Онъ не былъ отъ роду бонтономъ,  
 И не туда совсѣмъ направилъ  
 Полетъ орлиный, быстрый онъ.

Туда, гдѣ шумное веселье  
 Въ рожѣ неистовыхъ кипитъ,  
 Отколь все свѣта принужденье  
 И скромность ложная бѣжитъ;  
 Туда, гдѣ Бакусъ полуобнаженный  
 Объ руку съ Момусомъ сидитъ  
 И съ сладострастною Діаной,  
 Развѣжась, юноша шалитъ;  
 Туда, туда всегда стремились  
 Всѣ мысли друга моего,  
 И Вакхъ, и Момусъ веселились,  
 Принявъ въ товарищи его.

Въ его пирахъ не проливались  
 Ни Донъ, ни Рейнъ и ни Токай:  
 Но сильно, сильно разливались  
 Иль пуншъ, иль грозный сидодай.  
 Ахъ, время, времечко лихое! и т. д. <sup>1)</sup>.

Остановимся на этомъ эпизодѣ: дальнѣйшее изложеніе поэмы занято картинами кутежей героя и его пріятелей, въ самой грубой обстановкѣ и со всѣми излишествами.

Дальнѣйшихъ свѣдѣній о пребываніи Полежаева въ университетѣ, гдѣ онъ пробылъ до 1826 года, мы не имѣемъ. Еще находясь въ университетѣ, онъ началъ свое литературное поприще переводомъ изъ Макферсона („Морни и тѣнь Кормала“) и собственнымъ стихотвореніемъ („Непостоянство“), которые явились въ концѣ 1825 года въ „Вѣстникѣ Европы“ Каченовскаго. Затѣмъ, въ VI книгѣ „Чтеній“ московскаго общества любителей россійской словесности напечатанъ былъ переводъ поэмы Байрона „Оскаръ Альвскій“: переводъ читанъ былъ въ засѣданіи общества въ февралѣ 1826 года, и Полежаевъ избранъ былъ въ членъ-сотрудники общества. Наконецъ, въ числѣ первыхъ печатныхъ трудовъ его были переводныя стихотворенія въ альманахѣ Погодина „Уранія“ (1826) и въ „Вѣстникѣ Европы“; это были въ особенности переводы изъ моднаго тогда Ламартина, а также и нѣсколько его собственныхъ стихотвореній. Впослѣдствіи Бѣлинскій приписывалъ этотъ выборъ неразвитости молодого Полежаева, но г. Ефремовъ замѣчаетъ, что, по словамъ Шевырева, Ламартина „за его увлекательный слогъ“ особенно любилъ извѣстный И. И. Давыдовъ, у котораго Полежаевъ слушалъ тогда лекціи латинской словесности и философіи, и что переводы изъ этого поэта провозили вѣроятно по указаніямъ профессора. Что универси-

<sup>1)</sup> Изд. Ефремова, стр. 449—455.

тетское начальство обратило тогда вниманіе на дарованіе Полежаева, видно изъ того, что къ торжественному акту 12-го января 1826 Полежаеву поручено было написать и прочесть оду „Въ память благотвореній Александра I императорскому московскому университету“, въ то же время напечатанную въ изданныхъ университетомъ „Рѣчахъ и стихахъ“, а на выпускномъ актѣ 3 іюля 1826 Полежаевъ, опять по назначенію начальства, прочелъ свое стихотвореніе „Геній“<sup>1)</sup>.

Но Полежаеву не удалось кончить курсъ и вступить правильно въ жизнь. Съ нимъ случилась неожиданная бѣда.

Въ концѣ курса,—разсказываетъ г. Ефремовъ,—Полежаевъ написалъ шуточную поэму, въ которой пародировалъ явившееся тогда начало „Евгенія Онѣгина“, подъ названіемъ „Сапка“ (или „Сапа“), съ ясными намеками, что здѣсь описаны его кутежи и походы съ товарищами. По замѣчанію біографа, кутежи университетской молодежи, о которыхъ не мало писано въ мемуарахъ студентовъ тридцатыхъ годовъ, были не скромнѣе Полежаевскихъ, но только скромнѣе описаны, между тѣмъ какъ Полежаевъ, писавшій вовсе не для печати, а для своихъ пріятелей, не стѣснялся въ разсказѣ и, напротивъ, „старался положить краски гуще, выставить безобразія рельефнѣе, такъ сказать, похвастаться ими, причѣмъ перешелъ всякую мѣру“ и просто „всклепалъ“ на себя и пріятелей много безобразныхъ вещей, которыхъ въ дѣйствительности не совершалъ, такъ что относить къ Полежаеву все сказанное о „Сапкѣ“ болѣе чѣмъ навѣрно. Въ подтвержденіе этого послѣдняго г. Ефремовъ указываетъ то, что министръ народнаго просвѣщенія далъ императору Николаю Павловичу отзывъ о „превосходнѣйшемъ поведеніи“ Полежаева (хотя весьма возможно, что этотъ отзывъ былъ сдѣланъ наугадъ и изъ челолюбія), и что изъ пріятелей Полежаева, названныхъ въ поэмѣ, никто не былъ даже привлеченъ къ отвѣту. Съ другой стороны, біографъ справедливо замѣчаетъ, что кромѣ двухъ-трехъ строфъ (или даже двухъ-трехъ стиховъ), дѣйствительно рѣзкихъ въ политическомъ отношеніи и очень нескромныхъ, самое содержаніе поэмы далеко не такъ исполнено цинизма, какъ подобныя произведенія Лермонтова („Петергофскій правдивъ“, „Госпиталь“, „Уланша“) или известная атеистическая поэма молодыхъ лѣтъ Пушкина. „Между тѣмъ эта юношеская, заносчивая похвальба не только разбѣла всю жизнь Полежаева, но, съ легкой руки Бѣлинскаго, дала поводъ всѣмъ послѣдующимъ біографамъ

<sup>1)</sup> Ода и это стихотвореніе въ изд. Ефремова, стр. 412—423.

утверждать, что Полежаевъ самъ былъ причиною своей гибели, самъ заслужилъ свой жребій. Не такое преступленіе эта „поэма“, чтобы всю послѣдующую затѣмъ обстановку жизни Полежаева ставить въ вину только ему самому“...

Это справедливо. Во-первыхъ, какъ бы ни заслуживала осужденія та нездоровая распущенность, какую мы видимъ у Полежаева, нельзя не обратить вниманіе на то, что она не была только его личнымъ дурнымъ инстинктомъ: это была черта нравовъ. Довольно вспомнить, что еще гораздо дальше его шли на этомъ пути первостепенные умы и дарованія, какъ Пушкинъ и Лермонтовъ. Было очень жаль, разумѣется, что молодыя силы ума, чувства, воображенія тратились на недостойное содержаніе; но всѣ эти юноши не были изобрѣтателями этого направленія: глубокой корень его лежалъ въ характеръ цѣлаго общества, въ средѣ котораго они выросли; это была культурная и общественная неразвитость, которая отражалась порчей на нравахъ. Молодежь всегда имѣетъ свои увлеченія, которыя при неблагоприятныхъ обстоятельствахъ легко переходятъ въ крайность, а здѣсь этихъ неблагоприятныхъ обстоятельствъ было слишкомъ много. Было слишкомъ мало образованія и слишкомъ мало простора для живой мысли и общественнаго интереса, чтобы развивался тотъ возвышенный идеализмъ, который направляетъ молодыя поколѣнія къ благороднымъ стремленіямъ нравственнымъ и общественнымъ, и который бывалъ у насъ вообще такъ рѣдокъ, ограничиваясь всегда только тѣснымъ кругомъ возрастающихъ поколѣній. Съ другой стороны, вся форма общественнаго быта и въ частности крѣпостное право, опредѣлявшее нравы „привилегированнаго“ сословія, всего чаще были только дурной школой для воспитанія нравовъ. Достаточно извѣстно и излишне еще разъ объяснять, что въ особенности подъ этими именно вліяніями развивались старинныя формы общезжитія, гдѣ такую роль играли произволъ, насиліе и всякіе виды необузданнаго самодурства. Лучшие люди съ дѣтства воспринимали эти злокачественные элементы, которые они послѣ только съ трудомъ побѣждали въ себѣ силою сознанія, и которые иногда до конца оставались ихъ свойствомъ подъ вѣшнимъ лоскомъ образованія. Вспомнимъ много разъ изображенныя въ нашей литературѣ типы крѣпостниковъ съ европейскими либеральными замашками и утонченными свѣтскими манерами. Въ тѣ времена, въ первой четверти столѣтія, къ этимъ нравамъ присоединялись другіе — нравы милитарные: они были модой и образцомъ; Пушкинъ и Лермонтовъ увлекались необузданностью, господствовавшей въ этихъ нравахъ, и думали, что,

подражая ей, они достигаютъ чего-то недоступнаго простымъ смертнымъ, что на почвѣ разгула и „шалостей“ въ родѣ тѣхъ, какія описываетъ Полежаевъ въ своей поэмѣ, они находятъ свободное проявленіе своей личности или заявляютъ свое превосходство надъ пренебрегаемымъ обществомъ... Напомнимъ опять въ литературѣ нѣкоторыя (далеко не полныя) выраженія такого идеала милитарныхъ нравовъ въ популярныхъ нѣкогда стихотвореніяхъ Дениса Давыдова. Намѣченные черты общественнаго быта естественно отражались на университетской молодежи: сама наука въ ея тогдашнихъ святилищахъ была еще такъ слаба, что ею увлекались только немногіе; ученый персоналъ ея жрецовъ въ большинствѣ случаевъ не только не могъ внушить стремленія въ ней, но часто вызывалъ только насмѣшки адептовъ, успѣвавшихъ поддѣлать ихъ научное, а иногда и нравственное ничтожество. Довольно естественно, что молодыя силы, не получавшія здоровыхъ умственныхъ или идеалистическихъ возбужденій, бросались въ тѣ крайности, образчикомъ которыхъ можетъ служить Полежаевъ, и раньше его Пушкинъ, а позже Лермонтовъ.

Существованіе этихъ нравовъ было очень хорошо извѣстно въ свое время; могло быть извѣстно и другое,—что излишества въ рѣчахъ и поступкахъ проходить съ молодостью, что юношу было бы слишкомъ жестоко судить какъ взрослога, какъ преднамѣреннаго и неисправимаго преступника. Едва ли можно сомнѣваться, что Полежаевъ скоро самъ отказался бы отъ тѣхъ излишествъ, которыя были только дѣломъ молодого хвастливаго задора. Къ сожалѣнію, время было суровое: только-что оканчивался судъ надъ участниками 14-го декабря, и нашлись люди, которые донесли императору Николаю о Полежаевѣ, какъ опасномъ человѣкѣ. Судьба его была этимъ рѣшена.

Приводимъ разсказъ біографа, взятый изъ записокъ современника.

Тетрадка со стихами, которые читались, конечно, только въ тѣсномъ кружкѣ товарищей, попала въ постороннія руки<sup>1)</sup> и затѣмъ, восходя все выше и выше, была представлена императору Николаю, прибывшему тогда для коронаванія въ Москву.

<sup>1)</sup> ...И друзья—злѣдѣи скрытные—  
Злобно предали меня!  
Подъ эгидою ласкательства,  
Подъ личиною любви,  
Роковой кинжалъ предательства  
Потонулъ въ моей крови...

(Въ стихотвореніи „Негодование“ 1834 г., изд. Ефремова, стр. 164.)

И вотъ въ одну ночь, часа въ три, — рассказываетъ современникъ со словъ самого Полежаева, — ректоръ Прокоповичъ-Антонскій будить Полежаева, велить одѣться въ мундиръ и сойти въ правленіе. Тамъ его ждалъ попечитель Оболенскій. Осмотрѣвъ, всё ли пуговицы на его мундирѣ и нѣтъ ли лиш-нихъ, онъ безъ всякаго объясненія пригласилъ Полежаева въ свою карету и увезъ. Привезъ онъ его къ министру народнаго просвѣщенія (А. С. Шипкову). Министръ сажаетъ Полежаева въ свою карету и тоже везетъ, но на этотъ разъ ужъ прямо къ государю. Министръ оставилъ Полежаева въ залѣ, гдѣ дож-дались нѣсколько придворныхъ и другихъ высшихъ чиновниковъ, несмотря на то, что былъ шестой часъ утра, и пошелъ во внутреннія комнаты. Придворные вообразили, что молодой чело-вѣкъ чѣмъ-нибудь отличился, и тотчасъ вступили съ нимъ въ разговоръ. Какой-то сенаторъ предложилъ ему давать уроки сыну.

Полежаева поввали въ кабинетъ. Государь стоялъ, опершись на бюро, и говорилъ съ министромъ. Онъ бросилъ на вошедшаго испытующій взглядъ; въ рукѣ у него была тетрадь. „Ты ли, — спросилъ онъ, — сочинилъ эти стихи?“ — „Я“, отвѣчалъ Полежаевъ. „Вотъ, — продолжалъ государь (обратившись къ министру), — вотъ я вамъ дамъ образчикъ университетскаго воспитанія, я вамъ покажу, чему учатся тамъ молодые люди. Читай эту тетрадь вслухъ!“ прибавилъ онъ, обращаясь снова къ Полежаеву. — Волненіе Поле-жаева было такъ сильно, что онъ не могъ читать. Взглядъ госу-даря неподвижно остановился на немъ. „Я не могу“, сказала Полежаевъ. „Читай“. Это воротило ему силу. — Никогда, говорилъ онъ, я не видывалъ „Сашку“ такъ переписаннаго и на такой славной бумагѣ.

Сначала ему трудно было читать, потомъ, одушевляясь болѣе и болѣе, онъ громко и живо дочиталъ поэму до конца. Въ мѣ-стахъ особенно рѣзкихъ государь дѣлалъ министру знакъ рукой. Министръ закрывалъ глаза отъ ужаса.

„Что скажете?“ спросилъ государь при окончаніи чтенія. „Я положу предѣлъ этому разврату; это все еще слѣды, послѣд-ніе остатки: я ихъ искореню. Какого онъ поведенія?“ Министръ, разумѣется, не зналъ его поведенія, но въ немъ проснулось что-то челоувѣческое, и онъ сказалъ: „Превосходнѣйшаго поведе-нія, ваше величество!“ — „Этотъ отзывъ тебя спасъ, но наказанъ тебѣ надобно для примѣра другимъ. Хочешь въ военную службу?“ Полежаевъ молчалъ. „Я тебѣ даю военной службой средство очиститься. Что же, хочешь?“ — „Я долженъ повиноваться“, отвѣ-

чалъ Полежаевъ. Государь подошелъ къ нему, положилъ руку на плечо и, сказавъ: „отъ тебя зависитъ твоя судьба; если я забуду, то можешь мнѣ писать“, поцѣловалъ его въ лобъ.

Полежаева отвели къ Дибичу, который жилъ тутъ же во дворцѣ, а затѣмъ отправили въ лагерь. 4-го августа 1826 онъ былъ зачисленъ въ бутырскаго полка унтеръ-офицеромъ, причемъ признано было за нимъ приобретенное по образованію право на чинъ XII класса, и въ послужномъ спискѣ отмѣчено: „Россійской грамотѣ, читать, писать, ариметикѣ, языкамъ: греческому, французскому, латинскому и нѣмецкому знаетъ“.

Въ тѣ времена военная служба была привилегированная, модная, а виѣсть съ тѣмъ считалась (въ нижнихъ чинахъ) наказаніемъ и панацеей на такіе случаи, каковъ былъ случай Полежаева. Но въ примѣненіи къ нему это была настоящая казнь. Съ перваго года „службы“ и до конца жизни Полежаева, цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ, это былъ для него постоянный источникъ физическихъ и нравственныхъ страданій, которыя съ этихъ поръ стали всепоглощающей, почти единственной темою его лирики. Дальше мы приведемъ примѣры.

Полежаевъ былъ юноша 21 года, когда обрушилось на него это несчастіе. Видимо, онъ былъ подавленъ своимъ положеніемъ. „Полежаевъ,—разсказываетъ его биографъ,—попавшій въ совершенно чужую ему среду новыхъ товарищей унтеръ-офицеровъ, достигшихъ этого званія послѣ многолѣтней службы рядовыми, окончательно выбитый изъ колеи своей прежней жизни, не могъ примириться съ крайне тяжелымъ, невыносимымъ положеніемъ, еще болѣе усложнявшимся постигнутою его карою, особенно въ такое время, когда со стороны начальства не допускалось ни малѣйшаго послабленія политическому преступнику, и когда всѣ, даже близкіе родные и знакомые, сторонились отъ такого несчастливца, какъ отъ зачумленнаго. Желая найти какой-нибудь исходъ и пользуясь дарованнымъ ему правомъ писать къ государю, Полежаевъ рѣшился послать ему просьбу о помилованіи или объ улучшеніи своей участи; но отвѣта на это не послѣдовало, равно какъ и на нѣсколько прошеній, имъ поданныхъ. Полагая, что просьбы его не доходятъ до государя, Полежаевъ задумалъ лично прибѣгнуть къ нему и, не сообразивъ всей тяжести своего поступка и страшной за него отвѣтственности, самовольно оставилъ полкъ и отправился пѣшкомъ въ Петербургъ; но, вѣроятно одумавшись, вернулся съ дороги и явился къ своему начальству.

„Въ виду того, что по самому факту опредѣленія на службу



Полежаевъ состоялъ въ числѣ политическихъ преступниковъ и притомъ имѣлъ личное дворянство <sup>1)</sup>, приговоръ суда восходилъ на утвержденіе государя, и по высочайшему повелѣнію, объявленному въ рапортѣ главнаго штаба къ московскому главнокомандующему 4-го сентября 1827 года: „за отлучку изъ полка, изъ коей самъ добровольно явился, разжалованъ изъ унтеръ-офицеровъ въ рядовые и лишентъ личнаго дворянства, *безъ выслуш*“.

„Съ этимъ приговоромъ погибла для 22-лѣтняго поэта вся его жизнь. Никакого выхода уже не предвидѣлось“ <sup>2)</sup>.

Но это было началомъ новой бѣды. Несчастный поэтъ, поставленный въ страшное тогда положеніе безотвѣтнаго и безправнаго солдата, всѣми покинутый, пришелъ въ отчаяніе и запѣлъ съ тоски. Однажды, какъ говорятъ, онъ встрѣтился съ однимъ изъ прежнихъ знакомыхъ и, забывшись за стаканомъ вина, опоздалъ въ казармы и обругалъ своего ближайшаго начальника, фельдфебеля, который сталъ дѣлать ему выговоръ. Началось новое дѣло о нарушеніи дисциплины. Полежаевъ почти годъ просидѣлъ въ кандалахъ на гауптвахтѣ спасскихъ казармъ. Ему, лишенному уже всякихъ правъ, грозило прогнаніе съвозъ строй; онъ рѣшился на самоубійство, и одинъ изъ солдатъ-тюремщиковъ самъ отточилъ штыкъ и предложилъ его Полежаеву. Въ то же время случилось другое обстоятельство. У одного изъ лицъ, арестованныхъ по дѣлу московскихъ студентовъ, двухъ братьевъ Критскихъ, которые обвинялись въ политическомъ преступленіи, найдено было стихотвореніе противъ верховной власти; на рукописи была приписка владѣльца, что стихотвореніе написано Полежаевымъ. Донесено было императору Николаю, и онъ приказалъ узнать, было ли стихотвореніе написано послѣ отдачи въ солдаты, или раньше, и въ первомъ случаѣ отдать его подъ судъ, во второмъ простить. Неизвѣстно, какъ шло дѣло дальше; можетъ быть, предполагаетъ г. Ефремовъ, донесено было, что Полежаевъ вовсе не былъ авторомъ приписаннаго ему стихотворенія, но, во всякомъ случаѣ, только по снисхожденію импер. Николая Полежаевъ избавился отъ предстоявшей ему казни. Въ конфирмаціи генерала Набокова, 17-го декабря 1828, сказано было, „что хотя надлежало бы за сіе (отлучку отъ роты, пьянство и произнесеніе ругательствъ фельдфебелю) къ прогнанію шпицрутенами, но въ уваженіе весьма молодыхъ его лѣтъ вмѣняется въ наказаніе долгосрочное содержаніе подъ арестомъ“. Въ то же время Поле-

<sup>1)</sup> По праву на чинъ XII класса.

<sup>2)</sup> Стр. XXI—XXII.

жаевъ переведенъ былъ въ другой пѣхотный полкъ той же дивизіи, стоявшей въ московскомъ округѣ. Переводъ Полежаева состоялся 2-го января 1829 года, и, какъ предполагаетъ г. Ефремовъ, вѣроятно благодаря этому, сравнительно счастливому, окончанію его дѣла, съ этого времени снова стали появляться въ печати стихотворенія Полежаева, хотя и безъ имени автора. Такъ, явились теперь стихотворенія, принадлежащія къ его лучшимъ произведеніямъ, какъ „Видѣніе Валтасара“, „Пѣснь плѣннаго ирокезца“ и другія стихотворенія, внушенныя его личной судьбой, на которыхъ мы остановимся далѣе.

Въ томъ же году въ его положеніи произошла нѣкоторая перемѣна. Натянутыя отношенія Россіи съ Персіей послѣ убійства Грибоѣдова въ Тегеранѣ побудили командовавшаго на Кавказѣ Паскевича просить, въ февралѣ 1829, объ усиленіи кавказской арміи. Въ мартѣ же на Кавказъ двинуты были войска, въ томъ числѣ та пѣхотная дивизія, къ которой принадлежалъ полкъ Полежаева. Этотъ послѣдній расположенъ былъ сначала на кавказской линіи, а въ слѣдующихъ 1830—32 годахъ принималъ дѣятельное участіе въ экспедиціяхъ противъ послѣдователей Казимуллы, въ Чечнѣ и Сѣверномъ Дагестанѣ. Событія кавказской войны за 1830—31 годы описаны были тогда же Бестужевымъ-Марлинскимъ, который, служа рядовымъ въ мѣстныхъ кавказскихъ войскахъ, принималъ участіе въ этихъ походахъ, но онъ не встрѣчался съ Полежаевымъ и они не знали другъ о другѣ.

Биографъ собралъ изъ специальныхъ сочиненій о кавказскихъ войнахъ эпизоды тѣхъ событій, которыхъ Полежаевъ былъ свидѣтелемъ или участникомъ; эти подробности служатъ также комментариемъ для тѣхъ стихотвореній, которыя были внушены Полежаеву пребываніемъ на Кавказѣ. Послужной списокъ Полежаева, приведенный г. Ефремовымъ, упоминаетъ, между прочимъ, нѣсколько дѣлъ, въ которыхъ участвовалъ Полежаевъ и на которыя биографъ не нашелъ указаній въ исторіи кавказскихъ войнъ<sup>1)</sup>.

Пребываніе на Кавказѣ видимо оживило Полежаева; зрѣлище южной природы, оригинальныхъ племенъ и быта, дѣятельная боевая жизнь, вмѣсто тупого казарменнаго прозябанія, не могли не оказать своего вліянія. Кавказу посвященъ цѣлый рядъ поэмъ и стихотвореній Полежаева. Событія были исполнены интереса: возстаніе горцевъ подъ предводительствомъ энергическаго и окруженнаго на Кавказѣ легендами Казимуллы доставляло поэтическій матеріалъ. Присоединялось, наконецъ, и то, что и служеб-

<sup>1)</sup> См. стр. XL—XLII.

ныя отношенія Полежаева складывались здѣсь гораздо сноснаѣ: кавказскіе военные нравы были проще, положеніе солдата свободнѣе и обезпеченнѣе, и Полежаевъ жилъ въ средѣ юнкеровъ и офицерской молодежи. Въ концѣ 1831 года онъ, за отличіе въ дѣлахъ противъ чеченцевъ, произведенъ былъ въ унтеръ-офицеры, но приказъ полученъ былъ на мѣстѣ только въ апрѣлѣ слѣдующаго года.

Въ концѣ 1832 прекратились военныя дѣйствія войскъ, приведенныхъ изъ московскаго округа. Въ январѣ 1833 началось ихъ обратное выступленіе; въ лѣту Полежаевъ былъ въ Москвѣ, а 1-го сентября онъ былъ переведенъ въ тарутинскій полкъ той же дивизіи. По возвращеніи возобновилась прежняя безотраднѣе жизнь. Бывши на Кавказѣ, Полежаевъ мечталъ еще, что можетъ возвратитъ себѣ потерянные права; но надежды его не сбылись: теперь, снова въ казарменномъ быту, не представлялось возможности какого-нибудь „отличія“; онъ былъ, повидимому, безвозвратно оторванъ отъ общества. Личныя отношенія были самыя печальныя: родные совсѣмъ отказались отъ него и не подавали ему никакой помощи; друзей не было, кромѣ одного, А. П. Лозовскаго, новаго знакома, расположеніе котораго, кажется, глубоко трогало Полежаева, но было уже безсильно подать ему дѣйствительную помощь. „Вино сдѣлалось для него уже необходимою, потребностью, однимъ словомъ, богианью, и онъ не переставалъ пить безъ мѣры“, — замѣчаетъ биографъ. Недостатокъ матеріальныхъ средствъ былъ полный; литературный заработокъ былъ вѣроятно ничтожный, и Полежаевъ былъ доведенъ до того, что вынужденъ былъ принимать денежныя подарки.

Какихъ-нибудь ближайшихъ свѣденій о жизни Полежаева за его послѣдніе годы не сохранилось. Вѣроятно это была мрачная, безразсвѣтная жизнь; его стихотворенія не выходятъ изъ тона безнадежной тоски и отчаянія. Лишь въ послѣдніе годы его жизни произошелъ эпизодъ, который явился счастливымъ, но мимолетнымъ исключеніемъ, только на минуту освѣжилъ Полежаева свѣтлымъ настроеніемъ, но исчезъ безъ всякаго вліянія на его нравственную жизнь среди продолжавшейся обычной обстановки его существованія.

Биографъ замѣчаетъ, что Бѣлинскій со свойственною ему пронитательностью угадалъ въ стихотвореніи „Черныя глаза“ присутствіе этого эпизода <sup>1)</sup>. Смыслъ и подробности этого эпизода

<sup>1)</sup> Бѣлинскій обратилъ особенное вниманіе на это стихотвореніе, которое показало ему „страшную похоронную пѣсню поэта самому себѣ“, и заключаетъ: „эти

разъяснились много лѣтъ спустя, въ воспоминаваніяхъ г-жи Бибиковой, напечатанныхъ въ 1882 году въ „Русскомъ Архивѣ“<sup>1)</sup> и повторенныхъ въ настоящей біографіи. Г-жа Бибилова, къ которой именно относятся обращенія Полежаева въ упомянутомъ стихотвореніи, была тогда шестнадцатилѣтняя дѣвушка: ей случилось видѣть Полежаева въ теченіе двухъ недѣль въ 1834 году при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Она жила лѣтомъ этого года въ своей семьѣ въ селѣ Ильинскомъ, въ 17-ти верстахъ отъ Москвы, гдѣ родственникъ ихъ, гр. Остерманъ, предложилъ имъ для дачной жизни свой загородный дворецъ. Отецъ г-жи Бибиковой увѣждалъ изъ Ильинскаго по дѣламъ въ свое степное имѣніе; однажды онъ заболѣлъ и, живя въ увѣдномъ городѣ, гдѣ его удержалъ лечившій его докторъ, познакомился съ командиромъ полка, гдѣ служилъ унтеръ-офицеромъ Полежаевъ. Онъ сблизился съ Полежаевымъ и выпросилъ у полковника дозволеніе взять къ себѣ несчастнаго молодого человѣка, въ обществѣ котораго „время у него легло незамѣтно“ и который „велъ себя безукоризненно“. Въ письмахъ домой отецъ г-жи Б. сообщилъ печальную исторію Полежаева и, между прочимъ, въ его разсказѣ къ переданному выше прибавлялась та подробность, что когда Полежаевъ, вытребованный къ императору, долженъ былъ читать передъ нимъ свою поэму, то неудобныя для чтенія мѣста замѣнялъ экспромтомъ другими стихами; царь, заподозривъ подмѣну, вырвалъ тетрадь и убѣдился въ справедливости своего подозрѣнія. Императоръ не прощадъ обмана, и этому обстоятельству приписывали безуспѣшность просьбъ Полежаева о помилованіи. „У отца моего,—разсказываетъ г-жа Бибилова,—Полежаевъ отдыхалъ душевно, писалъ стихи, но большая часть времени проходила въ живыхъ бѣсѣдахъ. Отецъ мой былъ образованъ и уменъ, самъ на достугъ писалъ стихи и умѣлъ цѣнить дарованіе и умъ въ молодомъ поколѣніи. Всѣ письма его полны были похвалами поэту, котораго полюбилъ онъ отъ души“. Наконецъ, отецъ написалъ, что возвращается въ Ильинское и привезетъ съ собой унтеръ-офицера, чтобы обучать старшаго брата г-жи Б. ружейнымъ приѣмамъ для поступленія въ юнкерскую школу.

Отецъ пріѣхалъ поздно вечеромъ; на другое утро младшій братъ г-жи Б., мальчикъ, пріѣхалъ въ большомъ волненіи съ

„черные глаза“, очевидно, были важнымъ, хотя уже и безвременнымъ фактомъ въ жизни Полежаева; скорбному воспоминанію о нихъ посвящена еще цѣлая и притомъ прекрасная пѣса—„Грусть“. Соч., т. VI, изд. 2, стр. 181—184.

<sup>1)</sup> Встрѣча съ Полежаевымъ. Воспоминаніе старушки изъ степи. „Русск. Архивъ“, вып. VI, стр. 233—243.

разказами, что отецъ привезъ страннаго унтеръ-офицера: „il a un regard d'aigle!“ Сестры посмѣялись надъ мальчигомъ и не обратили вниманія на его слова. Къ чаю отецъ привелъ унтеръ-офицера. „Вдругъ я замѣчаю что-то не совсѣмъ обычнаго,— рассказываетъ г-жа Б.—Отецъ всталъ и принялъ какой-то торжественный видъ. Я смолкла, слушаю. „Душа моя,—говоритъ отецъ, обращаясь къ матери,—дѣти! я васъ всѣхъ обманулъ! Представляю вамъ Александра Ивановича Полежаева“. Матушка поднялась съ кресель и протянула обѣ руки Александру Ивановичу. Не помню, какъ я вмгъ очутилась рядомъ съ матерью. Всѣ вскочили съ своихъ мѣстъ. У отца, у матери, у насъ всѣхъ выступили слезы. Мои глаза встрѣтились съ глазами Полежаева. Мнѣ показалось, что и онъ былъ тронутъ нашимъ пріемомъ. Съ этой минуты Александръ Ивановичъ Полежаевъ сталъ у насъ своимъ человекомъ“.

Полежаевъ пробылъ въ этомъ семействѣ всего двѣ лѣтнихъ недѣли. Братья г-жи Б. „чуть не молились на поэта: они были счастливы, когда онъ дозволялъ имъ молча сидѣть въ его комнатѣ, пока онъ писалъ“. Въ Ильинскомъ Полежаевъ переводилъ изъ Вилтора Гюго, писалъ „Кориолана“, и, по особенному поводу, „Божій Судъ“. Дѣло въ томъ, что у отца г-жи Б. были связи въ Петербургѣ, и онъ надѣялся испросить облегченіе участи Полежаева; для этого онъ просилъ Полежаева написать что-нибудь, что можно было бы послать при письмѣ въ Бенкендорфу, и когда Полежаевъ написалъ „Божій Судъ“, то его покровитель просилъ его, не можетъ ли онъ прибавить въ концѣ что-нибудь въ родѣ просьбы о прощеніи. „На это Полежаевъ рѣшительно отказался,—говоритъ г-жа Б.: „я противъ царя ни въ чемъ не виноватъ, просить прощенія не въ чемъ“. Какъ ни умолялъ, ни уговаривалъ его отецъ, ничего съ поэтомъ сдѣлать не могъ: онъ остался непреклоненъ“. Тогда отецъ г-жи Б. самъ прибавилъ въ концѣ стихотворенія три имъ самимъ написанныя строфы въ этомъ смыслѣ, и письмо съ переписанными стихами пошло къ Бенкендорфу; но и эта послѣдняя попытка осталась безплодной.

Время проводилось до обѣда за работой, а послѣ обѣда и до ночи въ прогулкахъ всей семьей. „Во время прогулокъ братья ни на шагъ не отходили отъ Полежаева. Мы всѣ жадно прислушивались къ его разговорамъ. Онъ говорилъ о Кавказѣ, о набѣгахъ чеченцевъ, о своихъ походахъ... Онъ рассказывалъ просто, безъ хвастовства, безъ напыщенности, не билъ на эффектъ, и каждое слово дышало правдой и умомъ. А между строкъ сколько слышалось невысказанныхъ страданій, лишеній, горя!“... „По-

лежаевъ, — говоритъ дальше г-жа Б., — хотя положительно терпѣль нищету, но былъ до крайности гордъ и деликатенъ въ денежныхъ дѣлахъ. Отецъ долго не могъ его уломать и уговорить принять отъ него пособіе. Честность его доходила до щепетильности. Онъ тогда только согласился что-либо принять отъ отца моего, когда самъ полюбилъ его какъ друга“.

Впечатлѣніе отъ личности Полежаева было таково, что въ душѣ молодой дѣвушки участіе къ нему переходило въ болѣе теплое чувство. „Родные отъ меня не скрыли, — рассказываетъ г-жа Б., — изъ бурной жизни Полежаева то, что, при строгомъ нашемъ воспитаніи, можно было сказать дѣвушкамъ моихъ дѣтъ, т.-е. знала я лишь одну половину несчастныхъ наклонностей, испортившихъ его жизнь и преждевременно сведшихъ его въ могилу. Но и одной половины было достаточно, чтобъ убѣдить меня, что общая будущность для насъ немислима. Семья, общество, самъ разсудокъ непреодолимой преградой раздѣляли насъ. На что мнѣ было будущее? Я полной жизнью жила настоящимъ“.

По желанію отца, г-жа Б. нарисовала портретъ его любимца. „Портретъ этотъ писанъ акварелью, ученической рукой; но онъ разительно похожъ, тогда какъ оба портрета, изданные при стихотвореніяхъ Полежаева, нисколько его не напоминаютъ“. „А. И. Полежаевъ, — продолжаетъ г-жа Б., — не былъ хорошъ собой. Роста онъ былъ невысокаго, черты лица его были неправильны, но вся наружность его, съ виду некрасивая, могла въ одно мгновеніе освѣтиться, преобразиться отъ одного взгляда его чудныхъ, искрометныхъ, большихъ черныхъ глазъ. Этотъ regard d'aigle, поразившій десятилѣтняго мальчика, выражалъ все могущество его творческаго духа“.

Г. Ефремовъ припоминаетъ къ этому, что Бѣлинскій, негодуя на дурные портреты, приложенные къ изданію стихотвореній 1838 г., замѣчалъ: „и это *красавецъ* Полежаевъ?“<sup>1)</sup> Такой же отзывъ біографъ слышалъ отъ другого современнаго свидѣтеля, А. Д. Галахова. Одинъ изъ прежнихъ „дурныхъ“ портретовъ приложенъ къ послѣднему московскому изданію Полежаева; напротивъ, въ изданіи г. Ефремова переданъ въ первый разъ именно портретъ, сдѣланный въ 1834 г-жею Бибиковой.

Къ сожалѣнію, эта идиллія продолжалась „пятнадцать только чистыхъ, ясныхъ дней“, и была, кажется, послѣднимъ просвѣтомъ въ печальномъ существованіи Полежаева, и кончилась она

<sup>1)</sup> Сочин., т. III, изд. 2-е, стр. 87.

такъ, что и отношенія съ пріотившимъ его дружески семействомъ также должны были прерваться.

Когда наступилъ срокъ, до котораго Полежаевъ былъ отпущенъ на слово въ отцу г-жи Б., послѣдній настаивалъ на выполненіи обѣщанія. Полежаевъ уѣхалъ, — но, какъ вскорѣ оказалось, не явился въ полеъ и гдѣ-то запропалъ. Неизвѣстно, какъ онъ потомъ вернулся и какъ дѣло потомъ уладилось. Затѣмъ произошло другое обстоятельство. „Недолго послѣ этого грустнаго заключенія нашихъ ясныхъ дней, — досказываетъ г-жа Б., — старшій братъ сообщилъ мнѣ по секрету, что слышалъ отъ своего учителя студента, что Полежаевъ написалъ новое стихотвореніе „Черные глаза“ и что оно написано для меня. Я, конечно, объ этомъ молчала. Не знаю, какимъ образомъ это сообщеніе дошло до отца, который страшно разсердился на брата и при мнѣ жестоко сталъ его распекавать. „Какъ смѣлъ ты подобный вздоръ выдумать? „Черные глаза“ не написаны и не могли быть написаны на твою сестру! *Ces vers sont une horreur!*“ прибавилъ онъ съ негодованіемъ. Братъ смолчалъ, но когда мы остались съ глазу на глазъ, онъ мнѣ вновь подтвердилъ, что знаетъ *наизусть*, что „Черные глаза“, написаны для меня и что учитель говоритъ, что стихи *очень* хороши. „Учитель говоритъ, что стихи хороши“, подумала я, „а отецъ о нихъ отзывается, *que c'est une horreur!* Что бы это значило?“ Но такъ и осталась я при своемъ недоумѣніи. Вѣроятно и учителю досталась головомойка, и позаботились о томъ, чтобы *horreur* не попалась мнѣ на глаза. Это несчастное стихотвореніе, которое я прочла нѣсколько лѣтъ спустя, уже въ печати, по всей вѣроятности причина тому, что съ тѣхъ поръ домъ нашъ навѣки былъ закрытъ для бѣднаго грѣшника. Отецъ мой, вѣроятно, не прерывалъ съ нимъ сношеній; но въ моемъ присутствіи никогда о немъ не упоминали“.

По всей вѣроятности, Полежаеву было тошно вернуться въ свою казарму прямо изъ той дружеской и отрадной среды, какую нашелъ онъ въ этомъ семействѣ, и возбужденіе, испытанное имъ здѣсь, окончилось такъ, какъ часто бываетъ съ людьми, страдающими той же болѣзнью. Вѣроятно онъ опять запилъ въ Москвѣ и забылъ обо всемъ. Когда онъ очнулся, пережитыя впечатлѣнія выразились упомянутымъ стихотвореніемъ.

Конецъ Полежаева былъ печальный, какъ вся его „служба“ и, въ сущности, какъ вся его жизнь. Здоровье его давно уже было надломлено и уже въ 1835 году онъ писалъ „Прощаніе съ жизнью“. Въ сентябрѣ 1837 онъ поступилъ въ военный госпиталь и умеръ 16-го января слѣдующаго года отъ чахотки

послѣ двѣнадцати-лѣтняго солдатства. „Правда, — говоритъ біографъ, — еще 16-го іюля 1837 г. начальство представило его къ производству въ офицеры, но чинъ прапорщика данъ былъ ему только 27-го декабря, и о своемъ производствѣ Полежаевъ если и узналъ, то за нѣсколько дней до смерти.

„Похоронили его въ офицерскомъ мундирѣ, котораго при жизни онъ никогда не носилъ, и портреты его приказали прилагать къ сочиненіямъ въ такой же формѣ. Друзья хотѣли поставить надъ могилою памятникъ, но предположеніе это не состоялось, и могила давно затеряна, такъ что вполнѣ исполнилось пророчество о ней самого поэта:

И нѣтъ ни камня, ни креста,  
Ни огороднаго шеста“.

Такова была біографія поэта. Очевидно, что къ произведеніямъ писателя, прожившаго такую исключительную жизнь, критика должна отнести иначе, нежели она вообще относится къ произведеніямъ писателя, проведшаго обыкновенное человѣческое существованіе. Даже въ нашей литературѣ, исторія которой представляетъ такъ много примѣровъ испорченной обстоятельствами писательской дѣятельности, біографія Полежаева есть нѣчто особенное и необычайное. Юноша, едва окончившій свой университетскій курсъ, внезапно отрывается отъ его молодой, беззаботной среды, быть можетъ, и не свободный отъ иныхъ крайностей, весьма впрочемъ обыкновенныхъ въ то время и въ той обстановкѣ, и на него сразу обрушивается вся тяжесть тогдашняго грубаго и вмѣстѣ беззащитнаго солдатства: это была кара сверхъ мѣры. Мы говорили выше, какъ понималось въ то время это исправительное средство. Для Полежаева оно стало невыносимой кабалой на всю жизнь. Видимо, онъ никогда не могъ освоиться и примириться съ своимъ положеніемъ, не могъ надѣяться и искать той „выслуги“, которая вѣроятно въ началѣ все-таки для него предполагалась. Человѣкъ съ несомнѣннымъ и сильнымъ дарованіемъ, съ интересами къ поэзіи и къ размышленію, онъ лишенъ былъ всякой возможности питать эти интересы, въ которыхъ заключалась его внутренняя жизнь. Подъ гнетомъ суровой дисциплины, въ обстановкѣ казармы, невысказанно было сохранивъ юношѣ еще съ неокрѣпшими силами то внутреннее равновѣсіе, тѣ идеальные порывы, которые необходимы были для его мысли и для его поэзіи. Онъ пишетъ свои просьбы, но онѣ остаются безъ отвѣта; очевидно, полное отчаяніе, въ которомъ



онъ забывалъ обо всѣхъ обстоятельствахъ своего положенія, о самыхъ явнѣхъ требованіяхъ благоразумія, побуждаетъ его бѣжать изъ поля, чтобы лично хлопотать о своихъ просьбахъ; уже на дорогѣ онъ опаматовался и вернулся въ свой полъ. Но преступленіе было уже совершено, и онъ теряетъ послѣднія „права“, безъ которыхъ дѣйствительно немислимо было человѣческое существованіе въ тѣ жестокія времена, а также теряетъ и ту „выслугу“, которая могла быть единственной его надеждой когда-нибудь всплыть на поверхность затягивавшей его бездны. За первымъ преступленіемъ послѣдовало второе подобное; и новая попытка вырваться на божій свѣтъ обошлась ему почти годовымъ заключеніемъ въ тюрьмѣ, ужасы которой онъ описываетъ въ потрясающемъ стихотвореніи. Такъ судьба тяготѣла надъ нимъ до самой смерти. Эпизодъ, такъ тепло рассказанный въ воспоминаніяхъ г-жи Бибиковой, былъ такой случайный, такъ мало вязался съ ходомъ его жизни, что не заключалъ въ себѣ ни малѣйшей надежды. Бѣлинскій, угадывая, что этотъ эпизодъ не могъ обновить и возродить Полежаева, едва ли правильно объяснилъ причину этой невозможности; по словамъ его надобно заключать, что причина невозможности возрожденія лежала единственно въ самомъ Полежаевѣ, въ его непоправимой испорченности, — но справедливѣе будетъ находить эту причину въ невыносимомъ внѣшнемъ положеніи, изъ котораго самъ Полежаевъ не находилъ выхода. Несчастье такъ его опутало, что нѣсколько дней, въ которые онъ встрѣтилъ искреннее и горячее сочувствіе, только яснѣе раскрыли передъ нимъ всю глубину его бѣдствія: нужны были бы еще болѣе настойчивыя усилія, чтобы возвратить его самому себѣ, а главное, чтобы добиться его освобожденія, — но это оказалось невыполнимымъ. По всей вѣроятности, онъ и видѣлъ эту невозможность свободы, и имъ овладѣвало послѣднее отчаяніе.

Странно было бы думать, что къ писателю съ такой біографіей приложимы обыкновенныя требованія такъ-называемой художественной критики. Художественное произведеніе требуетъ возможности спокойнаго труда: мы знаемъ теперь очень хорошо на примѣрахъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя, что первые наброски произведенія, внушеннаго творческимъ вдохновеніемъ, долго, иногда въ теченіе многихъ лѣтъ, вызываютъ все новыя переработки, новыя черты содержанія и формы, прежде чѣмъ писатель сочтетъ свою мысль и свои образы законченными, болѣе или менѣе совершенными. Если такая работа бывала нужна для первостепенныхъ, гениальныхъ дарованій, то тѣмъ больше она была бы необходима для талантовъ меньшей силы. Былъ ли и могъ

ли быть у Полежаева этотъ досугъ для подобной работы? Далѣе, обыкновенная работа писателя идетъ среди постоянного общенія съ людьми родственнаго настроенія, среди все расширяющихся интересовъ литературныхъ, среди обмѣна или борьбы идей, въ постоянномъ возбужденіи ума и поэтическаго чувства, въ развивающемся стремленіи къ идеалу общественному и нравственному — и дарованіе зрѣетъ, горизонтъ расширяется, совершенствуется форма. Было ли и могло ли быть что-нибудь подобное у Полежаева?

Его образованіе, въ томъ числѣ и литературное, шло, какъ мы видѣли, не весьма удовлетворительно. Проведя дѣтство внѣ семьи, въ условіяхъ, которыя способны были окончателно сгубить его <sup>1)</sup>, онъ рано потерялъ отца, сосланнаго въ Сибирь, и брошенъ былъ въ чужія руки безъ руководства, безъ чьего-либо теплаго участія. Ученіе шло кое-какъ; въ университетѣ онъ пробылъ, повидимому, двойной срокъ — шесть лѣтъ вмѣсто трехъ, какія продолжался тогда университетскій курсъ; профессора его едва ли способны были направить должнымъ образомъ его дарованіе. Въ его первыхъ стихотвореніяхъ, какъ напр. и въ той торжественной одѣ, которая читалась на университетскомъ актѣ, мы видимъ образчикъ того старомоднаго стихотворства, которое въ эти годы окончателно разрушалось Жуковскимъ и особливо Пушкинымъ. Эти стихотворенія, какъ намъ кажется, въ особенности указываютъ на вліяніе его школы: въ московскомъ университетѣ до самой смерти Мерзлякова еще исповѣдовался псевдо-классицизмъ. Но какая громадная разница между этими слабыми начатками и тѣми стихотвореніями, въ которыхъ сказывается наконецъ самъ Полежаевъ съ горячими порывами его чувства и удивительной для его времени смѣлостью формы. Полежаевъ теперь такъ забыть, что мы считаемъ излишнимъ привести нѣсколько образчиковъ его поэзіи.

Вотъ, напримѣръ, „Пѣснь плѣннаго Ирокезца“, любопытная по самой идеѣ, занявшей воображеніе поэта, и сильная по формѣ.

<sup>1)</sup> Не припомню я счастливыхъ дней —  
 Не знавалъ я ихъ съ младенчества!  
 Для измученной души моей  
 Нѣтъ въ подсолнечной отечества!  
 Слышалъ я, что будто божій свѣтъ  
 Я увидѣлъ съ тихимъ ропотомъ;  
 А потомъ житейскихъ бурь и бѣдъ  
 Не избѣгнувъ горькимъ опытомъ...

Я умру! на позоръ палачамъ  
 Беззащитное тѣло отдамъ!  
 Равнодушно они  
 Для забавы дѣтей  
 Отдирать отъ костей  
 Будутъ жилы мои;  
 Обругаютъ, убьютъ  
 И мой трупъ разорвутъ!

Но стерплю! не скажу ничего,  
 Не наморщю чела моего,  
 И какъ дубъ вѣковой,  
 Неподвижный отъ стрѣль,  
 Неподвиженъ и смѣль  
 Встрѣчу мигъ роковой,  
 И какъ воинъ и мужъ  
 Перейду въ страну душъ.

Передъ сонмомъ тѣней воспою  
 Я безстрашную гибель мою.  
 И рассказъ мой плѣнитъ  
 Ихъ внимательный слухъ,  
 И воинственный духъ  
 Стариковъ оживитъ;  
 И пройдетъ по устамъ  
 Слава громкимъ дѣламъ.

И рекутъ они въ голосъ одинъ:  
 „Ты достойный прапрадѣдовъ сынъ!“  
 Совокупной толпой  
 Мы на землю сойдемъ,  
 И въ родныхъ разольемъ  
 Пыль вражды боевой;  
 Побѣдимъ, поразимъ!  
 И врагамъ отомстимъ!

Я умру! на позоръ палачамъ  
 Беззащитное тѣло отдамъ!  
 Но какъ дубъ вѣковой,  
 Неподвижный отъ стрѣль,  
 Я недвижимъ и смѣль  
 Встрѣчу мигъ роковой!

Или другое стихотвореніе, знаменитое нѣкогда по оригинальности своего стиха, которое и до сихъ поръ сохраняетъ свою свѣжесть: „Пѣснь погибающаго пловца“.

Вотъ мрачится  
 Сводъ лазурный!  
 Вотъ крутится  
 Вихоръ бурный!

Вѣтръ свиститъ,  
Громъ гремитъ.  
Море стонетъ—  
Путь далекъ...  
Тонетъ, тонетъ  
Мой челнокъ!

Все чернѣе  
Сводъ надавѣданный;  
Все страшнѣе  
Воютъ бездны.  
Глубь безъ дна—  
Смерть вѣрна!  
Какъ заклятый  
Врагъ грозить,  
Вотъ девятый  
Валъ бѣжитъ.

. . . . .

Сокрошенный  
Сынъ природы,  
Неизмѣнный  
Другъ свободы—  
Съ юныхъ лѣтъ  
Въ море бѣдъ  
Я направилъ  
Быстрый бѣгъ,  
И оставилъ  
Мирный брегъ.

На равнинахъ  
Водъ зеркальныхъ,  
На пучинахъ  
Погребальныхъ  
Я скользилъ;  
Я шутилъ  
Грозной влагой;  
Смертный валъ  
Я отвагой  
Побѣждалъ.

Какъ минутный  
Прахъ въ эфиръ,  
Безпріютный  
Странникъ въ міръ,  
Одинокъ  
Какъ челнокъ,  
Узъ любви  
Я не зналъ,  
Жаждой крови  
Не сгораю.

Парусъ бѣлый  
 Перелетный;  
 Яворъ сильный,  
 Беззаботный;  
 Тусклый лучъ  
 Изъ-за тучъ;  
 Проблескъ дали  
 Въ тѣмъ ночей—  
 Замѣняли  
 Миѣ друзей.

Что-жъ миѣ въ жизни  
 Безизвѣстной?  
 Что-жъ въ отчизнѣ  
 Повсемѣстной?  
 Чѣмъ страшна  
 Миѣ волна?  
 Пусть настигнетъ  
 Съ вѣчной мглой—  
 И погибнетъ  
 Трущъ живой!..

Есть прекрасные поэтическіе мотивы и приемы въ пѣсняхъ Полежаева въ народномъ тонѣ, къ которому Бѣлинскій находилъ у него большую способность. Таковы его пѣсы:

У меня-ль молодца  
 Ровно въ двадцать лѣтъ  
 Со бѣла со лица  
 Спалъ румяный цѣтъ;  
 Черный волосъ кольцомъ  
 Не бѣжитъ съ плеча, и проч.

Или:

Тамъ, на небѣ высоко,  
 Свѣтитъ солнце безъ лучей;  
 Здѣсь, отъ друга далеко,  
 Гаснетъ свѣтъ моихъ очей!.. и проч.

Правда, и эти мотивы, какъ многое другое въ поэзіи Полежаева, не развились до болѣе совершеннаго выраженія; но едва ли кто-нибудь другой изъ поэтовъ того времени могъ бы быть названъ предшественникомъ Кольцова. Укажемъ еще прелестные мотивы въ стихотвореніи: „Баю-баюшки-баю“, или въ пѣснѣ: „Долго-ль будетъ вамъ безъ умолку идти,—проливные безотрадные дожди?“

Пребываніе на Кавказѣ отозвалось у Полежаева цѣлымъ рядомъ поэмъ, стихотвореній, пѣсенъ. Это—картины кавказской природы,

описание различныхъ эпизодовъ войны, отдѣльные бытовые мотивы и впечатлѣнія; во всемъ этомъ есть сильныя и красивыя подробности, и нѣкоторыя изъ этихъ пьесъ принадлежатъ къ лучшимъ образчикамъ поэзіи Полежаева. Укажемъ, напр., очень извѣстное въ свое время стихотвореніе „Море“:

Я видѣлъ море, я измѣрилъ  
 Очами жадными его;  
 Я силы духа моего  
 Передъ лицомъ его повѣрилъ.  
 „О, море, море!“ я мечталъ  
 Въ раздумьѣ грустномъ и глубокомъ:  
 „Кто первый мыслилъ и стоялъ  
 На берегу твоемъ высокомъ?  
 Кто, неразгаданный въ вѣвахъ,  
 Замѣтилъ первый блескъ лазури,  
 Войну громовъ и ярость бури  
 Въ твоихъ младенческихъ волнахъ?  
 Куда исчезли другъ за другомъ,  
 Твоихъ владѣльцевъ племена,  
 О коихъ вѣсть намъ предана  
 Однимъ злопамятнымъ досугомъ?“..

. . . . . Но море  
 Подъ знойнымъ солнечнымъ лучомъ,  
 Сребрясь въ узорчатомъ уборѣ,  
 Межъ тѣмъ легчалось кругомъ  
 Въ своемъ покоѣ рововомъ.  
 Черезъ разсыпанныя волны  
 Катились груды новыхъ волнъ,  
 И между нихъ, отваги полный,  
 Нырялъ предъ бурей утлый чолнъ.  
 Счастливецъ, знаешь ли ты цѣну  
 Смѣшнаго счастья твоего?  
 Смотри на чолнъ—ужь вѣтъ его:  
 Въ отвѣгъ онъ нашелъ измѣну!..

Въ другое время, на брегахъ  
 Балтійскихъ водъ, въ моей отчизнѣ,  
 Красуюсь цвѣтомъ полной жизни,  
 Стоялъ я нѣкогда въ мечтахъ;  
 Но тѣ мечты мнѣ сладки были:  
 Онѣ привѣтно сквозь туманъ,  
 Какъ за волной волну, манили  
 Меня въ житейсей океанъ.  
 И я поплылъ... О, море, море!  
 Когда увижу берегъ твой?  
 Или, какъ чолнъ залетный, вскорѣ  
 Сокроюсь въ безднѣ гробовой?

Лишь изрѣдка останавливается поэтъ на мирныхъ темахъ непосредственнаго быта, мягкаго чувства—какъ, напримѣръ, въ красивомъ стихотвореніи: „Пышно льется свѣтлый Терекъ—въ мирномъ лонѣ тишины“ и под. Всего чаще, почти неизмѣнно его фантазія живетъ въ мрачныхъ картинахъ сильныхъ страстей, борьбы съ жизнью, безпощадной судьбы. Въ своихъ эпическихъ поемахъ, не представляющихъ, впрочемъ, особыхъ достоинствъ, онъ избираетъ трагическія положенія („Кориоланъ“). Все это, очевидно, отвѣчало его личному настроенію, которое господствуетъ въ цѣломъ рядѣ сильныхъ стихотвореній, имѣющихъ автобиографическое значеніе. Эти стихотворенія въ высокой степени характерны и—къ счастью—остаются единственными въ своемъ родѣ въ нашей литературѣ.

Рядъ ихъ начинается съ первыхъ годовъ бѣдствій, постигшихъ Полежаева. Содержаніе ихъ—скорбь объ испорченной жизни, раскаяніе въ увлеченіяхъ молодости, картины безотраднато настоящего, отчаянія, мысли о самоубійствѣ и о—мщени. Первымъ изъ этихъ автобиографическихъ стихотвореній было, кажется, „Цѣпи“, изданное съ пропусками въ первый разъ въ 1832, но написанное въ 1826 или 1827 году <sup>1)</sup>.

Зачѣмъ игрой воображенья  
 Картины счастья рисовать,  
 Зачѣмъ душевныя мученья  
 Тоской опасной растравлять?  
 Убитый ровомъ своенравнымъ,  
 Я вьну жертвою страстей  
 И угнетенъ ярмомъ безславнымъ  
 Въ цвѣтущей юности моей!  
 Я зрѣлъ: надежды лучъ прощальный  
 Темнѣлъ и гаснулъ въ небесахъ,  
 И факель смерти погребальный  
 Съ тѣхъ поръ горитъ въ моихъ очахъ!  
 Любовь къ прекрасному, природа,  
 Младая дѣвы и друзья,  
 И ты, священная свобода,  
 Все, все погибло для меня!  
 Безъ чувства жизни, безъ желаній,  
 Какъ отвратительная тѣнь,  
 Влачу я цѣпь моихъ страданій—  
 И умираю ночь и день!  
 Порою огонь души унылой  
 Воспламеняется во мнѣ:  
 Съ свѣдающей меня могилы  
 Борюсь, какъ будто бы во свѣ,

<sup>1)</sup> Изд. Ефремова, стр. 45, 536.

Стремлюсь, въ жару ожесточенья,  
 Мои оковы раздробить  
 И жажду сладостнаго мщенья  
 Живую кровью утолить.  
 Уже рукой ожесточенной  
 Берусь за пагубную сталь,  
 Уже рассудокъ мой смущенный  
 Забылъ и горе, и печаль—  
 Готовъ... Но цѣпь порабоченья  
 Гремить на скованныхъ ногахъ  
 И замираетъ сталь отмщенья  
 Въ холодныхъ, трепетныхъ рукахъ!  
 Какъ рабъ испуганный, бездушный,  
 Клянусь свой жребій я тогда,  
 И вновь взираю равнодушно  
 На жизнь позора и стыда.

Это стихотвореніе явилось въ изданіи 1832 г. съ пропускомъ 8 стиховъ (именно 7—8, 25—28, 35—36). Едва ли сомнительно, что указанные выше пѣсни „плѣннаго иривезца“ и „погибающаго пловца“ не были плодомъ чистой фантазіи и, напротивъ, имѣли автобіографическую основу—въ тѣхъ мысляхъ о погибели, которыя неизмѣнно сопровождали Полежаева въ этомъ періодѣ его жизни, или даже были вполнѣ автобіографическими. Та же личная судьба внушила стихотвореніе „Ожесточенный“.

О, для чего судьба меня стубила?  
 Зачѣмъ изъ цѣпи бытія  
 Меня на вѣкъ природа исключила,  
 И страшно живнѣ умеръ я?  
 Еще въ груди моей бунтуетъ пламень  
 Неугасаемыхъ страстей,  
 А совѣсть, какъ врага заклятый камень,  
 Гнететъ отверженца людей!  
 Еще мой взоръ, блуждающій, но быстрый,  
 Порою къ небу устремленъ,  
 А божества святой, отрадной искры—  
 Надежды съ вѣрой—я лишень! и проч.

Это и другія стихотворенія подобнаго тона рисуютъ намъ картину душевныхъ страданій, которыми безпомощно былъ охваченъ поэтъ; юноша, еще не окрѣпшій и всѣми покинутый, не въ состояніи былъ выдержать борьбы съ своей бѣдой... Только отдаленные намеки мы находимъ здѣсь на то содержаніе, какое развилось тогда въ его міровоззрѣніи: онъ изображаетъ себя какъ „врага угнетеній“, онъ говоритъ о „священной свободѣ“, о любви къ прекрасному; можно видѣть, что его мысль была настроена скептически относительно окружающей его жизни; онъ называетъ себя атеистомъ...



По этимъ указаніямъ и по нѣкоторымъ чертамъ его стихотвореній, не попавшимъ въ печать, видно, что попытки Полежаева складывались въ духѣ того свободомыслія и перваго критическаго отношенія къ дѣйствительности, какія отличали уже нѣкоторую часть общества двадцатыхъ годовъ, какія въ иномъ примѣненіи сказались въ тайныхъ обществахъ того времени, а въ литературѣ— въ свободолобивыхъ опытахъ Пушкина, въ „Горѣ отъ ума“ и проч. Въ этомъ складѣ идей было, какъ извѣстно, много неопредѣленнаго: это были извѣстныя положенія полу-реальныя, полу-мечтательныя, которымъ предстояло еще выясниться, и они дѣйствительно выяснились потомъ въ литературное содержаніе тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. По всей вѣроятности и мысли Полежаева заключались въ такой же идеалистической любви къ „священной“ свободѣ и враждѣ къ „угнетенію“, съ которыми, какъ въ то же время у Пушкина и его друзей, соединялся съ другой стороны болѣе или менѣе безпутный эпикуреизмъ, гдѣ также видѣлась свобода— отъ рутинны стѣсняющаго обычая... Теперь для Полежаева всему прежнему характеру его жизни, внѣшней и внутренней, былъ положенъ конецъ: исчезли друзья, погбли молодыя удовольствія, „священная свобода“ была оскорблена и смята, а вмѣстѣ и идеальныя интересы упразднены— ихъ некуда было помѣстить, они теряли смыслъ. Страшный разгромъ, повидимому, не вдругъ былъ понятъ Полежаевымъ во всемъ его объемѣ; чѣмъ дальше, онъ чувствовался, кажется, все сильнѣе. Въ первое время въ его стихотвореніяхъ слышится если не раскаяніе, въ которомъ бываетъ извѣстное внутреннее примиреніе, то признаніе за собой великихъ преступленій— иначе нельзя было объяснить постигшей его казни.

И дышетъ все въ созданіи любовью,  
 И живы—червь, и прахъ, и листь,  
 А я, *злодѣй*, какъ Авелевой кровью  
 Запечатлѣвъ—я атеистъ!..  
 И вижу я, какъ горестный свидѣтель,  
 Сіянье утренней звѣзды,  
 И съ каждымъ днемъ твердить мнѣ добродѣтель:  
 „Страшися, страшися готовой мзды!“..

Такъ говоритъ онъ въ стихотвореніи „Ожесточенный“, на которое мы выше указывали. Единственный выходъ изъ этого состоянія—уничтоженіе, и онъ ищетъ его:

И жизнь моя мучительнѣ ада,  
 И мысль о смерти тяжела...  
 А вѣчность... ахъ! она мнѣ не награда—  
 Я сынъ погибели и зла!

Зачѣмъ же я возникъ, о провидѣнье,  
Изъ тѣмы вѣковъ передъ тобой?  
О, обрати опять въ уничтоженье  
Атомъ, караемый судьбой!

Такимъ же настроеніемъ проникнуто, вѣроятно написанное въ это же время, стихотвореніе: „Живой мертвецъ“; мысль о смерти дѣлается мыслью о самоубійствѣ. Вотъ конецъ этого стихотворенія:

...Игра страстей,  
Живой стою при дверяхъ гроба  
И скоро, скоро мечь и злоба  
Навѣкъ уснуть въ груди моей!  
Кумиры счастья и свободы  
Не существуютъ для меня,  
И, членъ ненужный бытія,  
Не оскверню собой природы!  
Миѣ міръ—пустыня, гробъ—чертогъ!  
Сойду въ него безъ сожалѣнья,  
И пусть за мигъ ожесточенья  
Самоубійцу судить Богъ!

Но упадокъ духа, отчаяніе не овладѣвали имъ до конца; въ другія минуты, въ это же время, онъ смѣло смотрѣлъ на враждебную судьбу и, готовый погибнуть, не хотѣлъ ей покоряться или виниться передъ ней. Дальше мы встрѣтимся съ этимъ настроеніемъ.

Одно изъ любопытнѣйшихъ произведеній этой автобіографической поэзіи есть пьеса „Арестантъ“, только отрывочно известная Бѣлинскому<sup>1)</sup>. Пьесѣ предшествуетъ обращеніе къ Лозовскому, не разъ помянутому въ стихахъ Полежаева, котораго Лозовскій былъ, кажется, вѣрнымъ другомъ въ его послѣдніе годы. Въ этомъ обращеніи сказалась глубокая черта настоящаго несчастья, когда человѣкъ перестаетъ довѣрять самымъ близкимъ и даже единственному близкому человѣку. Вотъ нѣсколько стиховъ:

<sup>1)</sup> Сочин., т. VI, изд. 2, стр. 191. Перечисляя лучшія стихотворенія Полежаева, которыя должны бы войти въ ихъ собраніе, Бѣлинскій прибавляетъ: „Сверхъ того, въ одномъ московскомъ журналѣ, чуть ли не въ „Галатей“ 1830 года, былъ напечатанъ замѣчательный по своему поэтическому достоинству отрывокъ изъ какого-то большого стихотворенія Полежаева; мы не помнимъ его названія, но помнимъ стихи, которыми онъ начинается:

...И я въ тюрьмѣ..  
Передо мной едва горитъ  
Фитиль въ разбитомъ черепкѣ;  
Съ ружьемъ въ ослабленной рукѣ  
У двери дремлетъ часовой“..

См. въ изданіи Ефремова, стр. 65.

...И мы сошлись! Ты—въ красотѣ  
 Цвѣтущихъ дней, а—въ нищетѣ  
 Поворныхъ узъ... Добро или зло  
 Тебя къ страдалцу привело?  
 Боюсь понять: подъ игомъ бѣды  
 Мнѣ подозрителенъ весь свѣтъ...  
 Быть можетъ, вѣтренникъ молодой,  
 Смѣясь надъ глупой добротой,  
 Вмѣнивши шалости въ законъ  
 И быстрымъ чувствомъ увлеченъ,  
 Ты ложной жалостью хотѣлъ  
 Смягчить ужасный мой удѣлъ  
 Или осмѣять мою тоску;  
 Быть можетъ, лестью простаку  
 Желалъ о счастья вспомнать,  
 И вновь жестоко обмануть...  
 Но пусть, игралище страстей,  
 Я буду куклою для людей!  
 Пусть ихъ коварства лютой адъ  
 Въ моей груди усилитъ адъ—  
 И ты не лучше ихъ ничѣмъ!..

Но порывъ недовѣрія смѣняется сознаниемъ собственной при-  
 вязанности къ другу:

Не знаю самъ: за что, зачѣмъ  
 Я полюбилъ тебя! Твой взоръ  
 Не есть несчастному укоръ!  
 Твой голосъ, звукъ твоихъ рѣчей  
 Мнѣ милъ, какъ сладостный ручей, и проч.

Это было писано въ Спасскихъ казармахъ въ 1828 году, т.-е. въ то время, когда Полежаевъ судимъ былъ за „отлучку изъ полка“; мы упоминали, что онъ хотѣлъ бѣжать въ Петербургъ, чтобы лично подать свою просьбу импер. Николаю. Самая пьеса, которую Полежаевъ посылалъ Лозовскому, есть разсказъ объ его тюрьмѣ и тюремной жизни. Это—цѣлая небольшая поэма, одно изъ лучшихъ произведеній мрачной поэзіи Полежаева, одинъ изъ любопытнѣйшихъ историческихъ эпизодовъ русской литературы. Она производитъ гнетущее впечатлѣніе „Шилонскаго узника“, съ тою разницей, что здѣсь темою было не созданіе фантазіи, не пересказъ чужой бѣдственной исторіи, а подлинная исторія несчастливца, талантливаго поэта, рассказанная имъ самимъ. Въ этой пьесѣ могутъ быть художественные недостатки, есть несомнѣнныя крайности слишкомъ остраго реализма (которыми впрочемъ, пожалуй, не удивишь нынѣшнихъ любителей Зола или даже графа Л. Н. Толстого), картина мѣстами груба, но въ пьесѣ такъ много реальной и психологической правды

и проблесковъ истинной поэзіи, и такъ поразительна ея автобиографическая сторона, что пьеса производитъ сильное впечатлѣніе. Могло быть, что пьеса и не назначалась для печати и была только отвѣтомъ на дружескіе вопросы Лозовскаго.

Увы! старинный даръ стиховъ,  
И слѣдъ сатиръ. и острыхъ словъ  
Исчезли въ буйной головѣ,  
Какъ слѣдъ Дріады на травѣ,  
Иль запахъ розы молодой  
Подъ недостойною пятой!..  
Поэтъ идѣнительныхъ страстей  
Живой сидитъ въ когтяхъ чертей,  
Атласныхъ ручекъ не поетъ  
И чуть по-волчьи не реветъ...  
Броня сермяжная и штыкъ—  
Удѣлъ того, кто былъ великъ  
На полѣ перьевъ и чернилъ;  
Солдатскій киверъ освѣнилъ  
Главу, достойную вѣнка...  
И Чайльдъ-Гарольдова тоска  
Лежитъ на сердцѣ у того,  
Кто не боялся никого...

На дружескій призывъ поэтъ отвѣтитъ въ послѣдній разъ и испишетъ листъ бумаги.

Прочти его и согласишься,  
Что если средства нѣтъ спастись  
Отъ угнетеній и цѣпей,  
То жизнь страшнѣе ста смертей,  
И что свободный человекъ  
Свободнымъ кончить долженъ вѣкъ...

Мѣсто дѣйствія— „большой кругомъ обстроенный домъ, известный въ Москвѣ подъ именемъ казармъ“; на огромномъ дворѣ находится гауптвахта и въ ней тюрьма, сырая, мрачная и гнилая:

Въ тюрьмѣ жертвъ на пять или шесть  
Рядъ малыхъ наръ у печки есть...  
И противъ наръ вдоль по стѣнѣ  
Доска, подобная скамьѣ...  
И десять удалыхъ головъ,  
Судьбы рѣшительныхъ враговъ,  
На малыхъ нарахъ тѣхъ сидятъ,  
И кандалы на нихъ гремятъ...

Съ ними вмѣстѣ находится и поэтъ:

И на доскѣ, что у окна  
На двухъ столбахъ утверждена.

Броней сермяжною одѣтъ,  
 Лежитъ вербованный поэтъ.  
 Броня на немъ, броня подъ нимъ,  
 И все одна и та же съ нимъ,  
 Какъ вѣрный другъ, всегда лежитъ,  
 И согрѣваетъ, и хравить...  
 Кисеть съ негоднымъ табакомъ  
 И погновѣснымъ пятакомъ,  
 На необтесанномъ столѣ,  
 Лежитъ у узника въ углѣ.  
 Здѣсь онъ, во цвѣтѣ юныхъ лѣтъ,  
 Обезображенъ, какъ скелетъ,  
 Съ полустриженной брадой,  
 Томится лютою тоской...  
 Онъ не живетъ уже умомъ:  
 Душа и умъ убиты въ немъ.

Но иногда его посѣщаетъ „рой золотыхъ видѣній“:

Воспоминанья старины,  
 Какъ обольстительные сны,  
 Его тревожатъ иногда;  
 Въ забвеньи горестномъ тогда  
 Онъ воскресаетъ бытіемъ:  
 Безумнымъ радостнымъ огнемъ  
 Тогда глаза его горять,  
 И слезы крупныя блестять,  
 И, очарованный мечтой,  
 Надежду жизни молодой  
 Несчастный видитъ, ловить вновь—  
 Опять поетъ, опять любовь  
 Къ свободѣ, къ міру въ немъ кипить!  
 Онъ къ ней стремится, къ ней летить,  
 Онъ полонъ милыхъ сердцу думъ...  
 Но вдругъ цѣпей желѣзныхъ шумъ,  
 Иль хохоть глухихъ бѣглецовъ, —  
 Тюрьмы бессмысленныхъ жильцовъ,  
 Раздася въ сводахъ роковыхъ —  
 И рой видѣній золотыхъ,  
 Какъ легкій утренній туманъ,  
 Унесъ души его обманъ...  
 Такъ жнецъ на пажити родной,  
 Стрѣлой сраженный громовой,  
 Внезапно падаетъ во прахъ —  
 И замеръ серпъ въ его рукахъ...  
 Надежду, радость — все взяла  
 Молниеносная стрѣла!

Онъ оставленъ всѣми „какъ въ море брошенный челнокъ въ добычу яростной волнѣ“; вѣрное участие друзей не тяготитъ его больше:

Изъ ста знакомыхъ щегольковъ,  
 Большого свѣта знатоковъ,  
 Никто ошибкою къ нему  
 Не залеталъ еще въ тюрьму...  
 Да и прекрасно... Для чего?..

Мы приводили выше воспоминаніе объ отцѣ, которое находится въ этой же пьесѣ; онъ просить у него „прощенія любви“:

..... Моя вина  
 Ужасной местию отмщена!  
 Завѣса вѣчности нѣмой  
 Упала съ шумомъ предо мной...  
 Я вижу .....

..... Мой стонъ  
 Холоднымъ вѣтромъ разнесенъ  
 И трупъ мой брошенъ въ снѣдь червямъ,  
 И нѣтъ ни камня, ни креста,  
 Ни огороднаго шеста  
 Надъ гробомъ узника тюрьмы —  
 Жилыца ничтожества и тьмы.

Было бы долго исчислять всѣ автобиографическія черты, разсѣяныя въ поэзіи Полежаева. Мы укажемъ вкратцѣ еще нѣкоторыя подробности. Каждое глубокое лирическое движеніе почти неизмѣнно связано у него съ мыслью о собственной судьбѣ, и эта мысль нерѣдко находитъ высокое поэтическое выраженіе — печальное, но прекрасное. Его фантазія вращается въ трагическихкихъ темахъ. Таково стихотвореніе „Осужденный“. Этотъ осужденный совершалъ какія-то преступленія, но онъ встрѣтитъ казнь безъ боязни; онъ чѣмъ-то свыше осужденъ на свою суровую долю и не покажетъ раскаянія и слезъ безчувственной толпѣ:

Давно душой моею мятежной  
 Какой-то демонъ овладѣлъ,  
 И я зловѣщій мой удѣлъ,  
 Неотразимый, неизбежный,  
 Въ дали туманной усмотрѣлъ.

Не розы свѣтлаго Павоса,  
 Не ласки Гурій въ тишинѣ,  
 Не искры яхонта въ винѣ,  
 Но смерть, свѣира и колеса  
 Всегда мнѣ грезились во снѣ.

Меня постигла дума эта  
 И ознакомилась со мной,  
 Какъ холодъ съ южною весной,  
 Или фантазія поэта  
 Съ унылой сѣверной луной.

Мои утраченные годы  
 Текли, какъ бурные ручьи,  
 Которыхъ мутныя струи  
 Не серебрять, а пѣнять воды  
 На лонѣ илистой земли.

Въ знаменитомъ нѣкогда стихотвореніи „Провидѣніе“ опять картина гибели, торжества „злбнаго генія“, которое вдругъ прервано было неожиданнымъ лучомъ надежды, когда —

Какой-то скрытый,  
 Но мной забытый  
 Издавна Богъ  
 Изъ тьмы открытой  
 Меня извлекъ.

Пребываніе на Кавказѣ отвлекло поэта отъ его мрачныхъ мыслей о личной судьбѣ; его фантазія была поражена и развлечена шумными событіями или увлекалась идиллическими картинами патриархальнаго быта; пробуждалось мягкое чувство и новое увлеченіе. Но съ возвращеніемъ въ Москву въ душѣ поэта начинается прежняя борьба, съ которой онъ не въ силахъ совладѣть. Къ 1834 году относится сильное стихотвореніе „Негодование“, которое начинается воспоминаніями о свѣтлой старинѣ —

Гдѣ ты, время невозвратное  
 Незабвенной старинны?  
 Гдѣ ты, солнце благодатное  
 Золотой моей весны? и пр.

и кончается проклятіями „плотояднымъ притѣснителямъ“, на которыхъ онъ призываетъ истребительные громы...

Въ ноябрѣ 1835 года онъ писалъ свою пьесу „Прощаніе“ — холодное размышленіе о предстоящемъ концѣ. Въ слѣдующемъ году написано стихотвореніе „Отчаяніе“:

. . . . . Затѣмъ я на землѣ  
 Влачу убійственное бремя?  
 Скорѣй во прахъ!.. Въ холодной мглѣ  
 Покойно спитъ земное племя:  
 Ничто печальной тишины  
 Костей изсохшихъ не тревожить,  
 И черепъ мертвой головы  
 Одинъ лишь червь могильный гложеть...

Нѣкоторымъ перерывомъ или, пожалуй, только видоизмѣненіемъ въ этой мрачной повѣсти былъ эпизодъ ея, вызванный упомянутою встрѣчей съ г-жею Бибиковой. Отрадныи отдыхъ, встрѣ-

ченный Полежаевымъ въ этомъ семействѣ, отразился въ нѣсколькихъ стихотвореніяхъ, прямо или косвенно посвященныхъ г-жѣ Бибиковой.

О, тотъ постигнуть верхъ блаженства,  
Кто въ высшей цѣли идеаль,  
Кто всѣ земныя совершенство  
Въ одномъ созданьи увидать!  
Кому же? Мнѣ, рабу несчастья,  
Приснился дивный этотъ сонъ —  
И съ тайной силой самовластья  
Упалъ, налегъ на душу онъ.  
Я вижу! нѣтъ, не сновидѣнье  
Меня ласкаетъ въ тишинѣ!

Въ стихотвореніи „Черные глаза“, на которое обратилъ особенное вниманіе Бѣлинскій и въ которомъ онъ отмѣтилъ художественную невыдержанность, есть прекрасные стихи, выражающіе съ большою силой этотъ, кажется, послѣдній возвратъ къ давно забытому свѣтлому человѣческому чувству.

О, грустно мнѣ!.. Вся жизнь моя—гроза!..  
Наскучилъ я обителью земною!..  
Зачѣмъ же вы горите предо мною,  
Какъ райскіе лучи предъ сатанюю,  
Вы — черные, волшебные глаза?

Увы! давно, печаленъ, равнодушенъ,  
Я привыкалъ къ лихой моей судьбѣ:  
Неистовый, безжалостный къ себѣ,  
Презрѣлъ ее въ отчаянной борьбѣ,  
И гордо былъ несчастію послушенъ...

Старинный рабъ мучительныхъ страстей,  
Я испыталъ ихъ бремя роковое;  
И буйный духъ, и сердце огневое  
Давно смирилъ въ обманчивомъ покоѣ,  
Какъ лютый врагъ покоя и людей!

Въ моей тоскѣ, въ невогѣ безотрадной,  
Я не страдалъ, какъ робкая жена:  
Меня несла противная волна,  
Несла на смерть — и гибель не страшна  
Казалась мнѣ въ пучинѣ безпощадной...

. . . . .

И погруженъ въ преступныя сомнѣнья  
О цѣли бытія, судьбу кляня,  
Я трепеталъ, чтобъ истина меня,  
Какъ яркій лучъ, внезапно осѣня,  
Не навлекла изъ тьмы ожесточенья.



Мнѣ страшень былъ великій переходъ  
 Отъ дерзкихъ думъ до свѣта провидѣнья;  
 Я набѣгалъ невиннаго творенья,  
 Второе бѣ могло, изъ сожгаѣнья,  
 Моей душѣ дать высивенній полетъ.

И вдругъ оно, какъ ангелъ благодатный...  
 О, нѣтъ! какъ духъ карающій и злой,  
 Свѣтлѣ дня, явилось предо мной  
 Съ улыбкой розъ, пылающихъ весной  
 На муравѣ долины ароматной!

Бѣлинскій приходилъ къ такому общему выводу о свойствахъ поэзіи Полежаева: „Отличительную черту характера и особенности поэзіи Полежаева составляетъ необыкновенная сила чувства, свидѣтельствующая о необыкновенной силѣ его природы и духа, и необыкновенная сила сжатаго выраженія, свидѣтельствующая о необыкновенной силѣ его таланта. Правда, одна сила еще не все составляетъ: важны подвиги, въ которыхъ бы она проявилась... Мы не видимъ въ Полежаевѣ великаго поэта, котораго творенія должны перейти въ потомство;... онъ погубилъ себя и свой талантъ избыткомъ силы, не управляемой браздами разума; но въ то же время Полежаевъ и въ паденіи замѣчательнѣе тысячи людей, которые никогда не спотыкались и не падали, выше многихъ поэтовъ, которые превознесены ослѣпленіемъ толпы, и его паденіе и поэзія глубоко поучительны; мы хотѣли показать, что источникъ всякой поэзіи есть жизнь, что судьба всякаго могучаго таланта — быть представителемъ извѣстнаго момента общественнаго развитія и что, наконецъ, могутъ падать только сильные, замѣчательные таланты... При другихъ условіяхъ, поэзія Полежаева могла бы развиться, расцвѣсть пышнымъ цвѣтомъ и дать плодъ сторицею: возможность этого видна и въ томъ, что имъ написано при ложномъ его направленіи, при неестественномъ его развитіи. Мы, не обинуясь, скажемъ, что изъ всѣхъ поэтовъ, явившихся въ первое время Пушкина, исключая гениальнаго Грибоѣдова, который образуетъ въ нашей литературѣ особую школу, — несравненно выше всѣхъ другихъ и достойнѣе вниманія и памяти — Полежаевъ и Веневитиновъ“.

Къ музѣ Полежаева Бѣлинскій примѣняетъ стихи Пушкина:

И мимо всѣхъ условій свѣта  
 Стремится до утраты силъ,  
 Какъ беззаконная комета  
 Въ кругу расчисленныхъ свѣтилъ...

и Бѣлинскій прибавляетъ: „Комета — явленіе безобразное, если хотите, но ея страшная красота для вѣждаго интереснѣе мгновеннаго блеска падающей звѣзды, случайно возникающей и безъ слѣда исчезающей на горизонтѣ ночнаго неба“<sup>1)</sup>.

Такъ представлялась Бѣлинскому поэзія Полежаева съ спеціально художественной точки зрѣнія. Взглядъ его остается, однако, одностороннимъ или, другими словами, сама художественная оцѣнка для своей полноты требуетъ еще много, жизненнаго, біографическаго опредѣленія произведеній поэта, судьба котораго въ самомъ дѣлѣ была чѣмъ-то особеннымъ, жестоко и уродливо исключительнымъ. Задатки сильнаго и оригинальнаго дарованія въ этомъ поэтѣ не подлежатъ сомнѣнію. Бѣлинскій вѣрно понялъ самобытность этого дарованія, которая у него, младшаго современника Пушкина, развивалась, однако, независимо отъ вліяній великаго поэта, овладѣвавшего безраздѣльно умами молодыхъ поколѣній. Недостатокъ или почти полное отсутствіе свѣденій не даетъ намъ возможности судить о ходѣ развитія Полежаева, но на самыхъ его стихотвореніяхъ мы видимъ, что онъ начинаетъ въ старомодномъ стилѣ до-пушкинскихъ временъ, но быстро переходитъ къ совершенно иному стилю содержанія и формы. Для своей шутилой поэмы, такъ печально рѣшившей всю его жизнь, онъ взялъ сюжетъ, выходящій за предѣлы литературы, но въ приѣмахъ ея любопытенъ поэтический реализмъ и легкій стихъ, какіе въ то время не были частымъ явленіемъ въ нашей литературѣ. Полежаевъ былъ, конечно, великимъ поклонникомъ Пушкина, но онъ не былъ его ученикомъ; его стихъ — не пушкинскій и иными чертами скорѣе какъ бы приготовляетъ къ Лермонтову, а также и къ Кольцову. Тотъ же Бѣлинскій, отмѣчая примѣры этого смѣлаго, энергическаго, своеобразнаго стиха, видѣлъ въ немъ свидѣтельство сильнаго таланта... Но съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ этотъ талантъ достигалъ своей юношеской зрѣлости, поэтъ былъ лишенъ основныхъ условій здороваго человѣческаго существованія: онъ былъ поставленъ въ такое положеніе, что путь обычнаго развитія былъ закрытъ для него безвозвратно. Въ то время, когда для молодого таланта, въ обыкновенныхъ условіяхъ раскрывается общественная жизнь съ ея матеріаломъ разнообразныхъ впечатлѣній, открывается личная жизнь съ волненіями работающаго ума и чувства, когда именно долженъ былъ созрѣвать талантъ подъ многоразличными воздѣйствіями общества, сочувственной среды, внушеній чужой великой поэзіи, нашъ поэтъ

<sup>1)</sup> Соч. Бѣлинскаго, т. VI, изд. 2, стр. 192.

попасть сразу, точно низвергнуть былъ въ пропасть той обстановки, которая изображена въ „Арестантъ“ съ такимъ очевиднымъ реализмомъ. Въ этой обстановкѣ онъ остался навсегда: она давила его каждый день; выхода не было, и не мудрено, что она легла невыносимымъ гнетомъ на всю жизнь его ума и чувства. Каждый идеальный порывъ, каждая мысль и влеченіе чувства обрывались на столкновениі съ его „дѣйствительностью“. Можно ли требовать, чтобы въ этой обстановкѣ „арестанта“ могли сформироваться выдержанныя созданія, отчеканенныя художественныя вещицы, выдѣлкѣ которыхъ другой поэтъ могъ посвящать свои пріятныя досуги?.. Поэзію Полежаева надо судить именно не разрывая ея съ тѣмъ біографическими данными, среди которыхъ она возникла; она мрачна какъ самая жизнь поэта; это—не свободное художественное творчество, а выраженіе чисто личной исключительной судьбы, испытанной сильнымъ талантомъ; оторванный на первыхъ порахъ расцвѣтавшей жизни отъ общества, онъ могъ наполнить свои произведенія только картинами субъективнаго чувства въ различныхъ настроеніяхъ его борьбы съ окружающимъ. Онъ до конца не мирится съ своей судьбой: нерѣдко, или всего чаще, повторяется мотивъ сожалѣнія объ растраченныхъ годахъ прежней жизни; иногда онъ, кажется, преувеличиваетъ свои заблужденія, которыя не превышали другихъ извѣстныхъ намъ примѣровъ тогдашней распущенности, но выросли въ его глазахъ въ виду постигшей его непомерной кары; но также часто сказывается другой мотивъ—упорнаго сознанія своего достоинства, отказа покориться обрушившемуся на него нападенію, взрывовъ суроваго протеста или, наконецъ, отчаянія, потери вѣры въ жизнь и человѣческую справедливость. Не мудрено, что все это содержаніе высказывалось въ поэзіи Полежаева очень неровно; ему было „не время пѣсни распѣвать“; но въ ряду его произведеній есть не мало такихъ, которыя до сихъ поръ производятъ сильное, хотя гнетущее впечатлѣніе. Такимъ образомъ это—поэтъ по преимуществу, почти исключительно личный, но вмѣстѣ съ тѣмъ его поэзія есть историческій памятникъ эпохи, исполненный глубокаго и мрачнаго смысла.

А. Пыпинъ.



---

# НОВЫЙ ФАРАОНЪ

РОМАНЪ ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ КНИГАХЪ.

Соч. Фридриха Шинльгарена.

---

## КНИГА ТРЕТЬЯ \*).

### I.

Приглашеніе Маріи въ Куртисамъ было принято съ большимъ удовольствіемъ въ домѣ Илиціусовъ. Въ особенности обрадовалась фрау Илиціусъ, не перестававшая видѣть въ дочери важнѣйшее орудіе своихъ плановъ. Она не сомнѣвалась, что если официальнымъ предлогомъ приглашенія было желаніе видѣть Марію, то истинная причина совершенно другая: американцы хотѣли узнать отъ нея, какъ по нѣмецкимъ понятіямъ удобнѣе устроиться съ приданнымъ. Она воздержалась отъ какихъ-либо особыхъ наставленій Маріи, будучи „твердо убѣждена“, что „въ такомъ богатомъ домѣ все будетъ изящно и богато, какъ въ общемъ, такъ и въ частностяхъ“. Ада, которая до самой послѣдней минуты, когда Марія уже сѣла въ экипажъ, всячески ухаживала за ней, была совершенно согласна съ своей мамой. Хотя Ада въ послѣднее время рѣдко видѣла профессора, но такъ какъ онъ при всякомъ свиданіи былъ такъ же любезенъ какъ прежде, а Анна постоянно разувѣрjala ее, когда она слегка выражала сомнѣніе въ прочности чувствъ профессора, то она и была болѣе чѣмъ когда-либо увѣрена въ успѣхѣ. Отецъ и Гер-

---

\*) См. выше: февраль, стр. 644.

бертъ тоже думали, что посѣщеніе Куртисовъ Маріей можетъ быть только полезнымъ для ихъ интересовъ. Въ семейномъ концертѣ не принималъ участія только Регинальдъ. Со времени рѣшительнаго разрыва съ Гербертомъ и переселенія Стефанія и Эгона въ новую квартиру, онъ очень рѣдко бывалъ у своихъ, а въ послѣдніе три дня вовсе не показывался. Но фрау Илиціусъ не беспокоилась на этотъ счетъ. Она была увѣрена, что „умный юноша“ былъ настоящимъ виновникомъ приглашенія. Избѣгая родительскаго дома, онъ просто хотѣлъ уклониться отъ нескромныхъ вопросовъ отца и Герберта и дѣлалъ видъ, что не участвуетъ въ игрѣ, которою въ сущности руководилъ...

Подъ вечеръ того же дня Марія и Смитъ прохаживались рука объ руку въ глубинѣ сада позади дома Куртисовъ. Всякій разъ, выходя изъ аллеи на открытое мѣсто, они освобождали руки, но снова соединяли ихъ, когда зеленая стѣна деревьевъ скрывала ихъ отъ постороннихъ взоровъ. Это повторялось нѣсколько разъ, пока наконецъ Смитъ, говорившій что-то въ полголоса съ видимымъ одушевленіемъ, почти страстью, — остановился и сказалъ съ улыбкой:

— Ты не стыдишься отца, который такъ долго медлилъ признать величайшее счастье, какое только могло выпасть ему на долю?

Марія обняла его и поцѣловала въ лобъ и въ губы.

— Вотъ мой отвѣтъ!

— Я и ожидалъ таковаго отвѣта отъ твоего великодушія, но твой отвѣтъ именно поэтому не вполне успокоиваетъ меня. Я часто думалъ, а теперь вижу ясно, что тотъ, кто хочетъ постоять за себя въ битвѣ жизни, долженъ имѣть при себѣ не только идеи, но и существа изъ плоти и крови, которыя являлись бы для него воплощеніемъ, земною осязательной формой его идей. Этого мнѣ недоставало съ той минуты, когда я, находясь въ Америкѣ, получилъ извѣстіе объ измѣнѣ твоей матери и о томъ, что судъ отдалъ тебя, моего единственнаго ребенка, подъ ея опеку; она намѣревалась выйти замужъ за того, кому я довѣрилъ ее и тебя. Съ тѣхъ поръ, по словамъ поэта, „солнце потухло для меня, среди свѣтлаго дня“... О, нѣтъ, для меня оно потухло уже съ того момента, когда рухнули мои надежды на соединеніе всѣхъ германскихъ племенъ подъ знаменемъ республики. Пускай же, подумай я, личное счастье погибнетъ вмѣстѣ съ общимъ; пусть тѣ, кто находятъ въ этомъ удовольствіе, пользуются моимъ имуществомъ, которое никогда не казалось мнѣ счастьемъ! И все-таки, моя радость, ты являлась передъ моими духовными глазами

въ образѣ будущаго, которое, наконецъ, должно было сдѣлаться настоящимъ, — въ то утро, когда я убѣдился, что прекрасная незнакомая фрейлейнъ съ чудесными глазами — моя дочь, — или теперь, когда я гляжу и не могу наглядѣться на тебя. Но когда я разставался съ тобой, когда я въ послѣдній разъ держалъ тебя на рукахъ — въ ту ужасную ночь, наканунѣ рѣшительной борьбы — ты была еще совсѣмъ крошка, едва умѣвшая лепетать имя отца. Слава Богу! ей будетъ лучше, чѣмъ мнѣ, — думалъ я тогда: — ей не придется учиться тяжкому искусству забывать. Безумецъ! я хотѣлъ достигнуть совершенства въ этомъ пустомъ искусствѣ, не сознавая, что вмѣстѣ съ тѣмъ разучался быть человекомъ.

— Ты не долженъ такъ говорить, отецъ, — возразила Марія тономъ нѣжнаго упрека. — Не всякому дается все. Благо тебѣ, что ты остался вѣренъ идеалу, котораго человѣчество, можетъ быть, никогда не достигнетъ. Если есть счастье на землѣ — такъ только въ этомъ; и по моему лишь тотъ, кто стремится къ нему, истинно вѣрить въ Бога. Но для такого человѣка все служить къ лучшему. Прошу тебя, стой на своемъ твердо, какъ и я стою. И развѣ счастье уже не обратилось къ намъ? Развѣ оно не помогло намъ найти другъ друга, хотя и послѣ долгой разлуки? соединиться болѣе прочными узами, чѣмъ еслибы мы встрѣтились, не подвергшись испытаніямъ! соединиться, чтобы не разлучаться никогда! Хотя будущее представляется мнѣ темнымъ, но одно для меня ясно, какъ день: мы не разстанемся, пока въ насъ сохранится дыханіе жизни!

Она снова обняла отца, между тѣмъ какъ слезы обильно струились изъ ея глазъ. На этотъ разъ Смитъ первый оправился и сказалъ твердымъ голосомъ:

— Я тоже рѣшилъ такъ. А теперь, дитя мое, обсудимъ, какъ намъ устроить все это, не подвергаясь невыносимымъ мученіямъ. Для меня было бы невыносимымъ — свыше моихъ силъ — встрѣтиться съ твоею матерью. Стало-быть, твое объясненіе съ нею должно пройти безъ моего личнаго участія. То-есть, не прежде чѣмъ я буду далеко отсюда, въ безопасности отъ нея. Если что меня удерживало здѣсь, гдѣ почва постоянно колеблется подъ моими ногами, такъ это ты. Теперь я могу уйти; гдѣ бы я ни былъ, я никогда не потеряю тебя изъ виду. Но тутъ дѣло идетъ не о насъ однихъ.

Онъ замолчалъ въ смущеніи, и взглянулъ на Марію, какъ будто прося ея помощи.

— Въ чемъ же дѣло, отецъ? — спросила Марія. — Кого же

еще это можетъ касаться? Я не понимаю. Твой другъ, конечно, вовсе не такъ боленъ, чтобы подъ этимъ предлогомъ пригласить меня сюда. Или ты не о немъ говоришь?

— Прежде всего я, конечно, хотѣлъ бы говорить о немъ, — отвѣчалъ Смитъ. — Хватить ли у меня мужества — я хочу сказать: имѣю ли я право — говорить о другомъ, что камнемъ лежитъ у меня на душѣ... но оставимъ это. Ты говоришь, Ральфъ не такъ боленъ. Въ физическомъ отношеніи — можетъ быть. Но тѣмъ хуже его болѣзнь. Боже мой! неужели ты ничего не подозрѣваешь?

Безпокойство отца сообщилось теперь и Маріи, только у нея оно сопровождалось неудовольствіемъ, котораго она не могла и не хотѣла скрывать.

— Извини, дорогой отецъ! — сказала она: — въ этомъ отношеніи я не могу вполне сочувствовать тебѣ. Ты, разумѣется, говоришь о склонности или страсти твоего друга къ Адѣ. Если ты считаешь это болѣзнию — я могу только согласиться съ тобой; да, это болѣзнь, которой ты не излечишь, иначе уже давно бы излечилъ. Этого не случилось; и тебѣ остается только предоставить его самому себѣ. Конечно, это тяжело, но что же еще ты можешь сдѣлать?

— Боже мой, она дѣйствительно ничего не подозрѣваетъ! — прошепталъ Смитъ.

Эти слова были сказаны такъ неясно, что Марія не слышала бы ихъ, еслибы даже слушала внимательно. Но этого не было. Дѣло въ томъ, что, произнося свои послѣднія слова, она увидѣла Ральфа, который выпелъ изъ дома на веранду и сталъ спускаться въ садъ, очевидно желая присоединиться къ нимъ: онъ сдѣлалъ знавъ рукой и ускорилъ шаги. Его появленіе именно въ эту минуту было для нея тѣмъ неожиданнымъ, что сегодня утромъ, при ея посѣщеніи, онъ поручилъ извинить его въ томъ, что не можетъ ея видѣть; кромѣ того, она знала отъ отца, что Ральфъ провелъ очень дурную ночь и не выйдетъ сегодня, а, можетъ быть, даже и завтра, изъ своей комнаты. Поэтому и самъ Смитъ, увидѣвъ Ральфа, видимо испугался.

— Ради Бога, Ральфъ, — воскликнулъ онъ, — что это значитъ? Кто вамъ позволилъ встать?

— За непнѣніемъ кого-нибудь другого, я самъ, — возразилъ Ральфъ. — Я почувствовалъ себя лучше и рѣшилъ воспользоваться случаемъ привѣтствовать нашу дорогую гостью.

Онъ съ улыбкой протянулъ руку Маріи. Улыбка была очень ласковая, но, какъ показалось Маріи, смущенная, и лицо необычайно блѣдно, а рука холодна какъ ледъ.

— Это очень любезно съ вашей стороны, — сказала она, подавляя свое волненіе, — но я боюсь, что слишкомъ любезно. Вы не должны подвергаться опасности изъ-за меня.

— Побраните его хорошенько! — воскликнулъ Смитъ. — Онъ и меня пересталъ слушаться.

— Да и васъ прошу — не слушайте его! — сказалъ Ральфъ, положивъ руку на плечо стараго друга. — Онъ не дастъ мнѣ ни малѣйшей свободы. Какъ же тутъ выздоровѣть? Надѣюсь, фрейлейнъ Марія, вы заведете другой порядокъ.

Марія отвѣчала на это только неопредѣленной улыбкой, такъ какъ не могла найти подходящаго возраженія. Она чувствовала себя неловко въ присутствіи человѣка, о которомъ только-что съ горечью говорила отцу, не высказавъ, однако, вполне своего чувства. Зачѣмъ онъ явился именно теперь — отнимать у нея драгоценныя минуты — первыя, которыя она могла безъ помѣхи провести съ отцомъ?!

А отецъ не на шутку испугалъ ее, вознамѣрившись, повидимому, оставить ихъ наединѣ: не говоря ни слова, онъ повернулся и пошелъ къ дому.

— Не лучше ли намъ всѣмъ войти въ домъ? — поспѣшно сказала Марія.

— Пожалуйста, останьтесь! — сказалъ Смитъ, остановившись. — Я хочу только принести Ральфу плѣдъ. Ему не слѣдуетъ часто подниматься по лѣстницѣ. Я сейчасъ вернусь.

Онъ ушелъ. Марія, не видя никакой возможности послѣдовать за нимъ, такъ какъ Ральфъ, повидимому, вовсе не намѣревался уходить, должна была остаться, не на шутку разсерженная. Въ самомъ дѣлѣ, тутъ былъ какъ будто умыселъ со стороны отца. Или профессоръ незамѣтно отъ нея сдѣлалъ ему знакъ? Ужъ не хотѣлъ ли онъ разсказать ей о своей болѣзни, которая была „вовсе не физическая“? Не намѣревался ли открыть ей свою душевную скорбь? просить ея ходатайства, которое въ сущности было излишнимъ? или отпущенія, котораго она не могла ему дать, не оскорбляя своихъ самыхъ заветныхъ чувствъ?

## II.

Между тѣмъ какъ такія мысли толпились въ ея головѣ, профессоръ стоялъ рядомъ съ ней, устремивъ взоръ на градку съ цвѣтами. Блѣдность его, уступившая на мгновение мѣсто болѣе живому цвѣту, снова испугала ее; нервная дрожь про-



бѣгала по его безцвѣтнымъ губамъ. Ей стало жаль этого чело-  
вѣка; очевидно, онъ сильно страдалъ, вспоминая о разговорѣ, ко-  
торый они вели на балѣ, и сознавая, какъ рѣзко противорѣчитъ  
содержаніе этого разговора тому признанію, которое ему теперь  
такъ трудно было высказать. Быть великодушнымъ — значить  
имѣть настолько мужества, чтобы, несмотря на свою собствен-  
ную скорбь, не поддаваться мелочнымъ чувствамъ. Но молчать  
и оставлять челоѣка безъ помощи въ его душевной тоскѣ было  
бы мелочнымъ.

— Итакъ,—она сказала, продолжая идти рядомъ съ нимъ,  
но уже не по аллеѣ, а по дорожкѣ между влумбами: — я съ  
удовольствіемъ вспоминаю о вечерѣ въ нашемъ домѣ—въ про-  
шломъ мѣсяцѣ. Надѣюсь, и вы сохранили о немъ пріятное вос-  
поминаніе?

— Пріятное—слишкомъ слабое выраженіе для того чувства,  
съ которымъ я вспоминаю о немъ,—сказалъ Ральфъ взволнован-  
нымъ голосомъ.

— Предоставляю вамъ выбрать выраженіе,—отвѣчала Марія.  
—Я съ своей стороны всегда была довольна, если могла назвать  
какое-нибудь воспоминаніе пріятнымъ. Впрочемъ я понимаю,  
что могутъ быть впечатлѣнія, для которыхъ это скромное слово  
недостаточно.

— Нѣтъ, нѣтъ, недостаточно—для меня въ этомъ случаѣ,—  
проговорилъ Ральфъ.—Могу сказать безъ преувеличенія: то были  
прекраснѣйшія минуты въ моей жизни. Еслибы я умеръ въ  
ту же ночь—а я и въ самомъ дѣлѣ думалъ, что умру—моя по-  
слѣдняя мысль была бы: я жилъ не напрасно.

Марія подумала о томъ, какъ бы она была счастлива, если-  
бы въ ту ночь, когда она и наяву, и во снѣ видѣла его лицо,  
чей-нибудь правдивый голосъ ей сказалъ: онъ чувствуетъ то же,  
вспоминая о тебѣ. Но съ тѣхъ поръ прошли недѣли, и она пе-  
ресилила свое чувство. Пришло время доказать это самой себѣ. Она  
улыбнулась и сказала:

— Стало-быть вдвойнѣ хорошо, что это не была ваша по-  
слѣдняя мысль; что вы могли предаваться ей и потомъ, а теперь  
можете предаваться ей и всю остальную жизнь.

— Въ самомъ дѣлѣ? могу?—воскликнулъ Ральфъ.

Кровь бросилась ему въ лицо, и глаза загорѣлись яркимъ  
блескомъ. Никогда онъ не казался ей такимъ прекраснымъ; ни-  
когда она не сознавала такъ ясно, какъ сильно любить его, не-  
смотря ни на что. Но въ то же время она почувствовала не-

удержимый гнѣвъ: какъ можетъ онъ быть такимъ жестокимъ? говорить это ей—ей!

Она едва могла произнести:

— Я, право, удивляюсь, что вы въ теченіе этихъ недѣль не нашли случая предложить этотъ вопросъ той, которая одна можетъ отвѣтить на него.

Онъ ужаснулся, увидѣвъ выраженіе ея лица, услышавъ звукъ ея голоса. Онъ слышалъ ея слова, но не понималъ ихъ. Да и къ чему? Онъ видѣлъ, что его любовь отвергнута—навсегда.

— Простите,—прошепталъ онъ,—я вовсе не хотѣлъ оскорбить васъ.

Его руки бессильно опустились; глаза потуснѣли, какъ у мертвеца; насильственная улыбка превратилась въ гримасу, которая такъ и застыла на страшно поблѣднѣвшемъ лицѣ.

Марія испугалась, увидѣвъ, какое дѣйствіе произвели ея слова, хотя и не могла понять—почему. Безъ сомнѣнія, онъ думалъ, что она пользуется довѣренностью Ады; иначе его вопросъ былъ бы совершенной бессмыслицей. Можетъ быть, онъ понять ея слова въ томъ смыслѣ, что его любовь къ Адѣ безнадежна, и что объ этомъ ему нечего было спрашивать у ея сестры.

Она хотѣла вывести его изъ заблужденія, которое причинило ему такую ужасную скорбь. Но прежде чѣмъ она успѣла оправиться и сообразить, съ чего нужно начать, появился ея отецъ и спустился съ веранды съ пледомъ въ рукахъ.

Казалось, лицо его было оживлено ожиданіемъ чего-то хорошаго; но онъ тотчасъ замѣтилъ разстроенныя лица молодыхъ людей, и выраженіе его лица разомъ измѣнилось. Маріи показалось, что печальный взглядъ его обратился на нее съ упрекомъ.

— Я слишкомъ замѣшался,—сказалъ онъ послѣшно.—Вамъ дурно, Ральфъ,—я это вижу. Возьмите пледъ и дайте мнѣ вашу руку. Пойдемте въ домъ.

Онъ окуталъ Ральфа, лепетавшаго что-то непонятное, пледомъ и хотѣлъ увести его, когда на верандѣ появился Гартмутъ и послѣшилъ къ нимъ, крича еще на ходу:

— Вы слышали?

И такъ какъ никто не отвѣтилъ, продолжалъ:

— Въ императора стрѣляли—Подъ-липами—сегодня послѣ полудня. Я сейчасъ изъ города: тамъ страшная суматоха—понятно! А мы-то ничего не знаемъ! Еслибы я случайно не отправился по дѣламъ, мы не узнали бы этой новости до завтра.

— Убить императоръ?—спросилъ Смитъ.

— Нѣтъ!

— Раненъ?

— И не раненъ. Было два выстрѣла — неудачныхъ!..

— Ужасно! — воскликнулъ Смитъ. — Вѣроятно, преступникъ схваченъ?

— На этотъ счетъ будьте покойны: не ушелъ! — спокойно отвѣчалъ Гартмутъ.

— Пойдемте, Ральфъ, — сказалъ Смитъ, снова взявъ его подъ руку и уводя въ домъ. Марія, еще не оправившаяся отъ волненія послѣ странной сцены съ Ральфомъ и вдобавокъ ошеломленная извѣстiемъ объ ужасномъ преступленiи, нѣсколько замедлила. Когда она хотѣла догнать ихъ, Гартмутъ остановилъ ее.

— Фрейлейнъ Марія, — сказалъ онъ: — какъ мнѣ благодарить васъ за то, что вы пришли сюда!

— Благодарить? меня? — спросила Марія.

— Я знаю, что ваше посѣщенiе не касается меня, — съ улыбкой отвѣчалъ Гартмутъ. — Но солнце по-неволѣ свѣтитъ на правого и виноватаго. И на мою долю достанется часть его лучей, за что я васъ сердечно благодарю. Не стану васъ задерживать. Вотъ въ чемъ дѣло. Я собственно и въ городъ ходилъ за этимъ, зная, что это васъ обрадуетъ. Вотъ взгляните.

Говоря это, онъ вынулъ изъ кармана маленькiй, тщательно завернутый въ шолковую бумагу дагерротипъ, развернулъ его и подалъ ей.

— Вы часто выражали сожалѣнiе, что у васъ нѣтъ портрета вашего отца. Теперь вы его имѣете.

Еще сутки назадъ это былъ бы неоцѣненный подарокъ для Марiи; но и теперь ея руки дрожали, когда она старалась узнать въ этомъ портретѣ черты своего отца. Это былъ образецъ скромной техники того времени, прекрасно сохранившiйся.

— Неудивительно, — сказалъ Гартмутъ: — съ того самаго времени онъ лежалъ въ темномъ ящикѣ, гдѣ я нашелъ его вчера. Не знаю, фрейлейнъ Марiя — или, можетъ быть, вы позволите мнѣ называть васъ попрежнему просто Марiей, по крайней мѣрѣ когда мы одни — не знаю, помните ли вы шкафъ въ комнатѣ матери: онъ стоялъ напротивъ кровати — вверху шкафъ для платья, внизу — выдвигаемые ящики. Въ этихъ ящикахъ былъ сложенъ всякiй хламъ, еще въ то время, когда этотъ шкафъ стоялъ въ конторѣ отца, откуда за негодностью, конечно, перешелъ послѣ развода во владѣнiе моей матери. Вчера я разыскивалъ одну вещь и между прочимъ заглянулъ въ эти ящики, и тутъ среди связокъ ненужныхъ актовъ и разной макулатуры нашелъ кое-что интересное; интереснѣе всего, разумѣется, былъ для меня этотъ

портретъ. Въ достовѣрности его не можетъ быть сомнѣнія. На бумагѣ, въ которую онъ былъ завернутъ—я ее тоже взялъ— стояла надпись, сдѣланная рукою моего отца; вотъ она. „Портретъ моего дорогого Гартмута фонъ Альденъ“—я, стало быть, называюсь по имени вашего отца—„1844“. Въ то время они еще были друзьями!

Марія едва слушала. Чѣмъ болѣе она вглядывалась въ портретъ, тѣмъ болѣе исчезало въ немъ то незнакомое, что поразило ее сначала, пока наконецъ въ мечтательныхъ чертахъ юноши она увидѣла отца, такого, какимъ она его только-что видѣла.

Въ ту же минуту она услышала голосъ Гартмута:

— Вы не находите, что господинъ Смитъ удивительно какъ похожъ на вашего покойнаго отца? по крайней мѣрѣ былъ похожъ, когда былъ моложе?

Марія не смѣла поднять глаза. По тону вопроса она поняла, что Гартмутъ все знаетъ. Не рѣшаясь признаться и чувствуя себя неспособной солгать, она уклонилась отъ прямого отвѣта и спросила дрожащимъ голосомъ, можетъ ли она оставить у себя портретъ? Гартмутъ засмѣялся.

— Зачѣмъ же я и принесъ его? Не для того же, чтобы только подтвердить сходство между вашимъ отцомъ, который къ сожалѣнію умеръ, и мистеромъ Смитомъ, который... разумѣется, я не хочу сказать: къ сожалѣнію живъ. Но дружба въ вамъ заставляеть меня желать, чтобы было наоборотъ.

— Во всякомъ случаѣ вы доставили мнѣ большую радость.

— Я только этого и хотѣлъ.

Она протянула ему руку въ знакъ благодарности, и онъ, взявъ ее, сказалъ тихимъ, умоляющимъ голосомъ:

— Я желаю только одной награды: попытайтесь, только попытайтесь видѣть во мнѣ прежняго Гартмута.

Въ домѣ послышался звонъ колокола. Гартмутъ выпустилъ руку Маріи.

— Черезъ четверть часа обѣдъ. Надо переодѣться. Вы, можетъ быть, не знаете, что у меня теперь особая комната въ этомъ домѣ, чтобы при случаѣ имѣть возможность немедленно явиться въ общество. Притомъ сегодня пріемный день. Вѣроятно, будутъ гости.

Одно изъ оконъ перваго этажа растворилось. Анна выглянула въ садъ и позвала Марію, которая поспѣшила въ домъ. Анна осталась у окна и взглянула на Гартмута, который тоже смотрѣлъ на нее. Анна, какъ будто случайно, приложила палецъ къ губамъ, и затѣмъ захлопнула окно.

Гартмутъ не отвѣчалъ на этотъ знакъ; онъ только улыбнулся, и когда Анна закрыла окно—ирачная тѣнь легла на его лицо.

Судя по тому, какъ Марія отнеслась къ его подарку, она, очевидно, не хотѣла вступать съ нимъ въ оборонительный и наступательный союзъ. Очевидно, она хотѣла идти своей дорогой, добиваться своей цѣли безъ его помощи. Ну, все равно, онъ будетъ великодушенъ и не броситъ ей камень подъ ноги; разумѣется, если и она останется пассивной и не будетъ для него помѣхой.

„Теперь,—думалъ онъ уже въ своей комнатѣ,—отступать для меня почти такъ же опасно, какъ идти дальше. До сихъ поръ я имѣю только поцѣлуи, на мой вкусъ черезъ-чуръ страстные; а съ другой стороны, старикъ рѣшительно не такъ богатъ, какъ я думалъ, но миллионъ...“

Звонъ колокола послышался вторично. Гартмутъ надушил платокъ, бросилъ послѣдній взглядъ въ зеркало и пошелъ въ столовую.

### III.

Сытный обѣдъ, за которымъ прислуживало двое слугъ, казался какъ разъ такимъ, какъ описывала Анна домашнія трапезы, когда въ нихъ не принимали участіе, какъ на примѣръ сегодня, Ральфъ и Смитъ.

Анна и Гартмутъ почти все время молчали; старый Куртисъ говорилъ только о дѣлахъ, а его жена—только о парядахъ, и въ видѣ исключенія—о бывшемъ покушеніи, которое, повидимому, особенно интересовало г-жу Куртисъ. Она случайно находилась въ театрѣ, когда былъ убитъ Линкольнъ. Страшная сцена, очевидно, произвела на нее очень сильное впечатлѣніе, и теперь это проявилось весьма странно. Она вообразила, что такое покушеніе можетъ произойти только въ театрѣ, а потому и сегодняшнее покушеніе на императора должно было быть совершено лишь въ театрѣ, причемъ она отдавала предпочтеніе оперѣ, потому что этотъ театръ больше и великолѣпнѣе. Имя преступника тоже очень занимало ее. Она допускала, что его зовутъ „Гёдель“, но какое это ничтожное и, такъ сказать, забавное имя, которое не можетъ выдержать сравненія съ американскимъ „Бутъ“, не говоря уже о томъ, что родство американскаго убійцы съ знаменитымъ въ Соединенныхъ Штатахъ актеромъ придаетъ всему дѣлу нѣчто трагическое, тогда какъ нѣмецкій преступникъ съ смѣшной фамиліей плебея и вполнѣ подходит къ нѣмецкому *motto*: „де-

шево и северно". Такъ какъ Марія опасалась, какъ бы не всплыла вслѣдъ затѣмъ исторія про французскую герцогиню, которая была очень похожа на Марію и приходила наниматься въ компаньонки, то очень обрадовалась, когда г-жа Куртисъ устала отъ собственной болтовни, и торжественный обѣдъ окончился въ зловѣщемъ молчаніи.

Вечеръ, который всѣ проводили въ большомъ сосѣднемъ съ столовой салонѣ, долженъ былъ, казалось, пройти веселѣе. Приѣхали кое-кто изъ американской колоніи, въ томъ числѣ посланникъ Съверо-американскихъ Штатовъ съ женой, нѣмкой по происхожденію; докторъ Бруннъ и еще двое-трое нѣмцевъ, питавшихъ предпочтеніе къ американскому кружку. Наконецъ явилось нѣсколько литераторовъ и ученыхъ, личныхъ знакомыхъ Ральфа. Съ чашкой чаю въ рукахъ, разбиваясь на небольшія группы, часто переходя съ одного мѣста на другое, собравшееся общество вело оживленную бесѣду, большею частью по-англійски, но также и по-нѣмецки, такъ какъ Анна и Ральфъ изъ вѣжливости къ гостямъ говорили исключительно по-нѣмецки.

Марія была не очень пріятно удивлена, когда въ теченіе вечера появился и Ральфъ, все еще очень блѣдный, но во фракѣ, и, дружески улыбаясь, привѣтливо перекидывался словомъ то съ тѣмъ, то съ другимъ. Марія знала, что онъ избѣгалъ большихъ собраний, какъ сегодня вечеромъ, въ виду возможной встрѣчи съ гехеймратомъ и его супругой. Возможность этой встрѣчи подтвердилась и сегодня послѣ того, какъ Ада, пріѣхавшая съ Гербертомъ, объявила, что папа и мама извиняются въ томъ, что не пріѣхали; папа былъ неожиданно призванъ министромъ для обсужденія очень важнаго дѣла.

— Это начало конца, если не самый конецъ, — сказалъ Гербертъ Маріи, отводя ее въ сторону. — Я говорилъ папѣ, но онъ не хотѣлъ меня слушать. А теперь вдругъ это покушеніе... Кстати, ты ничего здѣсь не слышала про Регинальда?

Марія отвѣчала отрицательно. Гербертъ торопливо оглядѣлся вокругъ и сказалъ, ближе наклоняясь къ сестрѣ:

— Ему „подали карету“ еще третьяго-дня!.. во время катанья въ Грюневальдѣ. Я слышалъ это отъ Мейрингена; тотъ тоже участвовалъ въ прогулкѣ, хотя и не присутствовалъ при самой сценѣ. Онъ божится и клянется, что это вѣрно. А Регинальдъ съ тѣхъ поръ ведетъ себя какъ полоумный. Глупый сорвиголова! по дѣломъ ему! Я вѣдь это предсказывалъ... помнишь! Что за дурацкій фарсъ! Однако я пойду къ Аннѣ. Кстати: какъ идутъ дѣла Ады съ профессоромъ?

— Смотри самъ!—отвѣчала Марія, указавъ глазами на Аду и Ральфа, о чемъ-то живо разговаривавшихъ у окна.

Гербертъ нѣсколько секундъ внимательно глядѣлъ на нихъ, затѣмъ опустилъ лорнетъ и замѣтилъ, смѣясь:

— Она ловкая дѣвочка, а безъ большого богатства ей не прожить. Я бы желалъ только, чтобы дѣло, наконецъ, выяснилось. Пожалуйста, помоги! Однако, я и самъ не могу терять долге времени.

Онъ задумчиво покрутилъ бѣлокурые усы и пошелъ къ Аннѣ, которая стояла въ столовой у сервированнаго буфета и болтала съ нѣсколькими кавалерами.

Къ Маріи подошелъ докторъ Бруннъ. Онъ познакомился съ нею у постели одного больного въ госпиталѣ Августы, гдѣ она исполняла обязанности сестры милосердія, два года тому назадъ, и былъ радъ возобновить знакомство.

— Итакъ вы измѣнили дѣлу, къ которому у васъ рѣшительное призваніе, gnädiges Fräulein?

— Не совсѣмъ,—отвѣчала Марія,—но я не могу побѣдить сопротивленіе моего семейства.

— Общество можетъ только благодарить ваше семейство,—любезно отвѣчалъ врачъ.

— А гдѣ же вы найдете сестеръ милосердія, если всѣ такъ будутъ думать?

— Вы правы. И все-таки, долженъ сознаться, когда я вижу молодую, цвѣтущую дѣвушку, съ полнымъ самоотверженіемъ посвящающую себя этому труднѣйшему изъ всѣхъ призваній, у меня сердце разрывается: это... contra naturam... это неестественно.

— Въ такомъ случаѣ и христіанская вѣра, которая проповѣдуетъ непрерывное милосердіе и самоотреченіе, неестественна?

— Конечно!—поспѣшно отвѣчалъ докторъ.—И по тому самому мы, нѣмцы, безъ сомнѣнія лучшіе христіане въ мірѣ, всегда оказывались побѣжденными въ борьбѣ народовъ за существованіе. Вы въ здѣшнемъ домѣ могли познакомиться съ типической нѣмецкой христіанской, неспособной къ борьбѣ, личностью... съ господиномъ Смитомъ или, собственно говоря, Шмидтомъ, такъ какъ это его настоящее имя. Своимъ идеализмомъ онъ и профессора Ральфа почти превратилъ въ пустую форму. Но такъ какъ онъ, какъ и подобаетъ настоящему идеалисту, только въ чужихъ дѣлахъ прозорливъ, то и опомнился во-время и ждетъ не дождется, когда его ученикъ опять обратится въ свѣтскаго чело-вѣка. Не бойтесь, что я буду нескроменъ! Мы, врачи, принадлежимъ къ „кастѣ“, которой „прилично молчаніе“.

Онъ отошелъ отъ нея и присоединился къ группѣ, стоявшей неподалеку; Марія грустно поглядѣла ему вслѣдъ. И такъ, даже такой человѣкъ, какъ онъ, котораго повсюду превозносятъ за мудрость и благородство образа мыслей, и онъ считаетъ самоотверженіе неестественнымъ и находятъ въ порядкѣ вещей, когда человѣкъ поворачивается спиной къ идеализму и поклоняется воплощенному эгоизму и пустотѣ. Но и родной отецъ думаетъ на этотъ счетъ такъ же; докторъ Бруннъ это только-что подтвердилъ! Неужели же весь свѣтъ слѣпъ, и неужели она одна зрячая среди этихъ слѣпыхъ? Если такъ, то вмѣстѣ съ Кассандрой она должна просить слѣпоты у боговъ!

Одинъ за другимъ подходили къ ней кавалеры; каждый говорилъ съ ней о покушеніи. Она охотно подошла бы къ посланницѣ, единственной дамѣ въ салонѣ, кромѣ Куртисъ—матери и дочери, Ады и ея самой, и которая произвела на нее пріятное впечатлѣніе простотой и искренностью обращенія. Но ей это не удавалось, такъ какъ та тоже сидѣла въ тѣсномъ кругу, столпившемся вокругъ посланника. Онъ былъ во дворцѣ уже четверть часа спустя послѣ покушенія и видѣлъ если не самого императора, то великаго герцога Баденскаго и говорилъ съ нимъ.

— Я оплакиваю, — сказалъ онъ, — преступленіе отъ всего сердца не только изъ общечеловѣческихъ чувствъ, которыя всякому понятны, такъ что почти совѣстно и распространяться о нихъ, но также и вслѣдствіе политическихъ причинъ. Я боюсь, что либерализму придется тяжело расплачиваться въ Германіи за дѣяніе безумнаго человѣка, такъ какъ теперь примутся искоренять радикализмъ.

— А я надѣюсь именно на то, что его теперь вырвутъ съ корнемъ.

Посланникъ съ удивленіемъ взглянулъ на говорившаго.

— Отъ васъ я всего менѣе ожидалъ это услышать, докторъ.

Говорившій, стройный молодой человѣкъ съ красивымъ, выразительнымъ лицомъ, слегка покраснѣлъ и спросилъ искусственно развязнымъ тономъ:

— Почему же такъ, Excellenz?

— Потому что я не понимаю, какъ вы думаете произвести радикальную литературную революцію, — о которой вы ежедневно проповѣдуете съ кафедръ, въ своихъ газетахъ и въ разговорѣ, какъ недавно у меня въ домѣ, — безъ соотвѣтствующей политической?

— Прощу извинить, но я не усматриваю духовной связи между этими двумя революціями, — отвѣчалъ молодой человѣкъ.



— Я постараюсь выразиться яснѣе, — продолжалъ посланникъ. — Та литература, которую вы поддерживаете, реалистическая или, какъ вы ее сами охотнѣе называете, натуралистическая, главными представителями которой являются во Франціи Золя, въ Норвегіи Ибсенъ, — насквозь радикальная, какъ никакая другая; а по моему мнѣнію, съ которымъ и вы, надѣюсь, согласитесь, можетъ ли быть что-нибудь радикальнѣе, какъ доказывать или стараться доказать, — для моей аргументаціи то и другое безразлично, — что современное общество есть не что иное, какъ конгломератъ ошибокъ и заблужденій, которыя, передаваясь изъ поколѣнія въ поколѣніе въ теченіе столѣтій или тысячелѣтій, возросли до чудовищныхъ размѣровъ и въ матеріальномъ, и въ нравственномъ отношеніи, и на которыя натыкаешься тотчасъ же, если только попробуешь заглянуть въ глубь вещей? И что можетъ быть безотраднѣе, если вѣрить этимъ талантливымъ писателямъ и ихъ бездарнымъ послѣдователямъ? Любовь, которую до сихъ поръ воспѣвали наши поэты — дѣтская сказка! Семья — лживое, хищное гнѣздо! Идеальныя стремленія — забава глупцовъ или маска, за которую прячется эгоизмъ! Общественныя приличія — пыль, бросаема въ глаза наивнымъ людямъ! Государство — учрежденіе, измышленное умными и сильными для удобнѣйшей эксплуатаціи глупыхъ и слабыхъ! По-моему тутъ можетъ быть только одно изъ двухъ: или эти писатели честно вѣрятъ въ невыносимость положенія, которое описываютъ такъ краснорѣчиво, и тогда они должны предвидѣть, что прагматическимъ результатомъ ихъ словъ будетъ коренное преобразование такого гнилого общественнаго зданія. Или же они дѣлаютъ, чего нельзя предположить — *reservatio mentalis*, что въ сущности все, что они говорятъ, вовсе не такъ серьезно. Толпа, которой они ежедневно проповѣдуютъ „новое евангеліе“, не ограничится задачей обновленія слога, замѣной избитыхъ литературныхъ формъ новыми, болѣе интересными; она не приметъ во вниманіе *reservatio*, но отнесется къ дѣлу съ полною серьезностью, и результатомъ этого будетъ социальный переворотъ.

Посланникъ взялъ стаканъ пунша съ подноса, который подалъ ему слуга, выпилъ его залпомъ и слегка дрожащей рукой поставилъ обратно стаканъ на поднось. Его полное лицо стало красно, и онъ тяжело дышалъ. Приватъ-доцентъ спокойно слушалъ его; теперь онъ поднялъ красивое лицо и сказалъ съ легкой улыбкой:

— Excellenz, вы стоите относительно меня въ удобномъ положеніи человѣка, защищающагося обѣими руками противъ однокрукаго. Excellenz — писатель и къ тому же знаменитый, а вдоба-

вокъ государственный человѣкъ. Я же не что иное, какъ литераторъ никому неизвѣстный за предѣлами небольшого кружка собратій по специальности. Поэтому я буду просить позволенія отвѣчать чисто съ литературной точки зрѣнія. А съ этой точки зрѣнія я считаю теперешнее литературное движеніе, которому стараюсь по мѣрѣ силъ содѣйствовать—простою необходимостью, такою же, изъ каковой во всякую эпоху создавалась литература этой эпохи. Мы должны порвать съ отжившими поэтическими воззрѣніями и формами—иначе быть не можетъ: мы не можемъ болѣе жить грѣзами; мы должны внести и въ поэзію научный анализъ, властвующій надъ нашимъ временемъ. Но я буду откровененъ и прямо скажу: еслибы я предвидѣлъ вмѣстѣ съ вами такія пагубныя послѣдствія отъ нашего литературнаго дѣла, то счелъ бы патриотическимъ долгомъ сойти съ такой опасной дороги. Но я не предвижу такихъ послѣдствій,—напротивъ того, дорога, по которой мы идемъ, какъ разъ та самая, по какой шелъ и долженъ былъ идти величайшій государственный человѣкъ всѣхъ временъ, чтобы вывести Германію изъ ничтожества устарѣлыхъ формъ и возвысить ее до теперешняго могущества.

— Съ тою только разницей, что Бисмаркъ не начиналъ поклоненіемъ и подражаніемъ другимъ націямъ,—возразилъ чей-то голосъ изъ толпы гостей, которые теперь почти всѣ столпились около спорившихъ.

— Въ какомъ смыслѣ говорите вы это, г. профессоръ?—обратился приватъ-доцентъ къ Ральфу добродушнымъ тономъ учителя, охотно выслушивающаго возраженія ученика.

— Въ буквальный, — отвѣчалъ Ральфъ, выступая впередъ.— Меня, иностранца, крайне поражаетъ, когда я вижу на выставкахъ вашихъ книжныхъ магазиновъ горами наваленные экземпляры лучшихъ—разумѣй: худшихъ—французскихъ романовъ, тогда какъ тщетно было бы искать произведеній вашей собственной беллетристики; въ вашихъ журналахъ, въ фельетонахъ вашихъ газетъ съ глубокимъ уваженіемъ и педантическою точностью сообщаются отзывы о произведеніяхъ французскихъ, русскихъ, итальянскихъ, норвежскихъ писателей, а объ отечественныхъ говорится вскользь и большею частію неодобрительно. Мы же, иностранцы, всегда считали преимуществомъ нѣмецкой поэзіи глубокое чувство и идеальныя стремленія, возвышающіяся надъ пошлою дѣйствительностью. Эти два качества создали вашу классическую литературу, которую всѣ другія націи безъ всякой зависти признаютъ высшимъ выраженіемъ новѣйшаго духа. Если

оба эти качества измѣнять вамъ, вы не только должны будете уступить свое мѣсто во главѣ движенія, но, какъ рабскіе подражатели, очутитесь въ хвостѣ другихъ націй, которыя имѣютъ мужество быть самостоятельными.

Ральфъ замолчалъ; посланникъ протянулъ ему свою широкую ладонь и вскричалъ:

— Благодарю васъ, любезный Куртисъ! вы высказали какъ разъ то, что я думаю! Но не удивительно ли, что намъ, американцамъ, приходится въ странѣ поэтовъ и мыслителей ломать голову за идеализмъ?

— За призракъ идеализма, который уже во времена Шиллера существовалъ лишь въ воображеніи одного Шиллера!— вскричалъ привать-доцентъ.

— Того самого Шиллера, — подхватилъ посланникъ, — безъ мощнаго содѣйствія котораго вамъ бы не окупился вашъ театръ.

— Да, потому что его двери запираются передъ произведеніями гиганта Ибсена, — возразилъ привать-доцентъ, пожимая плечами.

— Гиганты обыкновенно пробиваютъ двери, которыя передъ ними запираются; вспомните про „Разбойниковъ“, — сказалъ Ральфъ.

— Мы живемъ не въ такое время, когда громкими фразами можно было бы одерживать побѣды.

— Зато теперь царятъ пустыя фразы.

— У Ибсена нѣтъ слѣда фразъ! Каждое слово у него — это глыба мрамора для храма его мыслей.

— Въ этихъ мысляхъ, если къ нимъ хорошенько приглядѣться, витаетъ старый духъ Иффланда и Коцебу, приправленный Шопенгауэровскимъ пессимизмомъ.

Такъ разгорался споръ все оживленнѣе и оживленнѣе. Марія отошла отъ кружка; противорѣчіе между воодушевленной защитой Ральфомъ достоинства поэзіи и его недостойною страстью къ Адѣ было ей больно. Къ тому же она знала, что волнение, связанное со споромъ, ему вредно и грозитъ отразиться на его здоровьѣ, можетъ быть, вызоветъ новый припадокъ болѣзни; но она не имѣла никакого права предостеречь его.

Она перешла изъ салона въ безлюдную столовую и нѣкоторое время безцѣльно бродила взадъ и впередъ. Ей вдругъ пришло въ голову, что въ послѣдніе полчаса Анна куда-то исчезла, а также и Гартмутъ. Неужели они опять затѣяли одинъ изъ своихъ вѣчныхъ споровъ и для удобства ушли изъ гостиной? Но

куда? Марія еще была совсѣмъ какъ въ лѣсу въ этой огромной квартирѣ.

Размышляя, она машинально раздвинула портьеру, закрывавшую окно съ нишей, служившей балкономъ, и при свѣтѣ луны увидѣла рѣзко очерченный силуэтъ двухъ фигуръ, крѣпко сжимавшихъ другъ друга въ объятіяхъ,—Анну и Гартмута.

Легкій ударъ ея металлическаго кольца о позолоченную палку портьеры заставилъ ихъ встрепенуться; они отскочили другъ отъ друга. Марія почувствовала, какъ маленькая ручка схватила ее за руку и увлекла въ нишу.

— Вы—единственное существо, чье благословеніе намъ нужно, —тихо сказала она.—Впрочемъ, вы и безъ того сегодня вечеромъ должны были все узнать... Вернемся къ гостямъ.

Она повернулась къ круглому столику, на которомъ лежалъ ея носовой платокъ. Гартмутъ наклонился и связалъ Марію на ухо:

— Тайна за тайну!

Анна взяла Марію подъ руку. Занавѣсь задвинулась за ними.

Гартмутъ остался одинъ въ нишѣ и въ потемкахъ; темное облако закрыло луну.

— Да!—пробормоталъ онъ:—кому охота вѣрить дурнымъ предзнаменованіямъ! Дѣло, очевидно, идетъ на ладъ. Одними поцѣлуями въ потемкахъ мы, конечно, не ограничимся.

#### IV.

Гости разѣхались. Въ великолѣпной спальнѣ Анны, у камина съ догоравшими угольями, сидѣла Марія. Анна быстрыми шагами ходила по комнатѣ. Ни одна изъ дѣвушекъ не думала еще раздѣваться на ночь, хотя комната рядомъ была приготовлена для ночлега Маріи.

— Меня сердить только то,—сказала Анна,—что вы мнѣ ни за что не повѣрите.

— Я считаю васъ неспособной солгать,—отвѣчала Марія.— Повѣрите же и вы мнѣ, что моей первой просьбой отцу было, чтобы сегодня же вечеромъ посвятить васъ въ нашу тайну, и я бы исполнила это; только Гартмутъ и не зналъ правды.

— Уже цѣлыхъ двѣ недѣли, какъ онъ ее знаетъ, и только скрывалъ ее отъ меня. Онъ думаетъ, что не имѣлъ никакого права разыгрывать роль провидѣнія относительно васъ и вашего отца. Я нахожу, что онъ поступилъ въ этомъ случаѣ хорошо, могу даже сказать — лучше, чѣмъ вашъ отецъ, который такъ долго

хранилъ свою тайну и продолжалъ бы хранить ее, еслибы дру-  
гія причины не принудили его ее выдать.

— Онъ намекалъ мнѣ на это сегодня; но я должна вамъ  
сознаться, что никакъ не могу сочувствовать вашему брату и Адѣ.

Анна остановилась и большими удивленными глазами, съ  
улыбкой на губахъ, поглядѣла на Марію, потомъ подошла къ ней,  
поцѣловала ее въ лобъ и сказала серьезно, чуть не торжественно:

— Знаете ли, Марія, что вы лучшее существо въ мірѣ?

— Потому, что я не могу сочувствовать любви вашего брата  
въ Адѣ?

— Ну, бросимъ ихъ!—вскричала Анна, снова принимаясь  
ходить по комнатѣ.—Они образумятся, за нихъ я не боюсь. Мнѣ  
гораздо важнѣе, чтобы вы сочувствовали любви другихъ двухъ  
людей.

Она замолчала, какъ бы ожидая отвѣта.

— Я такъ и знала!—сердито воскликнула она.—И вотъ, те-  
перь я вамъ скажу, почему я все это время избѣгала васъ, какъ  
заразительную больную или какъ завятаго врага. Я знала, что  
вы не порадуетесь со мной, не одобрите моей любви, а будете  
сидѣть съ каменнымъ лицомъ и глазами, готовыми оплакивать  
несчастную, погибшую!

— Теперь, значить, я не лучшее существо въ мірѣ?—ска-  
зала Марія, обращая глаза, полные слезъ, на Анну.

— Вы глупенькая, вотъ вы чтѣ!—закричала Анна:—трусиха,  
достойная дочь своего отца! Еще сегодня онъ мечталъ, что добрая  
Марія будетъ охранять злую Анну отъ діавола Гартмута! Но  
опоздали, мой милый: я люблю этого діавола всѣмъ сердцемъ  
и всѣмъ помышленіемъ и пойду за нимъ, куда онъ хочетъ, хоть  
въ адъ, сколько бы вы, фарисеи, ни ужасались и ни взывали  
къ небу. За чтѣ вы его ненавидите?

— Я его не ненавижу,—отвѣчала Марія,—я, какъ и прежде,  
отдаю справедливость его блестящимъ способностямъ. Но я не  
вѣрю, чтобы онъ былъ человѣкъ съ сердцемъ,—только. А развѣ  
этого не довольно? Можетъ ли женщина быть счастлива съ че-  
ловѣкомъ безсердечнымъ? Вы же, Анна, менѣе, чѣмъ всякая дру-  
гая,—какъ вы ни увѣряли меня, что вамъ нѣтъ никакого дѣла  
до того, чтѣ люди называютъ сердцемъ. И совершенно напрасно.  
Если съ однимъ сердцемъ не сдѣлаешь, можетъ быть, ничего  
великаго, зато и безъ сердца ровно ничего не сдѣлаешь, ни  
въ наше время и ни въ какое иное. И я не могу себѣ пред-  
ставить, чтобы вы долго любили человѣка, у котораго не хва-  
титъ силы осуществить ваши мечты.

Анна, скрестивъ руки на груди, слушала внимательно, что говорила Марія.

— Разумѣется все, что вы говорите, вѣрно въ томъ, что касается меня. Я могу любить только человѣка, который, какъ вы говорите, осуществить мои мечты. Мечтать и только мечтать — скучно, въ особенности тому, кто такъ рано началъ мечтать, какъ я. И одно только стало для меня ясно въ этихъ мечтахъ, что мы, женщины, не созданы для дѣйствія, мы можемъ только вдохновлять, одушевлять. Дѣйствовать же подобаетъ мужчинамъ. Я всю жизнь мечтала встрѣтить человѣка энергическаго и встрѣтила его. А теперь пора спать. У васъ глаза смыкаются отъ усталости.

— Я не въ состояніи заснуть, да и вы также, — отвѣчала Марія. — Расскажите мнѣ лучше все про Гартмута, пожалуйста.

Анна стояла передъ Маріей и глядѣла на нее сердито, вызывающе. Но вдругъ, охвативъ ее обѣими руками, прижалась головой къ ея груди и горько зарыдала.

Прошло нѣкоторое время, прежде чѣмъ она успокоилась.

— Вы правы, — сказала она: — я ни за что не усну, пока вы всего не узнаете, что я знаю, и даже того, чего я сама не знаю. Я полюбила Гартмута съ первой минуты, какъ увидала его, на второй день, какъ онъ поступилъ къ намъ въ домъ... Отецъ пригласилъ его къ обѣду. Онъ былъ плохо одѣтъ, но это я сообразила уже впоследствии. Въ тотъ день я замѣтила только его черные глаза, которыми онъ такъ смотрѣлъ на насъ, точно мы всѣ были для него стеклянные. Я была смущена, испугана. Это было точно откровеніе, точно я до того совсѣмъ и не видывала мужчинъ. Онъ говорилъ мало, но каждое слово его пробивало мнѣ душу, точно вилжалъ... Прошло нѣсколько дней, и я почувствовала, что изнемогаю, и тогда вздумала прогнать его изъ дома, какъ собаку. Но сама, какъ прибитая собака, ушла отъ него. Это было въ тотъ день, когда часомъ позднѣе вы пересказали мнѣ всю его жизнь... помните, въ Тиргартенѣ, у пруда. И каждое ваше слово подливало масла въ огонь. Тутъ попалъ намъ на встрѣчу Регинальдъ. Бѣдный Регинальдъ!.. Гербертъ... я и о немъ думала... и очень серьезно. Я ненавижу этого ученика Бисмарка; но онъ тоже мужчина въ своемъ родѣ... даже Гартмутъ, я это вижу, не рѣшается играть имъ какъ остальными пѣшками. Мужчины не могли спасти меня отъ него; можетъ быть, могла спасти только женщина... единственная: вы... я это знала и бѣгала отъ васъ. А теперь поздно... слишкомъ поздно. Но вы должны быть ко мнѣ снисходительны, потому что сами влюблены...

— Молчите, ради Бога! — вскричала Марія, тщетно пытаясь

вырваться изъ рукъ Анны, которая охватила ее и держала какъ въ тискахъ.

— Тише! ни съ мѣста! мѣсть сладка! и я хочу насладиться своей мѣстью. Глупая: вѣдь Ральфъ пропадаетъ отъ любви къ Маріи, а Марія можетъ скрыть свою любовь къ Ральфу отъ всего міра... но только не отъ меня!

Обаменѣвъ на мѣстѣ, онѣмѣвъ отъ противорѣчивыхъ чувствъ, боровшихся въ ней и не находившихъ выраженія, глядѣла Марія на нее помутившимся взглядомъ, какъ вдругъ въ корридорѣ, который велъ въ комнату, послышались торопливые шаги, и кто-то постучался въ дверь.

— Чтò такое?—завричала Анна.

Дверь открылась; старая служанка Аустина, которую Марія видѣла въ свое первое посѣщеніе дома Куртисовъ, а съ тѣхъ поръ больше не видала, вошла въ спальню. Анна пошла ей на-встрѣчу. Онѣ обмѣнялись нѣсколькими непонятными для Маріи словами. Послѣ того старуха поспѣшно ушла, а Анна вернулась къ Маріи. Ея серьезное лицо было теперь совсѣмъ иное, чѣмъ за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ.

— Ну, вѣрно не такъ уже худо,—сказала она.—Смитъ... вашъ отецъ... всегда такъ пугается. Онъ прислалъ мнѣ сказать, что Ральфъ опасно заболѣлъ. Просить меня придти и взять васъ съ собой. Идете? прекрасно! Ну, переодѣнетесь поскорѣй; въ этихъ туалетахъ намъ будетъ неловко у постели больного.

## V.

Въ передней имъ попался на-встрѣчу Смитъ. Настоящій придокъ отличался отъ предыдущихъ, и это его особенно напугало. Докторъ Бруннъ, за которымъ онъ тотчасъ же послалъ, находится теперь у больного. Онъ, очевидно, очень серьезно относится къ болѣзни; отъ тотчасъ же сказалъ, что къ Ральфу необходимо приставить лицо, основательно знакомое съ уходомъ за больными. Но онъ не надѣется, чтобы ночью удалось кого-нибудь найти. Смитъ показалось, что вчера вечеромъ говорили, будто Марія останется ночевать, а потому онъ и послалъ за ними обѣими.

— Очень хорошо, Смитъ,—отвѣчала Анна.—Я пойду, лягу спать. Если же я вамъ понадобится,—чего, однако, не думаю,—то приплите меня разбудить. А отъ Маріи я узнаю все завтра утромъ. Спокойной ночи!

Она протянула руку Смиту и прибавила тихо, съ меланхолической улыбкой:

— Да, да, мой другъ, мы переживаемъ странныя вещи на старости лѣтъ. Какъ какъ я знаю ваши тайны, то и не требую, чтобы вы притворялись, что мои тайны вамъ неизвѣстны. Покойной ночи!

Она ушла. Смитъ печально поглядѣлъ ей вслѣдъ, отбросилъ рукой волосы со лба и сказалъ, обращаясь къ Маріи:

— Я давно уже объ этомъ догадывался. Несчастное дитя! Но теперь уже слишкомъ поздно. А мой бѣдный Ральфъ! Но мнѣ такъ хотѣлось тогда, чтобы вы объяснились. Чего хочется, въ то всегда охотно вѣришь. Я надѣялся, что ты также полюбишь моего бѣднаго юношу и что нѣсколькихъ минутъ будетъ достаточно вамъ, чтобы объясниться. Поэтому я васъ и оставилъ вдвоемъ, а ты такъ жестоко отвергла его. Нѣтъ, — не жестоко. Что-жъ дѣлать, если ты его не любишь!

— Какъ же такъ, — поспѣшно отвѣчала Марія. — Я совсѣмъ не поняла Ральфа; я думала, что онъ говорить про Аду. Я бы и теперь тебя не поняла, еслибы Анна не сказала мнѣ... сейчасъ только, то, во что я не смѣю вѣрить, хотя ты тоже подтверждаешь это...

Смитъ радостно-испуганно взглянулъ на нее.

— Неужели его счастье возможно?

Марія обняла его и шепнула:

— Да, да, я люблю его... отъ всего сердца люблю его.

— Слава Богу! слава Богу! Тогда все еще уладится, — проговорилъ Смитъ, обнимая дочь. — Мое милое, мое любимое дитя! мой милый Ральфъ!

— А онъ не знаетъ еще, что я твоя дочь?

— Нѣтъ, знаетъ. Я сказалъ ему это, когда онъ вернулся изъ гостиной, — блѣдный, печальный.

— А какъ онъ это принялъ?

— Онъ сказалъ только: это было бы слишкомъ большое счастье.

Докторъ Бруннъ вышелъ изъ комнаты больного и позвалъ Смита.

— Пожалуйста, идите къ нему! Пока нечего дѣлать. Я бы желалъ переговорить съ фрейлейнъ фонъ-Альденъ.

Смитъ ушелъ въ другую комнату; докторъ Бруннъ взялъ Марію за руку и подвелъ ее къ дивану:

— Присядемъ на минутку, *liebes Fräulein!* Я радъ, что васъ здѣсь вижу. Я не знаю никого другого, кому бы охотнѣе пре-



доставилъ моего больного. Я никакъ не ожидалъ сегодня вечеромъ, что нашъ теоретическій разговоръ получитъ практическое примѣненіе. Случай очень серьезный. Я уже третьяго-дня оставилъ профессора въ болѣзненномъ состояніи, но приписалъ его нервному возбужденію, вслѣдствіе одного обстоятельства, на которое мнѣ намекнулъ нашъ добрый другъ Смитъ. Вы, какъ сестра фрейлейнъ Ады, знаете, о чемъ я говорю. Смитъ увѣрялъ, что напряженное состояніе пройдетъ отъ одного рѣшительнаго словечка. Это словечко, повидимому, было произнесено сегодня вечеромъ, но оказалось совсѣмъ не такимъ благопріятнымъ, какъ мы ожидали. Вы извините нескромность врача, если онъ позволитъ себѣ спросить васъ: вѣрны ли его предположенія?

— И да, и нѣтъ,—отвѣчала Марія послѣ краткаго колебанія:—рѣшительное слово было сказано, но вслѣдствіе печальнаго недоразумѣнія. Я надѣюсь, что недоразумѣніе будетъ устранено.

И, помолчавъ немного, прибавила:

— Я сама надѣюсь разсвѣять его.

— Если такъ, то не медлите!—поспѣшно отвѣтилъ врачъ.— Каждая лишняя минута огорченія, которую нашъ больной переживаетъ, можетъ быть для него пагубна. И къ тому же бѣда никогда одна не приходитъ. Ударъ, который былъ нанесенъ сегодня вечеромъ его сердцу, напелъ подготовленную самымъ демоническимъ образомъ почву. Профессоръ пробылъ сегодня въ саду при сильномъ восточномъ вѣтрѣ слишкомъ долго, и это послѣ того, какъ нѣсколько недѣль просидѣлъ взаперти въ четырехъ стѣнахъ. Это чистѣйшее безуміе. Я не понимаю, какъ разсудительный Смитъ допустилъ это. Теперь у него острый ревматизмъ въ сочлененіяхъ. А вѣдь я какъ разъ предупреждалъ объ опасности, какою грозитъ малѣйшая простуда. При этомъ я замѣчаю первые симптомы новой болѣзни, насколько мой діагнозъ вѣренъ; субъективные симптомы такъ неопредѣленны, что всегда возможна ошибка. Хотя я думаю, что не ошибся, однако привезу съ собой завтра утромъ коллегу; онъ—авторитетъ по этимъ болѣзнямъ. Если мой діагнозъ подтвердится, то не скрою отъ васъ, что нашъ паціентъ въ большой опасности. Организмъ его слишкомъ потрясенъ, чтобы выдержать тяжкую болѣзнь. Поэтому еще разъ повторяю: если вы дѣйствительно въ состояніи успокоить его, то воспользуйтесь первымъ случаемъ! Кто знаетъ, какое благотѣльное дѣйствіе произведетъ радостное возбужденіе на психическія основы.

— А вотъ и лекарства.

Аустина пришла съ небольшою коллекціей пузырьковъ и пакет-

тиговъ, которые она молча положила на столъ около лампы, и тотчасъ же ушла. Докторъ Бруннъ пересмотрѣлъ лекарства, говоря:

— Старуха сердится, что я не довѣрилъ ей уходъ за больнымъ. Но я этого не могу. Я наблюдалъ за нею: у нея руки такія же жесткія, какъ и взглядъ, и неповоротливыя, какъ и умъ. Настоящая американская прислуга, которая выполняетъ только контрактъ, и даже въ томъ случаѣ, когда вынуждена дѣтей, какъ эта. Ну, вотъ тутъ салицилъ—какъ видите, я прописалъ большую дозу—меньше не помогло бы. Вотъ мазь съ хлороформомъ для лѣваго колѣна, также какъ лѣваго локтя и плеча; втеревъ мазь, надо завернуть больныя мѣста въ вату, само собою разумѣется, и такъ тщательно, какъ вы это дѣлали съ моей пациенткой въ госпиталѣ Августы. Будемъ надѣяться, что исходъ будетъ все-таки благоприятный! Я войду вмѣстѣ съ вами къ больному... на минутку: состояніе его не могло тѣмъ временемъ измѣниться. Но будете ли вы въ силахъ провести всю ночь безъ сна? Извините, что я только теперь догадался спросить васъ объ этомъ.

— Разсчитывайте на меня,—отвѣчала Марія.

Врачъ пожалъ ей руку. Марія забрала лекарства. Докторъ пошелъ впередъ; она послѣдовала за нимъ. Они вошли въ комнату больного.

Смитъ, сидѣвшій у постели, пошелъ къ нимъ на-встрѣчу.

— Вы подготовили его?—спросилъ врачъ, указывая глазами на Марію.

Смитъ покачалъ головой. Врачъ наморщилъ лобъ и сѣлъ у кровати, на которой больной лежалъ съ закрытыми глазами, и пощупалъ его пульсъ.

— Что, боли усилились?

Ральфъ покачалъ головой и слегка застоналъ.

— Избѣгайте всякаго, хотя бы самаго ничтожнаго движенія!—сказалъ докторъ Бруннъ.—Я привелъ къ вамъ такую сестру милосердія, на которую вы можете положиться. Лучшей и не найти: фрейлейнъ фонъ-Альденъ.

Больной раскрылъ глаза и уставился на Марію, точно на привидѣніе.

— Вы не должны смотрѣть на фрейлейнъ фонъ-Альденъ какъ на всѣхъ другихъ барышень,—продолжалъ докторъ Бруннъ мягко, но внушительно.—Она умѣетъ ухаживать за больными. Она испытанная сестра милосердія и принесетъ вамъ облегченіе и физическое, и душевное.

Изъ груди больного вырвался слабый, нервный смѣхъ, пере-

шедшій въ рыданіе. Онъ судорожно рыдалъ, тщетно стараясь подавить слезы.

Марія не могла больше этого вынести. Не обращая вниманія на присутствіе врача, она наклонилась и поцѣловала больного въ лобъ.

Послѣ того она быстро выпрямилась. Ральфъ лежалъ, какъ прежде, неподвижно, устремивъ глаза на Марію, но вмѣсто застывшаго ужаса въ нихъ выражалось неземное блаженство.

Докторъ переводилъ удивленные, чуть не испуганные глаза съ больного на Марію, съ Маріи на Смита и снова на больного.

Онъ тихонько дотронулся до правой руки больного, неподвижно лежавшей сверхъ одѣяла, кивнулъ головой Смиту и, взявъ руку Маріи въ обѣ свои, крѣпко пожалъ.

— Боже васъ благослови!—тихо сказали онъ и вышелъ изъ комнаты больного.

## VI.

Знаменательную ночь смѣнили дни, походившіе на поверхность моря, въ которой попеременно отражаются темныя облака и яркіе солнечные лучи. Призванный врачъ, свѣтило университетской клиники, подтвердилъ діагнозъ собрата. А вмѣстѣ съ тѣмъ вполне одобрилъ систему леченія и объявилъ, что дальнѣйшіе визиты его были бы бесполезны, хотя, само собой разумѣется, онъ каждую минуту готовъ въ услугамъ своего собрата. Ральфъ былъ этимъ доволенъ; онъ питалъ безусловное довѣріе въ доктору Брунну и съ трудомъ переносилъ видъ чужого лица. Даже присутствіе Аустины было ему несносно. Онъ радъ былъ бы обойтись безъ услугъ ворчливой старухи, но она считала своимъ неотъемлемымъ правомъ ухаживать за больнымъ, и пришлось волеяневолей терпѣть ея пребываніе въ его комнатѣ.

Докторъ Бруннъ съ двумя своими ассистентами, какъ онъ называлъ Смита и Марію, одинъ велъ борьбу съ лукавымъ демономъ болѣзни, который порою какъ будто бы уступалъ соединеннымъ усиліямъ трехъ неутомимыхъ борцовъ, порою же какъ бы издѣвался надъ этими усиліями и бралъ надъ ними верхъ.

Смитъ посвятилъ доктора Брунна въ тайну ихъ взаимныхъ отношеній. При его частомъ и продолжительномъ пребываніи эту тайну трудно было бы сохранить, и кромѣ того его такъ оцѣнили какъ врача и полюбили какъ человѣка, что и не желали скрывать отъ него. Да, по истинѣ сказать, онъ и не особенно

удивился, когда Смитъ уже на второй день вратцѣ сообщить ему самое существенное.

— Что вы не Смитъ и не Шмидтъ и никогда не были школьнымъ учителемъ въ Германіи, — сказалъ онъ, смѣясь, — въ этомъ я готовъ былъ побойться. — У насъ, прирожденныхъ плебеевъ, удивительное чутье на аристократовъ, и мы узнаемъ васъ во всякомъ нарядѣ по извѣстной манерѣ себя держать, по извѣстнымъ движеніямъ, жестамъ, даже выраженіямъ. Всему этому и мы научаемся, съ теченіемъ времени, но какъ иностранному языку, который никогда не усвоишь себѣ вполне и не будешь говорить на немъ съ изяществомъ. Что же касается сходства вашего съ дочерью, то, можетъ быть, вы подумаете, что я разсуждаю теперь заднимъ числомъ, но могу васъ увѣрить, что оно поразило меня, когда я впервые увидѣлъ васъ вмѣстѣ. Носъ, лобъ, размѣръ глазъ — во всемъ видно фамильное сходство.

Хотя въ былое время доктору Брунну не приходилось лично сталкиваться съ барономъ фонъ-Альденомъ, но его имя, какъ одного изъ выдающихся вождей баденскаго возстанія, было ему хорошо знакомо, равно какъ и его семейныя отношенія. Но впоследствии, не слыша больше о баронѣ ни въ Швейцаріи, ни въ Англии, ни въ Америкѣ, онъ вмѣстѣ съ другими эмигрантами подумалъ, что баронъ убитъ въ одной изъ партизанскихъ схватокъ въ Шварцвальдѣ, или же кончилъ жизнь въ изгнаніи.

Въ эмигрантскихъ кружкахъ поговорили сначала объ оригиналь-вельможѣ, который принесъ болѣе матеріальныхъ жертвъ для осуществленія своихъ идей, чѣмъ всѣ остальные эмигранты, вмѣстѣ взятые; затѣмъ имя его было такъ же забыто, какъ и тѣ надежды и стремленія, которыя нѣкогда кипѣли въ его сердцѣ.

Естественно, что люди, бывшіе нѣкогда соратниками, послѣ того изгнанниками, сначала не безъ осторожности, но затѣмъ, при болѣе близкомъ знакомствѣ, съ большей непринужденностью и, наконецъ, съ полной откровенностью сообщили другъ другу общія воспоминанія и все пережитое на чужбинѣ. При этомъ они обнаружили такое тождество мысли и чувства, которое ихъ самихъ удивляло, какъ и то, что, исходя изъ однѣхъ и тѣхъ же точекъ, они пришли къ существенно различнымъ результатамъ. Оба рѣшили, что политическое разномысліе очень часто является не столько результатомъ различія въ убѣжденіяхъ, сколько дѣломъ темперамента и послѣдствіемъ индивидуальныхъ жизненныхъ условій и жизненной доли, толкающихъ людей, повидимому, сходящихся во взглядахъ, въ тотъ или другой лагерь.

— Еслибы не это, — говорилъ докторъ Бруннъ, — то какъ объ-

яснить, что изъ насъ двухъ, воспитавшихся на однихъ и тѣхъ же философахъ и поетахъ, пѣвшихъ со страстью однѣ и тѣ же студентскія гѣсны и вступившихъ въ борьбу за одинъ общій идеалъ нѣмецкой республики, — одинъ остался убѣжденнымъ республиканцемъ, другой сдѣлался не менѣе убѣжденнымъ монархистомъ! Еслибы вы, какъ я, родились сыномъ бѣднаго деревенскаго кистера — десятымъ сыномъ при девяти дочеряхъ, а я, какъ вы, вступилъ въ жизнь единственнымъ потомкомъ могущественнаго, свободолюбиваго рода, властвовавшаго въ своемъ баронскомъ замкѣ, — быть можетъ, вы пришли бы къ тому, къ чему пришелъ я, — и обратно. Вы вступили на измѣнчивый карточный столъ политическаго банка крупнымъ игрокомъ, который ставить на карту все свое состоянiе, и когда карта его побита — съ гнѣвомъ на вѣки бросаетъ игру. Я же выступилъ съ надеждой на громадный выигрышъ, но съ маленькими ставками и отнюдь не на чистыя деньги, притомъ съ неизвѣстнымъ именованiемъ, которое мнѣ бы не пришлось впоследствии перемѣнять на другое, еслибы я хотѣлъ остаться неузнаннымъ, и съ ограниченной практикой, которую я могъ вездѣ себѣ достать; а потому разъ мнѣ не удалось сорвать банкъ, я удовольствовался, считая и это за большой выигрышъ, тѣми уступками духу времени и прогрессу, которыя нашелъ въ своемъ отечествѣ. Поэтому я все еще питаю надежду, что и вы, баронъ, когда освоитесь хорошенько съ новыми нѣмецкими порядками, примиритесь съ гордымъ зданiемъ нашего національнаго единства и могущества, которому завистливо удивляется весь свѣтъ, и какъ естественное слѣдствiе этого — сами пожелаете содѣйствовать исправленiю тѣхъ сторонъ, которыя второпяхъ были позабыты или же не вполне удались, чтобы привести ихъ въ гармонiю съ цѣлымъ.

Смитъ покачалъ головой.

— Голова моя посѣдѣла отъ горя по несбывшимся надеждамъ. Вы знавали тѣ же горести, но въ волосахъ вашихъ едва проглядываетъ сѣдина. Это именно вопросъ темперамента, какъ вы говорите. Вы сангвиникъ: жить и надѣяться — для васъ значитъ одно и тоже. А я меланхоликъ и живу безъ всякой надежды. Да откровенно говоря, я даже не могу представить себѣ, откуда вы, несмотря на свой упругій темпераментъ, берете силу и мужество, переносить вещи, которыя для васъ, какъ и для меня, должны быть отвратительны, потому что совсѣмъ несоотвѣтственны и даже диаметрально противоположны нѣмецкому духу: этотъ хвастливый, конкерскiй шовинизмъ; эта лойяльность, которая какъ будто избрала себѣ девизомъ слова Фридриха-Вильгельма IV въ ихъ

византійскомъ преувеличеніи; этотъ грязный матеріализмъ, предающій осмѣянію каждый идеальный порывъ; это честолюбіе у старыхъ и малыхъ, для которыхъ успѣхъ—кумиръ, какими бы средствами онъ ни достигался. Это—не моя Германія. „Горе вамъ, если вы міръ приобретете, душу же свою погубите“. Я не могу забыть этихъ словъ писанія. И надо всѣмъ этимъ рычить и волнуется *misera plebs*, чернь. Что она несчастна, кто смѣетъ это отрицать? И развѣ ей не должно казаться насмѣшкой, что отъ нея хладнокровно требуютъ жертвъ, которыхъ имущественные классы не хотятъ принимать на себя?

— Я жду много великаго отъ нашей соціальной политики, которую замышляетъ, какъ мнѣ извѣстно, Бисмаркъ, и первый симптомъ которой—открытый имъ походъ противъ свободы торговли.

— А я,—отвѣчалъ Смитъ,—думаю объ евангельскомъ юношѣ; онъ хотѣлъ послѣдовать за Христомъ, но Христосъ поставилъ ему первымъ условіемъ, чтобы онъ роздалъ все свое имущество. И юноша, опечаленный, ушелъ, потому что былъ очень богатъ.

— Васъ не переспоришь,—сказалъ докторъ Бруннъ, смѣясь.—Пойдемте къ нашему больному.

Если во взглядахъ доктора Брунна и Смита, несмотря на всю ихъ взаимную симпатію, существовало разногласіе, зато у своей дочери Смитъ находилъ полную гармонію съ своимъ міровоззрѣніемъ, и ихъ души звучали какъ одинъ аккордъ.

— Не могу себѣ представить, какъ бы я сталъ долѣе жить безъ тебя, хотя прежде тебя со мной и не было,—говорилъ онъ.— Но и въ самыхъ тяжелыхъ фазахъ моего существованія надо мной всегда какъ бы витало нѣчто... какъ бы духъ твой... подобно тому, какъ мореходцу вѣютъ на-встрѣчу ароматы твердой земли, къ которой онъ подплываетъ... или же какъ музыка, доносящаяся изъ высшихъ сферъ, на-вѣки сокрытыхъ отъ темныхъ очей. Теперь я не ощущаю больше аромата, не слышу музыки, но чувствую себя безмѣрно счастливымъ въ твоемъ присутствіи. Неудивительно, что порою мною овладѣваетъ страхъ, что ты только видѣніе, ароматъ, музыка, манившія меня въ былое время. И когда ты уходишь изъ комнаты, меня охватываетъ испугъ, который проходитъ только съ твоимъ появленіемъ.

— Я испытываю такую же тревогу,—отвѣчала Марія,—и думаю, что она есть результатъ невѣрнаго и неопредѣленнаго положенія, въ которомъ мы находимся, и изъ котораго не можемъ выйти. А поэтому мы должны подчиниться неизбѣжному.

VII.

Смитъ очень хорошо понималъ, что его дочь вполне права.

„Доставить утѣшеніе госпожамъ Куртисъ, огорченнымъ упорною болѣзнію Ральфа“ — такова была официальная формула въ его письмѣ къ Маріи.

Теперь она сдѣлалась не случайной помощницей въ мимолетномъ нездоровьѣ, — что было бы понятно всякому, — но въ полномъ смыслѣ слова сидѣлкой больного. Единственное объясненіе, которое можно было дать тому, что Марія невѣста Ральфа — оказалось невозможнымъ.

Конечно, не по винѣ Ральфа.

— Я свободный человекъ, — говорилъ онъ: — я отвѣчаю за мои поступки только передъ моею совѣстью. Если я разошелся съ отцомъ въ духовномъ отношеніи, то и въ матеріальномъ давно уже не нахожусь въ зависимости отъ него. Вы знаете, Смитъ, что я уже много лѣтъ не беру отъ него ни пени, также какъ и вы. Въ настоящую минуту мы только невольные гости въ его домѣ. Мы хотѣли пріѣхать сюда одни. Все уже было рѣшено и подписано. Только въ послѣднюю минуту отецъ вздумалъ сопровождать насъ съ матерью и Анной. Единственная ошибка, которую мы съ вами сдѣлали, Смитъ, это то, что мы тотчасъ по пріѣздѣ сюда не отдѣлились отъ нихъ. Мы сдѣлали это ради Анны, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить здѣсь, въ чужой странѣ, ея заботы о матери. Но это еще не причина отказываться отъ объясненія, которое, по крайней мѣрѣ, удовлетворитъ всѣхъ разсудительныхъ людей.

Марія и ея отецъ всячески старались успокоить его. Разсудительные люди и безъ того поймутъ, въ чемъ дѣло, а на остальныхъ не стоитъ обращать вниманія. Желательно и даже необходимо отложить рѣшительныя дѣйствія до тѣхъ поръ, пока Ральфъ выздоровѣетъ и будетъ въ состояніи взять на себя то, что теперь придется дѣлать за него другимъ. Но вѣдь дѣло не въ спѣху; торопиться слѣдовало бы только въ томъ случаѣ, еслибы его родители старались помѣшать союзу. А объ этомъ, какъ онъ самъ долженъ согласиться, и рѣчи нѣтъ.

Ральфъ долженъ былъ согласиться. Конечно, можно сомнѣваться, чтобы его мать понимала, какую роль играетъ Марія въ ихъ домѣ. Иногда она относилась къ ней какъ къ почетной гостьѣ съ самой изысканной вѣжливостью. Потому, казалось, вспоминала, что гостья когда-то являлась въ качествѣ компаньонки,

и, стало быть, довольно съ нея мимолетной улыбкой или вскользь брошеннаго ласковаго слова. Случалось ей зайти въ комнату больного, — что, къ счастью, бывало рѣдко, — и она забывала оба первыхъ предположенія, пристально разглядывала Марію въ лорнетѣ, рассказывала о какой-то сестрѣ милосердія въ Нью-Йоркѣ, которая успѣла заслужить довѣріе всего высшаго общества, а потомъ оказалась убійцей-рецидивисткой, бѣжавшей изъ тюрьмы С.-Франциско, и попотомъ спрашивала у Смита, увѣренъ ли онъ, что рекомендаціи „этой особы“ заслуживаютъ довѣрія? Иногда же она говорила о Маріи какъ о своей милой дочери, обращаясь съ нею соотвѣтственно этому, такъ что можно бы было поклясться, что она уже давно обвинчала молодую чету.

Но господинъ Куртисъ относился къ Маріи съ неизмѣнною вѣжливостью; а когда ему случалось заходить къ Ральфу, въ обращеніи его съ нею замѣчалась даже почти отеческая вѣжливость и доброта.

Разумѣется, Марія и ея отецъ лучше чѣмъ кто бы то ни было понимали истинный смыслъ этой доброты.

Уже на второй день пребыванія Маріи въ домѣ Куртисовъ Смитъ отправился къ господину Куртису, сообщилъ ему свое настоящее имя и объяснилъ, въ какихъ отношеніяхъ находится онъ къ Маріи и семейству Иллиусовъ, прибавивъ при этомъ, что Ральфъ любитъ Марію и по своему выздоровленіи женится на ней.

Американецъ сповойно выслушалъ его и отвѣчалъ съ своею саркастическою улыбкой:

— Изъ вашихъ сообщеній, достойный господинъ... Смитъ?.. или Альденъ? какъ прикажете васъ называть? — одно удивляетъ меня очень мало, а другое и вовсе не удивляетъ. Я никогда не вѣрилъ, что вы на самомъ дѣлѣ тотъ, за кого выдавали себя. Вообще мнѣ вовсе не интересно знать, что ваша настоящая фамилія Альденъ и что фрейлейнъ Марія ваша дочь. Это касалось бы меня, еслибы вы не сдѣлали такую... смѣло сказать — странность, — не отказались отъ вашего прекраснаго состоянія. Въ такомъ случаѣ я охотно согласился бы дать свое благословеніе Ральфу и вашей дочери. Но ваше состояніе перешло въ руки вашей бывшей супруги, т.-е. въ руки ея теперешняго мужа. Случай захотѣлъ, чтобы я вступилъ съ этимъ господиномъ въ нѣкоторыя, для меня очень важныя, сдѣлки, причемъ съ его стороны было молчаливое предположеніе, что я не стану препятствовать двойному браку между моими и его дѣтьми. Я и не препятствовалъ этому — напротивъ. Тѣмъ не менѣе, мнѣ дали по-



вать съ той стороны, — моя дочь Анна не удостоиваетъ меня своей довѣренностью, — что мистеръ Регинальдъ получилъ отказъ. Теперь, повидимому, старшій братъ займетъ его мѣсто... полагаю, съ такимъ же успѣхомъ. Я тутъ не при чемъ; но изъ всего, что я вамъ сказалъ, вы поймете, какъ это мнѣ непріятно. Теперь являетесь вы и говорите, что и другая помолвка не состоится. Ваша дочь, конечно, вмѣстѣ съ тѣмъ и дочь фрау Илиціусъ, но, по всему, что я слышу — нелюбимая, такъ что обрученіе ея съ Ральфомъ возбудитъ тамъ большое неудовольствіе. Я не властенъ надъ сердцами моихъ дѣтей, и Ральфъ не нуждается въ моемъ согласіи, чтобы жениться на комъ хочетъ. Но содѣйствовать, потакать этому я не могу, если хочу честно исполнить свои обязательства по отношенію къ Илиціусу. А если я буду терпѣть въ своемъ домѣ отношенія, завязавшіяся между Ральфомъ и вашей дочерью, то въ глазахъ всякаго разумнаго человѣка это будетъ содѣйствіемъ и потачкой съ моей стороны. Итакъ: я ничего не знаю, эти отношенія для меня не существуютъ; хорошо! въ такомъ случаѣ ваша дочь можетъ оставаться въ моемъ домѣ и указывать за Ральфомъ. Или пусть Ральфъ объявитъ во всеуслышаніе объ этихъ отношеніяхъ, и въ такомъ случаѣ я буду вынужденъ сегодня же просить вашу дочь оставить мой домъ. Мнѣ кажется, мистеръ Смитъ или Альденъ, я достаточно ясно высказалъ свой взглядъ на это дѣло. Вы знаете, что я всегда ставлю точки на і, когда излагаю свои взгляды. А теперь, мистеръ Смитъ — или я долженъ говорить: мистеръ Альденъ? — прошу извинить: сегодня я страшно занятъ.

На этомъ разговоръ и кончился; Смиуту и Маріи предстояла теперь тяжелая задача — дѣлать при больномъ видѣ, что ничего не случилось. Печальное обстоятельство облегчило имъ эту задачу. Въ послѣднее время Ральфу становилось все хуже и хуже. Вмѣстѣ съ упадкомъ физическихъ силъ у него, повидимому, исчезали способность и склонность думать о тѣхъ обстоятельствахъ, которыя и прежде казались ему второстепенными. Казалось, остатокъ его душевныхъ силъ весь уходилъ въ одно чувство: любовь къ возлюбленной; въ одно стремленіе: выразить свою любовь; въ одно желаніе: исполняться блаженствомъ отъ сознанія, что онъ любимъ.

— Я виноватъ передъ твоимъ отцомъ, — говорилъ онъ. — Когда онъ увлекалъ меня въ свой идеальный міръ, я часто сердился на него и думалъ: „онъ поступаетъ нехорошо: у него не хватитъ силы удержать меня въ этомъ мірѣ. Я долженъ буду

вернуться къ дѣйствительности, которая покажется мнѣ вдвойнѣ прозаическою и пошлой, сдѣлаеть меня вдвойнѣ несчастнымъ“. Теперь же онъ далъ мнѣ тебя, ангела, который помогаетъ мнѣ своими крыльями нестись все дальше и дальше въ свѣтломъ эфирѣ—твоей стихіи, въ которой я буду жить съ тобою и черезъ тебя, пока бьется это бѣдное сердце.

Если бы кто-нибудь другой говорилъ эти слова, они могли бы показаться фразой. Но, слушая ихъ изъ этихъ устъ, сводимыхъ судорогой отъ невыносимыхъ тѣлесныхъ страданій, Марія видѣла въ нихъ только трогательную простоту и знала, что онъ говорить то, что думаетъ.

Она знала также и другое—ужасное; знала, что ея возлюбленный долженъ умереть.

Ей не нужно было искать подтвержденія въ лицѣ доктора Брунна, которое съ каждымъ днемъ принимало все болѣе и болѣе озабоченное выраженіе. Болѣзнь Ральфа и ея развитіе до мельчайшихъ подробностей походило на болѣзнь одной пациентки въ больницѣ Августы, о которой докторъ Бруннъ съ самаго начала сказалъ — и остальные врачи согласились съ нимъ, — что тутъ неизбеженъ смертельный исходъ. И благоразумный докторъ ни разу не обращался къ Маріи съ грустнымъ утѣшеніемъ: тутъ нужно положиться на природу; наука и при менѣ сложныхъ случаяхъ оказывается безсильной. Когда ихъ взоры встрѣчались, они видѣли, что каждый знаетъ печальную тайну, тайну, которая должна была остаться неизвѣстной Смиту. Онъ бы не вынесъ, еслибъ узналъ, что счастье, которое оварило закатъ его жизни, должно скоро померкнуть во мракѣ смерти. Во всякомъ случаѣ, онъ не могъ бы сохранить улыбки, полной благодарности и надежды, которая появлялась на его губахъ всякій разъ, какъ въ положеніи больного обнаруживалось кажущееся улучшеніе.

А самъ Ральфъ?

Тотъ, кто, въ минуты облегченія страданій, увидѣлъ бы его блестящіе глаза, послушалъ остроумную и живую рѣчь, полную увлекательной фантазіи, тотъ подумалъ бы, что въ эту свѣтлую душу еще не западало темное предчувствіе смерти, не говоря уже о мрачной увѣренности въ близкомъ концѣ. Даже глазъ доктора, привыкшія разбирать загадки человѣческой души, не могъ подмѣтить ни малѣйшаго признака, который бы указывалъ на противоположное, такъ что для Маріи оставалось печальное утѣшеніе въ сознаніи, что она одна несетъ на себѣ тяжесть ужасной увѣренности.

Скоро ей пришлось убѣдиться въ своей ошибкѣ.

Это случилось ночью, которая началась хуже, чѣмъ предыдущія. Жестокія страданія, ужасная тоска терзали больного; наконецъ, уже подъ утро онѣ уступили принятымъ героическимъ мѣрамъ. Докторъ Бруннъ, проведеншій четыре часа у постели больного, ушелъ; Смитъ, побѣжденный усталостью, бросился на диванъ въ сосѣдней комнатѣ; только Марія оставалась при больномъ. Въ продолженіе четверти часа онъ лежалъ не шевелясь. Но вдругъ открылъ глаза, посмотрѣлъ на нее страннымъ торжественнымъ взглядомъ и сказалъ, слабо пожимая ея руку:

— Я сначала хотѣлъ скрыть это отъ себя, и мучилъ васъ заботами о будущемъ, хотя внутренній голосъ говорилъ мнѣ, что оно никогда не наступитъ. Прости! И не мѣшай отцу предаваться мечтамъ: онъ всегда находилъ въ нихъ утѣшеніе. Тебѣ, дорогая, я не могу сказать ничего, чего бы твое сердце уже не знало: для меня нѣтъ спасенія, я принадлежу къ счастливому и несчастному роду Азра, въ которомъ всѣ умираютъ, когда полюбятъ. Я всегда зналъ это и бѣжалъ отъ любви, какъ гомеровскій воинъ бѣжитъ отъ богини, которая преслѣдуетъ его на полѣ битвы. Но отъ боговъ не убѣжишь. Ты явилась передо мной — и мнѣ не было выхода; моя судьба рѣшилась. Я могу считать себя счастливымъ. Умереть въ прекрасномъ расцвѣтѣ любви — это смерть пророка на высотахъ Хорива. Но ты, моя ненаглядная невеста, моя милая жена, ты останешься жить. Какъ ты перенесешь это безъ надежды на свиданіе, — надежды, которой могутъ обольщаться только дѣти? Какъ ты будешь жить, когда отъ меня не останется ничего, кромѣ воспоминанія въ твоемъ сердцѣ? Эта мысль привела бы меня въ уныніе, еслибы я не надѣялся на силу твоего духа, для котораго все тлѣнное — только аллегорія. Наша любовь не имѣетъ ничего общаго съ временемъ и пространствомъ: минута въ раю или вѣчность — различаются только въ глазахъ ограниченныхъ. Пусть это будетъ моей послѣдней минутой — но я твой, ты моя — и цѣлыя вѣка ничего не прибавятъ и не убавятъ отъ этого. Скажи мнѣ поцѣлуемъ, дорогая, что ты думаешь то же, что я.

Молча, безъ слезъ, какъ бы увлеченная въ царство безплотныхъ, свѣтлыхъ духовъ, Марія наклонилась надъ своимъ возлюбленнымъ и прижала губы къ его губамъ.

## VIII.

Между тѣмъ какъ невинная пара и на краю смерти срывала благоухающіе цвѣты жизни, союзъ Анни и Гартмута приносилъ только горькіе плоды. Она смѣялась въ его объятіяхъ надъ глупою сантиментальностью, которая прежде заставляла ее просить благословенія у Маріи; онъ презрительно улыбался, торжествуя побѣду, которой не надѣялся достигнуть безъ помощи Маріи, и тѣмъ не менѣе достигъ, положившись на самого себя и свое счастье. А все-таки Анна чувствовала въ глубинѣ сердца, что ей недоставало этого благословенія для полнаго счастья, да и Гартмуту иногда приходило въ голову, что его возлюбленная была бы послушнѣе, еслибъ всегда смотрѣла въ серьезные глаза Маріи.

Впрочемъ, когда она говорила Маріи, что будетъ послушна тому, кого полюбитъ, это не были пустыя слова. Теперь такъ и случилось. Она стала бы презирать себя, еслибы раскаялась въ этомъ. У нея не являлось также сомнѣнія, не приноситъ ли она жертву идолу. Но вскорѣ ею овладѣло безумное желаніе—пусть онъ докажетъ всему міру, что онъ единственный, кому она могла пожертвовать собою, герой изъ героевъ, ея господинъ, ея божество.

Въ такія минуты рабыня становилась страшной, и Гартмутъ боялся ея. До сихъ поръ ему только съ величайшимъ трудомъ удавалось срывать подъ маской холодной самоувѣренности сознаніе своего безсилія. Напрасно онъ говорилъ себѣ: это бѣсноватая, она сама не знаетъ, чего хочетъ, а если и знаетъ—такъ это пустыя фантазіи, сумасбродство. Однако онъ соглашался съ этими фантазіями, потакалъ этому сумасбродству. И вотъ онъ чувствовалъ себя пойманнымъ на словѣ, о которомъ никогда и не думалъ серьезно, которое исполнить ему и во снѣ не снилось. Чортъ возьми! Изъ-за того, что онъ разыгрывалъ какаго-то Брута передъ энтузіасткой, которою иначе не могъ бы овладѣть,—неужели ему и на самомъ дѣлѣ сдѣлаться Брутомъ? Однажды, во времена крайней нужды, онъ попробовалъ выступить актеромъ на какой-то провинціальной сценѣ; его освистали, и онъ вышелъ это вполне естественнымъ. Теперь онъ думалъ, что недостаточно оцѣнилъ себя: величайшій комикъ, который можетъ оставаться невозмутимо серьезнымъ въ глупѣйшей роли, заставляющей партеръ покатываться со смѣху, не превзошелъ бы его съ его трагическими позами и декламаціями, которыя ему самому казались верхомъ смѣшнаго. И ему недоставало публики, которая польстила бы его тщеславію рукоплесканіями; онъ долженъ былъ показывать

свое искусство передъ нарою глазъ, блескъ которыхъ вначалѣ, конечно, ослѣплялъ его. Непродолжительное ослѣпленіе, которое разсѣялось въ наслажденіи. Теперь онъ часто смотрѣлъ въ эти глаза съ чувствомъ ужаса, какъ укротитель звѣрей смотритъ въ глаза львицы, которая еще покорна ему, но со временемъ—онъ знаетъ—растерзаетъ его.

Такимъ образомъ, роль въ трагикомедіи, какою были для него его отхожденія къ Аннѣ, роль, которую онъ отчасти самъ взялъ на себя, отчасти она ему навязала,—съ каждымъ часомъ становилась для него невыносимѣе. До сихъ поръ все шло благополучно: силы и искусство актера еще не измѣняли ему. Не измѣнять и далѣе, пока онъ будетъ увѣренъ, что цѣль, если удастся ее достигнуть, вполне вознаградитъ своимъ блескомъ и величіемъ такіе неслыханные труды и усилія.

Увѣренность, которую вначалѣ онъ имѣлъ въ этомъ отношеніи, въ послѣднее время сильно поколебалась. Правда, по европейскимъ понятіямъ, господинъ Куртисъ все еще могъ считаться богачомъ; но, очевидно, не былъ американскимъ крезомъ, набобомъ, какимъ поназвался Гартмуту сначала. Банкиръ, у котораго господинъ Куртисъ пользовался кредитомъ и который въ первое время былъ сама любезность, теперь сильно измѣнился, сталъ неразговорчивымъ, замкнутымъ. Не ускользнуло отъ Гартмута и то, что господинъ Куртисъ теперь гораздо рѣже и не безъ колебанія прибѣгалъ къ его кредиту. Кромя того, тотъ же банкиръ, въ концѣ концовъ, отказался взять на себя извѣстныя едѣлки касательно выпуска пресловутыхъ воктавскихъ акцій, хотя сначала рьяно ухватился за это предпріятіе. Пришлось поручить дѣло другому банкирскому дому, далеко не пользовавшемуся такою солидною репутаціей, какъ первый. Что все это предпріятіе могло привести только къ гибели несчастныхъ акціонеровъ—въ этомъ Гартмутъ никогда не сомнѣвался; что его отецъ былъ однимъ изъ главныхъ акціонеровъ, это не только не возбуждало въ немъ укора совѣсти, но, напротивъ, наполняло его злобной радостью. Но теперь у него возникло сомнѣніе, точно ли Куртисъ воспользуется добычей; не стоятъ ли за нимъ богѣе крутые и счастливые хищники, которымъ онъ долженъ будетъ уступить львиную долю. Многое говорило въ пользу этого, но сколько онъ ни ломалъ голову, какъ ни старался проникнуть въ суть коммерческихъ тайнъ, ему, въ несчастію, недоставало основательной коммерческой подготовки, которую не могли вполне замѣнить умъ и находчивость. Хуже всего было то, что господинъ Куртисъ скрывалъ во мракѣ самые существенные пункты. Можетъ быть, это зависѣло отъ неизвѣст-

наго руководителя дѣла, который не раскрывалъ своихъ картъ даже передъ самымъ довѣреннымъ приказчикомъ; можетъ быть, это была личная особенность самого Куртиса, а можетъ быть и что-нибудь другое.

Если въ своихъ расчетахъ Гартмутъ имѣлъ дѣло съ неизвѣстными, сомнительными величинами, то его успокоивало одно: очевидная близость смерти Ральфа, послѣ которой Анна останется единственной наслѣдницей Куртисовъ. Самъ онъ, разумѣется, ни разу не входилъ въ комнату больного; на болтовню госпожи Куртисъ нельзя было обращать вниманія; господинъ Куртисъ почти не заикался о семейномъ несчастіи; сама Анна, хотя и посѣщала иногда больного, но изъ ея лаконическихъ замѣчаній можно было заключить только одно, что каждое изъ этихъ посѣщеній разстроивало ее все больше и больше. Зато онъ нашелъ надежную вѣстовщицу въ лицѣ Аустины. Съ первыхъ дней пребыванія въ домѣ Куртисовъ онъ подружился со старухой. Она-то и объяснила ему значеніе перваго посѣщенія Куртисовъ Маріей, и такимъ образомъ навела на слѣдъ истинныхъ отношеній между Маріей и Смитомъ; она была повѣренной въ его любовныхъ отношеніяхъ съ Анной; она же сообщала ему все, что могла подслушать и подмѣтить въ комнатахъ больного. То, чего она не могла услышать въ разговорѣ Маріи съ докторомъ, такъ какъ они говорили шопотомъ, выдавали ихъ разстроенныя лица. Притомъ же довольно взглянуть на бѣднягу Ральфа, чтобы видѣть, что ему не одобровать, и никакія усилія любви тутъ не помогутъ.

Итакъ, близкій конецъ Ральфа безъ сомнѣнія очевиденъ также и для господина Куртиса. Согласится ли онъ отдать свое единственное дитя бѣдняку?

Невозможнаго тутъ нѣтъ. Онъ не можетъ сомнѣваться, что Анна, въ концѣ концовъ, поставитъ на своемъ, и охотнѣе сдѣлаетъ своимъ зятемъ умнаго бѣняка, чѣмъ пустого кавалера, въ родѣ Регинальда, или такого человѣка, какъ Гербертъ, который, при всемъ своемъ умѣ, никогда не сдѣлается американцемъ, но всегда останется нѣмецкимъ чиновникомъ и юнкеромъ. Теперь спрашивается: знаетъ ли онъ объ отношеніяхъ Гартмута къ Аннѣ?

Гартмутъ готовъ былъ поклясться, что знаетъ. Аустина тоже склонялась къ этому на основаніи нѣкоторыхъ выраженій миссисъ Куртисъ, которымъ Гартмутъ придавалъ большое значеніе. Онъ зналъ, что единственное существо въ семьѣ, — вѣрнѣе, въ дѣломъ свѣтѣ, — которое Куртисъ дѣйствительно любилъ, была его жена. Можетъ быть, думалъ Гартмутъ, потому что она была полундіоткой и безусловно подчинялась мужу; можетъ быть потому, что и

онъ, замѣнутый для всего свѣта, чувствовалъ потребность въ существѣ, которому бы могъ довѣряться или, по крайней мѣрѣ, при которомъ могъ бы высказывать самыя потаенныя мысли, зная, что тутъ въ одно ухо влетитъ, а въ другое вылетитъ. Но въ отношеніи дочери у этой несчастной оставалось еще настолько женскаго и материнскаго инстинкта, чтобы запомнить сущность того, что говорилъ по этому поводу мужъ и что она, съ своей стороны, рассказывала, въ неясныхъ выраженіяхъ довѣреннымъ лицамъ. Аустина клялась, что увѣрена въ справедливости своего мнѣнія.

Господинъ Куртисъ не стѣснялся устранять съ своей дороги то, что ему было неприятно. Такъ какъ въ данномъ случаѣ онъ не дѣлалъ и не пытался сдѣлать ничего подобнаго, то являлись только два предположенія: или онъ сочувствовалъ любви Анны, но по какимъ-либо соображеніямъ не хотѣлъ до поры до времени обнаруживать своего сочувствія; или не сочувствовалъ и дожидался только удобнаго момента, чтобы заявить свое veto. По здоровомъ обсужденіи дѣла, Гартмутъ склонился къ первому предположенію; ему казалось, что онъ понялъ основной мотивъ дѣйствій Куртиса.

Мотивъ, очевидно, тотъ же, который заставлялъ Куртиса дѣлать видъ, что онъ не замѣчаетъ происходящаго въ комнатѣ больного: вниманіе къ Илиціусамъ, которые, какъ было извѣстно Гартмуту, уже и теперь выходили изъ себя по поводу происшествій въ домѣ Куртиса и никогда не простили бы ему покровительства враждебнымъ для нихъ интересамъ. А между тѣмъ теперь болѣе чѣмъ когда-либо слѣдовало потаивать имъ.

Черезъ нѣсколько дней долженъ былъ произойти выпускъ коктавскихъ акцій. Для господина Куртиса, разумѣется, было важно, чтобы дѣло пошло въ ходъ при содѣйствіи гехеймрата, который употребилъ все свое вліяніе, чтобы возбудить сочувствіе къ этому предпріятію. До тѣхъ поръ Гартмуту и думать было нечего приступать къ какимъ-либо рѣшительнымъ дѣйствіямъ въ отношеніи отца своей возлюбленной; а между тѣмъ терпѣніе Анны, которое онъ долго и искусно поддерживалъ, приходило къ концу.

Она торопила его рѣшеніемъ съ такой горячностью, что Гартмутъ могъ объяснить это только однимъ стремленіемъ женщины закрѣпить за собой любимаго человѣка при помощи обрядовъ, санкціонированныхъ обществомъ, хотя бы сами по себѣ они казались ей пустыми. Въ послѣднее время, всякій разъ какъ они встрѣчались, Анна заводила разговоръ на эту тему, кото-

рая, казалось, одна занимала ее; Гартмутъ всякій разъ уклонялся, ссылаясь на серьезность темы, которую не исчерпаешь въ краткомъ разговорѣ. Но долженъ былъ наступить моментъ, когда этимъ не отдѣлаешься, и придется приступить къ рѣшительному объясненію.

## IX.

Анна не знала, что ея родители были приглашены къ обѣду въ тотъ же самый часъ, когда обыкновенно обѣдали у Куртисовъ. Смитъ и Марія, которые обыкновенно являлись къ обѣду поочередно, на этотъ разъ прислали сказать, что не придутъ. Поэтому Анна и Гартмутъ, явившись въ столовую, увидѣли на огромномъ столѣ, накрытомъ съ обычной пышностью, только два прибора. Родители появились на минуту сообщить о томъ, что уходятъ, и распростылись, а молодые люди остались одни.

Въ теченіе обѣда, сервированнаго съ обычной церемонностью, они только изрѣдка нарушали молчаніе, обмѣниваясь ничто незначащими словами. Одинъ изъ прислуживавшихъ за обѣдомъ лакеевъ хорошо понималъ англійскій языкъ, и Гартмутъ подозрѣвалъ, что онъ служитъ шпиономъ Илиціусамъ. Наконецъ, убрали десертъ; Гартмутъ проводилъ Анну до дверей сосѣдняго салона, а самъ вернулся къ столу, доканчивать мортвейгъ, между тѣмъ какъ подозрѣваемый слуга—другой уже ушелъ—все еще возился около буфета. Дверь въ салонъ осталась открытой. Анна присѣла къ фортепіано и стала наигрывать отрывки своихъ любимыхъ пѣсень, напѣвая ихъ въ полголоса и очевидно дожидаясь ухода слуги. Гартмутъ обдумывалъ, что ему говорить, если Анна, въ чемъ онъ былъ увѣренъ, заведетъ рѣчь на извѣстную тему. Тамъ навъ ему не приходило въ голову никакихъ новыхъ аргументовъ, то онъ рѣшилъ пустить въ ходъ старыя, въ нѣсколько измѣненной формѣ, но ни въ какомъ случаѣ не уступать. Уступать! Что за глупость! Онъ столько времени плылъ по бурному морю не для того, чтобы потерпѣть крушеніе у спасительнаго берега! Да, у спасительнаго! Послѣ нищенской жизни, которую онъ велъ столько времени, добиться счастья, возможности удовлетворять всѣмъ своимъ вкусамъ! А вкусъ у него есть! Сама избалованная Анна удивится! И, разумеется, никакого стѣсненія для обѣихъ сторонъ! Полнѣйшее *laissez-faire, laissez-aller*. Она хвалилась неограниченной свободой своего духа. Ну, въ немъ она найдетъ учителя! Они будутъ жить въ Парижѣ. Еще будучи студентомъ, онъ однажды, во время вакацій, провелъ тамъ двѣ



недѣли и сохранилъ объ этомъ времени самое пріятное воспоминаніе. Это будетъ самое удобное мѣсто и для него, и для нея: каждый можетъ тамъ по своему блистать передъ людьми.

Богъ знаетъ, почему ему казалось теперь такъ легко то, что раньше возбуждало много сомнѣній и безпокойства. Но такъ бывало всегда: лишь только наступалъ рѣшительный моментъ, онъ чувствовалъ себя во всеоружіи, готовымъ радостно вступить въ бой. Да, это его стихія! Къ чорту филистерское спокойствіе! Ну, еще полстакана портвейну, языкъ будетъ лучше двигаться. Теперь начнемъ комедію!

Слуга, наконецъ, кончилъ свою возню у буфета и ушелъ изъ столовой. Анна сыграла и сыѣла еще нѣсколько тактовъ, потомъ встала и подошла къ дверямъ въ то время, какъ онъ тоже вставалъ изъ-за стола. Онъ быстро подошелъ къ ней и горячо поцѣловалъ ея руку.

— Наконецъ-то!—сказалъ онъ.

— Ты знаешь эту пѣсню, послѣднюю? — спросила она пошмецки; теперь она всегда говорила съ нимъ на этомъ языкѣ.

— Я думалъ только о тебѣ, не о пѣснѣ,—отвѣчалъ онъ.— Что же это за пѣсня?

— Одна изъ моихъ негрятянскихъ пѣсень. У плантатора есть дочь отъ черной рабыни — прекрасная дѣвушка, которую онъ очень любитъ. Торговецъ, которому понравилась дѣвушка, предлагаетъ солидную сумму. Плантаторъ колеблется, но его обстоятельства плохи, онъ продаетъ дочь! Кузнецъ беретъ ее за руку и уводитъ на корабль, который стоитъ въ бухтѣ на якорѣ. Лонгфелло написалъ на этотъ сюжетъ балладу. Она почти такъ же хороша, проста и трогательна, какъ сама пѣсня.

— Почему ты вспомнила о такомъ печальномъ предметѣ? — спросилъ Гармутъ, охвативъ рукою ея стройную талию.

Но она освободилась изъ его объятій, подошла къ столу, опустилась на стулъ, на которомъ раньше сидѣлъ Гармутъ, отодвинула пустой стаканъ и сказала, подперевъ голову рукою:

— Я его видѣла—торговца рабами. На немъ не было матросской куртки или стальныхъ серегъ въ ушахъ; онъ былъ въ бѣломъ галстухѣ, носилъ крупный брилліантъ на шемизеткѣ и похожъ былъ на моего отца. Однако онъ былъ торговецъ рабами. Мой отецъ былъ имъ въ то время, когда родился Ральфъ, въ Новомъ-Орлеанѣ, долго, пока торговля не перестала давать барышъ, и въ Калифорніи не оказалось золота, которое могъ добывать всякій, кто умѣлъ владѣть заступомъ и револьверомъ. Заступомъ! посмотри на его руки, когда на нихъ нѣтъ перча-

токъ! А револьверъ! звукъ его выстрѣловъ, конечно, часто раздавался тамъ, въ глухихъ ущельяхъ, у Сакраменто! Одною человѣческою жизнью больше или меньше—что это значило для того, кто въ теченіе многихъ лѣтъ торговалъ человѣческимъ мясомъ! Не правда ли, приятно имѣть такого отца?

— Не знаю, могу ли я похвалиться своимъ,—сказалъ Гартмутъ, пожимая плечами.—Но почему ты только сегодня коснулся этого печальнаго предмета?

Врядъ ли она слышала вопросъ. Она облокотилась на обѣ руки и, судорожно трепля свои пышные волосы, продолжала глухимъ голосомъ:

— А моя мать! Онъ взялъ ее съ собою, но оставилъ въ Санъ-Франциско. Однажды она не могла преодолѣть желанія видѣть его и отправилась къ нему, сначала съ партией золотоискателей, потомъ одна, верхомъ на мулъ, искала его въ пустынѣ, пока, наконецъ, нашла. Тутъ она увидѣла нѣчто ужасное. Что именно, она теперь не знаетъ; она схватила горячку, послѣ которой стала тѣмъ, что есть. Кажется, она была замѣчательно красива и умна. Потомъ, спустя восемь лѣтъ, родилась я—отъ убійцы и полусумасшедшей, отъ отца, который торговалъ рабами, и матери, которая была внучкой раба!

„Сегодня она опять просто ужасна“,—подумалъ Гартмутъ и сказалъ самымъ нѣжнымъ тономъ:

— Но, дорогая, зачѣмъ ты мучишь себя и меня этими печальными воспоминаніями?

Она опустила руки и, поднявъ голову, посмотрѣла на него большими печальными глазами.

— Зачѣмъ? зачѣмъ, что я сама помѣшаюсь подъ гнетомъ этого проклятія, если оно не снимется съ меня, и если ты не тотъ, единственный, кто можетъ избавить меня отъ него!

„Она положительно сумасшедшая“,—подумалъ Гартмутъ и сказалъ самоувѣреннымъ тономъ, къ которому всегда прибѣгалъ въ подобныхъ случаяхъ:

— Нѣтъ никакого проклятія, кромѣ того, которое мы сами на себя налагаемъ, никакого благословенія, кромѣ того, которое мы сами себѣ даемъ. Что такое материнское благословеніе или отцовское проклятіе? Говорить, что данное поколѣніе должно принять съ животной поворностью наслѣдіе глупости и безумія предшествовавшихъ поколѣній—значитъ освящать рабство человѣчества. Это—безуміе, которое превратитъ земной шаръ въ домъ умалишенныхъ. Хорошо, что являются иногда люди, которые разбиваютъ цѣпи рабства и разрываютъ шутовскую одежду. Я

могъ это сдѣлать, также какъ и ты. Иначе мы бы не полюбили другъ друга.

Онъ привлекъ ее въ свои объятія рѣшительнымъ движеніемъ. Съ минуту она оставалась въ нихъ, но потомъ снова освободилась и сказала:

— Конечно, это первое условіе: быть свободнымъ, какъ ты и я, потому что только тотъ, кто освободилъ себя, можетъ попытаться освободить другихъ. Это—второе, для чего первое служить только подготовительной школой и переходной ступенью. Ты свободный человѣкъ, и потому долженъ сдѣлаться освободителемъ человѣчества. Я знаю, что ты думаешь объ этомъ и день, и ночь, что ты пойдешь на это дѣло, когда наступитъ часъ. И я, хотя жду не дождусь этого часа, но боюсь, что сама замедлю его наступленіе; боюсь, что ты, въ которомъ я бы хотѣла видѣть гиганта, умалешься изъ состраданія во мнѣ, такъ какъ боишься, что я не пойду за твоимъ гордымъ знаменемъ. Мысль объ этомъ преслѣдуетъ меня; изъ-за нея я провожу безъ сна долгіе часы ночи. Я не вынесу этого, и умоляю тебя объ одномъ: испытай меня! я прошу, умоляю тебя, прости мнѣ дѣтскія желанія, которыми я въ послѣднее время досаждала тебѣ и которыя имѣли только одну цѣль—закрѣпить связь между нами. Я твоя жена, и горжусь этимъ. Докази же, что и ты гордишься мною и довѣряешь мнѣ! Уведи меня изъ этого дома, гдѣ мнѣ кажется, что стѣны должны обрушиться на меня! изъ этой атмосферы, въ которой я задыхаюсь, отъ этой роскоши, которая мнѣ противна; отъ этого богатства, которое я попираю ногами! Развѣ мы можемъ оставаться въ этомъ городѣ, въ этой странѣ! Уйдемъ, милый, уйдемъ! воспользуемся благоприятной минутой, которая, быть можетъ, не повторится! Ты бѣденъ, но у меня пока довольно для насъ обоихъ. Позволь мнѣ заботиться о тебѣ, пока ты не будешь въ состояніи заботиться обо мнѣ. Клянусь тебѣ, я не буду для тебя помѣхой. Уйдемъ! уйдемъ!!

Она охватила его обѣими руками и увлекла бы съ собой, еслибы онъ не удержалъ ее. Оттолкнуть ее, какъ безумную? растоптать ногами, какъ змѣю, отъ укушенія которой кровь свертывается въ жилахъ? Морозъ прошелъ у него по тѣлу. Чортъ возьми! а вѣдь онъ вовсе не былъ трусъ, хотя и посматривалъ теперь на дверь и желалъ бы, чтобъ она была между нимъ и ею. Однако нужно же что-нибудь сдѣлать!

— А твой братъ, — сказалъ онъ нѣжно, — который того и гляди умретъ? А Марія, которую ты такъ любишь? а добрыі. Смитъ, который сдѣлался для тебя истиннымъ отцомъ?

— Пусть мертвые хоронятъ своихъ мертвецовъ! — прошептала она. — Такъ всегда бываетъ. Ты самъ это знаешь. Зачѣмъ же ты испытываешь меня?..

Надо положить конецъ этой сценѣ, хотя бы этотъ конецъ былъ разрывомъ, который все равно неизбѣженъ, и, можетъ быть, чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Но когда онъ взглянулъ въ ея горѣвшіе дикимъ огнемъ глаза, все его мужество исчезло. И притомъ честолюбіе, заставлявшее его желать поставить на своемъ; страсть къ прекрасной женщинѣ, внезапно ожившая въ немъ, мечта о богатствѣ и блескѣ, которую онъ такъ долго лелѣялъ, и отъ которой не хотѣлъ отказаться, — ни за что! Все это пробудилось въ немъ; онъ высвободился изъ ея рукъ, прошелся по комнатамъ и, остановившись передъ нею, сказалъ:

— Я долженъ казаться тебѣ слабымъ и нерѣшительнымъ. Я знаю это, но иначе и быть не можетъ. Я связанъ ужасною клятвой, которая соединяетъ насъ, посвященныхъ, несокрушимою цѣпью; эта цѣпь не порвется, если даже отскочить одно звено. Кто отдѣлится, тотъ унесетъ тайну въ холодную могилу. Это — огромное предпріятіе, и рѣшеніе ожидается съ минуты на минуту. Если я откажусь отъ него, — я не боюсь смерти, которая настигнетъ меня, хотя бы я убѣжалъ на край свѣта; но боюсь отвращенія, которое буду питать къ самому себѣ, если въ такую минуту покину товарищей. То, что я говорю, темно; но я все-таки сказалъ слишкомъ много и нарушилъ свою клятву. Братья должны мнѣ простить это! Ты принудила меня, я не могъ поступить иначе.

Онъ притянулъ ее къ себѣ, какъ будто ея красота, очаровавшая его, была его единственнымъ оправданіемъ, и осыпалъ ея лицо бѣшеными поцѣлуями. Она дрожала всѣмъ тѣломъ, и среди поцѣлуевъ шептала только: — прости! прости!

Наконецъ онъ отпустилъ ее; она упала на стулъ возлѣ стола и снова прижала руки къ пылающему лбу.

Вотъ оно! огромное предпріятіе, которое скоро свершится! И она хотѣла вмѣшаться въ него съ своими слабыми женскими силами! Хотѣла испытать, такой ли онъ человекъ, чтобы отказаться отъ своей цѣли ради чего бы то ни было!

Она опустила руки, обратила къ нему свое блѣдное лицо и сказала тихимъ, твердымъ, голосомъ:

— Если ты, въ чемъ я не сомнѣваюсь, займатись своею жизнью за это дѣло, то пусть въ послѣднюю минуту тебѣ послужитъ утѣшеніемъ мысль, что твоя жена переживетъ тебя не

дольше, чѣмъ сколько нужно будетъ, чтобы покончить съ существованіемъ, которое потеряетъ для нея всякій смыслъ и значеніе.

— Я зналъ это прежде, чѣмъ ты сказала, — отвѣчалъ Гартмутъ, чувствуя невольный ужасъ при видѣ этого фанатизма, хотя въ то же время онъ возбуждалъ въ немъ охоту смѣяться.

— И знай, — продолжала она тѣмъ же тономъ, — что если ты этого никогда не будешь, но все равно! — если у тебя не хватитъ силъ для подвига, почему бы это ни случилось, я тоже не переживу разочарованія въ томъ, кому удивляться, вѣрить, поклоняться, кого любить — было вѣнцомъ моей жизни!

Она протанула ему руки, которыя онъ покрылъ поцѣлуями, бросившись передъ нею на колѣни, какъ бы запечатлѣвая клятвой только-что заключенный союзъ на жизнь и смерть. Но положеніе становилось невыносимымъ, и съ души его точно бремя свалилось, когда послышались чьи-то поспѣшные шаги. Онъ едва успѣлъ вскочить, какъ въ дверяхъ появился слуга.

— Супруга посланника приказали спросить, могутъ ли онѣ лично узнать о здоровьѣ господина профессора.

— Развѣ вы не сказали, что господина Куртиса и его жены нѣтъ дома?

— Ея превосходительство знаютъ это; онѣ желаютъ видѣть фрейлейнъ.

— Я не могу не принять ее, — сказала Анна вполголоса по-англійски; слуга не понималъ этого языка.

„Слава Богу!“ — подумалъ Гартмутъ, и прибавилъ вслухъ.

— Значитъ, я долженъ уйти. До свиданія, моя дорогая!

— До свиданія.

Онъ нѣжно пожалъ ей руку, поклонился, взялъ шляпу и вышелъ изъ комнаты.

Она печально посмотрѣла ему вслѣдъ, провела платвомъ по лицу и пошла въ гостиную.

## Х.

Выйдя изъ столовой, Гартмутъ остановился въ корридорѣ, обдумывая рѣшеніе, которое онъ уже давно составилъ, въ неотложности котораго окончательно убѣдился послѣ сцены съ Анной. Онъ долженъ былъ преодолѣть страхъ, мѣшавшій ему сблизиться съ Смитомъ; по крайней мѣрѣ, онъ долженъ былъ сдѣлать попытку заслужить расположеніе вліятельнаго человѣка, привлечь его къ своимъ интересамъ, вліять посредствомъ его на Анну. Самъ онъ

бессиленъ противъ ея восторженности, но, можетъ быть, она послушается стараго друга и учителя. Если попытка не удастся — ну, тогда дѣлать нечего; придется бросить это дѣло и перейти на сторону Герберта. Но это, конечно, крайнее средство.

Въ эту минуту на лѣстницѣ, ведшей въ комнаты Ральфа, въ верхнемъ этажѣ, появилась Аустина, какъ будто зная, что она ему нужна. Послѣ непродолжительнаго разговора шопотомъ старуха снова поднялась по лѣстницѣ, а онъ спустился въ свою комнату въ нижнемъ этажѣ, переодѣлся, взявъ съ конторки какия-то бумаги и снова вернулся въ корридоръ, гдѣ Аустина уже дожидалась его.

— Онъ въ своей комнатѣ и согласенъ васъ принять, — прошептала старуха. — Но еще разъ говорю вамъ: вы напрасно трудитесь. Съ нимъ ничего не сдѣлаешь.

— Все равно! — пробормоталъ Гартмутъ.

— По крайней мѣрѣ, будьте осторожны!

— Не беспокойтесь!

Старуха ушла; Гартмутъ поднялся по лѣстницѣ, прошелъ на цыпочкахъ по корридору и тихонько постучалъ въ дверь Смита.

— Войдите! — слышалось изъ комнаты; Гартмутъ отворилъ дверь и вошелъ.

На рабочемъ столѣ горѣла лампа; Смитъ стоялъ подлѣ него, устремивъ свои большіе спокойные глаза на необычнаго посѣтителя.

— Вы хотѣли поговорить со мной? — сказала онъ.

— Къ вашимъ услугамъ, господинъ баронъ, — съ поклономъ отвѣчалъ Гартмутъ.

— Пожалуйста, называйте меня тѣмъ именемъ, подѣ которымъ вы меня знали, — сказалъ Смитъ.

„Плохое начало“, — подумалъ Гартмутъ, вторично кланяясь; затѣмъ, по приглашенію Смита, сѣлъ на стулъ подлѣ стола; Смитъ тоже сѣлъ.

— Чтѣ послужило поводомъ къ вашему посѣщенію?

— Во-первыхъ, — отвѣчалъ Гартмутъ, — я хотѣлъ передать вамъ эти письма. Я увидѣлъ, что они адресованы моему отцу. Я нашелъ ихъ тамъ же, гдѣ нашелъ вашъ портретъ, который позволилъ себѣ передать вашей дочери.

Онъ вынулъ изъ кармана пачку писемъ и передалъ Смитѣ, который положилъ ее на столъ, даже не взглянувъ на нее.

— Благодарю васъ за вниманіе, — сказалъ онъ, — такъ какъ вообще принято благодарить за всякое вниманіе. Вы сами не

станете требовать, чтобы я чувствовалъ радость при этомъ напоминаніи прошлаго, съ которымъ я давно порвалъ. Смѣю спросить: есть ли еще другая причина, заставившая васъ желать этого свиданія?

„Чортъ бы тебя побралъ съ твоими фарсами!“ — подумалъ Гартмутъ и сказалъ тономъ, которому старался придать какъ можно больше горечи:

— Простите, если я не приготовился къ этому вопросу! Я думалъ, что вы сѣмѣете войти въ мое положеніе, что оно возбуждетъ въ васъ хоть нѣкоторое сочувствіе. Я пришелъ въ этотъ домъ, чтобы избавиться отъ голодной смерти, которая мнѣ угрожала. Я надѣялся найти здѣсь временное успокоеніе отъ окружающей меня суеты, и вмѣсто того очутился въ самомъ странномъ, невѣроятномъ положеніи. Съ одной стороны, мое семейство, которое меня оттолкнуло, и въ которому я—видитъ Богъ, противъ воли—долженъ былъ приблизиться. Съ другой, чужая семья, члены которой всѣ безъ исключенія возбуждаютъ во мнѣ глубочайшую симпатію; я уже раздѣлялъ ихъ горе и радость, когда... слова замираютъ у меня на губахъ; но если я замолчу, то какъ объяснить вамъ причину своего посѣщенія?.. когда одинъ изъ членовъ этой семьи покоряетъ мои чувства, мысли, мое сердце, все мое существо и... случилось то, на что я не смѣлъ надѣяться, о чемъ едва смѣлъ думать: она полюбила меня также, какъ я ее. И вы можете спрашивать, какая причина заставила меня искать этого свиданія! Но я знаю, откуда у васъ эта холодная осторожность! Въ васъ возбудили недовѣріе ко мнѣ, и вотъ вы отталкиваете меня, даже не выслушавъ! Теперь, конечно, я вижу, что лучше бы сдѣлалъ, еслибы не подвергалъ себя этому униженію. Прошу извинить за безпокойство!

Онъ сдѣлалъ видъ, что встаетъ, но снова опустился на стулъ, когда Смитъ поспѣшно удержалъ его за руку и сказалъ:

— Оставайтесь! Прошу васъ!

И послѣ короткой паузы, въ теченіе которой онъ задумчиво потиралъ себѣ лобъ, прибавилъ:

— Вы правы! Извините! Но вы ошибаетесь, если думаете, что моя дочь дурно отзывалась о васъ.

— Я не говорилъ этого, — поспѣшно возразилъ Гартмутъ: — я говорилъ только о недовѣрїи, которое фрейлейнъ Марія чувствуетъ ко мнѣ, и которое сообщилось вамъ. Со стороны фрейлейнъ Марїи я нахожу это понятнымъ и простительнымъ. У нея высокой образъ мыслей, но она все-таки женщина и не можетъ себѣ представить, что одно и то же положеніе — мы оба

отвержены ея семьей—для мужчины должно имѣть другія послѣдствія, другіе результаты, чѣмъ для женщины. Какой же мужчина можетъ обладать пассивною силой женскаго терпѣнія? Во всякомъ случаѣ я ею не обладаю. Въ индивидуальной несправедливости, оказанной мнѣ, я скоро увидалъ общую несправедливость, господствующую въ государствѣ и въ семьѣ. Я вступилъ въ борьбу съ этой несправедливостью. Что молодой, пылкій, неопытный человѣкъ не можетъ выйти съ вполне незапятнанной душою изъ неравной борьбы; что онъ можетъ иногда обратить противъ себя самого бѣшенство, кипящее въ немъ при мысли о своемъ безсиліи; что, отчаявшись въ исправленіи міра, онъ можетъ перенести это отчаяніе на себя самого и не удержаться на пути добродѣтели, на которомъ легко удерживаются люди, никогда не боровшіеся и не страдавшіе—Боже мой! я думалъ, что такая женщина, какъ она, должна понять это. Только понять! Ничего больше я не требую. Потому что тогда выяснится—не моя невинность... на это я и не претендую... но то, какъ я могъ, какъ я долженъ былъ оказаться виновнымъ. И въ такомъ случаѣ, я не сомнѣваюсь, мнѣ протянуть руку и помогутъ избавиться отъ этой вины, насколько еще она надо мной тяготѣетъ.

— Вотъ моя рука!—сказалъ Смитъ.

Онъ поднялъ голову и протянулъ Гартмуту руку. Гартмутъ поспѣшно схватилъ ее и съ жаромъ пожалъ, втайнѣ радуясь побѣдѣ, которую не надѣялся такъ легко одержать. Только большіе голубые глаза, въ которые онъ теперь долженъ былъ взглянуть, смущали его. Они такъ странно блестяли. Но онъ тутъ же подумалъ: „это глупый блескъ, который свѣтится самъ по себѣ, а въ окружающемъ мірѣ видитъ не больше, чѣмъ глаза ребенка“.

— Благодарю васъ,—сказалъ онъ, выпуская тонкую руку своего собесѣдника.

— За что?—отвѣчалъ Смитъ.—Избави Богъ, чтобы я въ фарисейскомъ самообожаніи оттолкнулъ руку заблуждающагося брата, младшаго брата, который притомъ самъ сознаетъ свою ошибку! Кто я самъ, чтобы осмѣлиться сдѣлать это? Теперь я самъ стыжусь недовѣрія, съ которымъ встрѣтилъ сына человѣка, игравшаго такую роковую роль въ моей жизни съ тѣхъ поръ, какъ онъ измѣнилъ дѣлу, которому мы оба служили въ молодости. Точно, будучи сыномъ вѣроломнаго отца, вы въ то же время не сынъ доброй, сохранившей вѣрность до гроба, матери! Точно добродѣтель матери не могла тысячу разъ исправить того, что было осквернено преступленіемъ отца! Но оставимъ прошлое!



Только тотъ, кто владѣеть настоящимъ—истинный мужъ, говорить постъ. Конечно, вы застали меня въ печальномъ настроеніи духа. Моему милому Ральфу сегодня опять очень плохо. Я начинаю опасаться, что намъ надо готовиться къ печальному исходу, хотя стараюсь не дать замѣтить этого моей бѣдной дочери. Поговоримъ о васъ. Вы любите Анну?

— Больше жизни!—горячо воскликнулъ Гартмутъ.

— Другая любовь и не удовлетворила бы ее, — сказала Смитъ, — и при данныхъ обстоятельствахъ другая любовь скоро должна бы была признать свое безсиліе. Вѣдь вы знаете, что никогда не получите руку Анны съ согласія ея отца.

— По крайней мѣрѣ, я приготовился къ этому, — отвѣчалъ Гартмутъ, не опуская глазъ.

— И хорошо сдѣлали, — сказала Смитъ. — Погоня за наживой, распространяющаяся теперь, какъ все пожирающій огонь, въ скромной нѣкогда Германіи, уже давно отпраздновала свою оргію въ Америкѣ, гдѣ ей особенно благоприятствуютъ просторъ и почти неограниченная свобода личности. Мистеръ Куртисъ—истинный типъ этого безцеремоннаго и безстыднаго себялюбія, которое, если такъ будетъ идти дальше, — отъ чего Боже насъ сохрани — сдѣлается отличительной чертой всего современнаго человѣчества. У этого человѣка нѣтъ ничего святаго. Для него хорошо все, что можетъ увеличить или укрѣпить его состояніе; худо все, что можетъ уменьшить или поколебать это состояніе. Такъ свирѣпствуетъ онъ, подобно дикому звѣрю, выпущенному на свободу, противъ всего человѣчества, но, къ счастью, также и противъ самого себя, потому что природа стремится парализовать созданное ею же зло, вложивъ въ него стремленіе къ самоуничтоженію. Въ своей безграничной жадности онъ часто не умѣетъ или не хочетъ оцѣнить пассивную силу сопротивленія своихъ жертвъ или активную силу другихъ хищниковъ, и падаетъ въ битвѣ. Онъ уже нѣсколько разъ въ теченіе своей жизни дѣлался то миллионеромъ, то нищимъ. Я не стараюсь узнать его теперешнія обстоятельства; но думаю, что и это путешествіе въ Германію — погоня за добычей, которая должна вознаградить потери, понесенныя имъ въ Америкѣ. Но если произойдетъ катастрофа, для Анны возможны два выхода: или она останется съ отцомъ, поможетъ ему преодолѣть катастрофу, — на примѣръ, выйдя замужъ за миллионера, — я знаю, что въ нее страстно влюбленъ одинъ нью-іорскій архибогатый молодой человѣкъ; или не сдѣлаетъ этого, въ чемъ я и убѣжденъ, а воспользуется случаемъ приобрести свободу, которой жаждетъ ея пылкая душа. Въ этомъ послѣднемъ, для меня не-

сомнѣнномъ, случаѣ достоверно одно: онъ вычеркнетъ ее изъ своей жизни съ такимъ же кладнокровіемъ, съ какимъ раньше убивалъ всякаго, кто вторгался въ область его охоты или грабежа. Я думаю, что вы все это уяснили себѣ и согласны на этотъ счетъ съ Анной. И вотъ вы приходите ко мнѣ, съ согласія Анны, какъ къ товарищу по оружію въ борьбѣ идеализма съ міромъ, который по ту и по сю сторону океана уже погрузился или готовъ погрузиться въ пучину диваго матеріализма.

„Это все-таки лучше, чѣмъ я ожидалъ“, — подумалъ Гартмутъ, и сказалъ:

— Каждое ваше слово западаетъ мнѣ въ душу; я говорю о томъ чувствѣ, которое долженъ испытывать тотъ, кого такой человекъ, какъ вы, удостоить назвать братомъ по оружію. Могу смѣло сказать: я никогда не стремился къ мірскимъ выгодамъ. Смѣю думать, что въ этомъ отношеніи я не уступлю даже вамъ. Но мы расходимся въ другомъ пунктѣ, въ которомъ я расхожусь и съ Анной. Она и тутъ, какъ во всемъ, ваша ученица. Я знаю, что могу говорить съ вами откровенно; итакъ, скажу, — по моему мнѣнію и убѣжденію, идеализмъ никогда не одержитъ побѣды надъ матеріализмомъ, если будетъ пренебрегать оружіемъ, которымъ пользуется послѣдній. Сила давить право — таковъ лозунгъ всѣхъ временъ; иными словами: кто силенъ, тотъ диктуетъ то, что должно быть правомъ, что и есть право. Воля отдѣльнаго лица ничего не подѣляетъ съ этимъ основнымъ закономъ; приходится принимать его какъ онъ есть. И потому я не побоюсь сказать: если при настоящихъ условіяхъ деньги представляютъ силу, то я желаю, долженъ желать, въ интересахъ великаго и хорошаго дѣла, чтобы сила, т.-е. деньги были въ нашихъ рукахъ, не исключая и денегъ мистера Куртиса. Я вовсе не считаю его положеніе такимъ сомнительнымъ, не говоря уже отчаяннымъ. Я знаю, что его предпріятіе принесетъ ему миллионъ чистаганомъ. Для ловкаго человека, какъ онъ, это широкая stopping stone ко второму, третьему миллиону. Дайте мнѣ эти миллионы, и я освобожу міръ изъ оковъ, въ которыхъ онъ чахнетъ теперь! Съ этой, и только съ этой, точки зрѣнія я считаю безуміемъ, даже преступленіемъ, со стороны Ральфа и Анны, отказываться отъ отцовскаго состоянія. Исходя изъ этой точки зрѣнія, я старался удерживать и до сихъ поръ удерживалъ Анну отъ разрыва съ отцомъ. Но врядъ ли это продолжится, если мнѣ не удастся убѣдить въ справедливости своихъ воззрѣній васъ, авторитету котораго она безусловно подчиняется. Я не ожидаю, что это удастся мнѣ сразу. Я говорилъ только въ общихъ чертахъ,

не объясняя въ подробностяхъ своихъ плановъ. Позвольте мнѣ изложить ихъ въ другой разъ, въ болѣе удобное время. Я надѣюсь убѣдить васъ, что если мое сердце стремится въ великому дѣлу, которому я посвятилъ свою жизнь, то и голова не остается праздною, и я вижу ясно какъ цѣль, такъ и путь, по которому только и можно ее достигнуть.

Онъ быстро всталъ; Смитъ поднялся медленно. Лицо его выражало глубокую печаль, также какъ и тонъ голоса, когда онъ возразилъ:

— Благодарю васъ за довѣріе и, конечно, воспользуюсь первымъ случаемъ, чтобы столковаться съ вами; но сомнѣваюсь, чтобы намъ удалось понять другъ друга. Все, что вы говорите, только рѣзче показываетъ мнѣ глубокое различіе между образомъ мыслей современнаго поколѣнія и того, къ которому я принадлежу. Ваши стремленія—стремленія всего современнаго міра, въ томъ числѣ и Анны,—которая въ этомъ отношеніи вовсе не моя ученица, но исполнѣ дитя своего времени и ваша единомышленница; добиться успѣха какою бы то ни было цѣной—вотъ вашъ девизъ. Въ этомъ вы сходитесь—при всѣхъ остальныхъ различіяхъ—съ реакціонеромъ-юнкеромъ, каковъ вашъ сводный братъ Гербертъ; съ хищникомъ-купцомъ, какъ Джемсъ Куртисъ; съ властолюбивымъ патеромъ, который теперь повсюду, слѣдуя духу времени, смѣлѣе, чѣмъ когда-либо, поднимаетъ голову. Даже убійца, если только онъ думаетъ о чемъ-нибудь при совершеніи своего ужаснаго дѣла, а не подпалъ уже сумасшествію, — и тотъ добивается успѣха какою бы то ни было цѣной! Но гнусныя средства портятъ самое лучшее дѣло; ими не достигается хорошая цѣль, потому что они развращаютъ того, кто ими пользуется, такъ что онъ уже не можетъ искренно и безкорыстно желать того хорошаго, къ чему стремился. Вы говорите: идеализмъ погибнетъ, если онъ не воспользуется оружіемъ матеріализма. Это пагубное ученіе проповѣдуется теперь всѣми и проникаетъ въ сердца массъ, которыя слѣдуетъ примѣнять его къ дѣлу. Но я говорю: нѣтъ—и тысячу разъ нѣтъ! идеализмъ можетъ сражаться только своимъ собственнымъ чистымъ оружіемъ. Побѣда, которую онъ одержитъ другимъ оружіемъ — только кажущаяся побѣда; на самомъ дѣлѣ, тутъ будетъ побѣждать опять-таки матеріализмъ, только подъ другимъ именемъ. Я уже дважды обнажалъ мечъ за свои идеалы. И все-таки скажу: мечомъ ничего не докажешь, мечомъ ничего не создашь такого, чего бы не могъ уничтожить другой мечъ. Несокрушимое, вѣчное создается только силою разума, и своеволіе должно бы

бояться только разума, еслибъ могло понимать его непреодолимую силу. Разуму нечего бояться вашихъ „безпринципныхъ“: за него всегда будетъ большинство, которое справедливо предпочитаетъ упорядоченное насиліе неупорядоченному. И ваши демократы всегда забываютъ, что коммунизмъ первыхъ христіанъ проистекалъ изъ любви къ ближнему, но любовь къ ближнему не можетъ истечь изъ вашего коммунизма. Конечно, при такомъ взглядѣ, осуществленіе царства Божія на землѣ кажется очень далекимъ, но я не теряю мужества. Глупость и злоба людская могли затемнить небесный свѣтъ, загорѣвшійся въ сердцѣ Христа, — но никогда онѣ не погасятъ его. Онъ будетъ горѣть все ярче и ярче, и какъ весеннее солнце подъ конецъ проникаетъ въ самыя скрытыя долины, въ самыя глубокія ущелья, — такъ и онъ размягчитъ когда-нибудь самыя черствыя сердца. Вы просто хотите сами сдѣлаться богатымъ, а говорите, что стремитесь уничтожить силу капитала; вотъ гдѣ проклятiе, которое лежитъ на деньгахъ. Я былъ когда-то богатъ и благодарю Бога, что въ-время избавился отъ этого бремени; благодарю Бога еще за то, что моя дочь согласна со мной и тоже освобождается отъ этого проклятiя, такъ какъ намѣрена отказаться отъ своего права на часть состоянія Илиціусовъ. Нѣтъ, молодой другъ мой, не прикасайтесь къ золоту: оно грязнитъ руки, и эту грязь не могъ отмыть еще ни одинъ человѣкъ. Вспомните о вашемъ несчастномъ отцѣ! Мстите ему за проступокъ относительно васъ и вашей бѣдной матери, совершонный изъ любви къ мамонѣ; мстите вашимъ братьямъ и сестрамъ, которые поступили съ вами, какъ поступили съ Іосифомъ его братья, — мстите имъ благороднѣею местию: учите словомъ и примѣромъ, насколько у васъ хватитъ силъ, человѣчество, забывшее объ Іосифѣ подъ властью этого новаго фараона, — поклоненія успѣху! Учите его познать истиннаго Іосифа: благочестиваго, кроткаго, милосердаго! Вамъ много дано и отъ васъ много спросится!..

Смиль протянулъ Гартмуту обѣ руки, и Гартмутъ поспѣшно схватилъ ихъ и молча наклонилъ голову, какъ бы въ знакъ того, что онъ не можетъ говорить отъ волненія; затѣмъ направился къ дверямъ, но, прежде чѣмъ выйти, закрылъ рукою глаза; слышалось нѣчто похожее на сдержанное рыданіе.

Очутившись одинъ въ корридорѣ, Гартмутъ выпрямился, какъ человѣкъ, долго сидѣвшій въ неудобной позѣ, повернулся къ дверямъ и прошепталъ сквозь зубы:

— Однако ты совсѣмъ спятилъ съ ума, мой милый!

Потомъ онъ медленно зашагалъ по корридору, продолжая думать уже о Гербертѣ. Ничего другого не оставалось. Плаваніе по морю превратилось въ посѣщеніе сумасшедшаго дома,—говорилъ онъ себѣ. Въмѣсто волшебнаго дворца, который онъ надѣялся найти на другомъ берегу, у Куртисовъ, — ему придется въ самомъ благопріятномъ случаѣ удовольствоваться скромной гостиницей съ вовсе не любезными хозяевами, у Илиціусовъ. Плохая награда за такія отчаянныя усилія! Но лучше имѣть подъ ногами хоть узкую дорожку на реальной почвѣ, чѣмъ утопать въ этомъ бездонномъ болотѣ идеальнаго тупоумія!—разсуждалъ Гартмутъ.

А. Э.



---

# Н О В Ы Й

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЮБИЛЕЙ

— А. А. Фетъ. Вечерніе огни. Три выпуска, 1883, 85 и 88 г.

Литературные юбилеи—дѣло, безспорно, хорошее; они скрѣпляютъ связь между писателями и читающею публикой, позволяютъ послѣдней уплатить первымъ хотя часть долга, накопившагося въ теченіе многихъ лѣтъ и не покрываемаго ни похвалами критики, ни молчаливымъ, за рѣдкими исключеніями, одобреніемъ массы. Счастливъ тотъ, кому хоть разъ въ жизни удастся услышать громкое, единодушное выраженіе сочувствія, слишкомъ часто раздающееся лишь надъ могилой писателя; счастливо и общество, которому чествованіе любимаго художника даетъ возможность забыть хоть на минуту о злобѣ дня, о сумрачѣ безконечныхъ политическихъ будней. Есть, однако, у юбилеевъ, даже самыхъ законныхъ—только о такихъ мы теперь и говоримъ,—опасная сторона, которой трудно избѣжать, но которой не слѣдуетъ упускать изъ виду. Привѣтственные адреса и статьи, застольныя рѣчи, поздравительныя стихотворенія не претендуютъ и не могутъ претендовать на полную, безпристрастную оцѣнку юбиляра; они выдвигаютъ на первый планъ его достоинства, его заслуги, оставляя въ тѣни или совершенно игнорируя все остальное. Противъ этого нельзя сказать ни слова, пока преувеличеніе не бьетъ черезъ край, пока недостатки только проходятся молчаніемъ, а не возводятся въ перлъ созданія. Вся бѣда въ томъ, что восторженность сплошь и рядомъ оказывается несомѣстной съ сдержанностью; расходившаяся кисть окрашиваетъ всю картину въ одинъ

розовый цвѣтъ, привѣтъ обращается въ панегирикъ, къ необузданному энтузіазму примѣшиваются выходы противъ всѣхъ тѣхъ, кто его не раздѣляетъ. Свободнымъ отъ этихъ крайностей быть только одинъ изъ четырехъ поэтическихъ юбилеевъ, отпразднованныхъ недавно русскимъ обществомъ: юбилей А. Н. Плещеева, въ январѣ 1886 г. Между почитателями трехъ другихъ юбилейровъ—Я. П. Полонскаго (апрѣль 1887), А. Н. Майкова (апрѣль 1888) и А. А. Фета (январь 1889)—нашлись, къ сожалѣнію, опасные друзья, увлеченіе которыхъ не знаетъ и не хочетъ знать ни мѣры, ни предѣловъ. Мы не возражали имъ въ двухъ первыхъ случаяхъ, потому что взглядъ нашего журнала на творчество А. Н. Майкова и Я. П. Полонскаго былъ уже раньше извѣстенъ нашимъ читателямъ; но поэтической дѣятельности А. А. Фета мы еще не касались. Со времени чествованія его прошло уже болѣе мѣсяца; торжественные аккорды отзвучали, и мы можемъ говорить свободно, не опасаясь диссонанса.

На юбилейномъ обѣдѣ, происходившемъ въ Москвѣ, 29-го минувшаго января, прочитано было, между прочимъ, слѣдующее четверостишіе, присланное по телеграфу: „Пусть лучшія давно промчались лѣта,—Надъ лирою твоей безсилны дни:—Свѣтлѣй и ярче перваго разсвѣта—Горятъ твои *Вечерніе огни!*“<sup>1)</sup> Та же самая мысль о продолжающемся до конца ростѣ таланта, о превосходствѣ позднѣйшихъ стихотвореній г. Фета передъ болѣе ранними проведена и въ одной изъ газетныхъ статей, вызванныхъ юбилеемъ. „А. А. Феть,—читаемъ мы въ этой статьѣ,—въ продолженіе пятидесяти лѣтъ постоянно оставался самимъ собой... Но удѣлъ человѣка—постоянное совершенствованіе. Можно оставаться самимъ собой и тѣмъ не менѣе становиться все серьезнѣе и глубже въ одномъ и томъ же направленіи. Удѣла этого не миновала и поэзія А. А. Фета... Есть художественные перлы, которые могутъ создаваться въ душѣ поэта только въ извѣстномъ (преклонномъ) возрастѣ, лишь въ непрерывающемся процессѣ духовнаго совершенствованія, очищенія и углубленія“. Не такъ далеко идетъ г. Страховъ; онъ не утверждаетъ, что дарованіе г. Фета поднимается все выше и выше—но онъ не видитъ и движенія назадъ, ему кажется, что поэтъ „пишетъ съ тою же силой, съ неувядающею свѣжестью“. Если справедливъ хотя бы наиболѣе умѣренный изъ этихъ отзывовъ, то поэзія г. Фета—явленіе единственное въ своемъ родѣ, небывалое до сихъ поръ

<sup>1)</sup> „Вечерніе огни“—это общее заглавіе, подъ которымъ выходятъ въ свѣтъ, съ 1888 г., слѣдующіе одинъ за другимъ сборники стихотвореній г. Фета.

въ исторіи всемірной литературы. „Постоянное совершенствованіе“—это идеаль челоуѣка, но вовсе не *удѣлъ* поэта. Старость можетъ быть вѣнцомъ нравственнаго развитія, но едва ли она бываетъ когда-либо кульминаціоннымъ пунктомъ художественнаго творчества. Въмѣстѣ съ жизненной силой слабѣетъ и поэтическое дарованіе—и въ особенности это примѣнимо къ чистому лиризму. Если Софокль могъ создать, въ глубокой старости, одну изъ лучшихъ своихъ трагедій („Эдипа въ Колонѣ“, которому, впрочемъ, отнюдь не уступаютъ „Филоклетъ“, „Эдипъ-царь“ или „Антигона“), если въ сферѣ эпоса существуетъ, по меньшей мѣрѣ, легенда о слѣпомъ старцѣ, пѣвцѣ „Илиады“ и „Одиссеи“, то ничего подобнаго не представляетъ область лирической поэзіи. Юность—вотъ первое и главное царство лиризма. Ему благоприятствуетъ здѣсь новизна и свѣжесть „всѣхъ впечатлѣній бытія“, интенсивность чувствъ и страстей, ничѣмъ не уравновѣшиваемая сила увлеченій. Не даромъ же въ это время расцвѣтаютъ лирическія дарованія, которымъ суждено впоследствии угаснуть или пойти по совершенно другой дорогѣ. Молодой Барбье завоевываетъ себѣ въ нѣсколько мѣсяцевъ громкую славу, на проценты съ которой живетъ цѣлые полъ-вѣка; Мюссе, достигнувъ тридцати лѣтъ, почти перестаетъ писать стихи и переходитъ къ комедіямъ и драматическимъ „пословицамъ“; Ламартинъ мѣняется, нѣсколько позже, тишину „сладкихъ звуковъ и молитвъ“ на шумъ ораторскихъ рѣчей и воинствующей исторіи. Кто остается вѣрнымъ лиризму, тотъ раздвигаетъ, съ годами, его границы, ищетъ новыхъ источниковъ вдохновенія. Въ поэзію Шиллера и Гёте проникаетъ элементъ философскій; Гейне и В. Гюго отводятъ широкое мѣсто политической сатирѣ; въ „Légende des siècles“ лирика смѣшивается съ эпосомъ; у Аккерманъ всего громче звучитъ нота отрицанія и пессимизма. При такихъ условіяхъ лирическія произведенія *зрѣлаго возраста* могутъ не уступать написанному тѣмъ же поэтомъ въ молодые годы. Наступаетъ, однако, эпоха, когда въ окружающемъ мірѣ, да и въ самомъ себѣ, не находишь больше ничего новаго, когда притушляется воспримчивость къ впечатлѣніямъ, повторявшимся уже слишкомъ часто. Порывъ перестаетъ быть возможнымъ; душевная жизнь покрывается какъ бы тонкимъ слоемъ льда. Его можно разбить, можно дать выходъ тому, что подъ нимъ таятся—но нельзя согрѣть того, что имъ охлаждено. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только вспомнить старческія стихотворенія Гёте и В. Гюго; прибавить къ нимъ, *toutes proportions gardées*, можно и нашего Державина. Некрасовъ умеръ еще не старикомъ—и тѣмъ не менѣе намъ



пришлось быть свидѣтелями упадка его таланта. Лучшія стихотворенія Тютчева относятся не въ послѣднимъ годамъ его жизни. Чтò стало съ блестящимъ дарованіемъ г. Майкова—это слѣшкомъ хорошо извѣстно. Меньше отразилось приближеніе старости на Я. П. Полонскомъ, но все-таки плохую услугу оказалъ бы ему тотъ, кто сталъ бы опредѣлять его значеніе только на основаніи позднѣйшихъ его стихотвореній. Все это возбуждаетъ уже а priori сомнѣніе въ правильности тезиса, изображающаго творчество поэта въ видѣ линіи непрерывно восходящей—или оставившейся, разъ навсегда, на достигнутой вершинѣ.

Основаній для сомнѣнія является еще больше, если обратить вниманіе на содержаніе поэзіи г. Фета. Господствуетъ въ ней элементъ лирической—господствуетъ такъ исключительно и нераздѣльно, какъ развѣ еще у одного Тютчева. Всѣмъ нашимъ выдающимся поэтамъ, начиная съ Пушкина и Лермонтова, область эпоса была доступна въ таковой же мѣрѣ, какъ и область чистаго лиризма. Некрасовъ написалъ „Кому на Руси жить хорошо“, г. Майковъ—„Три смерти“ и „Клермонтскій соборъ“, г. Полонскій—„Кузнечика-музыканта“. Въ четырехъ томахъ оригинальныхъ стихотвореній г. Фета мы можемъ найти лишь двѣ небольшія поэмь („Сабина“ и „Студентъ“), отдѣленные одна отъ другой промежуткомъ въ нѣсколько десятилѣтій и не выдерживающія сравненія не только съ лучшими, но и съ менѣе замѣчательными лирическими пьесами того же автора. Скажемъ болѣе: изъ безчисленныхъ и безконечно-разнообразныхъ мотивовъ лирической поэзіи г. Фету родственны и близки только немногіе, и онъ остается имъ вѣренъ во все продолженіе своей дѣятельности. Муза поэта, по собственнымъ его словамъ, не плѣняла его „разсказомъ о цитахъ, герояхъ и коняхъ, о племахъ кованыхъ и сложенныхъ мечахъ“; она не являлась ему „гордой богиней въ расшитой епанчѣ, подъ вѣтвію лавровой“. Ея „дивную головку отягощала душистая прядь волосъ; въ ея рукѣ дрожали послѣдніе цвѣты; ея отрывистая рѣчь была полна печали, и женской прихоти, и серебряныхъ грезъ, невысказанныхъ мукъ и непонятныхъ слезъ“ (изданіе 1863 г., ч. I, стр. 203). Поэту „сладко было пылать и потухать отъ чистыхъ помысловъ, вѣчно внимая дѣвственнымъ словамъ музы“; онъ проситъ ее „послать его безсоннымъ ночамъ еще блаженныхъ сновъ любви и славы и благословить его задумчивый трудъ нѣжнымъ именемъ, едва произнесеннымъ“ (тамъ же, стр. 223). Главныхъ источниковъ вдохновенія у г. Фета было и осталось два: природа и любовь. Стихотворенія восьмидесятихъ годовъ, вышедшія въ свѣтъ подъ загла-

вѣкъ: „Вечерніе огни“, мало тѣмъ отличаются, съ этой точки зрѣнія, отъ стихотвореній прежняго времени, соединенныхъ въ одно цѣлое изданіемъ 1863 года. Въ этомъ послѣднемъ изданіи мы встрѣчаемъ, между прочимъ, слѣдующія рубрики: „снѣга“, „весна“, „море“, „мелодіи“; тѣ же рубрики есть и въ первомъ выпускѣ „Вечернихъ огней“. Жгучихъ вопросовъ, вѣчныхъ или современныхъ, поэтъ, приближаясь къ своему пятидесятилѣтнему юбилею, касается почти столь же рѣдко, какъ и въ дни молодости — и касается, болѣею частью, только для того, чтобы отстранить ихъ отъ себя, чтобы провозгласить ихъ чуждыми истинной поэзіи. Весьма небольшую роль продолжаетъ играть у г. Фета и философская мысль. Возьмемъ, для примѣра, послѣдній выпускъ „Вечернихъ огней“, обнимающій собою стихотворенія 1885—87 г. Ихъ всего 51 — и между ними не менѣе 35 внушены двумя основными темами, названными нами выше. Восемь пьесъ имѣютъ форму посланій, вызванныхъ тѣми или другими случайными обстоятельствами; одна посвящена памяти умершаго друга, одна — „искрометному вину“, одна — севастопольскому братскому кладбищу, и только въ пяти затронуты, такъ или иначе, коренныя задачи поэзіи и жизни... Трудно предположить, чтобы мотивы, вдохновлявшіе юношу, могли сохранить прежнюю силу для человѣка, перешедшаго за рубежъ старости; трудно допустить, чтобы отзывчивость поэта не измѣнилась ни количественно, ни качественно, чтобы онъ могъ, на разстояніи пятидесяти лѣтъ, воспѣвать, съ одинаковымъ жаромъ, все тѣ же самыя чувства.

Невѣроятное, однако, бываетъ иногда возможно. Отъ предположеній перейдемъ, поэтому, къ фактамъ — и остановимся прежде всего именно на тѣхъ стихотвореніяхъ, которыми намъ хотятъ доказать ростъ дарованія А. А. Фета. Предметомъ первой параллели служатъ двѣ пьесы, посвященныя звѣздамъ.

Я долго стоялъ неподвижно,  
Въ далекія звѣзды глядясь, —  
Межъ тѣми звѣздами и мною  
Какая-то связь родилась.  
Я думалъ... Не помню, что думалъ;  
Я слушалъ таинственный хоръ,  
И звѣзды тихонько дрожали,  
И звѣзды люблю я съ тѣхъ поръ.

Это стихотвореніе написано г. Фетомъ въ молодости, — а вотъ что мы читаемъ въ „Вечернихъ огняхъ“, подъ заглавіемъ: „Среди звѣздъ“:

Пусть мчтесь вы, какъ я, покорны мигу,  
Рабы, какъ я, мнѣ прирожденныхъ числу,

Но лишь взгляну на огненную книгу,  
 Не численный я въ ней читаю смыслъ.  
 Въ вѣнцахъ, лучахъ, алмазахъ, какъ калифы,  
 Иалишнія средь жалкихъ нуждъ земныхъ,  
 Незыблемой мечты іероглифы,  
 Вы говорите: „вѣчность мы—ты мигъ.  
 Намъ нѣтъ числа. Напрасно мыслью жадной  
 Ты думы вѣчной догоняешь тѣнь;  
 Мы здѣсь горимъ, чтобъ въ сумракъ непроглядный  
 Къ тебѣ просился беззакатный день.  
 Вотъ почему, когда дышать такъ трудно,  
 Тебѣ отрадно такъ поднять чело  
 Съ лица земли, гдѣ все темно и скудно,  
 Къ намъ, въ нашу глубь, гдѣ пышно и свѣтло..

Въ глазахъ юбилейной критики „оба стихотворенія превосходны“. Въ обоихъ описывается отношеніе поэта къ одному и тому же предмету— „отношеніе одинаково искреннее, одинаково идущее со dna поэтическаго родника, таящагося въ душѣ поэта. Родникъ все тотъ же, только теперь онъ болѣе ушелъ въ глубь. До него уже не достигають вліяніе Гейне. На-встрѣчу намъ звучать глубочайшія струны души торжественными аккордами“. Такъ подобаешь, быть можетъ, говорить наканунѣ юбилея,—но кто свободенъ отъ юбилейнаго настроенія, тотъ долженъ, кажется намъ, придти къ совершенно иному выводу. Стихотворенія, приведенныя выше, едва ли обязаны своимъ происхожденіемъ одному и тому же источнику. Первое дышетъ искренностью и простотою; въ его звукахъ слышится настроеніе, пережитое поэтомъ—настроеніе смутное, неопредѣленное, но родственное всѣмъ, кто молодъ, понятное всѣмъ, кто былъ молодъ. Поэтъ не старается истолковать его, вывести изъ него какое-либо поученіе; онъ только его припоминаетъ—и этого достаточно, чтобы вызвать сочувственное волненіе въ душѣ читателя. Въ короткой пьесѣ нѣтъ ни одного лишняго слова; каждая черта непринужденно укладывается въ общую картину и усиливаетъ впечатлѣніе. Совсѣмъ другое дѣло—стихотвореніе: „Среди звѣздъ“. Проникнутое резонерствомъ, оно двигается впередъ медленно и вяло. Прежде звѣзды „тихонько дрожали“; теперь онѣ разсуждаютъ по всѣмъ правиламъ риторики, заключая свою аргументацію словами: „вотъ почему“. На сцену являються, очевидно только для рѣимы, „калифы“ и „іероглифы“; изъ области метафизики черпается понятіе о „прирожденныхъ (человѣку) числахъ“, которымъ подчинены звѣзды; „беззакатный день“ просится въ „непроглядный сумракъ“. Все это, говоря словами Дмитріева („Чужой толькѣ“), очень „громко и высоко“, но „ничуть не шевелить сердца“.

Юбилейный критикъ оказывается, впрочемъ, систематическимъ приверженцемъ резонерства. Сравнивая прежнія и новыя картины весны, въ такомъ изобиліи нарисованныя г. Фетомъ, онъ отдастъ предпочтеніе послѣднимъ, именно потому, что въ нихъ есть „заключительный выводъ о впечатлѣніи, производимомъ на поэта возрождающеюся красой природы“. Ему нужно, значить, подчеркиванье мысли, ему нужны пояснительныя надписи, устраняющія всякое сомнѣніе насчетъ намѣреній поэта. Обыкновенно подобныя приставки признаются чѣмъ-то далеко не поэтическимъ, но юбилейная критика „а changé tout cela“. Въ области искусства она хозяйничаетъ такъ же безцеремонно, какъ молевровскій *médecin malgré lui*—въ области анатоміи и физиологіи. Ей нравится, напримѣръ, что одно изъ позднѣйшихъ стихотвореній г. Фета („Пришла—и таетъ все вокругъ“) оканчивается слѣдующей тирадой:

Нельзя заботы мелочной  
Хотя на мигъ не устыдиться,  
Нельзя предъ вѣчной красотой  
Не пѣть, не славить, не молиться.

Мы думаемъ, наоборотъ, что подобныя „категорическіе императивы“ имѣютъ мало общаго съ поэзіей и что отъ отсутствія ихъ не только ничего не теряютъ, но много выигрываютъ прежнія весеннія пѣсни г. Фета. Одной изъ нихъ—знаменитому стихотворенію: „Шопотъ, робкое дыханье“—юбилейная газетная статья противопоставляетъ, *какъ нечто высшее* по содержанію, слѣдующую страницу изъ „Вечернихъ огней“:

Сны и тѣни—  
Сновидѣнья,  
Въ сумракъ трепетно маяющія,  
Всѣ ступени  
Усыпленья  
Легкимъ роємъ преходящія,  
Не мѣшайте  
Мнѣ спускаться  
Къ переходу сокровенному,  
Дайте, дайте  
Мнѣ умчаться  
Съ вами къ свѣту отдаленному.  
Только минетъ  
Сумракъ свода,  
Тѣни станемъ мы провратныя,  
И покйнемъ  
Тамъ у входа  
Покрывала наши мрачныя.

Не споримъ, это—прекрасное стихотвореніе, напоминающее, со стороны формы, прежняго Фета; но въ чему сравнивать его съ величиной совершенно иного рода? Настроенія, которыми вызваны обѣ пьесы, существенно различны; изъ сопоставленія ихъ можно вывести развѣ одно—что чѣмъ больше чувство подходитъ къ возрасту поэта, тѣмъ легче является для него соотвѣтствующее поэтическое выраженіе. Съ точки зрѣнія *содержанія*, на которое съ особеннымъ удареніемъ указываетъ критикъ, позднѣйшее стихотвореніе даже уступаетъ болѣе раннему. Въ послѣднемъ все прозрачно и ясно, оно не оставляетъ мѣста ни для какихъ недоразумѣній; въ первомъ не совсемъ понятно, какимъ образомъ „сны и тѣни“, *амьсть съ которыми* поэтъ хочетъ умчаться къ „отдаленному свѣту“, могутъ мѣшать приближенію къ „собрвенному переходу“. Легкая мистическая дымка—далеко не то же самое, что „глубина мысли“. Разгадку впечатлѣнія, производимаго „Снами и тѣнями“, слѣдуетъ искать не въ чемъ иномъ, какъ въ удивительной музыкальности стиха и оригинальности ритма.

Къ юбилейной критикѣ мы больше возвращаться не будемъ; ей усердіе не по разуму едва ли требуетъ дальнѣйшихъ разъясненій. Прежнія стихотворенія г. Фета и „Вечерніе огни“, если прочесть ихъ безъ предвзятой мысли, безъ намѣренія превознести настоящее надъ прошедшимъ—это точно два различныхъ міра, лишь на немногихъ пунктахъ соприкасающіеся между собою. Одинъ исполненъ свѣта и теплоты, въ другомъ сгущаются сумерки и вѣетъ холодомъ; въ одномъ все непринужденно, естественно, свободно, въ другомъ слишкомъ часто чувствуется напряженность и въ вымыслѣ, и въ выраженіи. Въ „Вечернихъ огняхъ“ есть стихотворенія, рѣшительно непонятныя безъ комментаріевъ. Что значить, на примѣръ, слѣдующая пьеса:

Томительно—призывно и напрасно  
 Твой чистый лучъ передо мной горѣлъ.  
 Нѣмой восторгъ будилъ онъ самовластно,  
 Но сумерка кругомъ не одолѣла.  
 Пускай вьлунуть, волнуясь и споря,  
 Пусть говорятъ: то бредъ души больной;  
 Но я иду по шаткой пѣнѣ моря,  
 Отважною, не тонущей ногой.  
 Я пронесу твой свѣтъ чрезъ живнь земную,  
 Онъ мой,—и съ нимъ двойное бытіе  
 Вручила ты, и я, я торжествую  
 Хотя на мигъ безсмертіе мое.

Къ кому обращается поэтъ, кто вручилъ ему свѣтъ, сопряженный съ „двойнымъ бытіемъ“? Какимъ образомъ лучъ, „горящій напрасно“, можетъ служить источникомъ отваги и торжества? Что влзнуть, изъ-за чего волнуются, о чемъ спорятъ? Всѣ эти вопросы остаются неразрѣшимыми, да и нѣтъ охоты разрѣшать ихъ. Есть полу-мракъ заманчивый, не мѣшающій видѣть очертанія предметовъ. Однимъ они представляются такъ, другимъ иначе; самая ихъ неясность возбуждаетъ работу фантазіи и мысли, одна догадка слѣдуетъ за другой, никогда не приводя къ усталости или пресыщенію. Иное дѣло—абсолютная темнота; въ ней нѣтъ ничего привлекательнаго, и если сотни тысячъ читателей задумывались надъ „Гамлетомъ“ или „Фаустомъ“, то едва ли найдется много охотниковъ ломать себѣ голову надъ смысломъ „томительнаго и напраснаго призыва“. Такихъ стихотвореній въ „Вечернихъ огняхъ“ немало; назовемъ, для примѣра, „Ничтожество“, „Ключъ“, „Теперь“, „Свѣточъ“. Ничего аналогичнаго не представляютъ прежнія произведенія г. Фета, какъ бы мимолетно, какъ бы неопредѣленно ни было вызывавшее ихъ чувство. Это различіе зависитъ не отъ того, чтобы шире прежняго сталъ у поэта размахъ мысли. Неяснымъ авторъ „Вечернихъ огней“ бываетъ не только тогда, когда вдается въ метафизику и усиливается быть глубокимъ, но и тогда, когда рисуетъ картину, изображаетъ душевное настроеніе. Можно ли вынести какое-нибудь цѣльное впечатлѣніе хотя бы изъ слѣдующаго стихотворенія:

Когда читала ты мучительныя строки,  
Гдѣ сердца звучный пылъ сіянье льетъ кругомъ  
И страсти роковой вздымаются потоки,—  
Не вспомнила-ль о чемъ?  
Я вѣрить не хочу! Когда въ степи, какъ диво.  
Въ полночной темнотѣ безвременно горя,  
Вдали передъ тобой прозрачно и красиво  
Вставала вдругъ заря,  
И въ эту красоту неволью взоръ тянуло,  
Въ тотъ величавый блескъ за темный весь предѣлъ,  
Ужель ничто тебѣ въ то время не шепнуло:  
Тамъ человѣкъ сгорѣлъ?

„Заря, горящая въ полночной темнотѣ“, „величавый блескъ“, выделяющійся за „всѣмъ темнымъ предѣломъ“, „звучный пылъ, льющій сіянье“—все это служитъ подходящей рамкой для образа „человѣка, сгорѣвшаго въ зарѣ“. Сквозь несообразности, нагроможденныя одна на другую, едва виднѣется мысль поэта; наборъ громкихъ словъ не оставляетъ мѣста для истиннаго чувства. То же

самое можно сказать объ „Alter ego“, „У окна“, „Всю ночь гремѣлъ оврагъ сосѣдній“, „Знаю, зачѣмъ ты, ребенокъ больной“.

*Претенциозность*— вотъ другой элементъ, отсутствовавшій совершенно въ прежнемъ творествѣ г. Фета, но далеко не чуждый „Вечернимъ огнямъ“. Она проявляется и въ выборѣ сюжетовъ, и въ ихъ обработкѣ. Темы à la Паскаль, очевидно, не съ родни г. Фету; затрогивая ихъ, онъ дѣлаетъ надъ собою явное и бесплодное усиліе. Мы видимъ, что онъ хочетъ подняться въ высъ, улетѣть за облака— но у него нѣтъ крыльевъ, и онъ безпрестанно опускается на землю. Въ поэзи ярче, чѣмъ гдѣ бы то ни было, обнаруживается недостаточность однихъ добрыхъ намѣреній. Можно настроить себя на извѣстный ладъ, но этого мало, чтобы сообщить свое настроеніе читателямъ. Теперь, какъ и столѣтія тому назадъ, можно вдохновиться мыслью о величїи и ничтожествѣ человѣка; но для того, чтобы вдохновить ею другихъ, нужно выразить ее не въ такихъ стихахъ, въ какіе она облекается у г. Фета.

Не тѣмъ, Господь, могучъ, непостижимъ  
Ты предъ моимъ мятущимся сознаньемъ,  
Что въ звѣздный день твой свѣтлый Серафимъ  
Громадный шаръ зажегъ надъ мірозданьемъ.  
И жертвену съ пылающимъ лицемъ  
Онъ повелѣлъ блюсти твои законы,  
Все пробуждать живительнымъ лучемъ,  
Храня свой пылъ столѣтій миллионы.  
Нѣтъ, ты мѣгучъ и мнѣ непостижимъ  
Тѣмъ, что я самъ, бессильный и мгновенный,  
Ношу въ груди, какъ оный Серафимъ,  
Оговъ сильнѣй и ярче всей вселенной!

Выше этихъ напыщенныхъ стиховъ, съ ихъ тяжеловѣсными сравненіями и ихъ искусственнымъ жаромъ, стоитъ, въ нашихъ глазахъ, не только проза Паскаля („l'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant“), но даже Державинская антитеза: „я царь—я рабъ, я червь—я Богъ!“.. Брацаньемъ словъ, напрасно старающимся восполнить бѣдность замысла, звучить и другое стихотвореніе въ томъ же выпускѣ „Вечернихъ огней“: „Измученъ жизнью, коварствомъ надежды“. Мы встрѣчаемся здѣсь съ „прозрачною безконечностью огней“, съ „доступной бездной ээира“; „живой алтарь мірозданья неподвижно курится на огненныхъ розахъ, въ его дыму дрожить вся сила и снится вся вѣчность“... Претензія проникаетъ даже туда, гдѣ для нея, повидимому, всего меньше мѣста—въ картины природы. Сравнимъ, напримѣръ, впечатлѣнія ранней весны въ прежнихъ стихотвореніяхъ г. Фета („Еще весны душной нѣга“,

„Первый ландышъ“) съ слѣдующей пьеской изъ „Вечернихъ огней“:

Глубь небесъ опять ясна,  
Пахнетъ въ воздухѣ весна,  
Каждый часъ и каждый мигъ  
Приближается женихъ.  
Спать во гробъ ледяномъ,  
Очарованная сномъ,—  
Спать, нѣма и холодна,  
Вся во власти чаръ она.  
*Но крылами осеннихъ птицъ*  
*Онъ съхватитъ сътъ съ рѣсницъ,*  
И изъ стужи мертвыхъ грезъ  
Проступаютъ капли слезъ.

Красивой картиной, заключающей въ подчеркнутыхъ нами стихахъ, не выкупается ни натянутость окончанія, ни банальность середины, ни прозаичность начала. Въ другомъ стихотвореніи, также посвященномъ веснѣ („Пришла—и таетъ все вокругъ“) говорится о „вздохахъ неба, принесенныхъ изъ растворенныхъ вратъ Эдема“... Нѣтъ бывалой простоты и задумчивости и въ пѣсняхъ любви—все равно, воспѣвается ли она одна или вмѣстѣ съ лунною ночью, съ благоухающимъ садомъ („Въ дымкѣ невидимкѣ“, „Въ страдающѣ блаженства стою предъ тобою“, „Напрасно ты восходишь надо мной“, „Въ душѣ, измученной годами“, „Въ лунномъ сіяніи“, „Какъ богатъ я въ безумныхъ стихахъ“). „Травы—въ рыданіи“; голова „неволью роняетъ косы“; посланница волшебныхъ сновидѣній „сіяетъ заревою юностью надъ каменнымъ, угаснувшимъ мемномъ“; „кроткій зрачекъ загорается сердечной отравой“; „налетъ молодого стыда овѣваетъ ланиты зарею“; красавица, выходя изъ воды, „прорываетъ кристальный плащъ и вдавливаетъ въ гладь песка младенческую ногу“; о „безумныхъ своихъ стихахъ“ поэтъ выражается такъ: „все алмазы мои въ небесахъ, все росинки подъ ними жемчужинъ“. Не напоминаетъ ли все это скорѣе Бенедиктова, чѣмъ прежняго Фета?.. Перестаетъ, по временамъ, повиноваться поэту даже форма, нѣкогда составлявшая его главную прелесть и силу. „А счастье гдѣ? Не здѣсь въ средѣ убогой, а вонъ оно какъ дышетъ“... „И безсознательная сила свое ликуетъ торжество“... „Чудную пѣснь я слышалъ во снѣ, нѣсколько словъ до яву мнѣ прожело“... „Но въ этотъ дѣвственный тайникъ, хотя бѣ и могъ,—скорѣй издохнетъ, чѣмъ путь укажетъ мой языкъ. Скажи же! Какъ, при первой встрѣчѣ, успокоительно свѣтла, вчера—о! какъ оно далече!—живая ты въ нею вошла?“... „Волшебныхъ грезъ разсѣявъ рой,



а въ грусти стыдно признаваться, *ужель остывшею слезой, еще последней расписаться* <sup>1)</sup>?.. „Ты былъ для насъ всегда *вонз той скалою*, взлетѣвшей къ небесамъ“... „Кто самъ такъ пышно въ тогу эту привыченъ лики облачать, кому-жь, какъ не тебѣ, поэту, и тѣнь Горація встрѣчать?“... „Я слышу звонъ твоихъ рѣчей, куда рѣзвиться *ни бѣги ты*“... „Долго, долго мнѣ снился тотъ радостный мигъ, *какъ тебя умолилъ я—несчастныи палачъ*“... Такихъ мѣстъ въ изданіи 1863 г. не найдется вовсе, а въ „Вечернихъ огняхъ“ они не составляютъ исключенія. Поклонники старины или обожатели авторитета любятъ твердить, что мастерствомъ формы владѣють, въ наше время, одни только члены „славной триады“—гг. Майковъ, Полонскій и Фетъ. Мы имѣли уже случай возразить противъ этого предразсудка, когда бесѣдовали о двухъ первыхъ поэтахъ; мы старались показать, что онъ держится только силою рутинны, что стихотворенія гг. Полонскаго и Майкова, особенно позднѣйшія, не чужды крупныхъ внѣшнихъ недостатковъ. То же самое мы должны сказать теперь о г. Фетѣ. Изъ-подъ его пера давно уже выходятъ произведенія, далеко не равныя между собою—и еще болѣе неравныя тѣмъ, на которыхъ зиждется его слава. Восхищаться каждымъ его стихомъ можно лишь по привычкѣ или вслѣдствіе умственной робости, мѣшающей имѣть свое сужденіе“. Мы желали бы знать, какъ отнеслась бы даже самая консервативная критика къ „Ласточкѣ“ или къ „Купальщицѣ“, еслибы онѣ были подписаны неизвѣстнымъ именемъ?.. Приведемъ первое изъ этихъ стихотвореній цѣликомъ, потому что оно соединяетъ въ себѣ всѣ слабыя стороны, о которыхъ мы до сихъ поръ говорили.

Природы праздный соглядатай,  
 Люблю, забывши все кругомъ,  
 Слѣдить за ласточкой стрѣльчатой  
 Надъ вечерьющимъ прудомъ.  
 Вотъ понеслась и зачертила,—  
 И страшно, чтобы гладъ стекла  
 Стихіей чуждой не схватила  
 Молніевиднаго крыла.  
 И снова тоже дерзновеень  
 И та же темная струя,—  
 Не таково ли вдохновеень  
 И человѣческаго я?

<sup>1)</sup> Два послѣдніе отрывка могутъ, сверхъ того, служить образцами: первый— претенциозности, второй—темноты, иногда свойственной „Вечернимъ огнямъ“.

Не такъ ли я сосудъ скудельный  
 Дерзавъ на запретный путь,  
 Стихи чуждой, запредѣльной  
 Стремясь хоть каплю зачерпнуть?

Послѣднему выпуску „Вечернихъ огней“ авторъ предпослалъ предисловіе, заключающее въ себѣ много любопытнаго. Мы узнаемъ изъ него, что заботу о сохраненіи и группировкѣ своихъ произведеній г. Феть предоставлялъ и предоставляет своимъ литературнымъ друзьямъ. Изданіемъ 1850 г. руководилъ Аполлонъ Григорьевъ, изданіемъ 1856 г. — Тургеневъ; ихъ мѣсто заняли другіе „пѣстуны“, опредѣляющіе, что именно изъ вновь написаннаго г. Фетомъ достойно печати. Одобренное ими иногда бракуетъ самъ авторъ, но неодобренное никогда не выпускается въ свѣтъ. Есть случаи разногласія между новыми „пѣстунами“ и прежними; по настоянію первыхъ, г. Феть включилъ въ третій выпускъ „Вечернихъ огней“ шесть стихотвореній, входившихъ въ составъ изданія 1850 г., но исключенныхъ изъ изданія 1856 г. Одно изъ нихъ („Соловей и роза“) сокращено авторомъ на половину, вопреки мнѣнію друзей; остальные пять восстановлены въ прежнемъ видѣ. Цѣлесообразность этой прибавки кажется намъ весьма сомнительной; ни одно изъ стихотвореній, забракованныхъ издателями 1856 г., не блещетъ крупными достоинствами. Весьма можетъ быть, что полнота впечатлѣнія, производимаго прежними изданіями, зависитъ, между прочимъ, именно отъ строгой разборчивости автора и его тогдашнихъ совѣтниковъ. Нынѣшніе „пѣстуны“ (кто они — мы не знаемъ, и судимъ о нихъ единственно по результатамъ ихъ критической работы) грѣшатъ излишнею снисходительностью, грѣшатъ ею не только тогда, когда поправляютъ изданіе 1856 года. Они оказали бы г. Фету гораздо большую услугу, еслибы наложили свое veto на значительную часть написаннаго имъ въ послѣдніе годы. Уменьшенные болѣе чѣмъ на половину, „Вечерніе огни“ не превосходили бы, конечно, прежнихъ произведеній г. Фета, но не явились бы, какъ теперь, рѣзкимъ съ ними контрастомъ.

Другая сторона предисловія къ „Вечернимъ огнямъ“ нѣсколько запоздала. Это — полемика противъ взгляда, требующаго отъ поэзіи во что бы то ни стало „гражданской скорби“. Безспорно, этотъ взглядъ имѣлъ у насъ не мало поклонниковъ и способствовалъ несправедливому охлажденію публики къ представителямъ „чистой поэзіи“, въ томъ числѣ и къ г. Фету; но господство односторонней доктрины миновало, и „остракизмъ“ — если о немъ и могла быть когда-нибудь рѣчь — давно уже снятъ съ

не-тенденціозныхъ поэтовъ <sup>1)</sup>... „Мы постоянно искали въ поэзіи, — говоритъ г. Фетъ, — единственнаго убѣжища отъ всяческихъ житейскихъ скорбей, въ томъ числѣ и гражданскихъ. Откуда же могли мы взять этой скорби тамъ, куда мы старались отъ нея уйти?“ Совершенно вѣрно; но теперь едва ли кто и думаетъ винить г. Фета за отсутствіе у него „гражданскихъ мотивовъ“. Несомнѣнно и то, что онъ никогда не выступалъ — по крайней мѣрѣ въ стихахъ — открытымъ врагомъ несимпатичныхъ ему теченій. „Тенденціознымъ писателемъ“ въ томъ смыслѣ, въ какомъ это выраженіе примѣнимо къ г. Майкову, г. Фетъ не былъ никогда; онъ не совершалъ даже такихъ случайныхъ наѣздовъ въ политическую область, какими грѣшили иногда Тютчевъ, гр. Алексѣй Толстой и г. Полонскій. Это его положительная заслуга — и вмѣстѣ съ тѣмъ это его счастье, потому что у него нѣтъ рѣшительно ни одного изъ качествъ, необходимыхъ для воинствующаго поэта. Объ этомъ свидѣлствуютъ съ полною ясностью тѣ немногія его стихотворенія, въ которыхъ онъ прямо встаетъ противъ поэзіи „гражданской скорби“ („Псевдо-поэту“, „Муза“). Поэтичнаго въ нихъ нѣтъ ничего; дарованіе автора изнемогаетъ подъ бременемъ чуждой ему задачи.

Ты хочешь проклинать, рыдая и стена,  
*Бичей подыскивать къ закону (?)!*  
 Поэтъ, остановись! не призывай меня,  
 Зови изъ бездны Тизифону...  
*Когда безчинствами обиженный опять*  
*Въ груди слышиши зовъ къ рыданью,* —  
 Я ради мукъ твоихъ не стану измѣнять  
 Свободы вѣчному призыванью.

Муза, говорящая такими стихами — во всякомъ случаѣ не муза поэзіи. Муза поэзіи паритъ надъ безграничною областью, въ которой есть мѣсто „плѣнительнымъ снамъ“, но есть мѣсто и плачу о „мукахъ“. Законна пѣснь „исцѣленія“, но столь же законна и пѣснь „страстной бури“ или „вызова къ борьбѣ“. „Псевдо-поэтъ“, „площадная гегера“ („Посланіе гр. А. К. Т — му), „охмѣлѣвшая толпа“ („Когда отъ хмѣлю преступленій“) — не единственные темы, могущія вызвать поэтическое негодованіе... Живыми

<sup>1)</sup> До какой степени г. Фетъ, въ этомъ отношеніи, живетъ заднимъ числомъ, это видно всего лучше изъ стихотворенія, обращеннаго къ памятнику Пушкина (26-го мая 1880 г.). Торжество, знаменующее собою рѣшительный поворотъ въ настроеніи русскаго общества — поворотъ, благопріятный для чистой поэзіи, — внушаетъ г. Фету только слова презрѣнія и гнѣва противъ „торжества, гдѣ гамъ и тѣснота, гдѣ здравый русскій смыслъ прикольтъ какъ сирота“.

доказательствами *возможности* чистой поэзии служить лучшія стихотворенія г. Фета; но доказать, что она *одна* имѣетъ право на существованіе, не удастся даже и такою силѣ, какою не располагаетъ г. Фетъ.

Похвалы, не знающія ни мѣры, ни границы, заставили насъ отвести много мѣста оборотной сторонѣ медали; но это еще не значитъ, что мы равнодушны къ ея лицевой сторонѣ, блестящей чистымъ золотомъ и мастерской отдѣлкой. Пока не завершилась дѣятельность поэта, пока кипитъ борьба между его приверженцами и противниками, пока онъ самъ, такъ или иначе, отзываясь на шумъ битвы, до тѣхъ поръ неизбежно идетъ рѣчь и о достоинствахъ его, и о недостаткахъ,—и о лучшихъ его произведеніяхъ, и о слабѣйшихъ; но настанетъ время, когда послѣднія потонутъ во мглѣ и уцѣлѣютъ одни первыя—конечно, если они не были эфемерными порожденіями минуты. Мы надѣемся и вѣримъ, что именно такова будетъ участь поэзии г. Фета. Все, что она создала истинно прекраснаго, займетъ мѣсто въ пантеонѣ русскаго искусства. Дарованіе г. Фета исполнѣ своеобразно. Раскрывъ его стихотворенія, мы можемъ отыскать между ними пьесы, напоминающія Гейне („Шумѣла полночная вьюга“, „Давно ль подѣ волшебные звуки“—въ изданіи 1863 г.; „Встрѣчу ль яркую въ небѣ зарю“, „Я тебѣ ничего не скажу“—въ „Вечернихъ огняхъ“), другія, подѣ которыми могъ бы подписаться г. Майковъ („Не говори, мой другъ: она меня забудетъ“, „Діана“, „Питомецъ радости, покорный наслажденью“),—но ихъ сравнительно немного; гораздо чаще индивидуальность поэта выступаетъ на видѣ опредѣленно и ярко. Нѣкоторыя ея черты намѣчены какъ нельзя лучше въ одномъ изъ стихотвореній, привѣтствовавшихъ г. Фета ко дню его юбилея:

Есть помыслы, желанія, стремленья,  
И есть мечты въ душевной глубинѣ:  
Не выразить словами ихъ значенья—  
Невѣдомы таятся въ насъ онѣ.  
Ты понялъ ихъ: ты вылилъ въ пѣсногѣнья  
Тѣ звуки, что въ безгласной тишинѣ  
Плѣniają насъ,—тѣ смутныя видѣнья,  
Что грезятся лишь въ мимолетномъ снѣ..

Послѣднихъ строфъ этого стихотворенія (подписаннаго буквами К. Р.) мы не приводимъ, потому что онѣ не свободны отъ юбилейныхъ преувеличеній. О г. Фетѣ никакъ нельзя сказать, что онъ „постигъ могучей силой духа *все* неслышное для уха“, угадалъ все „незримое для глазъ“. Нельзя утверждать (вмѣстѣ

съ г. Страховымъ), что въ его стихахъ „нашли себѣ поэтическое выраженіе *ость* переливы нашего существованія, отъ самыхъ будничныхъ состояній до самыхъ возвышенныхъ“. Нѣтъ, властной рукой г. Фетъ затрогиваетъ только тѣ струны, которыя отзываются на нѣжное чувство, на ожиданіе или воспоминаніе личнаго счастья, на сердечную тоску или тревогу, на красоту внѣшняго міра. И этого совершенно достаточно; эти струны никогда не перестанутъ звучать, и звукъ ихъ никогда не будетъ чуждъ человѣческому уху. Небольшая, но глубокая область подвластна г. Фету всецѣло; здѣсь для него дѣйствительно нѣтъ ни преградъ, ни тайнъ. Сюда относятся всѣ стихотворенія, давно уже прославившія его имя; сюда же примыкаетъ и все лучшее, написанное имъ въ послѣдніе годы. Высшая доступная ему ступень искусства лежитъ позади его; но кому же дано вѣчно идти впередъ, кому дано удержаться на однажды достигнутой вершинѣ? Хорошо уже и то, что г. Фетъ не разбилъ, во время длиннаго пути, свою поэтическую лиру и сохранилъ способность извлекать изъ нея хоть иногда гармоничные аккорды. Такіе аккорды встрѣчаются во всѣхъ выпускахъ „Вечернихъ огней“; назовемъ, въ видѣ примѣра, „Бурю“, „Море и Звѣзды“, „Мѣсяць зеркальный плыветъ по лазурной пустынѣ“, „Прежніе звуки, съ былымъ обаяньемъ“, „Отчего со всѣми я любезна“, „Кому вѣнецъ: богинѣ ль красоты“, „Только встрѣчу улыбку твою“, „Посланіе графу Л. Н. Т-му“, „Учись у нихъ, у дуба, у березы“, „Солнце садится и вѣтеръ утихнулъ летучій“, „Кровію сердца пишу я“, „Жду я, тревогой объять“, „На разсвѣтѣ“, „Прости — и все забудь въ безоблачный ты часъ“, „Изъ дебрей туманы несмѣло“, „Вотъ и глѣтніе дни убавляются“, „Сплю я. Тучи дружны“. Мы думаемъ только, что не изъ этихъ огней составитсѣ лучезарный вѣнецъ поэта и что навсегда памятнымъ останется тотъ Фетъ, которымъ увлекалось поколѣніе пятидесятихъ годовъ, — Фетъ молодой, Фетъ — прѣвецъ молодости, жизни и любви.

К. АРСЕНЬЕВЪ.



---

\* \* \*

Они какъ звѣзды въ мутной мглѣ,  
Иль будто въ сумракѣ видѣнья—  
Тѣ годы мира на землѣ  
И межъ людей благоволенья.

Меня сподобила судьба  
Тогда узрѣть въ моей отчизнѣ  
Съ освобожденіемъ раба  
Преображеніе всей жизни.

Той свѣтлой жизни въ старомъ злѣ  
Пришла пора исчезновенья,  
Какъ звѣзды гаснуть въ мутной мглѣ,  
Какъ меренуть въ сумракѣ видѣнья.

Къ дѣламъ добра затерянь слѣдъ;  
Въ сердцахъ—опять вражда и злоба...  
Чего-жъ мнѣ ждать на склонѣ лѣтъ,  
Уже вблизи, быть можетъ, гроба?

О, годы мира на землѣ  
И межъ людей благоволенья!  
На быстромъ времени крылѣ  
Вы мчитесь къ пропасти забвенья.

Алексѣй Жемчужниковъ.



# ТЕОРІАХЪ ПРОГРЕССА

## I. ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКІЯ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ СОЦІОЛОГІИ.

Существуютъ писатели, считающіе себя спеціалистами по соціологіи; но самой соціологіи еще не существуетъ. Мы имѣемъ нѣсколько научныхъ системъ, объясняющихъ будто бы законы соціальныхъ явленій; но эти системы противорѣчатъ одна другой, и выставленные ими законы носятъ на себѣ характеръ случайныхъ или произвольныхъ выводовъ изъ случайно собраннаго матеріала. Одни изъ теоретиковъ разсуждаютъ о человѣчествѣ вообще, имѣя въ виду исключительно лишь современное положеніе и развитіе нѣкоторыхъ европейскихъ народовъ или даже только собственнаго своего отечества; другіе дѣлаютъ свои обобщенія на основаніи данныхъ, касающихся быта дикихъ племенъ, и выдаютъ за соціологію какую-то неопредѣленную смѣсь этнографіи съ антропологіею и исторіею первобытной культуры.

Это послѣднее направленіе имѣетъ весьма трудолюбивыхъ и талантливыхъ приверженцевъ въ новѣйшей ученой литературѣ; оно могло бы считаться плодотворнымъ, еслибы оставалось въ своихъ законныхъ предѣлахъ и не нарушало элементарныхъ требованій сравнительнаго метода. Водвореніе „дикаго человѣка“ въ соціологіи совершилось при дѣятельномъ участіи Герберта Спенсера и его послѣдователей; въ соціологическихъ трактатахъ выступили на первый планъ бушмены, кафры, зулусы, готтентоты, нямъ-нямъ, бамбарасы и тому подобныя — крайне интересныя, конечно, — представители человѣческаго рода. Смѣшно было бы отрицать пользу и необходимость изученія дикихъ людей, ихъ

обычаевъ, понятій и образа жизни; но когда это изученіе становится источникомъ для выводовъ о человѣчествѣ вообще и доходить до полного невниманія къ исторіи и условіямъ развитія культурныхъ народовъ, тогда мы имѣемъ уже предъ собою нѣчто совершенно неосновательное и произвольное. У насъ протестовали въ свое время противъ односторонняго господства „мужика“ въ литературѣ; съ гораздо большимъ правомъ можно теперь возставать противъ нашествія „дикаго человѣка“ въ область соціальной науки.

Одинъ изъ наиболѣе усердныхъ дѣятелей этого направленія, докторъ Шарль Летурнд, слѣдующимъ образомъ объясняетъ преимущества „этнографическаго“ метода, въ своемъ послѣднемъ трудѣ о „развитіи собственности“: „Я придерживался,—говоритъ онъ,—плодотворнаго метода, который одинъ только можетъ освѣтить наши соціологическія начала; это именно методъ этнографическій, состоящій въ томъ, что низшія расы современнаго человѣчества принимаются за живыхъ представителей нашихъ первобытныхъ предковъ. Мнѣ нечего оправдывать такой способъ изслѣдованія: онъ лежитъ въ основѣ соціологіи, построенной на идеѣ развитія, ибо онъ позволяетъ наглядно изучать ряды соціальныхъ ступеней, потонувшихъ въ мракѣ прошедшаго. Благодаря этому способу, при помощи самаго научнаго изъ магическихъ приемовъ, отдаленнѣйшіе вѣка возстановляются предъ нами во-очію, прошлое дѣлается настоящимъ, и мы можемъ наблюдать одновременно тѣ послѣдовательныя стадіи, которыя цивилизованныя народы проходили въ теченіе долгихъ хронологическихъ періодовъ. Каковъ бы ни былъ великій соціологическій вопросъ, затронутый съ такой точки зрѣнія, мы получаемъ возможность изучить всѣ его историческія и до-историческія звенья, обнять однимъ общимъ взглядомъ медленныя усилія человѣчества и вызвать картину, представляющую захватывающій интерес“<sup>1)</sup>. Мы охотно подписались бы подъ этимъ разсужденіемъ Летурнд, еслибъ онъ дѣйствительно пользовался свѣденіями о дикихъ народахъ только для освѣщенія первобытнаго строя жизни, и еслибы при этомъ онъ не забывалъ ни о различіи расъ, ни о природныхъ условіяхъ развитія человѣческихъ племенъ въ разныхъ частяхъ свѣта. Но авторъ поступаетъ совсѣмъ иначе; онъ просто переноситъ свой этнографическій матеріалъ въ область современнаго вопроса о судьбахъ землевладѣнія въ Европѣ и, основываясь на этомъ сы-

<sup>1)</sup> L'évolution de la propriété, par Ch. Letourneau (P., 1889). Préface, p. V—VI. Ср. замѣтку объ этой книгѣ въ „Вѣстникѣ Европы“ за февраль („Новости иностранной литературы“, стр. 908—910).



ромъ матеріалѣ, не подвергнутомъ никакому анализу, пыгается объяснить не только исторію собственности у культурныхъ народовъ, но и вѣроятную будущность этого института. Летуридъ принимаетъ за безспорную аксіому положеніе, которое сильно нуждается еще въ доказательствѣ, — а именно, что всея человѣческія расы проходятъ одинаковыя стадіи развитія и что какіе-нибудь папуасы, ново-зеландцы или африканскіе негры могутъ служить для насъ живыми образчиками нашихъ собственныхъ отдаленныхъ предковъ. Мало того, — эти бушмены, зулусы и нямъ-нямъ прямо ставятся на одинъ уровень съ древними германцами, кельтами, славянами, даже греками и римлянами, вслѣдствіе чего получается полнѣйшая путаница понятій. Соціологи-этнографы нерѣдко рассуждаютъ такъ: мы не имѣемъ точныхъ свѣдѣній о первоначальномъ бытѣ нашихъ прародителей; поэтому мы должны обратиться за справками къ нынѣшнимъ обитателямъ Африки или Австраліи, на которыхъ наши предки были вѣроятно вполне похожи. На чемъ основана эта послѣдняя гипотеза, и почему упускается изъ виду вліяніе расы, климата и вѣтвиной природы, — остается неизвѣстнымъ. Но если даже допустить правильность приведеннаго рассужденія, то самъ собою возникаетъ рядъ вопросовъ и сомнѣній другого рода. Почему соціологія должна удѣлять главное мѣсто дикарямъ, а не культурнымъ народамъ, и отчего не соблюдается, по крайней мѣрѣ, равноправность въ этомъ отношеніи? Можно ли оправдать пренебреженіе соціологовъ къ богатому фактическому матеріалу, представляемому исторією? Почему, на примѣръ, въ обширномъ трактатѣ Летуридъ о развитіи собственности приводятся лишь крайне скудныя и поверхностныя свѣдѣнія о ходѣ западно-европейскаго землевладѣнія, а выводы дѣлаются именно для послѣдняго? Имѣютъ ли разумный смыслъ постоянныя скачки отъ зулусовъ къ европейцамъ и обратно, для мнимыхъ соціологическихъ обобщеній?

Въ частности, относительно Летуридъ, мы должны замѣтить, что въ первомъ своемъ сочиненіи по соціологіи, вышедшемъ въ 1880 году, онъ ограничивалъ задачу изслѣдователей осторожнымъ собираніемъ и группировкою фактовъ для будущаго научнаго зданія и предостерегалъ отъ преждевременныхъ попытокъ отыскать соціологическія законы въ настоящемъ смыслѣ этого слова. „Соціальная наука, — говорилъ онъ, — находится еще въ состояніи дѣтства; формулировать общія начала она еще не въ силахъ. Но научныя законы не создаются самопроизвольнымъ зарожде-ніемъ; ихъ готовятъ постепенно, выдѣляя изъ хаоса част-

ныхъ наблюдений нѣкоторые общіе факты<sup>1)</sup>. Съ тѣхъ поръ положеніе дѣлъ вѣроятно измѣнилось, съ точки зрѣнія автора, потому что онъ не стѣсняется уже обобщать и устанавливать „законы развитія“, о которыхъ очень часто идетъ рѣчь въ его новѣйшей книгѣ о собственности.

Къ какимъ грубымъ ошибкамъ ведетъ неосторожное обращеніе съ дикарями въ социологіи, можно видѣть на одномъ любопытномъ примѣрѣ. Беджотъ находитъ подтвержденіе превосходства нынѣшнихъ европейцевъ передъ древними римлянами въ томъ обстоятельстве, что варвары „исчезаютъ подѣ влияніемъ современной цивилизаціи, тогда какъ они успѣшно выдерживали напоръ древней культуры“. „Мы не встрѣчаемъ у классическихъ писателей,—по словамъ названнаго автора,—никакого сожалѣнія объ участи дикарей. Ново-зеландцы говорятъ, что земля уйдетъ изъ рукъ ихъ дѣтей; австраійцы исчезаютъ; тасманійцы уже исчезли. Еслибы какой-нибудь подобный фактъ произошелъ въ древности, моралисты-классики не преминули бы сдѣлать его предметомъ своихъ размышленій, ибо это былъ бы одинъ изъ тѣхъ важныхъ и внушительныхъ фактовъ, какіе они любили. Напротивъ, въ Галліи, Испаніи, Сициліи, во всѣхъ странахъ, о которыхъ мы имѣемъ какія-либо свѣденія, варвары переносили прикосновеніе римской культуры, и римляне соединялись съ варварами. Современная наука объясняетъ вымирание дикарей; она говоритъ, что мы имѣемъ болѣзни, которымъ мы можемъ противостоять, между тѣмъ какъ они противъ нихъ безсильны, и они погибаютъ отъ ихъ дѣйствія, какъ нашъ жирный домашній скотъ гибнетъ отъ эпизоотій, сравнительно безобидныхъ для болѣе крѣпкаго скота степей. Въ началѣ христіанской эры, дикіе были почти такими же, какими они являются въ XVIII вѣкѣ; если же они противостояли сношеніямъ съ цивилизованными людьми древности и гибнуть отъ нашего прикосновенія, то изъ этого слѣдуетъ, что наша раса вѣроятно крѣпче древнихъ. Намъ приходится выносить и мы выносимъ зачатки болѣзней болѣе страшныхъ, чѣмъ существовавшія у древнихъ. Можетъ быть, дикарь, который не измѣнился, могъ бы служить общимъ мѣриломъ для оцѣнки жизненной силы тѣхъ цивилизацій, влиянію которыхъ онъ подвергается“<sup>2)</sup>. Здѣсь уже прямо бросается въ глаза не только смѣшеніе, но и отождествленіе совершенно различныхъ категорій „первобытнаго человѣка“, подѣ именемъ варвара или дикаря.

<sup>1)</sup> La sociologie d'après l'ethnographie, p. IX.

<sup>2)</sup> Lois scientifiques du développement des nations, par W. Bagehot (P., 1882), p. 52—3.

Ново-зеландцы, австралійцы и тасманійцы признаются вполне равными германцамъ, галламъ и иберамъ времени римской имперіи; краснокожіе и черные дикари, не знавшіе ни осѣдлости, ни земледѣлія, оказываются „почти такими же“, какъ тѣ осѣдлые земледѣльцы бѣлой расы, о которыхъ писалъ Тацитъ. Дикіе обитатели Африки и Австрали отнесены въ одинъ разрядъ съ жителями Германіи, Галліи и Испаніи, въ эпоху Юлія Цезаря. Уже единство расы между римлянами и тогдашними европейскими варварами исключаетъ всякую возможность сравненія съ нынѣшними отношеніями, между культурными бѣлыми людьми и краснокожими или черными дикарями. Очевидно, Беджготъ могъ впасть въ такую явную ошибку только потому, что слово „варваръ“ служитъ одинаково для обозначенія самыхъ различныхъ категорій „первобытнаго человѣка“ и что общность имени очень часто заслоняетъ отъ насъ дѣйствительную разнородность содержанія. Авторъ и не замѣчаетъ, что онъ проводитъ какую-то параллель между предметами болѣе или менѣе сходными или несходными, но все-таки различными даже по высшимъ признакамъ; онъ незамѣтно для самого себя принялъ слово за сущность. Любопытно, что извѣстный американскій писатель, Генри Джорджъ, отмѣтивъ приведенное мѣсто въ книгѣ Беджгота, въ свою очередь не замѣчаетъ допущеннаго имъ промаха и спорить противъ его сужденія по другимъ основаніямъ; онъ доказываетъ, что римляне дѣйствовали относительно варваровъ иначе, чѣмъ современные европейцы, что они только „подчиняли своему владычеству завоеванныя земли, оставляя въ значительной мѣрѣ нетронутымъ социальный и отчасти политическій бытъ населенія, такъ что возможенъ былъ процессъ ассимиляціи, безъ разстройства и вреда для жителей“. Европейцы же не признаютъ никакихъ правъ за дикарями и выказываютъ передъ ними худшія особенности своей культуры <sup>1)</sup>. Но дѣло именно въ томъ, что „социальный и политическій бытъ“ германцевъ или галловъ допускалъ уже прочное высшее подчиненіе, съ платежомъ оброка, и что этотъ бытъ не имѣлъ ничего общаго съ жизнью нынѣшнихъ африканскихъ или австралійскихъ дикарей.

„Этнографическій методъ“ соблазняетъ многихъ своею кажущоюся легкостью и общедоступностью; стоитъ только сопоставить фактическія свѣденія, собранныя путешественниками и эт-

<sup>1)</sup> Progress and poverty, by *Henry George* (L., 1884), p. 354—5. Многократно авторъ упоминаетъ, правда, что „древняя цивилизація была болѣе родственна варварамъ“, но изъ дальнѣйшаго изложенія ясно, что онъ совершенно упускаетъ изъ виду различіе расъ и ступеней развитія въ данномъ случаѣ.

нографами, привести ихъ въ связь съ нашими идеями и учрежденіями, и „эволюція“ того или другого института готова. Между тѣмъ нѣтъ пути болѣе труднаго, обставленнаго большимъ количествомъ научныхъ опасностей и требующаго большей осмотрительности, чѣмъ этотъ способъ сравненій и обобщеній. Прежде всего, наблюдая факты чуждаго намъ быта, мы вынуждены судить по внѣшности и обречены сплошь и рядомъ дѣлать промахи, которыхъ не имѣемъ возможности провѣрить. Внутренняя, интимная жизнь дикарей, ихъ понятія, мотивы ихъ дѣйствій,—все это мало доступно постороннимъ пришельцамъ. Весьма немногіе изъ путешественниковъ обладаютъ необходимыми условіями для правильныхъ и точныхъ наблюденій; кромѣ добросовѣстности и правдивости, нужно еще умѣніе распознавать истину отъ лжи въ разсказахъ туземцевъ, нужно тонкое пониманіе человѣческой психологіи, нужна способность вникать въ незнакомыя черты первобытныхъ соціальныхъ отношеній и обычаевъ, не увлекаясь наружными, иногда обманчивыми формами. Европейцы, даже самыя свѣдущіе и опытные, невольно примѣняютъ свои традиціонныя идеи къ чуждому строю жизни и охотно находятъ у варваровъ то, чего на дѣлѣ у нихъ нѣтъ и въ поминѣ. Простые старѣйшины и военные предводители принимаются за королей; распорядительная власть ихъ въ предѣлахъ извѣстной территоріи считается признакомъ принадлежащаго имъ будто бы права собственности на землю; съ ними заключаются сдѣлки объ уступкѣ земельныхъ участковъ, а они видятъ въ этихъ уступкахъ только разрѣшеніе жить и охотиться въ предѣлахъ даннаго пространства, наравнѣ съ туземцами; они не могутъ понять болѣе исключительныхъ и широкихъ притязаній европейцевъ, серьезно приписывающихъ своимъ договорамъ значеніе юридическихъ актовъ, равносильныхъ нашимъ купчимъ крѣпостямъ. Культурные поселенцы неспособны представить себѣ, что въ какой-либо странѣ не существуетъ права частной собственности на землю, или что оно неизвѣстно и непонятно туземцамъ; отсюда постоянныя недоразумѣнія, кончающіяся часто возстаніемъ негодующихъ дикарей. Европейцы обыкновенно не предвидятъ этихъ кровавыхъ столкновеній, которыя кажутся имъ дѣломъ вѣроломства или случайнаго бунта, именно потому, что они не понимаютъ отрицанія или ограниченія поземельныхъ правъ, пріобрѣтенныхъ ими будто бы въ собственность по договору съ мѣстнымъ „королемъ“. Позволительно ли при такихъ условіяхъ принимать на вѣру всякія свѣденія о дикаряхъ, сообщаемыя даже компетентными путешественниками?

Даже въ предѣлахъ Европы можно указать на слѣды упорнаго взаимнаго непониманія между народами, вслѣдствіе неспособности наблюдателей одной національности проникнуть въ порядки жизни и понятій другого населенія. Жозефъ де-Местръ, человекъ проникательный и остроумный, долго жившій въ Россіи, замѣтилъ въ русскомъ народѣ одну главную характеристическую черту, о которой мы безъ него не имѣли бы никакого представленія. Оказывается, что „русская нація есть самая подвижная, самая страстная и предприимчивая въ цѣломъ свѣтѣ“, что „нѣтъ людей, могущихъ желать болѣе сильно, чѣмъ русскіе“, и что „еслибы можно было заключить русское желаніе въ крѣпость, оно взорвало бы ее“<sup>1)</sup>. Чтò сказали бы мы о социологѣ или этнографѣ, который воспользовался бы этимъ интереснымъ наблюденіемъ для оцѣнки качествъ и особенностей русскаго народа? И однако было бы несправедливо предположить, что де-Местръ выдумалъ свою оригинальную характеристику; вѣроятно, будучи сардинскимъ посланникомъ въ Петербургѣ въ эпоху Наполеоновскихъ войнъ, онъ удивлялся готовности тогдашнихъ дѣятелей устраивать чужія международныя дѣла, не щади для этого русской крови, и исполнять немедленно всякое желаніе, хотя бы безцѣльное и фантастическое; вѣроятно, онъ видѣлъ также, что вельможи того времени не имѣли привычки отказывать себѣ въ чемъ бы то ни было и свободно отдавались своимъ прихотямъ и удовольствіямъ. Онъ ошибся только въ одномъ, что приписалъ нравы небольшого высшаго круга цѣлому народу, и что по характеру отдѣльныхъ лицъ онъ вывелъ заключеніе о всей „русской націи“. Такимъ же образомъ неосторожные писатели попадаютъ въ просакъ на каждомъ шагѣ, при изображеніяхъ иноземнаго быта и тѣмъ болѣе быта дикарей.

Но допустимъ, что этнографическій матеріалъ старательно проверенъ, что онъ очищенъ отъ всѣхъ сомнительныхъ примѣсей и представляетъ собраніе дѣйствительныхъ, безспорныхъ фактовъ; тогда остается еще анализировать эти факты, выяснить ихъ происхожденіе и степень зависимости отъ различныхъ природныхъ и общественныхъ условий. Если какое-либо социальное явленіе встрѣчается одновременно въ разныхъ мѣстахъ, то очевидно мы должны прежде всего узнать, возникло ли оно повсюду самостоятельно, или же распространилось искусственно или случайно, силою подражанія: выводы въ томъ и другомъ случаѣ будутъ, конечно, неодинаковы. Мы не можемъ не привести здѣсь по-

<sup>1)</sup> *Joseph de Maistre, Quatre chapitres inédits sur la Russie* (Paris, 1859), p. 21.

учительныхъ замѣчаній одного изъ лучшихъ и наиболѣе осторожныхъ истолкователей сравнительнаго метода въ изученіи первобытныхъ формъ жизни, сэра Генри Мэна. „При поверхностномъ взглядѣ на дѣло,—говоритъ Мэнъ,—можно подумать, что подражательная способность человѣка не идетъ далѣе предметовъ вкуса и личныхъ обыкновений. На самомъ же дѣлѣ, нѣтъ такой удачной, замѣчательной или просто модной вещи, которой люди, на самыхъ различныхъ ступеняхъ своего развитія, не старались бы подражать. „Дай намъ царя, который бы судилъ насъ, подобно тому, какъ это *есть у всѣхъ народовъ*“,—говорили израильтяне Самуилу... Въ варварскомъ состояніи люди готовы перенять всякій удачный или просто модный общественный укладъ—деревенскую общину, обычай дѣтоубійства и сожиганія вдовъ. Подражаніе это осуществляется при помощи фикціи, иногда чрезвычайно смѣлой: благодаря ей, старый строй мало-по-малу уступаетъ мѣсто новому, и даже беспорядочныя орды, простые скопища людей, принимаютъ опредѣленные общественныя формы, которыя впоследствии могутъ показаться ведущими свое происхожденіе отъ корней, тающихся въ глубинѣ прошедшаго. Учрежденіе, разъ оказавшееся успѣшнымъ (или просто пріобрѣтшее извѣстность въ качествѣ чего-то моднаго,—прибавимъ мы), распространяется и далѣе, благодаря подражательной способности, которая у варвара сильнѣе, чѣмъ у цивилизованнаго человѣка. Отсюда слѣдуетъ, что ни одна общая теорія, стремящаяся объяснить развитіе социальныхъ формъ путемъ одной лишь внутренней эволюціи, не можетъ вполне согласоваться съ фактами дѣйствительности. Человѣкъ, незнакомый съ европейской исторіею, можетъ предположить, что англійская и бельгійская конституціи, очень похожія одна на другую, развивались совершенно аналогичными путями; между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ бельгійская конституція есть въ сущности копія съ копіи; истинное же развитіе конституціонализма можно прослѣдить только въ исторіи англійской конституціи“<sup>1)</sup>. Наконецъ, когда способъ образованія даннаго явленія обслѣдованъ съ надлежащею точностью и полнотою, необходимо еще принять въ расчетъ природную обстановку, которая вліяетъ весьма существенно на характеры и инстинкты людей, на ихъ социальную жизнь и на всѣ подробности быта. Если народы Африки или Австраліи имѣютъ извѣстные обычаи, то изъ этого еще нисколько не слѣдуетъ, что эти обычаи или „стадіи развитія“ существовали у европейскихъ и азіатскихъ племенъ,

<sup>1)</sup> „Древній законъ и обычай“, русскій пер. (М., 1884), стр. 219—20.

жившихъ при совершенно другихъ условіяхъ вѣшной природы, при другомъ климатѣ, а такіа общія заключенія постоянно дѣлаются этнографами-соціологами, въ родѣ Летуридо.

Воздерживаться отъ поспѣшныхъ и поверхностныхъ обобщеній въ высшей степени трудно въ этой скользкой области, гдѣ приходится часто дѣйствовать ощупью, наугадъ. Образцомъ добросовѣстности и аккуратности, соединенныхъ съ знаніемъ дѣла, могъ бы служить сэръ Генри Мэнъ, занимавшійся специально изученіемъ древняго юридическаго строя Индіи и другихъ странъ; но и онъ вылезъ въ серьезные логическія погрѣшности, когда приступилъ къ разбору болѣе новыхъ и современныхъ общественныхъ явленій. Замѣчательно осторожнымъ изслѣдователемъ нужно признать также Липперта, извѣстнаго своими работами по исторіи семьи, религіозныхъ вѣрованій и духовнаго класса у разныхъ народовъ; онъ не претендуетъ на созданіе смѣлыхъ соціологическихъ теорій и считаетъ такіа попытки преждевременными, хотя его послѣдній двухъ-томный трудъ, посвященный изученію особенностей первоначальнаго общества, названъ уже не совсѣмъ скромно „исторію культуры человѣчества въ ея органическомъ построеніи“<sup>1)</sup>. Большинство остальныхъ теоретиковъ соціологій, не исключая и Герберта Спенсера, рѣшительно злоупотребляетъ сравнительнымъ методомъ и нарушаетъ на каждомъ шагѣ тѣ научныя требованія, которыя признаются еще обязательными Мэнномъ и Липпертомъ.

Рядомъ съ собирателями этнографическихъ матеріаловъ для будущей соціологической постройки, мы видимъ ученыхъ, которые вполне убѣждены, что зданіе уже воздвигнуто ими. Намъ предлагаются цѣльныя и стройныя системы, исполненныя иногда съ большимъ талантомъ и искусствомъ; но—странное дѣло!—каждая изъ нихъ одинаково убѣдительно и правдоподобна сама по себѣ, а совмѣстить ихъ невозможно: одна исключаетъ другую. Для примѣра сопоставимъ ученіе американца Кэри, котораго нѣмецкій философъ Дюрингъ приравнилъ чуть ли не къ Копернику,—съ доктриною Спенсера или Шеффле. Кэри повидимому вполне основательно возражаетъ противъ мнѣнія Конта, что въ социальной наукѣ надо начинать съ общаго и переходить къ частному, обращаясь отъ всемірной исторіи прошедшаго къ изученію настоящаго для предвидѣнія будущаго; это,—говоритъ онъ,—все равно что предлагать телескопъ, которымъ наблюдаются лунныя горы,

<sup>1)</sup> *Julius Lippert*, Kulturgeschichte der Menschheit in ihrem organischen Aufbau. Bd. I—II. Stuttg., 1886—87.

какъ средство для изслѣдованія окружающей насъ природы. Кэри доказываетъ, что въ человѣческихъ обществахъ дѣйствуютъ тѣ же законы тяготѣнія и движенія, какъ и во всемъ внѣшнемъ мѣрѣ; стремленіе людей къ общежитію соответствуетъ силѣ притяженія; духъ ассоціаціи развиваетъ движеніе и энергію, въ видѣ соціальной теплоты; центростремительныя силы уравниваются центробѣжными, выражающимися въ автономіи личностей и въ обидѣ самоуправляющихся мѣстныхъ центровъ. Духъ ассоціаціи усиливается раздѣленіемъ труда и различіемъ способностей, и подъ вліяніемъ свободнаго дѣйствія этихъ общественныхъ силъ устанавливается „единство въ разнообразіи“. Отъ правильности и гармоніи въ сочетаніи этихъ силъ зависитъ гармонія между частными интересами и общественными, подобно тому какъ разнообразіе движеній въ планетной системѣ не нарушаетъ ея общаго единства <sup>1)</sup>. Развѣтіе цивилизаціи по мѣрѣ усилія городскихъ и сельскихъ центровъ, притягательная сила этихъ соціальныхъ средоточій, наибольшая выработка общественной энергіи при совмѣщеніи индивидуализма съ духомъ солидарности и сотрудничества,—все это находитъ видимое объясненіе въ эффектной теоріи Кэри. И что же? Является Спенсеръ и съ такимъ же подобіемъ основательности отыскиваетъ черты сходства человѣческихъ обществъ не съ планетною системою и не съ дѣйствіями физическихъ силъ, а съ живыми организмами, развивающимися изъ простѣйшихъ клѣточекъ въ сложныя тѣла, съ различными органами и функціями. Нѣмецкіе систематики, съ Шеффле во главѣ, разрабатываютъ эту аналогію до мельчайшихъ подробностей, опредѣляютъ мѣстонахожденіе артерій и венъ, нервныхъ и мозговыхъ центровъ въ соціальномъ организмѣ и доводятъ параллель до полнаго отождествленія. И эта „органическая“ система какъ будто объясняетъ что-то и имѣетъ внѣшніе признаки научности, подобно ученію американскаго теоретика. Гдѣ же тутъ истина? Которая изъ двухъ противоположныхъ системъ должна быть принята за основу соціологіи, и кого слѣдуетъ признать Коперникомъ этой науки—Кэри или Спенсера? Недоумѣніе разрѣшается само собою, если присмотрѣться къ способамъ изслѣдованія и обобщенія, усвоеннымъ обоими писателями: оба они уклоняются отъ дѣйствительнаго анализа явленій и пускаются въ произвольныя аналогіи, могущія привести къ какимъ угодно выводамъ. Факты приноравливаются къ теоріямъ и втискиваются въ заранѣе

<sup>1)</sup> Principes de la science sociale, par H. Carey (Paris, 1861). Т. I—III. Въ третьемъ томѣ, въ главѣ LX, наложена вкратцѣ сущность всей теоріи.



установленные рамки, вмѣсто того, чтобы наоборотъ обобщенія вытекали изъ анализа; простыя сравненія разнородныхъ предметовъ принимаются за научные приемы, и изученіе замѣняется фантазированіемъ.

Соціологія представляется многимъ какою-то *tabula rasa*, на которой можно выводить какіе угодно узоры. Когда авторъ не знаетъ, къ какой отрасли знаній отнести свои разсужденія, онъ называетъ ихъ „соціологическими этюдами“. Такихъ безпредметныхъ „этюдовъ“ появилось уже не мало въ нашей литературѣ, и опредѣлить содержаніе ихъ было бы довольно трудно. Одни изъ „соціологовъ“ упражняются въ безконечномъ повтореніи однихъ и тѣхъ же словъ, заимствованныхъ у Спенсера, — „дифференціаціи“, „интеграціи“, и „дисинтеграціи“ (вмѣсто „десинтеграціи“), въ самыхъ разнообразныхъ и иногда удивительныхъ сочетаніяхъ. Другіе стараются создать нѣчто самобытное и безнадежно запутываются въ своихъ измышленіяхъ. Третьи превозносятъ мнимые подвиги своихъ собратьевъ и серьезно увѣряютъ, что у насъ существуетъ замѣчательная „соціологическая школа“, какой не имѣетъ еще Европа. Прежде чѣмъ двинуться дальше и обратиться къ теоріямъ прогресса, мы должны разобрать эту интересную путаницу.

II.—СПЕНСЕРЪ И Г. Н. МИХАЙЛОВСКІЙ.

Съ перваго взгляда можетъ показаться страннымъ сопоставленіе творца девяти-томной „Системы синтетической философіи“, обнимающей всю область человѣческаго знанія, съ русскимъ публицистомъ, хотя и остроумнымъ и талантливымъ;—но для людей, посвященныхъ въ тайны „русской соціологіи“, нѣтъ въ этомъ ничего страннаго. Еще недавно одинъ изъ авторовъ, пишущихъ соціологическіе этюды, высказалъ печатно, что г. Михайловскій занимаетъ „первое мѣсто (sic) среди современныхъ европейскихъ мыслителей, работающихъ въ области общественной философіи“, и что ему удалось „установить рядъ соціологическихъ теоремъ, слава которыхъ будетъ всегда гордостью русской литературы и мысли“. Какъ ни оригинально это заявленіе, но оно указываетъ на существованіе въ извѣстной части публики фантастическихъ взглядовъ, съ которыми приходится намъ считаться. Поэтому и мы вынуждены остановиться на разборѣ и соціологическихъ трудовъ г. Михайловскаго съ гораздо большею подробностью, чѣмъ это требовалось бы для нашей ближайшей цѣли.

Критическая оцѣнка работъ г. Михайловскаго затрудняется

двумя обстоятельствами. Во-первыхъ, собраніе его сочиненій, вышедшее въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, издано весьма небрежно, безъ всякой системы; статьи по социологіи разбросаны почему-то въ разныхъ томахъ, чередуясь съ литературною критикою и беллетристикою; разсужденія и замѣтки, писанныя въ разное время, воспроизведены съ буквальною точностью, съ сохраненіемъ всѣхъ слѣдовъ и отгѣнновъ текущей журнальной работы. Въ предисловіи къ четвертому тому эта небрежность оправдывается ссылкой на пословицу: „что написано перомъ, того не вырубишь топоромъ“. Вырубить, конечно, не было и надобности; можно было просто распредѣлить матеріалъ по предметамъ и вычеркнуть все лишнее—разныя прибаутки и мимолетныя замѣчанія по поводу случайныхъ мелочей. Приступая, напримѣръ, къ вопросу о „борьбѣ за индивидуальность“, авторъ говоритъ о какой-то „невинной хитрости“, употребленной имъ для развеселенія читателей, и затѣмъ продолжаетъ: „я не принадлежу къ числу тѣхъ величественныхъ олимпійцевъ, которые говорятъ, что имъ все равно, читаютъ ли ихъ или нѣтъ; признаться, я имъ даже немножко не вѣрю, и во всякомъ случаѣ, мнѣ это не все равно: я очень хочу, чтобы меня читали, хотя и приходится иногда говорить о скучныхъ вещахъ“ (т. III, стр. 159). Быть можетъ, это имѣло какой-нибудь смыслъ въ журналѣ, въ свое время; но затѣмъ нужно было перепечатывать такія обращенія въ публикѣ въ отдѣльномъ изданіи—непонятно. Въ статьѣ о прогрессѣ, писанной въ 1869 году, мы читаемъ, между прочимъ: „Къ несчастью, у меня нѣтъ подъ руками ни „Умственнаго развитія Европы“, ни „Гражданскаго развитія Америки“, ни „Физиологіи Дрэнера“ и т. д. (т. IV, стр. 65); зато въ другомъ мѣстѣ приведена какая-то выписка „не по чему иному, какъ потому, что мы (т.-е. г. Михайловскій) случайно развернули лежащую предъ нами книгу г. Модзалевскаго“ (стр. 128). Но если авторъ когда-то не имѣлъ подъ руками нужныхъ книгъ, а предъ нимъ лежали ненужныя, то неужели нельзя было съ тѣхъ поръ пополнить пробѣлъ и избѣгнуть повторенія этихъ смѣшныхъ призываній четырнадцать лѣтъ спустя? Правда, относительно знаменитыхъ писателей считается интереснымъ восстановленіе каждаго ихъ слова въ первоначальномъ видѣ; но это дѣлается не при жизни авторовъ и примѣняется лишь къ дѣйствительнымъ „олимпійцамъ“, въ числу которыхъ г. Михайловскій, по его собственнымъ словамъ, не принадлежитъ. Во-вторыхъ, кромѣ разбросанности статей и обилія въ нихъ устарѣлаго журнальнаго балласта, самое содержаніе ихъ отличается отсутствіемъ послѣ-

довательности и системы. Авторъ откровенно заявляетъ, что, въ виду обширности темы, „на систематичность изложенія намъ (т.-е. г. Михайловскому) претендовать никакъ не приходится“ (?); онъ рассчитываетъ „на помощь логики читателя“; онъ сознаетъ „неудовлетворительность, неполноту и, быть можетъ, неясность“ своего изложенія, и это сознаніе, — говоритъ онъ въ ипривомъ тонѣ, — „не доставляетъ намъ, разумѣется, никакого удовольствія“ (т. IV, стр. 117 и 134). Всякій авторъ, безъ сомнѣнія, рассчитываетъ на „логику читателя“; но возлагать на читателей заботу о приведеніи въ порядокъ мыслей автора, — по меньшей мѣрѣ, несправедливо. Посмотримъ теперь, въ чемъ заключаются соціологическія жемчужины, разбѣяныя въ поэтическомъ беспорядкѣ въ сочиненіяхъ г. Михайловскаго.

Главнѣйшій трудъ г. Михайловскаго по соціологіи, подъ заглавіемъ: „Что такое прогрессъ?“ — посвященъ разбору нѣкоторыхъ трактатовъ Спенсера, появившихся тогда (въ 1869 году) въ русскомъ переводѣ. Авторъ критически отнесся къ теоріямъ англійскаго мыслителя, но, по новости дѣла, впалъ въ цѣлый рядъ недоразумѣній. Спенсеръ поставилъ себѣ задачей изслѣдовать ходъ развитія явленій въ природѣ и въ человѣческихъ обществахъ, какъ этотъ ходъ совершается въ дѣйствительности; въ специальномъ этюдѣ о прогрессѣ, напечатанномъ впервые въ 1857 году, онъ прямо оговаривается, что понимаетъ „прогрессъ“ не въ смыслѣ совершенствованія, съ точки зрѣнія человѣческихъ интересовъ, а въ смыслѣ простого ряда измѣненій, происходящихъ въ жизни природы и ея разнообразныхъ формъ, въ періодъ развитія. Чтобы не давать повода къ какимъ-либо сомнѣніямъ, Спенсеръ въ видѣ предосторожности отказался позднѣе отъ употребленія слова „прогрессъ“ въ указанномъ смыслѣ, и при болѣе подробномъ изложеніи своей доктрины въ „Первыхъ началахъ“ (вышедшихъ въ 1862 г.) замѣнилъ это слово другимъ, болѣе подходящимъ терминомъ: „развитіе“ (эволюція). Г. Михайловскій упоминаетъ объ этомъ обстоятельствѣ въ началѣ своей статьи (т. IV, стр. 22). Казалось бы, что при такой ясной постановкѣ вопроса оставалось только разобрать ученіе Спенсера по существу, вытекаетъ ли оно изъ анализа фактовъ, подтверждается ли приводимыми доказательствами и правильны ли научныя приемы, которыми оно добыто. Критикъ отчасти только коснулся этой задачи и прямо перенесъ споръ на другую почву; онъ вдается въ оцѣнку выводовъ Спенсера съ точки зрѣнія человѣческихъ интересовъ, цѣлей и желаній (прямо устраненныхъ изъ анализа англійскимъ мыслителемъ), находитъ его формулу раз-

вѣтія невыгодною и въ концѣ концовъ, послѣ многихъ разсужденій на пространствѣ болѣе десяти печатныхъ листовъ, оставляетъ читателей въ неизвѣстности, признаетъ ли онъ вѣрною общую теорію Спенсера или нѣтъ. Повидимому, онъ принимаетъ эту теорію въ цѣломъ, но дѣлаетъ поправки въ частностяхъ; онъ возстаетъ противъ органическихъ обобщеній во имя нравъ индивидуальности, но повсюду и постоянно смѣшиваетъ двѣ совершенно различныя точки зрѣнія — научно-теоретическую и практическую, соображенія истинности и желательности, цѣли изученія и приложенія къ жизни. „Общество, личность идеальная, — говоритъ онъ, — какъ прекрасно и достаточно подробно показалъ Спенсеръ, развивается подобно организму: переходитъ отъ однороднаго къ разнородному, отъ простаго къ сложному, постепенно расчленяясь и дифференцируясь“ (стр. 39). Если эта основная идея Спенсера „прекрасно“ доказана, то и методъ, приведшій къ ея достиженію и доказательству, долженъ быть вѣренъ. Однако' по мнѣнію г. Михайловскаго, методъ никуда не годится, такъ какъ онъ исключаетъ элементъ цѣлесообразности и приводитъ къ поспранію человѣческихъ интересовъ.

Тутъ мы попадаемъ въ такую путаницу понятій и противорѣчій, что трудно даже разобратъся. Критикъ думалъ, что одна и та же наука должна заниматься изученіемъ предмета и приспособленіемъ его къ практическимъ цѣлямъ, что теоретикъ не можетъ ограничиваться анализомъ и объясненіемъ существующихъ явленій, что прикладная наука не можетъ существовать отдѣльно отъ теоретической и что социологія, только изучающая и обобщающая (какъ понималъ ее Спенсеръ), мѣшаетъ существованію практическихъ социальныхъ наукъ, пользующихся добытымъ теоретиками матеріаломъ для приложенія человѣческихъ требованій къ условіямъ дѣйствительной жизни. Отъ изслѣдователя физики никто еще не требовалъ, чтобы онъ одновременно занимался механикою; также точно отъ социолога, занятаго анализомъ явленій, мы не можемъ ждать разработки нашихъ практическихъ идеаловъ и общественныхъ или индивидуальныхъ цѣлей. За этими послѣдними предметами социологъ въ правѣ отослать насъ въ другія науки — къ политикѣ, политической экономіи и юриспруденціи, гдѣ практическіе социальные вопросы имѣютъ свое законное мѣсто. Въ классификаціи Спенсера социологія отнесена къ разряду наукъ теоретическихъ, конкретныхъ; Контъ причислялъ ее даже къ абстрактнымъ наукамъ; но никому еще не приходило въ голову относить ее къ числу наукъ практическихъ. Можно было доказывать, что такая социологія вообще не имѣетъ права на суще-

ствование; но нельзя предъявлять къ ней требованія и ставить ей задачи, совершенно не соответствующія ея основному научному характеру и входящія въ компетенцію прикладныхъ общественныхъ наукъ. Г. Михайловскій полагаетъ, что Спенсеръ въ своей формулѣ органическаго развитія упустилъ изъ виду интересы отдельной человеческой личности, которую ни въ какомъ случаѣ невозможно сравнивать съ клеточками организма; но вмѣсто того, чтобы заключить отсюда объ ошибочности самой теоріи Спенсера и его научныхъ приемовъ въ примѣненіи къ социальнымъ фактамъ, критикъ дѣлаетъ скачокъ въ сторону и отыскиваетъ корень ошибки въ постороннемъ обстоятельстве—въ теоретическомъ, объективномъ характерѣ социологіи вообще. Изъ того, что Спенсеръ ошибался и злоупотреблялъ аналогіями, г. Михайловскій выводитъ одновременно два, противорѣчащія одно другому, заключенія: во-первыхъ, что англійскій мыслитель не стоялъ на высотѣ вполне научнаго объективнаго исслѣдованія и внесъ въ свои разсужденія субъективный элементъ (стр. 139, 165, также 52—3 и др.), и во-вторыхъ, что онъ долженъ былъ бы еще въ большей мѣрѣ руководствоваться субъективнымъ элементомъ и совсѣмъ отказаться отъ научнаго объективизма, для избѣжанія ошибокъ. Критикъ дѣлаетъ затѣмъ слѣдующій силлогизмъ: Спенсеръ хотѣлъ объективно исслѣдовать явленія, но онъ впадалъ при этомъ въ грубыя ошибки; слѣдовательно, необходимо отвестись къ предмету субъективно, и тогда мы избѣгнемъ невѣрныхъ выводовъ.

На этой удивительной теоремѣ построены всѣ дальнѣйшія „соціологическія“ разсужденія г. Михайловскаго. Къ довершенію путаницы, онъ принялъ объективное или субъективное отношеніе къ предмету, т.-е. простую точку зрѣнія, за „методъ“, и серьезнѣйшимъ образомъ взвѣшиваетъ достоинства и недостатки какихъ-то небывалыхъ методовъ—субъективнаго и объективнаго. Астрономъ и химикъ одинаково пользуются „объективнымъ методомъ“, но это не даетъ намъ еще ни малѣйшаго понятія объ ихъ способахъ исслѣдованія; предлагать въ какой-либо наукѣ „субъективный методъ“—это все равно, что не предлагать никакого метода, а предоставить каждому держаться какихъ угодно приемовъ, по личному усмотрѣнію. Еслибы ученые теоретики усвоили себѣ принципъ субъективизма, то никакой науки не было бы; всякій создавалъ бы свою собственную систему, и было бы столько „соціологій“, сколько „соціальныхъ философовъ“. Для г. Михайловскаго элементъ субъективный и элементъ цѣлесообразности—одно и то же, хотя между обоими выраженіями нѣтъ рѣшительно ничего общаго. Субъективное можетъ вовсе не вмѣ-

щать въ себѣ представленія объ опредѣленныхъ цѣляхъ; оно скорѣе касается настроенія, склада ума, и не смислу своему даже противорѣчить идеѣ о цѣляхъ и интересахъ общественныхъ. Съ другой стороны, социальные интересы, какъ увидимъ ниже, могутъ быть опредѣлены вполне объективнымъ способомъ; вспомнимъ принципъ, нѣгѣтъ теперь не отрицаемый, о „наибольшемъ благосостояніи наибольшаго числа людей“ въ государствѣ—принципъ, допускающій вполне объективное примѣненіе, при помощи безстрастной науки чиселъ, статистики, не имѣющей въ себѣ уже абсолютно ничего субъективнаго.

Вслѣдствіе двойного смѣшенія—научныхъ методовъ съ личными точками зрѣнія, и субъективизма съ элементомъ социальной цѣлесообразности,—г. Михайловскій очутился въ безвыходномъ лабиринтѣ „соціологическихъ“ абсурдовъ, которые онъ принимаетъ однако за новыя, открытыя имъ, истины. „Я лично, впрочемъ,—скромно заявляетъ онъ,—чрезвычайно многимъ обязанъ Спенсеру. Я прочиталъ его „Опыты“, когда мои взгляды на задачи, предѣлы и методъ соціологии еще не вполне опредѣлились,—лучше сказать, не сложились въ такой рядъ, который представлялъ бы перспективу, заканчивающуюся истиною (!). Тутъ-то мнѣ и помогъ Спенсеръ. По прочтеніи его опытовъ, мнѣ стало ясно: вотъ какъ не слѣдуетъ обращаться съ соціологическимъ матеріаломъ. Это былъ не просто отрицательный выводъ, еще не дающій ничего положительнаго. Нѣтъ, Спенсеръ стоялъ возлѣ самой истины, такъ сказать, уперся въ нее, но уперся затылкомъ“ и т. д. (т. III, стр. 112—3). Истина досталась почтенному критику безъ особенныхъ затрудненій; стоило только во всемъ поступать обратно Спенсеру, усвоивъ лишь сущность его системы—самую теорію и формулу развитія или „эволюціи“. Спенсеръ ставитъ эволюцію на мѣсто прогресса; г. Михайловскій выдвигаетъ прогрессъ на первый планъ; Спенсеръ говоритъ о развитіи человѣческихъ обществъ; г. Михайловскій говоритъ о развитіи отдѣльныхъ личностей; Спенсеръ не признаетъ субъективнаго элемента въ наукѣ; г. Михайловскій отводитъ ему главное мѣсто; Спенсеръ имѣетъ въ виду то, что есть; г. Михайловскій побѣдоносно противопоставляетъ ему то, что должно быть, по субъективному его мнѣнію. Способъ аргументаціи весьма несложенъ. Спенсеръ дѣлаетъ промахи, и потому объективнымъ неумѣстенъ въ социальной наукѣ. „Такъ какъ въ силѣ ума Спенсера сомнѣваться невозможно,—говоритъ авторъ,—то самъ собою представляется вопросъ: законно ли устраненіе телеологическаго элемента изъ соціологическихъ изслѣдованій, можетъ ли объективный ме-

тогда дать въ социологіи благіе результаты?" Авторъ высказываетъ предположеніе, что „объективный методъ, единственно плодотворный въ естествознаніи, безсиленъ въ социологіи“ (т. IV, стр. 69). И въ то же время, невозможно только „исключительно-объективный методъ“, „какъ невозможно для человѣка безусловная справедливость, какъ невозможно чистое отъ всякихъ тенденцій искусство“ (стр. 169). Ничто, разумѣется, и не гонится за этимъ недоступнымъ человѣку объективизмомъ, и спорить объ этомъ безвозвратно; но это еще не оправдываетъ сознательнаго устраненія объективности въ социальныхъ изслѣдованіяхъ, какъ заключаетъ г. Михайловскій. По его словамъ, „здѣсь незачѣмъ маскироваться объективностью, а должно выяснитъ безъ остатка (!) свою личность, дать себѣ полный отчетъ въ своихъ желаніяхъ, побужденіяхъ и цѣляхъ (хороша наука!). Претензія на объективность можетъ здѣсь только повести къ сбивчивости, именно потому (?), что полная объективность недостижима. Малѣйшее разногласіе между истинными, въ глубинѣ души лежащими, чувствами социолога, его истиннымъ нравственнымъ идеаломъ и обсуждаемыми фактами дѣйствительности, поведетъ все-таки къ открытому примѣненію субъективнаго метода, но примѣненію неудовлетворительному, кастрированному“ (стр. 178).

Поговоривъ о методахъ, не предусмотрѣнныхъ ни въ одномъ курсѣ научной логики, авторъ берется построить самостоятельную теорію прогресса, при помощи того же Спенсера. Г. Михайловскій смѣло извлекаетъ изъ принципа эволюціи такіе выводы, которыхъ, безъ сомнѣнія, ужаснулся бы англійскій мыслитель. „Типъ нормальнаго органическаго развитія, — объясняетъ онъ, — есть, какъ мы видѣли (у Спенсера?), постепенное усложненіе путемъ дифференцированія, т.-е. специализація частей недѣлимаго, органовъ и тканей. Слѣдовательно, патологическимъ развитіемъ будетъ обратное движеніе, т.-е. упрощеніе организма, его интеграція... Такъ какъ недѣлимое представляетъ собою извѣстную ступень органическаго развитія, имѣющую определенное число определенныхъ частей, то физиологическимъ, нормальнымъ состояніемъ недѣлимаго мы называемъ такое, при которомъ всѣ части органа безпрепятственно функціонируютъ, т.-е. каждый органъ исполняетъ свою обязанность. При такомъ нормальномъ состояніи равновѣсія, каждое (??) органическое отправление доставляетъ человѣку наслажденіе. Если же одинъ или нѣсколько органовъ перестаютъ, вслѣдствіе какихъ-нибудь обстоятельствъ, совершать соответствующія отправления, то равновѣсіе нарушается, и мы имѣемъ состояніе патологическое, ненормальное, болѣзненное, сопровож-

дающееся страданіемъ“. При существующей системѣ раздѣленія труда, какъ очень пространно излагаетъ авторъ, люди упражняются только извѣстные органы, въ ущербъ остальнымъ, и потому находятся въ патологическомъ состояніи. „Мы видѣли,— продолжаетъ онъ,— что физиологическое развитіе возможно только при простомъ сотрудничествѣ, и что неизбежный результатъ сотрудничества сложнаго, раздѣленія труда, есть патологическое развитіе и состояніе недѣлимыхъ. Въ простомъ сотрудничествѣ общая цѣль вызываетъ солидарность интересовъ и взаимное пониманіе членовъ общества. Какъ люди равные, находящіеся въ одномъ и томъ же положеніи, имѣющіе одни и тѣ же цѣли, стремленія, мысли и чувства, они не только успѣшно работаютъ, не только не впадаютъ въ патологическое состояніе (!), но, кромѣ того, имѣютъ полную возможность проникнуться жизнью (?) своего товарища, пережить эту жизнь въ самомъ себѣ (?) и относиться къ нему постоянно, какъ къ самому себѣ (невиданная идиллія!). Высочайшій нравственный уровень составляетъ естественный результатъ такого порядка вещей. Не таковы междуличныя отношенія въ обществѣ, построенномъ на принципѣ сложнаго сотрудничества. Не говоря уже о томъ, что члены его находятся въ патологическомъ состояніи (?), вслѣдствіе усиленнаго развитія нѣкоторыхъ органовъ въ ущербъ другимъ, для нихъ общая цѣль постепенно и постоянно отодвигается все дальше и дальше и наконецъ совершенно размѣивается на рядъ частныхъ цѣлей, одна отъ другой совершенно обособленныхъ“ (стр. 111 и 114). Далѣе изображаются извѣстныя всѣмъ вредныя стороны и пагубныя послѣдствія чрезмѣрнаго раздѣленія труда, особенно для рабочаго класса.

Отмѣтимъ здѣсь двѣ существенныя неточности и одинъ оригинальный курьезъ. „Интеграція“ организма могла быть названа патологическимъ развитіемъ только по ошибкѣ, такъ какъ она есть именно процессъ сосредоточенія и образованія цѣлаго, по терминологіи Спенсера; вѣроятно, авторъ хотѣлъ сказать: „деинтеграція“ или распаденіе. Но не въ этомъ дѣло. Если патологическое развитіе опредѣлено какъ „обратное движеніе, т. е. упрощеніе организма“, въ смыслѣ прекращенія извѣстныхъ функций, то „патологическимъ состояніемъ“ будетъ такое, при которомъ извѣстные органы перестаютъ дѣйствовать; авторъ же, незамѣтно для самого себя, замѣнилъ это положеніе другимъ, насколько не вытекающимъ изъ перваго,— что неравномѣрное упражненіе различныхъ органовъ, усиленное употребленіе и развитіе однихъ въ ущербъ другимъ, составляетъ будто бы патологическое



состояніе. Эта неравномѣрность, какъ замѣчаетъ авторъ относительно „моральныхъ силъ“, служить „обильнымъ источникомъ многихъ болѣзненныхъ явленій“ (стр. 113); но сама по себѣ она не есть болѣзнь и можетъ совпадать съ полнымъ здоровьемъ. Вторая неточность состоитъ въ томъ, что дурныя послѣдствія чрезмѣрнаго раздѣленія труда, при нынѣшнемъ экономическомъ строѣ, приволятъ автора къ выводу, совершенно не соответствующему логической послыжѣ,—къ выводу о вредѣ всякаго вообще раздѣленія труда и о патологическомъ состояніи людей при господствѣ этой формы сотрудничества. Въ результатѣ получается нѣчто совсѣмъ неправдоподобное,—что теперь нѣтъ людей вполне развитыхъ въ физиологическомъ отношеніи, а есть только больные, патологическіе субъекты; нѣтъ „цѣлостныхъ индивидуумовъ“, а есть „индивидуумы специализированные“: въ обществѣ, „голова вступаютъ въ союзъ съ головами, руки съ руками, умственные способности съ умственными, капиталъ съ капиталомъ, трудъ съ трудомъ“ и т. д. (стр. 115), „Нецѣлостными“, патологическими субъектами оказываются всѣ, „усвоившіе себѣ извѣстную специальную сферу дѣятельности“ (стр. 121), т.-е. почти всѣ вообще люди въ современномъ культурномъ человѣчествѣ. Авторъ сдѣлалъ блестящую пробу своего субъективнаго метода: онъ выдумалъ особыхъ людей, которыхъ нигдѣ не существуетъ, и ставитъ ихъ въ образецъ дѣйствительнымъ „недѣлимымъ“, какъ ненормальнымъ. Формула прогресса готова: человѣчество должно стремиться усвоить себѣ тѣ черты „цѣлостнаго“ типа, которыя найдены г. Михайловскимъ. Между прочимъ, сверхъ ожиданія, однимъ изъ „великихъ результатовъ“ существовавшего до сихъ поръ „нарушенія индивидуальной цѣлостности и гармоніи отправленій“ является „объективный методъ въ социологіи“ (стр. 135); тѣмъ не менѣе, этому методу будетъ оказано снисхожденіе: онъ не будетъ „совершенно удаленъ“ изъ области социальныхъ изслѣдованій, а только „высшій контроль долженъ здѣсь принадлежать субъективному методу“ (стр. 185),—такъ что контролирующимъ элементомъ будетъ личное вдохновеніе, именно и нуждающееся въ объективномъ научномъ контролѣ.

„Но здѣсь рождается вопросъ,—говорится далѣе:—если объективный методъ не можетъ удовлетворить всѣмъ требованіямъ общественной науки, дать ей верховный принципъ, то какой изъ субъективныхъ принциповъ можетъ быть выбранъ, какъ наилучшій, такъ какъ ихъ можетъ быть представлено нѣсколько?“ Рекомендуя свое собственное рѣшеніе, авторъ, вопреки своему субъективизму, утверждаетъ, что это рѣшеніе „прочно коренится въ

объективной (sic) наукѣ, потому что вытекаетъ изъ точныхъ изслѣдованій законовъ органическаго развитія“ (т.-е. изъ невѣрно понятыхъ положеній Спенсера и изъ ряда ошибокъ, указанныхъ выше).

Въ концѣ своего длиннаго трактата, который, несмотря на свою объемистость (187 стр.), все-таки остается „бѣглымъ“ и „неполнымъ“ по сознанию самого автора, г. Михайловскій торжественно ставитъ дилемму, изъ которой будто бы вытекаетъ окончательное подтвержденіе его „принципа“. Читатель—по его словамъ—имѣетъ предъ собою ясно и просто поставленный вопросъ: могутъ ли быть подведены къ одному знаменателю раздѣленіе труда между недѣлимыми и раздѣленіе труда между органами, какъ полагаетъ Спенсеръ и другіе, или это два явленія, взаимно исключаютіяся, находящіяся въ вѣчномъ и необходимомъ антагонизмѣ, какъ утверждаемъ мы?.. Если правда на нашей сторонѣ,—въ чемъ я такъ же твердо увѣренъ, какъ въ томъ, что держу въ настоящую минуту въ рукѣ перо (!),—остается только приложить предложенный нами принципъ, въ качествѣ соціологической аксіомы, къ рѣшенію частныхъ вопросовъ. На поставленный нами вопросъ: чтѣ такое прогрессъ?—огвѣчаемъ: прогрессъ есть постепенное приближеніе къ цѣлостности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, чтѣ задерживаетъ это движеніе. Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, чтѣ уменьшаетъ разнородность общества, усиливая тѣмъ самымъ разнородность его отдѣльныхъ членовъ“ (стр. 186—7). Какая связь между содержаніемъ „ясно поставленнаго вопроса“ и превращеніемъ посторонняго принципа въ „соціологическую аксіому“—объ этомъ нечего уже и спрашивать. Для всякаго ясно, что теоретическій споръ объ органичности общества не имѣетъ никакого отношенія къ принципу, который устанавливаетъ г. Михайловскій. Можно считать органическую теорію Спенсера совершенно несостоятельною съ научной точки зрѣнія; но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что нужно принять другую, еще болѣе несостоятельную теорію разбираемаго нами автора. Можно согласиться съ мнѣніемъ, что раздѣленіе труда между недѣлимыми способно при извѣстныхъ условіяхъ вредить правильному развитію личностей или, выражаясь языкомъ автора, находится „въ вѣчномъ и необходимомъ антагонизмѣ“ съ раздѣленіемъ труда между органами; но чтѣ общаго между этою мыслью и отрицаніемъ сложнаго сотрудичества во имя какой-то фантастической „цѣлост-

ности" индивидуумовъ? Какимъ же образомъ этотъ послѣдній принципъ превращается вдругъ въ „соціологическую аксіому"? По обыкновенію, выводъ является откуда-то со стороны, независимо отъ логическихъ посылокъ и довазательствъ. „Ясно и просто поставленный вопросъ" оказывается невѣрнымъ и произвольнымъ; рѣшеніе его въ томъ или другомъ смыслѣ не даетъ матеріала ни для какой аксіомы или формулы, въ родѣ придуманной г. Михайловскимъ. Изъ тѣхъ же положеній могутъ быть извлечены разнообразнѣйшія требованія и положенія: можно предложить различныя комбинаціи, при которыхъ раздѣленіе труда не мѣшало бы и даже способствовало бы нормальному развитію людей въ обществѣ; можно возвратиться къ идеямъ Фурье и фантазировать, въ какомъ угодно направленіи, на тему о способахъ избѣгнуть указаннаго выше антагонизма; можно, наконецъ, признать нѣкоторую важность соціальныхъ интересовъ, пренебрегаемыхъ узкими индивидуалистами, и всѣ эти выводы были бы одинаково совместимы съ тѣми аргументами, на которыхъ построено заключеніе г. Михайловскаго.

Самая формула прогресса, предложенная авторомъ, содержитъ въ себѣ цѣлое гнѣздо противорѣчій и недоразумѣній. Она не затрагиваетъ ни одного изъ элементовъ человѣческаго совершенствованія, и гораздо легче примѣнить ее къ явленіямъ регресса, чѣмъ прогресса, въ общепринятомъ смыслѣ этого слова. Мы могли бы сказать такъ: орангутанги—цѣлостныя недѣлимые; органы ихъ функционируютъ равномерно и правильно, сообразно своему естественному назначенію; у нихъ существуетъ „возможно меньшее раздѣленіе труда", и потому они вполне подходятъ подъ опредѣленіе прогресса, данное авторомъ. Точно также подойдетъ подъ эту формулу общество первобытныхъ дикарей, гдѣ каждая личность сохраняетъ свою фізіологическую „цѣлостность", гдѣ нѣтъ раздѣленія труда, а есть только простое сотрудничество, гдѣ готовность „проникаться жизнью" другихъ доходитъ даже до людобдства. Зато къ современнымъ культурнымъ обществамъ эта формула непримѣнима; здѣсь недѣлимые упражняются въ „извѣстныхъ специальныхъ сферахъ дѣятельности" и не только не обнаруживаютъ „постепеннаго приближенія къ цѣлостности", но все болѣе удаляются отъ нея, такъ что никакого прогресса нѣтъ въ европейскомъ человѣчествѣ съ первобытныхъ временъ, а есть только грандіозное, непрерывное „обратное движеніе", соединенное съ всеобщимъ „патологическимъ состояніемъ" людей. Еслибы г. Михайловскій оставилъ теорію прогресса въ сторонѣ и не связалъ бы ее съ разсужде-

ніями о желательности болѣе правильнаго и всесторонняго развитія личностей, то его взгляды могли бы имѣть нѣкоторую цѣнность; но въ настоящемъ своемъ видѣ трактатъ о прогрессѣ не выдерживаетъ даже самой снисходительной критики. Намъ кажется, что „принципъ“ автора имѣлъ лишь значеніе протеста противъ предполагаемаго теоретическаго равнодушія Спенсера къ человѣческой индивидуальности. Еслибы Спенсеръ проповѣдывалъ безусловный индивидуализмъ, г. Михайловскій, по всей вѣроятности, возсталъ бы съ такою же силою во имя принципа общественной солидарности и предложилъ бы, можетъ быть, совсѣмъ другую формулу прогресса. Субъективный „методъ“ выразился бы тогда иначе, въ какой-нибудь столь же случайной доктринѣ.

Въ сущности, авторъ ошибся въ томъ отношеніи, что принялъ Спенсера за противника индивидуальныхъ правъ, тогда какъ Спенсеръ принадлежитъ къ числу самыхъ рѣшительныхъ приверженцевъ индивидуальной и общественной автономіи. Въ этомъ случаѣ Спенсеръ рѣзко расходится съ Контомъ. „Мы стремимся, — говоритъ онъ, — къ такой формѣ общества, при которой правительство будетъ играть возможно меньшую роль, а свобода увеличится въ возможно большей степени;... индивидуальная жизнь будетъ доведена до наибольшаго развитія, какое совмѣстимо съ соціальною жизнью, и послѣдняя не будетъ имѣть другой цѣли, кромѣ сохраненія наиболѣе полнаго простора для личной жизни“. Ссылаясь на свою „Соціальную статью“, онъ замѣчаетъ, что выраженный въ ней „идеаль заключается въ болѣе развитомъ и усиленномъ индивидуализмѣ, а не въ большемъ развитіи націонализма“<sup>1)</sup>). Въ книгѣ о „Личности противъ государства“, разобранной нами въ свое время, онъ также стоитъ на чисто-индивидуалистической точкѣ зрѣнія. Онъ, правда, не отрицаетъ раздѣленія труда и придаетъ этому элементу первостепенную важность въ дѣлѣ развитія человѣческихъ обществъ; но онъ вообще не задавался цѣлью передѣлывать историческій бытъ народовъ и отличалъ соціологію отъ соціальной или экономической политики. Обсуждая данное состояніе общества, независимо отъ хода развитія явленій, онъ высказывалъ нерѣдко самыя симпатичныя и смѣлыя идеи; мы не знаемъ болѣе теплой и краснорѣчивой защиты общественныхъ правъ на землю, чѣмъ въ „Соціальной статьѣ“. Спенсеръ примѣняетъ къ землевладѣнію свой основной нравственный принципъ — принципъ одинаковой свободы всѣхъ людей. „Многіе находятъ, — замѣчаетъ онъ, — что надо искать

<sup>1)</sup> Essays, vol. III, 1878, стр. 72—3 и 77.

условныхъ и ограниченныхъ рѣшеній, избѣгая точныхъ и слишкомъ послѣдовательныхъ выводовъ, — колеблются между *да* и *нѣтъ*, отыскивая противъ всего возраженія. Но въ вопросѣ о поземельной собственности, какъ и въ остальномъ, рѣшеніе морали должно быть точное — или „да“, или „нѣтъ“. Или люди имѣютъ право дѣлать землю предметомъ частной собственности, или не имѣютъ. Тутъ нѣтъ середины. Если они имѣютъ это право, тогда его свѣтлость лордъ Лидсъ вполне справедливо не пускаетъ туристовъ въ свои владѣнія, герцогъ Атоль въ правѣ огораживать Гленъ-Тилтъ, герцогъ Буклей — отказывать въ мѣстѣ для постройки церкви, и герцогъ Сотерландъ — выгонять земледѣльцевъ изъ ихъ жилищъ для очистки земли подъ пастбища для овецъ. Если они имѣютъ это право, тогда основательны притязанія старинныхъ ультра-торіевъ, заявившихъ, что землевладѣльцы суть единственные законные правители страны, что народъ живетъ на землѣ только по соизволенію ея собственниковъ и долженъ поэтому подчиняться ихъ режиму. Если допустить, что вся обитаемая земля была бы распределена такимъ же образомъ, то наша планета попала бы въ руки отдѣльныхъ лицъ, и всѣ не-собственники были бы, въ сущности, бродягами. Помимо позволенія ландлордовъ, они не могли бы имѣть мѣста для своихъ ногъ“. А кто не можетъ жить и дѣйствовать безъ согласія другихъ, тотъ не можетъ быть свободенъ одинаково съ ними. Спенсеръ развивалъ идею о націонализаціи земли въ такое время, когда никто еще не думалъ ни о чемъ подобномъ; практическіе же доводы о правахъ законныхъ пріобрѣтателей земель онъ устраняетъ замѣчаніемъ, что абстрактная теорія не останавливается передъ такими затрудненіями. „Надо имѣть въ виду еще другихъ, кромѣ поземельныхъ собственниковъ. Въ нѣжной заботливости объ интересахъ немногихъ, не забудемъ, что права большинства долго страдали и страдаютъ, пока земля монополизирована отдѣльными лицами. Вспомнимъ, что несправедливость, причиненная этимъ массѣ человѣчества, есть несправедливость самаго тяжелаго свойства. Тотъ фактъ, что она не считается таковою, не имѣетъ значенія. Въ раннія эпохи цивилизаціи даже убійство человѣка есть легкій грѣхъ. Лишать людей права пользоваться землею — значить совершать преступленіе немногимъ меньшее, чѣмъ отнимать у нихъ жизнь или личную свободу“<sup>1)</sup>. Такъ рассуждаетъ холодный Спенсеръ, когда онъ изъ области изуче-

<sup>1)</sup> Social Statics (London, 1868), стр. 131—132, 138 и сл., 142—3. Ср. нашу статью о теоріяхъ поземельной собственности, въ „Вѣстникѣ Европы“, 1883, январь.

нія процессовъ развитія переходить въ сферу вопросовъ о томъ, что должно быть, съ точки зрѣнія человѣческой нравственности и справедливости, и при этомъ онъ руководствуется объективнымъ масштабомъ — принципомъ равной свободы всѣхъ людей, изъ котораго и выводитъ надлежащія логическія послѣдствія. Предположеніе г. Михайловскаго, что человѣческая личность нуждается въ защитѣ отъ теорій Спенсера, производитъ отчасти комическое впечатлѣніе. Авторъ думалъ, что „Соціальная статива“, „безъ всякаго сомнѣнія“ (!), построена на той же аналогіи общества съ организмомъ (стр. 19); въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ, что „для ближайшаго опредѣленія смысла выраженія Спенсера (о справедливости) слѣдуетъ подождать его „Соціальной стативы“ (т.-е. въ русскомъ переводѣ?) (стр. 35); въ концѣ статьи онъ опять повторяетъ, что не можетъ „произнести какое-нибудь общее рѣшеніе на этотъ счетъ, пока въ русскомъ переводѣ не появилось главное сочиненіе Спенсера по соціологии — „Соціальная статива“ (стр. 184). Авторъ такъ и не дождался появленія русскаго перевода, а книга вышла впервые въ 1850 году! При такой зависимости своихъ званій о Спенсерѣ отъ случайныхъ рѣшеній русскихъ издателей и переводчиковъ, авторъ могъ бы быть осторожнѣе въ своихъ сужденіяхъ; но, какъ видно изъ дальнѣйшихъ его статей, онъ серьезно считалъ себя какъ бы побѣдителемъ англійскаго философа, послѣ трактата о прогрессѣ.

Отрицательныя стороны обширной статьи г. Михайловскаго о прогрессѣ <sup>1)</sup> нисколько не исключаютъ признанія ея положи-

<sup>1)</sup> Къ числу недостатковъ, особенно утомительныхъ для читателя, нужно отнести склонность автора къ изобрѣтенію и частому употребленію замисловатыхъ терминовъ, отчасти совсѣмъ невозможныхъ, причемъ даже общеупотребительнымъ словамъ придается иногда какой-то спеціальнй небывалый смыслъ. Приведемъ одинъ образецъ: „за объективно-антропоцентрическимъ періодомъ отсутствія коопераціи и слабыхъ зачатковъ простого сотрудничества, за эксцентрическимъ періодомъ преобладанія раздѣленія труда, слѣдуетъ субъективно-антропоцентрической періодъ господства простого сотрудничества“ (стр. 135). Мы узнаемъ тутъ же, что авторъ „не особенно расположенъ (!) къ эксцентрическому періоду общественнаго развитія“. Въ другомъ мѣстѣ онъ „стаетъ просить у читателя извиненія за употребленіе въ статьѣ по поводу русскихъ уголовныхъ процессовъ (?) выраженія „эксцентрической“ безъ всякихъ объясненій“ (это въ самомъ текстѣ, въ серединѣ изложенія!). „Тамъ, — продолжаетъ онъ, — эти объясненія далеко отделили бы насъ отъ предмета статьи, и мы поневолѣ (?) употребили слова „эксцентрической“ и „метафизической“ почти какъ синонимы“ (sic) (стр. 110). Такъ какъ слово „эксцентрической“ имѣетъ уже свой опредѣленный смыслъ въ разговорномъ и литературномъ языкѣ, то желаніе назвать ему какое-то совсѣмъ другое значеніе, по меньшей мѣрѣ, странно. Спенсеръ, какъ мы видѣли, не рѣшился употребить слово „прогрессъ“ въ смыслъ простой эволюціи, и мы не видимъ основанія, почему наши соціологи должны обнаруживать претензіи,

тельных и несомненных достоинств, доставивших ей в свое время вполне заслуженный успех. Как юношеская работа, она обличала в авторе публицистический талант, смелость критики, большую начитанность в области научной философии и вѣрное понимание социальных вопросов. Къ сожалѣнію, авторъ остановился на этомъ первомъ опытѣ, увѣровалъ въ полную его основательность и не пошелъ дальше; міросозерцаніе, изложенное въ этой работѣ,—говоритъ онъ въ предисловіи къ четвертому тому своихъ сочиненій (въ 1883 году),—„осталось моимъ и доселѣ, не только въ общемъ, а и въ подробностяхъ“ (стр. XI). Большою заслугою автора остается внесеніе серьезныхъ социальныхъ и философскихъ темъ въ журналистику, умѣніе возбудить въ читателяхъ интересъ къ научнымъ задачамъ и сочетать отвлеченные споры съ интересами живой современности. При слабомъ распространении у насъ общихъ научныхъ знаній и при недоступности специальныхъ философскихъ трактатовъ для большинства, весьма многіе заимствовали свои теоретическія свѣденія изъ журнальныхъ статей и вырабатывали по нимъ свои воззрѣнія и идеалы, и въ ряду этихъ посредниковъ между наукой и публикой видное мѣсто занималъ г. Михайловскій. Вліяніе журналистики въ этомъ направленіи было благотворно уже тѣмъ, что она будила мысль читателя, знакомила его съ поучительными научными фактами и теоріями, и въ то же время давала ему руководящіе взгляды на главнѣйшіе вопросы общественной жизни. Общій характеръ воззрѣній, проводимыхъ въ статьяхъ о прогрессѣ, вполне симпатиченъ; авторъ вооружается противъ раздѣленія общества на классы, стоитъ за полное равенство людей и за одинаковое удовлетвореніе всѣхъ человѣческихъ потребностей, защищаетъ точку зрѣнія справедливости въ социальныхъ отношеніяхъ и старается вызвать хорошія чувства въ читателѣ. Идеи сами по себѣ весьма новы и даже очень стары, но проповѣдовать ихъ всегда полезно, въ той или другой формѣ. Между прочимъ, г. Михайловскій далъ зачатки ученія, которое позднѣе развилъ и пытался примѣнить гр. Левъ Толстой,—объ упрощеніи нашего быта, объ отказѣ отъ удобствъ раздѣленія труда и о совмѣщеніи всѣхъ специальностей въ каждомъ человѣкѣ, для равномернаго упражненія нашихъ органовъ и способностей. Но во всемъ этомъ социологія, какъ наука, рѣшительно не при чемъ; смѣшеніе ея съ публицистикою и поли-

которая считала неумѣстными знаменитый ихъ учитель. Замѣтимъ еще, что г. Михайловскій и другіе постоянно говорятъ о „дифференцірованіяхъ“ (вмѣсто „дифференціаціи“, какъ въ оригиналѣ),—вѣроятно только потому, что первые переводчики Свенсера передали въ такой неудачной формѣ слово „differentiation“.

тивною могло привести только въ нелѣпой путаницѣ, которая, къ удивленію, упорно держится до сихъ поръ въ нашей соціологической литературѣ <sup>1)</sup>).

Въ дальнѣйшихъ статьяхъ г. Михайловскаго по занимающему насъ предмету, нападки на Спенсера и разговоры о соціологіи принимаютъ уже характеръ крайне развязной, самоувѣренной и поверхностной полемики. Авторъ иронически отзывается объ „умномъ, ученомъ и остроумномъ Спенсерѣ“, который, по его словамъ, „писалъ довольно много по соціологіи“, и „все, имъ въ этой области написанное (за исключеніемъ одного очерка въ „Основахъ біологіи“), полно самыхъ грубыхъ, азбучныхъ, для любого профана очевидныхъ ошибокъ“ (т. III, стр. 112). Книга Спенсера объ изученіи соціологіи, „несмотря на умъ, ученость и остроуміе автора, не стоитъ мѣднаго гроша“ (стр. 119). Спенсеръ высказалъ между прочимъ, что „нѣтъ необходимости желать, чтобы при нынѣшнемъ среднемъ уровнѣ челоѳической природы распространялись въ массахъ идеи, которыя естественны только при болѣе высокомъ развитіи общества и при болѣе высокомъ типѣ гражданъ, сопровождающемъ такое общественное состояніе“. Приведя эту цитату, г. Михайловскій извлекаетъ изъ нея мнѣніе „мистера“ Спенсера о томъ, что „истина ненужна, бесполезна и даже вредна, а заблужденіе напротивъ нужно и полезно“ (стр. 121). Такой первобытный полемическій приѣмъ, состоящій въ приписываніи противнику нелѣпостей, нигдѣ имъ не высказанныхъ и прямо противорѣчащихъ всѣмъ его взглядамъ, не оправдывается

<sup>1)</sup> Въ серьезномъ и интересномъ трудѣ проф. Карѣва объ „Основныхъ вопросахъ философіи исторіи“ мы находимъ отраженіе этихъ журнальныхъ вліяній: авторъ повторяетъ главныя погрѣшности г. Михайловскаго, трактатъ котораго о прогрессѣ онъ называетъ „очень хорошимъ“ (т. 2, стр. 212, изд. 1887 г.) Г. Карѣвъ придаетъ большое значеніе бесплодному спору о субъективномъ и объективномъ въ соціологіи. „Теперь намъ говорятъ,—замѣчаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ:—прочъ съ субъективизмомъ, ему нѣтъ мѣста въ наукѣ! Вопросъ поставленъ ребромъ. Въ другихъ странахъ не поняли (!) всей важности этого вопроса; субъективисты и объективисты остались каждый при своемъ, отдѣлавшись только самыми общими фразами въ свою защиту. Въ Россіи дѣло дошло до литературной полемики на страницахъ нѣкоторыхъ нашихъ журналовъ. Можно даже поставить въ заслугу русскимъ писателямъ то, что они принципиально подняли этотъ вопросъ, имѣющій дѣйствительно громадное значеніе во всѣхъ наукахъ, изучающихъ внутренняго, духовнаго челоѳека“ (т. I, стр. 152—3). Почтенный авторъ, по крайней мѣрѣ, не смѣшиваетъ субъективизма и объективизма съ „методами“ изслѣдованія; но, доѳивившись субъективной точкѣ зрѣнія, онъ выработалъ свою собственную соціологическую теорію, которая, какъ все субъективное, остается въ сторонѣ отъ науки. Число такихъ теорій можетъ увеличиваться до безконечности, и объемъ нашихъ знаній не подвинется отъ нихъ ни на шагъ. Подробный разборъ книги г. Карѣва см. въ „Вѣстникѣ Европы“, 1883, ноябрь, стр. 258—282.



даже „субъективнымъ методомъ“, котораго придерживается авторъ. Нѣсколькими страницами дальше, полемизируя съ однимъ оппонентомъ, обвинявшимъ его въ томъ же самомъ, въ чемъ онъ такъ произвольно обвинялъ Спенсера, г. Михайловскій находитъ уже, что „измышленная имъ (оппонентомъ) фантазія о нежелательности истины, по крайней своей нелѣпости, не стоила бы опроверженія“ (стр. 144). Казалось бы, что еще болѣе нелѣпо приписывать Спенсеру бессмыслицу, которую критикъ считаетъ недостойною въ примѣненіи къ себѣ. Скучно было бы слѣдить за сбивчивымъ и во многихъ отношеніяхъ курьезнымъ споромъ г. Михайловскаго съ г. Южаковымъ, авторомъ довольно дѣльныхъ соціологическихъ опытовъ въ „Знаніи“ (въ началѣ семидесятыхъ годовъ); но нельзя не отмѣтить забавныхъ особенностей этого спора о методахъ. Нашъ авторъ не только не можетъ отличить теоретической науки отъ прикладной, но даже какъ будто не подозреваетъ о существованіи этого разграниченія; рѣчь идетъ объ изученіи извѣстнаго разряда явленій, а онъ тотчасъ же примѣшиваетъ вопросъ о желательности переменъ въ изучаемыхъ фактахъ и обязываетъ науку прежде всего имѣть въ виду эти практическія задачи. А для того, чтобы правильно поставить эти задачи и понять способы ихъ осуществленія, именно и нужно предварительное теоретическое изученіе, выясняющее условія и причины явленій, какъ они происходятъ въ дѣйствительности. Этой простой элементарной вещи никакъ не можетъ усвоить себѣ г. Михайловскій. Онъ все болѣе запутывается въ софизмахъ, прикрывая ихъ неидущими въ дѣлу анекдотами и рѣзкостями; онъ говоритъ о соціологахъ „болѣе или менѣе тупоумныхъ“ и придумалъ даже кличку „нелѣпологовъ“, а самъ употребляетъ аргументы неизмѣнно остроумные и убѣдительные, въ такомъ родѣ: „я желаю съѣсть кусокъ ростбифа; мои понятія о ростбифѣ могутъ быть истинны или ложны, но самъ ростбифъ не есть ни истина, ни ложь; онъ не имѣетъ никакого отношенія къ категоріи истиннаго, несоизмѣримъ съ истиной; онъ желателенъ въ качествѣ питательнаго и вкуснаго, а не въ качествѣ истиннаго“ и т. д. (стр. 141). Такими разсужденіями, которыя сдѣлали бы честь знаменитому Кузьмѣ Пруткову, переполнены „соціологическія“ замѣчанія и доводы г. Михайловскаго. Онъ полагаетъ, что съ точки зрѣнія изслѣдователей-теоретиковъ, „разъ выясненъ какой-нибудь соціологическій процессъ, желать измененія его было бы безумно и недостойно человѣка науки“; послѣдній „долженъ принимать истину и здѣсь съ такими же распростертыми объятіями, какъ въ механикѣ или химіи; одобрять или не одобрять какой-нибудь поря-

докъ вещей, прилагать къ нему мѣрку нравственнаго суда, по малой мѣрѣ бесполезно и во всякомъ случаѣ ненаучно, ибо объ этомъ порядкѣ вещей наука только и можетъ сказать, что онъ порожденъ извѣстными причинами и даетъ извѣстныя послѣдствія“. Кто и когда связывалъ изученіе фактовъ съ нежеланіемъ измѣнить ихъ—неизвѣстно; но если подобные абсурды и высказывались въ ученой литературѣ, то смѣшно дѣлать изъ нихъ выводы о наукѣ вообще. Авторъ могъ бы легко опровергнуть эти безпокоющія его абсурды указаніемъ на тѣхъ же физиковъ и химиковъ, которые, занимаясь объективнымъ изученіемъ явленій, даютъ необходимый научный матеріалъ для приспособленія фактовъ природы къ нашимъ потребностямъ. Мыслимо ли говорить о несовмѣстности объективной науки съ желаніемъ перемѣнъ, когда на каждомъ шагѣ мы видимъ осязательные результаты теоретическихъ изученій, въ новыхъ искусственныхъ комбинаціяхъ естественныхъ силъ, въ разнообразныхъ примѣненіяхъ пара и электричества? Если въ естественныхъ наукахъ техническія цѣли не мѣшаютъ научнымъ, а только слѣдуютъ за ними и опираются на нихъ, то почему понадобилось совмѣщеніе обѣихъ разнородныхъ задачъ въ социологіи?

Спорить объ участіи субъективнаго элемента въ социальныхъ наукахъ и возводить этотъ элементъ на степень главнаго социологическаго „метода“ — значитъ заниматься чистѣйшею схоластикой и забывать всю исторію социальныхъ наукъ въ новѣйшее время. Пока философы и экономисты довольствовались субъективною оцѣнкою явленій, они создавали множество разнорѣчивыхъ теорій и не могли оказывать прочнаго вліянія на жизнь; политическая наука стала дѣйствительно и существенно вліять на улучшение государственныхъ формъ только съ тѣхъ поръ, какъ она приняла характеръ объективный въ положеніяхъ и выводахъ Монтескье, построенныхъ на анализѣ громаднаго историческаго и общественно-психологическаго матеріала. Пока экономисты рассуждали субъективно, они были безсильны, и политическая экономія представляла обширное поле безконечныхъ и непримиримыхъ разногласій; англійскій банкиръ Рикардъ приступилъ къ объективному изученію, при помощи строго-логическихъ приѣмовъ математики, и онъ выработалъ рядъ теоремъ, которыя своею объективною убѣдительною содѣйствовали водворенію единства во взглядахъ экономистовъ и мало-по-малу вошли во всѣ учебники политической экономіи. Рикардо, по своему общественному положенію и по своей финансовой спеціальности, не могъ имѣть и не имѣлъ въ виду защиту интере-

совъ рабочаго класса; но своимъ вполне объективнымъ анализомъ явленій цѣнности, труда и капитала онъ оказалъ неизмѣримо большую услугу рабочему классу, чѣмъ всѣ субъективные защитники рабочихъ въ совокупности. Примѣръ Рикардо можетъ служить также отвѣтомъ на то наивное мнѣніе, что успѣшно заниматься социальными изслѣдованіями могутъ будто бы только люди, стоящіе на уровнѣ извѣстныхъ нравственныхъ идеаловъ, которые и выражаются въ ихъ трудахъ; Рикардо не раздѣлялъ социалистическихъ воззрѣній и относился къ нимъ враждебно, а между тѣмъ доставилъ имъ могущественную поддержку, благодаря своему безстрастному и плодотворному аналитическому методу. Карлъ Марксъ не имѣлъ бы серьезнаго значенія, какъ экономистъ, еслибы онъ ограничился ролью субъективнаго теоретика и проповѣдника; но онъ пытался продолжать дѣло Рикардо и дополнилъ его теорію цѣнности дальнѣйшимъ объективнымъ анализомъ, и его книга о „Капиталѣ“ приобрѣла не только теоретическую, но и громадную практическую важность. Опираясь на англійскихъ экономистовъ, Лассаль могъ говорить о союзѣ отвлеченной науки съ рабочимъ классомъ, хотя сами эти экономисты-классики навлекали на себя упреки въ бездушіи и жестокости относительно трудящихся массъ. Теоріи, полученныя объективнымъ путемъ представителями торгово-промышленнаго направленія въ политической экономіи, дали сильнѣйшее оружіе теоретикамъ социализма и замѣнили прежнія ихъ бесплодныя субъективныя построенія вѣскими научными положеніями, которыя не поддаются уже легкой отрицательной полемикѣ и завоевываютъ себѣ признаніе среди сторонниковъ существующаго экономическаго строя. Только объективныя доказательства, основанныя на анализѣ фактовъ, обладаютъ тою силою убѣдительности, которая заставляетъ всѣхъ одинаково преклоняться предъ авторитетомъ научнаго знанія.

При всемъ нежеланіи нашемъ вдаваться въ дальнѣйшій разборъ схоластическихъ упражненій г. Михайловскаго, мы должны возвратиться къ нимъ, чтобы довести дѣло до конца. Сказанное выше освобождаетъ насъ отъ необходимости прибавлять еще какіе-либо комментаріи относительно мнимаго субъективнаго метода; достаточно будетъ привести наиболѣе характерныя замѣчанія нашего автора. Г. Михайловскій убѣжденъ, что „исключительно-объективный методъ въ социологіи невозможенъ и никогда никѣмъ не примѣняется“ (стр. 147); и мы въ этомъ убѣждены, но не видимъ никакого разумнаго смысла въ исканіи таковой исключительности, которая невозможна, и еще менѣе смысла имѣетъ дѣлаемое отсюда заключеніе, что нуженъ методъ противоположный, субъективный. Послѣ долгихъ толькованій о методахъ,

авторъ вспоминаетъ, что „пора, однако, спросить: чтѣ такое методъ?“ Методомъ, отвѣчаетъ онъ, „называется совокупность приѣмовъ, помощью которыхъ находится истина или, чтѣ тоже (?), удовлетворяется познавательная потребность человѣка“... „Гдѣ для проверки изслѣдованія требуется извѣстная восприимчивость къ природѣ явленій, тамъ употребляется методъ субъективный... Но тамъ, гдѣ нельзя (sic) примѣнять объективнаго метода, методъ субъективный, несмотря на всѣ свои трудности, долженъ быть примѣняемъ (если только тамъ, гдѣ нельзя пользоваться другимъ методомъ, то нѣтъ никакого вопроса, — ибо о невозможностяхъ не спорять). Онъ нисколько не обязываетъ отворачиваться отъ общеобязательныхъ формъ мышленія (еще бы!), потому что онъ по характеру своему противоположенъ только объективному методу, а не индукціи и дедукціи, не опыту и наблюденію (т.-е. онъ вовсе не методъ). Совершенно также индуктивный методъ, по характеру своему, противоположенъ дедуктивному, но не исключаетъ ни опыта, ни наблюденія, ни умозрѣнія (индукція именно и вмѣщаетъ въ себѣ и опытъ, и наблюденіе, и умозрѣніе). Далѣе, субъективный и объективный методы противоположны только по характеру; но ничто не мѣшаетъ имъ уживаться мирно рядомъ даже въ примѣненіи къ одному и тому же кругу явленій“ (т.-е. не требуется уже господство субъективнаго метода?). Очевидно, все это одинъ наборъ словъ, или ничего не выражающихъ, или выражающихъ нѣчто вовсе безсодержательное. „Субъективнымъ методомъ, — говорится далѣе, — называется такой способъ удовлетворенія познавательной потребности, когда наблюдатель ставитъ себя мысленно въ положеніе наблюдаемаго“. Такъ, напримеръ, чтобы изучить состояніе поселянъ Меклембурга и Ирландіи, „нужно мысленно поставить себя на ихъ мѣсто и претерпѣть все претерпѣнное ими. Это можетъ сдѣлать не всякій, знающій ариметику и географію, и проверить весь процессъ изслѣдованія, приведшій автора къ данному выводу, можетъ только человѣкъ извѣстнаго нравственнаго склада, способный принять къ собственной персонѣ положеніе ирландцевъ и меклембуржцевъ“. Такъ какъ для этого нужно имѣть только доброе сердце и нѣкоторую долю воображенія, то изучить и понять вопросъ объ ирландскомъ крестьянствѣ можетъ всякій чувствительный человѣкъ, даже не знающій ариметики и географіи. Вмѣсто вопроса о методѣ изслѣдованія, выдвинуто тутъ нѣчто совсѣмъ постороннее. Какъ бы ни сочувствовали мы извѣстному классу общества, это сочувствіе не замѣнитъ для насъ научнаго изученія историческихъ судебъ и условій развитія этого класса, и вопросъ о методѣ есть именно вопросъ о способахъ и приѣмахъ такого

объективнаго изслѣдованія интересующихъ насъ явленій. Наши симпатіи, общественные идеалы и стремленія опредѣляютъ для насъ выборъ предмета изученія; наши сочувствія могутъ оживить нашу работу и внести извѣстный тонъ въ наше изложеніе, но эти нравственные мотивы не дадутъ намъ абсолютно никакихъ указаній, какого пути держаться для полнаго и всесторонняго выясненія фактовъ, для правильнаго анализа и обобщенія ихъ, для избѣжанія промаховъ и ошибокъ, могущихъ лишить нашу трудъ всякой цѣнности. Эта дѣйствительная сущность вопроса о методѣ остается внѣ полемики г. Михайловскаго о методахъ социологіи. Защищая свой субъективизмъ, авторъ ставитъ себѣ естественный вопросъ: „какъ можетъ быть построена социологія, если огромная доля ея истинъ по своей субъективности можетъ быть правомѣрно признана однимъ изслѣдователемъ и отвергнута другимъ?“ То, что высказывается по этому поводу, можетъ быть выражено въ нѣсколькихъ словахъ: общественныя понятія совпадаютъ для г. Михайловскаго съ „соціологическими“, всякая граница между наукою и практикою исчезаетъ, или, вѣрнѣе сказать, существуетъ только послѣдняя. Въ обществѣ неизбѣжны различныя и даже противоположныя теченія и требованія; потому и социологія будетъ состоять изъ противорѣчій. Нѣкоторыя выраженія автора невольно вызываютъ подозрѣніе, что подъ социологіею онъ разумѣетъ просто совокупность ходячихъ общественныхъ понятій, представленій и симпатій (см. особенно стр. 156 и слѣд.). Тогда становится понятнымъ и его субъективный методъ, и требованіе нравственной восприимчивости, и вопросъ о сочувствіяхъ, и непониманіе изученія безъ непосредственныхъ практическихъ задачъ. Дѣло идетъ просто о выработкѣ извѣстнаго общественнаго міросозерцанія для хорошихъ людей, которые, по терминологіи г. Михайловскаго, будутъ всѣ „соціологами“; усвоивъ себѣ надлежащія нравственные начала, они легко ступаютъ, безъ всякихъ методовъ, отличить желательное отъ нежелательнаго, и съ этой точки зрѣнія совершенно понятно, что для нихъ книги Спенсера, какъ и вообще попытки объективныхъ изслѣдованій, „не стоятъ мѣднаго гроша“.

Споръ о методахъ, веденный подобнымъ образомъ, имѣлъ самую неожиданную развязку: противникъ г. Михайловскаго, возразившій ему довольно основательно, призналъ себя побѣжденнымъ и печатно объявилъ его „первымъ“ мыслителемъ въ Европѣ въ области общественной философіи. Выводъ—столь же логическій, какъ и все остальное въ этомъ баснословномъ спорѣ.

Остается еще сказать весьма немногое, по поводу послѣдней „соціологической“ работы г. Михайловскаго—о „Герояхъ и толпѣ“.

Написавъ около десяти печатныхъ листовъ на эту интересную тему, авторъ не успѣлъ досказать своей мысли, которая такъ и осталась тайною для публики. Онъ самъ признаетъ свою попытку „очень бѣглою и уже потому неудовлетворительною, да вдобавокъ и неконченною“ (т. VI, стр. 396), хотя въ такомъ количествѣ печатной бумаги можно было бы вмѣстить цѣлый, не очень бѣглый курсъ социологіи въ современномъ ея видѣ. Заключительная фраза книги имѣетъ, по обыкновенію, таинственный смыслъ, намекая на какое-то невѣдомое оправданіе несостоятельности предпринятаго труда: „за дальнѣйшими поисками разгадки нашей задачи намъ пришлось бы сдѣлать довольно большое отступленіе въ совсѣмъ другія научныя сферы“ (стр. 452). Трудъ этотъ особенно интересенъ по своему характеру и исполненію, какъ опытъ провѣрки изложенныхъ выше понятій г. Михайловскаго о методѣ. Не только никакого „слѣда субъективнаго метода“ не находимъ мы въ этихъ статьяхъ, а напротивъ мы видимъ стремленіе отнестись къ предмету вполне объективно, до нелѣпости: всѣ приемы Спенсера, его манера набирать побольше разнородныхъ фактовъ для сравненій и параллелей, его способъ изложенія и доказательства, скопированы въ крайне каррикатурномъ видѣ,—очевидно для окончательнаго убѣжденія читателей въ негодности „объективнаго метода“ Спенсера въ социологіи. О толпѣ и герояхъ говорится мало и сбивчиво; зато подробно разсказывается о насѣкомыхъ, усвоивающихъ себѣ цвѣтъ окружающей обстановки изъ подражанія, — о „бабочкахъ-геликонидахъ“ и подражающихъ имъ „лепталисахъ“, о подражательныхъ страданіяхъ Луизы Латд, объ эпидеміяхъ самоубійствъ, объ исторіи цеховъ въ средніе вѣка и о многихъ другихъ поучительныхъ вещахъ, собранныхъ вмѣстѣ безъ малѣйшаго подобія внутренней связи и системы. Повидимому, авторъ хотѣлъ доказать, что вліяніе героевъ на толпу имѣетъ свой корень въ склонности всѣхъ вообще существъ къ подражанію. Чтобы дойти до этого вывода, онъ въ самомъ началѣ измѣняетъ весь смыслъ своей темы, предлагая почему-то понимать слово „герой“ въ какомъ-то небываломъ и совершенно неправдоподобномъ условномъ значеніи. Приведа изъ „Войны и мира“ гр. Льва Толстаго извѣстную сцену убійства Верещагина возбужденною толпою, авторъ, къ полному нашему недоумѣнію, признаетъ героемъ и виновникомъ трагедіи не Ростопчина, а перваго исполнителя его приказа. „Истинный герой происшествія, — поясняетъ онъ, — есть тотъ солдатъ, который вдругъ, съ исказившимся отъ злобы лицомъ, первый ударилъ Верещагина“, такъ какъ „его ударъ сдѣлалъ то, чего не могли сдѣлать патриотическіе возгласы Ростопчина“, т.-е. побудилъ толпу убить

человѣка. Но самый ударъ солдата былъ вѣдь только послѣдствіемъ прямого приказанія начальника, которому солдатъ обязанъ былъ повиноваться; объ этомъ простомъ обстоятельствѣ забываетъ авторъ, — быть можетъ, преднамѣренно, чтобы можно было подвести попавшійся фактъ подъ заранѣе придуманную теорію подражанія. Толпа послѣдовала примѣру солдата и не имѣла возможности подражать устроителю событія, Ростопчину, дѣйствовавшему лишь своимъ властнымъ голосомъ; поэтому надо зачислить въ герои солдата, а не Ростопчина. Съ такимъ оригинальнымъ методомъ нельзя было не дойти до меланхолическаго рѣшенія сослаться на „совсѣмъ другія научныя сферы“. Самъ г. Михайловскій замѣтилъ, что онъ говоритъ вовсе не о герояхъ и толпѣ, а о чемъ-то иномъ; забавный приемъ замѣны одного предмета другимъ, посредствомъ истолкованія даннаго слова въ чуждомъ ему смыслѣ, составляетъ вообще любопытный литературно-психологическій курьезъ, для разгадки котораго намъ тоже пришлось бы, вѣроятно, перейти въ „совсѣмъ другія (не научныя) сферы“. Авторъ бросилъ какъ будто, на полдорогѣ, свою теорію подражанія, непримѣнимую къ фактамъ воздѣйствія героевъ на толпу; онъ пробуетъ примѣнить поочередно другія точки зрѣнія, говоритъ о гипнотизмѣ, пространно излагаетъ случаи нравственной эпидеміи и наконецъ объясняетъ склонность толпы къ подчиненію „исключительно двумя факторами: особеннымъ настроеніемъ толпы, подготовляющимъ жажду подчиненія, и особенными чертами характера героя, придающими ему подавляющую обязательность“ (какъ это похоже на солдата въ сценѣ Льва Толстого!). Объяснивъ подчиненіе—подчиненіемъ, авторъ не могъ удовлетвориться такимъ печальнымъ результатомъ; онъ добросовѣстно назвалъ свое чрезвычайно длинное и обстоятельное изслѣдованіе „очень бѣглымъ и уже потому (едва ли потому!) неудовлетворительнымъ“, но зато „вполнѣ одинокимъ“, по важности и неразработанности предмета, не только въ русской литературѣ, но и въ Европѣ (стр. 396). Въ предисловіи къ четвертому тому, почтенный авторъ скромно сравниваетъ себя съ философомъ Дидро, который однажды „потерялъ ключъ“ къ пониманію своихъ старыхъ сочиненій. Мы считаемъ себя въ правѣ предположить, что критикъ и публицистъ не имѣлъ вовсе никакого ключа отъ своей „соціальной філософіи“, такъ какъ вся его соціологія есть одно сплошное недоразумѣніе.

Л. Слонимскій.



---

# В. Я. СТОЮНИНЪ

БЮГРАФИЧЕСКІЙ ОЦВРЪЗЪ.

---

„Каждый человекъ обязанъ по силамъ служить человечеству, но талантъ — по преимуществу: кому больше дано, съ того больше и спросится. И если достоинъ упрека каждый смертный, забывшій свое настоящее назначеніе для эгоистической жизни, то тѣмъ горшій упрекъ заслуживаетъ талантъ, презрѣвшій и растратившій попусту свои силы: не ему ли выпало на долю — пробуждать лучшую сторону человека, внушать ему высшія стремленія, отрывать его отъ житейскаго праха, наслаждаться и тѣмъ самымъ облегчать ему путь жизни, часто весьма трудный? Не исполнить всего этого есть уже грѣхъ; какъ грѣхъ онъ будетъ и судиться!“

Этимъ грѣхомъ не грѣшенъ покойный В. Я. Стоюнинъ, почти въ началѣ своей дѣятельности высказавшій въ одной статьѣ приведенныя слова и оставшійся вѣрнымъ до конца жизни прекрасному завѣту, выраженному въ нихъ. Онъ отдалъ свои силы и дарованія преимущественно тому дѣлу, основная задача котораго — пробуждать лучшія стороны человека и внушать ему высокія стремленія, — дѣлу педагогическому. Понимая это дѣло въ его высшемъ идеальномъ смыслѣ, онъ служилъ ему всею душою съ первыхъ шаговъ своей самостоятельной дѣятельности и до послѣднихъ дней своихъ. Онъ, кажется, и не понималъ жизни внѣ работы, озаренной научнымъ свѣтомъ, направленной на пользу общую. Потому-то и жизнь его тѣсно сливается съ его трудами, и труды эти такъ полны жизни; потому-то и личность, и дѣятельность его, заключаютъ въ себѣ много свѣтлаго и поучительнаго.

В. Я. Стоюнинъ родился въ 1826-мъ году въ купеческой



семьѣ. Отецъ его велъ свой родъ отъ костромскаго крестьянина, о которомъ сохранилось въ семьѣ преданіе, будто во время по-пальной болѣзни онъ одинъ остался живъ въ своей поголовно вымершей деревнѣ, — *устоялъ*, и потому получилъ прозвище *Стоюнкъ*, а отсюда и фамилія Стоюниныхъ.

Отецъ В. Я. Стоюнина, сначала очень достаточный купецъ, въ послѣдніе годы своей жизни разорился, довѣривъ почти всѣ капиталы свои товарищу, который обманулъ его. Жизнь непривѣтливо встрѣтила Владимира Яковлевича уже въ раннемъ возрастѣ. Суровая тишина и строгость степенной купеческой семьи стараго закала, да вдобавокъ еще разорившейся въ ту пору, когда Стоюнинъ достигъ того дѣтскаго возраста, въ которомъ жизненные впечатлѣнія хотя еще полубезсознательно, но сильно ложатся на душу, — безъ сомнѣнія, должны были отпечатлѣться на его характерѣ. Быть можетъ, нѣкоторая замкнутость, несловохотливость, которыми отличался юноша, особенно въ средѣ мало-знакомыхъ ему людей, отсюда ведутъ свое начало. Это тѣмъ вѣроятнѣе, что онъ не былъ любимымъ ребенкомъ въ семьѣ (у него было двѣ сестры и два брата). Мало любимыя дѣти, рѣдко имѣя поводы высказывать свои мысли и чувства, какъ извѣстно, уходятъ больше въ себя, становятся мало-общительными, но зато болѣе вдумчивыми и глубже чувствующими. Умъ и чувство у нихъ, не расходясь вширь, пробиваютъ себѣ путь вглубь.

Стоюнинъ началъ учиться въ анненской школѣ, въ которой прошелъ приготовительный и 1-й классъ, а затѣмъ его отдали въ 3-ю с.-петербургскую гимназію во 2-й классъ приходящимъ ученикомъ. Этому заведенію онъ и обязанъ своимъ среднимъ образованіемъ. Здѣсь уже проявились его склонности къ литературнымъ занятіямъ; онъ очень любилъ писать стихи, которые ему въ старшихъ классахъ нерѣдко очень удавались. По отзывамъ его товарищей, которые съ уваженіемъ смотрѣли на его литературныя дарованія, онъ всегда выказывалъ особенное расположеніе къ словесности, исторіи и языкамъ древнимъ и новымъ. Къ сожалѣнію, среди учителей гимназіи въ ту пору почти не было такихъ, которые могли бы увлекать учениковъ своимъ преподаваніемъ и оказывать сильное и благотворное вліяніе; но все же были преподаватели, которые сами усердно и честно трудились и своихъ учениковъ приучали къ тому же. Учитель русской словесности А. С. Власовъ, по словамъ одного изъ товарищей Стоюнина, — человѣкъ знающій и дѣльный, хотя не умѣвшій ни приноровиться къ ученикамъ, ни сколько-нибудь увлечь ихъ своимъ предметомъ, былъ полезенъ для тѣхъ, которые имѣли

особенную склонность къ литературѣ. Власовъ нерѣдко читалъ въ классѣ литературныя произведенія. При немъ даже устраивались вечернія бесѣды, на которыхъ ученики читали свои сочиненія въ присутствіи товарищей, принимавшихъ потомъ участіе въ разборѣ. Стоюнинъ принималъ дѣятельное участіе въ этихъ бесѣдахъ и какъ авторъ, и какъ критикъ. Въ старшихъ классахъ онъ уже выдѣлялся своею начитанностью. Литературныя вечера, впрочемъ, продержались въ гимназіи почему-то не долго. Могъ имѣть также нѣкоторое вліяніе на учениковъ учитель нѣмецкаго языка—Свенске, хорошо владѣвшій русскимъ языкомъ и читавшій въ старшемъ классѣ „Картины природы“ А. Гумбольдта, объясняя ихъ довольно интересно для учениковъ.

Самъ Стоюнинъ сохранилъ болѣе теплое воспоминаніе о тогдѣшнемъ директорѣ гимназіи Федорѣ Ивановичѣ Буссе, о которомъ онъ впослѣдствіи отзывался какъ о хорошемъ педагогѣ, но который, къ сожалѣнію, не могъ проявить своихъ качествъ во всей полнотѣ. „Онъ былъ педагогъ въ душѣ,—читаемъ въ рѣчи Стоюнина, сказанной имъ на юбилейномъ обѣдѣ 3-й гимназіи въ 1873-мъ году,—онъ вѣрилъ въ силу педагогическаго воспитанія, онъ хорошо зналъ природу воспитываемыхъ юношей, но, къ сожалѣнію, онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые являются не въ то время, когда дѣятельность ихъ могла бы приносить видныя для всѣхъ плоды. Онъ явился во главѣ обширнаго учебнаго заведенія въ то время, когда не педагогическихъ качествъ и достоинствъ требовали отъ педагога-начальника, а умѣнья держать всѣхъ въ ежовыхъ рукавицахъ; когда въ воспитательномъ дѣлѣ руководствовались не какими-либо высокими идеалами, а какими-то угрожающими призраками, сообразно съ которыми и дрессировали дѣтей и юношей“.

Въ 1846-мъ году Стоюнинъ, окончивъ гимназическій курсъ, поступаетъ въ университетъ на восточный факультетъ. Почему именно этому факультету отдается предпочтеніе, это объясняетъ онъ самъ въ своихъ начатыхъ, но, къ сожалѣнію, на первыхъ же страницахъ прерванныхъ запискахъ. Приводимъ отсюда выдержку, не только объясняющую указанный фактъ, но и характеризующую юношескіе взгляды Стоюнина на жизнь. „Поступая на восточный факультетъ,—пишетъ онъ,—я мечталъ о службѣ въ Персіи или Турціи при нашемъ посольствѣ. Служба эта рисовалась мнѣ въ привлекательныхъ чертахъ. Востокъ манилъ меня къ себѣ. Въ ранней юности я любилъ жить воображеніемъ, отдаваться мечтательности. Литературный романтизмъ имѣлъ на меня вліяніе, сдѣлалъ меня чуть не поэтомъ, по крайней мѣрѣ

стихотворцемъ, а сухая окружающая меня дѣйствительность навела уныніе или раздраженіе. Обыкновенная дорога молодому человѣку, кончившему курсъ въ гимназіи—идти въ университетъ, а изъ университета—служить. Никому не приходило въ голову какъ-нибудь иначе распорядиться собою. Говорили: только службою и можно кое-какъ добывать себѣ кусокъ хлѣба; все же прочее невѣрно и непрочно и, наконецъ, непочетно; только служебная карьера и есть настоящая карьера. Для того времени въ этихъ словахъ было много правды. Быть чиновникомъ мнѣ крайне не хотѣлось. Машинальная работа мелкаго чиновника казалась мнѣ противною и совершенно не согласовалась съ моимъ характеромъ и духомъ, наклоннымъ къ поэзіи. Быть учителемъ я также не чувствовалъ расположенія. Тогда я не понималъ еще высокаго значенія этого призванія, и о трудахъ учителя судилъ по впечатлѣніямъ отъ своихъ учителей, которые, командуя нами, трепетали предъ грознымъ попечителемъ, извѣстнымъ Мусинымъ-Пушкинымъ. У меня были свои идеальныя стремленія, влекшія меня къ какой-то широкой дѣятельности, и при томъ свободной, не гнетущей надъ духомъ, которая могла бы привести не къ чинамъ, даже не къ богатству, что ставили себѣ на видъ многіе мои сверстники, а къ извѣстности, къ славѣ. Поприще писателя мнѣ нравилось въ особенности; въ самомъ дѣствѣ я съ большою охотой упражнялся въ стихахъ и прозѣ. Но какъ остаться безъ чина? Чинъ, говорили, необходимъ для каждаго, кто хочетъ обращаться въ образованномъ кругу. Безъ чина нѣтъ у насъ жизни, безъ чина ты неполноправный человѣкъ и рискуешь на всякія оскорбленія. Всякій писатель, поэтъ, ученый, гдѣ-нибудь да служить... Впрочемъ я не долго думалъ, какого рода службѣ посвятить себя. Я любилъ читать путешествія, въ особенности на мусульманскій востокъ: природа, историческія воспоминанія, совсѣмъ особенныя нравы увлекали мое воображеніе. Кто-то мнѣ сказалъ, что кандидатъ по восточной словесности можетъ поступить въ министерство иностранныхъ дѣлъ въ приготовительный пансіонъ, и оттуда чрезъ два года пошлютъ на службу при нашемъ посольствѣ въ Константинополь или въ Тегеранъ или въ Каиръ. Чего же было искать лучше этого? Ужъ если необходимо быть чиновникомъ, то лучше всего выбрать такую дорогу“.

Усердно принялся Стоюнинъ за университетскую работу, занимаясь съ особеннымъ рвеніемъ персидскимъ языкомъ, но избранный имъ факультетъ мало удовлетворялъ его. Преподаваніе здѣсь, по его отзыву, тогда не процвѣтало: профессоровъ, спо-

собныхъ придать научный интересъ своимъ лекціямъ, на этомъ факультетѣ тогда не было. Любознательность влегла Стоюнина въ историко-филологическимъ занятіямъ,—позвѣдъ и искусство сильно занимали его въ ту пору, и мысль о писательствѣ не покидала его. Онъ пишетъ сочиненіе на тему, заданную философскимъ факультетомъ: „Вліяніе Пушкина и Крылова на русскій языкъ“, затѣмъ по собственному желанію пишетъ разсужденіе подъ заглавіемъ: „Наука и искусство въ древнемъ и новомъ мірѣ“. Оба эти труда вызываютъ весьма похвальные отзывы профессоровъ. Въ 1850-мъ году Стоюнинъ кончаетъ университетскій курсъ кандидатомъ. Но юношескія мечты о Востока разбиваются горькою дѣйствительностью. Семья Стоюнина въ эту пору впадаетъ въ бѣдственное матеріальное положеніе, лишившись поддержки богатаго родственника, и юношѣ приходится взять на себя попеченіе о судьбѣ матери и сестеръ. Надо искать свораго заработка, и Стоюнинъ обращается къ тому труду, вторымъ занимался и во время студенчества,—къ учительству, къ занятію частными уроками. Въ это время онъ, по словамъ близкихъ людей, впадаетъ въ крайне мрачное, пессимистическое настроеніе. И немудрено. Тяжелое положеніе семьи, необходимость искать частныхъ уроковъ, неопредѣленность, несбывшіяся мечты,—все это должно было гнетущимъ образомъ подѣйствовать на впечатлительную натуру. Да и время тогда было не такое, чтобы весело жилось юношѣ-идеалисту. Стоюнинъ старается получить мѣсто учителя въ казенномъ заведеніи и читаетъ съ успѣхомъ пробную лекцію на право преподавать исторію въ военныхъ училищахъ. Проходитъ еще годъ неопредѣленнаго положенія, и въ 1852 году Стоюнина приглашаютъ въ 3-ю гимназію старшимъ учителемъ русскаго языка и словесности. Такимъ образомъ, Стоюнинъ, наконецъ, попадаетъ на ту дорогу, которая опредѣлила направленіе его дѣятельности. Съ 1852 года по 1871 годъ работаетъ онъ въ качествѣ учителя русскаго языка и словесности въ той гимназіи, въ которой и самъ получилъ среднее образованіе. Съ этимъ періодомъ его дѣятельности связаны самые крупные его литературно-педагогическіе труды; въ эту же пору написано имъ множество статей по вопросамъ литературы, искусства и педагогики. Онъ пытается свои силы и въ области журналистики, въ теченіе 1859 года редактируетъ газету „Русскій Міръ“, выходящую сначала разъ въ недѣлю, а потомъ два раза. Здѣсь онъ былъ не только редакторомъ, но и самымъ дѣятельнымъ сотрудникомъ; тутъ находимъ множество его статей, подписанныхъ его именемъ и неподписанныхъ. Съ особеннымъ

вниманіемъ прочли мы небольшія газетныя статьи его, такъ какъ въ спѣшныхъ статьяхъ и замѣткахъ, писанныхъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ факта литературнаго или житейскаго, субъективныя взгляды и чувства пишущаго сказываются обыкновенно скорѣе и рѣзче, чѣмъ въ строго обдуманыхъ большихъ трудахъ. И дѣйствительно, въ этихъ газетныхъ замѣткахъ, по нашему убѣжденію, опредѣлились уже довольно ясно характерныя особенности Стоюнина, какъ писателя и человѣка. Во всѣхъ даже самыхъ маленькихъ его замѣткахъ, всюду чувствуется прежде всего человѣкъ, глубоко убѣжденный въ томъ, что онъ говоритъ, человѣкъ, серьезно задумывающійся надъ всякимъ вопросомъ, за который беретъ, прямо и открыто высказывающій свои мысли и чувства, мало заботясь о томъ, понравятся ли они читателямъ или нѣтъ. Не хлопочетъ онъ и о красотѣ фразы, но говоритъ всегда вѣско и съ достоинствомъ, не бросаетъ ни одного слова наобумъ, ничего не говоритъ сегодня такого, отъ чего завтра пришлось бы отказаться, что такъ часто случается со многими, даже и хорошими журнальными писателями, слишкомъ дающими волю своимъ личнымъ чувствамъ. Между статьями Стоюнина въ „Русск. Міръ“ особенно выдаются, по нашему мнѣнію, критическіе очерки: о поэмѣ Никитина „Кулакъ“; о „Воспитанницѣ“, Островскаго, и разборъ романа Гончарова „Обломовъ“. Приведемъ изъ этихъ статей и другихъ замѣтокъ лишь выдержки, наиболѣе характеризующія взгляды Стоюнина. Въ статьѣ: „Щепкинъ въ роли Гоголевскаго городничаго“, находимъ слѣдующія строки: „О чемъ бы мы ни говорили, какіе бы живые интересы ни занимали насъ, но искусства забыть мы не можемъ: оно тѣсно связывается съ лучшей стороной нашей жизни; къ нему мы обращаемся для отдыха отъ трудовъ, для развлечения отъ заботъ, для высшаго наслажденія, наконецъ, для разрѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ нашей духовной жизни. Въ немъ, какъ и въ природѣ, ищетъ себѣ нѣкотораго успокоенія современный развитой человѣкъ, котораго мысль почти постоянно въ тяжеломъ разладѣ съ дѣйствительностью“. Большой поклонникъ искусства во всѣхъ его видахъ, лишь бы оно возбуждало высшее эстетическое наслажденіе, Стоюнинъ тѣмъ не менѣе цѣнилъ литературныя произведенія не съ одной эстетической точки зрѣнія; онъ искалъ въ нихъ жизненнаго содержанія и идеи. Это видно изъ всѣхъ его критическихъ статей, особенно же ярко сказалась эта черта въ его рецензій Никитинской поэмы „Кулакъ“.

„Любви, побольше любви къ человѣку, — восклицаетъ онъ, — а она уже сама скажетъ намъ, что нужно сдѣлать, чтобы спасти

его... Конечно, мы должны быть благодарны Никитину за попытку пробуждать въ насъ это чувство. Да, пробуждайте его, не давайте намъ забиться въ гордомъ сознаніи нашихъ достоинствъ, — намъ, любящимъ курить еиміамъ своему воспитанію и образованію, смягчайте наши строгіе взгляды на все, что ниже насъ по своему положенію, завязывайте между всѣми нами другую, крѣпчайшую связь, основанную не на высокоумномъ правѣ грубо и безнаказанно оскорблять личность низшаго, а на человѣческомъ чувствѣ, сближающемъ людей общою любовью, — на томъ чувствѣ, которое служитъ основаніемъ благоденствія и счастья всѣхъ обществъ. Согрѣвайте насъ этою любовью, и вы исполните высокое назначеніе поэта“.

Проникнутый такими гуманными воззрѣніями, понимая и самую жизнь всякаго просвѣщеннаго дѣятеля, какъ внесеніе въ дѣятельность свѣтлыхъ и нравственныхъ началъ, Стоюнинъ стоялъ за борьбу во имя истины и добра съ этою дѣятельностью, если они не находятъ въ ней подобающаго себѣ мѣста.

„Какъ скоро истина доказана, — говоритъ онъ въ одной замѣткѣ, — какъ скоро въ дѣло нужно ввести новое основаніе, отъ котораго ожидается благотворное слѣдствіе, никакія уступки не должны имѣть мѣста. Старое все долой, если оно не годится; новое все на сцену, если оно признано хорошимъ. Что намъ за дѣло, если найдутся люди, которые не согласятся съ нами. Признавъ извѣстный принципъ, будемъ опровергать противоположныя мнѣнія, будемъ стараться ввести его всецѣло въ дѣятельность и примиримся съ нею только тогда, когда онъ займетъ тамъ свое мѣсто“.

Въ этихъ строкахъ сказался рѣзче, чѣмъ въ какой-либо другой статьѣ, тотъ девизъ, которому Стоюнинъ остался вѣрнымъ всю свою жизнь. Съ одной стороны, полнѣйшая преданность истинѣ, высокимъ принципамъ, идеалу, а съ другой — непримиримость съ тою дѣятельностью, которая не даетъ имъ надлежащаго мѣста. Такимъ непримиримымъ идеалистомъ началъ онъ свою дѣятельность, такимъ сошелъ онъ и въ могилу. Въ этомъ его главная сила, въ этомъ и причина многихъ житейскихъ огорченій и неудачъ.

Всего годъ продолжалась газетная работа Стоюнина. Потому ли, что срочный, торопливый газетный трудъ былъ ему не по душѣ, потому ли, что онъ задумывалъ тогда свои большіе труды и для нихъ нуждался въ болѣешемъ досугѣ, потому ли, наконецъ, что ему приходилось иногда оповѣщать читателей газеты, что нумеръ не могъ выйти въ срокъ по независящимъ отъ редакціи

причинамъ, трудно сказать; но редакторская дѣятельность Стоюнина ограничилась однимъ годомъ.

Преподавательская дѣятельность его уже окончательно опредѣлилась къ этому времени. Не только основательно знающій тѣ науки, къ области которыхъ относились его уроки, но и глубоко любящій искусство и науку, онъ уже по этому одному долженъ былъ сдѣлаться выдающимся преподавателемъ. Но этого мало. Идеалистъ въ душѣ, проникнутый благородными принципами, готовый твердо отстаивать ихъ, неспособный ни въ какомъ случаѣ поступаться своими убѣжденіями, онъ представлялъ такую опредѣленную, характерную личность, которая уже сама по себѣ должна была облагораживать молодыхъ людей, находившихся подъ его вліяніемъ. Понятно, что для учащейся чуткой молодежи онъ былъ не только прекраснымъ преподавателемъ, но и воспитателемъ, или наставникомъ въ высшемъ смыслѣ этого слова. По заявленію его бывшихъ учениковъ, онъ не любилъ на урокахъ много говорить, но все, что онъ говорилъ, было вѣско, заключало въ себѣ сущность дѣла. При скупости въ словахъ онъ владелъ способностью затронуть вопросъ съ самой живой его стороны, возбудить къ нему большой интересъ, вызвать въ ученикахъ самодѣятельность, заставить ихъ умъ поработать надъ предметомъ изученія. Въ исторической запискѣ о 3-ей с-петербургской гимназіи говорится, что Стоюнинъ обращалъ свои уроки въ занимательныя бесѣды, заставляя учениковъ читать другъ другу свои сочиненія, дѣлать ихъ разборъ, на который авторъ долженъ былъ вновь представлять письменныя возраженія. Онъ сразу сужмѣлъ повліять на воспримчивыя молодые натуры, и ученики, по свидѣтельству одного изъ бывшихъ воспитанниковъ третьей гимназіи, стали усердно заниматься, сначала подавляемые невѣдомымъ дотогѣ авторитетомъ личности, а потомъ изъ интереса къ дѣлу и даже изъ удовольствія, испытываемаго отъ занятій словесностью.

Видя живой интересъ учащихся къ русской литературѣ и сознавая высокообразовательную силу этого предмета, Стоюнинъ сверхъ уроковъ устраиваетъ съ учениками старшихъ четырехъ классовъ такъ-называемыя „читательныя бесѣды“, на которыхъ, какъ видно изъ собственныхъ отчетовъ его, читались учениками и разбирались ими же, подъ руководствомъ преподавателя, образцовыя произведенія и отрывки изъ нихъ, доступныя ученикамъ. Но дѣло не ограничивалось только художественными произведеніями; читались иногда статьи біографическія и критическія, касающіяся произведеній извѣстныхъ ученикамъ, и такимъ обра-

зомъ они мало-по-малу приучались къ серьезному чтенію. Наконецъ, ученики писали собственные разборы и дѣлали комментаріи прочитанныхъ произведеній. Все это служило предметомъ живой бесѣды учениковъ подъ руководствомъ преподавателя. Надо ли говорить, что подобныя чтенія и бесѣды въ рукахъ опытнаго руководителя являются драгоцѣннымъ средствомъ не только для развитія литературнаго вкуса, но и для развитія мышленія, для возбужденія у учащейся молодежи умственныхъ интересовъ и формировки правильныхъ взглядовъ на жизнь и нравственныхъ убѣжденій.

Ученики, особенно старшихъ классовъ, конечно, могли понять и оцѣнить своего учителя, настойчиво требовавшаго отъ нихъ серьезной работы, никогда не искавшаго у нихъ какими-либо поблажками популярности, въ то же время не жалѣвшаго ни своего времени, ни труда, чтобы всячески по мѣрѣ силъ содѣйствовать умственному и нравственному развитію и приученію къ серьезному труду ихъ, своихъ учениковъ.

Ярче всего глубокое уваженіе и признательность бывшіе ученики Стоюнина высказали ему на юбилейномъ торжествѣ 3-ей гимназіи по случаю 25-лѣтія этого заведенія. На этомъ торжествѣ былъ Стоюнинъ уже гостемъ (онъ занималъ въ это время должность инспектора московскаго николаевскаго института). Когда читался историческій очеркъ гимназіи, то въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ упоминалось о дѣятельности В. Я. Стоюнина, бывшіе его ученики оглушительными аплодисментами надолго прерывали чтеніе. А по окончаніи акта молодежь густою толпою окружила своего бывшаго учителя и долго, и шумно выражала ему свою любовь и признательность.

Преподавательская дѣятельность Стоюнина и его литературно-педагогическія статьи сдѣлали его имя извѣстнымъ уже въ первое десятилѣтіе службы. Уроки его цѣнились уже по достоинству и высокопоставленными лицами. Онъ преподавалъ русск. словесность великому князю Владиміру Александровичу, Николаю Николаевичу младшему, велик. князьямъ Лейхтенбергскимъ: Сергѣю, Евгенію и Юрію Максимиліановичамъ, велик. князю Евгенію Максимиліановичу, нынѣ принцессѣ Ольденбургской, и принцессѣ Еленѣ Георгіевнѣ Мекленбургъ-Стрелицкой.

---

Конецъ пятидесятихъ годовъ и начало шестидесятихъ былъ у насъ, какъ извѣстно, временемъ сильнаго подъема въ обществѣ умственныхъ интересовъ. Подъ вліяніемъ сначала свѣтлыхъ члѣ-



ній, а потомъ реформъ, общество очнулось изъ долгаго томительнаго забытья. Журналы заговорили иначе, чѣмъ прежде, жизненные вопросы поднимались одинъ за другимъ: тутъ были и протесты противъ настоящаго, и беспощадная критика прошлаго, и смѣлыя надежды на будущее. Много писалось, еще больше говорилось... Было не мало крайностей и увлеченій. Но кто знакомъ съ исторіей, тотъ знаетъ, что безъ нихъ никогда и нигдѣ не обходилось въ моменты умственнаго возбужденія обществъ.

Сильно отозвалось у насъ это возбужденіе и на педагогическомъ дѣлѣ, для котораго это время было своего рода эпохою возрожденія. Оно началось съ появленія въ 1856 году знаменитыхъ „Вопросовъ жизни“ Пирогова, на долю котораго выпало сказать то, что давно уже чувствовалось и думалось лучшими людьми, но для чего еще недоставало словъ. Это живое слово было сказано, и о немъ, по свидѣтельству современниковъ, заговорили всюду: „въ клубахъ, въ семьяхъ, гдѣ до того времени почти ничего не читали, въ высшемъ обществѣ, въ гимназіяхъ, въ приходскихъ училищахъ<sup>1)</sup>. Всѣ заговорили о воспитаніи, о нашихъ недостаткахъ и порокахъ, происходящихъ именно отъ недостатка его. Воспитаніе стало моднымъ вопросомъ, о которомъ говорили и писали на всѣ лады. Съ 1857 года стали выходить сразу два педагогическіе журнала: „Русскій Педагогическій Вѣстникъ“, Вышнеградскаго, и „Журналъ для воспитанія“, Чумикова, а въ 1858 году появился журналъ г. Паульсона, „Учитель“, имѣвшій большое вліяніе на переѣмъ въ нашей школѣ пріемовъ обученія. Большіе журналы и газеты тоже охотно отводили мѣсто на своихъ страницахъ педагогическимъ статьямъ. Отрываются въ Петербургѣ педагогическія собранія, учреждается комитетъ грамотности, устраиваются воскресныя школы, учреждается маринское женское училище, а за нимъ и другія подобныя же заведенія для приходящихъ дѣвочекъ, вполнѣдствіи переименованныя въ женскія гимназіи. Стоюнинъ принимаетъ самое живое участіе въ упомянутыхъ педагогическихъ собраніяхъ, комитетахъ, руководитъ воскресной школой, преподаетъ въ 1-мъ маринскомъ училищѣ, начиная съ основанія его въ 1858 году и до 1861 года, а затѣмъ въ маринскомъ институтѣ.

Въ эту пору Стоюнинъ задумалъ-было открыть частную мужскую гимназію, и въ 1862 году первый получилъ право на это, но своего намѣренія онъ почему-то не осуществилъ. Въ 1865 г. Стоюнинъ женится на Маріи Николаевнѣ Тихменевой, своей

<sup>1)</sup> „Русскіе педагогическіе дѣятели. Н. И. Пироговъ“. В. Острогорскаго.

бывшей ученицѣ; но семейный очагъ нисколько не отрываетъ его отъ общественной дѣятельности; напротивъ, онъ работаетъ какъ бы съ удвоенной энергіей. Это и понятно: въ своей женѣ онъ нашелъ не только любящаго человѣка, но вѣрнаго друга, способнаго понять и оцѣнить все, что было самаго дорогого и за вѣтнаго для него. Жить стало легче, и работа пошла бодрѣе: горе, раздѣленное пополамъ, вдвое слабѣе, радость—вдвое сильнѣе. Къ шестидесятымъ годамъ относится и появленіе самыхъ крупныхъ литературно-педагогическихъ трудовъ Стоюнина. Онъ, уже извѣстный своимъ „Высшимъ курсомъ русской грамматики“, вышедшимъ въ свѣтъ въ 1855 году, издаетъ книгу „О преподаваніи русской литературы“, затѣмъ „Руководство для теоретическаго изученія литературы“ и „Руководство для историческаго изученія русской литературы“. Всѣ эти работы представляютъ въ высшей степени цѣнные вклады въ педагогическую литературу. Кромѣ этихъ большихъ трудовъ, въ это время Стоюнинъ пишетъ цѣлый рядъ педагогическихъ статей.

Но литературное и педагогическое оживленіе продолжалось не долго. Мало-по-малу опять водворяется тяжелое затишье, и въ душной общественной атмосферѣ трудно живется и литературѣ, и школѣ. Тяжело отзывается это особенно на учебныхъ предметахъ, способныхъ развивать мысль учащихся, порождать у нихъ идеи, — на литературѣ и исторіи. Въ школахъ особенно даетъ себя чувствовать та болѣзнь, которую кто-то мѣтко назвалъ „идеобоязнью“.

Въ это время Стоюнину дѣлаютъ предложеніе занять катедру русской литературы въ варшавскомъ университетѣ (тогда главной школѣ), а затѣмъ предлагаютъ мѣсто инспектора московскаго николаевскаго сиротскаго института. Это заведеніе, предназначенное для сиротъ, изъ которыхъ большинство потомъ становится учительницами и воспитательницами, было ему особенно симпатично, и онъ охотно принялъ предложенную ему должность. Многосложныя обязанности въ институтѣ, одномъ изъ громаднѣйшихъ учебныхъ заведеній этого рода, имѣющемъ и педагогическіе классы, и особое отдѣленіе, вѣрнѣе, отдѣльную школу малоспособныхъ, совершенно поглощаетъ Стоюнина. Лучшія силы учебнаго и воспитательнаго персонала института группируются около своего инспектора, авторитетъ котораго высоко стоитъ въ глазахъ и учащихся, и учащихся. Преподаваніе поднимается на должную высоту, и въ воспитательномъ дѣлѣ начинаютъ сказываться здравыя педагогическія начала... Но такъ дѣло шло только первые годы. Такіе люди, какъ Стоюнинъ, могутъ имѣть лишь искреннихъ друзей

или недоброжелателей. Прямая натура его, не допускающая никаких сдѣлокъ съ совѣстью, никакой угодливости и приспособленія къ людямъ и обстоятельствамъ, неизбежно должна была создавать ему недоброжелателей. Всякій человекъ другого сорта, тѣмъ онъ, сразу могъ замѣтить его нерасположеніе къ себѣ, и естественно становился недоброжелательнымъ къ нему. А ему, какъ инспектору, приходилось на каждомъ шагѣ сталкиваться со множествомъ людей, нерѣдко довольно влиятельныхъ, обращавшихся къ нему со всевозможными просьбами, не всегда законными, съ заявленіями, часто несправедливыми. На экзамены являлись въ качествѣ визитаторовъ иногда люди предубѣжденные противъ него. Безъ столкновений обойтись было трудно, особенно когда жертвами нерасположенія къ нему являлись ни въ чемъ неповинныя воспитанницы. И столкновения начались... Въ житейской борьбѣ чаще побѣду одерживаютъ не люди сильные духомъ, а люди неразборчивые въ оружіи, — побѣду, правда, не почетную, но все же побѣду.

Въ 1874 году Стоюнинъ несмотря на все желаніе его скоро и незамѣтно уѣхать изъ Москвы, не могъ избѣжать выраженій самаго глубокаго и искренняго сочувствія со стороны ученицъ, сослуживцевъ и множества лицъ литературнаго и педагогическаго міра. „Меня провожала Москва на новую дѣятельность, — пишетъ онъ къ близкому лицу, — такъ, какъ когда-то провожалъ Петербургъ въ эту же Москву. Мнѣ нельзя винить ее, если служба тамъ не посчастливилась: она не можетъ отвѣчать за нѣсколько личностей... Москва не выбросила меня изъ своей среды, а пожалѣла, поплакала, почетно проводила меня съ самыми сердечными напутствіями... Да, я въ правѣ гордиться такими минутами прощанія, потому что онѣ выражаютъ признаніе цѣлымъ обществомъ моихъ трудовъ“ ...

Въ послѣднее время московскихъ невзгодъ у Стоюниныхъ явилась даже мысль вовсе уѣхать изъ Россіи: предполагалось водвориться въ Парижѣ и тамъ заниматься обученіемъ дѣтей многочисленной русской колоніи. Но, пріѣхавъ въ Петербургъ, Стоюнинъ нашелъ здѣсь такой радушный пріемъ у своихъ друзей и старыхъ знакомыхъ, что всякіе помыслы объ отъѣздѣ за границу были оставлены. Въ судьбѣ Стоюнина принимаютъ участіе нѣкоторые влиятельныя лица, хорошо его знавшія, какъ наставника своихъ дѣтей. Благодаря доброму вниманію покойной государыни императрицы Маріи Александровны, его причисляютъ къ С. Е. И. В. канцеляріи по учрежденіямъ императрицы Маріи съ тѣмъ содержаніемъ, какое онъ получалъ, какъ

инспекторъ института. Затѣмъ, по приглашенію управляющаго тогда министерствомъ народн. просвѣщенія статсъ-секретаря Сабурова, Стоюнинъ поступаетъ членомъ въ ученый комитетъ министерства. Дѣлаются ему предложенія и частныхъ педагогическихъ занятій, выгодныхъ въ матеріальномъ отношеніи; но тутъ опять пришлось испытать ему неудачу и огорченія со стороны недоброжелателей, и притомъ такихъ, которые вовсе его и не знали лично, но судили о немъ по наслышкѣ и тѣмъ не менѣе считали долгомъ вредить ему. Во всякомъ случаѣ Стоюнинъ, полный энергіи, знанія, желанія труда на пользу общую, остается, что называется, не у дѣла. Но такіе люди, какъ онъ, не могутъ остаться безъ дѣла, и все, за что они берутся, становится серьезнымъ, живымъ дѣломъ, потому что въ труды свои они вкладываютъ свою живую душу. Стоюнинъ сосредоточиваетъ свои силы на литературныхъ трудахъ. Къ этому времени относятся: изданіе книжки его „Русскій синтаксисъ“, обработка новыхъ изданій упомянутыхъ выше большихъ его трудовъ, редактированіе и комментаріи къ классной бібліотекѣ, изд. Исакова (Сочиненія Пушкина: „Борисъ Годуновъ“, „Полтава“, „Капитанская дочка“, „Мѣдный всадникъ“, „Скупой рыцарь“, „Моцартъ и Сальери“, Лирическія стихотворенія, Эпическія стихотворенія), редактированіе и комментаріи къ училищной бібліотекѣ, изд. Н. Мартынова („Горе отъ ума“, „Недоросль“, „Бригадиръ“), составленіе „Хрестоматіи къ руководству для теоретическаго изученія литературы“, „Русской хрестоматіи для младшихъ классовъ средне-учебныхъ заведеній“ и „Руководство для преподавателей по классной хрестоматіи“. Въ эти же годы являются и самыя крупныя и цѣнныя труды его по исторіи русской литературы о кн. Кантаемірѣ, о Шишковѣ и о Пушкинѣ (первые два печатались въ „Вѣстникѣ Европы“, а послѣдній—въ „Историческомъ Вѣстникѣ“,—затѣмъ „Шишковъ“ и „Пушкинъ“ вышли отдѣльными книгами). Въ этотъ же періодъ его жизни были написаны самыя вѣсныя и продуманныя педагогическія статьи его, большая часть которыхъ напечатана въ „Вѣстникѣ Европы“<sup>1)</sup>.

Одною литературною дѣятельностью Стоюнинъ не могъ ограничиться: попрежнему онъ являлся во всѣхъ собраніяхъ, посвященныхъ дорогому для него дѣлу,—дѣлу образованія и воспитанія; такъ, онъ принимаетъ самое живое участіе въ засѣданіяхъ и дѣятельности комитета грамотности, и не столько словомъ, сколько

<sup>1)</sup> „Мысли о нашихъ экзаменахъ“, „Вѣстн. Европы“ 1870 г.—„Педагогическіе вопросы“ (1875 г.).—„Замѣтки о русской школѣ“ (три статьи, (1881 и 1882 г.) и—„Наша семья и ея историческія судьбы“ (1884 г.).

дѣломъ, работая въ отдѣльныхъ комиссіяхъ комитета по редакціи изданій его, по присужденію премій и проч. Постоянно присутствовалъ онъ въ педагогическихъ засѣданіяхъ Соляного Городка. — словомъ, всюду, гдѣ только шло дѣло о чемъ-либо полезномъ для школы и интересномъ для педагога, можно было увидѣть Стоюнина, внимательно слушающаго или дѣлающаго свои вѣскія немногословныя замѣчанія.

Такимъ образомъ, вся жизнь его была полна труда и притомъ труда по душѣ; но близкіе люди замѣтили, что онъ свучаетъ безъ педагогической практики. Особенно это связалось въ тѣ годы (отъ 1877 до 81 гг.), когда Стоюнины жили въ Царскомъ Селѣ, и педагогическія собранія и кружки не могли наполнять досуги Стоюнина. Онъ слишкомъ привыкъ видѣть предъ собою молодыхъ натуры учащихся, чувствовать свое живое воздѣйствіе на нихъ; привычки учителя — учителя по призванію — слишкомъ были сильны въ немъ. И вотъ Марія Ниволаевна Стоюнина отчасти въ виду этого, отчасти потому, что старшая изъ двухъ дочерей достигла того возраста, когда нужна правильная школа, задумала открыть частную женскую гимназію. Стоюнинъ, конечно, отнесся съ полнымъ сочувствіемъ къ намѣренію жены; но въ виду важности и трудности дѣла совѣтовалъ ей взвѣснить всѣ обстоятельства, пораздумать обо всемъ, и тогда лишь приниматься за осуществленіе его. И вотъ гимназія М. Н. Стоюниной открыта въ 1881 году послѣ цѣлаго года серьезнаго обсужденія вопроса со всѣхъ сторонъ, и В. Я. Стоюнинъ опять заправляетъ живымъ педагогическимъ дѣломъ, работаетъ вмѣстѣ съ женою, вполне пронивнутою его педагогическими принципами, надъ организаціей заведенія, старается здѣсь на практикѣ осуществить свой завѣтный идеалъ образованія, понимая подъ этимъ словомъ не одно обученіе, но правильное воспитаніе ума и сердца. Кто не знаетъ этой гимназіи, тотъ можетъ получить понятіе о ней по образцовымъ годовымъ отчетамъ о дѣятельности ея <sup>1)</sup>. Изъ нихъ можно видѣть, какія здравыя педагогическія начала положены были въ основу этого заведенія, которое въ полномъ своемъ развитіи года чрезъ два должно было бы явиться образцовымъ во всѣхъ отношеніяхъ заведеніемъ. Но не суждено было Стоюнину видѣть завершеніе этого живого и дорогого ему дѣла, надъ которымъ онъ работалъ съ неусыпной энергіей, даже и послѣ тяжелаго семейнаго горя, — смерти старшей дочери, — работалъ какъ инспекторъ и преподаватель русскаго языка и словесности, пока

<sup>1)</sup> Въ журналѣ „Женское Образованіе“.

смерть не прервала его трудовую и полную глубокаго смысла жизнь...

Литературно-педагогическіе труды Стоюнина, это крупное наслѣдство для всѣхъ мыслящихъ педагоговъ, заслуживаютъ большаго вниманія. Въ нашемъ очеркѣ мы не имѣемъ возможности не только рассмотреть всѣ ихъ, но даже и указать на каждый изъ нихъ и сдѣлать краткую оцѣнку ихъ, и потому мы ограничимся лишь самой общей характеристикой ихъ. Прежде всего надо сказать, что всѣ большіе труды и статьи Стоюнина, упомянутыя нами и неупомянутыя, отличаются самостоятельностью и оригинальностью,—всѣ они являются плодомъ серьезнаго размышленія, внимательнаго вникновенія въ сущность дѣла, даже обстоятельнаго изученія. Тутъ вы не найдете компиляцій, развитія лишь чужихъ мыслей; во всѣхъ трудахъ Стоюнина вы видите богатое содержаніе, самостоятельную работу, оригинальную точку зрѣнія. Все это, конечно, свидѣтельствуетъ о силѣ ума, о талантѣ. Съ другой стороны, всѣ эти труды не внѣшнимъ изложеніемъ подкупаютъ читателя. Съ первой же страницы вы видите, что авторъ вовсе не заботится объ особенной отдѣлкѣ слога, чтобы принарядить свои мысли въ изящный словесный костюмъ. Онъ словно желаетъ, чтобы мысль сама за себя говорила, своею дѣльностью и вѣскостью завоевывала себѣ вниманіе читателя,—словно боится, чтобы красивая словесная оболочка не отвлекла его вниманія отъ сущности дѣла, чтобы мысль не подкупила его своимъ лишь нарядомъ, а не внутреннимъ достоинствомъ... Учебники Стоюнина,—говорятъ нѣкоторые педагоги,—уступаютъ въ легкости многимъ другимъ. И это вѣрно. Но Стоюнинъ объ особенной легкости учебниковъ и не заботился: по его мнѣнію, ученикъ долженъ браться за учебникъ лишь тогда, когда урокъ проработанъ въ классѣ; учебникъ, по его словамъ, нуженъ лишь для того, чтобы въ умѣ ученика прошли въ связномъ видѣ результаты, уже добытые на урокѣ. Учебники Стоюнина требуютъ отъ ученика серьезнаго вниманія и нѣкотораго напряженія ума, чтобы вникнуть въ изложенныя мысли, понять логическую связь ихъ,—словомъ, тутъ одною памятью возьмешь немного,—нужна умственная работа. Таковую только работу ученика и цѣнилъ Стоюнинъ. Изъ всѣхъ литературно-педагогическихъ его трудовъ мы считаемъ самымъ важнымъ по значенію книгу „О преподаваніи русской литературы“. Одинъ этотъ трудъ могъ бы дать Стоюнину право стать въ ряду извѣстнѣйшихъ нашихъ педагоговъ-писателей. Эта книга произвела въ преподаваніи русской словесности въ нашей школѣ пере-

воротъ и, по справедливому выраженію В. П. Острогорскаго, „убила на повалъ прежнее схоластическое направленіе въ преподаваніи русской словесности“. Въ этомъ трудѣ указано громадное вступительное значеніе отечественной литературы. Мало того, показано, какъ слѣдуетъ обращаться съ литературнымъ матеріаломъ для учебныхъ цѣлей, — приведены образцы разборовъ. И, наконецъ, указано историческое значеніе важнѣйшихъ произведеній древней литературы и сдѣланы такіа мѣткіа характеристики многихъ изъ нихъ, что страницы эти могли бы служить украшеніемъ любого научнаго труда по исторіи русской литературы. Эта книга такъ полна цѣнныхъ указаній, умныхъ, замѣчательныхъ соображеній, что она должна быть настольной книгой у всякаго преподавателя русской словесности.

Труды Стоюнина не только открыли, но и проложили новые пути въ преподаваніи словесности...

Мы уже сказали, что Стоюнинъ въ своихъ большихъ трудахъ и особенно въ статьяхъ высказывается по всѣмъ существеннымъ вопросамъ воспитанія и образованія, такъ что въ общемъ эти статьи представляютъ обстоятельный планъ средняго образованія, мужского и женскаго, даже, если можно такъ выразиться, полное педагогическое міровоззрѣніе.

Представимъ хотя главнѣйшіа черты его.

Стоюнинъ, убѣжденный, что Россія нуждается не менѣе, чѣмъ другія европейскія страны, въ возможно большемъ числѣ образованныхъ людей обоого пола, исходитъ изъ двухъ слѣдующихъ положеній или, вѣрнѣе, аксіомъ: 1) школа должна быть въ самой тѣсной органической связи съ обществомъ и семьей, и 2) школа должна быть живымъ организмомъ, который не можетъ, какъ и все живое, оставаться чѣмъ-то постояннымъ, словно окаменѣлымъ, но должна развиваться правильно и постепенно въ связи съ развитіемъ общественной жизни и успѣхами науки.

„Исторія, — говоритъ Стоюнинъ, — достаточно убѣждаетъ насъ, что государство сильно внутри и внѣ не арміями и не полицією, а образованными честными гражданами... Послѣ разныхъ тяжелыхъ испытаній сдѣлалось ясно, что государству выгодно опираться на общественныя силы, что для собственной силы оно должно желать, чтобы общество укрѣпилось на началахъ, изъ которыхъ развивается гражданское чувство. Скажемъ болѣе, и войско, и полиція, не могутъ быть хороши и надежны, если въ нихъ нѣтъ людей съ развитымъ гражданскимъ чувствомъ... Изъ всего этого видно, что государству нужны такіе же люди, какъ и обществу, т.-е. честные развитые граждане; слѣдовательно пригото-

ленные хорошо школою годны и для общественной жизни, и для государственной службы, интересы которой долженъ понимать каждый образованный гражданинъ. Значить, одна и та же школа, преслѣдуя только свои педагогическія задачи, можетъ одинаково удовлетворить главнымъ нравственнымъ потребностямъ государства и общества; и въ свою очередь и то, и другое, могутъ предъявлять школѣ одни и тѣ же требованія“.

Общественный контроль, по мнѣнію Стоюнина, весьма важенъ для школы и болѣе можетъ способствовать процвѣтанію ея, чѣмъ контроль правительственный. „Выгода общественнаго контроля, по его словамъ, состоитъ, между прочимъ, въ томъ, что съ нимъ не соединяется никакой власти; онъ выражается въ формѣ желаній, совѣтовъ, указаній; тѣмъ не менѣе, это такая нравственная сила, которая поддерживаетъ постоянное вниманіе лица къ самому себѣ, къ своимъ обязанностямъ, и дѣлаетъ его лицомъ замѣтнымъ, почтеннымъ въ обществѣ, слѣдовательно сила не гнетущая, а возвышающая духъ. Черезъ нее и должна развиваться желанная нравственная связь между школою и обществомъ. Стремясь удовлетворять духовнымъ потребностямъ общества, школа будетъ стоять на высотѣ своего идеала, безъ котораго не можетъ быть настоящей школы... Тогда она станетъ роднымъ, любимымъ и драгоценнымъ учрежденіемъ въ обществѣ, не переставая въ то же время отвѣчать и государственнымъ потребностямъ“.

О связи школы съ семьей Стоюнинъ говоритъ: „Школа соединяется съ семьей одною цѣлью, раздѣляя съ нею воспитательный трудъ, по такимъ образомъ, чтобы одна не могла мѣшать другой. Практически при настоящемъ положеніи той и другой, весьма трудно установить правильныя отношенія между ними. Школа должна имѣть въ виду улучшить семью въ будущемъ чрезъ своихъ питомцевъ, но исправлять отца и мать—эта задача ей не по силамъ, и отъ нея она должна отказаться. Современная русская школа должна сознать общіе недостатки русской семьи, ослаблять ихъ воздѣйствіемъ въ своихъ собственныхъ стѣнахъ, не вторгаясь въ семью со своими распоряженіями. Если на семью она и можетъ дѣйствовать, то только дружжелюбными совѣтами, выслушивая отъ нея съ готовностью всѣ ея заявленія, хотя бы они даже имѣли видъ жалобы на школьные порядки или неудовольствія на школу. Правильныя отношенія между семьей и школою установятся тогда, когда отцы и матери не будутъ бояться школы и въ сношеніяхъ съ нею будутъ руководствоваться полною откровенностью. Семья привяжется къ школѣ тогда, когда увидитъ безворыстныя заботы и сердечное участіе школы въ дѣлѣ,



самомъ близкомъ семьѣ. Вотъ нравственное вліяніе, какое школа можетъ имѣть на семью... Пусть школа видитъ свое дополненіе въ семьѣ, а семья въ школѣ“.

Но въ такую живую связь съ обществомъ и съ семьей можетъ придти только школа, соответствующая вполнѣ потребностямъ жизни и правамъ народа. Еслибы нѣмецкіе ученые, въ которыхъ обращались за совѣтомъ во время школьныхъ реформъ, досказали до конца свои совѣты, говоритъ Стоюнинъ, то они намъ заявили бы: „Если вы хотите создать живую школу, то, не пренебрегая той общей наукой, до которой дошли мы, изучите, сколько можете, и свою народную психологію, пользуясь и исторіей, и современнымъ бытомъ народа, и сравненіемъ его съ другими народами. Мы не думаемъ, — прибавили бы они, — что русскій народъ похожъ на нѣмецкій, что его исторія имѣетъ что-нибудь общее съ нѣмецкою; не думаемъ, что и школы или слѣпки съ нѣмецкихъ школъ не окажутся мертвыми въ жизни русскаго народа. Если бы они дали намъ такой совѣтъ, то дѣйствительно научили бы насъ уму-разуму и заставили бы внимательнѣе подумать, какимъ образомъ создать живую школу, способную развиваться въ связи съ психическими и общественными требованіями. Тогда, конечно, намъ стыдно было бы думать, что для школы довольно определенной программы, высиженной въ кабинетѣ, довольно инструкцій, придуманныхъ какимъ-нибудь школьнымъ политикомъ, и школа будетъ жить, развиваться и готовить къ какой угодно дѣятельности. Отъ нихъ же мы услышали бы еще и такой совѣтъ: берегитесь къ педагогическимъ цѣлямъ школы примѣшивать еще какія-нибудь политическія намѣренія и идейки и къ нимъ приспособлять ваши школьныя программы и нравственность“.

Въ послѣдней главѣ статьи, которую мы цитируемъ, находимъ слѣдующія строки о задачахъ идеальной, т.-е. желательной школы. „Школа должна приготовить духовныя силы юноши для созданія идеала, должна пробудить въ немъ безкорыстную любовь къ истинѣ, добру и прекрасному и стремленіе къ нимъ; но она не можетъ навязывать никакой теоріи для жизни, ровно никакой исключительной идеи, которой должна быть посвящена жизнь, какъ это дѣлаютъ школы іезуитскія. Безъ этихъ оковъ долженъ вступать юноша въ жизнь, съ полной свободой выбрать себѣ поприще, лишь было бы въ немъ живо чувство справедливости, честности, стремленіе соединить свое благо съ общимъ.— Теоріи для жизни предписывать нельзя, поэтому нельзя и подавлять тѣхъ врожденныхъ стремленій человѣка, которыя составляютъ его полную жизнь. Онъ-то и есть для него та приманка, которую

онъ называется счастьемъ. А прочное счастье возможно лишь въ предѣлахъ естественныхъ и социальныхъ законовъ жизни. Школа должна только познакомить съ ними и убѣдить, что ихъ нельзя преступать безнаказанно“.

Прибавимъ къ этому нѣсколько строкъ изъ другой статьи, ранѣе написанной:

„Въ идеальной школѣ исключенія недоученныхъ учениковъ бываютъ въ самыхъ рѣдкихъ и крайнихъ случаяхъ. Она не допускаетъ мысли, что напроказившій ученикъ вреднѣе для школы, чѣмъ для общества, гдѣ, неисправленный, онъ будетъ жить въ праздности и увлекаться разными злыми намѣреніями противъ того же общества. Она знаетъ, что исключеніе молодого человѣка за опрометчивый или даже неблаговидный и злостный проступокъ есть настоящая нравственная его гибель и несчастье для всей семьи, которая въ этомъ случаѣ никогда не будетъ смотрѣть на исключеннаго глазами школы, даже еслибы онъ былъ дѣйствительно неисправимый и заслуживающій этой кары. У такой школы долженъ быть свой педагогическій, а не уголовный судъ; онъ долженъ имѣть въ виду и будущее преступника, въ которомъ должна оставаться благодарность, а не озлобленіе, вредное для всѣхъ. Иначе, вмѣсто того, чтобы сохранить силы для общества, школа будетъ противъ него вооружать ихъ... Все это говорю я для того, чтобы показать, какъ сильно ошибаются тѣ мнимые педагоги, которые безсердечно провозглашаютъ, что съ малозпособными нечего много возиться, на ихъ мѣсто всегда найдется достаточно другихъ, болѣе способныхъ, которые на экзаменѣ могутъ сдѣлать честь школѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что при ограниченномъ числѣ школъ найдется много другихъ, талантливыхъ учениковъ; но школа, понимающая, что она должна выполнить, не станетъ гоняться за другими, талантливыми, а будетъ разумно и осмотрительно работать надъ тѣми, какіе ей достались“.

Вопросъ о характерѣ среднеучебнаго заведенія, болѣе пригоднаго для Россіи, сильно занималъ Стоюнина, и въ бумагахъ его сохранилось два рукописныхъ труда, не появившіеся въ печати: „Записка о классическихъ и реальныхъ школахъ“, и „Наши школьные вопросы“.

Хорошій филологъ, съ любовью занимавшійся въ гимназіи классическими языками, Стоюнинъ сильно опасается излишняго пристрастія къ классицизму. „Это пристрастіе, — говоритъ онъ, — угрожаетъ обратить обще-образовательныя заведенія въ спеціально-филологическія; между тѣмъ какъ въ Европѣ давно доказано, что всякое спеціальное образованіе, не основанное на предвари-

тельномъ общемъ, не образуетъ ни челоуѣка, въ нравственномъ значеніи слова, ни специалиста. Если большая часть уроковъ будетъ посвящена въ училищѣ одному предмету на счетъ всѣхъ прочихъ, то, конечно, оно должно обратиться въ специальное, и въ этомъ случаѣ можно добиться успѣха въ обученіи этого предмета, но не пользы для государства и общества, которыя не нуждаются въ такомъ громадномъ числѣ филологовъ, а нуждаются въ людяхъ съ общимъ образованіемъ“.

Затѣмъ Стоюнинъ, нисколько не отрицая воспитательнаго значенія классическихъ языковъ, при исполнѣнн благопріятныхъ условіяхъ, находитъ, что добиться этихъ послѣднихъ далеко не такъ легко, какъ кажется съ перваго взгляда. „Самую главную пользу видятъ въ томъ, что ученики, занимаясь древними языками, настойчиво допытываются смысла фразы и приписываютъ соответственное выраженіе на своемъ языкѣ, что, съ одной стороны, развиваетъ умъ, съ другой—приучаетъ къ усидчивому труду. Все это справедливо; но въ такомъ случаѣ необходимо имѣть возможность постоянно слѣдить за домашними занятіями каждаго ученика, чтобы онъ дѣйствительно самъ допытывался до всего. Преподаватель можетъ дѣлать это только при самомъ небольшомъ числѣ учениковъ; въ большихъ же классахъ, какъ въ нашихъ гимназіяхъ, нѣтъ никакой возможности даже самому талантливому учителю ежедневно провѣрять труды каждаго ученика съ цѣлью убѣдиться, что онъ самъ работалъ. Обыкновенно же сами доискиваются смысла латинской или греческой фразы только болѣе даровитые и прилежные изъ учениковъ и потомъ сообщаютъ плоды своихъ трудовъ прочимъ, которые заучиваютъ значеніе словъ и переводъ или записываютъ его въ свои тетради и съ такой легкой подготовкой являются въ классъ; иные же достаютъ литературные переводы и пользуются ими. Такимъ образомъ и выходитъ, что уроки они приготавливаютъ, а между тѣмъ изъ ихъ труда не вытекаетъ той главной пользы, которая ожидается отъ обученія древнимъ языкамъ. Въ нихъ должно развиваться совершенно противоположное тому: или легкомысленное отношеніе къ труду, или умственное отупѣніе, которое всегда является при исключительномъ упражненіи памяти безъ всякаго умственнаго труда. Особенно же вредно такого рода занятіе можетъ быть въ специально-филологическихъ школахъ, гдѣ другіе предметы даютъ уму слишкомъ мало пищи, такъ что ученику приходится постоянно сидѣть лишь на заучиваніи словъ и фразъ: онъ въ скоромъ времени или одурѣетъ отъ этого занятія, или будетъ искать себѣ какой-либо умственной дѣятельности въ разныхъ книгахъ и жур-

налахъ, издаваемыхъ не для его возраста, будетъ увлекаться разными новыми идеями, принимая ихъ на вѣру, такъ какъ истинности ихъ провѣрить самъ не въ состояніи. До этого всегда доводитъ школа, которая не можетъ доставить юношескому уму здоровой умственной пищи. Онъ всегда будетъ искать ее, если не успѣетъ отупѣть, — и безъ должнаго руководства, конечно, будетъ бросаться на то, что легче достигается. Обыкновенно думаютъ уравнивать древніе языки математикой, которая неоспоримо представляетъ важную образовательную силу, тѣмъ болѣе, что неспособна отупить умъ ни въ какомъ случаѣ. Но одной математики здѣсь недостаточно: она хотя и развиваетъ умъ съ формальной стороны, научаетъ его мыслить строго логически, но не даетъ ему самыхъ идей, въ которыхъ онъ тѣмъ болѣе нуждается, чѣмъ больше развить. Да и натурально ли это — усиленно развивать умъ для мышленія и не давать ему довольно предметовъ, о которыхъ бы онъ могъ серьезно мыслить "... „Говорятъ, — читаемъ далѣе, — что ученики въ древнихъ писателяхъ найдутъ довольно идей и въ то же время будутъ питать свой духъ героическими подвигами, которые тамъ изображаются, и, наконецъ, на классической поэзіи будутъ развивать въ себѣ эстетическое чувство. Но скоро ли они доходятъ до того, чтобы за фразами, которыя они должны съ особеннымъ усиленіемъ разбирать, видѣть развитіе идей, а тѣмъ болѣе чтобы самимъ свободно читать классиковъ и интересоваться ихъ содержаніемъ? Да и какъ они будутъ примѣнять къ современной жизни эти идеи республиканцевъ или идеи, вытекающія изъ особеннаго односторонняго воззрѣнія на жизнь, — воззрѣнія, развиваемаго нехристіанскою философіею? Положимъ даже, что молодые умы будутъ увлекаться этими идеями (юности безъ увлеченія почти не бываетъ); но съ увлеченіемъ должно явиться и стремленіе внести ихъ въ свою собственную жизнь. Не встрѣтятся ли они тогда разлада между своимъ внутреннимъ міромъ, воспитаннымъ на классической почвѣ, и дѣйствительною жизнью, — и развѣ такое исключительное воспитаніе не создавало уже многихъ мечтателей, которые губили свою жизнь безъ всякой пользы для кого бы то ни было"... „Что же касается развитія эстетическаго чувства на классической поэзіи, то до этого никогда не достигнуть гимназисту. Чтобы восхищаться строгою красотою формы этихъ произведеній, нужно слишкомъ глубоко изучать ихъ, не говоря уже о совершенномъ знаніи языка, что все гимназисту никакъ не по силамъ. Обыкновенно восхищаются классической поэзіей люди уже съ развитымъ эстетическимъ чувствомъ, а не по ней развиваютъ его. Развивать же его можно

лучше и легче всего на произведеніяхъ родной поэзіи; а наша поэзія совсѣмъ не такъ бѣдна, чтобы не могла представить прекрасныхъ образцовъ для достиженія педагогическихъ цѣлей“.

Далѣе, Стоюнинъ совершенно справедливо указываетъ на то, что русскимъ дѣтямъ и юношамъ изученіе классическихъ языковъ значительно труднѣе, чѣмъ нѣмцамъ или французамъ, такъ какъ нѣмецкій языкъ по своему складу гораздо болѣе, чѣмъ русскій, подходитъ къ латинскому языку, а французскій въ лексикальномъ отношеніи очень близокъ къ нему. Притомъ во Франціи и Германіи классическіе языки были въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ предметомъ серьезнаго научнаго изученія, и потому нѣтъ недостатка ни въ различныхъ пособіяхъ, ни въ хорошо подготовленныхъ учителяхъ. Для русской же школы необходимо еще приготовить хорошихъ учителей, любящихъ свой предметъ и вполне владѣющихъ имъ, а также могущихъ переводить классическихъ авторовъ на хорошій русскій языкъ. Въ виду этихъ соображеній Стоюнинъ приходитъ къ заключенію, что настоящая классическая школа, хорошо организованная, въ которой древніе языки не подавляютъ другихъ общеобразовательныхъ предметовъ, можетъ въ нашемъ отечествѣ развиваться лишь постепенно и во всякомъ случаѣ не должна вытѣснять школъ другого характера, т.-е. реальныхъ, къ которымъ и въ обществѣ чувствуется большая склонность. Но тогдашнія реальныя гимназіи тоже не удовлетворяли Стоюнина. „Судить о реальномъ образованіи по существующимъ у насъ реальнымъ гимназіямъ,—говоритъ онъ,—никакъ невозможно: онѣ такъ поставлены, что не могутъ развиваться и приносить пользу. Поддерживать ихъ въ такомъ видѣ—все равно, что желать доказать наглядно несостоятельность этого образованія“...

Мы долго не кончили бы, еслибы продолжали выписки интересныхъ соображеній и взглядовъ Стоюнина; ограничимся приведенными: ихъ, полагаемъ, достаточно, чтобы видѣть, какъ именно смотрѣлъ онъ на условія, необходимыя для преуспѣнія русской школы. Не менѣе интересовало его и женское образованіе, съ которымъ, какъ мы видѣли уже, онъ съ 1858 года имѣлъ возможность освоиться и практически, занимаясь въ 1-мъ маринскомъ женскомъ училищѣ, а затѣмъ маринскомъ институтѣ. На задачи женской школы Стоюнинъ смотритъ съ тою же серьезною вдумчивостью, которая составляетъ отличительную черту его во всѣхъ его статьяхъ и рѣчахъ. Чтобы не выйти далеко изъ предѣловъ статьи, мы не будемъ цитировать печатныхъ его статей и приведемъ лишь одно характерное мѣсто изъ ненапечатанной его

рѣчи, сказанной въ 1860 году на актѣ въ маріинскомъ женскомъ училищѣ.

„Бецкій, самъ рожденный въ Швеціи, получившій образованіе въ Даніи и притомъ образованіе спеціально военное, увлеченный просвѣщеніемъ французскимъ, не могъ понимать всей силы народности, которая должна проникать даже въ самое воспитаніе. Обольщенный своею мыслію (воспитать новое поколѣніе русскихъ, удаливъ его отъ вліянія невѣжественнаго общества), онъ, къ счастью, не имѣлъ средствъ приложить ее къ дѣлу въ огромныхъ размѣрахъ во всей Россіи, но исполнилъ ее въ маломъ объемѣ въ столицахъ. Съ этихъ поръ общественное воспитаніе стало отрывать дѣтей отъ массы и никакъ не приносило той пользы, какой ожидали отъ него современники Бецаго. Съ этимъ соединилась еще другая ошибка, столь же важная. Идеаль Бецаго былъ человекъ развитой нравственно до величайшей тонкости, и къ такому идеалу онъ направилъ и все воспитаніе. Конечно, противъ этой цѣли безумно было бы и спорить; но ошибка въ томъ, что она не могла достигаться по той системѣ, которую сочинилъ Бецкій: онъ не понялъ самой тѣсной связи между нравственнымъ и умственнымъ развитіемъ. Приобрѣтеніе познаній, науку, онъ поставилъ на второмъ планѣ при воспитаніи, не разсудивъ, что нравственность, заученная въ отвлеченныхъ фразахъ, слишкомъ паткая, несостоятельная, на которую нельзя положиться. *Истинная нравственность крѣпка и сильна только убѣжденіями человека, а здравыя человѣчныя убѣжденія вырабатываются только на основаніи познаній, добытыхъ наукою, когда человекъ на нихъ развиваетъ свой умъ и ихъ беретъ матеріаломъ для своихъ думъ о жизни. Они зарождаются въ насъ сочувствіемъ къ интересамъ человѣческимъ и гражданскимъ, которые направляютъ наши нравственныя силы и въ связи съ ними дѣлаютъ человека героемъ, когда потребуется этотъ героизмъ въ жизни.* Бецкій не такъ смотрѣлъ на это дѣло. Онъ думалъ, что достаточно исписать всѣ стѣны и двери учебнаго заведенія тысячами нравственныхъ правилъ, наполнить ими прописи, ежедневно читать въ теченіе многихъ лѣтъ объ обязанностяхъ человека—и для жизни будетъ готовъ нравственный человекъ. Такъ это и дѣлалось по системѣ Бецаго; даже эстетическое образованіе, опора весьма крѣпкая для нравственности, даже постоянное чтеніе, составляющее весьма сильное средство при воспитаніи, не допускались въ должныхъ размѣрахъ. И вотъ являлись въ жизнь молодые люди, память которыхъ была загромождена тысячами моральныхъ правилъ, давно обратившихся для нихъ въ

общія фразы. Безъ всякаго сочувствія къ массѣ, безъ всякаго направленія, они тотчасъ же увлекались идеалами общественными, направленными на одну блестящую виѣшность и далеко не нравственными. Воспитанная такимъ образомъ женщина отличалась хорошими манерами, по возможности чистымъ французскимъ говоромъ и, сдѣлавшись воспитательницею дѣтей, передавала и имъ свое умѣнье... И вотъ система Бецкаго укоренилась надолго и переходила изъ поколѣнія въ поколѣніе, вполнѣ удовлетворяя свѣтскимъ, бальнымъ потребностямъ просвѣщеннаго общества. Умъ женщины дремалъ, нравственныя понятія оказывались слишкомъ сбывчивыми и односторонними, сознанія гражданственности—никакого, живыхъ познаній—того менѣе“.

Изъ этой критической оцѣнки уже ясно, что, по мнѣнію Стоюнина, должна дать новая женская школа: она должна дать твердую опору той нравственности, о которой бесплодно мечтали Бецкій, не имѣвшій и понятія о томъ, какими средствами можно достигнуть его идеальныхъ цѣлей.

„Въ основаніе всего,—говоритъ далѣе въ своей рѣчи Стоюнинъ, переходя къ дѣятельности маріинскаго училища,—мы положили науку, знанія, не шаткія и отрывочныя, а основательныя, систематическія, которыя, питая умъ, въ то же время развиваютъ его, дѣйствуя благотворно и на сердце, и на воображеніе. Мы не имѣли въ виду никакой специальности, никакого сословія. Предъ нами была только русская женщина въ тѣхъ лучшихъ образахъ, въ какихъ могла представить ее наша современность, былъ русскій народъ, съ которымъ мы должны составлять одно нераздѣльное цѣлое по чувству человѣческому и гражданскому“.

Затѣмъ, обращаясь къ ученицамъ и напутствуя ихъ въ жизнь, Стоюнинъ такъ опредѣляетъ то счастье, какового имъ желаетъ: „Счастіе заключается въ согласіи дѣйствительности со стремленіями нашего сердца,—конечно, если эти стремленія чисты, благородны, что оцѣнивать долженъ развитой умъ. Итакъ, намъ остается пожелать вамъ счастья въ жизни, успѣха въ борьбѣ за правду, за лучшія убѣжденія, если придется вести ее“.

Школа, какъ мужская, такъ и женская, должна воспитывать человѣка и гражданина въ лучшемъ смыслѣ этихъ словъ. Эта мысль постепенно повторяется въ статьяхъ Стоюнина. „Только истинно просвѣщенная женщина,—говоритъ онъ,—можетъ стать, въ качествѣ ли жены и матери, или учительницы и воспитательницы, живой силой въ обществѣ, только такая женщина пойметъ все значеніе жизни въ трудѣ на пользу другихъ. „Трудовъ, трудовъ!“—

слышится неумолчный голосъ, — говорить онъ въ своей рѣчи къ дѣвицамъ, окончившимъ курсъ педагогическихъ классовъ николаевскаго института, — трудовъ честныхъ, проникнутыхъ сознаниемъ общей пользы... На такіе труды мы благословляемъ васъ, будетъ ли кто трудиться въ новой русской школѣ, будетъ ли кто приносить благо просвѣщенія семьѣ. Конечно, многимъ придется переживать и неудачи, выносить борьбу какъ съ самими собой, такъ и съ невѣжествомъ, но вы знаете — въ борьбѣ крѣпнуть силы, приобрѣтается опытность. Силенъ нравственно тотъ, кто не боится борьбы за честное и святое дѣло!..

Все это не было лишь громкими словами у Стоюнина, у котораго дѣло не расходилось со словомъ. Онъ и признавалъ только школу, способную болѣе или менѣе готовить разумныхъ и честныхъ бойцовъ съ неизменною дѣйствительностью, и не придавалъ значенія одному формальному образованію, справедливо называя его пустымъ „акробатствомъ ума“; онъ съ негодованіемъ относился всегда къ школѣ, которая по-чиновничьи, бессердечно относилась къ учащимся, не признавая въ нихъ ни человѣческой личности, ни человѣческаго достоинства, распиная ихъ умственные силы и нравственное чувство, чтобы во что бы ни стало выполнить программы и инструкціи; съ наименьшимъ осужденіемъ относится онъ и къ преподавателямъ-ремесленникамъ, не идущимъ дальше выучки и приготовленія своихъ учениковъ къ экзамену, — и къ ловкимъ шульмейстерамъ, умѣющимъ лишь поражать постороннихъ посѣтителей педагогическимъ фокусничествомъ...

„Каждый преподаватель, — говоритъ онъ, — долженъ найти въ своемъ учебномъ предметѣ три живыя силы, которыя бы благотѣльно дѣйствовали на учащихся: 1) онъ долженъ сообщить имъ истинныя познанія, касающіяся природы и челоуѣка, 2) развивать ихъ, учениковъ, и 3) приучать къ труду. Матеріаль, передача и воспріятіе его, и разумная работа надъ нимъ — вотъ три силы, которыя должны соединиться въ преподаваніи, чтобы дать ему педагогическое или воспитательное значеніе <sup>1)</sup>...“

Особенное значеніе какъ въ высшей степени цѣнному учебному матеріалу придавалъ онъ, какъ мы видѣли уже, отечественной литературѣ, которая у искуснаго преподавателя должна быть прекраснымъ орудіемъ для развитія у учащихся правильныхъ понятій и возрѣній на жизнь и для развитія нравственнаго и эстетическаго чувства. Чтѣ особенно высоко цѣнилъ Стоюнинъ въ учителѣ, это лучше всего видно изъ его рѣчи, посвященной вос-

<sup>1)</sup> „О преподаваніи русск. литературы“.



помяну о Басистовѣ. „У меня осталось, — говоритъ онъ, — впечатлѣніе, которое, думаю, никогда не изгладится. Понятно, что такихъ преподавателей, какъ онъ, можно было опѣивать не на экзаменахъ. Въ тѣхъ чувствахъ, какія онъ пробуждалъ въ юныхъ сердцахъ, въ тѣхъ зародышахъ лучшихъ идеаловъ жизни, какіе онъ могъ вращивать прекрасною передачею поэтически образы, экзаменовать нельзя. А между тѣмъ они-то и цѣнны въ воспитаніи; за нихъ-то особенно и остаются благодарными въ своихъ воспоминаніяхъ люди, прошедшіе школу. Я не знаю, была ли у него (Басистова) выработана какая-либо метода въ преподаваніи, но могу сказать, что онъ своимъ личнымъ вліяніемъ воспитательно дѣйствовалъ на классъ, и это даетъ ему право назваться истиннымъ педагогомъ. *Развивать правильныя понятія научными знаніями, какъ основу вѣрныхъ сужденій, и въ связи съ ними вызывать любовь къ истинѣ и стремленіе къ ней; пробуждать прекрасныя чувства, любовь и стремленія ко всему прекрасному; доводить до вѣры въ нравственные идеалы, связанные съ высшими интересами жизни, — вотъ идеальныя черты истиннаго педагога*“...

Все, что говоритъ Стоюнинъ объ идеальномъ учителѣ, можетъ быть отнесено съ полною справедливостію къ нему самому, какъ преподавателю. Всѣ слышанные нами рассказы бывшихъ его учениковъ подтверждаютъ это.

Уроки его, по словамъ ихъ, не были блестящими съ внѣшней стороны. Случайный посторонній посѣтитель, пожалуй, не нашелъ бы въ нихъ ничего особеннаго; но для насъ, учениковъ, уроки эти были въ высшей степени цѣнны: никакіе другіе уроки не вызвали у насъ такой умственной работы, какъ Стоюнинскіе. Мало того. Съ его уроковъ уносился учениками не только серьезный интересъ къ затронутымъ вопросамъ, касающимся разобраннаго въ классѣ произведенія, но и возбуждалась живая мысль, которая и послѣ урока продолжала долго работать. Стоюнинъ на урокахъ самъ говорилъ мало, лишь тогда, когда надо было сообщить біографическія свѣденія о писателѣ или напомнить историческія обстоятельства; но произведенія разбирались учениками. Преподаватель ставилъ лишь вопросы и такимъ образомъ направлялъ работу. Стоюнинъ вовсе не походилъ на нѣкоторыхъ виртуозовъ-преподавателей того времени, которые не ограничивались при разборѣ произведеній существенными вопросами, а разыгрывали, такъ сказать, урокъ, какъ по нотамъ, по ранѣе заготовленной программѣ, куда входила масса всевозможныхъ вопросовъ, предназначенныхъ для того, чтобы навести учениковъ на ту или

другую мысль. Самодѣтельности учащихся при этомъ было крайне мало; они, какъ клавиши, издавали подъ рукою ловкаго преподавателя лишь заранѣе предусмотрѣнный имъ звукъ, такъ какъ вопросы ставились такимъ образомъ, что на нихъ можно было дать лишь одинъ отвѣтъ, и притомъ полу-подсказанный вопросомъ. При этомъ самостоятельные вопросы учащихся считались неумѣстными, являлись помѣхою... Понятно, что такое веденіе урока не вызывало почти активнаго участія класса, не давало высказаться ихъ индивидуальности и скоро надоедало всякому сколько-нибудь сообразительному ученику. Вся живость урока была лишь въ преподавателѣ, а не въ ученикахъ. Зато посѣтителемъ могли казаться такіе уроки блестящими и учителя—мастерами своего дѣла. Стоюнинъ, никогда и ни въ чемъ не гнавшійся за вѣншиимъ блескомъ, и тутъ остался вѣрнымъ себѣ... Онъ приносилъ въ классъ съ собою обстоятельное знаніе того, что должно быть предметомъ урока, живую мысль и искреннее желаніе помочь ученикамъ овладѣть дѣломъ... Между вопросами, какіе онъ предлагалъ, и отвѣтами учениковъ всегда было значительное разстояніе, которое ученикамъ надо было пройти, самостоятельно работая умомъ. Тутъ давалось довольно простора для самодѣтельности учащихся; тутъ могли сказываться и индивидуальныя черты ихъ и въ отвѣтахъ, и въ вопросахъ, которые могли предлагать они. Такимъ образомъ велась дѣйствительно живая бесѣда, гдѣ ученики были собесѣдниками учителя, а не только отвѣтчиками... Стоюнинъ на своихъ урокахъ всегда заботился о томъ, чтобы понять былъ смыслъ произведенія, чтобы детали не скрывали его. Тутъ же производилась и оцѣнка съ нравственной стороны взглядовъ и идей, высказываемыхъ дѣйствующими лицами въ произведеніи или авторомъ его; такимъ путемъ у учениковъ складывалась мало-по-малу привычка обращать вниманіе на нравственную сторону дѣла... При задаваніи ученикамъ сочиненій также предоставлялась значительная свобода,—позволялось писать иногда на свои темы, причемъ требовалось лишь серьезное соотвѣтственно силамъ ученика содержаніе и серьезное отношеніе къ труду. Сочиненія учениковъ Стоюнинъ всегда просматривалъ съ большимъ вниманіемъ и могъ, отдавая имъ работы, сдѣлать обстоятельную оцѣнку ихъ. Это, конечно, вело къ тому, что и ученики относились къ работамъ, задаваемымъ Стоюнинымъ, гораздо серьезнѣе, чѣмъ къ работамъ другихъ преподавателей, не походившихъ на него.

У него никогда не бывало столкновеній съ учениками: шалостей не происходило, потому что всѣ были заняты дѣломъ и

съ глубокимъ уваженіемъ смотрѣли на своего преподавателя, который всегда относился къ нимъ хотя и очень требовательно и даже строго, но справедливо, никогда и ни въ какомъ случаѣ не позволялъ себѣ оскорблять въ ученикѣ чувство человѣческаго достоинства. Притомъ и самъ онъ держалъ себя съ рѣдкимъ достоинствомъ. При входѣ начальства въ классъ спокойно продолжалъ свое дѣло, не обнаруживалъ суетливаго усердія; но зато никогда не позволялъ себѣ при ученикахъ относиться къ отсутствующему начальству или распоряженіямъ его слегка или даже съ порицаніемъ... Въ случаѣ если ученики, еще не привыкшіе къ Стоюнину, какъ-нибудь разговоромъ или иначе нарушали классную тишину, онъ обыкновенно слегка стучалъ пальцами по каедрѣ, давая замѣтить, что мѣшаютъ уроку... И этого было довольно: говоръ смолкалъ немедленно, и этимъ дѣло кончалось. Стоюнинъ не производилъ розыска виновныхъ, не выражалъ рѣзко своего неудовольствія...

Намъ приходилось слышать отъ нѣкоторыхъ бывшихъ учениковъ Стоюнина, что они обязаны преимущественно ему тѣмъ, что вышли изъ гимназіи честными и дѣятельными людьми. Мы уже упоминали выше о сердечныхъ чувствахъ, какія выражали Стоюнину его бывшіе ученики на юбилейномъ торжествѣ 3-ей гимназіи. Приведемъ здѣсь отрывокъ изъ сохранившагося въ бумагахъ Стоюнина письма къ нему одного выпуска его бывшихъ учениковъ, которые праздновали двадцатипятилѣтіе окончанія своего курса въ гимназіи. „Четверть вѣка, прожитая нами послѣ выпуска изъ гимназіи, не ослабила, а укрѣпила въ насъ то естественное для всѣхъ вашихъ учениковъ чувство, которое возбуждала въ насъ ваша личность и въ стѣнахъ, и за стѣнами гимназіи. Передъ нами стоятъ живыми и теперь идеалы, какіе вы предъ нами ставили, пока мы слушали ваше правдивое слово съ учительской каедрой, и тѣ принципы, какіе вы проводили и проводите не только въ литературѣ, но и въ жизни“.

Какая награда для учителя можетъ быть выше и лучше такого чувства къ нему людей уже зрѣлыхъ лѣтъ, учившихся у него четверть вѣка назадъ? Развѣ только одно—убѣжденіе, что тѣ принципы и идеалы, которые онъ, этотъ учитель, вселялъ въ души своихъ учениковъ, не остались лишь свѣтлымъ воспоминаніемъ о юношескихъ годахъ съ ихъ мечтами и грезами...

Только крупная, выдающаяся личность можетъ оставлять такой живой, не остывающій слѣдъ въ душахъ своихъ учениковъ. И дѣйствительно, Стоюнинъ былъ, какъ человекъ, выдающимся явленіемъ нашей жизни. Рѣдко, очень рѣдко, встрѣтишь такую

чистую, цѣльную, содержательную личность. Это былъ человѣкъ высокообразованный, эстетически уравновѣшенный, серьезно думающій, любящій, глубоко убѣжденный, искренне вѣрующій и въ то же время въ высшей степени непритязательный, скромный, даже нѣсколько застѣнчивый.

Приведемъ здѣсь изъ писемъ два отрывка, характеризующіе его съ нѣкоторыхъ указанныхъ сторонъ.

„Вчера, — пишетъ онъ въ одномъ изъ писемъ, — прочитавъ объявленіе о новомъ изданіи сочиненій Байрона въ русскомъ переводѣ, я задумался о томъ своемъ молодомъ времени, когда я упивался нѣкоторыми его произведеніями, въ особенности „Чайльдъ-Гарольдомъ“ и „Манфредомъ“ въ прозаическомъ французскомъ переводѣ. Я думаю, что собственно могло прельщать меня въ этихъ гордыхъ и разочарованныхъ характерахъ, когда во мнѣ нѣтъ, кажется, ни одной черты съ ними родственной? Я не презиралъ людей, всегда сознавалъ, что въ нихъ болѣе добра, чѣмъ зла, вѣрилъ, что первое сильнѣе второго, что это — явленіе временное, а то вѣчно, — словомъ, если я тогда не былъ вполне мирнымъ гражданиномъ, любилъ юношески погорачиться за всякую мерзость, которая мнѣ казалась общественнымъ зломъ, то не былъ и тѣнью Манфреда или Гарольда, а всегда увлекался надеждой, что, можетъ, наступитъ и лучшее время, и оно было, и я его видѣлъ, а между тѣмъ, припоминая все того же Манфреда и Гарольда, я опять увлекся ими, какъ юноша. Мнѣ представилась въ нихъ эта несокрушимая внутренняя сила, которая не боится борьбы съ жизнью, хотя бы эта жизнь представилась ничтожною, ненавистною, хотя бы она не давала никакой надежды на лучшее. Эта сила дѣйствительно возвышаетъ человѣка, потому что дѣлаетъ его могучѣе... Сознать ее въ себѣ, человѣкъ дѣлается нравственнѣе другихъ (хотя Байрона и его героев и упрекали въ безнравственности). Великая душа сказывается не въ отчаяніи: жизнь не идетъ, какъ мнѣ хочется, какъ мнѣ нужно, какъ мнѣ пріятно, такъ я не хочу и жить! нѣтъ, она будетъ только съ усиліемъ бороться, потому что ей нужно нравственное величіе, которое можетъ проявляться лишь въ борьбѣ; страданіе для нея — раны, съ которыми каждый храбрый солдатъ продолжаетъ биться въ сраженіи; такіе храбрецы и одерживаютъ побѣды, вначалѣ кажущіяся сомнительными. Тутъ вопросъ не въ томъ, какая польза человѣку отъ этого величія души, если ему все приходится страдать, а въ томъ — долженъ ли онъ въ своихъ собственныхъ глазахъ стать высоко нравственнымъ человѣкомъ, долженъ ли онъ стремиться къ такой нравственности,

которая и есть настоящая религіозная нравственность. Мнѣ очень нравятся эти стихи Байрона:

Меня враги пытались упрекнуть,  
 Что будто я съ религіей въ раздорѣ.  
 Но еслибъ могъ я вскрыть предъ вами грудь,  
 То вѣрно-бъ вы рѣшили въ нашемъ спорѣ,  
 Кому изъ насъ доступнѣй въ небо путь?  
 Мнѣ алтари—вершины горъ и море,  
 Земля и звѣзды,—вся природа-мать,  
 Готовая мой духъ въ себя принять.

Вотъ какъ услаждается религіозное чувство сильной души, не падающей въ страданіяхъ. Такая сила и составляетъ жизненную сторону поэзіи Байрона, она-то особенно и охватываетъ при чтеніи его произведеній. Они укрѣпляютъ душу и какъ будто вооружаютъ ее на благородную борьбу. Думаю, что въ юности они помогли и мнѣ въ моемъ самовоспитаніи, и если я сдѣлался не совсѣмъ безхарактернымъ человѣкомъ, то благодаря раннему развитію во мнѣ эстетическаго чувства, особенно любви къ поэзіи, безъ которыхъ я не подошелъ бы и къ Байрону, потому что не понималъ бы его и не нашелъ бы въ немъ интереса. Обо всемъ этомъ я заговорилъ потому, что въ послѣднее время много думалъ о томъ, какъ важно рано развивать эстетическое чувство, и въ какія границы должно поставить его, чтобы также не перейти въ крайность "...

Въ другомъ письмѣ, говоря о посѣщеніи троицкой лавры, онъ пишетъ между прочимъ: „Здѣсь такъ хорошо, что не хочется выйти. На душу нисходитъ какое-то благоговѣніе. Здѣсь-то и вѣрится, и плачется, и такъ легко, легко! И святыня, и старина, и историческія воспоминанія, все соединяется вмѣстѣ и наполняетъ душу высокимъ чувствомъ. Да, я вѣрю, что здѣсь страдающій дѣйствительно найдетъ утѣшеніе и облегченіе. Не помню я, чтобы какое-нибудь мѣсто такъ сильно подѣйствовало на меня и такъ бы соединилось съ моею душою. Господи, какъ здѣсь хорошо человѣку, не потерявшему вѣры въ святое и любящему свое родное! Сколько вѣры въ помощь и благодать Божию, сколько любви къ человѣку, сколько надежды на лучшее будущее для русскаго народа, такъ много выстрадавашаго, раскрывается въ душѣ и живить ее!“ ...

Въ этихъ отрывкахъ особенно ярко сказывается чуткая душа писавшаго, его взглядъ на жизнь какъ на борьбу, его эстетическое чувство, его религіозное и патриотическое настроеніе...

Не помню, по какому случаю я познакомился лѣтъ семь

тому назадъ со Стоюнинымъ; помню только, что первое впечатлѣніе онъ произвелъ на меня не особенно пріятное. Сухощавая, высокая и прямая фигура его, болѣзненное, морщинистое и нѣсколько суровое лицо его съ темной бородой, окаймленное темными прямыми волосами, производили впечатлѣніе чего-то жестяго и сухого. Самая рѣчь его, отрывистая и рѣшительная, казалась сухой и не въ мѣру авторитетной... Но чѣмъ ближе я узнавалъ его, тѣмъ все больше и больше сглаживалось это впечатлѣніе, и все яснѣе и яснѣе просвѣчивала идеальная добрая душа. То, что принималось за излишнюю авторитетность, оказывалось убѣжденностью; кажущаяся сухость оказывалась лишь сдержанностью въ словахъ. И личность эта становилась все милѣе и дороже. То обстоятельство, что не сразу замѣчались ея прекрасныя качества, что они какъ-то скрывались отъ наблюденія, дѣлало ихъ еще цѣннѣе, какъ своего рода открытіе. И мало-по-малу въ личности Стоюнина все начинало нравиться: и фигура, слишкомъ прямая для шестидесятилѣтняго человѣка, притомъ много работавшаго за письменнымъ столомъ, и темные прямые волосы, не тронутые сѣдиною, окаймляющіе постарѣвшее лицо... Все это, казалось, гармонировало съ тою прямою душою, которая была отличительною чертою Стоюнина, съ тою энергіей чувства и мысли, которыя придавали ему что-то свѣжее, юношеское... Даже отрывистая рѣчь, по большей части скупая на слова, наводила на мысль о дѣловомъ человѣкѣ, у котораго есть нѣчто посерьезнѣе, чѣмъ краснорѣчивые разговоры... Говорилъ онъ съ увлеченіемъ лишь тогда, когда приходилось ему высказывать свои завѣтныя мысли... Помню, какъ онъ оживлялся, когда заходила рѣчь о женской гимназій, носящей его имя, о томъ, что еще надо тамъ сдѣлать, какъ вести преподаваніе того или другого предмета. Въ этомъ заведеніи хотѣлъ онъ осуществить свой планъ гармоническаго развитія учащихся, т.-е. не только въ умственномъ и нравственномъ отношеніи, но также и въ эстетическомъ и физическомъ,—и потому рисованію, лѣпкѣ и гимнастическимъ играмъ онъ придавалъ огромное значеніе (имъ отведено въ гимназій М. Н. Стоюниной гораздо больше мѣста, чѣмъ въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ). Онъ такъ дѣльно и съ такимъ увлеченіемъ говорилъ объ этихъ предметахъ, что уже однимъ этимъ привлекалъ въ свое заведеніе выдающихся художниковъ и педагоговъ.

Бывать у Стоюнина мнѣ всегда было въ высшей степени пріятно: помимо того, что у такого знающаго и умнаго человѣка можно было многимъ позаимствоваться,—какъ-то хорошо и свѣтло становилось на душѣ въ присутствіи его. Вотъ, думалось, чело-

вѣкъ, дожившій почти до старости и сохранившій всю свѣжесть души, не утратившій вѣры ни въ идеалы, ни въ людей, человекъ много работавшій и теперь работающій безъ усталости, работающій надъ тѣмъ, что полезно не для него только, а для другихъ,—человекъ глубоко убѣжденный и никогда не измѣнявшій своимъ убѣжденіямъ... За это не разъ чувствительно мяла его суровая дѣйствительность, но не смяла! И вѣрилось, глядя на него, что еслибы и большія жизненные невзгоды и бури обрушились на него, то не согнули бы его, а скорѣе сломали бы въ конецъ.

Жизнь его до такой степени срослась съ истиной и добромъ, что онъ и не могъ бы жить и дѣйствовать иначе, чѣмъ жилъ. И думалось иногда, глядя на него: вотъ человекъ съ богатой и сильной натурой, на которую наложило свою глубокую, неизгладимую печать истинное просвѣщеніе, наполнившее его умъ и чувство, облагородившее ихъ и давшее направленіе. Такіе люди не могутъ мириться съ дѣйствительностью, которая всегда ниже ихъ,—и зовутъ ихъ житейскіе практики идеалистами и непрактичными людьми!.. Но только такіе идеалисты, которымъ часто не легко живется, потому что жизнь ихъ никакъ не укладывается въ тѣ узкія, нерѣдко уродливыя рамки, какія предлагаетъ имъ дѣйствительность,—являются лучшими общественными дѣятелями, вносящими въ общество настоящую жизнь и прогрессъ. Стоюнинъ, отдавшій всѣ силы свои дѣлу просвѣщенія, самъ представлялъ собою весьма поучительный образецъ истинно-просвѣщеннаго человека.

Въ наше безцвѣтное и безхарактерное время, — время всевозможныхъ сдѣлокъ съ совѣстью, умалчиваній и уступокъ, заботъ лишь о своемъ гнѣздѣ, встрѣча съ живыми людьми, подобными Стоюнину, ободряетъ и освѣжаетъ душу.

По словамъ близкихъ къ нему людей, онъ, приготовившись твердо и спокойно къ смерти, нѣсколько разъ повторилъ, что не питаетъ ни къ кому ни малѣйшей злобы... и затѣмъ, уже въ забытіи, какъ бы отдавая самому себѣ отчетъ предъ кончиной, проговорилъ внятно слова: „Ну что же, вѣдь я работалъ“. Прекрасныя слова! Да, работалъ, работалъ много, честно, работалъ на пользу другихъ. Завиденъ удѣлъ человека, который съ такимъ правомъ и въ такомъ смыслѣ можетъ, сводя свои послѣдніе счета съ жизнью, произнести такія слова.

Среди множества вѣнковъ, возложенныхъ на гробъ Стоюнина, былъ одинъ серебряный—съ надписью: „Отъ учителей своему учителю“. Именно учителямъ долженъ быть онъ особенно памятенъ.

нымъ: нивому онъ не оставилъ такого богатаго наслѣдства, какъ имъ,—и въ своихъ трудахъ печатныхъ, и въ своемъ личномъ примѣрѣ. Учителемъ онъ былъ въ настоящемъ и глубокомъ смыслѣ этого слова, дорожилъ скромнымъ учительскимъ трудомъ и понималъ все его значеніе.

Къ нему, какъ къ наставнику, вполне относятся слова, сказанныя имъ объ одномъ своемъ сотрудникѣ:

„Онъ передавалъ молодому поколѣнію все, что самъ носилъ честнаго и прекраснаго въ своей душѣ. Молодымъ педагогамъ укажемъ на него, какъ на примѣръ для подражанія, а тѣ изъ насъ, которые близимся къ концу своего поприща, ободримъ себя мыслью, что завиденъ и скромный, но честный трудъ педагога: его и по смерти благословятъ многіе“.

В. Сиповскій.





---

# ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ТЕОРІЯ

РАЗВИТІЯ

## ИСТОРИЧЕСКИХЪ НАРОДОВЪ

---

Сравнительная географія, по мысли ея основателя Карла Риттера, имѣетъ своею задачею изученіе болѣе или менѣе выгодныхъ условій, представляемыхъ различными мѣстностями земного шара для развитія общественной и культурной жизни человѣчества, съ цѣлью сравненія между собою различныхъ географическихъ областей съ точки зрѣнія ихъ культурно-историческаго значенія.

За какія-нибудь пятьдесятъ лѣтъ своего существованія, эта наука успѣла уже добыть немало очень цѣнныхъ научныхъ результатовъ по нѣкоторымъ вообще культурно-историческимъ и социологическимъ вопросамъ въ частности, благодаря общеизвѣстнымъ трудамъ такихъ ученыхъ, какъ самъ К. Риттеръ и ближайшій его сподвижникъ на этомъ поприщѣ Александръ Гумбольдтъ, а также и болѣе близкихъ къ намъ по времени ихъ извѣстныхъ послѣдователей: Арнольда Гюйо (Guyot), Оскара Пешеля, Элизе Реклю. Но самый основной вопросъ, служащій краеугольнымъ камнемъ всѣхъ вообще сравнительно-географическихъ изслѣдованій,—вопросъ о томъ, насколько по существу географическая среда способна обуславливать общественный строй и историческія судьбы живущаго въ ней человѣчества,—остается еще и до сихъ поръ однимъ изъ вопросовъ, наименѣе разработанныхъ и уясненныхъ въ научномъ направленіи. Нельзя указать ни на одно общеизвѣстное сочиненіе во всей ученой литературѣ новѣйшаго времени, въ которомъ во-

прось этотъ обсуждался бы съ надлежащею методичностью и послѣдовательностью. Его почему-то или вовсе обходятъ, даже въ спеціальныхъ трудахъ по предмету исторической и социологической методологіи, или же ограничиваются по его поводу общимъ мѣстомъ, высказывавшимся уже много разъ мудрецами классической древности, что человѣкъ, какъ и все живущее въ природѣ, носить на себѣ неизгладимую печать той среды или той природы, которая его породила и среди которой онъ живетъ.

Отъ К. Риттера до Герберта Спенсера, отъ Бокля и до Э. Реклю, немало очень талантливыхъ и весьма почтенныхъ изслѣдователей дѣлали въ эту область очень назидательныя экскурсіи; но руководящаго направленія широкой проѣзжей дороги еще не проложилъ въ ней никто. Въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ встрѣчается множество драгоценнаго матеріала, накопленнаго безо всякой системы, какъ бы безъ помысла о его назначеніи; но плана для имѣющаго быть построеннымъ изъ этого матеріала зданія нельзя найти нигдѣ. Приходится каждому поневолѣ самому группировать и классифицировать этотъ цѣнный матеріалъ по своему личному усмотрѣнію, на свой собственный страхъ. Такая приготовительная работа, умѣстная въ академической работѣ, едва ли бы однакоже представила достаточный интересъ въ глазахъ вообще образованнаго читателя, да и не улеглась бы въ размѣры журнальной статьи. А между тѣмъ въ результатъ этого классифицированія, этой группировки разнообразнаго научнаго матеріала, — этнографическаго, историческаго, географическаго, порою даже отвлеченно-социологическаго и биологическаго, — получается нѣчто довольно стройное и способное пролить нѣкоторый свѣтъ на такіе вопросы, которые интересуютъ собою въ настоящее время далеко уже не однихъ только спеціалистовъ.

## I.

Распределеніе историческихъ цивилизацій на земномъ шарѣ. — Теорія племенная, или этнографическая, и теорія географическая, т. е. теорія среды.

На нашихъ глазахъ, за послѣднее время, совершается одно изъ крупнѣйшихъ культурно-историческихъ явленій, и притомъ въ размѣрахъ еще совершенно небывалыхъ и невиданныхъ до сихъ поръ: распространеніе одной — по сущности своей объединяющей, сглаживающей всѣ національныя особенности — европейской цивилизаціи по всему свѣту. Уже въ настоящую минуту едва ли отыщется

на всемъ земномъ шарѣ такой заповѣдный край, куда бы цивилизація эта еще не успѣла проникнуть, по крайней мѣрѣ въ образѣ болѣе или менѣе усовершенствованныхъ ружей, дешевыхъ произведеній англійскихъ хлопчато-бумажныхъ фабрикъ, пивоваренъ и т. п. Нѣкоторые изъ народовъ, наиболѣе отъ насъ удаленныхъ и такъ недавно еще носившихъ въ нашихъ глазахъ какой-то характеръ отчужденности отъ всего человѣческаго рода, замкнутости, чуть-что не сказочности, — наприм. сіамцы, японцы, жители Сандвичевыхъ острововъ, — успѣли уже не только преобразиться болѣе или менѣе основательно и удачно по европейскому образцу, но даже перерядиться въ мундиры и скуртузы европейскаго покроя. Другіе, какъ, наприм., китайцы, чтобы противостоять захвату европеизма, чтобы сохранить хоть тѣнь надежды на успѣхъ въ неравной борьбѣ, принуждены у этого же европеизма дѣлать еретическія заимствованія. Области самыя глухія, недавно еще бывшія намъ менѣе извѣстными, чѣмъ географія луны — степи Монголіи, плоскогорія Тибета, вся внутренняя Африка — уже изслѣдуются отважными путешественниками всѣхъ націй, предвѣстниками скорого захвата, экономическаго, если не политическаго... Короче говоря, съ недавнимъ открытіемъ Кореи для иностранцевъ, побѣдоносный европеизмъ не находитъ уже, кажется, ни одного запретнаго уголка на всей поверхности нашей планеты. Въ Америкѣ и въ Сибири колонизація — вольная или подневольная — уже перешагнула за изотермическую линію годичной температуры точки замерзанія воды, т.-е. за предѣлъ, который можно бы было считать положеннымъ самою природою распространенію культурнаго человѣчества на землѣ. Только очень немногіе изъ наличныхъ злаковъ и изъ домашнихъ животныхъ оказываются способными не отставать въ этомъ всемірномъ развитіи своемъ отъ европейца, вооруженнаго тою цивилизаціею, которая (какъ насъ нерѣдко увѣряютъ) будто бы истощаетъ наши силы и своими утонченіями уменьшаетъ нашу стойкость въ жизненной борьбѣ.

Несмотря, однакоже, на эти почти невѣроятные успѣхи всеглаживающаго европеизма за послѣднія двадцать или двадцатьпять лѣтъ, въ распредѣленіи цивилизаціи по лицу обитаемаго міра замѣчаются еще вопіющія неравенства. Такъ, въ Африкѣ, напримѣръ, не далеко отъ того самаго Нила, на берегахъ котораго первая историческая цивилизація зародилась, можетъ быть, вѣковъ шестьдесятъ тому назадъ, свирѣпыя момбутту открыто продаютъ въ мясныхъ лавкахъ человѣческое мясо и, для снабженія имъ своихъ рынковъ, ведутъ кровавыя войны съ сосѣдями и

между собою На Гвинейскомъ берегу, рядомъ съ цвѣтущими французскими, англійскими и португальскими колоніями, дагомейскіе короли празднуютъ еще ежегодно „великое обыкновеніе“ и избиваютъ тысячи своихъ подданныхъ во славу мертвыхъ и боговъ... Подобныхъ контрастовъ нетрудно набрать великое множество; замѣтимъ, ради краткости, что каждая изъ пяти частей свѣта, въ дѣлѣ распространенія цивилизаціи, сохраняетъ еще вполне до настоящей минуты свою рѣзко обособленную фیزیономію. Одна Европа можетъ еще съ большимъ или меньшимъ основаніемъ въ разныхъ своихъ частяхъ заявлять притязаніе на почетный титулъ „материка цивилизаціи по преимуществу“. Сосѣдняя съ нею Азія представляется пополамъ перерѣзанною длиннѣйшею цѣпью высокихъ горъ, отъ Кавказа сплошь до Тихаго океана: большая половина, на сѣверъ отъ этой *диафрагмы*, является еще почти сплошною пустынею, не насчитывающаю среднимъ числомъ одного жителя на квадратную версту, и гдѣ только въ видѣ рѣдкихъ оазисовъ разсыпаны довольно многолюдныя людскія скопленія, слабыя и туго-развивающіеся зародыши будущихъ культуръ. На югъ отъ этой раздѣлительной цѣпи, напротивъ, многолюднѣйшія въ мірѣ націи, когда-то блиставшія во главѣ всемірно-историческаго поприща, жалко доживаютъ свой вѣкъ въ старческомъ маразмѣ, какъ Индія или какъ Китай, и подвигаются черепаши-медленнымъ шагомъ... къ возрожденію или къ окончательному распаденію: трудно предсказать. Африка, за исключеніемъ узкой береговой полосы, коснѣетъ почти сплошь въ дикости или варварствѣ, давно уже изжитомъ въ другихъ краяхъ. Въ Сѣверной Америкѣ цивилизація, оторвавшаяся отъ европейскаго корня, тѣснитъ пастушесствующихъ краснокожихъ всякаго наименованія, до сихъ поръ еще не догадавшихся приручить ни одного животнаго, хотя дикіе предки быковъ и буйволовъ, несмотря на штудеры предприимчивыхъ янки, еще кишмя-кишатъ у нихъ подъ боконъ; а на югъ отъ Панамскаго перешейка, переродившіеся потомки испанцевъ и португальцевъ и съ каждымъ годомъ возрастающіе численно европейскіе пришельцы обнаружатъ драблымъ полу-культурнымъ кольцомъ массивное ядро дикихъ туземцевъ. Въ Австраліи и въ Океаніи, наконецъ, едва ли не самыя отсталыя изъ представителей современнаго челоуѣчества вымираютъ самымъ жалкимъ образомъ въ содѣйствіе такихъ чисто европейскихъ, поражающихъ быстротою своего развитія городовъ, какъ Викторія, Мельбѣрнъ, Аделаида, Брисбонъ...

Такова картина, которую мы застаемъ въ наличности въ на-

стоящее время. Чѣмъ дальше мы отходимъ въ прошлое, тѣмъ только рѣзче выступаютъ на видъ неравенства и контрасты въ дѣлѣ распространенія цивилизаціи на землѣ. Если мы представимъ себѣ, что созданіе единой всемірной цивилизаціи составляетъ общую задачу всего человѣчества, то мы тотчасъ же увидимъ, что изъ приблизительно полутора миллиарда людей всякаго облика, живущихъ въ настоящее время, одни — какъ, наприм., европейцы и сѣверо-американцы (янки)—хоть съ грѣхомъ пополамъ являются неутомимыми работниками этой всемірной среды; другіе же—южные и восточные азіаты—проработавъ нѣсколько столѣтій, утомились скоро и ушли на покой; третьи же и до сихъ поръ остаются посторонними зрителями, не доставившими еще ни одного камня на сооруженіе общечеловѣческаго зданія, иногда даже предпочитающими смерть активному выходу изъ своего положенія, какъ, наприм., вымирающія австралійскія племена.

Съ тѣхъ поръ какъ исторія стремится быть наукою, она естественно теряетъ право ссылаться на вліянія загадочныя, по примѣру Боссюэ (верховный произволъ), или по Вольтеру (случай), — а потому, для объясненія того неравенства людей передъ цивилизаціею, о которомъ только-что было говорено, предлагаются теперь двѣ гипотезы: одна—этнографическая—корень различія историческихъ судебъ разныхъ народовъ указываетъ намъ въ расовыхъ или племенныхъ особенностяхъ; другая—гипотеза географическая—преобладающую роль въ этомъ дѣлѣ отводитъ вліяніямъ среды, т.-е. климатическимъ, геологическимъ и другимъ природнымъ условіямъ различныхъ мѣстностей и странъ.

Первая изъ этихъ гипотезъ или теорій, т.-е. расовая, пользуется за послѣднее время особеннымъ успѣхомъ въ области такъ-называемой научной соціологіи и даже антропологіи. Едва ли можно найти хоть одно сколько-нибудь полное и общее сочиненіе по этимъ вопросамъ на какомъ бы то ни было европейскомъ языкѣ, начиная съ антропологическихъ лекцій Карла Фогта или „Культурной исторіи“ Гелльвальда, въ которомъ не приводилось бы болѣе или менѣе рѣзкихъ поучительныхъ примѣровъ вліянія, оказываемаго на общественныя учрежденія и на историческія судьбы людей племенными особенностями. Къ сожалѣнію, съ научною методичностью эта расовая теорія общественности и культуры не изложена еще нигдѣ въ должной послѣдовательности и полнотѣ, а потому и обсудить эту теорію въ немногихъ словахъ представляется крайне затруднительнымъ. Отрицать значеніе племенныхъ особенностей въ вопросѣ историческомъ или соціологическомъ, конечно, невозможно; но прежде всего необходимо рѣшить вопросъ,

точно ли эти племенные особенности являются здѣсь моментомъ первичнымъ, рѣшающимъ; или же онѣ, наоборотъ, составляютъ одно изъ многочисленныхъ звеньевъ длинной цѣпи явленій второстепенныхъ, побочныхъ, подчиняющихся другимъ, болѣе перво-степеннымъ влияніямъ? Насколько намъ извѣстно, всѣхъ опредѣленій по этому поводу высказывается д-ръ Ш. Летуридъ въ своей популярной *Этнографической Соціологіи* (*La Sociologie d'après l'Ethnographie*): „среда,—говоритъ онъ,—имѣетъ очень важное значеніе, но значеніе племенныхъ особенностей, расы, еще главнѣе“.

Еслибы это было такъ, то всякое поползновеніе рѣшать въ настоящее время соціологическіе и историческіе вопросы, съ нѣкоторою долею научной достовѣрности и положительности, слѣдовало бы заранѣе признать крайне преждевременнымъ и несостоятельнымъ по существу. Въ самомъ дѣлѣ, всѣ попытки раздѣлить человѣчество на какіе бы то ни было научно опредѣленные отдѣлы или расы приводили до сихъ поръ къ результатамъ, крайне смутнымъ и сбивчивымъ; сколько ни мѣняли признаки, полагаемые въ основу предлагаемой классификаціи, переходя отъ цвѣта кожи (пресловутое дѣленіе Blumenбаха) къ разрыву волосъ (*leiostrichi* и *lotrichi*), къ формѣ череповъ (*brachicephali* и *dolichocephali*), или, наконецъ, къ совокупности анатомическихъ признаковъ. Каждый годъ почти появляются новыя попытки обосновать расовую классификацію на какихъ-нибудь совершенно новыхъ началахъ, свидѣтельствующія, какъ намъ кажется, всего краснорѣчивѣе о шаткости и научной несостоятельности всѣхъ тѣхъ основъ, на которыхъ повоются подраздѣленія, признаваемые за неизмѣнимъ лучшаго во всѣхъ учебникахъ антропологии и географіи. Такъ, недавно еще, извѣстный знатокъ южно-африканскихъ народностей, Фричъ, пришелъ къ заключенію, что всѣ существующія человѣческія разновидности могутъ быть сведены къ двумъ первичнымъ типамъ: *homo sedentarius*, оставившій по себѣ очень немногочисленныхъ и теперь еще болѣе или менѣе быстро вымирающихъ потомковъ между самыми отсталыми дикарями, и *homo migratorius*, отъ котораго произошло путемъ приспособленія къ различнымъ условіямъ среды все остальное человѣчество. Въ своемъ сочиненіи: *Kulturgeschichte der Menschheit in ihrem organischen Aufbau*, онъ съ замѣчательнымъ знаніемъ дѣла проводить мысль, что все современное человѣчество могло очень удобно произойти и отъ одного первоначальнаго *чернаго* или *негритянскаго* типа, который постепенно измѣнялся подъ влияніемъ измѣняющихся условій среды и культуры. При-

знаявая такимъ образомъ племенные особенности въ рѣшающій моментъ для интереснаго вопроса о неравенствѣ различныхъ человѣческихъ группъ передъ лицомъ исторіи и цивилизаціи, мы очутились бы въ заволдованномъ кругѣ, т.-е. выходило бы, что культурное неравенство есть плодъ племенныхъ особенностей, которыя сами порождаются историческими же условіями. Нѣкоторую устойчивость отличается только классификація лингвистическая, подобная той, наприм., которой держится Фридрихъ Мюллеръ въ своемъ превосходномъ учебникѣ этнографіи. Но эта классификація,—очень цѣнная, пока дѣло идетъ о приведеніи въ нѣкоторую систему этнографическихъ и лингвистическихъ учебниковъ,—имѣетъ очень мало точекъ соприкосновенія съ исторіею и социологіею и неспособна пролить свѣта на интересующій насъ вопросъ.

Д-ръ Летурно хорошо сознаетъ эти трудности и не срываетъ ихъ отъ своихъ читателей, но онъ полагаетъ, что въ культурно-историческомъ отношеніи мы можемъ замѣнить всѣ антропологическія и этнографическія классификаціи раздѣленіемъ человѣчества на три большія группы, предложеннымъ нѣкогда Ж. Кювье въ замѣну Блуменбаховскаго дѣленія: на *бѣлую*, *желтую* и *черную*. Правда,—говоритъ ученый авторъ *Этнографической Соціологіи*,—группы эти не имѣютъ научно-опредѣленныхъ границъ ни строго-научнаго значенія, но мы тѣмъ не менѣе можемъ утверждать, что *черная* раса нигдѣ и нивогда не создавала историческихъ культуръ; *желтая* раса создавала культуры прочныя, но неспособныя къ высшему развитію, и только одна *бѣлая* раса отличается драгоценною способностью создавать культуры и прочныя, и высшія.

Это подобіе племенной классификаціи, подкупающее въ свою пользу кажущаяся своею простотою и своимъ, на бѣглый взглядъ, вѣрнымъ выраженіемъ того, что мы точно видимъ въ дѣйствительности, рассыпается однакоже въ прахъ, какъ только мы попробуемъ серьезно приложить его къ объясненію историческаго неравенства племенъ и народовъ. Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что всѣ народы, стоящіе въ настоящее время во главѣ культурнаго движенія, принадлежать къ арійской вѣтви бѣлаго племени; но не такъ давно еще были времена, когда эта арійская вѣтвь уступала въ культурно-историческомъ отношеніи передъ семитическою вѣтвью того же бѣлаго племени, и мы не можемъ понять, почему же такъ мѣняются историческія судьбы одной и той же группы людей, которыхъ племенныя отношенія остаются неизмѣнными? Такихъ примѣровъ однакожъ въ самомъ арій-

скомъ племени мы встрѣчаемъ множество на каждомъ шагу, не выходя даже изъ предѣловъ привилегированной будто бы бѣлой расы. Такъ, греки временъ Перикла и греки временъ министерства Дельяниса и Трибуписа съ культурно-исторической точки зрѣнія представляютъ двѣ совершенно различныя величины, а племенной ихъ составъ все тотъ же; отношенія между римлянами и германцами при Тацитѣ были совсѣмъ не тѣ, что при кн. Бисмаркѣ, и расовая теорія культурныхъ неравенствъ не заключаетъ въ себѣ даже и намека на возможность объясненія такихъ перемѣнъ. Персы временъ Кира были, по всей вѣроятности, значительно больше перемѣшаны съ туранскими (*желтыми* изъ Мидіи) элементами, чѣмъ теперь, а на лѣствицѣ культурно-историческаго развитія стояли значительно выше. Афганцы нашего времени числятся въ томъ же арійскомъ отдѣлѣ *благое* человечества, къ которому завѣдомо принадлежатъ и англичане; а что же можно найти общаго въ историческихъ судьбахъ и культурномъ значеніи тѣхъ и другихъ? Всѣ новѣйшія изслѣдованія какъ археологическія, такъ и антропологическія (Е. Нану), приводятъ къ тому заключенію, что дѣйствительными создателями халдейской цивилизаціи, которая положила таковой прочный фундаментъ всемірно-исторической культурѣ, были *желтые* туранцы, сродные съ нынѣшними финно-алтайскими народностями, а не *бѣлые* ассирио-вавилонскіе семиты. Наконецъ, еслибы намъ пришлось приводить примѣръ исторически доказанной неспособности какого-нибудь народа къ цивилизаціи, то мы стали бы искать его не между гвинейскими неграми или андаманскими миньопіями, которые живутъ въ завѣдомо неблагоприятныхъ географическихъ условіяхъ среды, а между *бѣлыми* арабами, кочующими на востокъ отъ синайскаго полуострова, такъ какъ они, споконъ вѣка находясь въ близкомъ соприкосновеніи съ двумя самыми древними культурами—египетскою и месопотамскою,—остаются до сихъ поръ въ такомъ же точно культурномъ положеніи, въ какомъ ихъ рисуютъ литературные памятники временъ фараоновъ старѣйшихъ египетскихъ династій.

Еще меньшею состоятельностью можетъ похвалиться вторая племенная группа, устанавливаемая докторомъ Легурно, т.-е. *желтая*, отличающаяся будто бы своею способностью создавать цивилизаціи прочныя, но низкопробныя, по сравненію съ *бѣлыми* арійскими или семитическими культурами. Это болѣе или менѣе (скорѣе, впрочемъ, менѣе, чѣмъ болѣе) вѣрно, пока мы будемъ принимать въ расчетъ однихъ только китайцевъ, которыхъ авторъ, очевидно, и имѣлъ специально въ виду, провозглашая свою характеристику;



но принадлежность китайцевъ къ желтому, т.-е. монгольскому или монголоидному племени, составляетъ еще большой вопросъ, въ которомъ, во всякомъ случаѣ, невозможно отрицать сильныхъ малайскихъ и иныхъ примѣсей. Изъ народовъ же, несомнѣнно принадлежащихъ къ *желтой* расѣ, едва ли создателями прочныхъ, хотя бы и низкопробныхъ культуръ, могутъ быть названы монголы, которыхъ Чингизъ-Ханово царство распалось уже съ третьяго поколѣнія и сохранило культурнаго значенія ровно настолько, насколько, со времени Кублая, оно успѣло обитаться, т.-е. поворотиться побѣжденной имъ культурѣ. Затѣмъ изъ историческихъ націй *желтаго* племени остаются одни османскіе турки, о которыхъ прежде всего слѣдуетъ сказать, что они давнымъ-давно уже принадлежатъ къ урало-алтайской вѣтви только по языку; антропологически же они породнились съ арійцами и семитами, благодаря вѣковой привычкѣ похищать или покупать своихъ женъ на Кавказѣ, въ дунайскихъ мѣстностяхъ, въ Польшѣ, въ Малороссіи. Впрочемъ отъ такого родства они выиграли немного. Культурно-историческое значеніе турокъ часто уподобляли роли тѣхъ шакаловъ и хищныхъ птицъ, которые одни въ турецкихъ городахъ занимаются ассенизаціею, подбирая валяющуюся на улицахъ пададь. Присмотрѣвшись нѣсколько внимательнѣе, можно бы даже и эту роль найти для нихъ слишкомъ лестною, потому что въ дѣйствительности турецкіе завоеватели, ограбивъ отжившя цивилизаціи Византіи и халифовъ, даже не прибрали ихъ труповъ, а оставляютъ ихъ мирно догнивать подъ открытымъ небомъ до нашихъ дней.

Такимъ образомъ, та органическая неспособность создавать историческія культуры, которую д-ръ Летурно считаетъ характеристическою чертою *чернаго* племени, оказывается свойственною также и нѣкоторымъ *бѣлымъ* народностямъ, и, за очень немногими исключеніями, монгольскимъ или туранскимъ племенамъ. Но дѣйствительно ли негры такъ органически неспособны къ созданію высшихъ историческихъ культуръ, какъ это постоянно утверждаютъ, нерѣдко даже въ очень ученыхъ трудахъ? Основательный отвѣтъ на этотъ вопросъ значительно затрудняется тѣмъ, что, при современномъ состояніи нашихъ антропологическихъ и этнографическихъ свѣденій, рѣшительно невозможно сказать съ нѣкоторою основательностью, гдѣ начинается *черный* типъ. Тѣ, которые видѣли его образчики въ балаганахъ и циркахъ, легко допускаютъ, что *негръ* очень рѣзкими чертами отличается отъ всѣхъ другихъ представителей рода человѣческаго; но всѣ подступавшіе къ разсѣдованію „чернаго“ вопроса на мѣстѣ и со строго научными

приемами, какъ Роб. Гартманъ, Вернеръ-Мунцингеръ и Г. Фричъ, единодушно утверждаютъ, что слово „негръ“ не выражаетъ собою ровно ничего, кромѣ спутанности нашихъ этнографическихъ представлений. Дѣло въ томъ, что очень многіе изъ народовъ, игравшихъ несомнѣнно первостепенную историческую роль, темнотою кожи и курчавостью волосъ нерѣдко превосходили самыхъ породистыхъ африканскихъ негровъ. Такъ наприм., когда ведійскіе арійцы пришли въ Пенджабъ, то они были совершенными варварами по сравненію съ культурными народами, которыхъ они уже тамъ застали. Въ Ведахъ эти культурные противники, а отчасти союзники арійскихъ пришельцевъ, смѣшиваются подъ общимъ именемъ *Дайсію*; но мы уже можемъ различать въ нихъ желтокожихъ туранскихъ завоевателей отъ иного элемента, по всей вѣроятности туземнаго, дравидскаго, въ эпическихъ поэмахъ позднѣйшаго времени обозначаемаго подъ именемъ обезьянъ и державшаго вообще сторону арійскихъ пастуховъ противъ прежнихъ, желтокожихъ пришельцевъ. Индустанскіе же дравиды чернѣе многихъ завѣдомо негритянскихъ племенъ. Но тутъ еще можно возразить, что эти чернокожіе туземцы Индустана, о первоначальномъ культурномъ состояніи которыхъ мы съ точностью не можемъ судить, вошли въ концѣ концовъ въ составъ исторической индійской націи въ качествѣ низшихъ кастъ. Но это возраженіе уже непримѣнимо будетъ къ тѣмъ загадочнымъ тоже чернымъ племенамъ, которыя, подъ именемъ кушитовъ, играли одну изъ совершенно первостепенныхъ ролей въ дѣлѣ цивилизаціи Ассиро-Вавилоніи. По мнѣнію Липшера, кушиты эти отличались отъ самыхъ типичныхъ негровъ только нѣсколько меньшею курчавостью волосъ. Тѣмъ же самымъ чернокожимъ кушитами приписываютъ столь же видную роль въ созданіи и египетской цивилизаціи. У колыбели всемірной исторіи, въ Египтѣ, мы застаемъ замѣчательно пеструю смѣсь самыхъ разнообразныхъ этнографическихъ элементовъ; на знаменитой гробницѣ Сети I въ Өивахъ очень легко различаются превосходно изображенныя четыре составныя части египетской націи, начиная съ *блѣдно* ливійца или бербера *Тамакху* <sup>1)</sup>, *желтаго* семита *Хаму*, *чернаго* *Назасіу*, представляющаго всѣ отличительныя черты типичнаго негра; наконецъ, *краснаго* или коричневаго *Рету* или *Ротъ* (библейскіе *Людъ*, во множественномъ числѣ *Людимъ*). Конечно, это замѣчательно вѣрное изображеніе на гробницѣ не даетъ намъ нивакихъ

<sup>1)</sup> *Тамакхекъ* или *Тамашекъ* остается и теперь еще національнымъ именемъ тѣхъ берберскихъ племенъ, которыя болѣе навѣстны подъ ихъ арабскимъ прозанцемъ *Туарекъ*.

указаній на взаимныя отношенія этихъ четырехъ элементовъ, но мы можемъ пополнить пробѣлы свѣденіями, почерпнутыми изъ другихъ, не менѣе достовѣрныхъ источниковъ. Мы знаемъ, что Озирисъ, богъ добра, порядка и культурности, по представленіямъ египтянъ, представлялся *чернокожимъ*<sup>1)</sup>; тогда какъ противнигъ его, демоническій Сеть или Тифонъ, изображался желтокожимъ и рыжеволосымъ. Значеніе такого показанія, намъ кажется, не дается въ комментаріяхъ.

Короче, въ виду своей расплывчатости и шаткости, эта племенная или этнографическая теорія культурности, очевидно, не можетъ дать намъ надежнаго ключа къ разгадкѣ того неравенства народовъ передъ всемірною исторіею, которое служить точкою отправленія этой статьи. Ошибочно было бы предполагать, что такая несостоятельность расовой теоріи истекаетъ не изъ ея сущности, а только изъ временно неблагоприятныхъ условій, въ которыхъ находится еще въ настоящую минуту научная классификація человѣческихъ расъ. Намъ кажется, что современная антропология оказала въ этомъ отношеніи уже очень существенную услугу, приводя насъ къ заключенію, что этнографическое понятіе расы (желающіе могутъ убѣдиться въ томъ хотя бы по учебнику П. Топинара) вовсе не отвѣчаетъ какимъ-нибудь естественнымъ или біологическимъ подраздѣленіямъ человѣчества, а выражаетъ собою въ громадномъ большинствѣ случаевъ историческій аггломератъ самыхъ разнообразныхъ антропологическихъ элементовъ. Часто случается при этомъ, что историческіе аггломераты, представляющіеся намъ крайне разнородными и вполнѣ искусственными, въ дѣйствительности представляютъ нѣкоторое антропологическое единство; тогда какъ націи, гораздо болѣе объединенныя въ этнографическомъ и политическомъ отношеніи, состоятъ изъ самыхъ разнородныхъ антропологическихъ разновидностей. Такъ, швейцарцы, напримѣръ, несмотря на то, что они политически раздѣлены на двадцать-два почти независимыхъ государства и говорятъ на четырехъ языкахъ, обладаютъ немалою антропологическою однородностью, характеризуемою брахоцефальностью ихъ череповъ; тогда какъ нѣмцы, такъ много говорящіе о своемъ національномъ единствѣ и принесли столько тяжелыхъ жертвъ своему политическому объединенію, основанному будто бы на самыхъ прочнѣйшихъ научныхъ данныхъ, антропологически представляютъ крайне разнородный аггломератъ очень

<sup>1)</sup> Плутархъ повторяетъ это нѣсколько разъ въ своемъ извѣстномъ трактатѣ объ *Индѣ и Озирисѣ*.

отдаленныхъ одна отъ другой человѣческихъ разновидностей, начиная отъ крайне долихоцефалическихъ бѣловурыхъ сѣверныхъ германцевъ и кончая очень брахицефалическими и черноволосыми швабами и эльзасцами. Такую же антропологическую разнородность мы видимъ не только въ позднѣйшихъ историческихъ формаціяхъ, каковы германская раса и латинская раса и т. п., но даже и въ отдѣлахъ гораздо болѣе общихъ и фундаментальныхъ. Можно говорить объ арійской расѣ, о семитической расѣ, если мы подъ этими названіями условились понимать совокупность народовъ, говорящихъ такими языками, которые могутъ быть сведены къ одному общему корню; но коль скоро мы вообразимъ себѣ, что эти подраздѣленія отвѣчаютъ какимъ-нибудь естественнымъ человѣческимъ разновидностямъ, одареннымъ каждая своею сколько-нибудь обособленною организаціею, то мы тотчасъ же очутимся въ вопіющемъ противорѣчій съ фактами, исполнѣ засвидѣтельствованными, благодаря новѣйшимъ успѣхамъ антропологии.

Предположеніе, будто бы человѣческія расы одарены какою-то специфическою способностью быть именно такими, какими мы ихъ видимъ въ дѣйствительности или въ исторіи — не научно по самому существу, а потому и неосновательно было бы ждаты, что оно можетъ подтвердиться дальнѣйшими успѣхами точнаго знанія. Совершенно наоборотъ: Дарвиновская антропология прочно установила то основное положеніе, что всѣ животныя и растительныя разновидности и даже виды создаются примѣняемостью къ разнообразнымъ условіямъ среды; наследственность же является только факторомъ, распространяющимъ вліяніе среды на цѣлыя ряды поколѣній, а слѣдовательно только упрочивающимъ пластическое вліяніе среды на органическія формы и замедляющимъ ходъ метаморфозы. Таково же точно должно быть взаимное отношеніе наследственности и примѣняемости, т.-е. расы и среды, точно также и въ человѣчествѣ; а слѣдовательно и расовая или этнографическая теорія культурности можетъ быть только однимъ изъ многочисленныхъ потоковъ, сливающихся въ общемъ широкомъ руслѣ „теоріи среды“. Мы можемъ насчитать уже не мало такихъ примѣровъ, гдѣ расовыя особенности выработались на нашихъ глазахъ, въ сравнительно очень незначительный промежутокъ времени, подъ вліяніемъ одного только измѣненія географической среды. Такъ, англо-саксонская колонизація Сѣверной Америки уже завѣдомо привела къ возникновенію совершенно новаго этнографическаго типа „янки“, антропологически отличающагося очень замѣтно и существенно отъ первоначальнаго типа, породившаго его. Не меньшему, хотя и менѣе разслѣдованному измѣненію подверг-

лись въ той же Сѣверной Америкѣ гвинейскіе негры, насильственно переселенные въ нее. Еще рѣзче примѣръ, засвидѣтельствованный Ливингстономъ у голландскихъ колонистовъ (*boer*) мыса Доброй Надежды, которыхъ, — уже вслѣдствіе ихъ отвращенія отъ африканскихъ туземцевъ, — трудно заподозрить въ половомъ смѣшеніи съ бушменами; а тѣмъ не менѣе, у женщинъ этой колоніи уже замѣчается та антропологическая особенность, *стеатопигия*, которая считается одною изъ самыхъ рѣзкихъ характеристикъ бушменской расы. Но вообще вопросъ о тѣхъ предѣлахъ, которые наслѣдственность полагаетъ приспособляемости и измѣняемости человѣческихъ типовъ, принадлежитъ къ числу наименѣе разслѣдованныхъ наукою. Къ немалому нашему удивленію, мы нерѣдко видимъ, что дѣятели, прославившіеся вполне законно на біологическомъ поприщѣ своимъ трансформизмомъ à outrance (наприм., К. Фогтъ), — на поприщѣ антропологическомъ измѣняютъ этому руководящему принципу и говорятъ намъ о расовыхъ или племенныхъ особенностяхъ, какъ о неизмѣнной первичной данной всякаго дальнѣйшаго историческаго и социологическаго развитія. Работы же, специально посвященные этому интересному вопросу, какъ, наприм., „la Sélection chez l'homme“, нашего соотечественника П. И. Якоби, удостоенная преміи мадридской академіи, а также почтенный трудъ А. Декандоля „la Science et les Savants“ — не только не уясняютъ дѣла, на нашъ взглядъ, но даже ставятъ его на ложную почву, основывая свои приговоры надъ наслѣдственностью на такихъ изслѣдованіяхъ, которыя, главнѣйшимъ образомъ, относятся къ влияніямъ среды. Когда А. Декандоль замѣчаетъ, наприм., что сынъ извѣстнаго ученаго сталъ, въ свою очередь, ученымъ, то онъ прямо выводитъ изъ этого, будто сынъ этотъ унаслѣдовалъ отъ отца органическое предрасположеніе къ учености, тогда какъ намъ кажется, что въ данномъ случаѣ сынъ унаслѣдовалъ отъ отца жизнь въ такой средѣ или обстановкѣ, въ которой ученая карьера ему значительно доступнѣе, чѣмъ сыну какого-нибудь извозчика. Точно такую же методологическую ошибку дѣлаетъ, съ своей стороны, и П. И. Якоби, когда онъ ставитъ на счетъ наслѣдственности тѣ психопатическіе признаки, которые онъ находитъ въ дѣломъ рядѣ потомковъ Юлія Цезаря; совершенно не замѣчая того, что если среда могла вызвать въ Юліѣ извѣстное психопатическое явленіе, которое не унаслѣдовано имъ отъ отца, то и дѣти, и правнуки его, подвергавшіеся влиянію той же самой среды, могли и должны были приобрѣтать тѣ же признаки путемъ приспособляемости. Фактически эта ошибка, можетъ быть, и не имѣетъ

серьезнаго значенія, такъ какъ психіатрической діагнозъ, основанный на безразборчивыхъ анекдотическихъ показаніяхъ Светонія или на желчныхъ памфлетахъ Тацита, и безъ нея мало бы заслуживала довѣрія. Но для насъ въ настоящую минуту важно не то — точно ли вырождались римскіе цезари, и почему вырождались они, т.-е. отъ среды или отъ наслѣдственности? Для насъ интересно только увидать — какимъ не-методическимъ путемъ добываются тѣ выводы о рѣшающемъ значеніи наслѣдственности или расы въ дѣлѣ всякаго культурнаго и общественнаго развитія, которые выдаются намъ потомъ за послѣдній приговоръ точнаго знанія по этому капитальному вопросу.

Еще болѣе рѣзкій примѣръ подобной же ошибки представляютъ намъ знаменитыя изслѣдованія д-ра Ч. Ломброзо надъ „преступною породою“ (*uomo delinquente*) въ Италіи. Почтенный туринскій психіатръ, видя, что нѣкоторыя злополучныя семьи имѣютъ какъ бы печальною привилегіею своею поставятъ изъ поколѣнія въ поколѣніе цѣлыя ряды болѣе или менѣе злостныхъ преступниковъ, съ горячностью утверждаетъ, что преступленіе никоимъ образомъ не должно быть разсматриваемо какъ продуктъ среды; что оно есть плодъ наслѣдственный или расовый. Но и здѣсь точно также упускается изъ вида, что всѣ послѣдующіе потомки этой семьи унаслѣдовали прежде и достовѣрнѣе всего жизнь въ такой средѣ, которая уже привела въ преступленію ихъ наслѣдственно-непорочнаго прародителя, а слѣдовательно безо всякой наслѣдственности могла бы уже довести до такого же точно печальнаго результата ихъ самихъ. А между тѣмъ изслѣдованія того же д-ра Ч. Ломброзо представляются, на нашъ взглядъ, крайне поучительными именно съ интересующей насъ здѣсь точки зрѣнія. Онъ краснорѣчивѣе добросовѣстныхъ статистическихъ данныхъ и многочисленныхъ антропометрическихъ таблицъ доказываетъ намъ, что въ Италіи, подъ вліяніемъ неблагоприятныхъ условій той среды, въ которой цѣлыми поколѣніями кипитъ и гнѣздится пролетаріатъ большихъ городовъ, вырабатывается цѣлая антропологическая разновидность, раса или порода людей, представляющая всѣ характерныя признаки низшаго темнокожаго племени. Самъ же ученый авторъ нѣсколько разъ на страницахъ своего „*Uomo delinquente*“ (безспорно самаго замѣчательнаго изъ его трудовъ) очень настойчиво указываетъ на то, что эти признаки итальянской преступной породы людей почти совпадаютъ съ отличительными признаками *желтой*, т.-е. монгольской или туранской расы. Мы пользуемся этимъ свидѣтельствомъ знаменитаго антрополога-криминалиста и утверждаемъ, что характеристическіе признака

этой желтой или всякой другой расы представляют прямой продукт продолжительных воздѣйствій неблагоприятной среды на цѣлыя поколѣнія людей, унаслѣдовавшихъ высшій антропологическій типъ отъ своихъ прародителей. Самъ же авторъ видитъ въ своей „преступной расѣ“ какіе-то остатки аборигеновъ низшаго племени, какимъ-то чудомъ уцѣлѣвшихъ будто бы въ большихъ итальянскихъ городахъ, тогда какъ въ горныхъ долинахъ и деревняхъ, служащихъ природнымъ мѣстомъ всякаго атавизма, они или не встрѣчаются совсѣмъ, или же составляютъ крайне рѣдкое исключеніе. За невозможностью фактически доказать, кто изъ насъ правъ, мы считаемъ свое положеніе болѣе состоятельнымъ уже потому, что оно является простымъ распространеніемъ на антропологическій вопросъ основного начала, признаннаго за непреложный законъ въ биологіи.

Какъ выше уже было замѣчено, этнографическая или расовая теорія культурности и общественности своею неоспоримою реальною стороною вливается въ болѣе широкую „теорію среды“, какъ рѣка вливается въ море. По духу трансформистской биологіи, племенные особенности людей могутъ находить себѣ объясненіе не въ чемъ иномъ, какъ въ различныхъ воздѣйствіяхъ среды, точно также какъ и всѣ органическіе виды и разновидности. Но если мы примемъ теорію среды въ ея слишкомъ тѣсномъ значеніи географическаго детерминизма, то мы очутимся снова лицомъ къ лицу съ нѣкоторыми изъ точно такихъ противорѣчій, съ которыми уже сопоставляла насъ только-что разобранная расовая теорія культурности. Историческія судьбы отдѣльныхъ географическихъ мѣстностей, обширныхъ областей и странъ точно такъ же измѣнчивы, какъ и судьбы племенъ и народовъ. Современные греки живутъ въ той же географической средѣ, которая болѣе двадцати вѣковъ тому назадъ была поприщемъ ихъ культурнаго величія. Материкъ Сѣверной Америки пріобщился въ историческому міру только съ тѣхъ поръ, какъ заселился европейскими выходцами. Весь бассейнъ Средиземнаго моря, котораго драгоценныя культурныя преимущества такъ превосходно объяснены К. Риттеромъ, былъ погруженъ въ варварство, когда могучія и уточненныя цивилизаціи процвѣтали на другихъ берегахъ, а затѣмъ, прослуживъ извѣстное время излюбленнымъ историческимъ поприщемъ, снова ступевался на долгіе годы. Континентальная Европа, играющая теперь во всемірной исторіи такую видную и руководящую роль, представляла сплошную дичь и глушь во времена очень близкія къ упадку классическаго міра.

Правда, часто дѣлались попытки объяснить переизмѣнчивость

историческихъ судебъ той или другой страны соответственнымъ измѣненіемъ самыхъ ея географическихъ условій. Чтобы объяснить сравнительно очень позднее появленіе континентальной Европы на историческомъ поприщѣ, прибѣгали къ предположенію, будто климатъ ея былъ значительно суровѣе подѣ римскимъ владычествомъ, чѣмъ въ наши времена. Араго и Гей-Люссака уже болѣе пятидесяти лѣтъ тому назадъ подвергли эту гипотезу очень тщательной провѣркѣ и пришли къ тому заключенію, что значительныхъ перемѣнъ въ климатическомъ отношеніи въ Европѣ за этотъ промежутокъ времени произойти не могло, несмотря на истребленіе лѣсовъ; но въ позднѣйшія времена, съ конца среднихъ вѣковъ, можно скорѣе допустить нѣкоторое охлажденіе, чѣмъ смягченіе ея климата, такъ какъ виноградъ теперь уже не произрастаетъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, прежде приготовлявшихъ собственное вино въ достаточномъ для внутренняго потребленія количествѣ (аргументъ не особенно убѣдительный, такъ какъ разведеніе винограда зависитъ не отъ однихъ только климатическихъ причинъ); въ мѣстностяхъ же, гдѣ винодѣліе процвѣтаетъ и до сихъ поръ, пора созрѣванія винограда передвинулась нѣсколько далѣе, къ осени. Въ болѣе недавнее время, Э. Ренанъ, чтобы объяснить упадокъ палестинской цивилизаціи, также прибѣгаетъ къ гипотезѣ, будто климатъ тамъ сталъ значительно знойнѣе со временъ близкихъ къ Рождеству Христову. Относительно Палестины провѣрка такой гипотезы довольно легка. Мы знаемъ, что виноградъ не распространяется въ той климатической полосѣ, средняя годовичная температура которой превышаетъ  $+21$  или  $22^{\circ}$  Ц.; что въ то же самое время финиковая пальма перестаетъ давать зрѣлые плоды тамъ, гдѣ годовая температура ниже этого средняго предѣла. А такъ какъ винодѣліе и культура финиковой пальмы, составляющія важныя вѣтви нынѣшняго палестинскаго народнаго хозяйства, процвѣтали въ ней также и въ библейскія и евангельскія времена, то мы въ правѣ заключить, что и здѣсь не произошло съ тѣхъ поръ значительныхъ климатическихъ измѣненій. Э. Реклю <sup>1)</sup> замѣчаетъ, однакоже, что въ Иерихонѣ, славившемся нѣкогда своими пальмовыми рощами, въ настоящее время это дерево почти вовсе перевелось, а слѣдовательно и въ Палестинѣ, наперекоръ Э. Ренану, мы скорѣе могли бы допустить нѣкоторое пониженіе, а не повышеніе годовой температуры.

Въ широкихъ размѣрахъ и съ большою разностороннею эрудиціею попытка связать всемірную исторію рода человѣческаго

<sup>1)</sup> См. IX томъ его *Nouvelle Géographie Universelle*.



съ космоическою исторіею земли была сдѣлана нѣсколько лѣтъ тому назадъ французомъ д'Ассье (d'Assier<sup>1</sup>). Почему, спрашиваетъ онъ, народы Востока въ Африкѣ и въ Азій насчитываютъ уже около полутораста вѣковъ историческаго существованія (?), тогда какъ европейцы, процвѣтающіе на культурномъ поприщѣ въ новѣйшія времена, сравнительно очень немного вѣковъ тому назадъ жили еще троглодитами? Ученый авторъ ищетъ отвѣта на этотъ вопросъ въ теоріи ледниковыхъ періодовъ. Онъ основательно замѣчаетъ, что когда въ Европѣ альпійскіе ледники спускались до ломбардской низменности, вся огромная полоса земли отъ Египта до Маньчжуріи и до китайскихъ береговъ была защищена отъ охлажденія и должна была пользоваться умѣреннымъ климатомъ, особенно благоприятнымъ для развитія культурности. Когда же ледники стали исчезать, то климатъ этихъ странъ, становясь болѣе и болѣе знойнымъ, заставлялъ, такъ сказать, исторію переселяться въ болѣе умѣренные края, климатъ которыхъ прежде былъ слишкомъ суровъ для ея процвѣтанія. Такимъ-то образомъ Европа и очутилась наслѣдницею сокровищъ, накопленныхъ въ неблагоприятныя для нея времена ея болѣе тропическими сосѣдями. Но это относительное превосходство своего географическаго положенія она естественно должна будетъ искупить тогда, когда снова наступитъ пора охлажденія для всего сѣвернаго полушарія. По мѣрѣ того какъ Европа будетъ остывать, ея блестящая современная культура станетъ снова искать убѣжища въ уже съ дѣтства знакомыхъ ей нильскихъ, месопотамскихъ, индійскихъ и китайскихъ мѣстностяхъ. Впрочемъ д'Ассье принимаетъ въ расчетъ, что въ тому времени успѣхи цивилизаціи настолько обогатятъ нашъ арсеналъ орудій борьбы съ космоическими суровостями и невзгодами, что намъ можетъ быть и не представится строгой необходимости новаго переселенія въ теплые края на зимнія квартиры отъ снова грозящаго намъ ледниковаго періода.

Несомнѣнно, что климатъ земного шара вообще или только одного сѣвернаго его полушарія въ частности не можетъ оставаться неизмѣннымъ изъ тысячелѣтія въ тысячелѣтіе; но изъ трехъ астрономическихъ причинъ, могущихъ вліять на его измѣненія, двѣ тотчасъ же должны быть устранены, вслѣдствіе крайней продолжительности своего періода. Путь, описываемый нашею планетою вокругъ солнца изъ года въ годъ, то болѣе приближается къ правильному кругу, то въ нѣсколько удлиненному эллипсису;

<sup>1</sup>) *Revue Scientifique*, 26 іюля 1879 г.

въ этомъ послѣднемъ случаѣ земля то слишкомъ приближается къ солнцу (въ перигелии), то слишкомъ отдаляется отъ него (въ апогелии). Это, конечно, не можетъ оставаться безъ вліянія на температуру нашей атмосферы; но только періодъ такихъ колебаній между максимумомъ и минимумомъ эксцентрисности земной орбиты выражается уважительною цифрою 850.000 лѣтъ! Измѣненіе наклонности площади эклиптики къ солнечному экватору, по вычисленіямъ Лагранжа, также совершается въ промежутки времени слишкомъ громадныя по сравненію хотя бы даже съ тѣми 15.000 лѣтъ, въ которыя д'Ассье произвольно опредѣляетъ возрастъ египетской цивилизаціи. Остается слѣдовательно только то предшествіе равноденствій, которое совершаетъ полный циклъ въ 21.500 лѣтъ, и въ которомъ Адемаръ и видитъ дѣйствительную причину ледниковыхъ періодовъ. Мы знаемъ, что критическимъ годомъ послѣдняго такого періода былъ г. 1248 по Р. Х., когда земля прошла въ перигелии какъ разъ въ моментъ декабрьскаго солнцестоянія, и который, вслѣдствіе этого, былъ самымъ теплымъ годомъ во всемъ сѣверномъ полушаріи. Тѣмъ не менѣе, роковой годъ не оказалъ рѣшительно никакого замѣтнаго вліянія и по сей день на распредѣленіе историческихъ цивилизацій на земномъ шарѣ. Несмотря на то, что Европа должна была съ тѣхъ поръ непрерывно охлаждаться, цивилизація обнаруживаетъ именно въ это время довольно замѣтное стремленіе передвигаться все далѣе къ сѣверу, а не возвращаться на югъ. Изъ этого уже можно бы заключить, что ходъ ея не обуславливается такими космическими вліяніями, по крайней мѣрѣ въ примѣтныхъ предѣлахъ. Точно также возрастаніе температуръ въ сѣверномъ полушаріи отъ 9252 г. до Р. Х. до 1248 г. по Р. Х. не мѣшало цивилизаціи передвигаться съ сѣвера на югъ, отъ Мемфиса до Мероэ въ Эіопію, изъ Пенджаба на Цейлонъ и даже на Яву подъ самый экваторъ, съ береговъ средняго Хоанъ-Хо въ Китаѣ въ Нанкинъ и даже въ Кантонъ. Но этого мало. Д'Ассье предполагаетъ возникновеніе египетской цивилизаціи по меньшей мѣрѣ за 12.000 лѣтъ до Р. Х.; по самымъ смѣлымъ научнымъ вычисленіямъ и даже по Манетону, правда, давность эта легко могла бы быть уменьшена даже больше, чѣмъ вдвое. Въ Китаѣ же, даже по официальнымъ конфуціанскимъ даннымъ, по всей вѣроятности сильно преувеличеннымъ, самое отдаленное историческое воспоминаніе (потопъ и гидравлическія работы Ю) едва переходитъ за 2.000 лѣтъ до Р. Х.; что же касается начала арійской цивилизаціи въ Индіи, то едва ли хоть одинъ серьезный санскритистъ новѣйшаго времени согласится признать за нимъ

хотя бы даже и такую давность. Мы совершенно не понимаемъ, какимъ образомъ возникновеніе этихъ двухъ цивилизацій въ такую позднюю эпоху можно связать съ космическимъ событіемъ, совершившимся въ 9252 г. до Р. Х. Наконецъ, самая одновременность возникновенія первыхъ историческихъ цивилизацій въ Египтѣ, въ Ассири-Вавилоніи, въ Индіи и въ Китаѣ служатъ уже, кажется, достаточнымъ препятствіемъ тому, чтобы мы могли всё ихъ приписать одной общей причинѣ.

Въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ случаяхъ можно, дѣйствительно, замѣтить измѣненіе географическихъ условій страны, совмѣстное съ ея историческимъ упадкомъ; но и тутъ всего чаще обнаруживается, что географическій упадокъ былъ не причиною, а слѣдствіемъ упадка культурнаго. Такъ, напримѣръ, мѣстность Орисса въ англійской Индіи описывалась какъ рай земной во время процвѣтанія индійской цивилизаціи; теперь же это—совершенная пустыня, покрытая болотами и джонгивами, не родящая ничего, кромѣ гибельныхъ миазмовъ, ядовитыхъ змѣй и дивныхъ звѣрей. Такъ точно инвизіція и Филиппъ II, съ прекращеніемъ арагонскихъ *fueros y libertades* (льготъ и вольностей), покрыли эту нѣкогда благодатную страну тѣми *despuablados*, которые и до сихъ поръ прискорбно поражаютъ взоры путешественника, являющагося сюда изъ цвѣтущей сосѣдней Каталоніи. Такъ неоднократно пустыль Египетъ подъ турецкимъ управленіемъ. Вообще же говоря, климатическія и геологическія измѣненія въ сколько-нибудь значительныхъ размѣрахъ совершаются очень медленно сравнительно съ быстротою историческихъ тревоженій.

Но даже оставаясь космически неизмѣнною, географическая „среда“ ежечасно мѣняетъ свое историческое значеніе, какъ это уже превосходно выяснилъ К. Риттеръ относительно нѣкоторыхъ частныхъ случаевъ. Это же самое соображеніе внушаетъ и Элизе Реклю одну изъ лучшихъ страницъ его введенія въ I-му тому *Nouvelle Géographie Universelle*. „Одно и то же естественное условіе,—замѣчаетъ онъ,—имѣетъ чрезвычайно различное значеніе для обитателей страны, смотря, такъ сказать, по возрасту ихъ культурнаго развитія“. Онъ, также какъ и мы, не сомнѣвается въ томъ, что ключъ къ разгадкѣ культурно-историческихъ судебъ каждаго народа заключается не въ его первоначальныхъ племенныхъ данныхъ, а въ условіяхъ обитаемой имъ среды; „но только,—назидательно прибавляетъ Реклю,—изучая эту среду, мы не должны поглощать свое вниманіе одними соображеніями пространства, но также не упускать изъ вида не менѣ существенныхъ условій времени“. Во многихъ отдѣльныхъ случаяхъ ему

самому, какъ и нѣкоторымъ даровитѣйшимъ изъ его предшественниковъ, удалось чрезвычайно плодотворно приложить къ дѣлу это руководящее правило. Но природныя условія, вліяніе которыхъ на судьбы культурнаго человѣчества приходится изучать въ двойномъ отношеніи пространства и времени, до того обильны и многообразны, что аналитическимъ путемъ едва ли можетъ изслѣдовать ихъ въ цѣлый вѣкъ и не одинъ ученый мыслитель, а даже цѣлый дисциплинированный полкъ даровитѣйшихъ титановъ. Чтобы облегчить эту работу, мы и попытаемся составить такую схему, которая позволила бы намъ синтетически установить извѣстную общую и постоянную связь между различными послѣдовательными фазисами культурно-историческаго развитія вообще и географическою средою, служащею поприщемъ для этого развитія. Иначе говоря: посмотримъ прежде всего—не обнаруживаетъ ли всемірная исторія въ своихъ будто бы причудливыхъ и произвольныхъ кочеваніяхъ изъ одной страны въ другую извѣстный правильный ритмъ, однообразно послѣдовательный и постепенный переходъ отъ одного опредѣленнаго ряда космическихъ условій къ слѣдующему?

## II.

Историческіе періоды въ связи съ географическими условіями среды.

Задача, которюю мы поставили себѣ въ концѣ первой главы, значительно упростилась бы, еслибъ мы могли съ достовѣрностію рѣшить: въ какой географической средѣ зародилась всемірная исторія человѣчества? Къ сожалѣнію, при современномъ состояніи точнаго историческаго знанія вопросъ этотъ совершенно неразрѣшимъ. По легко понятному оптическому обману, частью же изъ дѣтской гордости, каждый изъ культурныхъ народовъ древности первѣйшею въ пространствѣ и времени считалъ собственную свою цивилизацію и возводилъ ея происхожденіе въ самому началу міра. Преданіе указываетъ намъ колыбель всѣхъ цивилизацій въ Азіи, въ мѣстности довольно неопредѣленной, между озеромъ Балхашъ и устьемъ Евфрата и Тигра. Но Египетъ, повидимому, изо всѣхъ въ мірѣ странъ одинъ можетъ похвалиться самими древними историческими памятниками. Это, конечно, придало нѣкоторую долю вѣроятности предположенію, что всемірно-историческая цивилизація зародилась не въ Азіи, а въ Африкѣ, гдѣ Дарвинъ искалъ также и колыбель человѣческаго рода. Но эта вѣроятность еще очень далека отъ достовѣрности, такъ какъ

присутствіе древнихъ памятниковъ зависитъ отъ множества побочныхъ причинъ, какъ-то: отъ прочности матеріаловъ, изъ которыхъ они построены, отъ большей или меньшей разрушительности климата страны, отъ самаго склада культуры. Вавилонскіе кирпичи и черепицы или китайскія бревна не могли имѣть вѣковѣчности камня египетскихъ пирамидъ; а индійская культура, наприм., обходилась безъ храмовъ и монументальныхъ построекъ, т.-е. была по преимуществу аграрною, сельскою, до очень поздняго (буддійскаго) своего періода; это не мѣшало, однакоже, Болю утверждать, будто индійскія преданія восходятъ къ значительно болѣе глубокой древности, чѣмъ преданія всѣхъ другихъ азіатскихъ народовъ.

Не можемъ мы также съ достовѣрностью рѣшить — зародились всѣ извѣстныя намъ историческія цивилизаціи отдѣльно и самостоятельно, каждая въ той мѣстности, гдѣ мы уже находимъ ее, — или же онѣ занесены туда изъ одного общаго, неизвѣстнаго намъ источника. Выказывалось предположеніе, будто египетскіе іероглифы и китайскія письмена представляютъ собою видоизмѣненія одной первоначальной письменности; но аргументація, на которую опирается этотъ взглядъ, не выдерживаетъ строгой критики. Недавно, извѣстный голландскій синологъ, Схлегель, съ замѣчательною эрудиціею пытался доказать, что древнѣйшіе китайцы приобрѣли свои первоначальныя астрономическія свѣденія въ той же загадочной школѣ, въ которой образовались и знаменитые халдейскіе мудрецы. Это несомнѣнно имѣетъ свою цѣну; но громадная (не менѣе тысячи лѣтъ) разница во времени, къ которому относятся первыя историческія воспоминанія египтянъ и ассиро-вавилонянъ, съ одной стороны, индійцевъ и китайцевъ, съ другой — дѣлаютъ мало-вѣроятною гипотезу объ общемъ происхожденіи ихъ культуръ изъ одного неизвѣстнаго источника.

Если, оставляя въ сторонѣ неразрѣшенный вопросъ о происхожденіи древнѣйшихъ историческихъ культуръ, мы обратимъ вниманіе на географическія условія тѣхъ мѣстностей, въ которыхъ проявляется впервые каждая изъ четырехъ древнѣйшихъ историческихъ цивилизацій, то мы тотчасъ же замѣтимъ, что онѣ представляютъ одну общую характеристическую черту, а именно: всѣ четыре древнѣйшія цивилизаціи проявляются на берегахъ нѣкоторыхъ рѣкъ, которыя (за единственнымъ исключеніемъ Нила) вовсе не числятся въ ряду самыхъ большихъ рѣкъ земного шара и которыя (безъ всякаго исключенія) не поражаютъ ни своею пригодностью для внутреннихъ сообщений, ни своимъ водообиліемъ. Впрочемъ мы впослѣдствіи разсмотримъ въ подробности

тѣ физическія особенности, которыми эти *большія историческія рѣки* отличаются отъ другихъ водяныхъ гигантовъ Стараго и Новаго Свѣта; здѣсь же замѣтимъ только, что Египеть, — какъ говорилъ уже про него Геродотъ, — есть даръ Нила; жизненными артеріями передней Азіи, гдѣ возникли и развились пышныя и могучія ассиро-вавилонскія цивилизаціи, являются Тигръ и Евфратъ; арійская цивилизація въ Индіи долгое время имѣла своимъ единственнымъ поприщемъ бассейнъ Инда и Ганга; наконецъ, древнѣйшую китайскую колонизацію мы можемъ прослѣдить на среднемъ Хоанъ-Хо, спускающагося по рѣчнымъ долинамъ на югъ и юго-востокъ къ среднему и нижнему Янцы-Дзяну (Янца-Кьяну).

Любитель симметрическихъ сочетаній въ природѣ и въ исторіи не преминулъ бы обратить наше вниманіе на замѣчательный дуализмъ, обнаруживаемый историческими рѣками (Хоанъ-Хо, Янце-Кьянъ, Тигръ-Евфратъ) по крайней мѣрѣ въ Азіи, съ тѣмъ только ограниченіемъ, что въ Индіи каждая изъ двухъ рѣкъ раздвояется въ свою очередь: Индъ имѣетъ своимъ спутникомъ Сетледжъ; Гангъ — Джамну (но не Брахмапутру, которая хоть и впадаетъ въ то же русло, но остается до сихъ поръ рѣкою варварства, а не цивилизаціи). Въ Африкѣ этотъ дуализмъ менѣе замѣчателенъ. Ниль, правда, считается состоящимъ изъ Голубой и Бѣлой рѣки; но онѣ сливаются у „Слоноваго Хобота“ близъ Хартума, а историческая долина Нила никогда не доходила до этого предѣла. Пока, по свидѣтельству греческихъ ученыхъ, предполагали, что мѣстомъ рожденія египетской цивилизаціи была Эіоісія, то еще можно было возстановить этотъ дуализмъ также и на африканской почвѣ, принимая въ расчетъ не Голубой Ниль, а Атбару, которая соединяется съ главною рѣкою немного южнѣ Мероэ. Но въ настоящее время специалистами признано, что Мероэ была позднею колоніею египтянъ, и что древнѣйшимъ поприщемъ египетской цивилизаціи служила долина отъ Дельты до перваго порога, близъ Ассуана. Съ интересующей насъ точки зрѣнія, чрезвычайно характернымъ является выборъ мѣста древнѣйшей изъ египетскихъ столицъ въ Мемфисѣ, у самой вершины Дельты. Египетская цивилизація исторически является намъ, такимъ образомъ, въ первый разъ въ нѣсколькихъ десяткахъ верствъ всего отъ Средиземнаго моря; но, какъ будто для того, чтобы отгнать свой рѣчной характеръ, она поворачивается къ нему спиною и направляется вверхъ по теченію рѣки, на югъ, въ Оиваиду и дальше, до самаго Мероэ. Многіе справедливо замѣчаютъ, что перенесеніе фараоновой столицы ближе къ морю,

въ Саисъ, является не только въ позднѣйшую пору упадка, но что оно же само ускоряетъ въ значительной мѣрѣ процессъ разложенія этой древнѣйшей исторической цивилизаціи и ея замѣщенія другою. Египтяне считали море проклятою, отверженною стихіею, входить въ общеніе съ которою было бы грѣшно<sup>1)</sup>. Ихъ жрецамъ строго запрещалось сношаться съ мореходами, и флотъ, который фараоны принуждены были завести въ позднѣйшія времена, неизмѣнно состоялъ изъ наемниковъ. Плутархъ очень подробно излагаетъ тѣ мистическіе мотивы, которыми египтяне еще и въ его времена объясняли самимъ себѣ это свое отвращеніе отъ моря. Дѣйствительныя же причины такой ихъ моребоязни вытекали довольно просто изъ самой сущности положенія. Пока теченіе Нила не было приведено въ порядокъ вѣковыми работами колонизаціи, рѣка эта, тотчасъ же за Мемфисомъ, развѣтвлялась на множество болотистыхъ рукавовъ, нагромождавшихъ илъ и наносы у берега моря. Дельта въ окончателномъ своемъ видѣ является продуктомъ цивилизаціи больше, чѣмъ природы; первоначально же она представляла изъ себя необитаемую болотную мѣстность, испещренную во всѣхъ направленіяхъ затоками и застоями прѣсной и морской воды, заражавшими воздухъ своими тлетворными испареніями. Какъ народъ исключительно земледѣльческій, египтяне не имѣли повода интересоваться моремъ; да оно и дѣйствительно не имѣло для нихъ значенія до тѣхъ поръ, пока берега его оставались или совсѣмъ пустынными, или же были населены троглодитами. Когда же, значительно позднѣе, по синимъ волнамъ этого по преимуществу культурнаго изо всѣхъ морей стали плавать лодки финиційскихъ, критскихъ, малоазійскихъ и греческихъ пиратовъ, то они стали только новою грозою для поморскихъ египетскихъ городовъ и селъ, богатство которыхъ служило для нихъ особенно лакомою приманкою. Появленіе этихъ морскихъ разбойниковъ произвело въ царствѣ фараоновъ совершенную панику. Вѣками своей исторіи Египетъ былъ приученъ ждать враговъ не иначе какъ сухимъ путемъ изъ Азіи; а потому только съ этой стороны и были приняты должныя мѣры предосторожности. Значительно раньше Кятая, фараоны уже напали на мысль защитить самую слабую изъ своихъ границъ (на Синайскомъ перешейкѣ) высокою стѣною. Со стороны же моря, Дельта оставалась беззащитною. Попытались, конечно, построить въ ней укрѣпленій; помѣстили въ Rhocotis сильный гарнизонъ съ приказаніемъ убивать на мѣстѣ или заковывать въ

<sup>1)</sup> Плутархъ.

цѣпи всѣхъ иностранцевъ, являющихся морскимъ путемъ <sup>1)</sup>, а изъ исторіи библейскаго Иосифа мы знаемъ, что въ сухопутнымъ пришельцамъ они были очень гостеприимны. Мѣры эти, однакожь, становились тѣмъ менѣе достаточными, чѣмъ болѣе возрастало оживленіе на Средиземномъ морѣ. Скоро пришлось откупаться отъ морскихъ разбойниковъ, нанимать ихъ же на фараонову службу, для охраненія морского берега отъ другихъ такихъ же пришельцевъ. Когда же на Средиземномъ морѣ прочно утвердились такіе могущественные соперники, какъ финикійскіе, малоазійскіе и греческіе республиканскіе союзы, то передъ *рѣчною*, споконъ-вѣка египетскою цивилизаціею открывалось только двѣ дороги: или превзойти своихъ противниковъ морскимъ могуществомъ, или же ступеваться. На первое у нея уже не хватало жизненности; а потому, съ тѣхъ далекихъ поръ и до настоящаго времени, Египетъ уже не имѣетъ самостоятельнаго историческаго существованія, а только выносить на своихъ плечахъ непрерывный рядъ чуждыхъ завоеваній; подчиняется то персамъ, то македонянамъ, то римлянамъ, то арабамъ, то, наконецъ, туркамъ. Александрія постоянно была космополитическимъ городомъ, чуть касавшимся египетской почвы и не имѣвшимъ корней въ египетской исторіи. Впрочемъ самое ея основаніе относится уже въ тому позднѣйшему времени, когда періодъ *первичныхъ* или *рѣчныхъ* цивилизацій во всемірной исторіи давно уже прошелъ.

Географическое положеніе древнѣйшихъ столицъ Халдеи—отъ Дильмуна, до Ура и Вавилона — представляетъ замѣчательную аналогію съ положеніемъ Мемфиса и Өивъ. Близкіе на первый взглядъ въ внутреннему морю (Персидскій заливъ), города эти были въ дѣйствительности отдѣлены отъ него негостеприимною болотною полосою, которую образовывали устья Евфрата и Тигра, прежде чѣмъ трудъ и искусство многочисленныхъ повольтнй не вывели ихъ изъ природнаго хаоса и не вогнали въ одно общее русло: Шать-Эль-Арабъ. Какъ въ Египтѣ, такъ точно и въ Месопотаміи, цивилизація въ теченіе около двадцати вѣковъ отворачивается отъ моря и устремляется вверхъ по рѣкамъ, породившимъ ее, въ Арарату, имѣя главными своими средоточіями внутренніе города: Ассуръ, Ниневію, Кархемышъ, т.-е. и здѣсь, точно также какъ на нильскихъ берегахъ, историческая цивилизація переживаетъ долгій первичный или рѣчной періодъ, прежде чѣмъ—не раньше VII столѣтія до Р. Х.—естественный ходъ времени ставитъ и передъ нею въ свою очередь роковую

<sup>1)</sup> Winwood Read, „The martyrdom of Man“.



дилемму: преобразиться въ морскую цивилизацію, т.-е. вступить въ новый возрастъ своего развитія, или же ступеваться передъ болѣе свѣжими цивилизаціями, успѣвшими уже расцвѣсть на средиземноморскихъ берегахъ, усвоивъ себѣ наслѣдство египетской исторіи.

Начала ассиро-вавилонской культуры остаются для насъ (выражаясь классическимъ языкомъ) „покрытыми глубочайшимъ мракомъ неизвѣстности“. Авторитетные историки усматриваютъ, правда, въ числѣ первыхъ колонизаторовъ и цивилизаторовъ тигро-евфратскаго побережья какихъ-то таинственныхъ кушитскихъ моряковъ, распространившихъ область своихъ плаваній отъ восточно-африканскихъ береговъ до Индіи. Морской элементъ, дѣйствительно, отражается въ сказаніяхъ и вѣрованіяхъ этихъ странъ въ туманномъ образѣ *Оаннеса* или *Іоаннеса*, выходившаго изъ моря только для того, чтобы научить людей разнымъ благимъ и полезнымъ дѣламъ и снова скрывавшагося потомъ въ родной своей стихіи, а также въ образѣ полу-рыбы бога Дагона. Однако мы не можемъ найти никакого достовѣрнаго указанія сношеній, будто бы существовавшихъ уже между Месопотамією и Индією въ очень отдаленныя времена, благодаря этимъ загадочнымъ кушитскимъ мореходамъ. Точно также, присутствіе морского элемента въ месопотамской цивилизаціи, въ теченіе, можетъ быть, первыхъ двадцати вѣковъ, не оставило рѣшительно никакого примѣтнаго слѣда. Цивилизація эта, какъ и египетская, развивается и зрѣетъ долго въ рѣчной, континентальной средѣ, сухимъ путемъ распространяя свое историческое вліяніе на всю юго-западную Азію и проникая, не раньше VIII-го столѣтія древней эры, въ Индію точно также сухимъ путемъ. Только со временъ пышнѣйшаго расцвѣта ассирійскаго могущества, т.-е. съ походовъ Салманасара, сношенія Месопотаміи съ Индією становятся достовѣрными; индійскія животныя—слоны, носороги, начинаютъ изображаться на ассирійскихъ памятникахъ, и торговля съ Индією начинаетъ играть видную роль въ жизни западно-азиатскаго міра. Но затѣмъ очень скоро и въ исторіи ассиро-вавилонскихъ цивилизацій обнаруживается неожиданный, очень рѣзкій переворотъ. Континентальная Ассирія, казалось, навсегда упрочившая свое владычество въ тогдашнемъ историческомъ мірѣ, падаетъ внезапно, и первенство переходитъ снова въ давно забытый, столько разъ уже разрушенный Вавилонъ, едва сохранившій значеніе провинціального города. Съ этихъ именно поръ, т.-е. съ возникновенія такъ-называемой второй вавилонской монархіи, для месопотамской цивилизаціи наступаетъ рѣшительный морской или

вторичный исторический периодъ. Въ этомъ мы убѣждаемся уже по тому усердію, съ которымъ Навуходоносоръ (*Набуход-не-соръ*), главный зиждитель позднѣйшаго вавилонскаго могущества, старается открыть своей столицѣ доступъ къ морю и сдѣлать изъ нея главный центръ сношеній съ Индіею. Для этой цѣли онъ сооружаетъ тотъ громадный каналъ, который и теперь еще носить у мѣстныхъ жителей названіе царскаго. Политическое могущество ново-вавилонской монархіи продолжается всего нѣсколько десятковъ лѣтъ. Скоро персидское завоеваніе кладетъ конецъ месопотамской независимости и даже грозитъ повернуть исторію юго-западной Азіи назадъ, къ отжитымъ уже „рѣчнымъ“ временамъ. Можетъ быть изъ ненависти къ вѣчно бунтующему противъ нихъ Вавилону, можетъ быть просто по непониманію „духа времени“, персидскіе цари запружаютъ каналы и стараются всѣми мѣрами затруднить какъ внутреннее плаваніе по Евфрату и Тигру, такъ и выходъ оттуда въ открытое море черезъ Персидскій заливъ; но Александръ Македонскій заблаговременно пресѣкаетъ ихъ реакціонную дѣятельность и становится дѣятельнымъ преемникомъ Навуходоносора...

Для насъ, впрочемъ, нѣтъ надобности пересказывать дальше исторію юго-западной Азіи; задачу нашу было только показать, что и въ Месопотаміи, какъ въ Египтѣ, исторія начинается съ того же первичнаго *рѣчного* періода, изъ котораго позднѣе, какъ естественное продолженіе его, развивается періодъ морской. Только Египетъ, не находя въ себѣ силъ пережить роковой кризисъ, ознаменовывающій переходъ изъ рѣчного цивилизаціоннаго періода во вторичный, морской, рано исчезаетъ со всемірно-историческаго поприща. Ассиро-вавилонская цивилизація, какъ уже сказано, благополучно переживаетъ этотъ переломъ, а потому и сохраняетъ еще въ теченіе долгихъ вѣковъ и жизнённость, и культурное значеніе, хотя средоточіе ея и передвигается изъ Вавилона въ Селевкію-на-Тигрѣ, въ Ктезифонъ (находящійся, впрочемъ, почти на мѣстѣ Селевкии, но только на противоположномъ рѣчному берегу) и наконецъ въ Багдадъ, который со своимъ портомъ—Бассора изображалъ какъ бы двойственную азіатскую Александрію.

Единство природныхъ законовъ не исключаетъ форменнаго многообразія естественныхъ и историческихъ явленій. Въ исторіи Индіи и Китая тотъ же неизбѣжный послѣдовательный переходъ отъ рѣчного историческаго періода къ слѣдующему, т.-е. морскому, обрашивается своими мѣстными красками, усложняется иными подробностями, но общій законъ подтверждается и тамъ съ полною своею силою. Индія сравнительно скоро утрачиваетъ

свое мировое культурно-историческое значение именно потому, что созидающія рѣки открываютъ ей довольно плохой доступъ къ двумъ очень невыгодно одареннымъ природою внутреннимъ морямъ. Къ тому же, вмѣстѣ съ Китаемъ,—какъ выше уже было замѣчено,—она и является уже нѣсколько запоздалою на всемирно-историческомъ поприщѣ. Вслѣдствіе этой запоздалости, исторія восточной исторической группы представляетъ болѣе спеціальныи и узкій интересъ, имѣя немного точекъ соприкосновенія съ мировою исторіею запада.

Вторичный, т. е. морской періодъ, въ широкихъ размѣрахъ наступаетъ во всемирной исторіи съ появленіемъ финикійскихъ республиканскихъ федерацій на берегахъ Средиземнаго моря.

Установить хронологически опредѣленную грань въ этомъ отношеніи, конечно, не легко, такъ какъ важный этотъ историческій шагъ совершался не вдругъ, а исподоволь. Одна за другою возникали и расцвѣтали финикійскія колоніи, сперва на африканскомъ берегу, начиная съ Киренаики, до Геркулесовыхъ столповъ, а затѣмъ и по ту сторону Гибралтарскаго пролива. Можно однакожь за эру всемирной исторіи запада принять 800 г. до Р. Х., такъ какъ къ этому времени относятъ возникновеніе Карфагена, пунического Новгорода <sup>1)</sup>—событіе, оказавшее громадное вліяніе главнымъ образомъ на судьбы преимущественно интересной для насъ Европы.

Объ историческихъ заслугахъ финикійянъ очень много было говорено. На нашъ взглядъ, главнѣйшая ихъ заслуга заключается именно въ томъ, что они перенесли всемирную исторію изъ рѣчной географической среды въ среду средиземно-морскую. Ближайшимъ послѣдствіемъ такого перемѣщенія было то, что *цивилизации*, жившія до сихъ поръ изолированно одна отъ другой, въ тѣсной зависимости отъ судьбы одного какого-нибудь народа, смѣстились *цивилизациею*, имѣющею уже рѣшительно общій, космополитическій характеръ. Съ этихъ поръ отдѣльныя націи уже могутъ слабѣть, блѣднѣть, исчезать вовсе съ историческаго поприща, но свѣточъ всемирной культуры не гаснетъ уже никогда. Отъ финикійянъ его перенимаютъ эллины, вызывающіе къ исторической жизни Италію и Римъ, создающіе ту имперію, которую иначе и нельзя назвать, какъ средиземноморскою, потому что въ ней не преобладалъ ни одинъ націоналистическій элементъ, а участвовали всѣ народы, живущіе вокругъ Средиземнаго моря. Когда же, съ III-го вѣка по Р. Х., мертвящій воз-

<sup>1)</sup> *Картъ* по-финикійски значить городъ; *аджентъ* — новый. Изъ этого грекъ сдѣлалъ Кархедонъ, а римляне—*Carthago*.

духъ повѣялъ на Средиземное море изъ знойныхъ и бесплодныхъ египетскихъ пустынь, и вся многоязычная рать народовъ и племень, объединенныхъ „римскимъ замирениемъ“ — *rex gotana*, — охладѣвъ въ житейскимъ интересамъ и занявшись всецѣло духовнымъ своимъ просвѣтлѣніемъ и загробными интересами, стала истощаться, слабѣть и наконецъ ступевалась передъ нестройными полчищами давно ей знакомыхъ варваровъ, — когда историческая Европа, какъ бы истощенная долгою культурною страдою, уже погрузилась снова въ глушь и мракъ, — всемірно-историческое развитіе нашло себѣ новыхъ подвижниковъ и борцовъ, въ лицѣ тѣхъ месопотамскихъ семитовъ, которые (какъ только-что было сказано) переживали въ это время свой вторичный историческій періодъ, имѣвшій своимъ средоточіемъ близкій отъ Вавилона Багдадъ, а своею географическою средою — Персидскій заливъ, т. е. своего рода Средиземное море. Увлекаемая мусульманскою пропагандою, покорная волѣ багдадскаго калифа, эти несмѣтные полчища арабскихъ кочевниковъ идутъ на западъ, увлекая съ собою народы африканскаго побережья и несутъ съ собою наслѣдіе всѣхъ уже отжитыхъ культуръ. Приютомъ этого драгоценнаго наслѣдія на долгія времена становятся мавританскія королевства въ Испаніи.

Мы привыкли паденіемъ западной римской имперіи заканчивать цѣлый историческій періодъ, который и носитъ въ нашей школьной номенклатурѣ одно общее названіе „древности“. Мы видѣли однакоже, что съ той спеціальной точки зрѣнія, которая внушаетъ намъ этотъ очеркъ, такая „древность“ распадается на два отдѣла: первый — періодъ изолированныхъ цивилизацій, имѣющихъ географическимъ своимъ поприщемъ извѣстную рѣчную среду, и второй — періодъ цивилизацій космополитической, имѣющей своимъ поприщемъ бассейнъ какого-нибудь средиземнаго или внутренняго моря. По мнѣнію Масперо, періодъ цивилизацій изолированныхъ кончается раньше перемѣщенія всемірной исторіи на средиземноморскіе берега, а именно съ той поры, когда Египетъ, освободившись изъ-подъ власти гисовъ, или азіатскихъ пастуховъ, въ свою очередь устремился на сосѣднюю Азію и началъ такимъ образомъ безконечный рядъ войнъ съ ассиро-вавилонскою монархіею, съ которою прежде онъ не имѣлъ постоянного историческаго общенія. Это мнѣніе не лишено основательности. Но во всякомъ преемственномъ и послѣдовательномъ развитіи очень трудно — чтобы не сказать невозможно — устанавливать абсолютныя разграниченія. Изолированность имѣетъ очень много степеней. Даже и до нашествія гисовъ на царство фараоновъ, Египетъ не былъ такъ ужъ безусловно обособленъ

отъ сосѣднаго съ нимъ азіатскаго міра, какъ это обыкновенно говорятъ <sup>1)</sup>. Точно также и послѣ нашествія гиксовъ общеніе между историческими народами тогдашняго міра является въ очень еще ограниченныхъ размѣрахъ и сосредоточивается исключительно въ одной только мѣстности, между Ниломъ и Евфратомъ, тогда какъ съ процвѣтаніемъ пуническихъ союзовъ оно уже распространяется отъ Гибралтара до Инда и принимаетъ невиданный прежде федеративный и космополитическій строй.

Съ паденіемъ Рима всемірная исторія не мѣняется однакоже своего географическаго поприща, а остается еще средиземноморскою, т.-е. вѣрно внутреннимъ морямъ. Мавританская культура въ Андалузіи процвѣтаетъ все на тѣхъ же берегахъ Средиземнаго моря, въ Андалузіи, въ Валенсіи. Но и самый Римъ скоро воскресаетъ, ставъ папскимъ и католическимъ, изъ пепла пожаровъ, зажженныхъ варварами. Италія не утрачиваетъ своего культурнаго первенства до новѣйшихъ временъ. Итальянскія муниципальныя республики продолжаютъ со временъ Карла V-го, и даже ранѣе, классическую олигархію въ Венеціи съ мрачнымъ и деспотическимъ кареагенскимъ оттѣнкомъ; во Флоренціи же — въ духѣ эстетической афинской псевдо-демократіи. Карлъ Великій, перенесъ по ту сторону Альповъ столицу цезарей, только расширилъ границы прежней космополитической средиземноморской имперіи; власть его, т.-е. вообще монархическая власть въ средневѣковой Европѣ, императорская или королевская, остается цезаріанскою по существу, т.-е. является охранительницею обездоленныхъ классовъ отъ всемогущества торжествующихъ олигархій... Такимъ образомъ, съ паденіемъ западной римской имперіи, средиземноморскіе народы и страны Европы долго еще не утрачиваютъ своего историческаго главенства. Это мы только-что видѣли относительно Испаніи и Италіи. Византійскіе греки, по справедливому замѣчанію Э. Ренана, сохраняютъ свою славу лучшихъ художниковъ до завоеванія Константинополя турками; Франція долгое время живетъ для исторіи исключительно средиземноморскимъ своимъ бассейномъ. Все, что есть въ средневѣковой Европѣ просвѣщеннаго, культурнаго — составляетъ или одинъ изъ остатковъ великаго средиземноморскаго крушенія, или же, такъ или иначе, имѣетъ свое средоточіе на Средиземномъ морѣ. Оплотомъ ея наука служитъ мавританская Испанія; ея гражданственность идетъ изъ Италіи; ея искусство — изъ Греціи; архитектура одна составляетъ то единственное исключеніе, которое, какъ говорятъ, только подтверждаетъ общее правило.

<sup>1)</sup> См. I. Dümichen, 1-й вып. исторіи Египта въ изданіи В. Онкена: *Weltgeschichte in Einzeldarstellungen*.

Но этого мало. Наше Средиземное море представляетъ самый совершенный на всемъ свѣтѣ образецъ внутренняго моря; и мы дѣйствительно видимъ, что средиземноморская культура достигаетъ такого пышнаго расцвѣта, какого не достигла еще ни одна изъ тѣхъ историческихъ вторичныхъ формацій, которыя мы предлагаемъ называть морскими культурами. Но это Средиземное море далеко не единственный образчикъ внутреннихъ морей. Болѣе сѣверная Европа имѣетъ и другія такія же внутреннія моря: Нѣмецкое, Балтійское, — правда, меньшія по размѣрамъ, не такъ ярко освѣщенные южнымъ солнцемъ, не столь счастливыя по географическому своему положенію. Но все, что европейскіе средніе вѣка вносятъ свсего, новаго, свѣжаго во всемірную исторію, возникаетъ и группируется вокругъ этихъ сѣверныхъ средиземныхъ морей, существуетъ ими и ради нихъ: въ Германіи, въ сѣверной Франціи, въ Англии, въ трехъ Скандинавскихъ странахъ, въ Россіи, гдѣ Новгородъ давно является однимъ изъ дѣятельныхъ участниковъ ганзейскаго городскаго союза. Даже средневѣковыя порожденія, топографически удаленныя отъ моря, какъ другіе русскіе, польскіе и литовскіе города и княжества, возникаютъ въ исторіи постольку, поскольку они находятся на проходе большой дорогѣ между двухъ внутреннихъ морей (Балтійскаго и Чернаго, о которомъ мы здѣсь не говоримъ потому, что оно приобщается во всемірно-историческому поприщу еще до паденія западной римской имперіи).

Всѣ только-что указанныя соображенія заставляютъ насъ продлить періодъ вторичныхъ или средиземноморскихъ историческихъ образованій до новаго времени, т.-е. до тѣхъ поръ, когда всемірная исторія выбираетъ своимъ поприщемъ новую географическую среду. Мощнымъ импульсомъ въ этому позднѣйшему перемѣщенію послужило, конечно, открытіе Америки; но особенно этотъ третій и позднѣйшій историческій періодъ, который мы назовемъ океаническимъ, — обозначается тогда только, когда средиземноморскія государства утрачиваютъ свое культурное главенство и даже приходятъ въ рѣшительный упадокъ, а средоточіемъ всемірной исторіи становятся, вмѣсто нихъ, страны океаническія: Испанія во время своего обладанія португальскимъ побережьемъ, Нидерланды со своего освобожденія отъ испанскаго ига, Англія со временъ Елисаветы, и Франція со временъ Людовика XIV. Какъ ни новъ еще сравнительно этотъ позднѣйшій историческій періодъ, но и въ немъ, съ точки зрѣнія развиваемой здѣсь теоріи среды, можно установить уже очень существенное подраздѣленіе. Изъ пяти океановъ, считающихся на земномъ шарѣ, первоначально одинъ только Атлантическій казался пред-

назначеннымъ природою служить излюбленнымъ поприщемъ всемирной исторіи въ ея позднѣйшемъ развитіи. Начиная однакоже съ половины текущаго столѣтія, съ „золотой горячки“ въ Калифорніи, съ движенія Россіи къ амурскому устью, съ быстрыхъ успѣховъ англійской колонизаціи въ Австраліи и на океаническихъ островахъ, съ недавнимъ приобщеніемъ Китая, Японіи и наконецъ Кореи ко всемирному движенію—Тихій океанъ вступилъ тоже въ свои права, и про него было уже говорено не разъ, что ему, по всей вѣроятности, суждено стать колоссальнымъ „Средиземнымъ моремъ будущаго“.

Но тѣмъ не менѣе нельзя еще предложить дать имя Тихаго океана этому позднѣйшему отдѣлу океаническаго періода. Со своимъ приобщеніемъ ко всемирно-историческому поприщу, Тихій океанъ вовсе не развѣнчалъ своего Атлантическаго соперника, какъ этотъ послѣдній развѣнчалъ Средиземное море около трехъ вѣковъ тому назадъ; напротивъ, съ распространеніемъ историческаго средоточія также и на Тихій океанъ, давно уже заглохшая жизнь снова возрождается въ бассейнѣ Средиземнаго моря. вмѣстѣ съ тѣмъ, въ наши времена и Индійскій океанъ тоже играетъ очень видную роль въ международномъ общеніи культурнаго міра. Недавнія же путешествія Э. Норденшельда къ сибирскимъ берегамъ показали, что и Сѣверный Ледовитый океанъ не такъ уже безусловно лишенъ исторической полезности, какъ думали прежде. Короче говоря, движеніе, достаточно уже обрисовавшееся въ наши времена, позволяетъ, кажется, утверждать, что въ концѣ своего долгаго блужданія изъ одной географической среды въ другую всемирная исторія намѣрена наконецъ избрать своимъ поприщемъ всю обитаемую поверхность земнаго шара.

Подводя итоги всему сказанному до сихъ поръ, мы можемъ установить нижеслѣдующую правильную преемственность въ послѣдовательныхъ передвиженіяхъ всемирной исторіи изъ одной „географической среды“ въ другую:

I. Первичныя историческія времена или періодъ *рчныхъ цивилизацій*:

а) *Эпоха изолированныхъ цивилизацій*, развивавшихся безъ общенія одна съ другою въ долинахъ нѣкоторыхъ исключительныхъ рѣкъ: Нила, Евфрата и Тигра, Инда и Ганга, Хоанъ-Хо и Янце-Кьяна;

б) *Эпоха перовыхъ общеній между культурными народами*, имѣвшая своимъ поприщемъ область между Ниломъ и Евфратомъ или отъ Ливійской пустыни до Курдистанскихъ горъ (сюда же эпизодически можно включить и Иранъ, что отодвинетъ восточ-

ную границу этой географической среды до тройной цѣпи Сулейманъ-дага).

II. Вторичныя историческія времена или времена *средиземно-морскихъ* цивилизацій:

- а) *Эпоха городскихъ олигархій* или классическія времена, процвѣтавшія преимущественно на берегахъ Средиземнаго моря;
- б) *Эпоха феодализма или земскихъ олигархій* (средніе вѣка), группировавшихся вокругъ каждаго внутренняго моря.

III. Третичныя историческія времена или времена цивилизацій *океаническихъ*:

- а) *Эпоха атлантическая* (со смерти Карла V до половины текущаго столѣтія включительно);
- б) *Начало эпохи всемірной* <sup>1)</sup>.

Такое дѣленіе всемірной исторіи, при которомъ мы имѣли въ виду не самую драму, такъ сказать, а только сцены, на которой разыгрывались различные акты ея, различается отъ общепринятаго только тѣмъ, что измѣняетъ установленныя представленія объ отношеніи среднихъ вѣковъ къ классической древности и объ отношеніяхъ финикійскихъ, эллинскихъ и итальянскихъ олигархій къ деспотіямъ Египта и Азіи. Затѣмъ предстоитъ только провѣрить: точно ли вышепомѣченнымъ послѣдовательнымъ перемѣщеніямъ исторіи — изъ данныхъ нѣкоторыхъ исключительныхъ рѣкъ на средиземноморскіе берега, а оттуда въ болѣе обширную океаническую среду — соотвѣтствуетъ послѣдовательное развитіе самого внутренняго содержанія исторіи? — Необходимо также изслѣдовать тѣ особенности, благодаря которымъ только вышепомянутыя семь изъ всего великаго множества большихъ рѣкъ оказываются одаренными какъ бы чудотворнымъ историческимъ значеніемъ. обстоятельное изслѣдованіе этихъ особенностей одно можетъ пролить нѣкоторый свѣтъ на загадочный вопросъ: какими путями „географическая среда“ обуславливаетъ общественный строй и историческую судьбу своихъ обитателей, все равно въ какомъ бы этнографическомъ подраздѣленіи ни числились они, такъ какъ въ охваченной нами полосѣ подвизались всѣ племена и народы Стараго Свѣта...

Л. М.



<sup>1)</sup> При этомъ мы имѣемъ въ виду исключительно западную исторію, отличающуюся преимущественно всемірнымъ характеромъ. Впрочемъ всѣ общія положенія, выведенныя изъ этого изслѣдованія, примѣнимы также и къ исторіи индійско-китайскаго востока, которую невозможно выкинуть изъ всемірной исторіи, отъ которой мы отвѣклись, начиная со вторичнаго періода, только для того, чтобы не удлинять настоящей статьи и не входить въ слишкомъ спеціальныя подробности.



## ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 марта 1889 г.

Отчетъ оберъ-прокурора св. синода за 1886 г. — Борьба съ католицизмомъ въ западныхъ губерніяхъ и съ лютеранствомъ въ остзейскомъ краѣ. — Расколъ при дѣйствіи закона 3-го мая. — Церковно-приходскія школы и церковно-приходскія попечительства. — „Инословные“ воспитанники духовно-учебныхъ заведеній. — Бракоразводныя дѣла. — Отчетъ департамента неокладныхъ сборовъ за 1887 г. — Ликующая московская газета.

Вѣдомство православнаго исповѣданія продолжаетъ подавать при- мѣръ своевременнаго (сравнительно) обнаруженія отчетовъ, — при- мѣръ, который по прежнему находитъ слишкомъ мало подражателей. Отчетъ оберъ-прокурора св. синода за 1886 г. началъ печатаніемъ въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“ и вмѣстѣ съ тѣмъ вышелъ въ свѣтъ отдѣльной книгой — а по вѣдомству народнаго просвѣщенія, напримѣръ, оглашенъ до сихъ поръ все еще только отчетъ за 1884 г. Другія министерства вовсе не публикуютъ общихъ обзоровъ своей дѣятельности; печатаются во всеобщее свѣденіе только отчеты нѣко- торыхъ отдѣльныхъ учреждений — главнаго тюремнаго управленія, по- чтово-телеграфнаго управленія, банковъ крестьянскаго и дворянскаго, департамента неокладныхъ сборовъ. Трудно понять, почему такъ не- одинаково отношеніе къ гласности не только въ различныхъ вѣдом- ствахъ, но и въ различныхъ частяхъ одного и того же вѣдомства. Время господства „канцелярской тайны“ прошло, повидимому, без- возвратно; обсужденіе правительственныхъ мѣръ перестало быть тѣмъ- то абсолютно-невозможнымъ. Чѣмъ больше для него имѣется на-лицо достовѣрныхъ данныхъ, тѣмъ вѣрнѣе оно можетъ достигнуть своей цѣли. Авторитету учрежденія критика, основанная на фактахъ, во всякомъ случаѣ вредитъ гораздо меньше, чѣмъ догадки, вытекающія изъ неопредѣленныхъ слуховъ.

Въ отчетахъ синодальнаго оберъ-прокурора на первый планъ вы- ступаютъ то одні, то другія стороны духовнаго управленія. Это

исполнѣ понятно: многое остается безъ измѣненій изъ года въ годъ, и постоянно одинакова, вездѣ равная обстоятельность изложенія неизбежно повлекла бы за собою массу повтореній. Послѣдній отчетъ заключаетъ въ себѣ, напримѣръ, довольно мало свѣденій о положеніи православія въ западныхъ и остзейскихъ губерніяхъ, именно потому, что объ этомъ говорилось подробно въ предыдущихъ отчетахъ. Кое-что, однако, краткій обзоръ оставляетъ не исполнѣ разъясненнымъ. Мы знаемъ изъ прежнихъ отчетовъ, что въ епархіяхъ подольской и литовской „число упорствующихъ въ желаніи возвратиться въ латинство и уклоняющихся отъ таинствъ православной церкви“ было довольно значительно. Принесъ ли съ собой 1886 годъ, въ этомъ отношеніи, какую-либо переимѣну—новый отчетъ не сообщаетъ; упоминается только о продолжающейся, мѣстами, пропагандѣ, „препятствующей полному процвѣтанію православія“, но вмѣстѣ съ тѣмъ свидѣлствуется, что попытокъ къ совращенію (даже въ подольской епархіи, гдѣ онѣ прежде были наиболѣе распространены) было мало, и что „православное населеніе не даетъ повода упрекать его въ склонности къ отступничеству отъ вѣры своихъ отцовъ“. Къ тѣмъ новообращеннымъ, о которыхъ шла рѣчь въ прежнихъ отчетахъ, эти слова непримѣнны, потому что для нихъ „вѣрой отцовъ“ былъ католицизмъ... Большую полнотой отличаются новыя данныя о холмско-варшавской епархіи. Здѣсь „упроченію дѣла православія“ препятствуетъ, прежде всего, „совершеніе ксендзами религіозныхъ требъ для упорствующихъ въ униіи и тайное крещеніе дѣтей упорствующихъ родителей“. Но что же способствуетъ самому упорству въ униіи? Совершеніе требъ ксендзами является, очевидно, его послѣдствіемъ, а не его источникомъ. То же самое слѣдуетъ сказать и о „краковскихъ бравахъ“, о крещеніи дѣтей и погребеніи умершихъ безъ участія священниковъ; это только—признаки, а не причины. Быть можетъ, упорство держится потому, что не встрѣчаетъ противодѣйствія со стороны администраціи и суда? Нѣтъ; отчетъ удостовѣряетъ, что усиліямъ духовенства оказывается „правительственная поддержка со стороны высшей гражданской власти въ краѣ“. Правда, бывають случаи „самовольнаго возвращенія на родину униатовъ, высланныхъ за упорство въ отдаленныя мѣста имперіи“; но самовольно возвратившимся едва ли удастся долго пробыть у себя дома, а самый фактъ высылки „упорныхъ“ въ отдаленныя мѣста устраняетъ всякую мысль о снисходительности начальства... Въ отчетѣ упоминаются еще два условія, неблагоприятныя для православія: 1) торги и ярмарки въ воскресные и праздничные дни, до окончанія богослуженія въ церкви, и открытіе питейныхъ домовъ, вопреки запрещенію, ранѣе 12 часовъ дня, и 2) празднованіе католическихъ праздниковъ по но-

вѣстому стилю, на двѣнадцать дней раньше православныхъ, „уменьшающее въ глазахъ простаго народа значеніе православныхъ праздниковъ“. Мы понимаемъ, что производство торговли, особенно питейной, утромъ въ воскресные и праздничные дни можетъ вообще уменьшать число лицъ, посѣщающихъ храмы; но для насъ не совсѣмъ ясно, какимъ образомъ оно можетъ приносить спеціальнѣйшій вредъ православнымъ или должностнымъ быть православными? Вѣдь если ярмарка или питейный домъ отвлекаютъ бывшаго униата отъ православнаго богослуженія, то они же преграждаютъ ему путь и въ католическій костелъ. Что касается до значенія праздниковъ, то оно едва ли зависитъ отъ времени празднованія. Въ предѣлахъ царства польскаго даже „простому народу“ не можетъ не быть извѣстно, что православные праздники слѣдуютъ за католическими не вслѣдствіе меньшей ихъ важности, а исключительно вслѣдствіе разницы въ стилѣ. Что же дѣлать, притомъ, пока не уничтожена эта разница <sup>1)</sup>? Нельзя же перенести католическіе праздники на такіе дни, которые не совпадаютъ съ празднуемыми событиями: Рождество Христово, напримеръ, на 6-е января, или Крещеніе—на 18-е. По словамъ отчета, вредное вліяніе на народъ оказываетъ и то обстоятельство, что, по распоряженію правительства, дни католическихъ праздниковъ считаются свободными отъ занятій въ присутственныхъ мѣстахъ. Въ области съ преобладающимъ католическимъ населеніемъ такой порядокъ совершенно неизбеженъ; для православныхъ онъ не представляетъ никакихъ неудобствъ, потому что въ ихъ праздничные дни также прекращается официальная работа. Уваженіе къ вѣрованіямъ и обычаямъ большинства вполне совмѣстно съ достоинствомъ господствующаго вѣроисповѣданія; повредить ему могла бы, наоборотъ, скорѣе отмена постановленія, охраняющаго праздничный досугъ католиковъ. Намъ кажется, что гораздо больше всѣхъ причинъ, перечисленныхъ въ отчетѣ, упроченіе православія въ холмско-варшавской епархіи замедляется тѣмъ, что не всѣ униаты разстались съ унией одинаково охотно и свободно. За успѣшнымъ обращеніемъ въ новую вѣру сплоснъ и рядомъ слѣдуетъ реакція; мы видѣли этому не мало примѣровъ, когда говорили, въ прежніе годы, о распространеніи христіанства на востокъ или православія — на западъ Россіи. Глубокіе корни пускаютъ только вѣрованія, насаждаемыя медленно и постепенно. Отчетъ свидѣтельствуетъ и на этотъ разъ объ успѣшной дѣятельности церковно-приходскихъ братствъ, о благотворномъ вліяніи крестныхъ ходовъ, паломничествъ, проповѣдей, религіозно-нравствен-

<sup>1)</sup> Само собою разумѣется, что единственный возможный путь къ ея уничтоженію—введеніе въ Россію исправленнаго календаря.

ныхъ собесѣдованій; отчего бы не ограничиться этими мѣрами, гораздо болѣе надежными и дѣйствительными, чѣмъ „поддержка высшей гражданской власти“ и даже высылка въ „отдаленныя мѣста“?

Случаи обратнаго уклоненія или отпаденія въ прежнюю вѣру продолжаютъ встрѣчаться и въ остзейскомъ краѣ. „Чтобы успокоить колеблющіеся умы крестьянъ“, лифляндскій губернаторъ прислалъ преосвященному рижскому письмо, „въ которомъ на основаніи законовъ изъяснялось, какой отвѣтственности подвергаются совратители православныхъ и соvrащенные, а также вступившіе въ смѣшанные браки безъ вѣнчанія въ православной церкви“. Объ этомъ письмѣ „объявленномъ, согласно желанію начальнива губерніи, на трехъ языкахъ въ православныхъ церквахъ лифляндской губерніи“, уже шла рѣчь въ одной изъ нашихъ хроникъ <sup>1)</sup>; его главною цѣлью было напоминаніе о незаконности неправильно вѣнчанныхъ браковъ (а слѣдовательно и дѣтей, отъ нихъ рожденныхъ) и о возможности *отобранія* дѣтей отъ родителей, воспитывающихъ ихъ, вопреки закону, не въ православной вѣрѣ. Едва ли такое письмо могло способствовать „успокоенію умовъ“; утратить же „колеблющихся“ оно, несомнѣнно, могло—но отъ утраченія одинаково далеко и до успокоенія, и до убѣжденія. Угрозами, затрогивающими самыя глубокія человѣческія чувства, можно вызвать внѣшнюю покорность, кажущееся подчиненіе церковнымъ уставамъ (то, что въ началѣ прошлаго вѣка извѣстно было въ Англіи подъ именемъ occasional conformity)—но вѣдь не это же имѣется въ виду при распространеніи православія въ остзейскомъ краѣ... Если оглашеніе письма, написаннаго лифляндскимъ губернаторомъ, признавалось необходимымъ, то вполнѣ ли удобнымъ для того мѣстомъ представлялась церковь, въ которой должны раздаваться только слова любви и мира?

1886 годъ былъ первый, въ продолженіе котораго опять дѣйствовалъ въ полной силѣ, для остзейскаго края, законъ о предбрачныхъ подпискахъ <sup>2)</sup>. Въ теченіе предшествующихъ двадцати лѣтъ, по словамъ отчета, „населенію постоянно было внушаемо, что господствующей, если даже не единственною вѣрою въ краѣ должна быть лютеранская, и что всѣхъ дѣтей отъ смѣшанныхъ браковъ обязательно крестить въ лютеранство. Когда же послѣдовало отъ св. синода подтвержденіе о восстановленіи предбрачныхъ подписокъ, то народъ убѣдился, что верховная власть признаетъ православную вѣру господствующей и въ прибалтійскомъ краѣ“. О способѣ и степени распространенія народныхъ убѣжденій судить чрезвычайно трудно.

<sup>1)</sup> См. № 5 „Вѣстника Европы“ за 1887 г.

<sup>2)</sup> Извѣстно, что примѣненіе этого закона къ остзейскимъ губерніямъ было приостановлено въ 1865 г., хотя формально онъ для нихъ никогда отмененъ не былъ.

Намъ кажется, что и до возстановленія предбрачныхъ подписокъ населеніе остзейскихъ губерній не находилось въ слишкомъ явномъ заблужденіи насчетъ officialнаго значенія обоихъ вѣроисповѣданій; иначе едва ли могли бы возобновиться обращенія къ православію, достигшія значительныхъ размѣровъ еще за два года до возстановленія предбрачныхъ подписокъ. Съ другой стороны, правительственное распоряженіе 1885 г. не остановило, какъ видно изъ вышесказаннаго, обратнаго движенія изъ православія въ лютеранство. Это вполне понятно: въ дѣлахъ религіозныхъ главную роль играетъ личное вѣрованіе, всего меньше зависящее отъ того, какова въ данную минуту, вѣроисповѣданная политика государства. Необходимо, поэтому, только одно: охранять вновь обращающихся отъ притѣсненій и преслѣдованій со стороны прежнихъ ихъ единовѣрцевъ. По отношенію къ обращеннымъ въ православіе эта охрана, безъ сомнѣнія, существуетъ въ достаточной мѣрѣ; желаніе перейти въ православіе не можетъ, слѣдовательно, встрѣтить преграды въ соображеніяхъ о томъ, какое исповѣданіе слѣдуетъ считать господствующимъ въ краѣ—православное или лютеранское. Достаточно яснымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ служить уже самая безпрепятственность обращенія... Возстановленіе обязательныхъ предбрачныхъ подписокъ, не увеличивая числа обращающихся въ православіе, не уменьшая числа отпадающихъ отъ него, затруднить, по всей вѣроятности, заключеніе смѣшанныхъ браковъ—а между тѣмъ они представляются однимъ изъ лучшихъ средствъ къ сглаженію національныхъ различій. Чрезвычайно интересно было бы знать, сколько смѣшанныхъ браковъ совершалось въ остзейскихъ губерніяхъ ежегодно, среднимъ числомъ, до 1885 г., и сколько совершается ихъ въ настоящее время. Не менѣе важно было бы привести въ извѣстность, встрѣчались ли до 1885 г., и какъ часто, случаи крещенія дѣтей, рожденныхъ отъ смѣшанныхъ браковъ, по обряду православной церкви. Трудно предположить, чтобы отсутствіе подписокъ не восполнялось, до извѣстной степени, соглашеніемъ между супругами. Въ Германіи смѣшанные браки между католиками и протестантами нерѣдко заключались подъ условіемъ воспитанія дѣтей одного пола въ вѣрѣ отца, дѣтей другого пола—въ вѣрѣ матери; неужели ничего подобнаго не встрѣчалось, съ 1865 по 1885 г., въ остзейскомъ краѣ?

Противъ другой мѣры, введенной въ дѣйствіе въ 1886 г.—освобожденія православныхъ жителей остзейскаго края отъ участія въ повинности на содержаніе протестантскихъ церквей и пасторовъ—нельзя возразить ни слова, и мы упоминаемъ о ней только потому, что при исполненіи ея возникъ вопросъ: какъ опредѣлить принадлежность того или другого лица къ православной церкви, въ виду

того, что есть и уклонившіеся отъ православія въ лютеранство? „Въ отвѣтъ на это,—читаемъ мы въ отчетѣ,—было разъяснено, что вѣроисповѣдная принадлежность православныхъ опредѣляется посредствомъ выписокъ изъ православныхъ метрическихъ книгъ о рожденіи, крещеніи или присоединеніи извѣстнаго лица къ православной церкви, *такъ какъ законъ российской государству не признаетъ отпаденій отъ православія*“. Въ примѣненіи къ данному случаю это разъясненіе не представляетъ никакихъ затрудненій. Кто принадлежитъ къ православію лишь номинально, тотъ, безъ сомнѣнія, не воспользуется льготой, предоставляемой ему закономъ именно какъ православному—и наоборотъ, кто воспользуется ею, тотъ докажетъ этимъ самымъ, что не возвратился въ лютеранство. Тѣмъ важнѣе, зато, общее начало, провозглашенное въ отчетѣ,—начало безповоротности обращенія, разъ что оно совершилось. Каковы бы ни были, въ данную минуту, вѣрованія лица, перешедшаго въ православіе—или его дѣтей, рожденных послѣ перехода,—для него, какъ и для нихъ, не признается возможнымъ возвратъ къ прежнему исповѣданію. Хорошо, еслибы между закономъ и дѣйствительностью никогда не было противорѣчія; но оно, къ сожалѣнію, существуетъ и, не находя легальнаго признанія, создаетъ массу положеній, до крайности тяжелыхъ. Можно отрицать значеніе факта, но нельзя его уничтожить; можно причислять къ православной церкви всѣхъ тѣхъ, кто значителенъ православнымъ по метрическимъ книгамъ, но нельзя достигнуть того, чтобы лютеранинъ въ душѣ былъ православнымъ на самомъ дѣлѣ. Неопредѣленность личныхъ и имущественныхъ правъ, расторженіе самыхъ близкихъ семейныхъ узъ, преслѣдованіе иновѣрнаго духовенства—вотъ результаты вынужденнаго „двоевѣрія“, неизбѣжность которыхъ доказывается съ достаточною ясностью исторіей русскаго раскола.

Въ борьбѣ съ расколомъ, судя по даннымъ отчета, все большую и большую роль играютъ мирныя средства. Только въ немногихъ случаяхъ продолжаютъ быть въ ходу, повидимому, и мѣры другого рода; такъ, въ нижегородской епархіи благочиннымъ поручено было собрать точныя свѣденія о томъ, нѣтъ ли въ приходахъ лицъ, которые считаютъ себя раскольниками, но по метрикамъ *должны быть* православными. Священникамъ той же епархіи поставлено было въ обязанность слѣдить, не покажется ли въ ихъ приходахъ расколотчикъ или совратитель, для немедленнаго донесенія о томъ епархіальному начальству... Несравненно больше мѣста занимаютъ въ отчетѣ сообщенія о противораскольническихъ миссіяхъ, о собесѣдованіяхъ съ раскольниками, о привлеченіи раскольническихъ дѣтей въ общія народныя школы. По свидѣтельству пресвященнаго харь-

ковскаго, въ селахъ, гдѣ существуютъ школы, раскольниковскія дѣти, обучающіяся вмѣстѣ съ православными, по выходѣ изъ школы становятся совершенно равнодушными къ родительскому старовѣрью. Преосвященный уфимскій сообщаетъ, что въ дѣлѣ обращенія раскольниковъ вниманіе его главнымъ образомъ обращено на школы, гдѣ дѣти раскольниковъ обучаются совмѣстно съ православными. Законоучителямъ внушено „дѣйствовать на заблуждающихъ съ мягкостью и кротостью, не порицать передъ ними двуперстія и не осуждать читателей старопечатныхъ книгъ, а напротивъ, стараться говорить о послѣдователяхъ старыхъ обрядовъ съ снисходительностью и любовью“. Въ виду этихъ инструкцій, заслуживающихъ полнѣйшаго сочувствія, не своевременно ли было бы отказаться и въ официальныхъ документахъ отъ выраженій, обидныхъ для раскола—напримѣръ отъ столь употребительнаго сравненія раскола съ *заразой*?. По заявленію миссіонеровъ саратовскаго братства св. Креста, раскольники охотно посылаютъ своихъ дѣтей въ школы, гдѣ законоучителями состоятъ священники, и не запрещаютъ дѣтямъ слушать уроки по закону Божию наряду съ дѣтьми православныхъ родителей и даже участвовать въ общей школьной молитвѣ. Съ неменьшею охотой въ послѣднее время раскольники посылаютъ дѣтей и въ церковно-приходскія школы; въ одной изъ такихъ школъ (аткарскаго уѣзда) дѣтей православныхъ родителей числится 15, а дѣтей раскольниковъ—54. Въ нижегородской губерніи открыто значительное число школъ, съ православными законоучителями и учителями, въ такихъ селеніяхъ, гдѣ это прежде было немислимо; школы эти переполнены учащимися; даже въ семеновскомъ уѣздѣ, знаменитомъ въ прежнее время своими скитами, теперь семнадцать православныхъ училищъ. Въ одной изъ раскольниковскихъ деревень балахнинскаго уѣзда устроены два православныхъ училища, мужское и женское, съ православными законоучителями; ученики, между которыми больше половины дѣтей раскольниковъ, прекрасно читаютъ по книгамъ церковной и гражданской печати и поютъ цѣлымъ классомъ въ церкви. Замѣтимъ, что большая часть школъ, о которыхъ до сихъ поръ упоминалось—очевидно школы свѣтскія; когда же рѣчь идетъ о школахъ церковно-приходскихъ—какъ, напримѣръ, по отношенію къ аткарскому уѣзду,—то это прямо означается въ отчетѣ. Если старообрядцы, болѣе чѣмъ кто-либо дорожащіе религіознымъ элементомъ въ воспитаніи, такъ охотно посылаютъ своихъ дѣтей въ земскія и вообще свѣтскія школы, то не служитъ ли это лучшимъ опроверженіемъ нареваній, вводимыхъ на свѣтскую школу односторонними ревнителями школы церковно-приходской? Ошибочно было бы думать впрочемъ, что довѣріе раскольниковъ къ общей начальной школѣ—явленіе без-

условно новое, зародившееся лишь въ послѣдніе годы; оно было замѣтно еще въ концѣ прошедшаго десятилѣтія, какъ естественный результатъ всего сдѣланнаго земствомъ на пользу народнаго образованія <sup>1)</sup>. Во всякомъ случаѣ это довѣріе растетъ непрерывно, отчасти благодаря перемѣнѣ, внесенной въ наше законодательство о расколѣ правилами 3-го мая 1883 г.

О примѣненіи этихъ правилъ въ отчетѣ оберъ-прокурора за 1886 г. говорится очень мало. По прежнему замѣтно, однако, существованіе двухъ противоположныхъ мнѣній, на которыя намъ приходилось указывать въ предыдущихъ обзорѣніяхъ (1887 г. № 2; 1888 г. № 3). Одно изъ нихъ приписываетъ закону 3-го мая „нѣкоторыя явленія, неблагопріятныя для православной церкви“; другое видитъ въ немъ, наоборотъ, средство къ сближенію между сектантами и православными. Число епархій, въ которыхъ держится первое мнѣніе, повидимому, уменьшается; въ отчетѣ за 1885 г. ихъ было названо десять, въ отчетѣ за 1886 г.—только три (новгородская, симбирская и иркутская). До какой степени разнообразны и противорѣчивы взгляды на законъ 3-го мая, это видно, между прочимъ, изъ отношенія къ нему самихъ раскольниковъ. Въ одной и той же епархіи (пензенской) одни раскольники увидѣли въ немъ опасность гоненій и стали искать убѣжища въ землянкахъ и подпольяхъ; другіе, основываясь на томъ же законѣ, свободно строятъ новыя часовни и молебни и открыто совершаютъ крестные ходы. Огня безъ дыма не бываетъ—и потому весьма любопытно было бы узнать, что именно заставляетъ раскольниковъ относиться столь различно къ новому положенію, созданному для нихъ закономъ 3-го мая. Часто ли поступаютъ къ губернаторамъ просьбы объ исправленіи или возобновленіи существующихъ моленныхъ, и какъ великъ, въ различныхъ губерніяхъ, процентъ подобныхъ ходатайствъ, оставляемыхъ безъ удовлетворенія? Бываютъ ли случаи самовольныхъ починокъ, и если бываютъ, то почему? Не потому ли, что слишкомъ долго приходится ожидать отвѣта отъ губернскаго начальства? Много ли дано министерствомъ внутреннихъ дѣлъ разрѣшеній на капитальную перестройку моленныхъ и на устройство новыхъ молитвенныхъ зданій? Пока нѣтъ отвѣта на всѣ эти вопросы, до тѣхъ поръ нельзя составить себѣ точнаго понятія о практическомъ значеніи новыхъ правилъ. Характеръ ихъ—преимущественно дискреціонный; весьма немногое дозволяется ими прямо; въ большинствѣ случаевъ требуется согласіе власти, зависящее не отъ соблюденія тѣхъ или другихъ условий, а отъ усмотрѣнія. При такомъ положеніи дѣлъ возможенъ довольно широкій просторъ, воз-

<sup>1)</sup> См. Внутр. Обзоръ въ № 5 „Вѣстника Европы“ 1881 г.



можно и крайнее стѣсненіе раскольниковъ; возможны переходы отъ одной системы къ другой, противоположной; возможны рѣзкія различія между двумя сосѣдними губерніями. Труднѣе допустить рѣзкое различіе между двумя уѣздами одной и той же губерніи, такъ какъ первую инстанцію въ дѣлахъ, возникающихъ на почвѣ закона 3-го мая, составляетъ губернаторъ; мы видѣли однако, что въ пензенской губерніи оно существуетъ... Конечно, свѣденій, упомянутыхъ нами выше, слѣдовало бы искать не столько въ отчетѣ синодальнаго оберъ-прокурора, сколько въ отчетѣ министра внутреннихъ дѣлъ; но мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что административнымъ распоряженіямъ по части раскольническихъ моленныхъ предшествуетъ обыкновенно, de facto, сношеніе съ духовною властью <sup>1)</sup>. Въ одномъ случаѣ это сношеніе даже обязательно (когда идетъ рѣчь о распечатаніи раскольнической моленной),—а между тѣмъ ни о чемъ подобномъ не говорится ни въ одномъ изъ четырехъ отчетовъ по духовному вѣдомству, опубликованныхъ со времени введенія въ дѣйствіе закона 3-го мая. Неужели не было до сихъ поръ ни одного случая ходатайства о распечатаніи моленной?

Отдѣлъ отчета, посвященный сектантамъ—штундистамъ и молоканамъ,—написанъ, сравнительно съ прежними годами, въ болѣе умѣренномъ тонѣ и, что еще важнѣе, рѣже упоминаетъ о „гражданскихъ мѣропріятіяхъ“ противъ сектантовъ. Изъ отчета за 1885 г. мы узнали, что кромѣ административныхъ и судебныхъ каръ штундистамъ угрожаетъ иногда народная расправа, остающаяся, повидимому, безъ законнаго возмездія <sup>2)</sup>; въ отчетѣ за 1886 г. нѣтъ рѣчи, къ счастью, ни о чемъ подобномъ. Когда въ селѣ Малой Мечетнѣ (подольской губерніи) появилось два штундиста, крестьяне обратились къ мѣстному духовному начальству, а послѣднее къ гражданскому — „съ просьбою о немедленномъ выселеніи обоихъ лжеучителей и о преданіи ихъ законной отвѣтственности“. Это все же лучше, чѣмъ крестьянскій самосудъ, столь легко выходящій за предѣлы первоначальнаго плана,—и притомъ это единственный, приводимый въ отчетѣ случай, когда обвинителями сектантовъ являются сами крестьяне. Въ селѣ Сеньковѣ (черниговской губерніи) крестьяне ограничились

<sup>1)</sup> Утверждаетъ насъ въ этой мысли и то обстоятельство, что съ 1886 г. возстановлено дѣйствіе отминовеннаго, въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, закона, по которому губернская власть, предварительно представленія въ министерство внутреннихъ дѣлъ проектовъ постройки иновѣрческихъ церквей, удостоверяются, посредствомъ сношенія съ православнымъ епархіальнымъ начальствомъ, нѣтъ ли препятствій къ разрѣшенію постройки. Едва ли расколу предоставлено положеніе болѣе льготное, чѣмъ иновѣрнымъ исповѣданіямъ.

<sup>2)</sup> Въ бахмутскомъ уездѣ были „разобраны по бревнамъ два двора, въ которыхъ штундисты собирались для вечернихъ радній“.

тѣмъ, что выгнали штундистовъ, пришедшихъ къ нимъ на заработки... Насиліе со стороны населенія и преслѣдованія со стороны власти представляются тѣмъ менѣе желательными орудіями въ борьбѣ съ сектантствомъ, что оно гораздо легче уступаетъ другому, противоположному образу дѣйствій. По словамъ отчета, противощтундистской миссии въ херсонской епархіи удалось, во многихъ мѣстахъ, подорвать почву подъ штундизмомъ—а между тѣмъ не видно, чтобы миссіонеры выступали изобличителями штундистовъ передъ свѣтскою властью. Въ селѣ Нововасильевѣ (таврической епархіи) мѣстный священникъ „своимъ благоговѣннымъ священнослуженіемъ, безкорыстіемъ и устными собесѣдованіями настолько смягчилъ сердца мѣстныхъ молоканъ, что они обращаются къ нему за совѣтами въ разныхъ обстоятельствахъ жизни“. Во время посѣщенія этого села преосвященнымъ таврическимъ „молокане съ своими старшинами встрѣтили архипастыря въ оградѣ православной церкви съ хлѣбомъ-солью, и по выходѣ его изъ православной школы просили посѣтить ихъ школу, въ чемъ имъ и не было отказано“. Какими гоненіями можно было бы достигнуть подобныхъ результатовъ?

Какъ много значатъ личныя свойства тѣхъ, на кого возложено распространеніе православія—объ этомъ можно судить по слѣдующему факту, сообщаемому отчетомъ. Преосвященный камчатскій свидѣтельствуемъ о выдающейся дѣятельности молодого миссіонера, священника Нижонковского. Научившись въ короткое время говорить на мѣстномъ нарѣчій, онъ сталъ вести религіозно-нравственныя бесѣды съ инородцами своего стана, слушавшими его наставленія съ полнымъ вниманіемъ; между тѣмъ „прочіе миссіонеры, прослужа до десяти и болѣе лѣтъ, не изучили инородческихъ языковъ своей паствы, вслѣдствіе чего проповѣдь ихъ не приносила существенной пользы и была лишь исполненіемъ внѣшней формы, не возгрѣвая духа“. Справедливо ли было бы обвинять въ упорствѣ тѣхъ язычниковъ-инородцевъ, на которыхъ, въ продолженіе многихъ лѣтъ, насколько не дѣйствовала такая проповѣдь?.. А между тѣмъ подобное явленіе возможно не только тамъ, гдѣ говорящихъ отдѣляетъ отъ слушающихъ различіе языка. Въ болѣе или меньшей степени оно повторяется каждый разъ, когда дѣло обращенія ведется формально, безъ истинной любви и истиннаго призванія, безъ желанья и безъ умѣнья понять душевное настроеніе слушателей. Чѣмъ меньше проповѣдникъ сознаетъ свою внутреннюю силу, тѣмъ больше онъ расположенъ прибѣгать къ „свѣтской рукѣ“ (le bras séculier), къ современнымъ суррогатамъ „огня и меча“.

Переходимъ къ тому отдѣлу отчета, который касается церковно-приходскихъ школъ. Школы грамотности, къ сожалѣнію, не отдѣлены

здѣсь отъ школъ церковно-приходскихъ, въ тѣсномъ смыслѣ слова. Различіе между тѣми и другими такъ велико—или, по крайней мѣрѣ, *должно быть* такъ велико,—что соединить ихъ въ одно цѣлое ни въ какомъ случаѣ не слѣдовало бы. Всѣхъ школъ, подвѣдомыхъ духовенству, открыто въ 1886 г. 3.001, съ 54.526 учащимися обоого пола (среднимъ числомъ—по 18 учащихся на каждую школу). Къ концу 1886 г. состояло всего 12.009 школъ, съ 293,189 учащимися (среднее число—25). Сравнительно съ средней цифрой учащихся въ свѣтской школѣ (по отчету министерства народнаго просвѣщенія за 1884 г.—58), эти среднія цифры очень незначительны и заставляютъ думать, что церковно-приходскія школы открываются иногда и безъ дѣйствительной въ нихъ надобности, рядомъ съ существующими свѣтскими школами. Точному выводу, впрочемъ, препятствуетъ именно смѣшеніе школъ грамотности со школами церковно-приходскими, такъ какъ въ первыхъ число учащихся, говоря вообще, гораздо меньше, чѣмъ въ послѣднихъ... Для увеличенія средствъ церковно-приходскихъ школъ рекомендуется обращать на ихъ содержаніе, по приѣму воронежской епархіи, часть кружечно-кошельковаго сбора; сверхъ того повсемѣстно учреждена особая кружка для сбора пожертвованій въ пользу церковно-приходскихъ школъ. Этимъ мѣрамъ отчетъ придаетъ большую важность не только въ матеріальномъ, но и въ нравственномъ отношеніи. „Народъ, приносящій щедрыя пожертвованія на храмы Божіи, будетъ глубоко благодаренъ за то, что часть этихъ жертвъ будетъ расходоваться на воспитаніе приходскихъ дѣтей. Безмездные труды духовенства по учительству въ церковно-приходскихъ школахъ и пожертвованія церковныхъ суммъ на содержаніе этихъ школъ еще болѣе возвысятъ въ глазахъ народа его духовныхъ пастырей“. Нѣсколько ниже, однако, въ отчетѣ выражается надежда, что государственное казначейство не откажетъ придти на помощь церковно-приходскимъ школамъ; „нынѣ же православное духовенство, ревностно и безмездно подвизающееся на поприщѣ просвѣщенія народа въ церковно-православномъ духѣ, тѣмъ болѣе заслуживаетъ матеріальной поддержки и поощренія со стороны правительства“. Итакъ, рѣчь идетъ въ одно и то же время и о поднятій духовенства, въ глазахъ народа, путемъ безмездныхъ трудовъ въ церковно-приходской школѣ, и объ оказаніи ему за эти труды матеріальной поддержки. Обѣихъ цѣлей, очевидно, заразъ достигнуть нельзя; нужно выбрать ту или другую. Что касается до „пожертвованій“ изъ церковныхъ суммъ, то едва ли отъ народа остается скрытымъ, что они имѣютъ не добровольный, а обязательный характеръ. Если на школы идутъ деньги, опущенныя въ специально установленную для того кружку, то здѣсь вовсе не можетъ быть рѣчи о заимствованіи изъ

*церковныхъ* суммъ; если на тотъ же предметъ обращается часть кружечно-вошельковаго сбора, то это дѣлается въ силу распоряженія епархіальной власти.

Говоря о программахъ церковно-приходскихъ школъ, отчетъ замѣчаетъ, что „изъ преподаванія ариѳметики ими исключено господствовавшее доселѣ въ сельскихъ народныхъ училищахъ механическое изученіе чиселъ, которое замѣнено изученіемъ дѣйствій и рѣшеніемъ задачъ, имѣющихъ непосредственное приложеніе къ крестьянскому быту“. О какихъ училищахъ здѣсь идетъ рѣчь? Если о школахъ грамотности или о старой „часословной школѣ“, то въ сравненіи съ ними ариѳметическая программа церковно-приходскихъ школъ безспорно составляетъ большой шагъ впередъ. Ничего подобнаго утверждать нельзя, если церковно-приходская школа противопоставляется школѣ земской. Именно земская школа положила конецъ механическому изученію ариѳметики и приучила учениковъ къ сознательному совершенію ариѳметическихъ дѣйствій. Быть можетъ, въ эпоху увлеченія системой Грубе, въ эпоху наибольшаго распространенія методики и задачника Евтушевскаго, въ нашей свѣтской школѣ и останавливались иногда слишкомъ долго на отдѣльныхъ числахъ; но эта эпоха давно прошла, да и въ самыхъ крайностяхъ ея механической элементъ изученія никогда не преобладалъ надъ всѣми остальными. И у Евтушевскаго можно найти не мало задачъ, приспособленныхъ къ крестьянскому быту; еще богаче ими новѣйшіе задачники (напр. задачникъ Лубіенца), появившіеся на сцену въ концѣ семидесятыхъ или началѣ восьмидесятыхъ годовъ, задолго до правилъ 13-го іюня 1884 г. Не даромъ же даже такіе ревностные приверженцы церковно-приходской школы, какъ г. Горбовъ, признаютъ за свѣтской школой заслугу выработки лучшихъ *пріемовъ начальнаго обученія*... Нѣкоторые уѣздныя земскія собранія, — читаемъ мы дальше, — „постановили ввести въ свои школы изданныя св. синодомъ программы. Нѣтъ сомнѣнія, что въ недалекомъ будущемъ во всѣхъ сельскихъ начальныхъ народныхъ училищахъ будутъ введены упомянутыя программы, съ предоставленіемъ православному духовенству руководящаго вліянія и наблюденія за ихъ примѣненіемъ“. Если эта увѣренность основана только на томъ, что „нѣкоторыя“ земскія собранія усвоили себѣ программы церковно-приходской школы, то ее едва ли можно признать основательною; вѣдь „нѣкоторыя“ земства выразили готовность и вовсе отказаться, въ пользу духовенства, отъ завѣдыванія своими школами, — но они составляютъ ничтожное меньшинство, и объ охотникахъ слѣдовать ихъ примѣру почти не слышно. Другое дѣло, если имѣется въ виду обязательное для земства распоряженіе правительственной власти; само собою разумѣется, что та-

кимъ распоряженіемъ земскія школы во всякое время могутъ быть снабжены новыми программами и поставлены подѣ „вліяніе и наблюденіе“ духовенства, или, выражаясь проще и точнѣе—обращены въ школы церковно-приходскія. Весь вопросъ заключается въ томъ, необходимо ли, желательно ли подобное распоряженіе. Не повторяя того, что было уже много разъ нами сказано по этому вопросу, ограничимся указаніемъ на нѣкоторые факты, заимствуемые нами изъ официальныхъ изданій духовнаго вѣдомства („Церковная школа“, № 1 и 2; это, безъ сомнѣнія, тѣ самыя брошюры, о разсылкѣ которыхъ въ административныя и учебныя учрежденія говорится въ отчетѣ оберъ-прокурора св. синода).

Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, еще до открытія земскихъ учреждений, собраны были, черезъ посредство епархіальныхъ преосвященныхъ, данныя о приходскихъ школахъ, состоявшихъ въ вѣденіи духовенства. Числилось тогда такихъ школъ 21.420, съ 413.524 учащимися. Въ продолженіе двадцати лѣтъ это число уменьшилось болѣе чѣмъ вчетверо; ко времени обнародованія правилъ 13-го іюня 1884 г. церковныхъ школъ было только 4.547, съ 105.150 учащимися. Какъ и почему это произошло—изъ официальной исторіи церковныхъ школъ не видно; она прямо переходитъ отъ изслѣдованія, произведеннаго въ 1863 г., къ закону 1884 г. Перечислены, правда, неблагоприятныя обстоятельства, съ которыми должны были бороться, четверть вѣка тому назадъ, церковныя школы — но вѣдь со всѣми этими обстоятельствами (бѣдность учащихся и учащихся, недостаточная педагогическая подготовка учителей, отсутствіе программъ и правилъ, отдаленность школъ отъ населенія, неисправное посѣщеніе школы) очутилась лицомъ къ лицу и новая земская школа. Правда, ей было легче найти средства къ существованію, благодаря земскому бюджету — но быстрый ростъ земскихъ расходовъ на начальное обученіе сдѣлался возможнымъ только потому, что земская школа сразу оказалась и жизнеспособной, и ничѣмъ незамѣнимой. Придти на помощь организованному дѣлу было бы гораздо легче, чѣмъ создать новое — и если земство избрало путь болѣе трудный, то это объясняется исключительно тѣмъ, что церковныя школы, въ большинствѣ случаевъ, существовали лишь номинально. Нельзя же предположить, въ самомъ дѣлѣ, что всѣ триста-шестьдесятъ уѣздныхъ собраній *не захотѣли*, изъ-за тенденціозныхъ соображеній, воспользоваться готовой постройкой и предпочли возвести собственное зданіе, не страшась ни трудовъ, ни расходовъ.. Въ отзывахъ 1863 г. указывалось, между прочимъ, и на то, что „духовенство не пользуется въ дѣлѣ народнаго обученія надлежащею свободою дѣйствій и находится въ болѣе или менѣе зависимости отъ свѣтскихъ начальствъ,

которыхъ вліяніе оказывается не всегда благопріятнымъ для дѣла“. Довольно трудно себѣ представить, отъ какихъ „свѣтскихъ начальствъ“ зависѣли церковно-приходскія школы въ 1863 г., когда вовсе еще не было рѣчи объ училищной инспекціи, и въ чемъ именно эти начальства тормазили церковную школу; но если и допустить, что зависимость была и связывала движенія церковной школы, то развѣ выгодноѣ, въ этомъ отношеніи, было положеніе школъ земскихъ? Всѣмъ извѣстно, сколько надъ ними было установлено властей и наблюдателей, далеко не всегда облегчавшихъ ихъ задачу; и все-таки это не помѣшало ихъ распространенію и продрѣтанію. Еще легче преодолимыми затрудненія, вызванныя „зависимостью“, оказались бы, конечно, для церковныхъ школъ... Другимъ важнымъ препятствіемъ къ развитію церковной школы признавалось, въ половинѣ шестидесятыхъ годовъ, „равнодушіе къ грамотности“ какъ со стороны самихъ крестьянъ, такъ и со стороны сельскихъ властей, „которыя, при направленіи крестьянъ зависѣтъ во всемъ и ожидать всего отъ власти, могли бы оказать значительное содѣйствіе въ этомъ дѣлѣ“. Заручиться этимъ „содѣйствіемъ“, т.-е. положить во главу угла прямое или косвенное понужденіе, было нетрудно; стоило только добиться „предписанія“ мировымъ посредникамъ, которые въ свою очередь дали бы соотвѣтствующіе „приказы“ волостному и сельскому начальству. Такимъ путемъ дѣло, по всей вѣроятности, и пошло бы, еслибы руководящая роль въ области начального обученія была предоставлена, въ 1863 г., учрежденіямъ и лицамъ, провозглашавшимъ необходимость „властнаго содѣйствія“. Число школъ увеличилось бы быстро, но не возникло бы живой связи между ними и народомъ. Къ счастью для Россіи, на первый планъ выступило земство, величайшая заслуга котораго заключается именно въ томъ, что оно сумѣло побѣдить „равнодушіе“ крестьянъ, не прибѣгая къ постороннему „содѣйствію“. Теперь ледъ давно пробитъ, и церковно-приходская школа, возродившись къ жизни, находитъ уже не то населеніе, съ которымъ она имѣло дѣло за двадцать лѣтъ передъ тѣмъ. Если она богата учениками—ничуть, впрочемъ, не больше, чѣмъ другія категоріи начальныхъ училищъ<sup>1)</sup>—то она обязана этимъ именно плодотворной дѣятельности земской школы. Лучшій аргументъ въ пользу послѣдней—это исторія церковной школы, начертанная ея приверженцами... Свѣтской школъ не нужно монополіи, не нужно

<sup>1)</sup> Мы узнаемъ изъ официального источника, что въ губерніяхъ минской, моголевской и гродненской, несмотря на открытіе сотенъ церковно-приходскихъ школъ, увеличилось число учащихся и въ министерскихъ народныхъ училищахъ („Церковная Школа“, № 2). Едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что это явленіе повторяется повсемѣстно.

привилегій; ей нужна только равноправность, въ которой ей, надѣемся, никогда и не будетъ отказано.

Въ виду толковъ о приходѣ, какъ о возможной мелкой самоуправляющейся единицѣ, любопытно ознакомиться съ положеніемъ церковно-приходскихъ попечительствъ, организованныхъ на основаніи правилъ 1864 г. Къ 1886 г. ихъ было 11.888; въ теченіе года вновь открыто 359. Всѣхъ приходовъ въ то же время было 33.416; слѣдовательно попечительства числились только въ одной, съ небольшимъ, трети приходовъ. По заявленіямъ пяти преосвященныхъ, попечительства приносятъ весьма ощутительную пользу въ церковно-приходской жизни. Другіе преосвященные указываютъ на неясное, одно-стороннее или даже неправильное пониманіе попечительствами своихъ правъ и обязанностей. Вообще, по словамъ отчета, въ попечительствахъ „довольно благопріятно идетъ дѣло относительно устройства и исправленія храмовъ; но другія, входящія въ кругъ ихъ дѣйствій, обязанности по устройству школъ и благотворительныхъ учрежденій, по улучшенію быта приходскаго духовенства, по устройству для него помѣщеній—остаются почти совершенно внѣ ихъ заботъ“. Преосвященный нижегородскій сообщаетъ, что дѣятельность большинства попечительствъ весьма неудовлетворительна, а во многихъ приходяхъ попечительства существуютъ лишь номинально или скоро закрываются; народъ несочувственно относится къ нимъ, опасаясь налоговъ и поборовъ. Всего сдѣлано и собрано попечительствами въ 1886 г. пожертвованій почти на два милліона рублей (среднимъ числомъ на каждое попечительство около 160 рублей). Болѣе трехъ четвертей этой суммы (почти 1.600.000 рублей) пошло на постройку, починку и украшеніе церквей. Всѣ эти данныя едва ли позволяютъ видѣть въ приходскомъ попечительствѣ, какимъ оно представляется въ настоящее время, здоровый и жизнеспособный зародышъ будущаго самоуправляющагося прихода.

Съ конца шестидесятихъ годовъ духовныя академіи, семинаріи и училища сдѣлались доступными не для однихъ только дѣтей священно- и церковнослужителей, но и для лицъ всѣхъ другихъ сословій. Не лишены значенія данныя, сообщаемыя отчетомъ о числѣ такъ-называемыхъ „инословныхъ“ воспитанниковъ. Ихъ перебывало, въ продолженіе 18—20 лѣтъ, около 21½ тысячи. Не совсѣмъ ничтожная сама по себѣ, эта цифра крайне невелика въ сравненіи съ общимъ числомъ учившихся, въ тотъ же періодъ времени, въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ (болѣе 838½ тысячъ); инословные воспитанники составляютъ едва 2½% этого числа. Всего больше ихъ было, относительно, въ духовныхъ училищахъ (почти 18 тысячъ изъ 554½, т.-е. немного болѣе 3%), меньше—въ семинаріяхъ (3.400

изъ 271 тысячи, т.-е. около 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>%), еще меньше—въ академіяхъ (120 изъ 12.854, т.-е. менѣе 1%). Ученые инословныхъ воспитанниковъ не отличалось успѣшностью. Изъ духовныхъ училищъ въ семинаріи переходила только одна шестая ихъ часть (а учениковъ духовнаго сословія — больше половины); весьма многіе оставляли семинарію до окончанія курса. Побудительной причиной къ вступленію въ духовно-учебное заведеніе для лицъ свѣтскихъ сословій является, повидимому, не столько желаніе посвятить себя духовному служенію, сколько невозможность найти мѣсто въ училищахъ другихъ категорій. Духовенство, за рѣдкими исключеніями, продолжаетъ пополняться изъ собственной своей среды. Это совершенно естественно; обычай, существовавшій столь долго, не скоро можетъ потерять свою силу... Гораздо выше процентъ инословныхъ въ женскихъ духовныхъ училищахъ; въ 1886 г. ихъ было здѣсь 1.179 изъ 9.380 (болѣе 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>%). Объясняется это, по всей вѣроятности, тѣмъ, что обученіе въ женскомъ духовномъ училищѣ нимало не предрѣшаетъ будущихъ занятій и образа жизни.

Не знаемъ, чѣму приписать отсутствіе въ отчетахъ синодальнаго оберъ-прокурора свѣденій о положеніи и ходѣ дѣлъ въ духовныхъ консисторіяхъ. Это—одно изъ самыхъ темныхъ административныхъ царствъ, на которое не мѣшало бы пролить немого свѣта. Въ предложеніяхъ къ отчету есть только вѣдомость о числѣ расторгнутыхъ браковъ, весьма бѣдная данными; изъ нея не видно даже, сколько браковъ расторгнуто по просьбѣ жены, сколько—по просьбѣ мужа. Недѣйствительными, въ теченіе 1886 г., признано 42 брака: 28—за вступленіемъ въ бракъ при живомъ супругѣ, 14—за близкимъ родствомъ бракосочетавшихся. Разводъ состоялся въ 1082 случаяхъ. Самой обыкновенной его причиной было безвѣстное отсутствіе одного изъ супруговъ (574 случая); затѣмъ слѣдуетъ лишеніе всѣхъ правъ состоянія (335 случаевъ), прелюбодѣяніе (153), неспособность къ супружескому сожитію (20). Какъ счастлива была бы Россія, еслибы цифра разводовъ вслѣдствіе прелюбодѣянія была точнымъ показателемъ супружеской вѣрности! Къ сожалѣнію, въ Россіи меньше чѣмъ гдѣ бы то ни было можно дѣлать какіе-либо утѣшительные выводы изъ малочисленности разводовъ; всѣмъ извѣстно, съ какими трудностями у насъ сопряженъ разводъ, даже по самымъ уважительнымъ причинамъ. Въ исключительныхъ случаяхъ, зато, онъ допускается и безъ всякой дѣйствительной причины. Доказательствомъ этому служатъ обвиненія въ лжесвидѣтельствѣ по бракоразводнымъ дѣламъ, отъ времени до времени всплывающія наружу и болѣею частью оканчивающіяся осужденіемъ подсудимыхъ. Таковъ, на примѣръ, процессъ Рудановскаго и другихъ, недавно рѣшенный московскимъ окружнымъ судомъ. Нельзя не пожалѣть, что дѣла этого рода произво-



дятся, въ послѣднее время, при закрытыхъ дверяхъ. Мы поняли бы запрещеніе оглашать имена подсудимыхъ и потерпѣвшихъ отъ преступленія, равно какъ и скандалезныя подробности, которыми всегда богаты подобныя процессы; но весьма важно было бы не оставлять во мракѣ свѣденія о томъ, какъ готовится матеріалъ для бракоразводныхъ рѣшеній. При полной безгласности консисторскаго производства, только уголовныя дѣла, вырастающія на его почвѣ, наполняли, отъ времени до времени, что далеко не все обстоитъ здѣсь благополучно и что пора опять поставить на очередь вопросъ о реформѣ духовнаго суда и брачнаго законодательства. Теперь отголосокъ этихъ дѣлъ едва долетаетъ до публики; завѣса, за которою таятся вопіющія злоупотребленія, не поднимается почти вовсе. Перестать говорить о болѣзни—не значить еще ее вылечить.

1-го января 1888 г. исполнилось двадцать-пять лѣтъ со времени уничтоженія питейныхъ откуповъ и установленія акцизной системы. Въ обнародованный недавно отчетъ департамента неокладныхъ сборовъ за 1887 г. включены, по этому поводу, любопытныя свѣденія о прежнихъ откупныхъ порядкахъ. Питейный доходъ былъ, сравнительно, весьма невеликъ; еще въ 1858 г. онъ едва доходилъ до 82 милліоновъ рублей и только передъ самымъ уничтоженіемъ откуповъ превысилъ сто милліоновъ. Громадны, зато, были прибыли откупщиковъ, составлявшія до 60% казеннаго дохода. Откупная система „разоряла и развращала народъ, держала на откупѣ мѣстную администрацію и мало-по-малу привела правительство къ тяжелой необходимости не только покровительствовать злоупотребленіямъ, но и противодействовать возникающимъ въ народѣ нравственнымъ побужденіямъ къ сохраненію трезвости“. И все-таки тогдашній министръ финансовъ (Княжевичъ), вмѣстѣ съ особымъ комитетомъ, образованнымъ для обсужденія вопроса о реформѣ питейныхъ сборовъ, не признавалъ возможнымъ приступить къ отмѣнѣ губительной системы. Къ счастью, государственный совѣтъ посмотрѣлъ на дѣло иначе,—и къ еще болѣшему счастью, мнѣніе государственнаго совѣта было утверждено верховною властью. Конечно, не всѣ ожиданія и надежды, сопряженныя съ уничтоженіемъ откуповъ, оправдались на самомъ дѣлѣ. Меньше стало злоупотребленій, уменьшились барыши виноторговцевъ<sup>1)</sup>, значительно увеличился доходъ казны, но потребление вина едва ли сдѣлалось болѣе правильнымъ и менѣ вреднымъ для народа. Конечно, ошибочно было бы возлагать ответствен-

<sup>1)</sup> По приблизительному расчету департамента, валовой доходъ виноторговцевъ составляетъ отъ 50 до 60 милліоновъ; чистый ихъ доходъ не превышаетъ, слѣдовательно, 20% получаемаго казною.

ность за это только на способ взиманія питейнаго дохода. По справедливому замѣчанію департамента неокладныхъ сборовъ, долговременное существованіе откуповъ не могло приучить народъ къ регулярному потребленію крѣпкихъ напитковъ; для этого необходимо много условій, которыя и теперь далеко не всѣ имѣются налицо. Заботливость правительства была направлена преимущественно на ограниченіе питейной торговли. Сократилось, вслѣдствіе этого, число *законно открытыхъ* мѣстъ питейной продажи, понизился общій расходъ вина (т. е. официальная цифра этого расхода), но на уменьшеніе пьянства правительственныя мѣры „оказывали вліяніе гораздо менѣе замѣтное“. Департаментъ неокладныхъ сборовъ едва ли погрѣшилъ бы противъ истины, еслибы выразилъ эту послѣднюю мысль въ болѣе рѣшительной формѣ.

Нѣчто весьма похожее на откупа продолжало, однако, существовать еще недавно—а можетъ быть существуетъ и теперь—въ разныхъ мѣстностяхъ Россіи. Мы имѣемъ въ виду тѣ сдѣлки и стачки виноторговцевъ, противъ которыхъ министерство финансовъ вынуждено было принять рѣшительныя мѣры: въ 1887 г.—въ пермской губерніи, въ 1888 г.—въ западной Сибири. Въ пермской губерніи мысль о фактическомъ сосредоточеніи питейной торговли въ рукахъ немногихъ лицъ возникла еще въ 1874 г. Начиная съ 1875 г. мѣстные виноторговцы—они же, болѣею частью, и владѣльцы винокуренныхъ заводовъ—устраивали ежегодно съѣзды, на которыхъ разрѣшались вѣдъ вопросы, касающіеся винокуренія и торговли виномъ. Устанавливались размѣры производства, устанавливались районы сбыта; однимъ заводамъ предоставлялось выкуривать известное количество вина, другіе отказывались отъ винокуренія за опредѣленное денежное вознагражденіе (сумма котораго доходила до 200 тысячъ рублей въ годъ). Въ 1885 году изъ 26 заводовъ пермской губерніи дѣйствовали только 13. Число оптовыхъ складовъ, которыхъ въ 1864 г. было 246, уменьшилось до 76; 58 складовъ содержались самими заводовладѣльцами (въ томъ числѣ 4—заводовладѣльцами, согласившимися не производить винокуренія), 18—виноторговцами, обязавшимися приобретать вино отъ заводчиковъ по цѣнамъ, установленнымъ на съѣздѣ. Раздробительная торговля виномъ также находилась вся въ рукахъ монополистовъ. Они достигли этого послѣ долгой и упорной борьбы, главнымъ орудіемъ которой было приобретение, за деньги, общественныхъ приговоровъ на право открытія питейныхъ заведеній. Незабвнымъ результатомъ такихъ порядковъ было значительное повышеніе цѣнъ на вино; понижались онѣ до крайности только тамъ и тогда, гдѣ и когда нужно было сломить сопротивленіе монополистамъ. Законъ 14 мая 1885 г., уменьшившій значеніе общественныхъ приговоровъ, подорвалъ, на время, господство монополіи и удешевилъ вино; но къ на-

чалу 1887 г. найдены были средства возстановить упавшій союзъ и опять овладѣть положеніемъ, вслѣдствіе чего цѣна на вино (въ чарочной продажѣ) достигла, мѣстами, 9 рублей за ведро. Акцизнаго сбора по пермской губерніи, въ послѣдніе шесть мѣсяцевъ 1887 г., поступило, сравнительно съ тѣмъ же промежутокъ времени въ предыдущемъ году, меньше на 680 тысячъ рублей. Тогда, наконецъ, со стороны министерства финансовъ приняты были энергичныя мѣры: рѣшено было открыть въ пермской губерніи казенную продажу вина, и сдѣлана была, съ этою цѣлью, закупка нѣсколькихъ тысячъ ведеръ. Въ открытіи военныхъ дѣйствій не оказалось надобности; виноторговцы сдались на капитуляцію, понизивъ цѣну на вино до назначеннаго министерствомъ уровня. Въ томской губерніи дѣло дошло, какъ извѣстно, до уголовного преслѣдованія виноторговцевъ, по обвиненію въ стачкѣ; но это происходило уже въ 1888 г., по окончаніи періода времени, обнимаемаго послѣднимъ отчетомъ департамента неокладныхъ сборовъ... Удивляться можно только тому, что министерство финансовъ, имѣя въ рукахъ разнообразныя и весьма дѣйствительныя средства борьбы, такъ долго къ ней не приступало, несмотря на очевидный вредъ, происходившій отъ монополіи и для казны, и для народа. Пермскіе заводчики и виноторговцы являлись настоящими преемниками откупщиковъ. Эксплуатируя населеніе, они вносили въ его среду и нравственную порчу: косвенно—вызывая, въ широкихъ размѣрахъ, тайную продажу вина, прямо—подкупая тѣхъ, отъ кого зависѣло открытіе питейныхъ заведеній. Что крестьянскія власти получали вознагражденіе за „устройство“ общественныхъ приговоровъ—это мы узнаемъ изъ департаментскаго отчета; о другихъ органахъ администраціи онъ не упоминаетъ, но трудно предположить, чтобы сфера подкупа, для котораго было столько поводовъ и столько источниковъ, ограничивалась только однимъ крестьянствомъ... Необходимо было бы привести въ извѣстность, не повторяются ли еще гдѣ-либо, хотя бы въ маломъ видѣ, тѣ безобразныя явленія, которыя достигли такихъ колоссальныхъ размѣровъ на сѣверо-востокѣ европейской Россіи и по ту сторону Урала. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что маленькіе и даже не очень маленькіе „водочные магнаты“ имѣются во многихъ губерніяхъ и уѣздахъ; весь вопросъ въ томъ, какими путями пріобрѣтается и чѣмъ поддерживается ихъ сила.

Въ нашей журналистикѣ бывають иногда трудно объяснимыя странности. Когда, въ декабрѣ прошедшаго года, въ соединенныхъ департаментахъ государственнаго совѣта началось обсужденіе проекта положенія о земскихъ начальникахъ, петербургскія и московскія газеты сообщали кое-какія свѣденія о ходѣ преній, можетъ быть не

совсѣмъ точныя, но заключавшія въ себѣ, повидимому, нѣкоторую долю истины. Это продолжалось недолго; затѣмъ водворилось безусловное и общее молчаніе, продолжавшееся безъ перерыва болѣе полтора мѣсяца. Въ началѣ февраля оно было столь же внезапно прервано, но прервано только одной газетой; только въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ появилось извѣстіе о рѣшеніи, состоявшемся по главному вопросу. Извѣстіе сопровождалось не только комментаріями, но и намеками,—намеками на систематическое противодѣйствіе, встрѣченное будто бы министерствомъ внутреннихъ дѣлъ (понятно, что тутъ дѣло идетъ не о печати), на *всевозможныя* средства и приемы, пущенные въ ходъ съ цѣлью „затормазить, извратить и исказить реформу“, на численное превосходство (гдѣ?) „лже-либераловъ“, на „іезуитски-ехидную“ ихъ тактику и т. п. Всѣ эти задорныя ноты сливались въ одинъ крикъ ликования и побѣды, къ которому, согласно съ стереотипнымъ московскимъ клише, приглашались присоединиться всѣ „истинно-русскіе люди“. Мы не повторяемъ со словъ „Моск. Вѣдомостей“ того, что ими оповѣщено, такъ какъ не знаемъ, насколько онѣ были уполномочены къ тому. Нахальство реакціонной газеты встрѣтило достойный отпоръ со стороны „Русскихъ Вѣдомостей“ (№ 41). Преждевременность и шаткость выводовъ, выдаваемыхъ за нѣчто достовѣрное и непогрѣшимое, освѣщены здѣсь какъ нельзя лучше; указано и на то, что порядокъ вещей, ожидаемый и заранѣе превозносимый „Московскими Вѣдомостями“, былъ бы шагомъ назадъ даже сравнительно съ до-реформеннымъ устройствомъ. Реакціонная газета не хочетъ видѣть, что упраздненіе сельскихъ мировыхъ судей, если ему дѣйствительно суждено состояться, неизбежно влечетъ за собою пересмотръ и передѣлку всего положенія о земскихъ начальникахъ, составленнаго въ томъ предположеніи, что рядомъ съ земскими начальниками будутъ существовать и мировые судьи. Она не хочетъ видѣть, что должностныя лица, замѣняющія собою мировыхъ судей, по необходимости будутъ сами, прежде всего, *судьями* и не могутъ быть совершенно изолированы отъ общаго судебного строя. Не до размысленій тому, кто весь увлеченъ пляской. Пляска, исполняемая реакціонной газетой — это танецъ дивихъ надъ трупомъ падшаго врага; падшій врагъ — это „великая эпоха реформъ“. Ковычки принадлежать не намъ; ихъ ставятъ „Московскія Вѣдомости“, чтобы яснѣе подчеркнуть свое *vae victis!* Если „Московскія Вѣдомости“ вообразили себѣ, что, говоря такъ, онѣ могутъ быть кому-нибудь пріятны, то пусть онѣ вспомнятъ, что существуютъ и медвѣжьи услуги...



## СУДЬБА ЗЕМСКОЙ СТАТИСТИКИ.

Въ послѣднее время статистическія изслѣдованія въ области земскаго хозяйства испытали нѣкоторые ограниченія; случилось это именно въ тотъ ихъ періодъ, когда работы многихъ земствъ приходили уже къ концу, и имъ оставалось или подвести послѣдніе итоги, или, по крайней мѣрѣ, закончить описаніе одного, двухъ уѣздовъ. При началѣ статистическихъ работъ, дѣйствительно, существовали опасенія, что неизбѣжныя указанія статистики на печальное экономическое положеніе деревни могутъ привести къ „скорымъ обобщеніямъ отдѣльныхъ фактовъ“ и иногда объясняться исключительнымъ стремленіемъ изслѣдователей преувеличить зло и тѣмъ огорчить оптимистовъ. Но современный кризисъ, переживаемый нашимъ хозяйствомъ, сдѣлался, безъ всякой статистики, признаннымъ фактомъ, неоднократно констатированнымъ самимъ финансовымъ вѣдомствомъ въ его всеподданнѣйшихъ докладахъ. Вопросъ, стало быть, заключается теперь въ разъясненіи однѣхъ причинъ такого кризиса, а такое разъясненіе можно получить только путемъ самаго тщательнаго изслѣдованія тѣхъ условій, въ которыхъ находятся отдѣльныя хозяйства, составляющія въ совокупности земледѣльческую и промышленную Россію. Съ этой стороны земско-статистическія работы имѣютъ огромное значеніе. Онѣ дали и продолжаютъ давать весьма богатый матеріалъ для выводовъ о современномъ экономическомъ положеніи различныхъ группъ производящаго населенія и ихъ нуждахъ. Въ то же время земско-статистическія изслѣдованія являются и единственнымъ матеріаломъ подобнаго рода. Естественно поэтому, что труды земствъ на поприщѣ статистики, помимо своего мѣстнаго значенія для органовъ земства, могутъ оказаться весьма небезполезными и для центральнаго управленія, которое въ настоящее время серьезно озабочено устраненіемъ экономическаго кризиса, переживаемаго населеніемъ. При такихъ условіяхъ ограниченія земско-статистическихъ изслѣдованій едва ли могутъ быть признаны желательными.

Протесты противъ собранія земско-статистическими бюро точныхъ и разностороннихъ свѣденій объ условіяхъ, въ которыхъ находятся различныя группы хозяйствъ, начали, правда, раздаваться уже давно въ средѣ самого земства, но въ большинствѣ случаевъ сами собою были ясны мотивы враждебнаго отношенія отдѣльныхъ личностей къ статистикѣ за ея нескромность, вредную для успѣховъ личныхъ дѣлъ и дѣлишекъ. Съ дальнѣйшими успѣхами статистики, классъ

недовольныхъ ею множилса и пріобрѣталъ все большую и большую силу, образовавъ изъ себя въ настоящее время всесловную или, вѣрнѣе сказать, бессловную „могучую кучку“. „Обыкновенно полагають,—говорить, напр., г. Новосельскій,—что кулачествомъ у насъ занимаются лишь землевладѣльцы не-дворянскаго происхожденія. Къ сожалѣнію, это не совсѣмъ вѣрно: встрѣчаются личности и изъ среды дворянства, коихъ можно смѣло поставить наряду съ недворянами въ дѣлѣ опутыванія крестьянъ лихвенными процентами, неустойками, штрафами и т. д.“. Само собою разумѣется, что занесеніе въ „условія хозяйства“ статистикою такихъ доходовъ и расходовъ, какъ взиманіе и уплата высокихъ процентовъ, не можетъ же быть пріятно для взимающихъ. Inde ira—на статистику. Выражается же этотъ гнѣвъ чрезвычайно своеобразно. Всѣмъ памятно еще сожженіе тверскими земцами работъ своего статистическаго бюро. Чаше же всего статистиковъ прямо обвиняють въ „неблагонамѣренности“. Такъ, на земскомъ собраніи елецкаго уѣзда, между прочимъ, нѣкоторые гласные заявили, что, благодаря развѣздамъ статистиковъ, „среди народа появились различнаго рода слухи, которые были причиною напряженнаго состоянія народныхъ умовъ“. Управа для своего оправданія должна была обратиться къ защитѣ полиціи и мѣстнаго жандармскаго управленія, которыя и произвели разслѣдованія. Донесеніе ихъ, присланное въ управу по этому поводу, было прочитано на собраніи; въ немъ категорически заявлялось, что никакого, ни экстраординарнаго, ни ординарнаго, напряженія умовъ въ елецкомъ уѣздѣ не происходило, статистики же занимались только своимъ дѣломъ. Въ такомъ же родѣ грустно-комическая исторія приключилса и съ курскими гонителями статистики. Но здѣсь спохватились уже тогда, когда было закончено описаніе всѣхъ уѣздовъ, и завѣдующій бюро, г. Вернеръ, составилъ въ заключеніе общій сборникъ для цѣлой губерніи, и потому только тогда на разрѣшеніе губ. земскаго собранія внесенъ былъ управою вопросъ объ уничтоженіи этого изданія. Собраніе приняло предложеніе управы, мотивируя свое рѣшеніе тѣмъ, что обнародованіе содержанія „сборника“ нужно признать „вреднымъ для интересовъ землевладѣльцевъ“ (?). Курскіе гонители статистики на этомъ, однако, не успокоились; ихъ очень огорчило то обстоятельство, что московскій университетъ нашелъ трудъ г. Вернера образцовымъ и удостоилъ его преміи. Въ виду такой непріятности, обвиненіе въ „неблагонамѣренности“ было перенесено и на московскій университетъ. Собраніе поэтому рѣшило какъ самый сборникъ, такъ и свое постановленіе объ его изыятіи изъ обращенія послать г. министру народнаго просвѣщенія на его усмотрѣніе. Вскорѣ послѣ этого въ газетахъ появилось извѣстіе, что г. министръ на, зд-

наго просвѣщенія поблагодарилъ управу за присылку ему столь цѣннаго труда, какимъ является сборникъ г. Вернера. Предсѣдатель губернской земской управы, опровергая справедливость подобнаго обвиненія, въ своемъ письмѣ въ одну изъ московскихъ газетъ разъясняетъ, что въ канцеляріи г. курскаго губернатора имѣется лишь отношеніе г. министра народнаго просвѣщенія въ отвѣтъ на представленіе г. губернатора, въ которомъ онъ извѣщаетъ, что благодарить губернскую управу за присылку на его видимость „брошюры коммиссіи курскаго губернскаго земства по поводу общаго сборника и самого сборника“, не высказывая при этомъ никакого одобренія труду г. Вернера *въ тѣхъ выраженіяхъ*, которыя измыслилъ вашъ корреспондентъ“. Самаго циркуляра, однако, предсѣдатель не публиковалъ, а прибавка „въ тѣхъ выраженіяхъ“ во всякомъ случаѣ свидѣтельствуетъ, что газетныя извѣстія въ данномъ случаѣ были вовсе не такъ далеки отъ настоящей редакціи, какъ ему бы того хотѣлось. Наконецъ, самое уже то обстоятельство, что сборникъ напечатанъ съ разрѣшенія губернатора, показываетъ, что свѣденія, сообщаемыя имъ, могли быть только непріятны отдѣльнымъ лицамъ, но никакъ не носили на себѣ характера общей „неблагонамѣренности“.

Подобныя столкновенія между врагами и защитниками земской статистики происходили въ послѣдніе годы почти на каждомъ собраніи. Къ счастью, пока побѣда рѣдко доставалась противникамъ свѣта, вносимаго статистикою въ земское хозяйство. Можно было думать поэтому, что дѣло земской статистики не потерпитъ большого ущерба отъ такого гоненія на нее, возникшаго въ средѣ самыхъ земствъ. Тѣмъ не менѣе, однако, найдено было нужнымъ ограничить дѣятельность земствъ на поприщѣ изслѣдованія экономическаго положенія мѣстнаго населенія. Такъ, еще въ концѣ 1887 года изданъ былъ циркуляръ, въ которомъ „городскія и земскія учрежденія, въ случаѣ предположеній произвести статистическія работы, обязаны представить программы ихъ на утвержденіе министерства; если же статистическія изслѣдованія уже начаты или окончены, то, впредь до изданія ихъ въ свѣтъ, программы и формы изслѣдованій должны быть представлены на разсмотрѣніе министерства; если же программы утверждены, то вѣнчается въ обязанность не допускать никакихъ отступленій отъ нихъ, а также отъ преподанныхъ министерствомъ указаній или разъясненій“.

Земско-статистическія изслѣдованія дѣйствительно и были приостановлены во всѣхъ губерніяхъ, гдѣ они производились, впредь до разсмотрѣнія и утвержденія программъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Самыя программы передаются теперь на разсмотрѣніе центральнаго статистическаго комитета, послѣ чего собраніе свѣденій раз-

рѣшается на указанныхъ въ циркулярѣ основаніяхъ, т.-е. безъ всякихъ отступленій. Исправленные комитетомъ программы съ его „разъясненіями и указаніями“ въ настоящее время уже получены многими земствами. Но послѣ этихъ исправленій земско-статистическія работы теряютъ уже прежній свой характеръ возможно всесторонняго описанія экономическаго положенія населенія и тѣхъ условій, въ которыхъ находятся ихъ хозяйства. Подворное описаніе крестьянскихъ хозяйствъ, по смыслу разъясненій, должно носить исключительно *фискальный* характеръ, и изъ земскихъ программъ вычеркнуты всѣ пункты, касающіеся собиранія свѣденій о заработкахъ населенія, способахъ кредитованія, раскладкахъ повинностей, мірскихъ расходахъ и доходахъ и т. д. По мнѣнію комитета, собираніе подобныхъ свѣденій при подворномъ описаніи дѣлаетъ изъ статистическихъ изслѣдованій народную перепись, „лишь въ нѣсколько сокращенномъ видѣ“, которую имѣетъ право производить только центральная власть. На этомъ основаніи, вятская губернская земская управа не получила разрѣшенія продолжать подворное описаніе прочихъ уѣздовъ, и работы мѣстнаго бюро приостановлены такимъ образомъ послѣ того, какъ изъ одиннадцати уѣздовъ описаны шесть. Собираніе же другихъ свѣденій, по выключеніи пунктовъ объ артеляхъ, передѣлахъ и переселеніяхъ, допущено лишь въ видѣ опроса пяти-шести лицъ изъ волости въ волостномъ правленіи въ присутствіи мѣстныхъ становыхъ приставовъ и старшинъ. Понятно, однако, что опросъ пяти-шести лицъ относительно условій хозяйства въ нѣсколькихъ десяткахъ деревень не можетъ дать никакихъ точныхъ результатовъ и является дѣломъ едва ли не бесполезнымъ. Далѣе, въ своемъ „разъясненіи“ смоленской губ. земской управѣ комитетъ находитъ „совершенно неумѣстной постановку въ изслѣдованіяхъ такихъ вопросовъ, какъ способы понужденія при взысканіи податей со стороны волостного правленія и самой общины, взглядъ крестьянъ на круговую поруку, на общественные кабаки, причины пьянства, въ зависимости отъ существующаго порядка продажи вина, такъ какъ отвѣты на подобные вопросы не могутъ не возбуждать обсужденія дѣйствій и мѣропріятій правительства, что уже совершенно выходитъ изъ компетенціи земскихъ учреждений“. Но какимъ образомъ, напр., „дѣйствія и мѣропріятія“ волостныхъ правленій и даже общинъ при взысканіи податей можно отождествлять съ „дѣйствіями и мѣропріятіями правительства“? Точно также мало имѣютъ общаго съ дѣйствіями правительства и круговая порука, общественные кабаки, порядокъ продажи вина. Намъ кажется, что свѣденія по всѣмъ этимъ пунктамъ, собранныя попутно земскими статистиками, могутъ дать правительству только весьма цѣнные указанія при разрѣшеніи ими вопросовъ, свя-



занныхъ съ указанными явленіями народной жизни, тѣмъ болѣе, что многіе изъ нихъ стоятъ теперь на очереди.

Что касается описанія хозяйства частныхъ владѣльцевъ, то по отношенію къ нимъ комитетъ вовсе не находитъ возможности ставить въ программѣ какіе-нибудь вопросы, требующіе отвѣтовъ въ „положительныхъ цифрахъ“. Подобнымъ образомъ „вопросъ съ арендѣ можетъ быть оставленъ въ видѣ общаго (?), безъ обозначенія сколько, за какую цѣну; въ вопросѣ объ обработкѣ подлежатъ исключенію: во чтѣ обходится управленіе, сколько рабочихъ, орудій, машинъ, а также изъясненіе общихъ расходовъ по имѣнію“. Изъ этого видно, что земство при этомъ лишается самой возможности опредѣлять цѣнность и доходность имѣнія на томъ только основаніи, что подобные вопросы „несомнѣнно представляютъ вмѣшательство въ личную хозяйственную дѣятельность владѣльцевъ“. Такое ограниченіе трудно понять, если припомнить, что тутъ дѣло идетъ о правѣ земско-статистическаго бюро не требовать на свои вопросы обязательныхъ отвѣтовъ, а лишь *предлагать* вопросы, на которые частный владѣлецъ воленъ отвѣтить или не отвѣтить. Естественно, что комитетъ, лишая земскихъ изслѣдователей даже послѣдняго права, т.-е. предлагать вопросы, ставить ихъ вѣдъ всякой возможности собирать свѣденія о частно-владѣльческихъ хозяйствахъ, хотя эти свѣденія и собираются отчасти для опубликованія нѣкоторыми другими учрежденіями, напр. департаментомъ сельскаго хозяйства и промышленности.

Благодаря всей совокупности разъясненій и указаній комитета, едва ли земства будутъ имѣть теперь хоть сколько-нибудь точныя свѣденія о нуждахъ и положеніи всего населенія, хотя и обязаны „пецись“ о немъ вообще, ходатайствовать объ удовлетвореніи этихъ нуждъ передъ высшимъ правительствомъ и прямо приходить на помощь въ продовольственномъ дѣлѣ. Наконецъ, какъ мы уже замѣтили выше, и сама высшая администрація имѣла до сихъ поръ въ собранныхъ земствами свѣденіяхъ весьма богатый и даровой матеріалъ, которымъ могла бы руководствоваться въ своихъ мѣропріятіяхъ. Необходимость же ихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и надобность въ точныхъ для этого свѣденіяхъ — съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе сознаются самимъ правительствомъ.

В. Б.



## ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го марта 1889.

Новое министерство во Франціи.—Волненія рабочихъ въ Италіи и неудачи министра-президента Криспи.—Положеніе дѣлъ въ Венгріи.—Парламентская борьба въ Румыніи.—Печальный конецъ экспедиціи Амниова и архим. Памсиа.

Въ мартѣ прошлаго года пало первое министерство, составленное новымъ президентомъ французской республики, Карно, — министерство Тирара; оно, — говорили мы тогда — „пало подъ ударами той партіи, которой оно имѣло въ виду само нанести рѣшительный, по его мнѣнію, ударъ, и тѣмъ только доказало полное свое безсиліе“. Кабинетъ Тирара впервые открылъ генералу Буланже доступъ къ широкой политической дѣятельности, уволивъ его отъ военной службы подъ предлогомъ нарушения дисциплины, состоявшаго въ секретныхъ поѣздкахъ его въ Парижъ изъ Клермонъ-Феррана, гдѣ онъ былъ командиромъ корпуса. Въ докладѣ военнаго министра Ложердъ на имя президента республики сообщалось, что Буланже, получивъ отрицательный отвѣтъ на свою просьбу о кратковременномъ отпускѣ для свиданія съ семьей, все-таки пріѣзжалъ переодѣтый, въ видѣ прихрамывающаго незнакомца въ синихъ очкахъ. Правительство рассчитывало тогда, что оно сразу достигнетъ двухъ цѣлей: во-первыхъ, выставить популярнаго героя въ смѣшномъ видѣ, а „смѣшное убиваетъ“ во Франціи; и во-вторыхъ, избавиться отъ опаснаго противника въ рядахъ арміи. Послѣдствія не только не оправдали этихъ ожиданій, но, напротивъ, выяснили естественную несостоятельность тогдашней министерской политики. Закулисная агитація небольшого кружка буланжистовъ разрослась въ обширное народное движеніе, выразившееся въ рядѣ парламентскихъ выборовъ и поставившее генерала Буланже во главѣ громадной массы недовольныхъ, какъ республиканцевъ, такъ и монархистовъ и клерикаловъ. Дошло до того, что „спасеніе республики“ отъ угрожающей ей диктатуры стало ежедневною, почти исключительною темою французской республиканской печати.

Такой непредвидѣнный результатъ энергической мѣры Тирара и Ложердъ ничему не научилъ оппортунистовъ и благонамѣренныхъ радикаловъ. Безцвѣтное министерство было низвергнуто въ засѣданіи 30 марта (нов. ст.), по почину главнаго политическаго адъютанта Буланже, Лагерра. Образовавшійся затѣмъ кабинетъ Флокэ имѣлъ уже радикальный оттѣнокъ, но понималъ свои задачи нисколько не

шире и не лучше Тирара. Вся энергія министра-президента была направлена на то, чтобы поставить внѣшнія преграды усиливающемуся вліянію новой „національной партіи“ и затруднить для населенія многократныя избранія Буланже въ различныхъ мѣстностяхъ страны. Краснорѣчивый отвѣтъ на эти безплодныя усилія данъ былъ „сердцемъ и умомъ Франціи“, Парижемъ, въ день выборовъ 27 (15) января: подавляющее большинство столичныхъ избирателей высказалось за ненавистнаго министерству генерала-депутата. Флокé полагалъ, что необходимо усвоить себѣ существенную часть программы буланжистовъ, для отнятія у нихъ почвы въ странѣ; но французское общество видѣло въ этомъ признакъ внутренней слабости правительства и официальное подтвержденіе справедливости оппозиціонныхъ требованій. Если подвести итоги дѣятельности министра-президента за время его управленія (болѣе десяти мѣсяцевъ), то за нимъ можно признать одинъ только дѣйствительный успѣхъ: это — побѣда его надъ Буланже на дуэли 13 іюля (нов. ст.), побѣда чисто-личная, убѣдившая всѣхъ въ рыцарскомъ мужествѣ и боевой готовности шестидесяти-лѣтняго премьера, но не имѣвшая никакого политическаго значенія для спорившихъ партій. Министерство само нанесло ударъ республикѣ, придавъ парижскимъ выборамъ смыслъ борьбы между республиканскимъ строемъ и диктатурою; оно вышло въ этомъ случаѣ изъ своего нейтральнаго положенія и допустило какому-то водочному заводчику фигурировать въ качествѣ „кандидата республики“ противъ Буланже. Торжество буланжистовъ было заранѣе объявлено рѣшительною неудачею для республики вообще; правительство безъ всякой къ тому надобности связало съ успѣхомъ Жака судьбу республиканскихъ партій, не сумѣвшихъ даже выбрать болѣе заслуженнаго и выдающагося представителя для надлежащаго противовѣса счастливому любимцу толпы. Потерпѣвъ пораженіе на выборахъ, по собственной винѣ, кабинетъ Флокé не только не измѣнилъ своей тактики, но продолжалъ идти по той же скользкой дорогѣ чисто-партійнаго соперничества, опираясь на радикальную парламентскую группу Клемансо и его единомышленниковъ. Флокé серьезно хотѣлъ придумать законы, которые помѣшали бы дальнѣйшимъ избирательнымъ удачамъ Буланже; ради временныхъ расчетовъ, онъ готовъ былъ передѣлать законодательство, чтобы приспособить его специально для противодѣйствія одному человеку. Онъ предложилъ возвратиться къ избирательной системѣ, которая въ свое время горячо отвергалась Гамбеттою и была позднѣе отвергнута большинствомъ республиканцевъ въ обѣихъ палатахъ, — съ системѣ выборовъ по округамъ; эта реформа мотивировалась именно тѣмъ, что выборы по департаментскимъ спискамъ даютъ возможность буланжистамъ готовить из-

браніе генерала и его приверженцевъ одновременно во многихъ департаментахъ, въ виду повсемѣстной популярности его имени, тогда какъ въ отдѣльныхъ округахъ должны выставляться одиночные, самостоятельные кандидаты, которыхъ уже нельзя провести подъ прикрытіемъ авторитетныхъ лицъ, стоящихъ во главѣ списка. Прежде считалось, что выборы по департаментамъ вѣрнѣе и полнѣе выражаютъ господствующее политическое настроеніе въ странѣ; избиратели руководствуются тогда не мѣстными вліяніями и интересами, не личнымъ и общественнымъ положеніемъ кандидатовъ, а ихъ политическими программами и принципами, ихъ принадлежностью къ той или другой партіи, общимъ характеромъ ихъ требованій и обѣщаній. Выбирая сразу цѣлую группу лицъ, связанныхъ единствомъ идей и пользующихся поддержкою избирательныхъ комитетовъ данной партіи, граждане по-неволѣ входятъ въ обсужденіе общихъ вопросовъ политики; они лишены возможности посылать въ палату вліятельныхъ мѣстныхъ дѣятелей—землевладѣльцевъ, фабрикантовъ и промышленниковъ, которые составили бы пестрое собраніе людей мало компетентныхъ, причемъ консервативный элементъ могъ бы легко получить преобладаніе (какъ это было въ національномъ собраніи 1871 года). Средній уровень кандидатовъ долженъ быть болѣе высокимъ при системѣ выборовъ по спискамъ; на это обстоятельство постоянно указывали республиканцы, какъ на главнѣйшій аргументъ противъ выборовъ по округамъ. Теперь же Флокé, признавая въ теоріи справедливость своихъ старыхъ принциповъ, отказался отъ примѣненія ихъ на практикѣ, въ виду усиливающихся успѣховъ генерала Булазже.

Новый избирательный законъ, внесенный министерствомъ Флокé въ палату, принятъ былъ въ засѣданіи 11 февраля и вслѣдъ затѣмъ утвержденъ и сенатомъ (13-го февраля). Добившись такого быстрого осуществленія реформы, министръ-президентъ хотѣлъ столь же быстро довести до конца и другую реформу, несравненно болѣе крупную по значенію и послѣдствіямъ; онъ думалъ произвести пересмотръ конституціи въ болѣе демократическомъ духѣ, чтобы предупредить конституціонные проекты буланжистовъ. Всѣ умѣренные республиканцы находили крайне несвоевременнымъ и опаснымъ возбужденіе подобныхъ вопросовъ въ такое время, когда и безъ того довѣріе къ республиканскому строю ослабѣло; особенно страннымъ казалось стремленіе ослабить безсильный сенатъ и еще болѣе утвердить владычество палаты, несостоятельность которой является одною изъ главныхъ причинъ современнаго политическаго кризиса. Въ засѣданіи 14 февраля произошло случайное соединеніе враждебныхъ министерству элементовъ, при голосованіи второстепеннаго вопроса

о срокъ разсмотрѣнія конституціоннаго законопроекта. Предводитель правыхъ, баронъ Мако, предлагалъ отсрочить обсужденіе на одну недѣлю; палата на это не согласилась. Тогда радикальный депутатъ, не принадлежащій ни къ какой опредѣленной группѣ, графъ Дувилль-Майльфе, совѣтовалъ отложить пересмотръ конституціи на неопредѣленное время, до избранія новой палаты, такъ какъ нынѣшняя доживаетъ свои послѣдніе мѣсяцы и не имѣетъ ни полномочій, ни авторитета для рѣшенія вопросовъ такой важности. Ораторъ взывалъ къ „здравому смыслу кабинета, которому онъ никогда не отказывалъ въ своей поддержкѣ, и который вообще пользуется его полнымъ сочувствіемъ“. Рѣчь графа Дувилля-Майльфе, имѣющаго репутацію человѣка ненормальнаго, была прерываема насмѣшливыми возгласами, и никто не придавалъ ей серьезнаго значенія. Флокé ограничился указаніемъ на прежнее рѣшеніе палаты, которымъ постановлено было приступить къ обсужденію конституціоннаго проекта тотчасъ по принятіи избирательной реформы. Предложеніе радикальнаго депутата было подвергнуто баллотировкѣ, и, къ общему удивленію, большинствомъ 307 голосовъ противъ 218, палата высказалась противъ своихъ прежнихъ рѣшеній и противъ опиравшагося на нихъ министерства. Кабинетъ былъ свергнутъ какъ-то нечаянно, по инициативѣ сочувствовавшаго ему депутата; оппортунисты подавали голоса противъ Флокé въ полной увѣренности, что правая сторона останется при своей обычной точкѣ зрѣнія и подтвердитъ свое всегдашнее требованіе скорѣйшаго пересмотра конституціи. Оказалось однако, что монархисты сочли этотъ моментъ удобнымъ для рѣшительнаго шага противъ министерства: они присоединились къ оппортунистамъ и буланжистамъ, чтобы оставить правительственную партію въ меньшинствѣ. Флокé заявилъ о своей отставкѣ, и черезъ недѣлю, послѣ долгихъ переговоровъ президента Карно съ наиболѣе вліятельными дѣятелями парламента, составился новый кабинетъ — Тирара.

Уже тотъ фактъ, что президентъ нашелъ себя вынужденнымъ обратиться вновь къ человѣку столь мало авторитетному, потерпѣвшему полную неудачу во время перваго своего министерства и давшему сильнѣйшій толчокъ буланжизму, — уже этотъ фактъ характеризуетъ положеніе, созданное существующею рознью между партіями и отсутствіемъ политическихъ талантовъ въ средѣ парламентскаго большинства. Видные люди, какъ президентъ палаты Мелинъ и Фрейсинэ, отклонили отъ себя сомнительную честь составленія эфемернаго, неустойчиваго кабинета, могущаго держаться только при помощи временнаго перемирія между разнородными элементами, изъ которыхъ состоятъ республиканская часть палаты. Но что изъ многихъ возможныхъ кандидатовъ въ премьеры выбранъ именно Тираръ — это пред-

ставляется не совсѣмъ понятнымъ. Такое назначеніе имѣеть какъ будто характеръ протеста противъ всеобщаго народнаго голосованія, выразившагося еще недавно въ Парижѣ противъ оппортунистовъ и радикаловъ. Какъ ни смотрѣть на неоднократно избранія генерала Буланже, но съ республиканской точки зрѣнія они должны были бы приниматься правительствомъ къ свѣденію и руководству, какъ обязательныя проявленія народной воли; они указываютъ на накопившееся въ странѣ недовольство узкими партійными счетами, бесплодными пререканіями и внутреннимъ безсиліемъ господствующихъ республиканскихъ группъ. вмѣсто того, чтобы изслѣдовать причины этого недовольства и пойти на встрѣчу стремленіямъ и потребностямъ населенія, предводители большинства въ палатѣ депутатовъ и въ печати придумываютъ вѣщныя способы противодѣйствія результатамъ народныхъ голосованій. Эта непослѣдовательность въ принципахъ можетъ дорого обойтись республиканцамъ; они дѣлають ту же ошибку, которая въ концѣ сороковыхъ годовъ позволила принцу Луи-Наполеону выступить защитникомъ неограниченнаго народнаго верховенства. Буланжисты выдаютъ себя теперь за единственныхъ приверженцевъ и выразителей безусловной обязательной силы народнаго мнѣнія; они приписываютъ парламентскимъ республиканцамъ намѣреніе обойти и ослабить эту законную силу, парализовать свободу выборовъ посредствомъ искусственныхъ законодательныхъ мѣръ и ограничить значеніе возрастающей „національной партіи“, выдвигаемой самимъ народомъ. На этой скользкой почвѣ очутилась республика, благодаря близорукости и чисто-сектантскому духу ея умѣренныхъ и радикальныхъ политическихъ дѣятелей.

Присутствіе Тирара во главѣ министерства понято было многими въ смыслѣ вызова избирателямъ генерала Буланже; въ газетѣ Ропфора была напечатана статья подъ заглавіемъ: „Довольно вызововъ!“ которая—вѣроятно, по недоразумѣнію,—названа была „примирительною“ въ нашихъ газетныхъ телеграммахъ. Тираръ, будучи министромъ-президентомъ, служилъ постоянно предметомъ насмѣшекъ и надругательствъ не только въ такихъ органахъ буланжизма, какъ „Intransigeant“, но и въ болѣе приличной радикальной печати. Благодарный матеріалъ для остротъ давала прежняя промышленная профессія Тирара; говорили, что онъ былъ ювелиромъ или часовымъ мастеромъ, и что свое пониманіе часового механизма онъ прямо примѣняетъ къ разрѣшенію государственныхъ вопросовъ. Если во Франціи, при необыкновенномъ умственномъ богатствѣ во всѣхъ областяхъ человѣческой дѣятельности, нельзя было найти другого министра-президента изъ республиканцевъ, то это свидѣтельствуетъ лишь о существованіи серьезнаго внутренняго кризиса, который можетъ раз-

рѣшиться только созданиемъ болѣе прочнаго парламентскаго большинства на предстоящихъ всеобщихъ выборахъ. Задача нынѣшняго министерства, какъ видно изъ деклараціи, прочитанной въ палатахъ, заключается прежде всего въ успокоеніи умовъ и въ подготовленіи успѣха всемірной выставки. Въ составѣ кабинета остается на своемъ прежнемъ мѣстѣ военный министръ Фрейсинз; министромъ иностранныхъ дѣлъ назначенъ Споллеръ, бывший уже разъ министромъ народнаго просвѣщенія; министерство финансовъ перешло обратно въ руки опытнаго и добросовѣстнаго финансиста Рувье, занимавшаго уже постъ президента совѣта министровъ; министерскій портфель достался также радикальному экономисту Ивъ-Гюйо. Такъ какъ министерство состоитъ главнымъ образомъ изъ оппортунистовъ, то оно можетъ существовать только при молчаливомъ одобреніи радикаловъ, которые, однако, не скрываютъ своего полнѣйшаго разочарованія и неудовольствія. Глава кабинета взялъ на себя управленіе министерствомъ торговли, чтобы яснѣе отгѣнить дѣловой характеръ всей этой политической комбинаціи; министерство названо уже „министерствомъ всемірной выставки“, но вопросъ именно въ томъ, доживетъ ли оно до открытія выставки.

Почти одновременно въ Италіи и въ Венгріи происходили народные волненія, направленные какъ будто противъ послѣдствій военнаго союза съ Германіею. Итальянскій министръ-президентъ Криспи утратилъ значительную долю своей популярности съ тѣхъ поръ, какъ ему пришлось предложить новые налоги для покрытія части значительнаго дефицита, вызваннаго „блестящею“ внѣшнею политикою Италіи. Стремленіе дѣйствовать за-одно съ такою державою, какъ германская имперія, вовлекло Италію въ непосильныя военныя затраты, необходимость которыхъ является весьма спорною въ глазахъ противниковъ министерства. Они находятъ, что экономическое состояніе народа никогда не было блестящимъ въ итальянскомъ королевствѣ; земледѣльческій кризисъ тянется уже давно; торговля и промышленность развиты довольно слабо, а покровительственная система, усвоенная министерствомъ Криспи, разстроила чрезвычайно важную отрасль международныхъ торговыхъ сношеній—съ Франціею. Криспи обвиняютъ въ томъ, что онъ принялъ относительно французовъ тонъ, совершенно несоотвѣтствующій реальному положенію вещей; заговорилъ языкомъ германскихъ оффиціозныхъ публицистовъ, имѣющихъ за собою могущество первоклассной военной имперіи; отнесся съ высокоумнымъ пренебреженіемъ къ тарифному спору съ сосѣднею и отчасти родственною страной, которой очень многимъ обязана Италія,—и что всѣмъ этимъ онъ только

повредилъ матеріальнымъ интересамъ своего государства, которое несравненно больше нуждается въ содѣйствіи французской предприимчивости и французскаго спроса, чѣмъ французы—въ итальянскихъ продуктахъ. Экономическое положеніе, дѣйствительно, стало замѣтно хуже послѣ крутой перемѣны въ торговой политикѣ относительно Франціи; застой въ дѣлахъ отражался весьма печально на массѣ рабочихъ, городскихъ и сельскихъ. Въ палатѣ, при обсужденіи бюджета, депутаты соперничали между собою въ описаніи бѣдности и нужды въ различныхъ мѣстностяхъ королевства; одинъ утверждалъ, что нигдѣ нѣтъ такой повальной нищеты, какъ въ Романьѣ, а представители другихъ провинцій доказывали, что послѣднимъ принадлежитъ пальма первенства въ этомъ отношеніи. Многіе жаловались на то, что министерство, озабоченное вѣдѣніемъ политикой, абсолютно ничего не сдѣлало для осуществленія программы экономическихъ реформъ, изложенной въ письмѣ короля на имя Криспи, послѣ прошлогодней поѣздки въ Равенну.

Руководствуясь соображеніями необходимой экономіи, правительство вынуждено было остановить исполненіе обширнаго плана строительныхъ работъ, которыя должны были придать болѣе современный видъ древнему Риму; рѣшено было также отсрочить на неопредѣленное время постройку новаго зданія для парламента. Множество рабочихъ, явившихся въ столицу для участія въ предпринятыхъ сооружеиіяхъ, очутилось внезапно безъ куска хлѣба и безъ всякихъ шансовъ на полученіе работы; тысячи людей обращались къ городскимъ властямъ и къ министерству съ просьбою о доставленіи имъ занятій, но получали уклончивые или отрицательные отвѣты. Толпы рабочихъ сходились мирно на площадяхъ, ожидая возобновленія прекращенныхъ публичныхъ работъ; депутаціи посылались къ начальствующимъ лицамъ и приходили обратно съ неопредѣленными обѣщаніями и успокоительными фразами, которыя только раздражали народъ. Людямъ, обманутымъ въ надеждахъ на трудъ и не знающимъ, чѣмъ они будутъ жить завтра, созѣтовали мирно разойтись по домамъ, которыхъ у нихъ нѣтъ, и спокойно ждать улучшенія дѣлъ, котораго не предвидится. Это полное непониманіе народныхъ нуждъ, особенно чуждое со стороны бывшихъ радикаловъ, управляющихъ теперь Италію, привело къ неизбѣжнымъ уличнымъ волненіямъ и беспорядкамъ. Министерство не принимало никакихъ мѣръ ни для дѣйствительнаго удовлетворенія и успокоенія рабочихъ, ни для предупрежденія насилій и кровавыхъ схватокъ: оно просто рассчитывало почему-то на благоразуміе голодныхъ, ожесточенныхъ бѣдняковъ. На улицахъ Рима, 8-го февраля, разыгрались сцены, которыхъ не бывало въ вѣчномъ городѣ со времени занятія его итальянскими



войсками; рабочіе, выведенные изъ терпѣнія, вооружились чѣмъ попало, и при крикахъ: „да здравствуетъ революція!“ бросились разрушать магазины, истреблять товары, раскидывать ихъ въ разныя стороны, уничтожать предметы роскоши, и при этомъ—какъ то бываетъ обыкновенно въ подобныхъ случаяхъ—никто не имѣлъ намѣренія присвоивать вещи себѣ; только поздне присоединившійся сбродъ воспользовался смутю для простаго грабежа, жертвами котораго сдѣлались особенно владѣльцы ювелирныхъ лавокъ. Полиція оказалась безсильною, такъ какъ министерство ничего не предвидѣло; въ теченіе цѣлаго дня въ городѣ господствовала тревога: всѣ магазины закрылись, обыватели спрятались по домамъ, и главнѣйшія казенныя зданія оберегались небольшими отрядами солдатъ. Конечно, волненіе улеглось на другой день, благодаря подошедшимъ военнымъ и полицейскимъ силамъ; многіе были арестованы, нѣкоторые ранены, а прочіе усмирены сознаниемъ безнадежности возстанія.

Въ палатѣ депутатовъ, въ засѣданіи 13-го февраля, князь Одескальки обратился къ министерству съ запросомъ по поводу страннаго бездѣйствія властей во время римскихъ безпорядковъ. Пренія по этому предмету продолжались три дня и имѣли отчасти бурный характеръ: они были направлены не столько противъ правительства вообще, сколько противъ личности министра-президента, какъ заявилъ объ этомъ самъ Криспи. Нужно замѣтить, что клерикальный князь Одескальки принадлежитъ къ числу такъ-называемыхъ монархическихъ социалистовъ, и что нападки его на министерство не имѣли бы поэтому особеннаго значенія, еслибъ они не были поддержаны другими, болѣе вліятельными, элементами палаты. Либеральный депутатъ Бонги предъявилъ, съ своей стороны, запросъ, формулируя его нѣсколько иначе, чѣмъ Одескальки. Пренія усложнились и обнимали уже всю вообще политику Криспи, какъ внутреннюю, такъ и внѣшнюю; ораторы оппозиціи дѣлали ясныя намеки на несостоятельность и вредъ честолюбивыхъ стремленій, приведшихъ къ союзу съ Германіею и къ усиленнымъ военнымъ расходамъ. Противъ министра-президента поднялись старые его друзья и сподвижники, со временъ гарибальдійскихъ движеній; поднялся авторитетный и популярный Никотера, одинъ изъ главныхъ сотрудниковъ Гарибальди, бывшій министромъ внутреннихъ дѣлъ въ кабинетѣ Депретиса, въ 1876 и 77 годахъ, и державшійся въ послѣднее время въ сторонѣ отъ активной политики. Вмѣшательство Никотеры представляло особенный интересъ въ томъ отношеніи, что онъ занимаетъ мѣсто въ рядахъ крайней лѣвой, которая до сихъ поръ поддерживала кабинетъ; притомъ Никотера считается однимъ изъ самыхъ блестящихъ ораторовъ итальянскаго парламента. Онъ выступилъ съ горячею филиппикою

противъ Криспи, обвиняя его въ измѣнѣ принципамъ и въ отреченіи отъ прошлаго; этимъ онъ затронулъ вопросы наиболѣе чувствительныя для челоуѣка въ положеніи нынѣшняго министра-президента. Насколько дѣло касалось римскихъ безпорядковъ, оправдательные доводы Криспи не могли произвести благоприятнаго впечатлѣнія: министръ старался сложить всю вину на низшихъ агентовъ власти и на отдѣльныхъ чиновниковъ, какъ на примѣръ, на римскаго префекта Гравину. Такая узкая постановка вопроса не правилась даже вѣрнымъ сторонникамъ министерства; а что касается общей политики, то она собственно не входила въ предметъ преній и осуждалась только косвенно. Криспи поставилъ вопросъ о довѣрїи, и палата, въ засѣданіи 16-го февраля, подтвердила однако это довѣрїе большинствомъ 247 голосовъ противъ 115. Такое большинство гораздо меньше того, которымъ до послѣдняго времени располагало министерство, и достигнутая удача не ослабила впечатлѣнія произнесенныхъ обвинительныхъ рѣчей и уменьшила популярность Криспи въ странѣ и парламентѣ.

Нѣмецкая офиціозная печать выражала нѣкоторое безпокойство по поводу событій и споровъ, неприятныхъ для главнѣйшаго устроителя присоединенія Италїи къ австро-германскому союзу; берлинскія газеты старались оказать поддержку Криспи, и своими безтактными толкованїями вызывали лишь неудовольствїе въ итальянскомъ общественномъ мнѣнїи. Нѣмецкіе публицисты обращались къ Италїи съ какими-то уроками и наставленїями; они хотѣли представить дѣло въ такомъ видѣ, что безпорядки въ Римѣ были только „мелочью“ („Bagatellsache“, по выраженїю „National Zeitung“), что возбужденїе политическихъ преній по такимъ ничтожнымъ поводамъ составляетъ одну изъ „странностей“ итальянскаго парламентаризма, и что противники Криспи руководствовались исключительно желанїемъ попасть въ министры. Подобныя выходки производили особенно раздражающее впечатлѣнїе, такъ какъ и безъ того существуютъ признаки замѣтнаго поворота въ чувствахъ итальянцевъ относительно Германїи; отдѣльные факты невниманїя берлинскаго кабинета къ итальянской прессѣ, какъ на примѣръ, высылка корреспондента „Secolo“ изъ Берлина, и частые случаи неуклюжаго вмѣшательства нѣмецкихъ офиціозовъ во внутреннїя дѣла Италїи, могутъ только способствовать такому повороту и совершенно подорвать положенїе кабинета Криспи.

Въ Венгріи внутреннїя волненїя имѣютъ нѣсколько иной характеръ, чѣмъ въ Италїи; они вытекаютъ не изъ экономическихъ не-  
взгодъ и не изъ невниманїя къ рабочему классу, а изъ причинъ

чисто политическихъ и національныхъ. Участниками безпорядковъ въ Пештѣ являются уже не простые рабочіе, оставшіеся безъ хлѣба, а университетская молодежь, большинство городской интеллигенціи, представители печати и парламента. Уличными демонстраціями руководятъ знатные венгерскіе магнаты и дѣятели оппозиціи въ палатѣ депутатовъ; предметомъ вражды и нападеній оказывается личность министра-президента, Коломана Тиссы, который, подобно своему итальянскому собрату, Криспи, считается оплотомъ тройственного союза. Тисса, привыкшій считать себя официальнымъ выразителемъ венгерской національной идеи, долженъ былъ видѣть и слышать негодующіе протесты мадьярскихъ патріотовъ по поводу его мнимой измѣны; онъ, нивогда не терявшій энергіи и присутствія духа, обнаружилъ нерѣшительность подъ напоромъ общественнаго мнѣнія и не сумѣлъ удовлетворить ни своихъ противниковъ, ни своихъ обычныхъ приверженцевъ. Министръ-президентъ, желавшій прежде поставить на своемъ, опираясь на послушное правительственное большинство въ палатѣ депутатовъ, измѣнилъ въ послѣдствіи свою тактику, чтобы избѣгнуть кабинетнаго кризиса и успокоить умы; онъ уступилъ въ двухъ существенныхъ пунктахъ военнаго закона—въ вопросѣ о языкѣ, на которомъ будутъ производиться офицерскіе экзамены, и въ установленіи десятилѣтняго срока для обязательнаго дѣйствія закона о численномъ составѣ арміи. Эти уступки не привели, однако, къ успокоенію умовъ, а только придали общему возбужденію болѣе спеціальнй смыслъ и болѣе положительную цѣль: предводители оппозиціи, графы Аппоньи и Габріель Карольи, высказали прямо, что Тисса не можетъ и не долженъ оставаться во главѣ венгерскаго правительства, такъ какъ онъ скомпрометгировалъ честь націи своею чрезмѣрною угодливостію по отношенію къ Вѣнѣ и къ Германіи. Правда, умѣренный графъ Аппоньи выразилъ въ то же время свое убѣжденіе въ необходимости сохранить тройственный союзъ; онъ не одобрялъ также уличныхъ демонстрацій, нарушающихъ будто бы независимость и самообладаніе парламента; но такого взгляда не раздѣляли его союзники, болѣе популярныя члены крайней лѣвой, и особенно предпримчивый графъ Габріель Карольи, бывшій однимъ изъ ближайшихъ друзей покойнаго австрійскаго кронпринца. Дѣятели парламентской оппозиціи устроили, между прочимъ, весьма внушительную процессію по улицамъ Пешта, 17-го февраля (нов. ст.); въ этой мирной манифестаціи участвовало около тридцати тысячъ человекъ, съ неизмѣнными криками: „долой Тиссу! да здравствуетъ король!“ Демонстрація эта производила тѣмъ большее впечатлѣніе, что она состоялась какъ бы на глазахъ самого „короля“, императора Франца-Иосифа, переѣхавшаго въ Пештѣ въ надеждѣ повліять

на вѣрныхъ мадьяръ своимъ личнымъ присутствіемъ. Въ Вѣнѣ были увѣрены, что личная и семейная скорбь императора послѣ утраты принца Рудольфа заставитъ венгерцевъ забыть на время страстные политическіе счеты и преклониться предъ общимъ трауромъ династїи и монархіи; но это предположеніе не оправдалось, и мадьяры снова доказали, что національные интересы и національныя чувства для нихъ неизмѣримо важнѣе всякихъ другихъ соображеній, хотя бы самыхъ почтенныхъ.

Мысль о томъ, что придется пожертвовать Тиссою и что отставка его неизбѣжна, все чаще высказывается въ австрійской печати; но эта идея тревожитъ офиціозную германскую прессу и вызываетъ съ ея стороны столь же раздражающіе комментарїи, какъ и вопросъ о возможномъ паденїи Криспи. Берлинскія газеты утверждаютъ, что графы Аппоньи и Кароли, съ ихъ союзниками въ палатѣ, дѣйствуютъ исключительно изъ честолюбія и что у нихъ нѣтъ другой цѣли, кромѣ захвата министерской власти. Такія мелочныя истолкованія общественныхъ движеній ни для кого не убѣдительны, но они должны были показаться въ высшей степени обидными для мадьяръ. Если даже допустить, что вліятельные венгерскіе магнаты, возставшіе противъ Тиссы, нуждаются въ министерскихъ портфеляхъ, — что далеко не доказано, — то чѣмъ же объяснить все общественное настроеніе Венгрии, направленное безспорно противъ министра-президента, всѣ эти продолжительныя волненія, всѣ эти грандіозныя демонстраціи многихъ десятковъ тысячъ, весь этотъ раздраженный тонъ въ печати и въ общественныхъ собранїяхъ? Подобныя настроенія не создаются искусственно, и приписать эту творческую роль нѣсколькимъ честолюбивымъ графамъ было бы ужъ слишкомъ наивно. Парижскій „Temps“ иначе объясняетъ общее желаніе правительственной перемѣны въ Венгрии. Тисса слишкомъ долго держитъ власть въ своихъ рукахъ; онъ управляетъ страной уже четырнадцать лѣтъ безъ перерыва. Назначенный впервые министромъ внутреннихъ дѣлъ въ мартѣ 1875 года, когда премьеромъ былъ баронъ Бала Венггеймъ, Тисса въ октябрѣ того же года сдѣлался министромъ-президентомъ. „Четырнадцать лѣтъ непрерывнаго министерскаго существованія! — вослицаетъ по этому поводу „Temps“: — это феноменъ совершенно неизвѣстный подъ нѣкоторыми широтами и рѣдкій повсюду. Въ странахъ конституціонныхъ и парламентскихъ такая продолжительность была превзойдена только Питтомъ младшимъ, который, будучи призванъ въ министерство на двадцать четвертомъ году жизни, въ концѣ 1783 г., сохранялъ власть почти восемнадцать лѣтъ, до февраля 1801 года. Другой примѣръ — министерство лорда Ливерпуля, въ теченіе пятнадцати лѣтъ, съ 1812 до 1827 года. Эта министерская долговѣчность,

какъ это особенно чувствуется тамъ, гдѣ ея нѣтъ, имѣеть громаднаго преимущества. Она допускаетъ предпріятія на долгій срокъ и обезпечиваетъ послѣдовательность въ политикѣ; но въ концѣ концовъ она вызываетъ особое утомленіе, соединенное съ недовольствомъ, у тѣхъ, которымъ надоѣдаетъ слышать одну и ту же похвалу Аристиду, причемъ возбуждается долго сдерживаемое честолюбіе въ соперникахъ. Повидимому, политическая жизнь Венгріи дошла именно до этого психологическаго момента“. Это объясненіе не вполне оправдывается обстоятельствами; еще въ прошломъ году никому изъ мадьярскихъ дѣятелей не приходило въ голову сомнѣваться въ прочности министерства Тиссы, и политическій авторитетъ его казался непоколебимымъ; нигдѣ не замѣчалось неудовольствія по поводу долговѣчности кабинета, хотя по теоріи „Temps“ утомленіе въ обществѣ и честолюбіе соперниковъ должны были уже существовать. Въ дѣйствительности, положеніе Тиссы основывалось единственно на безусловномъ довѣрїи къ его патриотизму, такту и энергіи въ охранѣ политическихъ интересовъ Венгріи; довѣріе это поддерживалось его выдающимися качествами государственнаго человѣка и оратора. Пока онъ успѣшно выполнялъ свою роль, онъ пользовался полнѣйшимъ одобреніемъ и сочувствіемъ своихъ согражданъ; онъ долго еще могъ бы оставаться популярнымъ министромъ-президентомъ, не утомляя, а напротивъ удовлетворяя всѣхъ своею талантливою личностью, если бы онъ вдругъ самъ не поколебалъ довѣрія къ своей искренности и твердости по отношенію къ придворнымъ и нѣмецкимъ вліяніямъ. Проектъ допущенія нѣмецкаго языка для венгерской арміи былъ крайне неприятнымъ открытіемъ для мадьяръ; они сразу почувствовали, что человѣкъ, на котораго они привыкли полагаться какъ на каменную стѣну, пошатнулся въ ихъ мнѣніи, что въ данномъ случаѣ онъ не отстаивалъ народныхъ правъ и что прежнее неограниченное довѣріе не можетъ быть оказываемо ему на будущее время. Министерство долговѣчно и жизненно, пока оно солидарно съ лучшею частью общества и пока оно опирается на общественное мнѣніе страны; но нѣтъ никакого основанія хлопотать о прочности министерства, утратившаго нѣкоторую долю довѣрія со стороны населенія своими неосторожными и невыгодными дѣйствіями.

---

Любопытная парламентская борьба происходитъ въ послѣднее время въ небольшомъ сосѣднемъ съ нами государствѣ — въ Румыніи. Министерство Карпъ-Росетти, образовавшееся послѣ паденія Іоанна Братіано, не только не приступило къ серьезному исполненію своей реформаторской программы, но обнаружило наклонность превратиться

въ „дѣловой“ кабинетъ короля Карла. Крестьянскія волненія, принявшія особенно угрожающій характеръ весною прошлаго года, указывали на ненормальность поземельнаго строя и на необходимость извѣстныхъ законодательныхъ мѣръ по этому важному предмету. Министры включили въ свою программу проектъ раздачи государственныхъ земель крестьянамъ небольшими участками въ собственность, на льготныхъ условіяхъ продажи; этотъ заманчивый для народа проектъ былъ въ общихъ чертахъ изложенъ въ официальной румынской газетѣ, въ сентябрѣ прошлаго года, незадолго до депутатскихъ выборовъ. Одно изъ серьезныхъ обвиненій противъ Братіано заключалось въ томъ, что онъ, вопреки конституціи, устроилъ для короля Карла особня коронныя владѣнія изъ значительной части государственныхъ земель, которыя при прежнихъ правительствахъ отдавались въ пользованіе крестьянъ. Такъ какъ нынѣшніе министры, или, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые изъ нихъ, рѣшительно возставали противъ такого „расхищенія“ народнаго достоянія, то можно было надѣяться, что, достигнувъ власти, они постараются возстановить нарушенныя права; это ожиданіе еще болѣе утвердилось въ населеніи, когда обнародована была сущность земельного проекта, задуманнаго новымъ министерствомъ. Между тѣмъ объ отиѣнѣ даровой передачи земель во владѣніе короны нѣтъ до сихъ поръ и рѣчи; а предполагаемое обезпеченіе крестьянъ землею на выгодныхъ условіяхъ низведено на степень совершенно незначительной мѣры, состоящей лишь въ продажѣ небольшого количества участковъ въ нѣкоторыхъ казенныхъ имѣніяхъ.

Оппозиція избрала вполне дѣйствительный способъ для одновременнаго нанесенія удара кабинету и порицанія невыгодныхъ для государства сдѣлокъ въ пользу короны. Внесено было предложеніе объ отдачѣ подъ судъ бывшаго министерства Братіано за многочисленные нарушенія конституціонныхъ и обыкновенныхъ законовъ, за злоупотребленія въ пользованіи властью и за всякаго рода „хищенія“. Предложеніе было отклонено большинствомъ всего одного голоса. Тогда оно было возобновлено въ другой формѣ, не противъ всего кабинета Братіано въ полномъ составѣ, а противъ отдѣльныхъ его членовъ. Въ такомъ измѣненномъ видѣ, предложеніе, подписанное двадцатью-двумя депутатами, было принято палатою, послѣ оживленныхъ преній. Нечего и говорить, что дѣло идетъ не только о Братіано, но косвенно и о дѣйствіяхъ короля Карла. Если процессъ состоится и бывшіе министры вынуждены будутъ отвѣчать предъ судомъ за свои многолѣтнія злоупотребленія, то это будетъ замѣчательный примѣръ публичнаго разбирательства незаконной министерской дѣятельности, и въ то же время это будетъ чрезвычайно

полезный для государства урокъ нынѣшнимъ и будущимъ министрамъ Румыніи. Такія дѣла, которыя успѣшно скрываются и процвѣтаютъ во тьмѣ, становятся невозможными, когда имъ грозитъ свободное разоблаченіе и осужденіе.

Оригинальная экспедиція „вольнаго казака“ Апинова и связавшаго съ нимъ свою судьбу архимандрита Палсія имѣла уже вначалѣ весьма несерьезный характеръ, хотя по поводу ея многозначительно и серьезно шумѣли нѣкоторыя изъ нашихъ газетъ,—но затѣмъ она получила совсѣмъ неожиданно трагическій конецъ: отрядъ высадился на чужую территорію дружественной намъ Франціи и, повидимому, распорядился ею, что, послѣ цѣлаго мѣсяца переговоровъ, повлекло за собою извѣстныя и весьма понятныя послѣдствія. Сначала можно было думать, что при этомъ произошло какое-нибудь недоразумѣніе, весьма возможное при непониманіи французскаго языка и незнаніи международныхъ обычаевъ со стороны Апинова и его спутниковъ, а ко всему этому могли еще присоединиться и особенныя, жестокіе нравы подобныхъ путешественниковъ,—о чемъ свидѣлствуютъ наши авторитетные очевидцы-соотечественники. Высадившись, повидимому, безпрепятственно въ Таджурскомъ заливѣ, вѣроятно, съ цѣлью дальнѣйшаго слѣдованія въ Абиссинію, Апиновъ расположился, какъ дома, въ мѣстности Сагалло, принадлежащей къ французскимъ владѣніямъ. На требованіе мѣстныхъ властей удалиться оттуда или выдать оружіе, онъ отвѣчалъ поднятіемъ русскаго флага; а поднятіе иностраннаго флага на чужой землѣ означаетъ заявленіе извѣстныхъ правъ на данную мѣстность, чего не могли усвоить себѣ наши „вольные казаки“, какихъ у насъ въ послѣднее время развелось много,—начиная еще съ сербской войны. Послѣ длинныхъ переговоровъ, свидѣтельствовавшихъ о долготерпѣннѣи мѣстныхъ властей, французы должны были увидѣть въ дѣйствіяхъ Апинова нѣчто въ родѣ открытаго захвата территоріи, и адмиралъ Обри получилъ разрѣшеніе употребить наконецъ силу для возстановленія французской власти надъ Сагалло. Произошла бомбардировка, стоившая, къ сожалѣнію, жизни нѣсколькимъ людямъ, легкомысленно довѣрившимъ свою судьбу распоряженіямъ Апинова. Военная сила употреблена была, однако, послѣ предварительныхъ сношеній съ нашимъ министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, а потому все случившееся не могло вызвать никакихъ международныхъ недоумѣній. Еслибы мѣстомъ захватовъ Апинова и его спутниковъ была не Африка, а бульвары Парижа, то, конечно, вся эта исторія имѣла бы самый обыкновенный полицейскій характеръ и закончилась бы на скамьѣ обвиняемыхъ. Но Африка—на военномъ

положеніи, да и у Ашинова были митральёзы, а потому дѣло получило другой оборотъ.

Оставшіеся отъ бомбардировки въ живыхъ были обезоружены и отведены въ Обокъ, откуда ихъ доставятъ въ Портъ-Сандъ, для передачи въ распоряженіе нашего правительства, и тогда, быть можетъ, вполнѣ разъяснится эта, во всякомъ случаѣ, прискорбная исторія; съ другой стороны, и французское правительство къ тому времени получить самое подробное донесеніе отъ своихъ властей. Только тогда можно будетъ судить о размѣрѣ отвѣтственности Ашинова въ настоящемъ дѣлѣ: его экспедиція готовилась публично и ведена была отчасти на общественныя средства, а потому на немъ лежитъ обязанность оправдаться предъ довѣрителями; сверхъ того, ему же приходится отвѣчать и за жизнь людей, положившихся на него...





---

## ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го марта, 1889.

- *Памяти В. М. Гаршина*. Художественно-литературный сборник. Спб., 1889.  
— *Красный цѣтокъ*. Литературный сборникъ въ память В. М. Гаршина. Спб., 1889.

Этими двумя сборниками русская литература заплатила свой долгъ покойному Гаршину; очередь теперь за обществомъ. Знавшіе покойнаго сплели ему вѣнокъ изъ своихъ личныхъ воспоминаній, рисующихъ его въ такомъ же симпатичномъ свѣтѣ, въ какомъ мы привыкли его видѣть сквозь его произведенія. Въ высшей степени цѣннымъ матеріаломъ для изученія Гаршина являются, несмотря на краткость, автобиографическія свѣденія, сообщенныя имъ самимъ С. А. Венгерову, а послѣднимъ переданныя въ „Красный цѣтокъ“. Глубокая человѣчность, составлявшая отличительную черту Гаршина, досталась ему, повидимому, по наслѣдству. Его отецъ, служа, въ николаевское время, въ кирасирахъ, никогда не билъ солдатъ; „развѣ когда ужъ очень разсердится, то ударить фуражкой“. Поступилъ онъ въ военную службу „по увлеченію“, окончивъ курсъ въ гимназіи и пробывъ два года на юридическомъ факультетѣ московскаго университета. И это отцовское „увлеченіе“, видоизмѣненное воспитаніемъ и условіями времени, отразилось, быть можетъ, въ Всеволодѣ Гаршинѣ, когда онъ, при первой вѣсти о войнѣ, бросилъ тетрадки и устремился на театръ военныхъ дѣйствій. Дѣдъ Гаршина по матери (Акимовъ), отставной морской офицеръ, былъ „человѣкъ очень образованный и рѣдко хорошій. Отношенія его къ крестьянамъ были такъ необыкновенны въ то время, что окрестные помѣщики прославили его вольнодумцемъ, а потомъ и помѣшаннымъ. Помѣшательство его состояло, между прочимъ, въ томъ, что въ голодъ 1843 г. онъ заложилъ имѣніе, занялъ денегъ и купилъ большое количество хлѣба, которое и роздалъ голодавшимъ мужикамъ, своимъ и чужимъ“. И съ этой стороны, слѣдовательно, Гаршину была завѣщана жалость къ чужому страданію и горю—жалость, проникающая собою всю литера-

турную его дѣятельность и всю его жизнь. Ему не дана была способность объективнаго отношенія къ дѣйствительности; въ художественномъ воспроизведеніи ея онъ не хотѣлъ и не могъ видѣть послѣдней цѣли искусства. Даже тогда, когда онъ чувствовалъ потребность изображать „не свое я, а большой внѣшній міръ“, даже тогда, когда все раньше имъ написанное казалось ему „страшными отрывочными воплями, какими-то стихами въ прозѣ“, онъ продолжалъ возставать противъ модныхъ требованій спокойствія и безстрастія. „Богъ съ нимъ,— писалъ онъ въ 1885 г.,—съ этимъ реализмомъ, натурализмомъ, протоколизмомъ и прочимъ. Это теперь въ расцвѣтѣ или, вѣрнѣе, въ зрѣлости—и плодъ внутри уже начинаетъ гнить. Пусть лучше разобью себѣ лобъ въ попыткахъ создать что-нибудь новое, чѣмъ идти въ хвостъ школы, которая изъ всѣхъ школъ, по моему мнѣнію, имѣла меньше всего вѣроятія утвердиться на долгіе годы. Ибо она-то и представляетъ чистое искусство для искусства, не въ философскомъ смыслѣ этого слова, а въ сверномъ. Для нея нѣтъ ни правды (въ смыслѣ справедливости), ни добра, ни красоты; для нея есть только интересное и неинтересное, *заковыристое* и *незаковыристое*“. Такихъ знаменательныхъ мѣстъ въ перепискѣ Гаршина не мало: отрывки изъ нея, приведенные въ статьѣ г. Абрамова (въ сборникѣ: „Памяти Гаршина“), служатъ какъ бы дополненіемъ къ его автобіографическимъ замѣткамъ. Прекрасная характеристика его, какъ человѣка, дана г. М. Л. въ статьѣ: „Писатель“ (въ томъ же сборникѣ), съ такимъ глубокимъ чувствомъ прочитанной на вечерѣ въ память Гаршина (25-го апрѣля 1888 г.) А. Я. Гердомъ, теперь также уже покойнымъ.

Беллетристическій отдѣлъ обоихъ сборниковъ стоитъ выше обыкновеннаго уровня такихъ изданій; всего больше выдѣляются въ немъ сказка Щедрина („Воронъ-Челобитчикъ“), рассказъ г. Чехова („Припадокъ“) и очеркъ г. Короленко („На Волгѣ“), напечатанные въ первомъ изъ двухъ названныхъ нами сборниковъ.

---

— *Что читать народу?* Критическій указатель книгъ для народнаго и дѣтскаго чтенія. Составленъ учительницами харьковской частной женской воскресной школы. Томъ второй. Спб., 1889.

Разбирая, четыре года тому назадъ <sup>1)</sup>, первый томъ этого полез-

---

<sup>1)</sup> См. Литературное Обзоріе въ № 7 „Вѣстника Европы“ за 1884 г. Два года спустя въ нашемъ журналѣ была напечатана статья о томъ же предметѣ покойнаго В. И. Водовозова, написанная въ другомъ духѣ, но представлявшая большой интересъ какъ въ виду педагогическихъ заслугъ ея автора, такъ и въ виду правила: *audiat et altera pars*.

наго изданія, мы имѣли уже случай выставить на видъ оригинальность его замысла, заключающуюся въ томъ, что рядомъ съ рецензіями составительницъ часто приводятся отзывы читателей и слушателей изъ среды учащихся или народа. Той же системы держится и второй томъ, обнимающій собою всѣ книги для народнаго и дѣтскаго чтенія, появившіяся послѣ выхода въ свѣтъ перваго тома или почему-либо въ немъ не упомянутыя. Рядомъ съ ними, по прежнему, разбираются и такія сочиненія, которыя не предназначены специально ни для дѣтей, ни для народа, но понятны имъ и интересны. И въ первомъ томѣ говорилось уже о нѣкоторыхъ произведеніяхъ Пушкина, имѣвшихъ тогда въ дешевыхъ, общедоступныхъ изданіяхъ; теперь, когда сочиненія Пушкина разошлись въ громадномъ числѣ экземпляровъ и проникли въ среду, прежде едва знавшую ихъ по имени, составительницы сборника отвели имъ гораздо больше мѣста. Перечисливъ главныя изданія и отмѣтивъ особенности каждаго изъ нихъ, онѣ останавливаются подробно на тѣхъ сочиненіяхъ Пушкина, которыя были прочитаны ими въ школѣ или въ деревнѣ. Мы узнаемъ впечатлѣнія, произведенныя здѣсь „Дубровскимъ“, „Цыганами“, „Барышней-крестьянкой“, „Русланомъ и Людмилой“, „Скупымъ рыцаремъ“, „Каменнымъ гостемъ“, „Русалкой“ и др. Многіе городскіе жители, незнакомые съ деревней, усомнятся, пожалуй, въ томъ, чтобы все это могло возбудить интересъ въ крестьянахъ; тѣмъ любопытнѣе будетъ для нихъ прочесть подлинныя слова слушателей, иногда, правда, недоумѣвающихъ и смущенныхъ, но иногда затронутыхъ за живое. Плохо, сначала, былъ понятъ „Кавказскій плѣнникъ“, въ особенности характеръ героя; и тутъ, однако, помогли объясненія учительницы, а многое—напр. освобожденіе плѣнника—уже при первомъ чтеніи восхитило крестьянъ. Мало вразумительными оказались для нихъ „Каменный гость“ и „Бахчисарайскій фонтанъ“—но „Русланъ и Людмила“, „Цыганы“, многія повѣсти Бѣлкина были выслушаны съ восторгомъ. Еще болѣе воспримчивыми явились, конечно, ученицы городской воскресной школы; въ „Евгеніѣ Онѣгинѣ“ имъ не понравились только отклоненія отъ главнаго сюжета. Издательницамъ разбираемой нами книги удалось, какъ намъ кажется, доказать, что Пушкинъ можетъ уже теперь сдѣлаться „любезнымъ народу“; надежда, выраженная въ „Памятникѣ“, исполнилась или по меньшей мѣрѣ близка къ исполненію... Новѣйшіе писатели счастливѣе прежнихъ въ томъ отношеніи, что для нихъ скорѣе наступаетъ близость къ народу. Гаршинъ уже теперь имѣетъ друзей въ деревнѣ; его „Сигналъ“, его „Медвѣди“, „Четыре дня“, „Записки рядового Иванова“ сильно дѣйствуютъ на деревенскихъ слушателей. Какъ вѣрно опредѣлилъ автора одинъ изъ нихъ, по выслушаніи „Медвѣ-

дей": „добрый онъ, должно быть, человекъ, все такое трогательное описываетъ".— „Хоть бы издалека ему поклониться!" воскликнулъ другой. Очень нравится народу и „Убивецъ" г. Короленко (извлечение изъ „Очерковъ сибирскаго туриста").

Большую полнотой и обстоятельностью отличаются, между прочимъ, рецензіи отдѣловъ историческаго и географическаго. Къ послѣднему приложены весьма любопытные отвѣты простолюдиновъ, изъ разныхъ мѣстностей Россіи, на вопросы, предложенные имъ съ цѣлью опредѣлить ихъ географическія свѣденія и степень интереса къ географическимъ даннымъ. Составительница вопросовъ исходила изъ той совершенно вѣрной мысли, что этимъ путемъ можно подготовить изданіе географическихъ книгъ, болѣе приспособленныхъ къ пониманію народа. Такихъ книгъ въ настоящее время нѣтъ вовсе, а потребность въ нихъ несомнѣнно существуетъ. „Содержаніе отвѣтовъ", замѣчаетъ госпожа А. К., „ихъ тонъ и характеръ, пробивающагося подчасъ слово и даже фраза безъ содержанія во многихъ случаяхъ дадутъ возможность выяснять себѣ, какъ нужно говорить народу о томъ или другомъ изъ географіи, чтобы онъ яснѣе понялъ, лучше запомнилъ, и, что самое важное, чтобы онъ вновь приобретенное привелъ въ связь съ давно извѣстнымъ и такъ или иначе воспользовался для жизни новыми знаніями".

Второй томъ „Что читать народу" отличается еще болѣе поразительною дешевизною, чѣмъ первый; цѣна его та же—два рубля, но онъ заключаетъ въ себѣ уже не 52 печатныхъ листа, а болѣе шестидесяти (почти 1000 страницъ, въ два столбца, очень убористой печати). Очевидно, что со стороны составительницъ (онѣ же и редакторницы) это—не только полезная работа, но и доброе дѣло. Тѣмъ больше можно порадоваться ихъ успѣху: первый томъ вышелъ недавно вторымъ изданіемъ.

— *И. Я. Фойницкій. Ученіе о наказаніи въ связи съ тюремновѣденіемъ. Сиб., 1889.*

Книга г. Фойницкаго начинается съ сжатаго, но полнаго изложенія главнѣйшихъ взглядовъ на наказаніе вообще; затѣмъ идетъ историческій и критическій разборъ отдѣльныхъ видовъ наказанія. Особенно подробно разработано все касающееся лишенія свободы, къ которому все больше и больше сводятся уголовныя кары. Авторъ знакомитъ насъ съ прошедшимъ и настоящимъ тюрьмы и ссылки, какъ въ Россіи, такъ и въ тѣхъ иностранныхъ государствахъ, которыя представляютъ въ этомъ отношеніи всего больше поучительнаго; онъ говоритъ о ссылкѣ въ древнемъ Римѣ, въ Англіи и Франціи, о

тюрмѣ въ Англіи и Сѣверной Америкѣ. Болѣе чѣмъ когда-либо все это интересно теперь, въ виду предстоящаго преобразованія нашей карательной системы и поставленнаго на очередь вопроса объ ограниченіи ссылки въ Сибирь. Профессоръ Фойницкій склоняется къ утвердительному разрѣшенію этого вопроса; онъ не отвергаетъ удобствъ и достоинствъ, представляемыхъ ссылкой *въ теоріи*, но думаетъ, что на практикѣ она оказывается мѣрою, негодною какъ наказаніе, противорѣчащую задачамъ исправленія, очень дорого стоящую и разрушающую безопасность въ колоніи, не обезпечивая ее для метрополи. Полезной онъ признаетъ ссылку развѣ для государствъ, еще не успѣвшихъ устроить у себя хорошихъ тюремъ. Гораздо выше авторъ ставитъ тюремное заключеніе, хотя и не считаетъ его единственной желательной формой наказанія. Мы будемъ еще имѣть случай возвратиться къ этимъ мнѣніямъ г. Фойницкаго, когда коснемся, въ другомъ отдѣлѣ нашего журнала, возникавшихъ недавно законодательныхъ предположеній относительно ссылки.

Большой заслугой г. Фойницкаго представляется, въ нашихъ глазахъ, рѣшительно-отрицательное отношеніе его къ смертной казни и къ тѣлеснымъ наказаніямъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ такое отношеніе разумѣлось бы само собою — но теперь гуманность обрѣтается не въ авантажѣ, признается сантиментальностью, провозглашается иногда чуть не государственнымъ преступленіемъ. Изъ области салонной и газетной болтовни защита жестокихъ каръ начинаетъ проникать, къ несчастію, и въ сферу университетской науки. Автора разбираемой нами книги модныя вѣянія не задѣли вовсе; онъ не измѣнилъ тѣмъ великодушнымъ началамъ, которыя смягчили, четверть вѣка тому назадъ, суровость нашего уголовного законодательства и нашей уголовной практики. Онъ не увлекается, при этомъ, названіями и формами; онъ не приходитъ въ восторгъ, какъ это дѣлалось прежде, отъ одной мысли о томъ, что у насъ въ Россіи смертная казнь была отмѣнена еще при императрицѣ Елизаветѣ. Онъ знаетъ очень хорошо, что *фактически* она у насъ постоянно существовала — и существовала притомъ, пока не были отмѣнены уголовныя тѣлесныя наказанія, въ самомъ ужасномъ видѣ; „шпидрутены до 6 и даже 10 тысячъ ударовъ, плети, вnutí при извѣстномъ числѣ ударовъ и при извѣстной сноровкѣ“ онъ совершенно справедливо называетъ „примѣненіемъ квалифицированной смертной казни“. Иногда, впрочемъ, практика еще рѣзче расходилась съ буквой закона; г. Фойницкій приводитъ этому поразительный примѣръ, до сихъ поръ, кажется, оставшійся совершенно неизвѣстнымъ. Въ 1831 г. возникла въ первый разъ мысль о введеніи смертной казни за тяжкія преступления, совершаемыя ссыльными; она была отвергнута высочайше

утвержденнымъ положеніемъ сибирскаго комитета, но въ 1832 г. была заявлена вновь, въ запискѣ генералъ-губернатора восточной Сибири, Лавинскаго. Для разсмотрѣнія этой записки былъ учрежденъ особый секретный комитетъ, подъ предсѣдательствомъ кн. Кочубея: въ составъ его входили, между прочимъ, Сперанскій, гр. Бенкендорфъ, кн. Голицынъ, гр. Блудовъ, гр. Канкринъ. Мнѣнія въ комитетѣ раздѣлились. Большинство склонялось къ введенію смертной казни, но съ тѣмъ, чтобы она была установлена путемъ несласныхъ рескриптовъ на имя генералъ-губернаторовъ, возобновляемыхъ каждый разъ при назначеніи на эти должности новыхъ лицъ. Меньшинство (Сперанскій и кн. Голицынъ) энергически возставало противъ этой мѣры, сомнѣваясь въ ея необходимости и цѣлесообразности. Императоръ Николай согласился съ мнѣніемъ большинства, и негласные рескрипты о дозволеніи смертной казни выдавались сибирскимъ генералъ-губернаторамъ съ 1834 по 1837 г. Аналогичныхъ случаевъ въ исторіи культурныхъ государствъ едва ли найдется много. Когда государственная власть признаетъ необходимымъ ввести, для той или другой категоріи преступленій, извѣстный родъ уголовной кары, она не сохраняетъ этого въ тайнѣ и не отступаетъ передъ обличеніемъ своихъ намѣреній въ обычную законную форму... Неудобство опубликованія вышеупомянутой мѣры мотивировалось въ комитетѣ тѣмъ, „дабы не могли возродиться у ссыльныхъ вредныя мысли о возможности бунта, заговора и пр., и разные неосновательные толки“. Едва ли, однако, таково было настоящее мнѣніе членовъ большинства; между страхомъ смертной казни и заговоромъ или бунтомъ трудно усмотрѣть какую-либо причинную связь. Гораздо вѣроятнѣе, что увеличенію числа случаевъ, за которые официально назначалась бы смертная казнь, препятствовала все та же фикція о несуществованіи въ Россіи, со временъ императрицы Елизаветы, смертной казни за обыкновенныя преступленія.

---

— И. В. Макашинскій. С.-Петербургская присяжная адвокатура. Дѣятельность с.-петербургскихъ совѣта и общихъ собраній присяжныхъ повѣренныхъ за 22 года (1866—88 г.). Спб., 1889.

Этотъ прекрасно составленный сборникъ удовлетворяетъ потребности, которая чувствовалась уже давно. Первая попытка систематизировать результаты корпоративной дѣятельности присяжныхъ повѣренныхъ была сдѣлана, много лѣтъ тому назадъ, К. Б. Арсеньевичемъ; но его книга обнимала собою короткій промежутокъ времени (1866—74) и заключала въ себѣ, помимо личныхъ мнѣній автора, только обзоръ постановленій с.-петербургскаго совѣта присяжныхъ повѣрен-

ныхъ. Съ тѣхъ поръ количество матеріала увеличилось во много разъ, и новая его группировка сдѣлалась совершенно необходимой. Изучая преимущественно петербургскую присяжную адвокатуру, г. Макалинскій не оставилъ, притомъ, безъ вниманія и постановленія совѣтовъ московскаго и харьковскаго, насколько съ ними можно ознакомиться изъ совѣтскихъ отчетовъ. Значеніе такого труда для всѣхъ принадлежащихъ къ адвокатской профессіи или близко къ ней стоящихъ не требуетъ доказательствъ; но книга г. Макалинскаго не лишена и болѣе общаго интереса. Корпоративная жизнь распространена у насъ до крайности мало; тѣмъ любопытнѣе прослѣдить одну изъ немногихъ ея проявленій, почти совершенно независимое отъ постороннихъ, внѣшнихъ вліяній. Судебные уставы намѣтили только главныя черты устройства присяжной адвокатуры; дальнѣйшее ихъ развитіе было предоставлено ея собственной инициативѣ. Словно присяжныхъ повѣренныхъ пришлось самому создавать правила, обычаи, приемы, выработать для себя дисциплину и нравственный кодексъ. Оно энергически принялось за эту работу и не прекращаетъ ея до настоящаго времени. О достоинствахъ ея можно судить различно, но теперь, со времени выхода въ свѣтъ сборника г. Макалинскаго, непозволительно, во всякомъ случаѣ, одно: игнорировать ея существованіе. Пусть критикуютъ сдѣланное адвокатурой, пускай указываютъ несдѣланное или упущенное ею, лишь бы только въ основаніи этой критики и этихъ указаній лежало внимательное изученіе данныхъ, для всѣхъ доступныхъ. Говоря, на примѣръ, о снисходительности или строгости совѣтовъ, нельзя забывать о составленной г. Макалинскимъ таблицѣ дисциплинарныхъ опредѣленій петербургскаго совѣта, утвержденныхъ и отмѣненныхъ судебною палатою. Изъ 74 жалобъ и протестовъ, разрѣшенныхъ палатою, не уважено 35, уважено 39; но изъ этихъ 39 случаевъ только въ 20 палата обвинила присяжныхъ повѣренныхъ, оправданныхъ совѣтомъ, или увеличила наложенное совѣтомъ взыскаіііе, а въ остальныхъ 19, наоборотъ, оправдала осужденныхъ совѣтомъ или отнеслась къ нимъ снисходительнѣе, чѣмъ судъ товарищей. Необходимо замѣтить, вдобавокъ, что сколько-нибудь серьезное разногласіе между совѣтомъ и палатою по тѣмъ дѣламъ, по которымъ перевѣсъ строгости оказался на сторонѣ послѣдней, произошло только въ пятнадцать случаевъ; въ остальныхъ пяти палата ограничилась замѣной одного легкаго дисциплинарнаго взысканія другимъ, также не принадлежащимъ къ числу тяжкихъ (предостереженія — выговоромъ), или удлиненіемъ срока запрещенія адвокатской практики. Не особенно важными можно считать и тѣ случаи (числомъ шесть), когда палата, отмѣняя оправдательный приговоръ совѣта, объявляла обвиняемому предостереженіе

(въ трехъ случаяхъ) или выговоръ (также въ трехъ случаяхъ). Иногда, значительно усиливая наказаніе, палата только усвоивала себѣ мнѣніе меньшинства членовъ совѣта.

Къ числу самыхъ любопытныхъ страницъ книги г. Макалинскаго принадлежатъ тѣ, которыя посвящены исторіи помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ. Въ этой области совѣтамъ предстояло творить буквально изъ ничего. Судебные уставы упомянули о помощникахъ только для того, чтобы призвать за ними право вступленія, послѣ пятилѣтней практики, въ число присяжныхъ повѣренныхъ; объ организаціи ихъ, о правахъ и обязанностяхъ не сказано ни слова. Въ стараніяхъ своихъ восполнить, согласно съ требованіями жизни, пробѣлъ закона, совѣты не только не находили ни въ комъ поддержки, но, напротивъ, часто встрѣчали систематическое противодѣйствіе. При изданіи (въ 1874 г.) закона о частныхъ повѣренныхъ не были приняты въ расчетъ, вопреки ходатайству петербургскаго совѣта, особенности положенія помощниковъ присяжныхъ повѣренныхъ. Петербургская судебная палата не признавала за совѣтомъ права налагать на помощниковъ дисциплинарныя взыскація. Предположенія совѣтовъ о законодательной регламентаціи сословія помощниковъ долго оставались безъ всякаго вниманія. Только въ 1886 г. необходимость такой регламентаціи признана, наконецъ, петербургскою судебною палатою; но представленіе ея по этому предмету въ министерство юстиціи не привело, до сихъ поръ, ни къ какому результату... Къ книгѣ г. Макалинскаго намъ придется, по всей вѣроятности, еще не разъ возвращаться, при обсужденіи вопросовъ, касающихся устройства и дѣятельности присяжной адвокатуры.

---

— *В. Ф. Лукинъ.* Обычный порядокъ наследованія у крестьянъ.—Къ вопросу объ отношеніи народныхъ юридическихъ обычаевъ къ будущему гражданскому уложенію.—Изданіе редакціонной комиссіи по составленію гражданского уложенія. Спб., 1888.

Книга г. Мухина написана съ спеціальною цѣлью, какъ одно изъ пособій при составленіи проекта гражданского уложенія; но она имѣетъ значеніе для всѣхъ интересующихся народною жизнью. Кромѣ трудовъ комиссіи по преобразованію волостныхъ судовъ<sup>1)</sup>, авторъ хорошо знакомъ съ обширною литературой, касающейся избраннаго имъ предмета; не ограничиваясь группировкой матеріала, онъ подвергаетъ его критическому разбору. Кодификацію народныхъ обычаевъ,

---

<sup>1)</sup> Въ общепитіи она называется обыкновенно комиссіей М. Н. Любоцинскаго; дѣятельность ея относится къ началу семидесятыхъ годовъ.



входящихъ въ область наслѣдственнаго права, г. Мухинъ признаетъ преждевременной, не только потому, что они еще недостаточно и не повсемѣстно приведены въ ясность, но и потому, что не прекратился процессъ ихъ измѣненія и образованія, не сгладились ихъ безчисленныя мѣстныя различія. Ту или другую степень силы обычай долженъ будетъ, слѣдовательно, сохранить и при дѣйствіи новаго гражданскаго уложенія. Это еще не значитъ, конечно, чтобы обычаями нельзя было пользоваться при самомъ составленіи уложенія; напротивъ того, они могутъ и должны служить однимъ изъ главныхъ источниковъ писаннаго закона. Изъ дѣйствія обычая, въ сферѣ наслѣдства по закону, г. Мухинъ считаетъ необходимымъ изъять: 1) недвижимыя имущества, находящіяся въ чертѣ города или пріобрѣтенныя вѣнъ крестьянскаго надѣла, если послѣднія стоятъ болѣе 1.500 руб. и 2) движимыя имущества, стоимостью свыше той же суммы, если они не составляютъ принадлежности крестьянскаго надѣла. Основною формою семейно-имущественныхъ отношеній въ крестьянскомъ быту является, по мнѣнію автора, *общая семейная собственность*. Изъ этого положенія, мотивированнаго весьма обстоятельно, вытекаютъ нѣсколько выводовъ, прямо примѣнимыхъ къ наслѣдственному праву. Объ открытіи наслѣдства въ томъ смыслѣ, какъ его понимаетъ писанный законъ, въ средѣ, управляемой обычаями, нѣтъ и рѣчи; можетъ произойти только распаденіе семейнаго имущества на отдѣльныя части или пріобрѣтеніе каждымъ членомъ семьи свободнаго распоряженія своею долей имущества. Порядокъ наслѣдованія бываетъ двоякій, существенно различный для мужчинъ и для женщинъ, потому что послѣднія не считаются долецами семейнаго имущества, но имѣютъ право на особое имущество, отдѣльное отъ семейнаго. Участіе въ наслѣдствѣ обуславливается преимущественно фактической принадлежностью къ семьѣ, на правахъ ея члена. Отсюда встрѣчающееся на практикѣ наслѣдованіе пріемышей, пасынковъ, зятьевъ, незаконнорожденныхъ дѣтей которыхъ г. Мухинъ соединяетъ, въ одномъ изъ отдѣловъ своей книги, подъ именемъ „особыхъ членовъ семьи“.—К. К.

---

— Книга для дѣтей. *Дневникъ школьника*. Эмонда де-Амичисъ. Редакція перевода и предисловіе В. Крестовскаго (*псевдонимъ*). Оригинальные рисунки русскихъ художниковъ. Спб. 1889.

Литературное обозрѣніе „В. Е.“ очень рѣдко останавливалось на дѣтской литературѣ — между прочимъ потому, что эта литература рѣдко представляетъ у насъ произведенія, требующія вниманія, въ

ходящія изъ обычныхъ рамокъ дѣтскаго разсказа. Книжка, заглавіе которой мы выписали, напротивъ, привлекаетъ вниманіе и по имени автора, одного изъ талантливѣйшихъ современныхъ итальянскихъ писателей, и по редакціи перевода, дающей речительство, что выбрано нѣчто живое и вмѣстѣ изящное: въ самомъ дѣлѣ, даже взрослый читатель, взявши эту „книгу для дѣтей“ и прочитавши первыя страницы, не оторвется отъ книги до конца. Де-Амичисъ, публицистъ, путешественникъ, поэтъ, есть одинъ изъ самыхъ симпатичныхъ писателей итальянской современной литературы; онъ воистину не специалистъ по литературѣ для дѣтей или для юношества и, быть можетъ, это въ данномъ случаѣ увеличило достоинства его книги. Слишкомъ часто приходится видѣть, что подобная спеціализація невольно пріучаетъ писателей этого рода къ извѣстному шаблону, къ искусственной манерѣ, которую чувствуютъ, наконецъ, сами читатели-дѣти, не говоря о взрослыхъ. Задача въ самомъ дѣлѣ трудная: надо остаться въ предѣлахъ дѣтскаго или юношескаго пониманія, но вмѣстѣ съ тѣмъ сообщать читателямъ нѣчто, до чего они не могутъ додуматься; автору грозитъ опасность или опуститься до полу-ребяческаго изложенія, или впасть въ поучительность — то и другое для читателей скучно. Прежняя наша дѣтская литература, за нѣсколько десятковъ лѣтъ назадъ, почти неизмѣнно страдала этими недостатками; въ послѣднее время вырабатывается другой тонъ, болѣе рациональный и практический, но писать для дѣтей все-таки остается трудно. Это замѣчаніе относится, конечно, не столько къ тому отдѣлу дѣтскихъ книгъ, который вращается въ предметахъ или чистой фантазіи, какъ сказки, или объективныхъ, какъ разсказы историческіе, путешествія и т. п., сколько къ тому, гдѣ рѣчь идетъ о современной дѣйствительной жизни, гдѣ юнаго читателя знакомятъ съ окружающей его средой, гдѣ онъ долженъ встрѣтиться съ обычными житейскими отношеніями, гдѣ желаютъ дать ему извѣстные нравственные выводы. Быть можетъ, относительно такихъ темъ лучшимъ дѣтскимъ авторомъ можетъ сдѣлаться писатель, соединяющій достаточно любви къ этому дѣтскому міру съ поэтическимъ настроеніемъ, которое помогло бы ему переселиться въ этотъ міръ полунаивныхъ понятій, возникающихъ добрыхъ и дурныхъ стремленій, и завлечь молодого читателя живой картиной нравственнаго достоинства. То и другое соединилось весьма счастливо въ авторѣ настоящей книжки. У него нѣтъ стремленія поучать, но книга исполнена самыхъ теплыхъ поученій; онъ не навязываетъ своему читателю никакихъ сентенцій, но весь разсказъ проникнутъ мягкимъ идеализмомъ, который, безъ сомнѣнія, оставитъ благотворный слѣдъ въ молодой воспримчивой душѣ. Тема разсказа очень простая. Это — дневникъ

школьника, въ элементарной школѣ. На первыхъ страницахъ авторъ дневника поступаетъ въ третій классъ своего училища; на послѣднихъ страницахъ онъ прощается со школой. Дневникъ состоитъ изъ разсказа о школьныхъ событіяхъ, прерываясь иногда вставками: мальчикъ получаетъ письма отъ матери, отъ отца; въ дневникъ заносятся разсказы, которые каждый мѣсяцъ читаются въ классѣ. Мальчикъ, конечно, не задается никакими долгими описаніями, рассказываетъ школьныя приключенія, когда онѣ случатся; говорить о своихъ товарищахъ, когда заставитъ это сдѣлать какой-нибудь особенный случай—словомъ, не видно никакой преднамѣренности; нигдѣ за авторомъ-мальчикомъ не виденъ диктовавшій ему опытный писатель, поэтъ и просвѣщенный патріотъ. Но въ школѣ совершается цѣлая сложная жизнь: мальчикъ встрѣчается съ разнообразными характерами, съ дѣтьми весьма различныхъ положеній, съ проявленіями общественнаго неравенства, которые сказываются и въ школьномъ мірѣ, съ человѣческими страстями, добродѣтелями и пороками въ дѣтскихъ размѣрахъ, наконецъ, съ политическими неровностями и пристрастіями, когда, на примѣръ, въ эту школу попадаетъ мальчикъ изъ далекой итальянской провинціи (школа — сѣверная, мальчикъ — галабриецъ): въ недавно объединившейся Италіи далекая одна отъ другой области, повидимому, еще продолжаютъ быть довольно чуждыми другъ другу.

Сама школа, ея директоръ, учителя, и въ низшихъ классахъ учительницы, не остаются чужды этому дѣтскому міру: они знаютъ не только учениковъ и ихъ уроки; они видятъ передъ собою дѣтей, знаютъ ихъ семейное положеніе, не только учатъ этихъ дѣтей, но и воспитываютъ ихъ. Въ школѣ происходятъ и невинныя, и дурныя шалости: учитель и учительница въ рѣдкихъ, только крайнихъ случаяхъ употребляютъ строгія мѣры, удаляютъ изъ школы несправедливо; но большею частью они мягкими, но серьезными словами умѣютъ пробудить въ самихъ ученикахъ чувство добра и справедливости, такъ что школьники сами осуждаютъ дурной поступокъ, оцѣниваютъ хорошей, и этотъ собственный выводъ и приговоръ внушаютъ имъ гораздо болѣе прочныя нравственныя понятія, чѣмъ могли бы внушить какія-либо строгости или нравоученія. Школьные наставники умѣютъ остановить дѣтскія излишества, помочь одному, воздержатъ заносчивость другого, примирить и объединить маленькое общество. Авторитетъ наставниковъ проченъ, потому что основанъ на привязанности, которую они къ себѣ возбуждаютъ, на спокойной справедливости, которую дѣти всегда въ нихъ видятъ. Въ трудѣ школы участвуютъ, съ своей стороны, и семья; родители бывають безпрестанно

въ школѣ, приходя за дѣтьми, справляясь объ ихъ занятіяхъ, и всегда находятъ радушный пріемъ у директора и наставниковъ.

„Дневникъ“ школьника, который также знаетъ хорошо своихъ товарищей, становится цѣлой картиной этого дѣтскаго круга, на которомъ отражается и жизнь семьи въ тѣхъ различныхъ классахъ, откуда собираются школьники. Эта картина часто невесела: иногда въ самой школѣ, или подлѣ нея, въ товарищескихъ отношеніяхъ узнаются печальныя подробности домашняго несчастія, нищеты, болѣзни: и наставники, и умные родители не остаются равнодушны, не скрываютъ отъ дѣтей присутствія и возможности этихъ бѣдствій — пусть дѣти приучаются знать и тяжелыя стороны жизни, лишь бы они умѣли относиться къ несчастію съ добрымъ чувствомъ, уважали въ бѣдныя челоѣческое достоинство, умѣли дѣлиться съ нимъ своею помощью.

Таковы темы „Дневника“. Въ рукахъ даровитаго писателя, который принимаетъ близко къ сердцу жизнь возрастающихъ поколѣній и интересы общественныя, на этихъ темахъ построено произведеніе, привлекательное и по его мысли, и по исполненію. Это прекрасная книга для дѣтскаго чтенія; но это — интересная книга и для взрослыхъ, и въ особенности наставительная для учителей и распорядителей школъ. Не знаемъ, могъ ли Де-Амичисъ писать съ натуры картину своей школы; если и вѣтъ, то она совершенно возможна, и для иныхъ подробностей, для иныхъ характеровъ въ составѣ учителей онъ могъ имѣть живые образцы — истинныя педагоги къ счастью существуютъ. Наша средняя школа — по всему, что приходится читать, слышать и видѣть — далеко не обладаетъ тѣмъ спокойнымъ и высоко челоѣчнымъ настроеніемъ, какое изображаетъ Де-Амичисъ въ своей школѣ, и его книга могла бы навести нашихъ педагоговъ на весьма полезныя размышленія. Школа, о которой говоритъ Де-Амичисъ, всесословная; дѣти богатыхъ людей учатся вмѣстѣ съ дѣтьми ремесленниковъ и рабочихъ; для этихъ послѣднихъ образованіе не считается излишнимъ, и лучшіе ученики не всегда самыя состоятельныя; совѣщеніе дѣтей разныхъ классовъ общества не только не вредитъ ученикамъ привилегированнымъ, но имѣетъ для всѣхъ глубокое воспитательное значеніе и равно готовитъ дѣтей разныхъ классовъ быть честными людьми и гражданами. Школа не только учитъ, но и воспитываетъ. Наставникъ не исполняетъ одну казенную службу, но принятую на себя нравственную обязанность: преподавать для него не значитъ — давать непосильную работу, и затѣмъ ставить ученику капканы изъ греческихъ спряженій или задачника Евтушевскаго (или кого иного), а сколько возможно помогать ученику усваивать не всегда легко дающіяся познанія; въ вос-

питательномъ отношеніи школа для него — не полицейское управленіе, гдѣ не только шалость, но дѣтская рѣзвость казнится по школьному уголовному кодексу, а воспитательное учрежденіе, которое въ ученикахъ не забываетъ дѣтей. Однимъ словомъ, это школа, занятая не рутинной выучкой, а ставящая себѣ высокую цѣль воспитанія въ дѣтяхъ будущихъ честныхъ членовъ общества и сознательныхъ патриотовъ.—Въ „Дневникѣ Школьника“ не забыта и тяжелая роль учителя: школьникъ имѣетъ случай понимать всю трудность этой неустойчивой работы, утомляющей физически и нравственно, напрягающей нервы; но между обѣими сторонами остается равновѣсіе и нравственная взаимность—школьники привязываются къ своимъ наставникамъ, въ которыхъ видятъ столько доброй воли имъ помочь, а наставники находятъ въ этой привязанности награду за свои усилія.

Все это, однако, не есть идиллія. Школьная жизнь исполнена своихъ тревогъ и даже больше печальныхъ, нежели веселыхъ приключеній; эта исторія школы, написанная мальчикомъ, дышетъ такою правдивою жизненностью которая дается только истиннымъ дарованіемъ и здравымъ общественнымъ чувствомъ писателя.

Въ предисловіи редакторъ русскаго перевода излагаетъ свои взгляды на книги дѣтскаго чтенія. Литературныя мнѣнія авторитетнаго писателя всегда поучительны, и въ данномъ случаѣ авторъ высказалъ много вѣрныхъ замѣчаній объ известной рутинной манерности большинства дѣтскихъ книгъ; но мы не согласились бы съ тѣмъ, что авторъ говоритъ относительно фантастическихъ исторій; излишества, конечно, вредны, и прежде всего по безплодности раздраженія фантазіи, — но въ известной мѣрѣ чудесное, необычайное, волшебное составляютъ необходимую долю дѣтской поэзіи, какъ чудесное неизбѣжно во всякой народной поэзіи, и какъ оно увлекаетъ и самаго развитого читателя—въ Шекспирѣ, въ Гофманѣ, въ Гоголѣ.

---

— Очеркъ литературной исторіи малорусскаго нарчія въ XVII и XVIII вв. П. Житецкаго. Часть первая. Изданіе „Кіевской Старини“. Кіевъ, 1889.

Исслѣдованіе г. Житецкаго печаталось въ прошломъ году частями въ „Кіевской Старинѣ“. Въ „В. Е.“ говорилось объ этомъ изданіи, въ которомъ появлялось много важнаго историческаго матеріала о старой и новой южной Россіи; съ 1888 года, по смерти Ѳ. Г. Лебединцева, это изданіе перешло въ руки другой редакціи, и на нашъ взглядъ стало гораздо шире и разнообразнѣе по своему содержанію: ученый исслѣдователь и простой любознательный читатель, интере-

сущійся южно-русскою жизнью, найдутъ здѣсь изобиліе свѣдѣній и по старинѣ южно-русскаго края, и по новѣйшей бытовой исторіи, въ серьезныхъ изслѣдованіяхъ или въ живыхъ очеркахъ, мемуарахъ, біографіяхъ и т. п.; для специалистовъ по исторіи южно-русскаго края это—необходимая настольная книга, такъ какъ, кромѣ своего любопытнаго содержанія, это изданіе внимательно слѣдитъ за новѣйшей литературой предмета.

Авторъ настоящей книги извѣстенъ уже изслѣдованіемъ по исторіи малорусскаго нарѣчія, вышедшимъ въ 1876 году. Въ настоящемъ трудѣ онъ останавливается на новѣйшей исторіи этого нарѣчія, и именно на судьбѣ книжнаго малорусскаго языка за послѣднія столѣтія. Главныя темы, на которыхъ авторъ останавливается въ своемъ изслѣдованіи, обозначены такъ: во-первыхъ, „славянская рѣчь въ произведеніяхъ малорусскихъ писателей XVII вѣка“; далѣе: „книжная малорусская рѣчь въ XVII вѣкѣ“; наконецъ „схоластическая наука на южно-русской почвѣ во второй половинѣ XVII вѣка“. Во второй изъ этихъ главъ авторъ входитъ въ собственно филологическое изслѣдованіе объ элементахъ малорусскаго нарѣчія, насколько они выразились въ тогдашней письменности; предоставляя специалистамъ оцѣнку этихъ изслѣдованій, укажемъ другую сторону изложенія г. Житецкаго, исполненную большого интереса. Это—литературная исторія языка. Какъ извѣстно, южная Русь въ теченіе средних вѣковъ нашей исторіи испытала совершенно исключительную судьбу, потерявши свое старое политическое бытіе и попавши наконецъ подъ господство Польши, политическое и культурное. Средства образованія и письменность сложились здѣсь иначе, чѣмъ это было на московскомъ сѣверѣ: старое книжное преданіе, хотя уже болѣе слабое, чѣмъ на сѣверѣ, хранилось, однако, и лежало въ основѣ письменности, но послѣдняя, меньше чѣмъ на сѣверѣ связанная рутиной обычаемъ и подѣ влияніемъ съ одной стороны образованія польскаго, съ другой религиозныхъ возбужденій, бродившихъ въ западно-русскомъ обществѣ въ XV—XVI столѣтіяхъ, стала выбирать новые пути. На русскомъ западѣ въ первый разъ является мысль о переводѣ священнаго писанія на народный языкъ; народная рѣчь сильно проникаетъ въ книжную; вслѣдствіе сношеній съ Польшей, господства польской власти, бытового обычая, образованія, письменный языкъ южно-русскій испытываетъ сильныя воздѣйствія языка польскаго; наконецъ, у южно-русскихъ книжниковъ является въ первый разъ мысль о систематическомъ построеніи правилъ языка (грамматика Мелетія Смотрицкаго, лексиконъ Беринды), однимъ словомъ, совершается сильное броженіе элементовъ языка, которое впоследствии, когда южно-русская книжность вмѣстѣ съ южно-русскими учеными

стала проникать въ Москву, отразилось и на образованіи русскаго литературнаго языка.

Изображеніе этихъ условій исторической жизни южной Руси и ихъ вліянія на складъ южно-русской письменной рѣчи и составляетъ задачу изслѣдованія г. Житецкаго. Исторія книжной рѣчи у насъ вообще еще слишкомъ мало привлекала вниманіе историковъ языка и литературы, и надо назвать счастливой мысль г. Житецкаго направить свои изысканія на этотъ предметъ. Исторія книжнаго языка, составляющаго орудіе литературы, должна бы стать необходимымъ дополненіемъ къ исторіи литературы: она даетъ къ этой послѣдней множество любопытныхъ объясненій, раскрывая источники, изъ которыхъ въ первый разъ вступали въ общественную мысль новыя понятія и усваивались въ ней, и указывая, какъ изъ старыхъ матеріаловъ языка формировался новый отвлеченный языкъ науки или образный языкъ поэзіи, и т. п. Г. Житецкій изслѣдуетъ въ подобномъ смыслѣ состояніе южно-русскаго языка съ его элементами: церковнымъ, народнымъ, польскимъ, и объясняетъ, какъ исторически опредѣлялось участіе той или другой изъ составныхъ частей книжнаго языка. Предметъ, конечно, еще не могъ быть исчерпанъ вполне, и съ филологической, и съ историко-литературной стороны. Въ началѣ книги авторъ перечисляетъ источники, изъ которыхъ онъ извлекалъ матеріалы для своихъ наблюденій и выводовъ; его списокъ далеко не заключаетъ всѣхъ извѣстныхъ донныя памятниковъ южно-русскаго языка той эпохи, и многими изъ нихъ авторъ пользовался только по указаніямъ другихъ изслѣдователей. „Считаемъ необходимымъ замѣтить, — говоритъ авторъ, — что мы не имѣли возможности воспользоваться нѣкоторыми рукописными и старопечатными книгами, на которыя дѣлаемъ ссылки въ своемъ изслѣдованіи; поэтому мы были вынуждены въ подобныхъ случаяхъ приводить текстъ памятниковъ въ томъ видѣ, въ какомъ они были изданы въ наше время, т. е. — въ большинствѣ случаевъ — безъ соблюденія стариннаго правописанія: можно пожалѣть о томъ, что этотъ способъ изданія старинныхъ памятниковъ нашихъ считается, повидимому, правильнымъ съ научной точки зрѣнія“. Дѣло въ томъ, что изданія этого рода, какъ, напримеръ, изданіе актовъ, посланій Іоанна Вишенскаго, Палинодіи, летописей, дѣлалось не съ цѣлями филологическими, а историческими, и подробности написанія не считались важными. И кромѣ того въ бібліотекахъ остается еще матеріалъ, который потребуетъ дальнѣйшихъ изслѣдованій. Трудъ г. Житецкаго тѣмъ не менѣе является важнымъ приобрѣтеніемъ для науки, открывая мало тронутое до сихъ поръ поле разысканій по исторіи книжнаго южно-русскаго языка, которая,

какъ мы сказали, примыкаетъ къ началу нашего послѣ-петровскаго литературнаго языка.

Въ приложеніи къ книгѣ (стр. 1—120) помѣщены матеріалы, относящіеся къ предмету изслѣдованія, а именно, старинный словарь подъ названіемъ: „Синонима славено-росская“. Это, повидимому, была черновая работа, назначенная не для печати, а для личнаго употребленія, не всегда точная, иногда произвольная, такъ какъ встрѣчается много словъ сочиненныхъ, не существовавшихъ въ церковно-славянскомъ языкѣ; объясняемыя слова отчасти польскія, которыя авторъ желалъ, кажется, вытѣснить славянскими синонимами, отчасти народныя малорусскія, иногда просто церковныя, которыми подыскиваются народныя или также церковно-славянскіе синонимы. Въ концѣ концовъ это есть словарь книжной малорусской рѣчи XVII вѣка, дающій много любопытнаго для ея исторіи.—А. П.

Въ теченіе февраля мѣсяца поступили въ редакцію слѣдующія книги и брошюры:

*Александровъ*, В. Руководство къ устройству и веденію школьнаго дѣла въ начальныхъ народныхъ училищахъ. Спб., 88. Стр. 74.

*Антоновъ*, А. Общедоступная гигиена. Спб., 89. Стр. 180. Ц. 75 к.

*Барсуковъ*, Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. II. Спб., 89. Стр. 420. Ц. 2 р. 50 к.

*Гогоровъ*, В. Современные поэты. Критическіе очерки. Спб. 89. Стр. 192. Ц. 1 р.

*Гончаровъ*, И. А. Полное собраніе сочиненій. Т. IX. Спб., 89. Стр. 265.

*Гурвичъ*, И. А. Переселенія крестьянъ въ Сибирь. М., 89. Стр. 144. Ц. 1 р. 50 к.

*Дитирховскій*, А. Пестрая книжка рассказовъ, набросковъ и стихотвореній. Спб., 89. Стр. 319. Ц. 1 р.

*Доброславинъ*, А. Гигиена. Курсъ общественнаго здравоохраненія. Ч. I. Изд. 2-е. Съ 66 чертеж. Спб., 89. Стр. 548. Ц. 3 р.

*Допельмайеръ*, Ю. Тысяча одна ночь. Арабскія сказки. Новый полный переводъ. 1—3 вып. М., 89. Стр. 144. Ц. по 35 к.

*Ивановъ*, А. Л. Пути въ Индію. Краткій очеркъ развитія торговыхъ сношеній съ отдаленнымъ Востокомъ. Съ приложеніемъ карты. Спб., 89. Стр. 32. Ц. 75 к.

*Кирпичниковъ*, А. И. Джонъ Морлей: Вольтеръ. Перев. съ 4-го изд. М., 89. Стр. 326. Ц. 2 р.

*Ковалевскій* Е. П. и *Марковъ*, Е. С. На горахъ Араратскихъ. М., 89. Стр. 316. Ц. 1 р. 50 к.

*Кущъ*, А. А. Саратовскій Радищевскій Музей. Саратов., 88. Стр. 45.

*Леонардъ*, П. Сельско-промышленный кривизъ и мѣры къ его устраненію. Парижъ, 88. Стр. 70.

*Льсковъ*, Н. С. Инженеры-безрешенники, изъ исторіи о трехъ праведникахъ. Дешевая Библиотека. Спб., 89. Стр. 88. Ц. 15 к.

——— *Котинъ* Доилецъ. Повѣсть. Деш. Библ. Спб., 89. Стр. 71. Ц. 10 к.



- Майковъ, Л. Н.* Очерки изъ исторіи русской литературы XVII и XVIII стол. Спб., 89. Стр. 434. Ц. 2 р. 50 к.
- Макалинскій, П. В. С.-Петербургская присяжная адвокатура, 1866—88 г.* Спб., 89. Стр. 560. Ц. 3 р. 50 к.
- Модестовъ, В. И.* О Франціи. Спб., 89. Стр. 315. Ц. 1 р. 75 к.
- Незеленовъ, А.* Литературныя направленія въ Екатерининскую эпоху. Спб., 89. Стр. 393. Ц. 2 р.
- Панаевъ, И. И.* Полное собраніе сочиненій, въ 6 томахъ. Т. V. Спб., 89. Стр. 658 и 110.
- Панковъ, А. А.* Невольничество у мадьяръ. Спб., 89. Стр. 47. Ц. 20 к.
- Рабиновичъ, О. А.* Сочиненія. Т. II и III. Одесса, 88. Стр. 456 и 473. Ц. по 2 р.
- Рьдкинъ, П. Г.* Изъ лекцій по исторіи права, въ связи съ исторіею философіи вообще. Т. I. Спб., 89. Ц. 3 р.
- Созоновичъ, И.* Изученіе ново-греческой народной поэзіи. Варш., 88. Стр. 24.
- Страховъ, М. А.* Краткій курсъ геометріи съ практич. примѣненіями. Съ 305 черт. Спб., 88. Стр. 142. Ц. 70 к.
- Сухомлиновъ, М. И.* Исслѣдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію. Т. II. Спб., 89. Стр. 516. Ц. 3 р.
- Троицкій, Ф.* Забытыя и заброшенныя, но крайне необходимыя книги нашей школы, особенно духовной. Каз., 89. Стр. 32. Ц. 30 к.
- Нагорная бесѣда І. Христа. Каз., 89. Стр. 36. Ц. 30 к.
- Последняя пасхальная вечера у Христа. Каз., 89. Стр. 28. Ц. 20 к.
- Туркинъ, Н. В.* Законы объ охотѣ. М., 89. Стр. 219.
- Фофановъ, К.* Стихотворенія. Спб., 89. Стр. 251. Ц. 1 р. 50 к.
- Хвостовъ, А.* Записка о государственномъ значеніи винокурения. М., 88. Стр. 7.
- Шнейдеръ, Е.* Произведенія Эврипида, въ переводѣ. Вып. 1: Ипполитъ, трагедія. М., 89.
- Яковлевъ, И. (И. Я. Павловскій).* Очерки современной Испаніи. Спб., 89. Стр. 622. Ц. 3 р.
- Эйфертъ, Н. И.* Агасееръ въ Римѣ. Стихотв. въ 6 пѣсняхъ, Гамерлинга. Перев. М., 89. Стр. 294.
- Fiedler, Fr.* Der russische Parnass. Anthologie russischer Lyriker. Dresden, 89. Стр. 261. Ц. 3 м. 50 пф.
- Lewenson, Gr.* Autour de la politique, par un Russe. Par., 89. Ц. 50 саянт.
- Двадцатипятилѣтіе Педагогическаго Музея военно-учебныхъ заведеній. 1864—89 г. Съ прилож. списка лицъ, обществъ и учреждений, принимавшихъ участіе въ дѣятельности П. М. Спб., 89. Стр. 26 и 16.
- Къ вопросу о правахъ городовъ на земли, въ чертѣ ихъ расположенныя. Спб., 89. Стр. 178.
- Матеріалы для сравнительной оцѣнки земельныхъ угодій въ уѣздахъ Казан. губ. Вып. VI. Уѣздъ Мамадышскій, Каз., 88. Стр. 89.
- Обзоръ дѣятельности новгородскаго губернскаго земства по призрѣнію душевно-больныхъ. Новг., 89. Стр. 76.
- Обзоръ сельскаго хозяйства въ Полтавской губ. за 1888 г. Полт., 88. Стр. 112.

— Отчетъ дѣятельности Владимірскаго православнаго Братства св. Александра Невскаго, за 1887—88 г. Влад., 89. Стр. 227.

— Сборникъ Имп. Русскаго Историческаго Общества. Т. LX и LXII. Спб., 87 и 88. Стр. 507 и 823.

— Сборникъ по хозяйственной статистикѣ Полтав. губ. Т. VII: Кременчугскій уѣздъ; т. VIII: Хорольскій уѣздъ. Полт., 88. Стр. 328 и 305. Ц. по 2 р.

— Что читать народу? Критическій указатель книгъ для народнаго и дѣтскаго чтенія, составл. учительницами харьк. части. женской воскресн. школы. Т. II. Спб., 89. Стр. 976. Ц. 2 р.



## НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

### I.

*W. T. Stead.* Truth about Russia. London, 1888 („Правда о Россіи“, В. Стэда).

Книга Стэда озаглавлена, можетъ быть, не совсѣмъ вѣрно: случайныя свѣденія и замѣтки, собранныя во время непродолжительнаго путешествія по чужой странѣ, безъ знанія ея языка, едва ли совпадаютъ съ „правдою“ о данномъ государствѣ и во всякомъ случаѣ не могутъ претендовать на вѣрное изображеніе дѣйствительности. Редакторъ (по нашему—постоянный сотрудникъ) лондонской „Pall-Mall-Gazette“ поступилъ, какъ опытный журналистъ; онъ обращался прямо къ официальнымъ лицамъ, къ сановникамъ и министрамъ, заявленія которыхъ особенно интересны для читателей,—не тратилъ времени на ознакомленіе съ различными общественными условіями, направленіями и взглядами, узнавалъ любопытные факты изъ источниковъ наиболѣе доступныхъ и торопился дѣлать обобщенія на основаніи слышаннаго и видѣннаго. Многіе анекдоты и разговоры, передаваемые авторомъ, весьма поучительны, а иногда пикантны; но по всему видно, что въ Петербургѣ и въ другихъ мѣстахъ онъ вращался почти исключительно въ одномъ общественномъ кругѣ, гдѣ „правда о Россіи“ неизбѣжно получала весьма одностороннюю окраску. Только случайными личными встрѣчами и впечатлѣніями можно объяснить, напримѣръ, то обстоятельство, что цѣлыхъ восемь главъ (стр. 259—313) посвящено „идеямъ графа Игнатьева“, которыя, при всей своей исторической важности, не имѣютъ непосредственнаго практическаго

значенія въ настоящее время. Стэдъ нашель, что у насъ „очень немногіе интересуются политикою, и эти немногіе распадаются на два лагеря — либеральныхъ европейцевъ и національно-русскихъ или панславистовъ“. Первые, по словамъ автора, „могутъ быть оставлены въ сторонѣ, sans cérémonie. Они интересны и интеллигентны, но они не принимаются въ расчетъ, насколько ихъ идеи не раздѣляются высшимъ правительствомъ. Другіе, націоналисты, составляютъ въ Россіи единственную партію, къ которой могъ бы принадлежать англичанинъ, еслибы онъ родился русскимъ, — за исключеніемъ только ея религиозной нетерпимости. Они прежде всего — русскіе, и они не стыдятся этого. Ихъ политика, какъ объяснили мнѣ ее ихъ представители, отличается ясностью, послѣдовательностью и мужествомъ“. Въ своемъ изложеніи разныхъ политическихъ вопросовъ, какъ внѣшнихъ, такъ и внутреннихъ, авторъ руководствовался лишь понятіями и воззрѣніями нашей „единственной русской партіи“.

Что сказалъ бы, однако, г. Стэдъ, еслибы кто-нибудь отыскалъ въ Англіи особую англійскую партію и отнесъ къ ней однихъ лишь торіевъ, а либераловъ и прогрессистовъ причислилъ бы къ европейцамъ? Предполагается, что и консерваторы, и либералы — одинаково европейцы, а не азіаты, — что тѣ и другіе одинаково національны въ широкомъ смыслѣ этого слова и что нельзя приурочивать національность къ одному какому-нибудь политическому направленію. Почему же то, что было бы нелѣпо въ Англіи, принимается на вѣру, когда рѣчь идетъ о Россіи? Очевидно, Стэдъ принялъ за чистую монету увѣренія нашихъ націоналистовъ, выдающихъ себя за единственныхъ выразителей русскаго народнаго духа. Еслибы авторъ потрудился провѣрить сообщенныя ему свѣденія или вникнуть въ ихъ логическое содержаніе, онъ не могъ бы не замѣтить всей странности дѣленія партій по національности, при однородномъ племенномъ составѣ громаднаго большинства русскаго общества. Одни, въ обществѣ и въ печати, стоятъ за самоуправленіе, другіе — за господство бюрократіи; одни — за широкое распространеніе образованія, другіе — за стѣсненіе его; одни — за гласный судъ, другіе — за велейный; одни — за законность, другіе — за произволъ. Имѣютъ ли эти принципиальныя разногласія какую-либо связь съ кличками — „національный“, „чисто-русскій“, анти-національный и патриотическій? Лучшіе патриоты и истинные выразители русской національности — тѣ, которые стремятся къ дѣйствительному благу народа, къ повышенію его матеріальнаго и умственнаго уровня, а не проповѣдники пустого самодовольства и самовозвеличенія, поносители всего хорошаго и благотворнаго въ странѣ, приверженцы ненужныхъ внѣшнихъ предпріятій и устроители Ашиновскихъ экспедицій.

Правда, извѣстная часть нашей печати—и не лучшая по характеру своей дѣятельности, по цѣлямъ и побужденіямъ — присвоиваетъ себѣ иногда названіе „чисто-русской“ или „національной“; но этотъ безыскусственный приѣмъ не долженъ былъ бы обмануть компетентнаго и осторожнаго иностранца, взявшагося изучить „правду о Россіи“. Независимо отъ этой основной ошибки, Стэдъ судить о многихъ предметахъ довольно основательно; онъ убѣдился въ безусловномъ миролюбіи русскаго общества и правительства, и это свое твердое убѣжденіе онъ старается передать своимъ соотечественникамъ. Онъ отмѣчаетъ симпатичныя стороны характера въ русскомъ народѣ, опровергаетъ ложныя представленія, существующія на этотъ счетъ въ Англіи, и отстаиваетъ мысль о взаимномъ сближеніи между русскими и англичанами въ дѣлахъ политики и торговли.

Значительная часть книги занята разсужденіями о международныхъ политическихъ вопросахъ. Самая побѣдка Стэда въ Россію предпринята была для выясненія вопроса о войнѣ или мирѣ, по поводу тревоги, возникшей весною прошлаго года. „Для добра или для зла,—говоритъ авторъ,—Россія держитъ въ своихъ рукахъ вѣсы могущества въ Европѣ. Другія государства парализованы или внутренними несогласіями, или внѣшними счетами, или стѣснительными союзами. Изъ великихъ военныхъ державъ одна Россія сохраняетъ сдержанность и спокойствіе, будучи одинаково свободною отъ неудобныхъ обязательствъ и отъ парализующаго разлада. Что имѣетъ въ виду эта великая имперія — миръ или войну?“ Чтобы рѣшить этотъ вопросъ правильно, авторъ призналъ необходимымъ отдать себѣ ясный отчетъ въ политическомъ состояніи и настроеніи народа. Прежде чѣмъ отправиться въ путь, авторъ побывалъ у Гладстона и узналъ его мнѣніе о Болгаріи; знаменитый вождь либераловъ высказался категорически въ пользу свободы болгаръ и подтвердилъ свои симпатіи къ Россіи. Въ Парижѣ авторъ имѣлъ разговоръ съ генераломъ Буланже на тему о намѣреніяхъ Франціи относительно Англіи и о французскомъ миролюбіи вообще. Въ Берлинѣ онъ успѣлъ замѣтить мрачныя черты господства князя Бисмарка: германскія дѣла представляются ему вообще въ крайне одностороннемъ и непріятномъ освѣщеніи. Въ Россіи онъ восторгался роскошными желѣзно-дорожными вокзалами и буфетами, а также удобнымъ устройствомъ вагоновъ, о чемъ предупреждалъ его въ Лондонѣ лордъ Черчилль, по словамъ котораго, „нигдѣ въ Европѣ нельзя путешествовать съ такимъ комфортомъ, какъ въ Россіи“. Лордъ Уольслей совѣтовалъ автору прежде всего обратить вниманіе на вѣроятное присутствіе казаковъ около румынской границы; никакихъ казаковъ, однако, не оказалось.

Доѣхавъ до Москвы, Стэдъ направился затѣмъ въ тульскую губернію, въ имѣніе графа Льва Толстого, чтобы тамъ на досугѣ изложить свои замѣчанія о миролюбіи Россіи, о безпощадной будто бы воинственности Германіи, о великой отвѣтственности Англии за послѣднюю турецкую войну и о „преступныхъ“ посягательствахъ Австро-Венгрии на нарушеніе мира на Востоке. Эти политическія соображенія отчасти поверхностны и не заслуживаютъ разбора. Между прочимъ, одинъ видный русскій дипломатъ сказалъ будто бы автору—вѣроятно, въ шутку,—что „правительство не имѣло бы никакихъ затрудненій въ дѣлѣ обезпеченія мира, еслибы только журналисты были повѣшены“, такъ какъ „только газеты возбуждаютъ страсти, заставляющія кабинеты влутываться въ войну противъ воли“. Стэдъ, очевидно, ненавидитъ князя Бисмарка; онъ подробно описываетъ его коварство, бичуетъ его офиціозную прессу и вдается въ фантастическую оцѣнку его политики.

Ознакомившись съ нашими націоналистами, авторъ замѣчаетъ, что „нормальная (политическая) температура крестьянина (?) соответствуетъ той, которая существовала въ Англии во время рѣчей Гладстона о болгарскихъ звѣрствахъ; въ каждый моментъ это религиозное и человѣческое чувство можетъ подняться до возбужденія новой восточной войны; но кромѣ этихъ порывовъ, направленныхъ противъ Турціи, русскія народныя массы не имѣютъ глубокихъ и страстныхъ стремленій, опасныхъ для мира“. По мнѣнію Стэда, наше правительство желало бы видѣть княземъ Болгаріи черногорскаго кандидата, Вожо Петровича; авторъ одобряетъ этотъ мнимый проектъ, забывая только прибавить, что, быть можетъ, болгары не захотятъ имѣть у себя княземъ черногорца или кого-либо другого. Далѣе повторяются обычныя соображенія о Босфорѣ и Дарданеллахъ, о Средней Азіи и о великой миролюбивой роли Россіи въ Европѣ. Стэдъ подробно останавливается на вопросѣ о выгодахъ свободы торговли между Россією и Англією, въ связи съ взаимною поддержкою въ политикѣ; въ подтвержденіе своего взгляда онъ ссылается на свидѣтельство двухъ авторитетныхъ дѣятелей — генераловъ Анненкова и Игнатѣева. Тѣ, что авторъ рассказываетъ о бытѣ русскаго народа, о „стадѣ и его пастыряхъ“, — представляетъ мало оригинальнаго; свѣденія объ общинѣ и о мірскихъ сходкахъ, о земствахъ и дворянствѣ изложены съ гораздо большею полнотою и обстоятельностью въ извѣстной книгѣ Маккензи Уоллеса, несмотря на устарѣлость ея содержанія.

Говоря о русской печати, Стэдъ вспоминаетъ мнѣніе, высказанное при немъ Гладстономъ въ салонѣ г-жи Новиковой, — что „свобода

печати въ Англіи сдѣлала больше для освобожденія администраціи отъ порчи и для очищенія общественной службы отъ скандаловъ, чѣмъ всѣ пренія тѣхъ парламентовъ, въ которыхъ онъ участвовалъ“. Авторъ предлагаетъ для Россіи разныя самобытныя мѣры, которыя нигдѣ не примѣнялись,—въ родѣ созданія единственной въ своемъ родѣ официальной газеты, долженствующей замѣнить собою и свободу печати, и всякія политическія учрежденія. Эти на-скоро придуманные рецепты для чужого государства кажутся слишкомъ наивными отголосками нашихъ мнимо-національныхъ реакціонныхъ тенденцій. Послѣ двухъ главъ, мало чѣмъ связанныхъ между собою, — о недостаткахъ нашихъ тюремъ и объ образцовомъ устройствѣ высшей полицейской власти въ Петербургѣ,—Стэдъ переходитъ къ спеціальному восхваленію достоинствъ, заслугъ и идей графа Игнатъева, котораго онъ называетъ „русскимъ Гладстономъ“. Мы не имѣемъ никакихъ данныхъ, чтобы судить о вѣрности проводимой авторомъ параллели между нашимъ дипломатомъ и англійскимъ либеральнымъ вождемъ; но въ политическомъ отношеніи между обоими дѣятелями нѣтъ, въ сущности, ничего общаго. Странно говорить о „русскомъ Гладстонѣ“, при отсутствіи даже возможности политическаго краснорѣчія вообще; а Гладстонъ безъ ораторскаго таланта и безъ случаяевъ проявить этотъ талантъ—не былъ бы Гладстономъ.

Послѣдніе два отдѣла книги посвящены описанію различныхъ охранительныхъ мѣръ въ области религіи и подробному изложенію нравственныхъ принциповъ и теорій графа Льва Толстого.

По поводу книги Стэда, въ февральской книжкѣ „Contemporary Review“ напечатана статья, подписанная г-жею Ольгою Новиковою, подъ заглавіемъ: „Бочка меду съ ложкою дегтя“ („A cask of honey with a spoonful of tar“). Выражая свое сочувствіе въ общему направленію и содержанію книги Стэда вообще, авторъ статьи горячо протестуетъ противъ его рѣзкихъ отзывовъ о нашихъ духовныхъ дѣлахъ и рѣшительно отрицаетъ существованіе у насъ религіозной нетерпимости и преслѣдованій. Нѣкоторыя фактическія указанія г-жи Новиковой вполнѣ основательны, и аргументація ея не лишена остроумія; жаль только, что разсужденія ея совершенно не подходятъ къ тѣмъ спеціальнымъ фактамъ и случаямъ, которые подробно изложены Стэдомъ, на основаніи какихъ-то документальныхъ данныхъ.

## II.

— *The Bismarck dynasty* (Contemporary Review. February, 1889) („Династія Бисмарковъ“).

Статья неизвѣстнаго автора о „династіи Бисмарковъ“ напоминаетъ разсужденія Стэда о Германіи не только по общему тону, но и въ подробностяхъ. Авторъ утверждаетъ, что желаніе князя Бисмарка—передать канцлерскій постъ своему сыну, графу Герберту, и основать такимъ образомъ свою министерскую династію—даетъ будто бы ключъ къ пониманію всей политики германскаго канцлера за послѣднее время. Князь Бисмаркъ будто бы только потому былъ недоволенъ воцареніемъ большого Фридриха III, что этимъ разстраивался его честолюбивый планъ; авторъ намекаетъ даже, что канцлеръ потребовалъ переѣзда новаго императора изъ Санъ-Ремо въ Берлинъ только для ускоренія катастрофы, которая должна была очистить престолъ для болѣе послушнаго исполнителя канцлерской воли, Вильгельма II. Авторъ приписываетъ нѣмцамъ вообще и князю Бисмарку въ особенности варварскій взглядъ на женщину, какъ на „совищевіе молочной коровы и домашней работницы“; этимъ объясняется будто бы вражда къ императрицѣ Викторіи, неудовольствіе противъ „вмѣшательства юбокъ въ политику“ и рѣшительное противодѣйствіе проекту брачнаго союза съ принцемъ Баттенбергомъ. Въ статьѣ разсказываются закулисныя интриги и столкновенія, какъ во время болѣзни императора, такъ и послѣ его смерти; повторяются исторіи Геффкена и Морьера, съ крайне рѣзкими комментаріями. Графъ Гербертъ Бисмаркъ, по мнѣнію автора, имѣетъ силу и власть только до тѣхъ поръ, пока онъ служитъ выразителемъ воли своего могущественнаго отца: самъ онъ не имѣетъ никакихъ данныхъ для крупной политической роли. „Династія Бисмарковъ должна пасть, исполнивъ свою задачу; эпоха крови и желѣза не можетъ быть вѣчною“.

Статья написана слишкомъ грубо и неосновательно, чтобы можно было приписывать ее серьезному политическому дѣятелю, въ родѣ сэра Морьера, какъ думали первоначально; такъ могъ писать только заурядный журналистъ, пожелавшій произвести скандальный эффектъ. Императрица Викторія была не только женщиною, но и представительницею англійскаго вліянія и англійскихъ симпатій, а примѣшивать къ политическимъ интересамъ страны иноземныя родственныя чувства считалось всегда опаснымъ и неудобнымъ къ консти-

туціонномъ государствѣ. Если князь Бисмаркъ находилъ необходимымъ для Германіи держаться извѣстной политики, а иностранный элементъ при дворѣ направлялъ эту политику въ другую сторону, то не могло быть никакого сомнѣнія въ правѣ и обязанности канцлера устранить такое вмѣшательство или сдѣлать его, по крайней мѣрѣ, безвреднымъ. Никто ни на минуту не сомнѣвался, что превосходство политическаго пониманія было безусловно на сторонѣ канцлера и что для Германіи было нежелательно способствовать охлажденію дружбы съ официальной Россією ради принца Баттенберга или изъ-за семейной солидарности съ англійскою королевскою фамилією. Варварскій взглядъ на женщинъ тутъ не при чемъ. Англичане въ свое время весьма рѣзко восставали противъ попытокъ супруга королевы Викторіи, принца Альберта Саксенъ-Кобургскаго, оказывать вліяніе на политическія дѣла Англій; почему же нѣмцы не могли протестовать противъ внесенія англійскаго элемента въ политику Германіи?

Другое обвиненіе противъ князя Бисмарка еще болѣе произвольно. Германскому канцлеру можно было приписывать какіе угодно грѣхи; но въ одномъ только никогда еще не упрекали его—въ своекорыстныхъ мотивахъ и стремленіяхъ. Ничего другого, кромѣ государственной пользы, не имѣлъ въ виду князь Бисмаркъ въ теченіе своей многолѣтней дѣятельности, хотя самая эта польза понималась имъ иногда слишкомъ узко и специально; онъ всегда воплощалъ въ себѣ понятіе о непоколебимомъ долгѣ политической службы, и эта непоколебимость въ дѣлахъ государства принадлежитъ къ числу драгоценнѣйшихъ его качествъ, въ глазахъ нѣмецкаго населенія. Графъ Гербертъ Бисмаркъ дошелъ до министерскаго поста постепенно, и нѣтъ основанія думать, что онъ менѣе подготовленъ къ занимаемому имъ посту, чѣмъ кто-либо другой изъ современныхъ нѣмецкихъ дипломатовъ.

### III.

— *John Lubbock. The Pleasures of life. London. 1888* (Радости жизни. Сера Джона Леббока).

Первое изданіе этой интересной и поучительной книжки появилось въ 1887 году; съ тѣхъ поръ вышло тринадцать изданій. Книжка составилась изъ безъискусственныхъ обращеній автора къ учащейся молодежи при раздачѣ дипломовъ и наградъ въ разныхъ учебныхъ



заведеніяхъ, а также при открытіи школьныхъ собраній и рабочихъ обществъ. Замѣчательная простота и ясность мысли, теплый, сердечный тонъ изложенія, спокойный оптимизмъ, освѣщенный поэтическимъ юморомъ и глубокимъ пониманіемъ натуралиста, — все это придастъ особенную прелесть размышленіямъ сэра Джона Лэббока. Авторъ, большею частью, говоритъ цитатами изъ классиковъ, старыхъ и новыхъ; поэзія переплетается съ философіею, и самыя трудныя темы затрогиваются легко, какъ бы шутя.

Въ главѣ „о долгѣ счастья“ проводится идея объ обязанности людей извлекать изъ жизни всѣ блага и наслажденія, какія она можетъ дать. Наклонность къ меланхолии происходитъ чаще всего изъ эгоизма и самолюбія, а широкія симпатіи къ ближнимъ расширяютъ кругъ нашихъ интересовъ и удовольствій. Міръ можетъ быть для насъ дворцомъ или тюрьмою, смотря по тому, какъ мы къ нему относимся, — замѣчаемъ-ли мы красоты природы или замыкаемся въ тѣсную скорлупу своей личной жизни. Многія изъ нашихъ страданій создаются нами же самими, если не по нашей винѣ, то по нашему непониманію и по умственной лѣни. Чтобы извѣстия себя отъ воображаемыхъ или проблематическихъ бѣдъ, мы нерѣдко подвергаемъ себя дѣйствительнымъ лишеніямъ.

Вторая глава — о „счастіи долга“ — указываетъ на благотворное значеніе понятія о нравственной обязанности: долгъ есть не суровый учитель, а скорѣе „добрая и сочувствующая мать, всегда готовая прикрыть насъ отъ заботъ и волненій свѣта и вести насъ по пути мира“. Между прочимъ, авторъ, будучи банкиромъ по профессіи, возражаетъ противъ мнѣнія, что торговля несовмѣстима съ высоконравственною жизнью. „Самая скромная дѣятельность можетъ быть благородна, какъ жизнь сильныхъ міра сего или великихъ гениевъ можетъ оказаться достойною презрѣнія“.

Весьма интересны двѣ главы — о цѣнности книгъ и объ умѣнн выбирать ихъ съ пользою. Извѣстный историкъ Гиббонъ говорилъ, что любовь къ чтенію онъ не промѣнялъ бы на всѣ сокровища Индіи; но не нужно забывать и о потребностяхъ тѣла. Люди, не имѣющіе времени для необходимыхъ тѣлесныхъ упражненій, должны будутъ поневолѣ найти время для нездоровья. Авторъ совѣтуетъ мѣнять предметы чтенія и заниматься только тѣмъ, что интересуется каждаго. По остроумному замѣчанію лорда Бругема, „нужно читать все о чемъ-нибудь одномъ, и что-нибудь обо всемъ“. Перечисливъ наиболѣе полезныя книги по разнымъ отдѣламъ литературы, авторъ присоединяетъ примѣрный списокъ ста сочиненій для общаго чтенія. Столь же поучительны главы о благодѣяніяхъ дружбы, о цѣнности

времени, о наслажденіяхъ путешествія, о домашней жизни, о науѣ и воспитаніи.

Намъ кажется, что книга сэра Лёббока заслуживала бы перевода на русскій языкъ, съ соотвѣтственными дополненіями и примѣчаніями (напр., относительно книгъ).—Л. С.

#### IV.

— *Dietzel. Karl Rodbertus. Darstellung seines Lebens und seiner Lehre. 1888.*

Книга г. Дитцеля представляетъ значительный интересъ въ виду того, что нѣмецкая историко-экономическая литература послѣднихъ лѣтъ создала культъ, нѣсколько преувеличенный, Родбертуса. Дитцель, воздавая должное обширной его учености и научному значенію многихъ изъ его трудовъ, коснулся и его слабыхъ сторонъ, а главное, опредѣлилъ съ точностью мѣсто Родбертуса въ новѣйшей литературѣ. Все ученіе Родбертуса проникнуто одною основною идеей о ничтожествѣ отдѣльнаго лица и о необходимости принесенія его въ жертву цѣлямъ государства. Такое убѣжденіе, приближающееся къ Платоновой философіи, положило особенную печать на всѣ возрѣнія Родбертуса и отразилось, въ частности, на отношеніяхъ его къ хозяйству. „Во всѣхъ проявленіяхъ государственной жизни члены общественнаго тѣла, — говоритъ Родбертусъ, — должны повиноваться мозгу“; по хозяйственный бытъ и права частной собственности противорѣчатъ такому желанному порядку, и частный капиталъ есть именно „та спица въ колесницѣ“, которая мѣшаетъ единой волѣ руководить всѣми отправлениями хозяйства. Отрицаніе частнаго капитала заставляетъ Родбертуса осуждать даже наилучшія формы производства, которыя оно успѣло выработать въ новѣйшее время, — участіе рабочихъ въ прибыли предпріятія и производительныя товарищества. „Какъ скоро я представляю себѣ, — говорилъ Родбертусъ, — производительныя артели охватившими все сельское хозяйство и торговлю, и каждое предпріятіе въ формѣ торговой компаніи, въ которой каждый участникъ имѣетъ право голоса, то мнѣ кажется, что неповоротливость такого механизма должна погубить все производство“. Государство, владѣя землей и всѣми орудіями производства, должно руководить промышленностью на всѣхъ пунктахъ. Необходимыми выводами изъ этихъ положеній являются требованія нормальнаго рабочаго дня, рабочихъ денегъ, замѣны капиталистическаго принципа принципами ренты и т. д. И все это должно со-

вершиться не для того—как думали многіе критики Родбертуса,— чтобы улучшился бытъ рабочихъ классовъ и, вообще, неимущихъ, но для того, „чтобы сохранилась преемственность въ хозяйственномъ развитіи общества и осуществилась высшая идея государства“.

Дитцель оцѣниваетъ ученіе Родбертуса съ двухъ точекъ зрѣнія: 1) съ точки зрѣнія генетической и 2) со стороны выгодъ, которыя могло бы получить общество отъ осуществленія его идей. Вся государственная теорія Родбертуса вытекла изъ органической философіи Фихте и Шеллинга, причемъ ближайшее вліяніе имѣло на нее „Замѣнутое торговое государство“ Фихте. Онъ послѣдовательно проводитъ въ своемъ ученіи то положеніе Фихте, что въ государствѣ всѣ служатъ цѣлому, и за это имѣютъ справедливое участіе въ общихъ выгодахъ. Но въ то время, какъ философія его предшественника строить свое „разумное государство“ а priori, Родбертусъ старается изъ тысячелѣтней исторіи человѣчества сдѣлать такія обобщенія, которыя оправдывали бы его теорію. Усматривая въ Родбертусѣ послѣдняго представителя органической школы, перенесшаго это ученіе въ область политической экономіи, Дитцель примиряетъ противорѣчивыя мнѣнія критиковъ, которые признавали въ авторѣ „Соціальныхъ писемъ“ то послѣдователя Прудона, то одного изъ эпигоновъ Ривардо. Но особенный интересъ представляетъ сравненіе многочисленныхъ отрывковъ изъ сочиненій Родбертуса съ мѣстами изъ книгъ С.-Симона и его учениковъ. Поклонники Родбертуса обыкновенно считаютъ однимъ изъ самыхъ блестящихъ его твореній схему, въ которую онъ вдвигаетъ государственную жизнь людей. Дитцель показываетъ, что нѣкоторыя изъ основныхъ положеній этой схемы заимствованы у Плянты, одного изъ выдающихся представителей органической школы. Родбертусъ только немного измѣнилъ терминологию этого писателя. Дѣленіе же періодовъ государственной жизни на органическія и индивидуалистическія цѣликомъ заимствовано имъ у С.-Симона и Базара. И у перваго, и у послѣднихъ всемірная исторія представляется какъ борьба періодовъ критическаго и органическаго. Въ періоды критическіе анализирующая мысль разсѣиваетъ въ обществѣ сомнѣнія и разрываетъ тѣ узы, которыя связывали въ одно цѣлое членовъ общества. Въ періоды органическіе опять образуется одно тѣсно-сплоченное цѣлое, и всѣ единичныя воли подчинены общей волѣ—идеѣ божества. Родбертусъ заимствовалъ у сенъ-симонистовъ не только схему въ ея очертаніяхъ, но и все содержаніе отдѣльныхъ періодовъ: рабству, католицизму, промышленному сотрудничеству и т. д. онъ придаетъ такое же значеніе, какое и они. Съ большимъ искусствомъ доказываетъ Дитцель непригодность многихъ аналогій Родбер-

туса и отмѣчаетъ рѣзкія различія между мѣрами общественными и внѣшней природой. Такъ, напр., въ физическомъ организмѣ есть единая воля, чего нѣтъ въ обществѣ. Части, отдѣлившіяся отъ физическаго организма, умираютъ, а люди, выдѣлившіеся изъ общества, могутъ образовать могущественное государство. Жизнеспособность физическаго организма зависитъ отъ его величины и числа атомовъ. Общество же не ограничено какими-либо предѣлами. Затѣмъ авторъ дѣлаетъ много возраженій на освѣщеніе Родбертусомъ періодовъ римской исторіи, на его стремленіе свести всю общественную жизнь къ складу хозяйственныхъ отношеній и т. д.

Самая же слабая сторона у Родбертуса, по Дитцелю, состоитъ въ томъ, что онъ, во чтб бы то ни стало, хочетъ увѣрить, что личность существуетъ для государства, а не наоборотъ.—А. И.



## ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

„Послѣдній отвѣтъ“ почтеннаго Н. Н. Страхова („Русскій Вѣстникъ“, февраль 1889 г.) вынуждаетъ меня заключить нашъ споръ простымъ и краткимъ указаніемъ его результатовъ.

Уважаемый критикъ заявляетъ, что опровергъ всѣ мои возраженія противъ теоріи культурно-историческихъ типовъ, и что всѣ его доказательства въ защиту этой теоріи остаются въ полной силѣ. А я, съ своей стороны, по прежнему твердо увѣренъ, что Н. Н. Страховъ никакъ не могъ меня опровергнуть по той простой причинѣ, что о главныхъ моихъ возраженіяхъ онъ даже вовсе не упоминаетъ. Разрѣшить такое противорѣчіе, конечно, могутъ только „внимательные и непредубѣжденные читатели“, и мнѣ остается лишь облегчить ихъ трудъ, указавъ имъ на тѣ мѣста въ статьѣ „Россія и Европа“, гдѣ находятся наиболѣе существенныя возраженія, не затронутыя моимъ почтеннымъ противникомъ, а именно, на стр. 738, 742—747 и 753 („Вѣстникъ Европы“, апрѣль 1888). Въ отдѣльномъ изданіи („Национальный вопросъ въ Россіи“, изд. 2-е) этимъ страницамъ соотвѣтствуютъ слѣдующія: 162—164, 169—177, 186 и 187.

Затѣмъ было бы совершенно излишне возвращаться къ тому, что Н. Н. Страховъ называетъ своими „доказательствами“. Я весьма сожалѣю, что нашъ споръ принялъ отчасти видъ „личнаго препирательства“, и охотно беру назадъ всѣ рѣзкости въ моемъ предыдущемъ отвѣтѣ. Но не вижу никакихъ причинъ существенно измѣнить мое мнѣніе объ аргументаціи почтеннаго критика по этому вопросу. Во всѣхъ этихъ моихъ доказательствахъ я не нахожу ничего, кромѣ полемическихъ пріемовъ, придуманныхъ, чтобы защитить во что бы то ни стало въ глазахъ читателей теорію культурно-историческихъ типовъ. Къ этого рода аргументамъ принадлежитъ и новое замѣчаніе Н. Н. Страхова (въ „Послѣднемъ отвѣтѣ“, стр. 201), что по ученію ап. Павла „только вѣрующіе, если будутъ вести себя по вѣрѣ своей, могутъ быть названы единымъ организмомъ“—какъ будто кто-нибудь предполагалъ, что для апостола языковъ человечество могло имѣть другую форму органическаго единства, кромѣ вселенской церкви Христовой.

Не думаю, чтобы „внимательный и непредубѣжденный читатель“ приписалъ мнѣ странную затѣю „вычеркнуть изъ русской литературы вѣсколькими почерками пера“ не только „Россію и Европу“, Да-

нилевскаго, но также и его „Дарвинизмъ“, этотъ—насколько могу судить—„самый полный, самый обстоятельный и прекрасно изложенный сводъ всѣхъ существенныхъ возраженій, сдѣланныхъ противъ теоріи Дарвина въ европейской наукѣ“ („Нац. Вопр.“, стр. 197). Дѣйствительная моя затѣя состояла лишь въ томъ, чтобы доказать историческую и логическую неосновательность теоріи культурныхъ типовъ. Двѣ статьи Н. Н. Страхова утвердили меня въ увѣренности, что эта затѣя удалась. Въ самомъ дѣлѣ, если такой свѣдущій, умный и даровитый критикъ, предпринявъ защитить противъ меня излюбленную имъ теорію, не нашелъ ничего лучшаго какъ упрекать меня въ непочтеніи къ родителямъ и, умалчивая о наиболѣе существенныхъ моихъ возраженіяхъ, противопоставлять другимъ такіа странности, какъ, на примѣръ, расчлененіе „анатомическихъ группъ“ (въ строеніи человѣчества) на „событія“, то не ясно ли, что мое мнѣніе о крайней несостоятельности защищаемой такимъ образомъ теоріи должно быть вполне справедливо? Какъ бы то ни было, въ виду послѣднихъ заявленій Н. Н. Страхова я не могу ожидать другой болѣе прямой и удовлетворительной защиты „культурно-историческихъ типовъ“, а потому, съ своей стороны, признаю этотъ вопросъ исчерпаннымъ.

Владиміръ Соловьевъ.

Слб., 14-го февр., 1889 г.



## ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1-го марта 1889.

По вопросу кого Ашиновъ обманулъ больше—Петербургъ или Москву?—Изъ переписки Ашинова съ И. С. Аксаковымъ и m-me Adam.

Мы имѣли бы право въ хроникѣ нашей общественной жизни обойти молчаніемъ „героя дня“, давно извѣстнаго подъ именемъ „вольнаго казака Николая Ивановича Ашинова“, такъ какъ по послѣднему избранному имъ поприщу для подвиговъ, ему принадлежитъ главное мѣсто въ иностранномъ обзорѣнн журнале; но въ тоже время никакъ нельзя отрицать и того, что, въ дѣйствительности, онъ является не безынтереснымъ продуктомъ и вмѣстѣ героемъ нашей внутренней общественной жизни. Быть можетъ, еще не наступило время для полной его біографіи въ связи съ тою средою, которая его вскормила и вознесла на страницы всемірной исторіи, но нельзя не отмѣтить теперь же тѣхъ откровенныхъ признаній, которыя появились въ печати, и вышли притомъ изъ Москвы, гдѣ, оказывается, была настоящая колыбель славы Ашинова. Теперь только въ первый разъ дѣлается понятнымъ, почему, напримѣръ, Ашиновъ возложилъ на могилу покойнаго редактора „Московскихъ Вѣдомостей“ Каткова вѣнокъ и притомъ именно изъ *страусовыхъ* перьевъ, а не какихъ-либо другихъ, съ надписью: „Отъ вольнаго казачества“. Возможное соперничество Москвы съ Петербургомъ по вопросу: кого Ашиновъ обманулъ прежде и больше?—очевидно, будетъ рѣшено исторіею въ пользу Москвы. Одна изъ московскихъ газетъ, „Русское Дѣло“ (№ 7), доказываетъ это неопровержимо, съ фактами въ 'рукахъ, хотя и не можетъ не выразить удивленія, какимъ образомъ могла попасться въ этомъ дѣлѣ Москва хуже самого Петербурга, и для спасенія чести Москвы газета рѣшается на предположеніе, что, собственно говоря, Москва вовсе не была обманута Ашиновымъ и хорошо знала, съ кѣмъ она имѣетъ дѣло, но—„патріотизмъ“ погубилъ Москву!!

„Что вольный казакъ Николай Ивановичъ Ашиновъ,—говорить „Русское Дѣло“,—разыгралъ (въ Петербургѣ) съ большимъ успѣхомъ и въ „новой роскошной обстановкѣ“ Ивана Александровича Хлестакова передъ сонмомъ чиновныхъ, сановныхъ, духовныхъ и литературныхъ свѣтилъ, это не диво (радуемся за одно, что наше правительство осталось, по собственному заявленію, совершенно въ сторонѣ отъ этой некрасивой исторіи);—диво то, что господину Ашинову удалось обойти Москву, старую, умную, практичную Москву, да

такъ обойти, что даже послѣ „правительственнаго сообщенія“, когда вся грязная подкладка дѣла уже достаточно выяснена, за Ашинова еще раздаются сочувственные голоса. Впрочемъ, нѣтъ! Москва не такъ обманута, какъ Петербургъ,—оговаривается „Русское Дѣло“,—Москва сама кругомъ виновата! Петербургъ отъ души увѣровалъ въ „сына степей“ и его великую миссію. Достаточно было Ашинову рассказать два-три анекдота о кн. Дондуковѣ-Корсаковѣ, достаточно было начать говорить такимъ тономъ:—„Что ваши тамъ министры, какъ ихъ тамъ?“ или:—„Меня очень любятъ на бомондахъ и журфиксахъ“; или:—„Насъ, казаковъ, эти чиновники совсѣмъ задушили!“.—чтобы у Петербурга потекли слюнки и успокоились всѣ сомнѣнія. Ермакъ du XIX-me siècle, представитель протеста противъ всевластной бюрократіи, предводитель вольныхъ казаковъ, чуть не обновитель русскаго духа... И вотъ, господина Ашинова съ его абиссинцами везуть по „бомонду“, съ „журфикса“ на „журфиксъ“; онъ отерываетъ салонъ самъ, увѣриваетъ его неизвѣстно какъ добытыми абиссинскими дорогими вещами, и въ этомъ салонѣ кипша кипшатъ (точь въ точь, какъ въ передней Хлестакова) графы и князья. Только и слышно: ж-ж-ж!.. У Николая Ивановича—„вистъ свой составилса“, и даже... *лучше*, чѣмъ у Хлестакова...“

Но Москва—не тѣ, что легкомысленный и легковѣрный Петербургъ—она вовсе не была обманута: въ Москвѣ, старой, умной и практичной, по словамъ „Русскаго Дѣла“,—„всѣ и сразу, съ перваго же слова, особенно именитое купечество, узнали въ Ашиновѣ чрезвычайно тонкаго и ловкаго проходимца; когда Николай Ивановичъ начиналъ врать (а онъ вралъ мастерски, рассказывая, *резвый*, то, чего и не снилось Хлестакову пьяному), его скоро останавливали: „вѣдь *ты* врешь, голубчикъ, Николай Ивановичъ“—и Николай Ивановичъ, понизивъ тонъ, сознавался, что вралъ“.

Что же, однако, изъ всего этого должно было бы выйти: Москва, значить, не дала себя обмануть человѣку, котораго она хорошо знала за враня и „проходимца“?—но вышло нѣчто неожиданное и въ высшей степени характерное, откуда мы узнаемъ одно, а именно, какую цѣну имѣеть въ наше время всяческая ложь и наглость.

„Но это вранье,—комментируетъ „Русское Дѣло“,—безспорно правилось Москвѣ (прибавимъ въ ея защиту: едва ли одной Москвѣ!), нравилось чуть ли не потому именно, что Петербургъ принималъ его за чистую монету. Находили отраду и утѣшеніе въ любопытныхъ разсказахъ о томъ, какъ „вольный казакъ“ съ великимъ успѣхомъ дурачилъ весьма солидныхъ и степенныхъ государственныхъ мужей. Въ самую же Ашиновскую миссію вѣрили довольно твердо, особенно потому, что Ашинова изобрѣлъ нашъ бывший дипломатическій агентъ въ Каирѣ, г. Хитрово, и рекламировалъ покойный Катеовъ; между



прочить, у послѣдняго въ домѣ и въ редакціи Ашиновъ считался вполне своимъ человѣкомъ“...

За сямъ, „Русское Дѣло“ представляетъ замѣчательный образчикъ тѣхъ разсужденій, какими руководились, будто бы, въ Москвѣ, а также и тѣхъ принциповъ, на которыхъ должна покоиться въ наше время всякая „умная и практическая“ дѣятельность.—„Разсуждали москвичи такъ:—вранье и нахальство Ашинова не только не помѣха дѣлу, но очевидная польза; въ наше время только такіе люди, совершенно необузданные и безнабашные, и достигаютъ успѣха. Ашиновъ идетъ напроломъ, ниѣмъ и ничѣмъ не стѣсняется; онъ никого ни къ чему не обязываетъ, и при неудачѣ отъ него всегда можно отказаться. А между тѣмъ цѣль у него высокая и хорошая; помимо правительства, помимо дипломатіи, „поклонить“ Россіи гавань на Красномъ морѣ, завести русскую колонію, какъ разъ на пути англичанъ въ Индію, устроить угольную станцію для нашихъ военныхъ судовъ, организовать по военному и поставить союзниками Россіи храбрныхъ абиссинцевъ и, наконецъ, присоединить ихъ къ греко-россійской церкви...“

„И вотъ,—продолжаетъ газета,—несмотря на неимовѣрное, баснословное вранье Ашинова, несмотря на то, что, кромѣ его собственныхъ разсказовъ, у него не было никакого подтвержденія его подвиговъ, патриотическая (?) Москва отнеслась къ нему въ высшей степени сочувственно. Для основанной имъ въ собственномъ его воображеніи станицы полились щедрныя пожертвованія; энтузіазмъ усилился, когда появилось воззваніе отца Паисія, стараго друга (?) Ашинова, примкнувшаго къ его „миссіи“ и торжественно посвященнаго въ архимандриты. Воззваніе было составлено такъ ловко, что самое дѣло имѣло видъ чуть ли не официально русскаго церковнаго дѣла, и это сообщало ему нѣкоторую положительность и устойчивость. — „Ну, Ашиновъ (говорили москвичи), положимъ, врать, а вѣдь во главѣ дѣла стоитъ извѣстный еще по Константинополю отецъ Паисій; тутъ ужъ фальши никакой не можетъ быть“. Чѣмъ, когда и какъ сталъ извѣстенъ отецъ Паисій—объ этомъ знали довольно смутно; но имъ это было окружено легендами, и его усиленно рекламировали все тотъ же Ашиновъ. Экспедицію собрали на деньги, отчасти жертвенныя, отчасти „изъ другихъ суммъ“ (не казенныхъ, впрочемъ), и отпустили съ миромъ. Публика, состоявшая изъ самаго непопулярнаго сброда, двинулась черезъ Константинополь и Портъ-Саидъ въ „Москву“ (будущую колонію)“.

Дѣйствительно, судя по приводимымъ далѣе газетою описаніямъ этого сброда, сообщеннымъ очевидцами, встрѣтившими Ашинова на пути, едва ли можно найти другое подобное зрѣлище въ исторіи предприятий, послѣ знаменитаго крестоваго похода, въ XIII вѣкѣ, подъ предводительствомъ козы и гуся... „Русское Дѣло“ заключаетъ

увѣщаніемъ по адресу нѣкоторыхъ органовъ нашей печати, которые настаивали въ прошедшемъ году на томъ, чтобы морское министерство предоставило Апинову и К<sup>о</sup> пароходъ добровольнаго флота, и теперь, несмотря на тяжкій урокъ, продолжаютъ оставаться, по возможности, вѣрными рыцарями абиссинскаго героя,—въ слѣдующихъ прочувствованныхъ выраженіяхъ: „Опомнитесь, господа! Не совершайте позора! Довольно! Скажите прямо:— Мы соврали! ошиблись, или, вѣриѣе, согрѣшили, но не изображайте на смѣхъ всей Россіи унтеръ-офицерскую вдову, которая, по словамъ городничаго, сама себя высѣкла“...

Видно, однако, что давать добрые совѣты другимъ легче, чѣмъ самому же первому воспользоваться такими совѣтами. Та же самая газета „Русское Дѣло“ тутъ же скорбитъ о томъ, что—*русское дѣло въ Абиссиніи* погублено Апиновымъ едва ли не безповоротно,—между тѣмъ дѣло это безспорно (?) *великое* (!!)—и тутъ же рекомендуетъ вниманію публики для абиссинской экспедиціи собственнаго кандидата, который въ прошломъ году напечаталъ письмо въ газетѣ съ предложеніемъ „сойтись дружески съ Абиссиніей, дать ей инструкторовъ, чтобы имѣть въ своихъ рукахъ всю армію и помочь ей укрѣпиться на красноморскомъ побережьѣ“. Правда, „Русское Дѣло“ присовокупляетъ, что „письмо это принадлежало весьма серьезному и энергичному офицеру, къ сожалѣнію не обладавшему наглостью и иными качествами Апинова, столь полезными въ нашихъ патріотическихъ (sic!) кружкахъ“. Но далѣе, изъ словъ газеты оказывается, что этотъ „серьезный человекъ, заслуженный русскій офицеръ, готовъ былъ даже стать подъ начальство Апинова и отдать ему лавры инициатора и руководителя дѣла, лишь бы только сдѣлать самое дѣло. Апиновъ, разумѣется, весьма благоразумно (и, прибавимъ отъ себя, весьма счастливо для „серьезнаго человека“) отстранилъ непрошенное сотрудничество, а гг. москвичи предпочли завѣдомаго лгуна и авантюриста серьезному, но скромному дѣятелю“,—который, повидимому, все-таки не былъ серьезенъ настолько, чтобы не допускать и мысли о возможности служить подъ начальствомъ Апинова, уже тогда хорошо извѣстнаго Москвѣ, судя по словамъ „Русскаго Дѣла“.

А что Апинова давно могли знать въ Москвѣ хорошо, это видно изъ курьезнаго письма Апинова къ И. С. Аксакову, еще въ 1884 г., напечатаннаго въ томъ же № „Русскаго Дѣла“. Апиновъ пишетъ Аксакову по поводу тогдашняго своего намѣренія основать „Москву“, въ Закавказьѣ, для чего онъ имѣлъ въ виду сдѣлать мирное завоеваніе въ собственномъ отечествѣ, но тутъ ему помѣшали не французы, какъ въ Абиссиніи, а „нѣмцы“, „генералы“ и вообще „бюрократы“. Въ виду всего этого Апиновъ и воззвалъ къ патріотизму И. С. Аксакова

и вообще всѣхъ русскихъ людей, наложивъ при этомъ подробно свою программу дѣйствій въ Закавказь:

„Сухумъ-Кале, 30-го мая 1884 года.

„Глубокоуважаемый нашъ Иванъ Сергѣевичъ! Еще разъ позвольте поздравить Васъ съ прошедшимъ Свѣтлымъ днемъ и пожелать Вамъ и Вашему дому и Вашей матушкѣ-Москвѣ—нашему казачьему русскому сердцу—всего лучшаго въ мірѣ и всѣхъ благъ.

„Извините, что я такъ долго не описывалъ про наше дѣло; теперь Вамъ буду описывать все подробно.

„По прїѣздѣ изъ Тифлиса въ Батумъ, я отправился за сѣменами и расадою турецкаго табаку въ Туретчину—въ Трапезондъ, и тамъ что нужно добылъ и видѣлъ своихъ казачковъ (все это вранье,—замѣчаетъ газета); нѣкоторые обѣщались къ зимѣ къ намъ прїидти.

„Изъ Туретчины прїѣхалъ въ Сухумъ съ приказаніемъ отъ губернатора отводить намъ земли, но земель-то казенныхъ оказалось совсѣмъ мало, и всѣ роздали, и самыя лучшія князьямъ, которыя были противъ насъ, да генераламъ, не знаю только за какую услугу. А при морѣ, нынѣшнюю весну и зиму, когда узнали, что казаки идутъ, роздали болѣе 300-мъ семействамъ—чухнѣ да нѣмцамъ, которыхъ надо прогнать. *Мы ихъ по казачьему выучимъ*; они у насъ уйдутъ. *Выбрали* мы мѣсто версты 25 отъ Сухума, въ горахъ, въ мѣстности Изибильдо, и тамъ, Богъ дастъ, поселимъ станицы три съ хуторами, по направленію шоссеиной дороги въ Кубанскую область. Мѣста очень хороши и богаты; всякій лѣсъ есть: и пальма, и орѣхъ, и дубъ, букъ и др.

„Какъ закрѣпимъ станицы, то тогда пускай турецкая морда лезть къ намъ,—очень удобно для насъ въ военномъ отношеніи: хоть сто тысячъ будетъ ихъ, то съ нами въ горахъ ничего не сдѣлаютъ,—позиціи очень хороши.

„Казаки малороссійскіе стали прибывать къ намъ и первую станицу съ Божьей помощью стали селить, а назовемъ ее въ честь нашего Царя, а вторую въ честь нашего Атамана—Наслѣдника, а третью въ честь Москвы, за ея гостепрїимство и великодушіе къ намъ сиротамъ. Когда я сказалъ, что сердце Россіи—Москва—стоитъ за насъ, то они хотѣли первую же станицу назвать Московскою. Только малороссійскіе казаки-запорожцы очень народъ бѣдный, и мы ихъ принимаемъ чѣмъ богаты. У нихъ даже хлѣба нѣтъ. Жаль ихъ бѣдныхъ. Да и у насъ не больно богато, и не надолго хватить хлѣба; *а правительство здѣшнее, стоящее за нѣмцевъ*, отказало намъ. Говорить, что у насъ у самихъ нѣтъ хлѣба; такъ теперь не знаю, что и дѣлать. Теперь обращаемся къ Вамъ въ лицѣ всей Москвы, просить Васъ всѣ наши казаки, помогите намъ, чѣмъ вы можете. Знаете, казаки для себя никогда не просятъ помощи, но для этихъ бѣдняковъ запорожцевъ, которые были у жидовъ. Если имъ не помочь вовремя, то, какъ молодое растеніе, они повянутъ и погибнутъ. Мы, Богъ дастъ, какъ устроимся,—все со сторицею отдадимъ Москвѣ, никакъ за нами она не считаетъ. А то безъ средствъ русское населеніе можетъ опять остановиться, а намъ, вольнымъ, опять придется скитаться по Кавказу, да по Туретчинѣ. Еще разъ просимъ Васъ, глубокоуважаемый Иванъ Сергѣевичъ, попросите добрыхъ русскихъ

людей помочь намъ. Трудно намъ безъ Вашей помощи на окраинѣ Россіи бороться со всѣми препятствіями. Ждемъ съ нетерпѣніемъ Вашего письма и просимъ Васъ принять названіе одного нашего мѣстожительства Вашимъ именемъ. За сѣмъ остаюсь уважающій Васъ и готовый всегда къ услугамъ Вашимъ извѣстный Вамъ *Н. Ашиновъ*. Всѣ наши казаки кланяются.—Писаль по приказанію атамана войскъ (sic!) писарь *Семенко*“.

Если еще не такъ давно, въ 1884 г., Ашиновъ и его „казачки-запорожцы“ думали распоряжаться совсѣмъ запросто въ собственномъ отечествѣ, „выбирали“ себѣ мѣста, а прежнихъ владѣтелей „по казачьему намѣревались выучить“ (но встрѣтили себѣ отпоръ отъ „нѣмцевъ“ и „генераловъ“) — то можно ли удивляться, послѣ того, всему случившемуся въ Абиссиніи!.. Вообще, въ этомъ письмѣ Ашиновъ оставляетъ Хлестакова и Ноздрева далеко за собою.

PS.—Мы только-что получили первую мартовскую книгу парижскаго журнала „La Nouvelle Revue“. Въ своихъ „Lettres sur la politique extérieure“, авторъ этихъ „Писемъ“, m-me Juliette Adam, посвящаетъ первыя страницы личнымъ воспоминаніямъ объ Ашиновѣ, съ цѣлью успокоить своихъ соотечественниковъ: „Moi, l'amie d'Achinoff, je me porte garante, vis-à-vis de mes compatriotes, qu'il n'a jamais songé à être un embarras pour la France“. Вмѣстѣ съ тѣмъ г-жа Аданъ публикуетъ свою не лишнюю интереса переписку съ Ашиновымъ, гдѣ онъ, напримѣръ, удостовѣряетъ ее, что—„dans le cas d'une guerre avec ces païens d'Allemands, dont la nation russe ne sait comment se débarrasser, nous, les Cosaques libres, nous nous mettons du côté de la France“ (30-го янв. 1887); а мѣсяць спустя, онъ же извѣщаетъ г-жу Аданъ, что онъ надѣется—„obtenir des terrains au bord de la mer Noire pour moi et mon peuple, mais les Allemands travaillent contre moi“ и т. д. Очевидно, г-жа Аданъ и не подозрѣвала, что ея „другъ“—большой мистификаторъ; иначе она не подѣлилась бы съ читателями своею корреспонденціею съ Ашиновымъ...



## ИЗВѢЩЕНІЯ.

І.—Отъ Распорядительнаго Комитета по устройству саратовской земской сельско-хозяйственной и вустарно-промышленной выставки 1889 года.

Въ сентябрѣ 1889 года, на средства саратовскаго губернскаго земства, предположена въ открытію сельско-хозяйственная и вустарно-промышленная выставка, для произведеній не только Саратовской, но

и другихъ губерній. Главная задача выставки—выяснить современное положеніе сельскаго хозяйства и кустарной промышленности Саратовской губерніи. Съ этою цѣлью на выставку допускаются не только образцовыя произведенія и орудія, но и совершенно ординарныя, обычныя среди населенія, чтобы по нимъ можно было наглядно выяснитъ истинное положеніе и нужды мѣстнаго сельскаго хозяйства и промышленности.

Вторая задача выставки состоитъ въ томъ, чтобы ознакомить потребителей и торговцевъ съ лучшими произведеніями сельскаго хозяйства и промышленности Саратовскаго края и дать возможность хозяевамъ и промышленникамъ усвоить болѣе усовершенствованныя приемы производствъ.

Какъ первая, такъ и вторая задачи легче всего достигаются путемъ сравненія саратовскихъ произведеній съ однородными произведеніями другихъ губерній, экспоненты которыхъ покажутъ, чего достигла Саратовская губернія въ своемъ сельско-хозяйственномъ и промышленномъ развитіи, въ какихъ отношеніяхъ она можетъ служить образцомъ и чему сама должна учиться у своихъ сосѣдей.

Дальнѣйшее развитіе нашей сельской промышленности тѣсно связано съ успѣхами сельско-хозяйственной науки и естествознанія, и саратовская выставка отводитъ для нихъ видное мѣсто. Наконецъ, естественно ожидать, что на выставкѣ земства, положившаго не мало труда и средствъ на дѣло народнаго просвѣщенія и народнаго здравія, эти отдѣлы займутъ почетное мѣсто.

Въ виду указанныхъ цѣлей, предполагаемая саратовская земская выставка имѣетъ 8 отдѣловъ: I. Животноводство. II. Продукты скотоводства. III. Земледѣліе, садоводство, огородничество, бахчеводство, лѣсоводство и цвѣтоводство. IV. Земледѣльческія машины и орудія. V. Домоводство, сельско-хозяйственныя постройки и сельско-хозяйственная механика. VI. Промышленность: а) кустарная и б) фабрично-заводская. VII. Рыбный промыселъ и охота. VIII. Художественно-научный отдѣлъ: а) научныя пособія по вопросамъ сельскаго хозяйства и промышленности (сюда входитъ и естествознаніе), б) антропология, археология, исторія и этнографія, в) народное образованіе, г) народное здравіе, д) прикладныя техническія знанія, с) художественныя произведенія.

Распорядительный Комитетъ льститъ себя надеждою, что представители учреждений и образованной части русскаго общества отнесутся съ сочувствіемъ къ мысли выяснитъ дѣйствительныя нужды и потребности населенія, посвятившаго свой трудъ сельскому хозяйству и кустарной промышленности, и опредѣлитъ общій уровень культурнаго развитія богатаго ниже-волжскаго края путемъ сравненія его съ культурой другихъ областей Имперіи. Комитетъ надѣется, что губернскія и уѣздныя земства не откажутся принять живое участіе въ предполагаемой выставкѣ и дадутъ возможность русскому обществу наглядно оцѣнитъ тѣ результаты, которыхъ достигла двадцатипятилѣтняя дѣятельность русскихъ земствъ на поприщахъ экономическаго преуспѣванія, народнаго здравія и просвѣщенія.

Комитетъ увѣренъ, что люди науки и представители свободныхъ профессій посѣпятъ ознакомить въ наглядной формѣ многочисленныхъ посѣтителей выставки съ важнѣйшими плодами науковѣденія,

содѣйствуя такимъ путемъ быстрѣйшему прогрессу науки и культуры и утилизаціи знанія въ повседневной жизни населенія.

Учрежденія и лица, желающія принять участіе на саратовской выставкѣ, благоволятъ адресовать свои заявленія въ Саратовъ, въ губернскую земскую управу, на имя предсѣдателя Комитета, князя Льва Львовича Голицына, сообщая въ заявленіяхъ званіе, имя, отчество, фамилію и мѣстожителство экспонента и точное перечисленіе предметовъ, которые будутъ присланы на выставку, съ указаніемъ ихъ размѣровъ.

Распорядительный Комитетъ выставки состоитъ изъ предсѣдателя Комитета—губернскаго предводителя дворянства, князя Л. Л. Голицына, вице-предсѣдателя совѣта саратовскаго общества сельскаго хозяйства, П. А. Кривскаго и предсѣдателя саратовской губернской земской управы М. С. Кропотова, секретаря Комитета—завѣдующаго статистическимъ отдѣленіемъ саратовской губернской земской управы, С. А. Харизоменова, членовъ Комитета: П. Н. Аничкова, Н. В. Веденяпина, С. В. Киндякова, Н. П. Кокуева, В. Ф. Лятошинскаго, С. А. Марковского, В. А. Менде, С. А. Панчулидзева, М. А. Попова, К. И. Соколова, А. А. Сокольскаго, В. Д. Юматова и В. М. Якушева.

## II.—О подпискѣ на сооруженіе памятника Н. В. Гоголю.

Общество любителей російской словесности, состоящее при Императорскомъ московскомъ университетѣ, извѣщаетъ, что съ 1-го января по 1-е февраля сего 1889 года къ казначею Общества вновь поступили собранныя съ Высочайшаго соизволенія пожертвованія на сооруженіе въ Москвѣ памятника Николаю Васильевичу Гоголю семьсотъ тридцать одинъ рубль (731 р.) 49<sup>1</sup>/<sub>2</sub> копейекъ, а всего съ прежде-поступившими—31.895 руб. 17<sup>3</sup>/<sub>4</sub> коп.

## ПОПРАВКА:

Въ февральской книгѣ, стр. 745, 10 строч. напечатано: „И та“; слѣдуетъ читать: *Эта*.

Издатель и редакторъ: М. Стасюлевичъ.



## БИБЛИОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

Новое издание сочиненій П. А. Гончарова.  
Т. IX. Сиб., 1889. Стр. 265.

Новый выпускъ дополняетъ собой полное собрание сочиненій П. А. Гончарова тѣми его трудами произведеніями, которыхъ появились въ періодическихъ изданіяхъ, въ послѣдніе два года, 1887—88. Первое изъ нихъ, занимающее большую часть тома, а именно: „Воспоминанія“ изъ юнкерской жизни и начала службы автора въ провинціи, — очень хорошо знакомо и памятно многимъ читателямъ. Второе, подъ заглавіемъ: „Слуга“, было напечатано въ „Нивѣ“; это — весьма художественная и оригинальная галерея разнообразнѣйшихъ типовъ нашей городской прищипы, каковою она была въ эпоху крѣпостного права; авторъ писалъ ее съ натуры по собственнымъ воспоминаніямъ и выполнилъ съ обычнымъ ему мастерствомъ. Мы не замедлимъ познакомиться читателемъ ближе съ этою послѣднею частью двенадцатаго тома.

Путешествія и впечатлѣнія въ Италию и Египтъ.  
Записки о Турціи, Дидлока (В. П. Кигизъ),  
Сиб., 1888. Стр. 432. Ц. 2 р.

В. П. Кигизъ сдѣлалъ свое интересное путешествіе на дальній югъ зимою съ 1886 г. на 1887 г., а, выйдя въ ноябрѣ изъ какого-то бѣлорусскаго захолустья прямо въ Венецію, а отсюда по Италию и Сицилію, въ Александрію, поднялся вверхъ по Нилу, — въ май мѣсяцѣ возвратился чрезъ Палестину, Сирію и Константинополь въ Одессу. Путешественникъ далъ себѣ слово въ пути „не полагаться ни на гиду, ни на старожилу, ни на газету“, а передавать читателю свои свои непосредственныя впечатлѣнія, съ общими, какое дадутъ судителю въ судѣ, а именно: „писать правду“ и одну только правду, присоединивъ отъ себя еще одинъ обѣтъ: „писать по-интереснѣй“<sup>4</sup>. Въ послѣднемъ отношеніи авторъ исполнитъ сдержанъ данное слово, а по вопросу о правдѣ всегда слѣдуетъ вѣрить туристу, пока не будетъ доказано противное, и довольствоваться правдоподобіемъ разсказа.

Жизнь европейскихъ народовъ. Е. Н. Водовозовой. Томъ I. Жители юга. Съ 26 рисунками художника Васнецова. 4-ое изданіе, вновь исправленное и дополненное. Сиб., 1888. Стр. I—XXII и 597. Ц. 3 р. 75 к.

Въ новомъ изданіи извѣстной книги г-жи Водовозовой значительно дополнены главы, посвященныя славянскимъ народамъ, — очерки Болгаріи, Сербіи, Черногоріи, Албаніи, а также переработаны, по новѣйшимъ матеріаламъ, свѣденія объ Италиі, Франціи, Швейцаріи и Испаніи. Задача автору было дать по возможности полную и достоверную картину жизни европейскихъ народовъ, а не однихъ только пришептывающихъ сословій или образованныхъ классовъ. Съ этою цѣлью изъ подробно описаны различныя обряды и нравы народа, народныя увеселенія и суевѣрія, пѣсни, зрѣлища, домашняя обстановка, пища, одежда и т. д. Въ изданіи четвертаго изданія перваго тома съдѣланы четырего изданія перваго тома съдѣланы четырего изданія перваго тома съдѣланы

полезнаго и интереснаго труда г-жи Водовозовой.

Гигіена. Курсъ общественнаго здравоохраненія, проф. А. Доброславина. Ч. I, изд. 3-ое. Съ 66 черт. Сиб., 1889. Стр. 548. Ц. 3 руб.

Обширный трудъ извѣстнаго нашего гигиениста выходитъ вторымъ изданіемъ, чему нельзя не радоваться, такъ какъ распространеніе такой книги есть въсѣмъ и распространеніе правильныхъ понятій въ обществѣ о сохраненіи того, что для людей наиболѣе драгоценно — здоровья. Въ санитарныя вѣры, предприимчиваго извѣстнаго, окажется бесцѣльнымъ, если само общество не поможетъ помочь ему. Въ настоящемъ издѣніи подробно изслѣдованы такія существенныя условія жизни, какъ воздухъ, пища и жилище, а также одежда. Послѣднія главы посвящены особенно интересному предмету — гигиеническимъ условіямъ жизни городовъ, школы, казармы для рабочихъ и войска, и наконецъ — госпиталя.

Эмиль де-Лавелле. Балканскій полуостровъ. Переводъ съ французскаго, съ примѣчаніями и дополненіями Н. Е. Васильева. Изданіе К. Т. Солдатенкова. Москва, 1889.

Интересное сочиненіе Лавелле, съ котораго нынѣ года два тому назадъ ознакомили читателей, появилось теперь въ русскомъ переводѣ, съ обширными дополненіями и примѣчаніями, увеличившимъ объемъ книги болѣе чѣмъ вдвое. Къ сожалѣнію, эти обширныя дополненія составлены не совсѣмъ удачно и касаются отчасти предметовъ, не имѣющихъ никакой связи съ содержаніемъ книги Лавелле; такъ, напримѣръ, подробные спеціальныя отчеты о военныхъ дѣйствіяхъ болгарскаго ополченія и румынскихъ войскъ въ послѣднюю войну (ч. II, стр. 99 — 248 и 297 — 326, — болѣе десяти печатныхъ листовъ мелкаго шрифта!), дивныя выписки изъ старой книги генерала Фадѣева о восточномъ походе, изъ журнальной статьи Лавелле за 1871 годъ, изъ „Дневника писателя“ Достоевскаго (стр. 328 — 336) и т. п. Дѣйствительно полезныя матеріалы, какъ напр. текстъ болгарской конституціи, совершенно теряются въ массѣ ненужныхъ и черезъ-чуръ объемистыхъ перепечатокъ, нагроможденныхъ безъ всякой системы и снабженныхъ еще вдобавокъ комментаріями, заглавленными и полевическими выходками самого переводчика, г-на Васильева. Задорная полемика противъ принца Баттенберга, имѣвшая еще смыслъ во время его влеченія въ Болгарію, производитъ странное и почти забавное впечатлѣніе въ „дополненіяхъ“ къ серьезной книгѣ Лавелле; столь же неуцѣписты намѣтки надъ болгарскими и ихъ политическими дѣятелями, крайне рѣзкіе отзывы о разныхъ лицахъ, историческія зачѣпчаны даже о женщинахъ (о г-жѣ Караеловой), — все это въ духѣ дутаго патриотизма, понимаемаго самымъ мелочнымъ образомъ. Переводъ самъ по себѣ удовлетворителен, хотя русскому переводчику не слѣдовало бы называть хорватовъ „србатыми“, Загребъ — „Аграмомъ“ и т. п. Очень жаль, что почтенный издатель не издѣлалъ дополненій г-на Васильева въ особую книгу, которая и могла бы воспользоваться любителями...



# ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКѢ

въ 1889 г.

(Двадцать-четвертый годъ)

## „ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ЕЖЕМЯСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРИИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ

— выходитъ въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, 12 книгъ въ годъ, отъ 28 до 30 листовъ обыкновеннаго журнальнаго формата.

### ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

	На годъ:	По полугодіямъ:		По четвертямъ года:			
		Янв.	Іюль	Янв.	Апр.	Іюль	Окт.
Безъ доставки, въ Конторѣ журнала . . . .	15 р. 50 к.	7 р. 75 к.	7 р. 75 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 80 к.
Въ Петербургѣ, съ доставкой . . . . .	16 „ — „	8 „ — „	8 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
Въ Москвѣ и друг. городахъ, съ пересл. . . . .	17 „ — „	9 „ — „	8 „ — „	5 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
За границей, въ госуд. почтов. совѣзѣ . . . . .	19 „ — „	10 „ — „	9 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	4 „ — „

Отдѣльная книга журнала, съ доставкой и пересылкою — 1 р. 50 к.

Примѣчаніе.—Вмѣсто разсрочки годовой подписки на журналы, подписка по полугодіямъ, въ январѣ и іюлѣ, и по четвертямъ года, въ январѣ, апрѣлѣ, іюлѣ и октябрѣ, принимается—безъ повышенія годовой цѣны подписки.

Съ перваго марта открывается подписка на вторую четверть 1889 года.

Ближне изданы, при годовой и полугодовой подпискѣ, пользуются обычнымъ уступкомъ.

**ПОДПИСКА** принимается — въ *Петербургѣ*: 1) въ Конторѣ журнала, на Вас. Остр., 2 лин., 7; и 2) въ ея Отдѣленіяхъ, при книжн. магаз. К. Риккера, на Невск. просп., 14, и А. Ф. Цинзерлинга, Невск. пр., 46, противъ Гости. Двора; — въ *Москвѣ*: 1) въ книжн. магаз. Н. П. Мамонтова, на Кузнецкомъ Мосту; Н. П. Карбасникова, на Моховой, домъ Коха, и 2) въ Конторѣ Н. Печковской, Петровскія лѣнн. — *Вногороднне* и *иностранные* — обращаются: 1) по почтѣ, въ Редакцію журнала, Спб., Галерная, 20; и 2) лично — въ Контору журнала. — Тамъ же принимаются **ИЗВѢЩЕНІЯ И ОБЪЯВЛЕНІЯ**.

Примѣчаніе.—1) *Почтовый адресъ* долженъ заключать въ себѣ: имя, отчество, фамилію, съ точнымъ обозначеніемъ губерніи, уѣзда и мѣстожительства, съ названіемъ ближайшаго къ нему почтоваго учрежденія, гдѣ (NB) *допускается* выдача журналовъ, если нѣтъ такого учрежденія въ самомъ мѣстожительствѣ подписчика. — 2) *Перемена адреса* должна быть сообщена Конторѣ журнала одновременно, съ указаніемъ прежняго адреса, при чемъ городскіе подписчики, переходя въ иногородніе, доплачиваютъ 1 руб. 50 коп., а иногородніе, переходя въ городскіе—40 коп. — 3) *Жалобы* на несправность доставки доставляются исключительно въ Редакцію журнала, если подписка была сдѣлана въ вышеупомянутыхъ мѣстахъ, и, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, не можетъ быть въ возмѣненіи сдѣланной книги журнала. — 4) *Билеты* на получение журнала высылаются Конторою только тѣмъ въ иногородныхъ или иностранныхъ подписчикамъ, которые приносятъ въ подписной суммѣ 14 коп. почтовыми марками.

Подаватель и отвѣтственный редакторъ: М. М. Стасюлевичъ.

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“:

Спб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:

Вас. Остр., 2 л., 7.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:

Вас. Остр., Академ. пер., 7.





APR 30 1889

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРИИ-ПОЛИТИКИ.

ЛІТЕРАТУРЫ.

ДВАДЦАТЬ-ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ. — КНИГА 4.

№ АПРѢЛЬ, 1889.

ПЕТЕРБУРГЪ.

Издательство

Digitized by Google

КНИГА 4-я. — АПРѢЛЬ, 1889.

I.—ЛЕКОНТЪ ДЕ-ЛАНЬ.—Изд. современной французской литературы.—II.—Окончание.—М. Я. Фриммутъ . . . . .	411
II.—МИРАЖИ.—Романъ въ четырехъ книгахъ.—Книга третья: XXX-XXXVIII.—Ф. Шапиръ . . . . .	494
III.—РОССИЯ И АМЕРИКА НА ХЛѢБНОМЪ РЫНКѢ.—I-IV.—А. А. Незвеза . . . . .	545
IV.—СТИХОТВОРЕНІЯ.—I. Новое плаваніе. Изд. „Романдеро“, Гейле. — II. Схиталланскаго: I. Эпиграмма Дж. Б. Стронки на статую „Ночь“, Микель-Анджело; 2. Огнѣтъ Микель-Анджело.—В. С. Соловьева . . . . .	561
V.—ОБЗОРЪ РУССКИХЪ ИЗУЧЕНІЙ СЛАВЯНСТВА.—I. Время до-Петровское.—А. П. Щапина . . . . .	564
VI.—НОВЫЙ ФАРАОНЪ.—Романъ въ четырехъ книгахъ, Фр. Шиндлатова.—Книга четвертая и послѣдняя: I-X.—Окончание.—А. Э. . . . .	626
VII.—МОДНАЯ ФОРМА БЕЛЛЕТРИСТИКИ.—Б. К. Арсеньева . . . . .	679
VIII.—ВЪЗЪ ВУМАГЪ ПРОКУРОРА.—Стих. А. Душтина . . . . .	496
IX.—ЛЕГЕНДА О ДАНТЕ.—В. Чуйко . . . . .	703
X.—О ТЕОРИИХЪ ПРОГРЕССА.—III. Вѣра въ будущее.—IV. Политика аналитика.—Д. Э. Слонимскаго . . . . .	750
XI.—КРАСИВАЯ СМЕРТЬ.—Стих. А. М. Жемчужникова . . . . .	774
XII.—ПИТАНИЕ И ПРОДОВОЛСТВІЕ, съ политико-экономической точки зрѣнія.—А. П. Доброславина . . . . .	775
XIII.—ХРОНИКА.—ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Законъ о порядкѣ возбужденія отвѣтственности министровъ.—Новые законодательства міра въ области преступленій противъ вѣры.—Предполагавшаяся норингера лемскаго обломка.—Неуравновѣшенность земскаго сбора по мѣстностямъ и категоріямъ имуществъ; міры къ ея устраненію.—Способа поддержки нуждающихся земствъ.—„Наблюденія и соображенія“ г. Безобразова о новомъ фабричномъ законодательствѣ и о фабричной инспекціи. . . . .	795
XIV.—ЗАМѢТКА.—По поводу съезда представителей городскихъ обществъ взаимнаго страхованія.—В. Б. . . . .	810
XV.—ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Перемена правительства въ Сербіи.—Два періода въ царствованіи Милана.—Вынужденная связь его съ Австріею.—Минимал русская партія и заблужденіе „Славянскихъ Извѣстій“ по этому предмету.—Русскій патриотизмъ въ „Nouvelle Revue“,—Англоны въ журналистикѣ.—„Инцидентъ“ въ Салаццо и его различныя отголоски.—Французскія вѣзды.—Графъ П. А. Шуазель и его вѣдшая политическая дѣятельность . . . . .	823
XVI.—ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.—Полное собраніе сочиненій Н. А. Гоголя, т. IX.—С. Н. Зарудный, Григ. Джаншвіевъ.—О Франціи. Статьи гр. В. П. Маджарова.—К. К.—Русскія древности, издаваемая гр. Н. Толстымъ и П. Бондаковичемъ, вып. I.—Жизнь и труды Погодина, Н. Барсукова.—А. П.—Императоръ Николай I и иностранныя дворы, С. С. Татищева.—Д. С.—Новыя книги и брошюры . . . . .	836
XVII.—НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.—I. Le socialisme d'état et la réforme sociale, par C. Jannet.—II. Le peuple allemand, ses forces et ses ressources, par Ch. Grad.—III. Les principes de 1789 et la science sociale, par Th. Fernheil.—IV. Souviens-toi du 2 décembre, par J. Simon.—V. Essai sur le régime parlementaire, par X. Combotheca.—VI. Etudes sur l'histoire du droit, par sir H. Sumner Main.—VII. Volk und Nation, von Fr. Neumann.—Д. С. . . . .	850
XVIII.—ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.—Официальная статистика нашихъ университетовъ.—Перемены въ дерптскомъ университетѣ.—Отношеніе бібліотечныхъ органовъ печати въ остзейскимъ дѣламъ.—Возобновленіе приѣма на высшіе женскіе курсы.—Начало городскихъ выборовъ по III разряду въ Петербургѣ и Москвѣ, на основаніи новаго закона . . . . .	867
XIX.—ИЗВѢЩЕНІЯ.—Отъ Рехадни . . . . .	868
XX.—БИБЛИОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.—Изд. жизни русской природы, М. Н. Бондара.—Характеръ. Сам. Смайльса; перек. С. Майковой.—Исторія социальнаго системъ, Д. Щеглова, т. II.—Антропология, Э. Ю. Петри, изд. I.—Очерки современной Италіи, Н. Лангелла (Н. Л. Павловскаго).—Cinq d'oeuvres dramatiques de A. N. Ostrovsky, trad. par E. Dukacoff . . . . .	

# ЛЕКОНТЪ ДЕ-ЛИЛЬ

Изъ современной французской литературы.

*Окончаніе.*

II \*).

Въ одномъ изъ самыхъ крупныхъ и наиболѣ замѣчательныхъ произведеній Леконта де-Лиль, а именно въ его поэмѣ: „Каинъ“, можно встрѣтить нѣчто похожее на мысль о возможности прогресса, но весьма своеобразнаго, такъ какъ олицетвореніемъ его служить именно самъ герой, именемъ котораго названа поэма—одно изъ самыхъ смѣлыхъ и мрачныхъ произведеній новѣйшей литературы. Это не библейскій Каинъ, преступный и караемый, а новый Каинъ, преслѣдуемый жестокимъ, непреклоннымъ рокомъ, безсознательный преступникъ, повиновавшійся инстинктамъ. Это въ своемъ родѣ Прометей, но съ болѣе опредѣленными цѣлями. Онъ является не только прародителемъ и защитникомъ грядущихъ поколѣній, онъ въ то же время прототипъ вѣчнаго: „зачѣмъ?“—которое сказывается болѣе робко и смиренно во времена вѣры и установленныхъ традицій, болѣе громко и неотвязно—во времена переходныя, когда духъ критики подтачиваетъ эти традиціи. Дерзновенность Каина, переходящая въ богохульство, служить фантастическомъ произведеніи отголоскомъ того духовнаго мятежа, который двигаетъ и питаетъ мысль, встающую противъ эта естественныхъ воль и старающуюся побѣдить ихъ; сама поэма жетъ служить образцомъ того поэтическаго произвола, который

\*) См. выше: мартъ, 41 стр.



давить и видоизмѣняетъ преданія, чтобъ дать имъ окраску личныхъ взглядовъ, оттѣнокъ современныхъ думъ. Поэтъ даетъ повѣствованію форму видѣнія, представившагося ясновидящему Тогормѣ, во время вавилонскаго плѣненія. Въ этомъ видѣніи все рельефно; мѣстный колоритъ и характеръ отдаленныхъ временъ переданы съ такой правдивостью, что, несмотря на фантастическое содержаніе, выносятся впечатлѣніе потрясающей дѣйствительности. При гениальной дерзости замысла, величавости картинъ, мы находимъ реалистическую точность описаній, пластичность образовъ. Союзъ между знаніемъ и фантазіей у Левонта де-Лиль такъ тѣсенъ, что невозможно найти грань, отдѣляющую ихъ. Вездѣ слѣды тщательныхъ научныхъ изслѣдованій, разностороннихъ познаній; поэтъ одинаково проникается культурной исторіей и психологіей народовъ, вноситъ въ описанія свѣденія топографическія и этнографическія. Дѣйствительно, поэма „Кантъ“ полна любопытныхъ подробностей, которыя даже трудно оцѣнить при первомъ чтеніи; нужно вернуться къ произведенію и вдуматься въ него. Такъ напр., въ самомъ началѣ весьма характерно антропоморфическое сліяніе между понятіемъ о Божествѣ и о человѣкѣ, взглядъ съ первой ступени культуры, который въ послѣдствіи все болѣе отдаляетъ человѣка отъ конкретнаго понятія о Божествѣ, одухотворяетъ его, дѣлаетъ трансцендентальнымъ съ тѣмъ, чтобъ дойти, наконецъ, до чисто-философскаго понятія. Конецъ характеризуетъ замѣчательно поэтической инстинктъ, дѣлая вечеръ одной точкой въ пространствѣ, однимъ моментомъ среди необозримыхъ вѣковъ. Такое сліяніе творческой фантазіи съ наукой придаетъ поэмѣ не только характеръ правдивости, но и многосторонній интересъ. Вотъ содержаніе ея въ краткомъ видѣ:

„На тридцатомъ году испытанія плѣнный Тогорма, имѣвшій даръ ясновидѣнія, лежа въ камышахъ въ вечернюю пору, видѣлъ сонъ. Съ тѣхъ поръ, какъ ловецъ Іегова, который сокрушаетъ сильныхъ и даетъ тѣла ихъ на съѣденіе орлу и псамъ, отдалъ въ плѣнъ народъ свой ассирійцамъ, всѣ, обривъ голову и бороду, смодели въ тупомъ отчаяніи. Имъ представлялись и разрушенныя стѣны города, и оскверненные храмы, и вожди ихъ на висѣлицахъ необрѣзанныхъ царей, и дѣвы, плачущія подѣ бичемъ евнуха. Пята побѣдителя попирала выю храбрыхъ. Іегова на небесныхъ высяхъ видѣлъ все и безмолвствовалъ. Тогорма въ тотъ вечеръ отвернулся душой отъ плача и стenanій своего народа и легъ въ тѣни, дабы предаться отдыху и забвенію. Уснувъ, онъ видѣлъ сонъ: „То былъ вечеръ тѣхъ таинственныхъ временъ, когда отъ знойнаго юга до дальняго сѣвера вся сила и мощь

творенія влоботала избыткомъ жизни и рвалась наружу въ деревъ, свалѣ, цвѣтахъ, человѣкѣ и гадахъ, и дыханіе Господа слышалось въ мірозданіи“.

Слѣдуетъ грандіозное описаніе первобытной природы: стихіи будто еще недавно вышли изъ хаоса; свѣтила напоминаютъ борьбу свѣта съ тьмой; картины вечера, ночи, бури и пр. получаютъ вслѣдствіе этого космическій характеръ. „Тучи, поднимаясь изъ кипучей пучины океановъ, то висѣли на небѣ какъ глыбы расплавленнаго свинца, то, гонимыя бурнымъ вѣтромъ, завывая и метаясь, разражались въ сильную грозу. На закатѣ багровое солнце опускалось подобно одинокому глазу; на востокѣ дымился холмъ отъ пролитой крови. Тамъ далѣе, пески пустыни, гдѣ безмолвіе прерывалось только крикомъ шакала или храпомъ неуклюжаго животнаго, отъ шаговъ котораго содрогалась земля“.

Затѣмъ идетъ описаніе древняго города Энохіи, построенаго изъ камня и желѣза, съ высокими стѣнами и многочисленными башнями; на высочайшей изъ нихъ находится могила Каина, который сказалъ своему племени: „Здѣсь постройте мнѣ могилу; на грудѣ камней хочу лежать одинокій и свободный. Странникъ усталъ и хочетъ уснуть. Довольно. Положите меня на спину, лицомъ къ облакамъ, дѣти моей любви и моего отчаянія! Пусть солнце видитъ и вода съ небесъ омываетъ знакъ кары и ненависти на моемъ челѣ. Не тронуть тѣла моего хищныя птицы, и злоба людская замоленеть у моей могилы. Но пусть рыданіе вѣтра, ужасъ долгаго мрава, хриплый голосъ жажды и голода, горечь истекшаго и наступающаго дня, весь вопль міра наполняетъ мой слухъ и стонетъ и завываетъ въ сердцѣ моемъ какъ бурный потокъ“. Такъ возникла Энохія, городъ великановъ. Торорма видитъ, какъ вечеромъ могущественное племя возвращается со стадами своими въ стѣны города. „Охотники, несущіе дикаго медвѣдя за плечами, въ восматыхъ одеждахъ, тяжело дышутъ подъ ношей; женщины-великанши, опершись сильными руками на бедра, важно несутъ кувшины съ водой изъ цистерны, въ суровомъ спокойствіи свободы и силы; онѣ мѣрно шагаютъ твердой стопой по травамъ и терніямъ, выпрямивъ бѣлую выю и высокую грудь. Вѣтеръ бережно пробѣгаетъ волнами по чернымъ косамъ, и багровые лучи заката озаряютъ станъ ихъ. Старцы, загорѣлыми мощными дланями опираясь на посохъ, съ гордыней, трепещущей въ ноздряхъ, обидываютъ глубокимъ взоромъ юныя поколѣнія, идущія мимо нихъ“. Все смолкло, и толпа, и гулъ; бездна ночи поглотила все. „И прорицатель чувствовалъ, какъ страхъ воздымаетъ съдины на челѣ его и трепеть пробѣгаетъ по его членамъ, ибо

онъ узналъ, что то былъ градъ скорби, могила Каина въ странѣ Гевилы“. Среди безмолвія и мрака, словно дуновение ужаса пронеслось по пустынѣ. Съ окраины ея мчится всадникъ, а за нимъ цѣлое стадо звѣрей и гадовъ. Всѣ они, приближаясь къ городу, произносятъ проклятія, каждый на своемъ языкѣ. Всадникъ во имя Господа проклинаетъ городъ и племя братоубійцы. Но Каинъ встаетъ съ гранитнаго ложа, гдѣ спалъ много вѣвовъ, и, скрепивъ руки на груди, окидываетъ взоромъ городъ и мѣстность, и медленно и грозно требуетъ молчанія, ибо „злоба небесъ единственная виновница преступленія“; изъ-за нея человѣческия рыданія въ могилѣ денно и ношно долетаютъ до него. Онъ мысленно видитъ блаженные дни Эдема и ликование всей твари, но ему не суждено было вкусить радостей рая: пламенный мечъ закрылъ ему двери его; невинный плодъ грѣхопаденія, онъ родился въ мукахъ и не видалъ улыбки матери; влосчастный наслѣдникъ перваго страданія, онъ сталъ изгнанныкомъ, не сдѣлавъ зла, и слышалъ упреки отъ того, кто породилъ его. „Зачѣмъ, — говоритъ онъ, — не убилъ онъ меня прежде, чѣмъ горячая кровь начала жечь мужественное сердце? Я ли утвердилъ бездну и зажегъ солнце; я ли нарушилъ вѣвовѣчный сонъ первобытной ночи для того, чтобъ, давъ жизнь праху, сказать: я есмь! Я ли сказалъ безсильному праху: страдай и плачь! Я съ запретомъ не сочеталъ желанія, не вселилъ стремленія къ тому, что недосыгаемо; не даровалъ безсмертныхъ видѣній въ скоротечную минуту, не наказывалъ за поступокъ тамъ, гдѣ далъ волю дѣйствовать. Сказалъ ли я неумолимому владыкѣ: хочу родиться! И что мнѣ жизнь, купленная такой цѣной?“ Подобно кедрю, Каинъ поднимаетъ задумчивое чело къ небу; земля кажется ему обширной темницей, и въ стихійныхъ буряхъ онъ слышитъ отголосокъ душевнаго мятежа. Херувимъ въ огнѣ нѣбогда явился ему. „Чего хочешь?“ — спросилъ Каинъ. „Смирись и отдохни. Что Всевышнему въ твоей гордынѣ! Вихрь не смотритъ на сорванный съ дерева листъ. Преклонись!“ — „Не преклонюсь! Пускай трусь передъ мученіемъ восхваляетъ униженіе свое. Іегова пусть благословитъ льстивый трепетъ и лгущую ненависть. Я останусь непреклоненъ, и крикъ душевнаго отчаянія не замолкнетъ во мнѣ. Знай, херувимъ, жажда правосудія пожираетъ меня; раздави меня, но никогда не склонюсь! Я страдаю — за что? Отвѣчай!“ — „То воля Бога. Молча, продолжай свой путь!“ — „Грозный духъ, зачѣмъ родился я?“ — „Узнаешь завтра“. — И Каинъ позналъ гнѣвъ Іеговы. Сердце его исполнилось злобы, и онъ пролилъ кровь безвиннаго брата своего. Совершивъ преступленіе, онъ навсегда лишился

мира. Вспоминая пройденныя мученія, онъ пророческимъ окомъ видитъ будущность потомства своего и предсказываетъ ему борьбу и страданіе, болѣзни и бѣдствія; въ неравномъ бою человѣкъ будетъ сокрушенъ и униженъ, и мелкія страсти замѣнятъ дерзновенность и силу; животныя инстинкты исказятъ образъ богоподобія, и все-таки человѣчество унаслѣдуетъ мятежь и не преклонится; дыханіе Каина одушевитъ позднія поколѣнія, и когда имъ скажутъ: молитесь! они отвѣтятъ: нѣтъ! „Ты посѣтишь ихъ наводненіемъ, но я создамъ русло для водъ; служители твои найдутъ угрозы ада, а я накажу ихъ презрѣніемъ и выше видимыхъ небесъ покажу имъ міры, гдѣ не найдутъ тебя, и малыя дѣти не будутъ знать твоего имени. Тогда настанетъ мой день, и радости Эдема возникнутъ вновь!“ — Эхо его голоса долгими раскатами пронеслось по пространству, и сильный вихрь поднялся подъ небесами. Тогорма не видѣлъ болѣе ни всадника, ни дикихъ звѣрей; все исчезло. Съ высей потоки полились на землю, будто хотѣли поглотить ее, и ужасъ объялъ все живущее. Солнце скрылось; воды росли и росли; но вотъ завѣса, скрывавшая міръ отъ ясновидящаго, разверзлась еще разъ, и онъ увидѣлъ сквозь густой туманъ врага Іеговы, мстителя Каина, направлявшагося къ ковчегу, который всплылъ на горизонтѣ. И Тогорма проснулся отъ пророческаго сна и записалъ его остриемъ камыша на кожѣ онагра, на халдейскомъ языкѣ“.

Оригинальная мысль сдѣлать богохульствующаго Каина покровителемъ погибающаго человѣчества представляетъ сходство съ отрывкомъ Гёте: „Прометей“, и съ „Одой Сатанѣ“, Кардуччи. И здѣсь, и тамъ дѣйствующія лица — символы дерзновенности ума и общечеловѣческаго прогресса. Но у Леонты де-Лиль мятежь и гордыня нашли самое бойкое, самое неустрашимое выраженіе.

Родственное начало съ Каиномъ представляютъ стихотворенія: „Грусть сатаны“, „Конецъ человѣка“ и „Воронъ“. Сатана — первый мечтатель и древнѣйшая жертва. „Выпивъ море неплодотворныхъ слезъ, наслушивъ борьбой, познавъ, что все суета и прахъ, онъ желалъ бы уничтожиться. Но когда тѣ, которые блаженны за трусость, какъ и тѣ, которые отвержены за гордыню, услышатъ голосъ: сатана погибъ! — тогда будетъ конецъ и тебѣ, шестидневное твореніе!“ Что этотъ сатана въ то же время и утомленный жизнью пессимистъ — эта мысль невольно бросается въ глаза.

„Конецъ человѣка“ по содержанію напоминаетъ „Каина“. Оно такъ же мрачно и такъ же картинно. Вотъ суть его: „Каинъ блуждалъ на землѣ. Прахъ Евы покоился въ нѣдрахъ земли. Адамъ, удрученный годами, напрасно желаетъ умереть. Это

уже не первобытный человекъ, мощный и прекрасный, съ дѣвственной душой, на ликѣ котораго отражались видѣнія безсмертія. Согбенный горемъ и утратами, онъ сидѣлъ безмолвный на порогѣ своей пещеры, и голосъ Сіеа не находилъ отголоска въ душѣ его. Однажды вечеромъ онъ всталъ и направился къ горѣ, съ вершины которой взоръ его далеко охватывалъ Востокъ; всѣ пройденныя мухи пробудились въ немъ: воспоминанія о потерянномъ Эдемѣ, о Евѣ, о Каинѣ-братоубійцѣ, а душевная боль вырвала крикъ изъ груди его: „Попадай меня, Господи! я такъ долго страдалъ и столько пролилъ слезъ! Прости меня! Я каюсь въ грѣхѣ, что родился. Я побѣжденъ, Владыка; отнявъ все, возьми у меня и жизни!“ Поднялся сильный вѣтеръ; отъ напора его гнулись деревья и рушились скалы, и по пустынѣ пронеслось рыданіе, безконечное, необъятное, будто множество голосовъ слились въ одинъ хоръ: „Отецъ, прости! Мы твой грѣхъ, твоя кара, твое поколѣніе... Умри, мы будемъ жить!“... И первый человекъ въ ужасѣ испустилъ душу.

Въ поэмѣ того же имени, старый воронъ, прожившій много вѣковъ и, подобно самому поэту, обозрѣвающій дѣянія людей и злобу временъ, выражаетъ протестъ противъ законовъ природы, одинаково подвергающихъ человека страданію за повиновеніе имъ, какъ и за борьбу противъ нихъ. Подобно Каину или Агасферу, воронъ терпитъ кару и не можетъ умереть. Не вдаемся въ разборъ этой оригинальной поэмы, въ которой сатирическія черты, направленные противъ патера, выслушивающаго разговоръ ворона, смѣняются безотрадными картинами различныхъ историческихъ эпохъ, въ которыя „и боги, и люди—одинаково поглощались теченіемъ временъ“. Главная мысль ея—тотъ же пессимизмъ, который у поэта находитъ постоянно новыя формы выраженія.

Если Леконтъ де-Лиль и пессимистическій созерцатель исторіи и жизни, то самая скорбь его такъ величава, жажда вѣры, служащая основой его грусти, такъ глубока и искренна, что пессимизмъ его производитъ впечатлѣніе въ полномъ смыслѣ трагическое. Но въ этомъ трагизмѣ слышится и болѣе нѣжная нота. Какъ созерцатель, онъ глубоко проникнуть тѣмъ, что латинскій поэтъ называетъ „*lascivae regim*“. Это сочувствіе всему, при неотвязной мысли о скоротечности всего земного, даетъ меланхолическую прелесть самымъ свѣтлымъ образамъ, вызываемымъ его фантазіей (таково „Свѣжее утро“ и многія др.), а отрицаніе его по страстности выраженія близко къ вѣрѣ. Онъ



плачеть надъ потерей вѣрованій и обвиняеть вѣкъ, отнявшій ихъ у человѣчества. Въ стихотвореніи: „Современникамъ“, онъ высказываетъ громкое негодованіе при видѣ ничтожности живущаго поколѣнія, которое живетъ безъ вѣры, безъ цѣлей, у котораго преступный вѣкъ съ колебели отнялъ способность чувствовать глубоко и плодотворно; въ груди пусто, пусть и мозгъ у этихъ „убійць боговъ“ и всего божественнаго; „близко время,—говорить онъ,—когда, погразнувъ въ мелкихъ интересахъ дня, пожираемые тоской собственнаго ничтожества, вы будете пошло умирать, наполняя золотомъ карманы свои“.

Въ „Анаемъ“ это негодованіе переходитъ въ вопль. Онъ въ прошломъ завидуетъ даже временамъ упадка, когда старые боги, отжившіе вмѣстѣ съ поколѣніями, поклонявшимися имъ, давали мѣсто новымъ идеаламъ. „Наша ночь черна, и дня не видно“. Не гепидъ и не гуннъ бичуютъ народъ, нѣтъ—узы его сильнѣй, бремя тяжеле: всѣ служатъ золотому идолу, ненасытному Молоху, который воцарился на обезчещенной землѣ; святая прелесть природы потускнѣла въ ихъ взорахъ, и тоска безцѣльнаго существованія какъ призракъ носится надъ разлагающимся міромъ. Нѣтъ болѣе стремленій къ невѣдомымъ высямъ, ни святыхъ сожалѣній, ни высочайшихъ надеждъ. Какимъ богамъ отнынѣ жертвовать? На какихъ алтаряхъ дѣлать возліанія? Для какихъ гимновъ настраивать священныя лиры?.. „О, свобода, правосудіе и страстная любовь къ красотѣ, скажите намъ, что часъ вашего испытанія миновалъ, и что небесный женихъ, обѣщанный вдовствующей душѣ, послѣ трехъ дней возстанетъ изъ могилы!.. Если же, истощенная земля, ты не можешь болѣе питать безконечной надежды, умри! Возвратъ къ стихіямъ лучше медленной агоніи. А ты, наследникъ человѣчества и накопленныхъ имъ золъ,—человѣкъ,—вмѣстѣ съ умершимъ міромъ и исчезнувшими богами, пронесись и ты, да разметутъ тебя дикіе вѣтры, презрѣнный прахъ!“

Но Леонть де-Лиль не только пессимистъ,—онъ вмѣстѣ и великій художникъ; а какъ художникъ онъ видитъ и всю красоту міра: въ природѣ и въ искусствѣ, въ жизни народовъ и въ вѣрованіяхъ ихъ. Онъ видитъ ее даже въ томъ, къ чему мы привыкли относиться свысока и находить развѣ нѣчто любопытное. Прелестное стихотвореніе: „Неферу-Ра“ отрываетъ намъ уголокъ египетской жизни. Оно замѣчательно по мѣстному колориту, а по мысли напоминаетъ „Wallfahrt nach Kevlaar“ Гейне. Вотъ оно въ сокращенномъ видѣ: „Дочь египетскаго царя Рамсеса, прелестная Неферу-Ра, одержима тяжкимъ, неразгаданнымъ не-

дугомъ. Вчера еще она смѣялась и играла между розами, сердце ея было спокойно, а въ ясныхъ очахъ отражалось чистое небо. Теперь же она плачетъ въ горячихъ, странныхъ сновидѣніяхъ, которыя пожираютъ ея жизнь. Какой духъ коснулся ея? Или нѣкій богъ ее манитъ? Или, сіяющій цвѣтокъ, ты умираешь отъ любви? Душа Рамсеса мрачна какъ ночь, и горе тяжелой тучей легло на страну. Но есть въ странѣ исцѣлитель, юный богъ Консъ, сынъ Аммона, кроткій и прекрасный. Онъ въ одно и тоже время „бальзамъ, роса и пламя“, возвращаетъ обильные соки истощенному дереву, а надежду и радость больному сердцу. Рамсесъ посылаетъ за нимъ, боясь,—если богъ не покажется на порогѣ его дома, смерть похититъ сіяніе солнца, прекрасную Неферу-Ра. Консъ мечталъ тысячу лѣтъ, сидя на каменномъ пьедесталѣ, въ тѣни пальмъ, высѣченныхъ изъ мрамора и гранита; онъ созерцалъ благодатный лотосъ, среди котораго спитъ символическій жукъ. Онъ, отъ котораго исходятъ жизнь и здоровье, сказалъ:—Я пойду, дабы живой струей влить силу мою на царственную вѣтвь. И вотъ, вдоль Нила десять жрецовъ мѣрнымъ шагомъ, съ наклоненнымъ челомъ, несутъ священную барку, въ которой подъ зонтикомъ воссѣдаетъ Консъ, кроткій, дѣвственный богъ. Онъ подходитъ къ дворцу; ливанія привѣтствуютъ его; шествіе поднимается по роскошной лѣстницѣ; толпа падаетъ ницъ, и торжественная тишина воцаряется въ царскомъ жилищѣ, подъ пурпуровыми пологами. На ложѣ изъ слоновой кости лежатъ дѣва, блѣдная, завернутая въ тонкія ткани; черныя очи ея сомкнулись, подобно звѣздамъ, которыя боятся солнечныхъ лучей. Она угадываетъ приближеніе бога, и вздрагиваетъ, глядя на него очами, исполненными боязни и любви; съ улыбкой преклоняясь предъ богомъ, она похожа на лучъ, забытый уходящимъ солнцемъ. Улыбка ея спокойна и радостна. О чемъ думаетъ она? Или она объята мирнымъ сномъ? Увы! Консъ исцѣлилъ ея недугъ, даровавъ ей безсмертную жизнь. Не плачь, Рамсесъ. Недугъ былъ безконеченъ, ибо сердце ея страдало отъ неизлечимой раны, а смерть, развязавъ ей крылья, даруетъ ей то забвеніе, которое подобно благоухающему бальзаму“.

Читая Веды и индійскія поэмы, можно почувствовать влеченіе къ міровоззрѣнію индузовъ, и богъ Консъ можетъ внушить симпатію. Что поэтъ-художникъ долженъ былъ съ особенною любовью остановиться передъ свѣтлымъ міромъ эллиновъ—это понятно. Значительная часть его произведеній посвящена Греціи. У каждаго народа, изъ каждаго времени поэтъ беретъ преимущественно то, что это время, этотъ народъ завѣщали намъ, то, что позднѣйшая куль-

тура заимствовала отъ нихъ. Потому античная грація нашла еще болѣе сильный отголосокъ въ душѣ поэта, чѣмъ античное героическое. Греческія стихотворенія его лучезарны, какъ лазуревое небо Греціи, свѣтлы, какъ ея миѳы, чисты, какъ ея скульптурныя формы.

Хотя Леконтъ де-Лиль поклонникъ красоты, но Венера кипрская, богиня любви и нѣги, почти не занимаетъ мѣста въ его поэзіи. Только въ греческой эротикѣ онъ отвелъ ей то мѣсто, которое принадлежитъ ей по праву. Предметомъ его поклоненія, его вдохновенія служитъ Венера-Уранія, чистая, дѣвственная, чарующая, но неприступная въ своемъ величіи. У него почти нѣтъ стихотвореній, посвященныхъ любви, а если и встрѣчаются, то тонъ ихъ таковъ: „Когда цвѣтокъ солнца, лагорская роза, благоухающей душой своей наполняетъ, капля за каплей, фіалъ изъ хрусталя или золота, то можно вылить драгоценную жидкость на горячій песокъ, а сосудъ разбить въ дребезги; ни рѣки, ни волны морскія не могли бы смыть благоуханія, и счастливый прахъ и осколки сосуда сохранили бы его на вѣки. Черезъ открытую рану сердца моего ты сочишься подобно благоуханію, воспламеняющая меня, невыразимая любовь! Да будешь ты прощена, и благословенъ мой недугъ! Вопреки времени и скоротечности его, онъ наполнилъ душу мою бессмертнымъ благоуханіемъ“ (сонетъ: „Бессмертное благоуханіе“).

Понятно, что большинство, усердно читающее послѣдователей Зола, не можетъ признать популярнымъ Леконта де-Лиль. Онъ — поэтъ меньшинства. Неудивительно и то, что онъ съ аристократическимъ презрѣніемъ смотритъ на толпу, у которой поэты такъ часто цѣною униженія покупаютъ свою популярность. Гордый и возвышенный, онъ по чувствамъ и по мыслямъ царитъ надъ толпой, и какъ поэтъ-аристократъ не любитъ высказывать личнаго горя, личныхъ радостей. Такъ, въ сонетѣ „Показчики“ (Les Montreurs), „пускай, — говоритъ онъ, — кто хочетъ, съ окровавленнымъ сердцемъ является на грязныхъ подмосткахъ твоихъ, лютая толпа!.. Чтoby зажечь на мгновение бесплодный огонь въ бессмысленномъ взорѣ твоемъ, чтoby выманить какъ подаяніе твой смѣхъ или грубое сочувствіе, пускай кто хочетъ разорветъ сияющіе покровы небесной стыдливости. Замкнувъ въ безмолвную гордость, въ безгласную могилу, и лучше вану навѣки въ мракъ и забвеніе, но не продамъ тебѣ ни радостей моихъ, ни страданій, не отдамъ тебѣ жизни своей на поруганіе и не буду плясать на твоихъ пошлыхъ подмосткахъ вмѣстѣ съ фиглярами и продажными женщинами!“ Отсюда у Леконта то чувство гордаго изолированія, которое связывается съ тоской и горечью въ

сонетъ: „Смерть льва“. „Будучи старымъ охотникомъ, онъ жаждал простора и привыкъ съ высоты обидывать взоромъ равнины и моря и оглашать ревомъ пустыню,—одиной и свободной. Теперь же, какъ осужденный на муки въ аду, ради тупого веселья грубой толпы, онъ мятежно шагаль взадъ и впередъ въ желѣзной клѣткѣ и бился могучимъ челомъ о стѣнки его. Наконецъ, видя, что ужасная участь его неизмѣнна, онъ вдругъ отказался отъ пищи и питья, и смерть унесла свободную душу его. Безпокойное сердце, ты, какъ въ клѣткѣ, тяжело дышишь и, изнемогая, вращаешься въ оковахъ міра; скажи, затѣмъ не сдѣлаешь ты того же, что этотъ левъ, скажи,—или трусость тебя держать?“

Если мы узнаемъ внутренній міръ поэта, такъ это потому, что горе его, обобщаясь, становится горемъ многихъ. Скорбь его—скорбь мыслителя, который кладетъ палецъ на рану современнаго общества.

Идеалы Леконта де-Лиль носятъ всегда характеръ рѣдкой чистоты и возвышенности. О его идеалѣ красоты свидѣтельствуетъ „Венера Милосская“, воспроизводящая также идеалъ величавой античной красоты. Вотъ приблизительное содержаніе ея:

„Священный мраморъ, облеченный въ силу и геній, всесильная богиня съ поступью побѣдительницы, чистая какъ блескъ молніи и какъ небесная гармонія, о, Венера, о, красота, лучезарная мать боговъ!—Ты не Афродита, которая, волнуемая волной, онирается бѣлоснѣжною стопою на лазуревую раковину, между тѣмъ какъ вокругъ нея, подобно свѣтлому видѣнью, топчутся игры и несется по воздуху золотой смѣхъ.—Ты и не Киприда, которая гибкимъ станомъ пригибается къ счастливому Адонису, чтобъ подарить его благоухающимъ поцѣлуемъ.—Ты не Муза съ краснорѣчивыми устами, не стыдливая богиня любви, не дышущая нѣгой Астарта. Нѣтъ, игры, смѣхъ и граціи, рдѣясь отъ любви, не слѣдуютъ за тобой.—Звѣзды мѣрнымъ ритмомъ вокругъ тебя ведутъ хороводъ, и толпа міровъ прикована къ стопамъ твоимъ. О, божественный символъ безстрастнаго блаженства, безмятежная какъ море, когда вѣтеръ не рябитъ ея поверхности, никогда рыданіе не воздымало груди твоей, никогда плачь не омрачалъ твоей красы.—Привѣтствую тебя! При видѣ твоёмъ сердце стремится къ тебѣ; мраморная волна омываетъ стопы твои, и ты идешь, гордая и обнаженная, и міръ трепещетъ, и міръ принадлежитъ тебѣ, прекрасная богиня... Если колыбель моя и не ласкала мягкая струя древнихъ морей, если я и не молился подъ древними фронтонами у алтаря, сооруженнаго тебѣ,

красота-побѣдительница, — зажги въ сердцѣ моемъ дивную искру, дабы не замѣнулась слава моя въ угрюмой могилѣ, но дабы мысль моя изливалась въ золотыхъ ритмахъ, подобно благородному металлу, который, струясь, наполняетъ строго-размѣренную форму“.

И красота служить поэту: мысли высокаго полета „наполняютъ строго-размѣренную форму“, безукоризненно-изящныя картины выливаются въ „золотые ритмы“, безупречный стихъ гармонируетъ съ тонкой чеканкой пластическихъ образовъ.

Прекрасны греческія стихотворенія, посвященныя античнымъ мѣамъ, — прекрасны по возвышенному строю, какъ и по красотѣ вызываемыхъ образовъ. Они — то принимаютъ форму гимна („Кибела“), то эпического разсказа („Хиронъ“), то діалога или драматическаго эпизода („Елена“). Въ „Ніобеѣ“ эпическая форма смѣняется драматическою. Повѣствовательная часть блеститъ бытовыми деталями, драматическая — трагической грандіозностью. Гордая Ніобея, дочь Тантала и супруга Амфіона, во время пира, на которомъ поютъ хвалу боговъ, встаетъ въ гнѣвномъ негодованіи: тѣ боги, которымъ пѣвцы поютъ хвалебныя гимны, то враги ея дома, ея рода; эти надменные, жестокіе боги побѣдили великихъ Титановъ, мудро правившихъ прежде. Она предсказываетъ время, когда Зевсъ и его родъ будутъ поглощены ночью и забвеніемъ, и прежніе властители, Ураниды, покровители челоѣчества, благіе и мудрыя, будутъ царствовать вновь. Она не боится Зевса, она ненавидитъ его! Сокрушивъ отца ея, онъ не можетъ отнять у нея ея славы, цвѣта ея жизни, окружающее ее юное поколѣніе, сильнѣй и прекраснѣй дѣтей Латоны, родившихся въ стыдѣ. Гроза поражаетъ дворецъ, хоромы рушатся; шировавшіе въ смущеніи разбѣгаются. Драматично описаніе смерти дѣтей Ніобеи; каждой отдѣльной фигуры будто коснулся рѣзецъ художника; всѣ падаютъ; одна Ніобея, среди дѣтей своей любви, подбошенныхъ какъ злаки, поднимаетъ чело, котораго ровъ преклонить не можетъ. Превосходно описаніе превращенія ея въ мраморъ и въ безсмертную статую, воплотившую гордое страданіе, безнадежную потерю, вопіющую, но молчаливую.

Изъ любопытныхъ частности отмѣтимъ одну: пѣвцы на пирѣ воспѣваютъ эеиръ какъ „первобытную сущность, источникъ свѣта и жизни“; эта подробность отодвигаетъ дѣйствіе во времена мѣическія, указывая на первую ступень развитія греческой теогоніи. Такія подробности, свидѣтельствующія одинаково о серьезныхъ познаніяхъ, какъ и о тщательной обработкѣ, и разсыпанныя по всѣмъ произведеніямъ поэта, придаютъ имъ особенный интересъ и доставляютъ внимательному читателю рѣдкое наслажденіе.

Прелестны между „*Poemes antiques*“ антологическія пьесы, представляющія какъ бы рядъ камней замѣчательной отдѣлки, — картинокъ, которыя блестятъ свѣжестью и изяществомъ. Таковы „Анакреонтическія оды“, „Античныя медали“ и близкія имъ по содержанию „Латинскіе этюды“ и др. Анакреонтическія оды — отчасти вольный переводъ, отчасти подражанія. Изъ „Античныхъ медалей“ приведемъ одну, какъ образецъ игривой граціи: „Въ темныхъ нѣдрахъ горы, куда не пронивалъ ни одинъ смертный, въ липарскихъ пещерахъ, Гефестъ зажигаетъ огни въ кузницѣ. Доблестный мастеръ среди багроваго дыма поднимаетъ мощную руку и куетъ на раскаленной наковальнѣ ковкое желѣзо и твердую сталь. Быстро выходятъ изъ рукъ его мечи, трезубцы, и длинныя копья, и остроконечныя стрѣлы. А Киприда сидитъ поодаль и смѣется при видѣ смертельнаго оружія, менѣе сильнаго, чѣмъ ея мольба, менѣе опаснаго, чѣмъ ея взглядъ“.

Въ „Эхиднѣ“ поэтъ изображаетъ гибель отъ чарующаго дѣйствія коварной красоты. Въ „Эолидахъ“ находимъ поэтическое олицетвореніе вѣтровъ и цѣлый рядъ граціозныхъ картинокъ, по которымъ порхаютъ вѣтры. Между античными стихотвореніями Левонга де-Лиль нѣтъ пьесы, исключительно посвященныхъ описанію природы. Въ греческой поэзіи природа — въ рѣдкихъ случаяхъ, когда встрѣчается нѣчто въ родѣ описанія — была не болѣе, какъ рамка, среди которой двигался человекъ, и описаніе исчерпывается немногими штрихами. Эстетическое созерцаніе природы было почти чуждо. Непосредственное чувственное впечатлѣніе преобладаетъ надъ всякимъ другимъ. Еще болѣе чуждо греческой поэзіи было философское созерцаніе природы. Благодѣтельно или вредно вліяніе явленій природы — оно всегда выраженіе благодати или гнѣва боговъ. Согласно съ этимъ, Левонга де-Лиль, отводя описаніямъ болѣе скромное мѣсто въ античныхъ стихотвореніяхъ, то сочетаетъ ихъ съ идилліей („Ландшафтъ“, „Источникъ“ и др.), то даетъ имъ форму мѣта („Пробужденіе Гелиоса“). Въ индійскихъ поэмахъ поэтъ, умѣренный въ повѣствованіи, даетъ себѣ просторъ въ описательной части, исполненной пантеистическаго вѣянія. Здѣсь, напротивъ, все свѣтло и безмятежно. Вмѣсто эстетическаго или философскаго символизма, находимъ вездѣ ту же прозрачность, ту же непосредственность. Изъ идиллій приведемъ одну: „Буколиасты“. Это разговоръ между двумя пастухами, изъ которыхъ одинъ изливаетъ въ звучныхъ стихахъ грусть и вздохи, другой — жизнерадостность и беззаботность. Такъ, между прочимъ, первый поетъ: „Все хорошо, все прекрасно въ природѣ, когда возлюбленная моя босой ножкой ступаетъ по мягкой муравѣ“

лѣсовъ; въ полдень и вода кажется мнѣ свѣжей, и сосуды полны густыхъ сливокъ. Когда ея нѣтъ, все въ природѣ замираетъ; во всемъ тоска и неудача". — „Благіе боги, — говоритъ второй, — дайте обильное молоко моимъ сосудамъ. Когда палящее солнце озаряетъ лѣсную мураву, а я, сидя въ тѣни скалы, обвитой плющомъ, слышу ревъ быковъ и телокъ: боги, какъ хорошо, какъ прекрасно все въ мірѣ; счастливъ тотъ, кто родился!" — Первый: „Суровая зима есть зло для цвѣтовъ и растений, какъ лѣтній зной для свѣжей струи. Но тотъ, кого побѣдила дѣва, страдаетъ отъ болѣе жестокаго зла: причина зла — Эросъ, и жажды его и Лета утолить не можетъ". Далѣе: „Когда утренней зарей надъ нивой вивается жаворонокъ, я и не слушаю его, душа моя смущена; но чтобъ оживить тебя, нѣмая природа, достаточно одного голоса, который поетъ въ нивѣ". Второй: „Смѣхъ женщины, и пѣнье жаворонка, и щебетанье въ гнѣздахъ на деревѣ могутъ быть пріятны для слуха, но чтò звучнѣе рева молодого быка, который бодро выступаетъ на цвѣтущій лугъ! Клянусь Артемидой, я равнодушенъ къ черноокиимъ дѣвамъ, но быки составляютъ гордость и радость пастуха". Первый прощается со стадомъ своимъ, оставляя его подъ стражей вѣрнаго пса; самъ же, подобно Дафнису, онъ хочетъ умереть, ибо: „Возлюбленная вырыла мнѣ могилу. А ты, другъ, возьми цѣвницу сладковозвучную и легкую; воскъ ея еще сохраняетъ запахъ свѣжаго меда; сожги ея на скромномъ алтарѣ изъ мха и асфодели, вмѣстѣ съ кровью лучшей изъ овецъ моихъ; такъ умираю и я, умираю съ гнѣснопѣніемъ и вздохами". Второй: „Клянусь Прозерпиной, такой мрачной гѣсни никто еще здѣсь не слыхалъ. Пускай будетъ по твоему. Солнце поднимается выше, и тѣнь насъ манитъ; на вершинахъ замеръ вѣтерокъ. Выпьемъ вмѣстѣ сосудъ свѣжаго молока, а если угрюмый Андъ все еще прельщаетъ тебя, о, блѣдный пастушокъ, можешь умереть послѣ!"

Въ „Клеаристѣ" находимъ въ граціозномъ сочетаніи женскую красоту въ рамкѣ утренняго ландшафта. „По волнующейся нивѣ проходитъ Клеариста: надъ синими глазами тонкая дуга черныхъ бровей; на челѣ ленты сдерживаютъ волнистые волосы, спадающіе съ лилейной, гибкой шеи роскошными косами, въ которыхъ фіалки цвѣтутъ вмѣстѣ съ милетскими розами. Небесная заря кропитъ влагой ясный горизонтъ; жаворонокъ звучно и весело звидяся къ небсамъ; заяцъ, притаившись въ велепѣющихъ бороздахъ, внезапнымъ прыжкомъ шевелитъ колоса, съ которыхъ роса сыплется жемчугомъ. Подъ молодымъ утреннимъ небомъ кто прекраснѣе: синеокая дѣва съ плѣнительнымъ смѣхомъ на устахъ,

или заря, выходящая изъ морской пѣны? Кто это скажетъ? Кто скажетъ, о свѣтъ, о красота, не сошли ли вы вмѣстѣ съ того свѣтила, которое проливаетъ любовь и сіяніе на вселенную? Съ тѣхъ вершинъ, гдѣ скучилось густорунное стадо, пастухъ видитъ, какъ по нивѣ въ аломъ туманѣ идетъ образъ его мечтаній. Онъ говоритъ: Была ночь, а вотъ утро! И свѣтлѣе зари на горизонтѣ въ сердцѣ его восходитъ солнце“.

Въ драматическихъ сценахъ: „Елена“, главная мысль—непобѣдимая сила рока. Но въ свѣтлой Греціи даже рокъ не угнетаетъ человѣка, а только направляетъ его дѣйствія, его страсти, согласно съ личнымъ влеченіемъ дѣйствующаго лица. Парисъ переплываетъ черезъ море, чтобъ видѣть Елену и искать ея любви. Киприда, за предпочтеніе, данное ей, предсказала ему, что Елена полюбитъ его, и велѣла ему отправиться въ путь; потому онъ является во дворецъ отсутствующаго Менелая, въ полной увѣренности своей побѣды, хотя и проситъ сначала гостепрѣимства въ качествѣ странника. При видѣ прекраснаго юноши, любовь проникаетъ въ сердце Елены; но когда Парисъ сообщаетъ ей предсказаніе, она повелѣваетъ ему удалиться. Онъ повинуется, оставляя ее въ сильной душевной борьбѣ; но, отплывъ, вскорѣ опять возвращается къ ожидающей его Еленѣ, которая чувствуетъ, что воля Киприды сильнѣе ея, и рѣшается бѣжать съ Парисомъ, согласно съ велѣніемъ рока. Особенно хороши въ этихъ сценахъ хоры, восхваляющіе молодость и доблесть, красоту и любовь, чтобъ перейти въ концѣ къ мрачному пророчеству гибели за нарушение семейныхъ узъ. Невольно приходитъ на умъ сравненіе этихъ отрывковъ съ драмой Алфьери: „Мирра“, гдѣ, по волѣ богини, Мирра обуреваема преступною страстью; здѣсь античное возрѣніе на неизбѣжность роковыхъ поступковъ служитъ примиряющимъ и смягчающимъ началомъ. Это сообщничество боговъ у древнихъ отнимаетъ у рока острое жало, до извѣстной степени смягчаетъ ужасъ и поэтизируетъ его. Иначе звучитъ идея рока въ наше время; такъ напр., въ романѣ „Вильгельмъ Мейстеръ“, въ пѣснѣ отца Миньоны (всегда помѣщаемой между лирическими произведеніями Гёте): „Вы (т.-е. силы рока) вводите человѣка въ жизнь, вы несчастнаго дѣлаете преступнымъ, затѣмъ представляете его мукамъ, ибо всякая вина влечетъ за собой и кару“. Очевидно, что трудно высказать мысль болѣе мрачную, болѣе безнадежную. Въ романѣ Гёте слова объясняются трагическимъ положеніемъ поющаго, допускающимъ исключительность взгляда. Но странное впечатлѣніе дѣлаютъ такія же слова въ романѣ Ауэрбаха: „Дача на Рейнѣ“, гдѣ эта пѣснь, тождественная по мысли съ



поэмою: „Каинъ“, поется цѣлымъ обществомъ въ видѣ романа! Не страннѣ звучалъ бы въ античной драмѣ современный детерминизмъ, который, замѣняя фатализмъ древнихъ, перенесъ идею о необходимости судебъ изъ области религіи на научную почву и взялъ на себя опасное примиреніе со всякими уклоненіями нравственности.

Неполное усвоеніе античныхъ возрѣній въ поэтическихъ подражаніяхъ, равно какъ и прививка ихъ къ нравамъ нашего времени, даютъ; даже высоко-художественнымъ произведеніямъ характеръ чего-то нецѣльнаго, поддѣльнаго, лишаетъ ихъ той жизненности, которая чувствуется при чтеніи произведеній подлинныхъ. Не всегда мы сразу даемъ себѣ отчетъ въ разнородности содержанія, но полнота впечатлѣнія, тѣмъ не менѣе, утрачивается.

Это небольшое отступленіе отъ предмета приводитъ насъ къ разбору крупнѣйшаго произведенія Леконта де-Лиль: „Эриннія, античная драма въ двухъ частяхъ“. Она была поставлена на сценѣ въ Парижѣ въ 1873 г. и вызвала большой восторгъ. Едва ли до этого времени парижскіе подмостки видѣли такое удачное подражаніе древней трагедіи. Трудность попасть въ тонъ ея и вмѣстѣ съ тѣмъ удовлетворить современнымъ вкусамъ въ „Эринніяхъ“ устранила не только близкимъ знаніемъ древности, но и замѣчательнымъ художественнымъ тактомъ поэта. Не разъ было говорено, что всѣ воспроизведенія древности болѣе или менѣе грѣшатъ неточностью, или вслѣдствіе недостаточнаго знакомства съ изображаемымъ временемъ, или же вслѣдствіе того отпечатка современности, который ложится на произведеніе помимо воли автора. Эти недостатки и трудности отвели и историческому роману на нѣкоторое время второстепенное мѣсто въ литературѣ, послѣ краткаго, но несомнѣннаго процвѣтанія; только недавно стала сказываться попытка возсоздать его на культурно-историческихъ основахъ, а именно съ преобладающимъ археологическимъ интересомъ. Починъ былъ сдѣланъ еще въ 60-хъ годахъ Флоберомъ, въ романѣ изъ кареагенской жизни: „Саламбо“; а въ послѣднее время въ Германіи Эберсъ нашелъ нѣсколько послѣдователей, какъ бы Данъ и Гамерлингъ. Независимо того, что эти романы въ свою очередь носятъ характеръ модернизации, по отношенію къ историческимъ наукамъ, интересъ ихъ все-таки значителенъ. Тѣмъ, въ своемъ разборѣ Расина, говорить, что именно эта дань современности даетъ произведенію большую цѣну въ глазахъ современниковъ, сближая ихъ съ дѣйствіемъ. Это могло быть вѣрно для XVII-го вѣка во Франціи; мы же гораздо възыскательнѣе отно-

сительно культурно-исторической окраски. Но интересъ, который представляютъ драматическія заимствованія, долженъ быть двойной: передѣлка сюжета на новые нравы можетъ удовлетворять нравственнымъ понятіямъ времени, какъ „Ифигенія“ Гёте и трагедія Расина; или подражаніе должно переносить насъ въ отдаленную эпоху, воспроизводя міровоззрѣніе и нравы ея, и дѣлать впечатлѣніе, можетъ быть, не столь благопріятное для массы, но болѣе цѣльное и правдивое. Произведенія перваго разряда болѣе самостоятельны и требуютъ нѣкотораго творчества; вторыя — осмысленнѣе и требуютъ болѣе тонкаго пониманія и такта. Въ первыхъ — поэтическую правду приходится отдѣлать отъ безусловной истины въ драмѣ, ибо правда допускаетъ возможное; вторыя требуютъ того, что типично и неоспоримо. Къ послѣднему разряду принадлежитъ драма Леконта де-Лиль „Эринніи“ — подражаніе „Оресту“ Эсхила, и подражаніе довольно близкое, если брать въ расчетъ только фабулу. Искушеніе внести что-либо личное или современное въ такихъ случаяхъ очень сильно, какъ объ этомъ свидѣлствуютъ вообще подражанія и обработки. У Леконта де-Лиль нигдѣ не прорывается ничего ложнаго, поддѣльнаго; въ мельчайшихъ подробностяхъ онъ попадаетъ въ тонъ своего образца. Можно спросить: къ чему же писать послѣ древнихъ на ту же тему и въ ихъ же тонѣ? Древняя трагедія имѣла особенности, которыя въ наше время сдѣлали бы впечатлѣніе не только страннаго анахронизма, но дали бы дѣйствию характеръ фееріи. Мы знаемъ, какъ рѣдко ставятъ въ наше время античныя драмы и почему. Не всѣ элементы античной трагедіи нашли мѣсто у Леконта де-Лиль. Хоръ не устраненъ, но представляетъ нѣчто интегральное съ дѣйствіемъ; онъ не судья и не комментаторъ; — онъ не поетъ и мало повѣствуетъ; выпущены длинные рассказы, имѣвшіе для грековъ историческій и бытовой интересъ. Вслѣдствіе удачнаго компромисса между античнымъ значеніемъ хора и новыми сценическими нравами, онъ состоитъ изъ дѣйствующихъ лицъ, имѣющихъ второстепенное значеніе; общія мысли онъ высказываетъ настолько, насколько это сдѣлали бы участники или зрители дѣйствія въ любой драмѣ. Поэту удалось воспроизвести типичное древней трагедіи, удовлетворяя въ то же время и новому вкусу. Сохранивъ фабулу въ главныхъ очертаніяхъ, онъ передалъ только сущность дѣйствія, а въ деталяхъ остался вѣренъ тону античной трагедіи, которымъ вполне проникся. Сличеніе „Ореста“ съ „Эринніями“ лучше всего убѣдитъ въ этомъ.

Не говоря уже объ „Ифигеніи въ Авлидѣ“ у Расина и у Эврипида, — чтобы указать на рѣзкій контрастъ между истиннымъ

и ложнымъ классицизмомъ, сравнимъ „Ифигенію“ Гёте съ „Ифигеніей“ Эврипида, и придется удивляться, что ихъ такъ часто сравнивали—до того различны онѣ по тону. На „Ифигенію“ Гёте принято смотрѣть нѣмецкой критикой какъ на цвѣтъ эллинизма, какъ на „античную трагедію, смягченную нравственными понятіями новаго времени“. Но трудно согласиться съ Брандесомъ, что эллинизмъ Гёте едва ли не ниже воспроизведенія древности у Расина. Насколько намъ извѣстно, до сихъ поръ не принято было указывать, въ чемъ отстываетъ Гёте отъ древней трагедіи.

Если „Ифигенію“ Гёте сравниваютъ съ прекрасной античной статуей, то это говоритъ болѣе въ пользу художественности, чѣмъ драматичности и правдивости ея. Мраморное изящество и мраморная безстрастность представляютъ весьма сомнительную похвалу для драмы, указывая на недостатокъ въ ней жизненности. Двѣ крупныя особенности поражаютъ при чтеніи „Ифигеніи“: во-первыхъ, необыкновенная мягкость и культурность въ дѣйствующихъ лицахъ; во-вторыхъ, мудрая сентенціозность и рѣдкая находчивость въ діалогахъ. Одинаково трудно перенестись во времена мионическія, какъ и представить себѣ, что дѣйствіе происходитъ въ странѣ скивовъ. Не только царь скивовъ, Тоасъ, слишкомъ приличенъ для варварскихъ временъ; его сдержанность и деликатность были бы по плечу любому джентльмену, а въ дѣлѣ любви заставили бы покраснѣть многихъ любящихъ въ современной драмѣ. Съ своей стороны Ифигенія, которая не можетъ рѣшиться унести статую Діаны, которой она служила жрицей, выказываетъ такую идеальную добросовѣстность и утонченность чувства, что, въ виду исключительныхъ мотивовъ, побуждающихъ ее къ бѣгству, характеръ ея запечатлѣнъ идеализмомъ, котораго не превзойдетъ героиня любой новой драмы. Колебанія ея, составляющія узелъ драмы и въ продолженіе двухъ актовъ затягивающія развязку, потому что она до конца хочетъ остаться достойной гостепрѣимства Тоаса, представляютъ не только рѣзкій контрастъ съ тѣми хитростями, къ которымъ прибѣгаетъ гречанка у Эврипида, но очень плохо вяжутся съ тѣмъ значеніемъ, которое возвать домашнихъ боговъ имѣлъ у грековъ,—и не у однихъ грековъ. Библия, столь часто воспроизводящая древность безъ рамокъ и румянъ, несмотря на свое догматически-дидактическое направленіе, показываетъ намъ Рахиль, уносящую подъ сѣдломъ верблюда домашнихъ боговъ, дабы заручиться счастьемъ и успѣхомъ. Современность такъ взыскательна относительно культурно-исторической окраски, что уступка, сдѣланная новымъ нравственнымъ понятіямъ у Гёте, имѣетъ сомнительную цѣну, хотя

производитъ весьма благоприятное впечатлѣніе на читателя, ищущаго въ поэзии высокихъ идеаловъ, даже въ ущербъ исторической и жизненной правдѣ. Разсмотрѣвъ всѣ эти діалоги, мы должны будемъ согласиться, что авторъ заставляетъ дѣйствующихъ лицъ говорить по образцу современниковъ. Ифигенія отстаиваетъ себя не поступками, а словами: это было время философской діалектики, возвышеннаго паѳоса и всякихъ изреченій въ сжатыхъ эпиграммахъ, которыя направлялись какъ стрѣлы въ противоположный литературный лагерь. Время возрожденія отразилось въ словопреніяхъ Ифигеніи съ Тоасомъ или Аркасомъ; каждое слово въ нихъ снабжено остриемъ, каждая мысль равняется изреченію, слишкомъ мѣткому и въсвому, чтобы имѣть характеръ импровизаціи. Приведемъ примѣры:

Въ концѣ 1-го акта, когда Тоасъ убѣждаетъ Ифигенію, чтобы она согласилась на бракъ съ нимъ, а Ифигенія отвѣчаетъ, что сами боги внушаютъ ей отказать ему, Тоасъ говоритъ: „То говорятъ не боги, а твое сердце“.—Ифигенія: „Боги говорятъ съ нами голосомъ нашего сердца“.—Т. „Почему бы и мнѣ не слышать ихъ?“—Иф. „Буря страсти заглушаетъ внутренній голосъ“.—Т. „Не жрица ли одной онъ слышенъ?“—Иф. „Болѣе всѣхъ приличествуетъ царю прислушиваться къ нему“, и т. д.

Въ разговорѣ между Орестомъ и Пиладомъ, Пиладъ старается утѣшить друга словами, что боги не могутъ мстить дѣтямъ за преступленія отцовъ; унаслѣдуется только благословеніе, а не кара. Орестъ: „Не благословеніе боговъ привело насъ сюда“.—Пиладъ: „Но все же воля ихъ“.—Ор. „Тогда воля ихъ толкаетъ насъ на путь гибели“, и т. д.

Въ 4-мъ дѣйствіи, когда Аркасъ требуетъ отъ Ифигеніи жертвоприношенія, а она отказывается, говоря о непредвидѣнномъ препятствіи, онъ спрашиваетъ: „Что мѣшаетъ тебѣ исполнить волю царя?“—Иф. „Случай, надъ которымъ мы безсильны“.—Арк. „О рѣдкомъ случаѣ подобаетъ знать царю“.—Иф. „Ни совѣтъ, ни повелѣніе его ничего измѣнить не могутъ“.—Арк. „Сильныхъ спрашиваютъ уже ради приличія“.—Иф. „Не требуй того, въ чемъ я должна отказать“.—Арк. „Не отказывай въ томъ, что справедливо и полезно“.

Далѣе: Иф. „Что въ моей власти, то я дѣлаю охотно“.—Арк. „Ты считаешь невозможнымъ то, что стоитъ тебѣ труда“.—Иф. „Тебѣ же оно кажется возможнымъ, потому что ты руководишься желаніемъ“.—Арк. „Ты подвергаешься опасности съ такимъ спокойствіемъ“.—Иф. „Предоставляю все богамъ“.—Арк. „Боги спасаютъ людей человѣческими средствами“.—

Иф. „Все зависить отъ даннаго ими указанія“. Далѣ: Иф. „Не искушай души моей, рѣшенія которой не измѣнишь“. — Арк. „Пока еще время, не нужно щадить труда и добрыхъ словъ“. — Иф. „Твой трудъ напрасенъ и причиняетъ мнѣ страданія“. — Арк. „Въ страданіямъ взываю: это друзья, совѣтъ которыхъ благъ“. — Иф. „Я чувствую ихъ силу, но побѣдить они не могутъ отъращения“. — Арк. „Неужели благодѣяніе изъ руки того, кто благороденъ, вселяетъ отъращеніе въ томъ, кто благороденъ самъ?“ — Иф. „Да, если благодѣтель, хотя бы и благороденъ, не благодарности желаетъ, а требуетъ меня всецѣло“. — Арк. „Всегда найдеть причины тотъ, кто любить не можетъ“.

Далѣ, когда Ифигенія не рѣшается тайно уйти отъ Тоаса, Пиладъ убѣждаетъ ее: „Ты уходишь отъ убійцы брата“. — Иф. „Но онъ же дѣлалъ мнѣ добро“. — Пил. „Неблагодарности нѣтъ тамъ, гдѣ нужда повелительница“. — Иф. „Неблагодарность не мѣняетъ имени, даже когда нужда извиняетъ ее“. — Пил. „Передъ богами и людьми найдешь прощенье“. — Иф. „Меня сердце будетъ обвинять“. — Пил. „Излишняя суровость — не болѣе, какъ скрытая гордыня“. — Иф. „Не разсуждаю я, но чувствую“. — Пил. „Если чувства не подвержены обману, ты уваженіе чувствовать должна къ себѣ“. — Иф. „Незапятнанная душа одна мнѣ дастъ покой“. Все это прекрасно, возвышенно; этическая мудрость Ифигеніи несравненно болѣе приходится намъ по сердцу, чѣмъ практическая хитрость Ифигеніи у Эврипида; но въ рамѣхъ античнаго сказанія ничего не остается греческаго, кромѣ именъ, да можетъ быть гармонической ясности классическаго языка. Эти заостренныя сентенціи, сжатость и мѣткость которыхъ впрочемъ трудно передается въ переводѣ, такъ вѣски и обдуманны, какъ будто ихъ подсказывали мудрецы; онѣ и отъ читателя требуютъ напряженнаго вниманія, и должны совершенно теряться на сценѣ. Таковой нити жемчуга нѣтъ ни у одного классика, а на этическую возвышенность развѣ въ „Антигонѣ“ Софокла мы найдемъ слабый намекъ.

Вмѣсто того, чтобы дать подобную амальгаму изъ древняго и новаго, Леконтъ де-Лиль въ „Эринніяхъ“ держался своего образца, и дѣлалъ измѣненія только въ его же духѣ, т.-е. согласно съ древней фавулой и общимъ тономъ древней трагедіи.

У Эсхила хоръ говорить объ Эринніяхъ, что онѣ бродятъ по дому, въ чемъ видятъ предвѣстіе великихъ несчастій. У Леконта де-Лиль онѣ до начала дѣйствія ходятъ взадъ и впередъ по сценѣ, и такимъ образомъ готовятъ зрителя къ предстоящимъ событіямъ, будто указывая на тяготѣніе преступленій и кары надъ дворцомъ Атридовъ.

По возвращеніи Агамемнона изъ Иліона и при входѣ его во дворецъ, Клитемнестра повелѣваетъ разостлать передъ нимъ пурпуровыя ткани. У Эсхила Агамемнонъ сначала отказывается идти по нимъ, наконецъ дѣлаетъ уступку женѣ, но только снявъ сандалии, ибо „было бы стыдно портить сокровища, попирая ногами ткани, купленные за дорогую цѣну“. У Леконта де-Лиль онъ положительно отказывается, ибо— „по родной землѣ путь вѣрнѣе, шире и роскошнѣе“. Въ сравненіи съ наивнымъ реализмомъ у Эсхила это уклоненіе представляетъ нѣкоторую утонченность чувства, но въ этой утонченности нѣтъ ничего ложнаго, ничего такого, чего не могъ бы сказать и герой древности.

Идея рока у Леконта де-Лиль смягчена. У Эсхила боги повелѣваютъ Оресту мстить за отца, грозя страшной карой ему и странѣ въ случаѣ ослушанія. У Леконта де-Лиль Орестъ только говоритъ: „Судьба требуетъ того“, и дальнѣйшихъ указаній нѣтъ. Или: „если Зевсъ каратель одобритъ мой поступокъ“; тутъ есть сомнѣніе, такъ что остается какъ бы свобода воли. Даже хоръ не соглашается между собой. Каллироя сравниваетъ милосердіе со снѣгомъ на вершинѣ горъ, съ котораго крови смыть нельзя. „Предоставь кару богамъ“,—завключаетъ она. Исмена, напротивъ, говоритъ: „Нѣтъ, будущее коренится въ прошломъ. Бровь искупается кровью, таковъ законъ“.

Леконтъ де-Лиль одинаково избѣжалъ искушенія сдѣлать изъ Ореста волеблущагося, борющагося Гамлета, какъ не хотѣлъ сдѣлать мотивомъ поступка определенное велѣніе боговъ: первое слишкомъ плохо вязалось бы съ античнымъ духомъ; второе—съ современными понятіями. Потому, упростивъ фабулу, онъ удалил все слишкомъ специфическое, въ то же время примѣняясь къ новымъ понятіямъ тамъ, гдѣ древніе нравы имѣютъ характеръ непонятный или отталяющій, но сохраняя все, что должно было передать потрясающій трагизмъ античнаго сказанія. Чтобы лучше мотивировать негодованіе Ореста противъ матери, поэтъ заставляетъ его рассказывать, какъ его въ отсутствіе отца увезли изъ родительскаго дома и какъ приходилось ему терпѣть на чужбинѣ.

Изъ специфическихъ выраженій онъ сохранилъ тѣ, которыя по картинности объясняются сами собой. Такъ у Эсхила стражъ, возвѣщающій о паденіи Иліона, говоритъ съ указаніемъ на беззаконія, совершающіяся во дворцѣ: „быкъ тяготѣетъ на моемъ языкѣ“. Выраженіе повторяется въ „Эриніяхъ“, въ смыслѣ ли подкупа съ указаніемъ на быка на аѳинскихъ монетахъ, или въ смыслѣ неохоты говорить,—наивная картинность выраженія говоритъ за себя. Другой примѣръ: Орестъ называетъ преслѣдующихъ его

Эринній—собаками своей матери. У Эскила Клитемнестра грозитъ Оресту: „Берегись разъяренныхъ псовъ, которые мстятъ за мать“, и въ сценѣ убійства въ „Эринніяхъ“ она проклинаетъ сына такими же словами. Въ „Прометей“ орлы названы „крылатыми псами Юпитера“ и т. д.

Не входя въ подробное сравненіе двухъ текстовъ, т.-е. „Ореста“ Эскила и „Эринній“ Леконтъ де-Лиль, ограничимся краткой передачей дѣйствія въ „Эринніяхъ“. Изъ трехъ частей у Эскила современный поэтъ сохранилъ двѣ первыя, подл. именами: „Клитемнестра“ и „Орестъ“. Эвмениды, заключающія примиреніе Ореста съ рокомъ, благодаря внимательству Аполлона и Минервы, уже по своему специфически-греческому характеру, могутъ только ослабить впечатлѣніе, производимое трагедіей на современнаго зрителя. Страданія Ореста отъ преслѣдованія Эвменидъ, только намѣченныя во 2-ой части у Эскила, во французскомъ текстѣ перенесены къ концу ея и потрясаютъ зрителя силою, съ которой онѣ изображены при употребленіи сравнительно несложныхъ поэтическихъ средствъ.

Въ вступленіи, Эринніи, блѣдныя, худыя, въ бѣлыхъ одѣяніяхъ, съ распущенными волосами, ходятъ взадъ и впередъ передъ портикомъ дворца Атридовъ. Свѣтаетъ. Онѣ исчезаютъ. Хоръ старцевъ; Эврибать и Талтибій. Талтибій говоритъ старцамъ, что вотъ уже 10 лѣтъ, какъ уѣхали вожди эллиновъ, и все еще нѣтъ ни ихъ, ни флота. Не вернется болѣе доблестный Атридъ. Какія жертвы умиротворятъ Эринній, которая стерегутъ древнюю обитель ненависти и измѣны? Эврибать приказываетъ ему молчать. Женщина, которая властвуетъ здѣсь, не ждетъ болѣе героя. Желѣзнымъ сердцемъ она приготовила посрамленіе и неволю молодому наслѣднику, который не замѣнитъ отца на престолѣ отцовъ. Стражъ вбѣгаетъ съ извѣстіемъ, что Иліонъ палъ и что Агамемнонъ, царь и побѣдитель, на возвратномъ пути. Онъ видѣлъ пламенные столбы, долженствовавшіе служить сигналомъ. Ему не вѣрятъ и приписываютъ сообщенное извѣстіе умопомѣшательству или ложному прорицательству. — Клитемнестра подтверждаетъ извѣстіе, и будто въ ясновидѣніи описываетъ пожаръ и разрушеніе Иліона. Она готовитъ супругу торжественную встрѣчу; но скорбь и скрытая ненависть звучатъ въ ея словахъ, когда она заканчиваетъ тѣмъ, что священный вождь, безпорочный герой и властелинъ, которому Зевсъ даруетъ возвращеніе на родину, не увидитъ въ живыхъ молодой, невинной жертвы, кровь которой пролилась для блага эллиновъ, „первый цвѣтокъ, расцвѣтшій на глазахъ моихъ, обожаемый залогъ благости бо-

говъ, которую въ порывѣ безмѣрной радости я устами и сердцемъ назвала Ифигеніей! Но что должно было свершиться—свершилось. Довольно. Когда все кончено, остается забвеніе. Хвалите боговъ! Войско взяло великую Трою. Иду возвѣстить эту радость всему Аргосу, и пусть кровь ста быковъ денно и ночью струится подъ открытымъ небомъ“. — Старцы говорятъ о мрачныхъ предчувствіяхъ, о страшныхъ грѣзахъ, которыя тревожатъ ихъ. Хотя по городу раздаются крики и ликованія толпы, но „горе кроется въ тѣни, ибо за древнія преступленія кара еще не исполнилась“. Клитемнестра привѣтствуетъ входящаго Агамемнона; она говоритъ о тоскѣ разлуки, объ опасеніяхъ и ужасахъ одиночества; считая себя беззащитной безъ супруга своего, она удалила сына изъ Аргоса, дабы онъ росъ и мужалъ вдали отъ возней и возможной измѣны. Но то время прошло, время страшныхъ сновъ и безконечнаго ожиданія. Вотъ доблестный мужъ, зоркій стражъ очага, онъ, „который мнѣ дороже и святѣй, чѣмъ истомленному страннику студеный ключъ, манящій его живительной влагой. Иди же, владыка, гордость Эллады и жизни моей, шествуй стопой побѣдителя по пурпуровымъ тканямъ въ дворецъ предковъ“. Прислужницы разстилаютъ ковры передъ Агамемнономъ. Царь привѣтствуетъ храмы, домъ свой и народъ, и благодаритъ боговъ за охрану домашнего очага и счастливое возвращеніе. Но „неразумно гласять уста твои, жена: я смиренно войду въ обитель предковъ; я хочу быть почитаемъ не какъ богъ, не какъ царь варваровъ, надменный и слѣсивый, но какъ человѣкъ, слѣпкомъ хорошо вѣдающій, что зависть бродитъ въ тѣни, тамъ, гдѣ расцвѣтаетъ счастье. Жена, намъ подобаетъ быть мудрыми и владѣть собой“. — Кл.: „Согласись, драгоценный! Исполни желаніе моей души. Пасмурные дни миновали, и мнѣ сладко всенародно почтить въ тебѣ супруга, властелина и мстителя. Царь людей, пурпуръ приличествуетъ твоему сану и видъ его нравится богамъ“. — Агам.: „Жена, храни въ сердцѣ слова мои: повинуйся. По твердой землѣ, землѣ возлюбленной родины моей, путь вѣрнѣе, шире и роскошнѣе. Я несъ безропотно тяготу многихъ лѣтъ и трудовъ, возложенныхъ на меня богами, и жду только сердечнаго привѣта друзей, не лъстивыхъ ликованій, не земныхъ преклоненій во прахѣ“. Указывая на плѣнную Кассандру: „Смотри на нее. Судьба подъ ногами побѣдителя роетъ черную бездну, и кто поднимаетъ главу, тотъ близокъ къ паденію. Потому будь добра къ чужестранкѣ. Смягчи скорбь и облегчи узы ея, ибо богамъ нравится кротость въ повелителѣ. Помни, что кровь героевъ питала этотъ цвѣтъ на царственномъ древѣ,



съ котораго опали листь за листомъ. Вхожу. Да улыбнется мнѣ обитель предвовъ! Души домашняго очага, примите меня! — Клитемнестра зоветъ Кассандру во дворець, но Кассандра стоитъ неподвижная, будто не слыша. Клитемнестра повторяетъ приказаніе, говоря, что часъ жертвоприношенія насталъ, и съ гнѣвомъ заканчиваетъ: „Глаза у нея полны помѣшательства или ненависти. Подожди! Скуемъ тебѣ золотую узду, дочь царей, узду, которая покроется гнѣной у рта твоего“. Старцы спрашиваютъ Кассандру, развѣ она не понимаетъ языка ихъ? Но она не слышитъ и, преслѣдуемая страшными видѣніями, предсказываетъ, что видѣть въ ближайшемъ будущемъ смерть себѣ и царю отъ руки супруги, въ томъ дворцѣ, который уже видѣлъ страшныя преступленія. Она жалуется, что ее не слушаютъ; она предсказала паденіе Иліона, но не могла спасти родного города; нѣкогда Аполлонъ, любя ее, даровалъ ей духъ пророчества; но съ тѣхъ поръ, какъ она измѣнила ему, ея прорицательства только служатъ ей на муку. Старцы успокоиваютъ ее, говоря, что въ этомъ дворцѣ она безопасна. „Безумцы, и вы не вѣрите! Вотъ онѣ, собаки, которыя всегда спѣшаютъ туда, гдѣ гибель, вотъ онѣ, блѣдныя Эринніи! Идите, идите! онѣ палъ, великій вождь, побѣдитель моего народа, покоритель Иліона“, и т. д. Ей кажется, что холодъ смерти уже проникаетъ въ ея члены; она бросаетъ скипетръ и повязку жрицы и продолжаетъ предсказывать прибытіе Ореста и преступленіе его; наконецъ, борясь съ собой, будто толкаемая невидимыми силами, входитъ во дворець, осыпая его проклятіями. Старцы разсуждаютъ о томъ, что чему слѣдуетъ совершиться, того не минуешь. Во дворцѣ раздается крикъ пораженнаго Агамемнона. Входитъ Клитемнестра, обрызганная кровью и съ топоромъ въ рукахъ. Она высказываетъ дивную радость тому, что задуманная месть свершилась. На упреки, что преступленіе ея неслыханно, она отвѣчаетъ указаніемъ на столь же неестественную смерть Ифигеніи. Пускай вмѣстѣ лежать во прахѣ: побѣдитель Иліона и чужестранка, рабыня его. Она объявляетъ народу, что любитъ Эгиста, который впредь будетъ правителемъ Аргоса. Ей напоминаютъ объ Орестѣ; отвѣтъ ея полонъ ненависти и угрозы. Старцы хотятъ поднять возстаніе; но она останавливаетъ ихъ словами, что Эгистомъ взяты всѣ мѣры предосторожности для удаи задуманнаго и полной ихъ безопасности, и грозитъ имъ местью, если они вздумаютъ противиться. „Я люблю, я царствую! — заканчиваетъ она: — я отомстила за дочь! Теперь пусть грянетъ громъ, я буду ждать удара, не опуская глазъ и съ поднятымъ челомъ“.

Въ краткой передачѣ нѣкоторыя сцены могутъ казаться переводными; только сличеніе можетъ указать на всѣ измѣненія, сдѣланныя въ частностяхъ современнымъ поэтомъ. Такъ, во 2-ой части Орестъ дѣлаетъ сестру соучастницей убійства, требуя отъ нея притворства при вѣсти о смерти его. У Эскила этого нѣтъ; у него Электра, болѣе рѣшительная, все-таки уходитъ во дворецъ послѣ перваго свиданія съ Орестомъ и болѣе не показывается на сценѣ. Въ „Эринніяхъ“ она повинуется брату, не подовѣривая, что онъ задумываетъ убійство не одного только Эгиста.

Въ „Орестѣ“ Электра готовится дѣлать возліанія на могилѣ Агамемнона, по повелѣнію Клитемнестры, которая, преслѣдуемая страшными сновидѣніями, хочетъ умиротворить тѣнь супруга. Электра вызываетъ въ тѣни отца, прося о защитѣ за себя и брата, законнаго наслѣдника престола. Она молитъ боговъ послать мстителя, который прекратилъ бы гоненія, взводимыя на нихъ царемъ-самозванцемъ. Выходитъ Орестъ, издали слѣдившій за обрядомъ, и называетъ себя братомъ ея и мстителемъ за отца. Онъ повелѣваетъ ей сообщить Клитемнестрѣ о немъ, какъ о странникѣ, принесшемъ вѣсть о смерти Ореста, и выказать должную печаль. Является Клитемнестра и грозитъ Электрѣ, плачущей о томъ, что сынъ послѣдовалъ въ адъ за отцомъ, а Оресту повелѣваетъ слѣдовать за ней во дворецъ, дабы Эгистъ отъ него самого услышалъ радостное для него извѣстіе. Пока Электра высказываетъ опасенія за Ореста, раздаются крики, что Эгистъ убитъ. Изъ дворца выбѣгаетъ Клитемнестра и рассказываетъ въ несвязной рѣчи, какъ совершилось убійство; за ней слѣдуетъ Орестъ, который говоритъ ей, кто онъ, и осыпаетъ ее упреками; она проситъ о помилованіи; „матерей не убиваютъ“, говоритъ она сыну, затѣмъ грозитъ ему мщеніемъ фурій и умираетъ съ проклятіями подъ ударами Ореста.

Въ потрясающемъ концѣ поэтъ отдалъ дань сенсационнымъ приѣмамъ новой драмы; древніе были, при всемъ трагизмѣ замысла, умѣреннѣе въ выраженіи страстныхъ движеній души. Для читателей Шекспира и современной драмы они, потому, въ большинствѣ случаевъ кажутся холодными и безцвѣтными. Потому у Леконта де-Лиль убійство Клитемнестры совершается на сценѣ. Послѣдній монологъ Ореста — самая сильная изъ всѣхъ сценъ. „Хорошо! Что-жъ? Я испутилъ кровь. Змѣя умерла. Она все отравляла своимъ ядомъ. Она убила мужа и сына продала... Теперь она успокоилась навѣки, полагаю. Жду награды отъ правосудія боговъ“. Глядя на трупъ Клитемнестры: „Какъ она

велика! Она какъ будто слышитъ меня... Нѣтъ! Я ударилъ ее въ сердце и не промахнулся. Поступокъ хорошъ. Правосудіе того требовало. Преступленіе всегда искупается“. Онъ опять перечисляетъ злодѣянія и преступное торжество виновныхъ, — торжество, которому онъ положилъ предѣлъ. „Вся Эллада будетъ хвалить меня, говоря: „Это хорошо. Онъ отмстилъ за отца и отстоялъ отцовское наслѣдіе“. Онъ опять смотритъ на трупъ. „Почему не закрываешь ты кровавыхъ вѣкъ? Чего хочешь? Сердце мое — камень: я ничего не боюсь; я все устроилъ къ лучшему. Довольно! Не смотри на меня закатившимися зрачками! Я погребу тебя и страданія свои, и все предамъ забвенію, какъ бываетъ съ рововыми воспоминаніями. Зачѣмъ слѣдишь за моими движеніями? Смотри въ адъ, не на меня!“ Онъ прикрываетъ лицо мертвой Клитемнестры ея пеплосомъ. Протягивая руки къ могилѣ отца: „Отецъ, подымись изъ мрака необъятной ночи, покажись сыну, который мститъ за тебя! Онъ взываетъ къ тебѣ, дорогая тѣнь! Услышь, приди, скажи ему, что передъ всѣми богами небесъ и бездны поступокъ его былъ справедливъ и законенъ“. Двѣ Эринніи встаютъ по обѣ стороны могилы. „Что это? Откуда онѣ? Говорите, старыя, чтѣ дѣлаете здѣсь?“ Три Эринніи показываются около трупа Клитемнестры. „Еще, о, боги! На исхудалыхъ лицахъ посинѣвшія губы вздернулись, какъ будто укусятъ хотять. Чудовища! Зачѣмъ скрежете зубами? Назадъ!“ Эринніи показываются со всѣхъ сторонъ. „По истинѣ, онѣ роятся! И я добычей имъ достался! Ужасъ душитъ меня! Нѣтъ, то не сонъ, я не сплю! Несчастный, такъ, я знаю все: это онѣ, разъяренные псы матери моей! Зачѣмъ молчите? Кому указываете на меня костлявыми руками, волчицы изъ аида? Я жду васъ, подойдите! Вы не ошиблись. Это я, я ударилъ ее. Вотъ кровь. Земля пропитана ею. Она течетъ мнѣ подъ ноги... она мнѣ руки жжетъ... Но вѣдь вы знаете, чудовища... она отца убила! Ну что-жь?! Я учинилъ расправу. Вотъ она мертвая. Да поглотить бездна—ее, ея коварство, и злобу, и преступокъ чернѣй! О, вы молчите, страшныя!“ Эринніи бросаются на него. „Ужасы!“ Онъ хочетъ бѣжать. Другія Эринніи загораживаютъ ему путь. „Ужасы!“—Тотъ, кто понтересуется сравнить двухъ-актную драму Леонта де-Лиль съ трилогіей Эсхила, вѣрно согласится, что у Эсхила нѣтъ ни одной сцены, которая была бы сильнѣе этой и вселяла бы болѣе ужасъ. Если, согласно съ извѣстнымъ изреченіемъ Аристотеля, — смыслъ котораго, впрочемъ, до сихъ поръ не вполне установленъ,—цѣль трагедіи состоитъ въ томъ, чтобы „возбужденіемъ ужаса и состраданія до-

стигнуть очищенія—катарзиса — страстей“, то „Орестъ“ вполне удовлетворяетъ требованіямъ, которыя ставятъ теоретики древности. вмѣсто смѣси стараго и новаго, хотя бы приведенной въ стройную гармонію, какъ у Гёте, смѣси, объединенной примиряющимъ созвучіемъ высшихъ мыслей, прекраснаго слога, въ „Эринніяхъ“, кромѣ легкой и вполне осмысленной данн современности, нѣтъ ни одной подробности, которая не попадала бы въ тонъ цѣлаго, ни одного измѣненія, которое не свидѣтельствовало бы о чувствѣ мѣры и о художественномъ талантѣ. Бдльшая самобытность даетъ произведенію и большую цѣну въ глазахъ критика; но это разсудочное соображеніе не замѣняетъ той силы, цѣльности и правдивости впечатлѣнія, которое бываетъ только слѣдствіемъ внутренняго согласія между всѣми элементами, входящими въ составъ произведенія.

Не знаю, имѣемъ ли мы трагедію, которую во всѣхъ отношеніяхъ можно бы считать образцовою. Метафорическій и гиперболическій слогъ Шекспира, тѣмъ болѣе возвышенный пафосъ, а подчасъ и велерѣчивость Шиллера упрочать за ихъ драмами эпитетъ „образцовыхъ“, только съ точки зрѣнія прекраснаго вообще, но помимо всѣхъ требованій относительно поэтическихъ произведеній, назначенныхъ для сцены. Драма раздѣляетъ судьбу человѣческой мысли: исторія ея представляетъ цѣлый рядъ попытокъ, болѣе или менѣе удачныхъ, болѣе или менѣе своеобразныхъ и даровитыхъ; лучшія удовлетворяютъ извѣстному времени, извѣстному составу зрителей. Драма подвержена колебаніямъ, — какъ общество, которому она служитъ зеркаломъ, — какъ человѣчество, которое она изображаетъ. Много прекрасныхъ драмъ, но нѣтъ драмы „*par excellence*“. Какъ „только все человѣчество вмѣщаетъ въ себя“ — такъ, должно быть, всѣ драмы, взятая вмѣстѣ, дали бы образецъ драмы, „драматическій микровоскъ“, удовлетворяющій всѣмъ требованіямъ. Но въ рамѣ заимствованнаго сюжета и въ оковахъ подражательнаго жанра едва ли найдется драма удачнѣе „Эринній“ Леконта де-Лиль, благодаря его способности „выйти изъ самого себя“, что требуется отъ каждаго драматическаго поэта вообще, отъ драматическаго поэта, воспроизводящаго древность — въ особенности. Въ заключеніе должно замѣтить, что „Эринній“ написаны стихами, между тѣмъ какъ всѣ переводы древнихъ классиковъ сдѣланы авторомъ въ прозѣ.

Сочувствіе къ павшимъ богамъ Эллады и къ свѣтлому ученію ея мудрости поэтъ выражаетъ въ прекрасныхъ строфахъ, озаглавленныхъ „Гипатія“. Гипатія (370—415 по Р. X.), провозглашавшая въ Александріи нео-платоническое ученіе на публич-

ныхъ лекціяхъ, имѣвшихъ громаднѣйшій успѣхъ, была, какъ извѣстно, растерзана за то, что она возбуждала умы противъ христіанъ. Ей поэтъ посвятилъ и драматическій отрывокъ: „Кирилль и Гипатія“, въ которомъ александрійскій епископъ старается обратить Гипатію къ христіанскому ученію, но она отказывается, опираясь на аргументъ, что видять въ своемъ ученіи тѣ же идеалы, тѣ же высокія стремленія, только облеченные въ другіе символы, другія формы. Ни доводы Кирилла, ни грозящая ей опасность, на которую онъ указываетъ, не могутъ склонить ее.

Замѣтимъ мимоходомъ, что англійскій писатель Кингслей сдѣлалъ Гипатію героиней довольно интереснаго романа, въ которомъ, между прочимъ, излагается и ученіе ея.

Вотъ содержаніе стихотворенія „Гипатія“:

„На закатѣ величія, царствовавшаго на землѣ, когда обряды, подпошенные вѣками, впадаютъ въ забвеніе и алтари рушатся, высокая душа, вступаясь за побѣжденныхъ боговъ, дѣлается поборникомъ и товарищемъ ихъ судьбы. О, дѣва! ты, которая бѣлыми покровами своими старалась защитить могилу, въ которой почилъ твой богъ, сладкозвучная жрица умершихъ обрядовъ, послѣдній чистый лучъ съ олимпійскихъ небесъ! Люблю и привѣтствую тебя! Когда буря разразилась надъ міромъ предковъ, когда звѣзда ихъ клонилась къ закату, ты, блѣдная, одна стояла подъ священными портиками, оставленными толпой, подобно Пивіи, прикованной къ пророческому треножнику, и бессмертные еще жили въ груди твоей. Они проходили передъ тобой въ огненной тучѣ; они еще питали тебя знаніемъ и любовью, и восхищенный народъ слышалъ, какъ пѣла пчела Аттики на устахъ твоихъ. Какъ молодой лотосъ, растущій подъ взоромъ мудрыхъ,—цвѣтъ ихъ правды и ихъ краснорѣчія,—геній твой, сіяя красотой, озарялъ мракъ временъ. Не коснулись чистоты твоей порочныя вѣка; ты шла, обращая взоры къ звѣздному бытію. Почій, лилейная жертва, въ глубинѣ нашихъ душъ, въ дѣвственномъ саванѣ, убранный лотосомъ; почій! Мы потеряли путь, ведшій къ Паросу. Боги во прахѣ, и земля онѣмѣла; безмолвно и пустынно небо твое. Почій! но живи въ сердцѣ поэта и пой въ немъ звучный гимнъ святой красоты! Одна она не умираетъ, несокрушимая, вѣчная. Смерть можетъ развѣять міры, но красота живетъ въ сіяніи, все возрождается въ ней, и міры еще катятся у бѣлоснѣжной стопы ея“.

Поэтъ вообще любитъ останавливаться на агоніи древнихъ религій, изъ которыхъ каждая имѣла время своего процвѣтанія, когда она казалась безусловной истиной и соответствовала потребностямъ своихъ приверженцевъ. Онъ становится на точку зрѣнія

почитателей, проникаетъ въ смыслъ и величіе каждой обрядности, каждаго воззрѣнія; но, храня въ душѣ „*lasgumae gegum*“, онъ съ грустью взираетъ на исчезновеніе всѣхъ этихъ формъ, на смѣну всѣхъ этихъ идеаловъ. Мысль о всеобщемъ разрушеніи, распаденіи всего, что жило и цвѣло, преобладаетъ въ его созерцаніи; грустное сознание всемірнаго закона звучитъ въ произведеніяхъ поэта какъ пригвѣвъ Эскилова хора: „пойте гимнъ плачевный, да, плачевный!“ ..

Что поэтъ не безстрастный зритель отжившаго прошлаго и не безучастный мыслитель въ настоящемъ, объ этомъ могло бы свидѣтельствовать послѣднее его стихотвореніе, помѣщенное въ „*Poemes antiques*“. Оно озаглавлено: „*Dies irae*“, и даетъ какъ бы сумму и итогъ большинства произведеній поэта. Въ немъ онъ бросаетъ грустный взоръ на отжившіе идеалы человѣчества, и, задумываясь надъ скудостью современной мысли, утратившей божественное, онъ съ сожалѣніемъ возвращается къ тѣмъ вѣрованіямъ, изъ которыхъ черпали жизнь и поэзію прежнія поколѣнія, и хотя современнаго человѣка они удовлетворить не могутъ, ихъ красота и жизненность являются ему противоположностью къ пустынной бесплодности новыхъ воззрѣній. Характеризуя поэтическія цѣли и убѣжденія автора, „*Dies irae*“ служитъ какъ бы и программой его поэтической дѣятельности. Вотъ нѣсколько мѣстъ изъ этого стихотворенія:

„На трудномъ пути человѣческихъ судебъ бываетъ таковой день или часъ, когда разумъ, утомленный и согбенный подъ бременемъ лѣтъ, задумчиво оборачивается назадъ, чтобъ взоромъ окинуть пройденное. Жизнь обманула его бесплодными ожиданіями; тщетно ища новыхъ боговъ, онъ вслушивается въ твой священный голосъ, о, воспоминаніе! и сочувствуетъ молодости вселенной. Звѣзды, которыя онъ любилъ, мирными лучами серебрять таинственныя дебри, священныя горы и доли, гдѣ подъ вѣчно зелеными кущами возлежали первые боги. Земля еще свободна; священные потоки курятся подобно еиміаму; синія волны поютъ у береговъ, и радостно катятся къ божественному лону безмѣрныхъ океановъ. Съ высоты горъ, колыбели чистыхъ поколѣній, среди журчанья водъ и шума лѣсовъ, онъ слышитъ, какъ растетъ и крѣпнетъ юное человѣчество, вступая во владѣніе вселенной.—Счастливецъ! онъ вѣрилъ, что земля бессмертна; звѣздное небо говорило съ нимъ на понятномъ языкѣ; среди красоты міра онъ жилъ бодрый и безмятежный, храня вѣру и божественную чистоту въ святилищѣ, гдѣ сіяла любовь. Зачѣмъ предался онъ тщетнымъ трудамъ и покушенію на новое будущее? Или его утомили извѣданныя радости?

Между тѣмъ вѣтры сгустили въ небесахъ черныя тучи; налетѣлъ вихрь и все разнесъ. Увы! ушло время величавыхъ видѣній подъ задумчивыми кедрами, на освященныхъ ими высотахъ, — время дѣвственной свободы, ея восторговъ и несдержанныхъ порывовъ души! Кто впередъ будетъ читать завѣтныя скрижали? Человѣкъ потерялъ смыслъ живительнаго глагола; сердце трепетно ищетъ его, но умъ молчитъ и письмена замолкли навѣки. Впредь никто не одернетъ у алтаря завѣсы, скрывающей мистическій закатъ; никто не услышитъ въ пророческихъ вѣтрахъ первыя бесѣды между землей и небомъ. Свѣтъ гаснетъ на высотахъ; медленно спускается непроницаемая ночь, свѣтило стараго Ормузда потухло. Востокъ заснулъ на пепелищѣ боговъ. Духъ ужъ не исходитъ на избранный народъ и не посвящаетъ сильныхъ и праведныхъ; на высохшемъ лонѣ безмолвной Азіи безплодные лучи сожигаютъ пустое сѣмя. Аскеты, сидя въ тростникѣ у берега, еще прислушиваются къ говору волнъ. Плачьте, созерцатели! мудрость ваша вдовствуетъ: Вишну болѣе не возсѣдаетъ на лазуревомъ лотосѣ. Сладкозвучная Эллада, которой любовь всего міра воздвигла алтарь, почилла навсегда на берегахъ священныхъ морей, гдѣ разбросаны дивныя останки бѣлоснѣжныхъ подобій ея боговъ. Глаголь пророковъ не жжетъ сердца людей подобно пылающему углю. Адонай! вѣтры унесли твой голосъ... Пошлая толпа спитъ тяжелымъ сномъ, а мудрецы безстрастно смотрять, какъ мирныя или грозныя времена одинаково приводятъ человѣка къ нѣмой вѣчности. Но мы, мы, пожираемые невозможными желаніями, тщетными усиліями вѣрить и любить, мы вопрошаемъ васъ. Отвѣчайте, грядущіе дни! возвратите ли вы намъ жизнь? Скажите, дни минувшіе: возвратите ли вы намъ любовь? Гдѣ золотыя лиры, увѣнчанныя цвѣтами, гдѣ священныя пѣсни, возникшія изъ души? Гдѣ обѣщанные боги, гдѣ идеальныя образы, присушіе величавымъ культамъ? Музы, подобно нищимъ, медленно проходятъ городами, сопровождаемыя горькимъ смѣхомъ. Довольно! зачѣмъ еще страдать подъ терніями и испускать рыданія, безконечныя какъ рыданіе моря! Да, вѣвовѣчное зло достигло крайняго предѣла! Вѣянія вѣка вредны для больныхъ душъ. Привѣтъ тебѣ, забвеніе міра и толпы! Прими насъ, природа, въ священныя объятія свои!.. Заря, солнце, горы, лѣса, утѣшите насъ въ суетности надеждъ нашихъ: безплодный путь утомилъ и поранилъ стопы наши. Вдали отъ человѣческаго гула, съ одинокихъ высотъ, унесите насъ, вѣтры, къ невѣдомымъ богамъ! Но если въ необъятномъ пространствѣ ничто не отвѣтитъ, кромѣ безплоднаго отклика неумолкающихъ желаній, — простите вы,

пустыни, гдѣ душа хотѣла вознестись на трепетныхъ крыльяхъ, прости и ты, дивный сонъ, которому не суждено осуществиться! А ты, божественная смерть, въ которой все тонетъ и исчезаетъ, прими дѣтей въ звѣздное лоно свое! Освободи насъ отъ времени, числа и пространства, и дай намъ тотъ отдыхъ, который нарушила жизнь!“

Въ стихотвореніи: „Очередное пѣніе“ поэтъ противопоставляетъ два идеала: древне-языческой и христіанскій. Аѳинская богиня поетъ о жизнерадостной Греціи, ея чувственной красотѣ, отражающейся въ ея чарующихъ, свѣтлыхъ мѣахъ, о религіи ея, указывающей на земныя наслажденія. Но этотъ радостный міръ, полный безсмертныхъ пѣсень, отошелъ навѣки; алтари его поросли сорными травами. Но вотъ съ таинственнаго Востока смиренно шествуетъ дѣва въ длинныхъ покрывалахъ, скрестивъ руки на груди. Она поетъ не о счастья и не о земной любви; душа ея возносится къ небесному супругу, и въ тѣни она предается тихой грусти неземныхъ желаній; она даетъ пріютъ тѣмъ, кто боленъ душой, не требуя ничего, кромѣ любви и слезъ. Въ тѣ времена, когда мудрецами овладѣло сомнѣніе, когда человѣкъ готовъ былъ проститься съ невидимымъ міромъ идеаловъ, она заронила въ немъ сѣмя безсмертной надежды и указала путь къ Богу... „Чистая любовь, негаснущее пламя! Теперь, когда сердце зачерствѣло и міръ осиротѣлъ: не воскреснешь ли ты во мракѣ душевной ночи, заря единственнаго дня, который не знаетъ заката?“

Въ „*Roèmes barbares*“ поэтъ изображаетъ тотъ міръ, гдѣ водворился христіанскій идеалъ, даетъ намъ заглянуть въ тѣ нравы, съ которыми пришлось бороться ему. Это былъ міръ дикихъ нравовъ, необузданныхъ страстей, суровой доблести. Мы узнаемъ этотъ міръ изъ пѣсь: „Голова Кенварка“, „Сердце Гіальмара“, „Мечъ Ангантира“, „Смерть Зигфрида“ и мн. др. Своеобразной, дивной поэзіей дышетъ баллада: „Голова Кенварка“ (изъ „*Roèmes tragiques*“). Полное заглавіе ея: „Галльская пѣснь по умершимъ, VI-го вѣка“. Приведемъ ее. „Далеко отъ мыса Пенгоръ, гдѣ была свалка, страшная какъ горькій смѣхъ великихъ водъ, конь мой, мчись, скачи, пусть вѣтеръ играетъ твоимъ хвостомъ и гривой! О, какъ страшенъ горькій смѣхъ великихъ водъ! Минуй скалу и доли, цвѣтушій верескъ и холмы! На мысѣ Стоновъ, что море гложетъ и бичуетъ, Кенваркъ длинноволосый, старый волкъ Кимвріи, лежитъ мертвый, тамъ, гдѣ жатва боя легла гуще.

...„О, мысъ Пенгора, который гложутъ и бичуютъ волны! Кричи



и стоны замолели подъ небомъ: душа храбрыхъ поднялась къ вечерней звѣздѣ. Голова Кенварка виситъ у моего пояса, и красная, горячая струя льется по черному бедру твоему.

„Непреклонная душа возносится къ вечерней звѣздѣ. „О! не увижу болѣе, какъ голова героя кричитъ и повелѣваетъ подъ рыжими вудрями. Но я насажу ее на пику свою, и она пойдеть предо мной въ вихрь боя. О! О! саксонецъ услышитъ, какъ она кричитъ! Она поведетъ меня, Кенваркъ, къ тому негодю, который пронзилъ тебя въ спину на мысъ Пенгора. Переломлю ему шею топоромъ и заживо съѣмъ сердце его. Кенваркъ! Волеъ кимврийскій! О, мысъ Пенгора!“

Въ „Сердцѣ Гяльмара“, умирающій воинъ завѣщаетъ сердце свое невѣстѣ и отходить къ предкамъ юный, радостный и свободный, какъ при жизни. Въ „Мечѣ Ангантира“ видимъ кровавое мщеніе въ сердцѣ женщины. Въ „Смерти Зигфрида“, Брунгильда, тайно любившая героя и причинившая смерть ему изъ мести, одна молчитъ, когда вокругъ мертвеца женщины разглагольствуютъ въ громкихъ жалобахъ. Она повелѣваетъ всѣмъ молчать: ихъ рыданія ничто передъ рыданіями ея безсонныхъ ночей. Кровь, которая струится изъ нанесенныхъ Зигфриду ранъ, не можетъ потушить ни любви, ни ненависти ея; по прежнему онѣ борются въ ея сердцѣ; по прежнему жгутъ и пожираютъ ее. Она отталкиваетъ и мать, и жену Зигфрида и закалываетъ себя надъ трупомъ его.

Вотъ тотъ міръ, съ которымъ пришлось бороться христіанскому ученію; не безъ сопротивленія упрочилось торжество его. Въ поэмѣ: „Бардъ Кимврийскій“, старый бардъ, сознавая, что время славы прошло, разбиваетъ свою арфу, и на глазахъ юнаго апостола, который старается обратить его, убиваетъ себя со словами: „Другъ, скажи своему богу, что я спѣшу къ богамъ предковъ“. Въ поэмѣ: „Разрушеніе Моны“, старый вождь, обращенный къ христіанству, но оставшійся варваромъ въ душѣ, во имя новаго закона, обрекаетъ на смерть толпу преслѣдуемыхъ имъ язычниковъ, укрьпившихся въ замкѣ на скалистомъ островѣ. Здѣсь они собрались вокругъ престарѣлаго вождя и жрицы-проричательницы. Всѣ умираютъ съ пѣніями во славу старымъ богамъ. Показавъ намъ въ названныхъ поэмахъ, каковъ былъ міръ германской древности и какими идеалами держался онъ, поэтъ въ другихъ, каковы: „Руноа“, „Легенда Норя“, познакомилъ насъ съ теогонією и космогонією сѣвера. Поэтъ любитъ останавливаться на возникновеніи міра въ фантазій народа и на зарожденіи идеала въ душѣ его. Такъ, мы находимъ указанія на

миоическое начало бытія у отдаленнаго народа въ „Генезисѣ Полинезіи“. Въ „Легендѣ Норнъ“ богини Судьбы германской міеологіи въ пѣсняхъ своихъ замыкають весь кругъ бытія: *прошлое* съ его хаосомъ, возникновеніемъ и борьбой; *настоящее*, которое Бальдуръ, лучезарный богъ юности, прикрываетъ щитомъ своимъ, постоянно обновляя его силой любви и правосудія, могущества и доброты; наконецъ, *будущее*, вокругъ котораго въ смутныхъ образахъ возникаютъ изъ мрака гибель и разрушеніе; когда все мощное дуновеніе жизни, плачь и веселье, стоны и ликования, богохульство и молитва, сливаясь въ одинъ неясный гулъ, погружаются навѣки въ ночь и безмолвіе. И въ этомъ обончаніи сказанъ поэтъ-пессимистъ: германская міеологія предлагала ему радужное видѣніе „зари боговъ“ (Götterdämmerung); но онъ остановился на картинѣ всеобщаго распаденія, когда враждебныя міру власти, пробудившись изъ тьмы, возстануть, чтобы погасить свѣтъ и разбить мірозданіе.

Въ фантастической поэмѣ „Руноя“ цари рунъ, престарѣлые пѣвцы, воссѣдаютъ вокругъ вождя своего, божественнаго прорицателя, сѣдовласаго царя Сѣвера. Склонясь надъ каменными арфами, они поютъ героическіе гимны, но царь не слушаетъ ихъ. На кожѣ символическаго змѣя онъ чертитъ таинственныя руны. Рядомъ съ нимъ стоитъ нѣмой воинъ — Тревога. Кругомъ него охотники и воины пьютъ медъ изъ золотыхъ кружекъ. Они жаждутся, что утомились въ бою, и впредь хотять пользоваться плодами подвиговъ. Пѣвцы же вспоминають воинственныхъ предковъ, которые положили основу ихъ славы. Они вопрошаютъ царя и прорицателя, что видитъ онъ во мракѣ грядущихъ дней? Онъ отвѣчаетъ, что видитъ въ грядущемъ царя послѣднихъ дней, младенца съ сіяющимъ челомъ и зарей великаго возрожденія во взорѣ; волны морскія повинуются улыбкѣ его, и вихри сѣвера едва касаются его кудрей. Охотники и воины смѣются надъ пророчествомъ. Но пиръ и пѣсни прерываются появленіемъ младенца среди воинственныхъ вождей. Онъ не боится ни чаръ, ни угрозъ пирующихъ, и голосъ его, кроткій и тихій, не заглушается стукомъ оружія. Онъ говоритъ о томъ, что несетъ онъ міру взаимнѣйшей воинственной доблести, земныхъ богатствъ и повседневныхъ наслажденій. Сѣдовласый царь и богъ взываетъ ко всему, чѣмъ сѣверъ великъ и прекрасенъ, страшенъ и милъ чадамъ своимъ: къ завывающимъ вѣтрамъ и морскимъ валамъ, густымъ туманамъ и сіянію сѣвера, къ звѣрямъ, обитающимъ дебри, и къ быстрымъ потокамъ, которые шумятъ подъ сѣнью ихъ; онъ хочеть заручиться ихъ мощью и спрашиваетъ: неужели насталь часъ того,

который вызвалъ васъ изъ ничтожества? Младенецъ отвѣчаетъ, что замолкли голоса, вѣщавшіе прежде. „Я завладѣлъ душой міра, и силой, и красотой его; природа, дотоль божественная, замерла навсегда“. Пѣвцы взываютъ къ вождю, чтобы онъ начерталъ тѣ руны, которыя управляютъ міромъ, ибо чары младенца заковали ихъ силу. Древній царь Сѣвера, чувствуя дуновение бога сильнѣе его, пробуждаетъ въ сердцѣ своемъ волшебный смыслъ сѣщенныхъ рунъ. Но младенецъ, сдѣлавъ таинственный знакъ креста, коснулся рунъ перстомъ, и онѣ растаяли и полились огненными ручьями подъ ноги присутствующимъ. Поднялось смѣтеніе; дикіе возгласы и стукъ оружія огласили старую башню, гдѣ много вѣковъ воссѣдалъ царь Сѣвера; жилище бога рухнуло въ море, и долгіе раскаты наполнили мракъ сѣверной ночи. Послѣдній сошелъ вѣковѣчный царь рунъ, и, предсказывая въ будущемъ паденіе новаго бога, ринулся въ бушующее море со взоромъ, обращеннымъ къ небеснымъ пространствамъ.

Извѣстно, что руны въ скандинавскихъ мифахъ были даромъ Одина-вседержителя (въ „Эддѣ“, Геймдаль, стражъ боговъ, древнѣйшій между ними, изобрѣлъ, а Одинъ только начерталъ ихъ) и что имъ приписывалась волшебная сила. Въ народныхъ преданіяхъ остались слѣды этого повѣрія. Цари рунъ, пѣвцы, такимъ образомъ также обладали сверхъестественной силой. Очевидно, что Леконтъ де-Лиль дѣлалъ заимствованія изъ „Эдды“, то въ формѣ поэтической передѣлки, какъ въ „Мечѣ Ангантира“, или пользуясь нѣкоторыми данными скандинавской мифологіи для выраженія собственной мысли, какъ въ „Руноѣ“, то, наконецъ, развивая въ самобытныхъ образахъ мысль, намѣченную въ краткомъ изреченіи. Такъ, въ „Эддѣ“ встрѣчаемъ краткія строфы, озаглавленные: „Сила Одиновыхъ рунъ“. Вотъ нѣсколько изъ нихъ для примѣра: „Я знаю пѣсни, ихъ не знаетъ никто, ни дочь царя, ни мужъ, родившійся отъ женщины. Первую зовутъ Помощью: она поможетъ тебѣ въ страданіи, скорби и во всякой бѣдѣ. Знаю другую: она нужна людямъ для исцѣленія. Знаю третью: побѣдить врага, иступить его мечъ и сдѣлать тщетной хитрость его. Знаю четвертую: когда накинуть на меня узы, я спою пѣсню, и пойду свободный; цѣпи разорвутся и спадутъ съ рукъ и ногъ“ и т. д., цѣлый рядъ ихъ. На такихъ простыхъ данныхъ возникло, напр., стихотвореніе: „Слезы медвѣдя“, въ которомъ изображена чарующая сила поэзіи на суровомъ сѣверѣ. Вотъ извлеченіе изъ него:

„Море стонетъ и завываетъ; береза, съ поникшими вѣтвями, роняетъ слезныя капли на землю; бѣлый медвѣдь оглашаетъ бе-

режь унылымъ ревомъ. Поэтъ, царь рунъ, идетъ по берегу и спрашиваетъ, о чемъ горюють они? Всѣ они отвѣчаютъ, что холодъ и одиночество, леденящiе вѣтры и безмолвіе наполняютъ ихъ тоской; они охотно промѣняли бы суровое величіе, окружающее ихъ, на солнечный свѣтъ и теплоту, на зеленые луга и общество людей. Скальдъ беретъ арфу, и при звукѣ струнъ расторгаются девять печатей зимы: трепетная береза радостно засверкала на зарѣ, море выиграло, и веселыми раскатами побѣжали волны; а у медвѣдя, нелюдима морей, изъ глазъ двойной струей полились слезы "... Поэзія такимъ образомъ приноситъ жизнь и тепло въ безлюдіе и холодъ дальняго сѣвера. Большинство „Варварскихъ поэмъ“ вообще блестятъ мѣстнымъ колоритомъ, таинственными символами, многочисленными указаніями на времена мифическія и героическія. Поэтъ любитъ эпическіе эпизоды, проливающіе свѣтъ на крупныя историческія событія, которыхъ онъ не касается; въ нихъ видна не только эпическая ширь и грандіозность, но и туманность и гигантскіе размѣры древнихъ мифовъ и сказаній. Такъ, въ поэмѣ „Норны“, богини Судьбы, повѣствующія о возникновеніи міра и боговъ и о тѣхъ силахъ, которыми держится мірозданіе, возсѣдаютъ на корняхъ священнаго ясеня Иггдразиль; вокругъ нихъ крутятся вихри и снѣгъ падаетъ густыми хлопьями. Впечатлѣнію, производимому повѣствовательною частью, сильно содѣйствуетъ рамка сѣвернаго ландшафта, съ присущимъ ему характеромъ суроваго величія. Изъ мрака отдаленныхъ временъ встають люди съ дикою непосредственностью, живнерадостнымъ самосознаніемъ, съ грубымъ проявленіемъ неустрашимой силы. Шумъ морскихъ волнъ вторитъ ихъ страстямъ, безмолвіе пустыни укроааетъ, вѣтеръ горныхъ лѣсовъ убаюкиваетъ ихъ. Но они не замѣчаютъ шума водъ морскихъ, ихъ не смущаетъ пустыня, не крушитъ вихрь, ибо сами они часть этой почвы, выраженіе стихійныхъ силъ, но выраженіе мыслящее и страстное. И здѣсь человекъ создавалъ себѣ идеалы, соотвѣтствовавшіе его потребностямъ, находилъ рѣшенія, согласовавшіяся съ окружающимъ его міромъ. Въ картинахъ природы поэтъ умѣетъ дать то, что нѣмцы называютъ Stimmungsbild. Примѣромъ такого, скрытаго въ описаніи, лиризма, можетъ служить сонетъ: „Полярный ландшафтъ“. Вотъ онъ: „Мертвая страна, область безплодныхъ тѣней и сѣверныхъ сіяній, освѣщающихъ холодные туманы и голыя вершины скалъ, надъ которыми виснутъ тучи. Неясные звуки, словно могильные стоны, нарушаютъ мертвую тишину: и смѣхъ, и рыданіе, и вопли, и хрипъ, слышатся въ завываніи вѣтра. На высокихъ скалахъ, подтачиваемыхъ волнами, въ туманѣ возсѣдаютъ древніе боги, застывшіе и блѣд-

ные. А громадные медвѣди, словно побѣлѣвшіе отъ вѣчныхъ снѣговъ, покачивая, какъ опьянѣлые, толстыми шеями, нѣжатся на льдинахъ“.

Въ „Заклинаніи Волга“ находимъ особенности фантазіи съвера въ характерныхъ чертахъ мѣстнаго суевѣрія. Вотъ начало его:

„Подъ сверкающимъ зимнимъ небомъ, среди ночной тишины, старый волкъ, царь Гарца, сидя на упругихъ, какъ желѣзо, бедрахъ, смотритъ на желтое, холодное око луны, которая свѣтитъ въ темной лазури. Кругомъ лѣса и рытвины, скалы и долины спятъ подъ снѣжнымъ саваномъ. Ужасъ сжимаетъ сердце стараго волка, и дрожь пробѣгаетъ по тѣлу его. Бѣлая волчица, со сверкающими глазами, дѣтеныши, которыхъ она ночью тѣломъ своимъ защищала отъ холода, лежатъ мертвые, зарѣзанные человекомъ на днѣ ущелья. И онъ одинъ среди холоднаго безмолвія; что ему голодъ и жажда, бляеніе овцы или лани въ лѣсу? Для него міръ онѣмѣлъ. Всѣ измѣнили ему, вождю Гарца: карлиги и гномъ, козель, великанъ и волдунья, которые сидятъ у торфянаго огня, гдѣ подъ заклинаніями вода кипитъ въ желѣзномъ котлѣ. Рыча, онъ поднимаетъ острую голову къ небу, и ненависть въ немъ жжетъ и клопочетъ. Человѣкъ, древній истребитель его предковъ, его дѣтей и царственной самки, которая питала ихъ крѣпкимъ молокомъ своимъ, неуспѣшно преслѣдуетъ его въ горячихъ сновидѣніяхъ. Глаза его сверкаютъ какъ горячіе угли; шерсть на немъ поднимается какъ рядъ шиповъ, а забывая онъ зоветь души прежнихъ волковъ, которые спятъ въ яркой, таинственной лунѣ“.

Это стихотвореніе напоминаетъ извѣстное стихотвореніе: „Волкъ“, А. де-Виньи; но пессимистъ де-Виньи не такъ колоритенъ, не такъ разнообразенъ, какъ Леконтъ де-Лиль; потому у него мысль о враждѣ между человекомъ и мелкими гражданами міра, животными, нашла хотя болѣе сильное, но менѣе сложное выраженіе. Такъ, въ его же прекрасномъ, но мрачномъ стихотвореніи: „Богини Судебъ“, выражено таготиѣе судьбы надъ человекомъ въ общихъ мысляхъ, безъ специфическихъ очертаній времени или страны, которыми обыкновенно обрамливаются общія мысли у Леконта де-Лиль. Мы встрѣчаемъ у него и тонъ народныхъ балладъ съ ихъ недосказанностью и отрывочной формой. Въ „Эльфахъ“ видимъ подражаніе датской народной пѣснѣ: „Дочь лѣснаго царя“, послужившей образцомъ „Лѣсному царю“, Гёте. Въ „Христианъ“—подражаніе извѣстной „Леноръ“ Бюргера, нѣкогда вдохновившей Жуковского. Если вышеназванныя произведенія показали намъ вѣру и суевѣріе германской древности,

то въ „Видѣніи Снорра“ узнаемъ, какими чудовищными видѣніями новый догматъ населилъ мрачную фантазію сѣвера. Муки ада, которыя представились Снорру, достойны кисти Данта. Такъ возникаетъ видѣніе за видѣніемъ, слѣдуетъ картина за картиной; сказанія, миѳы, баллады, картины нравовъ и картины природы смѣняются пестрой чередой; поэтъ прислушивается къ біенію сердца человѣка въ далекомъ прошломъ и заставляетъ всё время и народы говорить за себя. Онъ рисуетъ славу и злобу время, борьбу и столкновения, но болѣе—столкновения идей, чѣмъ рукопашный бой; внѣшнія событія нашли меньшій откликъ у него, чѣмъ тѣ идеи и страсти, которыя вызвали эти событія; не дѣятельность поволѣній останавливаетъ ихъ, а ихъ психическая жизнь; тотъ внутренній міръ, которымъ создается міръ внѣшнихъ фактовъ. Онъ любитъ прослѣдить господствующую мысль вѣка и показать людей въ сильнѣйшей манифестаціи ихъ вѣрованій, въ страстныхъ движеніяхъ души. Трудно было бы сказать, что таковъ замыселъ поэта, такъ какъ нѣтъ указаній на планъ, и всё эти произведенія, большею частью разбросанныя по тремъ томамъ, представляютъ мало послѣдовательности; но таковъ выводъ, получаемый изъ совокупности ихъ. Сравнивая эти три томика съ многотомными твореніями многихъ современниковъ Леконта де-Лиль, вспоминаешь слова Гейне о нѣмецкомъ юмористѣ, но также и идеалистѣ—Ж.-П. Рихтерѣ, который отличался неистощимымъ богатствомъ идей и образовъ (хотя весьма нестройныхъ и темныхъ): „тутъ зародыши цѣлаго первобытнаго лѣса, уложеннаго на одно блюдо“. Основа у Леконта де-Лиль, какъ мы уже знаемъ, не наблюденіе окружающей дѣйствительности, а знаніе, вдумчивость и фантазія поэта. Современнымъ событіямъ онъ отдалъ дань только въ двухъ стихотвореніяхъ: „Освященіе Парижа“, помѣченное 1871 годомъ, и „Вечеръ послѣ битвы“. Легко угадать содержаніе ихъ.

Леконтъ де-Лиль любитъ показать человѣка, вездѣ и во всё время уходящимъ отъ дѣйствительности въ міръ отвлеченныхъ идеаловъ, для которыхъ онъ жертвуетъ обманчивыми приманками свѣта. Такъ, „Аскеты“ въ средніе вѣка, какъ и на Востокѣ, убивая въ себѣ мірскія желанія въ виду безсмертнаго царства, „нарушали рыданіями безмолвіе пустыни, усѣянной священными останками мучениковъ, и пустыня, обогрѣнная кровью покаянія, наполнялась въ ночи библейскими видѣніями“. Не только грубость сѣвера уступила новому началу,—изнѣженный югъ также слѣдуетъ призыву Христа. Такъ, „дочь эмира“, прекрасная Аиша, гуляетъ въ цвѣтущемъ саду отца своего, владыки Бордовы. Мечты ея ве-

селня, ибо радужная улыбка озаряетъ ея лицо. Ночь спускается; звучный и нѣжный голосъ назвалъ ее по имени; дѣва обернулась и увидѣла блѣднаго юношу въ бѣлой одеждѣ и съ вроткимъ взоромъ. Онъ статенъ и красивъ какъ Гавріиль, который нѣкогда сопутствовалъ на седьмое небо посланнаго Аллахомъ святого пророка. Сіяніе окружаетъ его. „Привѣтъ тебѣ, юноша! Твое чело сіяетъ, а въ глазахъ теплится дивный свѣтъ. Скажи, какъ зовутъ тебя? Или ты калифъ, или одинъ изъ ангеловъ?“ Юноша отвѣчаетъ съ улыбкой: „Я царскаго рода и пришелъ съ Востока; дворцомъ моимъ былъ соломенный кровъ, но весь міръ не можетъ обнять меня. Полюби меня, и я дамъ тебѣ царство свое“. — „Я согласна идти за тобой. Пойдемъ. Но какъ выйти отсюда? Садъ обнесенъ каменной оградой и кругомъ стоитъ стража“. — „Любовь сильнѣе крѣпкой стали и поднимается выше орлицы. Кто можетъ противиться небесной любви! А кромѣ любви все суета и сонъ“. Домъ и ограда исчезаютъ во мракѣ; садъ скрылся какъ въ туманѣ. Они идутъ полемъ долго, долго; твердые камни ранятъ нѣжные ноги дѣвы. Истомленная, она тяжело дышетъ. „О, повелитель мой, Аллахъ свидѣтель, что я люблю тебя, но твое царство такъ далеко! Дойдемъ ли мы, или мнѣ умереть на дорогѣ? Кровь течетъ, голодъ и жажда томятъ меня. Но вотъ показалось темное жилище“. — „Это моя обитель. Я рыбарь, который манитъ въ сѣти юную душу. Я люблю тебя, Аиша, и чтобъ украсить брачное одѣяніе, я собралъ твои слезы, твою кровь. Ты будешь видѣть меня сердцемъ и очами, и я оставлю тебѣ въ царствѣ моемъ жизнь вѣчную послѣ земной“. Умершая для живыхъ, дѣва укрѣпилась въ монастырскую обитель и болѣе не покидала стѣнъ ея“. Исламу посвящено два стихотворенія: „Саванъ Альмансура“, гдѣ въ жалобѣ надъ умершимъ поборникомъ мусульманскаго ученія воспѣваются подвиги героя на славу пророка. Жалоба эта дышетъ дикой доблестью, страстнымъ фанатизмомъ. Въ небольшой поэмѣ: „Апооеозъ Аль-Кебира“, калифъ Солиманъ, вслѣдствіе ложнаго доноса, осуждаетъ на позоръ и смертную казнь лучшаго изъ воиновъ своихъ, бича враговъ, доблестнаго Мусу-Аль-Кебира. Обвиненный старецъ отвѣчаетъ: „Да будетъ посрамлена ложь, да замолчитъ вражда, пятнающая мои сѣдины. Хвала Всевышнему, ибо мы не болѣе, какъ тѣни. Онъ одинъ неизмѣненъ и вѣченъ, и можетъ развѣять смертныхъ, какъ прахъ. Онъ видитъ сердца людей, и праведника можетъ провести чрезъ бездну, подобно молніи, которая разсвѣкаетъ ночной мракъ“. Старецъ восторженно рисуетъ наслажденія рая, ожидающія того, кто вѣровалъ и пострадалъ за вѣру. „Что скажу я? Долгъ исполненъ.

Я жилъ долгіе дни и долженъ умереть. Это законъ. Моя кровь, моя жизнь, Аллахъ, ангелы, пророкъ—громче грома отвѣтили за меня". Калифъ требуетъ отъ него признанія, а не громкихъ словъ. „Мудрые и храбрые не говорятъ дважды“, отвѣчаетъ старецъ. Связанный, онъ сидитъ на ослѣ; дикая толпа осмываетъ его ругательствами, бросаетъ въ него грязью и камнями. Вѣки его опущены. Онъ не видитъ, не слышитъ, не чувствуетъ. Душа его вернулась къ тѣмъ временамъ, когда онъ мечталъ о предстоящихъ ему подвигахъ; когда, пьянѣя отъ молодости и силъ, онъ вопилъ къ небесамъ какъ львенокъ, который начинаетъ рычать и сдираетъ вору съ пальмы, въ тѣни которой онъ родился. Онъ вспоминаетъ многочисленныя побѣды свои надъ невѣрными—и сколько разъ на чужой землѣ водружалъ онъ побѣдоносное знамя ислама, провозглашая новый законъ между невѣрующими, не давая пощадъ нечестивымъ, пьющимъ вино. За то Аллахъ наградилъ его въ роковую минуту. Пока онъ, преслѣдуемый изступленными криками толпы, приближался къ мѣсту казни, свершилось чудо: осель его превратился въ коня съ золотой гривой, сверхъестественнаго по красотѣ и силѣ, а самъ Муса—въ юнаго воина, въ золотой одеждѣ, съ пламеннымъ мечомъ. Конь взвился къ небу, и, окруженные сіяніемъ, Муса и конь его исчезли, озаренные пурпуровыми лучами заката". Фанатизмъ католичества не уступаетъ фанатизму ислама. Католичество установилось, но надолго еще страсти продолжаютъ влечь подъ монашескимъ одѣяніемъ и ищутъ исхода въ фанатизмѣ. Вѣка медленно измѣняютъ человека; духовная жизнь его осложняется, но въ зародышѣ еще остается та же стихійная сила, сдерживаемая мыслью, условностью, необходимостью или направляемая господствующими воззрѣніями. Поэзія жизнерадостнаго самосознанія замѣнена поэзіей отреченія; но если первая являла произволь, вторая грѣшитъ искаженіемъ идеала, извращеніемъ во имя религіи общечеловѣческихъ понятій. Фанатизмъ католичества изображенъ въ „Агоніи Святого“. Умирающей аббатъ, ревнитель католичества, въ предсмертныхъ мукахъ ссылается на всѣ дѣла свои, совершенныя за вѣру, на всѣ гоненія и жестокости, которыми онъ хотѣлъ заслужить вѣнецъ сподвижника. Но теперь, въ виду вѣчности, пробуждаются въ немъ человѣческія чувства; онъ сомнѣвается въ своемъ правосудіи; ему кажется, что онъ слышитъ голосъ Христа, отвергающаго его за искаженіе Его ученія, и онъ умираетъ, преслѣдуемый видѣніями ожидающаго его ада. Въ „Актѣ милосердія“ набожная женщина, которая раздала все состояніе бѣднымъ, сжигаетъ столпившихся у нея въ сараѣ нищихъ, которымъ болѣе не можетъ помочь. Пренебреженіе жизнью дошло до истребленія жизни.



Поэтъ не любитъ среднихъ вѣковъ; мрачнымъ окомъ окидываетъ онъ времена, усвоившія себѣ условныя формы культуры, и видитъ въ нихъ ханжество, хищничество, коварство, искаженныя понятія о чести, жестокое суевѣріе и кровожадный фанатизмъ. Такия черты мы встрѣчаемъ въ стихотвореніяхъ: „Безпокойство королевскаго казначея“, „Пѣснь о донъ-Фадригѣ“, „Пѣснь о донъ-Бланкѣ“, и др. Всю ненависть, все негодованіе онъ изливаетъ въ стихотвореніи: „Проклятыя вѣка“, гдѣ онъ перечисляетъ всѣ ужасы инквизиціи, безчеловѣчную жестокость властей и раздражается противъ нихъ проклятіями. Въ „Багровомъ звѣрѣ“ поэтъ указываетъ на главнаго виновника всѣхъ ужасовъ — багроваго звѣря съ тройной короной на головѣ, у котораго тысяча кровожадныхъ пастей, и каждая пасть изрыгаетъ подобныхъ ему хищниковъ, размножившихся и переполнившихъ міръ; тогда начались пытки и казни; раздоръ и вражда поселились всюду, куда проникло ихъ владычество; обезумѣвшая толпа радовалась кровавымъ зрѣлищамъ, и даже благочестивые съ кроткой улыбкой смотрѣли на богоугодное дѣло. Все это представилось Богочеловѣку въ видѣніи въ ту ночь, когда Онъ въ Геесиманскомъ саду молился, пока ученики предавались отдыху. Трепетъ ужаса пробѣгалъ по членамъ Богочеловѣка; несказанная грусть омрачила чело Его; Онъ понигъ главой, опустился на землю и пожелалъ умереть. А вдали во мракѣ ночи уже сверкнулъ фавелъ предателя Іуды... Жестокость и религіозная нетерпимость пережили средніе вѣка. На это указываютъ: „Жертвоприношеніе“ и „Четки Мавромихалисовъ“.

Поэма: „Притчи аббата“, воплощаетъ въ историческихъ лицахъ семь смертныхъ грѣховъ и кару за нихъ. Она отличается энергіей, картинностью, силою контраста между христіанскимъ ученіемъ и порочною дѣйствительностью. И тутъ поэтъ выбралъ форму видѣній, посланныхъ Христомъ благочестивому монаху, дабы онъ оповѣстилъ о томъ, что видѣлъ. Съ свойственной ему точностью, поэтъ подражаетъ слогу средневѣковыхъ проповѣдей, съ отгѣнками устарѣлаго языка. Властолюбіе духовенства выставлено въ „Двухъ мечахъ“. Какъ указываетъ заглавіе, это — драматическая картина борьбы о первенствѣ между папой Гильдебрандомъ и германскимъ императоромъ Генрихомъ IV. Чтобъ изобразить высокоуміе намѣстниковъ Петра, униженіе императора и, наконецъ, потрясающую кончину его, поэтъ не щадилъ красокъ и мѣткихъ штриховъ. Такъ, хоръ епископовъ говоритъ о величіи папскаго престола, о томъ, „что этотъ престолъ былъ до начала вѣковъ, задуманный Богомъ ранѣе сотворенія міра“ и т. д. Хоръ цезарей жалуется, что „римская держава, царица міра,

порабощена и подъ ударами пастырскаго посоха привыкла къ колѣнопреклоненіямъ; пурпуровая мантия ея, взмаха складки которой было достаточно, чтобъ привести въ движеніе рой легионовъ, замѣнена монашеской рясой, и проч.

Поэтъ вообще неистощимъ въ приемахъ при обозрѣніяхъ прошлаго. Такъ, въ стихотвореніи: „Воронъ“, о которомъ было говорено прежде, старый воронъ, прожившій нѣскольکو вѣковъ, рассказываетъ о всѣхъ видѣнныхъ имъ ужасахъ, въ тѣхъ мѣстахъ, куда направляли его прирожденные инстинкты. Онъ проникнутъ несправедливостью проклятія, постигшаго его за удовлетвореніе ихъ. Такимъ образомъ, поэтъ изъ мнѳовъ беретъ тѣ, которые выражаютъ сущность вѣрованій, изъ связанныхъ выбираетъ такія, которыя характеризуютъ психическую жизнь времени или народа, а изъ типовъ выводитъ не только такіе, которые служатъ представителями господствующей мысли вѣка, но и такіе, которые выражаютъ его личный мятежъ, могутъ быть толкователями его личныхъ воззрѣній. Онъ не заставляетъ человѣка слѣдить за нимъ по лабиринту собственныхъ страданій; онъ не ищетъ сочувствія въ личныхъ неудачахъ; его скорбь—скорбь міровая въ обширномъ смыслѣ слова; во многихъ мѣстахъ этихъ видимо объективныхъ произведеній, вы чувствуете хлопотанье внутренней драмы, слышите голосъ негодованія и безнадежнаго скептицизма относительно внутренняго историческаго прогресса. Видѣнія, вызываемыя имъ, часто имѣютъ силу и фантастичность Апокалипсиса, яркость и рельефность Дантовыхъ образовъ.

Средневѣковая борьба противъ мірянъ повторалась не разъ въ нѣдрахъ духовенства, и здѣсь козни и властолюбіе прикрывались религіозными цѣлями. Поэма: „Іеронимъ“ изображаетъ столкновение во имя Христа двухъ пастырей—непреклоннаго аббата Іеронима съ ушедшимъ изъ монастыря, два года скитавшимся монахомъ. Аббатъ осуждаетъ его за неповиновеніе къ заключенію на вѣки въ подземельѣ, но до этого требуетъ полной исповѣди. Монахъ рассказываетъ о видѣніяхъ и о голосѣ Христа, повелѣвавшаго ему дѣйствовать, ибо церковь нуждается въ дѣятельныхъ слугахъ. Потому онъ отправился въ Римъ и пламенной рѣчью склонилъ папу къ альбигойской войнѣ; св. отецъ далъ ему разрѣшеніе, и онъ хочетъ и въ монастырской братіи зажечь святой огонь радѣнія за вѣру. Іеронимъ повелѣваетъ увести безумнаго, который дерзаетъ возвышать голосъ передъ нимъ. Но монахъ показываетъ пергаментъ съ папскою печатью, назначающій его папскимъ легатомъ и намѣстникомъ нерадиваго аббата. Дрожащій отъ сдержаннаго волненія, Іеронимъ повинуется съ видимымъ смиреніемъ, оставляя паству изгоняющему его сопернику.

Жестокость, произволъ и дикія страсти управляли тогда и частной жизнью. Въ балладѣ: „Приговоръ Комора“, старый ярль бросаетъ съ высокой башни въ море молодую жену, полюбившую другого. Въ длинной фантастической балладѣ: „Пѣсь Магнуса“, нѣтъ дѣйствія, но она богата подробностями изъ средневѣковой жизни. Крестоносца Магнуса преслѣдуютъ угроженія совѣсти за многочисленные преступленія, совершенныя имъ на Востокѣ, за пороки, которымъ предавался онъ дома. Напрасно надѣялся онъ успокоить совѣсть, отдавъ церкви часть нечестивой добычи. Кара постигаетъ его въ видѣ демоновъ, неотступно слѣдящихъ за нимъ: большого чернаго пса и трехъ сарацинъ, олицетворяющихъ его пороки.

Навонецъ, въ трехъ романахъ, слѣдующихъ одинъ за другимъ, встрѣчаемъ имя Родрига де-Биваръ, т.-е. Сиды. Извѣстно, какъ часто бывалъ онъ героемъ поэтическаго творчества. Въ нѣмецкой литературѣ славятся „Романсы о Сидѣ“, Гердера, состоящія изъ цѣлаго цикла болѣе или менѣе удачныхъ подражаній испанскому образцу. Если сравнить ихъ съ новыми обработками Левонта де-Лиль или Гереди, то сама собою бросается въ глаза колоритность и характерность новыхъ обработокъ старыхъ тѣмъ. Видно, какъ много внесли въ поэзію историческія науки и какъ тщательно занимаются современные поэты воспроизведеніемъ правоописательныхъ чертъ и мѣстностей, и ихъ окраски. Все крѣпче устанавливается связь между искусствомъ и наукой: первое не только вдохновляется второю и черпаетъ изъ нея матеріалъ, — оно заимствуетъ у нея и средства дѣйствовать на фантазію колоритностью деталей, и вызываетъ возможно реальное впечатлѣніе тѣснымъ союзомъ между человѣкомъ и средой. Иногда кажется, будто человѣкъ, т.-е. дѣйствіе, забывается ради этихъ подробностей, этой эрудиціонной подкладки, долженствующей служить рамкой и атрибутомъ его дѣла, его характера.

Уже нѣсколько лѣтъ ждутъ въ литературномъ мірѣ появленія новыхъ, давно обѣщанныхъ, произведеній поэта: „Les états du diable“, „La Jacquerie“, „L'Apollonide“. Заглавіе первыхъ указываетъ на дальнѣйшія картины изъ средневѣковой жизни, на новое выраженіе негодованія противъ „злости“ тѣхъ временъ. Но чтѣ мы найдемъ въ „Apollonide“?

„Maia“, „Dies Irae“, „Solvat seclum“ — всѣ эти стихотворенія, помѣщенные въ концѣ каждаго тома, резюмируютъ сущность мировоззрѣнія поэта, его философскую мысль. Это заключительные аккорды, отдѣльные звуки которыхъ разсыпаны по всѣмъ произведеніямъ его; они включаютъ каждый отдѣлъ будто для того, чтобъ опредѣлить преобладающую черту его творчества. Призрач-

ность бытія, шаткость древнихъ религій, распаденіе міра—эти три основные мотива, заимствованные изъ буддизма, изъ исторіи, изъ естествознанія, всё сходятся въ одномъ центрѣ—въ пессимизмѣ. Пессимистическій складъ мысли указалъ на нихъ автору, пессимизмъ ихъ питаетъ, пессимизмъ даетъ имъ выдающееся мѣсто среди другихъ мотивовъ, среди столь вообще разнообразнаго содержанія.

Такіе звуки въ поэзіи не новы; „всѣ мы поемъ уныло“ — получило обширное, всенародное примѣненіе. Пессимизмъ представляетъ болѣзнь вѣка, а драматизмъ въ скорбь—давно существующій приѣмъ въ литературѣ. Но не всегда скорбь такъ величава, не всегда она такъ искренна, какъ у Леконта де-Лиль.

Это не избитыя, неопредѣленныя жалобы, безпричинныя и безпредметныя; это не лирическая хандра, не слезливое нытье, такъ часто внушаемое мелкими личными неудачами. Скорбь у Леконта де-Лиль имѣетъ величіе Эсхилова хора: „Пойте гимнъ плачевный!...“ Этотъ плачъ и проходитъ по большинству произведеній поэта. Въ немъ чувствуется искренность, дающая цѣну мельчайшему личному горю, и его скорбь обширна, какъ человѣчество, стара, какъ исторія, глубока, какъ самое жгучее страданіе. Поэтъ не хотѣлъ вводить насъ въ личныя судьбы свои, но показалъ намъ судьбы человѣчества: мы не знаемъ, какими лишеніями, какими утратами посѣтила его судьба, но мы слышимъ, какъ онъ вдыхаетъ вмѣстѣ съ браминомъ у водъ Ганга, какъ оплакиваетъ паденіе вѣрованій и утрату связанныхъ съ ними надеждъ, какъ негодуетъ на извращеніе нравственныхъ идеаловъ въ тѣ времена, которыя обрѣли идеаль нравственности; и если изъ его стихотвореній мы не можемъ почерпнуть никакихъ подробностей для его біографіи, то за всей вереницей отдѣльныхъ картинъ и отрывочныхъ эпизодовъ мы узнаемъ скрывающееся за ними личное горе поэта. Толпа громко и тревожно выражаетъ свои душевныя движенія; мыслитель спойно обобщаетъ ихъ; аристократъ всегда сохраняетъ видимое спокойствіе; но при чтеніи Леконта мы чувствуемъ клокотанье какой-то внутренней драмы, и душа читателя невольно вторитъ поэту; нужно оставить книгу и стряхнуть мрачное впечатлѣніе, чтобы сознать, что поэтъ собственно представляетъ только одну сторону современной мысли, одинъ оттѣнокъ господствующаго мировоззрѣнія: Леконтъ де-Лиль, дѣйствительно, вовсе не живетъ въ настоящемъ, но зато онъ весь проникнутъ злобой настоящаго, его анализомъ, его скептицизмомъ. Онъ, очевидно, прислушивался къ біенію сердца цѣлыхъ поколѣній; но въ могилѣ и трепетное сердце молчать, а потому поэтъ вникаетъ въ метафизическую мысль народовъ, хотя и воззрѣнія мѣняются, и народы умираютъ. Леконтъ любитъ красоту

и, какъ художникъ, рисуетъ живописную сторону столетовеній, но, какъ мыслитель, поражается бесполезностью борьбы; онъ заглянулъ всюду и вынесъ то же—скоротечность всего земного. Онъ видѣлъ величіе и злобу времени, но онъ не можетъ забыть, что эволюціонное движеніе приводитъ въ тому же исходу всякое міровое явленіе: скоро ли, долго ли—что до этого мыслителю, который привыкъ обозрѣвать вѣка; что до этого человѣку науки, который считаетъ время эонами; что до всего этого смертному, который жаждетъ безсмертія!

Въ „Dies Irae“, мы видѣли, поэтъ высказалъ самыя интимныя страданія свои, скорбь объ отсутствіи положительныхъ отвлеченныхъ идеаловъ, и тутъ нельзя не узнать страданій нашего времени. При отсутствіи ихъ, буддизмъ привлекаетъ его къ себѣ своей туманностью, и онъ жадно ухватывается за всѣ, даже самыя туманныя, толкованія, которыя могли бы ему замѣнить недостающіе идеалы. Пессимизмъ Леонта де-Лиль представляетъ болѣзнь времени, утомленнаго мыслью и интенсивностью насущныхъ требованій. Въ душѣ современнаго человѣка совершается конфликтъ между философскою мыслью, провозглашающей фатализмъ во имя науки, и тѣмъ призывомъ къ дѣятельности, который обуславливается требованіями дня и сильнымъ возбужденіемъ духовныхъ силъ. Пессимизмъ можетъ потому привести отдѣльныя лица къ индифферентизму и бездѣйствію но если усталый человѣкъ и откажется на время отъ дѣятельности, то все же отъ жизни мысли онъ отказаться не можетъ. Но что можетъ дать въ поэзіи мысль, отвернувшаяся отъ дѣйствительности, отказавшаяся отъ идеи прогресса, особенно если и сама дѣйствительность, сама жизнь—богата скорбью? Если же дѣйствительность и жизнь не даютъ поэту идеаловъ, то не можетъ ли онъ изъ себя внести ихъ въ жизнь? Откуда въ самомъ дѣлѣ преобладаніе пессимистической мысли и у такихъ современныхъ поэтовъ, которые вовсе не имѣютъ причины жаловаться, или стоять слишкомъ высоко, чтобъ отдаться исключительно личному горю? Неужели наука внесла въ поэзію безнадежность, и неужели торжество первой неразрывно связано съ міровой тоской? Или человѣкъ, быть можетъ, захватилъ такъ много вширь, что потерялъ потому вглубь, и вслѣдствіе того могъ придти къ одному выводу—къ отрицанію бытія? Но всѣ эти вопросы лежатъ за предѣлами избраннаго нами предмета—поэзіи Леонта де-Лиль.

М. Фришмутъ.



---

# МИРАЖИ

Романъ въ четырехъ книгахъ.

---

## КНИГА ТРЕТЬЯ.

XXX \*).

Голубинъ уѣхалъ въ городъ озабоченный. Визитъ во флигель, предпринятый имъ такъ безопасно, въ полной увѣренности, что полчаса передъ отъѣздомъ—время наиболее пригодное для нѣскольکو натанутой встрѣчи,—этотъ визитъ на мѣсто того смутилъ и поколебалъ мало свойственное ему эгоистическое настроеніе. Его испугала громадная пережѣна, совершившаяся въ Строевѣ. Тонъ страстнаго самобичеванія и какихъ-то мистическихъ надеждъ рѣшительно не вязался съ личностью жильца, насколько онъ зналъ его отъ дѣтскихъ лѣтъ. Добрѣйшій Мишель былъ круглый невѣжда въ психологіи. Онъ переживалъ всегда безотчетно свои собственныя волненія и по какому-то особенному складу природы могъ интересоваться только фактическими выводами изъ того, что онъ окрестилъ однимъ общимъ именемъ „умствованій“. Ему всегда бывало какъ будто стыдно говорить о своихъ ощущеніяхъ; это выливалось у него только въ видѣ бурныхъ объясненій, до которыхъ доводила одна крайность. Ему бывало даже неловко выслушивать изліянія другихъ. Онъ принадлежалъ къ тѣмъ людямъ, которые никогда не упоминаютъ о „настроеніи“, „подъемѣ“ или „упадкѣ духа“, и т. п. Когда другіе на его глазахъ предавались такимъ умствованіямъ, ему почему-то казалось, что это или ри-

---

\*) См. выше: мартъ, 91 стр.

совка, или праздная забава, не всегда, однакожь, безвредная. Строеву, по мнѣнію Мишеля, необходимо приободриться и возможно скорѣе приняться за какое-нибудь правтческое дѣло; вмѣсто того онъ все больше углубляется въ отвлеченную философію на безотрадной и волнующей почвѣ собственной испорченной судьбы.

„И меня тутъ припелъ!..“ — припоминалъ Голубинъ странное объясненіе, затѣянное безъ всякаго повода, послѣ того какъ недавно еще Строевъ оттолкнулъ его такъ безсердечно. Невольно приходили на память мрачныя предсказанія Заботина... До сихъ поръ Мишель умѣлъ объяснять ихъ себѣ очевидной ревностью Ореста Павловича, и первый всегда оспаривалъ его, насколько хватало умѣнья. Но чтѣ если умный докторъ не только злобствовалъ съ досады, а еще ставилъ мѣткій и вѣрный діагнозъ опытнаго врача?!

Таково было по крайней мѣрѣ впечатлѣніе, вынесенное самимъ Мишелемъ. Попытка Строева не только не порадовала его сама по себѣ, — она вовсе не слѣлала на него никакого впечатлѣнія. Мишель разсѣянно смотрѣлъ на мелькавшія мимо поля и думалъ о томъ, какъ бы вѣрнѣе отвлечь Сергѣя отъ „такихъ мыслей“. Онъ исполнилъ однакожь желаніе, высказанное Строевымъ съ странною горячностью: онъ ничего не сказалъ, уѣзжая, Аннѣ, и даже не упомянулъ вовсе о своемъ визитѣ во флигель.

Анна была довольна, что Мишель собрался въ городъ; какъ и Строевъ, она боялась, чтобы рано или поздно онъ не завелъ щекотливаго разговора. Боялась потому, что вопросъ ея отношеній къ Строеву, такой важный и такой неясный, тяжелой загадкой лежалъ у нея на сердцѣ... Она должна была сознаться, что у нея нѣтъ готоваго отвѣта, еслибы Мишель обратился за нимъ въ своемъ правѣ брата и друга. То, чтѣ она переживала, ей самой минутами казалось невозможнымъ, безумнымъ... Любовь этого человѣка, которой она добивалась (эту сторону вопроса Анна рѣшила безповоротно въ такомъ смыслѣ: добивалась!), эта любовь приближалась къ ней медленнымъ, запутаннымъ, непонятнымъ ей путемъ... Какъ бы то ни было, она приближалась! Они не могли больше встрѣтиться безразлично. Строевъ прятался и тѣмъ облегчалъ ей положеніе — но этому настанетъ конецъ. Встрѣтятся ли они случайно? придетъ ли онъ въ павильонъ? Какое будетъ это объясненіе?..

Анна напрасно задавала себѣ съ утра до ночи такіе вопросы. Это было что-то отдѣльное отъ нея самой. Оно совершится неизбежно, неумолимо — то, чтѣ зовется судьбой, хоть эта

судьба слагается изъ нашихъ собственныхъ чувствъ и поступковъ. Конечно, она сознавала ясно, что ей остается сдѣлать—она это сдѣлаетъ. Но и только! Сердце какъ будто окаменѣло въ ея груди. Она чувствовала его тяжесть. Оно мѣшало ей! Оно не давало увлечься думами о будущемъ, въ которомъ, повидимому, все слагалось по ея желанію. Каждымъ ударомъ своимъ точно напоминало: я—я—я!.. Словно предупреждало, что она никуда не уйдетъ отъ него, будетъ вѣчно слышать внутри себя свободный, протестующій голосъ...

Анна боялась Мишеля и хотѣла, чтобы онъ уѣхалъ; но когда онъ уѣхалъ, ей стало еще тоскливѣе. Хуже всего было то, что она разлюбила свой павильонъ; минутами она просто не въ состояніи была оставаться тамъ одна—она шла въ большой домъ, къ дѣтямъ, къ Манѣ, къ бабушкѣ, но все же должна была возвращаться въ безмолвную круглую комнату! Это сердило ее невыразимо. Цѣлая сторона жизни точно ускользала отъ нея, и она не могла удержать ее, хоть и жалѣла о ней страстно. Въ этомъ ускользавшемъ была прелесть, которую она научилась цѣнить: беззаботность. *Тогда* она называла это пустотой, и томилась до слезъ...

Единственнымъ отвлеченіемъ для Анны служила горячая переписка, завязавшаяся у нея съ Ожогинимъ, но и переписка эта была такого свойства, что не могла радовать ее. Скоро послѣ своего отъѣзда молодой художникъ прислалъ ей длиннѣйшее письмо, въ которомъ съ неподдѣльнымъ отчаяніемъ и бурнымъ презрѣніемъ къ себѣ торжественно каялся въ томъ, что называлъ своимъ „предательствомъ“. Приходилось утѣшать его. Анна была настроена слишкомъ серьезно и тревожно, чтобы вникнуть во всѣ перипетіи этихъ волненій и отнестись къ нимъ съ тѣмъ вниманіемъ, какого онъ требовалъ. Вѣроятно въ тогѣ дѣвушки противъ ея воли проскользнула небрежность, въ ея черезъ-чуръ охотномъ и полномъ прощеніи—слишкомъ явно сказалось равнодушіе. Отвѣтъ ея повлекъ за собой новыя, запальчивыя объясненія, которыя съ каждымъ разомъ все больше уклонялись отъ первоначальной темы. Въ концѣ концовъ Дмитрій Дмитриевичъ былъ такъ разобиденъ, что и рѣчи не могло быть о его скоромъ пріѣздѣ въ Зальсъе. Все это прибавляло Аннѣ заботы и досады.

Къ счастью погода стояла прекрасная, и можно было по крайней мѣрѣ гулять, насколько хватало силъ. Маня скоро подмѣтила со стороны Анны необыкновенный приливъ нѣжности къ дѣтямъ. Молодая тетушка постоянно держала ихъ теперъ около



себя, гуляла съ ними, болтала и часто уводила ихъ въ себѣ въ павильонъ, куда прежде доступъ не былъ для нихъ такъ легко. Неужели Анна дѣйствительно тосковала такъ серьезно по умершей дѣвочкѣ? Тѣмъ лучше! Маня готова была принять это за торжество своихъ убѣжденій. Не доказывала ли она постоянно, что женщина создана единственно для семьи? что всѣ эти попытки выбиться на какой-то новый „широкій путь“ — не больше, какъ пустая „фанаберія“ или красивая маска для прикрытія вовсе не новыхъ и не весьма красивыхъ вещей?..

— Дѣти не такъ скучны, Анна, не правда ли? — спрашивала Маня лукаво.

— О, нѣтъ, они вовсе не скучны! Они милы и... жалки! — отвѣчала Анна грустно, думая о бѣдненькой Шурѣ.

Это маленькое обстоятельство нѣсколько сблизило обѣихъ женщинъ. Польщенная въ своей материнской нѣжности, Маня стала относиться къ дѣвушкамъ менѣе подозрительно, что и было какъ нельзя болѣе встать, потому что облегчало для Анны необходимость искать ея общества, спасаясь отъ одиночества.

„Она не умна, но право же она добра“, — говорила себѣ Анна.

„Она можетъ быть очень милой, когда оставить свой несносный высокій тонъ“, — находила въ свою очередь Марья Павловна.

Но, увы! все это трогательное согласіе длилось не долго. Оно было нарушено самымъ внезапнымъ и самымъ грубымъ образомъ...

Ночи стояли лунныя, — волшебныя лунныя ночи конца лѣта, когда фантастическій холодный свѣтъ дѣлается настолько силенъ, что кажется, какъ будто онъ даже грѣетъ. На скошенныхъ лужайкахъ, на песчаныхъ дорожкахъ и площадкахъ рядомъ съ рѣзкими черными тѣнями яркія пятна мало уступали солнечному блеску и получали живую, теплую окраску. Ступени балкона, его бѣлые холсты, просторная площадка съ разбросанною по ней садовою мебелью — все было залито страннымъ свѣтомъ, который таитъ въ себѣ что-то загадочное, разгорается съ каждой минутой ярче, заставляетъ желать, чего-то ждаты неяснаго... Онъ волнуется и томитъ сладкой, мечтательной тоской, даже если ты такъ счастливъ, что нѣтъ у тебя тоски истинной, которая бы поднялась съ удесатеренной, сокрушающей силой... Почему въ этой неясной тревогѣ всегда есть доля грусти, меланхоліи?.. Самая рѣзвая юность притихнетъ и задумается въ приливъ томительнаго, страстнаго нетерпѣнія. Идеальное счастье уронить свѣт-

люю слезу умиленія и благодарности. Самое черствое сердце живѣе ощутитъ свое одиночество; по своему — желчно, раздражительно, пристрастно и горько, — но все же оно почувствуетъ сожалѣніе о чемъ-то иномъ, невозможномъ и невозвратномъ...

Марья Павловна была молода, слегка сентиментальна, поскольку это обязательно для красивой молодой женщины, и она была вдвоемъ съ человѣкомъ, который ей нравился. Надъ ними старые дубы возносились громадной темной массой, а пышный садъ уходилъ вдаль своими серебриющимися аллеями, прихотливыми дорожками, лужайками и нарядными клумбами. Знакомыя группы деревь получили неясныя, причудливыя очертанія. Черныя тѣни ложились длинныя и таинственныя, мѣняя привычныя размѣры, придавая всему картинность, накладывая новый, чуждый отпечатокъ на самые простые и обыденные предметы. Открытое окно сверкало и горѣло въ лучахъ луны, ударившихъ прямо въ стекло. Свѣтъ лампы въ глубинѣ столовой казался очень слабымъ и красноватымъ. Все спало въ домѣ. Смутные звуки долетали иногда изъ глубины двора.

Они были одни. Орестъ Павловичъ опоздалъ на пароходъ. Докторъ свято исполнялъ слово, данное Мишелю, — онъ являлся черезъ день въ Залъсье въ качествѣ полномочнаго и отвѣтственнаго диктатора. Докторъ утверждалъ, что всѣ должны слѣпо повиноваться ему, для того, чтобы онъ могъ удачно выполнить свою миссію. Онъ былъ въ превосходнѣйшемъ расположеніи духа, всачески старался ладить съ Анной и былъ такъ неизмѣнно почтителенъ съ grand'papa, что успѣлъ даже поколебать нѣсколько ея антипатію. Въ этотъ день докторъ былъ возбужденъ и веселъ какъ юноша. За обѣдомъ онъ затѣялъ съ Анной цѣлое философское состязаніе, которое и было внезапно прервано пароходнымъ свисткомъ.

Орестъ Павловичъ переполошился. Онъ очень спѣшилъ, подъ конецъ пустился даже бѣжать, но онъ такъ долго прощался и столько разъ оборачивался, чтобы проеричать Аннѣ какой нибудь недосказанный аргументъ, что въ концѣ концовъ онъ все-таки опоздалъ. Это случилось съ нимъ въ первый разъ, съ тѣхъ поръ какъ онъ ѣздилъ въ Залъсье. Онъ много распространялся о томъ, насколько это неудобно и какъ необходимо его присутствіе въ городѣ рано утромъ, но однакожь его счастливое настроеніе нисколько не пострадало отъ грядущихъ неприяностей.

— Судьба! — произнесъ онъ выразительно вполголоса, глядя въ упоръ въ лицо Мани.

Маня покраснѣла и... была очень довольна. Въ подобную

ночь кто въ состояніи сидѣть въ комнатахъ? Марья Павловна плохо сознавала, сколько времени она оставалась на балконной площадкѣ, полулежа въ качалкѣ и словно грѣясь въ обманчивыхъ лучахъ. Сначала они блуждали втроемъ по саду, но Маня была неохотница ходить; какъ-то незамѣтно Анна исчезла, и они вдвоемъ вернулись на площадку.

Орестъ Павловичъ придвинулъ свой стулъ къ самому креслу, чтобы помѣшать ей раскачиваться—это раздражало ему нервы. Онъ положилъ свою руку на ручку качалки. Маня чувствовала его совсѣмъ близко за своимъ плечомъ. Смутныя мысли бродили въ головѣ молодой женщины, попеременно съ разговоромъ, тянувшимся вяло, съ разстановками.

..Это больше не повторится—провести почти цѣлый день съ нимъ глазъ на глазъ! И она для этого пальцемъ не шевельнула. Правда, она устроила побѣдку Мишеля, но исключительно въ его же интересахъ. Орестъ Павловичъ опоздалъ... что можетъ быть проще такой случайности? Онъ даже не съ нею заговорился. Маню и это какъ будто оправдывало въ чемъ-то. Она только пассивно отдавалась теченію... Въ чарующей обстановкѣ лунной ночи каждый наступающій часъ какъ будто сулилъ что-то невѣдомое, жуткое, съ чѣмъ не было ни силъ, ни охоты бороться. Безъ всякаго сомнѣнія, Маня была совершенно увѣрена въ себѣ. Она только не могла побѣдить любопытства. Хотѣлось слышать, что еще онъ скажетъ... что будетъ дальше, дальше... до той минуты, когда настанетъ пора возмутиться и произнести одну изъ фразъ всегда готовыхъ, которая и разсѣетъ волнующій миражъ...

Орестъ Павловичъ доказывалъ, что женщины не умѣютъ жить. Онъ всегда безцеремонно отрицалъ нравственное превосходство женщины надъ мужчиной. Если и существуетъ это пресловутое превосходство, то, по его мнѣнію, только вынужденное. Впрочемъ,—прибавлялъ докторъ со смѣхомъ,—вѣдь это онъ дѣлаетъ уступку, выражаясь *изъ* языкомъ! Какъ медикъ и какъ прилежный наблюдатель, онъ вовсе не можетъ признавать добродѣтель извращеніе человѣческой природы. *Chassez le naturel par la porte, il vous revient par la fenêtre*—всѣ мы знаемъ эту простую истину, но всѣ боимся примѣнить ее къ себѣ.

Маня попросила оставить въ покоѣ добродѣтель, потому что... потому что она не видитъ, для чего имъ вести подобные разговоры! Это было такъ наивно и неловко, а смущеніе молодой женщины,—внезапное, жестокое смущеніе до слезъ, выступившихъ на пышныхъ рѣсницы,—это смущеніе было такъ восхитительно и забавно, что Орестъ Павловичъ вскочилъ со стула и остановился

прямо надъ нею, съ торжествующимъ блескомъ въ глазахъ и нѣжной улыбкой на губахъ.

— Нѣтъ, я васъ прошу—побесѣдуйте немножко о добродѣтели, Марья Павловна! Вы, кажется, полагаете, что я вовсе отрицаю ее? Но я сейчасъ докажу вамъ, что ставлю ее даже выше, чѣмъ вы, потому что понимаю гораздо правильнѣе.

— Чтò у васъ за страсть философствовать! Нѣтъ, нѣтъ, я отказываюсь. Вы знаете, что я не охотница до споровъ!..

— Гм... какъ вамъ угодно. *Tout chemin mène à Rome*. Я васъ не стану пугать словами, которыхъ вы боитесь, но вѣдь я могу же подѣлиться съ вами однимъ своимъ наблюдениемъ? Самое простое, не пугайтесь.

Марья Павловна неувѣренно смотрѣла на него своими влажными голубыми глазами.

— Пора вамъ встряхнуться немножечко отъ вашей прозы!— произнесъ Заботинъ медленно, конфиденціально понижая голосъ и не спуская съ нея глазъ.

— Чтò-о?—Маня строго сдвинула брови и выпрямилась въ качалкѣ.

— Не понимаете, небось? Я имѣю то неоцѣненное достоинство, восхитительная моя барынька, что со мною вовсе не требуется лицемерить. Вѣдь я ужъ сказалъ вамъ—не бойтесь! Въ моихъ словахъ не кроется никакихъ ужасовъ. Вашъ Мишель—предѣстѣнный въ мірѣ человекъ, я первый съ этимъ согласенъ.

— Оставьте, Бога ради, Мишеля! Я не хочу! Я не понимаю!

Онъ опять сидѣлъ на стулѣ, этотъ стулъ опять придвинутъ былъ къ качалкѣ, такъ, чтобы она не могла двигаться. Докторъ взялъ руку Мани и слегка пожималъ ее, какъ бы успокаивая ея тревогу.

— Ну, чего, чего вы не понимаете? Вамъ двадцать-шесть лѣтъ и вы красавица—это я понимаю! Неужели же съ этихъ поръ—и даже не съ этихъ, а съ семнадцати лѣтъ—и до гробовой доски будетъ все одно и то же? Неужели вы до такой степени наивны, что серьезно вѣрите, что это возможно?!

— Орестъ Павловичъ!—лепетала беспомощно Маня.

Она была увѣрена, что нужные слова всегда будутъ къ ея услугамъ. Къ своему ужасу теперь она не могла собрать ихъ въ приличную фразу. Они куда-то улетучились изъ памяти. Она не въ силахъ была ничего произнести,—самый голосъ измѣнилъ ей. О, разумѣется, она любитъ Мишеля, только Мишеля! Она никогда не помыслить даже промѣнять его на этого безнравственнаго, безжалостнаго циника... Она только не можетъ уйти! Сила какая-

то привѣчиваетъ въ креслу. Она молчитъ, потому что глубокое, сладкое и страшное, никогда не испытанное смятеніе переполняетъ все ея существо...

— Вы невиннѣ всякой институтки!—говорить онъ съ нѣжной досадой, пригнувшись близко, совсѣмъ въ ея лицу и овладѣвъ ея обѣими руками.

Маня сдѣлала надъ собой отчаянное усиліе и поднялась на ноги. Руки ея остались въ его власти.

— Вы прекрасно знаете, что я горю на медленномъ огнѣ... Ну, я не мастеръ говорить всѣ эти сладости, какъ принято! Повѣрьте, что чѣмъ больше нашъ братъ ораторствуетъ въ подобныя минуты, тѣмъ онъ меньше чувствуетъ... Оставаясь тѣмъ, что вы есть, вы не настолько же равнодушны, чтобы отказать мнѣ въ поцѣлѣ?..

Маня вслушивалась блѣдная, пугливо закрывая глаза. Это было совсѣмъ не то, чего она ждала, желала! Было такъ всецѣло лишено поэзіи, всего, что мерещится чарующей ночью, взбунтовавшей всю кровь въ жилахъ—но странно! именно новизна, самая грубость словъ и намековъ производила какое-то оцѣпляющее дѣйствіе... Ея руки дрожали въ его рукахъ. Онъ говорилъ еще что-то уже шопотомъ. Въ своемъ смятеніи она ловила только отрывочные звуки. Она не сознавала, какъ случилось, что она упала назадъ въ качающееся кресло, а онъ покрывалъ ея лицо и шею страстными поцѣлуями.

Это длилось минуту—не дольше. Въ умѣ Мани промелькнула цѣлая вереница не мыслей, а какихъ-то намековъ на мысли, ей однакожъ понятныхъ. Вѣшать сію минуту во что бы то ни стало!

И она убѣжала, сама не зная, какъ ей удалось выскользнуть изъ его объятій, убѣжала, оставивъ въ его рукахъ голубую навидѣу.

Очень небольшое пространство отдѣляло ихъ отъ балкона, но его надо было *перевѣшать* на его глазахъ, на виду безчисленныхъ нѣмыхъ свидѣтелей, въ яркомъ свѣтѣ мѣсяца. Длинная, уродливая тѣнь бѣжала съ ней рядомъ и дѣлала бѣгство еще замѣтнѣе, позорнѣе! Маня не спускала испуганныхъ глазъ съ этой тѣни, пока она, извиваясь, не вползла по ступенькамъ, и, цѣпляясь за перила, потонула наконецъ съ нею вмѣстѣ въ спасительной тѣни.

## XXXI.

Орестъ Павловичъ скомкалъ голубую накидку и бросился въ опустѣвшую качалку. Старъ онъ для такихъ пассажировъ! Непреоборимая добродѣтель и откровенное заигрываніе—такая бессмысленная смѣсь отнюдь не въ его вкусъ! Очаровательная Марья Павловна пойметъ это въ самомъ ближайшемъ будущемъ! Красотка такъ наивна или такъ глупа, что кажется не шута воображаетъ, что ея veto—все, а самыя рискованныя сцены въ молчанку могутъ быть сведены на нѣтъ!

Докторъ кусалъ ноготь на большомъ пальцѣ и нетерпѣливыми ударами ноги во весь махъ раскачивалъ качалку. Немудрено, что онъ не слышалъ шаговъ по песку и не слышалъ легкаго кашля, которымъ его предупреждали о своемъ приближеніи. Орестъ Павловичъ очнулся только тогда, когда какая-то длинная тѣнь перерѣзала передъ нимъ песчаную площадку.

„Возвращается!“ Онъ вылетѣлъ изъ качалки, и съ подавленнымъ восклицаніемъ, не успѣвшимъ сорваться съ устъ, очутился лицомъ къ лицу съ Анной.

— А-а! вотъ это кто... вы, Анна Владиміровна!

— Да, это я.

Заботинъ нѣсколько разъ энергично провелъ руками по волосамъ, снялъ очки, протеръ ихъ и опять надѣлъ; въ то же время онъ, не переставая, кружился около Анны. Нѣсколькихъ секундъ такихъ нервныхъ, почти произвольныхъ движеній оказалось достаточно, чтобы уговорить его. Неожиданное появленіе дѣвушки дало другой оборотъ мыслямъ, и онъ съ удовольствіемъ почувствовалъ, что вспышка проходитъ безслѣдно.

Анна стояла неподвижно. Въ ея позѣ было что-то натянутое. Она молча слѣдила за нимъ глазами.

— Ночь-то какая, Анна Владиміровна! И вамъ не спится?

— Я тоже не сплю.

Гм!.. Тонъ какой-то странный. Заботинъ подвинулся ближе и зорко всмотрѣлся. Въ лунномъ освѣщеніи всѣ лица кажутся блѣдными; но порывистое движеніе, которымъ Анна отвернулась отъ него, окончателно не понравилось доктору.

— Вы давеча исчезли такъ незамѣтно.

Анна промолчала, а Орестъ Павловичъ еще больше насторожился. Что-то безъ словъ сообщалось отъ одного къ другому.

— Я жалѣю, что вышла. Но въ сущности жалѣть не въ правѣ.

Голосъ ея былъ суровъ, руки плотно прижаты къ груди. Орестъ Павловичъ все понялъ: она видѣла! Онъ слегка покраснѣлъ, но вслѣдъ затѣмъ дерзкая усмѣшка заиграла на его лицѣ. Его неизмѣннымъ правиломъ всегда было идти отважно на-встрѣчу бѣдѣ.

— Вы что-то хотите сказать этимъ?—произнесъ онъ вызывающе, нервно выбивая трель пальцами по столу.

Анна знала его хорошо, но апломбъ въ такую минуту взорвалъ ее.

— Вы прекрасно понимаете, что я говорю!

— Догадываюсь,—хотя вашъ тонъ способенъ ввести въ заблужденіе.

— Мой тонъ?..

Онъ пожалъ плечами.

— Очень просто: вы смотрите по обыкновенію въ увеличительные очки. Nicht so arg, gnädiges Fräulein! Если вы полагаете, что любая замужняя женщина проживетъ свой вѣкъ, не обмѣнявшись поцѣлуемъ, отъ котораго бы не вѣяло супружеской скукой, то позвольте замѣтить, что рано или поздно нужно же и вамъ приобрести жизненный опытъ! Мирному Залѣсью не угрожаетъ никакая романтическая катастрофа, завѣряю васъ своей честью. Марья Павловна—самая семейственная дама въ мірѣ и героиня не моего романа,—это-то по крайней мѣрѣ вамъ достаточно извѣстно!

Несмотря на все свое возмущеніе, Анна шагнула къ нему ближе. Она хотѣла видѣть—съ какимъ лицомъ можно это говорить.

— Что вы на меня такъ смотрите? Словно у меня звѣзда во лбу возсіяла! А дѣло такъ просто, какъ проща и быть не надо. Ваша belle soeur черезъ-чуръ хороша,—на этомъ пунетѣ ее собьетъ каждый, кто только пожелаетъ... Суровыя добродѣтели до поцѣлуя включительно подъ силу однѣмъ некрасивымъ женщинамъ, можете повѣрить моей опытности! Наконецъ, что такое поцѣлуй?! чѣмъ онъ такъ ужъ страшно отличается отъ взгляда, рукопожатія, слова? Смѣшно! Изъ десяти человѣкъ девять не могутъ жить, не мороча себя, какъ малаго ребенка на каждомъ шагу.

Орестъ Павловичъ окончательно перешелъ въ ироническій тонъ человѣка, недоумѣвающего, для чего другіе дѣлаютъ изъ мухи слона. Анна шагнула къ столу и опустила на него судорожно сжатую руку. Голосъ срывался отъ гнѣва, краска залила ей все лицо.

— Замолчите, я васъ прошу! Ваши взгляды мнѣ ни мало не интересны и въ тому же слишкомъ извѣстны. Вы переста-

нете ѣздить въ Залъсье, Орестъ Павловичъ. Предоставляю вамъ избрать приличный предлогъ.

— Чтѣ-о? Перестать ѣздить? (Онъ безцеремонно расхохотался.) Я во всякую данную минуту готовъ быть вашимъ покорнымъ рабомъ, но разыграть роль высѣченнаго гимназиста я не способенъ даже и въ угоду вамъ. Прошу не пенять!

Нѣсколько секундъ они мѣряли другъ друга взглядами.

— Вы отказываетесь?

Онъ насмѣшливо поклонился.

— У меня есть средство принудить васъ и помимо вашего желанія.

— Мишель? ну, его-то вы пожалѣете; для этого вы достаточно здравомыслящій человѣкъ!

„Какъ поступаютъ съ такими нахалами?!“ — спрашивала себя Анна потерянно.

— Возьмите хладнокровія на пять минутъ и выслушайте меня, Анна Владиміровна, — подошелъ къ ней дружески Заботинъ: — Перестать ѣздить... и это говорите вы! Если я не бросаю ѣздить до сихъ поръ изъ гордости, изъ самосохраненія, чтобы избавить себя отъ пытки, то ужъ для васъ-то должно быть очевидно, что это выше моихъ силъ! Или теперь вы, можете быть, почтете себя въ правѣ утверждать, что меня привлекаетъ въ Залъсье она, а не вы?!.. Попробуйте сказать это, глядя мнѣ въ глаза!..

— Господи! Понимаете ли вы, чтѣ такое вы говорите?! — всплеснула руками Анна.

— Вы не понимаете, я вижу! Нѣтъ, просто не хотите понять! — махнулъ онъ рукой съ неподдѣльною горечью. — Все равно, надо кончить какъ-нибудь. Я не перестану ѣздить въ Залъсье и приѣду въ обычный срокъ, послѣ-завтра. Я не ручаюсь и не даю вамъ слова, что не поцѣлую еще когда-нибудь вашу соблазнительную Гретхенъ, коли она подвернется мнѣ въ такую предательскую ночь. Надѣюсь, что я поступаю достаточно чисто-сердечно? Вы же можете нарушить спокойствіе вашего брата, можете бросить ядовитое зерно въ его блаженную жизнь зря, изъ-за сущаго пустяка, — это зависитъ отъ вашего вкуса.

— Да, это зависитъ отъ меня. Понятія о пустякахъ различны, Орестъ Павловичъ.

— Изъ пустяковъ, Анна Владиміровна, легко вырастаютъ серьезныя вещи, когда съ ними обращаются безтактно.

— Это угроза?

— Покажетъ будущее!



Докторъ отвѣсилъ почтительный поклонъ, и, не сгѣша, направился къ дому, гдѣ ему была приготовлена постель въ кабинетѣ Мишеля...

Анна осталась одна. Каждый фибръ ея существа дрожалъ отъ возмущенія; но къ возмущенію примѣшивалось еще что-то, похожее на удивленіе. Этотъ человѣкъ обладалъ свойствомъ, которое дается немногимъ: онъ умѣлъ поражать, дѣлать впечатлѣніе. Такихъ людей женщины рѣдко презираютъ въ истинномъ значеніи этого слова—въ нихъ все же есть сила, хоть и отрицательная.

Анна медленно побрела къ себѣ въ павильонъ черезъ садъ, залитый безпокойнымъ свѣтомъ. Ея тревога, заглушенная на время эффектной выходкой Заботина, поднялась съ новой силой. Сцена, внезапно представшая передъ нею на балконной площадкѣ, слишкомъ краснорѣчиво говорила сама за себя, сколько ни усиливался Орестъ Павловичъ придать ей характеръ случайнаго волонтиста. Анна стала припоминать, перебирать въ прошломъ разные мелочи... Возраставшая благосклонность Мани въ доктору была совершенно очевидна, но до сихъ поръ ей въ голову не приходило подыскивать этому объясненіе. Жена Мишеля была выше подозрѣній. „Почему?“—спрашивала себя теперь съ горечью дѣвушка:—потому быть можетъ, что Анна хорошо знала всю мелочность и всю апатичность этой натуры. Ей казалось, что и для грѣха, для паденія нужна извѣстная сила—сила страсти и отваги. Не ей, съ ея смутными дѣвическими представленіями и идеальными воззрѣніями, было разобратся въ путаницѣ противорѣчивыхъ побужденій. Не ей было понять возможность подобнаго влеченія на-встрѣчу собственной гибели—влеченія безъ любви, безъ всякаго глубокаго побужденія, безъ опредѣленной цѣли и яснаго сознанія! Анна неизбѣжно должна была запутаться въ объясненіяхъ, не имѣвшихъ ничего общаго съ дѣйствительностью и способныхъ только усилить ея тревогу. Постѣ нѣсколькихъ часовъ мучительнаго размышленія, она ничему больше не вѣрила: ни чести Мани, ни ея любви къ Мишелю. Чего добраго, и самая страсть Ореста Павловича къ ней, къ Аннѣ, не болѣе какъ комедія, разыгранная для отвлеченія вниманія? Это была уже явная нелѣпость. Анна вдругъ позабыла все, чтѣ видѣла столько разъ собственными глазами, все, чтѣ слышала своими ушами—до такой степени ей казалось невозможнымъ, чтобы счастливая, обожаемая жена Мишеля забавлялась отъ скуки пошленькой интрижкой съ человѣкомъ, влюбленнымъ въ другую. Если всѣ лгутъ, то можно ли сказать съ увѣренностью, гдѣ именно ложь?! Если можно страдать и тер-

заться, какъ терзался этотъ человѣкъ на ея глазахъ, и въ то же время соблазнять чужую жену, потому только, что она молода и хороша!

Анна заснула въ слезахъ—въ слезахъ негодованія, отвращенія къ жизни и безпредѣльной жалости къ брату. Она еще не рѣшила, что ей дѣлать: боялась молчать и еще больше боялась отереть ему глаза. Въ ея пылкой головѣ смѣнялись всевозможныя комбинаціи, одна другой рѣшительнѣе, въ то время какъ жена Мишеля тревожно спала, напуганная, но въ концѣ концовъ вдвойнѣ торжествующая: своей правотой и побѣдой надъ интереснымъ и опаснымъ героемъ...

### XXXII.

Однакожь на утро Марья Павловна встала не въ духѣ. При дневномъ свѣтѣ приключеніе лунной ночи предстало въ другой окраскѣ, чѣмъ наканунѣ, когда живыя впечатлѣнія еще всецѣло властвовали надъ душой, а взволнованная кровь горячо переливалась въ молодомъ тѣлѣ. Причесываясь, Марья Павловна покраснѣла, поймавъ въ зеркалѣ томный взглядъ голубыхъ глазъ. Она прошла въ дѣтскую и покраснѣла во второй разъ, когда Вавочка съ радостнымъ визгомъ повисла у нея на шеѣ и прильнула къ ея горячему лицу своими свѣжими, влажными губами. Молодая мать долго сидѣла съ дѣтми, но ея тревога не унималась а, напротивъ, все усиливалась. Она повторяла себѣ, что вовсе и думать-то объ этомъ не станеть, но въ то же время она не слышала, что болтали дѣти и не была въ состояніи думать ни о чемъ другомъ. Она не забывала ни на минуту, что Заботинъ прійдетъ завтра; она не могла не ощущать, что ждетъ его всѣмъ существомъ своимъ...

Маня ушла въ спальню и сѣла на свою кровать. Вонъ на вѣшалкѣ виситъ домашнее пальто Мишеля рядомъ съ ея капотомъ. На кровати свернуть старенькій бѣличій тулупицъ, которымъ онъ любитъ покрывать ноги. На комодѣ брошена заношенная бѣлая фуражка,—ее надо бы приготовить къ его приѣзду... Маня машинально перебѣгала глазами отъ одного предмета къ другому. Что еслибъ сейчасъ онъ вошелъ въ комнату, вернулся почему-нибудь изъ города раньше?! Нѣтъ, нѣтъ—этого не должно быть! Не нужно, чтобы онъ засталъ ее врасплохъ, видѣлъ эту тревогу, съ которой она легко справится—о, разумѣется, справится! Вѣдь не влюблена же она въ самомъ дѣлѣ въ Ореста

Павловича, который не стоит одного мизинца ея Мишеля! Она искренно сознавала это, и потому не могла отрѣшиться отъ ощущенія внутренней правоты даже въ тѣ минуты, когда краска неудержимо заливала ей лицо. Но вотъ въ воображеніи встаетъ освѣщенная площадка и пугливо скользящая по ней тѣнь убагающей женщины...

Маня вскочила и стала дѣлать то, чего она никогда не дѣлала: стала ходить безпокойно взадъ и впередъ по комнатѣ. Она знала только одинъ способъ выйти изъ мучительнаго состоянія — это доказать себѣ собственную непогрѣшимость. Разъ ступивъ на торную дорогу, она быстро понеслась впередъ, не замѣчая, когда ея доводы оказывались цѣликомъ фразами Ореста Павловича, афоризмами той своеобразной морали, какой онъ предусмотрительно пересыпалъ свое ухаживаніе. Ко времени обѣда Маня уже видѣла ясно, какъ Божій день, что бить въ набатъ рѣшительно не изъ чего. Она любитъ мужа и не собирается измѣнять ему. Она очень счастлива, но ни она и никто другой не станетъ счастливѣе оттого, что она лишитъ себя маленькаго развлечения въ однообразіи своихъ семейныхъ обязанностей.. Конечно, Заботинъ велъ себя вчера черезъ-чуръ дерзко — но вѣроятно не болѣе дерзко, чѣмъ съ каждой другой женщиной! Правда, она сама проповѣдывала всегда какой-то экзальтированный культъ супружеской любви — но вѣдь почему-нибудь да оказывается же культъ этотъ такъ трудно осуществимымъ въ дѣйствительности! Она молода и ровно ничего не знаетъ объ интимной жизни другихъ женщинъ, остающихся добродѣтельными въ глазахъ всѣхъ и cadaго. Конечно, мужчины знаютъ объ этомъ гораздо больше! Почему-нибудь да вызываетъ же ея наивная мораль явныя насмѣшки доктора, снисходительное пренебреженіе Анны и самодовольный восторгъ Мишеля. Еще бы ему-то это не нравилось! Во всякомъ случаѣ ей не угрожаетъ никакая бѣда, и было бы очень безтактно самой раздувать незначашее приключеніе и затѣвать исторію. Орестъ Павловичъ не таковъ человекъ, котораго легко запугать. Самое лучшее — вовсе не придавать этому важности и... и быть осторожнѣе на будущее время, само собой разумѣется!..

За обѣдомъ Марья Павловна замѣтила, что Анна чѣмъ-то сильно разстроена, но въ этомъ не было ничего необычнаго. Маня не подозрѣвала, конечно, какая буря поднималась въ душѣ дѣвушки при каждомъ взглядѣ на ея разсѣянное лицо, безъ всякаго слѣда на немъ печали или смущенія.

„...Какъ ни въ чемъ не бывало!“ — восклицала мысленно Анна, стискивая зубы. Вотъ съ такими лицами лгутъ! Съ той же не-

бесной улыбкой она выслушаетъ, когда Мишель станетъ по обыкновенію называть ее: „моя мадонна“. Мадонна! Боже, какъ слѣпы мужчины! Кого изъ нихъ нельзя обмануть такимъ лицомъ? О, глупый, милый, бѣдный медвѣдь!!

Анна промолчала весь обѣдъ, потому сейчасъ же ушла къ себѣ. Ночь была такая же свѣтлая, какъ и наканунѣ. Когда все въ домѣ улеглось, на Маню напала тоска—томительное чувство одиночества, пустоты и безцѣльности уходящихъ часовъ. Попробовала-было она выйти въ садъ, но сейчасъ же вернулась и съ трудомъ принудила себя остаться нѣкоторое время на балконѣ. На залитой свѣтомъ площадкѣ сумрачно поднимались только два темные великана, живые свидѣтели вчерашней сцены. Черныя вершины мѣрно, укоризненно кивали на живописную бѣлую фигуру у рѣпотки—на любимицу, не оправдавшую довѣрія... Зеленые патриархи перевалили за половину второй сотни лѣтъ, но все еще не извѣрились въ благородство и вѣрность людского сердца, хоть могли бы припомнить не одну прискорбную легенду вѣроломныхъ обмановъ и пагубныхъ соблазновъ. Давнымъ-давно они могли бы научиться не довѣрять простодушному счастью Мишеля и безмятежной святости красоты Мани. О, конечно, все бы именно такъ и было: и подозрительность холоднаго свѣптизма, и неизлечимое разочарованіе, и злорадная нетерпимость—еслибъ то была наша суровая, безотрадная людская старость. Еслибъ не черпали могучіе великаны своими старыми корнями въ самыхъ нѣдрахъ вѣчно юной и безгрѣшной матери ея безтрепетную мощь и всегда надо всѣмъ торжествующую любовь...

Легкій вѣтеръ заставлялъ жить, дышать чудную картину, вчера такую неподвижную. Смутные, слабые ночные звуки наполняли воздухъ неяснымъ гуломъ, бѣглымъ шорохомъ, заставлявшимъ вздрагивать напряженные нервы. Быстрыя тѣни чертили беззвучно воздухъ, появляясь внезапно, исчезая невѣсть куда. Группа легкихъ, серебристыхъ облачковъ одна красовалась на ясномъ небѣ. Она неслась на-встрѣчу золотой богинѣ, изливавшей надъ міромъ свои опасныя чары. Маня, не отрывая глазъ, напряженно ждала встрѣчи. Передовое облако какъ будто несло быстрѣ другихъ, вытягивалось все больше въ страстномъ стремленіи. Вотъ оно приняло въ свои объятія ночную красавицу, и легкая завѣса задернула ее смущенный ликъ. Все померкло въ мягкомъ опаловомъ полусвѣтѣ.

Маня протяжно вздохнула и ушла съ балкона. Она прошла въ дѣтскую, постояла надъ кроватками дѣтей, пошептала съ няней, поцѣловала высунувшуюся изъ-подъ одеяла розовую кожу

Вавочки и вѣхота побрела къ себѣ. Въ спальнѣ пусто, уныло... Что-то дрожало у Мани въ груди—не то слезы... какая-то смутная обида. Она обрадовалась, когда въ комнату вошла ея горничная, Дуняша.

— Чтой-то, барыня, никакъ вы спать прибрались—рань какую! Нашей сестрѣ такъ и то глазъ не завести въ такую ночь. Скука даже возьметъ.

— То-то и есть, что скука. Сидѣть-то не для чего.

Ловкая дѣвушка быстро оправила постель и вертѣлась около барыни, лѣниво совершавшей передъ зеркаломъ свой ночной туалетъ.

— Какъ же и не скука одной! Да чего это баринъ нашъ загостился—скоро ли домой-то будутъ?

— Давно ли онъ уѣхалъ, — отозвалась барыня неожиданно холодно.

— Не съ привычки будто какъ и давно. Этакого еще барина во всемъ свѣтѣ, кажется, не найти, чтобы такъ къ семейству своему былъ приверженъ.

— Ты думаешь? — произнесла протяжно Маня, набрасывая вышитую кофточку на свои атласныя плечики.

Дуняша скользнула по ней быстрыми глазами.

— Самы знаете — только и свѣту въ очахъ, что вы! И то сказать, раскрасавицу такую какъ и не любить.

— Ужъ будто?!—усмѣхнулась Маня. Она скользнула въ постель и, не спѣша, примаскивалась на волыхавшихся пружинахъ; присѣла, подняла выше подушки, опять легла и выпростала руки на синее полковое одѣяло... Ее охватывало мирное ощущеніе благосостоянія, физическаго комфорта. Свѣча горѣла на мраморномъ столикѣ, рядомъ съ книгой, стаканомъ воды и стьянкой духовъ. Фантастическія тѣни вздрагивали на потолокѣ, не могли сразу улечься.

Дуняша взяла бѣличій тулупикъ Мишеля и накинула его на ноги барыни.

— Все будто не одна будете!—пошутила она съ фамильярностью фаворитки, увѣренной въ барскомъ снисхожденіи.

— Нѣтъ, нѣтъ!—сними пожалуйста:—жарко!

Маня потянулась и сбросила сама тулупикъ. Дуняша подхватила его на лету.

— Ночью-то чтѣ за жара!

— А ты почему знаешь, я, можетъ быть, очень даже довольна одной побыть! То ли дѣло—никто тебѣ не храпитъ, не сопить надъ ухомъ... Читай себѣ, до какого часа вздумается.

Очень даже приятно иногда одной побыть! — резюмировала еще разъ Маня какъ будто себѣ самой.

Горничная тщательно свернула отвергнутый тулупикъ и уложила его на прежнее мѣсто на кровати Мишеля. Потомъ она степенно отошла, видимо не собираясь возражать.

— Ты куда? побудь еще, если спать не хочешь. Я тоже спать не хочу, а полежать такъ очень приятно.

— Это барскій „варахтеръ“ — лежать. Я какъ глаза продрала — такъ и вскочила, а коли легла — такъ и умерла. Рѣзи ужъ хворь нападетъ, спаси Богъ!

Маня любопытно разсматривала ее, какъ будто она не жила въ домѣ уже пятый годъ. Недурна, право: вспухшія красныя губы, зубы чудесные и эти быстрые, блестящіе глаза...

— Или, можетъ быть, тебѣ скучно? Пожалуй, тамъ ждетъ кто-нибудь? — пошутила барыня снисходительно.

— Чтой-то вы, сударыня! — сочла нужнымъ пожеманиться Дуняша.

— Ужь будто?.. Скромница!

— А и ждетъ, такъ на здоровье ихнему брату! — блеснула вдругъ глазами дѣвушка: — Мало мы, дуры, слезъ проливаемъ? Хорошо, коли у которой мать жива, бить есть кому.

— Бить?! — расхохоталась отъ неожиданности Маня. — Ну ты-то, кажется, не таковская!

— Волю взяла. Теперь замѣсто матери родной какой ни то стрекулистъ куражится станеть.

— А ты не поддавайся... Да никакъ ты это серьезно говоришь, Дуняша?

Дѣвушка потупилась и на этотъ разъ уже съ неподдѣльнымъ смущеніемъ разглаживала рукой передникъ.

— Ты, Дуня, умная дѣвушка и глупостей себѣ не позволяй, — перемѣнила тонъ барыня: — Сама знаешь, что до добра не доведеть.

Въ лицѣ горничной промелькнула иронія; потомъ она вскинула голову и засмѣялась своимъ ненатурально-глупымъ смѣхомъ.

— Не плоше другихъ живемъ, сударыня! Вонъ, крестная мнѣ жениха высватала — да богатѣй! Въ цѣловальникахъ служить — шубу лисью общался справить!

— Что же ты? неужели пойдешь?? — обеспокоилась сейчасъ же Марья Павловна.

— Я ему лысаго чорта послала — вотъ оно какъ безъ матери-то!

— Да тебѣ никакъ жалко?

— Своимъ домою жить—не по людямъ мываться,—отозвалась сумрачно Дуняша.

Марья Павловна дипломатически промолчала, думая о томъ, какъ ей неудобно было бы разстаться съ дѣвушкой.

— И замужемъ не всегда сладко,—заговорила она серьезно:—хоть даже и насъ, господъ, взять. Вонъ мнѣ двадцать-шесть лѣтъ весной минуло, а у меня ужъ трое ребятъ, да четвертаго похоронила. Молодость пройдетъ и не увидишь какъ... А тутъ тебѣ въ уши трубятъ: красавица да красавица! какой въ томъ толкъ? кто красоту-то мою видитъ? Одинъ годъ платья никакого не натянешь, другой сама кормишь, а тамъ опять начинай сначала! И отдохнуть, пожалуй, не мѣшало бы... ты какъ считаешь? Ты знаешь, я ли ужъ дѣтей своихъ не обожаю, а и то подумаешь иной разъ — съ семнадцати лѣтъ покою не знаешь! Такъ вотъ оно что значитъ рано замужъ выйти. А развѣ барышни что-нибудь смыслятъ? Влюбилась въ перваго, да и пошла.

Дуняша внимательно вслушивалась въ горькую нотку въ тонѣ своей барыни.

— И хоть бы образумила одна душа — какое! всё, точно сговорились, поздравляли да поощряли... Не успѣлось бы сто разъ, подумаешь!

— Чтой-то вы, Марья Павловна, какъ судите! да нешто это возможно къ годамъ примѣнять? Когда судьба кому выйдетъ. Да нешто жениху-то заказалъ кто ждать? Не пойму даже, что вы и говорите...

Зато Марья Павловна отлично понимала. Никогда раньше она не ощущала прелести свободы и всей невозможности вернуть хотя бы малую частицу ея. Раздражало сознание, что она рѣшила свою судьбу еще ребенкомъ, безъ всякаго выбора, — точно судьба эта не была изъ самыхъ удачныхъ, какъ будто не прожила она девять лѣтъ своего замужества безъ тѣни серьезной печали, обиды или гнетущей заботы. Маня не давала себѣ труда, да вѣроятно и не стужала бы прослѣдить связь такихъ неожиданныхъ мыслей съ ея настроеніемъ. Она отдавалась этимъ мыслямъ съ какимъ-то бессознательнымъ злорадствомъ.

— Да-а, а ты тулушикомъ потчнешь!—усмѣхнулась она на удивленное лицо своей слушательницы.—Недѣля-то пролетитъ и безъ того не увидишь какъ.

— Небойсь, увидали бы, кабы все одной-то сидѣть пришлось. А то заберется сюда этотъ бурлескъ, прости Господи, и не выживешь! Вотъ вамъ скучать-то по настоящему, по хорошему и некогда.

Скрывался ли въ словахъ этихъ какой-нибудь намекъ, или они были дѣйствительно такъ наивны, какъ наивно были высказаны — Богъ вѣсть. Маня заинтересовалась не этимъ, а смѣшнымъ словечкомъ.

— Какъ, какъ?... куролесь? Ха, ха, ха! а вѣдь жѣтко, право! Это ты прозвала? Ужъ и правда, что куролесь...

— Извѣстно... Въ городѣ мало ли про него наслушалась, была бы охота!

— Да? Кто же рассказывалъ, прислуга?—вся насторожилась Марья Павловна.

Дуняша посмотрѣла на нее съ неудовольствіемъ.

— Самый противный мужчина! Я бы, кажется, въ словѣ одномъ такому не повѣрила.

Маня смотрѣла въ потолокъ и улыбалась.

— И чего зачастилъ безъ барина? Ручки лизать больно охотъ...

— Дуняша!

— Да что, сударыня, своими ушами сколько разъ слышала, какъ Анна Владиміровна его отбрѣютъ—другой бы, кажется, глаза показать постыдился, а этому все какъ съ гуся вода.

— Анна Владиміровна позволяетъ себѣ черезъ-чуръ много, но во всякомъ случаѣ не тебѣ объ этомъ разсуждать.

— Стало быть! Хошь и промѣняла наша барышня кукушку на ястреба, а все тотъ крошечный больше на настоящаго господина похожъ.

Новое словечко на этотъ разъ не произвело эффекта.

— Что это еще?—нахмурилась Маня.

— Слава-те, Госноди, безъ малаго все лѣто тянется... И чего-то только, посмотришь, господа не придумаютъ! Какіе кавалеры околомъ Анны Владиміровны въ городѣ увивались—и замѣсто того съ кѣмъ связаться?! Ну, развѣ это человекъ? Не человекъ, воля ваша!

— Что ты мелешь такое? Какъ ты смѣешь такъ про барышню выражаться?!

— Да вѣдь я про то, сударыня, что онѣ замужь за него пойдуть... Спаси, Госноди, да рази я могла бы какъ иначе подумать! Наши слова, извѣстно, глупыя.

— Замужь?! Кто это тебѣ сказалъ?—подпрыгнула барыня на своихъ пружинахъ.

— Кому сказать—всѣ и такъ видятъ. Нянька тоже всякому болтала, языкъ-то безъ костей. Дѣло видимое, что Анна Владиміровна жалѣютъ его по своей добротѣ... Ну, только и Дана тоже говорить (жила вѣдь во флигелѣ двѣ недѣли никакъ):—



легче, говорить, въ петлю, ни если съ такимъ молчаливоемъ жить. Одну жену извелъ, такъ на тебѣ, какая барышня нашлась, себя не жалѣть! Это вѣрно, что Господа Бога не боятся.

Дуняша пришла въ неподдѣльное волненіе. Мама напряженно смотрѣла ей въ лицо и соображала что-то, сжимая брови.

— Нянька, говоришь, болтала? Анна за больной дѣвочкой ухаживала, не знаете что ли? Дуры вы суція!

Дуняша замаялась, потомъ вдругъ недовольно блеснула глазами.

— Такъ-съ... Только я своими глазами видѣла, какъ барышня во флигель уже послѣ похоронъ ходила.

— Анна?? Ты врешь!

— Анисья Никитишна просили меня подсобить малину къ обѣду братъ—не упомню, въ какой день было. Вдругъ это вижу, спѣшить наша барышня куды-то, словно на парусахъ летить... Прямехонько во флигель. Ужъ я, виновата, послѣ того нарочно поглядѣла: до самаго до обѣда, часа съ два будетъ оставались.

Марья Павловна покраснѣла и завозилась на своихъ подушкахъ. Неожиданное отертыіе сильно взволновало ее, но она отнюдь не желала ронять барскаго достоинства передъ горячичной, хотъ и брала ее сплошь и рядомъ въ свои повѣренныя.

— Если ходила, такъ, стало быть, нужно было. Анна Владиміровна дѣлаетъ чтд ей вздумается, никого не спрашиваетъ.

— Хоть бы вы, сударыня, пожалѣли ихъ, постращали...

— Я?!

— У нихъ матери нѣтъ... Баринъ нашъ, что же, извѣстно; мужнина такъ не сдѣлаетъ, какъ ни если женщина. Я въ тотъ разъ заплакала даже, вотъ какъ мнѣ ихъ жалко стало! Онъ въ торымъ сидѣлъ. Ему, можетъ, въ Сибири мѣсто-то настоящее, а не то чтобы такую барышню...

Заключительныя слова потерялись въ передниѣ, куда Дуняша внезапно сунула свое лицо.

— Какъ это глупо!—метнулась Марья Павловна:—Кто вамъ втолковалъ такой вздоръ? Часъ отъ часу не легче! Мнѣ такая свадьба даже и на умъ не приходила,—а только женихъ Строевъ чѣмъ же хуже другихъ? Кабы не это несчастіе, онъ ужъ скоро губернаторомъ былъ бы. Женится и начнетъ жить сызнова. И мѣсто получить хорошее...

Голубые глаза Марьи Павловны возбужденно блистали; она не стала дольше удерживать Дуняшу. Оставшись одна, она долго еще не могла заснуть, и чѣмъ дольше думала, тѣмъ ей больше нравилась эта неожиданная догадка. Выдать Анну замужъ всегда было ея завѣтнымъ желаніемъ, но выдать за чело-

вѣка, который увезетъ ее и притомъ теперь же,—это равнялось полному освобожденію. Въ глубинѣ души Марья Павловна не считала Строева завиднымъ женихомъ!..

### XXXIII.

На другой день Орестъ Павловичъ явился въ Залѣсье очень веселый и развязный. Разговоръ съ Дуняшей съ его неожиданнымъ финаломъ настолько развлекъ мысли Мани, что она встрѣтилась съ докторомъ безъ особеннаго смущенія. Впереди открывались заманчивыя перспективы, являлся небывалый спросъ на изобрѣтательность, на умѣніе лавировать, вести себя политично и осторожно, и все это было такъ интересно и завлекательно, что, казалось, однообразная жизнь выскочила изъ привычной колеи. Нужно сознаться, что бѣдный Мишель занималъ едва ли не послѣднее мѣсто въ взволнованныхъ думахъ своей супруги. Мани не умѣла заниматься нѣсколькими вопросами одновременно: „объ этомъ послѣ... когда вернется!“ — говорила она себѣ простоудушно, если окружающее противъ воли навязывало ей мысль о мужѣ. Еще страннѣе было то, что Мани тяготилась теперь присутствіемъ дѣтей. Она не могла любить ихъ меньше, но она вдругъ стала ужасно разсѣянна, какъ это бываетъ съ людьми, у которыхъ нѣтъ выработанной привычки работать мыслью, независимо отъ внѣшняго хода ихъ жизни. Манѣ случалось не слышать вовсе, что ей говорили ея любимцы или отвѣчать явно невпопадъ. Тогда маленькая Маша безцеремонно брала ее ручонками за обѣ щеки и поворачивала въ свою сторону, чтобы обратить на себя вниманіе: „Мама, послушай... мама! мама!!..“ кричала она ей прямо въ ротъ. Мани смѣялась и принималась цѣловать ее... Но случалось, что и крикнетъ: „Оставьте ли вы меня, наконецъ, въ покоѣ?!“ — такъ нетерпѣливо, что дѣти разбѣгутся.

Докторъ, какъ свой человѣкъ, путался по всему дому и присутствовалъ при всевозможныхъ домашнихъ процедурахъ. Онъ легко могъ констатировать тотъ фактъ, что бѣлокурая мадонна въ значительной степени утратила свою безмятежность. Это могло бы быть занимательно, еслибъ не было давнымъ-давно извѣстно ему во всѣхъ возможныхъ деталяхъ! „Разница тутъ, собственно, только количественная“, — философствовалъ Орестъ Павловичъ, слѣдя за Маней улыбающимися глазами, которые ей казались нѣжными. „Одѣтъ требуютъ систематическаго подогрѣванія, а для другихъ достаточно перваго поцѣлуя... И для чего,

подумаешь, эти милыя созданія изводятъ столько краснорѣчія специально на такія темы, гдѣ на повѣрку онѣ всего менѣе состоятельны!“

Въ сущности, Ореста Павловича занимало гораздо больше точное объясненіе съ Анной, не потому, чтобъ онъ боялся послѣдствій, но въ его расчеты отнюдь не входило колебать вѣру дѣвушки въ его любовь къ ней. Онъ сознавалъ, къ своей величайшей досадѣ, что согласованіе такихъ видимыхъ противорѣчій есть нѣчто превышающее размѣры женскихъ умственныхъ способностей. „Онѣ могутъ созерцать собственными глазами и все-таки отрицать!“—говорилъ онъ себѣ съ раздраженіемъ. Заботинъ не видалъ Анны до самаго обѣда.

— Вы пріѣхали?—привнесла она, когда онъ почтительно расшаркался передъ нею, и не подала руки.

Ему казалось, что у нея рѣшительное лицо.

„Когда же они кончатъ, наконецъ, эту канитель?“—спросила себя Маня, думая въ свою очередь о Строевѣ.

Бабушка въ первый разъ съ отъѣзда Мишеля явилась въ этотъ день къ столу, и Анна весь обѣдъ занималась исключительно ею. Было поэтому совершенной неожиданностью, когда послѣ обѣда, проводивъ бабушку, Анна не ушла къ себѣ, а опять вернулась на балконную площадку, и—о, чудо!—она вернулась съ работой! Это былъ бабушкинъ чепчикъ, на которомъ она принялась перекалывать кружева и ленты.

Марья Павловна едва вѣрила собственнымъ глазамъ. Зато Орестъ Павловичъ понималъ какъ нельзя лучше все значеніе такой манифестаціи. Отъ времени до времени Анна поднимала падавшій разговоръ, предлагала какой-нибудь вопросъ непроницаемымъ тономъ. Маня нѣсколько разъ уходила въ домъ и возвращалась, недоумѣвая, почему Заботинъ не догадывается послѣдовать за нею?..

Послѣ нѣсколькихъ часовъ такого препровожденія времени докторъ заарестовалъ пробѣгавшаго мимо Володю и принялся рассказывать ему всякій вздоръ. Мало-по-малу, однакожь, его импровизація приняла мнѣйшескіе образы, и онъ очень картинно и увлекательно рассказалъ мальчугану поэтическую исторію неосторожной Проверпины, похищенной мрачнымъ Плутономъ и отданной подъ охрану грознаго Цербера. Естественно, что многоголовое чудовище всего больше поразило воображеніе маленькаго слушателя, и совершенно понятно, что рассказчикъ постоянно возвращался къ нему, съ какимъ-то особеннымъ удареніемъ произнося это имя.

Анна выслушивала всѣ явныя насмѣшки и ловко замаскированныя угрозы, не переставая граціозно поворачивать въ рукахъ комочекъ кружевъ. Она была такъ мало опытна въ обращеніи съ иглой, что ей то-и-дѣло приходилось распарывать, повидимому, совсѣмъ готовую работу. Маня начинала соображать, что этому не предвидится конца... Время приближается къ чаю. Орестъ Павловичъ не можетъ же опаздывать каждый разъ!

Анна видѣла ея возраставшую тревогу, понимала какъ нельзя лучше нетерпѣливыя движенія и взгляды, безцеремонно устремленные въ лицо съ нѣмымъ вопросомъ: когда же, наконецъ, ты уберешься?.. „Влюблена, совсѣмъ влюблена!“ — твердила мысленно Анна съ сокрушеннымъ сердцемъ. Чтѣ же будетъ дальше въ такомъ случаѣ? Мишель вернется—какъ ей поступить?..

— Чтѣ это ты сегодня не посидишь на мѣстѣ?—не вытерпѣла Анна, и въ ея взглядѣ Маня прочла что-то, заставившее ее смутиться и опуститься обратно въ качалку.

— Но неужели ты намѣрена просидѣть такъ до ночи на одномъ мѣстѣ?

— Вѣдь ты, кажется, очень любишь балконную площадку? „Поѣхало!“ — подумалъ съ досадою Заботинъ.

— Я? нисколько не люблю!—отвѣтила вызывающе Маня, свользнувъ по немъ взглядомъ.

„О, святая невинность! нѣтъ ужъ, милая, не тебѣ съ нею тататься!“

Орестъ Павловичъ поднялся съ мѣста хмурый и раздосадованный. Въ сущности говоря, всѣ его хлопоты—roug le roi de Prusse! Въ чемъ его выигрышь, если самая благосклонность Марьи Павловны такъ мало радуетъ его?! Такъ мало, что для него несравненно важнѣе испугъ Анны и ея усилія бороться съ нимъ за счастье брата. А! интересно бы видѣть, кто помѣшалъ бы ему, еслибъ только онъ дѣйствительно захотѣлъ добиваться серьезно! еслибъ на мѣстѣ этой златокудрой Венеры (давно дознано, что богиня была глупа!), еслибъ на мѣстѣ ея была сама Анна... Чьи угрозы и невинныя маневры удержали бы его тогда?..

— Вашъ искусь можно кончить, Анна Владиміровна,—обратился онъ къ ней съ нескрываемой ироніей.— Не приважете ли передать вашу прелестную работу бабушкѣ? Я иду навѣстить ее еще разъ.

— Нѣтъ, благодарю васъ. Я буду продолжать эту работу въ другой разъ.

„Послѣ завтра“, — прибавилъ бы, чего добраго, Орестъ Павловичъ, еслибы онъ не встрѣтилъ въ эту самую минуту опечален-

ных голубыхъ глазъ. Вѣроятно, Маня считала минуты до его отъѣзда.

— Какъ мало въ жизни новаго!—вздыхнулъ докторъ, отправляясь приводить въ исполненіе свое похвальное намѣреніе.

Хозяева Залъся обыкновенно провожали отъѣзжающихъ до пристани, но въ это лѣто Заботинъ впервые еще дождался чести такихъ проводовъ со стороны Анны. Дѣвушка машинально преслѣдовала планъ, наскоро сложившійся въ ея умѣ: по возможности, не оставлять ихъ однихъ, пока не вернется Мишель. Она принимала равнодушно саркастическія шпильки Ореста Павловича и плохо скрытую досаду Мани; она шла за ними, слишкомъ поглощенная важностью своей заботы, чтобы замѣчать смѣшныя стороны своей роли.

— А вамъ еще не надобно путешествовать черезъ день въ Залъсе?—сказала Анна въ послѣднюю минуту, глядя прямо въ глаза гостю:—Мнѣ казалось, что вы проскучали сегодня.

— Богъ дастъ, мы проведемъ время лучше послѣ-завтра; я рѣдко унываю, Анна Владиміровна. Да и, глядя на такіе проводы, право, никому бы въ голову не пришло, что возможно тяготиться маленькимъ переѣздомъ!

— И точно Анна не знаетъ, что Орестъ Павловичъ ѣздитъ по просьбѣ Мишеля!—вставила холодно Маня.

Анна вспыхнула; ея глаза свергнули, губы задрожали. У Заботина, что называется, сердце упало. Онъ занесъ-было ногу въ лодку, но машинально принялъ ее обратно. Казалось, сію минуту тутъ же на пристани разразится скандалъ...

Анна круто повернулась и, не вымолвивъ ни слова, стремительно пошла прочь отъ пристани. А! пусть цѣлуются, пусть дѣлаютъ чтò хотятъ!!! Ее душила жгучая, кровная обида.

Весь слѣдующій день Анна не показывалась и потребовала обѣдъ въ павильонъ. Маня не рискнула, однакожъ, сходитъ навѣстить ея, какъ дѣлала это обыкновенно въ случаѣ сильныхъ приступовъ ея мигрени. Поведеніе невѣстии начинало смущать ее...

Справедливость требуетъ сознаться, что и Орестъ Павловичъ въ очередной день отправился въ Залъсе безъ большого удовольствія. Но, тѣмъ не менѣе, онъ выбивался изъ силъ и хлопоталъ цѣлый день, чтобы устранить препятствія и имѣть возможность уѣхать. За послѣднее время докторъ самымъ нелѣпымъ образомъ запустилъ свою практику и не шутя перессорился со многими давнишними паціентами, но онъ ни передъ тѣмъ не останавливался, чтобы только поставить на своемъ и явиться въ Залъсе смущать такъ различно покой двухъ женщинъ. Въ этомъ

не было собственно ничего веселаго, не было ничего, кромѣ страннаго наслажденія мучить Анну, кромѣ азарта и затаеннаго волненія разгоравшейся борьбы...

Маня смутно надѣялась на мигрень, но ея надежды не сбылись. Анна опять провела цѣлый день на балконной площадкѣ, занятая на этотъ разъ какимъ-то акварельнымъ рисункомъ. Рисую, она обыкновенно не разговаривала, а послѣ мигрени имѣла больной видъ.

Марья Павловна была нѣсколько вознаграждена, находя также Заботина замѣтно нервнымъ и гораздо менѣе безпечнымъ, — очевидно, страдающимъ отъ постоянныхъ неудачъ. День тянулся самымъ тоскливымъ образомъ. Послѣ обѣда Маня пошла гулять съ дѣтьми въ поле, и было бы смѣшно, еслибъ докторъ не присоединился къ нимъ. Но и тутъ свое положеніе молодая женщина находила несноснымъ: она не могла подѣлиться съ Орестомъ Павловичемъ ни своей досадой, ни удовольствіемъ, не могла дѣлать никакихъ авансовъ, послѣ сцены при лунѣ. Она обречена была выжидать и довольствоваться намеками, которые, по ея мнѣнію, ея герой понималъ очень дурно... Маня слишкомъ далеко залетѣла въ своихъ мечтахъ и, конечно, цѣнила себя черезъ-чуръ высоко, чтобы подозрѣвать въ этомъ ухаживаніи пустое волокитство. Ея ожиданія не сбывались. Ей вдругъ стало скучно, и она мысленно повторила нѣсколько разъ во время прогулки, что, въ сущности, игра не стоитъ свѣчъ.. И тѣмъ лучше!

Вслѣдствіе всего этого Маня вернулась съ прогулки неожиданно отрезвленная, съ смутнымъ разочарованіемъ на сердцѣ, въ родѣ того, что испытываютъ дѣти, которымъ былъ обѣщанъ великолѣпный праздникъ, но внезапно и безпричинно обѣщаніе взято назадъ. Зато съ перемѣной настроенія Марья Павловна перестала испытывать прежнее стѣсненіе; она сдѣлалась очень разговорчива и весела, желая показать доктору свое равнодушіе.

— Орестъ Павловичъ! — говорила она безпечно: — я, какъ хозяйка, начинаю испытывать угрызенія совѣсти. Анна совершенно права: вы самымъ скучнѣйшимъ образомъ проводите время у насъ безъ Мишеля.

Анна подняла на нее глаза отъ рисунка.

— Я ничего подобнаго не говорилъ, Марья Павловна, но, впрочемъ, я ни отъ чего не отказываюсь.

— Да, я кое-что придумала! — торжествовала Маня. — Въ слѣдующій разъ мы поѣдемъ обѣдать въ Завиловъ лѣсъ, помните, какъ въ третьемъ годѣ? Вы исполните кое-какія мои порученія въ городѣ, не правда ли? Дѣтки будутъ въ восторгѣ! Только ты,

Анна, должна вытащить Строева, иначе насъ слишкомъ мало. Я отъ себя пошлю депешу Ожигину, — важна ссора не касается меня, *bien entendu!*

— Ты хочешь устроить это безъ Мишеля? — замѣтила Анна.

— Тебѣ очень хорошо извѣстно, что Мишель не большой охотникъ до подобныхъ затѣй. Вернувшись домой, онъ будетъ такъ поглощенъ хозяйствомъ, что и думать нечего скоро вытащить его куда-нибудь! Наконецъ, онъ достаточно развлекается тамъ безъ насъ, а мы сидимъ-сиднемъ цѣлое лѣто.

— До его приѣзда осталось нѣсколько дней всего.

— Тѣмъ хуже! Собраться сейчасъ же по его приѣздѣ было бы немислимо, а между тѣмъ погода можетъ испортиться. Уже и сегодня не будетъ лунной ночи; мы, чего добраго, пропустили время.

— Во всякомъ случаѣ я прошу тебя не посылать депеши Ожигину. Онъ приѣдетъ, когда ему вздумается.

— Я пошлю ее отъ своего имени!

— Въ такомъ случаѣ тебѣ слѣдовало сдѣлать это безъ моего вѣдома.

— Боже мой... *que de façons* изъ каждаго пустяка!

— Гм... мы съ вами сходимся во мнѣніи о пустякахъ! — уронилъ выразительно докторъ.

— Но и я также остаюсь при своемъ старомъ мнѣніи, Орестъ Павловичъ.

— Напрасно, Анна Владиміровна, совершенно напрасно, могу васъ завѣрить!

— Строева пригласить ты можешь? — спросила Маня сухо.

— Если тебѣ это непременно нужно. Онъ откажется, разумеется.

— Когда говорятъ „пригласить“, то подразумеваютъ сдѣлать такъ, чтобы не отказался.

— Или, быть можетъ, онъ не шутя готовится въ отшельники? — вмѣшался опять докторъ. — Вы ничего не знаете насчетъ его религиозныхъ убѣждений? Странно, что васъ не тревожитъ такое настроеніе...

— О, для меня давно ужъ ясно, что Анна имѣетъ всему этому удовлетворительное объясненіе! Но, впрочемъ, только она одна. Въ день отъѣзда Мишель вернулся изъ флигеля очень встревоженный и въ каждомъ своемъ письмѣ онъ справляется о Строевѣ.

— Мишель былъ у Строева передъ отъѣздомъ? — переспросила Анна, мѣняясь въ лицѣ.

— Да, былъ. Что-жъ изъ этого? — усмѣхнулась хитро Маня.

Заботинъ зорко смотрѣлъ на Анну.

— Вамъ это почему-нибудь не нравится?

— Я объ этомъ не знала,—овладѣла собой дѣвушка.

— Строевъ не говорилъ тебѣ?

— Когда?! Ты знаешь, кажется, что мы не видимъ его.

— Я не спрашивала, видишь ли ты его или нѣтъ.

— Тебѣ извѣстно, что онъ не выходитъ по болѣзни.

Марья Павловнѣ стоило большого труда удержаться и не дать понять Аннѣ, что ей извѣстны ея визиты во флигель. „Притворщица!“ — думала она съ досадою.

Повидимому, вопросъ о поѣздкѣ въ лѣсъ былъ рѣшенъ безповоротно. Маня увела доктора въ кабинетъ составлять реестръ покупокъ и тамъ не могла запретить ему расцѣловать свои ручки за эту милую затѣю.

Анна задумчиво сидѣла надъ рисункомъ, стараясь понять, почему Мишель не сказалъ ей ни слова о своемъ свиданіи со Строевымъ. Онъ былъ сильно встревоженъ, по словамъ Мани... Не произошло ли между ними то объясненіе, котораго Анна такъ боялась?

А она ничего не знала объ этомъ до сихъ поръ!..

#### XXXIV.

На этотъ разъ Анна предоставила Манѣ провожать гостя на пристань. Это случалось раньше такъ часто, что удивленъ былъ одинъ Орестъ Павловичъ, не ожидавшій подобной непослѣдовательности съ ея стороны. Маня была въ восторгѣ. Коротенькій tête-à-tête въ кабинетѣ успѣлъ возстановить въ полной силѣ начавшее-было остывать обаяніе доктора. Снова Маня почувствовала приятное напряженіе жизненныхъ силъ, опять она ощущала собственную молодость, красоту, свои права на поклоненіе и любовь... Опять она испытывала сладкую истому, опять не хотѣла сопротивляться и въ то же время боялась поддаться странной власти этого чужого человѣка, ничѣмъ не похожаго на ея мужа.

— Прощайте! до... лѣса, да??..—простился съ нею знаменательно Заботинъ.

Маня дождалась, пока лодка исчезла въ легкомъ туманѣ, поднимавшемся надъ рѣкой. Темный абрисъ парохода едва-едва выдѣлялся въ смутномъ полусвѣтѣ луны, закрытой облаками. Молодая женщина пошла домой, продолжая ощущать на своихъ рукахъ горячія пожатія и долгіе прощальные поцѣлуи. Въ ея воображеніи



носился красивый оврагъ, заросшій лѣсомъ, узенькая рѣчка, прыгающая по камнямъ, веселые востры съ ихъ чернымъ дымомъ, цѣпляющимся за сучья, и радостные визги дѣтей... Правда, правда! надо жить, пока молода, пока хочется! Охватывало пріятное утомленіе хорошо кончившагося дня, въ которомъ, однакожь, самое лучшее—это залогъ новой, еще большей радости на завтра...

Поднимаясь, погруженная въ свои мысли, на ступеньки балкона, Маня вдругъ испуганно вскрикнула:

— Боже мой... Анна! я думала, что ты давно уже въ себѣ ушла!

— Чего же ты испугалась? Я стояла на виду.

Маня прижала руку къ сердцу и прислонилась къ балюстрадаѣ.

— Поздно...

— Ты развѣ ложишься такъ рано?

— Очень рано безъ Мишеля. Скука сидѣть одной... Ты, впрочемъ, привыкла.

— Да, я привыкла. Я задержу тебя немного.

— Сдѣлай милость, я не такъ ужъ устала.

Маня придвинула стулъ и сѣла, предчувствуя что-то недоброе. Прошла довольно длинная пауза, прежде чѣмъ Анна заговорила:

— Маня, я не могла настаивать въ присутствіи Заботина, но я очень серьезно совѣтую тебѣ не затѣвать этой поѣздки и вообще... оглянуться на то, что ты дѣлаешь.

— Я?! что такое я дѣлаю?..

— Ты знаешь, а я это вижу. Ума не приложу, что мнѣ дѣлать,—сознаюсь прямо.

— Вотъ по истинѣ удивительное объясненіе!!—воскликнула неестественно звонко Марья Павловна. Ее всю какъ тисками охватило сознаніе, что все зависитъ отъ этой минуты, отъ того, какъ она сыграетъ свою роль.

— Ты удивляешься? — произнесла презрительно Анна. Ея голосъ, напротивъ, становился глуше.

— Со стороны это не сказалъ бы, что мы помѣнялись ролями!

— А-а! да, дѣйствительно, ты, замужняя женщина, должна бы знать лучше меня, къ чему ведутъ подобныя забавы! ты должна понимать, что нельзя даже опредѣлить границы, гдѣ именно женщина поступаетъ своимъ достоинствомъ—и не своимъ только, вотъ что всего хуже!

— Это уже слишкомъ, Анна Владиміровна!!

— Я надѣялась, что ты поймешь меня и не заставишь объясняться,—продолжала Анна запальчивѣе:—но теперь вижу, что нужно попытаться образумить тебя. Мишеля нѣтъ — что мнѣ

остается?! Я надѣюсь на твое благоразуміе, Маня! Ты не можешь любить его... Ты легкомысленно позволяешь увлекать себя отъ одной скуки, но тѣмъ хуже! ты потому-то и не замѣчаешь, до какой степени это становится неприлично...

— Неприлично!!—подхватила, задыхаясь, Маня:—и это ты учишь меня приличіямъ! послѣ всего, что сама ты позволяешь себѣ у всѣхъ на глазахъ? Вѣроятно, твои визиты къ господину Строеву имѣютъ цѣлью поддержать женское достоинство?? Ты просиживаешь у него по нѣсколькимъ часамъ, рассчитывая, конечно, что никто этого не узнаетъ!

Анна выпрямилась.

— Я вольна поступать, какъ мнѣ угодно, — *оольна!* понимаешь ты эту разницу?? Еслибъ на этой площадкѣ цѣловалась при лунѣ я, а не ты, никто не былъ бы въ правѣ требовать у меня отчета!

Манѣ обожгло щеки, потомъ горячая волна хлынула по всему тѣлу.

— Теперь мнѣ все понятно—вы шпионите! подсматриваете!!

— Я наткнулась случайно и обомлѣла отъ ужаса.

— Конечно, конечно! во всѣхъ романахъ героини выростаютъ изъ-подъ земли въ нужную минуту, и всѣ онѣ внезапно теряютъ способность двигаться!

— О чемъ мы говоримъ, Бога ради?! Сдѣлайте одолженіе, пусть будетъ, какъ вамъ хочется: я подкараулила. Вы въ моихъ рукахъ—стало быть, я могу диктовать вамъ условія.

— Въ вашихъ рукахъ... изъ-за этого нелѣпаго поцѣлуя?! Но вы должны были видѣть и то, что я... я ушла въ ту же минуту,—договорила несчастная Маня, даваясь словами.

— Да, я видѣла, но... нѣтъ! объ этомъ я вовсе не хочу говорить! Что было—знаетъ ваша совѣсть. Я требую, чтобы ничего подобнаго больше не повторялось! Поймите же, Христа ради, если ужъ я имѣла несчастіе увидѣть, то я не могу, не смѣю оставаться пассивной! Вы вынуждаете меня защищать Мишеля.

— Защищать, противъ меня! Это неподобно! А-а! я все вижу насквозь, Анна Владиміровна: вы дождались, наконецъ, благоприятной минуты, чтобы окончательно поддепаться подъ наше счастье! вы этого давно добивались!!.. вы всегда становились между мной и мужемъ, и если не успѣли до сихъ поръ развести насъ, то только потому, что Мишель горячо любитъ меня. Теперь вы торжествуете... Но вы ошибаетесь, жестоко ошибаетесь! Онъ вамъ не повѣритъ! Онъ вамъ не позволитъ сдѣлать цѣлое преступленіе

изъ какого-то случайнаго поцѣлуя... онъ мнѣ повѣритъ, а не вамъ! онъ сердцемъ пойметъ, что это ложь... злая ложь!!

Маня разрыдалась.

— Ложь?? я хочу васъ разсорить? я подкапываюсь подъ семейное счастье собственнаго брата?? я?!.—повторяла Анна вѣд себя.

— Да, да, да! намъ двоимъ нѣтъ мѣста подъ одной крышей, вы это давно знаете!

— Хорошо, что, наконецъ, вы высказались до конца. Я вамъ мѣшаю, и теперь совершенно ясно—почему!

— Неправда! неправда!!—топнула ногой Маня:—вы нарочно обьсите меня! Вамъ Заботить деревожь...

— Вамъ это-то и нравится!—вставила Анна стремительно.

— Не по себѣ ли вы судите?! Никто вѣдь не знаетъ, что происходитъ въ павильонѣ, когда вы...

— Молчите!! это бессмысленная злость, вы прекрасно знаете! Правда, онъ деревожь, но онъ никогда не смѣлъ коснуться моей руки, потому я и знаю, кого изъ двухъ нужно винить за подобныя сцены!

— Змѣя!! Этому настанетъ конецъ, клянусь вамъ! Вашему брату придется выбрать между вами и мной. Я хочу, наконецъ, покоя въ собственномъ домѣ!

— Не Мишель будетъ рѣшать этотъ вопросъ. Я уѣду, но вы прежде сознаетесь, что вели себя непростительно неосторожно—надѣюсь, хоть это не слишкомъ строго?! Сознать вину, значить добровольно отречься отъ нея, не правда ли? Скажите, что я могу довѣриться вашей чести, могу не отравлять его покоемъ!! Обьщайте это именемъ вашихъ дѣтей!

Голоса двухъ женщинъ то понижались до шопота, то разносились пронзительно по пустынной площадкѣ, вплоть до старыхъ дубовъ. Онѣ обь давно вскочили съ своихъ стульевъ; онѣ безсознательно очутились на противоположномъ концѣ отъ того мѣста, гдѣ началось объясненіе.

Въ ухахъ у Анны звенѣло, сердце глухо колотилось въ груди. Горькое, брезгливое ощущение накупало все мучительнѣе, точно чей-то посторонній голосъ отмѣчалъ всѣ необузданности, всѣ унижательныя тривіальности сцены. „Схватились какъ звѣри... соперницы!“ мелькало въ умѣ больно, горько до слезъ. За чтд себя-то она унижаетъ до брани, до крика! Мишель?!—о, Маня права! онъ ее же возненавидитъ, если она вздумаетъ открыть ему глаза...

„Не могу, не могу больше!“ — рѣшила внезапно дѣвушка,

чувствуя, что еще нѣсколько минутъ, и она разрыдается отъ оскорбленія.

— Вы мнѣ не отвѣчаете?—спросила она упавшимъ голосомъ. Плылавшее лицо разомъ поблѣднѣло; ей вдругъ стало холодно какимъ-то особеннымъ, отвратительнымъ холодомъ, пронизывавшимъ все тѣло.

Маня въ тотъ же мигъ уловила перемену по звуку этихъ нѣсколькихъ словъ, по тому, какъ она, кутаясь въ свою косынку, медленно направлялась къ крыльцу съ поникшей головой. Молодая женщина поняла, что критическая минута прошла.

— Я вамъ не обязана отчетомъ!—прозвнесла она съ ненавистью и прошла мимо, вскинувъ выше красивую головку.

Она энергично щелкнула ключомъ, закрывая на ночь стеклянную дверь. Анна осталась одна на чужомъ балконѣ. Все, рѣшительно все кругомъ ей казалось чужимъ. Этотъ запертый Манинъ домъ съ его эгоистической, обособленной жизнью, которому дѣла нѣтъ ни до чего въ мірѣ, который не нуждается—о, совсѣмъ не нуждается въ ея отчаянныхъ попыткахъ охранить его святость!.. Она должна пройти весь садъ, большой, полутемный, полный смутными ночными звуками, чтобы добраться до своего павильона. А тамъ еще разъ переживать мысленно этотъ день, взвѣшивая снова и снова, была ли она права, заключался ли долгъ ея въ томъ, чтобы довести до конца, не жалѣя себя, смѣшную и неблагодарную роль?..

Ей стало страшно своего одиночества. Мучительно, испуганно захотѣлось, чтобы скорѣе Мишель былъ опять дома. Страстно, до слезъ захотѣлось увидѣть скорѣе его милое, единственное родное лицо, улыбавшееся ей всю жизнь. И сейчасъ же съ ужасомъ вспомнилось все, чтѣ ждетъ: расплата за открытое нападеніе на его непогрѣшимую мадонну. Его возстановить, вооружать противъ нея, прежде чѣмъ она успѣетъ вымолвить слово... Узвять безжалостно въ его горячей, довѣрчивой любви и увѣрять, что ударъ нанесла ея рука, что она, Анна, отравляетъ жизнь его семьи своимъ властолюбіемъ! Какъ будетъ она оправдываться, если нельзя сказать правды, если ради него самого нужно молчать о причинѣ ссоры?

И такой цѣной чтѣ же куплено? О, все-таки куплено что-нибудь! Романъ Марьи Павловны если и не прерванъ навсегда, то хоть пріостановленъ въ самую опасную минуту. Такая сцена хоть кого расколodитъ. Можно поручиться, что Маня будетъ вести себя совсѣмъ иначе въ ближайшій пріѣздъ романическаго доктора... Чѣмъ больше Анна обдумывала вопросъ, тѣмъ для нея становился

очевиднѣ таковой результатъ: она выстрадала не напрасно, и никто другой не могъ сдѣлать этого для него—для ея милаго Мишеля.

## XXXV.

Каждое утро Анна завтракала у бабушки, замѣняя отсутствующаго брата. На слѣдующій день она въ первый разъ проспала послѣ тревожной, почти безсонной ночи. Послѣ полуночи разыгралась сильнѣйшая буря. Среди мертваго безмолвія круглой башни Анна слушала ея бѣшеные порывы, смѣнявшіеся глухимъ, враждебнымъ гуломъ. Стекланный потолокъ издавалъ минутами какіе-то странные музыкальные звуки; въ трубѣ камня какъ будто плакалъ и стоналъ человѣческій голосъ. Бывало, прежде для Анны было истиннымъ наслажденіемъ прислушиваться къ реву бури; фантазія разыгрывалась и тѣшилась образами, причудливыми и неуловимыми, какъ эти звуки; но теперь ей было не до фантазій; она была поглощена всецѣло своими сложными житейскими заботами. Зато печальныя мысли становились еще мрачнѣе, сердце ныло больнѣе, тоска охватывала все тѣснѣе, безвыходнѣе...

Анну сильно тревожило молчаніе Строева. Какъ быть? должна ли она выжидать пассивно его рѣшительнаго шага, или смѣшно ей останавливаться передъ вышними формами, послѣ всего, что она уже взяла на себя?.. Что онъ думаетъ тамъ одинъ? Каковой переворотъ зрѣтъ мучительно въ его душѣ?! Она понимала слишкомъ мало изъ его отрывочныхъ, загадочныхъ намековъ...

Анна заснула поздно. Подъ плачущіе звуки камня ей приснилась покойница Шура: дѣвочка упала въ рѣву на глазахъ Анны. Съ страшной реальностью она видѣла, какъ ее уносило теченіемъ, и она отчаянно боролась, взмахивая своими тоненькими ручками. Раздирающіе душу вопли доносились уже съ самой середины рѣки, но они не становились слабѣе, они напротивъ все крѣпчали, все разрастались... Анна бѣжала, рвалась изъ всѣхъ силъ, но никакъ не могла добѣжать до рѣки. Ея ноги вязли въ какой-то трясинѣ, ихъ опутывала страшная тяжесть... Маня показывала на Анну пальцемъ Строеву, и оба безъ жалости хохотали надъ ея бесплодными усиліями. Анна знала, навѣрное знала, что сію минуту придетъ Мишель, онъ поможетъ... Вотъ онъ дѣйствительно явился, неизвѣстно откуда, онъ бросился спасать Шуру. Но Мишель пошелъ по водѣ, какъ по землѣ, и на ея глазахъ сталъ тоже погружаться въ воду...

Анна дико вскрикнула и проснулась, покрытая потомъ. Въ темнотѣ слышался еще протяжный, жалобный вопль—тотъ же самый, который преслѣдовалъ ее во снѣ. Анна не выдержала; она разбудила Дашу и продержала ее около себя до разсвѣта.

Бабушку Анна не застала уже на балконѣ. Ея кресло было спущено въ садъ и поставлено на площадкѣ, отъ которой дорожки цвѣтника расходились радіусами во всѣ стороны. Передъ глазами хозяйки красовались правильные треугольники, засаженные каждый однимъ сортомъ цвѣтовъ, искусно подобранныхъ по отгнѣкамъ и вырощенныхъ подъ ростъ. Бабушка особенно любила это мѣсто цвѣтника.

Садовникъ подъ ея наблюденіемъ свидѣтельствовалъ бѣды, творенныя за ночь вѣтромъ, и нарѣзалъ очередной букетъ, который, благодаря бурѣ, выходилъ гораздо больше обыкновеннаго.

— Нечего дѣлать, рѣжь и это!—диктовала старуха озабоченно:—теперь недѣлю цѣлую безъ букета насидимся, взять будетъ не съ чего!..

Вѣтеръ еще далеко не улегся, но бабушка оставалась въ саду, рискуя простудиться, чтобы только не предоставить садовнику хозяйничать по-своему въ цвѣтахъ. Она повязала голову шерстянымъ платкомъ, поверхъ чепца, и накинула на фланелевую блузу старомодную бархатную мантилью на горностаевомъ мѣху. Анна издали сразу узнала эту мантильку. Въ памяти вдругъ промелькнула съ удивительной ясностью давно позабытая сцена изъ ея дѣтства, и далекое воспоминаніе сейчасъ же взяло за сердце.

— Простите, grand'maman, голубушка! Проспала я самымъ безсовѣстнымъ образомъ!—говорила дѣвушка, съ особенной нѣжностью цѣлуя костлявыя руки, совсѣмъ лиловыя отъ холода.

— Въ мое время дѣвушки въ семь часовъ вставали. Такихъ вотъ зеленыхъ лицъ не видно было... По нашему, чтд и за красота безъ румянца, а вамъ, видно, нравится на привидѣнья походить...

— Я ночь не спала, grand'maman. Боже, чтд была за буря! вы слышали?

— Какъ не слышать! вонъ у меня поле брани, по милости бури-то этой... Вчера пожалѣла срѣзать, а сегодня все облетѣло, стебли одни торчатъ. Сколько кустовъ поломано!

— Ахъ, чтд за жалость! вы букетъ составляете? grand'maman, подарите его мнѣ сегодня, можно? мнѣ очень хочется...

Садовникъ не утерпѣлъ и съ любопытствомъ повисился на легкомысленную барышню. Бабушка безпокойно завозилась въ креслѣ.

— Можно, grand'maman?—повторила Анна безпечно.

— Чтожь, и на твою долю хватить... Мы богаты сегодня, поневоля!

— Возьмите, сколько сама дасть—не просите. Жалеть каждаго цвѣтика,—разслышала Анна шопотъ садовника.

Она поднесъ къ креслу большую ручную корзину, полную цвѣтовъ, и бабушка долго отбирала изъ нихъ небольшой букетикъ для внучки.

— Свои бы цвѣты должны быть, на все про все одинъ мой цвѣтникъ, — бормотала старуха, полагая вѣроятно, что думаетъ про себя.

— Это куда же? на растопки развѣ высунуть! духъ даже гнилью отдаетъ. Ихъ бы три дня назадъ срѣзать, послѣдній срѣзь, —ворчалъ садовникъ, пренебрежительно перекидывая длинные, отцвѣтшіе левкои, на которыхъ дѣйствительно свѣжа была одна головка.

— Не мни, не мни! ишь какой щедрый, подумаешь!.. Коли все бросать, такъ изъ-за чего мы и бьемся лѣто цѣлое? За что я тебѣ, дураку, такое жалованье плачу?..

— За работу и платите. Такого цвѣтника, можетъ, по всей губернии еще не найдить. А ужъ это не наша причина, что безпремѣнно сначала поблекнуть дадите. Такихъ букетовъ насъ не учили вязать.

— *Renvoyez-le, grand'maman, c'est embêtant!* — вмѣшалась Анна.

Бабушка жевала ввалившимися губами и стучала кулакомъ по ручкѣ кресла:

— Дождешься ты, что велю за расчетомъ придти, грубиянъ! Теперь и безъ тебя справимся... Поливъ одинъ, да сѣмена обобрать въ-время—не великая мудрость.

— Какъ угодно! И мы безъ работы не останемся. У князя въ оранжереяхъ, сказывали, садовникъ помираетъ; туды и наймусь.

Рѣдкій день проходилъ у нихъ безъ ссоры. Каждый разъ рѣчь шла о расчетѣ, и садовникъ прискивалъ себѣ новое мѣсто; но на слѣдующее утро они мирно сходились, какъ ни въ чемъ не бывало.

— И наймись... Убирайся съ глазъ моихъ, сдѣлай одолженіе! Корзину Настасья отдай—да смотри, отъ себя не приври чего-нибудь, какъ намедни. Пусть все, чтѣ есть, въ вазы разставить... Подбираются цвѣты-то помаленьку.

У бабушки на всѣхъ столахъ, окнахъ и даже на шкафахъ засыхали букеты. Выбрасывать разрѣшалось только когда они ужъ окончательно превращались въ вѣники или когда вонь

гнилью становилась настолько сильна, что даже старуха начинала ощущать ее своимъ притупленнымъ обоняніемъ.

Анна принесла съ балкона складной стулъ и сѣла на него, стараясь не показывать, что ей холодно.

— Я все смотрю на вашу мантилью, grand'maman... Помните, какъ вы торжественно обѣщали дать мнѣ ее въ приданое?

Бабушка не помнила. Это было, когда художникъ Голубинъ увезъ къ себѣ свою маленькую крестницу, замѣтивъ, что не очень сладка была ее жизнь съ капризной и властной старухой.

— Я отчаянно плакала, — рассказывала Анна: — я мало знала дядю и боялась его тогда какъ огня... Привели меня къ вамъ прощаться. Помню смутно большую, высокую комнату съ темными обоями... Вы сидѣли въ этой мантильѣ у круглаго стола и, кажется, раскладывали пасьянсъ. Я вѣдь васъ страшно боялась, вы это знаете? Но тутъ я безъ всякаго страха кинулась вамъ на шею и кричала, что хочу остаться съ вами, не поѣду въ чужой городъ! Меня нянька потихоньку страшила всячески.

— Какъ это ты помнишь вздоръ всякій?..

— Должно быть, потому помню, что пролила изъ-за этого вздора рѣвни слезъ! — усмѣхнулась печально дѣвушка: — да! такъ вотъ тутъ-то вы и обѣщали торжественно подарить мнѣ горностаевую мантилью, когда я вернусь къ вамъ красавицей-невѣстой!

Старуха медленно качала головой, дивясь, что всѣ эти подробности изгладились совершенно изъ ея памяти.

— Отъ слова не отступлюсь... Умру, такъ въ наслѣдство получишь — да, поди, и носить не захочешь; мѣхъ пожелтѣлъ немного.

— Напротивъ, я обожаю все старинное; буду всегда носить.

— А коли хочешь при жизни моей получить, такъ замужъ выходи!.. Пора и то, сударыня. Этакъ и въ старыхъ дѣвкахъ за-сидѣться недолго...

— Охъ, сама чувствую, что пора! — разсмѣялась какъ-то странно Анна: — баста привередничать, бабушка! Теперь выйду за перваго, кто посватается!.. Не шутя.

Анна подняла голову и встрѣтилась съ глазами старухи. Казалось, весь остатокъ зоркости и ума сосредоточился въ этомъ взглядѣ.

— Люблю я тебя, Анята. Ставлю по уму, хоть ты и младшая, можетъ, всѣхъ выше въ семьѣ... Порода въ тебѣ видна... А того, что ты съ собой дѣлаешь, въ толкъ не возьму никакъ! Съ чего ты таешь, словно свѣча? Лѣто прошло, а ты смотришь хуже, чѣмъ зимой. Больна ты, можетъ быть?



Анна спрятала лицо въ букетъ.

— Нѣтъ, бабушка. Скучно въ деревнѣ...

— Пустое, мать моя... Да много ли ты и живешь-то въ деревнѣ?..

Дѣвушка нѣсколько секундъ боролась съ собой, потомъ подъяла неувѣренный, испытующій взглядъ.

— Правду говори, пустяковъ мнѣ не нужно!—проговорила старуха строго.

— Ничего новаго—все то же! Съ Маней мы не ладимъ, grand'maman. Надоѣло мнѣ это до нелзя...

— Такъ, такъ!—закивала головой бабушка:—этому я повѣрю. Чего въ ней не хватаетъ—Богъ знаетъ, а только изъ другого сорта она, тебѣ не пара...

— Скорѣе я ей, она хозяйка у себя въ домѣ, — возразила Анна сдержанно.

— И тебѣ пора въ хозяйки. Изъ чужихъ рукъ глядѣть кому сладко? Коли отъ нужды приходится — ни что подѣлаешь, а у тебя слава Богу своихъ сорокъ тысячъ, да еще послѣ меня получишь...

Въ первый разъ еще бабушка прямо упоминала о своемъ наслѣдїи.

— Я не объ этомъ, grand'maman, у насъ нѣтъ никакихъ счетовъ. Мы разные—это вы вѣрно сказали! Всего лучше намъ не мѣшать другъ другу... Я, grand'maman, на васъ надѣюсь! Вы не откажете? пожалѣте меня?

Бабушка безпоявно отстранила Анну рукой.

— Чтѣ ты, чтѣ ты! гдѣ ужъ мнѣ, чтѣ я въ силахъ...

— Уговорите Мишеля отпустить меня въ Петербургъ... Можетъ быть, онъ васъ послушаетъ! Я не хочу съ нимъ ссориться, уѣхать противъ его желанія. Я слишкомъ горячо люблю его!

Опять Анна спрятала лицо въ свой букетъ, вскочила съ мѣста и въ волненїи закружилась по узкимъ, извилистымъ дорожкамъ.

— Не дѣло, мать моя. Чего нелзя, и словъ даромъ терять нечего! Не къ кому тебѣ ѣхать туда, на души своей не осталось.

— Гдѣ же взять эту свою душу?—воскликнула Анна издали.— Стало быть, и вѣкъ такъ будетъ?!

— Замужъ идти, дѣло извѣстное. Ничего другого не придумаешь... Была у меня тоже подруга одна, на югѣ дѣло было. Богачка, красавица, жениховъ хвостъ цѣлый... Она ими не хуже тебя помывала, — думала, молодости и конца не будетъ. Нѣтъ! дѣвушка, какъ цвѣтокъ: вѣчдръ свѣжъ и пахучъ былъ, а черезъ

ночь листочки будто дрябнуть стали и краски нѣтъ... О судьбѣ своей въ-время позаботиться нужно.

— Что же случилось съ вашей красавицей? — спросила Анна иронически.

— Худое случилось. Состояніе братцы спустили живехонько, съ невѣстками какъ кошка съ собакой жили, вѣкъ все считались да попрекали другъ друга... Потому, связывали, за какого-то управляющаго замужъ пошла, лѣтъ ужъ за тридцать ей было, должно быть.

— Бабушка, очень вы любите Залѣсье? — спросила Анна неожиданно.

Старуха не любила, чтобы ей перебивали мысли.

— Пустое, милая... Сентиментальна никогда не бывала. Что тутъ любить? Когда здоровъ да уменъ, такъ вездѣ хорошо.

Ваучка смотрѣла на нее съ удивленіемъ.

— Но этотъ цвѣтникъ? вашъ флигель?

— Цвѣты всегда любила. Надо какъ-нибудь время убивать.

— Еслибъ можно было перенести куда-нибудь подальше этотъ влочокъ — и я бы съ вами!

— Не люблю, Анна! По-нѣмецки это *albern*, а по-русски неумно. А ты у меня умница...

Горячая краска залила лицо дѣвушки. Слезы выступили на нѣжные, утомленные глаза.

...Сунулась! вотъ они, *свои*! Она круто повернулась и пошла по первой попавшейся дорожкѣ. Бабушка только тутъ поняла, что ея черствый отвѣтъ затронулъ большое мѣсто.

— Анна! — повзала она черезъ нѣсколько минутъ.

Анна вернулась и молча сѣла на складной стулъ.

— Тебѣ обидно показалось, а я дѣло говорю... Одной ногой въ гробу, только правду говорить и осталось.

— Я слушаю, — произнесла Анна изъ цвѣтовъ.

— И послушай. Въ памяти стараго человѣка, какъ въ толстой книгѣ, всего найдется. Еще помню, также на глазахъ пропала дѣвочка... Это раньше было, еще въ полку дѣдъ служилъ. Командира полкового дочь, одна у нихъ и была... Избаловали ее подлинно безъ ума. Офицеры шутили, что у насъ не генералъ, а Зиночка полкомъ командуетъ... Кто изъ кавалеровъ пригланется да попросить, какъ разъ въ полкъ переведетъ, покою отцу не дастъ. Боецъ была, умна какъ бѣсъ и собой картинка... Сколько дуэлей изъ-за нея было (мода была на это), пулю себѣ въ лобъ пустилъ одинъ прапорщикъ, барыни полковыя между собой грызлись, всего было довольно...

— Ну, и что же?

— Невѣстой два раза была объявленной, да всякій разъ изъ-за капризовъ слово свое назадъ брала. Потому ужъ ее просто бояться стали...

„Еще одна разборчивая невѣста, все мнѣ въ назиданіе!“ — улыбалась Анна.

— Вотъ въ одинъ прекрасный день и разыгрался скандалъ, какихъ въ свѣтѣ довольно бываетъ. Полежъ у отца отняли, имѣніе описали... Едва отъ суда ушелъ, нищими остались...

— Что же Зиночка? — спросила Анна.

— А то, что объ женихахъ ни слуху, ни духу, словно всѣхъ вѣтромъ вымело! Подождала она сколько-то, да и уватила съ однимъ старикомъ богатымъ, старше отца...

— Бабушка, вы это мнѣ что ли гибель пророчите?

— Вотъ опять вздоръ мелешь! Съ тобой сегодня говорить нельзя! — разсердилась старуха.

— Простите, голубушка, шучу вѣдь я! Такъ какъ же, Мишелю-то вы скажете? нѣтъ?

— Поѣзжай ты въ городъ, выѣзжай зимой побольше, да добрыхъ людей отъ себя не пугай, вотъ оно какъ ни то и устроится... Мало ли у васъ нынче новыхъ этихъ должностей завелось: прокуроры, да слѣдователи, да предсѣдатели разные?.. Неужто вовсе ужъ людей приличныхъ не стало?

— Жениховъ ловить? Мерси за совѣтъ, grand'maman! мнѣ и старые до смерти надоѣли.

— Причуды, Аннушка!.. Къ тому вѣдь и разговоръ веду, что причуды до добра не доводятъ. Или вотъ еще въ Польшѣ случай былъ...

Анна испуганно сорвалась съ мѣста: третья назидательная исторія въ ряду — нѣтъ, это выше всякихъ силъ!

— Знаете что, grand'maman, я совсѣмъ продрогла здѣсь! Позвольте Андрея Ѳомича позвать, мы отвеземъ васъ домой.

Анна ушла за лакеемъ, потомъ за возней старуха позабыла, слава Богу, о начатой исторіи. Зато вспомнила, что у нея есть порученіе важное въ городѣ.

— А кому поручить, не знаю, — тушила она: — мужчинѣ нельзя, не счмѣть, а Настасью въ городъ посылать не люблю. Цѣлый день какъ безъ рукъ безъ нея...

— Я напишу Мишелю? — предложила Анна.

Но тутъ обнаружилось, въ чемъ заключалось порученіе: оставалась недѣля съ небольшимъ до дня рожденія Мани, и у бабушки были заказаны въ городѣ какія-то необыкновенныя вы-

пивши ей на капоть. Бабушка всѣмъ членамъ семьи дѣлала цѣнные подарки къ рожденію и непременно подъ строжайшимъ секретомъ; но такъ какъ выполнять эти секреты приходилось черезъ другихъ, то сюрпризы и удавались только въ воображеніи старухи. Обсуждая, какъ съ этимъ быть, Анна неожиданно придумала сама съѣздить въ городъ за выпивками.

— Чудесно, бабушка! — оживилась она: — вы не подозреваете, какъ это будетъ полезно мнѣ; я совсѣмъ раскисла послѣднее время!

Анна даже повеселѣла. Бабушка поговорила-было о провожатомъ, но скоро сдалась, довольная, что ея дѣло улаживается такъ хорошо. Анна помогла ей добраться до спальни за деньгами, но у комода должна была оставить ее одну; старуха никому не довѣряла денегъ, и даже Настасьѣ не позволялось присутствовать при всерытіи завѣтнаго ящика, гдѣ онѣ хранились. Бабушка вынесла Аннѣ двадцать-пять рублей и отпустила ее, страшно утомленная продолжительнымъ разговоромъ.

Смутная надежда Анны на ея поддержку рухнула навсегда.

„Нѣтъ! здѣсь ужъ взять нечего“... думала дѣвушка грустно и кротко, возвращаясь къ себѣ черезъ бабушкиныя цвѣтники. Подъ этими благоухающими клумбами, блистающими всѣми отбѣнками радуги, только готовая, открытая могила съ ея холодомъ и мракомъ...

### XXXVI.

На слѣдующее утро Анна опять проспала и едва не опоздала на пароходъ. Свистки раздавались одинъ за другимъ; кучеръ Петръ работалъ веслами такъ усердно, что потъ струился у него по вискамъ, а брызги то-и-дѣло обдавали барышню. Она сидѣла у руля съ маленькимъ сакъ-вожатемъ на колѣняхъ, съ оживленнымъ лицомъ, какового у нея давно уже не было.

Анна такъ трепетала опоздать, какъ будто ея спасеніе зависѣло отъ этой поѣздки. Зато ея внезапный отъѣздъ страшно взволновалъ Марью Павловну. Не подозревая о порученіи бабушки, Маня рѣшила, что Анна поѣхала объясняться съ братомъ. Этого она не ожидала! Передъ нею разомъ всталъ грозный призракъ того, чѣмъ грозило подобное свиданіе... Невинная интрижка, завязанная почти безсознательно, отъ одного неумѣнья дать отпоръ въ-время, — шалость отъ бездѣлья, подъ которой не крылось ничего серьезнаго, разрасталась какъ свѣжій комъ, пущенный подъ гору, и остановить который уже не въ нашей власти...

На пароходѣ было мало публики. Анна усѣлась на палубѣ и съ наслажденіемъ смотрѣла на воду. Свѣжій вѣтеръ обдувалъ голову и какъ будто унималъ мучительный жаръ безшкойныхъ думъ. Стальные волны, игривыя, вольныя, безъ конца неслись навстрѣчу, и каждая будто хотѣла шепнуть ей что-то ободряющее, будто силилась доплеснуть до нея серебристой пѣной, ударившей о бортъ парохода... Пахло смолой, должно быть отъ каната, свернутого подъ скамейкой. Съ палубы второго класса доносились взрывы смѣха, чей-то дребезжащій голосъ затягивалъ пѣсню, но каждый разъ обрывался на одномъ и томъ же словѣ...

Знакомый капитанъ подошелъ и поговорилъ съ Анной. Офицеры поклонились издали, — должно быть, она танцевала съ ними въ клубѣ. Анна была поражена внезапной переменною въ своемъ настроеніи. Эта переменна началась съ той самой минуты, какъ они отчалили отъ берега, какъ только Зальсье осталось позади... Лучше всего то, что она движется! И милыя волны съ ласковымъ лепетомъ несутся ей навстрѣчу, и берега, незамѣтно мѣняясь, какъ развернутая панорама, уносятся назадъ, унося за собою все старое... Какъ хорошо! какъ нелѣпо сидѣть на одномъ мѣстѣ и тосковать!! Уйти... да вѣдь это ужъ цѣлый міръ, заманчивый и невѣдомый! На каждомъ шагу что-то новое, чего не знаешь, чего не ждешь. Анна улыбалась благодарно вѣтру, волнамъ, бурнымъ полямъ, уставленнымъ частыми снопами сжатого хлѣба. Она обводила сіяющими глазами грязноватую палубу, загорѣлыхъ матросовъ, пьянаго лакея изъ буфета, шмыгавшаго мимо съ подносомъ и салфеткой черезъ плечо, и сонныя лица публики, сѣвшей на пароходъ прямо съ желѣзно-дорожнаго поѣзда, гдѣ она дурно провела свою ночь. Какъ можно имѣть такой сонный видъ, когда ѣдешь на пароходѣ! Не стыдно ли смотрѣть такимъ идиотомъ, какъ тотъ франтъ съ моноклемъ, когда прямо на тебя льются потоки горячаго свѣта, а вѣтеръ насмѣшливо гудитъ въ уши каждый подхваченный звукъ. А дама! — совершенно какъ кукла заводная, какия ей дарилъ, бывало, дядя... О, да она кстати и раскрашена точно кукла! Анна неудержимо разсмѣялась. Дама величественно повела головой и уставилась на нее неуловимымъ, расходящимся взглядомъ, какой бываетъ при незначительной косигѣ. Анна не знала, на нее ли она смотритъ, или мимо, и ее буквально душилъ нелѣпый, ребяческій смѣхъ. Она отвергивалась въ отчаяніи, стараясь поскорѣе припомнить что-нибудь печальное...

„Чему я радуюсь?“ — спросила она себя съ суевѣрнымъ ощущеніемъ. Но и это не помогло. Улыбка безсознательно про-

кралась опять на уста, грудь дышала легко и глубоко. Въ ней не было, какъ Анна ни прислушивалась, — не было въ ней того мучительнаго гнета, который она ощущала давно, — о, какъ давно! — казалось, въ эту минуту. Да что же случилось, въ сущности, такого ужаснаго? Она поссорилась съ Маней, но это только поможетъ ей устроиться отдѣльно на эту зиму. Да и устраивать ничего не нужно — вѣдь она выйдетъ замужъ за Строева, и они уѣдутъ на пароходѣ! О, это будетъ такъ ново, ново, ново! Несчастный, изстрадавшійся человѣкъ будетъ сѣять отъ одного ея взгляда. Подъ ропотъ волнъ онъ станетъ шептать, какъ ей одной онъ посвятить всю свою жизнь. Она не будетъ больше своя, нельзя будетъ метаться, какъ до сихъ поръ. И чудесно! это-то и есть самое лучшее! Вѣроятно, она начнетъ тогда съ важностью ощущать свою собственную персону. Пойдетъ ли, съ каждымъ шагомъ будетъ чувствовать, что это она идетъ, жена Строева! Она станетъ удивительно какъ бережно обращаться съ своей особой, будетъ искренно бояться простудиться, поскользнуться, упасть. Ей всегда казалось, что Маня такъ чувствуетъ: идетъ и гордится тѣмъ, что она существуетъ и дѣлаетъ кого-то счастливымъ. Рѣшительно въ этомъ нѣтъ ничего печальнаго! Ахъ, да! Маня влюблена въ Заботина, обманываетъ Мишеля. Но, можетъ быть, она и не очень влюблена?.. Можетъ быть, она не станетъ больше цѣловаться съ Орестомъ Павловичемъ?

„Ахъ, я ничего не знаю, не знаю!“ Анна силилась собрать свои мысли, но онѣ какъ-то странно поверхностно скользили въ ея умѣ, смѣняя одна другую, точно эти неугомонныя, прохладныя волны передъ глазами.

„Я, кажется, засыпаю, — меня укачало!“ догадалась, наконецъ, Анна. Она сдѣлала усиліе, чтобы встать. Что же это такое? встала она, или ей это такъ кажется! Неужели же она въ самомъ дѣлѣ заснула? Вотъ ей ужъ грезится — и какъ ясно! — какъ будто Строевъ выходитъ изъ каюты и приближается къ ней...

Анна прикрыла глаза рукой, потомъ отняла руку и увидала Строева въ двухъ шагахъ отъ себя. Но она смотрѣла на него отуманенными глазами, точно въ появленіи его не было ничего удивительнаго. Ее беспокоило гораздо больше, что такъ томительно клонить ко сну.

— Васъ не укачало? — произнесла она машинально, прежде чѣмъ онъ успѣлъ сказать что-нибудь, такимъ тономъ, какъ будто они вмѣстѣ пріѣхали на пароходѣ и только на время разстались.

Строевъ въ совершенномъ смущеніи опустился на скамейку.

Прошло еще нѣсколько секундъ, прежде чѣмъ Анна окончательно очнулась.

— Боже мой!.. Что вы обо мнѣ подумали?! Я спала на яву — вообразите себя! Смотрѣла долго на воду. У меня и теперь туманъ въ головѣ. Сергѣй Михайловичъ, велите мнѣ воды дать! Или нѣтъ, дайте мнѣ вашу руку, я попробую походить...

Все старое разомъ и съ новой силой поднялось въ душѣ.

— Ну, здравствуйте же! — поздоровалась она со Строевымъ, улыбаясь, послѣ того, какъ они минутъ пять уже прогуливались взадъ и впередъ по палубѣ.

— Простите, я совсѣмъ поглупѣла! вы смутили меня.

— Еще бы! Какъ вы сюда-то попали?.. что это за чудо такое?..

— Случайно узналъ, что вы ѣдете въ городъ. Вы недовольны? я не долженъ былъ дѣлать этого?

— Почему же? Мы не видались...

— Девять дней! — подсказалъ Строевъ. — У меня было всего четверть часа на размышленіе. Мнѣ показалось, что такъ лучше...

— Чѣмъ явиться въ павильонъ? Вы туда и дорогу позабыли!

— Я долженъ сначала получить право на это, — отвѣтилъ онъ строго.

„Вотъ оно! — содрогнулась внутренно Анна: — такъ близко!“... Она и не подозрѣвала ничего полчаса тому назадъ, наслаждаясь какимъ-то бессмысленнымъ приливомъ веселья! Она не сознавала теперь, сколько новыхъ силъ далъ ей этотъ мимолетный отдыхъ, столько же необходимый для встревоженной души, какъ необходимъ сонъ для измученнаго тѣла. Теперь ни игривыя волны, ни свѣжій вѣтеръ, ни сіяющее солнце не производили на нее впечатлѣнія. Франтъ, преслѣдовавшій ее своими взглядами, больше не смотрѣлъ идиотомъ, нарумяненная дама не казалась смѣшной.

Еще вчера Анна спрашивала себя, не слѣдуетъ ли ей выйти изъ пассивной роли, чтобы ускорить томительную развязку? Теперь она напряженно ловила его слова и уже знала навѣрное, что въ этомъ заключается вся ея роль. Его рѣшеніе долгой и трудной борьбой созрѣвало въ загадочномъ для нея мужскомъ сердцѣ. Она знала, сколько посторонняго примѣшивалось на этотъ разъ къ хорошо знакомому ей голосу страсти. И всегда во всемъ добросовѣстная Анна останавливалась въ смущеніи. Она боялась вставить свое наивное слово тамъ, гдѣ за каждой фразой стояло пережитое страданіе, сознательный и безповоротный приговоръ. Что найдетъ онъ въ ней, кромѣ готовности отдать ему свою жизнь, потому что она не знаетъ для нея лучшаго употребленія?!..

И повторилось еще разъ то, что Анна ненавидѣла, чего боялась всѣмъ своимъ существомъ: въ сердце, какъ змѣя, вползало смутное угрызеніе передъ робкимъ вопросомъ въ его глубокихъ, печальныхъ глазахъ. Ее охватила лихорадочная тревога. Не сегодня!.. Не сейчасъ!!.. Она точно въ ловушку попала на этой палубѣ, неприготовленная, развлеченная! О, еслибъ Строевъ встрѣтился ей въ темномъ саду, когда она была такъ оскорбительно-несчастлива, такъ одинока! Зачѣмъ не тогда? Она, быть можетъ, кинулась бы первая ему на шею съ мольбой приютить ее, спасти своей любовью...

— Что вы дѣлали третьяго-дня вечеромъ, Сергѣй Михайловичъ?—спросила внезапно Анна страннымъ тономъ.

Въ тотъ же мигъ она почувствовала, какъ рука Строева дрогнула. Онъ загнулся, потомъ порывисто, неровно двинулся впередъ. Тусклая блѣдность разлилась по его лицу.

— Что я сказала?.. Боже мой! Что съ вами сдѣлалось?!

Строевъ провелъ рукой по лбу.

— Нелѣпная мысль!! Въ вашемъ вопросѣ не кроется никакого особеннаго смысла, не правда ли?.. Нѣтъ?

Теперь Анна не знала, что ей думать. Онъ видѣлъ это по ея глазамъ, по легкой дрожи губъ.

Все равно, онъ не можетъ сказать ей! Онъ не можетъ признаться, что не смыкалъ глазъ всю ту ночь. Какъ настоящій злодѣй, пытающійся скрыть слѣды преступленія, онъ стоялъ передъ каминомъ—передъ украдкой разожженнымъ ночью каминомъ!—и съ отчаянной рѣшимостью комкалъ въ рукахъ зеленую тетрадь. Въ немъ бушевала страстная, злобная жажда видѣть, какъ запылаютъ и исчезнутъ роковые листы. Какой добрый гевій удержалъ поднятую руку?.. Все это представлялось теперь тяжелымъ кошмаромъ, болѣзненной галлюцинаціей, до которой онъ систематически доводилъ свои истерзаные нервы. Но его бросило въ жаръ отъ одного воспоминанія. Нельзя написать вторично зеленую книгу! Можно только сознательно и разсудочно излагать все то, что вылилось въ ней неподготовленное, нежданное для него самого, то, чего невозможно заподозрить, чему нельзя не повѣрить,—животрепещущее, какъ тѣ муки, которыя онъ переживалъ надъ нею... Одна лишняя минута дикаго порыва—и онъ бы сжегъ ее, а черезъ минуту рвать бы на себѣ волосы, называлъ бы себя подлецомъ!..

Когда Анна задала свой внезапный вопросъ, ничѣмъ не завѣщійся съ разговоромъ, Строеву послышался въ немъ намекъ. Какъ знать,—она сама или кто-нибудь изъ людей могъ видѣть



въ окно. Онъ понималъ теперь всю нелѣпость своего испуга, но этого было недостаточно: Анна смотрѣла на него съ сомнѣніемъ.

— Вы узнаете! Дайте мнѣ пока немножко, крупицу вашей кѣры, иначе мы никогда не придемъ ни къ чему!—проговорилъ онъ съ глубокимъ волненіемъ.

Аннѣ бросилось, наконецъ, въ глаза все неудобство такой продолжительной прогулки подѣ любопытными взглядами парходной публики. Да и выраженіе ихъ лицъ едва ли соответствовало непринужденной болтовнѣ случайно встрѣтившихся знакомыхъ.

— Вы не замѣчаете, мы, кажется, даемъ даровое представленіе почтенной публикѣ?

— Простите... Видите, до какой степени я одичалъ! — спохватился Строевъ.

Они спустились въ каюту и потребовали себѣ чаю. Въ каютѣ нѣкоторые завтракали, офицеры играли въ карты. Продолжать разговоръ не было возможности.

### XXXVII.

Въ распоряженіи Анны было всего часа три времени до обратнаго парохода. Порученіе бабушки оказалось на дѣлѣ гораздо сложнѣе, чѣмъ она думала. Хозяйки мастерской она не застала дома, а безъ нея никто не могъ выдать заказа; ее нужно было разыскивать по городу. Вездѣ царилъ неизбѣжный лѣтній беспорядокъ; всюду люди были въ отлучкѣ, и ихъ не знали гдѣ искать, а имѣвшіяся на-лицо были раздражены своей участью и нимало не предупредительны.

Самая поѣздка совершенно утратила свой характеръ невиннаго развлечения, съ той минуты, какъ на пароходѣ оказался Строевъ. Анной овладѣвала непобѣдимая разсѣянность озабоченнаго человѣка, который вынужденъ заниматься пустяками. Два раза ей пришлось проѣхать мимо зданія дворянскаго клуба, гдѣ долженъ былъ находиться Мишель. Въ другое время Анна не преминула бы произвести эффектъ своимъ внезапнымъ появленіемъ,—теперь же она ограничилась тѣмъ, что посмотрѣла съ тяжелымъ чувствомъ на окна, за которыми, быть можетъ, въ эту самую минуту раздавался его милый, чистосердечный смѣхъ. Она чувствовала себя не въ силахъ отвѣтить безпечно на его разспросы; онъ прочтетъ тревогу въ ея глазахъ. Какъ будетъ она лгать ему, что въ Зальсѣ все благополучно, когда, быть можетъ, въ это самое время Орестъ Павловичъ вознаграждаетъ

себя за несостоявшийся пивникъ? Маня пользуется неожиданной свободой съ податливостью безличныхъ людей передъ завлекательнымъ соблазномъ. Выпустивъ Маню изъ-подъ своего надзора, Анна вдругъ перестала вѣрить въ эффектъ бурнаго ночного объясненія. Она ужъ раскаявалась, что уѣхала.

Немудрено поэтому, что Анна вся вспыхнула отъ радостнаго испуга, когда при выходѣ изъ какой-то лавки она очутилась лицомъ къ лицу съ самимъ Орестомъ Павловичемъ.

Докторъ катилъ на щегольской пролетей съ какой-то дамой. Прежде тѣмъ Анна успѣла опомниться, онъ стоялъ ужъ около нея. Пролетка уѣхала. Дама оглядывалась.

Орестъ Павловичъ былъ изумленъ не меньше Анны. „Пріѣхала съ докладомъ“, рѣшилъ онъ, какъ и Маня. Признаться, отъ Анны онъ не ожидалъ такого поступка.

— Соскучились и пріѣхали повидаться съ братцемъ?—спросилъ онъ ядовито, не спуская съ Анны подозрительно прищуренныхъ глазъ.

— Къ сожалѣнію, не имѣю на это времени. Вы какимъ образомъ не въ Залъсѣ сегодня?

— Дѣла!

Орестъ Павловичъ повелъ плечомъ съ тѣмъ выраженіемъ, какимъ хотятъ вѣжливо сказать: это останется при мнѣ. На самомъ дѣлѣ Заботинъ получилъ наванунѣ вечеромъ письмо, въ которомъ Марья Павловна официальнымъ тономъ просила его отложить свой пріѣздъ: поѣздка въ лѣсъ не можетъ состояться, потому что она въ этотъ день будетъ занята непредвидѣнными хозяйственными хлопотами, и пр., и пр.

Разумѣется, докторъ издѣвался надъ этимъ письмомъ и объяснилъ его цѣликомъ въ свою пользу. Послѣдній проблескъ благоразумія! Отчаянная вспышка совѣсти, неизбежная, когда женщина останавливается передъ опаснымъ искушеніемъ. Коротенькая пауза, послѣ которой она схватится за него тѣмъ съ большей жадностью.

Еслибъ самъ Орестъ Павловичъ былъ искренно увлеченъ, а не разыгрывалъ хладнокровно, какъ по нотамъ, банальный романъ несчастной Мани, онъ, конечно, не посмотрѣлъ бы на это письмо, но тутъ-то и не преминулъ бы отправиться въ Залъсѣ. Теперь же онъ равнодушно предпочелъ воспользоваться случаемъ, чтобы заняться собственными дѣлами, иронизируя надъ женской наивностью. Что другое могъ означать этотъ ребяческій протестъ въ глазахъ каждаго сообразительнаго человѣка, какъ не окончательное признаніе себя побѣжденной?! „Уходите—я васъ боюсь!“ Онъ и слова эти слыхивалъ на своемъ вѣку, когда ими наивно

пытаются удержать, не соображая, что въ нихъ-то и заключается самый краснорѣчивый призывъ.

Удостоверившись, что Анна дѣйствительно пріѣхала по дѣлу и еще не выдалась съ Мишелемъ, Заботинъ развеселился. Каждая встрѣча съ Анной овладѣвала имъ всецѣло и сметала сейчасъ же съ души все другое, наносное, все, чѣмъ онъ пытался занять себя, чѣмъ „пробавлялся“, какъ это называлось на его вульгарномъ языкѣ. Орестъ Павловичъ отобралъ отъ нея покупки, выспросилъ, чтѣ еще ей остается сдѣлать въ городѣ, и усѣлся съ нею на дрожжи съ видомъ человѣка, и мысли не допускающаго, чтобы это могло быть иначе. Анна понимала, что ей не избавиться отъ него, и предпочитала сдѣлать видъ, что это дѣлается съ ея согласіемъ.

— Вы еще должны вознаградить меня за хорошее поведеніе, — подшучивалъ докторъ откровенно. — Сами же не рассчитывали найти меня въ городѣ! Или, можетъ быть, полагаете, что это вы такъ запугали меня?

— Избавьте отъ подобныхъ разговоровъ на извозчикѣ, — возмутилась Анна.

— А! не все ли равно? При томъ мнѣніи, какое вы имѣете обо мнѣ, Анна Владиміровна, слѣдуетъ быть логичнѣе и не оболъщаться иллюзіями. Я не привыкъ терять своего.

— Своего?! — повторила Анна невольно.

— Того, чтѣ можно взять! Въ жизни не много радостей, мало даже просто забавнаго — что же въ ней останется привлекательнаго, если отбросить женскую красоту?

На губахъ Ореста Павловича играла злая усмѣшка. Онъ испытывалъ своеобразное наслажденіе пугать и мучить гордую Анну.

— Боже, чтѣ такое вы говорите?!

— Преподаю вамъ уроки трезвой жизни. Если я безнравственъ и бездушенъ, какъ вы увѣрены, то какимъ же образомъ можно ждать отъ меня добродѣтельныхъ поступковъ? А вы мнѣ повѣрили! Вы знаете, что я люблю васъ одну — люблю, какъ любить противъ воли, на зло всему... Вы не можете не знать этого, и вотъ на чемъ вы основали свои надежды! Какая наивность! Я не превращусь въ монаха отъ того, что вы разбили мнѣ сердце. Я буду скрашивать, чѣмъ могу, свое существованіе, — все равно ужъ, васъ не разувѣрить, что я не какое-то уродливое собраніе всѣхъ пороковъ, а самый обыкновенный человѣкъ! Чутьочку развѣ неразборчивѣе другихъ, но зато на много чистосердечнѣе, а стало быть и честнѣе.

— Теперь какъ разъ время говорить о честности!

— Еще бы! Я не обманываю и не лгу.

— И то, и другое. Только никогда больше вы не провнесете этихъ словъ: что вы меня любите.

— Да, я васъ люблю. Знаете, зачѣмъ я говорю все это?

Анна отвернулась возмущенная.

— Я хочу, чтобы вы *попросили* меня. Признали бы, что угрозой даже и вы не осилите меня. Смиритесь, Анна Владимировна! попробуйте дѣйствовать добромъ! Вамъ предстоитъ когда-нибудь сдѣлаться матерью, такъ не мѣшайте понимать, что есть натуры, на которыя дѣйствовать можно только лаской.

— Вы продаете вашу честь?

— Продаю-сь. Дорого вы не дадите — за чужое никто не платитъ дорого! Мнѣ все барышъ. Мишеля своего вы вѣдь дѣйствительно любите.

Анна ничего больше не говорила. Ясно, что Орестъ Павловичъ, что называется, „отводитъ душу“, бѣситъ ее намѣренно. Она изо всѣхъ силъ старалась не поддаваться своимъ ощущеніямъ, а добратся осторожно до истины въ этомъ фейерверкѣ наглости и хвастовства.

Проводивъ Анну на пароходъ, докторъ, какъ ни въ чемъ не бывало, принялся занимать ее городскими сплетнями. Но гдѣ могъ быть Строевъ? Анна надѣялась, что онъ въ каютѣ, и нарочно оставалась на палубѣ, пока докторъ не будетъ вынужденъ удалиться. Какъ вдругъ, по одному выраженію мрачнаго злорадства въ его лицѣ, Анна, не поворачивая головы, поняла, что онъ увидалъ на берегу Строева. Дѣйствительно, Строевъ подѣхалъ на извоицкѣ въ послѣднюю минуту.

Заботинъ смотрѣлъ на Анну. Она чувствовала, какъ краснѣеть.

— Несчастная случайность! — нервно разсмѣялся докторъ. — Расчетъ былъ вполне вѣренъ: я долженъ быть сегодня въ Загльсъѣ. А рггрос, тутъ усматривается уже нѣкоторое колебаніе доблести.

— Вы ошибаетесь — я приняла свои мѣры, — отвѣтила Анна враждебно.

Орестъ Павловичъ сдѣлалъ безмолвный поклонъ и смѣшался съ толпой.

Анна спряталась въ каюту, прежде чѣмъ Строевъ отыскалъ ее. Раздражающее впечатлѣніе неожиданныхъ откровенностей Ореста Павловича быстро смѣнялось сознаниемъ, что ея собственная судьба должна рѣшиться въ этотъ коротенькій, переѣздъ до дому. Анна не испытывала теперь того трепета, который охватилъ ее утромъ.

Она успѣла привыкнуть къ этой мысли за цѣлый день. Хотѣлось, напротивъ, чтобы все рѣшилось скорѣе.

Вотъ Строевъ входитъ въ каюту и радостно отыскиваетъ ее глазами. Онъ кладетъ свою шляпу на столъ. Худощавое лицо съ смягченнымъ выраженіемъ и покорности, и надежды—это лицо, оживавшее, молодѣвшее на ее глазахъ, кажется ей близкимъ, роднымъ, послѣ только-что испытанныхъ взрывовъ негодованія.

„Хорошій!“—думаетъ Анна, улыбаясь ему съ тихой лаской. Еслибъ онъ сѣлъ тотчасъ съ нею рядомъ, взялъ ее за руку и произнесъ бы только три заветныхъ слова, все было бы кончено.

То, чтò рѣшается умомъ, всегда ясно и коротко. Но сердце живетъ своей независимой жизнью, безконечно многообразной, неистощимо богатой. У него свой умъ, свой языкъ и своя логика.

„Для чего онъ медлитъ?“—думала тоскливо Анна, и эта тоска какъ будто сообщалась ему, переданная ея молчаніемъ. Имъ вдругъ не объ чемъ стало говорить—рѣшительно не объ чемъ! Они не спрашивали другъ у друга, какъ провели эти три часа въ городѣ. Строевъ не спросилъ ничего о Заботинѣ, съ которымъ столкнулся на пристани. Онъ старался понять ея настроеніе, угадать ея мысли. Она казалась ему утомленной и печальной. Не будетъ ли съ его стороны навязчиво и не деликатно волновать ее въ такую минуту? Онъ пропустилъ удобное время утромъ. Тогда ему слѣдовало объясниться. Она была возбуждена, тревожна, какъ будто ждала. Теперь она разочарована, недовольна.

Но пока Строевъ перебиралъ все это въ своемъ умѣ, а Анна чувствовала себя повисшей надъ пропастью, черезъ которую могутъ перенести только чужія руки,—пока они теряли такъ драгоценныя мгновенія, случилось то, чего они не ждали ни въ какомъ случаѣ: на лѣстницѣ раздался голосъ доктора Заботина, громко говорившаго кому-то:

— Хорошо, хорошо! только напомните мнѣ объ этомъ, когда я буду въ городѣ.

Вслѣдъ за этимъ Орестъ Павловичъ вошелъ въ каюту. Это была одна изъ истинно пріятныхъ минутъ въ его жизни, когда онъ съ торжествомъ почувствовалъ на себѣ ихъ пораженные взоры. Съ Анной докторъ не прощался по настоящему, уходя, и ограничился теперь легкимъ поклономъ издали. Строеву онъ пожалъ руку.

— Мнѣ показалось давеча, что вы возвращаетесь въ городъ?—замѣтилъ тотъ сухо.

— Я далъ только маленькое порученіе знакомому изво-

щипу и успѣлъ еще вскочить на пароходъ, но уже безъ трапа. Съ опасностью жизни, Анна Владиміровна...

— Дѣлаетъ вамъ честь, Орестъ Павловичъ.

— Радъ слышать это отъ васъ! Человѣкъ, принесите мнѣ стаканъ чаю!

— Не приказать ли принести и для васъ? — спросилъ Строевъ Анну и вышелъ распорядиться.

— Я превосходно настроенъ, Анна Владиміровна, — говорилъ докторъ, потирая нервно руки: — ничего не можетъ быть интереснѣе маленькихъ неожиданностей, которыя принуждаютъ принимать внезапныя рѣшенія! Это пробуждаетъ энергію и встряхиваетъ нашу русскую апатію. Жаль, что случается это не часто. Мы черезъ-чуръ привыкли жить размѣренной жизнью и поступать по заранѣе составленнымъ предначертаніямъ, какъ бы они ни были плохи. Потому-то большею частью мы и лишены находчивости и въ рѣшительныя минуты терняемъ голову. Согласны вы со мной?

— Нѣтъ, я вывожу изъ вашихъ разсужденій обратное заключеніе: судя по *вашей* находчивости, подобныя неожиданности вѣроятно случаются съ вами очень часто.

— Да, да! — разсмѣялся докторъ безпечно: — я и самъ замѣчаю, что кистю сравнительно еще меньше другихъ. По крайней мѣрѣ я не имѣю привычки останавливаться передъ пустяками.

„Намекъ это?“ .. — соображала мрачно Анна.

Строевъ вернулся и завелъ съ докторомъ длинный разговоръ о дворянскомъ сѣздѣ, затянувшемся дольше, чѣмъ рассчитывалъ Голубинъ.

— Михаилъ Владиміровичъ совсѣмъ терпѣнье потерялъ, — рассказывалъ Заботинъ: — объявилъ, говорятъ, вчера, что уѣдетъ, не дождавшись конца.

— Да?? — откликнулась радостно Анна.

— А вы приготовьтесь: онъ очень обиженъ, что ему мало писали изъ дому, а вы не написали ни разу.

— Вы его развѣ видѣли?

— Видѣлъ.

„Вреть, можетъ быть?“ ..

— Вы устали? — спросилъ Строевъ Анну между разговоромъ.

Отъ доктора не ускользнула особенная заботливость этого вопроса и молчаливая улыбка, которой отвѣтила на него Анна. Въ другой разъ Строевъ всталъ и переложилъ на другую скамейку чьи-то вещи, мѣшавшія ей. При этомъ онъ пилъ свой чай, вни-

матерно поддерживала разговор и, казалось, вовсе не смотрѣла на Анну.

„Ты, однакожь, ловкая шельма, хоть и смотришь постыжкомъ!“ — начинала злоствовать не шутя Орестъ Павловичъ. Бъ его вѣщей досадѣ черезъ нѣсколько времени въ каюту спустилось съ палубы знакомое семейство съ дѣтьми; какъ ни старался докторъ дѣлать видъ, что онъ поглощенъ всецѣло разговоромъ, въ концѣ концовъ ему пришлось-таки подойти, когда за нимъ безцеремонно прислали одного изъ мальчиковъ. Анна въ ту же минуту встала со скамейки.

— Сергѣй Михайлычъ, выйдемте на палубу, я тутъ опять засну, какъ утромъ!

Строевъ находилъ, что это черезъ-чуръ похоже на бѣгство... Не подозрѣвалъ, что Анна дѣлаетъ это намѣренно, сводя собственные счеты съ Заботинымъ.

— Тутъ отлично! Посмотрите, какое освѣщеніе мягкое!

Анна сѣла и оперлась подбородкомъ на руку. Она оставила внизу свою шляпу; вѣтеръ игралъ легкими прядями волосъ на прекрасномъ лбу. Она была очень блѣдна. Строеву бросилось въ глаза, насколько она смотрѣла здоровѣе и безпечнѣе, когда онъ прѣхалъ въ Загѣсье. Глаза съ усталымъ и вмѣстѣ беспокойнымъ выраженіемъ скользили по ландшафту, освѣщенному послѣднимъ отблескомъ зари. Они встрѣтились съ его глазами, и какъ будто тотъ же розовый отблескъ упалъ и на ея лицо... Она не отвела глазъ.

— Анна Владиміровна, у меня отняли эти два часа... Вамъ придется разрѣшить мнѣ придти въ павильонъ.

— Развѣ я когда-нибудь запрещала вамъ это?

Строевъ оглянулся: Заботинъ поднимался вслѣдъ за ними изъ каюты.

— Сегодня?..—выговорилъ онъ вполголоса.

Анна молча наклонила голову.

Строевъ отошелъ на носъ, снялъ шляпу и сталъ смотрѣть на воду совершенно такъ же, какъ смотрѣлъ, подѣвжая къ Загѣсью. Только теперь не было солнца и пропала та серебряная змѣйка, которая увлекала за собою пароходъ. Онъ не подозрѣвалъ тогда, что это его судьба! что она приведетъ его къ чудной дѣвушкѣ, которую онъ полюбитъ своею первою и послѣднею любовью — приведетъ къ свѣтлому будущему, о которомъ онъ не смѣлъ даже мечтать! О, развѣ это не чудо?! развѣ такъ перерождаются сердца въ два, три мѣсяца, если ихъ не коснется всецѣлая власть? — Любовь, разоблачающая тайны жизни, за-

ставляющая обожать ее, какова бы она ни была! Любовь создающая цѣлый новый міръ въ душѣ, высокой, недосыгаемый и котораго никто не властенъ отнять, никто не отниметь, даже если онъ простираетъ черезъ-чуръ далеко свои надежды — если въ нѣжности великодушной дѣвушки нѣтъ ни капли такой любви, которая бы заставила ее примириться со всѣмъ!

Строевъ оглянулся на Анну. Въ ея лицѣ дѣйствительно не было того, что бы онъ хотѣлъ прочесть на немъ въ эту минуту. Анна разговаривала съ докторомъ. Она могла улыбаться иронически, говорить равнодушно. Только въ самой глубинѣ глазъ стояла отдѣльная, серьезная дума. Поймавъ пылающій взглядъ Строева, она улыбнулась ему издали мимолетной нѣжной улыбкой.

— Я окончательно убѣдился сегодня, что существуютъ предчувствія! — произнесъ рѣзко надъ ея ухомъ Орестъ Павловичъ.

...Состраданіе заходить, наконецъ, черезъ-чуръ далеко! Это ужъ не шутка, — эти открытыя переглядыванія и улыбки. Поѣзда въ городъ вдвоемъ, ловко рассчитанная на его отъѣздъ въ Зальсъе! Положимъ, онъ не знаетъ ни одной женщины, у которой достало бы духу отказаться сразу отъ чьей-нибудь любви. Онъ всегда считаютъ чужую любовь своею собственностью въ той пропорціи, какъ имъ заблагоразсудится. О, онъ испыталъ это достаточно съ этой самой Анной, уничтожающей его теперь своимъ презрѣніемъ! Она не мѣшала ему влюбляться и слѣдила съ большимъ интересомъ за тѣмъ, какъ онъ терялъ голову. Она исправно кокетничала съ нимъ, хоть, разумѣется, иначе, чѣмъ съ этимъ убитымъ маниакомъ; иначе, чѣмъ съ мальчуганомъ Ожогинимъ. А каково будетъ ея негодованіе, если сказать ей это? Она, видите ли, не сознаетъ, что означаютъ подобные взгляды и до чего доводитъ соблазнительное милосердіе прекрасныхъ женщинъ!

Въ то время какъ Строевъ съ умиленіемъ и благодарностью созерцалъ собственную раскрытую душу, — въ то время какъ злая ревность грызла сердце Ореста Павловича, — Анна озбоченно взвѣшивала всѣ неудобства свиданья, назначеннаго на сегодня Строеву. Можно бы отложить до завтра, когда Заботина не будетъ въ Зальсъѣ, — но завтра могъ вернуться Мишель, если вѣрить болтовнѣ доктора.

Въ послѣднюю минуту Анна рѣшилась; пользуясь суматохой, она успѣла сказать Строеву, что будетъ ждать его не въ павильонѣ, а въ большой липовой аллеѣ.

„По всѣмъ правиламъ — ночное свиданіе въ саду!“ — подумала она съ грустью надъ собственнымъ настроеніемъ: увя, въ немъ было гораздо больше тяжелой заботы, чѣмъ чего-нибудь другаго.



## XXXVIII.

Дни давно стали замѣтно короче. Мягкій сумракъ нечувствительно окутываетъ садъ при безоблачномъ и еще свѣтломъ небѣ. На западѣ широкая полоса расплавленного золота постепенно становится все жиже, поднимаясь вверхъ, а надъ головой сливается зелеными тонами съ блѣдной синевою. Въ обратную сторону, къ Парнасу, синева снова сгущается, но ее заволакиваетъ все замѣтнѣе легкая сѣро-лиловая тѣнь. Луна взойдетъ гораздо позже. Надъ Парнасомъ то блеснетъ, то пропадетъ крохотная, одинокая звѣздочка... Сумракъ крадется по низу. Онъ выливается свѣжими волнами изъ темныхъ аллей, изъ-за пышныхъ группъ деревьевъ. Кое-гдѣ на нихъ свѣтятся желтые листья, точно запоздалый отблескъ погасшихъ лучей.

Въ большой аллеѣ значительно теплѣе, чѣмъ на открытыхъ дорожкахъ. Неостывшій, ароматный воздухъ ласково прильнулъ къ лицу Анны. Она шла, вутаясь въ платокъ, и сейчасъ же почувствовала разницу; несносная дрожь въ груди стала слабѣе. Она вздохнула и пошла тише. На ея лицѣ было полу-грустное, полу-торжественное выраженіе безповоротныхъ рѣшеній. Она смотрѣла себѣ подъ ноги и какъ-то странно не думала, а только помнила все разомъ: и о Строевѣ, и о Мишелѣ, относительно втораго она не знала, какъ ей поступить.

Дойдя до конца аллей, Анна, не останавливаясь, повернулась и пошла тѣмъ же шагомъ обратно; но, не дойдя до середины, она вдругъ почувствовала чье-то присутствіе... загнулась. Ждала, была удивлена, что пришла первая, и все-таки ее всю бросило въ жаръ, когда со скамейки направо поднялся ей на-встрѣчу Строевъ.

— Вы были здѣсь?!

— Да, я смотрѣлъ какъ вы шли.

Именно—смотрѣлъ, „какъ шла“, какъ двигалась мѣрно и увѣренно стройная фигура. Ея лица онъ не могъ рассмотреть. Анна пошла дальше, но въ ея движеніяхъ не было теперь ни увѣренности, ни стройности. Она дошла только до ближайшей скамейки.

— Мы сядемъ?

Она плотнѣе закуталась въ платокъ и склонила голову. Онъ сѣлъ рядомъ и сбросилъ шляпу. Минута проползла долгая, долгая.

Онъ не искалъ словъ, но разбирался въ мысляхъ, нахлынувшихъ внезапно. Онъ помнилъ ея лицо на пароходѣ, когда онъ

неожиданно взглянулъ на нее, и соединялъ его съ тѣмъ, какъ она пла сейчасъ... на-встрѣчу своей судьбѣ!..

Онъ и заговорилъ о судьбѣ. Вѣрить ли она въ судьбу? Рѣдко кто вѣрить, пока жизнь идетъ гладко, завлекаетъ предательски по тому пути, который мы называемъ истиннымъ. Называемъ такъ, чтобы имѣть право тѣшиться своими ребяческими забавами, чтобы добиваться жалкихъ, эфемерныхъ цѣлей! И кто внушилъ намъ эти цѣли, развѣ мы знаемъ?! Кто увѣрилъ его, юношу, что любить стоитъ только себя одного? кто вселилъ въ него презрительное и высокомерное отношеніе къ другимъ—къ тѣмъ, кто „не свой“, то-есть, кто не идетъ такъ же сознательно и хладнокровно къ той же незамысловатой, крохотной цѣли? Да, кто внушилъ это ему, сиротѣ, пригрѣтому чужой лаской, не выдавшему отъ людей ничего, кромѣ добра?! Добра онъ не видалъ потому отъ тѣхъ, кого выбралъ добровольно, съ кѣмъ шелъ вмѣстѣ. А! пусть она не обманывается словомъ: „вмѣстѣ“,—какъ идутъ невольные попутчики, когда они не могутъ осилить другъ друга. Затаенные соперники, подстерегающіе у другого каждый невѣрный шагъ, чтобы забѣжать и опередить. Состязаніе на призы, гдѣ не оглядываются на оставшихся за флагомъ, чтобы не дать обогнать себя тѣмъ, которые не зѣваютъ. Вотъ жизнь, которая ему такъ нравилась, которой онъ такъ гордился!..

Вѣрно она удивлена, что онъ говоритъ съ нею въ такомъ тонѣ? Въ эту минуту говорить о прошломъ! Его сердце надрывается сожалѣніемъ за все, что онъ погубилъ, что растерялъ неживши. Онъ старивъ — лысый, сѣдой, разучившійся улыбаться старивъ, ему нечего больше сложить къ ея ногамъ! Онъ не даромъ заговорилъ о судьбѣ... развѣ смѣетъ онъ назвать счастьемъ то, на что зоветъ ее? Ея судьба это. Онъ прочелъ это въ ея лицѣ... понялъ только-что, глядя какъ она шла къ нему. Вѣдъ и онъ знаетъ—слышалъ, видѣлъ, читалъ, наконецъ, о любви свѣтлой и радостной. Того ли она стѣдитъ?.. Она, мимо которой никто не пройдетъ равнодушно!..

— О, нѣтъ, нѣтъ... вы не знаете, не знаете!—вырвалось умоляющимъ воплемъ изъ груди Анны.

Строевъ поймалъ ея руки и нѣжно зажалъ ихъ въ свои: онъ знаетъ,—знаетъ! Прекрасно не только то, что радостно. Высокое можетъ быть печально. Гдѣ взять ему силъ самому отговаривать ее отъ жертвы, если она хочетъ и въ силахъ принести ее?!..

Слезы струились по блѣдному лицу Анны. Что-то тяжелое,

неотвратимое охватывало, опутывало точно тисками... Жертва...  
О, она не знала, что это такъ страшно!

— Простите меня...—пролепетала она.

Строевъ выпустилъ ея руки.

— Я?.. вась?..

Анна сдѣлала усиліе выбиться изъ тисковъ. Да, правда! для чего говорить онъ о прошломъ? объ этомъ проклятомъ прошломъ, которое такъ истерзало его! Онъ не любитъ ее, если не вѣрить въ будущее,—если даже и въ эту минуту не любитъ жизни и не можетъ забыть стараго зла. Чтѣ случилось съ нимъ такого непоправимаго, чего бы нельзя было забыть для ея любви? Клевета... позоръ... Это все давно разсѣялось, какъ дымъ. Это—чужая вина. Развѣ все не заключается въ томъ, чтобы быть правымъ? развѣ чистую совѣсть властенъ отнять кто-нибудь?! Чтѣ ему до мнѣнія этой толпы, которую онъ самъ презираетъ? тѣхъ „попутчиковъ“, о которыхъ говорилъ только-что, которые радуются, можетъ быть, что онъ освободилъ имъ лишнее мѣсто! Развѣ мало другихъ людей? развѣ она, Мишель и еще многіе, навѣрно многіе еще, не вѣрили всегда въ его правоту??

Анна разгорячилась, увлекаясь собственными словами. Передъ нею встало разомъ все, чѣмъ долго жила ея фантазія, чтѣ сдѣлала она изъ этого „пострадавшаго“ и изъ своей великодушной роли въ его жизни. Судьба!—повторила Анна уже безстрашно:—ну да! это судьба, и она не промѣняетъ ее на другую,—она ея гордится... она ее хочетъ!

Строевъ слушалъ, опустивъ голову на руки. Передъ его запятыми глазами мелькалъ пылающій каминь... тетрадь въ трясущихся рукахъ. Анна забыла о ней. Она вовсе не вспоминаетъ о томъ, чтѣ онъ сказалъ ей—пропустила мимо ушей, какъ пропускаемъ мы часто темные намеки, не подозрѣвая кроющагося въ нихъ рокового смысла, отъ котораго нельзя уйти. Онъ молчалъ, и объ этомъ не было бы больше рѣчи. Чтѣ заключалось въ ней, кромѣ его собственныхъ сомнѣній, кромѣ его мыслей?! Нѣтъ въ ней рѣшительно ни одного факта, котораго бы Анна не знала, ничего такого, чтѣ честь обязывала бы его не скрывать отъ нея.

Строевъ заложилъ правую руку за бортъ сюртука и нагнувъ тетрадь у себя на груди.

— Я вамъ вѣрю. Не потому, чтобы я стоилъ, чтобы я уважалъ вась—о, нѣтъ! никто не можетъ понять всей глубины моего смиренія. Жаль, слово это дурно выражаетъ мое мнѣніе.

способно ввести въ заблужденіе,—прибавилъ онъ на невольное движеніе Анны.

Не онъ стѣбитъ—стѣбитъ та новая дорога, на которую онъ вступилъ. Пусть порукой ей служить его судьба! Она не подозреваетъ, чѣмъ онъ былъ прежде, и до тѣхъ поръ, пока не узнаетъ этого, ей невозможно понять всей глубины переворота, которымъ онъ обязанъ ей, ей одной. Она узнаетъ все. Такой, какимъ онъ предлагаетъ ей себя въ эту минуту,—не обманетъ. Нельзя судить, чего это стоило ему, но это отжито. Борьба кончена.

Строевъ медленно вынулъ тетрадь и положилъ ее себѣ на колѣни. Да, кончено. Она лежитъ передъ Анной, и онъ ужъ не *можетъ* взять ее назадъ.

„Такъ поступаютъ трусы... отрѣзать себѣ путь къ отступленію!“—пронеслось въ его умѣ.

Анна не видала, какъ онъ былъ блѣденъ, но ее поразила глухой, прерывающійся голосъ.

— Ахъ, да!—вы вѣдь непремѣнно хотѣли, чтобы я прочла. Это дневникъ вашъ? Зачѣмъ вы настаиваете! Мнѣ нечего разъяснять въ этомъ несчастномъ дѣлѣ. Избавьте себя и меня отъ муки переживать его снова! Спрячьте вашу тетрадь. Или, еще лучше—разорвите ее сейчасъ у меня на глазахъ! Хорошо??

Она ласково заглянула ему въ глаза. Ей сейчасъ же дѣлалось легко, какъ только рѣчь шла исключительно о немъ.

— Вы прочтете. Нельзя иначе,—отвѣтилъ онъ враждебно.

— О, какъ вы хотите! Мнѣ казалось, что такъ легче... Не подумайте, чтобы я боялась. Ну, дайте мнѣ ее въ такомъ случаѣ!

Анна потянулась къ тетради. Строевъ поспѣшно отстранился, точно ему жаль было разстаться такъ скоро.

„Странное свиданіе!“—думала дѣвушка. Сердце глухо колотилось въ ея груди. Голова работала такъ напряженно, что въ ней чувствовался легкій жаръ. Анна любила это ощущеніе—своеобразное, холодное волненіе. Всѣ ли способны его испытывать? Не можетъ быть, чтобы всѣ! Это не настоящая жизнь—настоящая заставляетъ просто терзаться или блаженствовать, какъ терзается Строевъ, какъ блаженствуетъ Маня.

— Вы недовольны мной?—спросилъ Строевъ тревожно, придвигаясь къ ней ближе.

Немудрено! люди иначе объясняются въ любви—не такъ просятъ женщину себѣ въ жены. Онъ боится—да, боится говорить о любви: не можетъ,—не въ правѣ дать волю своему чувству. Когда она вернетъ ему его исповѣдь и хоть молча протанетъ ему свою руку... Не нужно словъ—онъ пойметъ и такъ!

пойметъ съ перваго взгляда—тогда-то любовь его вырвется изъ плѣна! Онъ никого еще не любилъ—никогда! никого! вѣрить ли она ему? У него никого нѣтъ въ цѣломъ мирѣ—она одна!

Плѣнница грозила вырваться на волю теперь же. Рововая тетрадь упала на землю—Строевъ не замѣтилъ этого. Новый, не его голосъ вырвался откуда-то изъ глубины и зазвенѣлъ въ ушахъ Анны знакомыми, страстными звуками. Сердце ея забилось быстрее, голова слегка закружилась. Наконецъ преграда разбита! Бурный потокъ долго сдерживаемаго, выстрадааннаго чувства увлечетъ ее за собою и заставитъ почувствовать то счастье, которое она мечтала найти въ немъ.

Строевъ сорвался со скамейки и отошелъ отъ нея на нѣсколько шаговъ.

Анна нагнулась и подняла съ земли тетрадь. Чтѣ въ ней?? Не можетъ быть, чтобы эта борьба не имѣла серьезной причины. Такъ люди не терзаются добровольно! Она недаромъ отказывалась такъ упорно: здѣсь тайна. Конечно, не радостная... не легкая. Эта она инстинктивно оберегала свою симпатію къ нему отъ испытанія, быть можетъ непосильнаго.

Анна въ тяжеломъ раздумьѣ смотрѣла на зеленую обложку. Конечно. Она уже не можетъ выпустить ее изъ рукъ, не дочитавъ до конца. Ей не уйти отъ всего, чтѣ здѣсь скрыто. Онъ недаромъ боится—о, конечно, не даромъ!

Строевъ вернулся и сейчасъ же заговорилъ, бросивъ бѣглый взглядъ на тетрадь въ ея рукахъ:

Позволить она ему еще нѣсколько словъ? Его мужество она оцѣнить—но и онъ не врагъ себѣ: онъ не можетъ оставить ее подъ впечатлѣніемъ сомнѣній и унынія. Молодости не вернешь, прошлаго не измѣнишь—но его можно искупить! Нѣтъ, это не такое безотрадное слово, какъ ей кажется (въ полутьмѣ онъ различалъ только ея низко склоненную голову): отереть въ собственномъ сердцѣ источникъ непочтой любви—это счастье! Сбросить съ души тяжелое бремя гордыни—это все равно, что родиться снова на свѣтъ Божій! Какъ онъ былъ несчастенъ! свергнутый внезапно съ вершинъ самодовольства, уничтоженный... раздавленный! Развѣ это можно простить?? возможно ли примириться съ людьми—встрѣтить чей-нибудь взоръ безъ вражды??

Но жить ненавистью нельзя. Къ чему примѣнить ее, если некому мстить? Онъ былъ живымъ мертвецомъ. Онъ не могъ простить. Чтѣ спасло его—она прочтетъ въ этой тетради. *Правый* думалъ только о смерти—*виновный* воскресъ для новой жизни. Въ сущности, это совсѣмъ просто: онъ простилъ себѣ, и тогда

долженъ былъ простить и другимъ. Ей неясно это? Нѣтъ, конечно, нѣтъ!

Анна жадно слушала съ стѣсненнымъ сердцемъ.

— Для меня все измѣнилось!—говорилъ Строевъ съ возрастающимъ волненіемъ:—я не вижу больше ни дурныхъ, ни виноватыхъ людей—вижу только тотъ ложный путь, которымъ они идутъ, сбивая съ ногъ, давя другъ друга... Кто выстрадалъ свое пониманіе, какъ я, не обязанъ ли нести его на служеніе всѣмъ?! Тотъ, кто можетъ удержать на краю бездны, сказать: я былъ на днѣ ея,—развѣ тотъ имѣетъ нравственное право пренесречь и не сдѣлать этого?! Это цѣль, достойная жизни—достойная васъ, Анна! Истина не дается легко, она никому не явится готовая—ее выработаютъ только дружныя усилія всѣхъ, рѣшившихся посвятить свои силы на поиски. Но прежде должно быть расчищено мѣсто; прежде надо безжалостно, неустанно разоблачать жизнь отъ прикрасъ, которыми она насъ ослѣпляетъ, заставляя приносить въ жертву живую душу. И это сдѣлаютъ не теоретики, избравшіе благое, не блаженные мужи, не ходившіе на совѣтъ нечестивыхъ—нѣтъ, это могутъ сдѣлать только грѣшники, только заблуждавшіеся, погибшіе, кровью сердца своего заплатившіе за свое прозрѣніе! Величайшій изъ апостоловъ былъ прежде великій грѣшникъ Савль.

Анна поднялась со скамейки и слушала пораженная, стоя съ нимъ рядомъ.

— Вы изумлены?—спросилъ Строевъ:—вамъ трудно представить себѣ меня проповѣдникомъ? Я когда-то сочинялъ искусныя доклады и произносилъ гладкія рѣчи—попробую примѣнить старое умѣнье къ новому дѣлу. Какъ видите, я кое-что уже обдумалъ; я не всѣмъ безъ почвы подъ ногами, когда рѣшаюсь звать васъ за собою. Да! это чудо, и его совершили вы—вамъ по праву принадлежитъ дѣло рукъ вашихъ.

Анна подняла руки и взялась ими за голову. Вотъ онъ, потокъ, который долженъ увлечь ее за собой! но не потокъ страстного чувства, какого она ждала: это существеннѣе, это глубже и жизненнѣе любви его къ ней. Цѣлый міръ, ей чуждый своею новизною, своею неясностью... И самъ Строевъ показался вдругъ всѣмъ чужимъ. Такимъ она не знала его,—она привыкла къ безвинному страдальцу, котораго она одна могла вознаградить. Она не понимала, о какой винѣ онъ говоритъ. Туманный смыслъ его рѣчей не находилъ отклика въ ея умѣ,—на нее дѣйствовалъ единственно горячій тонъ глубокаго увлеченія, звучавшій въ голосѣ. Онъ какъ будто выросъ, но въ то же время отодвинулся отъ нея.

Строевъ нетерпѣливо ждалъ отвѣта. Онъ проводилъ рукою по высокому лбу, стараясь успокоиться, удерживаясь съ трудомъ, чтобы не заговорить.

— Да, я поражена!—сказала наконецъ Анна тихо:—вы понимаете, что на такія рѣчи не можетъ быть готоваго отвѣта.

— Я жду отвѣта не на эти рѣчи. На очереди моя исповѣдь, отъ которой вы такъ долго отбѣкивались. Мнѣ, кажется, удалось наконецъ возбудить ваше любопытство?

Въ его словахъ зазвучала старая горечь. Таки не выдержалъ и занесся! Пора вернуться къ дѣйствительности...

Какъ-то само собой они тронулись по аллеѣ и дошли молча до ея конца. На лужайкѣ было гораздо свѣтлѣе. Невидимая луна серебрила уже верхушки деревьевъ; слабый свѣтъ ложился кое-гдѣ разрозненными мутными пятнами. Звѣзды проступали замѣтнѣе на небѣ.

— Прощайте,—остановилась Анна.

— До свиданья! Буду ждать его съ трепетомъ.

— Съ мѣньшимъ, однако, чѣмъ я думала! — неожиданно вспыхнула Анна:—ваше будущее не сосредоточивается всецѣло во мнѣ, какъ я имѣла наивность вообразить себѣ—у васъ есть готовая жизнь, прекрасная, возвышенная, гдѣ вы можете обойтись и безъ меня... Я счастлива за васъ!

Строевъ смотрѣлъ на нее съ ужасомъ: это впечатлѣніе его словъ??

— Развѣ нѣтъ? — улыбнулась ему дѣвушка:—развѣ вы не счастливы?

— Я счастливъ?! о, нѣтъ, нѣтъ! Счастливъ я не могу быть безъ васъ! Не считайте меня сильнѣе, чѣмъ я есть—не умаляйте моей любви, потому только, что я не смѣю дать себѣ воли!..

Анна уходила, кутаясь въ свой платокъ. Онъ смотрѣлъ, какъ она скользила по дорожкѣ неровной и спѣшной походкой взволнованнаго человѣка...

Она слѣшила, какъ будто Строевъ могъ вернуть ее. Ничего подобнаго она не ожидала, отправляясь на это свиданіе. Любовь отодвинулась на второй планъ: она еле-еле мелькала изъ-за того, что до сихъ поръ оставалось неяснымъ въ его личности, и что разомъ выросло теперь передъ нею во весь свой ростъ. Ея жертва (онъ первый произнесъ это слово!), какъ бы велика она ни была, не можетъ примирить его съ жизнью. Примиреніе совершилось помимо нея. Онъ любилъ ее—но развѣ для нея вопросъ былъ въ этомъ?! И Ожогинъ любить, и Заботинъ, и даже капитанъ Русовъ. Любовь этого человѣка представлялась чѣмъ-то изъ ряда вонъ: любить ее—или не жить! вотъ какъ оно представлялось

ей. Но это не такъ, и такъ не будетъ... Анну охватывалъ странный холодъ. Она не успѣла хорошенько разобраться: можетъ быть и она тоже способна увлечься съ нимъ вмѣстѣ — но это впереди; пока она не находила того мѣста, которое заранѣе отвела себѣ. Она была не то разочарована, не то испугана; но отъ ея прежняго настроенія человѣка, сознательно устраивающаго свою судьбу по извѣстному плану, не оставалось больше и слѣда.

Анна свернула на дорожку, примыкавшую къ рошцѣ, и вздрогнула отъ испуга: кто-то шелъ ей на-встрѣчу.

— Какая удивительная встрѣча! Ваша усталость прошла, Анна Владиміровна? или вы уже успѣли выспаться?

— Орестъ Павловичъ! вы пріѣхали сюда, чтобы подсматривать за мной?

— Совершенно вѣрно. Я достигъ своей цѣли!

И его голосъ прерывался отъ внутренней дрожи. Они стояли другъ передъ другомъ, какъ враги, сошедшіеся на узкой дорожкѣ.

— Съ чѣмъ васъ и поздравляю—но себя еще больше: по крайней мѣрѣ это будетъ вашъ послѣдній визитъ въ Залѣсье. За это я отвѣчаю вамъ!

— Я иду по вашимъ стопамъ! вы облеклись въ суровую роль блюстительницы нравовъ—вы не находили словъ для своего возмущенія и въ то же самое время назначаете ночныя свиданія! О, вотъ, когда я вижу, что зовется женскимъ лицемѣріемъ!

Орестъ Павловичъ ломалъ себѣ пальцы; слышно было, какъ они хрустѣли.

— Что же вы не отрицаете, не говорите, что я лгу?! Вы случайно встрѣтились со Строевымъ... по дорогѣ—въ липовой аллеѣ! вели мирную бесѣду... о книгѣ, которую вы держите въ рукахъ? или, можетъ быть, вы даже читали—при свѣтѣ луны!!

— Пустите меня пройти!

— Позвольте... вѣдь я не пріѣду больше въ Залѣсье, вы сказали? А что вы скажете, если вашему брату откроютъ глаза? если ваша интрига противъ меня получить самое очевидное объясненіе: нужно удалить свидѣтеля! Умные люди въ подобныхъ обстоятельствахъ переходятъ первые въ наступленіе.

— Вы рехнулись!

— Могъ бы—отъ бѣшенства! И мы всѣ смотрѣли на васъ, разиня ротъ! Что мудренаго: дѣвочка, самонадѣянная и смѣлая до дерзости, вполне предоставлена себѣ самой. Со мною вы шутите, Ожогива слегка поощряете (теперь все ясно!), а господина Строева нашли наконецъ достаточно интереснымъ, чтобы разграть съ нимъ настоящій романъ со всѣми операми: съ секрет-



ными поѣздками, ночными свиданіями... Впрочемъ, вы вѣдь даже жили у него во флигелѣ!

— Даже вамъ будетъ стыдно того, что вы говорите! Такъ и быть, я васъ избавлю: я выхожу замужъ за Строева. Вамъ остается поздравить меня.

Заботинъ такъ метнулся, что можно было подумать, что онъ бросится на Анну.

— Ложь!

— Какъ?

— Замужъ? вы? за этого маниака, полупомѣшаннаго, за помилваннаго преступника?!

— Что за низость!

— Нѣтъ-съ—низость смѣть посягать на васъ! Его приютили изъ великодушія—ему протанули руку, вы думаете многіе жаждутъ чести считаться друзьями г-на Строева?

— Я этой чести жаждала и добилась.

— Это рѣшено?

— Рѣшено,—выговорила Анна съ усиліемъ.

— Вы бы лучше въ рѣку кинулись, коли жизнь вамъ немила! — заговорилъ Заботинъ вдругъ ослабѣвшимъ голосомъ, въ которомъ слышалось неподдѣльное отчаяніе:—Вы умны—гдѣ вашъ умъ?! Вамъ нравится облагодѣтельствовать несчастнаго... Вы заблуждаетесь жестоко: его нельзя осчастливить! Эти „пострадавшіе“, какъ библейскія коровы, поглощаютъ семь счастливыхъ и останутся такими же тощими. Вы не знаете ни жизни, ни людей. Строевъ!—вѣдь это сатанинская гордость, повергнутая въ прахъ! Что такое жена для подобнаго характера?—вѣчный козелъ отпущенія: то существо, на которомъ будутъ разыскиваться всѣ недочеты! на нее будетъ изливаться вся горечь — потоки, моря, океаны желчи!! Ну, для васъ ли это, вамъ ли окунуться въ этомъ мракѣ?! развѣ такіе люди прощаютъ, примиряются? Развѣ можно утѣшить оскорбленнаго гордеца?!

Анна слушала. Зачѣмъ она слушала, а не уходила? Никто не мѣшалъ ей свернуть на траву и оставить Ореста Павловича оглашать пустой садъ своими смятенными восклицаніями. Анна безсознательно слушала.

— Допустимъ, что романическая исторія вскружила вамъ голову,—но вѣдь вы ужъ второй годъ ее смакуете! неужли еще вамъ не надобно?! Ну, все равно, надобсть очень скоро... А ему не надобсть *никогда*, понимаете ли вы это?? Я лечилъ одного старика, котораго двадцать лѣтъ тому назадъ выгнали со службы. „Несправедливо пострадалъ“—чортъ его знаетъ!—во всякомъ случаѣ за цѣлую жизнь онъ твердо увѣрилъ себя, что несправед-

ливо. Ну, такъ этотъ человѣкъ двадцать лѣтъ сряду всѣмъ и каждому разсказывалъ эту канитель, всегда съ одинаковымъ жаромъ. Онъ всю жизнь сочинялъ жалобы, докладныя записки, прошенія и подавалъ ихъ по всѣмъ инстанціямъ. На моихъ глазахъ онъ впалъ въ тихое помѣшательство. Это былъ человѣкъ неумный, въ которомъ гордости не было и помину. Строеву грозить помѣшательство горделивое; но прежде чѣмъ вы будете имѣть облегченіе запереть его въ сумасшедшій домъ, неизвѣстно—чего только вамъ не доведется испытать! Старичка обвиняли въ томъ, что онъ растратилъ какіе-то казенные гроши—а вѣдь этого великолѣпнаго администратора убійцей сдѣлали! Тутъ—тутъ, знаете, подумать страшно!

— Отъ судьбы не уйдешь...—проговорила строго Анна.

— Судьба?! ужъ не влюблены ли вы въ него? такъ неправда же! Я бы угадалъ это давно—почувствовалъ бы сердцемъ, которое мучается. Это физически невозможно наконецъ! Влюбляются только въ живое.

Орестъ Павловичъ потерялъ всякое чувство мѣры. Его всего ломало отъ ревнивой муки, при мысли, что Анна могла-таки рѣшиться на замужество безъ любви, а онъ не успѣлъ — не сумѣлъ довести ее до такой рѣшимости.

Анна не пыталась больше остановить потокъ его безумныхъ угрозъ и проклятій Строеву — она молча ушла отъ него, какъ могла скорѣе. Но Орестъ Павловичъ до конца шелъ за нею, продолжая взывать къ ея благоразумію, къ ея самолюбію. Онъ хватался за все, что мелькало въ смятенномъ умѣ, безъ выбора, безъ всякаго удержу, выражаясь тѣмъ грубымъ языкомъ, какимъ говорилъ онъ въ минуты сильныхъ волненій, — въ тѣ минуты, когда каждый бываетъ только самимъ собой.

Захлопнувъ передъ нимъ дверь павильона, дѣвушка въ совершенномъ изнеможеніи опустилась на круглый диванчикъ. Она вся дрожала. Слезы оскорбленія и стыда стояли въ горлѣ, но она напрасно силилась вызвать ихъ на горѣвшіе глаза. За что—за что все это?!

Вотъ что они зовутъ любовью!.. Анну вдругъ охватила мучительная жалость къ себѣ самой. Что ждетъ ее и въ самомъ дѣлѣ?? Къ какому темному будущему она стремится такъ упорно, пренебрегая голосомъ собственнаго сердца, которое отказывалось участвовать въ томъ, на что она рѣшалась?

— Я не люблю его...—прошептала Анна со страхомъ, и слезы хлынули наконецъ изъ ея глазъ.

Ольга Шапиръ.



# РОССІЯ И АМЕРИКА

НА

## ХЛѢБНОМЪ РЫНКѢ \*)

Послѣ того, какъ въ шестидесятыхъ гг. Россію посѣтило специальное посольство изъ Соединенныхъ Штатовъ, въ нашемъ языкѣ упрочился терминъ: „заатлантическіе друзья“, и вошло въ привычку сравнивать положеніе Россіи съ огромнымъ американскимъ государствомъ. Изъ этого сравненія дѣлаютъ нерѣдко выводы, благопріятные для насъ и невыгодные для Европы. Въ другихъ случаяхъ, отмѣчая сходства въ условіяхъ вѣтшной природы, въ изобиліи незанятыхъ земель и рѣдкости населенія, — говорятъ о многихъ слабыхъ сторонахъ нашей общественной жизни, препятствующихъ намъ идти такъ быстро впередъ, какъ предприимчивые янки. Наконецъ, за послѣдніе годы усердно обсуждается вопросъ о причинахъ, вслѣдствіе которыхъ Америка является столь опасной для насъ соперницей на международномъ хлѣбномъ рынкѣ. Служатъ ли такими причинами особенности климата и почвы, складъ земледѣльческой техники, устройство путей сообщенія, дешевизна перевозки или, быть можетъ, всё эти условія, вмѣстѣ вѣтмы, съ присоединеніемъ къ нимъ и разныхъ особенностей политической жизни страны? Въ настоящемъ очеркѣ мы постараемся отвѣтить на эти вопросы.

\*) Материалами для экономического очерка Соединенныхъ Штатовъ служили: Compendium of the Tenth Census of the United States 1881. Reports of the Commissioner of Agriculture for 1885—86, 1887. Special Reports of the Department of Agriculture for 1887.—*Ratzel*, Die Vereinigten Staaten von Nordamerika, 1880.—*Schring*, Die Landwirthschaftliche Concurrenz Nordamericaa, 1887.

## I.

Сѣверная Америка имѣетъ климатъ континентальный, гораздо болѣе суровый, чѣмъ климатъ западной Европы, частью даже Россіи. Суровость тѣмъ болѣе увеличивается, чѣмъ далѣе подвигаемся мы отъ востока на западъ: западная часть материка гораздо болѣе открыта для сѣверныхъ вѣтровъ. Но если сравнимъ даже восточную часть Союза съ Россіей, то получимъ выводъ, благоприятный для нашего отечества; изотерма 0° начинается въ восточныхъ штатахъ подъ 60° сѣв. широты и опускается въ западныхъ къ 50°; въ Россіи же эту среднюю годовую температуру имѣетъ Мезенская губа (подъ 66° сѣв. широты), Печорскій край и крайній сѣверъ пермской губерніи. Самая Пермь, сѣверъ вологодской губерніи и Соловецкій монастырь (подъ 65° сѣв. шир.) имѣютъ уже годовую температуру въ 1°. Среднюю годовую температуру въ 6° имѣетъ у насъ Кіевъ, лежащій подъ 50 град. сѣвер. широты, а въ Соединенныхъ Штатахъ Галифаксъ—подъ 44°. Суровыя зимы не рѣдкость. Въ 1874-75 г. въ Дакотѣ (45° сѣв. шир.) были потреблены всѣ запасы сѣна, и цѣна его дошла до 1½ рубл. за пудъ. Отъ снѣжныхъ заносовъ каждую зиму гибнетъ много скота. Періоды, въ теченіе которыхъ рѣки остаются подъ льдомъ, также позволяютъ намъ сдѣлать выводъ, благоприятный для Европейской Россіи. Волга въ Астрахани и Днѣпръ въ Кременчугѣ (46—49° сѣв. шир.) остаются подъ льдомъ 3 мѣсяца. По наблюденіямъ за 40 лѣтъ, р. Гудзонъ при Альбани (43° сѣв. шир.) была подо льдомъ въ среднемъ 89 дней ежегодно. Волга въ Саратовѣ и Днѣпръ въ Могилевѣ (54° сѣв. шир.) замерзаютъ на 4 мѣсяца, а Миссиссипи между городами С.-Луи и С.-Полеми (отъ 38° до 46° сѣв. шир.) остается подъ льдомъ 4—5 мѣсяцевъ. Это же доказывается и явленіями изъ растительнаго царства: у насъ границей дуба считается Ростовъ ярославской губ. (57,5° сѣв. шир.), а на границѣ Соединенныхъ Штатовъ съ Канадой въ Манитобѣ (52,25°) дубъ не превышаетъ размѣровъ кустарника. Поэтому едва ли вѣрно заключеніе проф. Ю. Э. Янсона, будто „продолжительныя и холодныя русскія зимы не имѣютъ подобныхъ себѣ ни на западѣ Европы, ни въ Соединенныхъ Штатахъ“<sup>1)</sup>. Количество выпадающей влаги распределяется по американскому матеріку очень неравномѣрно. На востокѣ отъ 100° меридіана оно составляетъ отъ 90 до 150 сантиметр.; къ западу

<sup>1)</sup> Сравнительная Статистика, I, 14.

же отъ этой границы оно понижается и доходить въ такъ-называемой степной полосѣ до 20—25 сантиметровъ. Здѣсь воздухъ такъ сухъ, что даже утренняя роса является большимъ исключеніемъ. Въ такихъ мѣстностяхъ правильное земледѣліе невозможно. Въ общемъ, по количеству атмосферныхъ осадковъ, Россія поставлена менѣе благоприятно: наши житницы, Малороссія и Новороссія, съ 30—60 сантиметр. въ годъ, чаще страдаютъ отъ засухи, чѣмъ плодороднѣйшія мѣста Америки—Мичиганъ, Иллинойсъ, Индіана, которыя имѣютъ 100—110 сантиметровъ.

Почва и растительная жизнь представляютъ на пространствѣ всего союза большое разнообразіе: южные штаты имѣютъ южную растительность и частью даже вѣчную зелень: здѣсь растутъ магноліи, лавровыя деревья и пальмы; отъ 43° сѣв. широты начинается полоса буковъ и дубовъ, которая постепенно переходитъ въ область преобладающихъ хвойныхъ лѣсовъ. За этимъ простирается полоса такъ-называемыхъ прерій, плодородной равнины, безлѣсной, но покрытой роскошной травяной растительностью. Но съ 98°, а мѣстами съ 100°, на западъ начинается полоса степей. Восточные и центральные штаты имѣютъ разнообразную почву отъ прекраснаго, замѣчательнаго своей производительностью, чернозема въ главномъ центрѣ пшеничнаго производства—въ Огайо, Иллинойсъ, Миссиссипи—на Редъ-Риверъ—до легкихъ суглинковъ и супесей, а въ обширной степной области до Сьерры-Невады тянутся огромныя, голыя площади солончаковъ, изрѣдко поросшія грубыми травами. Здѣсь возможна культура только на склонахъ горъ, перерѣзывающихъ степи. Климатическія и почвенныя условія дѣлаютъ въ Соединенныхъ Штатахъ непригодными для земледѣлія цѣлыя  $\frac{2}{3}$  территории.

И Европейская Россія представляетъ не меньшее разнообразіе поясовъ. Кавказъ и Крымъ даютъ намъ вполне южную растительность; черноземъ занимаетъ площадь въ 1 мил. кв. верстъ, приблизительно  $\frac{1}{5}$  всей территории; въ Бессарабіи, въ екатеринославской или саратовской губерніи онъ своими качествами можетъ смѣло выдержать сравненіе съ лучшими нивами Иллинойса; солончаки астраханскихъ или киргизскихъ степей могутъ быть поставлены въ параллель неплодной степной области Сѣверной Америки. У насъ нѣтъ такого широкаго простора для воздѣлыванія хлопка и маиса, какъ на равнинахъ Георгіи, Луизианы и Арканзаса; но область табаку, свекловицы, пшеницы и разныхъ другихъ цѣнныхъ растений считаетъ многіе десятки милліоновъ десятинъ. Прибавимъ къ этому, что въ Европейской Россіи болѣе  $\frac{3}{4}$  площади годны для культуры, такъ какъ мало годными или

вовсе непригодными можно считать почти всю архангельскую губернію, значительныя части олонцекой, вологодской и солончаковыя степи на юго-востоѣ, приблизительно 20.000 кв. миль. Таковую картину представляетъ намъ только Европейская Россія; но остается еще Азіатская, которая современемъ выступитъ и на международный рынокъ. Азіатской Россіи мы вовсе не знаемъ; намъ извѣстно только, что многія мѣстности Сибири отличаются рѣдкимъ плодородіемъ: оно изумило академика Миддендорфа въ степяхъ барабинской, ишимской и кулундинской.

Въ дѣлѣ орошенія Соединенные Штаты поставлены гораздо болѣе благоприятно, чѣмъ Россія. Система огромныхъ озеръ врѣзывается въ глубь обширной территоріи и перекрещиваетъ Миссиссипи, которая, повидимому, отъ самой природы предназначена быть главнымъ торговымъ путемъ. Озера съ рѣками ставятъ въ услугамъ населенія множество водныхъ путей, а превосходныя гавани Атлантическаго и Великаго океановъ даютъ огромныя выгоды для развитія международныхъ торговыхъ сношеній. Соединенные Штаты относительной длиной береговой линіи превосходятъ Россію съ ея 1 верстой на 36 кв. версть суши, но уступаютъ Западной Европѣ въ 4 раза: это зависитъ отъ небольшого числа острововъ и полуострововъ. Берега же Соединенныхъ Штатовъ болѣе доступны, чѣмъ берега западной Европы. Географы насчитываютъ 72 отличныхъ гавани, изъ которыхъ 55 принадлежатъ Атлантическому океану. Гавани Нью-Йорка, Бостона, Галлифакса и другія должны быть отнесены къ лучшимъ въ свѣтѣ. Въ столь же невыгодномъ положеніи находятся и системы нашихъ рѣкъ; впаденіе нѣсколькихъ важнѣйшихъ рѣкъ въ закрытыя моря—Каспійское и Бѣлое—умалняетъ ихъ значеніе для народнаго хозяйства. Такимъ образомъ, большая доступность моря и большее удобство внутреннихъ водныхъ путей—вотъ преимущества, которыми обладаетъ Сѣверная Америка сравнительно съ Россіей.

На ряду со сходствомъ во многихъ условіяхъ внѣшней природы, между обѣими странами можно найти и другое сходство: неразсчетливое истребленіе естественныхъ богатствъ. Рѣдкое населеніе, стоя лицомъ къ лицу съ огромнымъ, повидимому, неисчерпаемымъ запасомъ матеріальныхъ богатствъ, не находитъ для себя нужнымъ беречь землю и другіе дары и пользуется ими вполнѣ экстензивно. Русскому читателю хорошо извѣстно, какъ у насъ истощается почва усиленной культурой зерновыхъ хлѣбовъ, лѣна, какъ вырубаются лѣса, уменьшается рыбное богатство и т. д. И всѣ эти явленія происходятъ не только въ Европейской Россіи, но и въ Сибири. Съ самаго ея завоеванія русскіе милліо-

нами уничтожали соболей. Уже во время Миллера было замѣтно уменьшеніе цѣнныхъ звѣрей: старожилы помнили, какъ при охотѣ артелями, на охотника приходилось 50—60 бобровъ и до 7 сороковъ соболей <sup>1)</sup>. Совершенно то же замѣчаемъ мы и въ Соединенныхъ Штатахъ. Рѣдкое населеніе и дешевизна земельныхъ участковъ заставляютъ вести экстензивное сельское хозяйство и отступать отъ него только въ старѣйшихъ штатахъ. Есть мѣстности столь плодородныя, напр. долина Вилламетты, что можно воздѣлывать пшеницу непрерывно въ теченіе 30—40 лѣтъ; однако хищническое хозяйство уже и здѣсь оставляетъ слѣды опустошенія. Въ южныхъ штатахъ цѣлыхъ 200 лѣтъ воздѣлывали усиленно табакъ, хлопокъ и маисъ и довели землю до того, что пустуютъ заброшенныя сотни тысячъ кв. верстъ; то же происходитъ и въ старѣйшихъ центральныхъ и западныхъ штатахъ: въ Огайо, напр., огромныя площади заброшенной земли покрыты только сорными травами и колючимъ кустарникомъ. На значительныхъ пространствахъ цѣна 1 акра земли, вслѣдствіе истощенія, упала, съ 100 на 30 долларовъ. Къ лѣсамъ американцы относятся съ полнымъ пренебреженіемъ: до послѣдняго времени не было лѣсоохранительнаго законодательства, и общественное мнѣніе не задавалось вопросомъ, въ какой мѣрѣ вредно неправильное истребленіе лѣсовъ. Въ массѣ вывозимаго лѣса очень крупная часть состоитъ изъ матеріаловъ, воровски вырубленныхъ въ казенныхъ дачахъ. Въ 1881-82 году площадь казенныхъ лѣсовъ, вырубленная такимъ образомъ, достигала 100.000 акровъ, а количество похищеннаго матеріала превышало 100 мил. куб. метровъ. Въ концѣ 70 гг. министръ внутреннихъ дѣлъ Шурцъ заявилъ, что чрезъ 20 лѣтъ въ Соединенныхъ Штатахъ площадь лѣсовъ будетъ ниже размѣровъ внутренняго потребленія. Лѣсохозяйственная политика обѣихъ странъ представляетъ намъ и другое сходство: у насъ безконтрольное хозяйство въ лѣсахъ частныхъ владѣльцевъ до послѣдняго времени и изданіе закона 4 апрѣля 1888 года, который создаетъ малочисленный персоналъ для надзора и вноситъ не много дѣйствительныхъ ограниченій, идутъ рука объ руку съ поощрительными мѣрами къ разведенію лѣсовъ, медалями, преміями, похвальными листами и т. п. Въ Америкѣ мы находимъ такое же противорѣчіе: никто не стѣсняетъ лѣсопромышленниковъ рубить, гдѣ и сколько хотятъ, и въ то же время примѣняется цѣлый рядъ мѣръ для облѣсенія прерій. Частныя лица и желѣзнодорожныя компаніи вознаграждаютъ преміями

<sup>1)</sup> См. *Доринцевъ*: Сибирь, какъ колонія, 1882, 227—85.

за насажденіе лѣса; во многихъ штатахъ изданы законы, охраняющіе искусственные лѣса, а штатъ Небраска даже освобождаетъ отъ налоговъ опредѣленный участокъ земли того владѣльца, который облѣсилъ хотя небольшую полоску. Такимъ образомъ, и русскимъ, и американцамъ хорошо знакомъ порядокъ: сберечь тысячи и потерять миллионы.

Параллельно съ неразсчетливымъ истребленіемъ естественныхъ богатствъ идетъ размноженіе вредныхъ насѣкомыхъ, которыя приносятъ земледѣльцу такіе крупные убытки. Какіе только враги этого рода не извѣстны намъ: и озимый червь, и хлѣбный пилльщикъ, и гессенская муха, и, особенно, хлѣбный жукъ, опустошившій въ 1880 году почти всѣ наши южныя губерніи и доведшій цѣну ржаной муки до 1 р. 80 коп. и болѣе за 1 пудъ. Эти же насѣкомыя получили печальную извѣстность и въ Соединенныхъ Штатахъ. О размѣрахъ причиняемаго вреда можно судить по тому, что, напр., въ одномъ Техасѣ, въ 1876 г., саранча истребила хлѣба на пространствѣ 72.000 кв. виллометровъ (7 мил. десятиновъ), а въ Канзасѣ уничтожила почти весь маисъ и оставила тысячи земледѣльцевъ безъ куска хлѣба.

Рѣдкостью населенія объясняется сходство между обѣими странами и относительно низкой цѣны земельныхъ участковъ. На западѣ отъ Миссиссипи казенныя земли могутъ быть покупаемы отъ  $1\frac{1}{4}$  до  $2\frac{1}{2}$  доллар. за 1 акръ; компаніи желѣзныхъ дорогъ въ этой мѣстности обыкновенно продаютъ по 5 доллар. за 1 акръ, что составляетъ отъ 5 до 20 серебряныхъ рублей за десятину или отъ  $7\frac{1}{2}$  до 30 кредитныхъ рублей. Чѣмъ дальше на востокъ, тѣмъ населеніе гуще и тѣмъ земли дороже: въ штатѣ Нью-Йоркѣ 1 десятина земли стоитъ приблизительно 150 доллар. = 180 сереб. рублей, а въ Нью-Джерсеѣ, имѣющемъ самыя высокія цѣны, 200 доллар. = 240 рублей; перевода на кредитные рубль, мы получимъ 270 для Нью-Йорка и 360 для Нью-Джерсея. Въ Россіи цѣны вообще нѣсколько ниже; но разница сглаживается гораздо большею цѣною денегъ въ нашемъ отечествѣ: черноземныя участки за Волгой и теперь еще продаются по 10—15 рубл. за десятину, а въ Сибири гораздо дешевле; высшую же цѣнность имѣютъ земли въ губерніяхъ курской, тульской, кіевской, полтавской, нѣкоторыхъ уѣздахъ черняговской, гдѣ она достигаетъ 180—200 рублей. Такъ какъ цѣна денегъ у насъ, по крайней мѣрѣ, вдвое выше, чѣмъ въ Соединенныхъ Штатахъ, то мы и получаемъ относительно этого пункта полное сходство, почти тождество.

Довольно распространено мнѣніе, будто Америка обязана многими своими хозяйственными успѣхами, и въ частности успѣ-



тами земледѣлія, такъ-называемому закону объ *усадебной осѣдлости* (homestead-law). Есть два ряда такихъ законовъ. По союзному закону объ усадебной осѣдлости (изд. 20-го мая 1860 г.), облегчающему пріобрѣтеніе земли, каждый американскій гражданинъ, достигшій 21 года, если желаетъ самъ воздѣлывать участокъ, имѣетъ право занять землю въ количествѣ 80 акровъ между площадями, уступленными компаніямъ желѣзныхъ дорогъ, или 160 акровъ въ другихъ мѣстахъ. За разрѣшеніе онъ платитъ только незначительную пошлину. Черезъ пять лѣтъ данное лицо или его наслѣдники имѣютъ право, опираясь на двухъ свидѣтелей, показать, что они все время воздѣлывали эту землю и не оставляли ея на срокъ долѣе 6 мѣсяцевъ. Требуется присяга, что ни одна частица этой земли не отчуждена, и что данное лицо готово повиноваться правительству Соединенныхъ Штатовъ. Тогда поселенцу выдается патентъ на право владѣнія этимъ участкомъ. Второй рядъ законовъ объ усадебной осѣдлости (homestead exemptionlaw) образуютъ тѣ законы отдельныхъ штатовъ, которыми известная часть имущества не можетъ быть продана за долги. Начало этимъ законамъ было положено въ Техасѣ еще въ концѣ 30-хъ гг.; другіе штаты послѣдовали доброму примѣру. По этимъ законамъ определенное количество движимаго имущества, домашней утвари, книгъ, орудій, не подлежитъ продажѣ за долги; тотъ же порядокъ распространяется и на домъ, надворныя постройки и тяготящій къ дому участокъ земли, площадью отъ 5 акровъ въ восточныхъ штатахъ и до 160—200—въ штатахъ рѣдко населеннаго Запада. Конечно, первый законъ облегчилъ переходъ земли въ частную собственность, а второй — охраняетъ хозяйство поселенина отъ конечнаго разоренія. Въ Россіи нѣтъ общаго закона, который могъ бы быть поставленъ параллельно съ первымъ, хотя известно, что переселенцы, разъ добравшись до Сибири, обыкновенно пріобрѣтаютъ тамъ землю довольно дешево. Чего-либо соотвѣтствующаго второму закону мы не имѣемъ. Такимъ образомъ, на сторонѣ Америки есть значительное преимущество. Но напрасно было бы думать, что второй законъ ограждаетъ мелкое хозяйство отъ разоренія и не открываетъ простора для развитія ростовщичества. Во-первыхъ, законы отдельныхъ штатовъ устанавливаютъ цѣлый рядъ изъятій: указанный минимумъ движимаго имущества и недвижимыя подлелятъ продажѣ для взысканія государственныхъ и мѣстныхъ налоговъ, на покрытіе тѣхъ долговъ, которые остались при покупкѣ данной осѣдлости; наконецъ, почти во всѣхъ штатахъ и это имущество можетъ служить залогомъ

по обезпеченію долговъ, и тогда нѣтъ препятствій для продажи его съ молотка. Пользованіе залоговымъ кредитомъ затрудняется только тѣмъ, что почти повсемѣстно женатый землевладѣлецъ долженъ документально представить согласіе жены на залогъ усадьбыной осѣлости въ обезпеченіе долга. Трудно рѣшить, насколько крупнымъ препятствіемъ задолжанію служить необходимость получить согласіе жены. Несомнѣнно одно, что тысячи банковъ открываютъ гипотечный кредитъ и что для развитія ростовщичества есть довольно широкое поле: банкиры и лавочники занимаются ростовщичествомъ въ различныхъ видахъ: гдѣ въ штатѣ высшій законный процентъ опредѣленъ въ 10—12 годовыхъ, тамъ кредиторы умѣютъ брать 20—24. Банкиры и торговцы землею ставятъ въ полную зависимость отъ себя многихъ землевладѣльцевъ: они щедро даютъ имъ въ долгъ и успѣваютъ обезпечить свои требованія залогомъ движимости или гипотеккой. Такимъ образомъ, и амергванецъ нерѣдко страдаетъ отъ ростовщиковъ.

До сихъ поръ мы находили много сходства между нашимъ отечествомъ и Соединенными Штатами. Познакомимся же и съ чертами различія.

## II.

Американцы не берегутъ естественныхъ богатствъ, но съ большою энергіей отыскиваютъ въ своей странѣ новые дары природы; только наличность новыхъ запасовъ можетъ дѣлать выгодною господствующую нынѣ экстензивную систему хозяйства. Заселеніе страны есть исторія безостановочнаго движенія съ востока на западъ. Съ тѣхъ поръ какъ первые поселенцы заняли въ XVII вѣкѣ восточныя окраины, движеніе это, то затихая, то усиливаясь, не остановилось и доннынѣ. Уже въ первые годы настоящаго вѣка потокъ переселенцевъ достигъ великихъ озеръ, а съ 30 гг. перешелъ въ полосу прерій по ту сторону Миссиссипи. Наконецъ, передъ переселенцами открылась и неблагоприятная область степей. Тамъ развились съ шестидесятыхъ гг. штаты Невада, Колорадо и территория Утахи; ограниченность мѣстностей, пригодныхъ для земледѣлія <sup>1)</sup>, изобиліе минераловъ вызвали образованіе городковъ съ развитіемъ горнаго дѣла, какъ исключительнаго занятія населенія. О размѣрахъ движенія можно судить по

<sup>1)</sup> Извѣстный знатокъ Америки, Ратцель, считаетъ въ территоріи, лежащей за 100° с. ш., только 1% земли, пригодной для сельскаго хозяйства, и то съ помощью искусственнаго орошенія. См. *Ratzel*, назв. соч. II, 94.

тому, что съ 1790 до 1880 совершилось заселеніе площади отъ Балтимора до Цинциннати въ 735 километровъ шириною и до 2.000 километровъ длиною. Еще болѣе ясное понятіе о размѣрахъ движенія можетъ дать увеличеніе площади земли, которая служить для цѣлей сельскаго хозяйства: въ 1850 г. эта площадь была немногимъ болѣе 93<sup>1</sup>/<sub>2</sub> милл. акровъ, а въ 1880 г. — 536 милл., т.-е. увеличилась слишкомъ въ 5<sup>1</sup>/<sub>2</sub> разъ. Увеличеніе массы производимой пшеницы даетъ еще одно доказательство того, насколько успѣшно эксплуатируютъ американцы свои естественныя богатства: съ 1850 до 1880 г. общая масса пшеницы увеличилась съ 100 на 459 милл. бушелей, отъ 4,3 до 9,2 на 1 душу населенія.

Европейскіе переселенцы были главными виновниками подчиненія культурѣ обширнаго американскаго материка: въ 30 гг. притокъ переселенцевъ не превышалъ 60.000 ежегодно, а въ текущее 10-лѣтіе онъ достигъ 500—600.000 въ годъ. Общее число переселенцевъ съ 1820 года достигаетъ 14 миллионѣвъ. Но внутреннія передвиженія шли наряду съ приливомъ изъ-за границы. Отдаленный западъ манилъ своимъ раздольемъ, своими невѣдомыми, но, какъ были убѣждены всѣ, неисчерпаемыми богатствами. Предпримчивый янки легко оставлялъ насиженное гнѣздо на востокѣ, вооружался топоромъ и ружьемъ, запрягалъ лошадь въ повозку, крытую холстомъ, усаживалъ жену и дѣтей и отправлялся, куда глаза глядятъ. Никто не спрашивалъ его, куда и зачѣмъ онъ бредетъ. Онъ садился тамъ, гдѣ нетронутая, дѣвственная земля обѣщала съ избыткомъ вознаграждать его трудъ. Такъ было въ концѣ прошлаго и въ началѣ нынѣшняго вѣка. Но развитіе машиннаго производства создало новыя благоприятныя условія для этого движенія: возникъ рабочій вопросъ, явилась неудовлетворенность фабричнаго работника его положеніемъ и многія социальныя задачи легко разрѣшались переселеніемъ на дальній западъ, гдѣ еще такъ много незанятой земли, гдѣ такъ легко стать изъ фабричнаго пролетарія свободнымъ землевладѣльцемъ. Связь между развитіемъ фабричнаго производства и передвиженіями американцевъ на западъ особенно рѣзко обнаруживалась въ кризисы 1837 г., 1857 и 1873-9 гг. Подавленное состояніе промышленности сдерживаетъ потокъ переселенцевъ изъ Европы, отнимаетъ у многихъ охоту попытаться счастья на чужбинѣ, но усиливаетъ внутреннія передвиженія. Такъ было, напр., въ 70-хъ гг. Цѣлыя толпы фермеровъ старѣйшихъ штатовъ продавали свое имущество. За этими группами двигались и другія: торговцы, ремесленники, инженеры собирали

остатки своихъ сбереженій и направлялись на западъ. Нью-Йоркъ былъ переполненъ агентами, которые старались распродавать земельные участки выселенцевъ. Каждую недѣлю изъ большихъ городовъ выходили цѣлыя колоніи. Размѣры этого движенія за послѣдніе годы такъ велики, что за 6 лѣтъ (1880—1885) союзное правительство роздало даромъ до 60 милліоновъ акровъ. Перепись 1880 года знакомитъ насъ съ подвижностью американцевъ. Въ восточныхъ штатахъ населеніе довольно постоянно: такъ напр., въ Нью-Йоркѣ или Пенсильваніи только 8,1%—8,4% всѣхъ жителей, захваченныхъ переписью, родились внѣ данныхъ штатовъ. Но чѣмъ далѣе подвигаемся на западъ, тѣмъ значительнѣе становятся пришлыя наслоенія: въ Дакотѣ, Колорадо, Аризонѣ болѣе 80% жителей, отмѣченныхъ переписью, родились внѣ предѣловъ данныхъ штатовъ. Подвижная, неугомонная натура янки, его изобрѣтательность, его готовность бросить одно, другое, десятое занятіе, чтобы въ новомъ мѣстѣ и съ помощью новаго промысла создать себѣ лучшую обстановку жизни, ведутъ къ разночленности переселяющихся группъ, которая позволяетъ новоселамъ и въ отдаленной пустынѣ обрзужить себя удобствами цивилизованной жизни. Земледѣлецъ оставляетъ старое пепелище; плотникъ, кузнецъ, слесарь, инженеръ, учитель, стѣсненные въ своей обстановкѣ, быстро и легко повидаютъ городъ и свое занятіе и направляются на пустынный западъ, чтобы извѣдать удачи въ земледѣльскомъ промыслѣ. Такимъ образомъ, и при поселеніи отдѣльными хуторами, на новыхъ мѣстахъ есть элементы, которые могутъ скоро положить начало городской жизни: есть кому учить дѣтей, есть кому изслѣдовать ископаемыя богатства, есть кому чинить земледѣльческія орудія и т. д.

Въ тѣсной связи съ быстрымъ расселеніемъ народа по территории стоитъ политива американцевъ относительно путей сообщенія. Въ концѣ прошлаго вѣва, даже первыхъ трехъ десятилѣтій настоящаго, грунтовыя дороги были крайне неудобны, а частью непроѣзды. Въ то время какъ Франція и Англія имѣли уже много шоссированныхъ путей, въ Америкѣ торговля страдала отъ дурныхъ дорогъ даже въ окрестностяхъ большихъ городовъ. И до сихъ поръ только густо-населенный востокъ имѣетъ хорошія грунтовыя дороги; на западѣ, особенно въ степной области, часто вовсе нѣтъ дорогъ, а направленіе ихъ укаывается слабо-отпечатлѣвающимися въ землѣ колеями. Нечего удивляться, что американцы не довели своихъ грунтовыхъ путей до совершенства французскихъ или швейцарскихъ: они работали въ этой области еще болѣе разумно и производительно посредствомъ улучшенія водныхъ

путей и сооруженія желѣзныхъ дорогъ. Такимъ образомъ, они старались въ каждую данную минуту взять отъ техники все новѣйшее и лучшее. Водныя сооруженія связаны съ именемъ министра финансовъ Галлатина, который въ 1808 году представилъ союзному совѣту подробный планъ системы каналовъ. Въ планѣ были обдуманно намѣчены какъ главныя, такъ и побочныя водныя линіи. Эти линіи должны были соединить главныя приморскіе торговые города: Нью-Йоркъ, Филадельфію, Балтимору и Миссиссипи съ системой озеръ. Къ работѣ было приступлено въ 20-хъ годахъ. О размѣрахъ затратъ на водные пути можно судить потому, что въ одномъ 1838 г. штатъ Нью-Йоркъ выдалъ на каналы до 38 милл. долларовъ. Въ 1880 г. каналовъ было 2.515 верстъ; сооруженіе ихъ стоило 170 милл. долларовъ. Съ проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ нѣкоторыя вѣтви водной системы утратили значеніе; но такіе каналы, какъ мичиганскій и илинойскій, имѣютъ и теперь большую важность для передвиженія грузовъ. И до сихъ поръ правительство относится съ такимъ вниманіемъ въ улучшенію водныхъ путей, что ежегодно затрачивается болѣе 1 милл. долларовъ только на то, чтобы разслѣдовать, какіе рѣки и каналы нуждаются въ улучшеніяхъ.

Въ концѣ 20-хъ гг. американцы познакомились съ желѣзными дорогами. Въ 1829 г. въ Нью-Джерсеѣ былъ пущенъ первый желѣзно-дорожный поѣздъ, и вскорѣ были оцѣнены выгоды, которыя могутъ быть доставлены новыми путями сообщенія. Къ сооруженію желѣзныхъ дорогъ американцы приступили съ энергіей, неизвѣстной въ другихъ странахъ, гдѣ даже выдающіеся умы (вспомнимъ, напримѣръ, Канерина и Тьера) долго не могли отрѣшиться отъ предрасудка, будто желѣзныя дороги способны быть только забавой, а не удовлетворять важнѣйшія нужды народнаго хозяйства. Энергической дѣятельности помогали и равнинность страны, возможность строить дороги дешево и неудовлетворительность грунтовыхъ дорогъ, и неспособность водныхъ путей отвѣтить на весь запросъ, который имъ ставило народное хозяйство. Уже въ 50-хъ гг. бывали случаи, что рѣчныя суда вытягивались линіями, верстъ на 8—10 въ длину, и цѣлыя недѣли ждали пропуска черезъ шлюзы. Къ тому же суровыя зимы не позволяли пользоваться рѣками и каналами въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ. И вотъ началась постройка желѣзныхъ дорогъ. Возникло множество компаній; штаты, графства и общины соперничали въ готовности поддерживать новыя предпріятія ссудами и гарантіями, лишь бы только сдѣлаться средоточіями желѣзныхъ путей. Полный произволъ господствовалъ въ выборѣ

направленія и въ способахъ сооруженія: власть не вмѣшивалась; хотѣли только скорѣе имѣть желѣзныя дороги. Наконецъ, и союзное правительство вышло изъ своего неподвижнаго состоянія и начало поощрять желѣзно-дорожное дѣло раздачей компаніямъ огромныхъ площадей земли вдоль проектированныхъ линій. Личная предприимчивость, встрѣчая такую могущественную поддержку со стороны государства, покрыла всю страну желѣзными путями: въ 1850 г. ихъ было всего 9021 миля, а къ 1888 г. — уже 150.710 англійскихъ миль, съ затраченнымъ въ нихъ капиталомъ болѣе 8 миллиардовъ долларовъ.

Желѣзно-дорожная политика Соединенныхъ Штатовъ имѣетъ, какъ извѣстно, многія темныя стороны, которыя подробно оцѣнены въ специальной литературѣ; съ общенародной точки зрѣнія, особенно крупной ошибкой является задача компаніямъ земель. При значительной густотѣ населенія и высокихъ цѣнахъ земельныхъ участковъ, эта задача будетъ для желѣзныхъ дорогъ источникомъ огромной монополіи, вредной для всего хозяйства. Но до сихъ поръ, благодаря рѣдкости населенія и малоцѣнности земли, такая политика не обнаружила невыгодныхъ сторонъ, а, напротивъ, произвела нѣкоторыя благоприятныя послѣдствія. Желѣзно-дорожныя компаніи были далеки отъ мысли вести на подаренныхъ участкахъ какое-либо хозяйство; распродать этотъ фондъ — вотъ цѣль, которую естественно было имѣть въ виду. Но, чтобы распродать выгодно, нужно было привлечь переселенцевъ, заманить ихъ и дешевизной участковъ, и удобствами передвиженія и, наконецъ, возможностью имѣть подъ рукою новые пути, уже ставшіе необходимыми принадлежностями цивилизованной жизни. Въ этомъ отношеніи компаніи оказали дѣлу заселенія страны крупныя услуги и даже были до извѣстной степени руководителями переселенцевъ: указаніе земель, пригодныхъ для водворенія, пониженный тарифъ для колонистовъ, облегченіе условій доставки сѣмянъ, продажа участковъ по дешевой цѣнѣ и разсрочка платежа на продолжительное время, устройство складовъ зерна на станціяхъ — вотъ условія, созданныя желѣзными дорогами. Несмотря на всѣ ошибки въ желѣзно-дорожной политикѣ, энергичное сооруженіе повело къ тому, что вся страна, за исключеніемъ дальняго запада, перерѣзана желѣзными путями. Сѣтъ мѣстами такъ густа, что, напримѣръ, въ штатахъ Иллинойсѣ, Индианѣ, Огайо на 1 версту желѣзныхъ дорогъ приходится площадь въ 10—11 кв. верстъ. 5—6 верстъ — вотъ разстояніе, которое въ этихъ штатахъ отдѣляетъ земледѣлецъ отъ желѣзно-дорожной станціи.

Вялое и неумѣлое пользованіе дарами природы — вотъ тотъ пунктъ, который прежде всего отличаетъ насъ отъ американцевъ. Наши предки, подвигаясь съ юго-запада на сѣверо-востокъ, пролагали себѣ путь черезъ дебри, выбирали мѣста для поселенія на берегахъ рѣкъ, въ лѣсахъ, которые не представляли особенныхъ трудностей для расчистки. Такимъ образомъ совершилось заселеніе значительной части Европейской Россіи. Со времени Судебниковъ и окончательно со времени закрѣпощенія крестьянъ процессъ этотъ былъ остановленъ. Крѣпостное право застало многочисленныя группы населенія въ мѣстахъ съ суровымъ климатомъ, съ болотистой или песчаной почвой и поставило серьезныя преграды отысканію лучшихъ условій быта. До настоящаго вѣка трудности передвиженія не имѣли особенно неблагоприятнаго вліянія на хозяйство: при рѣдкости населенія, обилии земли даже и въ срединныхъ губерніяхъ, при отсутствіи пограничныхъ линій между владѣніями помѣщиковъ и крѣпостныхъ, крестьяне всегда могли расчищать изъ-подъ лѣса новые клочки почвы; первобытные приемы земледѣлія еще не были имъ помѣхой въ веденіи хозяйства. Къ XIX вѣку, со сгущеніемъ населенія и стародавною культурою на насиженныхъ, истощенныхъ мѣстахъ, потребность въ передвиженіи на окраины становилась все болѣе настоятельной; помѣщичьи крестьяне не имѣли въ этому доступа, но была многочисленная группа крестьянъ государственныхъ, сохранившихъ личную свободу. Эта потребность нашла полное выраженіе въ законодательствѣ гр. Киселева. Еслибы идеи законодателя всегда воплощались въ жизни и передѣлывали ее, еслибы не было надобности ставить вопросъ о коллизіи между словомъ и дѣломъ, то можно было бы смѣло признать законодательство гр. Киселева вполне соответствующимъ важнѣйшимъ интересамъ земледѣльческихъ классовъ. Законъ предусматривалъ все: онъ зналъ, какія группы крестьянъ нуждаются въ переселеніяхъ и куда ихъ нужно переселять; онъ помнилъ, что и сѣрый русскій чело-вѣкъ испытываетъ вліяніе климата и не легко переноситъ рѣзкіе переходы изъ умѣренныхъ поясовъ на суровый сѣверъ; онъ не забывалъ, въ чемъ переселенецъ будетъ испытывать нужду на новомъ мѣстѣ. А потому законъ точно опредѣлялъ, какая густота населенія оправдываетъ выходъ колонистовъ и какая населенность новыхъ мѣстъ допускаетъ притокъ переселенцевъ; законъ предписывалъ, чтобы новыя мѣста, по климатическимъ условіямъ, соответствовали старымъ; онъ вмѣнялъ администраціи въ обязанность устраивать на мѣстахъ водворенія колодцы, заготовлять лѣсъ для усадебныхъ построекъ и т. д.; переселенцамъ обеща-

лись даже денежные пособія. Для водворенія указывались окраины Европейской Россіи—губерніи саратовская, самарская, астраханская, сѣверный Кавказъ, оренбургская и также рѣдко населенныя черноземныя губерніи: воронежская, тамбовская и харьковская. Казалось бы, въ 20-хъ гг. на-лицо были всѣ условія, способствующія равномерному расселенію людей по территоріи. Но законъ, какъ и многіе законы, не переходилъ въ жизнь въ той полнотѣ, которая предписывалась важностью дѣла; и здѣсь бюрократизмъ былъ крупнымъ тормазомъ, обусловившимъ примѣненіе закона только въ самыхъ тѣсныхъ предѣлахъ <sup>1)</sup>. Освобожденіе крестьянъ выдвинуло еще новыя условія, которыя часто дѣлали переселенія необходимыми: между землями помѣщика и его крѣпостныхъ была проведена рѣзкая пограничная черта, которая заключала крестьянское хозяйство въ строго-очерченные предѣлы. 3—4—5—6 десятинъ на ревизскую душу—вотъ тотъ кругъ, въ которомъ отнынѣ долженъ былъ вращаться крестьянинъ и удовлетворять всѣ свои нужды. Но это былъ нормальный надѣлъ. Во многихъ же мѣстахъ надѣлъ составлялъ низшую норму; въ иныхъ—это была 1 даровая десятина; въ третьихъ надѣлъ хоть и достигалъ высшаго размѣра—состоялъ изъ влочковъ съ бѣдной почвой, истощенной продолжительной культурой. Положеніе 19-го февраля не выработало общихъ правилъ о переселеніяхъ, а допустило только одиночныя увольненія крестьянъ изъ общества и при томъ съ соблюденіемъ многихъ обременительныхъ условій, касательно долговъ, недоимокъ, приѣмнаго приговора отъ того общества, куда переселялся крестьянинъ. Эти немногочисленныя группы—половники вологодской губерніи, горнозаводскіе мастеровые, въ случаѣ закрытія завода, крестьяне мелкопомѣстныхъ имѣній и нѣкоторые другіе составляли только небольшую часть крестьянства, нуждавшагося въ переселеніяхъ. Да и этой небольшой части не было оказано какого-либо существеннаго содѣйствія. Съ переустройствомъ быта государственныхъ крестьянъ въ 1866 г., и на нихъ были распространены единичныя правила Положенія 19-го февраля; въ то же время было прекращено назначеніе министерству государственныхъ имуществъ особыхъ кредитовъ на переселенія. Въ 1869 году выработали „Проектъ правилъ о переселенцахъ“. Предполагали создать общій законъ и отводить для переселенцевъ ежегодно по 100.000 десятинъ въ четырехъ губерніяхъ: самарской, астраханской, оренбургской и херсонской; но проектъ такъ и остался проектомъ. Въ 1868 г. былъ изданъ

<sup>1)</sup> *Заблуждѣній-Десятовова*. Графъ Киселевъ и его время, III томъ.



циркуляръ министра внутреннихъ дѣлъ, которымъ разрѣшалось переселиться на свободныя казенныя земли самарской и оренбургской губерній. Итакъ, было исписано множество бумаги, было высказано много благихъ пожеланій, но ничего не было сдѣлано. Ничего не было сдѣлано хотя бы для выясненія площади земель, которою государство располагаетъ въ Азїи; ничего не было сдѣлано, дабы составить сѣрую, неопытную массу въ извѣстность о тѣхъ путяхъ, по которымъ слѣдуетъ направляться потоку колонистовъ, и о тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ водвореніе всего болѣе благоприятно. Но потребность, не привитая извнѣ, а вызванная самой жизнью, настоятельно требовала удовлетворенія. Изъ среди государственныхъ крестьянъ переселенія совершались безостановочно даже и въ началѣ настоящаго вѣка; съ 1861 освобожденіе крѣпостныхъ должно было увеличить число переселенцевъ. Министерскій циркуляръ 1868 г., дошедшій черезъ губернскія и уѣздныя учрежденія по крестьянскимъ дѣламъ до волостныхъ и сельскихъ сходовъ, падалъ на благодарную почву: онъ не создавалъ потребности, но усиленно напоминалъ о ней; напоминалъ о ней даже тѣмъ крестьянскимъ группамъ, которыя не имѣли передъ глазами случаевъ удачныхъ переселеній, которыя еще не выдѣляли переселенцевъ изъ своей среды и вовсе не были знакомы съ приемами, могущими приводить въ завѣтной цѣли. Профессоръ Янсонъ говорить, что, по его соображеніямъ, „изъ 19 губерній заявили о желаніи переселиться отъ 20 до 30.000 душъ мужского пола“<sup>1)</sup>. Намъ неизвѣстны источники, откуда почерпнуты эти цифры; но, вспоминая, что многія прошенія не были принимаемы властями подъ влияніемъ циркуляра 4-го мая 1868 г., — циркуляра, который внушалъ мѣстной администраціи не допускать переселенія массама, — что данныя касаются только небольшой части 19 губерній, мы имѣемъ основаніе опредѣлить размѣры начавшагося движенія цифрой въ нѣсколько разъ болѣе крупной. За отсутствіемъ поддержки извнѣ, нужно было вести переселенія на началахъ самопомощи, которая и получила въ нашемъ крестьянствѣ опредѣленную организацію. Всѣмъ извѣстно, что вошло въ обычай отправленіе ходоковъ-развѣдчиковъ, которые собираютъ нужныя свѣденія о свободныхъ мѣстахъ, доставляютъ ихъ односельчанамъ и тѣмъ или побуждаютъ искать счастья на новомъ мѣстѣ, или же охлаждають ихъ пылъ. Крестьянство, по справедливому замѣчанію г. Григорьева, относится къ дѣлу переселеній съ большою осторожностью, всѣми силами старается раз-

<sup>1)</sup> „Русская Рѣчь“, 1880, I, 288.

сбѣять мракъ, который окружаетъ отдаленную, но заманчивую страну <sup>1)</sup>. Оно посылаетъ ходоками только такихъ людей, на которыхъ безусловно можно положиться, и взвѣшиваетъ каждое ихъ слово. Ходокъ, съ своей стороны, дѣлаетъ все для получения доступа въ большому земельному приволью. Но препятствія такъ велики, что многимъ переселенцамъ не удается ихъ побѣдить. Прежде всего, несовершенный способъ собранія свѣденій черезъ развѣдчиковъ: эти люди и опытны, и вѣрны поставленной цѣли, но часто бываютъ не въ силахъ достигнуть ея: попавъ въ какое-нибудь мѣсто томской губ., развѣдчикъ часто не имѣетъ средствъ, чтобы перенестись за 100—200 верстъ, и дѣлаетъ поспѣшное и ошибочное заключеніе о всемъ обширномъ краѣ на основаніи наблюденія небольшого пространства. Такъ напримѣръ, группа развѣдчиковъ с. Истобнаго, раненбургскаго уѣзда, увѣряла односельчанъ, что въ Сибири вся земля занята раскольниками: „только птицы быстрокрылыя, — говорили они, — могутъ разыскать въ Сибири хорошее мѣсто, если раньше не знать его“ <sup>2)</sup>. Часто неточныя свѣденія, доставляемыя развѣдчиками, удерживаютъ отъ переселеній тѣхъ, которые могли бы добраться до новаго мѣста и которые хотятъ этого по состоянію своего хозяйства. Другіе увлекаются полученными свѣденіями, продаютъ свое имущество, двигаются въ дальнюю сторону и испытываютъ полное разочарованіе. Третьи, наконецъ, отправляются въ дорогу съ очень малыми средствами, изнемогаютъ подъ бременемъ разнообразныхъ лишений, а если устраиваются, то покупаютъ это цѣною огромныхъ усилій. За послѣднія 10 лѣтъ въ текущей печати накопилось очень много данныхъ, указывающихъ на стихійность этихъ движеній, на полную безпомощность переселяющихся и на затрату силъ, которыя, конечно, заслуживаютъ лучшей доли. Такъ, напримѣръ, было съ одной группой переселенцевъ изъ рязанской губ.: они поднялись (1863 г.) въ числѣ 630 рев. душъ и двинулись въ ставропольскую губернію; тамъ устроились только челоуѣкъ 30, а остальные вернулись на родину и, нашедши свои надѣлы занятыми, имущество распроданнымъ, побрели врозь, куда глаза глядятъ <sup>3)</sup>. Такъ было 25 лѣтъ тому назадъ, когда еще не успѣла выработаться техническая сторона развѣдки земель черезъ ходокъ. Но вотъ передо мной лежитъ номеръ газеты отъ первыхъ чиселъ текущаго ноября съ корреспонденціей изъ Харькова; въ ней пишутъ, что черезъ городъ ежедневно

<sup>1)</sup> *Григорьевъ*: Переселенія крестьянъ рязанской губерніи, 1864, 76.

<sup>2)</sup> Тамъ же, 114.

<sup>3)</sup> Тамъ же, 28.

прѣзжаютъ обратные переселенцы, то небольшими группами, то — значительными. Всѣ они возвращаются изъ оренбургской и томской губ. на родину, въ губерніи екатеринославскую, полтавскую и харьковскую. На новыхъ мѣстахъ они купили землю недорого; но такъ какъ запасныхъ денегъ у нихъ вовсе не было, а въ первомъ году постигъ неурожай, то пришлось искать кредита у ростовщиковъ, которые и отобрали у нихъ землю за ссуду. Пришлось съ „вольныхъ земель“ возвратиться на старое пепелище <sup>1)</sup>. Всѣ эти свѣденія довольно отрывочны, чтобы строить на нихъ выводы. Но, по отчету переселенческой конторы въ Батракахъ за 1881-5 гг., впередъ прошло 52.213, а назадъ — 1760 —  $3\frac{1}{2}\%$ . Если даже эти цифры точны, и тогда процентъ возвращающихся великъ: порвавъ всѣ связи на старомъ мѣстѣ и не устроившись на новомъ, эти  $3\frac{1}{2}\%$  образуютъ тотъ пролетаріатъ, который имѣетъ очень мало данныхъ для прочнаго улучшения своего быта. Оффиціальныя данныя всего лучше показываютъ, съ какими чрезвычайными трудностями приходится бороться переселенцамъ. Г. Чарушинъ, завѣдующій переселенческимъ дѣломъ въ западной Сибири, въ своемъ отчетѣ за 1887 годъ, говоритъ, что число обратныхъ переселенцевъ уменьшилось, и небольшія мѣры содѣйствія, которыя принимаетъ правительство, приносятъ значительную пользу. Однако свѣденія, сообщаемыя отчетомъ объ имущественной состоятельности прибывшихъ въ Томскъ, не подають большой надежды, что переселенцы скоро и легко устроятся. Изъ 780 семей, по прибытіи въ Томскъ, только 71 имѣли отъ 150 до 2.000 руб. денегъ; 84 — имѣли отъ 75 до 150. Вся же остальная масса, въ количествѣ 625 семей, или 80%, имѣли меньше 75 рублей, т.-е. не имѣли средствъ, чтобы обзавестись хозяйствомъ на новыхъ мѣстахъ, и 304 семьи, или 39%, не имѣли даже средствъ для дальнѣйшаго продолженія пути. Въ виду такого факта не слѣдуетъ говорить объ уменьшеніи числа обратныхъ. А переселенческая контора въ Батракахъ передаетъ фактъ, приводящій внимательнаго читателя въ глубокое смущеніе: матеріальная помощь, которую эта контора оказываетъ переселенцамъ, выражается, главнымъ образомъ, въ снабженіи на льготныхъ условіяхъ билетами для прѣзда на пароходахъ и по желѣзнымъ дорогамъ; но обратные переселенцы нерѣдко находятъ болѣе выгоднымъ ѣхать грунтовыми путями, ради возможности прокормиться христовымъ именемъ. Это краткое сообщеніе сразу развертываетъ передъ читателемъ яркую картину лишений,

<sup>1)</sup> „Русс. Вѣдом.“ 1888, 317.

которые выпадаютъ на долю очень многихъ: связи на старомъ мѣстѣ порваны, на новомъ—гнѣздо не свито, здоровье разстроено непосильнымъ трудомъ, и только милостыня позволяетъ кое-какъ добраться на родину, гдѣ, быть можетъ, найдется поддержка со стороны сосѣдей. Таково положеніе возвращающихся на родину; но и идущіе впередъ часто поставлены не многимъ лучше: г. Ядринцевъ слышалъ отъ сибирскихъ крестьянъ-старожиловъ, что переселенцы, не просящіе милостыни, составляютъ рѣдкое <sup>1)</sup> исключеніе. Но все это—данныя о переселенцахъ въ Сибирь, за три-девять земель. Я приведу фактъ, гораздо болѣе выдающійся и еще не попавшій въ печать. Одинъ крупный землевладелецъ константиноградскаго уѣзда полтавской губ. рѣшился продать нѣсколько тысячъ десятинъ земли. Служащій у него въ конторѣ изъ крестьянъ суражскаго уѣзда черниговской губерніи вызвался распространить извѣстіе объ этой продажѣ на своей родинѣ, гдѣ, говорилъ онъ, бѣдная почва и дурные урожаи склоняютъ многихъ къ переселенію „въ Полтавщину“. Пропаганда увѣнчалась полнымъ успѣхомъ: желающихъ переселиться явилось очень много, сторговались относительно 3.000 десятинъ и внесли продавцу задатокъ въ количествѣ 18.000 руб. Всѣхъ переселенцевъ было до 500 семей. Здѣсь были и богатые домохозяева, имѣвшіе 40—60 десятинъ собственной земли, но были и люди весьма бѣдные. Весною было распродано имущество, а въ первыхъ числахъ іюня 1886 года два табора, въ 200—300 повозокъ каждый, двинулись въ Полтавщину. Въ половинѣ августа я былъ свидѣтелемъ возвращенія почти всей этой массы на родину. Оказалось, что переселенцы попали въ мѣстность, которая рѣзко отличалась отъ родного края. Три тысячи купленныхъ десятинъ были дѣйствительно глубокимъ черноземомъ и тѣмъ выгодно отличались отъ суражскихъ супеси и песковъ; но весь урожай того года былъ уничтоженъ жучкомъ-кузьмой; къ этому врагу присоединился и другой—овражки, перебѣгающіе огромными массами изъ сосѣдней екатеринославской губерніи. Картина полей съ уничтоженными хлѣбами производила тягостное впечатлѣніе; но еще болѣе удручали переселенцевъ другія особенности новой мѣстности—крайнее безводье и безлѣсца сравнительно съ суражскимъ уѣздомъ, изобилующимъ лѣсомъ и водою. Передъ переселенцами возникали вопросы, какъ жить: мазанки дѣлать они не умѣли, а матеріала для деревянныхъ хатъ не было; ручьевъ и озеръ не было, и даже въ колодцахъ вода была очень глубоко. Новый, непривычный

<sup>1)</sup> Ядринцевъ: Сибирь, какъ колонія, 1882, 151.

характеръ мѣстности подѣйствовалъ на пришельцевъ самымъ удручающимъ образомъ; среди дѣтей началась диссентерія съ большою смертною; нѣкоторыя женщины сошли съ ума. Пробывъ на новомъ мѣстѣ съ мѣсяць, почти всѣ переселенцы, за исключеніемъ 10—12 семей, двинулись въ обратный путь. Контора владѣльца земли возвратила имъ задатокъ полностью, но дома они не нашли точки опоры: въ ихъ усадьбахъ сидѣли другіе. Тогда мировые судьи были завалены прошеніями о содѣйствіи имъ возвратитъ землю, усадебныя мѣста и другое имущество отъ сосѣдей, купившихъ все это у переселенцевъ. Мировые судьи, дѣйствуя частнымъ образомъ, путемъ совѣтовъ, склонили многихъ уступить переселенцамъ по своей цѣнѣ или съ небольшою надбавкой. Но, вырванные изъ своей колѣи и понесшіе крупныя потери, переселенцы, конечно, не скоро сьумѣютъ устроиться на родинѣ. Если возможны такія присворбныя по своимъ послѣдствіямъ ошибки при передвиженіи въ сосѣднюю губернію, то можно ли удивляться, что переселенцы въ Сибирь за много тысячъ верстъ несутъ огромныя потери, которыя ложатся врупной цифрой на все народное хозяйство. Мы имѣемъ многіе милліоны десятинъ свободной земли <sup>1)</sup>, и притомъ земли плодородной, имѣемъ милліоны семей, сидящихъ на бѣдныхъ песчаныхъ или глинистыхъ участкахъ, — семей, которыя жаждутъ переселиться; но мы ставимъ все это важное общегосударственное дѣло въ зависимость отъ энергіи отдѣльныхъ лицъ и даже ихъ счастливой звѣзды, которая, *авось*, приведетъ ихъ, куда слѣдуетъ и, *авось*, поможетъ устроиться на новомъ мѣстѣ. Чтѣ въ самомъ дѣлѣ создано для поддержанія переселенцевъ? Бараки въ Еватеринбургѣ и Тюмени, гдѣ переселенцы могутъ имѣть врачебную помощь и горячую пищу безвозмездно. Это создано благотворительностью. Государство устроило двѣ переселенческія конторы въ Батракахъ и Сызрани, которыя тоже даютъ даровой пріютъ, медицинскую помощь и указанія относительно свободныхъ земель. Но чтѣ значать эти указанія, если площадь земель въ Сибири рѣшительно не приведена въ извѣстность? Этими мѣрами и ограничивается все сдѣланное для успѣшнаго эксплуатированія нашихъ неисчерпаемыхъ естественныхъ богатствъ. Какъ же не сказать, что дѣлается непростительно, неприлично мало, что мы насильно

1) Ядринцевъ въ своей книгѣ: „Сибирь, какъ колонія“, опредѣляетъ площадь земель, пригодныхъ для культуры, въ 115.000 кв. миль, т.-е. 800 милл. десятинъ. На этой площади разсѣяно 8 милл. душъ, которымъ совершенно достаточно было бы 30—40 милл. десятинъ, для успѣшнаго веденія хозяйства.

удерживаемъ себя въ условіяхъ, которыя умалютъ производительность народнаго труда.

Разсмотрѣвъ обстановку, въ которой совершается передвиженіе русскихъ людей изъ худшихъ условій внѣшней природы въ лучшія, мы естественно переходимъ къ нашей политикѣ путей сообщенія. Въ Соединенныхъ Штатахъ эта политика тѣсно связана съ расселеніемъ гражданъ по территоріи; желѣзныя дороги играютъ въ этомъ движеніи выдающуюся роль. У насъ политика путей сообщенія не только не стоитъ въ связи съ переселеніями, но и вообще представляетъ очень много слабыхъ сторонъ. Прежде всего—водные пути. Водные пути находились и до сихъ поръ находятся въ крайнемъ пренебреженіи. По официальнымъ даннымъ, въ Россіи считается до 51.000 верстъ судоходныхъ и сплавныхъ рѣкъ и 683 версты каналовъ. Но это—бумажныя цифры; изъ всей водной сѣти значительная часть рѣшительно непригодна для судоходства, или же пригодна для него только въ весеннее и осеннее половодье, а также лѣтомъ, при очень обильныхъ дождяхъ. Всякій, слѣдящій за періодическою печатью, припомнитъ много данныхъ о безостановочномъ обмелѣніи нашихъ рѣкъ. Автору этихъ строкъ пришлось нынѣшнимъ лѣтомъ проѣхать на пароходѣ по Сожу изъ Гомеля до впаденія этой рѣки въ Днѣпръ, приблизительно 200 верстъ. Пароходъ шелъ медленно, наткнулся то на мели, то на огромные дубы и, конечно, совершилъ передвиженіе, вмѣсто 20 часовъ, почти въ полтора сутокъ. Къ удовольствію моему, я увидѣлъ недалеко отъ устья Сожа черпательную машину, которая вытаскивала со дна рѣки огромныя колоды (ихъ такъ много, что иногда на протяженіи 1 версты лежитъ 150—200 штукъ); я подумалъ, что въ недалекомъ будущемъ Сожь будетъ совсѣмъ прировненъ для судоходства. Оказалось, однако, что черпательная машина обязана каждое лѣто пройти только 10 верстъ. Итакъ, потребуется 20 лѣтъ для того, чтобы исправить рѣку въ ея главномъ теченіи. Узнавъ о такой необыкновенной быстротѣ въ исправленіи рѣкъ, подумаешь, что мы живемъ не въ вѣкъ газа и электричества, а въ каменный періодъ, когда человѣку нужно было цѣлыхъ три дня, чтобы срубить довольно большое дерево. Въ такомъ же положеніи, какъ Сожь, или въ еще худшемъ находятся и многія другія большія второстепенныя рѣки: Десна, Припеть, Березина, Сура, Ока. Но вотъ передъ нами Донъ: эта огромная рѣка, по которой изъ всей массы хлѣбныхъ грузовъ, доставляемыхъ въ Ростовъ (32 милл. пудъ), провозится 6 милл.—19%, судоходна только на протяженіи 100 верстъ отъ устья, т.-е. изъ всей

длины—1670 верстъ—только  $\frac{1}{17}$  имѣетъ значеніе для народнаго хозяйства. Но и на этихъ 100 верстахъ встрѣчается не мало перекатовъ, длиною до  $1\frac{1}{2}$  версты, которые крайне затрудняютъ судоходство. Невеселую картину представляетъ и нашъ главный водный путь—Волга. Среднее количество грузовъ, ежегодно отправляемыхъ со всѣхъ пристаней Волги и ея притоковъ, достигаетъ 88 милл. пудъ, а съ однѣхъ волжскихъ пристаней—болѣе 48 милл. А между тѣмъ судоходство по Волгѣ и системамъ каналовъ до Петербурга представляется затруднительнымъ вслѣдствіе быстрого обмелѣнія, наступающаго послѣ малоснѣжныхъ зимъ и въ малождливое лѣто. Особенно велики были препятствія для судоходства въ 1880 году. Но, независимо отъ отдѣльныхъ лѣтъ, общую картину трудностей для судоходства даетъ продолжительность пребыванія судовъ на пути во время навигаціи. Весь навигаціонный періодъ продолжается въ среднемъ до 7 мѣсяцевъ. Но только съ первымъ рейсомъ, который длится около  $1\frac{1}{2}$  мѣсяца (до половины мая), грузы передвигаются безъ затрудненія и достигаютъ изъ Самары Петербурга въ 55 дней; со вторымъ рейсомъ—отъ половины мая до половины юня—грузы остаются въ пути уже 69 дней, а осенью этотъ срокъ растягивается до 98 дней. Такимъ образомъ, огромная водная сѣть, охватывающая десятки губерній, вполне удобна для судоходства въ теченіе только какихъ-нибудь полутора мѣсяцевъ. Но, быть можетъ, наши каналы въ блестящемъ состояніи? Сошлемся для иллюстраціи на березинскую систему, которая была открыта еще въ 1805 году, но не окончена и до сихъ поръ. Само министерство путей сообщенія, основываясь на мѣстномъ изслѣдованіи этой системы, говоритъ: „Рѣки Березина, Эсса, Угла и Зап. Двина, обильныя корчами, подводными камнями и каменными грядами, остаются безъ малѣйшей расчистки; гидротехническія сооруженія всей системы пришли въ совершенную ветхость и разстройство; озера Манецъ и Плавю, служащія водохранилищами для всей системы, наполнились бузою и торфомъ, и накопляющаяся въ нихъ вода уходитъ въ сосѣднія болота чрезъ ветхую, „сергучевскую“ плотину; каналъ чапницкій закрытъ въ 1855 году, вслѣдствіе прорыва дамбы, и съ 1855 г. плоты *переваливаются чрезъ подпруды сей плотины, съ высоты отъ 3 до 5 футъ, съ большою опасностью*“<sup>1)</sup>. Говоря о водныхъ путяхъ, мы не можемъ пройти молчаніемъ неудовлетворительное состояніе нашихъ портовъ. И въ Либавѣ, и въ Севастополѣ, и

<sup>1)</sup> Рыбаковъ и Бьловъ: Наши пути сообщенія, 1882, 83.

въ Петербургѣ порты имѣютъ крупныя недостатки. Таганрогскому же порту г. Фодоровъ даетъ такую характеристику: „Наблюдателя поражаетъ ужасное состояніе порта, вмѣсто портового ковша, въ которомъ суда могли бы находить спокойное убѣжище, вамъ показываютъ грязную лужу, окруженную разрушающимися старыми дамбами. Въ иныхъ мѣстахъ дамбы размыты, и такъ-называемый ковшъ затягивается наноснымъ пескомъ. Деревянная облицовка дамбъ разрушена, и поддерживающія ее бревна торчатъ въ разныя стороны, напоминая, по мѣткому выраженію мѣстныхъ обывателей, испорченные старые зубы“ <sup>1)</sup>.

Не въ болѣе удовлетворительномъ состояніи находятся наши желѣзныя дороги. Уже давно г. Головачевъ <sup>2)</sup> сдѣлалъ обстоятельный обзоръ исторіи нашего желѣзно-дорожнаго дѣла и всѣхъ ошибокъ, которыя были совершены при сооруженіи желѣзныхъ путей: полное невниманіе къ потребностямъ народнаго хозяйства; предпочтеніе линій стратегическихъ путямъ эвономическимъ; проведеніе почти параллельныхъ линій, которыя легко могли бы быть замѣнены и, при нашей бѣдности, капиталами, должны были быть замѣнены одной магистральной линіей съ отроутками; чрезмѣрные расходы на постройку и непроизводительная затрата сотенъ казенныхъ милліоновъ; несвязанность всѣхъ путей въ одну систему и желѣзныхъ дорогъ съ водными сообщениями,—всѣ эти и многіе другіе менѣе крупныя недостатки были уже давно отмѣчены и оцѣнены какъ печатью, такъ и администраціей. Все это было до мельчайшихъ подробностей извѣстно еще въ половинѣ 70-хъ годовъ. Уже тогда былъ поставленъ на очередь вопросъ о сибирской дорогѣ, которая должна передвигать нуждающагося земледѣльца на дѣвственные равнины Сибири, но дѣло находится еще въ самомъ началѣ. Мало того, самая дѣятельность по постройкѣ значительно ослабѣла: къ 1858 году у насъ было всего 629 верстъ желѣзн. дорогъ; за 15-лѣтіе (1858—72) было построено 12.588, а за второе 15-лѣтіе (1873—87) было выстроено 12.059—на 4% меньше. Совершенно иную политику видимъ мы въ Соединенныхъ Штатахъ: движеніе, разъ начавшись, продолжалось съ усиленной быстротой: въ 1830 году было только 23 мили желѣзныхъ дорогъ; за первое 20-лѣтіе (1831—50) было построено 8.998 миль; за второе 20-лѣтіе (1851—70)—44.378, а за послѣднія 17 лѣтъ (1871—87)—97.311. Такимъ образомъ, за возроставшимъ сознаниемъ полезности

<sup>1)</sup> Фодоровъ: Хлѣбная торговля въ главнѣйшихъ русскихъ портахъ, 1868, 30.

<sup>2)</sup> Исторія желѣзно-дорожнаго дѣла въ Россіи, 1881.



желѣзныхъ дорогъ слѣдовало непосредственно усиленное сооруженіе, которое, при всѣхъ своихъ недостаткахъ, имѣло огромное вліяніе на ростъ народнаго богатства.

Ни медленность въ постройкѣ, ни затрата огромныхъ капиталовъ, далеко превышавшихъ размѣры, которые вызывались существомъ дѣла, ни многократныя изслѣдованія нашихъ желѣзныхъ дорогъ, ни тщательное изученіе порядковъ въ иноземныхъ государствахъ—ничто не обезпечиваетъ намъ полной пригодности нашей миниатюрной сѣти въ какихъ-нибудь 26.000 верстъ: подвижной составъ недостаточенъ; грузы залеживаются на станціяхъ, крытыхъ помѣщеній слишкомъ мало, а потому товары, боящіяся дождя, гниютъ въ ожиданіи очереди отправки и невозбранно расхищаются.

Отмѣтимъ, наконецъ, крайній недостатокъ въ подѣздныхъ путяхъ и чрезвычайную отдаленность отъ желѣзныхъ дорогъ многихъ производителей Европейской Россіи. На происходившемъ въ ноябрѣ 1888 г. въ Харьковѣ съѣздѣ горнопромышленниковъ указывали почти на полное отсутствіе подѣздныхъ путей въ донецкомъ каменно-угольномъ округѣ: изъ 60 рудниковъ только 10 имѣютъ подѣздныя желѣзныя дороги; за 1887 годъ изъ шахтъ было вывезено 140 милл. пудъ угля, и изъ нихъ больше половины—74 милл. были вывезены гужомъ. Многіе производители хлѣба и въ центральныхъ губерніяхъ находятся чрезвычайно далеко отъ желѣзной дороги. Въ Ростовѣ-на-Дону гужомъ привозится 9 милл. пудъ—около 30% всего количества. Къ орловско-грозской дорогѣ хлѣбъ привозится изъ пунктовъ, отстоящихъ на 110 верстъ, а къ орловско-витебской—даже изъ за 180 верстъ. Грунтовыя дороги, служащія подѣздными путями, не оставляютъ, повидимому, ничего желать. Осенью, по уральскому тракту, около Самары, возы проходятъ по 5—6 верстъ въ сутки; въ Самарѣ же, для подвова хлѣба съ рынка къ баржѣ обывновенные возы въ 25—30 пудъ раскладываютъ на 5 лошадей и т. п.

### III.

Различія въ условіяхъ расселенія по территоріи и въ политикѣ путей сообщенія уже создаютъ для обоихъ народовъ весьма несходную обстановку земледѣльческаго труда. Познакомимся же съ самымъ трудомъ и съ организаціей сбыта сельско-хозяйственныхъ продуктовъ.

Русскій и сѣвероамериканецъ, какъ мы указали, имѣютъ къ своимъ услугамъ дешевую землю. Къ дешевизнѣ земельныхъ участковъ приводить и почти равная ихъ производительность. Средній урожай пшеницы въ Соединенныхъ Штатахъ опредѣляется въ  $12\frac{1}{4}$  бушелей съ акра, съ колебаніями отъ 18 до  $18\frac{1}{2}$  бушелей въ Массачузетсѣ и Орегонѣ, до 10—11 въ Кентукки и Іовѣ. Этотъ средній урожай составитъ приблизительно 54 пудъ на 1 десятину. Онъ стоитъ гораздо ниже среднихъ урожаевъ западно-европейскихъ странъ, не только Англии съ ея урожаемъ въ 130 пудъ или Германіи—85, но даже Румыніи и Португаліи, которыя имѣютъ средніе урожаи въ 58 и 55 пудъ. Но онъ очень близко подходитъ къ урожаю въ Россіи. Проф. Лисонъ опредѣляетъ урожай въ 4 четверти съ 1 десятины, т. е. до 40 пудъ. Но эти цифры ниже дѣйствительныхъ. По свидѣніямъ министерства государственныхъ имуществъ за настоящій годъ, средній урожай озимой пшеницы въ южныхъ губерніяхъ былъ не ниже 8—10 четвертей; для яровой же онъ колебался въ предѣлахъ отъ 5 до 8 четвертей и, по показаніямъ мѣстныхъ обывателей, былъ для первой выше средняго, а для второй приближался къ среднему. Мы, такимъ образомъ, можемъ опредѣлить его среднюю высоту для всей полосы, производящей пшеницу, въ  $5-5\frac{1}{2}$  четвертей, 50—55 пудъ, что очень близко подходитъ къ урожаю въ Соединенныхъ Штатахъ.

Если урожайность стоитъ почти на одной и той же высотѣ, то естественно предположить, что и природа дѣлаетъ для обѣихъ странъ одно и то же, и человекъ, насколько онъ можетъ вліять на производительность почвы, дѣйствуетъ съ помощію однородныхъ приемовъ. И это предположеніе вполне соответствуетъ дѣйствительности; въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Сѣв. Америки почва отличается чрезвычайнымъ плодородіемъ: къ такимъ принадлежить, напр., долина Редъ-Ривера, впадающаго въ озеро Виннипегъ на границѣ Соединенныхъ Штатовъ съ Канадой; къ такимъ же принадлежать многія мѣстности въ штатахъ Индіанѣ, Иллинойсѣ, Огайо и другихъ. По сообщеніямъ мѣстныхъ сельскихъ хозяевъ, здѣсь можно воздѣлывать пшеницу 20—30 лѣтъ безъ всякаго удобренія и безъ истощенія почвы. Очень высокимъ считается урожай пшеницы до 32 бушелей съ акра, т. е. до 15 четвертей съ 1 десятины. Но развѣ не то же самое можно утверждать и о многихъ мѣстностяхъ пшеничной полосы Россіи? Въ прошедшемъ году, по официальнымъ даннымъ, которыя почти никогда не грѣшатъ въ такихъ случаяхъ преувеличеніями, урожай пшеницы по нѣкоторымъ уѣздамъ бессарабской губерніи

достигали 21—22 четвертей съ десятины, въ елисаветградскомъ, таганрогскомъ, землянскомъ, бобровскомъ уѣздахъ—18, миргородскомъ, епаторійскомъ—20 и т. д., а между тѣмъ многія изъ этихъ мѣстностей имѣютъ старинную культуру, усиленное пользованіе естественными богатствами почвы и очень слабое ея удобреніе или даже полное отсутствіе какихъ бы то ни было улучшеній. Въ послѣднемъ мы находимъ также много точекъ сближенія между нашимъ отечествомъ и Соединенными Штатами. Въ восточныхъ штатахъ, гдѣ уже довольно давно начали обнаруживаться признаки истощенія почвы вслѣдствіе усиленнаго воздѣлыванія пшеницы, сельское хозяйство стало на путь чрезвычайнаго разнообразія въ растеніяхъ и усерднаго пользованія удобрениями: травосѣяніе, картофель, молочное хозяйство, садоводство и огородничество, удобреніе фосфоритами, перуанскимъ гуано и т. п. проложили себѣ дорогу въ штаты Нью-Йоркъ, Пенсильванію, Нью-Джерсей и другіе. Интензивность хозяйства сдѣлала въ этихъ мѣстностяхъ такіе успѣхи, что, напр., изъ всего количества масла, производимаго въ странѣ, только на 2 штата—Нью-Йоркъ и Пенсильванію—падаютъ 24%; изъ всей массы добываемаго хмеля 83% производятся въ одномъ Нью-Йоркѣ. Напрасно было бы думать, что и въ нашемъ отечествѣ не совершается замѣтнаго перехода отъ трехполья къ болѣе интензивному хозяйству. Мы не будемъ указывать на всѣмъ извѣстныя хозяйства гг. Шаттлова, Путаты, Долинина-Иванскаго, Энгельгардта и другихъ. Сошлемся на улучшенія, которыя постепенно происходятъ даже среди заурядныхъ сельскихъ хозяевъ, далекихъ отъ мысли создавать образцовыя фермы. Укажемъ на травосѣяніе, получившее довольно большое распространеніе въ сѣверныхъ и сѣверо-западныхъ губерніяхъ; на развитіе молочнаго хозяйства въ довольно большихъ размѣрахъ; сошлемся на льноводство, которое за послѣдніе годы все болѣе развивается въ смоленской губерніи, на садоводство и огородничество, которыя достигаютъ довольно большого разнообразія въ воздѣлываемыхъ плодахъ и дѣлаютъ большіе успѣхи въ огромной полосѣ на югъ отъ Москвы. Заслуживаетъ также вниманія все большее примѣненіе искусственныхъ удобрений: съ легкой руки г. Энгельгардта и нѣкоторыхъ землевладѣльцевъ западнаго края фосфориты начали поступать въ хозяйство даже крестьянъ. Удобренія фосфоритной мукой примѣняются уже не въ видѣ опытовъ, а въ довольно широкихъ размѣрахъ: такъ, одинъ землевладѣлецъ костромской губ., г. Радцигъ, имѣющій только 450 десятинъ, ежегодно удобряетъ по 20 десятинъ пашни съ затратою по 1.000 пд. фосфоритной муки.

Эти мѣры подняли урожайность земли во многихъ сѣверныхъ губерніяхъ: въ ярославской губ., южныхъ уѣздахъ вологодской и востромской средніе урожан ржи на крестьянскихъ земляхъ составляютъ 8 четвертей, а на земляхъ среднихъ и крупныхъ владѣльцевъ 10—11. Въ этихъ же губерніяхъ удоилвость коровъ поднялась до высокаго по нашей русской мѣрѣ уровня въ 120—150 ведеръ въ годъ. Но, параллельно съ такими признаками движенія впередъ, мы находимъ во всѣхъ концахъ Россіи огромныя площади, гдѣ сельскіе хозяева относятся къ своей землѣ очень небрежно; въ Россіи черноземной и, особенно, южной удобрение земли примѣняется въ очень малыхъ размѣрахъ; это стоитъ въ связи съ крайнимъ расширеніемъ пашень, недостаткомъ луговъ и очень скуднымъ количествомъ скота: припомнимъ, что многіе уѣзды воронежской, курской, пензенской губерній имѣютъ болѣе 80% площади земли подъ полевыми угодьями. Но даже и тамъ, гдѣ довольно скота и гдѣ много навоза, имъ не пользуются въ достаточныхъ размѣрахъ и съ должнымъ умѣньемъ. Вотъ что говоритъ г. Шишкинъ о казанской губерніи. „Навозъ не цѣнится положительно ни во что; обыкновенная цѣна за вывозку въ поле навоза 5 коп. съ воза, не разбирая, чей навозъ—свой или хозяйскій. Изъ навоза строятъ плотины, имъ заваливаютъ овраги и рѣчки. Въ деревняхъ навозъ одолѣлъ; подгниютъ у построекъ столбы, подводятъ новые, причемъ по мѣрѣ того, какъ накапливается навозъ, и постройка дѣлается выше“<sup>1)</sup>. Въ Сибири борются съ навозомъ болѣе радикальными мѣрами: когда его накопилось слишкомъ много, деревни переселяется на новое мѣсто<sup>2)</sup>. Этимъ объясняется понижение урожайности и необходимость для населенія переходить къ воздѣлыванію менѣе цѣнныхъ хлѣбовъ—отъ пшеницы ко ржи; такой переходъ, и притомъ въ значительныхъ размѣрахъ, наблюденъ, напр., тамбовскими земскими статистиками. Рядъ совершенно однородныхъ явленій даютъ намъ и Соединенные Штаты. Населеніе штатовъ Огайо, Индіаны, Илинойса, въ общемъ плодородныхъ, жалуется, что производительность многихъ полей понизилась до 5—12 бушелей съ 1 акра, т. е. до 22—50 пд. на десятину. Въ сѣверо-западныхъ штатахъ Миннесотѣ и Дакотѣ навозное удобрение, не говоря уже объ искусственныхъ, почти вовсе не примѣняется; довольно суровый климатъ заставляетъ торопиться съ работами; земля пашется очень мелко. Одинъ по-

<sup>1)</sup> Сельск. хоз. и лѣсоводство, 1882, X, 106.

<sup>2)</sup> Ядринцевъ: Тамъ же 241.

вѣднѣйшій путешественникъ по этимъ штатамъ говоритъ, что поля заполнены сорными травами, и во многихъ мѣстахъ едва различаешь стебли пшеницы <sup>1)</sup>).

Это сравненіе заставляетъ насъ сдѣлать выводъ, что 1) земля, находящаяся въ Соединенныхъ Штатахъ подъ культурою, не превосходитъ нашей земли производительностью, и 2) что для поднятія урожайности принимаются различныя мѣры въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи и Америки, въ большинствѣ же мѣстъ ихъ вовсе не принимаютъ, и урожайность замѣтно понижается. Итакъ, не въ этихъ условіяхъ нужно искать причины, почему Америка является опаснымъ для насъ соперникомъ на международномъ хлѣбномъ рынкѣ.

#### IV.

Большинство русскихъ сельскихъ хозяевъ, сидя на небольшихъ частныхъ или общинныхъ надѣлахъ, работаютъ только силами своей семьи; масса американскихъ фермеровъ также не знаетъ наемныхъ рабочихъ. Но эти группы, не задавая тона на хлѣбномъ рынкѣ, должны прилаживаться къ настроенію, которое сообщаютъ ему крупныя и среднія сельскія хозяйства: они имѣютъ доступъ къ болѣе совершеннымъ приемамъ производства, понижающимъ издержки, а потому и побуждаютъ на рынкѣ. Уже нѣсколько поколѣній, со времени Мирабо-отца и Артура Юнга, ведутся въ литературѣ споры о выгодахъ крупнаго и мелкаго сельскаго хозяйства; хотя накопились цѣлыя бібліотеки сочиненій, доказывающихъ выгоду веденія нѣкоторыхъ отраслей сельскаго хозяйства въ малыхъ размѣрахъ, однако дѣйствительная жизнь разрушаетъ всѣ эти расчеты: крупное землевладѣніе побуждаетъ мелкое и уже фактомъ побѣды доказываетъ свою большую выгоду съ точки зрѣнія производства. Въ Сѣверной Америкѣ между 1870 и 1880 гг. размѣръ владѣній въ западныхъ штатахъ, гдѣ хозяйство наиболѣе выгодно, увеличился: въ Канзасѣ съ 148 на 155, въ Дакотѣ—съ 176 на 218, въ Вашингтонѣ—со 108 на 216 <sup>2)</sup>). Поэтому, въ связи съ поставленными вопросами, намъ болѣе важно ознакомиться съ состояніемъ крупныхъ и среднихъ хозяйствъ, чѣмъ съ положеніемъ мелкихъ.

Прежде всего—американскій рабочий. Подъ вліяніемъ кризиса 70-хъ и 80-хъ гг. заработная плата стоитъ теперь въ Соединен-

<sup>1)</sup> Schring: Назв. сов., стр. 432.

<sup>2)</sup> Tenth Census of the Unit. Stat.

ныхъ Штатахъ повсемѣстно ниже, чѣмъ въ концѣ 60-хъ, и раз-ница составляетъ 15—30%. Но и теперь американскіе сельскіе рабочіе поставлены такъ, что имъ могутъ позавидовать многіе изъ нашихъ мелкихъ чиновниковъ. Въ среднемъ американскій сельскій рабочій имѣетъ, на хозяйскихъ харчахъ, мѣсячную плату въ 12—25 долларовъ, а на своихъ харчахъ 19—38, т.-е., переводя на кредитные рубли по 2 за 1 долларъ, онъ получаетъ 24—50 рублей на хозяйскихъ харчахъ и 38—76 на своихъ. Годовая плата на своихъ харчахъ составляетъ 455—910 р.; она стоитъ на низшемъ уровнѣ въ густо-населенныхъ центральныхъ и восточныхъ штатахъ и поднимается до высшихъ размѣровъ въ штатахъ рѣдко населеннаго запада. Такую плату получаетъ работникъ, занятый въ теченіе цѣлаго года; во время же уборки хлѣбовъ или сѣна плата поднимается для рабочихъ на хозяйскихъ харчахъ до  $1\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{4}$  или, на своихъ харчахъ, до  $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$  долл. въ день, т.-е. до  $2\frac{1}{2}$ — $5\frac{1}{2}$  руб. Уже изъ этихъ цифръ можно сдѣлать заключеніе о стоимости и качествѣ содержанія работника: стоимость его пищи составляетъ 14—26 р. въ мѣсяцъ; кофе со сливками, жареная говядина, баранина и свинина, пироги—вотъ его обычная пища. Обыкновенно онъ обѣдаетъ и ужинаетъ вмѣстѣ съ хозяиномъ, за однимъ столомъ. Качеству пищи соответствуетъ и удобство жилыхъ помѣщеній. Благоустройство этихъ помѣщеній всего лучше доказывается тѣмъ, что котѣры, поселенные на отдѣльныхъ участкахъ фермы Белла, и обязанные исполнять всѣ работы, обставлены очень дурно, а между тѣмъ они живутъ въ одноэтажныхъ домахъ съ помѣщеніемъ изъ кухни, столовой и трехъ спальныхъ комнатъ! Итакъ, высокое жалованье, дорогая пища и обширное помѣщеніе—вотъ обстановка американскаго рабочаго. Могутъ ли быть болѣе благоприятныя условія для соперничества, если плата сельскимъ рабочимъ стоитъ у насъ на такомъ невозможно низкомъ уровнѣ? Среднюю годовую плату можно положить 35—80 р.; считая же стоимость харчей въ 4—6 р. ежемѣсячно, мы имѣемъ 85—150 р. Правда, поденная плата въ губерніяхъ новороссійскихъ достигаетъ въ иные года 2—3 р. Относительно жилыхъ помѣщеній для рабочихъ мы не позволяемъ себѣ чрезмѣрной роскоши: одна изба для мужчинъ, женщинъ и дѣтей, сѣнаголь — вотъ чѣмъ ограничиваются удобства домашняго обихода. Если оставить безъ вниманія одновременныя и текуція затраты на жилища рабочихъ, то окажется, что у насъ плата рабочимъ, нанимаемымъ помѣсячно или погодно, едва составляетъ 20% американской, а поденная въ южныхъ губерніяхъ подни-

яется до 50 и 60% дневной платы въ Сѣверной Америкѣ. Вотъ въ какой пропорціи имѣемъ мы, повидимому, благоприятныя условія для соперничества съ нашими заатлантическими друзьями. Но здѣсь-то и выступаетъ въ полномъ блескѣ огромная производительность американскихъ работниковъ. И матеріальныя условія труда, и его духовная обстановка имѣютъ благотворное вліяніе на производительность. Пища и помѣщеніе настолько хороши, что даютъ работнику все, требуемое гигиеной, а потому физической силой американецъ соперничаетъ съ лучшими работниками Европы—англичанами и голландцами. Къ этому присоединяется рядъ условій духовныхъ, которыя заставляютъ его напрягать свою силу до высшей степени. Въ восточныхъ штатахъ значительная густота населенія и принадлежность почти всей земли частнымъ владѣльцамъ затрудняютъ для работника пріобрѣтеніе самостоятельности. Но есть обширный и малонаселенный западъ. По ту сторону Миссиссипи работники всегда могутъ надѣяться пріобрѣсти ферму въ сотню акровъ и, накопивъ 500—600 долл., оставить работу по найму. Эта надежда, опирающаяся на экономическую возможность достигнуть самостоятельности, питается еще всей духовной атмосферой, которая окружаетъ американца съ юныхъ лѣтъ. Онъ проходитъ народную школу, пріобрѣтаетъ необходимыя начальныя свѣденія и уже въ 17—18 лѣтъ пускается въ правтическую жизнь. Если онъ не принадлежитъ къ семьѣ эмигрантовъ, которой еще нужно устроиваться на новомъ мѣстѣ, то предъ нимъ всегда есть примѣръ его родныхъ и знакомыхъ, которые, начиная отъ скромныхъ заработковъ, постепенно поднимались до высокаго общественнаго положенія въ торговлѣ, промышленности, вольныхъ профессіяхъ или государственной службѣ. Зная это, онъ привыкаетъ смотрѣть на первые доллары, добытые дневнымъ трудомъ, какъ на частицу крупнаго дохода отъ будущей собственной фермы или долю прибыли будущаго торговаго предпріятія, или, наконецъ, кусочекъ губернаторскаго и даже президентскаго жалованья, которое онъ будетъ получать чрезъ 25—30 лѣтъ. И это не пустое фанфаронство и праздная мечта: десятки, сотни тысячъ и миллионы примѣровъ доказываютъ, что, при среднихъ способностяхъ и достаточномъ трудолюбіи, американецъ можетъ если не сдѣлаться президентомъ или богачемъ, то на старости упрочить свое благосостояніе. И не только каждый американскій работникъ самъ такъ смотритъ на себя, но и всѣ окружающіе раздѣляютъ его воззрѣнія. Его наниматель говоритъ ему „sir“, въ бесѣдѣ не возвышаетъ голоса и часто обѣдаетъ за однимъ столомъ не только потому, чтобы имѣлъ осо-

бенную, незнаемую европейцамъ склонность къ вѣжливости или гуманности, но потому, что весь складъ американской жизни заставляетъ его видѣть въ каждомъ человѣкѣ временнаго работника, который, быть можетъ, чрезъ нѣсколько лѣтъ будетъ его сосѣдомъ по имѣнію. Это убѣжденіе въ связи съ увѣренностью, что личная предприимчивость творитъ чудеса, побуждаетъ американскаго работника къ чрезвычайному напряженію силы. На обширныхъ фермахъ западныхъ штатовъ, гдѣ работники получаютъ наивысшую плату, рабочій день начинается въ 5 часовъ утра; въ 5<sup>1</sup>/<sub>4</sub> весь рабочій персоналъ долженъ быть въ конюшняхъ для приготовленія лошадей; въ 6 часовъ завтракаютъ; въ 6<sup>3</sup>/<sub>4</sub> каждая лошадь уже должна быть выведена изъ стойла. Работа въ полѣ продолжается отъ 7 часовъ утра до 7 вечера, съ 2-хъ-часовымъ перерывомъ на обѣдъ. Мы получаемъ, такимъ образомъ, полный 10-ти-часовой рабочій день—не мало для страны съ благоприятными условіями въ улучшенію быта рабочихъ. О степени производительности труда можно судить по слѣдующимъ примѣрамъ. Компания, владѣющая фермой Белла, раздѣлила обрабатываемую площадь земли (изъ 56.000 акровъ въ 1885 г. обрабатывалось только 3.500) на прямоугольные треугольники по 213 акровъ въ каждомъ. Каждый участокъ имѣетъ хуторокъ, гдѣ живетъ 1 работникъ со своей семьей; онъ долженъ исполнять всѣ полевые работы одинъ и только во время сѣянія и уборки хлѣба получаетъ 2 помощниковъ. Такимъ образомъ, 1 человѣкъ и 2 его помощника управляютъ съ площадью, равной 75 десятинамъ. Приравнивая 2 помощниковъ цѣлой семьей, мы имѣемъ на 1 семью 37<sup>1</sup>/<sub>2</sub> десятинъ. Кн. Васильчиковъ для сѣверной Россіи, которая по климату походитъ на сѣверо-западные штаты Америки, опредѣляетъ 15 десятинами надѣлъ, занимающій всю рабочую силу семьи. Такимъ образомъ, американецъ работаетъ въ 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> раза болѣе производительно, чѣмъ русскій крестьянинъ. Но если онъ превосходитъ въ такой мѣрѣ нашего поселенина, который трудится, не покладаячи рукъ, то насколько же велика разница между нимъ и нашимъ сельскимъ рабочимъ? Мы ни на минуту не задумываемся признать эту разницу вдвое большею.

Значительная доля разницы должна быть приписана лучшему питанію и большей надеждѣ на личныя силы. Но, быть можетъ, главной причиной этого служить широкое распространеніе разнообразныхъ земледѣльческихъ машинъ. Нѣкоторое понятіе объ изобрѣтательности американцевъ въ этой отрасли можетъ дать тотъ фактъ, что со времени открытія управленія патентами въ 1790 и до 1880 г. было выдано на одни плуги 5.585 патен-



товъ; нѣтъ такой разновидности почвы, отъ самой тяжелой глины и до самаго сыпучаго песка, которая не имѣла бы специально приспособленнаго плуга. Изобрѣтателямъ сѣялокъ и поправителямъ разныхъ частностей въ этихъ машинахъ было выдано 2.314 патентовъ. Число патентовъ на жатвенныя машины достигаетъ 6.235. Словомъ, общее число патентовъ на машины или орудія по сельскому хозяйству достигаетъ 15.000. Въ 1880 году въ странѣ было 1.943 фабрики и мануфактуры, приготовлявшія земледѣльческія машины. Прочность и легкость — вотъ выдающіяся качества американскихъ машинъ; въ этомъ отношеніи онѣ не имѣютъ соперниковъ. Неутомимой изобрѣтательности и широкимъ размѣрамъ производства соответствуетъ и очень большой запросъ на машины со стороны крупныхъ и даже мелкихъ сельскихъ хозяйствъ. На большихъ фермахъ всегда можно найти огромные плуги, приводимые въ движеніе 4—5 лошадьми; сѣялки, запряженные паромъ, обсеваютъ 12 акровъ въ день; повсюду употребляются сильные машины со сноповязалками, которыя въ теченіе дня убираютъ жатву на площади въ 12—13 акровъ; наконецъ, большое употребленіе получили паровыя молотилки въ 12—15 лошадиныхъ силъ. А въ Калифорніи примѣненіе машинъ совершается въ еще большихъ размѣрахъ: тамъ можно видѣть огромные плуги, приводимые въ движеніе 8—10 лошадьми, и молотилки, для которыхъ нужно 24 мула. Соответственно съ машинами и рабочей скотъ (преимущественно лошади) на американскихъ фермахъ отличаются превосходнымъ качествомъ; считая необходимымъ довести его рабочую силу до наивысшаго уровня, заботятся о его помѣщеніи: конюшни и хлѣва высоки, вмѣщаютъ много воздуха и зимою теплы. Въ другихъ отношеніяхъ обиходъ землевладѣльца также приспособленъ къ потребностямъ хозяйства. Вотъ какъ описываютъ устройство крупныхъ фермъ. „Эти фермы имѣютъ характеръ скорѣе фабричныхъ заведеній, чѣмъ усадебъ въ европейскомъ вкусѣ. Тамъ нѣтъ красивыхъ господскихъ домовъ или приспособленій для комфортабельной жизни владѣльца. Все устроено по дѣловому и съ внѣшней стороны безъ всякой притязательности. Первое, что бросается въ глаза прїѣзжему на желѣзно-дорожной станціи близъ такой фермы, круглая, высокая, свѣтложелтая деревянная башня или же противное узкое, до 60—70 метровъ вышины, красноватое деревянное зданіе. Это складъ зерна. Это строеніе, вмѣщая обыкновенно 40.000 бушелей пшеницы, служитъ не только для временнаго храненія хлѣба, но и для того, чтобы передвигать его посредствомъ механическихъ приспособленій съ телѣгъ въ вагоны желѣзной дороги. Сама усадьба

владѣльца, обнесенная проволоочною изгородью, состоитъ, напр., изъ слѣдующихъ зданій: 1) безвкусный, двухъэтажный жилой домъ, 2) одноэтажный домъ для рабочихъ, къ которому пристроена кузница; 3) конюшня на 40 лошадей съ сѣноваломъ; 4) амбаръ для сѣмянъ и сельско-хозяйственныхъ машинъ; 5) довольно первобытный досчатый или бревенчатый боровникъ, крытый соломой; 6) небольшой ледникъ. Въ господскомъ домѣ мы находимъ въ нижнемъ этажѣ обширную столовую съ примыкающею къ ней кухней, а противъ нея одну жилую комнату; во второмъ этажѣ помѣщается нѣсколько спальныхъ. Всѣ эти помѣщенія омеблированы очень просто, безъ всякихъ затѣй<sup>1)</sup>.

Извѣстно, насколько весь нашъ сельско-хозяйственный обиходъ отличается отъ американскаго. Рабочій получаетъ ничтожную плату, но работаетъ непроизводительно. Это происходитъ отчасти отъ недостатка физической силы, какъ слѣдствіе скуднаго питанія въ теченіе повольтннй, отчасти отъ полнаго нерадѣнія; примѣръ котораго подають ему наблюдающіе за его трудомъ владѣлецъ или приказчикъ; важной причиной служатъ первобытныя машины, которыя и до сихъ поръ сохраняють господство. Трудно вычислить, какое изъ этихъ условій имѣетъ наибольшее вліяніе. Рабочій день длится безобразно долго, отъ зари до зари; насчитывается 13—14 часовъ въ долгіе іюньскіе дни, но количество произведенной работы совершенно ничтожно. Владѣлецъ или замѣняющій его приказчикъ встають поздно, безъ конца пьютъ чай съ густыми сливками, покуривають, часто не могутъ оцѣнить качество произведенной работы, по незнакомству съ нею, а потому работниѣ, имѣя предъ глазами подобный примѣръ, еслибы даже могъ, ограничивается самымъ малымъ напряженіемъ силы. Чрезвычайная медленность работы извѣстна всѣмъ, кто сколько-нибудь знаеомъ съ жизнью деревни. Но особенно ярко обнаруживается это при работѣ на волахъ, преобладающей на нашемъ югѣ, отъ черниговской губерніи включительно. Вола часто предпочитаютъ для полевыхъ работъ, потому что онъ менѣе прихотливъ на кормъ, не такъ легко портится, какъ лошадь, и, даже надорванный, теряетъ меньшую долю своей цѣны. Но въ жаркій день, когда есть комары или слѣпни, онъ рвется, порываетъ сбрую, и значительная часть дня уходитъ на то, что работниѣ то поправляетъ соху, то ищетъ бѣжавшаго вола. Къ низкимъ качествамъ и недисциплинированности рабочаго скота присоединяются въ высшей степени первобытныя орудія. О крестьянскомъ хозяйствѣ

<sup>1)</sup> *Sehring*: Тамъ же, 435-6.

нечего и говорить. Но обратимся къ хозяйству крупныхъ и среднихъ владѣльцевъ. Возьмемъ, напр., свѣденія, собранныя земскими статистиками по гадячскому и лубенскому уѣздамъ. Изъ 180 имѣній есть болѣе или менѣе полныя и точныя данныя по 41. Оказывается, что въ 1884 году въ нихъ было только 24 конныхъ молотилки, 17 жней и 6 конныхъ граблей. Но этого мало: даже такихъ некрupныхъ и малоцѣнныхъ машинъ, какъ вѣялки и сортировки, было всего 28, т.-е. по 7 на каждыя 10 имѣній. Наконецъ, и орудія отличаются крайнею первобытностью: желѣзныхъ плуговъ было 244, а деревянныхъ—161, т.-е. 41%<sup>1)</sup>. Сельское хозяйство мценскаго уѣзда, орловской губ., даетъ картину еще болѣе отсталости. Ветхозавѣтная соха властвуетъ съ полною силой. Въ имѣніяхъ отъ 50 до 200 десятинъ только 9,5% имѣютъ плуги; въ болѣе крупныхъ плуги примѣняются чаще, но даже въ 11 имѣній свыше 1.000 десятинъ 5 пользуются сохами.  $\frac{1}{3}$  всѣхъ имѣній уѣзда не имѣетъ вѣялокъ и сортировокъ<sup>2)</sup>. А между тѣмъ указанные уѣзды принадлежатъ къ благодатнымъ мѣстностямъ, гдѣ стоить вести хозяйство, стоить заботиться о его усовершенствованіи. Этими условіями и опредѣляется степень производительности земледѣльческаго труда. Въ средней полосѣ Россіи принято считать за норму вспахиваніе двумя одновонными плугами 1 десятины въ день; въ западныхъ штатахъ Америки 1 работникъ съ 3-хъ конныхъ плугомъ вспахиваетъ  $3\frac{1}{2}$  акра. Для уборки 1 десятины пшеницы въ Россіи нуженъ дневной трудъ 8 жницъ или 4 восцовъ, а въ Америкѣ 1 работникъ, управляя жатвенной машиной, которую тащатъ 3 лошади, можетъ убрать жатву на 12—13 акрахъ, т.-е. 4—4 $\frac{1}{2}$  десятинахъ. И въ общемъ, нашъ землевладѣлецъ, воспитанный въ духѣ до-реформеннаго времени, часто относится къ хозяйству какъ къ дѣлу второстепенному, сравнительно съ веселой стороною жизни: онъ не считаетъ своею прямою обязанностью двигать хозяйство впередъ, затрачивать каждый свободный рубль на улучшеніе машинъ, построекъ, скота, а на увеличеніе удобствъ своего деревенскаго житья-бытья, отдѣлку дома, покупку мебели, экипажей и выѣздныхъ лошадей. Землевладѣльцы изъ не-дворянъ часто болѣе практичны въ веденіи хозяйства; жаль только, что они нерѣдко прилагаютъ гораздо меньше усилій къ его усовершенствованію, чѣмъ къ эксплуатированію окрестныхъ поселянъ. Но всѣ эти условія, неблагоприятныя для нашего отечества, не

<sup>1)</sup> Очерки помещичьяго хозяйства въ уѣздахъ гадячскомъ и лубенскомъ, 1886, 42—45.

<sup>2)</sup> Очеркъ хозяйства частныхъ владѣльцевъ мценскаго уѣзда, 1887, 64—68.

создаютъ еще большой разницы въ издержкахъ производства: 1 бушель пшеницы стоитъ производителю 50 центовъ въ западныхъ штатахъ и 80—въ восточныхъ, или 66 в. и 1 р. 5 коп. за 1 пудъ, т.-е. дороже, чѣмъ въ нашешъ отечествѣ (въ нашихъ южныхъ губерніяхъ стоимость производства 1 пуда пшеницы за 1888 г. составляла 49—74 коп.).

Обратимся къ послѣдней ступени—передвиженію хлѣбовъ съ мѣста производства къ потребителямъ, на американскіе и европейскіе рынки. Здѣсь мы находимъ между Соединенными Штатами и нашимъ отечествомъ еще болѣе рѣзкую разницу. Тамъ достигли въ послѣднее время того, что весь процессъ совершается механически, съ затратой очень малаго количества ручного труда. Это стало возможно съ развитіемъ сѣти желѣзныхъ дорогъ и повсемѣстнымъ устройствомъ элеваторовъ. Элеваторъ есть складъ, имѣющій спеціальныя приспособленія для приѣма, свѣшпиванія и сортированія хлѣба. Американцы располагаютъ цѣлою сѣтью элеваторовъ, которые могутъ быть разбиты на три группы: малые, станціонныя, устроенныя на желѣзно-дорожныхъ станціяхъ, центральныя—на главныхъ внутреннихъ рынкахъ и портовые въ океаническихъ портахъ. Фермеру приходится везти хлѣбъ до желѣзно-дорожной станціи 5—6 верстъ, въ рѣдкихъ случаяхъ 15—20. Подѣхавъ къ станціонному элеватору, возъ, сѣдокъ, лошади и зерно помѣщаются на особой платформѣ, свѣшпиваются, платформа наклоняется, и зерно опускается внизъ. Возъ, свободный отъ зерна, снова свѣшпиваютъ и тѣмъ опредѣляютъ вѣсъ принятаго зерна. Затѣмъ производитель получаетъ квитанцію и освобождается отъ заботъ по дальнѣйшему транспортированію своего товара. Дальше хлѣбные грузы поступаютъ въ вагоны въ сыпную для передвиженія ихъ во внутренніе центральныя и портовые элеваторы. Хотя фермеры тщательно сортируютъ свое зерно и тѣмъ приносятъ его къ принятымъ въ торговлѣ образцамъ, однако на всѣхъ большихъ элеваторахъ есть хорошіе сортировальные снаряды, которые исполняютъ эту работу еще болѣе совершенно. Такимъ образомъ, европейскій рынокъ, получая огромныя массы хлѣба строго соответствующими опредѣленнымъ образцамъ, относятся къ американскому фермеру съ полнымъ довѣріемъ. Будучи вкупномъ усовершенствованіемъ съ точки зрѣнія техники, элеваторы доставляютъ еще ту большую выгоду, что территориально связываютъ производителя съ торговцемъ: на каждой станціи желѣзной дороги американскій фермеръ находитъ нѣсколько покупателей. Сельскіе хозяева уже не зависятъ отъ мелкихъ посредниковъ, а сосредоточеніе въ элеваторахъ большой массы хлѣб-

ныхъ грузовъ облегчаетъ выдачу ссудъ подъ зерно. Желѣзныя дороги оказываютъ крупную услугу американской хлѣбной торговлѣ своими низкими фрахтами. Свобода желѣзно-дорожныхъ компаній отъ государственнаго вмѣшательства ведетъ къ измѣнчивой политикѣ желѣзныхъ дорогъ, что оказывается особенно рѣзко въ установленіи высоты фрахта. Зимой, когда водные пути замерзаютъ, фрахты повышаются—и наоборотъ. Колебанія эти такъ часты и такъ рѣзки, что, напр., въ 1885 хлѣбные фрахты на желѣзной дорогѣ изъ С.-Луи въ Нью-Йоркъ были измѣняемы 11 разъ; они колебались отъ 11 центовъ за 100 ф. пшеницы въ сентябрѣ при навигаціи, до 29 центовъ въ декабрѣ, когда судоходство уже прекратилось. Не взирая на эти колебанія, фрахты понижались безостановочно и составляютъ теперь только 40<sup>0</sup>/<sub>0</sub> величины своей въ концѣ 60-хъ гг. Они такъ низки, что провозъ 1 бушеля пшеницы изъ С.-Луи, центра пшеничнаго производства, въ Нью-Йоркъ, на разстояніи 1.700 километровъ, составляетъ только 13 центовъ, т.-е. 17 коп. за 1 пудъ на 1.500 верстъ; 1 пудо-верста обходится въ <sup>1</sup>/<sub>88</sub> коп. Провозъ изъ С.-Луи чрезъ Нью-Йоркъ до Ливерпуля, включая и расходы на перегрузку, составляетъ 20 цент. за 1 бушель, или 26 кредитныхъ копѣекъ за 1 пудъ.

Извѣстны первобытные способы передвиженія нашего хлѣба и крайняя безурядица во всей хлѣбной торговлѣ. Элеваторовъ у насъ нѣтъ; хлѣбъ перевозится не въ сыпную, а въ мѣшкахъ; брючными немилосердно прорываютъ мѣшки, причемъ просыпается довольно много зерна. Ссуды подъ хлѣбъ дороги; словомъ, господствуетъ полное неустройство. Въ однихъ портахъ накладные расходы составляютъ 7—8 коп. съ 1 пуда. Желѣзно-дорожные фрахты никакъ нельзя считать ниже <sup>1</sup>/<sub>60</sub> коп. съ 1 пуда, т.-е. почти въ 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> раза выше, чѣмъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Къ этому присоединяются разнообразныя неблаговидныя приемы и фальсификація зерна, которыя подорвали въ иностранныхъ покупателяхъ довѣріе ко многимъ сортамъ нашего хлѣба. Беспорядочность нашей хлѣбной торговли съ полнымъ знаніемъ дѣла описана г. Федоровымъ, а потому, не останавливаясь на подробностяхъ, мы рекомендуемъ читателямъ обратиться въ этому почетному труду <sup>1</sup>).

Соперничество Сѣв. Америки, начавшись въ 60-хъ гг. <sup>2</sup>), общааетъ дальѣйшее развитіе. Не нужно ссылаться на умень-

<sup>1</sup>) Федоровъ: Хлѣбная торговля въ главнѣйшихъ русскихъ портахъ, 1888 г.

<sup>2</sup>) Въ 1868 году она вывезла 20 милл. бушелей пшеницы въ зернѣ и мука, а въ 1880 г. до 160 милліоновъ.

шеніе вывоза изъ Соединенныхъ Штатовъ пшеницы сравнительно, напр., съ 1881 годомъ <sup>1)</sup> и на абсолютное и относительное увеличеніе хлѣбнаго вывоза Россіи за послѣдніе годы: Америка имѣетъ еще огромную площадь земли, которая можетъ быть привлечена къ сельско-хозяйственной культурѣ. Въ 1887 году подъ пшеницей было до 38 милл. акровъ, а можетъ быть занято подъ эту культуру еще до 50 милл. акровъ. Къ экстензивному росту американскаго соперничества можетъ присоединиться и интенсивное его возрастаніе. До сихъ поръ и цѣна труда, и широкое примѣненіе машинъ дѣлали для американца выгоднымъ его экстензивное земледѣіе, и онъ не заботился о поднятіи урожайности до предѣловъ если не Англій и Бельгіи, то хотя Германіи и Даніи, съ ихъ  $8\frac{1}{2}$  четвертями на 1 десятину. Но какъ только ухудшатся условія земледѣльческаго труда и останется мало неподнятой нови, Америка напряжетъ всѣ силы, чтобы усвоить интенсивныя системы земледѣлія. Быстрота, съ которою прогрессируютъ Соединенные Штаты, ручается, что она совершитъ и переходъ къ интенсивнымъ системамъ земледѣлія въ гораздо болѣе короткій промежутокъ времени, нежели какая-либо страна Европы. А съ такимъ переходомъ ея трудъ станетъ относительно нашего еще болѣе производительнымъ, соперничество же еще болѣе опаснымъ.

Россію, какъ главную—наряду съ Соединенными Штатами—поставщицу хлѣба для международнаго рынка, не можетъ не обезпечивать такое соперничество. Остъ-Индіа, Австралія, Канада имѣютъ меньше благоприятныхъ данныхъ для конкуренціи, а потому, успѣшно состязаясь съ Соединенными Штатами, мы побѣдимъ и остальныхъ соперниковъ. Главными орудіями борьбы служить, по нашему убѣжденію, слѣдующія мѣропріятія.

1) Содѣйствіе переселеніямъ для отысканія на обширной русской территоріи условій, наиболѣе благоприятствующихъ земледѣльческому труду.

2) Повсемѣстное развитіе образцовыхъ фермъ, которыя ставили бы предъ окрестнымъ населеніемъ примѣры болѣе рациональнаго хозяйства. Къ этому примыкаютъ измѣненія въ таможенной политикѣ, съ цѣлью облегчить нашимъ сельскимъ классамъ доступъ къ земледѣльческимъ машинамъ.

3) Усиленное сооруженіе желѣзныхъ дорогъ, особенно подъѣздныхъ путей, исправленіе рѣкъ и каналовъ и устройство элеваторовъ.

А. ИСАЕВЪ

<sup>1)</sup> Въ 1881 г. 158 $\frac{1}{2}$  милл. бушелей, а въ 1886—до 66 мил.

---

# СТИХОТВОРЕНІЯ

---

## I.

### НОЧНОЕ ПЛАВАНІЕ.

Изъ „Романдеро“, Гвѣна.

#### 1.

Вздыхало море; луна изъ-за тучъ  
Уныло глядѣлась въ волнѣ.  
Отъ берега тихо отчалилъ нашъ челнѣ,  
И было насъ трое въ челнѣ.

#### 2.

Стройна, недвижима какъ блѣдная тѣнь,  
Предъ нами стояла она;  
На образъ волшебный серебряный блескъ  
Порою видала луна.

#### 3.

Тоскливо и мѣрно удары весла  
Звучали въ ночной тишинѣ.  
Сходились волны, и тайную рѣчь  
Волна говорила волнѣ.

#### 4.

Вотъ сдвинулись тучи толпой, и луна  
Сокрыла свой плачущій ликъ.  
Повѣяло холодомъ... Вдругъ въ вышинѣ  
Пронесся пронзительный крикъ.

## 5.

То бѣлая чайка морская; какъ тѣнь  
 Надъ нами мелькнула она,  
 И вздрогнули всѣ мы,—тотъ крикъ намъ грозилъ  
 Какъ призракъ зловѣщаго сна.

## 6.

Не брежу ли я? Иль то ночи обманъ  
 Такъ злобно играетъ со мной?  
 Ни въявь, ни во снѣ—и страшить, и манить  
 Созданіе мысли больной.

## 7.

Мнѣ чудится, будто—посланникъ небесъ—  
 Всѣ страсти, всѣ скорби людей,  
 Все горе и муки, всю злобу вѣковъ  
 Въ груди заключилъ я своей.

## 8.

Въ неволѣ, въ тяжелыхъ цѣпяхъ красота,  
 Но часъ избавленья пробилъ.  
 Страдалица, слушай: люблю я тебя,  
 Люблю и отъ вѣка любилъ.

## 9.

Любовью нездѣшней люблю я тебя.  
 Тебѣ я свободу принесъ,  
 Свободу отъ зла, отъ позора и мукъ,  
 Свободу отъ крови и слезъ.

## 10.

Страдалица, горекъ любви моей даръ,  
 Онъ—смерть для стихіи земной,  
 Но въ смерти спасеніе падшихъ боговъ.  
 Умрешь и воскреснешъ со мной.

## 11.

Безумная грѣза, болѣзненный бредъ!  
 Кругомъ только мгла да туманъ.  
 Волнуется море, и вѣтеръ реветъ...  
 Все призракъ, все ложь и обманъ!



## 12.

Но чтожъ это? Боже, спаси ты меня!  
 О, Боже великій, Шаддай!  
 Качнулся челнокъ, и всплеснула волна...  
 Шаддай! о, Шаддай, Адонай!

## 13.

Воскресшее солнце по зыби морской  
 Играло пурпурнымъ лучомъ.  
 И къ пристани тихо причалилъ нашъ челнъ.  
 Мы на берегъ вышли вдвоемъ.

## II.

## СЪ ИТАЛЬЯНСКАГО.

## 1.

ЭПИГРАММА ДЖ. В. СТРОПЦИ

НА СТАТУЮ „Ночь“, МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО.

Ты Ночь здѣсь видишь въ сладостномъ покоѣ;  
 Изъ камня Ангеломъ изваяна она,  
 И если спить, то жизнью полна:  
 Лишь разбуди,—заговорить съ тобою!

## 2.

ОТВѢТЪ МИКЕЛЬ-АНДЖЕЛО.

Мнѣ сладокъ сонъ, и слаще—камнемъ быть!  
 Во времена позора и паденья  
 Не слышать, не глядѣть—одно спасенье...  
 Умолени, чтобъ меня не разбудить!

Владиміръ Соловьевъ.

Москва, 28 февраля 1889.



---

# ОБЗОРЪ РУССКИХЪ ИЗУЧЕНІЙ СЛАВЯНСТВА

---

## I.

### Время до-Петровское.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ мы останавливались на вопросѣ о панславизмѣ, о существующихъ отношеніяхъ славянскаго міра и объ идеальныхъ построеніяхъ его будущаго <sup>1)</sup>. Мы могли тогда только немногими словами коснуться одной стороны вопроса, которая имѣетъ весьма существенное значеніе какъ для правильной постановки современныхъ нашихъ взглядовъ на славянскія дѣла, такъ и для опредѣленія вообще славянской „идеи“ — чѣмъ она есть и чѣмъ можетъ стать въ будущемъ для насъ, сильнѣйшаго славянскаго народа, на который возлагалось и возлагается много надеждъ среди славянъ и который, какъ у насъ многіе убѣждены, именно призванъ разрѣшать славянской вопросъ. Насколько мы знаемъ славянской міръ?

Было бы слишкомъ самонадѣянно сказать, что Россія или „русскій народъ“ рѣшитъ славянской вопросъ. Этотъ вопросъ такъ осложняется чѣмъ дальше, тѣмъ больше; съ нимъ ставится рядомъ и сливается столько крупныхъ интересовъ другихъ народовъ и государствъ, что рѣшеніе очевидно зависѣть будетъ не отъ одного, а отъ нѣсколькихъ факторовъ, — и этими факторами будутъ вовсе не однѣ матеріальныя политическія силы, представляемыя соперничающими государствами и политическими стремле-

---

<sup>1)</sup> „Вѣстн. Европы“ 1878—1879.

ніями самихъ славянскихъ племень, — но будутъ и факторы нравственные весьма разнообразнаго свойства: далеко не однѣ племенные влеченія съ нашей стороны, противодѣйствуемыя племенной враждою съ другой (какъ обыкновенно думаютъ приверженцы славянскаго единства), но и отношенія религиозно-церковныя, образовательныя, внутренно-бытовыя. Россія — по племенному родству, по церковному единству со многими изъ славянскихъ народностей, по связямъ историческимъ, по современному политическому значенію — должна будетъ, вонечно, представить одну изъ важныхъ рѣшающихъ силъ, оказать могущественное вліяніе — положительное или отрицательное, смотря по обстоятельствамъ. Въ самой Россіи, въ русскомъ правительствѣ, обществѣ и „народѣ“, славянской вопросъ встрѣчалъ весьма различную постановку. Сколько ни было говорено о великомъ значеніи для насъ этого вопроса, составляющаго, какъ говорятъ, нашу національную и священную задачу, нераздѣльнаго съ нашимъ политическимъ и національнымъ бытіемъ и т. д., этотъ вопросъ ставился, однако, у насъ весьма различнымъ, даже прямо противоположнымъ образомъ: случалось, что правительство думало о немъ, когда масса общества была къ нему совершенно равнодушна или даже о немъ не подозрѣвала; случалось и другое, что идеализмъ, горячо устремлявшійся въ сторону славянскихъ сочувствій, рассматривался властью какъ политическое преступленіе; случалось, что въ самомъ обществѣ вопросъ вызывалъ полный контрастъ мнѣній, исходившій изъ противоположной постановки идейныхъ интересовъ среди самого русскаго общества. Говорить при этомъ о „народѣ“ бываетъ вообще довольно странно: его горизонтъ въ этихъ національныхъ вопросахъ такъ тѣсенъ вообще и относительно славянскаго дѣла въ особенности, что ссылки на него во многихъ случаяхъ бывали или чистымъ произволомъ, или шарлатанствомъ, или, въ лучшемъ случаѣ, иллюзіей.

Но какимъ бы обстоятельствамъ ни подлежалъ славянской вопросъ, какою бы стороною русской власти, общества и т. д. ни рѣшалась его, чего бы мы ни искали въ немъ, къ чему бы ни стремились, остается ясно одно — что для рѣшенія необходимо *знать* вопросъ, то-есть имѣть достаточныя свѣденія о славянскомъ мірѣ, о прошедшемъ и настоящемъ славянскихъ племень, объ ихъ собственныхъ стремленіяхъ, силахъ и отношеніяхъ. Только это знаніе поможетъ намъ правильно осмотрѣться въ обстоятельствахъ дѣла и вѣрно опредѣлить наши собственные интересы и направить наши усилія. Въ настоящемъ случаѣ мы хотѣли бы сдѣлать краткое обзорѣніе того, что знаетъ русскій народъ о сла-

вянствѣ въ прошедшіе вѣка и какъ пло въ нашемъ обществѣ изученіе славянства въ два послѣднія столѣтія.

Древнѣйшая исторія славянства и русскаго племени до сихъ поръ, какъ говорилось въ старину, покрыта мракомъ неизвѣстности. Чтобы разсѣять этотъ мракъ, потрачено было много ученаго труда и остроумія, но результатъ до сихъ поръ остается неяснымъ и непочинимъ. Не говоря о временахъ до-историческихъ, которыя остаются и вѣроятно еще долго, если не всегда, останутся предметомъ догадокъ, и тѣ вѣка, о которыхъ остались (впрочемъ отрывочныя) извѣстія историковъ классическихъ и средневѣковыхъ, до сихъ поръ очень темны. Несмотря на искусныя историческія комбинаціи, какія дѣлались новѣйшими учеными, таковъ остается вопросъ о первоначальной родинѣ славянскаго племени въ Европѣ, о первомъ заселеніи славянами Балканскаго полуострова и о судьбѣ русскаго племени до Рюрика. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ между свидѣтельствами Геродота о скиѣахъ, — которыхъ иные частію, другіе цѣликомъ считаютъ славянами, — и свидѣтельствами VI вѣка по Р. Х. о венедахъ и антахъ, считаемыхъ за несомнѣнныхъ славянъ, или раньше свидѣтельствами о гуннахъ, между которыми также признаютъ несомнѣнное присутствіе славянскихъ племенъ, остается ничѣмъ не наполненный пробѣлъ темнаго, скрытаго отъ исторіи существованія. Точно также остается загадкой исторія русскаго племени передъ началомъ государства. Изъ того, что мы узнаемъ о русскомъ племени при первыхъ князьяхъ, очевидно, что и до прихода варяговъ здѣсь шла уже историческая жизнь, были политическія столкновенія и связи съ другими народами, оставившія свое культурное вліяніе и т. д. Кіевъ, „городъ на Днѣпрѣ“, былъ уже готовымъ племеннымъ центромъ, какъ еще ранѣе варяжскихъ князей существовали другіе племенные центры на сѣверѣ и сѣверо-востокѣ. Но отъ этихъ временъ не сохранилось почти никакихъ сколько-нибудь ясныхъ историческихъ указаній. Только другими путями, съ помощью сравненій языка, быта, преданій, мы можемъ до извѣстной степени реставрировать формы племенной жизни, образовавшіяся къ тому времени, когда открывается писанная исторія. Одинъ изъ фактовъ, добытыхъ этимъ путемъ, указываетъ на то, что славянскія племена той эпохи были еще близки между собою по языку, бытовому устройству и содержанію преданій, въ которыхъ заключалось народное мировоззрѣніе. Первые славянскіе историки, какъ наши лѣтописцы и западно-славянскіе хронисты,

появляются позднѣе, въ XI—XII вѣкахъ... Правда, первая историческія замѣтки восходятъ и нѣсколько дальше въ древность; но только въ начальной лѣтописи, носящей имя Нестора, сообщаются свѣденія о началѣ русскаго государства, причемъ лѣтописецъ говоритъ и о началѣ племени. Историческая запись составила уже черезъ нѣсколько столѣтій послѣ факта, и свѣденія о старой судьбѣ племени, условія котораго очень измѣнились въ тому времени, очевидно были собраны по преданіямъ. Эти свѣденія, однако, чрезвычайно любопытны. Лѣтопись Нестора есть такимъ образомъ первый книжный фактъ русскаго знанія о славянствѣ и остается во всей славянской литературѣ тѣхъ далекихъ вѣковъ единственнымъ памятникомъ, гдѣ славянство указано въ полномъ составѣ его племенъ, очевидно съ народными именами (какъ „серебъ“, „хорутане“ и пр.) и съ историческими указаніями объ ихъ расселеніи. Происхожденіе этихъ этнографическихъ свѣденій у старѣйшаго русскаго лѣтописца до сихъ поръ не выяснено: надо предполагать, что источникомъ ихъ было живое знаніе этихъ племенныхъ отношеній, еще не заглушенная память о племенномъ единствѣ, которая должна была поддерживаться какими-то намъ теперь неизвѣстными племенными сношеніями. Немного времени спустя эта память уже значительно ослабла, а частію совсѣмъ исчезла. Русскіе знали практически и непосредственно только ближайшихъ сосѣдей—поляковъ на западѣ, сербовъ и болгаръ на югѣ; съ первыми съ самаго начала исторіи не прерывались политическія сношенія и столкновенія; со вторыми установилось на много вѣковъ болѣе или менѣе тѣсное общеніе, церковное и книжное. Утвержденіе русскаго христіанства совершилось тогда, когда оно давно уже окрѣпло у славянъ балканскихъ; съ юга къ намъ пришли готовые книги церковныя, историческія и инныя; съ переменнымъ счастьемъ на Балканскомъ полуостровѣ стояли два славянскія царства, гдѣ (особенно у болгаръ) при близкомъ сосѣдствѣ съ греками развилась оживленная книжная дѣятельность на языкѣ, который какъ на югѣ, такъ и у насъ сталъ условнымъ, но привычнымъ языкомъ церкви и книги. Въ первые вѣка къ этимъ церковнымъ и книжнымъ связямъ присоединялись и мало выясненныя пока отношенія политическія: русскіе князья не разъ вмѣшивались въ политическія событія балканскаго славянства. Повидимому объ страны стояли въ непосредственномъ сосѣдствѣ; повидимому русскія поселенія шли на югъ дальше, тѣмъ знаетъ объ этомъ лѣтописная исторія, и старому Святославу вѣроятно не безъ основанія могло казаться, что „среда земли“ его (русско-славянской?) находилась на Ду-

наѣ, въ Болгаріи, гдѣ между прочимъ былъ новый или малый Кіевъ, „Кіевецъ“.

Такимъ образомъ лѣтопись Нестора представляетъ, какъ мы сказали, единственное во всей старой славянской письменности свидѣтельство о цѣломъ славянствѣ, какъ результатъ практическаго и традиціоннаго знанія, принадлежавшаго людямъ книжнымъ. Въ параллель къ этому „Слово о Полку Игоревѣ“ указываетъ опять на широкій горизонтъ племенныхъ свѣденій у старыхъ книжныхъ людей: поэма утверждаетъ, съ очевиднымъ намекомъ на положительный фактъ, что Святослава прославляютъ („поютъ“) нѣмцы и венеціанцы, греки и моравы. Далѣе, историческія данныя о родственныхъ связяхъ старыхъ князей съ иноземными владѣтельными домами, извѣстія о старой торговлѣ, наконецъ отголоски народнаго эпоса говорятъ о далекихъ международных сношеніяхъ древней Руси, съ которыми связывалось безъ сомнѣнія и знаніе географическое и этнографическое. Прибавимъ, наконецъ, что подобныя знанія по условіямъ русской земли и вслѣдствіе старой исторической предпримчивости шли далеко и въ другомъ направленіи: Святославъ и Владиміръ совершали далекіе походы на востокъ, и еще дальше шли полоторговныя, полувойенныя и разбойничьи предпріятія вольныхъ людей, особливо „молодыхъ людей“ новгородскихъ.

При этихъ условіяхъ старой жизни, хотя еще не сложившейся крѣпко политически, но сильной и дѣятельной, становится болѣе или менѣе понятно, что свѣденія старыхъ русскихъ людей распространялись и на славянской югъ и западъ; но это положеніе вещей очень измѣняется въ слѣдующемъ періодѣ русской исторіи, наступившемъ послѣ татарскаго нашествія. Нѣкоторымъ изъ нашихъ историковъ казалось, что это нашествіе не измѣнило собственно ничего во внутреннемъ ходѣ нашей исторіи, что съ татарскимъ игомъ не нарушился тотъ внутренній процессъ государственнаго развитія, который смѣнилъ теперь старую удѣльно-вѣчевую Русь московскимъ единодержавіемъ. На дѣлѣ, однако, измѣнилось очень многое. Не говоря о распаденіи русской земли на восточную и западную, которому, безъ сомнѣнія, помогли татарскіе погромы, второй періодъ приноситъ сильное измѣненіе въ самыхъ внутреннихъ отношеніяхъ русской жизни, въ просвѣщеніи и бытѣ: западная Русь подпала сильному польскому вліянію, политическому, церковному и культурному; на югѣ подъ вліяніемъ сложныхъ историческихъ и этнографическихъ условій стала сильнѣе чѣмъ прежде обособляться народность южно-русская; а русскій востокъ до такой степени удалился отъ европей-

саго запада, что „Московія“ стала для послѣдняго отдаленной, чуть не азіатской страной, а сама Москва подъ вліяніемъ возраставшаго въ теченіе двухъ или трехъ вѣковъ одиночества стала смотрѣть на этотъ западъ съ точки зрѣнія церковной и національной исключительности.

Прервалось и прежнее знаніе славянства или, другими словами, оно ограничилось тремя народами: въ Москвѣ знали поляковъ по сосѣдству съ великимъ княжествомъ литовскимъ, которое все больше сливалось съ Польшей; знали болгаръ и сербовъ въ тѣхъ новыхъ отношеніяхъ, какія установились послѣ разрушенія славянскихъ царствъ Балканскаго полуострова турками и послѣ паденія самого Константинополя; но, какъ увидимъ, знаніе было все-таки весьма ограниченное. Странно сказать, что въ славянской этнографіи старая русская письменность такъ и не пошла далѣе Нестора: позднѣйшія лѣтописи о старомъ періодѣ русской исторіи вообще только повторяли начальнаго лѣтописца и въ обиходѣ свѣденій о древнемъ славянствѣ такимъ же образомъ повторялись безъ всякихъ дополненій данныя старѣйшей лѣтописи. Относительно дальнѣйшей исторіи балканскихъ славянъ, съ которыми, какъ мы сказали, продолжались старыя и завязывались новыя отношенія на почвѣ церковнаго единства, прибавились лишь очень скудныя свѣденія: онѣ шли изъ немногихъ книжныхъ источниковъ и не были освѣжены почти никакимъ личнымъ и прямымъ знаніемъ. Москва, далекая теперь географически, поглощаемая собственнымъ процессомъ государственнаго объединенія, бѣдная средствами школьнаго знанія, была такъ оторвана отъ прямыхъ связей, какія чувствуются въ древнемъ періодѣ, что все, стоявшее за предѣлами московскаго царства и хотя бы по тѣмъ или другимъ отношеніямъ родственное, представляется ей чуждымъ и далекимъ. Въ московской терминологіи даже настоящіе русскіе люди западнаго края называются обыкновенно „литовскими людьми“, а южно-руссы называются „черкасами“ (то-есть черкесами!). Южное славянство остается близкимъ по единовѣрью; его выходцы не разъ являются въ Москвѣ книжными дѣятелями и даже іерархами: это славянство входитъ составною частью въ то понятіе о православномъ мірѣ, какъ о единомъ истинномъ христіанствѣ, которое слагается въ Москвѣ послѣ паденія Константинополя, и гдѣ Москва является главною представительницею восточнаго православія. Съ XV-го вѣка въ Москву все больше приходитъ выходцевъ, просителей и посланцевъ отъ этихъ народовъ—почти исключительно людей духовныхъ, просившихъ пособій для церквей и монастырей; царское прави-

тельство принимало вообще благосклонно этихъ „богомольцевъ“ и установило, наконецъ, точную систему ихъ пріема и количества „милостыни“, но тѣмъ не менѣе даже въ средѣ внижныхъ людей, не говоря о массѣ, южное славянство остается неясной отвлеченностью.

Въ то время, — когда послѣ паденія Византіи Москва въ глазахъ русскихъ людей и самой власти получала значеніе „третьяго Рима“ и становилась политически во главѣ восточнаго христіанства, — у русскихъ книжниковъ возникла мысль объ историческомъ обзорѣ событій этого православнаго міра. Такимъ обзоромъ явился „Хронографъ“. Въ старой нашей письменности распространено было множество списковъ и вариантовъ этой книги, которая была тогда единственнымъ руководствомъ по всеобщей исторіи. Памятники этой категоріи даютъ понятіе вообще о складѣ и объемѣ историческихъ свѣденій въ московскомъ періодѣ, и въ частности о томъ, какія имѣлись тогда свѣденія о славянствѣ. Хронографъ былъ обширный историческій сборникъ. Исходнымъ пунктомъ его была библія; основной характеръ былъ церковный. Главнымъ матеріаломъ послужили библейскія книги и византійскіе хронисты. Авторъ нашей начальной лѣтописи, какъ извѣстно, пользовался уже источниками этого рода: въ рукахъ его была такъ называемая Палея, переведенная съ греческаго библейская исторія съ дополненіями изъ апокрифическихъ книгъ, — и Георгій Амартолъ. Когда явилась мысль о составленіи Хронографа, въ основу его легли и теперь источники византійскіе: кромѣ Амартола, Малала, Манассія, Зонара и проч. Переводы ихъ уже раньше были въ литературѣ болгарской и сербской, и оттуда перешли къ намъ. Нашъ Хронографъ составилъ не вдругъ; первые опыты его восходятъ къ XV-му столѣтію; затѣмъ новая редакція сложилась въ началѣ XVI-го вѣка, въ 1512; наконецъ, въ послѣдствіи онъ, въ разныхъ редакціяхъ, видоизмѣнялся опять порядкомъ статей и различными новыми добавками. Такимъ образомъ, это не былъ одинъ цѣльный трудъ, а рядъ компиляцій, мало-по-малу нараставшихъ и взаимно переплетавшихся. Исторія начиналась съ сотворенія міра и продолжалась настолько, насколько давали свѣденій упомянутые византійцы; исторія византійская завершается повѣстью о взятіи Царяграда турками; но въ извѣстномъ синхронистическомъ соотношеніи съ нею расположены и событія славянской исторіи — русской, болгарской и сербской.

Извѣстія, касающіяся русской исторіи, иногда также заимствованы изъ византійскаго источника — и, какъ увидимъ, довольно



странно, но главнымъ образомъ взяты изъ русскихъ лѣтописцевъ. Но откуда бралась исторія болгарская и сербская?

Извѣстный изслѣдователь происхожденія и состава Хронографовъ, Андрей Поповъ, приходилъ къ заключенію, что хотя этого рода памятники извѣстны вообще только въ русской письменности, начало Хронографовъ принадлежитъ южно-славянскимъ книжникамъ и что добавленіе Хронографовъ русскими статьями произошло позднѣе, когда они перешли въ русскую письменность. Такимъ образомъ статьи объ исторіи болгарской и сербской пришли къ намъ готовыми. Но по изслѣдованіямъ самого Попова было видно, что матеріалъ, изъ котораго составились эти статьи, и который состоялъ изъ жизнеописаній болгарскихъ и сербскихъ царей и святыхъ и еще изъ двухъ-трехъ южно-славянскихъ произведеній, былъ раньше въ обращеніи и въ старой русской письменности, такъ что надъ нимъ могъ бы работать и русскій книжникъ. На этомъ и на другихъ историко-литературныхъ основаніяхъ Ягичъ полагаетъ, напротивъ, что составленіе Хронографа вообще и добавленіе его славянскими статьями было дѣломъ стараго русскаго книжника или книжниковъ <sup>1)</sup>.

Какія же свѣденія о славянской исторіи имѣлъ русскій книжникъ XV—XVI-го вѣка, т.-е. образованнѣйшій человѣкъ своего времени? Первая особенность, которая бросается въ глаза при обзорѣнн Хронографа, есть его чисто компилятивный составъ. Въ наиболѣе полныхъ своихъ видахъ Хронографъ представляетъ весьма обширную, повидимому сложную работу: составитель его долженъ былъ одолѣть большую массу матеріала, изъ котораго составилось это цѣлое. Но, наблюдая различныя редакціи Хронографа, можно думать, что трудъ былъ менѣе сложенъ, чѣмъ кажется на первый взглядъ. Андрей Поповъ замѣчалъ уже <sup>2)</sup>, что для собирателя XV-го вѣка самые разнообразныя источники (византійскіе и южно-славянскіе) могли совмѣщаться въ нѣсколькихъ рукописяхъ, и если Хронографъ, какъ это очень вѣроятно, составлялся не вдругъ, а постепенно усложнялся, то трудъ собиранія разлагался на продолжительное время и на многія лица. Первая компиляція, болѣе краткая, была готовымъ матеріаломъ для второй, которая дополняла ее новыми прибавками, и опять служила основою для третьей компиляціи и т. д.

Таинмъ же образомъ было только дѣломъ ксмпилляціи и вне-

<sup>1)</sup> Андрей Поповъ, „Обзоръ хронографовъ русской редакціи“. М. 1866—1869; „Изборникъ“ изъ хронографовъ, М. 1869. Ягичъ, „Ein Beitrag zur serbischen Annalistik“, въ „Archiv für slav. Philologie“, Berlin, 1876, II, стр. 70—74.

<sup>2)</sup> Обзоръ, II, стр. 21.

сеніе въ Хронографъ свѣденій по исторіи славянства, — которыя ограничивались, впрочемъ, только славянствомъ балканскимъ, православнымъ. Дѣло въ томъ, что въ числѣ произведеній, заходившихъ въ старую русскую письменность отъ южныхъ славянъ, было, кромѣ множества переводовъ съ греческаго, не мало и самостоятельныхъ сочиненій южно-славянскихъ и въ ихъ числѣ нѣсколько произведеній историческаго или полу-историческаго содержания <sup>1)</sup>, и составитель (или послѣдовательные составители) Хронографа только размѣстилъ заключающіяся въ нихъ данныя въ отдѣльныя статьи, по хронологическому порядку и, такимъ образомъ, давалъ своимъ извлеченіямъ лѣтописную форму. Въ заглавіи Хронографа говорится, что онъ заимствованъ, кромѣ другихъ источниковъ, также изъ „лѣтописцевъ сербскихъ и болгарскихъ“. Южно-славянскіе лѣтописцы дѣйствительно существовали; въ новѣйшее время они (впрочемъ только сербскіе) болѣе или менѣе приведены въ извѣстность, но составитель нашего Хронографа ими, кажется, почти совсѣмъ не пользовался: „лѣтописцевъ“ замѣнило нѣсколько житій, которыя авторъ Хронографа разбилъ на отдѣльныя, мнимо-лѣтописныя статьи.

Итакъ, у русскихъ книжниковъ той эпохи, когда московская Россія думала стать „третьимъ“ Римомъ и дѣйствительно занимала уже господствующее положеніе въ восточно-православномъ мірѣ, свѣденія о славянствѣ были очень скудны. Хронографъ, который въ этомъ случаѣ является типическимъ произведеніемъ, заключаетъ только чисто компилятивныя данныя, безъ признака живого знанія даже славянства южнаго, съ которымъ, однако, и за это время продолжались еще связи церковныя; объ остальномъ славянствѣ нѣтъ рѣчи; Польшу знали, какъ близкій сосѣдній народъ „папешской“ вѣры, и въ массѣ не было, кажется, яснаго представленія объ отношеніяхъ Польши къ „литовскимъ“ (русскимъ) людямъ западнаго края, въ которомъ цари при случаѣ видѣли, однако, свою „отчину“. Самая компиляція Хронографа, какъ слѣшкомъ часто бывало въ нашей старой письмен-

<sup>1)</sup> Они исчислены у Андрея Попова, „Обзоръ“, II, стр. 25 и далѣе. Это были, изъ болгарскихъ сочиненій, различнаго писанія Евѣмнія, патріарха терновскаго; житіе сербскаго царя Стефана Дечанскаго, написанное Григоріемъ Цамвлякомъ; замѣтки болгарскаго переводчика къ тексту Манассія, внесенныя вмѣстѣ съ послѣднимъ въ Хронографъ. Для исторіи сербской: житіе св. Савы сербскаго, Доментиана; упомянутое житіе Стефана Дечанскаго; житіе сербскаго деспота Стефана Лазаревича и разныя замѣтки въ другихъ сочиненіяхъ, какъ, напр., въ предисловіи инока святой горы Исаія къ переводу Діонисія Ареопагита, въ концѣ XIV столѣтія, и под. См. также „Обзоръ“, I, стр. 90, 164—166; II, стр. 50 и далѣе.

ности, была поверхностна и не освѣщена самостоятельными свѣденіями. Напримѣръ, Хронографъ, находя у византійцевъ, — изъ которыхъ онъ выписываетъ, — извѣстія о древней Руси, иногда старается ихъ осмыслить и связать съ лѣтописными данными, но иной разъ повторяетъ цѣликомъ вещи довольно негѣпыя; какъ извѣстно, византійскіе писатели не особенно заботились о точности племенныхъ названій, когда шла рѣчь о „варварахъ“, и въ X—XI вѣвѣ отождествляли Русь и, напр., еумановъ, т. е. половцевъ: это повторяетъ и русскій книжникъ XVI—XVII-го вѣка, говоря о своемъ собственномъ народѣ <sup>1)</sup>.

„Богѣ ста мѣтъ, — замѣчаетъ Андрей Поповъ <sup>2)</sup>, — первая редакція Хронографа (составленная въ 1512 году), доведеннаго до взятія Царяграда турками, переписывалась на Руси безъ существенныхъ измѣненій въ своемъ составѣ“. Новое развитіе Хронографа совершилось уже въ XVII столѣтіи, а именно въ 1617 году, и затѣмъ послѣ 1620, въ царствованіе Михаила Федоровича. На этотъ разъ Хронографъ, относительно свѣденій о славянствѣ, былъ дополняемъ уже не изъ византійскихъ и южно-славянскихъ источниковъ, которые совсѣмъ изсякаютъ для русскихъ книжниковъ, а изъ латино-польскихъ. А именно, въ концѣ XVI-го вѣка (въ 1584 г.), переведена была на русскій языкъ, притомъ не въ Москвѣ, а въ западной Руси, и по повелѣнію Сигизмунда-Августа, знаменитая нѣкогда въ польской литературѣ, а затѣмъ долго господствовавшая въ русской письменности Хроника Мартина Бѣльскаго <sup>3)</sup>. Мы приводимъ въ при-

<sup>1)</sup> Напр., „Роди же нарицаеми Руси, уже и Кумани, живяху во Евксинионтѣ“, и пр. Хронографъ повторяетъ здѣсь византійца Зонару; ср. у Андрея Попова, I, стр. 169; II, стр. 13.

<sup>2)</sup> Тамъ же, II, стр. 69.

<sup>3)</sup> По разсказанію Андрея Попова, русскій переводъ сдѣланъ былъ по польскому изданію 1564 года (это было, какъ думаютъ, 3-е изданіе). Въ записи русскихъ списковъ находится слѣдующее извѣстіе о подлинникѣ и о переводѣ этой книги:

„А писана сія книга Мартиномъ Бѣльскимъ шляхтичемъ земли Мазовецкой, списана ея съ Латинского и съ иныхъ языковъ съ Немецкихъ и Арапскихъ и зъ Греческихъ на Польской языкъ по повелѣнію государя своего Божіею милостію короля Польскаго и великаго князя Литовскаго, Руского, Прускаго, Мазовецкаго, Жеголицкаго, и иныхъ государствъ государя и дѣдича Жигимонта Августа короля Польсково, а сведена та книга и списана съ латинскаго языка и со многихъ иныхъ языковъ на польской языкъ мудрымъ правымъ предложеніемъ, и о томъ писали мудрыя многія олюсокъ. И тотъ шляхтичъ Мартинъ Бѣльскій мазовецкіе земли написалъ въ ней такъ: кто захочетъ гораздо право сію книгу знать описаніе всего свѣта сія Хроникки, и разумѣти гораздо, напередъ бы вычелъ и растолковалъ о четырехъ царствахъ великихъ, о которыхъ царствахъ прорече великій Даниилъ, написалъ о видѣніи объявленіи Вожія Даниилу: о первомъ царствѣ Асирійскомъ и Халдѣйскомъ, о второмъ

мѣчаніи записъ русскаго перевода, изъ которой можно видѣть, какъ высоко цѣнилась эта книга—кто прочтетъ ее и гораздо уразумѣетъ, тотъ „будетъ вѣдать всю землю и философскую мудрость“; на польскій языкъ она „списана мудрымъ правымъ предложеніемъ“; на русскій языкъ переведена „на поученіе русскимъ людямъ“. Великое уваженіе къ книгѣ объясняется прежде всего тѣмъ, что это была первая обширная всеобщая исторія и „Космографія“ (или географія), выходившая за предѣлы стараго Хронографа и сообщавшая неизвѣстныя до тѣхъ поръ свѣденія о „всемъ свѣтѣ“. Притомъ, по замѣчанію А. Попова, „Хроника“ Бѣльскаго по своему складу была близка къ домашнему и уже привычному Хронографу: оба исходили изъ ветхозавѣтной и новозавѣтной исторіи; оба представляли такія же статьи по греческой мифологіи, Троянскую исторію, Александрію, статьи о Магометѣ и пр. <sup>1)</sup>, и если при этомъ „Хроника“ давала еще нѣчто новое, особливо по западно-европейской исторіи, то это было желанное добавленіе, которымъ легко было воспользоваться. Статьи Хронографа дополнялись изъ соответственныхъ статей Хроники Бѣльскаго, или же замѣнялись ими.

Хроника и заключающаяся въ ней же „Космографія“ Мартина Бѣльскаго были послѣ Хронографа 1512 г. первымъ расширеніемъ историческихъ и географическихъ свѣденій у старыхъ русскихъ книжниковъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и расширеніемъ свѣденій о славянствѣ. Именно, явились здѣсь новыя данныя о западно-славянской исторіи — польской и чешской, и притомъ въ первый разъ. Нѣсколько главъ въ Хронографѣ, дополненныя изъ Бѣльскаго, посвящены разсказу о „началѣ государства польскаго и чешскаго“, о древнихъ, полу-баснословныхъ польскихъ короляхъ, и за статью о сербскомъ царствѣ и его запусътніи прибавленъ разсказъ объ албанскомъ княжествѣ и о Скандербегѣ <sup>2)</sup>.

Такимъ образомъ, источникъ свѣденій и здѣсь былъ чужой;

царствѣ Перскомъ, и третьемъ царствѣ Греческомъ и Македонскомъ Александра царя великаго, о четвертомъ царствѣ Римскомъ. И кто тѣ царства прочтетъ гораздо со вниманіемъ и растолкуетъ гораздо, и тотъ *всю землю иметъ выдати и космо-совскую мудрость*. А сія книга списана съ Польскаго языка на Рускій языкъ по повелѣнію Жигимонта короля Польскаго, а переводилъ ее шляхтичъ великаго княжества Литовскаго... Амброжей Брежевскій на честь и на хвалу Господу Богу, а на науку и поученіе Рускимъ людямъ“. Дальше прибавлено, что книга списана въ царствующемъ градѣ Москвѣ въ 7092 году, а въ „полскихъ числѣхъ“ 1584 г. (Тамъ же. II, стр. 94).

<sup>1)</sup> II, стр. 87.

<sup>2)</sup> Андрей Поповъ, II, стр. 108--109.

самый переводъ Бѣльскаго сдѣланъ, какъ выше указано, въ западной Руси „литовскимъ“ шляхтичемъ по повелѣнію короля Жигимонта. Черезъ Бѣльскаго въ нашъ Хронографъ, т.-е. въ старыи русскій запасъ историческаго знанія, вошли въ первый разъ латино-польскіе источники, которые потомъ занимаютъ все больше мѣста въ историческомъ обиходѣ русскихъ книжниковъ. Въ теченіе XVII-го вѣка на русскомъ языкѣ является, кромѣ „Космографіи“, находившейся въ хроникѣ Бѣльскаго, еще нѣсколько другихъ космографій, въ числѣ которыхъ указываютъ и одну собственно русскую компиляцію. Извѣстнѣйшею изъ этихъ книгъ была знаменитая въ свое время „Космографія“ Герарда Меркатора (ум. 1594), переводъ которой сдѣланъ былъ въ 1637 г. переводчикомъ посольскаго приказа Богданомъ Лыковымъ съ товарищемъ Иваномъ Дорномъ, по указу царя Михаила Ѳеодоровича <sup>1)</sup>.

Эта книга обращалась въ полномъ переводѣ, а отдѣльными выписки вошли въ Хронографъ. Въ книгѣ Меркатора заключается и статья о московскомъ государствѣ, составленная имъ по Павлу Ювію и Герберштейну <sup>2)</sup>; этотъ послѣдній въ русскомъ переводѣ является какъ „бояринъ Герберштанъ“. Была затѣмъ въ русскомъ переводѣ другая иностранная, вѣроятно латинская, космографія, извлеченная изъ Себастьяна Мюнстера, Меркатора и другихъ географовъ, и гдѣ описаніе Россіи заимствовано исключительно изъ Герберштейна <sup>3)</sup>.

Такимъ образомъ, даже описанія самой Россіи явились въ первый разъ по иноземнымъ книгамъ и образцамъ—по Мартину Бѣльскому, Меркатору, „Герберштану“; послѣдній, какъ извѣстно, внимательно изучалъ русскую исторію и былъ знакомъ очень хорошо для иноземца съ памятниками русской письменности. Изъ этихъ иностранныхъ источниковъ прибавились и нѣкоторые свѣденія о западномъ славянствѣ. Впрочемъ русскіе компиля-

<sup>1)</sup> Такъ говорятъ митр. Евгений, „Словарь русскихъ свѣтскихъ писателей“. II, стр. 37. Показаніе это основано, вѣроятно, на записи какого-либо списка этой космографіи, но эта записка не встрѣчалась другимъ изслѣдователямъ; см. Андрея Попова, II, стр. 190.

<sup>2)</sup> О Меркаторѣ въ русскомъ переводѣ см. у Пекарскаго, „Наука и литература при Петрѣ Вел.“, I, стр. 434, 344; А. Попова, II, стр. 189—193. Изданіе обширной, 76-главной космографіи, собранной изъ Меркатора и Бѣльскаго, сдѣлано было Обществомъ любителей древней письменности: „Космографія 1670 г. (книга глаголемая космографія сирѣчь описаніе всего свѣта земель и государствъ великихъ)“. Спб. 1878—1881. Въ предисловіи г. Чарыкова указаны составъ книги и литература предмета.

<sup>3)</sup> А. Попова, II, стр. 219.

торы не всегда стѣпо шли за своими оригиналами: когда заходила рѣчь объ иноземныхъ неправославныхъ земляхъ, наши книжники напоминали, что у нихъ нѣтъ настоящей вѣры. Такъ, заимствуя изъ хроникъ Бѣльскаго перечень римскихъ папъ, составитель Хронографа доводитъ этотъ перечень только до раздѣленія церквей и при разсказѣ объ отпаденіи латинъ дѣлаетъ такую замѣтку: „И тако совершенно удалишася (папы) православныя вѣры, и къ тому уже о папахъ римскихъ *писати нечего*. Папа бо нарицается отецъ священнаго чина, смиренію начало, всѣхъ благодатай, иже всѣхъ сихъ лишишася“,—и изъ дальнѣйшихъ статей Бѣльскаго о папахъ Хронографъ не беретъ уже больше ничего <sup>1)</sup>. Далѣе, въ переводѣ космографіи Меркатора приведенъ разсказъ о московскомъ государствѣ самого автора по Іовію и Герберштейну, но рядомъ съ этой статьей поставленъ собственный русскій разсказъ о московскомъ царствѣ, какъ понимали тогда свою исторію сами русскіе <sup>2)</sup>. Та же статья повторяется въ особой космографіи, составленной, безъ сомнѣнія, по чужимъ источникамъ, но русскимъ собирателемъ, который указалъ себя между прочимъ въ томъ, что, описавъ два древнія царства, римское и греческое, въ описаніи новой Европы на первомъ планѣ ставитъ „царство російское“ и славянскіе народы, а въ Азіи—царство сибирское, и затѣмъ уже другіе страны и народы, и особливо настаиваетъ на томъ, что только въ Россіи, а также у грековъ и южныхъ славянъ содержится истинная православная вѣра, и всѣ прочіе народы заблудились въ папештво и другіе ереси <sup>3)</sup>. Мы приводимъ въ примѣчаніи подлинныя слова стараго памятника, гдѣ авторъ, въ общемъ очеркѣ „Европіи“, части Ноева сына Афета, высказываетъ свою точку зрѣнія на народныя отношенія. Эта точка зрѣнія—вѣроисповѣдная: нѣкогда вся Европія имѣла вѣру православную, но по дьявольскому навожденію впали во многія ереси по своимъ „слабостямъ“, и начали каждый по своему мудрствовать, и истинная вѣра, принятая отъ грековъ, содержится только въ російскихъ странахъ <sup>4)</sup>. Въ

<sup>1)</sup> А. Поповъ, II, стр. 108.

<sup>2)</sup> Тамъ же, II, стр. 221—223; „Изборникъ“, стр. 516—520.

<sup>3)</sup> Эта космографія воиолѣь издана въ „Изборникѣ“ 1869, стр. 508—511. Здѣсь же и упомянутая сейчасъ статья о царствѣ російскомъ.

<sup>4)</sup> Различныя европейскія страны—,прежде вси едину вѣру и истое крещеніе приѣмше еще при великомъ Константинѣ Олавіанѣ и вси равно содержатъ православную вѣру многая гѣта. Нинѣ же по навожденію дьяволу въ западныхъ странахъ, яже суть въ Италиіи и во Испаниіи и въ Германіи и во иныхъ нѣмецкихъ странахъ, разсѣяшася въ различныя ереси, приѣмше учителя по своимъ слабостямъ, и кождо своя мудрствоваху, яко же хотяху, отъ нихъ же и имена вѣрамъ своимъ изложиша,

болѣе подробномъ дальнѣйшемъ описаніи російскихъ странъ авторъ объясняетъ, что здѣсь находится настоящая христіанская вѣра, которую крѣпко держатъ цари и святители, и между ними никогда не было еретика, и ересей они никакъ не допускаютъ, и кто совратится, тѣхъ казнятъ смертью; въ чужія государства русскіе люди не ѣздятъ, чтобы не впасть въ ересь, и у себя дома „дохтуровъ“ и „философовъ“ имѣютъ мало <sup>1)</sup>. За російскимъ царствомъ слѣдуютъ королевство сербское и царство болгарское, въ которыхъ нѣкогда процвѣтала истинная вѣра, но теперь она сильно утѣняется турками: сербы терпятъ вмѣстѣ съ греками, но „отеческаго благочестія не отмечаютъ“; болгары прежде были правовѣрны, а теперь у нихъ „благочестія мало обрѣтается“.

Какъ мы видѣли до сихъ поръ, историческія свѣденія о славянствѣ продолжали быть скудными и въ нихъ было сначала простое повтореніе немногихъ южно-славянскихъ источниковъ, потомъ повтореніе книгъ латино-польскихъ. Последнія имѣли,

и другія убо нарицаются Палежницы, и нини же Лютори отъ нѣкоего еретика именемъ Мартина Лютора, и нини же Колвинцы, и Гусати (т.-е. гусаты) отъ нѣкихъ еретикъ Колвина и Яна Гуса, и отъ Филиппа нѣкогого рекомаго Мелентора (вѣроятно: Меланхтона), и ниниже Ариане, приѣмше Аріева бѣсованія, другія же новокщенцы (т.-е. анабаптисты), иже двояки крещаются первое точію водою, второе же масломъ помазуются, и двои имяни нарицахуся; къ симъ же мнози народи совратихася слабости ради, и отеческія преданія и церковныя пѣнія и посты премѣниша, точію російскія страны содержатъ прежнее православіе, иже приша отъ Грекъ“ (Изборникъ, стр. 511).

<sup>1)</sup> ...Царіе ихъ (русскихъ людей) и святители зѣло благочестивны... и доселѣ ни одинъ отъ нихъ не бысть еретикъ, елицы же отъ простыхъ людей хотя мало въ вѣрѣ поколеблюще и таковыхъ казнятъ заточеніями далними, не поваряющихся и смерти предають и ереси отнюдь никакойъ плодитися не допускають. По чужимъ государствамъ не ѣздятъ точію въ посолствѣ, боаящася да не отъ онѣхъ навикше въ ересь впадутъ, къ симъ же отъ своихъ государей и воли о семъ не имуть; сего же ради и навѣтуеми и ненавидими ото многихъ странъ яко вѣру христіанскую, иже приимаю отъ грекъ, держатъ крѣпко и непреложно, и ереси отнюдь ненавидять. Ученыхъ людей и дохтуровъ и философовъ имѣють у себя мало, для того что книжному писанію учени не вси, точію велможы и воинскіи люди и купецкіе лутчіе люди; прочіи же раби и поселане зѣло неучени и груби и мятежни и ропотливи, и сего ради отъ государей своихъ по премногому наказуеми и злыи люди казнимы злыми смертми... Государемъ же своимъ повинование и послушаніе имѣють зѣло велико, иже и во обычай приѣмше рѣчь сію глаголюще: воленъ Богъ да государь. Цари же ихъ зѣло самовластни и вся творять по воли ихъ; общій же народъ самовластва ихъ ради блюдохъ и востязуемъ велможамы и судіями градскими и господіями своими, не поущающе имъ ото обычныхъ преданій ни мало“... (Изборникъ, стр. 518—520). Г. Первольфъ („Славяне, ихъ взаимныя отношенія и связи“, Варшава, 1888, т. II, стр. 456—457) видитъ здѣсь простодушное повтореніе иностранныхъ разсказовъ,—но едва ли справедливо.

кажется, только то вліяніе, что побудили русскихъ книжниковъ къ собственной, изрѣдка нѣсколько самостоятельной, компіляціи, — какъ въ послѣднемъ приведенномъ примѣрѣ. Съ теченіемъ времени польское вліяніе выразилось сильнѣе. Начало его восходитъ собственно къ очень давнему времени, къ первымъ политическимъ и церковнымъ связямъ западной и южной Руси съ Польшею: двѣ униі, люблинская — политическая и брестская — церковная, только завершили готовившееся раньше движеніе и дали официальное господство культурному и литературному вліянію Польши. Дѣйствительно, въ западной Руси еще съ XV-го вѣка ясно сказываются иные нравы и иное отношеніе въ просвѣщенію, чѣмъ было въ тогдашней Москвѣ. Русскіе воспринимаютъ польское образованіе; съ конца XV-го вѣка извѣстны путешествія западно-русскихъ людей за границу; зная непосредственно Польшу, они знакомятся и съ чехами. Въ XIV—XVI вѣкахъ литература чешская была въ большомъ ходу въ Польшѣ; въ началѣ XV-го вѣка гуситы заходятъ въ западную Русь и встрѣчаютъ здѣсь извѣстное сочувствіе. Эти чужія вліянія отражаются, съ одной стороны, ростомъ полонизаціи, съ другой — возбужденіемъ образовательной дѣятельности въ средѣ и въ интересахъ самой западно-русской народности. Въ концѣ XV-го вѣка Швайпольтъ Фьоль дѣлаетъ первыя церковно-славянскія изданія въ Краковѣ, тогда какъ въ Москву книгопечатаніе проникло, притомъ съ великими препятствіями, только столѣтіе спустя. Въ началѣ XVI-го вѣка русскій докторъ Францискъ Скорина, учившійся въ Краковѣ, печатаетъ свою знаменитую библию въ Прагѣ; у издателей Острожской библии (1580—81) въ числѣ пособій была и библия чешская. Такимъ образомъ, въ западной Руси было иное общеніе съ славянскимъ міромъ; Польша господствовала здѣсь политически; сюда достигало отчасти и чешское движеніе, религиозное и литературное. Когда, наконецъ, въ западно-русской жизни сталъ развиваться, чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе, протестъ противъ гражданскаго и церковнаго утѣсненія православія, за политической и вѣроисповѣдной враждой не прервалось вліяніе культурное. Въ западной Руси и въ Кіевѣ утвердилась школа по латино-польскому образцу и основалась литературная русская школа въ польскомъ стилѣ.

Ученые западно-руссы и кіевляне хорошо владѣли тѣмъ знаніемъ, какое составляло тогда польскую науку; знали классиковъ, на которыхъ утверждалась схоластическая школа; знали ученые историческія книги на латинскомъ языкѣ. Немудрено, что, воспитанные въ однѣхъ школьныхъ понятіяхъ, они усвоивали приемы



польскихъ историковъ, повторяли и развивали ихъ на русскомъ языкѣ. Польскіе историки XVII-го вѣка не были уже простыми хронистами; они хотѣли быть учеными писателями, но понятія объ исторической критикѣ еще не было, въ древнюю исторію разрѣшалось вводить не только факты, но и сказки, иногда основанныя на какомъ-нибудь преданіи, но чаще вымышленныя, по примѣру средневѣковыхъ лѣтописцевъ, которые любили, напримеръ, привязывать новые народы къ классическому міру и выдумывали народныя генеалогіи. Въ XVII-мъ столѣтіи или даже раньше, вѣроятно черезъ западную Русь, эта книжническая мода зашла и въ Москву; въ Москвѣ повторяли польско-литовскія баснословія о древней исторіи славянъ и сочиняли новыя; кievскіе и западно-русскіе ученые XVII-го вѣка въ этомъ духѣ писали книги о русской исторіи... Извѣстно, что еще Иванъ Грозный ссылался на свое происхожденіе отъ Августа Кесаря — басня, которая, по мнѣнію Татищева, была занесена Глинскимъ изъ Литвы, и во всякомъ случаѣ была сочинена въ духѣ польскаго историческаго баснословія. Изъ Хроники Мартина Бѣльскаго и его сына Іоахима перешли къ русскимъ книжникамъ разныя баснословныя сказанія о славянской древности и, между прочимъ, мнимое посланіе Александра Македонскаго къ храброму славянскому народу. Не перечисляя этихъ исторій, ходившихъ въ старой русской письменности XVII-го вѣка, остановимся на двухъ-трехъ образчикахъ.

Въ одной редакціи стараго Хронографа помѣщена статья о томъ, отчего назвались московское государство, славяне и Русь. Статья прямо ссылается на польскія хроники, какъ свой источникъ и (примѣшивая также нѣчто изъ Несторовой лѣтописи) рассказываетъ удивительныя вещи о славянской древности. По словамъ статьи <sup>1)</sup>, „халдѣйскій философъ Беросусъ“ пишетъ, что славянской народъ произошелъ отъ седьмого сына Іафетова, Мосоха, отъ котораго получила имя и рѣка Москва. Многочисленные сыны Мосоха населяли Сарматію, участвовали съ греками въ осадѣ Трои, при чемъ убитъ былъ ихъ старѣйшина Венеть; потомъ удалились въ Илирикъ, основали надъ „Андріанскимъ“ моремъ городъ Виницею, затѣмъ многіе ушли въ Сарматію, заняли Далмацію и датсеую (вѣроятно, дакскую) землю, побѣдили македонянъ и взяли въ закладъ королевскаго сына Филиппа, отца Але-

<sup>1)</sup> „Выписано на перечень (т.-е. вкратцѣ) изъ дву Кроникъ Польскихъ, которые свидѣтельствованы з греческою и з чешскою и с угорскою кроникою многими писателями, отъ чего ямянуется великое московское государство и отъ коея повѣсти словяне нарекошася и почему Русь прозваса“, издано въ „Изборникѣ“, стр. 438—442.

ксандра Македонскаго, а потомъ отъ послѣдняго получили „листъ“ за печатью, которымъ славянскому народу предоставлялись всѣ земли отъ полночнаго ледовитаго моря до волошскаго, т.-е., вѣроятно, Адриатическаго. Затѣмъ славяне, подъ предводительствомъ своего князя Даницера (т.-е. Одоакра) взяли Римъ, захватили множество сокровищъ, и Даницеръ державствовалъ тамъ 14 лѣтъ, а послѣ былъ убитъ готами. Раздѣленіе славянскихъ племенъ объясняется тѣмъ, что славяне, „по многихъ лѣтъхъ“, взяли себѣ римскихъ женъ и „языкъ свой въ тонкую рѣчь извратили“ — такъ какъ дѣти навываютъ больше отъ матерей; такъ и послѣ, къ кажимъ странамъ приближались славяне, тѣ языки и принимали и „понемногу языка прироженнаго держать“: такъ одни измѣняли языкъ по-турецкому, другіе по-волошскому (итальянскому). „Истинный же столпъ языка словянскаго въ московстей земли“; московскіе люди приняли языкъ праѣдковъ прямо отъ „размѣшенія языковъ“ (т.-е. по разрушеніи Вавилонской башни); тѣмъ же языкомъ говорили чехи и ляхи, „но не истинно“, потому что „множество словесъ ихъ“ измѣнено отъ латинскаго и нѣмецкаго языка <sup>1)</sup>).

Далѣе, встрѣчается въ Хронографѣ подобная баснословная исторія о славянахъ, а также о началѣ русской земли и Новгорода, представляющая странную смѣсь вымысла и какъ будто обрывокъ мѣстнаго преданія <sup>2)</sup>. „Материаловъ для составленія этой повѣсти потребно было немного,—замѣчалъ А. Поповъ:—

<sup>1)</sup> Статья напечатана въ „Изборникъ“, стр. 438—442. Двѣ хроники, названныя въ заглавіи, А. Поповъ („Обзоръ“, II, стр. 203—204) считалъ хрониками Бѣльскаго и Стрийковскаго: этотъ послѣдній историкъ-баснописецъ польскій въ концѣ XVII-го вѣка также переведенъ былъ на русскій языкъ. Но г. Первольфъ объясняетъ, что здѣсь надо подразумѣвать не Бѣльскаго и Стрийковскаго, а двѣ хроники Бѣльскихъ Мартина и Иоахима; овъ объясняетъ и испорченное мѣсто въ текстѣ А. Попова стр. 441. (См. „Славяне, ихъ взаимныя отношенія и связи“, т. II, стр. 438—439). Въ подробности эта статья Хронографа еще не была сличена съ ея источниками. Хроника „чешской“ авторъ статьи не зналъ и указываетъ на нее только по ссылкѣ М. Бѣльскаго, который говоритъ, что чехи имѣютъ въ своей хроникѣ „листъ“ Александра Македонскаго къ славянамъ.

Источникъ басни объ Александрѣ Македонскомъ повидимому былъ дѣйствительно чешскій. Она появляется уже у одного безыменнаго чешскаго историка гуситской эпохи (начала XV-го вѣка), повторилась потомъ съ вариациями у многихъ послѣдующихъ историковъ—у чеховъ Гайка и Папроцкаго, у поляковъ Бѣльскаго, Стрийковскаго, Сарницкаго, у дамагинцевъ Орбини, Главинича и пр., наконецъ у русскихъ, не только въ XVII-мъ вѣкѣ въ хронографахъ, у Иннокентія Гизела, но даже и въ XVIII-мъ столѣтіи у князя Щербатова. Ср. Первольфа, „Славяне“, II, стр. 33—35, 295.

<sup>2)</sup> „О исторіи еме о началѣ рускія земли и созданіи Новаграда и откуду вчашеса родъ словенскихъ князей, а во иныхъ градографехъ сія повѣсть не обрѣтается“, издано въ „Изборникѣ“, стр. 442—447. „Обзоръ“, II, 204—205.

главное было усвоить себѣ точку зрѣнія польскихъ хронистовъ и ихъ приемы. Съ помощью послѣднихъ не трудно было составить вабую угодно генеалогію; стоило только олицетворить названія народовъ и племенъ, городовъ и рѣкъ, припомнить нѣсколько подходящихъ именъ изъ польскихъ и русскихъ источниковъ, и генеалогія готова“. Дѣйствительно, труда потребовалось немного. У Иафета были правнуки Скиѣ и Зарданъ (имя, скомпонованное въ предполагаемомъ древнемъ стилѣ). Отъ Скиѣа произошли, конечно, скиѣи; его потомками были пять братьевъ: Словенъ, Русъ, Болгаръ, Команъ, Истеръ—родоначальники соответствующихъ племенъ. Эта первая родословная указываетъ, какъ скудны были представленія исторіи, „не обрѣтающейся въ иныхъ хронографахъ“, о происхожденіи славянъ. Первые три имени были достаточно извѣстны; „команы“, или „куманы“, было названіе половцевъ, и попало сюда очевидно изъ упомянутого нами прежде отождествленія русовъ и кумановъ у византійцевъ<sup>1)</sup>; наконецъ, послѣднее названіе взято изъ другой статьи Хронографа, гдѣ упоминается народъ „Истрове“, можетъ быть отъ Истріи или отъ Истра—Дуная<sup>2)</sup>. Дальше рассказывается, что Словенъ поселился на рѣкѣ, называвшейся тогда Мутная и переименованной въ Волховъ по имени сына Словенова Волхва; городъ, тамъ основанный, былъ названъ Словенскомъ; впоследствии это былъ Новгородъ. Русъ поселился недалеко и основалъ городъ Русу, на рѣкѣ Русѣ и т. п. Дальше рассказывается о русскихъ князьяхъ, которые были во времена Александра Македонскаго и назывались Великосанъ, Асанъ и Авенхасанъ; Александръ хотѣлъ покорить ихъ, но по трудности похода это оказалось невозможнымъ, и онъ вмѣсто того послалъ имъ многіе дары и посланіе, подписанное „златопернатыми письменами“. Это—другой вариантъ упомянутого выше посланія, болѣе кудреватый, гдѣ русскимъ князьямъ предоставлялись страны между морями Варяжскимъ и Хвалимскимъ. Князья приняли „пречестнѣйшую епистолю“ Александра и повѣсили ее въ своей божицѣ по правую сторону идола Велеса. Далѣе, послѣ новыхъ баснословій, вкратцѣ перечисляются славянскія племена и русскіе инородцы: это—обрывки изъ Нестора.

Наконецъ, у западныхъ и южныхъ русскихъ писателей XVII-го вѣка эта манера изобрѣтать происхожденіе славянскихъ племенъ стала считаться какъ бы узаконенной. Они писали уже не какъ

<sup>1)</sup> См. выше: „Русь, иже и Куманъ“.

<sup>2)</sup> Въ „Изборникѣ“, стр. 441. Къ этому мѣсту см. поправку у Первольфа, II, стр. 439.

наивные компиляторы Хронографа, а хотѣли быть учеными; они знали старую русскую лѣтопись, но для древнихъ временъ свои авторитеты они находили у польскихъ историковъ, какъ оба Бѣльскіе, Гваньини, Кромеръ, Стрыйковскій и пр. Такими учеными историками были Захарія Копыстенскій, авторъ „Палинодіи“ (1621); Сильвестръ Коссовъ, составитель Патерика на польскомъ языкѣ (1635); уніатъ Левъ Креуса или Кревза, авторъ польской книги въ защиту уніи (1617); Θεодосій Софоновичъ, авторъ „Кроники“ (1672); собиратель малорусской лѣтописи, извѣстной подъ названіемъ Густинской (въ половинѣ XVII-го столѣтія), и особливо Иннокентій Гизель, котораго „Синописисъ“ (1674)—первая печатная русская исторія—составленный въ этомъ духѣ, долго господствовалъ въ извѣстномъ кругу, какъ историческое руководство, и въ послѣдній разъ изданъ былъ въ Кіевѣ въ 1861 г.

Нѣтъ надобности исчислять другіе варианты баснословій, которыя изображали мнимую славянскую древность и удѣляли даже въ гораздо болѣе позднихъ сочиненіяхъ XVIII-го вѣка. Баснословія свидѣтельствовали не только объ отсутствіи критическаго смысла въ предметахъ исторіи, но и о недостаткѣ живыхъ свѣденій о современномъ славянствѣ; когда заходила рѣчь о славянскихъ единоплеменникахъ, въ распоряженіи русскаго книжника XVII-го вѣка были только отрывочныя свѣденія Хронографа, заимствованныя изъ чужого источника, и особливо фантастическія розказни объ Іафетѣ, Словенѣ и Русѣ и т. п. Надо удивляться, что въ теченіе всего до-Петровскаго періода въ нашей письменности не нашлось этихъ живыхъ свѣденій о славянствѣ. Въ первые вѣка нашей исторіи, какъ мы видѣли, существовали близкія отношенія съ славянскимъ югомъ, свидѣтельствомъ которыхъ остались многочисленные памятники нашей письменности, несомнѣнно пришедшіе съ юга; это общеніе началось вѣроятно еще раньше крещенія Владиміра (богослужебныя книги должны были явиться уже съ первыми христіанами) и, судя по памятникамъ южно-славянскаго происхожденія въ нашей письменности, продолжалось безъ перерывовъ до начала XV-го вѣка <sup>1)</sup>. И не-

<sup>1)</sup> Эта южно-славянская литература, преимущественно церковная, но также историческая, апокрифическая и поэтическая, приходившая къ намъ въ X—XV-хъ вѣкахъ, вызвала у насъ множество отдѣльных изслѣдованій; полный обзоръ церковныхъ памятниковъ за древній періодъ предпринять былъ въ извѣстной „Исторіи русской церкви“ г. Голубинскаго, а недавно въ книжкѣ А. С. Архангельскаго: „Къ изученію древне-русской литературы. Творенія отцовъ церкви въ древне-русской письменности“. Спб. 1888. Но главною цѣлью этихъ обзоровъ не были именно литературныя связи древней Руси съ южнымъ славянствомъ, и опредѣленіе путей и хронологіи этихъ связей еще ждетъ изслѣдованія.

смотря на обиліе письменныхъ фактовъ, свидѣтельствующихъ объ этой литературной связи, у насъ осталось все-таки очень мало данныхъ о томъ, какъ и когда она совершалась, а главное она чрезвычайно мало отразилась на увеличеніи русскихъ свѣденій о славянскомъ югѣ. Причина этого, конечно, страннаго явленія могла заключаться только въ скудости просвѣщенія и въ связанной съ нею ограниченности умственныхъ интересовъ; но съ другой стороны давняя исторія не прошла безслѣдно: въ результатѣ оставалось хотя смутное, но твердое представленіе о солидарности съ этимъ славянскимъ югомъ, которая утверждалась на церковной связи, составлявшей въ тѣ времена основу національныхъ воззрѣній. Когда на Русь приходили изрѣдка православные юго-славяне, іерархи или книжные люди (какъ митр. Кипріанъ, Пахомій Логоетъ, Григорій Памвлакъ и пр.), или приходили потомъ ходатаи о „милостынь“ для южно-славянской церкви, угнетаемой турецкимъ владычествомъ, они принимаемы были какъ близкіе люди, ихъ интересы или бѣды были понятны, помощь имъ казалась долгомъ православнаго благочестія, а вмѣстѣ и долгомъ государственнаго достоинства, который брала на себя сама власть. Если прежде славянскій югъ былъ для русскихъ источникомъ церковно-книжныхъ заимствованій, то съ XV-го вѣка роли измѣнились: южно-славянскія царства не существовали, Москва была сильное государство и все больше считала себя не только политической, но и церковной представительницей восточно-православнаго міра. Южное славянство было частью этого міра, но спеціальнаго вниманія, именно какъ славянство, оно не привлекало и его знали поверхностно. Оно, напротивъ, все больше начинало искать въ московскомъ государствѣ защиты и покровительства; московскіе люди видѣли это, и довольствовались тѣмъ, что питалось ихъ высокоуміемъ...

Политическое и православное значеніе Москвы стало распространяться ретроспективно на старыя времена. Въ баснословныхъ повѣстьяхъ Хронографа видно уже, что въ славянскомъ племени первенство отдается русскому народу: напр., Москва получаетъ имя отъ древнѣйшаго родоначальника Мосоха; Словенъ и Русь — главнѣйшіе представители племени; Александръ Македонскій адресуетъ епистолю къ русскимъ славянамъ; російскій народъ главнымъ образомъ остался вѣренъ древнему, нѣкогда общему, православію, которое по дьявольскому навожденію потеряно западными народами, въ томъ числѣ славянскими, и котораго „мало обрѣталось“ у самихъ южныхъ славянъ, покоренныхъ турками.

Это первенство русскаго племени указываетъ и въ другомъ

отношеніи. „Славено-россійскій“ языкъ есть главный и самый чистый и подлинный славянскій языкъ; остальные испорчены чужими примѣрами... Въ русской письменности издавна были извѣстны древнія житія св. Кирилла и Меѳодія, и съ ними подлинная исторія крещенія славянъ, изобрѣтенія азбуки, перевода священныхъ книгъ. Съ теченіемъ времени эти факты казались недостаточными; они мало-по-малу видоизмѣняются въ позднѣйшихъ изложеніяхъ и, наконецъ, въ одномъ изъ послѣднихъ по времени хронографовъ рассказывается, что греческій философъ Кириллъ жилъ въ Кіевѣ, переводилъ книги и училъ князя Владиміра; другіе сообщали, что Кириллъ изобрѣлъ письмена для „славянъ и россовъ“, или что впервые Русь крещена была апостоломъ Андреемъ, а во второй разъ при царѣ Михаилѣ и патріархѣ Фотіи въ 863 году, и т. д. <sup>1)</sup>

Послѣ паденія Константинополя начинается все больше ростъ не только церковное значеніе Россіи въ глазахъ ея единовѣрцевъ на востокѣ, но и значеніе политическое: греки, южные славяне и иные православные народы, подпавшіе турецкому игу, ожидаютъ отъ нея освобожденія, но и въ глазахъ западныхъ государствъ Россія становится силой, на которую можно рассчитывать для борьбы съ турецкимъ нашествіемъ. Паденіе Константинополя и послѣдующія завоеванія турокъ сильно пугали Европу и не безъ основанія, когда турки вполнѣ овладѣвали Венгеріей и доходили до самой Вѣны; московское государство приглашаютъ неоднократно въ союзы противъ турокъ, подручникъ которыхъ, крымскій ханъ, все еще оставался для русскихъ опаснымъ врагомъ. Сверженіе татарскаго ига въ Россіи, завоеваніе восточныхъ татарскихъ царствъ взятіемъ Казани и Астрахани, потомъ занятіе Сибири, и внѣ союза съ Европой дѣлали Россію участницей въ борьбѣ противъ мусульманской силы, другая отрасль которой грозила западной Европѣ. Такимъ образомъ, въ тѣ вѣка возникаетъ въ этомъ вопросѣ извѣстная солидарность христіанскихъ народовъ противъ мусульманства, которая все больше вовлекаетъ Россію въ политическія сношенія и связи съ западомъ. Такъ какъ южные славянскіе народы были въ особенности близки къ событіямъ—одни изъ нихъ тщетно отстаивали остатки своей свободы (какъ сербы), а другіе (какъ хорваты) могли со дня на день ожидать себѣ той же участи,—то естественно, что они обра-

<sup>1)</sup> А. Попова, „Обзоръ“, II, стр. 241; у Первоульфа, „Славяне“, II, стр. 447—455, приведены различныя варианты сказаній о крещеніи славянъ и русскаго народа; относительно понатій о русскомъ языкѣ, отождествляемомъ съ славянскимъ, тамъ же, II, стр. 468—470.

щались съ своими надеждами къ родственному сѣверному народу. Славяне, обитавшіе въ глуби Балканскаго полуострова, были слишкомъ разорены и подавлены, чтобы подать свой голосъ въ этихъ событіяхъ; они искали въ Россіи только милостыни, брали отъ нея теперь въ свою очередь священныя книги; но съ сербо-хорватскаго запада раздавались голоса сочувствій и надеждъ на сѣверное славянское царство. Таковы были многочисленныя обращенія къ русскому народу въ блестящей далматинской литературѣ XVII-го и затѣмъ XVIII-го вѣка. Далматинскихъ поэтовъ привлекало не чувство единовѣрія, — обыкновенно это были католики, — но политическія надежды, въ которыхъ льстило имъ и чувство національное: могущественный народъ, о которомъ заговорили въ Европѣ, былъ ихъ близкій родичъ. Привѣты далматинскихъ поэтовъ <sup>1)</sup>, безъ сомнѣнія, не доходили до Москвы; по крайней мѣрѣ не сохранилось объ этомъ никакихъ указаній. Непосредственныя отношенія не существовали; западное славянство знало о русскомъ народѣ по отрывочнымъ старымъ преданіямъ, по новой политической молвѣ, наконецъ по сочиненіямъ иностранцевъ (особливо пословъ), бывавшихъ въ Москвѣ. Что знали о западныхъ славянахъ въ Москвѣ, мы выше видѣли: собственныхъ свѣденій не было; о западной Европѣ узнавали вообще изъ полусознательно переводимыхъ „космографій“, въ составѣ которыхъ и къ намъ заходили труды „боярина Герберштана“. Изрѣдка бывали въ Москвѣ въ имперскихъ посольствахъ славянскіе уроженцы, и обѣ стороны чувствовали племенное родство, но впечатлѣнія оставались поверхностными, потому что были рѣдки и случайны, не сопровождались какимъ-либо точнымъ знаніемъ этихъ, и своихъ, и чужихъ, славянъ и не вели къ болѣе тѣсному сближенію.

Въ концѣ концовъ однако съ западно-славянской стороны дѣло сложилось иначе. Политическій и національный интересъ скоро нашелъ здѣсь мѣсто въ литературѣ, сталъ достояніемъ не только поэзіи, но и науки, получалъ распространеніе, становился сознательнымъ. Не мудрено, что именно здѣсь, въ ближайшемъ далматинскомъ сосѣдствѣ <sup>2)</sup>, у хорватовъ, явился оригинальный человекъ, который сталъ однимъ изъ первыхъ, если не первымъ панславистомъ и именно поставилъ вопросъ о дѣйствительномъ, жизненномъ, политическомъ и культурномъ сближеніи и объеди-

<sup>1)</sup> См. указанія относящихся сюда эпизодовъ далматинской литературы у Первольфа, „Славяне“, и пр., II, стр. 351—394.

<sup>2)</sup> Г. Первольфъ замѣчаетъ однако, что Крижаничу, о которомъ говоримъ, не была известна упомянутая сейчасъ славянско-патріотическая поэзія далматинцевъ.

неніи славянства задачею своей жизни. Это былъ Крижаничъ (род. 1617, ум. послѣ 1683).

Этотъ замѣчательный славянинъ долго оставался почти совсѣмъ неизвѣстенъ историкамъ славянства и русской литературы, и его жизнь и произведенія стали разъясняться съ тѣхъ поръ, какъ въ 1856 г. были найдены г. Безсоновымъ и послѣ напечатаны главнѣйшіе труды Крижанича, написанные имъ въ Россіи. Когда эти любопытныя произведенія были открыты у насъ, то начались ученые розыски и на его хорватской родинѣ, и біографія Крижанича нѣсколько опредѣлилась, хотя до сихъ поръ въ ней остаются темныя пунеты <sup>1)</sup>.

Біографія и дѣятельность Крижанича представляютъ нѣчто столь своеобразное, что другого подобнаго примѣра не было въ славянской политической и литературной исторіи и нѣтъ до сихъ поръ. Мы коснемся ихъ лишь настолько, сколько это нужно для нашего предмета.

Крижаничъ былъ самымъ сильнымъ выраженіемъ тѣхъ стремленій, какія развивались въ юго-западномъ славянствѣ подъ указанными выше политическими вліяніями, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ, какъ сильная историческая личность, вносилъ въ нихъ и свое, личное, опережавшее вѣкъ, вслѣдствіе чего онъ не имѣлъ того дѣйствія, какое отвѣчало бы широтѣ его замысловъ. Можно думать, что онъ не имѣлъ даже никакого дѣйствія. Въ свое время труды его, писанные въ Россіи, были извѣстны только очень немногимъ лицамъ, а вскорѣ потомъ были такъ основательно забыты, что въ наше время они появились какъ новое негаданное открытіе—черезъ двѣсти лѣтъ послѣ того, какъ были писаны; но еслибы они были извѣстны и больше въ XVII-мъ столѣтіи, сомнительно, чтобы они могли оказать вліяніе въ той средѣ, какую представлялъ нашъ XVII-й вѣкъ.

Хорватскій уроженецъ, Крижаничъ получилъ широкое по тому времени ученое образованіе; онъ учился въ Загребѣ, Вѣнѣ, Болоньѣ и доканчивалъ свои занятія въ Римѣ, въ греческой коллегіи, основанной спеціально для распространенія уніи между послѣдователями греческаго православія. Хорошо изучивши богословскую литературу, знакомый съ науками политическими, онъ

<sup>1)</sup> Послѣ первыхъ разысканій о Крижаничѣ г. Безсонова и хорватскаго ученаго Кукульевича-Сакцинскаго, укажемъ изъ литературы о немъ: Костомарова, „Р. Исторія въ жизнеописаніяхъ“, вып. 5-й, Спб. 1874, стр. 429—457; Арс. Маревича, „Юрій Крижаничъ и его литературная дѣятельность“. Варшава, 1876; Козубскаго, „Замѣтки“ въ Журн. Мин. Прос. 1878, май; А. Брикнера, „Ю. Крижаничъ“, въ „Р. Вѣстникъ“, 1887, іюнь—іюль; Первольфа, „Славяне“ и пр., II, стр. 309—351.



зналъ, кромѣ славянскихъ, языки латинскій, нѣмецкій, итальянскій; проживъ по окончаніи своего ученія нѣсколько лѣтъ въ Римѣ, онъ сдѣлалъ также путешествіе въ Константинополь, гдѣ еще ближе узналъ греческій языкъ и литературу и изучилъ самихъ грековъ, къ которымъ возымѣлъ крайнюю вражду. Онъ не взлюбилъ ихъ за коварство и высокомеріе, соединившіяся съ невѣжествомъ; съ другой стороны, хотѣли объяснить эту вражду тѣмъ, что Крижаничъ все-таки былъ католикъ. На нашъ взглядъ, это послѣднее соображеніе едва ли имѣло важность, какою ему приписываютъ. Если вспомнить, чѣмъ были тогда константинопольскіе греки, нарождавшіеся фанариоты, то вражда Крижанича могла бы быть объяснена и безъ вѣроисповѣдныхъ мотивовъ, тѣмъ болѣе, что эти мотивы совершенно отсутствовали въ его отношеніи къ такимъ же и, можетъ быть, еще болѣе исключительнымъ православнымъ, русскимъ. Какъ бы то ни было, но Крижаничъ, воспитанный въ стремленіяхъ къ униі, къ соединенію церквей подъ главенствомъ папы (самъ онъ имѣлъ тогда титулъ загребскаго каноника), по-видимому уже скоро и основательно охладѣлъ къ вѣроисповѣдному вопросу и вполне увлекся другимъ—вопросомъ національнымъ.

Въ 1658 Крижаничъ былъ въ Вѣнѣ и встрѣтился здѣсь съ русскимъ посланникомъ Лихаревымъ, который зазывалъ иноземцевъ на русскую службу; московскіе послы произвели на Крижанича весьма непріятное впечатлѣніе своими грубыми правами; тѣмъ не менѣе онъ предложилъ свои услуги. Въ началѣ слѣдующаго года онъ выѣхалъ въ Москву, но обстоятельства заставили его пробыть довольно долго въ Малороссіи. Онъ воспользовался этимъ временемъ, чтобы познакомиться съ положеніемъ дѣлъ въ Малороссіи, переживавшей тогда первое время соединенія съ московскимъ государствомъ. Результатомъ его изученій было два сочиненія <sup>1)</sup>, въ которыхъ онъ изложилъ свои взгляды на отношенія Малороссіи къ Россіи и Польшѣ; послѣднюю онъ осуждалъ за политическую неурядицу, видѣлъ ошибки въ дѣйствіяхъ русской власти въ Малороссіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ убѣждалъ „черкасъ“ оставаться вѣрными царю и союзу съ Москвою. Въ концѣ 1659 или въ началѣ 1660 года Крижаничъ отправился, наконецъ, въ Москву, а 20-го января 1661 года онъ былъ уже сосланъ въ Тобольскъ. Правда, его сослали туда „быть у государевыхъ дѣлъ,

<sup>1)</sup> „Putno opisanie od Lewowa do Moskwi“ и „Besida ko Czerkasom, wo osobі Czerkaza prizana“, 1659, упомянуты въ первый разъ, безъ имени автора, въ „Исторіи Россіи“ Соловьева, т. XI, и послѣ изданія, не латинскими, а русскими буквами, г. Кулишомъ въ „Чтеніяхъ“ Московскаго Общества Ист. и Древностей, 1875, кн. III.

у казыхъ пристойно“, и положено жалованье семь рублей съ полтиною въ мѣсяць,—но это была все-таки ссылка: Крижаничъ прожилъ въ Тобольскѣ цѣлыхъ шестнадцать лѣтъ, и освободился уже только по смерти Алексѣя Михайловича, въ 1776 году.

Что было причиною ссылки, неизвѣстно. Хорватскій биографъ Крижанича, Кукульевичъ, говорить, что русскіе должны красить за такую жестокость съ пламеннымъ славянскимъ народолюбцемъ; русскій биографъ находитъ это замѣчаніе „не совсѣмъ справедливымъ“ и требующимъ большихъ комментариевъ. Его комментарии состоятъ въ томъ, что, ссылаясь на Соловьева, онъ предполагаетъ, что „латинскій попъ“ (какъ Соловьевъ называлъ Крижанича), вѣроятно, не могъ удержаться отъ выходовъ противъ грековъ, какъ схизматиковъ (?), и отъ другихъ подобныхъ, которыя сильно должны были оскорбить тогдашнихъ русскихъ людей; биографъ соглашается, что самый приходъ Крижанича въ Москву былъ „преждевременнымъ“, что его не могли тамъ понять. „Однимъ словомъ, Москвѣ необходимо было (?) „сбыть съ рукъ такого безпокойнаго и подозрительнаго человѣка“, и ссылка въ Сибирь была для Крижанича естественнымъ (?) и самымъ счастливымъ по тому времени исходомъ“<sup>1)</sup>. Это мало опровергаетъ хорватскаго биографа, который именно хотѣлъ сказать, что въ Россіи не поняли этого славянскаго патріота; и когда бы приходъ его въ Россію могъ быть не „преждевременнымъ“? Къ замѣчанію Соловьева о томъ, что Крижаничъ могъ въ Москвѣ нападать на грековъ какъ на „схизматиковъ“, мы возвратимся дальше. Въ Москвѣ понялъ его, кажется, только бояринъ Борисъ Морозовъ, который съ удовольствіемъ бесѣдовалъ съ ученымъ пришельцемъ и сказалъ однажды: „о, почему я не моле, чтобы и мнѣ научиться чему-нибудь хорошему!“<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Маркевичъ, стр. 21—23.

<sup>2)</sup> Крижаничъ повторяетъ эти слова боярина Морозова и въ особой статьѣ, которую посвятилъ „незнанію“. „Наибольшая часть людей на свѣтѣ,—говоритъ онъ,—проводитъ жизнь въ незнаніи первыхъ началковъ или такихъ вещей, которыя должны бы быть всякому отроку извѣстны. И живутъ люди, такъ сказать, въ незнаніи жизненной азбуки. Кто хочетъ имѣть явное тому доказательство, пусть посмотритъ во всей землѣ и увидитъ, сколько есть на ней людей, старихъ и молодыхъ, которые не знаютъ правой вѣры. Не говоримъ объ иныхъ многихъ полезныхъ для жизни вещахъ. Отсюда происходятъ тѣ желанія старцевъ, когда они желаютъ, чтобы возвратились къ нимъ прежнія времена, и ненавидятъ свои минувшія дѣянія“... Онъ приводитъ въ примѣръ гомеровскаго Нестора, царя „Карула патаго“, жалвашаго въ старости, что не учился латинскому языку, и продолжаетъ: „Тако мужъ вѣчна памяти достоенъ Борисъ Ивановичъ Мразовъ, нѣбогда велеше (говорилъ): О про что азъ вѣсмъ млажій, да бѣхъ ся моголъ что добра научить“.

Ссылка была, конечно, тяжкимъ ударомъ для Крижанича; когда она истощала его терпѣніе и онъ хотѣлъ обратитъ къ царю свои просьбы, онъ жалуется, что „не могъ добыть чело-вѣка, который бы послалъ или донесъ къ царю его слезы и чело-биты“. Но и эта тягость не помѣшала Крижаничу усиленно работать. Имъ написано было нѣсколько между прочимъ весьма обширныхъ сочиненій, которыя, какъ мы замѣтили, издаются только теперь, черезъ двѣсти лѣтъ послѣ ихъ написанія. Крижаничъ пришелъ въ Россію, чтобы служить русскому дѣлу, которое онъ отождествлялъ съ славянскимъ; онъ хотѣлъ предложить свое знаніе, свой опытъ въ славянскихъ дѣлахъ, указать истинный путь къ защитѣ русскихъ и славянскихъ интересовъ противъ окружавшей ихъ вражды. Говоря позднѣйшимъ языкомъ, онъ былъ пламенный панславистъ; у него были свои односторонности, пристрастія, крайности, но вмѣстѣ съ тѣмъ были и такія широкія воззрѣнія, до которыхъ не дошли и теперь многіе изъ партизановъ славянскаго единства. Въ посвященіи одного изъ своихъ сочиненій царю Алексѣю Михайловичу Крижаничъ объясняетъ, зачѣмъ онъ пришелъ въ Россію, и справедливы ли тѣ, которые нападаютъ на него, называя его бродягою. Было три дѣла, для совершенія которыхъ онъ пришелъ въ Россію. Во-первыхъ, замѣтилъ я (говоритъ онъ) еще въ своей младости, что нашъ славянскій языкъ отъ иныхъ языковъ „прехудо есть оскверненъ, смятенъ, извращенъ, и мало не весь до конца изгубленъ“; поэтому онъ издавна стремился къ тому, чтобы славянскій языкъ былъ обработанъ, чтобы мы имѣли добрую грамматику и лексиконъ и приобрѣли „обиліе рѣчей, съ волико есть потребно къ произъявленію человѣческихъ замысловъ, во всякомъ говоренію, при общихъ народныхъ справахъ“ (общественныхъ дѣлахъ). Во-вторыхъ, онъ замѣтилъ, что славянскій народъ раздѣляется на шесть „удѣловъ“: русскій, ляхскій, чешскій, болгарскій, сербскій и хорватскій; всѣ они имѣли нѣкогда своихъ „домородныхъ“ королей или владѣтелей, а теперь только одинъ русскій удѣлъ имѣетъ своего царя, тогда какъ остальные подчинены чужимъ народамъ <sup>1)</sup>; и къ этому присоединяется другое зло: только у русскихъ, чеховъ и поляковъ есть свои „удѣльные“ лѣтописцы, между тѣмъ о цѣломъ народѣ до сихъ поръ нѣтъ никакой настоящей исторіи. А нѣмцы не перестаютъ каждый годъ издавать свѣжія книги, распространяя клеветы и брань

<sup>1)</sup> Сюда причисляетъ онъ и поляковъ, которые сажаютъ у себя королей изъ нелемцевъ.

особливо на русскій удѣль. Поэтому Крижаничъ хотѣлъ уничтожить этотъ „нѣмецкій заворъ“, и, не имѣя средствъ на составленіе такихъ книгъ, пришелъ въ Россію, чтобы просить „жалованья“, нужнаго на совершеніе труда, который онъ желалъ исполнить— „Богу и тебѣ, царю господарю, на честь, а всему народу на пользу многу и утѣху“. Третья причина была та: онъ читалъ во многихъ книгахъ, слышалъ въ разговорахъ, бесѣдовалъ съ московскими посланцами въ другихъ земляхъ, и изъ всего этого увидѣлъ, что въ московскомъ царствѣ не понимаютъ многихъ вещей, которыя потребно знать, а именно не понимаютъ, какими многоразличными хитростями иноземцы „ежедень“ обманываютъ и дурачатъ это преславное царство; — въ своихъ книгахъ онъ хотѣлъ также объяснить эти вредные обманы. Въ другомъ сочиненіи, „De Providentia Dei“, писанномъ по латыни, Крижаничъ негодуетъ на несправедливость людей, которые хотѣли опорочить его, называли его бродягой и волокитой (*im merito quidam me appellarunt Errorem, Vagum, Wolokitum*): „я прибылъ къ единственному на свѣтѣ государю своего народа и языка, къ своему народу и на свою родину. Я пришелъ въ такое мѣсто, въ которомъ одномъ могутъ быть полезны и плодотворны мои труды... скорѣе во всякой другой части свѣта я былъ бы бродягою и странникомъ, чѣмъ въ этомъ государствѣ“.

Въ своихъ сочиненіяхъ онъ дѣйствительно останавливается на тѣхъ предметахъ, о которыхъ говорить въ посвященіи царю. Одно изъ нихъ занято вопросомъ о языкѣ: это—грамматика славянскаго языка, но не древняго и не какого-нибудь изъ новыхъ нарѣчій, а изобрѣтеннаго имъ самимъ языка обще-славянскаго, въ основѣ котораго положенъ языкъ русскій. Другой его трудъ былъ посвященъ русской исторіи: это были обширныя извлеченія изъ лѣтописей, а также изъ иностранныхъ писателей о Россіи; работы надъ русской исторіей, оставшіяся впрочемъ неоконченными, были, вѣроятно, только частью плана, обнимавшаго исторію всего славянства. Далѣе, „Политика“ и сочиненіе „О промыслѣ“ (*De Providentia Dei*) посвящены были внѣшней и внутренней политикѣ, вопросамъ церковному и славянскому, русскимъ нравамъ и управленію, отношеніямъ съ иноземцами и т. д.

Крижаничъ явился въ Россію уже съ готовыми основными взглядами на славянскую исторію и значеніе Россіи. Только въ одномъ его взгляды могли совпадать съ понятіями, какія имѣлись въ самой Россіи, именно, въ высочайшемъ мнѣніи о московскомъ государствѣ, народѣ и языкѣ; но и здѣсь была великая разница между тѣмъ, что думалъ онъ и что думали тогдашніе

русскіе люди. Московское государство и народъ, которые Крижаничъ возвеличивалъ, на которые возлагалъ надежды, были не тѣ, какіе въ ту минуту существовали, а какими онъ желалъ ихъ видѣть въ будущемъ—народъ и государство, преобразованные во внутреннемъ политическомъ устройствѣ и общественномъ бытѣ, самостоятельны просвѣщенные, сознающіе свое достоинство и дѣятельные. Крижаничъ дѣлалъ выводъ изъ славянскихъ историческихъ отношеній; въ Москвѣ ихъ не знали и увлекались національнымъ тщеславіемъ: Россія, именно въ томъ видѣ, какъ она была, казалась совершеннѣйшимъ государствомъ, между тѣмъ Крижаничъ находилъ въ ней много коренныхъ и зловредныхъ недостатковъ, безъ устраненія которыхъ немислимо ея процвѣтаніе; книги его полны укоровъ и требованій исправленія, и въ особенности настаивали на необходимости просвѣщенія. Если и здѣсь понятія Крижанича далеко не совпадали съ мыслями москвичей, то въ другихъ случаяхъ онъ высказывалъ взгляды для Москвы совсѣмъ неслыханные, сообщалъ свѣденія совершенно новыя и вообще велъ разсужденія о такихъ вопросахъ и съ такихъ точекъ зрѣнія, какихъ въ Москвѣ не знавали.

Въ своемъ грамматическомъ сочиненіи (по которому, при всѣхъ его ошибкахъ, Бодянской называлъ Крижанича отцомъ славянской сравнительной филологіи), авторъ стремился дать славянамъ одно великое средство общенія, недостатокъ котораго сильно вредилъ имъ—общій книжный языкъ. Это—въ основѣ русскій языкъ, добавленный изъ родного писателю хорватскаго, въ которомъ Крижаничъ видѣлъ многія удѣлѣвшія черты древняго чистаго славянскаго языка. Во всей семьѣ славянскихъ народовъ, а также и нарѣчій, Крижаничъ даетъ первое мѣсто русскимъ, не потому только, что они были тогда самымъ сильнымъ народомъ изъ всего племени, но и потому, что они были кореннымъ народомъ по самой исторіи. Ошибочно,—говорить онъ,—тотъ языкъ, на которомъ мы пишемъ и совершаемъ божіи службы, называть славянскимъ (словинскимъ); онъ долженъ называться русскимъ. Изъ всѣхъ славянскихъ племенъ старшее и „остальнымъ всѣмъ зачальное“ есть племя русское. Тѣ славяне, которые при императорѣ Маврикіи перешли Дунай и явились въ областяхъ римской имперіи, были вѣтвью русскаго народа: они назывались сначала общимъ именемъ славянъ (словинцы), а потомъ раздѣлились на три „кравелства“ и назвались по своимъ предводителямъ народами болгарскимъ, сербскимъ и хорватскимъ. Другія вѣтви русскаго племени пошли на западъ и основали государства польское и моравское или чешское. Такъ какъ „сло-

винцы“ первые воевали съ греками и римлянами, то ихъ имя и осталось въ книгахъ, и наши лѣтописцы подумали, что и весь народъ происходитъ отъ словинцевъ (славянъ),—но это невѣрно: несомѣнно, что русское племя и имя есть остальнымъ всѣмъ вершина и корень, и потому, если мы хотимъ обнять общимъ именемъ всѣ шесть нашихъ поколѣній и всѣ шесть язычныхъ „отмѣнъ“, не подобаетъ называть ихъ новѣйшимъ словинскимъ, а лучше—предавшимъ и кореннымъ именемъ русскимъ. Такимъ образомъ не русскій языкъ есть „отмѣна“ славянскаго, а всѣ остальные нарѣчія суть отродки русскаго языка. Тотъ языкъ, которымъ мы пишемъ <sup>1)</sup>, долженъ по правдѣ называться не славянскимъ, а русскимъ,—какъ потому, что отъ русскихъ произошли всѣ славянскія племена, такъ и потому, что славянскій (древнѣй) языкъ всего больше похожъ на нынѣшній русскій, чѣмъ на какое-нибудь другое славянское нарѣчье <sup>2)</sup>.

Мнѣніе Крижанича о первенствѣ и превосходствѣ русскаго языка не было произвольнымъ пристрастіемъ. Онъ доказывалъ его характеристикой состоянія языка у другихъ славянскихъ племенъ. Всѣ славянскія племена, кромѣ русскаго, покорены были другими народами и изгубили (потеряли) „вои третину, вои половину своего отечскаго языка, и всякій день больше губять“. Остальные славяне, кромѣ русскихъ, подчинены чужимъ народамъ—нѣмцамъ, венграмъ, итальянцамъ, туркамъ, и отсутствие политической самостоятельности необходимо сопровождается искаженіемъ и паденіемъ языка: „потому что гдѣ нѣтъ у народа книжныхъ писателей, ни королевскихъ приказовъ, ни народнаго устройства и законодательства на собственномъ языкѣ, тамъ необходимо языкъ искажается и погибаетъ; а гдѣ королевственное (государственное) дѣло и народное законодательство устроено на собственномъ языкѣ, тамъ языкъ обыкновенно бываетъ обильнымъ и день ото дня болѣе стройнымъ“. Замѣчаніе—для XVII-го вѣка

<sup>1)</sup> Онъ разумѣетъ, вѣроятно, славяно-русскій языкъ нашей тогдашней письменности.

<sup>2)</sup> Маркевичъ, стр. 168, дѣлаетъ странное замѣчаніе: „Крижаничъ, какъ видимъ, не зналъ о переводѣ св. писанія съ болгарскаго языка (?) и полагалъ, что болгары и всѣ другіе славянскіе народы перевели св. книги съ языка русскаго (древняго)“. Г. Первольфъ, ближе къ дѣлу, указываетъ (II, стр. 321), что о русскомъ народѣ и языкѣ, какъ древнѣйшемъ славянскомъ, часто рассуждали старыя книжки польскіе и чешскіе, и мнѣніе, что церковный языкъ словенскій есть именно русскій, было также довольно распространено. Взгляды Крижанича покажутся еще менѣе странными, если вспомнить, что вопросъ о томъ, какому именно племени принадлежитъ языкъ древняго перевода св. писанія, остается донныи открытымъ, и что историческую родину славянскаго племени многіе ищутъ въ западныхъ краяхъ нынѣшней Россіи.

чрезвычайно любопытное. Поэтому, продолжаетъ Крижаничъ, у болгаръ нечего и исвать: тамъ языкъ такъ изгубленъ, что отъ него едва слѣдъ остается; у ляховъ половина рѣчей примѣшена изъ иныхъ различныхъ языковъ; въ чешскихъ книгахъ обрѣтается языкъ болѣе чистый, чѣмъ у ляховъ; да и онъ не мало загрязненъ. А сербляны и хорваты такъ изгубили свой дѣдинскій языкъ, что кромѣ домашняго дѣла ни о какомъ другомъ дѣлѣ не могутъ сотворить никакой годной бесѣды, какъ нѣкто написалъ объ нихъ: хорваты-де и сербляны всѣми языками говорятъ, а ничего не говорятъ, — потому-что первое слово у нихъ — русское (т.-е. церковно-славянское), второе — вугерское (угорское, венгерское), третье — нѣмецкое, четвертое — турецкое, пятое — греческое или влапское (итальянское) или арбанасское (албанское). Въ особенности Крижаничъ нападаетъ на языкъ бѣлорусскій (т.-е. вообще на тогдашній книжный языкъ западной и южной Руси): онъ еще больше и гаже, чѣмъ польскій и хорватскій, испорченъ иноземными примѣсами. Бѣлоруссы перенимаютъ ляхскіе нравы, законы и языкъ; и такъ какъ языкъ самихъ ляховъ испорченъ, то у бѣлоруссовъ онъ выходитъ еще хуже, а въ „киевскихъ книгахъ“, на взглядъ Крижанича, столько искаженій, что ихъ онъ не можетъ читать безъ омерзѣнія.

Русскій языкъ также не свободенъ отъ недостатковъ, но все-таки въ русскомъ языкѣ больше словъ, нужныхъ и свойственныхъ нашему языку, чѣмъ у кого-нибудь другого изъ славянскихъ народовъ. Это — оттого, что у русскихъ на своемъ языкѣ пишутся государственныя бумаги и производятся всякія народныя дѣла. Одинъ изъ недостатковъ славяно-русскаго языка происходитъ, по мнѣнію Крижанича, отъ вреднаго вліянія языка греческаго, при переводѣ священныхъ книгъ. Мы не смотримъ на то, — говоритъ онъ, — что при этомъ въ нашъ языкъ безъ нужды проникли нѣкоторыя греческія и нѣмецкія слова, и не мало латинскихъ; бѣда въ томъ, что греки „нашу рѣчь на свое копыто набили, т.-е. весь составъ и обличье нашего языка (по примѣру своего языка) до дна извратили и передѣлали“... Крижаничъ говоритъ (въ 1666-мъ г.), что уже за двадцать лѣтъ передъ тѣмъ онъ началъ думать о необходимости исправленія языка; а теперь еще больше убѣдился въ этомъ, видя, какіе происходятъ раздоры изъ-за перевода книгъ. Онъ разумѣетъ Никоновское исправленіе церковныхъ книгъ, но тутъ же дѣлаетъ любопытную оговорку. „Я всегда такъ думалъ, — говоритъ онъ, — что ни ошибка въ языкѣ никого не осуждаетъ, ни исправленіе рѣчи никого не спасаетъ; но сердце благочестивое и въ добродѣтеляхъ неутомимое по Божьей милости

доставляетъ спасенье. И потому, хотя бы церковныя книги были и въ десять разъ хуже переведены, такая неисправность никому бы не закрыла дороги къ спасенію; и никакъ не слѣдуетъ изъ такихъ пустыхъ причинъ дѣлать церковнаго раздора, ни соблазняться изъ-за грамматическихъ ошибокъ и разорять духовную любовь“. Но состояніе нашего книжнаго языка тѣхъ временъ все-таки казалось Крижаничу неудовлетворительно, и исправленіе его было необходимо—для уразумѣнія „всякихъ благоговѣйныхъ отеческихъ думъ и душу спасающихъ совѣтовъ. Потому что до сихъ временъ въ святомъ божіемъ Писаніи, и во всякихъ нашихъ переводахъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ много есть словъ, а мало разума; слышится шумъ многихъ нескладныхъ, извращенныхъ и обломанныхъ рѣчей, а уразумѣть ихъ и извлечь изъ нихъ какой-нибудь душевной пользы невозможно“. Справедливость этихъ замѣчаній не подлежитъ сомнѣнію для тѣхъ, кто знаеомъ съ образчиками древнихъ славянскихъ переводовъ съ греческаго, часто въ самомъ дѣлѣ мало вразумительныхъ, или съ образчиками книжной реторики XVI—XVII-го вѣка,—какъ очевидно вѣренъ былъ и взглядъ Крижанича на значеніе тогдашнихъ споровъ объ исправленіи церковныхъ книгъ.

Если здѣсь Крижаничъ стоялъ выше тогдашнихъ понятій русскаго общества, то послѣднему были бы еще меньше понятны другіе его взгляды, касавшіеся самыхъ капитальныхъ предметовъ тогдашняго церковнаго міровоззрѣнія. „Латинскій попъ“ самъ говорилъ о себѣ, что онъ вовсе „не такъ твердый латинникъ“; онъ не только не имѣлъ той церковной вражды къ православію, какая считается и дѣйствительно бывала и бываетъ принадлежностью настоящаго латинника; но онъ становился въ этомъ вопросѣ такъ высоко, что въ его глазахъ исчезала всякая важность вѣроисповѣднаго спора, и высказанныя имъ понятія были не только далеки отъ обычной нетерпимости тогдашнихъ православныхъ и католиковъ, но показались невозможными даже для современныхъ ревнителей славянскаго единства. Если Крижаничъ былъ когда-нибудь партизаномъ уніи, то въ Москву онъ пришелъ, очевидно, безъ всякихъ мыслей о ней, и вообще съ планами не церковными, а національными. Изученіе славянской исторіи и современнаго положенія славянскихъ дѣлъ, казавшагося ему до послѣдней степени бѣдственнымъ, поставило для него на первый планъ вопросъ именно не вѣроисповѣднй, а національный, политическій и образовательный.

Славянь раздѣляютъ вѣроисповѣдныя споры,—думалъ онъ,—но эти споры не только вредны славянамъ, но и совершенно имъ



чужды по существу. Въ раздорѣ двухъ престоловъ, константинопольскаго и римскаго, дѣло идетъ вовсе не о религіи, а о властолюбіи патріарховъ и папъ, до котораго намъ не должно быть никакого дѣла.

„Глупо дѣлаетъ тотъ, — говорить здѣсь Крижаничъ, — кто вмѣшается въ чужіе споры, изъ которыхъ ему не можетъ быть прибыли. Что выше насъ, то насъ не касается. Раздоръ произошелъ изъ соперничества двухъ народовъ, изъ-за верховной власти, мірской и церковной, изъ-за римскаго царства и изъ-за папства. Пусть же борются тѣ, кому даны отъ Бога эти области, именно римляне и греки, а намъ, славянамъ, они отъ Бога не даны, и невозможны, да и ненадобны. Намъ было бы глупо думать о томъ, чтобы намъ въ руки могли попасть либо римское царство, либо верховная въ церкви власть. Мы, славяне и русскіе, далеки отъ этого. Невстати и неблагоразумно стремиться къ вещамъ недостижимымъ и невозможнымъ. Намъ во вѣки не обладать ни тѣмъ царствомъ, ни папствомъ. Пусть будетъ римское суетное и отъ Іисуса Христа разоренное царство, гдѣ хочетъ; пусть будетъ церковное первенство либо въ Римѣ, либо въ Царьградѣ. Намъ не слѣдуетъ бороться и волноваться изъ-за чужого спора, изъ котораго намъ не можетъ быть корысти. Но лучше по дружески выслушаемъ обѣ стороны и постараемся помирить ихъ.

„Мы неповинны защищать чужихъ привилегій. Мы приняли отъ грековъ, лахи отъ римлянъ святую вѣру и церковные законы. Эти вещи мы повинны беречь и защищать, а вовсе не должны защищать привилегій или поддерживать козней греческихъ или римскихъ. Если патріархъ и папа препираются и дерутся и таскаютъ другъ друга за бороды изъ-за первенства, мы изъ-за этого первенства не должны чинить раздора, ни вступаться за тѣхъ, кто чинитъ раздоръ. Но мы должны скорѣе мирить грековъ съ римлянами. Потому что отъ нашего народа, отъ болгаръ, повстала одна изъ главныхъ причинъ раздора; потому что изъ-за болгаръ греки въ первый разъ начали проклинать римлянъ. Если нашъ народъ былъ причиной къ злу, то кажется приличнымъ, чтобы онъ былъ и причиной къ добру“<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Приводимъ для образчика нѣсколько подлинныхъ словъ Крижанича на его странномъ русско-хорватскомъ языкѣ:

„...Нѣсмо должны бранить областей, нить подпирать потворовъ греческихъ, либо римлянскихъ. Аще ся патріархъ и папа препирають, и скубуть, и за бради водять, для предкованія: мы для предкованія нѣсмо должны чинить раздора, нить заступать оныхъ, кои чинять раздоръ.

Для русскаго общества того времени точно также должно было быть ново то, что говорилъ Крижаничъ объ отношеніяхъ Россіи къ славянству и объ ея собственномъ положеніи. Сочиненія Крижанича, касающіяся этого предмета („Политива“ или „Разговоры объ владательству“, и De Providentia Dei), остались недовершенными, въ черновыхъ редакціяхъ и наброскахъ, писанныхъ то по-русски, то по-латыни, нерѣдко представляютъ повторенія, ссылки съ одного мѣста на другое, такъ что вообще не легко построить ихъ какъ систематическое цѣлое. Причиною этой незаконченности была, по всей вѣроятности, невозможность правильной работы въ его изгнаніи и неувѣренность, что можетъ вообще выйти что-нибудь изъ его сложныхъ и обширныхъ работъ, дойдутъ ли онѣ когда-нибудь до людей, къ которымъ онъ хотѣлъ обратиться. Подъ конецъ онъ какъ будто только набрасывалъ свои мысли, не стараясь объ ихъ полномъ изложеніи. Замѣчаютъ даже, что онъ сомнѣвался во всемъ своемъ предпріятіи; его настроеніе, всегда исполненное энергіи, становилось желчнымъ; онъ какъ будто пересталъ надѣяться, что могутъ быть исправлены тѣ многочисленные недостатки въ русской жизни, отъ которой, по его убѣжденію, зависѣла и жизнь славянства, и уже только сосчитывалъ политическія и другія „ереси“<sup>1)</sup>, которыми на его глазахъ преисполнена была русская жизнь. Поэтому, чтобы не вдаваться въ слишкомъ большія подробности, мы укажемъ нѣсколько главныхъ мыслей, обширнымъ развитіемъ которыхъ наполнены его общественно-политическія и церковно-политическія сочиненія. Основная мысль, проходящая черезъ всѣ труды Крижанича, наполнявшая все его существованіе, есть стремленіе развить въ славянскихъ народахъ, и особливо въ русскомъ, политическое и національное самосознаніе, которымъ однимъ достигнется настоящее достоинство, независимость и благосостояніе этихъ народовъ. Славянство издавна страдало недостаткомъ этого самосознанія: оно всегда наклонно было къ тому, что Крижаничъ называетъ всеноманіей, или „чужебствомъ“; издавна оно легко подчинялось чужой власти, обману, насилію и тому, что мы называемъ теперь эксплуатаціей: оно не пользовалось плодами своихъ трудовъ, не умѣло управляться собственными

„Но паче есмо повинни мирить грековъ зъ римлянами. Отъ нашего бо народа, отъ болгаръ, есть повстала една изъ главныхъ причинъ раздора. Або ꙗзди ради болгаръ наиперле есутъ учали греки римлянъ проклинати. Аще нашь народъ есть быль причина къ злу: сподобно быти ся кажетъ, дабы онъ же быль причина къ добру“.

<sup>1)</sup> Не въ смыслѣ ересей церковныхъ, а въ смыслѣ политическихъ ошибокъ и вреда, происходящаго отъ невѣжества.

силами и становилось рабомъ иноземцевъ. Объ этомъ „чужебѣси“ Крижаничъ говоритъ много, въ нѣсколько пріемовъ; это не была однако та племенная и вѣроисповѣдная исключительность, которая заставляла нашихъ московскихъ предковъ буквально отрещиваться отъ всякаго иноземца (и въ концѣ концовъ все-таки зависѣть отъ его знанія и предприимчивости): это былъ, во-первыхъ, выводъ изъ историческаго наблюденія; во-вторыхъ, негодованіе на славянскую вялость, распущенность и невѣжество, которыми и отдавали славянъ въ рабство иноземцамъ.

Въ московскомъ царствѣ до Крижанича не было, конечно, человѣка, столько знающаго исторію вообще и славянскую въ частности, столько начитаннаго въ литературѣ греческой, латинской, нѣмецкой и славянской. Его сочиненія пересынены фактами и цитатами, свидѣтельствующими о разнообразномъ знаніи книжномъ и опытѣ житейскомъ, а въ то же время это вовсе не былъ ученый педантъ, какими преисполненъ былъ тотъ вѣкъ: его знаніе тотчасъ примѣнялось къ тому живому дѣлу, какимъ пополнены были его мысли. Это дѣло было—славянство, и во главѣ его русскій народъ. Крижаничъ указываетъ рядомъ историческихъ фактовъ, какъ славянство терпѣло отъ своихъ враговъ, между которыми на первомъ планѣ стоятъ греки и нѣмцы; рядомъ съ ними онъ вовсе не ставитъ, напр., турокъ—они сильны только оружіемъ, и оружіемъ могутъ быть побѣждены. Онъ отдаетъ грекамъ благодарность за то, что они просвѣщали южныхъ славянъ и русскихъ христіанской вѣрой; но политически они всегда были врагами славянъ,—они звѣрски истребляли болгаръ, ссорили съ ними русскихъ, всегда явно или скрытно презирали славянъ какъ варваровъ, и послѣ паденія Константинополя стремились господствовать надъ ними іерархически (въ Болгаріи и Сербіи), интриговали противъ нихъ у турокъ; теперь, пріѣзжая въ Россію, греки вымогаютъ деньги у русскихъ, злоупотребляютъ своею духовной властью и т. д. Нѣтъ сомнѣнія, что обвиненія Крижанича не были лишены основанія, и напримѣръ исторія болгарской церкви за послѣдніе вѣка, до недавняго ея освобожденія отъ царградской патріархіи, даетъ его словамъ наглядное подтвержденіе <sup>1)</sup>. Еще съ большимъ раздраженіемъ говорить онъ

<sup>1)</sup> Эти нападенія на грековъ ныне ставятъ въ укоръ Крижаничу, какъ результатъ католической вражды;—но въ доказательство своихъ мнѣній Крижаничъ приводитъ цѣлую массу фактовъ изъ исторіи и изъ тогдашнихъ происшествій. Не безъ интереса сравнить въ этомъ отношеніи Крижанича съ чисто русскимъ человѣкомъ, священникомъ Лукьяновымъ, который въ Петровское время сдѣлалъ путешествіе въ Іерусалимъ, и въ Константинополѣ близко видалъ грековъ: они произвели на него

о нѣмцахъ: это также ожесточенные враги славянства и русскихъ; они успѣли уже поглотить многіе славянскіе народы, проникая къ нимъ мало-по-малу, размножаясь и дѣлаясь, наконецъ, изъ рабовъ господами; такъ же какъ греки, они ненавидятъ и презираютъ русскихъ, сѣютъ вражду между славянами и пользуются ею для своихъ захватовъ. Онъ нѣсколько разъ принимается разоблачать коварство нѣмцевъ и въ прошедшіе вѣка, и въ настоящее время и, напримѣръ, слѣдующимъ образомъ говоритъ о причинахъ ихъ вражды къ русскимъ, которыхъ они ненавидятъ въ особенности, потому что угадываютъ въ нихъ главнѣйшую опору славянства.

„Три есть причины ненависти и злобы нѣмцевъ противъ насъ.

„Во-первыхъ, злословятъ насъ нѣмцы: поелику, вслѣдствіе благихъ уставовъ сего государства, не могутъ насъ подчинить всякого рода рабству (какъ подчинили венгровъ, ляховъ и чеховъ); не могутъ также отнять у насъ всѣ средства существованія, какъ отняли у тѣхъ; не могутъ, наконецъ, овладѣть симъ государствомъ, какъ овладѣли тѣми.

„Во-вторыхъ, злословятъ: поелику, будучи сами еретиками, ненавидятъ истину и православную вѣру. Поэтому, чтобы сдѣлать православную вѣру ненавистною, всѣми бѣсовскими искусствами усиливаются сдѣлать насъ самихъ ненавистными.

„Въ-третьихъ, причина ненависти ихъ и злословія есть наша бережливость и простота нравовъ, довольная малымъ. Потому что, сами распустившись во всякаго рода похотѣнія и роскоши, они не могутъ смотрѣть безъ ненависти на бережливость и умѣнне хозяйничать.

„Потому, слѣдовательно, чтобы отнять у насъ государство и всѣ средства жизни, чтобы лишить насъ православной вѣры, чтобы завлечь насъ во всякую роскошность, они всѣми силами стараются разрушить благіе уставы сего государства и сочиняютъ противъ насъ хитрѣйшія лжи, дьявольскія клеветы безъ конца: и тѣмъ усиливаются насъ русскихъ и славянъ сдѣлать для всѣхъ народовъ презрѣнными, отвратительными хуже дохлыхъ собакъ, ненавистными больше демоновъ.

„Во-первыхъ, лгутъ и во множествѣ книгъ своихъ проповѣдуютъ, что русскіе изъ всѣхъ народовъ міра самые невоинственные и пустѣйшіе, что они не мужи, а дохлыя собаки, грибы, пометъ <sup>1)</sup>.

самое неблагоприятное впечатлѣніе какъ своекорыстные церковные эксплуататоры, дѣйствовавшіе въ союзѣ съ турками противъ славянъ — совсѣмъ такъ, какъ у Криванца.

<sup>1)</sup> Въ латинскомъ подлинникѣ: *In primis mentiuntur, et in plurimis libris praedicant, Russos esse omnium mundi gentium imbellissimos ac villissimos. Non esse viros, sed canes mortuos, et fungos, et stercora.*

И эту жесточайшую клевету такъ разславили они въ своихъ книгахъ, до того убѣдили въ томъ ляховъ, на разные лады сведенныхъ ими съ ума, что даже ляхи повсюду распѣвають и проповѣдуютъ то же безславіе. И вся Европа имъ въ томъ вѣрить, и народъ нашъ повсюду подвергается злѣйшему презрѣнію, и добрая слава сего государства всецѣло уничтожается различными способами“.

Онъ рассказываетъ, какъ случилось ему говорить съ однимъ нѣмцемъ, военнымъ служакой, который, „душу свою за одно съ тѣломъ посылая во всѣмъ чертямъ“ (*animam suam ipa cum corpore omnibus demonibus devovebat*), бранилъ русскихъ, утверждая, что десять татаръ или нѣмцевъ могутъ одолѣть въ полѣ сто или триста русскихъ, и утверждалъ, что будто русскіе недостойны, чтобы ихъ солнце освѣщало или земля носила, и т. п. „Далѣе, — продолжаетъ Крижаничъ, — лаютъ собаки злословы, хулятъ и пишутъ, что русскіе больше всѣхъ прочихъ народовъ народъ воровской, разбойничій, лживый, фальшивый, пьяный, развратный, безстыдный, нечистый, свинскій, и какъ нѣкоторые изъ нихъ написали, въ заключеніе: „Русскіе, говорить, всю доблесть и всю честь пробожили“. Такъ написалъ одинъ лаятель, именемъ Адамъ Олеаръ, и прежде еще его нѣкто звалъ, по имени Яковъ Датчанинъ“.

Не приводя другихъ подобныхъ энергическихъ изобличеній „собачьяго бѣшенства“ нѣмцевъ и грековъ, — изобличеній, подтверждаемыхъ у него множествомъ примѣровъ, прошлыхъ и современныхъ, уважемъ еще только одинъ эпизодъ, гдѣ Крижаничъ скорбитъ, что злобѣ иноземцевъ удастся поселить вражду между двумя народами, которымъ слѣдовало бы жить въ братской любви и союзѣ, именно между русскими и поляками.

„Въ заключеніе, глава обидъ и золь есть то, что обою постоянно сѣютъ между нами внутренніе раздоры. Нужно же подумать, что мы русскіе — люди одного языка съ ляхами и сыновья одного отца; для сего царства не можетъ быть болѣе благосклоннаго счастья, какъ еслибы между нами утверждалось братское согласіе. — Но демонъ (завидующій всякому благу челоувѣческаго рода) воздвигаетъ оба народа, нѣмцевъ и грековъ, всѣмъ ихъ напряженіемъ и величайшими усилиями постоянно препятствовать нашему согласію, равно какъ подстрекаетъ въ нихъ стараніе возбуждать между нами вѣчныя распри, вражды и войны. Потому что обоимъ въ высшей степени полезенъ нашъ раздоръ, чтобы привести надъ нами въ дѣйствіе злѣйшія свои желанія и усилія, о которыхъ сказали мы выше. — Знаютъ греки: будь мы

согласны, разомъ сознали бы мы ихъ продѣлки и уже нельзя бы имъ было пользоваться отъ Руси тѣми выгодами, которыя имѣли они доселѣ. Знаютъ нѣмцы, въ особенности шведы: будь между нами согласіе, не легко бы имъ было удерживать за собою то, что они заграбили у ляховъ; но когда у ляховъ будетъ война съ нами, шведы надѣются и заграбленное удержать, и еще болѣе награть. А другіе нѣмцы, величающіе себя римскими императорами, съ давнихъ вѣковъ разѣваютъ пасть, какъ бы завладѣть царствомъ Польскимъ. Но видятъ, что не могутъ исполнить своего намѣренія, еслибы ляхи жили съ нами въ святой пріязни. Потому эти гордые, надутые, достойные осмѣянія и суетные владыки всего міра, наши насмѣшники, то-и-дѣло шлютъ къ намъ пословъ и сочиняютъ, будто они наши друзья. Между тѣмъ, всѣми этими посольствами они никогда не выражали иныхъ притязаній, никогда не добивались ничего другого, какъ только чтобы сдѣлать раздоръ между нами и убѣждать насъ, будто бы они какого-то высшаго достоинства сравнительно съ нашими свѣтлѣйшими царями. Но основанія, которыми нѣмцы и греки одинаково убѣждали насъ доселѣ ко враждѣ съ ляхами, не заключаютъ въ себѣ ни крошки истины, а цѣликомъ фальшивы и злоумышленны“.

Положеніе славянскихъ дѣлъ было Крижаничу хорошо извѣстно. Дома онъ могъ близко знать дѣла западныхъ славянъ; славяне, находившіеся подъ турецкимъ игомъ, были ближайшіе сосѣди; польскіе порядки онъ могъ достаточно изучить, живя въ Малороссіи; послѣднюю онъ хорошо видѣлъ въ критическіе годы ея отношеній къ Россіи; наконецъ, Россія и русская жизнь были имъ изучены лучше, нежели кѣмъ бы то ни было изъ завѣзжихъ иноземцевъ. Русская исторія была ему извѣстна въ подробностяхъ; собственный долгій опытъ въ Москвѣ и въ сибирской ссылке познакомили его вполне и съ характеромъ народа, и съ качествами управленія. Ревностный славянскій патриотизмъ не помѣшалъ ему видѣть крупныя и мелкія недостатки какъ всего племени, такъ и главы его, русскаго народа. Въ Польшѣ величайшимъ недостаткомъ этого государства онъ считалъ, кромѣ податливости иноземному вліанію, политическое неустройство этой страны: она не имѣетъ верховной власти; эта власть раздѣлена между вельможами, такъ что въ концѣ концовъ страна остается безъ настоящаго управленія и въ ней господствуетъ „звѣрское самоуправство“ (*licentia bestialis*). Величайшимъ преимуществомъ Россіи онъ считаетъ ея крѣпкое единодержавіе; но это преимущество, весьма важное въ общемъ политическомъ смыслѣ, не скрываетъ отъ него присворбныхъ недостатковъ слишкомъ суро-

ваго управленія. Нѣсколько разъ онъ принимается говорить о „крутомъ владанію“, примѣровъ котораго онъ много видѣлъ именно въ Россіи. Онъ рисуеъ идеаль царя, который есть наиѣстникъ Бога, поставленный для управленія народомъ; но царь долженъ помнить, что не народъ данъ ему, а онъ данъ народу, и не для того, чтобы его мучить. Власть неограниченная противна божьему и „природному“ праву, и строго карается Богомъ, чему примѣръ былъ показанъ на царѣ Ахавѣ. Нѣкоторые государи не думаютъ объ облегченіи тягостей народа и не стѣсняются употреблять жестокия мѣры для увеличенія казны. Считаютъ тиранствомъ только лютыя казни; но дурныя законы еще хуже казней. Если государь установитъ тяжелыя для народа законы, неправедныя дани, то онъ и самъ сдѣлается тираномъ и своихъ преемниковъ сдѣлаетъ тиранами; ибо если какой-нибудь преемникъ его будетъ и щедръ, и милосердъ, и будетъ любить правду, но не отмѣнитъ этихъ законовъ, то и онъ будетъ тиранъ. Истинное тиранство состоитъ не въ жестокости самого царя, а въ жестокихъ законахъ, отъ которыхъ гибнетъ государство. Примѣромъ этого служитъ Ровоамъ, отъ котораго отпала наибольшая часть его царства, а въ Россіи царь Иванъ Васильевичъ, который былъ „нещадный людодерезъ, лютый, крутой, безбожный мясарь (мясникъ), кровопійца и мучитель“. За это Богъ и наказалъ его, воздвигнувъ ему соперника въ лицѣ Годунова и прекративши его родъ; но когда и Годуновъ продолжалъ людодерство, то бѣглець и разстрига отнял у него царство и погубилъ народъ; самъ разстрига погибъ вслѣдствіе своей наглости; но Божій бичъ продолжался, говоритъ Крижаничъ, пока кровавая казнь, плавающая въ сиротскихъ слезахъ, не была разграблена иноземцами и богомерзкое тиранство не было очищено и уничтожено сожженіемъ Москвы. Крижаничъ приводитъ примѣръ изъ современныхъ ему дѣлъ: Малая и Бѣлая Русь присоединились къ Москвѣ, и нѣкоторые люди тогда говорили, что ихъ надо охранять отъ притѣсненій, такъ какъ онѣ могутъ быть полезны государству; а вмѣсто того изъ-за старыхъ законовъ царя Ивана и царя Бориса думѣ полюбилося иначе и тамъ введены были проклятыя кабаки <sup>1)</sup>. „И вотъ, мои украинцы и новыя подданики, какъ скоро отвѣдали законы этого правленія, тотчасъ же раскаялись и поворотились къ ляхамъ. За что? Для ради людодерства“. Онъ рассказываетъ дальше, что вслѣдствіе „обрутнаго владанія“ падаютъ не только цари и царскіе роды, но цѣлыя

<sup>1)</sup> Это была отяготительная монополія того времени.

государства. Такъ пала римская имперія; такъ падаетъ на нашихъ глазахъ Польша; до того же дойдетъ и русское государство, если мы не будемъ предусмотрительнѣе. Крижаничъ убѣжденъ, что придетъ время, когда весь народъ возстанетъ для ниспроверженія безбожныхъ законовъ царей Ивана и Бориса. Онъ указываетъ, съ другой стороны, что бывали мудрые государи, которые видѣли благо государства въ обогащеніи народа, а не казны; таковы были, по словамъ его, Александръ Македонскій, Траянъ римскій, Константинъ Великій, Яковъ англійскій, Альфонсъ арагонскій; къ этому пришла теперь и венеціанская республика...

Читая Крижанича, не разъ приходится изумляться этому свѣтлому уму и широкимъ знаніямъ. Обыкновеннаго читателя можетъ останавливать и даже отталкивать и странный его языкъ, и тяжелая форма его сочиненій; но надо вспомнить, что труды его велись въ ссылкѣ, которая, наконецъ, приводила его въ отчаяніе, и если его сочиненія достались намъ въ необработанномъ видѣ черновыхъ тетрадей, трудно поставить это въ вину несчастному, непонятому святальцу. Странность языка объясняется ошибочнымъ, конечно, представленіемъ о дѣлѣ, но имѣла источникомъ замѣчательную для того времени и несомнѣнно справедливую мысль, что если желательно вообще славянское единство, то для него на первомъ планѣ необходимъ общій книжный языкъ: Крижаничъ искалъ этого общаго языка и основу его видѣлъ въ русскомъ (т.-е. церковно-русскомъ) языкѣ, который онъ видоизмѣнялъ прибавками изъ своего родного, не по незнанію, а въ предположеніи, что народная рѣчь его родины сохранила многія черты первобытнаго славянскаго языка (взглядъ совершенно понятный для современной исторической филологии), которыя онъ хотѣлъ сохранить для будущей общей книжной рѣчи. Словомъ, обыкновенному читателю надо присмотрѣться и привыкнуть къ Крижаничу, и затѣмъ чтеніе его раскроетъ чрезвычайно любопытное историческое явленіе. До его книгъ въ старой русской письменности не было ничего подобнаго по широтѣ мысли и историческимъ знаніямъ. Въ первый разъ на русскомъ языкѣ началась рѣчь самостоятельнаго мыслителя съ идеями тогдашняго европейскаго просвѣщенія, съ вопросами о Божьемъ и „природномъ“ правѣ, съ небывалой на русскомъ языкѣ историческою и политическою ученостью. Какъ питомецъ церковной школы, Крижаничъ, какъ и слѣдуетъ ожидать, имѣлъ обширныя богословскія знанія и въ греческихъ, и въ латинскихъ отцахъ церкви; но вмѣстѣ съ этимъ онъ хорошо знаетъ Аристотеля, новѣйшихъ



церковныхъ историковъ и реформаторовъ — Баронія, Беллармина, Гуса, Лютера, Кальвина; знаетъ политическихъ писателей, и на русскомъ языкѣ въ его книгахъ въ первый разъ названы имена Юста Липсія, Филиппа Комина, Макиавелли (котораго онъ называетъ человѣкомъ нечестивымъ и псевдо-политикомъ); онъ знаетъ современныхъ алхимиковъ и кабалистовъ (иныхъ лично), которыхъ, впрочемъ, вовсе не одобряетъ, и т. д. Сочиненія его свидѣтельствуютъ о большихъ историческихъ свѣденіяхъ — притомъ не только книжно-сухихъ, но осмысленныхъ пониманіемъ политической жизни. Относительно славянскаго міра Крижаничъ опять былъ первымъ и надолго единственнымъ писателемъ, который являлся въ нашей литературѣ съ замѣчательнымъ для своего времени славянскимъ національнымъ сознаніемъ: притомъ ни въ то время, ни долго послѣ не было человѣка, который имѣлъ бы такое знаніе славянскаго міра по личному наблюденію и по книжнымъ источникамъ; славянскія отношенія онъ часто опредѣлялъ съ большою проникательностью, и любопытно, напримѣръ, что въ половинѣ XVII-го вѣка онъ предвидѣлъ паденіе Польши именно вслѣдствіе ея невозможнаго политическаго неустройства, и что онъ сумѣлъ правильно понять неровности въ русско-малорусскихъ отношеніяхъ въ самые первые годы присоединенія Малороссіи въ Москвѣ. Мы приводили выше образчики его пониманія русской жизни. Къ изученію русской исторіи онъ приступалъ вооруженный знаніемъ и извѣстною долею исторической критики: для него невозможны были тѣ баснословія, какими питались въ то время и долго послѣ русскіе книжники; рассказы о мнимыхъ сношеніяхъ Александра Македонскаго съ славянами были для него смѣшною сказкой; толки о происхожденіи славянъ отъ скивоовъ онъ отвергаетъ по тогдашнимъ историческимъ свѣденіямъ: по его мнѣнію, нельзя придумать ничего „глушѣе и остуднѣе“ для нашего рода, потому что всѣ народы считаютъ скивоовъ за татаръ и турокъ, а нашъ славянскій языкъ такъ отличенъ отъ татарскаго, что „разнѣе“ не можетъ быть. Любопытно далѣе, что онъ отвергаетъ не только сказаніе о новгородскомъ Гостомыслѣ, но и самое призваніе варяговъ, — до чего додумываются только теперь иные изъ нашихъ изслѣдователей; онъ осуждаетъ Ивана Грознаго за притязаніе присвоить себѣ славное иноземное происхожденіе: онъ столько же происходитъ отъ Августа, какъ Александръ Македонскій отъ Зевса. Не вѣря баснямъ о происхожденіи славянъ, онъ убѣжденъ, какъ стали убѣждаться позднѣйшіе историки, что, бросивъ басни, надо „стоять при истинѣ и вѣровать, еже (что) нашъ языкъ есть еднаво

старь съ иными народными первотными языками“, и что „мы русы ничѣмъ не менѣ, неже древни аѳинцы, можемъ ся звать автохтоны, домородники“.

Само собою разумѣется, что при всѣхъ свѣтлыхъ мысляхъ Крижанича по вопросамъ славянской исторіи и политики, по вопросамъ тогдашней русской жизни, мы встрѣтимся у него съ исключительными понятіями XVII-го вѣка, съ историческими и политическими заблужденіями; новѣйшіе партизаны славянскаго единства любятъ ссылаться на Крижанича, но иногда его слѣдуетъ охранить отъ тѣхъ выводовъ, какіе извлекались изъ его сочиненій. Таковы, напр., упомянутыя выше его филиппики противъ національныхъ враговъ славянства, какихъ онъ видитъ въ грекахъ и нѣмцахъ. О первыхъ вообще мало говорили новѣйшіе славянскіе патриоты, ссылавшіеся на Крижанича; но зато часто приводились его нападенія противъ послѣднихъ<sup>1)</sup>. Но дѣло въ томъ, что Крижаничъ если и ошибался въ чемъ-нибудь, то все-таки не былъ отвлеченный фантазеръ: съ одной стороны онъ приводитъ дѣйствительные факты, а съ другой не видитъ бѣды для славянъ въ однихъ нѣмцахъ; указывая на чужую вражду, онъ указываетъ также, и весьма основательно, собственные недостатки славянъ, и въ томъ числѣ русскихъ, и, враждуя противъ нѣмцевъ, совѣтуетъ заимствовать у нихъ науку.

Въ Крижаничѣ московская Россія имѣла живого представителя юго-западнаго славянства, имѣла человека, который, какъ едва ли кто-нибудь тогда, не только у насъ, но и въ славянскомъ мірѣ вообще, обладалъ обширнымъ книжнымъ и личнымъ знаніемъ славянскихъ отношеній; но его рѣчи были въ Москвѣ непонятны: не живши года въ Москвѣ, онъ былъ сосланъ, и черезъ

<sup>1)</sup> Напр., въ книгѣ г. Первольфа, II, стр. 337—338, послѣ выписокъ изъ Крижанича говорится: „Со времени Крижанича ничего здѣсь не измѣнилось, и до сихъ поръ народы средней и западной Европы стараются превосходить другъ друга въ ругательствахъ, изливаемыхъ на Русь. Въ 1837 г. извѣстный нѣмецкій ученый, Фальмерайеръ, написалъ слѣдующія любопытныя слова: *Seit dem Congress von Aachen* (собственно уже со времени Рюрика, — добавляетъ г. Первольфъ) *darf man in Deutschland, ohne in der öffentlichen Meinung empfindlich einzubüssen, die Russen, selbst wenn sie es verdienen, nicht mehr loben*“ etc. Но г. Первольфъ не обратилъ вниманія на самыя первыя слова своей цитаты, которыя и объясняютъ, въ чемъ дѣло. Именно послѣ эпохи конгрессовъ, когда могущественная тогда Россія вступила открыто на путь реакціи и всѣмъ своимъ политическимъ вѣсомъ увеличила давленіе реакціи въ западной жизни, она и вызвала вражду европейскаго общества. Въ отношеніяхъ Россіи и Запада, особливо Германіи, былъ, безъ сомнѣнія, издавна элементъ племенной вражды (съ нашей стороны нѣмцы, да и вся „гнилая“ Европа, также не пользуются особенною любезностью), но были для нея и весьма реальныя историческія причины.

шестнадцать лѣтъ ссылки вернулся въ Москву, кажется для того только, чтобы навсегда ее покинуть. Въ ссылкѣ онъ продолжалъ упорно работать; но работа въ неблагоприятныхъ условіяхъ не могла дать того, что дала бы при большей свободѣ его дѣятельности. Самые рывописы его уцѣлѣли—только для потомства; для своего времени его трудъ остался безплоднымъ.

Не знаемъ, что именно вызвало его ссылку, но во всякомъ случаѣ она была фактомъ характеристическимъ: передъ старой Москвой явился представитель настоящаго славянства и представитель тогдашняго образованія; для Москвы, доживавшей преданія своей національной исключительности и своего незнанія, равнодушія, если не вражды, къ наукѣ, то и другое было чуждо.

А. Пыпинъ.



---

# НОВЫЙ ФАРАОНЪ

Романъ въ четырехъ книгахъ.

Соч. Фридриха Шпильгагена.

---

## КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ \*).

### I.

Все происшедшее въ домѣ Куртисовъ повергло фрау Илициусъ сначала въ нѣмое отчаяніе, а потомъ вызвало въ ней неистовое озлобленіе. Говорите послѣ этого, что она была неправа, считая Марію змѣей, которую она выкормила на своей груди,—тѣмъ лукавымъ, вѣроломнымъ созданиемъ, въ жилахъ котораго нѣтъ ни капли ея благородной крови, а одна только кровь измѣнника—отца. Теперь это ясно. Теперь она не сомнѣвается, что эта змѣя впередъ уже знала, что Регинальдъ получить отказъ, и скривля это, съ цѣлью получить позволеніе отправиться въ Куртису,—а завладѣть имъ она давно замышляла сама.

Регинальдъ, вынужденный признаться, что получилъ отказъ, былъ, однако, настолько честенъ, что сталъ защищать Марію. Марія, говорилъ онъ, никогда не обнадеживала его; напротивъ, она даже какъ бы предостерегала отъ излишней увѣренности, оставаясь всегда сдержанною, озабоченною, а однажды, когда онъ заставилъ ее высказаться, Марія открыто заявила ему о томъ. И самъ онъ не чувствуетъ за собой вины. Желалъ бы онъ видѣть въ Германіи такую дѣвушку, которая не сочла бы себя

---

\*) См. выше: янв., 219; февр., 644; мартъ, 198 стр.

обязанной выйти замужъ за человѣка, которому она сдѣлала такіе авансы, какъ фрейлейнъ Куртисъ—ему! Если въ Америкѣ поступаютъ иначе—такъ вѣдь теперь она не въ Америкѣ, а въ Европѣ, въ Германіи. И если уже зашла рѣчь обо всемъ этомъ, то онъ долженъ сказать, что, по его мнѣнію, и Ада съ самаго начала находилась не въ лучшемъ, а можетъ быть и въ худшемъ положеніи, чѣмъ онъ. И тамъ, и тутъ—„flirtation“, погоня за женихами; но фрейлейнъ Куртисъ, по крайней мѣрѣ, двѣ-три недѣли была влюблена въ Регинальда, а такъ-называемое ухаживанье профессора за Адой навѣрное цѣликомъ создано въ ее же воображеніи, такъ что нечего и удивляться плачевному концу.

Сама Ада воздержалась не только отъ спора съ братомъ, но и отъ какихъ-либо замѣчаній, предпочитая безмолвное терпѣніе своей возвышенной души. Горничная Паулина, конечно, не могла замѣтить такой возвышенности ее души. Она даже увѣряла, что „бувола“ никогда еще не осыпала ее такимъ градомъ бранныхъ словъ и не швыряла въ нее столько вещей. Впрочемъ, если это и была правда, то вѣдь ее знали только стѣны въ уборной немилостивой фрейлейнъ, а свѣтъ видѣлъ и принималъ за чистую монету одно ее ангельское терпѣніе. Оказалось, что Ада съ самаго начала видѣла въ профессорѣ только больного и считала своею обязанностью помогать ему и утѣшать его, насколько хватало ее слабыхъ силъ. Она исполняла эту обязанность, урывая время отъ своихъ любимыхъ занятій—музыкой и поэзіей. И такъ какъ при дальнѣйшемъ усложненіи болѣзни ее силы оказались недостаточными, то ей оставалось только уступить мѣсто опытной сидѣлкѣ—Маріи. Она вовсе не хотѣла выставить себя добрѣе, чѣмъ была на самомъ дѣлѣ. Если кто-нибудь считалъ ее героиней, способной выйти замужъ за больного человѣка, который въ самомъ благоприятномъ случаѣ проживетъ нѣсколько лѣтъ, то такіе люди слишкомъ преувеличивали ее способность къ самопожертвованію. Она никогда не отказывалась и не намѣрена отказываться отъ своей скромной доли въ жизненныхъ радостяхъ.

— Короче сказать: Ада хочетъ выйти замужъ за Бенно Мейрингена,—замѣтилъ Регинальдъ. —Я тоже думаю, что это самое лучшее, что она можетъ сдѣлать, и совѣтую ей вовать желѣзо, пока горячо. Этотъ не станетъ долго дожидаться.

Фрау Илиціусъ тоже совѣтовала Адѣ поторопиться. Молодой офицеръ, въ великому утѣшенію своихъ многочисленныхъ кредиторовъ, дѣйствительно получилъ наслѣдство послѣ богатой тетки, и могъ считаться богатымъ, даже еслибы уплатилъ долги. Конечно,

Ада неблагоприятно оттолкнула его въ то время, когда состояніе здоровья тетки подавало надежды на благоприятный исходъ, а тутъ еще подвернулся богатый американецъ. Но молодой человѣкъ, если онъ не на шутку влюбленъ, всегда забываетъ о такихъ мелочахъ, равно какъ и юная дѣвица, особенно если она хоть сколько-нибудь искусилась въ кокетствѣ. Такъ какъ Бенно Мейрингенъ и Ада Илиціусъ удовлетворяли обоимъ условіямъ, то и результатъ, предсказанный свѣдущими людьми, не замедлитъ послѣдовать, и только скептики, готовые считать непоправимой ничтожную размолвку между любящими сердцами, были поражены, узнавъ черезъ нѣсколько дней о помолвкѣ молодой четы.

Помолвка Ады съ Мейрингеномъ пролила бальзамъ утѣшенія на скорбящее сердце матери. Блескъ фамиліи, померкшій въ послѣднее время, снова возсіялъ; можно было поднять голову и смѣло смотрѣть въ глаза людямъ. Конечно, теперь—въ началѣ іюня—сезонъ уже кончился, но все-таки интересное дополненіе въ нему произвело фуроръ и дало пищу для разговоровъ посѣтителемъ Киссингена, Франценсбада и Мариенбада! При томъ же поѣздкѣ въ городъ, за покупками, въ открытомъ экипажѣ, при чудесной погодѣ, были просто восхитительны! Фрау Илиціусъ объявила, что она помолодѣла на десять лѣтъ, и была бы вполне счастлива, еслибы Регинальдъ послѣдовалъ примѣру Ады. Лотта Блюменгагенъ сообщила ей, при посредствѣ одной общей подруги, вдовы генерала, считавшей своею священною обязанностью оказывать подобныя услуги,—что она съ самаго начала не придавала никакого значенія ухаживанію Регинальда за красивой американкой, и еще не забыла тѣхъ словъ, которыя Регинальдъ шепнулъ ей на ушко 5-го января, въ котильонѣ. Теперь она должна признаться въ своей неосторожности: она передала эти слова своей милой мамѣ, которая обыкновенно ничего не скрываетъ отъ папы, и въ этомъ случаѣ не измѣнила своей привычекъ. Вслѣдствіе чего полковникъ, ея дорогой папа, уже начинаетъ терять терпѣніе и каждый день спрашиваетъ: „что за дьяволъ! ужъ не думаетъ ли поручикъ Илиціусъ отречься отъ своего слова?“

Когда мать сообщила Регинальду объ этомъ, онъ дѣйствительно не могъ скрыть своего смущенія.

— Ты знаешь, мама,—сказалъ онъ: — я никогда не могу солгать. Это правда: я что-то сказалъ Лоттѣ въ тотъ вечеръ. Я выпилъ слишкомъ много шампанскаго, и хоть убей—не помню, что я именно сказалъ. Но Лотта въ этотъ вечеръ дѣйствительно была необыкновенно мила, и если она думаетъ, что я ей могъ

сказать что-нибудь такое, то она, должно быть, права. Выходит преглупая исторія! Съ старикомъ Блюменгагеномъ шутки плохи, не говоря уже о томъ, что онъ мой начальникъ, да и братъ ея серьезно относится въ такимъ дѣламъ. Пока тянулась исторія съ этой Анной, я каждый день ожидалъ отъ него вызова, и, разумѣется, я бы принялъ его. Но онъ дѣйствительно мой другъ, и вотъ я откладывалъ рѣшительное объясненіе до тѣхъ поръ, пока оно—слава Богу!—оказалось излишнимъ. Итакъ, я долженъ жениться на Лоттѣ. Я и не отказываюсь, —но жениться сейчасъ—невозможно. Я поговорю съ Гансомъ; онъ пойметъ, что меня удерживаетъ.

— Можетъ быть, и я пойму, если ты посвятишь меня въ эту тайну,—сказала фрау Илиціусъ.

— Пожалуйста, мама, оставь твой раздражительный тонъ,—сказалъ Регинальдъ.—Ты сама знаешь, что дѣло сестры Стефаніи ежеминутно можетъ кончиться катастрофой.

— Ты пугаешь меня!—воскликнула фрау Илиціусъ.

— Въ самомъ дѣлѣ? — возразилъ Регинальдъ.—Это меня удивляетъ, такъ какъ, въ сущности, мы—ты и я—сами заварили эту исторію...

На этомъ и кончился разговоръ, при чемъ Регинальдъ высказалъ чистую правду, только не всю правду. Дѣло въ томъ, что, кромѣ того препятствія, на которое онъ намекалъ, существовало еще другое: онъ не совсѣмъ забылъ Анну. Ему казалось, что было бы не совсѣмъ рыцарски признаться въ любви другой дѣвушкѣ, когда еще ни одна черта милого образа не изгладилась изъ его памяти, и сердце билось всякій разъ, какъ при немъ упоминали ея имя. Напрасно, на весеннихъ свачкахъ въ Шарлоттенбургѣ, онъ загналъ своего Робина и до такой степени заѣздилъ двухъ лошадей, принадлежавшихъ товарищамъ, что они пришли въ негодованіе и единогласно объявили, что никогда больше не довѣрятъ ему лошадь. Напрасно онъ игралъ въ клубѣ всегда на бутылку шампанскаго, которую регулярно проигрывалъ и столъ же регулярно осушалъ до половины самъ,—ничто не помогало. Воспоминаніе о прекрасной американкѣ преслѣдовало его всюду. Днемъ, гдѣ бы онъ ни находился, онъ вездѣ чувствовалъ ея незримое присутствіе. Ночью, во время безпокойнаго сна, онъ слышалъ ея голосъ и часто пряталъ голову въ подушки и плакалъ, какъ ребенокъ.

Эта первая серьезная любовь какъ бы ударомъ волшебнаго жезла раскрыла передъ нимъ серьезную сторону жизни, къ которой прежде онъ относился такъ легкомысленно, и представила

ему отношенія Стефаніи въ графу Карльсбургу въ такомъ свѣтѣ, что онъ ужаснулся. Предостереженія Маріи, гнѣвъ Герберта, осторожные намеки и лукавыя замѣчанія товарищей—все это возбуждало въ немъ раньше только смѣхъ или досаду, какую обыкновенно возбуждаютъ излишній ригоризмъ, недоброжелательство, пересуды и сплетни. Почему же прекрасная молодая женщина не можетъ наслаждаться жизнью? Хотя бы она и была замужемъ, почему же мимоходомъ не вскружить голову еще двумъ-тремъ кавалерамъ? Онъ самъ, если когда-нибудь женится, не намѣренъ отказываться отъ своей свободы! Если Эгонъ до и послѣ женитьбы тратилъ слишкомъ много и вошелъ въ долги—такъ вѣдь это домашнее событіе, до котораго никому нѣтъ дѣла. А если это кого-нибудь задѣваетъ, — то пусть онъ попробуетъ сказать это въ глаза ему, Регинальду!

И дѣйствительно, какъ ни смѣялись надъ добродушнымъ мужемъ Стефаніи заочно, но, зная характеръ Регинальда, всѣ вели себя въ его присутствіи такъ осторожно, что Регинальдъ имѣлъ право хвастаться тѣмъ, что счумѣетъ заткнуть ротъ сплетникамъ.

Сплетники, однако, получили новую и еще болѣе обильную пищу, съ тѣхъ поръ какъ Стефанія съ мужемъ перѣехала въ городъ, а графъ Карльсбургъ поселился въ Потсдамской улицѣ. То, что прежде лишь немногіе знали по собственному наблюденію, а остальные только по слухамъ,—будто между Стефаніей и Карльсбургомъ дѣйствительно существовали любовныя отношенія, чему даже покровительствовалъ погрязшій въ долгахъ супругъ ея,—то теперь ни для кого больше не могло оставаться тайной: ежедневныя посѣщенія графа въ отсутствіе Эгона были всѣмъ извѣстны. Регинальдъ выходилъ изъ себя отъ бѣшенства. Не могъ же онъ вызвать на дуэль людей, сообщавшихъ только факты, а они, въ свою очередь, остерегались дать ему поводъ къ вызову казнимъ-нибудь неосторожнымъ словомъ.

Такое положеніе не могло долго длиться. Самъ Регинальдъ теперь настаивалъ на скорѣйшемъ примѣненіи мѣры, противъ которой раньше возставалъ, только потому, что ее предложилъ Гербертъ: именно на разводъ Стефаніи съ Эгономъ, послѣ чего, разумѣется, Стефанія должна была выйти за графа. Сначала Стефанія объявила, что любитъ Эгона и не желаетъ разставаться съ нимъ. Потомъ, когда удалось преодолѣть ея, въ сущности притворное, сопротивленіе, пришлось уламывать Эгона, который то не соглашался, то обставлялъ свое согласіе такими невозможными условіями, что графъ по справедливости могъ ихъ отвергнуть. Когда Герберту удалось, наконецъ, уладить и это,



возникъ новый спорный пунктъ: никто не хотѣлъ взять ребенка — ни отецъ, ни мать, ни графъ. Эгонъ объявилъ, что чувствуетъ ненависть къ ребенку, мать котораго, какъ онъ теперь видитъ, никогда не любила его. Стефанія — что она не хочетъ видѣть своего ребенка въ такомъ положеніи, въ которомъ Марія томилась всю жизнь. Графъ считалъ своимъ долгомъ присоединиться къ мнѣнію Стефаніи. Дѣти отъ перваго брака — плохое прибавленіе во второму, хотя бы всѣ прочія условія были нормальны. Кромѣ того, все это дѣло уже стоило ему половины состоянія, что было очень хорошо извѣстно Герберту. Нельзя было и осуждать его за то, что онъ хотѣлъ сохранить остальную половину для своихъ собственныхъ будущихъ дѣтей. Онъ вовсе не чувствовалъ себя призваннымъ упреждать рѣшеніе суда.

Гербертъ не долго думалъ: онъ взялъ ребенка, котораго Стефанія и безъ того совсѣмъ забросила, и поручилъ его попеченіямъ своей матери. Тщетно фрау Илиціусъ жаловалась: какъ можно возлагать на нее такую обузу, когда и безъ того у нея хлопотъ по горло съ приданнымъ Ады! — на нее, старуху, которая уже давно отвыкла возиться съ маленькими дѣтьми! и никого-то нѣтъ, чтобы ей помочь, — нѣтъ и не будетъ, потому что эту змѣю, Марію, она не пуститъ на порогъ своего дома! Гербертъ былъ неумолимъ; онъ не хотѣлъ, чтобы супруги довели до суда такой щекотливый вопросъ. Нужно же куда-нибудь пристроить ребенка. Впослѣдствіи, можетъ быть, удастся уладить это какъ-нибудь иначе. Пока приходится нанять бонну и помѣстить ее вмѣстѣ съ ребенкомъ въ комнату, которую раньше занимала Марія. Онъ возложилъ на свою мать пунктуальное исполненіе всѣхъ своихъ распоряженій.

Запуганная фрау Илиціусъ должна была уступить, тѣмъ болѣе, что Регинальдъ и въ этомъ вопросѣ принялъ сторону брата. Вообще дѣло Стефаніи нѣсколько облизвило братьевъ, несмотря на оставшіяся еще разногласія. Дѣло шло о восстановленіи компрометгированной чести семейства, а это было одинаково важно для обоихъ. Только въ послѣдніе дни Регинальдъ снова отступился отъ дѣла и такъ рѣшительно, что изумилъ брата. Герберту показалось, что тутъ возникло какое-то новое затрудненіе, о которомъ Регинальдъ зналъ, но почему либо не хотѣлъ говорить.

## II.

Два дня прошло съ того вечера, когда Гартмутъ имѣлъ рѣшительное объясненіе съ Анной, а затѣмъ бесѣдовалъ съ Смитомъ, и убѣдился въ полной безнадежности такъ долго лелѣянныхъ, такъ ревностно преслѣдуемыхъ имъ плановъ найти свое счастье въ домѣ Куртисовъ.

Гербертъ, который въ этотъ день не былъ на службѣ, приготовлялся къ свиданію съ адвокатомъ Стефаніи, назначенному въ два часа, когда явился слуга и доложилъ, что гехеймратъ желаетъ его видѣть.

Явившись въ кабинетъ отца, онъ нашелъ его въ глубокомъ уныніи, за рабочимъ столомъ, съ письмомъ въ рукахъ, которое онъ протанулъ Герберту.

Это было письмо его ближайшаго начальника, который официально сообщалъ, что заявленія гехеймрата во вчерашнемъ засѣданіи рейхстага по поводу новаго закона о социалистахъ произвели тѣмъ болѣе непріятное впечатлѣніе, что вовсе не относились къ дѣлу, и потому имѣли видъ вызова, — чего ни подъ какимъ видомъ нельзя терпѣть со стороны такого высокопоставленнаго и облеченнаго такимъ довѣріемъ должностнаго лица. Что онъ будетъ уволенъ отъ должности—это само собою разумѣется; но господину министру дали, кромѣ того, понять, что врядъ ли возможно оставить при министерствѣ совѣтника съ такимъ образомъ мыслей, какой онъ (гехеймратъ) обнаружилъ вчера и притомъ не въ первый разъ. Только воспоминаніе о прежнихъ дружественныхъ отношеніяхъ съ сооснователемъ „Крестовой Газеты“, объ услугахъ, оказанныхъ послѣднимъ общему дѣлу, равно какъ и нежеланіе ставить министра въ непріятное положеніе, помѣшали возбудить дисциплинарное слѣдствіе противъ строповаго чиновника, но подъ тѣмъ условіемъ, что онъ немедленно самъ подастъ въ отставку.

Далѣе въ письмѣ было сказано:

„Исполнивъ свою официальную обязанность, позволю себѣ обратиться къ вамъ, какъ къ старому другу, и выразить свое глубокое сожалѣніе по поводу случившагося. Что его превосходительство, при своемъ пошатнувшемся положеніи, ожидая съ часу на часъ, что и ему самому придется подавать въ отставку, не могъ и подумать о томъ, чтобы отстаивать васъ—это понятно всякому, и я не стану объ этомъ распространяться. Но я не безъ тайнаго чувства зависти вижу васъ уходящимъ со службы.

Въ настоящее время находитья „*procul negotiis*“ — далеко отъ заботъ — покажется завидной долей всякому, кто обладаетъ хоть сколько-нибудь независимымъ характеромъ. Хорошо тому, кто, какъ вы, можетъ принять свой „*otium*“ — „*cum dignitate*“, не заботясь о матеріальныхъ средствахъ. Я забылъ упомянуть, что ваше недавнее участіе въ извѣстныхъ финансовыхъ операціяхъ также послужило предметомъ обвиненія, направленного противъ васъ. Подобныя операціи не годятся — „*risum teneatis, amici!*“ смѣшно и сказать! — для лица, находящагося на государственной службѣ. Надѣюсь, вы не далеко зашли съ коктавскими акціями! Когда, нѣсколько недѣль тому назадъ, вы обращались ко мнѣ за совѣтомъ, я не могъ ничего сказать вамъ, такъ какъ не имѣлъ никакихъ свѣденій объ этомъ предпріятіи. Теперь я получилъ свѣденія, — правда, не официальные, но изъ надежныхъ источниковъ, и отнюдь не въ пользу предпріятія. Поэтому совѣтую вамъ быть осторожнымъ“.

— Вотъ тебѣ награда за вѣрную службу въ теченіе всей жизни! — сказалъ гехеймратъ, когда Гербертъ окончилъ чтеніе.

— Не знаю, право, на что ты можешь жаловаться, — отвѣтилъ Гербертъ, кладя письмо на столъ. — Я не разъ предостерегалъ тебя, также какъ и другіе. Когда вчера въ нашемъ министерствѣ узнали о событіяхъ въ рейхстагѣ, всѣ покачали головами, и каждый былъ увѣренъ, что эта исторія подрѣжетъ тебя. Нельзя и требовать отъ людей, чтобы они продолжали работать съ тѣми, кто не понимаетъ или не хочетъ понять ихъ намѣреній.

— Ты-то, конечно, не станешь въ такое положеніе, — замѣтилъ гехеймратъ съ горькой улыбкой.

— Разумѣется, — возразилъ Гербертъ, пожимая плечами. — Однако, я думаю, ты не для того позвалъ меня, чтобы вступать въ бесплодный споръ о политикѣ. Во всякомъ случаѣ, тебѣ слѣдуетъ поблагодарить меня за то, что я въ-время — противъ твоей воли — сбылъ съ рукъ наши коктавскія акціи.

— Конечно, конечно! — пробормоталъ гехеймратъ, снова взявъ письмо и перечитывая мѣсто о финансовыхъ операціяхъ, на которое онъ сначала не обратилъ вниманія.

— Тутъ подтверждается твое мнѣніе. Было бы ужасно, еслибы насъ постигло и это несчастіе.

Гербертъ презрительно улыбнулся.

— Несчастіе! — сказалъ онъ: — всегда говорятъ о несчастіи, какъ будто оно происходитъ само собою! Какъ будто мы не сами накликаемъ его на свою голову! Ошибаться можетъ и самый

умный человекъ—я тоже ошибся насчетъ этого предпріятія. Но слѣдуетъ въ-время поправлять свои ошибки!

— Удивляюсь только, что Гартмутъ ничего не сказалъ намъ, — замѣтилъ совѣтникъ въ смущеніи. — Въ послѣднее время онъ, казалось, былъ на нашей сторонѣ.

— Вѣроятно, перешелъ въ другой лагерь, — возразилъ Гербертъ.

— То-есть?

Гербертъ не успѣлъ отвѣтить на этотъ вопросъ. Вошедшій въ эту минуту слуга подалъ ему визитную карточку.

— Это Гартмутъ, — сказалъ Гербертъ съ нѣкоторымъ удивленіемъ.

— Господинъ Зелькъ желаетъ переговорить съ вами наединѣ, — доложилъ слуга.

— Онъ такъ и сказалъ?

— Точно такъ.

Слуга ушелъ; Гербертъ снова обратился къ отцу.

— Ты спрашивалъ, что я хотѣлъ сказать, говоря, что Гартмутъ перешелъ въ другой лагерь? А я думалъ, что это вполне ясно. Онъ понималъ, что интересы Илиціусовъ и Куртисовъ раздѣлились, обсудилъ дѣло, и такъ какъ даже умнѣйшіе люди не могутъ служить разомъ двумъ господамъ, рѣшился перейти на сторону Куртиса: Куртисъ можетъ больше заплатить.

— Въ такомъ случаѣ, зачѣмъ же онъ пришелъ къ тебѣ? — пробормоталъ гехеймратъ.

— Почему я знаю?!—отвѣчалъ Гербертъ съ презрительной улыбкой:—можетъ быть, онъ хочетъ похвастаться своими успѣхами. Nous verrons.

Онъ сунулъ въ карманъ карточку Гартмута и вышелъ изъ комнаты.

Гехеймратъ остался у письменнаго стола, устремивъ неподвижный взоръ впередъ. Потомъ онъ съ трудомъ поднялся, прошелся невѣрными шагами раза два по комнатѣ и остановился передъ зеркаломъ.

Въ университетѣ его называли: „красавецъ Илиціусъ“. Не разъ возникалъ споръ между студентами, кто—онъ или Морицъ Гартманъ— „красивѣйшій изъ мужчинъ“. А теперь! желтое, старое, изрытое морщинами лицо, съ голыми висками, съ рѣдкими влохьями жесткихъ сѣдыхъ волосъ—вошь все, что осталось отъ роскошныхъ каштановыхъ кудрей!—и эти послѣдніе волосы торчатъ, точно колючій кустарникъ надъ песчаной дюной—хорошъ!

Онъ еще разъ прошелся по комнатѣ и опустился на кресло у стола, прижимая холодныя руки къ пылавшему лбу.

Вотъ благодарность! Кто бы могъ подумать, что ему предстоитъ такой конецъ, когда во франкфуртскомъ парламентѣ онъ въ первый разъ увидѣлъ человѣка, о которомъ предсказалъ товарищамъ, что это „человѣкъ будущаго“. Всѣ засмѣялись:—этотъ грубый юнкеръ?!.. Но Илиціусъ присоединился къ нему; не остановился ни передъ какими насмѣшками, ни передъ какими сомнѣніями, повидимому столь основательными, и предложилъ свой союзъ, который и былъ тогда принятъ съ радостью. Въ то время! Да, тогда еще мало было вѣрующихъ; онъ могъ бы перечестъ ихъ по пальцамъ. И Илиціусъ возвысился надъ всѣми ними, сдѣлался Менторомъ—онъ былъ старше пятью годами—пыллаго, молодого еще тогда „Телемака“ — и по всей справедливости! Развѣ не онъ съ страшными трудами и усиліями создалъ тогда столь необходимый для партіи органъ? Развѣ не онъ первый защищалъ ту соціальную политику, въ которой его Телемакъ оказался самымъ лѣнивымъ, самымъ неспособнымъ ученикомъ, объявлявшимъ, что все это чистая бессмыслица—да! а теперь Телемакъ считаетъ себя первѣйшимъ мастеромъ въ этой наукѣ! О, черная, черная неблагодарность! Распекать стараго учителя послѣ почти тридцатилѣтней службы, какъ какого-нибудь молкососа-школьника! оттолкнуть его ногой, какъ надобвшую собаку, когда даже для явныхъ противниковъ у него находится ласковая улыбка! Колосъ! Да, конечно, но этотъ колосъ стоитъ на пьедесталѣ изъ цѣлыхъ поволохъ политическихъ головъ и патріотическихъ сердець, о которыхъ теперь, разумѣется, никто ничего не знаетъ, никто и знать не хочетъ!—о нихъ, о легионахъ вѣрныхъ работниковъ, въ потѣ лица создававшихъ пирамиду его славы! И вотъ, изъ ихъ рядовъ съ позоромъ выталкивается теперь всякій, кто позволилъ себѣ хоть малѣйшее противорѣчіе. Неблагодарность, черная неблагодарность!

Неблагодарность!..

Это слово какъ бы магическимъ жезломъ въ рукахъ насмѣшливаго волшебника отрывало двери прошлаго все шире и шире, — и тогда другой образъ началъ возставать въ памяти старика.

Теперь онъ увидѣлъ двухъ мальчиковъ: одинъ изъ нихъ былъ онъ самъ—сынъ бѣднаго пастора; другой—сынъ землевладельца изъ сосѣдняго замка, на который они оба смотрѣли, сидя на склонѣ горы. Вечерняя заря обливала ихъ своимъ свѣтомъ, и они бросились въ объятія другъ друга и поклялись въ дружбѣ на всю жизнь.

Потомъ онъ увидѣлъ тѣхъ же мальчиковъ, но уже юношей, въ студенческихъ шапочкахъ на кудрявыхъ головахъ—юношей, одинаково хорошо вскормленныхъ, одинаково хорошо одѣтыхъ, жившихъ въ одной и той же квартирѣ, хотя одинъ изъ нихъ былъ бѣденъ—это онъ самъ—какъ церковная крыса! Что-жъ изъ этого! кошелекъ у другого всегда былъ открытъ для него; какъ въ то время, такъ и впоследствии, когда миновали прекрасные годы студенчества, и ему пришлось заниматься несчастной адвокатской практикой въ провинціальномъ городишкѣ, гдѣ онъ умеръ бы съ голода, еслибы не другъ, который всегда писалъ ему: „Милый братъ! все, что есть у меня—твое!“ И онъ не ограничивался письмами! Нѣтъ, не ограничивался!..

Новый образъ за образомъ встаетъ въ памяти.

Веселый свадебный пиръ въ саду при гостинницѣ городка—свадебный пиръ его самого, устроенный тѣмъ другомъ, школьнымъ товарищемъ, и этотъ товарищъ провозглашаетъ первый тостъ за своего дорогого, единственнаго друга и его молодую жену—и отъ всего сердца желаетъ имъ счастья.

А вотъ и еще свадебный пиръ, на которомъ онъ самъ провозглашаетъ первый тостъ за своего дорогого, единственнаго друга и...

Въ комнатѣ послышался хриплый смѣхъ. Онъ въ ужасѣ приподнялся и оглянулся блуждающими глазами. Никого нѣтъ! Это онъ самъ засмѣялся.

Но развѣ все это не смѣшно? Молодая жена, за которую онъ предлагалъ тостъ—жена его друга—сдѣлалась потомъ его женой, не износивши еще башмаковъ, ахъ!

Благословенный союзъ—право! Счастливый бракъ—нечего сказать! Милліонъ—украденный у друга дѣтства, чье сердце и рука всегда были открыты для него—хорошо благословеніе! Чужая жена, которая вѣчно попрекала его плебействомъ, плебейскими манерами и привычками, плебейскими руками и ногами—хорошо счастье! Особенно, когда вспомнишь, что прежде имѣлъ другую жену, милую, добрую, любящую, готовую молиться на тебя, готовую пойти за тебя въ огонь и въ воду. И вотъ, она томилась послѣ въ тоскѣ и печали, и ни единой жалобы не издали ея блѣдныя уста! А потомъ она слегла и умерла, одинокая, заброшенная. А вѣдь онъ одну ее истинно любилъ, и влялся ей передъ алтаремъ раздѣлять съ ней горе и радости, оставаться ей вѣрнымъ, пока смерть не разлучитъ ихъ! Онъ предупредилъ смерть! Онъ оказался болѣе жестокимъ, чѣмъ смерть!

Илиціусъ застоналъ, и стоишь этотъ отчаянно раздался въ

комнатъ. Но теперь онъ не оглядывался; онъ зналъ, что это онъ самъ стонетъ.

Одинокая и повинутая!..

Нѣтъ. Марія оставалась при ней и рассказала ему о послѣднихъ минутахъ несчастной въ Киссингенѣ. Съ тѣхъ поръ онъ не смѣлъ глядѣть въ глаза дѣвушкѣ. Съ тѣхъ поръ? Да развѣ онъ могъ когда-нибудь глядѣть ей въ глаза? Развѣ она не казалась ему живымъ упрекомъ въ измѣнѣ ея отцу? въ ограбленіи ея самой? Отца, мать, состояніе — все, все онъ отнял у нея! Какъ же могъ онъ глядѣть ей въ глаза! И все-таки она была въ тысячу, тысячу разъ лучше, чѣмъ его собственныя дѣти. Какъ могла она родиться у такой матери, которая была воплощенный эгоизмъ, пустое тщеславіе, безсердечіе и пустота? Почему его дѣти не похожи на Марію? Развѣ дѣтямъ передается отцовскій характеръ? Можетъ быть, его дѣти должны были родиться эгоистами, въ родѣ Гартмута или Герберта, какова бы ни была ихъ мать? Но въ такомъ случаѣ почему же Гартмутъ оказался Измаиломъ, выброшеннымъ въ пустыню, тогда какъ Гербертъ торжествовалъ, сидя подъ сѣнью шатра? И при этомъ стыдился своего отца!

Да, его сынъ стыдился его! И теперь, и прежде! Съ какимъ презрѣніемъ въ холодныхъ глазахъ, съ какой усмѣшкой на тонкихъ губахъ стоялъ онъ передъ нимъ! Недоставало только, чтобы онъ назвалъ отца дуракомъ.—*Le malheur est une bêtise!*—его любимая поговорка. Да и въ самомъ дѣлѣ, не глупо ли было прожить столько времени! выростить на свою голову это поколѣніе, испорченное новое поколѣніе, которое все лучше знаетъ, все лучше умѣетъ, для котораго уваженіе къ старшимъ — бабы сказки, почтеніе къ родителямъ — бессмыслица! Презираемый дѣтьми, презираемый женой, выброшенный, какъ негодное орудіе, тѣмъ самымъ лицомъ, ради котораго онъ измѣнилъ своимъ убѣжденіямъ и убѣжденіямъ того, кто былъ его другомъ, ученикомъ, единомышленникомъ—да, это конецъ!

Хоть бы каплю воды!..

Языкъ его точно одеревенѣлъ; онъ чувствовалъ страшную жажду. Подъ зеркаломъ стоялъ полный графинъ воды. Но какъ до него добраться? Ноги его точно налились свинцомъ. Хотъ бы поднять плѣдъ, соскользнувшій съ колѣнъ! Онъ чувствовалъ ледяной холодъ, распространявшійся отъ ногъ по спинѣ. Но голова, голова! Она горѣла какъ въ адскомъ огнѣ! Вереница мыслей неслась съ ужасающей быстротой. Гдѣ это онъ читалъ, что приговоренный къ смерти переживаетъ всю жизнь въ тѣ нѣсколько мгновений, пока падаетъ топоръ.

— Воды! воды! хоть каплю! неужели никто не слышитъ? Никто не слыхалъ; никто не пришелъ. Онъ хотѣлъ встать и не могъ. Голова его тяжело опривинулась на спинку кресла.

### III.

— Ты хотѣлъ поговорить со мной наединѣ,—сказалъ Гербертъ еще на порогѣ своей комнаты.—Присядь пожалуйста. Я долженъ однако признаться,—сегодня я крайне занятъ.

Онъ не протянулъ руки Гартмуту и только жестомъ пригласилъ его сѣсть. Гартмутъ приготовился къ холодному приему; онъ ожидалъ даже худшаго. Поэтому онъ сказалъ совершенно спокойно и какъ бы ничего не замѣчая:

— Въ послѣднее время я не бывалъ у васъ; и даже, откровенно говоря, старался не встрѣчаться съ тобою, когда ты приходилъ къ Куртису. Дѣло въ томъ, что я оказался въ двусмысленномъ положеніи относительно васъ, и цѣль моего настоящаго посѣщенія—поправить дѣло.

— Продолжай,—сказалъ Гербертъ, рассматривая ногти на своихъ пальцахъ.

— Мое желаніе объясниться съ вами, то-есть, съ тобою,—продолжалъ Гартмутъ,—было тѣмъ сильнѣе, что недостатокъ прямыхъ довѣрчивыхъ отношеній между нами врядъ ли могъ быть замѣненъ ложными донесеніями прислуги. При этомъ самыя лучшія отношенія по-неволѣ испортятся; сообщенія, на одну треть правдивыя, на двѣ трети лживыя, перепутываются съ личными наблюденіями, и выходятъ чепуха.

— Ты увѣренъ, что все это относится къ дѣлу?—спросилъ Гербертъ.

Гартмутъ подумалъ, что настало время заставить брата отказать отъ его холодной сдержанности, и сказалъ, подражая небрежному тону Герберта:

— Я убѣжденъ, что наша бесѣда не меньше связана съ твоими выгодами, чѣмъ съ моими. И если ты заставишь меня уйти ни съ чѣмъ, то сильно раскаешься потомъ.

Въ этихъ словахъ очевидно скрывалась угроза. Гербертъ очень хорошо понялъ это. Прежняя, на время подавленная, ненависть закипѣла въ немъ, и первымъ его побужденіемъ было указать дверь безстыдному, который осмѣливался считать его себѣ равнымъ. Но онъ сдержался: это всегда успѣется. Чѣмъ болѣе онъ былъ увѣренъ въ своей силѣ, тѣмъ спокойнѣе могъ



дать высказаться противнику. Съ разсѣянной улыбкой, какъ человѣкъ, который слушалъ только однимъ ухомъ, онъ сказалъ:

— Ты не на шутку возбуждаешь мое любопытство. Въ чемъ же дѣло?

— Въ чемъ дѣло?!—повторилъ Гартмутъ.—Дѣло въ томъ, что въ семействѣ Куртисовъ произошло многое, что рѣшительно идетъ въ разрѣзъ съ вашими желаніями, которыя были и моими. Фрейлейнъ Анна...

— Виноватъ!—перебилъ Гербертъ:—но это дѣло уже кончено. Могу тебя увѣрить, что Регинальдъ уже не думаетъ объ этой исторіи; Ада тоже утѣшилась, о чемъ ты долженъ былъ узнать изъ газетъ, если не получилъ увѣдомленія о помолвкѣ, которое я послалъ тебѣ, равно какъ и семейству Куртисовъ. И такъ какъ мы уже коснулись этого предмета, то, надѣюсь, ты примешь за знакъ нѣжнаго вниманія съ моей стороны, если я сообщу тебѣ—разумѣется, подъ строжайшимъ секретомъ—о моей предстоящей въ скоромъ времени помолвкѣ съ фрейлейнъ Юліей Киницъ, старшей дочерью моего начальника.

— Поздравляю, поздравляю отъ всего сердца!—воскликнулъ Гартмутъ, протягивая руку, въ которую Гербертъ, съ иронической улыбкой, вложилъ кончики пальцевъ.

— Ты этого не ожидалъ?—спросилъ онъ.

— Ожидалъ?!—возразилъ Гартмутъ, пожимая плечами.—Тебѣ легко такъ говорить. Но еслибы ты жилъ цѣлыя недѣли бокъ-о-бокъ съ очаровательнымъ созданіемъ; сдѣлался бы довѣреннымъ ея отца, боготворимымъ ея матерью; еслибы ты замѣтилъ, что это существо съ вѣждымъ днемъ все болѣе и болѣе становится въ тебѣ неравнодушнымъ, и еслибы въ тому же ты былъ такимъ сѣднякомъ, какъ я,—то... я знаю тысячи людей, которые ни минуты не задумались бы ухватиться за этотъ случай обѣими руками и даже сотней рукъ, еслибъ онъ у нихъ былъ.

— Почему же ты задумываешься, смѣю спросить?—сказалъ Гербертъ дружескимъ тономъ.

— Ты не повѣришь, — отвѣчалъ Гартмутъ, придавая почти торжественное выраженіе лицу:—а между тѣмъ это чистая истина. Я отказался отъ своихъ прежнихъ убѣжденій,—убѣжденій, которыя никогда не были у меня результатомъ серьезнаго размышленія и серьезныхъ занятій. Я давно уже раскаяваюсь въ нихъ, смѣюсь надъ ними, проклиная ихъ, какъ источникъ безумія, противъ котораго должны возстать всѣ благомыслящіе люди. И это-то безуміе, отъ котораго я, слава Богу, избавился, я нахожу въ головѣ и сердцѣ этой дѣвушки,—да еще раздутымъ до безо-

бразія и при полномъ непониманіи нашихъ условій и обстоятельствъ. Не знаю, можешь ли ты представить себѣ мое положеніе?

— Отчего же нѣтъ? — сказала Гербертъ. — Твое положеніе лучше, чѣмъ многихъ другихъ. Ты не служишь, ты свободный человѣкъ, ничѣмъ не рискуешь, а странности твоей жены вполне искупаются милліонами, которые она принесетъ тебѣ. Или ты не совсѣмъ увѣренъ въ этихъ милліонахъ?

Въ глазахъ Гартмута блеснулъ мрачный огонь. Онъ сказалъ съ притворною горечью:

— Я знаю, что ты не избавишь меня отъ этой насмѣшки. Въ твоихъ глазахъ я просто голодный волкъ. Мнѣ кажется, тебѣ не слѣдовало бы напоминать мнѣ, что я сынъ твоего отца! Я и самъ объ этомъ вспомнилъ недавно, вслѣдствіе одного страннаго обстоятельства, о которомъ послѣ... Пока я желалъ бы доказать тебѣ, что и бѣдняки, какъ я, могутъ презирать тѣ средства, при помощи которыхъ богатые люди стараются увеличить свое богатство на счетъ другихъ. Видитъ Богъ, я говорю объ этомъ противъ воли—это все-таки нарушеніе довѣрія—но мнѣ слишкомъ тяжело молчать. Я думалъ, вы сами догадаетесь, что... что... ну, да скажу прямо, что вы рискуете потерять ваше состояніе въ предпріятіи съ воктавской дорогой.

Гербертъ считалъ для себя торжествомъ дипломатической мимики, что ему удалось сохранить вполне серьезное и даже озбоченное выраженіе лица:

— Странно! — сказалъ онъ. — Папѣ тоже получилъ сегодня утромъ предостереженіе,—правда, неопредѣленное, въ самыхъ общихъ выраженіяхъ. Можешь себѣ представить, какъ мнѣ любопытно узнать отъ тебя подробности!

— Я было не хотѣлъ говорить объ этомъ, — сказалъ Гартмутъ, довѣрчиво придвигаясь къ брату. — Но если ты такъ хочешь... Ты знаешь, главный вопросъ въ томъ, гарантирована ли дорога правительствомъ? Въ объявленіи сказано, что гарантирована, и указаны сотни квадратныхъ миль, которыя государство уступаетъ концессионерамъ бесплатно, и которыя обезпечиваютъ безусловную надежность акцій и даже общають громадныя дивиденды, такъ какъ дорога займетъ лишь ничтожную часть этихъ земель, а остальные будутъ проданы тысячамъ фермеровъ. Такъ вѣдь обстоитъ дѣло?

— Конечно, — сказалъ Гербертъ:—въ объявленіи...

— ...Которое оказалось чистымъ мошенничествомъ, — горячо подхватилъ Гартмутъ. — Это сотни квадратныхъ миль абсолютно негодной земли, на которую не найдется ни одного покупателя.

— Гм!— сказала Гербертъ:—это очень скверно. Но, если не ошибаюсь, это только твои предположенія, опасенія, а не достовѣрныя свѣденія. Признаюсь, послѣднее было бы для меня полезнѣе.

— Такъ считай это за достовѣрныя свѣденія,—возразилъ Гартмутъ.

— Не можешь ли ты указать мнѣ источникъ?

— Я бы предпочелъ не указывать, но если ужъ ты хочешь этого — изволь. Этотъ источникъ — г-жа Куртисъ. Господинъ Куртисъ повѣряетъ ей свои самыя завѣтныя тайны, въ надеждѣ, что она забудетъ ихъ на слѣдующее же утро. Такъ и бываетъ обыкновенно; но иногда ея память оказывается упорнѣе, если вещь повторяется ей такъ часто и такъ ясно, что даже ея слабый мозгъ удерживаетъ сообщенное дольше, чѣмъ обыкновенно. Такъ было и здѣсь. Вчера вечеромъ мы были одни, — и такъ какъ она теперь до глупости пристрастилась ко мнѣ — называетъ меня все время сыномъ и, кажется, считаетъ таковымъ, — то и выболтала мнѣ всѣ свои свѣденія о кочтавской дорогѣ, — безъ сомнѣнія, въ тѣхъ же выраженіяхъ, которыя слышала отъ мужа.

— Невѣроятно, — сказалъ Гербертъ. — Чтò могло заставить мистера Куртиса явиться въ Германію и затѣвать здѣсь плутню, которая, въ концѣ концовъ, доставитъ лишь ничтожную для такого миллионера выгоду?

— Выгода не такъ ничтожна, какъ ты думаешь, — возразилъ Гартмутъ. — Онъ получить не меньше миллиона, если плутня удастся. Впрочемъ, я думаю, что онъ затѣваетъ это просто изъ любви къ искусству. Въ настоящее время ему нечего дѣлать въ Америкѣ; а можетъ быть, разъ попавъ сюда, онъ просто не хочетъ даромъ терять время. Вообще, мнѣ кажется, важно то, что насъ обманываютъ, а не то, почему обманываютъ.

— Мнѣ тоже кажется, — отвѣчалъ Гербертъ. — Чтò же ты посоветуешь мнѣ дѣлать? Твоя заботливость, конечно, обратилась и на этотъ пунктъ?

— Конечно! — горячо отвѣтилъ Гартмутъ. — На твоемъ мѣстѣ я бы продалъ ваши бумаги à tout prix.

— Твой совѣтъ дорого стоитъ, — замѣтилъ Гербертъ, смѣясь. — Можетъ быть, половину нашего состоянія!

— Это лучше, чѣмъ потерять все! — воскликнулъ Гартмутъ. — Конечно, это не легко. Во всякомъ случаѣ, нужно спѣшить. Я охотно предложу свои услуги. Разумѣется, я долженъ при этомъ оставаться на заднемъ планѣ, такъ какъ всѣ считаютъ меня агентомъ мистера Куртиса. Но я сумѣю справиться съ дѣломъ. Итакъ, если ты довѣряешь мнѣ...

Онъ остановился, замѣтивъ странную улыбку въ глазахъ брата.

— Кажется, я все еще не убѣдилъ тебя,—сказалъ онъ тономъ упрека.

Улыбка въ жесткихъ голубыхъ глазахъ стала еще выразительнѣе и перешла на губы, которыя медленно и спокойно произнесли:

— Напротивъ! Я давно уже убѣдился въ этомъ, и потому продалъ всѣ наши акціи,—даже съ маленькимъ барышомъ.

Ударъ былъ слишкомъ силенъ даже для крѣпкихъ нервовъ Гартмута. Онъ сидѣлъ безъ словъ, безъ движенія, — впрочемъ, лишь нѣсколько мгновений, и быстро оправился. Тетива лопнула, но у него была въ запасѣ еще одна и притомъ болѣе надежная. Онъ всталъ, взялъ шляпу и сказалъ:

— Очень радъ этому, душевно радъ,— тѣмъ болѣе, что не одна эта опасность угрожала вашему счастью. Миѣ почти досадно, что я говорилъ объ этомъ. Всегда оказываешься въ смѣшномъ положеніи, когда будишь того, кто самъ уже давно проснулся.

Теперь была очередь Герберта стать въ тупикъ. Неужели Гартмутъ зналъ о немилости, которой подвергся отецъ? Почему же нѣтъ? У него повсюду были шпионы. Ничего другого онъ не могъ имѣть въ виду. Но и такого маленькаго торжества онъ не долженъ допустить.

— Ты говоришь о несчастіи, случившемся съ папой?—сказалъ онъ.—Но послѣ его вчерашней рѣчи это не трудно было предвидѣть. Я удивляюсь, что онъ такъ долго держался.

Гартмутъ ничего не слышалъ объ отставкѣ гехеймрата, но ни однимъ движеніемъ не выдалъ своего изумленія. Лучшаго перехода къ тому, что должно было послѣдовать, онъ и желать не могъ.

— Все-таки жаль хорошаго жалованья,—сказалъ онъ, медленно натягивая перчатки.—Впрочемъ, ты правъ: этого давно можно было ожидать. Ветераны 48-го года всѣ родились доктринерами и остаются доктринерами, хотя бы десять разъ перемѣнили убѣжденія. Отецъ только разъ перемѣнилъ ихъ — зато основательно. Пришлось погибнуть отъ руки стараго друга! Должно быть, это возмездіе за то, что когда-то онъ самъ воспользовался гибелью друга для того, чтобы возвыситься самому. Надѣюсь, что съ этимъ другомъ онъ справится легче, чѣмъ съ первымъ. Ты, разумѣется, понимаешь, о чемъ—вѣрнѣе, о комъ я говорю.

— Нѣтъ,—коротко отвѣчалъ Гербертъ.

Очевидно, онъ и не подозрѣвалъ о тайнѣ, скрывавшейся въ

домъ Куртисовъ. Сердце Гартмута забилося отъ злобной радости: теперь его будутъ просить объ услугахъ.

— Нѣтъ?—сказалъ онъ:—правда, ты не знаешь? Ну, такъ вотъ въ чемъ дѣло—хотя, можетъ быть, ты опять осмѣешь меня—этотъ листокъ я нашелъ въ старомъ отцовскомъ шкафу, который какимъ-то образомъ, вѣроятно при разводѣ, перешелъ къ моей матери. Я думалъ, что тебѣ онъ покажется интереснымъ и захватилъ его съ собой.

Говоря это, онъ вынулъ изъ кармана листокъ, развернулъ его и подалъ Герберту, который машинально взялъ и прочелъ бумагу. Это была копія съ документа, которымъ обезпечивалось право Илиціуса на владѣніе имуществомъ Альдена. Въ немъ значилось, что „баронъ Іоганнъ Гартмутъ фонъ-Альденъ передаетъ все свое имущество своей супругѣ Фаустинѣ, рожденной графинѣ Уттенховенъ, въ случаѣ если онъ будетъ убитъ въ сраженіи или, какъ побѣжденный и изгнанникъ, принужденъ будетъ провести свою жизнь вдали отъ родины и наслѣдія своихъ предковъ. Напротивъ, если онъ останется въ живыхъ и вернется на родину, то все вышеозначенное имущество, котораго его жена не имѣетъ права растратывать или отчуждать, возвращается ему со всѣми связанными съ нимъ правами“.

Прочитавъ это, Гербертъ взглянулъ въ сверкающіе глаза Гартмута, устремленные на него какъ глаза коршуна. Что онъ, съ ума сошелъ, что ли? что значить эта новая комедія?

Онъ медленно сложилъ листокъ и сказалъ, передавая его Гартмуту:

— Ты думалъ, что это меня заинтересуетъ? Откровенно говоря,—очень мало. Я знаю другую копію, настоящую,—это только черновая,—которая хранится вмѣстѣ съ фамиліными актами. Помню ее почти слово въ слово.

— Очень радъ этому,—возразилъ Гартмутъ.—Тебѣ придется вспомнить эту бумагу, когда ее станутъ разбирать на процессѣ, который возникнетъ между папой и господиномъ Альденомъ.

Очевидно, онъ помѣшался. Гербертъ давно подозрѣвалъ, что его рассудокъ не въ порядкѣ или, по крайней мѣрѣ, близокъ къ помѣшательству. Не позвонить ли, чтобы пришелъ слуга?

— Я еще въ здоровомъ умѣ,—сказалъ Гартмутъ, угадавшій его мысли.—Но я не знаю, какъ это вы до сихъ поръ не догадались, не убѣдились, что господинъ Смитъ въ домѣ Куртисовъ—отецъ Маріи, баронъ Іоганнъ Гартмутъ фонъ-Альденъ.

— Какъ?—воскликнулъ Гербертъ.

Точно завѣса спала съ его глазъ. Значить, онъ дѣйствительно

былъ такъ слѣпъ, что не видѣлъ того, что ясно какъ дважды два — четыре. Фактъ казался ему теперь несомнѣннымъ; онъ понималъ также и его важность. Но онъ не хотѣлъ обнаружить слабость передъ соперникомъ. Мысль о томъ была единственнымъ твердымъ пунктомъ въ вереницѣ мыслей, пронесившейся въ его головѣ.

— Этимъ, впрочемъ, многое объясняется, — замѣтилъ онъ, — и прежде всего поведеніе Маріи. Никогда бы я не повѣрилъ, что она можетъ такъ ловко скрывать свои карты! Но если они думаютъ, что выиграли партію, то жестоко ошибаются.

Гартмутъ выслушалъ это съ почтительнымъ удивленіемъ къ желѣзной энергіи и готовности биться, которая обнаруживались въ этихъ словахъ. Теперь или никогда не наступитъ удобный моментъ. До сихъ поръ счастье было противъ него, да онъ и принялся за дѣло неловко; на этотъ разъ ему лучше удастся.

— Надѣюсь, что они ошибаются, — сказалъ онъ съ горечью, — и радуюсь твоей рѣшимости. Я тоже Илиціусъ — чего вы никогда не хотѣли признать — и чортъ бы побралъ Альденовъ! Марія недостойно вела себя въ этомъ дѣлѣ. Ты говоришь: она ловко скрываетъ свои карты. Но я вижу ея игру и легко могу убить ея козыря, а васъ избавить отъ всѣхъ проволочекъ, неприятностей и издержекъ. Хочешь ты меня выслушать?

— Пожалуйста, — сказалъ Гербертъ, — съ величайшимъ удовольствіемъ.

— Ну, — продолжалъ Гартмутъ, — дѣло вотъ въ чемъ: Марія и профессоръ, разумѣется, заодно съ старымъ Альденомъ. Недостаетъ только согласія отца, мистера Куртиса, который дѣлаетъ видъ, что ничего не замѣчаетъ. Но онъ можетъ сбросить маску и сбросить ее, когда миллионъ, который онъ рассчитываетъ получить на своемъ предпріятіи, окажется у него въ карманѣ. Это будетъ недѣли черезъ двѣ. Марія не можетъ ждать такъ долго: профессоръ, того и гляди, скончается. Марія и старый Альденъ очень хорошо знаютъ это; знаютъ также, что если Ральфъ умретъ прежде, чѣмъ бракъ будетъ заключенъ, то Марія останется не при чемъ. Они нѣсколько разъ пытались уломать мистера Куртиса, но все напрасно. Есть только одинъ человѣкъ, который можетъ уломать его. Этотъ человѣкъ — я. Но подъ однимъ условіемъ, которое покажется тебѣ очень страннымъ. Подъ тѣмъ условіемъ, что я откажусь отъ руки миссъ Анны. Старикъ цѣнить меня, но не согласится отдать свою дочь за голаяка. Притомъ онъ уже обѣщалъ ея руку сыну какого-то изъ своихъ нью-іоркскихъ друзей. А я — ну, Гербертъ, мы братья, и я могу говорить откровенно — тебѣ можетъ показаться все это слишкомъ великодушнымъ,

и отказываюсь отъ двухъ милліоновъ. Но я человѣкъ чувства. Ни за какіе милліоны не соглашусь я жениться на дѣвушкѣ, которую не люблю. А Анну я не люблю. Basta! Теперь дальше. Я знаю, что цѣною своего отказа отъ Анны добьюсь согласія мистера Куртиса на бракъ Маріи и Ральфа; и увѣренъ, что старый Альденъ, получивъ это согласіе, откажется отъ притязаній на свое прежнее состояніе. Это понятно: исходъ процесса, какъ ты самъ говоришь, сомнителенъ; милліонъ или во всякомъ случаѣ огромная сумма у вдовы Ральфа несомнѣнна. Что ты скажешь на это?

— Скажу, — съ улыбкой отвѣчалъ Гербертъ, — то, что всегда говорилъ: ты тонкая голова. Но извини, если я не вѣрю въ твое безкорыстіе. Теперь никто ничего не дѣлаетъ даромъ: даже человѣкъ чувства. Итакъ, скажи мнѣ безъ дальнихъ околичностей, какія твои условія?

Гартмутъ хотѣлъ-было сдѣлать видъ, что обдумываетъ неожиданный вопросъ. Но это было бесполезно. Онъ взглянулъ прямо въ глаза милому брату и сказалъ сухо и коротко:

— Итакъ, безъ околичностей: во-первыхъ, я желаю опять носить имя Илиціуса; во-вторыхъ, вы должны признать меня и относиться ко мнѣ какъ къ равноправному родственнику; въ-третьихъ, я получаю изъ общаго семейнаго наслѣдства, которое сохранится за вами только благодаря моимъ усиліямъ, такую же долю, какъ каждый изъ васъ, причемъ Марія исключается, такъ какъ получить деньги Куртиса. Надѣюсь, что эти условія покажутся тебѣ увѣренными.

— Я бы солгалъ, еслибы сказалъ это, — возразилъ Гербертъ.

— Какія-жъ бы ты предложилъ мнѣ? — сказалъ Гартмутъ раздраженнымъ тономъ.

— Я не предложу тебѣ никакихъ.

— Ты говоришь серьезно?

— Совершенно.

— Adieu.

Гартмутъ схватилъ шляпу и пошелъ къ дверямъ, но внезапно остановился и сказалъ:

— Ты пожалѣешь объ этомъ.

Гербертъ, все время стоявшій у письменнаго стола, заложивъ ногу на ногу, пожалъ плечами и замѣтилъ:

— Ты бы долженъ былъ знать, что меня не испугаютъ твои угрозы.

— Это не угроза, — возразилъ Гартмутъ: — это только предостереженіе отъ опасности, которой ты подвергаешь себя и всю

семью. Старый баронъ—упрямый человѣкъ, желѣзный характеръ, а вести процессъ ему помогутъ богатые американскіе друзья. Ты не могъ въ такое короткое время обсудить дѣло такъ хорошо, какъ я; я давно знаю его, и вижу обѣ стороны медали. Еще разъ: я не угрожаю, но предостерегаю, совѣтую, какъ братъ и другъ.

— Очень благодаренъ, но не могу воспользоваться твоимъ предложеніемъ, — отвѣтилъ Гербертъ холоднымъ тономъ, какъ человѣкъ, желающій отвязаться отъ докучливаго собесѣдника.

Дверь хлопнула, и онъ остался одинъ.

#### IV.

Съ минуту онъ стоялъ неподвижно, потомъ выпрямился и, заложивъ руки за спину, сталъ медленно ходить по комнатѣ. Какъ ни мало имѣлъ онъ времени, чтобы обдумать дѣло, однако не сомнѣвался, что рѣшеніе его было правильно.

Онъ еще разъ припомнилъ всю сцену. Презрѣніе, съ которымъ онъ отнесся къ фанфарону, было ему пріятно, какъ ощущеніе, которое остается послѣ хорошаго блюда. Да, этотъ человѣкъ—фанфаронъ, хваставшійся вліяніемъ и силой, которыхъ у него не было, хотя онъ искусно плелъ свою паутину. Но стоило прикоснуться къ ней, чтобы она разлетѣлась въ клочки. Онъ откажется отъ такой дѣвушки, какъ Анна, съ миллионнымъ наслѣдствомъ, потому что не любитъ ее! Вздоръ! Или онъ вралъ про ея любовь, или былъ увѣренъ, что никакихъ миллионовъ нѣтъ, и явился сюда съ предложеніемъ услугъ, рассчитывая, что синица въ рукахъ лучше журавля въ небѣ. Иначе онъ навѣрно не показалъ бы и носа,—назойливый нищій, голодный бродяга! Навѣрно онъ предлагалъ услуги и Маріи съ ея отцомъ, но получилъ отказъ. Марія—восторженная особа, но именно потому никогда не согласится дѣйствовать за-одно съ такимъ мошенникомъ, какъ Гартмутъ! Все это онъ нагалялъ. И видно, въ самомъ дѣлѣ, яблочко отъ яблони недалеко падаетъ. Тотъ старый фантазеръ сорокъ-восьмого года тридцать лѣтъ провелъ въ Америкѣ, а не нашелъ ничего лучшаго, какъ сдѣлаться нахлѣбникомъ биржевика или наперсникомъ сумасброда, мечтателя, и это—упрямый человѣкъ, желѣзный характеръ! Смѣшно! Если онъ такъ дорожилъ своимъ богатствомъ, то почему не вернулся въ Европу въ 61-мъ году, послѣ амнистіи, и не затѣялъ тогда же процесса? Разумѣется, потому, что онъ идеалистъ, Донъ-Кихоть, а въ то же



время понимаетъ, что у вѣтряныхъ мельницъ сильныя крылья, которыя могутъ сбросить его на землю. Пусть попробуетъ! Врядъ ли имъ удастся выиграть процессъ. Да, вѣроятно, до процесса и не дойдетъ. Марія и старикъ—ему теперь должно быть за шестьдесятъ—уже дали бы знать о себѣ, еслибы хотѣли начать дѣло. Можно предложить небольшое вознагражденіе, и они, вѣроятно, удовольствуются славой великодушія. Разумѣется, онъ, Гербертъ, долженъ забрать въ свои руки и это дѣло. Кто можетъ противорѣчить ему? Мать уже давно не смѣетъ спорить съ нимъ; папа всегда уступалъ, а теперь будетъ считать за честь, если съ нимъ посоветуются для вида. Ада всегда была его послушной ученицей, и помолвка съ Мейрингеномъ—дѣло его рукъ. Регинальдъ! но и онъ началъ понимать, что семейство, желающее что-нибудь значить въ свѣтѣ, должно имѣть главу.

Гербертъ выпрямилъ голову, походка его стала тверже и быстрее.

Да, онъ глава семьи. Онъ обязанъ сохранить для нея состояніе, безъ котораго ей не удержаться на высотѣ положенія, не говоря уже о томъ, чтобы подняться на высшую ступень. Онъ обязанъ вести ее по трудному пути къ славѣ и могуществу, обязанъ и, слава Богу, въ силахъ исполнить это. Что еще нужно ему? Денегъ, денегъ и денегъ! Откровенно говоря, безъ денегъ теперь и князь не князь. А что такое счастье? Только дураки могутъ думать, что оно падаетъ съ неба. Счастье хватаютъ сильными руками и заставляютъ служить себѣ, какъ послушную служанку. Объ этомъ глупая толпа и не подозреваетъ, да оно и къ лучшему. Хорошо, что толпа всегда останется такою, какъ есть. А эти сумасбродные мечтатели 48-го года теперь не заслуживаютъ и вниманія. Пусть себѣ гремятъ своимъ заржавленнымъ оружіемъ, какъ католическій патеръ костями своихъ святыхъ, въ которыя никто больше не вѣритъ. А социальное-демократическое отродье—что оно создастъ, въ концѣ концовъ? Программы, которыя другъ друга уничтожаютъ; безпорядки, которые приходится усмирять штыками; Гёделя, который кончаетъ на висѣлицѣ; безстыднаго интригана, въ родѣ Гартмута, котораго выталкиваютъ за дверь. Мы одни понимаемъ духъ времени, знаемъ искусство управленія государствомъ, выдвинули изъ своей среды того, кто довелъ это искусство до высшей степени, создалъ цѣлую школу, въ которой дуракамъ, конечно, нѣтъ мѣста, но умныя головы сьумѣютъ поддержать это искусство на той же степени. Должны поддержать! Еще лѣтъ пять-шесть, можетъ быть два-три года—и о Гербертѣ Илиціусѣ заговорятъ.

Онъ сѣлъ за письменный столъ. Теперь нужно дѣйствовать, не теряя ни минуты. Во-первыхъ, нужно написать Марин и просить у нея свиданія, прежде чѣмъ этотъ мошенникъ, который теперь, конечно, замышляетъ месть, успѣетъ втереться къ ней и побудитъ ее на какой-нибудь безразсудный шагъ. Написать письмо было не легко. Слѣдовало найти вѣрный тонъ.

Затѣмъ слѣдовало написать не менѣе затруднительное письмо въ директору, съ рѣшительной просьбой руки Юліи.

Онъ уже говорилъ съ нимъ объ этомъ вчера, когда господинъ фонъ-Киницъ, по окончаніи засѣданія, подозвавъ его къ себѣ, выразилъ свое сожалѣніе по поводу происшествія въ рейхстагѣ и прибавилъ:

— Вы знаете, любезный коллега, какъ я дорожу вами, и какъ мнѣ будетъ прискорбно, если прекрасная карьера, которую вы можете сдѣлать, будетъ испорчена благодаря вашему отцу.

На чтѣ Гербертъ, не задумываясь, отвѣтилъ:

— Благодарю васъ, господинъ директоръ. Будьте увѣрены, что я воспользуюсь вашимъ добрымъ намекомъ и не испорчу какой-нибудь непослѣдовательностью не только свою карьеру, но и то, чтѣ принимаю въ сердцу еще больше карьеры.

Это былъ мудрый отвѣтъ, разомъ уяснившій запутанное положеніе. Но теперь надо принять его послѣдствія, — и вончено съ глупымъ американскимъ эпизодомъ!

Гербертъ приготовилъ бумагу и взялся за перо, когда въ корридорѣ слышались шаги, дверь распахнулась и вошелъ Регинальдъ въ вѣскѣ и шарфѣ, съ блѣднымъ, разстроеннымъ лицомъ, не предвѣщавшимъ ничего добраго.

— Чтѣ случилось? — воскликнулъ Гербертъ.

— Дуэль, — пробормоталъ Регинальдъ, бросаясь на стулъ. — Противникъ остался на мѣстѣ.

— Графъ? — воскликнулъ Гербертъ, вскакивая со стула.

— Авсаль, да! — пробормоталъ Регинальдъ, понуривъ голову.

Гербертъ зашагалъ по комнатѣ. Чтѣ это? весь адъ обрушился на него сегодня? Только этого недоставало!.. И съ нимъ не посоветовались! Чортъ возьми! или онъ не глава семьи?..

— Почему ты прежде ничего не сказалъ мнѣ объ этомъ? — спросилъ онъ, остановившись передъ братомъ.

— Потому что зналъ, что ты помѣшаешь мнѣ, — пробормоталъ Регинальдъ. — Чтѣ-нибудь должно было случиться; такъ это не могло продолжаться. Я не могъ больше выносить, видя, что онъ обманываетъ Стефанію, водить всѣхъ насъ за носъ и дѣлаетъ посмѣшищемъ всего города. Я не могъ этого выносить.

— Такъ поэтому ты долженъ былъ его убить?

— Или онъ меня. Мы сошлись не для шутки.

— А теперь? Ты заявишь объ этомъ?

— Да!—сказалъ Регинальдъ, мысленно уже представляя себя у своего полковника и, быстро оправившись, прибавилъ:

— Разумѣется, заявлю. Какъ же иначе? Но я хотѣлъ сначала сообщить тебѣ.

— Ты очень любезенъ. Можетъ быть, ты будешь настолько любезенъ, что объяснишь мнѣ, какъ ты пришелъ въ убѣжденію, что „что-нибудь должно случиться“, не давъ себѣ труда спросить у меня, не окажется ли это „что-нибудь“ ужасной бессмыслицей.

Никогда еще Гербертъ не говорилъ съ братомъ такимъ тономъ. Регинальдъ почувствовалъ это, несмотря на все свое смущеніе. Онъ чувствовалъ также, что никогда не допустилъ бы до этого прежде. Но, конечно, послѣ того, какъ убилъ человѣка... и видѣлъ его лежащимъ на травѣ, съ выкатившимися, потускнѣвшими глазами, глазами, которые когда-то улыбались ему за бутылкой вина...

И Регинальдъ рассказалъ тономъ провинившагося швольника, какъ онъ мало-по-малу пришелъ въ убѣжденію, что Стефанія надоѣла Акселю, но у него не хватало мужества на явный разрывъ. А между тѣмъ онъ вступилъ въ недостойную, скандальную связь съ какою-то актрисой, которая уже раньше была его любовницей. Обо всемъ этомъ Регинальдъ узналъ отъ Бенно Мейрингена и рѣшился дать урокъ графу, зная, что просьбы, увѣщанія, требованія ни въ чему не приведутъ.

— Я не сталъ запутывать въ это дѣло Мейрингена,—продолжалъ онъ.—Онъ, дѣйствительно, оказался бы въ непріятномъ положеніи, такъ какъ не могъ объяснить никому, откуда и какимъ образомъ получилъ онъ свѣденія объ Акселѣ. При томъ я долженъ былъ щадить его ради Ады. Поэтому я пригласилъ Карла Трахвица изъ моего полка и Мальте Прора, изъ перваго кирасирскаго, знаешь? Они согласились, что я, какъ братъ Стефаніи и офицеръ, не могъ равнодушно относиться къ скандалу, принявшему такіе громадныя размѣры. Я нарочно говорю объ этомъ, чтобы доказать тебѣ, что я не дѣйствовалъ очертя голову, но долженъ былъ такъ поступить, если хотѣлъ оставаться офицеромъ. Ну, мы застали Акселя... графа... въ одномъ мѣстѣ, которое было мнѣ раньше указано,—разумѣется, мы были въ штатскомъ платьѣ,—и гдѣ онъ уже двѣ недѣли сходился съ своей любовницей каждый вечеръ, послѣ представленія. Она дѣйстви-

тельно очень хороша и, въ сущности, во всей этой исторіи возбуждаетъ во мнѣ наибольшее сожалѣніе. Мы заняли сосѣдній кабинетъ, отдѣлявшійся только тонкой перегородкой; притомъ Аксель говорилъ такъ громко, что каждое слово было слышно. Она упрекала его Стефаніей, и онъ говорилъ... Говорилъ такія вещи, что я удивляюсь, какъ у меня хватило терпѣнія выслушивать. Я послалъ ему съ кельнеромъ свою карточку, приказавъ передать, что я нахожусь въ сосѣднемъ кабинетѣ и желаю повидаться съ нимъ. Онъ явился. Остальное ты самъ можешь угадать. Часъ спустя все было улажено; рѣшили сойтись сегодня утромъ, въ шесть часовъ, въ Грюневальдѣ. Его секундантомъ былъ Алкивиадъ Виченціо изъ чилийскаго посольства. Разумѣется, всѣ формальности были соблюдены самымъ тщательнымъ образомъ. Мы стрѣляли а tempo; онъ промахнулся, хотя, право, былъ мастеръ стрѣлать изъ пистолета. Моя пуля пробила ему сердце. Я бы солгалъ, еслибы сказалъ, что не хотѣлъ этого. Однако, мнѣ пора. Ты, конечно, сообщишь объ этомъ папѣ, мамѣ и... ну, ты возьмешься сходить также къ Стефаніи. Я думаю, впрочемъ, что, оправившись отъ перваго испуга, она не будетъ очень горевать. Это не въ ея натурѣ, притомъ же ей плохо было бы жить съ Акселемъ. Она сама сознаетъ это; третьяго-дня, вечеромъ, она говорила мнѣ объ этомъ, и такъ жалобно плакала, что я, ей Богу, не могъ больше выносить.

Онъ провелъ рукой по лбу, на которомъ выступили капли пота, взялъ каску и подошелъ къ зеркалу.

— Чортъ возьми! какой у меня видъ!—пробормоталъ онъ.

Вытащивъ изъ кармана щетку, онъ пригладилъ волосы, поправилъ шарфъ и повернулся къ Герберту:

— До свиданія!

— Подожди немного!—сказалъ Гербертъ.

Онъ помолчалъ съ минуту, между тѣмъ какъ Регинальдъ съ удивленіемъ смотрѣлъ на него, и потомъ сказалъ:

— Я обдумалъ все это дѣло и нахожу, что ты поступилъ совершенно правильно. Не только потому, что, какъ офицеръ, ты имѣлъ право такъ поступить, но и потому, что этого требовало твое личное положеніе и интересы семьи. Стефанія и Эгонъ сдѣлали насъ предметомъ сплетенъ: теперь же всякій прикуситъ языкъ. Я хочу также, чтобы Стефанія осталась жить съ Эгономъ. Благодаря этому, дѣло будетъ имѣть такой видъ, какъ будто графъ пытался разстроить счастливую чету и получилъ за это возмездіе. Какъ они поладятъ между собой—это ужъ ихъ дѣло. Можетъ быть, я отправлю ихъ въ какой-нибудь провинціальный городокъ:

это будетъ „сига posterior“—дальнѣйшая забота! Я бы хотѣлъ поговорить съ тобой еще кой-о-чемъ, но не стану тебя задерживать. Посѣщу тебя, какъ только буду имѣть возможность. Надолго тебя не засадятъ. Твоимъ отношеніямъ къ Лоттѣ Блюменгагенъ это также не повредитъ. Итакъ, до свиданія. Не принимай слишкомъ близко къ сердцу это дѣло! Этимъ ты только доставишь удовольствіе другимъ, а самъ ничего не получишь, кромѣ бессонницы и плохого аппетита.

Регинальдъ не вѣрилъ своимъ ушамъ. Такъ дружески Гербертъ уже давно, можетъ быть никогда съ нимъ не говорилъ. При своемъ возбужденномъ состояніи онъ чуть не заплакалъ отъ этой ласки, чуть не обнялъ брата. Однако одумался, сообразивъ, что это будетъ смѣшно, и ограничился тѣмъ, что крѣпко пожалъ руку брата. Дойдя до двери, онъ остановился и сказалъ черезъ плечо:

— Ты будешь на дняхъ у Куртисовъ?

— Нѣтъ, зачѣмъ?

— А то бы я попросилъ тебя передать мой поклонъ Маріи и... и... нѣтъ! такъ будетъ лучше! Прощай.

Послѣднія слова онъ произнесъ едва слышнымъ голосомъ.

Гербертъ посмотрѣлъ ему вслѣдъ.

„Смѣлый малый!“ подумалъ онъ. Не изъ того, правда, тѣста, изъ каковаго дѣлаются великіе люди, но мы можемъ пользоваться такими людьми для нашихъ цѣлей. Впрочемъ, еслибы прекрасная американка не отказала ему въ рукѣ, распутный Аксель могъ бы жить спокойно. Хорошо, что онъ убитъ. Если не для него, то для насъ—мы совсѣмъ запутались съ этой исторіей о разводѣ. Теперь мы избавлены отъ затрудненія. Это самое главное.

Онъ снова сѣлъ за письменный столъ, какъ вдругъ въ корридорѣ подлѣ его комнаты, гдѣ прежде осмѣливались ходить только на ципочкахъ, послышалась бѣготня. Въ ту же минуту въ комнату вбѣжалъ слуга съ крикомъ:—Боже мой!

— Что случилось?

— Господинъ гекеймратъ!..

— Ну?

— Господинъ гекеймратъ умираетъ!

— Сейчасъ приду,—сказалъ Гербертъ.

Слуга бросился вонъ изъ комнаты, а Гербертъ вытеръ уже обмокнутое въ чернила перо и всталъ.

Неужели самоубійство? Это было бы ужасно! Пойдутъ страшныя слухи. А тутъ еще дуэль Регинальда... Просто бѣда!..

Онъ быстро вышелъ изъ комнаты, твердою рукою отворилъ

дверь въ комнату отца и засталъ въ ней сцену, которую ожидалъ встрѣтить: мать, Ада, почти вся прислуга столпились около умирающаго, какъ сказалъ слуга, и, во всякомъ случаѣ, тяжело больного, какъ онъ самъ убѣдился, послѣ непродолжительнаго осмотра.

Мать, рыдая, хотѣла броситься къ нему на-встрѣчу, но онъ отстранилъ ее довольно сухо.

— Послали за докторомъ?—спросилъ онъ Аду, встрѣтивъ ее спокойный взглядъ. Она утвердительно кивнула головой.

— Хорошо,—сказалъ онъ.—Нужно уложить его въ постель. Фридрихъ, Паулина, перестаньте визжать и дѣлайте, что вамъ говорятъ.

## V.

Въ теченіе послѣдней ночи въ домѣ Куртисовъ происходила также суматоха. Поздно вечеромъ у Ральфа сдѣлался особенно сильный припадокъ. Послали за докторомъ Брунномъ, который нашелъ положеніе больного настолько опаснымъ, что пригласилъ для совѣта своего университетскаго коллегу. Они долго оставались у постели больного. Коллега ушелъ около полуночи; докторъ Бруннъ просидѣлъ еще около часа и удалился, сказавъ, чтобы за нимъ немедленно прислали, если припадокъ возобновится.

Послѣ этого въ покояхъ больного водворилась тишина; зато въ комнатахъ старыхъ Куртисовъ поднялась суматоха, хотя сравнительно безшумная. Въ обширной спальнѣ, гдѣ были зажжены всѣ газовые рожки, стояли три огромныхъ дорожныхъ сундука, быстро наполнявшіеся неутомимой Аустинной. Мистеръ Куртисъ въ туфляхъ выносилъ изъ своего кабинета дѣловыя книги и пачки писемъ, которыя укладывалъ самъ въ небольшой сундукъ, отдавая шопотомъ приказанія Аустинѣ. Въ темномъ углу комнаты на диванѣ спала миссисъ Куртисъ, крѣпкимъ сномъ ребенка, въ полной увѣренности, что оказала, съ своей стороны, большое содѣйствіе къ отъѣзду тѣмъ, что не легла въ постель.

Раннее іюньское солнце уже возвѣщало о своемъ появленіи широкими красными полосами на восточной сторонѣ горизонта, когда Аустина кончила укладку. Мистеръ Куртисъ опустилъ занавѣсъ, изъ-за котораго выглядывалъ на улицу. Было половина четвертаго; экипажи, нанятые къ четыремъ, еще не явились. Онъ обратился къ старухѣ, стоявшей на колѣняхъ передъ сундукомъ, и сказалъ ей нѣсколько словъ. Она откинула сѣдые волосы, падавшіе ей на лицо, встала и прошептала:

— А если онъ не захочетъ придти?

— Ну, и пускай себя! — сердито отвѣчалъ Куртисъ.

— Анна не отправится съ нами?

— Вы должны знать это лучше, чѣмъ я.

Морщинистое лицо старухи озарилось злобной улыбкой.

— Да! — сказала она: — я это знаю. Я ненавижу ее. Она всегда обращалась со мной какъ съ собакой. Я теперь припомню ей это. И вамъ, и моей миссисъ она всегда становилась попережь дороги. Теперь вы избавились отъ нея, слава Богу!

— Она сама хотѣла этого, — проворчалъ мистеръ Куртисъ.

— Какъ будто вы хотѣли чего другого! — презрительно возразила Аустина. — Какъ будто вы не видѣли съ самаго начала, къ чему ведетъ вся эта исторія? Какъ будто вы не рады, что больше не увидите Ральфа!

— Стыдитесь! — сказалъ мистеръ Куртисъ.

— Рассказывайте сказки другимъ!

Старуха уложила въ сундукъ вещь, которую держала въ рукѣ, и ушла. Мистеръ Куртисъ потеръ подбородокъ, бросилъ заботливый взглядъ на спящую жену и пошелъ въ свой кабинетъ. Тамъ онъ еще раньше погасилъ всѣ газовые рожки, за исключеніемъ одного. Теперь онъ завернулъ и этотъ, отдернулъ занавѣсъ и задумчиво посмотрѣлъ на улицу, заложивъ руки за спину и издавая тихій свистъ. Легкій шорохъ заставилъ его обернуться. Въ комнату вошелъ Смитъ. Куртисъ пошелъ къ нему на-встрѣчу и, дойдя до двухъ стульевъ, стоявшихъ посреди комнаты, сбросилъ на коверъ наваленныя на нихъ бумаги.

— Не угодно ли присѣсть?

— Благодарю, — отвѣчалъ Смитъ.

Онъ, однако, не сѣлъ, и потому Куртисъ тоже остался стоять.

— Я долженъ былъ попросить васъ къ себѣ, — сказалъ онъ.

— Вы, кажется, не знаете, что Ральфъ каждую минуту можетъ умереть, — возразилъ Смитъ суровымъ тономъ. — Поэтому я долженъ васъ просить не задерживать меня.

Мистеръ Куртисъ оттопырилъ нижнюю губу, издалъ что-то въ родѣ свиста и сказалъ:

— Вы всегда были пессимистомъ, Смитъ. Послушать васъ — Ральфъ сто разъ долженъ былъ бы умереть; потому позвольте мнѣ и теперь не повѣрить вамъ. Главное для меня то, что онъ боленъ, слишкомъ боленъ, чтобы я могъ съ нимъ проститься. Вы, разумѣется, останетесь при немъ. Стало быть, я могу быть совершенно спокоенъ. Притомъ мой отъѣздъ не причинитъ вамъ никакого безпокойства: прислуга получила жалованье впередъ за

четверть года; квартира оплачена до 1-го іюля и остается въ вашемъ распоряженіи. Потомъ вы должны будете поискать другую, такъ какъ эта, сколько я знаю, уже нанята кѣмъ-то съ перваго іюля. Анна тоже останется здѣсь; я спрашивалъ ее, желаетъ ли она сопровождать насъ, меня и миссисъ Куртисъ. Она отказалась наотрѣзъ. Я не настаивалъ; мои дѣти могутъ поступать, какъ имъ угодно; я думаю, что она выйдетъ замужъ за мопенника Зелька, а можетъ быть уже и вышла, во всякомъ случаѣ имѣетъ какія-нибудь основанія оставить родителей. Что касается моего отъѣзда, то я рѣшился на него вчера вечеромъ. Мнѣ удалось получить и остальные деньги, хотя я ожидалъ ихъ только черезъ двѣ недѣли. Этимъ самымъ достигнута цѣль моего пребыванія здѣсь; оставаться дольше—значило бы навлечь на себя неприятности, чего я вовсе не желаю. Куда я отправляюсь—для васъ безразлично; во всякомъ случаѣ, я не вернусь въ Америку, по крайней мѣрѣ пока. Я говорю объ этомъ для того, чтобы вы, или Ральфъ, или Анна, не вздумали меня тамъ отыскивать. Точно также мой домъ на улицѣ Бродвей, мою виллу въ Итакѣ, мою ферму вы найдете въ чужихъ рукахъ; мой банкъ закрытъ; короче сказать, я долженъ былъ продать все свое имущество, чтобы вывернуться изъ краха, который угрожалъ мнѣ и, наконецъ, разразился. Глупые нѣмцы должны были доставить мнѣ деньги, необходимыя для того, чтобы съ комфортомъ прожить года два на континентѣ. Они и сдѣлали это. Я считалъ своею обязанностью сообщить вамъ обо всемъ этомъ, какъ старому другу. Еще одно: вамъ придется впоследствии поискать и другую мебель. Все, что здѣсь находится, до послѣдняго стула, взято на прокатъ. Это стоило чертовскихъ денегъ, но надо же было пустить пыль въ глаза добрымъ людямъ. Это было необходимо. Если окажется, что я упустилъ что-нибудь изъ виду,—второпяхъ мало ли о чемъ забудешь,—то вы по чистой совѣсти можете сказать, что не знаете, гдѣ я нахожусь. Не стану васъ больше задерживать.

Онъ протянулъ Смиту руку; Смитъ медленно заложилъ свою за спину.

— Вы просто дуракъ, Смитъ,—сказалъ Куртисъ, пожимая широкими плечами.

— А вы плутъ!—отвѣчалъ Смитъ.

— Вы забываете, что я могу свалить васъ однимъ ударомъ булака, и если не дѣлаю этого, то только изъ великодушія.

— Бейте!—сказалъ Смитъ, подходя къ нему.

Въ сѣромъ утреннемъ свѣтѣ лицо его казалось покрытымъ



невемною блѣдностью, но въ голубыхъ глазахъ сверкали молніи. Американецъ отступилъ и сказалъ сквоеъ зубы:

— Вы сумасшедшій, — рѣшительно сумасшедшій!

— Я былъ имъ, — отвѣчалъ Смитъ, — когда, въ Калифорніи, дружески пожималъ вашу руку, которая пролила больше чело-  
вѣческой крови, чѣмъ рука любого убійцы. И потомъ, десять лѣтъ спустя, когда я снова пожалъ эту проклятую руку — хотя уже зналъ о вашихъ мерзостяхъ — пожалъ ради вашихъ невин-  
ныхъ дѣтей, которые, однако, погибли, — погибнуть душою и тѣ-  
ломъ подлѣ своего гнуснаго отца. Да, подлѣ васъ — подлѣ тебя,  
выродокъ благородной націи! Ты — воплощеніе всего, что есть  
звѣрскаго въ челоуѣствѣ. Ты хуже убійцы потому, что онъ  
убиваетъ только тѣло челоуѣка, а ты и тебѣ подобные безна-  
казанно растлѣваютъ душу челоуѣчества, — что я говорю: безна-  
казанно! — вамъ удивляются тысячи людей, прославляютъ вашу  
мудрость, завидуютъ вашимъ усиліямъ, желаютъ имѣть такіе же  
острые зубы и крѣпкіе когти, какъ у васъ, чтобы рвать такіе  
же куски отъ общей добычи! Что-жъ ты не свалишь дурака,  
который осмѣливается говорить тебѣ это! Ты думаешь: это только  
слова! Ты правъ. Никто не увидитъ клейма, которое я прило-  
жилъ къ твоему лбу; ты можешь показываться въ лучшемъ обще-  
ствѣ, даже среди честныхъ людей, не опасаясь, что они плюнутъ  
тебѣ въ лицо. А Бога, который осудилъ тебя на адскія мученія,  
для тебя не существуетъ. Онъ существуетъ только для тѣхъ, у  
кого есть совѣсть. Убирайся отсюда! И дай Богъ, чтобы я никогда  
больше не встрѣтился съ тобой!

Американецъ остался одинъ. И вотъ, на мѣсто опустѣвшей  
комнаты онъ увидѣлъ передъ собой небольшой присѣкъ у под-  
ножія Сіэрри-Невады, гдѣ раньше его еще не ступала нога  
европейца. Тутъ провелъ онъ два мѣсяца, среди страшныхъ лишеній,  
въ надеждѣ, — превратившейся почти въ безуміе, — что присѣкъ,  
который сначала оказался такимъ богатымъ, а потомъ истощился,  
сторичей вознаградитъ его труды, если только у него хватитъ  
силъ. Если хватитъ силъ! Вотъ уже мѣсяць онъ не имѣлъ во  
рту куска мяса, недѣлю тому назадъ вышелъ запасъ хлѣба, —  
онъ питался травами и ягодами. Охотничьи припасы истощились;  
оставался только одинъ зарядъ, который онъ берегъ на всякій  
случай. И случай этотъ представился: одного изъ двухъ бездѣль-  
никовъ-индѣйцевъ онъ застрѣлилъ, другого уложилъ прикладомъ.  
Потомъ, — чортъ возьми, вѣдь все это только предразсудокъ, вы-  
думаннй людьми, которымъ никогда не приходилось умирать съ  
голоду! Потомъ одного изъ нихъ онъ зарылъ въ землю самымъ

приличнымъ образомъ. Они говорятъ: Дорида сошла съ ума оттого, что узнала, чѣмъ онъ питался цѣлыхъ три дня, чѣмъ она сама питалась въ теченіе сутокъ. Вадоръ! Она просто схватила горячку; конечно, повліяли и страхъ, и тоска, когда она одна развѣзжала по пустынѣ и потеряла всякую надежду найти его. А шесть или восемь другихъ индѣйцевъ и бѣлыхъ, — которыхъ онъ убилъ за то, что они вторглись въ его область, — вѣдь это было въ порядкѣ вещей. А негры, которые потонули — вѣдь не онъ же ихъ убилъ — это было для него чистый убытокъ! Какъ же могъ этотъ человекъ называть его убійцей? Убійца! это опять-таки слово, которымъ люди только устрашаютъ другъ друга. Однимъ человекомъ становится меньше, и слава Богу, если онъ намъ мѣшалъ. И безъ того останется довольно, а въ концѣ концовъ всѣ мы помремъ.

На улицѣ раздался грохотъ экипажей; послышался стукъ въ наружную дверь. Эти болваны разбудить всѣхъ... не могутъ подождать, пока придетъ эта бестія — швейцаръ!

Онъ отворилъ окно и кривнулъ по-англійски, — такъ какъ нѣмецкія слова не приходили ему въ голову, — чтобы подождать. Потомъ пошелъ въ спальню, гдѣ Аустина хлопотала около миссисъ Куртисъ, которую съ трудомъ разбудила, помогая ей надѣть дорожный костюмъ. Это было не совсѣмъ-то легко, такъ какъ миссисъ Куртисъ съ просонковъ только потягивалась, зѣвала и спрашивала слезливымъ голосомъ, почему ее разбудили такъ рано и сейчасъ же убрали постель. Аустина, которая сама еще не была готова къ отъѣзду, нетерпѣливо дергала несчастную, которая, наконецъ, начала не на шутку плакать. Супругъ отослалъ старуху, сказавъ, что самъ поможетъ миссисъ. Носильщики, вытаскивавшіе одинъ за другимъ огромные сундуки, оскалили зубы, заставши мистера за такимъ страннымъ занятіемъ; жена продолжала плакать, тогда какъ мужъ не выказывалъ никакого нетерпѣнія, не вымолвилъ ни одного грубаго слова, но ласково и терпѣливо уговаривалъ ее, какъ нѣжная мать, которая не хочетъ разсердить капризнаго ребенка, какъ ни трудно это было такому тяжелому, грубому человеку.

Сундуки были перенесены: носильщиковъ отпустили; въ домѣ снова водворилась тишина.

Среди этой тишины американецъ велъ свою жену по лѣстницѣ, озаренной уже солнечными лучами, стараясь съ грубой любезностью, чтобы она по близорукости не споткнулась на ступенькахъ. За ними шла Аустина съ зонтиками и плѣдами.

Вещи уже были отправлены впередъ. Куртисъ усадилъ въ

карету свою супругу, усѣлся самъ; за ними влѣзла Аустина и захлопнула дверцу. Карета покатилась.

## VI.

Было уже десять часовъ, когда Марія вышла изъ комнаты больного и пошла по длинному корридору въ комнату Анны. Въ открытыя окна корридора лился теплый и душистый воздухъ. Она остановилась у одного изъ оконъ и посмотрѣла въ садъ. Въ листьѣ деревьевъ щебетали и пѣли птицы; вокругъ ротонды, вмѣсто гяцинтовъ и тюльпановъ, которые уже успѣли завясть, распускались высоствольные розы; на дорожкѣ, усыпанной гравіемъ, возился садовникъ. Неужели это возможно? Тамъ, снаружи, все такъ прекрасно, мирно, жизнерадостно; а здѣсь, въ домѣ, таилась измѣна, чувалось отчаяніе, и смерть нетерпѣливо подстерегала свою жертву.

Она вдрогнула, закуталась плотнѣе въ платокъ и, дойдя до конца корридора, постучалась къ Аннѣ. Отвѣта не было. Она взялась за ручку. Анна, по обыкновенію, не заперла двери, и Марія вошла въ комнату.

Анна еще была въ постели. Она вообще поздно вставала. Марія только теперь вспомнила объ этомъ: сама она всю ночь не смыкала глазъ, и ей показалось страннымъ, что другіе могутъ спать.

Она подошла къ постели и тихонько отдернула пологъ. Подушки были разбросаны; прекрасная головка, теперь мирно покоившаяся среди нихъ, очевидно не сразу успокоилась. Маріи не легко было разбудить Анну. Но разбудить было необходимо; итакъ, она положила ей на плечо руку и назвала ее по имени.

Анна внезапно приподнялась. Оттолкнувъ дотрогивавшуюся до нея Марію и отбросивъ одѣяло, она схватила револьверъ, лежавшій на ночномъ столикѣ. Марія знала, что Анна никогда не ложится спать, не имѣя подлѣ себя оружія. Тѣмъ не менѣе, въ первую минуту она испугалась, не столько при видѣ оружія, сколько пораженная дикимъ выраженіемъ лица Анны.

— Это я, Анна,—сказала она.

Анна положила револьверъ и отбросила лѣвой рукой волосы, падавшіе ей на лобъ.

— Ты?—сказала она.—Почему такъ рано? Или теперь ужъ не рано? а?

Она усѣлась на постели и устремила на Марію мрачный взоръ.

— Ральфъ умеръ?

— Нѣтъ, еще живъ, — отвѣчала Марія, — но не переживетъ этого дня. Да мы и не смѣемъ желать этого.

— Почему?

— Онъ страшно мучится.

Марія поникла головой; крупныя слезы покатались по ея блѣдымъ щекамъ. Тамъ, въ воннатѣ больного, она не могла плакать: ей не было времени для этого; да и здѣсь тоже не могла, и здѣсь каждая минута была дорога.

— Извини! — сказала она, отирая глаза и рѣшительно поднимая голову.

— Что же тутъ извинять? — возразила Анна.

Слова были довольно ласковыя, но прозвучали такъ, какъ будто бы Анна произнесла ихъ совершенно машинально.

— Ты спросила, зачѣмъ я пришла, — сказала Марія. — Это трудно передать въ немногихъ словахъ. Тѣмъ не менѣе, я должна говорить. Но меня каждую минуту могутъ позвать. Поэтому прошу тебя: выслушай меня спокойно и терпѣливо. Было время, когда мое слово имѣло значеніе въ твоихъ глазахъ. Я знаю, что это время прошло. Но я не могу молчать теперь, когда ты должна принять рѣшеніе, — дай Богъ, чтобы оно было такимъ, какъ желаемъ я и мой отецъ! Ты знаешь, что твои родители уѣхали сегодня ночью?

— Сегодня ночью? — съ удивленіемъ сказала Анна. — Онъ, правда, говорилъ мнѣ, что хочетъ уѣхать. Но я думала, что это будетъ завтра или вообще на дняхъ. Итакъ, сегодня ночью. Тѣмъ лучше!

— Какъ такъ?

— Все равно, мы не могли больше жить вмѣстѣ, — отвѣчала Анна. — Мы объяснились на этотъ счетъ вполне откровенно... Не потому, что онъ разорился! Онъ получилъ здѣсь миллионъ; пусть оставитъ его себѣ. Нѣтъ, онъ и я — ахъ, еслибы я была женщиной! Да и теперь, когда я подумаю, что такъ долго вносила все это, мнѣ становится гадко самой себя... Хотя я и женщина, но я, я должна была порвать съ нимъ, разъ убѣдилась въ его мерзости, — а это было давно, очень давно!

— И все-таки, — сказала Марія, — ты продолжала бы переносить то, что теперь кажется тебѣ невыносимымъ. Если ты сбрасываешь теперь эту тяжесть, то дѣлаешь это не ради своихъ убѣжденій, не ради возмущеннаго чувства справедливости — называй это какъ хочешь. Ты дѣлаешь это ради другой, совершенно другой любви...

— Которая совпадаетъ съ моими убѣждениями, съ моимъ понятіемъ о справедливости, которая впервые дала форму и образъ и содержаніе моимъ убѣждениямъ, моимъ представленіямъ о правѣ, о справедливости, обо всемъ, для чего стоитъ жить людямъ.

Анна произнесла эти слова съ паѳосомъ; ея блѣдныя щеки разгорѣлись, а глаза блистали такимъ огнемъ, что Марія была тронута и испугалась въ одно и то же время. Повидимому, тотъ же блескъ, что свѣтился въ глазахъ ея возлюбленнаго, и въ то же время какая разница! Въ обоихъ струилась одна кровь, кровь правды негра. Но въ разрушавшемся тѣлѣ одного душа могла свободно развертывать свои эфирныя крылья; а здѣсь въ цвѣтущемъ тѣлѣ таился демонъ, дикій, неукротимый, какъ самумъ, обжѣвающій раскаленную пустыню Африки. Какой-то внутренней голосъ говорилъ Маріи: все, что ты скажешь, будетъ бесполезно. Но развѣ она не боролась въ теченіе цѣлыхъ недѣль съ наступающей смертью, хотя и знала, что это бесполезно! Здѣсь также грозила смерть, несравненно болѣе ужасная, чѣмъ та.

Она собралась съ силами и сказала:

— Видишь ли, Анна, теперь я тоже знаю, что такое любовь, знаю, что для нея можно пожертвовать всѣмъ, не исключая себя самой... да это и не будетъ жертвой, это—счастье. Итакъ, я ничего не говорю противъ тебя; напротивъ, я знаю, что, развѣ полюбивъ, ты не могла, не можешь думать и поступать иначе. Ты! Но онъ! Анна, Анна, хотя бы ты убила меня за мои слова, а не могу ихъ не высказать: онъ недостоинъ тебя! Мало того: онъ слишкомъ низокъ для тебя... нѣтъ, выслушай меня, прошу, заклинаю тебя! Онъ во всемъ подобенъ тѣмъ современнымъ молодымъ людямъ, о которыхъ ты говорила мнѣ въ то утро, въ Тиргартенѣ, и которыхъ теперь такъ много: — онъ болѣе чѣмъ кто-либо достоинъ твоего презрѣнія. Это лебедь, который гордо подплываетъ за кускомъ хлѣба. Ты для него только богатая добыча, о которой онъ мечтаетъ всю жизнь. Для этого онъ расточаетъ гордыя фразы, которыя ему такъ дешево стоятъ, украшаются благородными мыслями, зная, что онѣ проникнутъ тебѣ въ душу. Для этого онъ добивался моей дружбы, въ надеждѣ, что я стану говорить тебѣ въ его пользу. На минуту ему удалось обмануть и меня. Немудрено, что и ты поддалась обману: по обыкновенію великодушныхъ женщинъ, ты надѣлила его всѣмъ, что есть въ тебѣ самой—благородной любовью къ свободѣ, фанатической ненавистью къ несправедливости и злу, готовностью пожертвовать всѣмъ ради великаго дѣла, и только придавъ ему

эти высокія качества, ты могла полюбить его. А между тѣмъ все это только прекрасныя грѣзы! О, еслибы небо помогло мнѣ разбудить тебя отъ этихъ грѣзъ, какъ я только-что разбудила тебя отъ сна! Теперь еще не поздно спасти то, что можетъ быть спасено: не твое счастье—оно погибло! не твое сердце—оно никогда не излечится отъ этой раны; но твое достоинство, уваженіе къ самой себѣ! Если ты не оставишь его—Анна, Анна, я могу ошибаться, какъ и всѣ люди, но не въ этомъ случаѣ!—если ты не оставишь его, онъ самъ оставитъ тебя, оттолкнетъ тебя поворно, безстыдно, какъ какую-нибудь тварь!.. Онъ уже давно подозрѣваетъ, что твой отецъ не богатъ; уже давно думаетъ, какъ бы вознаградить себя за то, что здѣсь добыча ускользаетъ у него изъ рукъ. Мое сердце обливается кровью, но я должна тебѣ сказать: послѣ того, какъ третьяго-дня онъ пытался обойти и дѣйствительно обошелъ моего добродушнаго, безхитростнаго отца красивыми словами, вчера онъ пишетъ ему, — очевидно думая, что благородный образъ мыслей отца не можетъ быть серьезнымъ, и нужно только половчѣе приняться за дѣло и яснѣе выставить выгоды, — пишетъ, что онъ уговоритъ твоего отца согласиться на мой бракъ съ Ральфомъ, обязавшись отказаться отъ твоей руки, разумѣется, за известное крупное вознагражденіе съ нашей стороны. Мы убѣждены, что сегодня онъ отправится къ Герберту и предастъ ему насъ, чтобы заключить съ нимъ какую-нибудь сдѣлку, которая вознаградила бы его за то, что онъ долженъ упустить здѣсь. Это похоже на сумасшествіе, да это и есть сумасшествіе игрока, который проигрываетъ. Если онъ еще не сдѣлалъ этого, то сдѣлаетъ теперь, когда случилось то, чего онъ никакъ не ожидалъ: твой отецъ воспользовался твоими словами о томъ, что ты желаешь отъ него отдѣлиться, чтобы оставить тебя, вѣроятно, на рукахъ моего отца. Отецъ посылаетъ меня къ тебѣ; онъ проситъ и умоляетъ вмѣстѣ со мною: будь съ нами! приходи къ намъ; мы любимъ тебя отъ всего сердца! Помогни намъ перенести ужасную скорбь: я лишуюсь возлюбленнаго, отецъ—дорогого сына; а мы поможемъ тебѣ перенести твою скорбь, такъ какъ ты отдала сокровище твоей любви недостойному.

Послѣднія слова она произнесла голосомъ, полузадыхающимся отъ слезъ. Рыдая, нагнулась она къ красавицѣ, обняла ее и спрятала лицо на ея груди. Но ея объятіе осталось безъ отвѣта; гибкое тѣло не дрогнуло; прекрасная грудь колыхалась медленно и ровно. Она знала это заранѣе: ея увѣщанія остались тщетными. Она медленно выпрямилась и хотѣла отойти отъ кровати. Но рука Анны удержала ее. Радостный трепеть охватилъ ее:

неужели ей удалось? Она взглянула въ лицо Анны и едва не вскрикнула отъ ужаса: на нее глядѣло лицо медузы съ загадочною улыбкой, въ которой сладость наслажденія смѣшивалась съ горечью смерти.

И вотъ что она услышала изъ дрожащихъ губъ:

— Еслибы я повѣрила хоть одному слову изъ того, что ты сказала, я... я не убила бы тебя, потому что ты была бы права, — но убила бы себя, потому что не имѣла бы права прожить еще хоть секунду. Я тебѣ сказала: я буду принадлежать тому, кого полюблю. Я принадлежу ему: это усы, которыхъ не можетъ разрѣшить человѣческая рука. Ихъ можетъ разрѣшить только смерть. Ступай!

Она снова отъинулась въ подушки, закрывъ глаза, скрестивъ руки на груди.

Марія стояла въ ужасѣ. Такъ ли она слышала? такъ ли поняла? Да, если такъ, то только смерть можетъ разрѣшить это.

Она наклонилась надъ кроватью, поцѣловала Анну въ лобъ, какъ цѣлуютъ дорогого покойника, и вышла изъ комнаты.

## VII.

Добродушный портье, котораго Анна послала за коляской, скорчилъ недовольное лицо. Неужели правда то, что говорятъ люди, будто господа предприняли не небольшую поѣздку, а со всѣмъ не вернуться? Онъ не можетъ этому повѣрить, несмотря даже на то, что они захватили съ собой такую пропасть сундуковъ. Его удивляло уже то, что господа вообще уѣхали, когда господинъ профессоръ такъ боленъ. И доктора опять на сценѣ; сегодня привезли съ собой еще третьяго.

Анна отвѣчала, что, насколько ей извѣстно, ея родители дѣйствительно уѣхали не надолго; мама съ мѣста не тронется безъ своихъ большихъ сундуковъ. Очень можетъ быть, что они уже завтра вернуться; во всякомъ случаѣ, очень скоро.

Она гнала не для себя, ей было рѣшительно все равно. Но послѣдніе часы Ральфа не должны омрачаться суматохой, которая навѣрное воцарится въ домѣ, какъ скоро люди узнаютъ правду.

Такъ же мало заботилась она и о томъ, что съ нею теперь будетъ. Вчера вечеромъ видѣла она Гартмута въ послѣдній разъ и очень недолго. Онъ былъ очень мраченъ и неразговорчивъ; на всѣ ея распросы отвѣтилъ только, что рѣшеніе не замедлитъ воспослѣдовать, и что она должна къ нему подготовиться.

Внезапный отъездъ родителей, о которомъ она сама не имѣла никакого предчувствія еще вчера вечеромъ, должно быть, не былъ для него тайной, но этого онъ, конечно, не ожидалъ. Они согласились въ томъ, что родителей необходимо вычеркнуть изъ жизни. Да и не однихъ родителей; для тѣхъ великихъ дѣлъ, которыя онъ замышлялъ, необходимо порвать всѣ узы. Она согласилась даже сама на нѣкоторое время расстаться съ нимъ. Но зачѣмъ онъ нашелъ нужнымъ навести на ложный слѣдъ Марію и ея отца—этого она не знала. И притомъ это не удалось. Но должно быть, у него были основательныя причины. Ей же надо только быть ко всему готовой.

Но она хорошо знала, что въ такихъ дѣлахъ болѣе, чѣмъ во всякихъ другихъ, играютъ роль деньги. Она нѣсколько разъ просила Гармута позволить ей доставать деньги и быть хотя съ этой стороны участницей великаго дѣла. Онъ постоянно отказывалъ: можетъ быть, позднѣе; пока денегъ не надо. Пока! Но въ каждую минуту могъ наступить конецъ, можетъ быть уже теперь и наступилъ. Во всякомъ случаѣ она должна „быть готова“.

Дома у нея всегда былъ собственный открытый счетъ у банкира. Здѣсь это было не такъ—по счетамъ платилъ отецъ. Сумма была немалая. Художественныя произведенія, купленныя ею у Фіокати, стоили нѣсколькихъ тысячъ. Также и бриллиантовый уборъ, купленный у ювелира на Дворцовой площади. Ея лошадь въ татерсалѣ стояла тоже большихъ денегъ. Все это слѣдовало теперь капитализировать.

Итакъ, прежде всего къ Фіокати...

Они оставили Берлинъ раньше, чѣмъ предполагали... но не зачѣмъ, чтобы вернуться въ Америку, и будутъ путешествовать по Европѣ года два. Поэтому ей теперь не нужны эти прекрасныя вещи, которыя по большей части еще и не распакованы. Не приметъ ли магазинъ ихъ обратно? Само собой разумѣется—съ соответствующей скидкой?

Сдѣлка была скоро заключена, такъ какъ покупатель не могъ не найтись на эти вещи, да и Анна не торговалась. Покладливый купецъ сожалѣлъ только о томъ, что лишается такой выгодной покупательницы. За вещами будетъ прислано уже сегодня, а деньги фрейлейнъ можетъ получить, когда ей будетъ угодно. Анна просила прислать деньги тотчасъ послѣ того, какъ вещи будутъ приняты и найдены въ порядкѣ.

А теперь—къ ювелиру на Дворцовой площади.

Разсказывать новую сказку было необыкновенно тяжело для гордой дѣвушки. Ложь, сказанная продавцу художественныхъ про-



изведеній, первая въ жизни, казалось, истощила ея силы. Но для Гартмута она пошла бы въ адъ. А потому приходилось лгать и даже: она значительно, будто бы, превысила свой счетъ у банкира. Ей очень трудно признаться въ этомъ м-ру Куртису. Къ тому же м-ръ Куртисъ уѣхалъ на продолжительное время. При томъ у нея правило устраивать свои денежные дѣла безъ отцовскаго вмѣшательства. Согласенъ ли ювелиръ перекупить брилліантовое кольцо? и кромѣ того вотъ эту нитку жемчугу и эту маленькую коллекцію браслетовъ, медальоновъ и колецъ?

— Но вѣдь это цѣлое состояніе, gnädiges Fräulein!—вскричалъ ювелиръ, чуть не испугавшись.

— Я не знаю, чтò вы подъ этимъ подразумѣваете,—отвѣчала, улыбаясь, Анна:—я знаю только, что мнѣ нужно очень много денегъ; сколько можете вы мнѣ дать за это?

— Трудно сказать сразу, дайте мнѣ время сообразить.

— Этого я не могу. Мнѣ нужны деньги немедленно. Я должна, значить, обратиться къ другому.

— Ни въ какомъ случаѣ!—вскричалъ ювелиръ, и прибавилъ богѣ спокойнымъ тономъ, перебирая одну драгоценность за другою:

— Другой, можетъ быть, поступить съ вами не такъ добросовѣстно, какъ я, въ томъ случаѣ если вы дѣйствительно хотите продать эти вещи. Но, простите мнѣ вопросъ, зачѣмъ вы ихъ продаете? Я могу предложить вамъ за нихъ отъ семидесяти до восьмидесяти тысячъ марокъ. Это большая сумма; но при вашемъ богатствѣ это ничто. Извѣстно, что вашъ батюшка приобрѣлъ миллионъ на одномъ лишь выпускѣ акцій коктавской желѣзной дороги. Вѣдь вы имѣете у своего банкира, хотя бы даже и превысили открытый вамъ счетъ, неограниченный кредитъ. Позвольте мнѣ сдѣлать вамъ одно предложеніе, gnädiges Fräulein! Считайте меня своимъ банкиромъ! Позвольте мнѣ снабдить васъ суммой, въ которой вы въ настоящее время нуждаетесь! Мнѣ не надо никакихъ гарантій; но если вамъ угодно, я буду беречь эти вещи до тѣхъ поръ, пока вы ихъ не потребуете? Согласны?

— Я вамъ очень благодарна за вашу доброту,—отвѣчала Анна:—но не могу ею воспользоваться. Я хочу непременно продать эти вещи.

Ювелиръ покачалъ головой и сказалъ:

— Если такъ, то позвольте мнѣ переговорить съ моимъ компаньономъ!

Онъ положилъ вещи обратно въ шкатулку, принесенную Ан-

ной и ушелъ съ нею изъ магазина, гдѣ происходилъ разговоръ, въ свою частную контору.

Анна осталась въ магазинѣ. Приходили и уходили покупатели, но она, погруженная въ свои думы, почти не замѣчала ихъ. Время шло; ея нетерпѣніе росло, она поглядывала на часы; три четверти третьяго. Неужели этимъ людямъ нужна цѣлая вѣчность? Не продать ли ей также и часы? То была прелестная игрушка, самыхъ миниатюрныхъ размѣровъ, какіе только возможны. Въ одной ювелирной лавкѣ въ Парижѣ, гдѣ она показывала эти часы, ими очень восхищались. Не продать ли и часы? Но нѣтъ, это не подходило бы къ той роли, которую она теперь приняла на себя.

Ювелиръ вернулся въ магазинъ и попросилъ ее послѣдовать за нимъ въ контору. Компаньоны столковались на семидесятипяти тысячахъ марокъ, которыя и предложили ей за вещи. Они пустились въ объясненія, почему даютъ именно эту сумму, хотя вещи стоятъ и дороже, но Анна попросила ихъ оставить всякія объясненія; она принимаетъ предложеніе безусловно. Минуту спустя она уже сидѣла въ экипажѣ съ чекомъ ювелира на банкира послѣдняго.

Въ банкѣ ее не задержали. Только кассиръ, увидя подпись Анны, взглянулъ на нее и спросилъ:

— Вы не родня г. Джемсу Куртису?

— Этотъ вопросъ имѣетъ какую-нибудь связь съ нашимъ дѣломъ?—спросила въ свою очередь Анна.

— Нисколько. Я спросилъ только потому, что это имя сегодня надѣлало переполоха на биржѣ. Акціи ковтавской желѣзной дороги, пущенныя въ ходъ на здѣшнемъ рынкѣ г. Джемсомъ Куртисомъ и которыя вчера продавались по сту-три и охотно раскупались, сегодня упали на тридцать процентовъ, а завтра, можетъ быть, не будутъ стоить ни гроша. Говорятъ, что вся эта афера — чистѣйшій обманъ.

— Въ самомъ дѣлѣ?—отвѣтила Анна равнодушнымъ тономъ. —Пожалуйста, если можно, выдайте мнѣ деньги билетами въ тысячу марокъ.

— Извольте.

Анна взяла деньги и спрятала ихъ, причемъ лицо ея нисколько не измѣнило своего равнодушнаго выраженія. Но когда двери банка за ней захлопнулись, она горько засмѣялась. Итакъ, отецъ снова взялся за свое старинное ремесло и теперь увезъ награбленную добычу въ сохранный мѣсто. Онъ — разбойникъ, какихъ много, и отличается отъ другихъ только большей хитростью и

смѣлостью! И неужели тотъ порядокъ, который не властенъ помѣшать этимъ разбойникамъ совершать свои гнусныя дѣла, долженъ оставаться неизмѣннымъ!

Привычныя мысли вихремъ кружились въ ея головѣ, въ то время какъ она толково и хладнокровно объясняла шталмейстеру въ татерсаль намѣреніе продать свою верховую лошадь. Черезъ нѣсколько дней она уѣзжаетъ, а потому должна разстаться съ лошадыю. Последнюю привели изъ конюшни. Нѣсколько спортсменовъ, уже раньше представленныхъ въ манежѣ миссъ Куртисъ и случайно находившихся здѣсь, вмѣшались въ переговоры. Одинъ готовъ былъ бы купить лошадь для своей молодой жены, но цѣна, назначенная Анной, была для него слишкомъ высока. Анна отвѣчала, что съ нею можно торговаться. Посмѣялись, пошутили и, наконецъ, согласились. Дорогое сѣдло и сбруя, заказанныя Регинальдомъ специально для Анны, пошли въ придачу. Только хлыстикъ съ тяжелой, дорогой серебряной рукояткой не вошелъ въ сдѣлку. Покупщикъ находилъ его слишкомъ дорогимъ и кромѣ того полагалъ, что такая превосходная наѣздница, какъ миссъ Куртисъ, не можетъ долго пробыть безъ верховой ѣзды, и хлыстикъ ей самой понадобится. За уплатой денегъ дѣло не стало. Покупщикъ имѣлъ при себѣ большую часть суммы; остальное охотно согласился пополнить шталмейстеръ. Всѣ мужчины провожали Анну очень вѣжливо до экипажа, пожелали ей счастливаго пути и просили поминать добромъ Берлинъ и татерсаль. Анна велѣла вучеру ѣхать опять къ Фіокати, Подъ-Липами.

Ей вдругъ пришло въ голову, что ея отецъ, насколько она его знала, при такомъ поспѣшномъ отъѣздѣ, который былъ просто бѣгствомъ, врядъ ли успѣлъ расплатиться по всѣмъ своимъ обязательствамъ. Она рѣшила, что, по крайней мѣрѣ, маленькіе люди не уйдутъ съ пустыми руками. Деньги отъ Фіокати она должна была получить только завтра утромъ. Но кто знаетъ, пробудетъ ли она здѣсь до завтрашняго утра. Поэтому она хотѣла сказать, чтобы деньги передали Смиту. Добрый Смитъ! Бѣдный Ральфъ! Но имъ она уже больше не могла ничѣмъ служить. Вихрь, подхватившій ее, унесъ въ беспросвѣтную тьму, откуда каждую секунду можетъ грянуть молнія и убить ее вмѣстѣ съ ея возлюбленнымъ.

Передъ нею на передней скамейкѣ коляски лежалъ хлыстикъ. Серебряная рукоятка сверкала на солнцѣ. При этомъ ей припомнилось то яркое солнце, которымъ она упивалась три года тому назадъ во время путешествія, полного приключеній, въ Канзасъ и Калифорнію. Она купила хлыстикъ для этого самаго путешествія, и ея воображенію предсталъ взмыленный мустангъ, скакав-

пшій по преріи. Какъ все еще хороша была, однако, жизнь въ ту пору, несмотря на то, что она уже потеряла почву подъ ногами, узнавъ, на какомъ преступномъ основаніи воздвигнуто было богатство ея отца, и сознавала, что рано или поздно развернется бездна и поглотитъ ее. Тогда уже нависло надъ нею то облако, которое должно было омрачить всю ея жизнь, и которое не разъ давило ея сердце, лишь только она хотѣла упиться любовью, сверкавшей въ темныхъ глазахъ одного ея стройнаго спутника... Впрочемъ она никогда впослѣдствіи не вспоминала объ этомъ юношѣ, даже забыла его имя: Фенниморъ Спаркль!

И сколько съ тѣхъ поръ другихъ искало ея любви! Цѣлый длинный рядъ мужскихъ фигуръ возникалъ въ ея памяти, и послѣднею изъ нихъ была фигура Регинальда. Онъ былъ далеко не изъ худшихъ, право! У нея странно заняло сердце, когда онъ, наконецъ, признался ей въ любви, которую она давно угадывала, и она должна была отвѣтить ему, что не можетъ любить его. Крутой холмъ, позади лѣсъ, черезъ который они только-что проѣхали, подъ ногами обширная равнина... Этотъ видъ удивительно какъ напомнилъ ей американскую отчизну! Сердце ея въ ту минуту такъ размягчилось! И когда онъ, услышавъ ея жесткое „нѣтъ“, не находилъ словъ для отвѣта, но, сидя неподвижно въ сѣдлѣ, глядѣлъ впередъ застывшимъ взоромъ, въ то время, какъ слезы текли у него по щекамъ, тогда ей хотѣлось заплакать вмѣстѣ съ нимъ. Въ тотъ моментъ она простилась на вѣки и съ нимъ, и съ солнечнымъ свѣтомъ, и со всѣмъ, что краситъ жизнь.

Экипажъ остановился у магазина Подъ-Липами. Она вошла и высказала свое желаніе, сама не зная хорошенько, что говорить. Но, должно быть, слова ея были ясны и понятны. Хозяинъ отмѣтилъ что-то въ книжкѣ и проводилъ ее вѣжливо до дверей магазина, раскрытыхъ настежь, но вдругъ съ ужасомъ воскликнулъ:—Боже мой, что такое? императоръ...

## VIII.

Анна, стоя еще въ дверяхъ, увидѣла предъ собою открытый экипажъ и въ немъ полулежавшаго престарѣлаго Вильгельма; онъ прислонился къ плечу егеря, который поддерживалъ его обѣими руками. Экипажъ ѣхалъ почти шагомъ: по обѣимъ сторонамъ его и сзади тѣснились люди, съ блѣдными, испуганными лицами. Блѣдными и испуганными казались и всѣ вступчичные; они какъ будто не смѣли до конца понять страшнаго зрѣлища, представшаго

ихъ глазамъ, и примывали къ поѣзду, медленно двигавшемуся по направлению къ дворцу. Толпа была, въ сущности, еще невелика; значить, злодѣяніе совершенно было гдѣ-нибудь неподалеку... Кто его совершилъ — въ этомъ Анна ни минуты не сомнѣвалась...

Итакъ, вотъ что онъ замышлялъ! Вотъ чего онъ не хотѣлъ ей сказать! Онъ не смѣлъ ей это сказать. Она бы стала умолять его не дѣлать этого... Все, все, только не это!

Но теперь все кончено! Теперь она собственными глазами видѣла это ужасное дѣло, которое онъ молча замыслилъ. Его, конечно, схватили, какъ схватили недавно Геделя, и онъ уже растерзанъ...

Въ то время, какъ всѣ эти мысли съ быстротою молніи пронеслись у нея въ головѣ, она продолжала съ ужасомъ глядѣть вслѣдъ экипажу, который теперь закрыла отъ глазъ густая толпа народа. Взглянувъ налѣво Подъ-Липами, она увидѣла въ недалекомъ разстояніи, какъ сбѣгался народъ къ одному дому. Тамъ, должно быть, это случилось. Онъ спрятался въ домѣ. Нѣтъ! это невозможно! онъ не побѣжитъ! Онъ выстрѣлилъ, значить, изъ дома, чтобы не отдаться живымъ въ руки...

Анна вмѣстѣ съ толпой глядитъ на окна. Она уже не помнитъ, какъ она вышла изъ магазина, какъ очутилась передъ тѣмъ домомъ, на улицѣ, въ толпѣ народа. Въ воротахъ нѣсколько солдатъ отталкиваютъ толпу, стремящуюся проникнуть въ домъ. Другіе солдаты спѣшатъ на помощь. Толпу отгоняютъ отъ дома и отъ тротуара на мостовую, на средину улицы. Толпа повинуется. Но дайте только сойти злодѣю—тогда она растерзаетъ его на клочки! тогда ужъ и солдатамъ его не спасти!

— Они его покончатъ тамъ наверху, — говоритъ насмѣшливо какой-то дюжій малый.

Въ это время показался большой фургонъ, въ родѣ тѣхъ, въ которыхъ перевозятъ дикихъ звѣрей изъ одного звѣринца въ другой, и приблизился къ дому во весь опоръ; около него скакали верховые солдаты. Фургонъ быстро вѣхалъ въ раскрытыя ворота. Толпа снова бросается къ дому: можетъ быть, ей удастся, благодаря смятенію, проникнуть внутрь вслѣдъ за фургономъ. Снова и ожесточеннѣе прежняго поднимается драка около воротъ. Толпа теперь возросла, но и солдатъ набралось больше; снова толпа отброшена, фургонъ исчезъ во дворѣ, и ворота за нимъ запираются.

Вдругъ въ толпѣ кто-то объявляетъ, что все кончено: злодѣя нашли уже мертвымъ.

Оказывается, что объявившему это удалось будто бы проскольз-

нуть вмѣстѣ съ полицейскими и солдатами. Преступникъ—разсказываетъ онъ—застрѣлили двоихъ, а потомъ самого себя.

— Наоборотъ!— кричитъ все тотъ же дюжій малый съ насмѣшливой миной:— сначала самого себя, а потомъ двоихъ!

— Этотъ тоже изъ ихъ шайки!— слышатся голоса въ толпѣ.— Бейте его.

Начинается общая свалка. Тѣмъ временемъ подоспѣваютъ солдаты, разнимаютъ дерущихся и уводятъ всѣхъ.

Но вотъ ворота вновь отворяются; показываются лошади; затѣмъ выѣзжаетъ и фура: сигналъ, котораго такъ долго ждала толпа. Она яростно и неужержимо набрасывается на фуру; одни хватаютъ лошадей подъ уздцы, другіе берутся за колеса; тяжелый деревянный кузовъ раскачивается назадъ и впередъ, точно тростникъ, колеблемый вѣтромъ. Кучеръ бьетъ по лошадямъ; онѣ рвутся впередъ. Фургонъ по временамъ наклоняется и грозитъ опрокинуться. Солдаты вынуждены были обнажить сабли. Наступаетъ невообразимый хаосъ, изъ котораго фургонъ, наконецъ, вырвался и унесся вскачь. Толпа верховыхъ солдатъ окружаетъ его. Народъ съ страшнымъ воплемъ бросается вслѣдъ, видя, что добыча ускользаетъ изъ его рукъ...

Подобно кошмару, пронеслось все это передъ застывшими глазами несчастной, и даже когда она, сѣвъ въ экипажъ, очутилась вскорѣ въ Тиргартенѣ, на минуту ей показалось, что все это дѣйствительно было только безобразнымъ сномъ. Небо ярко и спокойно сияло сквозь деревья, неподвижно стоявшія подъ солнечными лучами; толпы гуляющихъ весело болтали, не подозрѣвая о кровавой драмѣ, только-что разыгравшейся въ какихъ-нибудь нѣсколькихъ стахъ саженьяхъ разстоянія. Нѣкоторые удивленно оглядывались на кучера, который, сидя въ полъ-оборота на козлахъ, что-то съ оживленіемъ говорилъ своей госпожѣ. Онъ, оказалось, все время слѣдовалъ за ней шагъ за шагомъ, когда она вышла изъ магазина и побѣжала Подъ-Липами; онъ держался по близости и отлично видѣлъ съ высокаго сидѣнія все, что происходило...

Анна ни слова не слышала изъ того, что говорилъ ей кучеръ; еслибы около нея грануль пушечный выстрѣлъ, то и это не вывело бы ее изъ забытья.

Такъ вотъ что! Какъ иначе она представляла себѣ все это! Она ожидала колоссальной революціи, тихо подготовленной въ умахъ тысячи тысячъ народа вожаками, во главѣ которыхъ стоялъ онъ, и что эта революція, какъ волны бушующаго океана, зальетъ весь городъ. Какое ужасное заблужденіе! вмѣсто радост-

ныхъ криковъ—яростные вопли, стоны всего населенія, готовые растерзать его, еслибы онъ имъ попался въ руки...

Коляска остановилась. Она съ удивленіемъ оглядѣлась вокругъ. Какъ она сюда попала? Чтò ей въ этомъ домѣ, который теперь представлялся ей какъ бы совсѣмъ незнакомымъ. Однако она вышла изъ экипажа, кучеръ соскочилъ съ козелъ, чтобы отпереть дверцы экипажа. Анна опустила руку въ карманъ, вынула золотой и сунула кучеру въ руку. Тотъ даже испугался: сумма далеко превышала слѣдующую ему плату. Кучеръ пролепеталъ что-то о томъ, не ошиблась ли барышня. Она его не слышала и прошла въ дверь. Кучеръ постоялъ въ нерѣшительности; затѣмъ сунулъ поспѣшно золотой въ карманъ: значить, думалъ онъ, дѣйствительно существуютъ на свѣтѣ принцессы, которыя ѣздятъ на извозчикѣ! Но забытый дорогой хлыстикъ онъ не рѣшился оставить себѣ, взялъ его изъ коляски и подаль дамѣ, которая уже вошла въ сѣни; та что-то пробормотала въ отвѣтъ, въ родѣ: благодарю. Онъ постоялъ еще нѣсколько секундъ, глядя, какъ дама поднималась по лѣстницѣ; но она не оборачивалась и не требовала денегъ обратно. Покачавъ головой, кучеръ надѣлъ шляпу, сѣлъ на козлы и рысью отѣхалъ отъ дома.

Анна медленно поднималась по лѣстницѣ; мимо нея пробѣжали, оживленно болтая, два господина.

— Кто могъ бы этого ожидать?—вскричалъ одинъ.

— Я! — отвѣчалъ другой: — я всегда это предсказывалъ: этому плуту нельзя было довѣрять.

Оба сбѣжали съ лѣстницы. Она дошла до верхней площадки. Изъ отцовскаго кабинета, съ раскрытыми настежь дверями, доносился третій голосъ, громко ругавшійся. Господинъ съ краснымъ отъ гнѣва лицомъ, со шляпой на головѣ, выпелъ изъ кабинета и бросился вслѣдъ за первыми двумя, голоса которыхъ еще были слышны въ сѣняхъ. Бѣдный Смитъ! ему теперь приходилось принимать на себя весь этотъ поворъ, въ которомъ его чистая душа не участвовала! Она обязана успокоить его добрымъ словомъ; къ тому же большая сумма денегъ, которая у нея была въ карманѣ, не могла уже послужить для ея мечтаній о великомъ дѣлѣ.

Она вошла въ раскрытую дверь и увидѣла именно того, кого считала погибшимъ; сначала она подумала, что это привидѣніе, вызванное ея разстроеннымъ воображеніемъ. Но ей пришлось сейчасъ же убѣдиться, что это онъ самъ, своей персоной; въ это время онъ запустилъ лезвіе ножа, который постоянно носилъ при себѣ, въ замокъ конторки, гдѣ его отецъ имѣлъ обыкновеніе хранить деньги на текущіе расходы, а порою и болѣе значитель-

ныя суммы. Замокъ съ трескомъ отлетѣлъ. Онъ сталъ рыться въ бумагахъ, вынимая одну за другой и, послѣ бѣлаго взгляда, бросая на полъ. Онъ, очевидно, не находилъ того, чего искалъ. Запертая конторка была пуста, какъ и ящики, выдвинутые изъ письменнаго стола, равно какъ и раскрытый настежь несгораемый желѣзный шкафъ. Съ проклятиемъ захлопнулъ онъ крышку конторки и, повернувшись, увидѣлъ передъ собой блѣдное, какъ смерть, лицо и черные глаза, смотрѣвшіе на него съ страшнымъ выраженіемъ. Онъ отскочилъ назадъ. Затѣмъ бѣшенство вновь закипѣло въ немъ, — бѣшенство, испытанное имъ, когда онъ, войдя сюда полчаса тому назадъ, нашелъ гнѣздо пустымъ, а на письменномъ столѣ записку, гдѣ бѣглець съ циническимъ юморомъ издѣвался надъ проведеннымъ за ночь нѣмецкимъ дуракомъ.

Онъ презрительно засмѣялся.

— Къ чорту фарсы! — вскричалъ онъ: — къ чорту громкія фразы и трагическія гримасы! Твой отецъ удралъ. Вотъ здѣсь въ запискѣ онъ пишетъ, что я могу обвиняться съ тобой вкругъ перваго попавшагося уличнаго фонаря! Да будетъ проклять часъ, когда я связался съ вами, американская сволочь! И съ тобой...

Онъ не договорилъ. Рукояткой хлыста, который она держала въ рукахъ, она ударила его по лицу. И еще, и еще разъ! Ножъ, съ которымъ онъ-было бросился на нее, выпалъ изъ его рукъ и упалъ на землю. Оглушенный, завывъ отъ боли, какъ звѣрь, онъ покачнулся, ударился головой о край письменнаго стола и, потерявъ равновѣсіе, упалъ безъ чувствъ на полъ.

Анна бросила опозоренный хлыстъ на полъ и, спокойно выйдя изъ комнаты, прошла въ корридоръ, который налѣво велъ въ покои Ральфа, а направо въ ея собственные. Съ минуту раздумывала она что-то, затѣмъ повернулась налѣво и, дойдя до дверей комнаты Ральфа, прислушалась. Все было тихо. Она вошла; комната была пуста; дверь въ спальню больного отворена.

Предъ нею лежалъ покойникъ. На кровати, у стѣны, напротивъ двери, ея взорамъ представилось его мраморно-бѣлое лицо съ удивительно просвѣтленными чертами, обращенное къ ней, и съ широко раскрытыми глазами; у постели на колѣнахъ стояла Марія, прижавъ въ лицу охладѣвшую руку любимаго человѣка. Посреди комнаты Смитъ облокотился на сильное плечо доктора Брунна, который тихо утѣшалъ плачущаго.

Незамѣтно, какъ и пришла, Анна вышла въ корридоръ и прошла въ комнату Смита. Подойдя къ письменному столу, она вы-



нула изъ кармана конвертъ съ деньгами и написала на немъ: „Моему милому Смитъ и его дорогой дочери“.

Затѣмъ удалилась къ себѣ. Запереться ли ей на ключъ? Къ чему? Черезъ четверть часа все будетъ кончено. Къ чему еще задавать имъ трудъ ломать запертую дверь?

IX.

Четыре дня спустя въ одномъ отель-гарни элегантный господинъ освѣдомился о баронѣ фонъ-Альденъ и получилъ отвѣтъ, что такого господина нѣтъ здѣсь.

— Но, можетъ быть, здѣсь живетъ фрейлейнъ Альденъ?

— И такой нѣтъ.

Господинъ задумался.

— Но, можетъ быть, здѣсь есть г. Смитъ съ дочерью?

— Да, г. Смитъ съ дочерью живутъ здѣсь.

— Они дома?

— Да.

— Передайте, пожалуйста, имъ эту карточку.

Дѣвушка понесла карточку и, повернувъ ее, прочитала имя этого элегантнаго, красиваго господина: „Гербертъ фонъ-Илиціусъ. Чиновникъ особыхъ порученій въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ“.

Черезъ нѣсколько секундъ она вернулась: г. Смитъ просить пожаловать.

Въ довольно большой, съ претензіей на изящное убранство, комнатѣ, стоялъ старый господинъ, средняго роста, съ длинной, бѣлой, какъ снѣгъ, бородой и такими же волосами на головѣ, съ большими голубыми печальными глазами, и, держа визитную карточку въ рукѣ, безмолвно глядѣлъ на гостя.

„Я ожидалъ, что у него будетъ болѣе важный видъ“, подумалъ про себя Гербертъ, раскланиваясь.

— Сдѣлайте одолженіе, садитесь.

Въ тонѣ голоса была такая мягкость и такая грація въ движеніи руки, указывавшей на диванъ, что Гербертъ подумалъ, садясь: „А все-таки сейчасъ видно аристократа“.

Старый господинъ сѣлъ противъ него на стулъ и первый заговорилъ, повертывая карточку въ рукахъ:

— Я не могъ, въ сожалѣнію, отвѣтить на ваше неоднократно выраженное письменное желаніе о свиданіи. Неожиданный отъѣздъ стариковъ Куртисовъ, смерть, хотя и предвидѣнная, но печаль-

ная для насъ всѣхъ, его сына, неожиданная и трагическая смерть дочери, множество очень неприятныхъ дѣлъ — надѣюсь, что все это вы сочтете достаточной причиной, чтобы извинить меня и мою дочь.

— Пожалуйста, не извиняйтесь, г. баронъ, я...

Онъ умолкъ. Старый господинъ энергически покачалъ головой, говоря:

— Простите, но вы были бы очень любезны, еслибы не величали меня титуломъ, который для меня не имѣетъ никакой цѣны, и отъ котораго я вотъ уже тридцать лѣтъ какъ отказался, также какъ и отъ моего нѣмецкаго имени! Меня зовутъ Смитъ.

Гербертъ поклонился.

— Я хотѣлъ только сказать, — продолжалъ онъ, — что съ вашей стороны не требуется никакихъ извиненій, и я бы не настаивалъ такъ на свиданіи, еслибы не думалъ, что могу быть вамъ полезнымъ среди хлопотъ и работъ, осаждавшихъ васъ все это время.

— Вы очень добры, — отвѣчалъ Смитъ, — и я отъ души благодарю васъ за вашу доброту. Да и въ самомъ дѣлѣ, я бы врядъ ли справился со всѣми этими дѣлами безъ чужой помощи. Но эту помощь любезно оказало мнѣ наше американское посольство.

— Съ которымъ я, конечно, при всемъ своемъ желаніи, не могъ бы конкурировать, — отвѣчалъ Гербертъ съ вѣжливой улыбкой. — Но у меня, конечно, была еще вторая причина желать свиданія съ вами.

— Вы хотите проститься съ Маріей?

— Проститься? — спросилъ Гербертъ не безъ смущенія.

— Мы сегодня вечеромъ уѣзжаемъ въ Америку. Марія въ эту минуту пишетъ письмо къ своей матери, и проситъ простить ее за то, что она только письменно прощается съ нею.

Гербертъ не нашелся сначала, что сказать.

— Вы очень смущили меня, — заговорилъ онъ наконецъ. — Если я не имѣю чести быть въ родствѣ съ вами, то все же какъ я, такъ и мои сестры не совсѣмъ чужіе вамъ юридически, благодаря матери; вѣдь Марія, ваша дочь, приходится мнѣ, намъ, сестрой, и ея доля въ имуществѣ, которое вы когда-то предоставили...

— Извините, если я перебую васъ, — сказала Смитъ: — но я думаю, что наше взаимное положеніе можно выяснитъ въ нѣсколькихъ словахъ. Я отказался отъ своего имущества въ пользу вашей матери съ тѣмъ условіемъ, что если когда-нибудь вернусь въ отечество, то снова вступлю во владѣніе этимъ имуще-

ствомъ. Но это возвращеніе невозможно. Я, какъ бывший офицеръ нѣмецкой арміи, былъ приговоренъ къ смерти по суду. Этотъ приговоръ не отмѣненъ, такъ какъ амнистія не распространяется на военныхъ. Я думаю даже, что только небрежности или невниманію властей обязанъ я тѣмъ, что меня оставили въ покоѣ въ этотъ мой пріѣздъ въ Германію. Быть можетъ причина и другая. Не знаю, и мнѣ это все равно. Во всякомъ случаѣ, я былъ и остаюсь мертвъ для Германіи. Поэтому я не могу стоять ни въ какихъ юридическихъ отношеніяхъ къ вашей семьѣ.

Заявленіе это было очень пріятно Герберту. Онъ и самъ высказалъ бы то же самое, еслибы баронъ вздумалъ предъявить какія-нибудь претензіи. Но, конечно, гораздо пріятнѣе было услышать это отъ него самого. Поэтому онъ ограничился тѣмъ, что поклономъ выразилъ согласіе.

— Что касается Маріи, — продолжалъ Смитъ, — то ясно, что, какъ дочь своей матери, а не какъ моя дочь, — она имѣетъ право на нѣкоторую долю въ имуществѣ послѣдней. Но она отказывается отъ этой доли разъ и навсегда, и ея отказъ, форменно засвидѣтельствованный, вы получите изъ рукъ американскаго посланника, на другой день послѣ нашего отъѣзда. Такъ какъ вы были такъ добры, что лично посѣтили меня, то я считаю себя обязаннымъ устно сообщить вамъ объ этомъ.

Смитъ умолялъ, но Гербертъ не сразу нашелся, что отвѣтить. Ничего не могло быть желательнѣе, какъ это отреченіе Маріи отъ имущества. И, собственно говоря, оно даже не удивило его: Марія была въ его глазахъ неисправимая фантазерка и, строго говоря, особа невмѣняемая. Если онъ въ теченіе нѣсколькихъ недѣль былъ лучшаго о ней мнѣнія, то теперь имѣлъ доказательство, что первоначальное его мнѣніе было болѣе правильное. И, тѣмъ не менѣе, онъ чувствовалъ себя неловко. Онъ пришелъ сюда, чтобы доказать нелѣпость притязаній барона и самой Маріи на материнское имущество, и вотъ ему не пришлось прибѣгать къ краснорѣчію. Но неприятно только то, что старикъ, который въ его глазахъ былъ, въ сущности говоря, круглый дуракъ, — все же какъ-то имѣлъ перевѣсъ надъ нимъ. Онъ въ жизни своей видалъ много знатныхъ господъ, но ни одинъ не казался ему такимъ вельможей и по своимъ манерамъ, и по своему обращенію и разговору.

Съ усиленіемъ страхнулъ онъ съ себя всѣ эти одолевавшія его противорѣчивыя впечатлѣнія и сдержанно произнесъ:

— Вы говорите, что сообщенное мнѣ вами сейчасъ рѣшеніе Маріи твердо и непоколебимо. При такихъ обстоятельствахъ че-

ловѣвъ всегда бываетъ поставленъ въ довольно затруднительное положеніе: не знаешь, что сказать, чтобы не быть залодозрѣннымъ ни въ алчности, ни въ лицемеріи. Какъ бы то ни было, а я принимаю даръ Маріи отъ имени моего семейства. Это поможетъ намъ покрыть тяжкія потери, понесенныя нами въ послѣднее время, и которыя безъ моей осторожности могли бы со-всѣмъ разорить насъ. Удовольствіе, которое я испытываю, не чуждо политической подкладки. Вслѣдствіе вторичнаго покушенія на жизнь нашего возлюбленнаго императора, дальнѣйшій ходъ политическихъ дѣлъ весьма упростится: успѣхъ новыхъ законовъ теперь обезпеченъ. Это потребуетъ, конечно, большихъ жертвъ отъ государства: денегъ и денегъ!—вотъ будетъ лозунгъ дня. Поэтому вдвойнѣ желательнѣе, чтобы всѣ такіе люди, какъ мы—надежныя и солидныя оплоты порядка—были съ обезпеченными средствами; чтобы мы могли спокойно ждать, пока первый пылъ усердія въ насъ не остынетъ... Вы, кажется, хотите что-то сказать, г. Смитъ?—перервалъ онъ самъ себя.

— Я хотѣлъ только замѣтить, что различіе въ нашихъ политическихъ и нравственныхъ воззрѣніяхъ, повидимому, такъ велико, что для насъ обоехъ лучше не касаться этики и политики.

Герберта покорило, но онъ спокойно отвѣтилъ, съ вѣжливымъ поклономъ:

— Какъ вамъ угодно. Мнѣ остается только попросить позволенія лично поблагодарить Марію.

Смитъ склонилъ свою сѣдую голову, всталъ и вышелъ въ сосѣднюю комнату. Гербертъ тоже всталъ, взялъ въ руки шляпу и прошелся по полу, обтянутому ковромъ. Роль его здѣсь была не изъ пріятныхъ, и присутствіе Маріи не обѣщало улучшить его положеніе. Онъ вѣдь надѣялся, что баронъ откажетъ ему подъ какимъ-нибудь предлогомъ въ его лицемерной просьбѣ; а можетъ быть сама Марія догадается уклониться отъ этого свиданія... Но нѣтъ, онъ услышалъ легкіе шаги; Марія вошла одна, безъ отца. Гербертъ съ облегченіемъ перевелъ духъ: изъ двухъ золь это было наименьшее.

— Я слышала, что ты вполнѣ согласился съ моимъ отцомъ, — сказала Марія, усаживаясь на диванъ, послѣ первыхъ словъ привѣтствія, высказанныхъ не безъ замѣшательства съ обѣихъ сторонъ: — я радуюсь этому и благодарю тебя, хотя съ отцомъ и трудно было бы не согласиться, такъ какъ онъ предлагаетъ всегда только то, что разумно.

„Часъ отъ часу не легче, — думалъ Гербертъ: — теперь придется еще тянуть канитель о чужихъ добродѣтеляхъ“.

— Онъ не только уменъ, но и невиненъ, какъ дитя, — вслухъ сказалъ онъ: — я завидую, что у тебя такой отецъ.

На лицѣ Маріи, казавшемся блѣднѣе обыкновеннаго отъ траурнаго платья, вспыхнула мимолетная краска.

— Онъ благородный человѣкъ, — проговорила она; — но поговоримъ теперь о васъ. Какъ здоровье папѣ? Дѣйствительно ли съ нимъ былъ ударъ, какъ писали въ газетахъ?

— Къ сожалѣнію, — отвѣчалъ Гербертъ, — и притомъ очень опасный, такъ что онъ останется калѣкой въ наилучшемъ случаѣ.

— Какъ переносить это мамѣ?

— Ты вѣдь ее знаешь: все необыкновенное сначала лишаетъ ее всякаго самообладанія, а затѣмъ она быстро привыкаетъ, и ей кажется, что все и всегда такъ и было. То же самое и относительно Стефаніи — дѣло было, впрочемъ, до болѣзни папѣ — можно было подумать, что она съ ума сойдетъ отъ горя. А послушать ее теперь, то все случилось именно такъ, какъ она всегда, будто, предсказывала.

— Какъ же ты устроилъ дѣла Стефаніи?

— Я отослалъ ее съ Эгономъ и съ ребенкомъ въ Гентинъ. Это — небольшое мѣстечко, гдѣ они могутъ жить дешево и скромно, и при этомъ оно не настолько далеко, чтобы нельзя было надзирать за ними, чтѣ безусловно необходимо. Впрочемъ мы имѣемъ надежду, что Эгонъ вновь поступитъ на службу. Мы обязаны этимъ Регинальдъ; его энергическія дѣйствія произвели въ высшихъ сферахъ наилучшее впечатлѣніе.

— А самъ Регинальдъ?

— Я надѣюсь, что онъ отдѣляется двумя мѣсяцами ареста. Всѣ офицеры того мнѣнія, что въ виду поведенія графа относительно Стефаніи онъ не могъ иначе поступить. Старикъ Blumenгагенъ немедленно сдѣлалъ ему даже визитъ. Помолвка его съ Лоттой будетъ объявлена по окончаніи его ареста, — можетъ быть, даже раньше.

— Ну, а ты самъ? Я читала о твоемъ повышеніи по службѣ и о твоей помолвкѣ въ газетахъ. Поздравляю тебя.

— Благодарю. Мнѣ было не совсѣмъ пріятно, что эти два извѣстія напечатаны были одновременно. Можно было подумать, что одно находится въ связи съ другимъ. Нельзя же каждому сообщать, что мое повышеніе уже мѣсяць тому назадъ было рѣшеннымъ дѣломъ. А что я никогда и ни на комъ бы не женился, кромѣ Юліи, — это ты сама знаешь.

Марія покраснѣла за своего брата. Довольно нахально было говорить ей это прямо въ лицо, когда онъ повѣрялъ ей же свои

виды на Анну. Но къ чему вспоминать это? къ чему также касаться такъ-называемой страсти Регинальда къ Аннѣ, когда онъ чуть не надъ гробомъ первой женится теперь на другой?

— А Ада?—спросила она.

— Свадьба будетъ черезъ четыре недѣли. Я настаиваю на этомъ срокѣ. Докторъ ручается за жизнь папá на такой срокъ.

Марія, прожившая долгія недѣли въ полной гармоніи съ людьми благородныхъ помысловъ и возвышеннаго ума, слушала эти рѣчи и эти соображенія съ отвращеніемъ. Съ ужасомъ думала она о томъ, что цѣлые годы провела съ людьми, которые такъ думали и такъ говорили. Она съ облегченіемъ вздохнула, когда вошелъ ее отецъ.

Но и Гербертъ обрадовался на этотъ разъ приходу барона. Разговоръ съ сестрой оказался еще непріятнѣе, чѣмъ со старикомъ. Онъ всегда считалъ ее своимъ естественнымъ врагомъ; но такою ненавистной она никогда еще ему не представлялась, какъ въ эту минуту разлуки, когда вполнѣ обозначилась пропасть, отдѣлявшая ихъ другъ отъ друга: каждый взглядъ ее печальныхъ глазъ, каждое слово говорили объ этомъ. Пусть ее дьяволъ уноситъ съ этимъ полоумнымъ отцомъ въ страну, гдѣ ихъ глупыя идеи никого не удивять!

Тѣмъ не менѣе, съ условными приличными словами и самыми вѣжливыми поклонами простился онъ съ барономъ, пожавъ ему руку, и чуть дотронулся до кончика пальцевъ Маріи.

Дверь за нимъ затворилась; отецъ и дочь разомъ вздохнули глубоко, взглянули другъ на друга и молча обнялись.

## X.

На платформѣ станціи центральной желѣзной дороги на Фридрихштрассе, въ ожиданіи прибытія изъ Кельна ночного поѣзда, который потомъ въ Ульценѣ развѣтвляется и идетъ въ Гамбургъ, прохаживались Смитъ, Марія и докторъ Бруннъ. Публики было еще немного. Наши путешественники пріѣхали нѣсколько раньше, чтобы провести послѣднюю четверть часа съ докторомъ. О тѣхъ печальныхъ событіяхъ, которыя пережили они въ послѣднее время,—не говорилось. Условія между ними на этотъ счетъ не было никакого; все дѣлалось какъ-то само собой.

— Я очень радъ,—сказалъ Смитъ,—что все это время никогда не прерывалъ своихъ корреспонденцій. Вы вѣдь знаете, что у насъ въ Америкѣ дорожатъ пунктуальностью, и на мѣсто одного корреспондента, которое очистится, немедленно явится новый.

— Но не въ научныхъ журналахъ,—замѣтилъ докторъ:—и вообще по тѣмъ предметамъ, по которымъ вы пишете, немного найдется компетентныхъ конкурентовъ.

— Журналы, знаете, сообразуются съ временемъ, и когда не находятъ компетентныхъ людей, то довольствуются некомпетентными. Вспомните сорокъ-восьмой годъ...

— Нельзя, конечно, сказать, что мы безусловно отличились тогда,—отвѣчалъ съ жаромъ докторъ.—Но безъ сорокъ-восьмого года, со всѣми его безумствами, невозможны были бы объединенная для войны Германія, Версаль, рейхстагъ...

— Я думаю, что все это создалъ одинъ великій канцлеръ и теперешнее поколѣніе, воспитанное имъ для этой цѣли, собственными силами и изъ ничего...

— Вашъ отецъ неисправимъ,—обратился докторъ къ Маріи, которую велъ подъ руку.

— Да, — отвѣчала Марія,—но только я ваши слова понимаю, быть можетъ, въ иномъ смыслѣ, нежели вы.

— Во всѣхъ смыслахъ,—подхватилъ Смитъ, смѣясь:—также и въ вашемъ, милый другъ. И вотъ причина, почему состарѣвшійся Іосифъ — вы знаете мое любимое сравненіе—уходитъ теперь изъ Египта, гдѣ воцарился новый фараонъ, который его не знаетъ и не хочетъ знать... Старое поколѣніе отжило. Новое, выросшее послѣ сорокъ-восьмого года, хочетъ жить по своему, не стѣсняемо: неудобными традиціями. Такая самостоятельность и отрѣзанность отъ прошлаго, конечно, только фикція, но человѣчество, кажется, нуждается въ фикціяхъ и время отъ времени выдумываетъ направление, которое, по его мнѣнію, сдѣлаетъ *tabula rasa* изъ науки, искусства, государственныхъ учреждений, правовъ, обычаевъ и модъ прежняго времени, и все это оно создаетъ будто бы за-ново и съ иглочки. Бисмаркъ не былъ бы тѣмъ умнымъ человѣкомъ, какимъ онъ есть, еслибы не эксплуатировалъ искусно на всѣ лады эту фикцію, хотя онъ знаетъ лучше, чѣмъ кто другой, что камни, которые онъ сѣетъ, суть тѣ кости древней матери-земли, которыхъ требовалъ оракулъ. А зачѣмъ этотъ новый Девкаліонъ бросаетъ свои камни черезъ плечо назадъ, какъ и старый бросалъ,—онъ тоже и это знаетъ очень хорошо. Древняя мать-земля всегда подсмѣивается при этомъ и про себя кое-что разумѣетъ...

— Что же именно?

— А то, что брошенные черезъ плечо назадъ человѣческіе камни и каменные люди, въ силу вѣчныхъ законовъ, опять двинутся впередъ. И я, съ своей стороны, убѣжденъ, что опять явится когда-нибудь новый Моисей, который укажетъ путь къ обѣто-

ванной землѣ людямъ, заблудившимся въ пустынь материализма, въ погонѣ за наживой. Онъ придетъ и вспомнить Иосифа гораздо легче, нежели то воображаетъ себѣ новѣйшій фараонъ съ его безнадежной философией... Однако, вотъ и нашъ поѣздъ!

Съ восточной стороны медленно подходилъ къ станціи поѣздъ. На платформѣ, среди пассажировъ и провожающихъ, воцарилась обычная суматоха. Наши отъѣзжающіе, съ помощью любезнаго кондуктора, скоро нашли себѣ мѣсто; Смитъ, какъ юноша, вскочилъ въ вагонъ, чтобы сначала уложить ручной багажъ.

Докторъ Бруннъ взялъ Марію за обѣ руки.

— Счастливаго пути!—сказалъ онъ задумчивымъ голосомъ.— Я надѣюсь, что вы легко найдете въ Америкѣ хорошей кругъ дѣятельности для себя. Но, въ случаѣ несчастія,—въ случаѣ, еслибы вы остались однѣ въ новомъ свѣтѣ,—знайте, что у васъ есть второй отецъ, который почтетъ за высшее для себя счастье замѣнить вамъ незамѣнимаго, насколько это въ его силахъ.

Онъ поцѣловалъ ее въ лобъ и помогъ сѣсть въ вагонъ.

Смитъ тѣмъ временемъ выскочилъ опять изъ вагона и устремилъ на доктора свои большіе голубые, дѣтскіе, съ теплымъ выраженіемъ, глаза. Оба они крѣпко взяли другъ друга за руки.

— Право, вамъ бы слѣдовало ѣхать съ нами, докторъ,—сказалъ Смитъ.

— Я еще попробую пожить здѣсь, — отвѣчалъ докторъ съ меланхолической улыбкой.

— Но мы сохранимъ ту же дружескую связь?

— Несмотря на новаго фараона!—досказалъ Бруннъ.

— По мѣстамъ! прошу, по мѣстамъ!—закричалъ кондукторъ.

— Прощайте!.. прощайте!..

— Прощайте!..

Поѣздъ двинулся на западъ.

Станція на Фридрихштрассе снова опустѣла. Только немногіе служащіе прохаживались еще взадъ и впередъ. Докторъ Бруннъ неподвижно стоялъ на мѣстѣ, съ котораго въ послѣдній разъ видѣлъ милыя и дорогія ему лица въ окнѣ вагона.

— „И все-таки онъ неправъ!—возразилъ Бруннъ мысленно:—древняго Египта, конечно, больше нѣтъ... А все же мы должны жить и бороться... несмотря на новаго фараона“...

Онъ вдругъ выпрямился, расправляя руки, подобно атлету, готовому схватиться съ воображаемымъ противникомъ,—и затѣмъ медленно направился по платформѣ станціи къ выходу.





---

## МОДНАЯ ФОРМА БЕЛЛЕТРИСТИКИ

---

Никогда, кажется, еще не было в нашей литературѣ такого наплыва небольшихъ рассказовъ, очерковъ, этюдовъ, какъ въ послѣднее время. Ихъ пишутъ и начинающіе авторы, и давно уже выступившіе на литературную сцену; они появляются въ періодическихъ изданіяхъ, быстро наполняютъ собою цѣлые сборники. Причинъ этому много. Все больше и больше раздвигая свои рамки, все больше и больше расширяя кругъ читателей, газеты увеличиваютъ спросъ на беллетристику, приспособленную къ обьѣму чтенію. Фельетонный романъ, еще недавно игравшій выдающуюся роль, видимо отживаетъ свое время; онъ оказывается слишкомъ тяжеловѣснымъ для публики, которой предстоитъ справиться въ какіе-нибудь полчаса съ громадной массой матеріала—и столь же поспѣшно забыть почти все прочитанное<sup>1)</sup>. Крошечная вещьца, вся укладываемая въ нѣсколько газетныхъ столбцовъ, представляетъ, съ этой точки зрѣнія, большія и несомнѣныя удобства. Нѣкоторое значеніе фельетонный романъ сохраняетъ у насъ развѣ въ такъ-называемой маленькой прессѣ, потому что ея кліенты читаютъ не такъ много и не такъ скоро, да и не такъ легко измѣняютъ прежнимъ привычкамъ и вкусамъ. Другая причина преобладанія миниатюрной беллетристики—это извѣстность, доставленная ею г. Чехову. Успѣхъ заразителенъ; по стопамъ одного, достигшаго цѣли, всегда устремляются цѣлые де-

<sup>1)</sup> Если фельетонный романъ держится во Франціи гораздо крѣпче, чѣмъ у насъ, то это объясняется, быть можетъ, именно тѣмъ, что французскія газеты даютъ своимъ читателямъ гораздо меньше матеріала, нежели русскія.

сятки. Нельзя, наконецъ, отрицать и сравнительной легкости моднаго жанра. Создать что-нибудь истинно-художественное здѣсь, какъ и вездѣ, удается рѣдко; но написать нѣсколько хорошихъ страницъ во всякомъ случаѣ не такъ трудно, какъ довести до счастливаго конца широко задуманное цѣлое. Посредственный этюдъ оставляетъ, уже въ силу своей краткости, менѣе удручающее впечатлѣніе, чѣмъ посредственный романъ. У медали есть, однако, и обратная сторона. Если небольшой рассказъ, въ отдѣльности взятый, имѣетъ — при равенствѣ остальныхъ условий — больше шансовъ быть напечатаннымъ и прочитаннымъ, чѣмъ нѣчто объемистое и длинное, то произвести впечатлѣніе *совокупностью* рассказовъ гораздо труднѣе, чѣмъ однимъ крупнымъ произведеніемъ. Пародируя извѣстное изреченіе Хомы Брута, можно сказать, что мелкіе рассказы въ большомъ количествѣ — вещь нестерпимая. Встрѣчаться съ ними на каждомъ шагу — столь же утомительно, какъ разсматривать безконечный рядъ эскизовъ. Да, большинство модныхъ беллетристическихъ бездѣлушекъ — именно эскизы, а не картины и даже не рисунки. Нужно большое и своеобразное дарованіе, чтобы сказать многое въ немногихъ словахъ, чтобы воспроизвести нѣсколькими штрихами живое лицо, хотя бы въ одинъ короткій моментъ его жизни. Въ романѣ меньше бросается въ глаза и лишнее, и недодѣланное; первое легче ступшевывается въ массѣ деталей, второе легче уравновѣшивается тщательной обработкой другихъ сторонъ обширнаго цѣлаго. Въ очеркѣ, въ этюдѣ все можно обзрѣть сразу — и всякій недостатокъ, положительный или отрицательный, выступаетъ на видъ гораздо нагляднѣе и ярче. Спilla для произведеній этого рода — банальность замысла, безцвѣтность, тусклость исполненія; Харибда — придуманность содержания, преувеличенная яркость или вымученная оригинальность формы. Далеко не всѣ сюжеты свободно втискиваются въ узкую рамку; ея требованіямъ отвѣчаетъ далеко не всякая манера.

Большое преимущество имѣетъ тотъ рассказчикъ, въ распоряженіи котораго состоитъ мало извѣстный, едва затронутый матеріалъ. Это даетъ ему интересъ новизны, особенно цѣнный именно въ небольшихъ очеркахъ. Чѣмъ больше стѣсненій налагаетъ на автора ограниченность пространства, тѣмъ важнѣе для него сразу, благодаря самой темѣ, овладѣть вниманіемъ читателей. Конечно, одного этого условія еще недостаточно; но если къ нему присоединяется умѣнье пользоваться хорошо выбраннымъ сюжетомъ, если авторъ не только знаетъ, но и любитъ изображаемую имъ обстановку, то успѣхъ представляется обезпеченнымъ. Объ этомъ свидѣлствуютъ „Морскіе рассказы“ г. Станюковича (печатав-

шаго ихъ сначала въ журналахъ подъ псевдонимомъ М. Костина). Прежнія произведенія г. Станюковича, гораздо большія по объему, были мало замѣчены и критикой, и публикой; они не возвышались надъ уровнемъ беллетристики, наполняющей, вслѣдствіе установившагося обычая, страницы журналовъ, но быстро ускользающей изъ памяти читателей. Не отличается отъ нихъ существенно и новый романъ того же автора („Не столь отдаленныя мѣста“), вышедшій въ свѣтъ уже послѣ „Морскихъ разсказовъ“. Характеры здѣсь шаблонны, исполненіе—ординарно; эпизоды, знаменательные для жизни глухого, заброшеннаго края, едва замѣтны среди перипетій мало интересной и вовсе не характеристичной интриги. „Морскіе разсказы“ точно написаны другой рукой; соприкосновеніе съ почвой, очевидно родственной и любовной автору, даетъ ему силы, которыхъ онъ не находилъ и не находитъ больше нигдѣ. Одинъ изъ „Морскихъ разсказовъ“—„Василій Ивановичъ“—значительно превышаетъ всѣ остальные по размѣрамъ, но мало отличается отъ нихъ по содержанію и изложенію. Центральная фигура нѣсколько больше выступаетъ здѣсь на первый планъ—но и въ другихъ, короткихъ разсказахъ интересъ не исчерпывается однѣми картинами морской жизни и матросскаго быта. Изъ толпы вездѣ выдѣляются отдѣльныя лица, иногда едва намѣченныя (капитанъ въ разсказѣ: „На камняхъ“), иногда ярко освѣщенныя (боцманъ Щукинъ въ „Матросскомъ линчѣ“). Моряковъ наша изящная литература не касалась почти вовсе чуть не со временъ Марлинскаго („Фрегатъ Надежда“, „Лейтенантъ Бѣловоръ“). Мы видѣли ихъ, правда, въ „Фрегатѣ Паллада“, но ихъ заслоняли тамъ описанія всего того, что поразило или очаровало путешественника. Г. Станюковичъ первый пытается сдѣлать для нихъ нѣчто въ родѣ того, что по отношенію къ военному быту давно уже исполнено гр. Л. Толстымъ и его многочисленными послѣдователями. Мы не утверждаемъ, чтобы эта цѣль была достигнута имъ вполне—но попытка вышла, во всякомъ случаѣ, удачной и заслуживаетъ самаго искренняго сочувствія.

Дѣйствіе „Морскихъ разсказовъ“ происходитъ, болѣею частью, въ ту переходную эпоху жизни нашего флота, когда его задѣло общее преобразовательное теченіе и до-реформенные нравы начали уступать мѣсто новымъ. За старину вѣрнѣе держится боцманъ Щукинъ, хотя она стоила ему двухъ переднихъ зубовъ; не совсѣмъ отрѣшился отъ нея и добродушнѣйшій Василій Ивановичъ, остающійся и въ теоріи, и на практикѣ „умѣреннымъ дантистомъ“; представителемъ новыхъ принциповъ является командиръ судна,

на которомъ служить Василій Иванычъ. Авторъ не вмѣшивается въ эту борьбу, хотя сочувствіе его, конечно, не на сторонѣ отживающихъ порядковъ. Онъ имѣетъ дѣло не съ тѣмъ или другимъ служебнымъ строемъ, а съ людьми, между которыми всегда были и есть хорошіе и дурные. Съ особенною любовью г. Станюковичъ останавливается на первыхъ; ему дороги въ нихъ симпатичныя черты, развитію которыхъ благопріятствуетъ морская служба — чувство долга, спокойное мужество, товарищеская солидарность. Эти черты примиряютъ его и насъ даже съ самодурствомъ Щукина, отказывающагося понять и помнить, что „нонче правовъ этихъ нѣтъ, чтобы зря драться“. Избитый матросами, старый боцманъ не хочетъ жаловаться начальству (какъ не хотѣлъ жаловаться на Щукина обиженный имъ Аксеновъ) и „закатываетъ здоровую затрепичу“ негодяю, вздумавшему разыграть передъ нимъ роль доносчика... Матросы и офицеры выходятъ у г. Станюковича столь же живыми, какъ и картины морской жизни, еле двигающейся въ обыкновенное время, до крайности напряженной въ минуты опасности и тревоги. Карьеристъ Непенинъ, мечтатель Лѣсовой, уравновѣшенный Карлъ Карловичъ — такіе же рельефныя фигуры, какъ и „бѣглець“ Лютиковъ, наивный Антоновъ, душа-человѣкъ Шутиковъ, благодаря которому „гальюнцикъ“ Прошка обращается въ Прохора. Исторія двухъ послѣднихъ („Человѣкъ за бортомъ“) — это цѣлая маленькая драма, тѣмъ сильнѣе дѣйствующая на читателей, чѣмъ проще она рассказана авторомъ. Не лишены типичности даже эпизодическія лица, въ родѣ суроваго штурмана „Синуса Синича“ или артиллериста Оомы Оомича, восторгающагося правильно произведеннымъ салютомъ и недовольнаго тѣмъ, что никто не раздѣляетъ его восторговъ. Сцена входа клипера на Хакодатскій рейдъ — это торжество морской виртуозности — не уступаетъ сценѣ „На камняхъ“ (въ рассказѣ того же имени), гдѣ рѣчь идетъ уже не о щегольствѣ, а о жизни или смерти. Трудно рѣшить, какому изъ „Морскихъ рассказовъ“ принадлежитъ преимущество передъ другими. Они соединены между собою общностью настроенія и предмета, но ничего не теряютъ и взяты въ отдѣльности, потому что каждый изъ нихъ образуетъ законченное цѣлое. Нельзя не пожелать, чтобы г. Станюковичъ возвратился къ темъ, исчерпанной имъ еще далеко не вполне — или нашелъ другую область, гдѣ бы онъ чувствовалъ себя въ такой же степени дома, какъ и на „Голубчикѣ“ или „Красавцѣ“.

Полярнѣйшую противоположность „Морскимъ рассказамъ“ составляютъ „Тридцать три рассказа“ г. Случевского. Это, боль-

яною частью, или анекдоты, небогатые даже внѣшнимъ интересомъ, или сцены, претендующія—и *только* претендующія—на эффектность. „Бытовые“ рассказы ничѣмъ, въ этомъ отношеніи, не отличаются отъ „историческихъ“; послѣдніе только больше первыхъ грѣшатъ растянутостью и многословіемъ. Возьмемъ, для примѣра, два рассказа изъ русской исторіи: „Исчезнувшій свертокъ“ и „Императрица Екатерина II и кіевскіе угодники“. Въ повѣствованіе о томъ, какимъ образомъ и почему графъ Разумовскій уничтожилъ документы, удостовѣрившіе его бракъ съ императрицей Елизаветой, авторъ вводитъ безъ всякой надобности картину зимняго январьскаго утра, разговоръ Екатерины съ Марьей Савишной Перекусихиной, изображеніе возка, въ которомъ ѣхалъ графъ Воронцовъ. Къ страничкѣ изъ анекдотической исторіи прилѣпляется нѣсколько беллетристическихъ украшеній, безъ всякой даже попытки слить и то, и другое въ одно художественное цѣлое. Въ результатъ получается нѣчто неопредѣленное, безформенное, отставшее, какъ говорится, отъ одного берега и не приставшее къ другому. Второй изъ названныхъ нами рассказовъ начинается, неизвѣстно для чего, описаніемъ вѣзда императрицы въ Кіевъ, ничѣмъ не соединеннымъ съ дальнѣйшимъ изложеніемъ; случайныхъ и безцѣльныхъ подробностей нагромождена и дальше цѣлая масса. Потемкинъ появляется только на одну минуту, но описаніе его туалета занимаетъ полъ-страницы; мы узнаемъ, что у него вездѣ „поблескивали алмазы“, а у Екатерины „была приколота съ лѣвой стороны головы брилліантовая, при малѣйшемъ движеніи дрожавшая тряснява“. Быть можетъ, такой протоколизмъ и хорошъ въ свое время и на своемъ мѣстѣ — но въ примѣненіи къ крошечному сюжету онъ производитъ почти комическое впечатлѣніе. Это — точно картинка въ нѣсколько квадратныхъ вершковъ, вставленная въ широкую, громоздкую раму. Картинка (посѣщеніе императрицей кіево-печерской лавры) оказывается, вдобавокъ, настолько безцвѣтной и безсодержательной, что для нея не стоило бы сооружать и другой рамки, гораздо болѣе скромной.. „Бытовые“ анекдоты, болѣею частью, рассказаны проще и короче — но этимъ и ограничивается все, чтѣ можно сказать въ ихъ пользу. Стѣило ли, на примѣръ, заносить на бумагу легенду о „Чугунныхъ фруктахъ“ павловскаго парка или наполнять нѣсколько страницъ вовсе не остроумными выдумками салоннаго болтуна, принимаемыми на вѣру наивнымъ слушателемъ („Воображающіе“)? Весьма можетъ быть, что такая легенда существуетъ, что авторъ зналъ такого болтуна — но во чтѣ обратилась бы литература,

еслибы каждый владѣющій перомъ складывалъ въ нее весь запасъ своихъ случайныхъ впечатлѣній? Конечно, нѣтъ такого зауряднаго факта, котораго нельзя было бы оживить талантливой передачей; но у г. Случевского форма соотвѣтствуетъ содержанію. „Балъ былъ въ полномъ разгарѣ. Огней горѣло столько, что еслибы кому вздумалось погасить ихъ всѣ сразу, то многія чувствительныя натуры попадали бы въ обморокъ отъ одного чаду! Былъ оркестръ. Были официанты. Былъ дирижеръ вечера, юноша, подававшій большія надежды и обладавшій зычнымъ голосомъ“. Къ такому описанію вполне примѣнима французская поговорка: *il n'y a pas de raison que cela finisse*. Оно можетъ быть продолжаемо до безконечности, не становясь отъ того ни болѣе, ни менѣе интереснымъ. „Ксаверій Ксаверіевичъ“, читаемъ мы въ томъ же разсказѣ, „поучалъ Щикина о разныхъ воображеніяхъ; указалъ онъ ему на человѣка, воображающаго себя умнымъ; указалъ онъ на другого человѣка, тоже воображающаго себя умнымъ; указалъ на такого же третьяго“. Авторъ поступилъ очень снисходительно, остановившись на третьемъ; изъ трехъ повтореній онъ могъ сдѣлать пять, десять, и потомъ опять начать сначала, какъ это дѣлается въ такъ-называемыхъ *scies* — особаго рода пѣсняхъ или прибауткахъ, бывшихъ одно время въ большой модѣ между молодыми французскими живописцами.

Въ другихъ „бытовыхъ“ разсказахъ г. Случевского банальность, какъ мы уже сказали, уступаетъ мѣсто претенціозности. На сцену выводится докторъ, объясняющій заразительность любви существованіемъ любовныхъ бактерій („Новый Дулькамара“); повѣствуется о мужѣ и женѣ, поссорившихся изъ-за сказки о Добрынь Никитичѣ, послѣ чего мужъ видитъ во снѣ автора сказки, Киришу Данилова, и выслушиваетъ отъ него поученіе о неосновательности безпричинныхъ ссоръ; олицетворяются двѣ капли, одновременно падающія на снѣгъ — изъ глаза русской женщины и изъ бутылки съ французскимъ шампанскимъ — и одновременно прощающіяся съ жизнью. Придуманность сюжета, какъ и банальность, можетъ быть выуслена исполненіемъ — но о немъ можно составить себѣ понятіе по слѣдующимъ немногимъ отрывкамъ: „разговоръ видимо переходилъ предѣлы невѣроятности“... „Тутъ сказалась одна изъ каверъ жизни: докторъ невѣсомо бредитъ, а я, вслѣдствіе этого его бреда, опростоволосился фактически и очень вѣсомо“... „Темныя, высокія прически (рѣчь идетъ о балѣ) скачутъ по морю блеска гораздо порхливѣе, чѣмъ прежде“... „Стоять они, ядро освѣщенные тысячами непотухающихъ свѣчей, въ блестящихъ регаліяхъ, службѣ и отличіямъ присвоен-

ныхъ" (!). А вотъ образцы философіи г. Случевского: „это удивительно, какъ люди сами портятъ себѣ жизнь, сочиняя поводы къ разнымъ пререканіямъ. Основаніе—мыльный пузырь, и даже меньше того; послѣдствія—волоссы на курьихъ ножкахъ. Странные типы общественной зоологіи!“... „Въ утѣшеніе памяти обѣихъ капель можно сказать, что и та тройка, съ которой обѣ капли свѣялись, во всей ея совокупности и со всѣмъ ея содержаніемъ, съ любовью, грустью, весельемъ, ухарствомъ, съ бѣлою ночью и замороженными конями, была тоже достигнута своевременно химією и физикою и, какъ подобаетъ, разнесена по частямъ. Еслибы было побольше вѣры въ *неуклонность этого разноса*, очень можетъ быть, что слеза не родилась бы вовсе“... Все это взвѣшено, сдѣлано, искусственно приподнято; усиліе чувствуется слишкомъ ясно и не приводитъ къ цѣли. Не дается автору и пафосъ, какъ это видно, напримѣръ, изъ заключительныхъ фразъ разсказа: „Воскресшіе“ („тутъ совершалось одно изъ тѣхъ горячихъ, чудодѣйственныхъ стремленій заботой души человѣческой, надъ необъятною бездною ничтожества, которыя очень рѣдко тревожатъ таинственные пути общенія людей съ Богомъ—пути молитвы“). Изъ всѣхъ тридцати трехъ разсказовъ г. Случевского не лишены повѣи только два („Два тура вальса—двѣ елки“ и „Въ пылу боя“), да и то начало перваго изъ нихъ испорчено разсужденіемъ о „летучихъ и въ то же время неподвижныхъ очеркахъ отношеній“, написаннымъ въ обычной манерѣ автора.

Гораздо проще и изящнѣе пишетъ г. Бѣжецкій (псевдонимъ), но и его разсказы, собранные подъ общимъ названіемъ: „На пути“, несвободны отъ весьма серьезныхъ недостатковъ. Совершенно ничтожны, болшею частью, выбираемые имъ сюжеты: собачья грызня, болтовня въ вагонѣ, маскарадное приключеніе. Иногда въ дѣло вводится фантастическій элементъ („Таинственный свѣтъ“), но изъ этого ровно ничего не выходитъ, потому что авторъ самъ не знаетъ, какъ отнестись къ своему вымыслу, и бросаетъ его на полъ-дорогѣ. Въ военныхъ эпизодахъ („Испытаніе волонтеровъ“, „Въ тылу“) нѣтъ ничего характеристичнаго и новаго. Разсказъ ведется прилично, гладко, но не возвышается, въ сущности, надъ уровнемъ хорошо переданнаго анекдота. Въ душу дѣйствующихъ лицъ г. Бѣжецкій не заглядываетъ вовсе или не идетъ дальше ея поверхности; ни одно изъ нихъ не врѣзывается въ память, какъ это бываетъ сплошь и рядомъ съ лучшими фигурами г. Чехова. Герои г. Бѣжецкаго — именно и только *дѣйствующія* (или говорящія) лица; чтд они думаютъ и чувствуютъ—это для него неважно. Исключеніе можно сдѣлать

только для одного разсказа: „Нарочный“. Гибель киргиза, среди необъятной и безотрадной степи, производит сильное впечатлѣніе, прекрасно подготовленное цѣлымъ рядомъ степныхъ картинъ. Несложная психологія полудивара, безстрашнаго передъ дѣйствительною опасностью, безоружнаго передъ суевѣрными фантазмагоріями, изображена авторомъ съ большимъ искусствомъ. Гораздо меньше удаются ему разсужденія о чувствахъ, въ родѣ тѣхъ, которыми пересыпанъ разсказъ: „Перчатка“. Вотъ, напримѣръ, отрывокъ, напоминающій манеру г. Случевского: „о настоящей любви говорятъ какъ о привидѣніи; никто привидѣній не видѣлъ, но ихъ описываютъ иногда очень подробно. Впечатлительные люди, допускающіе возможность привидѣнія, боятся спать въ темной комнатѣ, и нѣкоторые изъ нихъ, при сильномъ воображеніи, доводятъ себя до того, что видятъ во тьмѣ какія-то неясныя очертанія; самые безобидные предметы принимаются за призракъ; но и за этимъ призракомъ стоятъ улыбающееся сомнѣніе. Не то бываетъ, когда люди больны; тогда призракъ создается внутри ихъ, онъ ихъ собственное произведеніе; но пока онъ передъ ними, они убѣждены, что призракъ пришелъ изъ внѣшняго міра“. Какъ бы легковѣсенъ ни былъ разсказъ, такіа размышленія оказываются даже для него слишкомъ легковѣсными.

Говоря, года полтора тому назадъ о „Маленькихъ разсказахъ“ г. Баранцевича, мы имѣли уже случай замѣтить, что мелкіе очерки и этюды выходятъ у него относительно слабѣе, чѣмъ болѣе крупныя произведенія. То же самое мы должны повторить и теперь, по поводу его „Новыхъ разсказовъ“. И въ этомъ сборникѣ, какъ и въ прежнемъ, нѣтъ ничего, что могло бы выдержать сравненіе съ лучшими вещами г. Чехова. Анекдотическій пошибъ проникъ даже въ самый объемистый изъ всѣхъ новыхъ разсказовъ („Мыши“). Бѣгство Петра Иваныча отъ воображаемаго кредитора служитъ для автора точно вѣшалкой, къ которой прицѣпляется цѣлый рядъ эпизодовъ. Картины—или, лучше сказать, карикатуры—литературныхъ нравовъ, смѣняющія одна другую, написаны, очевидно, только для того, чтобы разсмѣшить читателя; онѣ слишкомъ явно преувеличены, слишкомъ усердно раскрашены кричащими красками. Неожиданная развязка—полученіе наслѣдства—довершаетъ сходство разсказа съ анекдотомъ, въ безчисленныхъ деталяхъ котораго тонетъ попытка создать типичныя фигуры литераторовъ-неудачниковъ (Петръ Иванычъ и его „литературный пріятель“). Такимъ же анекдотическимъ характеромъ отличаются и многіе другіе, болѣе короткіе разсказы („Навожденіе“, „Драз-



нить", „Сліяніе“, „Господиць Петровъ“, „Вспышка“, „Китаецъ“, „Конь и чиновникъ“, „Поэтъ“). Иногда замысль автора идетъ дальше простой передачи факта или фактовъ; на первый планъ выдвигается изображеніе оригинальной фигуры или психическаго процесса—но тутъ ему часто измѣняетъ исполненіе. „Человѣкъ, который улыбается“ выходитъ недостаточно рельефнымъ; „Прощанье“ блѣдно и похоже на пьесу, въ которой звучитъ то одинъ, то другой давно знакомый мотивъ. Кое-что напоминаетъ „Свиданіе“ Тургенева, кое-что — „Вѣрочку“ г. Чехова, а послѣднія слова уже совсѣмъ близко подходятъ къ заключенію „Пѣвцовъ“. Въ „Часахъ“ далеко не новъ контрастъ между планами человѣка, летящими въ даль, и смертью, готовящею имъ внезапный и скорый конецъ. Чѣмъ-то хорошо извѣстнымъ отзываются и „Двѣ встрѣчи“, съ своимъ параллелизмомъ лѣта и счастливой любви, зимы и расплаты за короткое счастье. Образъ человѣка, готовящагося къ самоубійству, набросанъ въ слишкомъ общихъ чертахъ и заслоненъ подробностями, черезъ-чуръ соответствующими заглавію разсказа („Случайно“). Не мотивированной, а слѣдовательно и не натуральной является циничная откровенность присяжнаго повѣреннаго Цапакина („Друзья“). Конечно, почти во всѣхъ названныхъ нами разсказахъ можно найти страницы положительно талантливыя (назовемъ, для примѣра, ночное путешествіе по рельсамъ желѣзной дороги въ „Двухъ встрѣчахъ“) — но тѣмъ труднѣе не пожалѣть, что этотъ талантъ растрачивается на задачи, мало ему родственныя. Нашихъ сожалѣній не устраняютъ даже лучшіе разсказы сборника („Пантомимъ любви“, „Машенька“, „Что сдѣлалъ сѣверный вѣтеръ“, „Котель“, „Какъ я получилъ мѣсто“), потому что форма, сдавливающая автора, служитъ иногда и здѣсь источникомъ несообразностей, недомолвокъ, излишней торопливости. Совершенно необъясненной и трудно-объяснимой является, напримѣръ, внезапная антипатія маленькаго Воли къ любовнику его матери („Пантомимъ любви“), между тѣмъ какъ въ болѣе обширной рамкѣ она явилась бы неизбѣжнымъ и естественнымъ результатомъ наблюдений, дѣлаемыхъ ребенкомъ. При другихъ условіяхъ болѣе живымъ лицомъ вышелъ бы и врачъ, наводимый анонимнымъ письмомъ на мысль о невѣрности жены („Котель“); болѣе понятнымъ сдѣлался бы путь, которымъ онъ доходитъ отъ ярости и отчаянія до готовности смириться... и попросить прощенья.

Въ той же самой газетѣ, въ которой помѣщаетъ большую часть своихъ этюдовъ г. Баранцевичъ, выступилъ недавно съ цѣлой серіей небольшихъ очерковъ г. Лихачевъ (В. С.), писав-

шій до тѣхъ поръ, если мы не ошибаемся, только стихотворенія и драматическія пьесы <sup>1)</sup>. Эти очерки, вошедшіе въ составъ полнаго собранія сочиненій г. Лихачева („За двадцать лѣтъ“), служатъ живымъ доказательствомъ того, что въ разбираемомъ нами жанрѣ настолько же легко достигнуть золотой середины, насколько трудно создать что-нибудь выдающееся. Разказы г. Лихачева, обязанные своимъ существованіемъ, по всей вѣроятности, не чему другому, какъ усилившемуся запросу на этотъ родъ беллетристики, стоятъ развѣ немногимъ ниже разказовъ г. Баранцевича, вызванныхъ не одною лишь литературною модой. Правда, у г. Лихачева есть слабость къ трагическимъ развязкамъ; самоубійствомъ или убійствомъ оканчиваются у него цѣлыхъ шесть разказовъ (изъ восемнадцати), и нельзя сказать, чтобы этотъ конецъ былъ всегда хорошо мотивированъ—но трагическое сравнительно легко укладывается въ тѣсныя рамки, имъ не пренебрегаютъ и другіе авторы мелкихъ разказовъ, отводя ему только поменьше мѣста. Общимъ съ ними является у г. Лихачева и пристрастіе къ контрастамъ, дѣйствительно весьма удобнымъ для сосредоточенія, на небольшомъ пространствѣ, возможно большаго числа эффектовъ. Противопоставляя зарождающуюся любовь приближающейся смерти („Радость жизни“), г. Лихачевъ держится приема, съ которымъ мы уже встрѣчались у г. Баранцевича. Есть у г. Лихачева, однако, и такіе разказы, которымъ никакъ нельзя отказать въ свѣжести и оригинальности. Такова, на примѣръ, исторія избалованной барыни, въ которой что-то похожее на любовь борется съ безразличнымъ отвращеніемъ къ бѣдности—и остается побѣжденнымъ („Сладостныя цѣпи“); такова картина погребенія бѣдняка, уважавшаго „казенный сундукъ“ (припомнимъ героя Некрасовской „Маши“) и не заслужившаго этимъ даже уваженія собственной семьи („Дуракъ“); таковъ разказъ о служителѣ „непосредственной правды“, начинающемъ съ сплетни, продолжающемъ доносами и оканчивающемъ шпионствомъ („По призванію“).

Весьма сочувственный приѣмъ, и притомъ со стороны газетъ противоположныхъ направленій, встрѣтили недавно „Семнадцать разказовъ“ г. Гнѣдича. Мы можемъ присоединиться къ нему только съ большими оговорками. Кое-что въ книгѣ г. Гнѣдича имѣетъ интересъ чисто-фактической, всего меньше зависящій отъ дарованія автора. Такъ на примѣръ, сюжетъ „Ораторовъ“—дѣйствительное происшествіе, весьма курьезнаго свойства: какъ одинъ

<sup>1)</sup> Главное право г. Лихачева на извѣстность—прекрасный переводъ „Тартюфа“

преосвященный, лѣтъ сорокъ тому назадъ, пригласилъ сельскимъ священникамъ произносить по очереди проповѣди въ соборѣ губернскаго города, и что изъ этого вышло. Передано происшествіе, правда, очень хорошо, съ большимъ юморомъ—но суть и соль его сохранились бы и въ простомъ пересказѣ. То же самое можно сказать о „Легендѣ нашихъ дней“, главный герой которой— весьма извѣстное лицо, живущее недалеко отъ Петербурга. Отъ сюжета заимствуетъ свою силу и „Римскій прокураторъ“—или, лучше сказать, великій сюжетъ теряетъ часть своей силы, облекаясь въ беллетристическую форму. Образцомъ для этого разсказа послужила, вѣроятно, „Иродіада“ Флобера—но не всякому дано достигнуть роскоши языка, составляющей всю прелесть „Иродіады“. Не производятъ большого впечатлѣнія ни этюды надъ капризами женской натуры („Странная женщина“ и „Въ лѣсу“), ни картины литературныхъ и театральныхъ нравовъ („Въ трясинѣ болотной“); для первыхъ автору не хватило простора, вторыя не представляютъ ничего оригинальнаго. Записки психопата („Черепъ“) могутъ дѣйствовать на нервы, но только такъ, какъ дѣйствуетъ на нихъ скорбный листъ душевной болѣзни. Мы всегда думали и продолжаемъ думать, что полное, рѣзко выраженное помѣшательство—плохой сюжетъ для романа, хотя и возможный эпизодъ его; съ еще большимъ основаніемъ это можно связать о небольшомъ разсказѣ, въ которомъ психическое расстройство является уже какъ нѣчто данное, и мы ничего не узнаемъ о его причинахъ, о зависимости его отъ всего предшествовавшаго. Довести человѣка до порога психіатрической клиники—задача, достойная художника; въ поднятіи завѣсы надъ тѣмъ, что дѣлается по ту сторону порога, необходима величайшая сдержанность и осторожность. Нестройные, безсвязные звуки, издаваемые надтреснутыми или лопнувшими струнами, могутъ быть драгоценнымъ предметомъ изученія для науки; искусству слѣдовало бы прислушиваться къ нимъ только тогда, когда въ нихъ еще можно распознать мелодію, когда они составляютъ продолженіе или отголосокъ прежней, сравнительно-нормальной душевной жизни. Таковъ „Красный цвѣтокъ“ Гаршина, такова большая часть психіатрическихъ этюдовъ Достоевскаго. Ничего подобнаго мы не видимъ въ „Черепѣ“ г. Гнѣдича, способномъ возбудить только нервную дрожь, но не здоровое эстетическое наслажденіе... Всего лучше удастся г. Гнѣдичу изображеніе будничныхъ сценъ, простыхъ событій, съ той сложной работой, которую они такъ часто вызываютъ въ душѣ человѣка. Въ „Соловьяхъ“, напримѣръ, разсказывается о томъ, какъ въ монастырскомъ саду, ранней весной,

внезапно появились рѣдкіе, почти небывалые гости. „По вельямъ вѣсть ходила: соловей прилетѣлъ. Много птицъ у нихъ жило по островамъ, но соловья лѣтъ за сто не запомнятъ. Да и какъ ему черезъ озеро, такое пространство?.. Давно время инокамъ ложиться. Но точно передъ Пасхою въ заутреню — сна нѣтъ ни у кого. Даже древніе старцы — и тѣ выползли на воздухъ. Никого нѣтъ въ вельяхъ. Всѣ двери и окна настезь, у всѣхъ нервы напряжены, всѣ ждутъ. И онъ запѣлъ. И какъ запѣлъ! Затрепцалъ, залился, будто съ жизнью разставался. Иноши остановились, замерли, замолкли. Весь монастырь замеръ. И вдругъ, точно эхо, изъ сосѣдней роши донеслось такое же точно пѣніе. Ихъ двое? Не одинъ прилетѣлъ? Связочное царство — то царство, гдѣ царевна, уколовъ руку веретенемъ, погрузила въ сонъ весь свой теремъ, теперь во-очію изображалось братіею. Кто гдѣ былъ, такъ тамъ и остановился, и точно статуею сталъ. Рядъ картинъ, рядъ грёзъ, сновидѣній возстали передъ ними. Запѣла птичка — и вмѣстѣ съ этимъ возстало все прошлое: и молодость, и любовь, и счастье, то возможное счастье, которое все же дано людямъ... По сухимъ, желтымъ щевамъ игумена катились слезы, но этого никто не видѣлъ: онъ стоялъ подъ густою черемухою“. Эта картина напоминаетъ поэму г. Майкова, гдѣ соловей смущаетъ своимъ пѣніемъ святыхъ отцовъ, готовыхъ произнести смертный приговоръ надъ Гусомъ; но сравненіе съ поэтомъ нимало не вредитъ прозаикъ, этюдъ котораго исполненъ своеобразной прелести. Не уступаетъ ему разсказъ: „Весною“, мастерски фотографирующий ощущенія мужа во время болѣзни и послѣ смерти жены; очень милъ разговоръ желѣзно-дорожнаго сторожа съ дочерью, въ пасхальную ночь, въ ожиданіи вурьерскаго поѣзда („На рельсахъ“). Въ „Статуѣ командора“ теплое чувство переплетено съ неприкрытымъ комизмомъ, неотразимо вызывающимъ улыбку; „Тѣнь отца Гамлета“ невозможно читать безъ смѣха — того здороваго смѣха, за который невольно остаешься благодарнымъ автору. Въ лучшихъ своихъ разсказахъ г. Гнѣдичъ ближе чѣмъ кто-либо другой изъ нашихъ молодыхъ беллетристовъ подходитъ къ г. Чехову, оставаясь, вмѣстѣ съ тѣмъ, самимъ собою. Какъ и г. Чеховъ, г. Гнѣдичъ начинаетъ пробовать свои силы и на другихъ дорогахъ — но, судя по повѣсти („Свободныя художества“), напечатанной имъ недавно въ одномъ изъ петербургскихъ журналовъ, ему удаются повамѣсть и въ болѣе обширныхъ произведеніяхъ только отдѣльныя, эпизодическія сцены. Это — также черта сходства его съ г. Чеховымъ.

Молодой писатель, обратившій на себя вниманіе сначала

фельетонами и критическими статьями въ „Недѣль“, потомъ— живыми, остроумными путевыми замѣтками („Приключенія и впечатлѣнія въ Итали и Египтъ“), издалъ недавно въ свѣтъ небольшой сборникъ разсказовъ, раньше появлявшихся въ журналахъ, подъ оригинальнымъ заглавиемъ: „Мы“. Ошибочно было бы понимать это заглавие въ томъ смыслѣ, что г. Дѣдловъ (псевдонимъ) претендуетъ на изображеніе, въ цѣломъ рядѣ очерковъ, современнаго общества или, по крайней мѣрѣ, современной молодежи. Его цѣль, повидимому, гораздо проще: онъ беретъ знакомые ему уголки современнаго міра и рисуетъ ихъ такими, какими ему пришлось ихъ видѣть, вовсе не заботясь о внутренней между ними связи, о цѣлости впечатлѣнія. Мало занимаетъ его, если мы не ошибаемся, и планъ каждаго отдѣльнаго разсказа; онъ не стремится къ пропорціональности частей, на одномъ останавливается довольно долго, другое едва намѣчаетъ, загромождастъ дѣйствіе отступленіями. „Этюды“ г. Дѣдлова—нѣчто среднее между сценами и повѣстями; иногда они больше приближаются къ первому типу („Мигъ еще“, „Два пріятели“, „Встрѣча“), иногда—къ второму („Петербургскій кузень“, „Гости“), не примыкая вполне ни къ тому, ни къ другому. Въ сцены, несмотря на всю ихъ краткость, вставляются вводныя лица и эпизоды; въ повѣстяхъ многое набрасывается штрихами, свойственными мимолетной сценѣ. „Мигъ еще“ начинается, напримѣръ, характеристикой двухъ *petits crevés*, которые, произнеся нѣсколько словъ, исчезаютъ безвозвратно и безслѣдно. Въ „Двухъ пріятеляхъ“ исторія умирающаго адвоката прерывается безъ всякой надобности письмомъ новой Татьяны, внезапно влюбившейся въ одного изъ безчисленныхъ, видоизмѣненныхъ временемъ онѣгинскихъ эпитогоновъ. Передъ авторомъ точно вертится калейдоскопъ маленькихъ людей и маленькихъ фактовъ; каждому изъ нихъ онъ ощущаетъ потребность отвести маленькое мѣсто на бумагѣ. Овчининъ („Мигъ еще“) проходитъ мимо швейцара Анны Андреевны; швейцаръ въ это время читаетъ газету; отсюда описаніе процесса чтенія и указаніе словъ, особенно правящихся швейцару. Журналистъ (въ „Двухъ пріятеляхъ“) нанимаетъ слугу для больного друга, и хотя этотъ слуга не играетъ никакой роли въ разсказѣ, мы узнаемъ, что онъ былъ „пожилой савояръ, съ совершенно круглой головой и оттопыренными усами“. У г. Дѣдлова такая манера письма, отчасти отзывающаяся „протоколизмомъ“, отчасти напоминающая послѣднія произведенія Флобера, тѣмъ больше бросается въ глаза, чѣмъ меньше объемъ разсказа. И это совершенно понятно: при равной величинѣ, наростъ на маленькомъ тѣлѣ виднѣе, нежели

на крупномъ. Въ болѣе обширные этюды г. Дѣдлова эта же самая манера вносить раздвоенность, безъ которой они дѣйствовали бы гораздо сильнѣе. Въ „Петербургскомъ кузенѣ“ сразу выдвигаются на первый планъ два лица, написанныя довольно ярко: провинціальная барышня, наивная и свѣжая, и столичный адвокатъ, порядочно уже помятый и потертый жизнью. Сожитель Кости Кабатова, Гинтеръ, и ихъ пріятельница, Настя, необходимы какъ аксессуары картины; они объясняютъ обстановку, въ которой сложился и опустился Кости. Все идетъ прекрасно до половины рассказа; въ его героѣ мы начинаемъ видѣть кое-какія типичныя черты—но авторъ внезапно останавливается, поворачиваетъ въ другую сторону, выводитъ на сцену множество новыхъ, ненужныхъ лицъ (Жумикова, Плаксеевъ, Полудина и ея гости) и притягиваетъ за волосы развязку, къ которой легко было придти болѣе прямымъ путемъ. Вѣроятно г. Дѣдловъ видѣлъ гдѣ-нибудь фигуры въ родѣ тѣхъ, которыя собираются у Полудиной, и почувствовалъ непреодолимое желаніе нарисовать ихъ при первомъ случаѣ, все равно, удобномъ или неудобномъ. Случай, къ сожалѣнію, представился неудобный, но рѣшимость автора не измѣнилась—и такимъ образомъ появились на свѣтъ двѣ послѣднія главы „Петербургскаго кузена“. Тою же невыдержанностью отличается и „Чудаки“. Первоначальное заглавіе этого очерка („Свѣдущій человѣкъ“) лучше подходило къ его содержанию. Тема выбрана авторомъ чрезвычайно счастливо; можно только удивляться, что она такъ мало разработана въ нашей беллетристикѣ, несмотря на примѣръ, данный Щедринымъ (въ „Письмахъ къ тетенькѣ“). Истинные петербуржцы, внезапно испытывающіе потребность прислушаться къ „голосу провинціи“, провинціалы, внезапно возводимые на степень маленькихъ оракуловъ—какой богатый, едва початый матеріалъ для цѣлой портретной галереи! Авторъ „Чудака“ взялъ небольшой кусочекъ этого матеріала—и все, что онъ вылѣпилъ изъ него (представленіе „свѣдущаго человѣка“ предсѣдателю комиссіи, первое засѣданіе комиссіи, прогулка по бальнымъ заламъ рука объ руку съ вліятельной особой), вышло очень удачнымъ. Къ сожалѣнію, съ этимъ кускомъ смѣшалось многое другое (едва очерченная семья Заблудовыхъ, силуэты Лидіи Францовны, правителя канцеляріи, вновь назначеннаго вице-губернатора, сцена кутежа послѣ бала)—и „Чудаки“, по выраженію самого автора, остался „отрывкомъ“.

Весьма замѣтны недостатки композиціи и въ самомъ крупномъ—и по объему, и по достоинству—рассказѣ г. Дѣдлова: „Гости“<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> Этотъ рассказъ былъ напечатанъ, въ прошломъ году, въ нашемъ журналѣ, подъ заглавіемъ: „Чудаки“.

Главные дѣйствующія лица—Столбунскій и Халевичъ—нарисованы во весь ростъ; мы узнаемъ ихъ прошедшее, узнаемъ, какъ они воспитывались, служили въ Петербургѣ, попали на постоянное житіе въ деревнѣ. Одинъ изъ нихъ—полякъ, другой—русскій по происхожденію, но съ польской родней и польскими связями. Мѣсто дѣйствія—Бѣлоруссія; Столбунскаго посѣщаетъ въ его помѣсть цѣлое общество петербургскихъ гостей, изъ желѣзнодорожнаго міра. Разношерстность сталкивающихся элементовъ, мало изслѣдованная, своеобразная среда, бойко и искусно сдѣланная интродукція—все это обѣщаетъ много новаго и интереснаго. Обѣщаніе исполняется только отчасти. На отношенія крупнаго землевладѣльца къ крестьянамъ-бѣлоруссамъ, „вотъ уже триста лѣтъ удивленнымъ и недовольнымъ тѣмъ, что у Столбунскихъ больше земли, чѣмъ у нихъ“, указано лишь слегка, мимоходомъ, ровно настолько, чтобы возбудить любопытство читателей и оставить его неудовлетвореннымъ. Въ концѣ разсказа внезапно появляется новое, совершенно излишнее лицо (Тихменевъ), широко разворачивается столь же излишняя исторія любви Халевича, слегка отзывается мелодрамой сцена пожара деревни. Все это вмѣстѣ взятое лишаетъ разсказъ законченности и цѣльности, производитъ впечатлѣніе чего-то торопливаго, случайнаго... А между тѣмъ дарованіе автора не подлежитъ никакому сомнѣнію. Столбунскому, Дровяникову, Воронову („Встрѣча“), Костѣ Кабатову, Колѣ („Негодный мальчикъ“) недостаетъ весьма немногаго, чтобы занять видное мѣсто между второстепенными „героями нашего времени“. Пишетъ г. Дѣдловъ свободно, сжато, просто, не гоняясь за новизной эпитетовъ и оборотовъ. Очень хороши нѣкоторыя изъ его описаній, особенно въ „Гостяхъ“; въ нихъ чувствуется поэзія простора, широкой рѣки, необъятныхъ луговъ, могучаго лѣса. Та же поэтическая нота слышится и въ словахъ Столбунскаго, когда онъ восклицаетъ, идеализируя одного изъ своихъ предковъ: „развѣ это не красиво—тысячью топоровъ врубаться въ темный лѣсъ, валить вѣковые дубы, клены, ясени, повергать къ своимъ ногамъ ихъ зеленыя вершины, которыхъ не видѣло цѣлое поколѣніе, а видѣли только солнце, да звѣзды, да птицы? Развѣ не поэзія—открыть травамъ и цвѣтамъ, болѣзненно благоухавшимъ въ сыромъ полумракѣ, полный день? Развѣ не грандіозно—вздрать мотыгами и лопатами дѣвственную землю, и не наслаженъе—видѣть на мѣстѣ непроходимой лѣсной чащи, лѣснаго валежника и звѣриныхъ норъ ровное море сильной, буйной, сизо-зеленой ржи“?.. Мы желали бы для г. Дѣдлова большей сосредоточенности, большей строгости къ самому себѣ, иногда—болѣе серьезнаго отношенія къ занимающимъ его предметамъ.

Мы затронули далеко не всѣ сборники рассказовъ, появившіеся въ свѣтъ въ послѣднее время; но сказаннаго нами достаточно, чтобы сдѣлать общій выводъ. Этотъ выводъ не особенно утѣшительнъ. Форма сказа, этюда, очерка сама по себѣ такъ же законна, какъ и всякая другая; но когда она получаетъ искусственное преобладаніе, когда она культивируется не столько по призванію и вкусу, сколько вслѣдствіе моды, она мало благопріятствуетъ нормальному росту молодыхъ дарованій. Въ газетной беллетристикѣ замѣтно, въ послѣднее время, стремленіе къ еще большому измельчанію; будемъ надѣяться, что это—начало конца, признакъ приближающейся реакціи. Мы ничего не имѣемъ противъ безконечнаго размноженія сенокъ и анекдотовъ, предназначенныхъ для развлеченія читателей за чашкой утренняго чаю; пускай только эти созданія минуты и исчезаютъ вмѣстѣ съ минутой, т.-е. вмѣстѣ съ газетными листами, для которыхъ они написаны. Присяжными ихъ поставщиками пускай станутъ исключительно тѣ, кто не можетъ дать ничего большаго. Передъ талантомъ болѣе крупнымъ открыты другіе пути, лучше обеспечивающіе его развитіе.

К. АРСЕНЬЕВЪ.





---

## ИЗЪ БУМАГЪ ПРОКУРОРА

---

Классически я жизнь окончу тутъ...  
Я номеръ взялъ въ гостинницѣ, извѣстной  
Тѣмъ, что она—излюбленный пріютъ  
Людей, какъ я, которымъ въ мірѣ тѣсно;  
Слегка поужиналъ, спросилъ  
Бутылку хересу, бумаги и чернилъ,  
И разбудить себя велѣлъ часу въ девятомъ.  
Слѣдя прилежно за собой,  
Я въ зеркало взглянулъ. Въ лицѣ, слегка помятомъ  
Безсонными ночами и тоской,  
Слѣдовъ не видно лихорадки.  
Револьверъ осмотрѣлъ я: все въ порядкѣ...  
Теперь пора мнѣ приступить къ письму.  
Такъ принято! предъ смертью на прощанье  
Всегда строчать кому-нибудь посланье...  
И я писать готовъ, не знаю лишь—кому.

Писать роднымъ... зачѣмъ? Нежданное наслѣдство  
Утѣшить скоро ихъ въ утратѣ дорогой.  
Писать товарищамъ, друзьямъ любимымъ съ дѣтства...  
Да гдѣ они? Насъ жизненной волной  
Судьба давно навѣки раздѣлила,  
И будетъ имъ чужда, какъ я, моя могила.  
Вотъ если написать кому-нибудь изъ нихъ—  
Изъ свѣтскихъ болтуновъ, пріятелей моихъ,—

О, Боже мой! какую я услугу  
 Имъ оказать бы могъ! Пріятель съ тѣмъ письмомъ  
 Перебѣгать начнетъ изъ дома въ домъ  
 И расточать хвалы исчезнувшему другу...  
 Про мой конецъ онъ выдумаетъ самъ  
 Какой-нибудь романъ въ игривомъ родѣ,  
 И, забавляя имъ отъ скуки мрущихъ дамъ,  
 Недѣлю цѣлую, пожалуй, будетъ въ модѣ.  
 Есть у меня знакомый прокуроръ  
 Съ болѣзненнымъ лицомъ и умными глазами...  
 Случайность странная: нерѣдко между нами  
 Самоубійца касался разговоръ.  
 Онъ этимъ дѣломъ занять специально;  
 Чуть гдѣ-нибудь случилась бѣда,  
 Ужъ онъ сейчасъ бѣжитъ туда  
 Съ своей улыбкою печальной  
 И все изслѣдуетъ: какъ, что и почему.  
 Съ научной цѣлью напишу ему  
 О собственномъ концѣ отчетъ подробный...  
 Въ статистику его пошлю мой владѣ загробный!

Любезный прокуроръ, вамъ интересно знать,  
 Затѣмъ я кончилъ жизнь такъ неприлично?  
 Сказать по правдѣ, я логично  
 Вамъ правоту свою не могъ бы доказать,  
 Но снисхожденія достоинъ я. Когда бы  
 Вы поручились мнѣ, что я умру...  
 Ну, хоть, положимъ, завтра въ вечеру  
 Отъ воспаления или острой жабы,  
 Я-бъ терпѣливо ждалъ. Но я совсѣмъ здоровъ  
 И вовсе не смотрю въ могилу;  
 Могу еще прожить я множество годовъ,  
 А жизнь переносить мнѣ больше не подъ силу,  
 И какъ бы я ее ни жегъ и ни ломалъ,  
 Боюсь: не съюзится мой пищевой каналъ,  
 И не расширится аорта...  
 А потому я смерть избралъ иного сорта.

Я жилъ какъ многіе, какъ всѣ почти живутъ  
 Изъ круга нашего: я жилъ для наслажденья.  
 Работника здоровый, бодрый трудъ  
 Мнѣ незнакомъ былъ съ самаго рожденья;

Но съ отроческихъ лѣтъ я началъ въ жизнь вникать,  
 Въ людскія дѣйствія, ихъ цѣли и причины,  
 И стерлась дѣтской вѣры благодать,  
 Какъ блѣдной краски слѣдъ съ неконченной картины.  
 Когда-жъ при свѣтѣ разума и книгъ  
 Мнѣ въ даль вѣковъ пришлось углубиться,  
 Я человѣчество столь гордое постигъ,  
 Но не постигъ того, чѣмъ такъ ему гордиться?

Близъ солнца, на одной изъ маленькихъ планетъ  
 Живетъ двуногій звѣрь некрупнаго сложенья,  
 Живетъ сравнительно еще немного лѣтъ  
 И думаетъ, что онъ—вѣнецъ творенья;  
 Что всѣ сокровища еще безвѣстныхъ странъ  
 Для прихоти его природа сотворила,  
 Что для него горять небесныя свѣтила,  
 Что для него реветъ въ часъ бури океанъ.  
 И борется звѣрокъ съ судьбой, насколько можно,  
 Хлопочетъ день и ночь о счастья своемъ,  
 Съ расчетомъ на вѣка устраиваетъ домъ...  
 Но вѣтеръ на него пахнулъ неосторожно,—

И нѣтъ его... пропалъ и слѣдъ...

И умирая, онъ не знаетъ,  
 Зачѣмъ явился онъ на свѣтъ,

Къ чему онъ жилъ, куда онъ исчезаетъ.

При этой краткости житейскаго пути,  
 Въ такомъ убожествѣ невѣденья, бессилья  
 Должны бы спутники соединить усилья

И дружно общій крестъ нести...

Нѣтъ, люди—эти бѣдные микробы—

Другъ съ другомъ борются, полны  
 Нелѣпой зависти и злобы.

Имъ слезы ближняго нужны,

Чтобъ жизнью наслаждаться вдвое;

Имъ больше горя нѣтъ, какъ счастье чужое!

Властители, рабы, народы, племена,—

Всѣ дышутъ лишь враждой, и всѣ стоятъ на стражѣ...

Куда ни посмотри, вездѣ одна и та же

Упорная, безумная война!

Невыносимо жить!

Я вижу: съ нетерпѣньемъ

Посланіе мое вы прочитали вновь,

Томъ II.—Апрѣль, 1889.

И прокурорскій взоръ туманится сомнѣньемъ...  
„Нѣтъ, это все не то,—тутъ вѣрно есть любовь“...

Такъ режиссеръ въ молчаніи строгомъ  
За ролью новичка слѣдитъ изъ-за кулисъ...  
„Ищите женщину!“—вѣдь это вашъ девизъ?  
Вы правы, вы нашли. А я—клянуся Богомъ—  
Я не искалъ ее. Нежданная, она  
Явилась предо мной, и такъ же, какъ начало,  
Негаданъ былъ конецъ... Но вамъ сознанья мало,  
Вамъ исповѣдь подробная нужна.

Хотите имя знать? Хотите номеръ дома,  
Иль цвѣтъ ея волосъ? Не все ли вамъ равно?

Повѣрьте мнѣ: она вамъ не знакома  
И нашъ угрюмый край покинула давно.  
О! гдѣ она теперь? Въ какой странѣ далекой  
Красуется ея спокойное чело?  
Гдѣ ты, мой грозный бичъ, каравшій такъ жестоко,  
Гдѣ ты, мой свѣтлый лучъ, ласкавшій такъ тепло?

Давно потухъ огонь, давно утасли страсти;  
Какъ сонъ пропали дни страданій и тревогъ...  
Но выйти изъ твоей неотразимой власти,—  
Но позабыть тебя я все-таки не могъ!

И еслибъ ты сюда вошла въ мой часъ послѣдній,  
Какъ прежде гордая, безъ рѣчи о любви,  
И прошептала мнѣ: „оставь пустыя бредни,  
Забудемъ прошлое, я такъ хочу: живи!“

О! даже и теперь я счастья слезами  
Отвѣтилъ бы на зовъ души твоей родной,  
И какъ послушный рабъ, опять, гремя цѣпями,  
Не зная самъ—куда, побрелъ бы за тобой...

Но нѣтъ, ты не войдешь. Изъ мрака ледяного  
Мнѣ больше не блеснетъ задумчивый твой взглядъ,  
И звуки голоса когда-то дорогого  
Могильной тишины прервать не захотятъ.

Однако я вдался въ лиризмъ... Нехвати!  
Смѣшно элегію писать передъ концомъ...

А впрочемъ я пишу не для печати,  
И лучше кончить дни стихомъ,

Чѣмъ жизни подводить печальные итоги...  
 Да, еслибъ вспомнилъ я обидѣ безцѣльныхъ рядѣ  
 И тайной клеветы всегда могучей ядѣ,  
 Всѣ дни, прожитые въ мучительной тревогѣ,  
     Всѣ ночи, проведенныя безъ сна,  
     Все то, чѣмъ я обязанъ людямъ-братьямъ,  
 Я разразился бы на жизнь такимъ проклятьемъ,  
 Что позавидовать мнѣ могъ бы сатана!  
     Но я не такъ воспитанъ; уваженъе  
     Привыкъ имѣть къ предметамъ я святымъ,  
     И, не ропща на Провидѣнье,  
     Почтительно склоняюся предъ нимъ.

Въ какую рубрику меня вы помѣстите?  
 Кто виновать? Любовь, наука или сплинъ?  
 Но еслибъ не нашли разумныхъ вы причинъ,  
 То все же моего поступка не сочтите  
     За легкомысленный порывъ.  
 Я даже помню день, когда, весь міръ забывъ,  
     Читалъ и жегъ я строи дорогія,  
 И мысль покончить жизнь явилась мнѣ впервые.  
 Тогда во мнѣ самомъ все было сожжено,  
 Разбито, попрано... И смутная сначала  
     Та мысль въ больное сердце, какъ зерно  
     На почву благодарную, упала.  
 Она таилася на самомъ днѣ души  
     Подъ грудой тлѣющаго пепла;  
 Среди тяжелыхъ думъ она въ ночной тиши  
     Сознательно сложилась и обрѣла...  
     О, посмотрите же кругомъ!  
 Не я одинъ ищу спасенія въ покоѣ,  
 Въ эпоху общаго унынья мы живемъ.  
     Какое-то повѣтріе больное—  
     Зараза нравственной чумы—  
 Надъ міромъ носится, и ловить, и тревожить  
     Порабощенные умы.  
 И въ этой самой комнатѣ, быть можетъ,  
 Такіе же, какъ я, изгнанныи земли  
 Послѣдніе часы раздумья провели.  
 Ихъ лица блѣдныя, дрожа отъ смертной муки,  
 Мелькаютъ предо мной въ злобѣщей тишинѣ;  
 Окровавленные, блуждающія руки

Они изъ нѣдръ земли протягиваютъ мнѣ...  
 Они—преступники. Они безъ позволенья  
 Ушли въ безвѣстный путь изъ пристани земной...  
 Но обвинять ли ихъ? Винить ли жизни строй,  
     Не знающій пощады и прощенья?  
     Какъ опытный и свѣдущій юристъ  
 Всѣ степени вины обсудите вы здраво.  
     Вотъ застрѣлился гимназистъ,  
     Не выдержавъ экзамена... Онъ, право,  
 Не меньше виноватъ. Съ платформы подъ вагонъ  
 Прыгнулъ сѣдой банкиръ, сыгравшій неудачно;  
 Повѣсился бѣднякъ затѣмъ, что жилъ невзрачно,  
 Что жизни благами не пользовался онъ...  
     О, эти блага жизни... Я охотно  
 Ихъ отдалъ бы давно за вѣру юныхъ дней,  
     Когда смотрѣлъ я беззаботно  
     На лица злобныя людей.

Не думайте, чтобъ я, судя ихъ строго,  
 Себя считалъ умнѣй и лучше много,  
     Чтобъ я несчастный мой конецъ  
 Другимъ хотѣлъ поставить въ образецъ.  
 Я не ражуся въ мантию героя,  
 И вѣрите, что мучительно весь вѣкъ  
 Я презиралъ себя. Чтѣ я такое?  
 Я просто жалкій, слабый человѣкъ  
 И, можетъ быть, слегка больной—душевно.  
 Вамъ это лучше знать. Вы часто, ежедневно  
     Людей встрѣчаете такихъ.  
 Сравните, чтѣ у васъ написано о нихъ,  
 И, къ свѣдѣнью принявъ науки указанья,  
     Постановите приговоръ.  
 Прощайте же, любезный прокуроръ...  
 Жаль, не могу сказать вамъ: до свиданья

Письмо окончено, и выпита до дна  
     Бутылка сквернаго вина.  
 Я отворилъ окно. На улицы пустыя  
 Громадой черною смотрѣли облака,  
 Осенній вѣтеръ дулъ, и капли дождевыя  
 Лѣниво падали, какъ слезы старика.

Потухли фонари. Казалось, по-неволю  
 Веселый городъ нашъ въ холодной мглѣ уснулъ,  
 И замеръ вдальгѣ послѣднихъ дрожекъ гулъ.  
 Такъ часъ прошелъ или два, а можетъ быть и болѣ...

Не знаю. Вдругъ въ безмолвіи ночью  
 Отчетливо, протяжно и тоскливо  
 Раздался дальній свистъ локомотива...

О, этотъ поздній свистъ давно ужъ мнѣ знакомъ!  
 Въ часы безсонницы до бѣшенства, до злости,  
 Бывало, онъ терзалъ меня,  
 Напоминая близость дня...

Что съ этимъ побѣдомъ къ намъ ѣдетъ? Что за гости?  
 Рабочіе, конечно, бѣдный людъ...

Изъ дальнихъ деревень они сюда везутъ  
 Здоровье, бодрость, силы молодая,  
 И все оставлять здѣсь... Поля мои родныя!  
 И я, увы! не въ добрый часъ

Для призраковъ пустыхъ когда-то бросилъ васъ.  
 Мнѣ кажется, что тамъ, въ отцовскомъ старомъ домѣ  
 Я могъ бы жить еще...

Вотъ знойный день затихъ.

Избавившись отъ всѣхъ трудовъ дневныхъ,  
 Я вышелъ въ радостной истомѣ  
 На покривившійся балконъ.

Передъ балкономъ старый кленъ  
 Раскинулъ вѣтви, ярко зеленѣя,  
 И пышныхъ липъ широкая аллея  
 Ведетъ въ заглохшій садъ. Въ вечерней тишинѣ  
 Не шелхнется листь, цвѣты блестать росю,  
 И запахъ сѣна съ гѣсней удалю  
 Изъ-за рѣки доносятся ко мнѣ.

Вотъ легкій шумъ шаговъ. Вдали, платкомъ махая,  
 Идетъ ко мнѣ жена... О, нѣтъ! не та,—другая:  
 Простая, вроткая, и дѣти жмутся къ ней...

Дѣтей побольше, маленькихъ дѣтей!  
 За липы спрятался послѣдній лучъ заката;  
 Тепла нѣмая ночь. Вотъ ужинъ, а потомъ  
 Бесѣда тихая, Бетховена соната,

Прогулка по саду вдвоемъ,  
 И вѣрпкій сонъ до новаго разсвѣта...  
 И такъ вдали отъ суетнаго свѣта  
 Летѣли бѣ дни и годы безъ числа...

О, Боже мой! Стучать... Ужели ночь прошла?  
 Да, тусклый, мокрый день сурово  
 Глядитъ въ окно. Что-жь, развѣ отворить?  
 Попробовать еще по новому познать?  
 Нѣтъ, тяжело! Увидѣть снова  
 Толпу противныхъ лицъ со злобою въ глазахъ,  
 И уши длинныя на плоскихъ головахъ,  
 И этотъ наглый взглядъ предательскій и лживый...  
 Услышать снова хоръ фальшивый  
 Тупыхъ, затверженныхъ рѣчей...  
 Нѣтъ, ни за что! Опять стучать... Скорѣй!  
 Всему конецъ, всему, и даже стихъ послѣдній  
 Останется безъ рѣмы...

А. АПУХТИНЪ





## ЛЕГЕНДА

0

# Д А Н Т Е

---

Вообще, говорить о Данте, послѣ всѣхъ капитальныхъ трудовъ, которыми обогатилась ученая литература XIX столѣтія — дѣло крайне трудное. Приходится или ограничиться общей характеристикой великаго поэта, достаточно извѣстной большинству образованныхъ людей, или погрузиться въ дремучій лѣсъ историческихъ деталей и схоластическихъ тонкостей католической философіи среднихъ вѣковъ, рискуя наскучить неумѣстной эрудиціей, не допускающей пока слишкомъ широкихъ обобщеній. Съ тѣхъ поръ какъ Боккачіо началъ комментировать произведенія Данте Алигьери въ флорентинской церкви Santa Maria del Fiore, прошло слишкомъ пять столѣтій (каедрa для изученія Данте была основана декретомъ флорентійской республики 9-го августа 1373 года); но труды, начатыя Боккачіо, продолжаются до настоящаго времени съ энергіей, талантомъ и ученою проницательностью, по истинѣ изумительными. Стоитъ только вспомнить труды Карла Витте, Скартаццини, Фратичелли, Кардони, Барча, Рута, Озанама, наконецъ, Бартоли, раскрывшихъ передъ нами величавую историческую картину, средоточіемъ которой является величайшій итальянскій поэтъ. Теперь для всѣхъ ясно, что съ вопросами о Данте соединяются важнѣйшіе вопросы культурнаго человѣчества, — вопросы вѣры, науки, историческаго прогресса. Данте былъ не только полнѣйшимъ выразителемъ своего времени, — его идеаловъ, стремленій, воззрѣній, — онъ былъ въ то же время и величайшимъ энциклопедическимъ умомъ, который резюмировалъ въ своихъ

произведеніяхъ все знаніе средних вѣковъ и во многомъ даже опередилъ его; такъ что, при болѣе или менѣе точной характеристикѣ Данте, приходится говорить и о средних вѣкахъ, о тѣхъ литературныхъ и умственныхъ теченіяхъ, которыя такъ или иначе вліяли на великаго поэта или которымъ онъ подчинялся, о религиозныхъ идеалахъ его времени, о философскомъ движеніи, преобладавшемъ въ Италіи въ XIII столѣтіи, о важнѣйшихъ по своимъ послѣдствіямъ политическихъ событіяхъ, извѣстныхъ подъ именемъ борьбы гвельфовъ и гиббелиновъ, борьбы папъ съ императорами, которая именно въ эту эпоху жизни Данте охватила собой всю Италію. Мы ограничимся на этотъ разъ одною особенностью дантовской литературы и постараемся дать — не характеристику, конечно, Данте, — а лишь разъясненіе одного вопроса, имѣющаго, какъ намъ кажется, общій интересъ.

Особенность эта есть тотъ таинственный, мрачный, трагическій ореолъ, которымъ окружена личность самого поэта, въ воображеніи всѣхъ тѣхъ, кто изучалъ его, хотя бы и поверхностно. Большинство сочиненій по исторіи литературы, учебники реторики, пѣтики и эстетики стараются убѣдить насъ, что эпическое произведеніе должно носить на себѣ безличный, объективный характеръ. Но вотъ передъ нами несомнѣнный эпосъ: „Божественная Комедія“, — и при томъ эпосъ, ревюмирующій цѣлую историческую эпоху, въ которомъ самымъ рѣшительнымъ образомъ преобладаетъ субъективизмъ. Въ этомъ отношеніи „Божественная Комедія“ составляетъ полную противоположность, напримѣръ, „Иліадѣ“. Читая „Иліаду“, мы не видимъ ея автора, не интересуемся имъ, не знаемъ, въ какой степени онъ былъ замѣшанъ въ описываемыхъ имъ событіяхъ; передъ нами развертывается живая картина быта и культуры, поразительную вѣрность которой мы чувствуемъ, хотя не можемъ провѣрить ее фактически, но изъ-за этой картины личность автора никоимъ образомъ не просвѣчивается. Въ „Божественной Комедіи“, наоборотъ, насъ прежде всего поражаетъ трагическая личность самого поэта, укутанная въ туманный мракъ мистическихъ аллегорій. Для всякаго читателя вполне ясно, что поэтъ самымъ непосредственнымъ образомъ участвовалъ въ судьбахъ своей родины, что онъ любилъ и страдалъ, что въ событіяхъ и въ людямъ онъ относился не съ объективностью, индифферентизмомъ и безучастіемъ поэта-сибарита или поэта-олимпійца, какъ Гете, для котораго жизнь — лишь предметъ болѣе или менѣе глубокомысленныхъ наблюденій и заключеній, — а страстно, лично, какъ человѣкъ непосредственно заинтересованный въ извѣстномъ жизненномъ дѣлѣ, вносящій въ него свои слабости, пред-

разсудки, предрасположенія, антипатіи, ставившій на карту свое благосостояніе, свое семейное счастье, свою жизнь ради торжества этого дѣла, и въ концѣ концовъ—побѣжденный, но несдавшийся. Поставленный въ центрѣ громадвой исторической картины, эта личность, въ жизни которой соединяются, какъ въ фокусѣ, всѣ нити умственного, политическаго и соціального движенія его времени, вырастаетъ на нашихъ глазахъ въ гиганта, возбуждающаго въ насъ симпатіи и интересъ не только своею дѣятельностью, своимъ значеніемъ,—но и судьбою.

Боккачіо рассказываетъ, что когда поэтъ, уже старцемъ, проходилъ по улицамъ Вероны,—тогда онъ былъ уже всѣмъ извѣстенъ,—около дома, у котораго сидѣло нѣсколько женщинъ, одна изъ нихъ тихо сказала другой:—„Вотъ тотъ, кто былъ въ аду и возвратился оттуда, и принесъ извѣстіе о тѣхъ, которые тамъ томятся“. На это другая женщина отвѣчала наивно:—„Это и должно быть такъ; посмотри, какая у него странная, почернѣвшая отъ адскаго пламени и дыма, борода“. Съ тѣхъ поръ легенда о трагическомъ величій Данте росла въ Италиі и въ Европѣ. Самъ поэтъ, отчасти, участвовалъ въ образованіи этой легенды, обруживъ свою жизнь и дѣятельность мистическимъ туманомъ, среди котораго не могутъ разобраться его комментаторы и по настоящее время. Итальянскій поэтъ, въ своемъ поэтическомъ и жизненномъ ореолѣ, представляется намъ титаномъ, который упорно боролся съ богами, но былъ побѣжденъ ими. Изъ этой легенды впоследствии, уже въ наше время, образовалось даже нѣсколько *soit-disant* научныхъ гипотезъ, въ свое время обращавшихъ на себя вниманіе и даже вызывавшихъ ожесточенную полемику. Одна изъ этихъ гипотезъ—гипотеза одного изъ ученѣйшихъ и талантливѣйшихъ изслѣдователей Данте, Карла Витте, видитъ въ итальянскомъ поэтѣ свептицизмъ, сомнѣнія Фауста и Манфреда, и превращаетъ такимъ образомъ суроваго гибеллина XIII-го вѣка въ поэтическое представленіе, исключительно принадлежащее нашему времени. Къ этой „психологической“ теоріи Карла Витте мы будемъ имѣть еще случай вернуться. По другой гипотезѣ, изобрѣтенной Россети, Данте Алигьери является центромъ тайнаго общества гибелиновъ, опутавшаго, будто бы, всю Италию своею сѣтью; онъ нѣчто въ родѣ средневѣкового карбонаро, заводящаго сношенія съ гибеллинами, организующаго защиту имперіализма, переписывающагося съ своими приверженцами на условномъ, загадочномъ языкѣ, ключъ къ которому открытъ былъ будто бы однимъ лишь Россети. Слѣдуя этой гипотезѣ, не только Данте, но и всѣ другіе итальянскіе поэты его времени усвоили

себѣ этотъ таинственный языкъ, въ которомъ слово *amor*, напримеръ, должно означать преданность имперіи, *donna*—императорскую власть, *saluto*—императора, *vivere*—быть гибеллиномъ, *vita puova*—принадлежность къ гибеллинизму, и т. д.

Какъ бы, однако, ни показались странны, на первый взглядъ, подобныя гипотезы, необходимо совнаться, что самая легенда, хотя бы и украшенная позднѣйшими добавленіями, несомнѣнно указываетъ на одну черту въ жизни Данте—на какой-то разладъ поэта со средой или съ самимъ собой, на что-то роковое, трагическое, ясно обнаруживающееся не только въ его произведеніяхъ, но и въ разсказахъ о его жизни. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только всмотрѣться повнимательнѣе въ два достовѣрные портрета автора „Божественной Комедіи“:—въ портретъ, писанный Джіотто и сохранившійся на одной фрескѣ во Флоренціи (хромолитографическое воспроизведеніе этого портрета было издано Арунделевскимъ обществомъ), и въ маску, снятую съ лица поэта въ день его смерти, а за неимѣніемъ маски—въ портретъ, писанный Рафаэлемъ, очевидно, съ этой маски и находящемся на фрескѣ „Disputo“ въ Ватиканѣ. Джіотто изображаетъ намъ друга Беатриче, молодого вдохновеннаго поэта (Данте было тогда двадцать лѣтъ), веселаго товарища, представителя любовной итальянской поэзіи, которому жизнь улыбается во всей ея розовой красотѣ; тутъ еще не видно ни мистика, ни мыслителя, ни политическаго дѣятеля; характеръ мягкій, почти нѣжный, указывающій не на неподвижность энергіи, не на гранитную твердость воли, а на чудеснѣйшій расцвѣтъ чувства, „съ торжествующимъ блескомъ молодости“. Это—Данте въ майскую пору юношескихъ надеждъ и увлеченій, безотчетной вѣры въ будущее. На маскѣ же мы видимъ лицо человѣка, „обремененнаго пылью и оскорбленіями времени“; черты лица, какъ тутъ, такъ и тамъ—однѣ и тѣ же, разница только въ психологическомъ содержаніи. Юное лицо серьезно: въ немъ замѣчается какъ бы тѣнь отдаленнаго, будущаго страданія: натура, видно, не изъ тѣхъ, кто способенъ сдаваться, входить въ компромиссы съ собственною совѣстью или съ практической живнью, приравливаясь къ средѣ, какъ принято у насъ выражаться. Лицо старика печально, торжественно, трагично, какъ лицо человѣка, искусившагося въ жизни, извѣдавшаго всѣ иллюзіи, всѣ печали, всѣ оскорбленія, видавшаго гибель всѣхъ надеждъ, но не сломившагося подъ тяжестью ударовъ и съ упорствомъ отчаянія продолжающаго вѣрить въ избранный имъ идеаль. Первый—молодой флорентинскій поэтъ. Второй—великій поэтъ міра.

Эта загадка жизни Данте всегда озабочивала не только кри-

тибовъ, способныхъ увлекаться поэтическими представленіями, но даже и серьезныхъ ученыхъ, не способныхъ, вообще, чѣмъ-либо увлекаться. Каждый рѣшалъ ее по своему, и, такимъ образомъ, въ дантовской литературѣ составила цѣлая коллекція предположеній и догадокъ, не имѣющихъ, конечно, особеннаго научнаго значенія, но интересныхъ по подробностямъ и частностямъ. Одни видятъ въ Данте новатора и реформатора литературнаго; онъ былъ творцомъ новой итальянской литературы, и какъ новаторъ, — говорятъ они, — вносившій новые приемы въ искусство, указывавшій на новые, еще неизвѣданные пути, онъ естественно находился въ антагонизмъ и борьбу съ старовѣрами; онъ накоплялъ въ своемъ сердцѣ всю горечь этихъ дразгъ и мелочныхъ уколовъ, но не сдавался и продолжалъ бороться; хотя онъ умеръ не побѣдивши, но дѣло, завѣщанное имъ, восторжествовало въ слѣдующихъ поколѣніяхъ. Другіе, напротивъ, видятъ всѣ несчастья Данте въ его воспримчивой и впечатлительной натурѣ, въ той идеалистической подкладкѣ темперамента, которая сдѣлала его не только мистическимъ поэтомъ, но и другомъ Беатриче; онъ не могъ довольствоваться пошлостью обыденной жизни, влача ее изо дня въ день, безъ радостей и сильныхъ впечатлѣній; онъ жаждалъ идеала и искалъ его, и хотя обрѣлъ его въ образѣ Беатриче, но въ одно печальное утро этотъ идеалъ разсѣялся, подобно туману, исчезающему въ лучахъ солнца, и Данте остался одинокъ, искалъ, съ отчаяніемъ въ сердцѣ, утѣшенія, то въ поэзіи, то въ бурной политической жизни, то въ интригахъ партій, и умеръ съ именемъ Беатриче на устахъ. Замѣчательно, что къ первой догадкѣ склоняются, преимущественно, литературные критики, во второй — женщины. Третьи идутъ нѣсколько дальше. Данте былъ несчастенъ, — говорятъ они, — не потому, что такъ или иначе находился въ антагонизмъ съ окружающимъ его міромъ, не потому, что потерялъ Беатриче и былъ неутѣшенъ, а потому что въ самомъ сердцѣ его происходила трагическая борьба между его сомнѣніями и вѣрой, и хотя въ концѣ концовъ вѣра взяла верхъ надъ сомнѣніями, но слѣды этой борьбы остались: рана отъ времени до времени раскрывалась и причиняла нестерпимое страданіе. Однимъ словомъ, по этой теоріи, Данте — нѣчто въ родѣ Гамлета, примирившагося съ вѣроваіями человѣчества, но скептика по натурѣ и темпераменту. Послѣдніе, наконецъ, указываютъ на политическую роль Данте, — предположеніе, по нашему мнѣнію, самое вѣроятное, — роль, которая, какъ извѣстно, кончилась печально: дѣло, на торжество котораго великій поэтъ положилъ всю свою жизнь, дѣло гибеллинизма было проиграно, и, уже подъ конецъ

своей жизни, онъ могъ видѣть полное, безвозвратное паденіе всѣхъ своихъ политическихъ надеждъ.

Вотъ и всѣ, насколько намъ извѣстно, рѣшенія занимающаго насъ вопроса. Мы должны коснуться каждаго изъ нихъ отдѣльно; это дастъ намъ возможность и право тронуть, хотя и бѣгло, à vol d'oiseau, главнѣйшіе вопросы дантовской литературы.

Правда ли, какъ утверждаетъ большинство литературныхъ критиковъ обоихъ полушарій, что въ поэзіи Данте былъ новаторъ, и что это новаторство было причиной всѣхъ его несчастій? Съ этимъ едва ли можно согласиться, по крайней мѣрѣ, въ томъ общемъ значеніи, въ которомъ это слово употребляется. Нѣтъ, конечно, никакого сомнѣнія, что Данте—родоначальникъ новой итальянской поэзіи, но послѣдствія реформы—если реформа была—обнаружились значительно поздне, лѣтъ черезъ пятьдесятъ послѣ его смерти. При жизни же почти никто не видѣлъ въ немъ реформатора, и прежде всего онъ самъ не думалъ, что несетъ съ собой новое литературное знамя, которое завоюетъ Италію; кромѣ того, по крайней мѣрѣ во второй періодъ своей жизни,—самый значительный и важный по своимъ литературнымъ результатамъ,—чисто литературные вопросы совершенно, какъ кажется, не занимали Данте, къ нимъ онъ былъ вполне равнодушенъ. Въ „Божественной Комедіи“ есть ясныя указанія на то: считалъ ли Данте себя новаторомъ въ поэзіи? Относительно такъ называемой любовной поэзіи, выразившейся въ его сонетахъ, онъ прямо признаетъ своимъ учителемъ и предшественникомъ Сорделло, какъ оно и было въ дѣйствительности; къ тому же эта поэзія не выросла на итальянской почвѣ, она была занесена туда трубадурами изъ Прованса. Вообще же Данте считаетъ своимъ учителемъ Виргилія. Съ другой стороны, есть одно чрезвычайно распространенное мнѣніе, будто бы Данте былъ творцомъ итальянскаго языка и, начавъ писать на этомъ „вульгарномъ“, т.-е. народномъ языкѣ, сдѣлалъ возможнымъ итальянскую литературу; мнѣніе это принадлежитъ къ странно укоренившимся предразсудкамъ, такъ часто встрѣчающимся въ исторіи литературъ: самъ Данте въ „Vita nuova“ говоритъ, что древнѣйшіе писатели, писавшіе на языкѣ *si*, жили за полтораста лѣтъ до него. Даже и помимо этого свидѣтельства Данте, мы знаемъ, что языкъ создается не тѣмъ или другимъ даже величайшимъ гениемъ, а народомъ. Во всей „Божественной Комедіи“ нельзя отыскать ни одного слова, которое бы не употреблялось и раньше его въ школахъ и въ разговорной рѣчи, въ прозѣ или въ стихотворныхъ произведеніяхъ. Всѣ писатели, пред-

шествовавшие ему или его современники отличались дѣйствительной чистотой стиля и даже изысканностью формъ рѣчи. Достаточно вспомнить имена Гвидо Гвиничели, Джиттоне д'Арецци, Чекко Анджіольери, Бонаджиунте да-Луэка, Джавоно да-Лентино, Чино да-Пистойя, Гвидо Кавальбанти. Императоры и святые подвижники, въ свою очередь, не пренебрегали риемой. Св. Франческо д'Ассиззи оставилъ намъ „Гимнъ къ солнцу“, обнаруживающій въ авторѣ значительную глубину философской мысли и первоклассный поэтический талантъ; нѣкоторыя баллады императора Фридриха II и Манфреда граціозны и красивы. Итальянская поэзія, пріотившаяся при дворахъ, любимая народомъ, гостеприимно принятая въ монастыряхъ, быстро расцвѣтала, и уже въ половинѣ тринадцатаго столѣтія ея формы настолько были развиты и закончены, что для полнаго своего расцвѣта ей недоставало только могучаго генія, который бы влилъ въ нее новое содержаніе. Таковой геній явился въ лицѣ Данте.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что „Божественная Комедія“ — одно изъ величайшихъ созданій человѣческаго творчества. Теперь, на разстояніи почти шести столѣтій, внимательно изучая великую поэму, намъ кажется, что Данте — личность, стоящая совершенно особо, не имѣющая предшественниковъ, создавшая свое великое произведеніе одною лишь силою своего творческаго духа. Въ дѣйствительности, однако, дѣло происходило гораздо проще. Странное дѣло, но въ этомъ единственномъ великомъ эпосѣ новаго времени, написанномъ вскорѣ послѣ того, какъ окончательно сложился цикль „Нибелунговъ“, не замѣчается никакого новаторства, никакой претензіи на литературную реформу, по крайней мѣрѣ сознательную. Данте не только не разрываетъ съ литературными традиціями среднихъ вѣковъ, но, напротивъ, пользуется ими при всякомъ удобномъ случаѣ и на нихъ, главнымъ образомъ, строить зданіе своей поэмы. Изъ народныхъ легендъ онъ заимствуетъ содержаніе, типы, эмблемы, символы; онъ даже старается сохранить, во всей своей неприкосновенности, мистиво-аллегорическій духъ этихъ легендъ; онъ вдохновляется народными сказаніями, преданіями, фаблю трубадуровъ. Все, что волновало умы и сердца среднихъ вѣковъ: страшный судъ, загробная жизнь, мученія грѣшниковъ въ аду, блаженство рай, — все это укладывалось въ народные легенды, въ монашескія сказанія, подобно тому, какъ въ XII вѣкѣ, среди русскаго народа, появляются такъ-называемыя „хожденія по мукамъ“: напимѣръ, хожденіе Св. Богородицы, хожденіе апостола Павла и пр. Мало-по-малу, путемъ заимствованій и литературной преемственности, образуется богатый

цѣль этихъ легендъ въ Итали, такъ что въ ближайшую къ Данте эпоху мы видимъ готовыми, созданными народной фантазійей, всѣ элементы „Божественной Комедіи“. Данте оставалось только прислушаться къ этому народному говору и на немъ, „не мудрствуя лукаво“, построить зданіе своей поэмы. Онъ такъ и сдѣлалъ. Въ „Божественной Комедіи“ все заимствовано, какъ цѣлое, такъ и части. Какая-нибудь легенда св. Патрика или св. Брандана, какой-нибудь фэблѣо Рютбефа или Гудана, уже содержатъ въ зародышѣ ту или другую сцену дантовскихъ терцинъ. Извѣстно, напримѣръ, какъ поэтъ объясняетъ происхождение ада и чистилища. Съ точки зрѣнія космологіи поэта, земля есть центръ вселенной шарообразной формы; въ такомъ же видѣ представлялъ себѣ вселенную и Гомеръ. Согласно съ представленіями среднихъ вѣковъ, Данте помѣщаетъ адъ въ нѣдрахъ земли. Въ самомъ низменномъ углу ада, въ центрѣ земли, находится Люциферъ; середина его тѣла образуетъ собою ту центральную точку, къ которой сходятся со всѣхъ сторонъ всѣ тяготы міра. Совершилось это, по толкованію Данте, слѣдующимъ образомъ: Люциферъ, говоритъ онъ, упалъ съ неба въ противоположномъ Іерусалиму направленіи и, подобно стрѣлѣ, вонзень былъ въ землю, такъ что, въ силу закона природы, онъ погрязъ въ центрѣ земли половиной своего туловища; та земля, которая до тѣхъ поръ покрывала собой противолежащее намъ полушаріе, ужаснувшись при видѣ этой катастрофы, покрылась волнами морскими, спаслась на наше полушаріе и образовала собой высоты іерусалимскія и гору Искупленія; но та часть внутренней земли, которая была вытѣснена паденіемъ Люцифера, точно также вылетѣла вверхъ позади падавшаго и образовала гору Очищенія. Паденіе Люцифера образовало громадную яму, въ видѣ конуса, основаніе котораго находится на поверхности земли, а верхушка въ центрѣ. Тамъ-то и пребываетъ Люциферъ въ вѣчныхъ мученіяхъ; его крылья приняли форму перепонокъ летучей мыши; вѣчно махая ими, онъ производитъ страшный холодъ; вся „канна“ — такъ называется это мѣстопребываніе Люцифера — окружена льдами, среди которыхъ томятся онъ и грѣшники, осужденные на эти мученія за измѣну. Извѣстный историкъ и географъ XVI-го столѣтія, Джіамбулари, попробовалъ начертить планъ дантова ада. Данныя онъ извлекъ изъ поэмы. По его вычисленіямъ, гора Очищенія имѣетъ 3.250 миль вышины по вертикальной линіи, адъ — приблизительно половину. Чистилище находится, по его мнѣнію, на западѣ отъ Канарскихъ острововъ, на 32 градусахъ южной широты и 114 градусахъ долготы. Джіамбулари предпола-



гаетъ, кромѣ того, что гора Очищенія находится на діаметрально противоположномъ пунктѣ отъ Іерусалима, такъ что, по его космографическимъ понятіямъ, у нихъ одинъ и тотъ же горизонтъ. Если въ этому мы прибавимъ, что, по мнѣнію средневѣковыхъ ученыхъ, чистилище и земной рай находились въ антиподахъ, то въ особенности ужасало товарищей Христофора Колумба во время его путешествія, то въ этомъ планѣ у насъ будетъ лучшее доказательство, что „Божественная Комедія“ резюмируетъ всю тогдашнюю науку съ удивительною ясностью, и что она составляетъ какъ бы переходъ отъ науки среднихъ вѣковъ въ науки нашего времени; она соединяетъ, слѣдуя выраженію Ниволіни, силу относительнаго варварства съ возникающей цивилизаціей. Что же касается рая, то онъ построенъ у Данте значительно идеальнѣе. Поэтъ, въ сопровожденіи Беатриче, переходитъ отъ одной сферы къ другой, и въ каждой онъ находитъ святыхъ угодниковъ. Здѣсь онъ точно также строго придерживался господствовавшей тогда астрологіи: на Марсѣ, напримѣръ, онъ помещаетъ души великихъ военачальниковъ; на Венерѣ — героевъ любви; на Юпитерѣ — великихъ монарховъ; на Сатурнѣ — созерцателей. Вся эта космологія и вся эта грандіозная картина не выдуманы Данте; элементы ихъ, — конечно, разбросанные и безсвязные, — онъ нашелъ въ легендахъ и научныхъ воззрѣніяхъ среднихъ вѣковъ; онъ только слилъ ихъ въ одно органическое цѣлое.

Было бы странно, однако, предполагать, что Данте изучалъ всѣ эти сказанія, былъ знакомъ со всѣми легендами среднихъ вѣковъ. Въ немъ поэтъ преобладалъ надъ ученымъ. Тѣмъ не менѣе, какъ выразился одинъ изъ изслѣдователей Данте, „только педантическая риторика можетъ предполагать, что планъ великаго произведенія принадлежитъ тому, кто его создаетъ“. Это выраженіе даетъ ключъ къ разгадкѣ тайны: Данте резюмировалъ съ необыкновенною силою генія философскія и литературныя теченія своего времени. Куда бы ни взглянулъ Данте, онъ повсюду видѣлъ грозную фигуру Смерти, указывающей ему своимъ перстомъ ту таинственную страну, „откуда, — какъ впоследствии говорилъ Гамлетъ, — не возвращался еще ни одинъ путникъ“. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что и помимо легендарныхъ сказаній Данте много заимствовалъ изъ произведеній plasticaго искусства того времени. „Хожденія во адъ“, небесныя видѣнія воспроизводились скульптурой и живописью съ набожною цѣлью, для украшенія церквей. Живописныя фрески почти всѣ исчезли; уцѣлѣли только клочки. Такъ, въ криптѣ оксерской церкви осталась часть фрески, гдѣ изображено торжество Христа въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ

Алигьери представилъ его въ своемъ „Чистилицѣ“. Образъ на стеклѣ съ изображеніемъ ада очень часто попадаются въ церквахъ конца XII-го и начала XIII-го столѣтія. Любопытнѣе другихъ — западный розась церкви въ Шартрѣ. Что же касается скульптурныхъ произведеній, то они очень многочисленны; тимпанъ западнаго портала отѣнской церкви, тимпанъ главнаго портала церкви въ Конгѣ (Conques), порталъ церкви Муассава — даютъ очень любопытныя, очень разнообразныя подробности; всѣ формы мученій находятся тутъ, также какъ и формы райскаго блаженства, хотя и не съ такимъ разнообразіемъ и не такъ детально, какъ въ „Раю“ Данте. Въ эпоху пребыванія Данте во Франціи, всѣ эти памятники уже существовали, точно также какъ и западный порталъ собора парижскаго Нотрѣ-Дамъ, гдѣ изображены различныя степени наказаній и наградъ. Дидронъ указалъ болѣе пятидесяти такихъ „иллюстрацій“ въ „Божественной Комедіи“, — иллюстрацій, возникшихъ раньше самой поэмы.

Готическая архитектура, въ свою очередь, не осталась безъ вліянія на поэму. Народная мысль среднихъ вѣковъ населила рай вѣчно цвѣтущими садами, дворцами съ золотыми колоннами и алмазными стѣнами, съ серебряными паникадилами и арфами изъ слоновой кости. Отъ этого чисто внѣшняго блеска рая Данте отказался, но вспомнилъ зато тѣ готическіе соборы, которые именно въ его время стали возникать повсюду въ Европѣ, и по плану этихъ соборовъ онъ построилъ свою поэму. Готическая архитектура какъ нельзя лучше отвѣчала духу среднихъ вѣковъ. Ученіе, представляющее землю какъ долину слезъ, настоящую жизнь — какъ испытаніе, привело людей къ отвращенію отъ міра, къ экстазу, къ отчаянію, къ потребности безконечной нѣжности, къ представленіямъ вѣчнаго пламени и вѣчнаго ада, „лучезарнаго рая и невыразимаго блаженства. Изъ этого общаго чувства, охватившаго собою всю средневѣковую Европу, возникла готика. Внѣшность храма, по этой концепціи, напоминаетъ гигантскій филигранъ, словно сплетенный изъ мраморнаго кружева, изысканный, утонченный, затѣйливый; внутренность погружена въ мрачную и холодную тѣнь; свѣтъ проходитъ сквозь призму стенокъ кровавымъ пурпуромъ, лучами аметиста и топаза, мистическимъ блескомъ драгоценныхъ камней. Тутъ каждая деталь служитъ символомъ и указываетъ на какое-нибудь высшее таинство; зданіе своими перевертывающимися формами напоминаетъ крестъ, на которомъ умеръ Христосъ; розасы съ ихъ алмазными лепестками изображаютъ неуязвимую розу, листья которой составлены изъ душъ испущенныхъ. Это точно щегольской нарядъ слабонервной

и раздражительной женщины, похожей на эксцентрические костюмы того времени, которого поэзия, болѣзненная и утонченная, носитъ на себѣ отпечатокъ слишкомъ напряженнаго чувства, смутнаго волненія, бессильныхъ и пылкихъ порывовъ, свойственныхъ времени рыцарей и монаховъ. Въ общемъ и въ деталяхъ Данте заимствовалъ мистическую поэзію готическаго храма. „Божественная Комедія“, подобно готическому храму, раздробляется на множество перспективъ, изъ которыхъ каждая настолько интересуется зрителя, что онъ забываетъ объ остальномъ. Но единство поэмы, тѣмъ не менѣе, не исчезаетъ въ этомъ разнообразіи: оно обнаруживается въ основной идеѣ, имѣющей, какъ и готической храмъ, чисто католическій характеръ. Такъ, не вдаваясь въ подробности, мы укажемъ лишь на то, что Данте заимствовалъ у готическаго храма мысль изобразить высшую сферу неба въ формѣ громадной бѣлой розы, на лепесткахъ которой помѣщаются угодники:

In forma dunque di candida rosa  
 Mi si mostrava la milizia santa,  
 Che nel suo sangue Cristo fece sposa. (Paradiso, XXXI, 1—3.)

Въ противоположность изящной простотѣ греческаго храма, готической соборъ отличается своею крайнею, болѣзненною изысканностью; таковъ былъ характеръ вкуса среднихъ вѣковъ; художники того времени, осмысливая лишь и давая форму смутнымъ стремленіямъ толпы, стремятся къ колоссальности, громоздятъ колонны на колоннахъ, образуя чудовищные столбы, строятъ воздушныя галереи, стремящіяся къ небу своды и колокольни, теряющіяся въ облакахъ; они преувеличиваютъ утонченность формъ, обставляютъ порталы нѣсколькими рядами фигуръ, обводятъ обшивку фестонами изъ трилистниковъ, шпидами, вырѣзными чудовищами, влетаютъ въ рамки оконъ пестрыя розетки, хоры покрываютъ рѣзными кружевами, разставляютъ и раскидываютъ по гробницамъ, алтарямъ, башнямъ странную путаницу миниатюрныхъ колоннъ, пеструю смѣсь завитковъ, листьевъ, статуй; кажется, что въ одно и то же время они стремятся и къ безконечно великому, и къ безконечно малому. Не то же ли впечатлѣніе изысканности, грандіозности, вычурности, болѣзненности ничѣмъ не удовлетворяемаго чувства производитъ и „Божественная Комедія“? Не тѣ же ли особенности готической архитектуроники встрѣчаемъ мы и въ великой поэмі? Ея невидимый міръ заключаетъ въ себѣ три царства; каждое изъ этихъ царствъ имѣетъ три подраздѣленія и девять (т.-е. трижды три) круговъ. Соответственно этому и самая поэма дѣлится на три части; въ каждой части — тридцать три

пѣсни, такъ какъ первая пѣснь „Ада“ — только общее вступленіе ко всей поэмѣ; затѣмъ, вся поэма написана терцинами, т. е. трехстишіями, и каждая часть заканчивается словомъ: *stelle* (звѣзды). Обратимъ теперь вниманіе на то, что можно бы назвать декорацией и аксессуарами „Божественной Комедіи“. Адъ представляетъ собой удивительнѣйшій *bestiarium*, совершенно въ духѣ среднихъ вѣковъ. Начиная съ трехъ аллегорическихъ звѣрей дремучаго лѣса и кончая пятнистыми узлами Геріона „съ такими разнообразными цвѣтами, какихъ никогда не вышивали на своихъ коврахъ ни татары, ни турки“, — тутъ все указываетъ на такую фауну, какой никогда еще не представляло себѣ человѣческое воображеніе. Въ „Чистилищѣ“, наоборотъ, преобладаетъ роскошная флора, начиная съ тучи цвѣтовъ (*nuvola di fiori*), несомой руками ангеловъ и среди которой появляется Беатриче, и кончая древами познанія и жизни, растущими на вершинѣ священной земли. Наконецъ, въ „Рая“ безконечное пространство наполнено сферами небесными; млечный путь, звѣзды, планеты воспѣваютъ славу Господню, и взоръ всюду встрѣчаетъ одни лишь лучи свѣта... Но мало этого, — переходя отъ одного царства въ другое, поэтъ перемѣняетъ приемъ и родъ поэзіи. Въ аду — все драма, движеніе, коллизія. Въ чистилищѣ души теряютъ свою тѣлесную оболочку: образы (*intagli*), восторженные видѣнія замѣняютъ здѣсь грозныя сцѣны ада. Наконецъ, въ раю смолкаетъ даже этотъ „видимый говоръ образовъ и видѣній“: остается одинъ лишь слухъ, ласкаемый звуками, гармоніей, божественнымъ пѣніемъ; различныя степени блаженства соотвѣтствуютъ различнымъ голосамъ одной и той же мелодіи. Инстинктивная и бессознательная ассоціація акустики и оптики, совершаемая нами, когда мы говоримъ о *тонѣ* картины или *гаммѣ* цвѣтовъ — подсказывается намъ здѣсь высокой, строго-обдуманной поэзіей... Такимъ образомъ, при чтеніи „Божественной Комедіи“, можно сказать, отъ „Ада“ получается впечатлѣніе, по преимуществу, пластическое, отъ „Чистилища“ — живописное, отъ „Рая“ — музыкальное.

Въ святительномъ посланіи къ Кану-Гранде дель Скала, самъ Алигьери называетъ свою поэму *polysensus*; и дѣйствительно, въ этой трилогіи все имѣетъ аллегорическій и мистическій смыслъ. Мы нарочно указываемъ на этотъ намѣренный символизмъ, изысканный, искусственный и часто — совершенно не поэтический. Эрнестъ Ренанъ говоритъ въ своей извѣстной статьѣ „объ искусствѣ среднихъ вѣковъ“, что философія, поэзія и архитектура среднихъ вѣковъ страдали однимъ и тѣмъ же недугомъ: изысканностью, манерностью и вычурностью. Отъ этого недостатка не свободна

и „Божественная Комедія“, также какъ и вѣльнскій соборъ; но въ общемъ они производятъ сильное, своеобразное впечатлѣніе, тѣмъ болѣе драгоцѣнное, что благодаря тому и помимо всякихъ историческихъ и археологическихъ изысканій духъ среднихъ вѣковъ, ихъ настроеніе, обнаруживаются передъ нами во всей своей полнотѣ.

Какъ бы то ни было, но общій анализъ „Божественной Комедіи“, помимо другихъ сторонъ, разсмотрѣніе которыхъ не входитъ въ нашу задачу, — доказываетъ, какъ намъ кажется, ясно, что реформаторство литературное Данте имѣло характеръ реформаторства всякаго великаго поэта: онъ не шелъ въ разрѣзъ съ народною традиціей, не ломалъ образовавшихся формъ мысли, еще полныхъ жизни, а незамѣтно, можетъ быть безсознательно для самого себя, вливалъ въ нихъ новое содержаніе, расширяя понемногу формы и такимъ образомъ измѣняя ихъ. Онъ былъ однимъ изъ немногихъ великихъ поэтовъ, которые при жизни не возбуждали противъ себя протеста, которые сразу завоевали себѣ литературное главенство и удержали его до конца дней своихъ, — а поэтому и причина несчастій Данте вѣрится не въ его поэтической личности.

Другое рѣшеніе занимающей насъ задачи, какъ мы уже видѣли, многіе находятъ въ исторіи отношеній Данте къ Беатриче Портинари. Это — исторія весьма чувствительная и даже сантиментальная, подавшая поводъ къ самымъ разнообразнымъ толкованіямъ и увлекавшая чувствительныя сердца. Объ этой высокоплатонической любви, продолжавшейся всю жизнь поэта, несмотря на преждевременную смерть Беатриче, были писаны цѣлые томы. Самъ Данте первый подалъ поводъ къ этому. Онъ прославилъ Беатриче, также какъ Петрарка — Лауру, а Торевато Тассо — Леонору. Обратимъ, однако, вниманіе на факты и посмотримъ: дѣйствительно ли эти факты оправдываютъ представленіе такой безконечной, платонической любви? Въ первомъ своемъ сочиненіи, озаглавленномъ „Vita puоva“ и составляющемъ какъ бы прототипъ современнаго, психологическаго романа въ гораздо болѣе высокой степени, чѣмъ пасторали Боккаччіо, и поэтому имѣющему огромную историко-литературную важность, — Данте излагаетъ намъ исторію своей любви, правда, въ нѣсколько мистическомъ тонѣ, но все-таки довольно понятно. На девятомъ году отъ рожденія, Данте встрѣтилъ Беатриче Портинари, дѣвочку лѣтъ восьми, и влюбился въ нее. Нѣсколько рано, скажутъ, можетъ быть, — да, но эту поэтическую вольность мы можемъ простить поэту, тѣмъ болѣе, что и съ другимъ великимъ поэтомъ случилось нѣчто

подобное: известно, что Байронъ влюбился въ миссъ Паркеръ, когда ему было всего восемь лѣтъ. Данте видитъ Беатриче издали, на улицѣ, и уже воспѣваетъ ее; въ первый разъ въ жизни онъ заговорилъ съ нею, когда ему было восемнадцать лѣтъ, и опять только воспѣваетъ ее; она выходитъ замужъ за какого-то флорентинца Симоне деи-Барди,—Данте груститъ, но продолжаетъ воспѣвать; наконецъ, она умираетъ: онъ плачетъ и еще страстнѣе воспѣваетъ ее, что, впрочемъ, не мѣшаетъ ему жениться на Джеммѣ Донати. Все это представляется очень страннымъ, но странности на этомъ еще не кончаются. Продолжая боготворить и воспѣвать Беатриче до и послѣ ея смерти, Данте сознается, однако, въ своихъ слабостяхъ по отношенію къ прекрасному полу. Объ этомъ онъ говоритъ совершенно откровенно, но именно на это-то обстоятельство нѣкоторые комментаторы не хотятъ обратить ни малѣйшаго вниманія: несмотря на очевидность, они награждаютъ его монтионовской преміей за добродѣтель. Въ „Vita nuova“ Данте сознается, что вскорѣ послѣ смерти Беатриче онъ чуть было не напелъ угѣшенія въ обществѣ одной gentil donna. Этой-то дамѣ, имя которой осталось намъ неизвѣстно, были посвящены самыя лучшіе его сонеты: стѣдуетъ внимательно ихъ прочесть, чтобы убѣдиться, что эта gentil donna есть настоящая, дѣйствительная женщина, съ плотью и кровью, а вовсе не аллегорія философіи, какъ думаютъ нѣкоторые комментаторы. Въ письмѣ, писанномъ значительно позднѣе, въ 1307 году, онъ повѣствуетъ неизвѣстному лицу о страшныхъ опустошеніяхъ, которыя производила въ его сердцѣ страсть къ другой,—на этотъ разъ уже не флорентинской, а вазентинской дамѣ,—тоже оставшейся намъ неизвѣстной. Еще позднѣе, когда ему было лѣтъ пятьдесятъ, онъ сознается въ „Божественной Комедіи“, что былъ очарованъ другою волшебницей изъ Лукки, нѣкоей Джентукки, и объ этомъ фактѣ онъ сообщаетъ въ послѣднихъ пѣсняхъ „Чистилища“, у входа въ земной рай, гдѣ онъ долженъ былъ встрѣтиться съ Беатриче. Къ этому необходимо прибавить еще двѣ замѣчательныя пѣсни „Чистилища“,—тридцатую и тридцать-первую, гдѣ находится такъ-называемая знаменитая „исповѣдь“ Данте. Встрѣтившись съ нею, Беатриче осыпаетъ его горькими упреками за его измѣну ей, совершенную имъ вскорѣ послѣ ея смерти,—и онъ открыто признается въ своей винѣ. Съ скрытымъ негодованіемъ и горькими укоридами обращается Беатриче къ нему:

Mai non t'appressentó natura ed arte  
 Piacer, quanto le belle membra in ch'io  
 Rinchiusa fui, e che son terra sparte  
 E se il sommo piacer si ti fallio

Per la mia morte, qual cosa mortale  
 Dovea poi trarre te nel suo disio?  
 Ben ti dovevi, per lo primo strale  
 Delle cose fallaci, levar suso  
 Diretr'a me, che non era più tale.  
 Non ti dovea gravar le penne in giuso,  
 Ad aspettar più colpi, o pergoletta,  
 O altra vanità con sì brev' uso.  
 Nuovo augelletto due o tre aspetta;  
 Ma dinanzi dagli occhi de'peanuti  
 Rete si spiega indarno, o si saetta.

(Purg. XXXI, 49—63).

т.-е.: „Но никогда ни природа, ни искусство, не предлагали тебѣ такого наслажденія, какъ прекрасное тѣло, въ которомъ я была заключена, и которое теперь не болѣе какъ прахъ. И если величайшее изъ наслажденій у тебя было отнято моею смертью, то какой же смертный предметъ могъ тебя потомъ соблазнять? Ты долженъ былъ бы, при первыхъ приступахъ обманчивыхъ предметовъ, вознестись во мнѣ, которая уже не была такимъ предметомъ. Ты не долженъ былъ опускать крыльевъ и выжидать, пока ты снова будешь пораженъ какой-либо молодой дѣвушкой, или какой-либо другой, столь же скоро преходящей суетой. Молодая птичка позволяеть стрѣлять въ себя два или три раза; но напрасно было бы ставить сѣть или пускать стрѣлу въ птицу, у которой крылья уже укрѣпились“.

Казалось бы, что смыслъ этихъ упрековъ совершенно ясенъ и не допускаетъ никакихъ недоразумѣній, но многіе комментаторы, не смотря на все, продолжаютъ настаивать, что въ данномъ случаѣ Беатриче есть не болѣе какъ персонификація божественной мудрости. Другоеображеніе, на этотъ разъ косвенное, подтверждаетъ наши сомнѣнія относительно поэтического характера любви Данте въ Беатриче. Проходя по различнымъ кругамъ ада, гдѣ томятся разныя категоріи грѣшниковъ, Данте не скрываетъ своихъ чувствъ при видѣ всѣхъ этихъ страданій; по степени высказываемой имъ горечи или ужаса, по личному участию, легко замѣтить, что онъ какъ бы переноситъ на себя видимые имъ грѣхи и тѣмъ болѣе страдаетъ, тѣмъ болѣе чувствуетъ, что и самъ онъ не чуждъ того или другого грѣха. Высшую степень этого личного, субъективнаго страданія Данте обнаруживаетъ въ двухъ кругахъ ада и чистилища, гдѣ томятся грѣшники любви; онъ падаетъ въ обморокъ, выслушавъ рассказъ Франчески да-Римини: „e caddi, come cogro morto cade“ (и я упалъ, какъ падаетъ мертвое тѣло,—говоритъ онъ); во вто-

ромъ кругъ его охватываетъ непреодолимый ужасъ, и ему кажется, что онъ вступаетъ въ свою собственную могилу. Фикція ли это, или дѣйствительное слѣдствіе вѣры, но во всякомъ случаѣ здѣсь Данте вполне обнаруживается: по его собственному, хотя и невольному сознанию, грѣхъ, который болѣе всего ему присущъ, есть грѣхъ любви. Наконецъ, послѣднее доказательство въ пользу вышесказаннаго: Боккаччіо былъ первымъ біографомъ Данте; а отецъ Боккаччіо зналъ Данте въ Парижѣ, изъ чего мы въ правѣ заключить, что этотъ первый біографъ поэта имѣлъ свѣденія о его жизни, такъ сказать, изъ первыхъ рукъ. Между тѣмъ Боккаччіо прямо утверждаетъ, что Данте былъ болѣе чѣмъ слабъ въ прекрасному полу. Слова Боккаччіо любопытны и характерны: „Tra cotanta virtù, tra cotanta scienza, quando dimostrato è di sopra essere stato in questo mirifico poeta, trovò ampissimo luogo la lussuria; e non solamente ne' giovanili anni, ma ancora ne' maturi“. Не выражаясь такъ рѣзко, все-таки можно сказать о поэтѣ то, что онъ самъ сказалъ о самомъ блестящемъ греческомъ героѣ, объ Ахиллѣ: „che con amore alfine combateo“ (который до конца боролся съ любовью).

Все это, какъ намъ кажется, ясно доказываетъ, что фактическая исторія платонической любви Данте къ Беатриче улетучивается при внимательномъ сопоставленіи ея съ сознаніями самого поэта и съ свидѣтельствами его біографовъ. Но если эта столь прославленная любовь есть не болѣе, какъ иллюзія чувствительныхъ сердецъ, вездѣ ищущихъ возвышенной поэзіи, то какъ объяснить, съ другой стороны, что самъ Данте настойчиво утверждаетъ то же? Въ искренности Данте мы не имѣемъ права сомнѣваться, а онъ вездѣ говоритъ, — и въ „Vita nuova“, и въ „Divina Commedia“, что всю свою жизнь поклонялся Беатриче? Думаемъ, что это противорѣчіе легко объяснить, если принять во вниманіе тотъ родъ поэзіи, который тогда господствовалъ въ Италіи. Жизнь — одно, а поэзія — другое. Развѣ не подобное же противорѣчіе видимъ мы у многихъ поэтовъ между ихъ жизнью и поэтическимъ настроеніемъ? Въ исторіи литературы, къ тому же, не мало найдется фактовъ, доказывающихъ, что извѣстный, искусственный родъ поэзіи, дѣлаясь господствующимъ и, такъ сказать, моднымъ, — самымъ страннымъ образомъ извращаетъ выраженіе поэтическаго чувства. Съ такимъ именно фактомъ мы встрѣчаемся въ Италіи въ концѣ XIII столѣтія. Тогда процвѣтала такъ-называемая любовная поэзія, и любимой формой ея былъ сонетъ. Эта поэзія, достигшая своего полного расцвѣта значительно позднѣе, при Петраркѣ, по преимуществу,



искусственна и манерна. Поэту не дозволялось выражать свое чувство наивно и искренно; онъ долженъ былъ его облекать въ затѣйливыя метафоры и формы, преувеличивать одно, скрывать другое и часто говорить совсѣмъ не то, что чувствовалъ. Тотъ же самый характеръ представляютъ намъ и сонеты Данте. Очевидно, что, воспѣвая Беатриче, поэтъ занятъ не столько ею, сколько какими-то другими соображеніями. Тутъ все—аллегорія. Обратите вниманіе, напримѣръ, на то значеніе, какое въ сонетахъ поэтъ приписываетъ числу 9. Онъ встрѣчилъ Беатриче, когда ему было девять лѣтъ; второй разъ онъ ее видитъ, когда ему исполнилось 18 лѣтъ, т.-е. дважды девять. Беатриче умираетъ, когда столѣтію исполнилось девять десятковъ (1290 г.), и на девятомъ мѣсяцѣ... по сирійскому счету. „Итакъ, — заключаетъ Данте, — Беатриче есть цифра 9, т.-е. число, котораго корень скрывается въ Св. Троицѣ“. Согласитесь сами, что при всемъ желаніи принимать во вниманіе тенденцію эпохи и мистическое настроеніе среднихъ вѣковъ,—во всѣхъ этихъ аллегоріяхъ нельзя отыскать дѣйствительнаго чувства.

Мы не коснемся тѣхъ странныхъ гипотезъ, догадокъ, предположеній, которыя въ такомъ количествѣ являлись въ ученой и неученой литературѣ, благодаря „Vita nuova“, и той мистической таинственности, которою поэтъ окружилъ рассказъ о своей любви. Укажемъ, однако, на выводы Бартоли, которые, какъ кажется, рѣшаютъ окончательно вопросъ. Бартоли обращаетъ вниманіе на то, что весь рассказъ намѣренно затемненъ: исторія этой любви происходитъ путемъ видѣній. Въ первомъ видѣніи, Данте видитъ Амура, держащаго въ своихъ объятіяхъ нагую Беатриче и заставляющаго ее пожимать сердце поэта. Во второмъ, Амуръ бесѣдуетъ съ Данте объ умершей дамѣ. Въ третьемъ, Амуръ совѣтуетъ поэту „сказать извѣстныя слова въ риемахъ“, которыя бы показали его любовь къ Беатриче. Въ четвертомъ видѣніи, Данте предчувствуетъ смерть своей дамы. Въ пятомъ, являются Джіованни и Беатриче. Въ шестомъ, Данте вновь видитъ Беатриче дѣвочкой девяти лѣтъ и упрекаетъ себя въ томъ, что измѣнилъ ей и любилъ другую женщину. Въ послѣднемъ, наконецъ, видѣніи, Данте не говоритъ, что видѣлъ, но рѣшается не бесѣдовать больше о ней. „Тутъ непосредственно является вопросъ, — говоритъ Бартоли, одинъ изъ послѣднихъ, самыхъ талантливыхъ изслѣдователей Данте:—дѣйствительно-ли эти семь видѣній—историческій фактъ? Съ точки зрѣнія здраваго смысла, отвѣтъ долженъ быть отрицательный. Очень трудно представить себѣ человѣка, даже предрасположеннаго къ сильнымъ и внезап-

нымъ абстраціямъ ума, который бы дѣйствительно видѣлъ во снѣ то, что рассказываетъ намъ Данте. Если принимать буквально исторію этихъ видѣній, то мы принуждены по необходимости заключить, что Алигьери былъ человѣкъ, подверженный галлюцинаціямъ, хотя мы и знаемъ, что въ немъ самымъ чудеснымъ образомъ сливались въ одно фантазія съ разсудкомъ. Итакъ, видѣнія „Vita nuova“ могутъ быть лишь поэтическимъ приемомъ и притомъ приемомъ, употребленнымъ авторомъ для извѣстныхъ цѣлей, приемомъ, найденнымъ имъ въ литературныхъ традиціяхъ эпохи“.

Перехода затѣмъ къ знаменитому числу 9, Бартоли говорятъ: „самому Данте должно было показаться, что всѣ эти рассказы весьма маловѣроятны, и онъ рѣшился объяснить ихъ, сдѣлать ихъ вѣроятными для читателей путемъ астрологическихъ и богословскихъ соображеній. Вотъ его собственныя слова: „По мнѣнію Птолемея и христіанскихъ истинъ, существуетъ девять движущихся небесъ, и, слѣдуя общему мнѣнію астрологовъ, эти девять небесъ передаютъ сюда (на землю) гармоническія комбинаціи, которымъ подчинены тамъ. Это число было другомъ Беатриче, съ цѣлью показать, что когда она была зачата, девять движущихся небесъ находились въ полной гармоніи. Вотъ и одна причина. Но, разсматривая дѣло съ точки зрѣнія непреложной истины, это число была она сама. Прибѣгая къ сравненію, вотъ какъ я это объясняю: число три есть корень девяти, ибо, не прибѣгая къ помощи другого числа, и само собой оно производитъ девять, такъ какъ очевидно, что трижды три—девять. Если поэтому три есть творецъ девяти и такъ какъ великій творецъ чудесъ есть и само по себѣ три, т.-е. Отецъ, Сынъ и Духъ Святой, которые въ одно и то же время и три, и одинъ, то эта Дама была всегда сопровождаема числомъ девять, какъ бы съ цѣлью показать, что она была девять, т.-е. чудо, котораго корень есть Св. Троица. Эту истину можно, конечно, было бы доказать и еще болѣе тонкими соображеніями, но доказательство, данное мною, мнѣ больше нравится“. Все это реминисценціи пифагорейскихъ и неоплатоническихъ ученій, мистическихъ и кабалистическихъ. Съ другой стороны, это былъ, если можно такъ выразиться, порывъ нѣжности къ его излюбленному Виргилю, который, въ „Энеидѣ“ тоже посвящаетъ много мѣста числу девять. Какъ бы то ни было, однако фактъ остается страннымъ, и мы принуждены устранить и самый вопросъ о его достовѣрности. Но въ такомъ случаѣ падаетъ и историческая достовѣрность двухъ датъ, очень важныхъ въ „Vita

пцова“: даты первой встрѣчи девяти-лѣтняго мальчика съ девяти-лѣтней дѣвочкой и даты смерти Беатриче, наступившей 9-го июня 1290 г. <sup>1)</sup> Анализируя дальше „Vita puova“, Бартоли прямо приходитъ къ заключенію, что вся исторія любви Данте къ Беатриче есть поэтическая фикція, не имѣющая, вѣроятно, никакой исторической подкладки, да и самое существованіе Беатриче Портинари подвержено большому сомнѣнію.

Не рѣшая этого вопроса категорически, мы думаемъ однако, что разгадать загадку не такъ трудно, какъ это можетъ показаться на первый взглядъ. Никто не отрицаетъ, что въ юности Данте искренно могъ любить молодую дѣвушку, — была ли это Беатриче Портинари, или какая-либо другая, слѣды этой любви, какъ намъ кажется, можно найти даже въ сонетахъ „Vita puova“, хотя эти сонеты и грѣшатъ литературной условностью и аллегоріей. Мало-по-малу однако, съ годами, съ наступленіемъ бурной политической дѣятельности, образъ молодой дѣвушки испарился изъ сердца Данте, хотя привычка думать о ней осталась. И вотъ онъ начинаетъ, почти бессознательно, идеализировать этотъ образъ, а затѣмъ, покоряясь склонности къ мистицизму, самое имя ея, вѣроятно придуманное самимъ Данте и означающее Благодать, онъ превращаетъ въ аллегорію, которая и расцвѣтаетъ въ „Божественной Комедіи“. Что же касается, собственно, искусственности и манерности сонетовъ, то тутъ, очевидно, сказалось непосредственное влияніе провансальской поэзіи трубадуровъ, которая еще гораздо раньше появленія Данте перешла черезъ Альпы и нашла въ Италіи не только горячихъ поклонниковъ, но и талантливыхъ подражателей.

Провансальская поэзія есть и сама результатъ сложныхъ условій времени. Нельзя забывать, что именно въ среднихъ вѣкахъ стала невѣроятно быстро развиваться страсть, совершенно неизвѣстная древнимъ, — рыцарская и мистическая любовь; постановленіемъ ея правилъ занимались не только молодые люди, но и солидные мужи, въ собраніяхъ, называемыхъ „cours d'amour“ и предсѣдательствуемыхъ женщинами. Въ этихъ собраніяхъ рѣшалось, что любовь не можетъ существовать между супругами, что любовь ничего не можетъ отказать любви. На женщину перестали смотрѣть какъ на существо тѣлесное, подобное мужчинѣ. Она превращается въ божество; мужчина долженъ считать себя чрезъ мѣру вознагражденнымъ, когда получитъ право обожать это божество и служить ему. На человѣческую любовь смотрѣли

<sup>1)</sup> Bartoli, „Storia della letteratura italiana“. Firenze, 1879.

какъ на чувство неземное. Поэты олицетворяютъ въ своихъ любовныхъ сверхъестественную добродѣтель и умоляютъ ее быть ихъ путеводительницей въ престолу Всевышняго. Средніе вѣка, подобно евангельской Магдалинѣ, „много любили“. Любовь перестала быть чувствомъ и перешла, если можно такъ выразиться, въ свято сохраняемый повсюду обычай; каждая дѣвица *должна* была имѣть обожателя, каждая замужня женщина — поклонника. Соотвѣтственно повсемѣстному пристрастію въ обрядности и церемоніямъ, и принятіе поклонника сопровождалось извѣстными торжественными обрядами, иногда набожно перекрещеннымъ кольцомъ, иногда поцѣлуемъ и объятіемъ, иногда клятвой на евангелии. Въ духѣ той же средневѣковой символизаціи, стремившейся всякій фактъ символизировать какимъ-либо внѣшнимъ проявленіемъ, поклонникъ получалъ какой-либо знакъ отъ предмета своей любви — шарфъ, ленточку, платокъ или перчатку, и этотъ подарокъ онъ долженъ былъ носить, не скрывая его ни передъ кѣмъ. Это называлось: надѣвать „ливрею“ своей возлюбленной. Не обладавшіе взаимностью рыцари умоляли, вмѣстѣ съ несчастнымъ трубадуромъ, Гильомомъ де Сенъ-Дидье: „Одну лишь нитку твоей перчатки, одинъ лишь волосокъ твоей шубы“. Счастливый же обожатель въ буквальномъ смыслѣ *обдиравъ* туалетъ своей возлюбленной, требуя безпрестанно новой „ливреи“, такъ какъ во время турнира, даваемого въ присутствіи дамъ сердца, господа рыцари взаимно обрасывали или срывали эти знаки любви, и дамы обязаны были немедленно присылать своимъ поклонникамъ новый знакъ, вмѣсто погибшаго. Если это происходило нѣсколько разъ въ теченіе одного турнира, то дамы выходили совершенно оборванными. Въ одномъ романсѣ говорится, что дамы на одномъ турнирѣ „tout avoient donné aux chevaliers et guimples et charperons, manteaux et camises, manches et habits (St. Playe, „Mémoires“). Такое самопожертвованіе вознаграждало рыцарей громогласнымъ восхваленіемъ вездѣ красоты своей дамы, восхваленіемъ, щекотавшимъ ея самолюбіе и пріятнымъ даже мужу. Менѣе ревностнымъ поклонникамъ дамы призывали: отправляться въ путь и восхвалять повсюду ихъ красоту и свою къ нимъ любовь; такъ именно и требовала одна изъ тогдашнихъ французскихъ дамъ: „обнародовать всѣ подробности ихъ романа, всѣ ея письма, даже всѣ полученныя отъ нея ласки“. Волею-неволею принужденъ былъ рыцарь отправляться тогда въ путь. На прощанье онъ получалъ иногда отъ своей дамы „новую ливрею“, а иногда и мѣшокъ съ деньгами. Самые ревностные отправлялись въ путь съ пластыремъ на глазу (по свидѣтельству

Фруассара), съ закрытыми въ честь дамы вѣками (St. Playe), или же съ золотою цѣпью на руцѣ и на ногѣ (Histoire de Petit Jehan de Saintre). Все это продолжалось до тѣхъ поръ, пока какой-либо подвигъ, совершенный въ честь дамы, не освобождалъ рыцаря отъ обѣта. Платонизмъ Петрарки, кажется, былъ однимъ лишь возвышеннымъ порывомъ того любовнаго бѣшенства, которое въ обыкновенныхъ натурахъ возбуждало такія удивительныя проявленія. Нѣкто Жюффрау Рюдель, prince de Blaye, избралъ дамой своего сердца и воспѣвалъ всю жизнь графиню Триполи, о которой съ восторгомъ отзывались пилигримы, пришедшіе изъ-за моря, и которую онъ увидѣлъ только въ день своей смерти. Въ одномъ „tenson“, Блакд спрашиваетъ нѣкоего Рамбо: „Rimbaud, sans qu'on le sache, bonne dame nous fera jouer d'amour accompli; ou bien pour nous donner de la gloire, elle fera croire à la gent qu'elle est notre amie, sans rien de plus: qu'aimeriez-vous mieux?“ Рамбо предпочитаетъ „jouissance toute suave et sans bruit à vaine opinion sans plaisir“. Но Блакд, этотъ идеалъ всѣхъ рыцарскихъ совершенствъ, не колеблясь, отвѣчаетъ, „que les piais seuls tiendront un pareil sentiment à sage: les connaisseurs le taxeront de folie“. И это совершенно вѣрно: дѣло заключалось не столько въ любви, сколько въ славѣ, доставляемой любовью.

Это-то именно настроеніе и выразилось въ провансальской поэзій. Мы не имѣемъ возможности коснуться подробно тѣхъ аналогій, которыя замѣчаются между дантовскими сонетами и провансальской поэзій. Укажемъ только на одно: кажется страннымъ и непонятнымъ, что Данте, какъ потомъ Петрарка и Тассо, постоянно выставляютъ свою нѣжную страсть. Данте, напримѣръ, обращается къ своимъ собратіямъ по Аполлону и проситъ ихъ объяснить ему одно нѣжное свидѣніе. Этого, однако, требовали обычаи и нравы трубадуровъ, присяжныхъ представителей „gay saber“, т.-е. веселой науки, какъ они называли любовь. Кажется страннымъ, что въ сонетахъ фигура Беатриче, несмотря на постоянные восторги поэта, совершенно ступшевывается: вы ея не видите, не имѣете представленія о ея красотѣ; она въ какомъ-то туманѣ, который обволакиваетъ ее, и, въ концѣ концовъ, она сама сливается съ этимъ туманомъ. Въ этомъ опять-таки обнаруживается вліяніе провансальской поэзій. Существовало правило вѣчно восторгаться, но никогда не указывать, кѣмъ восторгаетесь.

Во всякомъ случаѣ, въ своихъ сонетахъ Данте — не выше своихъ предшественниковъ и современниковъ: Гвиничелли, Каваль-

канти, Чино ди-Пистойя. Только впоследствии, при Петраркѣ, любовная поэзія достигаетъ своего апогея и оказываетъ вліяніе на другія европейскія литературы. Что же касается Данте, то было бы, однако, несправедливо сравнивать Беатриче сонетовъ съ Беатриче „Божественной Комедіи“; было бы несправедливо смѣшивать молодого, даровитаго поэта, упражняющагося въ *bello style*, — съ гениемъ, умудреннымъ опытомъ и созерцаніемъ, создающимъ произведеніе, которое должно было обнять „небо и землю“, тайну человѣческаго существованія и тайну вселенной. Любовь, воспѣваемая въ „Божественной Комедіи“, не имѣетъ ничего общаго съ поэтической болтовней молодого флорентинца. Въ поэмѣ любовь понята совершенно иначе: это — космическій принципъ, нѣчто въ родѣ громаднаго потока, протекающаго по „великому морю бытія“. Восходящая лѣстница этой всемірной любви образуется изъ физическаго движенія, растительной жизни, жизни животной и, наконецъ, духовной. Будучи на своихъ низшихъ ступеняхъ только механическимъ закономъ и инстинктомъ, любовь превращается въ этическій принципъ, когда просвѣтлена разумомъ. Зародыши этой концепціи мы видѣли у Платона, котораго одни называютъ Гомеромъ философіи, а другіе — отцомъ всяческой лжи. Но Данте заимствовалъ ее, главнымъ образомъ, у блаженнаго Августина, у Боэція, у св. Бонавентуры и другихъ мистическихъ писателей среднихъ вѣковъ. Поразительная оригинальность Данте, этого Гомера католицизма, заключается въ томъ, что онъ съ необыкновенной силой воображенія ухватился за эту идею и построилъ на ней настоящій космосъ. Мы не имѣемъ возможности войти здѣсь въ подробности постройки этого космоса, но замѣтимъ только, что въ немъ Богъ появляется на вершинѣ бытія, какъ величайшая любовь и величайшій свѣтъ, и распространяетъ свои живительные лучи на всѣ существа, согласно степени ихъ относительнаго совершенства. По естественному закону ассоціаціи идей, вспоминая свое прошлое и думая о своемъ настоящемъ несчастіи, —

...Nessun maggior dolore  
Che ricordarsi del tempo felice  
Nella miseria...

— Данте снова увидѣлъ своимъ умственнымъ взоромъ молодую дѣвушку, которая первая заставила сильно биться его сердце; ея образъ остался дѣвственно-чистымъ, и въ его поэтическомъ воображеніи она превратилась въ граціозный символъ идеальной любви. Въ этой новой роли, дочь Фольево Портинари, — если она

была этой молодой дѣвушкой, — совершенно преобразуется: по временамъ она кажется полнѣйшей персонификаціей божественной мудрости, и два столѣтія спустя, когда Рафаэль задумалъ показать аллегорическую фигуру богословія, въ своей знаменитой фрескѣ ватиканской Stanza, онъ богословіе изобразилъ въ той формѣ, въ которой Беатриче предстала предъ Данте въ земномъ раѣ:

*Sovra candido vel, cinta d'oliva,  
Donna m'apparve, sotto verdo manto,  
Vestita di color di fiamma viva. (Purg. XXX, 31—33.)*

(Подъ бѣлымъ покрываломъ, опоясанная оливковыми вѣтками, появилась передо мною женщина; на ней былъ зеленый плащъ, а платье было цвѣта яркаго пламени.)

Это окончательное преображеніе Беатриче приводитъ насъ къ третьему рѣшенію поставленной задачи. Мы говоримъ о той „психологической“ теоріи, которую предложилъ Карлъ Витте.

Вполнѣ признавая, что Данте въ „Божественной Комедіи“ является правдолюбѣйшимъ католикомъ и вѣрнѣйшимъ сыномъ церкви, — каковымъ въ сущности онъ и былъ въ дѣйствительности, несмотря на его жестокія выходки противъ папъ, — Карлъ Витте тѣмъ не менѣе спрашиваетъ себя: всегда ли Данте былъ такимъ правдолюбивымъ католикомъ, и не было ли въ его прошломъ момента сомнѣній и скептицизма? По мнѣнію Витте, такой моментъ былъ. Онъ утверждаетъ, что существуетъ тѣсная, органическая связь между тремя сочиненіями Данте: „Vita nuova“, „Convito“ и „Божественная Комедія“. Эти три сочиненія образуютъ какъ бы трилогію, въ которой Данте изображаетъ три фазиса своей собственной жизни и жизни человѣчества: исторію наивной вѣры, затѣмъ сомнѣній и, наконецъ, возврата къ вѣрѣ, — возврата, полного испытаній и раскаяній. Въ этой системѣ „Vita nuova“ представляетъ первый фазисъ — фазисъ чистой, дѣтской вѣры, не знающей анализа; этотъ фазисъ заканчивается смертью Беатриче. Съ той минуты, по мнѣнію Витте, душа Данте погружается въ сомнѣнія; онъ перестаетъ вѣрить въ милосердіе Бога и находитъ утѣшеніе только въ наукѣ. Не самъ ли онъ объявляетъ въ „Convito“, что его „дамой милосердія“ стала философія, утѣшавшая его настолько, что онъ почти забылъ Беатриче? И дѣйствительно, въ „Convito“ Данте задумалъ дать нѣчто въ родѣ энциклопедіи всего знанія своего времени. Но человѣческая мудрость, — разсуждаетъ дальше Витте, — убаюкивая насъ нѣкоторое время сладкими мечтами, въ концѣ концовъ, не даетъ намъ ничего, и мы остаемся съ прежними сомнѣніями. Всѣ эти

сомнѣнія испыталъ и Данте, и первыя пѣсни „Божественной Комедіи“ посвящены имъ. Мрачный, дикій лѣсъ (*selva selvaggia*), „воспоминаніе о которомъ ужаснѣе смерти“, — лѣсъ, въ которомъ поэтъ очутился „на половинѣ пути своей жизни“ (*nel mezzo del camin di postgra vita*), олицетворяетъ упадокъ духа, вызванный сомнѣніями, а адъ въ цѣломъ является лишь аллегоріей всѣхъ тѣхъ порочныхъ страстей, которымъ поэтъ подчинился, когда, отказавшись отъ высшаго откровенія, онъ мнилъ руководствоваться лишь разумомъ человѣческимъ. Борьба продолжалась долго, мучительно, — въ концѣ концовъ, вѣра восторжествовала; въ самомъ началѣ его пилигримства мы его видимъ расказывающимся и ищущимъ „прямой дороги“. Такимъ образомъ, приготовленный въ воспріятію божественной благодати, онъ вступаетъ въ чистилище, гдѣ находитъ Беатриче — прежнюю вѣру, — и его духъ, освобожденный отъ сомнѣній, поднимается до рая и созерцаетъ тамъ высшую истину.

Безъ всякаго сомнѣнія, мысль изобразить Данте въ образѣ Фауста или Манфреда среднихъ вѣковъ — мысль въ высшей степени заманчивая. Гипотеза Витте въ особенности тѣмъ интересна, что онъ какъ бы сближаетъ насъ съ поэтомъ, а его поэму превращаетъ въ комментарий нашего собственнаго душевнаго состоянія, такъ часто встрѣчающагося въ наше время. И въ самомъ дѣлѣ, — питать вначалѣ наивную, дѣтскую вѣру, — подобно Фаусту въ юности; потомъ, — подобно тому же Фаусту, — извѣряться, броситься въ науку съ цѣлью проникнуть въ тайны вещей; сознаться затѣмъ, — опять-таки подобно Фаусту, — что наука не ведетъ ни къ истинѣ, ни къ счастью; говорить себѣ, — подобно Манфреду, — что „древо науки не есть древо жизни“; наконецъ, въ отчаяніи, „сомнѣваясь даже въ сомнѣніи“, снова возвратиться къ вѣрѣ, лишь бы только не думать, не искать роговой разгадки, — не интимная ли это повѣсть многихъ людей или, вѣрнѣе, не исторія ли это всего XIX столѣтія? — И дѣйствительно, Витте правъ: все это мы, въ самомъ дѣлѣ, находимъ въ „Божественной Комедіи“: эта великая поэма похожа на драгоценный, древній палимпсестъ; стѣбитъ только снять съ него схоластическій слой, чтобы увидѣть родныя намъ писмена, въ которыхъ изображена исторія нашего собственнаго сердца.

Все это, несомнѣнно, такъ; но не приписываемъ ли мы великому флорентинцу начала четырнадцатаго столѣтія идеи и чувства, которыя, въ сущности, составляютъ принадлежность нашего времени? Мы привыкли видѣть разумъ въ антагонизмъ съ вѣрой, а науку — если не врагомъ вѣры, то въ разладѣ съ нею. Такъ ли,



однако, было въ эпоху Данте, Томы Аквината, Бонавентуры? Предположить, какъ предполагаетъ, между прочимъ, Скартаццини, что схоластика, задавшись цѣлью примирить разумъ съ церковью, тѣмъ самымъ явилась какъ бы бунтомъ противъ вѣры, и поэтому считать, наприимѣръ, Тому Аквината предшественникомъ Спинозы или Гегеля, по меньшей мѣрѣ, странно. Дѣло не въ томъ, какъ мы, въ наше время, подчиняясь нашимъ умственнымъ привычкамъ, можемъ толковать схоластиковъ, какіе выводы можемъ мы дѣлать изъ ихъ положеній, — дѣло въ томъ, чѣмъ были они сами по себѣ, безотносительно къ дальнѣйшему ходу философской мысли, каковы были ихъ личный кругозоръ. Конечно, восходя назадъ, въ прошлое, по лѣстницѣ уже пройденнаго умственнаго движенія, логическимъ путемъ, отъ положенія въ положенію, мы, пожалуй, и придемъ къ заключенію, что наприимѣръ св. Ансельмъ былъ отцомъ рационализма; но если онъ и приуготовилъ путь къ рационализму, то во всякомъ случаѣ невольно, „не вѣдая, что творить“. И дѣйствительно, если средніе вѣка и прибѣгали къ аргументаціи разума въ дѣлѣ познанія высшихъ истинъ, то не для того, чтобы отрицать или даже только контролировать вѣру, а для того лишь, чтобы дополнить ее, сдѣлать болѣе понятной. Философія находилась въ полномъ согласіи съ вѣрой, и Аристотель только потому былъ избранъ высшимъ авторитетомъ, что, по мнѣнію среднихъ вѣковъ, былъ истинный слуга вѣры. Для св. Ансельма, также какъ для св. Томы и Данте, наука была „услугою души, супругой Бога, его сестрой и дочерью дорогой“, именно потому, что являлась не болѣе, какъ прославленіемъ Слова, человѣческимъ выраженіемъ божественной истины.

Конечно, и схоластики переживали періодъ смутъ, тревогъ и сомнѣній, но эти сомнѣнія были не наши сомнѣнія: они не касались ни основъ, ни даже формъ откровенія. Вѣра въ догматы была неповолебима, и если сомнѣвались, то сомнѣвались лишь въ разумъ или, вѣрнѣе, въ человѣческую способность пользоваться имъ надлежащимъ образомъ. Въ наше время дѣло происходитъ какъ разъ наоборотъ: мы вѣримъ въ разумъ человѣческій, и только въ одинъ разумъ, а сомнѣваемся лишь въ одной вѣрѣ. Къ тому же между *сомнѣніями* среднихъ вѣковъ и *сомнѣніемъ*, безпредѣльнымъ, всеобщимъ сомнѣніемъ нашего времени, — цѣлая пропасть, такая же пропасть, какъ между „Credo quia absurdum“ среднихъ вѣковъ и „Cogito ergo sum“ родоначальника современной философіи. Изъ этого, однако, вовсе не слѣдуетъ, чтобы схоластика, признавая полное согласіе разума съ откровеніемъ, не видѣла іерархической, если можно такъ выразиться,

разницы между ними. Разницу она видѣла; она думала, что разумъ человѣческій неспособенъ доказать или даже просто понять истинъ божественнаго разума, но въ то же время она не допускала возможности, чтобы разумъ могъ отрицать какую-либо изъ божественныхъ истинъ, и, основываясь на этой неспособности, схоластика приходила не къ сомнѣнiю въ догматѣ, а лишь къ тому, что догматъ выше человѣческаго разума. Въ такомъ именно смыслѣ высказывается и Данте въ „Чистилищѣ“: „Безуменъ тотъ, кто надѣется, что разумъ можетъ проникнуть въ безконечную тайну, заключающую въ одномъ существѣ три вещи. Удовлетворись, о, родъ человѣческій, однимъ вопросомъ: какъ? Еслибы вы могли все видѣть, то не нужно было бы, чтобы Марія зачала. И тѣ напрасно желали, которыхъ тогда было бы удовлетворено желанiе, на вѣчное время возложенное, какъ страданiе. Я говорю объ Аристотелѣ, Платонѣ и многихъ другихъ“ (Purg., III, 33—44). Слова эти Данте влагаеть въ уста Виргилия, а Витте ссылается на нихъ, какъ на доказательство своей гипотезы; но можно ли въ нихъ отыскать что-либо противорѣчащее основному принципу католицизма или просто несогласное съ нимъ? Не менѣе странно также желанiе объяснить въ смыслѣ сомнѣнiя тѣ фразы изъ „Convito“, въ которыхъ Данте говоритъ о томъ, что философiя не боится „борьбы сомнѣнiй“, хотя тутъ же онъ опредѣляетъ и значенiе этого выраженiя, прибавляя: „ни трудностей изученiя“ (Non teme labore di studio e lite di dubitazioni). То же самое можно сказать и о всѣхъ другихъ мѣстахъ, на которыя ссылается Витте. Въ самомъ важномъ мѣстѣ своей поэмы, тамъ, гдѣ Беатриче открываетъ Данте тайны творенiя (Paradiso, XXIX), поэтъ символически обращается къ солнцу и лунѣ, которые лишь на самое короткое время „могутъ опоясаться однимъ и тѣмъ же горизонтомъ“; затѣмъ беретъ другое сравненiе — вѣсы, которыя только изрѣдка бываютъ въ полномъ равновѣсiи; онъ обозначаетъ точно также iерархическую разницу между знанiемъ человѣческимъ и божественнымъ откровенiемъ, но ни однимъ словомъ не говоритъ ни о ихъ несовмѣстности, ни о ихъ разладѣ. Ни въ одномъ мѣстѣ знанiе не играетъ у него роли антагониста вѣры, нигдѣ не высказываетъ онъ сожалѣнiя въ томъ, что занимался философiей, нигдѣ онъ не отказывается отъ тѣхъ восторженныхъ похвалъ, которыя рсточаль философiи въ „Convito“. Наконецъ, необходимо прибавить, что и „Convito“ написано въ 1308 году или нѣсколько ранѣе, слѣдовательно долго послѣ того, какъ Данте пришелъ къ мысли написать „Божественную Комедию“, и когда известная часть

поэмы была уже, безъ всякаго сомнѣнія, написана. Такимъ образомъ, и хронологія несогласна съ „психической теоріей“. И въ самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ Алигьери могъ, въ качествѣ автора, въ 1308 году возвратиться къ періоду, который онъ давно уже пережилъ, какъ мыслитель? Кавимъ образомъ могъ онъ въ „Convito“ увлекаться, безъ малѣйшей оговорки, философіей, которой вредное направленіе онъ заклеилъ, будто бы, гораздо раньше?

Но, кромѣ этихъ общихъ разсужденій въ пользу защищаемаго нами положенія, существуютъ еще и другія соображенія, специально литературныя. Внимательное чтеніе „Божественной Комедіи“ показываетъ намъ съ какимъ удивительнымъ искусствомъ и какъ часто поэтъ обнаруживаетъ свои личныя чувства при видѣ грѣшниковъ или угодниковъ, видъ которыхъ вызываетъ въ его душѣ воспоминанія счастья или страданія, событія или катастрофы въ его собственной жизни. Объ этомъ субъективномъ элементѣ поэмы мы уже имѣли случай упомянуть раньше. Данте пользуется всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобы говорить о своихъ тревогахъ или страданіяхъ, симпатіяхъ и антипатіяхъ, борьбѣ, радостяхъ, усиліяхъ, любимыхъ и враждебныхъ ему идеяхъ и ученіяхъ. Вообще, Данте—одинъ изъ самыхъ субъективныхъ поэтовъ, и при каждомъ изъ этихъ случаевъ его голосъ раздается съ необыкновенной силой страсти. Во время своего пилигримства по сверхчувственнымъ сферамъ, онъ имѣетъ случай часто говорить о заблужденіяхъ человѣческаго разума, и еслибы гипотеза Витте была справедлива, еслибы самъ Алигьери перешелъ черезъ роковое испытаніе сомнѣнія, то тутъ-то именно онъ могъ бы высказаться вполне, тутъ-то именно мы бы услышали тотъ крикъ совѣсти и страданія, къ которому поэтъ приучилъ насъ—всякій разъ, когда его сердце было тронуту. Даже больше—тутъ-то именно мы бы невольно почувствовали, что кульминаціонный пунктъ поэмы приближается, потому что именно тутъ, въ коллизіи сомнѣнія съ вѣрой, находился бы главный, существенный, патетическій интересъ какъ для поэта, такъ и для насъ.

Между тѣмъ въ поэмѣ мы не встрѣчаемъ ничего подобнаго. Вездѣ, гдѣ дѣло касается родины, любви, славы, изгнанія, церкви, государства, мы слышимъ рыданія великаго поэта; но странное дѣло, только въ присутствіи невѣрующихъ Данте сохраняетъ полное самообладаніе, остается безучастнымъ зрителемъ и холоднымъ наблюдателемъ, какъ будто бы находится въ присутствіи воровъ и мошенниковъ, какъ будто бы у него нѣтъ ничего общаго съ этими невѣрующими, какъ будто бы ничто въ прошломъ не на-

поминало ему подобнаго паденія или, по крайней мѣрѣ, подобнаго заблужденія. Даже больше—стоитъ только внимательно рассмотреть общій планъ „Божественной Комедіи“, чтобы убѣдиться, что не грѣшники этой категоріи составляютъ этический и патетическій центръ поэмы. Поэтъ нашего времени, конечно, не такъ бы освѣтилъ задачу. Клопштокъ, жившій въ умственной средѣ Вольфа и Лейбница, Мильтонъ, который былъ современникомъ Спинозы, и даже Торквато Тассо, бывшій свидѣтелемъ реформы, говоря о величии человѣческаго разума и систематическомъ отрицаніи, сумѣлъ найти въ своемъ сердцѣ звуки и образы, которые по своей силѣ далеко превосходятъ дантовскія терцины о невѣрующихъ. Вспомните, напримѣръ, у Мильтона, въ „Потерянномъ раѣ“, слова сатаны:

And thou, profoundest Hell,  
Receive thy new possessor; one who brings  
A mind not to be changed by place or time.  
The mind is its own place, and in itself  
Can make a Heav'n of Hell, a Hell of Heav'n.  
What matter where, if I be still the same,  
And what I should be, *all...*

(„Paradise lost“, 1, 251—257),

(„А ты, глубокой адъ, принимай своего новаго владѣльца! Онъ приноситъ тебѣ духъ, котораго не поколеблютъ ни мѣсто, ни время. Духъ въ самомъ себѣ находитъ 'убѣжище; онъ можетъ превратить адъ въ небо и небо въ адъ. Не все ли равно, гдѣ я буду? лишь бы я былъ тѣмъ, чѣмъ долженъ быть, *всѣмъ*“...) Это уже далеко не схоластическія противопоставленія Данте, это ужъ почти тотъ принципъ тождества, который мы встрѣчаемъ въ философіи Гегеля, это почти отчаянный крикъ извѣровавшагося Байрона въ „Манфредѣ“ и въ „Каинѣ“, отрицаніе во всей своей философской глубинѣ. Въ „Божественной Комедіи“ вы не встрѣтите ничего подобнаго.

Войдемте въ тотъ кругъ дантова „Ада“, гдѣ томятся несчастные, грѣшившіе разумомъ. Вы, можетъ быть, думаете, что встрѣтите здѣсь мыслителей, отрицавшихъ истины религіи и морали? Ничуть не бывало. Здѣсь вы встрѣчаете просто людей, которые, будучи одарены высшимъ умомъ, злоупотребляютъ имъ при жизни, давая дурные... политическіе совѣты. Напримѣръ, Улиссъ, посовѣтовавшій сооруженіе деревяннаго коня; Монтефельтро, посовѣтовавшій папѣ „много обѣщать, но ничего не исполнять“; Бертранъ де-Борнь, извѣстный трубадуръ и рыцарь, посовѣтовавшій Плантагенету возмутиться противъ собственнаго

отца. Единственный философъ, котораго Данте посадилъ въ адъ, есть Эпикуръ; онъ помѣстилъ его среди „еретиковъ“, на границахъ невоздержности и злобы, какъ и всѣхъ тѣхъ, которые „губятъ душу вмѣстѣ съ тѣломъ“ (Inferno, X, 14—15), — ясное, какъ намъ кажется, доказательство, что Данте понималъ скептицизмъ лишь какъ слѣдствіе чувственныхъ побужденій и какъ матеріальную цѣль.

Еще ярче выступаетъ у Данте непониманіе философскаго отрицанія въ томъ, о чемъ онъ умалчиваетъ, въ томъ, что онъ обходитъ, потому ли, что онъ считаетъ это нестоющимъ вниманія, потому ли, что объ этомъ-то именно онъ не хотѣлъ высказаться. Возьмите, напримѣръ, старую какъ міръ мысль, что Богъ поставилъ предѣлы человѣческой пытливости, что предѣлы эти опасно переступать. Народныя вѣрованія и поэзія создали цѣлый рядъ великихъ типовъ, въ которыхъ такъ или иначе воплощается эта идея. Античный міръ имѣлъ своего Прометея; мы имѣемъ Фауста, Манфреда, Каина, наконецъ Донъ-Жуана, въ томъ видѣ, въ какомъ его понялъ романтизмъ у Габбе и Ленау и у графа А. К. Толстого. Напрасно, однако, искали бы мы подобной фигуры въ „Божественной Комедіи“. Самое имя Прометея ни разу не упоминается въ поэмѣ, въ которой такъ много классическихъ реминисценцій. Еще страннѣе, что даже имя библейскаго Іова, роптавшаго на велѣнія Господа, не нашло себѣ мѣста въ пандемониумѣ Данте, наполненномъ, однако, всѣми патриархами, начиная съ Адама и кончая Товіемъ. Одна лишь фигура во всемъ „Адѣ“ какъ будто бы приближается къ этому типу, но стоитъ только вспомнить, что эта фигура — Улиссъ, чтобы убѣдиться какъ нерельефно отгнѣнена титаническая мысль, которая у современнаго намъ поэта непремѣнно выступила бы на первый планъ. Улиссъ, претерпѣвающій мученія за то, что не сумѣлъ противостоятъ желанію „изслѣдовать міръ и знать пороки и добродѣтели людскіе“, томящійся въ вѣчномъ пламени за то, что попробовалъ переступить „тотъ узкій проливъ, гдѣ самъ Гераклъ указалъ границу двумя знаками, запрещающими человѣку подвигаться дальше“ (Infer. XXVI, 107—109) — вотъ единственный Фаустъ, единственный Прометей дантова „Ада“; особенность эта очень замѣчательна; она указываетъ на границы метафизическаго генія Данте и на кругозоръ не только „Божественной Комедіи“, но и всѣхъ среднихъ вѣковъ. Данте, какъ и средніе вѣка, не зналъ сомнѣнія, въ широкомъ, философскомъ значеніи этого слова. Конечно, отрицаніе ему извѣстно, ибо для него, какъ и для всякаго вѣрующаго, всякій грѣхъ есть уже отрицаніе Бога и является

слѣдствіемъ страстей и интересовъ человѣческихъ; но ему неизвѣстно абсолютное, метафизическое отрицаніе, то безгорыстное, безстрастное отрицаніе, которое разрушаетъ для того лишь, чтобы разрушать, роковымъ образомъ, которое разрушаетъ все,—однимъ словомъ, тотъ духъ, „который вѣчно отрицаетъ“, какъ его выражаетъ гётевскій Мефистофель. Въ громадномъ спискѣ грѣховъ, развертывающемся въ „Аду“, недостаетъ одного главнаго грѣха — грѣха абсолютнаго отрицанія, безпредѣльнаго исканія. Этого грѣха не было ни въ совѣсти великаго поэта, ни въ сознаніи его современниковъ. Данте, разсматриваемый въ совокупности несомнѣнныхъ фактовъ, не сквозь призму „психологической“ теоріи Карла Витте, былъ человѣкъ вѣры, ортодоксальный католикъ, и въ этомъ смыслѣ онъ ничѣмъ не выдѣляется отъ другихъ представителей среднихъ вѣковъ. Онъ признавалъ не только всѣ догматы вѣры, но и постановленія церкви; лучшимъ доказательствомъ этого можетъ служить то знаменитое мѣсто „Божественной Комедіи“, которое могло бы быть названо въ тѣсномъ смыслѣ слова *profession de foi* Данте: „...я вѣрую въ Бога единаго и вѣчнаго, неподвижнаго, однако движущаго все небо,—любовью и желаніемъ. И для этой вѣры, у меня не только нѣтъ физическихъ или метафизическихъ доказательствъ, но я ихъ нахожу еще въ истинѣ, ниспускающей сюда, черезъ Моисея, черезъ пророковъ, черезъ псалмы, черезъ евангеліе и черезъ васъ, которые писали послѣ того, какъ пламенный духъ осѣнилъ васъ. И я вѣрую въ вѣчныя три лица, и считаю ихъ однимъ лицомъ, до такой степени однимъ и до такой степени тройственнымъ, что они допускаютъ одновременно и *sunt* и *este*. Глубокая божественная природа, о которой я только-что говорилъ, напечатлѣлась много разъ въ моемъ умѣ съ помощью евангельскаго ученія. Вотъ принципъ, вотъ искра, которая потомъ расширяется въ живое пламя и пылаетъ во мнѣ, какъ звѣзда на небѣ“ (Parad., XXIV, 130—147).

Положеніе, только-что мною высказанное о правотѣ католицизма Данте, не разъ оспаривалось самымъ настойчивымъ образомъ. Уго Фосколо и Россетти старались доказать, что Альтъери былъ главнымъ предводителемъ громаднаго масонскаго братства, въ тайнѣ работавшаго, въ XIII и XIV столѣтіяхъ, надъ уничтоженіемъ католической церкви. Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, Ару увидѣлъ въ „Божественной Комедіи“ „комедію альбигойскую“ и изобразилъ великаго флорентинца самымъ опаснымъ еретикомъ. Съ другой стороны, ревностные протестанты не разъ съ злорадствомъ указывали на множество „реформаторскихъ элементовъ“ въ дантовыхъ терцинахъ и провозглашали Данте пред-

пешвенникомъ Лютера. Но всѣ эти мнѣнія рушатся сами собою при внимательномъ чтеніи „божественной поэмы“. Въ настоящую минуту никто ужъ не сомнѣвается въ полной ортодоксальности великаго флорентинца. Конечно, Данте, не стѣсняясь, обвиняетъ политику римской курии и распущенность католическаго духовенства. Начиная со сцены въ кругу симоньяковъ, гдѣ, погруженный въ узкую дыру, головою внизъ, весь въ пламени, папа Николай III, ошибаясь при приближеніи Данте и принимая его за Бонифація VIII, тогда занимавшаго еще папскій престоль, кричитъ ему: „Какъ, это ты, Бонифацій?“ — начиная съ этой сцены, которой смѣлость не уступаетъ смѣлости Аристофана, и кончая словами, произносимыми св. Петромъ противъ вырождающагося папства, — сколько ужасныхъ, горькихъ, безпощадныхъ обвиненій! Но на основаніи этихъ обвиненій нельзя еще заключить объ еретичествѣ Данте. Въ средніе вѣка подобныя обвиненія встрѣчаются часто, и среди этихъ обвинителей мы видимъ людей, подобныхъ св. Бернарду. Оно и понятно: церковь допускала эти вольности, лишь бы самый принципъ вѣры не былъ затронутъ...

Такимъ образомъ, мы не отыскали ни въ „Божественной Комедіи“, ни въ условіяхъ жизни Данте, ни въ строѣ его мысли, ни въ характерѣ его вѣрованій той психологической коллизіи, о которой говоритъ Карлъ Витте. Въ душѣ и совѣсти Данте, ни раньше, ни послѣ „Божественной Комедіи“, ни въ теченіе бурной политической жизни не происходило той внутренней, тяжелой, по временамъ гибельной борьбы, между зарождающимся сомнѣніемъ и потухающей вѣрой, которая сдѣлалась такимъ частымъ явленіемъ въ области отвлеченной мысли въ наше время. Но если Данте не переживалъ внутренняго, душевнаго кризиса, то, можетъ быть, существовалъ неизбѣжный антагонизмъ между нимъ, какъ писателемъ извѣстныхъ политическихъ и государственныхъ идеаловъ и окружающимъ міромъ? Этотъ вопросъ приводитъ насъ къ послѣднему рѣшенію задачи, и мы принуждены, по крайней мѣрѣ, въ нѣсколькихъ словахъ охарактеризовать роль Данте, какъ политическаго дѣятеля.

Данте жилъ въ одну изъ тѣхъ переходныхъ, сѣрыхъ, безпорядочныхъ эпохъ, которыя не безъ основанія были названы критическими, въ противоположность эпохамъ органическимъ, болѣе цѣльнымъ и стройнымъ. Безъ опредѣленнаго характера, безъ положительныхъ цѣлей, безъ установившагося идеала, XIII-е столѣтіе, тѣмъ не менѣе, обозначаетъ собою крайнюю грань, съ которой началось рѣшительное преобразование европейскаго обще-

ства. У средних вѣковъ, несомнѣнно, былъ свой идеалъ, и нельзя не видѣть, что этотъ идеалъ былъ не изъ мелкихъ: въ духовномъ отношеніи единство христіанства подъ главенствомъ папы, въ государственномъ и политическомъ—единство подъ главенствомъ императора. Правда, идеалъ этотъ никогда не былъ осуществленъ вполне, но въ жизни средних вѣковъ его присутствіе сильно чувствуется, и вліяніе его привело къ замѣчательнымъ результатамъ; оно соединило въ одну общую, громадную ассоціацію всѣ католическія народности, когда наступило время крестовыхъ походовъ; въ религіозной, политической, научной дѣятельности идеалъ этотъ придалъ тогдашней Европѣ однородность развитія, создавъ общность интересовъ и чувствъ; на всю Европу онъ навелъ однообразный, космополитическій лоскъ одной цивилизаціи.

Но съ началомъ XIII-го вѣка идеалъ этотъ начинаетъ меркнуть и испаряться, великодушный порывъ крестовыхъ походовъ не возобновляется; связи, соединявшія въ одно всѣ европейскія народности, начинаютъ ослабѣвать; во всѣхъ проявленіяхъ жизни замѣчается стремленіе къ обособленности, къ индивидуализму. Вульгарные, т.-е. народные діалекты начинаютъ быстро развиваться и заступать мѣсто всемірнаго латинскаго языка. Церковь прекращаетъ свои обширныя завоеванія, реформируется съ помощью нищенствующихъ орденовъ и частыхъ соборовъ. То же самое замѣчается и въ политическомъ обществѣ. Идеалъ главенства священной имперіи блѣднѣетъ въ виду усиливающагося, автономнаго движенія народностей; третье сословіе начинаетъ сознавать свою силу. Медленно, по временамъ совершенно незамѣтно начинаютъ возникать тѣ основанія, на которыхъ впоследствии вырастаетъ современная намъ Европа. Гизо отлично видитъ этотъ преобразовательный характеръ XIII-го вѣка и придаетъ ему особенную историческую важность, хотя, рассматриваемая безотносительно, эта эпоха не имѣетъ опредѣленнаго характера; движеніе безъ опредѣленнаго направленія, дѣятельность безъ результата; государство, дворянство, духовенство, третье сословіе, всѣ элементы общественнаго строя точно вертятся, какъ бѣлка въ колесѣ, одинаково неспособные ни къ покою, ни къ поступательному движенію впередъ.

Не мудрено, что это время неопредѣленнаго шатанія, безъ руководящей идеи, было ненавистно великому поэту, увлеченному гармоніей сферъ. Данте было всего три года отъ рожденія, когда въ Неаполѣ погибъ на эшафотѣ молодой несчастный Конрадинъ, послѣдній отпрыскъ Гогенштауфеновъ. Уже взрослымъ онъ видѣлъ вавилонское плѣненіе папства. Общественная перестройка



подвигалась медленно и была замѣтна современникамъ, только благодаря увеличивавшимся грудамъ мусора. Въ своей собственной родинѣ, въ благодатной Флоренціи, Данте видѣлъ всеобщую анархію, безпорядокъ, смѣшеніе идей, языковъ, партій. Увлеченный этимъ вихремъ, онъ и самъ въ молодыхъ годахъ колеблется: отъ *peggi ome* переходитъ къ *bianchi*, отъ *popolo grasso* къ *popolo minuto*, отъ гвельфовъ къ гибеллинамъ. Теперь, на разстояніи нѣсколькихъ столѣтій, мы знаемъ, къ какимъ результатамъ привело это движеніе, казавшееся бессмысленнымъ и безцѣльнымъ; ему мы обязаны тѣмъ, что Флоренція сдѣлалась новыми Афинами, стала родиной бессмертныхъ гениевъ: Алигьери и Джіотто, Микель-Анджело и Маккиавелли. Но поэтъ, жившій среди этого неформившагося хаоса, не могъ всего предвидѣть, и судить строго свой родной городъ и свое время. Онъ не видѣлъ ни смысла въ этомъ шатаніи, ни выхода изъ него; онъ искалъ того, что могло бы спасти погибавшее, по его мнѣнію, человѣчество, и, такимъ образомъ, пришелъ къ созданію своеобразной, грандіозной политической системы, которая съ тѣхъ поръ и сдѣлалась руководительницей его жизни. Систему эту онъ изложилъ въ сочиненіи, озаглавленномъ „*De Monarchia*“, которое можетъ и должно служить главнымъ комментариемъ „Божественной Комедіи“.

Мы не имѣемъ возможности анализировать эту систему подробно. Укажемъ только на болѣе выдающіяся особенности. Прежде всего читателя поражаетъ то, что великій флорентинскій изгнанникъ совершенно не знаетъ, или, вѣрнѣе, не хочетъ знать національностей—двигательной пружины всей эпохи. Данте—восполнить въ самомъ обширномъ значеніи этого слова. „Для меня,—говоритъ Алигьери въ своемъ сочиненіи: „*De vulgari eloquentia*“,—мое отечество—вселенная, какъ для рыбы отечествомъ является море“. По его мнѣнію, всѣ несчастія настоящаго происходятъ оттого, что родъ человѣческой расчленился. Изъ этого, однако, не слѣдуетъ, чтобы онъ не признавалъ или не видѣлъ этнографическихъ, такъ сказать, различій. Напротивъ, онъ до известной степени считаетъ даже нужнымъ известную автономность частей, но надъ всѣмъ этимъ, — говоритъ онъ, — должна выситься одна высшая воля, которая представляла бы собой единство цѣли. Это единство необходимо какъ въ духовномъ мірѣ, такъ и въ политическомъ. Человѣчество нуждается въ папѣ для своего спасенія, въ императорѣ—для своего благоденствія. Это единство онъ видитъ осуществляющимся въ римской имперіи. Съ самой убѣдительною логикой, съ огромными талантами, хотя съ оригинальными

приемами, онъ защищаетъ свой тезисъ и дѣлаетъ его руководящей идеей всей своей политической жизни, въ то самое время, какъ совершенно противоположный принципъ начинаетъ управлять движеніемъ Европы. Онъ призываетъ на помощь религію и науку, евангеліе и Аристотеля, библейскихъ пророковъ и поэтовъ древности, священную и свѣтскую исторію. Алигьери принимаетъ во всей цѣльности ту колоссальную фибцію среднихъ вѣковъ, которая видѣла въ имперіи Карла Великаго продолженіе имперіи Константина Великаго и Августа, въ римскомъ народѣ—народъ свыше избранный для осуществленія единства рода человѣческаго.

Персть божій,—говоритъ Данте,—также виденъ въ исторіи римскаго народа, какъ и въ исторіи еврейскаго. Евреи имѣли миссію создать всемірную религію, римляне—всемірное государство. Римляне имѣли своимъ родоначальникомъ Энея, въ которомъ соединяются три части свѣта: онъ имѣлъ своими предками Ассарика Фригійскаго, Дардана Европейскаго и Электру, дочь Атласа Африканскаго; у него было три жены: Креуза, дочь Пріама Азіатскаго, Дидона Карфагенская и Лавинія, мать альбанцевъ. Щитъ, упавшій съ небесъ въ то время, какъ Нума совершалъ свое жертвоприношеніе, бѣгство Клеліи, гуси, спасшіе Капитолій, градъ, помѣшавшій Аннибалу продолжать завоеваніе, — всѣ эти факты Данте приводитъ какъ доказательство того предопредѣленнаго значенія, которое долженъ былъ получить *Urbs*. Евангеліе отъ Луки не говоритъ ли ясно, что, при рожденіи Христа, Августъ приказалъ произвести перепись жителей всей земли? Своимъ рожденіемъ и своей смертію Христосъ какъ бы санкціонировалъ римское могущество: своимъ рожденіемъ онъ подтвердилъ адвѣтъ Августа и призналъ, умирая, судебную власть Тиверіа (въ его представитель, Пилатъ), ибо есть только одинъ законный судья, имѣющій право произнести законный приговоръ, и Христосъ захотѣлъ въ своемъ лицѣ подвергнуться законному наказанію за грѣхъ Адама. Данте съ восторгомъ цитируетъ Цицерона, который сказалъ, что Римъ не столько господствовалъ надъ міромъ, сколько ему покровительствовалъ. И если таковъ былъ характеръ языческой римской имперіи, то легко себѣ представить, какими добродѣтелями надѣлаетъ священную и христіанскую римскую имперію авторъ „*De Monarchia*“. Императоръ,—говоритъ онъ,—такъ же необходимъ, какъ и папа; онъ одинъ можетъ обезпечить за родомъ человѣческимъ миръ, справедливость, свободу.

Такимъ образомъ, Данте является въ политикѣ самымъ полнымъ представителемъ среднихъ вѣковъ, въ то самое время, когда

этот идеалъ среднихъ вѣковъ уже умираетъ: Гогенштауфены пали, а въ концѣ тринадцатаго вѣка и въ началѣ четырнадцатаго представители Габсбургскаго дома, желавшіе быть избранными въ императоры, принуждены были торжественно отречься отъ всякихъ правъ на страны за Альпами; въ Германіи мало-по-малу основываются автономныя герцогства. То же самое замѣчается и въ остальной части Европы: Франція централизуется, Италия дробится на королевства и республики, соплеменники Вильгельма Телля кладутъ основаніе ихъ независимости, фландрскіе города развиваютъ свою промышленность и расширяютъ свои вольности. Виллани, соотечественникъ и современникъ Данте, видитъ въ этомъ движеніи паденіе римскаго принципа, но въ глазахъ Данте всѣ эти симптомы будущаго — не болѣе какъ печальное, временное уклоненіе, нѣчто въ родѣ вторичнаго грѣхопаденія, и онъ требуетъ восстановленія священной римской имперіи, требуетъ, чтобы европейское человѣчество повернуло назадъ. Эта оригинальная драма пріобрѣтаетъ особенно жгучій интересъ, интересъ дѣйствительно патетическій, благодаря тому обстоятельству, что была минута, когда ретроградная мечта политическаго свитальца чуть было въ самомъ дѣлѣ не осуществилась. Эта мечта заразила своимъ ядомъ ничтожнаго лютцельбургскаго графа, долгое время бывшаго вассаломъ французскаго короля, но внезапно и неожиданно, благодаря случайности, возсѣвшаго на императорскій престолъ. Не успѣлъ онъ укрѣпиться на этомъ престолѣ, какъ объявилъ походъ на Римъ, — *Romezug*, — съ цѣлью поднять валавшееся въ пыли знамя Гогенштауфеновъ. Понятно, какое сильное впечатлѣніе это извѣстіе произвело на Данте. Нужно читать его „посланія“ къ Итали, къ Генриху VII, чтобы понять всю страстность, фанатическую, упорную прямолинейность и въ то же время величіе этого человѣка. Онъ возвѣщаетъ Итали скорое пришествіе этого „миролюбиваго Титана“, который водворитъ спокойствіе и справедливость. Пусть же Италия возстанетъ какъ одинъ человѣкъ, страхнетъ съ себя свой эгоизмъ и выйдетъ на встрѣчу этому миротворцу, этому новому цезарю.

Къ несчастію для политическаго мечтателя, „миролюбивый Титанъ“ подвигался, утопая въ крови. 24-го октября 1310 года императоръ Генрихъ VII появился въ Сузѣ; съ нимъ было, приблизительно, до пяти тысячъ воиновъ. Изъ Сузы онъ двинулся къ Турину, не встрѣчая никакого сопротивленія. Пріѣхавшимъ на-встрѣчу ему ломбардскимъ гибеллинамъ Генрихъ постарался разъяснить программу своей политики: онъ не знаетъ никакихъ партій, и самъ точно также не имѣетъ своей партіи, пришелъ

же къ нимъ ради всей страны, ради всѣхъ. Насколько принципъ этотъ былъ возвышенъ, настолько былъ онъ непрактиченъ по отношенію къ одичавшимъ партіямъ и толпамъ, которыя ни о чемъ иномъ и не помышляли, кромѣ того, чтобы удержать за собой добытую власть или же снова захватить ее въ ущербъ своимъ противникамъ. Тосканскіе гибеллины также представились императору, частью въ Лозаннѣ, частью въ Туринѣ. Можно предположить, на основаніи нѣкоторыхъ данныхъ, что и Данте въ это время видѣлся съ Генрихомъ и говорилъ съ нимъ. Его восторженность по отношенію къ Генриху еще болѣе усилилась, его душа ликовала, и онъ, безмолвствуя, возглагола въ глубинѣ своего сердца: „Взгляни, вотъ агнецъ Господень, который несетъ на себѣ грѣхи міра!“ По крайней мѣрѣ, такъ самъ онъ говоритъ въ позднѣйшемъ посланіи къ Генриху. Генрихъ продолжалъ свой походъ и вскорѣ появился въ Миланѣ, но тутъ въ первый разъ его идеальная система рѣзво столкнулась съ дѣйствительностью. Въ то время какъ Генрихъ тщетно предписывалъ отыскать пропавшую желѣзную корону въ Монцѣ, и подъ-конецъ принужденъ былъ короноваться поддѣльною, противъ него вспыхнуло восстаніе. Оно было подавлено, но вспыхнуло съ большей еще силой въ другихъ городахъ Ломбардіи; въ Лоди, Кремъ, Кремонѣ, Брешии; это не обошлось безъ подстрекательства со стороны флорентинцевъ, которые всѣми силами старались противодействовать Генриху. Данте съ самаго начала взиралъ гнѣвными очами на эту оппозицію своихъ соотечественниковъ; какъ ни естественна была она, Данте никакъ не могъ стать на ихъ точку зрѣнія. Все прошлое флорентинской демократіи, все достаточно оправдывало ихъ отказъ повиноваться возродившейся имперіи. Но всего этого Данте не понималъ. Онъ прикладывалъ къ нимъ мѣрило своихъ идеаловъ, которые для нихъ не имѣли никакого смысла. Онъ въ одно и то же время требовалъ отъ флорентинцевъ патриотизма и космополитизма—двухъ совершенно противоположныхъ въ то время началъ, которыя складывались, правда, въ гармоническое цѣлое въ его умѣ, но которыя въ дѣйствительности не допускали никакого соглашенія. Такъ образовалась та бездна, которая отделила взгляды Данте отъ политики флорентинцевъ. При страстной серьезности его воззрѣній въ немъ образовалось горькое сознаніе, что онъ осужденъ видѣть свою родину, любимую всѣмъ сердцемъ Флоренцію, рѣшительной и непримиримой противницей всѣхъ его надеждъ. Негодованіе и грусть—вотъ что онъ испытывалъ тогда, и подъ вліяніемъ этихъ чувствъ онъ написалъ посланіе къ флорентинцамъ, которое помѣчено: „Съ источниковъ Арно“. 0,

суевѣрнѣе изъ всѣхъ тусковъ,—говоритъ онъ, между прочимъ, въ этомъ посланіи,—безсмысленные столько же отъ низкихъ вашихъ побужденій, сколько и отъ природы! Вы не думаете о томъ, до какой степени во мракѣ ночномъ неизлечимое самообольщеніе заблуждается передъ очами людей разумныхъ, вы это не втолковываете вашему неразумію. Люди же разсудительные, не запятнавшіе себя на вашемъ пути, видятъ, какъ вы стоите на порогѣ темницы и какъ вы отклоняете каждаго сострадательнаго человѣка, который хотѣлъ бы освободить васъ, заключенныхъ, скованныхъ по рукамъ и по ногамъ. Пораженные слѣпотою, вы не сознаете, какъ властвуетъ надъ вами страсть, какъ она льститъ вамъ своимъ ядовитымъ шопотомъ и преграждаетъ вамъ пустыми угрозами возвратный путь, какъ она отдастъ васъ въ рабство грѣху и препятствуетъ вамъ повиноваться священнымъ законамъ, установленнымъ на основѣ естественной справедливости“.

Разумѣется, посланіе не произвело на флорентинцевъ желаннаго впечатлѣнія. Флоренція продолжала интриговать. Данте считалъ напраснымъ трудомъ терять время и изнурять силы въ Ломбардіи, въ то время какъ флорентинцы усиливались и укрѣплялись. Видя опасность, онъ обратился къ императору съ посланіемъ и безъ оцѣнокъ указалъ ему на главнаго, существеннаго врага, на Флоренцію, за покореніемъ которой послѣдуетъ,—такъ онъ думалъ,—и подчиненіе всѣхъ остальныхъ городовъ. „Развѣ ты не знаешь, — пишетъ онъ въ этомъ посланіи,—ты, достойнѣйшій изъ государей, и развѣ не видно тебѣ съ высоты твоего величія, гдѣ прячется эта смердящая лисица, безопасная отъ охотниковъ? Конечно, не въ стремительномъ По, не въ Тибрѣ утоляетъ свою жажду преступное животное, но отравляетъ пастию своею волны быстрого Арно, и Флоренція (неужели тебѣ это не извѣстно?)—има этой злобѣщей пагубы. Вотъ та змѣя, которая раздираетъ внутренности своей матери; вотъ тотъ разлагающійся звѣрь, который заражаетъ стадо своего господина; вотъ порочная и безбожная Мирра, которая сгораетъ послѣ объятій отца своего, Цинара; вотъ та нетерпѣливая любовница, которая, отвергая предназначенный ей судьбою бракъ, не только не постыдилась избрать воспрещеннаго ей судьбою же родственника (короля Роберта Неаполитанскаго, поддерживавшаго гвельфовъ), но, подобно Фуриі, возбуждала его къ войнѣ и подъ-конецъ, чтобы понести наказаніе за злоумышленную дерзость, повѣсилась на веревкѣ. Дѣйствительно, съ дикостью змѣи старается она разъять тѣло своей матери, направляя рога возстанія противъ Рима, который

создалъ ее по своему образу и подобію. По истинѣ, она извергаетъ заразительный паръ, отъ котораго сосѣднія стада неожиданно вымираютъ; приманкой лживой лести и вымысловъ она привлекаетъ къ себѣ ближайшихъ сосѣдей и, приблизивъ, обманываетъ ихъ. По истинѣ, она добивается объятій отца своего, съ преступной дерзостью порываясь, во вреду твоему, нарушить согласіе, данное верховнымъ епископомъ, этимъ отцомъ отцовъ. По истинѣ, велѣнію божественному противно поклоняться идолу своеволія, какъ дѣлаетъ эта безсмысленная, не красивъ, презирающая законнаго короля, предлагающая чуждому государю права, ей не принадлежащія, и создавая ему пагубную власть. Но пусть одичавшая женщина эта увидитъ, наконецъ, веревку, на которой она должна повѣситься“.

Легко себѣ представить, какое негодованіе вызвало это посланіе во Флоренціи. Когда, спустя нѣкоторое время, изъ политическаго благоразумія, флорентинское правительство возвратило большую часть изгнанныхъ bianchi, оно, однакожь, прямо исключило Данте изъ амнистіи. Возбуждая къ себѣ негодованіе во Флоренціи, онъ въ то же время не достигалъ цѣли, такъ какъ и Генрихъ VII не вынуждалъ его совѣтамъ. Въмѣсто того, чтобы направиться къ Флоренціи и тамъ раздавить гидру возстанія, какъ совѣтовалъ ему Данте, онъ изъ Кремоны отправился въ Павію и послѣ четырехъ-мѣсячной осады взялъ ее; затѣмъ онъ двинулся къ Генуѣ, гдѣ былъ торжественно встрѣченъ. Изъ Генуи планъ дѣйствія повелъ его въ Пизу; наконецъ, около половины апрѣля 1311 г., онъ очутился у стѣнъ Рима, гдѣ голова его должна была вѣчаться императорскою короною, какъ то обѣщалъ ему папа съ самаго начала. Въ это время большую часть Рима занималъ своими войсками Робертъ Неаполитанскій. Генриху была доступна лишь незначительная часть вѣчнаго города, съ Латеранскимъ соборомъ. Нѣмцы, правда, завладѣли Капитоліемъ, но доступъ къ храму св. Петра тѣмъ не менѣе былъ прегражденъ. Генриху же это послѣднее обстоятельство было всего важнѣе потому, что его высшимъ желаніемъ и божественнымъ освященіемъ всего дѣла было — короноваться тамъ императоромъ. Но онъ долженъ былъ преодолѣть себя, и коронованіе произведено было въ Латеранѣ особо назначеннымъ для этого папою кардиналомъ-легатомъ. Дѣла имперіи отъ этого не улучшились; возстаніе было почти повсемѣстно. Усмиряя бунты, Генрихъ достигъ до Буонконьенто; смертельная болѣзнь, зародышъ которой онъ получилъ еще въ Брешии, внезапно сразила его здѣсь, въ самый разгаръ несомнѣнныхъ надеждъ на покореніе и наказаніе его противниковъ.

Тѣло его было перевезено въ Пизу и торжественно погребено въ соборѣ. Съ нимъ сошелъ въ могилу цѣлый міръ упованій. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что Генрихъ, стремясь возстановить нѣмецкое господство въ Италіи, желалъ невозможнаго. Все политическое развитіе Италіи, сила отдѣльныхъ европейскихъ государствъ, перевѣсъ могущества Франціи, принципы римской курии и, наконецъ, положеніе дѣлъ въ Германіи,—все это преграждало окончательно путь къ осуществленію подобнаго дѣла. Его римскій походъ послужилъ лишь доказательствомъ (если это еще нужно было вообще доказывать), что идея средневѣковой имперіи уже отжила свой вѣкъ; его могильный склепъ скоронилъ и ее, и никогда болѣе она не воскресала. Ни одинъ уже нѣмецкій король не испытывалъ болѣе желанія потревожить ее покой; позднѣйшіе походы въ Римъ и вѣнчаніе императорскою короною его преемниковъ—Людвика Баварскаго, Карла IV и другихъ—уже не имѣли въ виду такихъ великихъ цѣлей. Время для подобныхъ опытовъ миновало безвозвратно.

Данте назначилъ Генриху одно изъ почетнѣйшихъ мѣстъ въ бѣлой ризѣ своего божественнаго рая. Его горе было глубоко. Всѣ надежды его погибли окончательно со смертію Генриха. Онъ пришелъ въ печальному убѣжденію, въ которомъ, однако, все еще скрывалась часть непотухавшихъ надеждъ,—въ убѣжденію, что императоръ явился слишкомъ рано, и что Италія еще неготова. Едва ли не онъ одинъ во всей Италіи пришелъ къ такому убѣжденію. Всѣ другіе, трезво смотрѣвшіе на политическія событія, на совершающееся передъ ними движеніе, ясно видѣли, что попытка Генриха не можетъ ни къ чему повести. Съ этой минуты фантазія поэта снова вступила въ свои права. Но и теперь, несмотря на пережитый опытъ, идеалистъ-мечтатель не отступалъ передъ очевидностью; онъ не совсѣмъ еще отказался отъ надеждъ на появленіе новаго спасителя Италіи, возстановителя нарушеннаго и подавленнаго средневѣкового порядка. Въ теченіе цѣлыхъ одиннадцати лѣтъ, которыя ему суждено было еще прожить, окончивши свою „Божественную Комедію“, онъ скитался по верхней Италіи, гостилъ у Канъ-Гранде въ Веронѣ, строилъ планы съ гибеллинами, агитировалъ въ пользу имперіи, ѣздилъ даже въ Венецію изъ Равенны съ тайнымъ порученіемъ Гвидо ди-Полента, и умеръ, возвратившись въ Равенну, печальный, утомленный, разбитый, но все еще вѣровавшій въ свой идеалъ всемірной имперіи.

Такимъ образомъ становится очевиднымъ, что политическія убѣжденія Данте коренились въ прошломъ, и, ратуя за возстанов-

леніе его, ратуя за возвратъ къ умиравшему прошлому, великій скиталець боролся, въ сущности, противъ духа жизни и этимъ самымъ осудилъ себя на безплодіе и поражение. Вотъ гдѣ, по нашему мнѣнію, слѣдуетъ искать дѣйствительной, жизненной трагедіи Данте.

Разсматриваемая съ этой точки зрѣнія, „Божественная Комедія“ становится намъ понятной не только въ цѣломъ, но и въ деталяхъ. Весь патетическій интересъ поэмы, вся ея трагическая сущность скрываются въ этомъ антагонизмѣ поэта если не съ самимъ собой, то со всѣмъ окружающимъ его міромъ. Три четверти поэмы посвящены исключительно политикѣ и государству; одна лишь четверть — вопросамъ религіознымъ и богословскимъ; только въ „Раѣ“ философскій и мистическій оттѣнокъ преобладаютъ. Въ поэмѣ онъ излагаетъ свои политическіе взгляды не менѣе ясно, чѣмъ въ „De Monarchia“; онъ постоянно возвращается къ политическимъ и государственнымъ соображеніямъ какъ прошлаго, такъ и настоящаго, и всѣ эти соображенія пропитаны самымъ страстнымъ, неумолимымъ, прямолинейнымъ гибелинизмомъ.

Такъ, между прочимъ, объясняются многочисленныя мѣста, гдѣ Данте громитъ папъ. Начало всѣхъ несчастій онъ видитъ въ томъ, что въ IV вѣкѣ императорскій престолъ былъ перенесенъ въ Византію; слѣдствіемъ этого было, по его мнѣнію, вмѣшательство римской курии въ дѣла государства; желаніе властвовать, обогащаться, приобрѣтать овладѣло церковью. „Прежде,—говоритъ онъ,— когда Римъ благодѣтельствовалъ міру, у міра было два солнца, освѣщавшія оба пути: путь земной и путь небесный; но съ тѣхъ поръ, какъ одно свѣтило (имперіи) потухло, — все пошло къ худшему“.

Самыя страстныя, однако, выходки его въ „Божественной Комедіи“ направлены противъ Франціи и французовъ. Алигьери отъ всего сердца ненавидѣлъ французовъ и въ своей поэмѣ не разъ зло подсмѣивается надъ ними. Стѣбитъ только вспомнить двадцатую пѣснь „Чистилища“, чтобы понять всю силу этой ненависти. Въ этой пѣснѣ рассказана вератцѣ исторія французскихъ монарховъ третьей династіи. „До тѣхъ поръ,—говоритъ онъ,— пока большое провансальское приданое не отняло у нихъ всякій стыдъ, ихъ значеніе было ничтожно, они не дѣлали дурного; но съ тѣхъ поръ они силой и ложью двигали дѣло разбоя и по обѣту взяли Понтъе, Нормандію, Гасконію“. Слова: „по обѣту“ — *per ampenda* — возвращаются въ строфѣ три раза, какъ неизмѣнная, ироническая рима. По обѣту Карлъ Анжуйскій казнилъ Конрадина; по обѣту отправилъ онъ св. Ому



на небо. Другой Карлъ вступает во Флоренцію „безъ оружія, съ однимъ лишь копьемъ Іуды“, чтобы проколоть имъ городъ. Еще другой Карлъ, плѣнникъ на морѣ, продаетъ свою собственную дочь: „пиратъ, по крайней мѣрѣ, продаетъ только чужихъ“. Эти грозныя терцины Мишлѣ называлъ „жалобой стараго умирающаго міра на безобразный молодой міръ, заступающій мѣсто перваго“. И дѣйствительно, съ удивительной пронизательностью ненависти этотъ фанатическій поклонникъ прошлаго, этотъ фанатикъ космополитизма подмѣтилъ на берегахъ Сены „корень злого зелья, одурманившаго всѣ земли“. Онъ подмѣтилъ тамъ быстрый ростъ независимаго, новаго, централизованнаго организма, — опасный примѣръ новаго порядка вещей, несомѣстнаго со всемірной монархіей. Въ настоящее время едва ли можетъ быть сомнѣніе въ томъ, что дѣло, преслѣдуемое такъ настойчиво королями-капетингами, явилось съ самаго своего начала отрицаніемъ, болѣе или менѣе сознательнымъ, болѣе или менѣе откровеннымъ — священной римской имперіи. Такое дѣло не могло быть пріятно Алигьери, даже въ томъ случаѣ, еслибъ онъ видѣлъ его въ рукахъ св. Людовика; въ рукахъ же какого-нибудь Филиппа Прекраснаго оно должно было казаться ему дѣломъ сатаны. Даже и намъ, съ нашими взглядами на непреложность историческихъ законовъ, — даже и намъ трудно примириться съ кровавымъ фискаломъ, внукомъ Людовика Святого, окруженнымъ его „chevaliers ès loix“. Если правда, какъ доказываетъ Ренанъ (въ статьѣ о Ногарѣ), что Филиппъ Прекрасный „окончательно установилъ на развалинахъ стариннаго права концепцію государства, абсолютную власть монарха, трансцендентальную безнравственность политики“, — то мы можемъ только удивляться генію Данте, который сразу понялъ принципъ, долженствовавшій окончательно уничтожить его идеалъ. А что онъ его понялъ именно въ этомъ смыслѣ — не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Свое негодование противъ „Филипповъ и Людовиковъ, управляющихъ Франціей“, Данте высказываетъ устами основателя династіи, Гуго Капета, подобно тому, какъ всѣ свои обвиненія противъ недостойныхъ преемниковъ Петра, „узурпаторовъ священнаго престола“, онъ влагаетъ въ уста апостола Петра, основателя папскаго престола. Но корыстолюбивые папы и лицемерные капетинги, — прибавляетъ поэтъ, — могутъ сколько ихъ душъ угодно входить между собой въ союзы, безстыдно сталкиваться — *puttaneggiar* — они не сокрушаютъ императорскаго орла, „котораго когти рвали гриву львовъ болѣе сильныхъ“. „Богъ не обмѣнитъ свой гербъ на лиліи“ — вотъ заключеніе блестящаго панегирика римской им-

періи, съ намѣреніемъ влагаемаго поэтомъ въ уста императора Юстиніана, автора того кодекса, который увѣнчалъ великое дѣло, — „alto lavovo“.

Если въ этихъ трехъ рѣчахъ, составляющимъ какъ бы политическій центръ „Божественной Комедіи“, — рѣчамъ Гуго Капета, императора Юстиніана и апостола Петра, — мы прибавимъ еще замѣчательную рѣчь его предка, Каччягвиды въ „Рая“, то вся политическая система Данте, какъ она обнаруживается въ „Божественной Комедіи“, предстанетъ передъ нами въ главныхъ, существенныхъ своихъ чертахъ и особенностяхъ. Каччягвида, предокъ поэта, погибшій въ Палестинѣ, около 1147 года, занимаетъ собой четыре глѣсны „Рая“, и уже одно это обстоятельство указываетъ на то, что тутъ мы найдемъ нѣчто болѣе серьезное, чѣмъ знаменитыя строфы о несчастіяхъ изгнанія. И дѣйствительно, рѣчь Каччягвиды есть ни больше, ни меньше какъ страстный апоѳеозъ прошлаго, далекаго, безвозвратно погибшаго прошлаго, и среди этого апоѳеоза встрѣчаются самыя горькія насмѣшки надъ демократическими наклонностями послѣдовавшихъ поколѣній. Данте не только космополитъ; онъ — аристократъ въ полномъ значеніи этого слова. Во всемъ и вездѣ возвратъ къ прошлому — къ принципамъ, учрежденіямъ, нравамъ; сильно организованная и властная аристократія, управляющая городами; города, управляющіе деревнями; враждебность къ національной сплоченности; миръ, управляемый, съ одной стороны, папами, съ другой — императорами, вотъ политическій и социальный идеалъ Данте Алигьери, который онъ себѣ создалъ — и когда же? Въ концѣ среднихъ вѣковъ, когда идеалъ этотъ, уже отжившій, умиралъ, и когда заря новой жизни уже занималась надъ Европой... Можно ли въ исторіи найти другого великаго человѣка, который бы находился въ такомъ рѣшительномъ антагонизмѣ со всѣми стремленіями и инстинктами своего времени?

Но мы были бы чрезвычайно несправедливы къ памяти великаго человѣка, еслибы обращали вниманіе только на эту сторону его мировоззрѣнія. Не мелкое, никому ненужное, грубое ретроградство и реакція нравились Алигьери; единство рода человѣческаго, организованная солидарность народовъ, „миръ, справедливость, свобода“ — вотъ чего добивался Алигьери, когда стремился къ реставраціи имперіи. Положимъ, что онъ ошибался въ средствахъ, но цѣль была, во всякомъ случаѣ, возвышенная. Вспомните только, что, два столѣтія спустя, въ той же самой Флоренціи появился другой могучій геній, о которомъ и теперь еще можно сказать:

*Colui ch'a tutto il mondo fa paura, —*

и который точно также прославился своимъ политическимъ идеаломъ. Но какая неизмѣримая пропасть лежитъ между этими двумя людьми! Маккиавелли тоже обожествлялъ идею государства, тоже восторгался римлянами, но желалъ пришествія не императорскаго ангела-миротворца, а лисы и льва (*volpe e leone*), соединенныхъ въ лицѣ счастливаго тирана; онъ требовалъ отъ него не мира, не справедливости, не свободы, а одного лишь успѣха, и его цезарь представлялся ему не въ лицѣ Юлія Цезаря, а въ лицѣ Цезаря Борджіа. Вотъ политическій идеалъ Маккиавелли. „Ибо, — замѣчаетъ Данте, — когда мощь ума соединяется съ злой волей и грубой силой, то человѣчеству нѣтъ спасенія“ (*Inferno*, XXXI, 55—57).

Во всякомъ случаѣ, — и это очень важно для вѣрнаго пониманія Данте, — его политическій идеалъ былъ тѣмъ болѣе печальной иллюзіей, что увлекъ поэта въ прошлое, что поэтъ опозитизировалъ это прошлое, и эта иллюзія до настоящаго времени омрачаетъ своею тѣнью „Божественную Комедію“ и накладываетъ на нее печать несказанной горечи и мучительнаго страданія. Алигьери не ограничивается тѣмъ, что превозноситъ погибающій порядокъ; онъ вѣритъ, глубоко вѣритъ въ безусловную истинность своей политической мечты; все остальное для него — суета и ложь, преступное уклоненіе отъ истиннаго пути, нѣчто въ родѣ „вторичнаго грѣхопаденія Адама“. Онъ не только пѣвецъ героическаго прошлаго, онъ послѣдній защитникъ этого прошлаго, умирающій гладиаторъ дѣла, не имѣющаго будущности, мертворожденнаго, нѣчто въ родѣ библейскаго Самсона навыворотъ, — точно также слѣпного, какъ и библейскій Самсонъ, но съ тою, однакоже, разницей, что послѣдній разрушалъ старое зданіе, а Алигьери надѣялся поддержать своими могучими плечами разрушающійся храмъ среднихъ вѣковъ.

Такова внутренняя, душевная рана, разъядавшая сердце Данте въ послѣдніе годы его жизни. Она наложила на лицѣ его печать глубокой, печальной думы, и заставляла веронцевъ говорить при встрѣчѣ съ нимъ: „этотъ человѣкъ, съ тѣхъ поръ, какъ вышелъ изъ ада, никогда не улыбался“. Между нимъ и живыми людьми его времени образовалась пропасть, которую онъ видѣлъ и которую не могъ обойти. Очевидно, Данте не понималъ и не могъ понимать своихъ современниковъ, точно также какъ и они не понимали его; такимъ образомъ, видѣніе ада продолжалось и въ дѣйствительной жизни, съ мучительнымъ сознаніемъ своего вѣчнаго безсилія и своей бесполезности. Но трагизмъ еще не кончается на этомъ. Всего страннѣе, всего трагичнѣе то, что этотъ

рѣшительный, убѣжденный, страстный защитникъ прошлаго, несмотря на все, противъ собственной своей воли, былъ самымъ энергическимъ работникомъ новой цивилизаціи, — того порядка вещей, противъ котораго онъ такъ фанатически ратовалъ. Этотъ Іеремія среднихъ вѣковъ былъ самымъ могучимъ предвѣстникомъ возрожденія. Подобно брату Прометея, Эпиметею, онъ принялъ изъ рукъ своей Пандоры таинственный ящикъ, и изъ этого ящика распространились на весь божій міръ не всяческія бѣдствія, а великія идеи, долженствовавшія уничтожить старый міръ мрака, міръ, которому онъ хотѣлъ остаться вѣрнымъ. Не странно ли, въ самомъ дѣлѣ, что этотъ идеалистъ-мистикъ былъ первымъ въ среднихъ вѣкахъ, совершившимъ единеніе міра классическаго съ міромъ христіанскимъ, — единеніе, которое должно было лечь въ основу возрожденія и такимъ образомъ окончательно и навсегда прервать кошмаръ среднихъ вѣковъ. Въ его время міръ древности былъ почти совершенно неизвѣстенъ; бельведерскіе мраморы еще покоились подъ землей; византійскіе греки не принесли еще въ Италію, убѣгая отъ турецкихъ завоевателей, остатковъ великой греческой литературы. Авторъ „Божественной Комедіи“ имѣлъ лишь смутное понятіе объ „Иліадѣ“ и „Одиссее“, хотя и называетъ Гомера „poeta sougano“. Но онъ зналъ Вергилія, и его культъ римскаго поэта имѣлъ характеръ почти мистическій. Римскому поэту онъ былъ обязанъ тѣмъ „стилемъ, — какъ онъ говорилъ, — который сдѣлалъ ему такъ много чести“, и во всякомъ случаѣ ему, а не кому-нибудь другому, онъ былъ обязанъ знакомствомъ съ античнымъ міромъ. Конечно, знаніе это поверхностно, иногда фальшиво; трудно, на примѣръ, понять странную мысль Данте помѣстить Катона въ Чистилищѣ и дать ему роль своеобразнаго надзирателя. Но зато съ какимъ поразительнымъ талантомъ онъ изображаетъ Миноса, Харона, Плутона. Маволой замѣтилъ, что Данте — единственный новый поэтъ, въ произведеніяхъ котораго реминисценціи греческой мифологіи не кажутся педантскими или ребяческими. Всѣ эти классическія имена, встрѣчаемые нами въ „Божественной Комедіи“, какъ бы вызываютъ въ умѣ читателя идею какого-то таинственнаго откровенія, предшествовавшаго всякой исторіи, котораго разсѣянные обломки сохранились въ древней религіи. Во всякомъ случаѣ, ни одно изъ произведеній среднихъ вѣковъ не удѣлило такого широкаго мѣста античному міру, какъ „Божественная Комедія“, и этимъ обстоятельствомъ Данте, конечно, не сознавая этого, наносилъ рѣшительный ударъ культурѣ среднихъ вѣковъ.

Не странно ли, съ другой стороны, что этотъ космополитъ

былъ однимъ изъ первыхъ, самыхъ энергическихъ популяризаторовъ національнаго языка? Въ христіанствѣ онъ не хотѣлъ видѣть „множества головъ“, но мирился со множествомъ языковъ! Не очевидно ли здѣсь противорѣчіе не только съ его политической системой, но и съ тѣмъ культомъ римскаго міра, который, казалось, долженъ былъ не согласоваться съ господствомъ народныхъ языковъ, упразднявшихъ одинъ всемірный латинскій языкъ? Въ „Convito“ онъ еще дѣлаетъ кое-какія уступки своему времени и видитъ превосходство латинскаго языка сравнительно съ „вульгарнымъ“ діалектомъ; но уже въ „De vulgari eloquentia“ онъ заявляетъ, что народный языкъ „благороднѣе“, потому что „естественнѣе“, и находитъ латинскій языкъ „искусственнымъ“. Онъ признаетъ за французскимъ языкомъ способность къ прозѣ, требуетъ индивидуальнаго развитія испанскаго, французскаго, итальянскаго языковъ. Потому едва ли можно придать вѣру анекдоту, рассказанному Боккаччіо, что Данте первоначально намѣревался написать „Божественную Комедію“ на латинскомъ языкѣ. Во всякомъ случаѣ, если у Данте и было подобное намѣреніе, то оно было немедленно оставлено, и „Божественная Комедія“ оказалась первымъ великимъ памятникомъ народной итальянской рѣчи,—памятникомъ, который какъ бы создалъ итальянскую національность. Вотъ почему и до сихъ поръ въ душѣ всякаго итальянскаго патріота живетъ культъ Данте, и онъ, вмѣстѣ съ Сорделло, при видѣ Виргилія говорить:

O, gloria de'Latin... per cui  
Mostrò ciò che potea la lingua nostra!

Тутъ само собой является вопросъ, разсматривавшійся въ предыдущее время съ различныхъ точекъ зрѣнія: въ какомъ отношеніи Данте находился къ новѣйшему объединительному движенію своего народа? Уже Гравина въ концѣ XVII столѣтія видитъ въ „Божественной Комедіи“ урокъ согласія и стремленія къ единству. Гаспаро Гоцци былъ первый критикъ, который въ началѣ XVIII вѣка анализировалъ поэму въ ея цѣлости и усмотрѣлъ въ ней стремленіе къ политическому объединенію итальянцевъ. То же самое видитъ и Никколини въ поэмѣ Данте. Съ тѣхъ поръ для итальянскихъ критиковъ цѣль Данте есть реформа, воссозданіе родины,—il riordinamento dell'Italia. Идея эта, безспорно, существуетъ въ „Божественной Комедіи“; необходимо только рѣшить вопросъ: въ какомъ именно видѣ она является въ поэмѣ. Береле (Dante Alighieri Leben und Werke—русскій переводъ въ изданіи г. Солдатенкова) разрѣшаетъ этотъ

вопросъ слѣдующимъ образомъ. Фактически достовѣрно, что до Данте не было истинно-національнаго сознанія въ Италіи, и что оно проявляется, начиная лишь съ его времени. Данте положилъ начало первому признаку національности, національному языку и литературѣ, и первый же энергически и безусловно высказался за политическое объединеніе своего народа. Онъ хотѣлъ, чтобы это объединеніе вытекало изъ его универсальнаго, римскаго, мірового государства, въ которомъ онъ отводилъ своей націи первое, преобладающее мѣсто. Итальянцы нашего времени создали объединенную Италію путемъ выдвинутаго на первый планъ національнаго принципа, который плохо вязался бы съ всемірною монархіей ихъ великаго поэта; въ отрицаніи же свѣтской власти папы они вполне согласны между собой. Данте былъ бы готовъ примириться до нѣкоторой степени даже съ иноземнымъ владичествомъ, еслибы оно объединило народъ и подавило партіи, между тѣмъ какъ его соотечественники охотно купили сверженіе нѣмецкаго владчества, т.-е. имперіи, цѣною раздробленія націи и тѣмъ скрѣпили это раздробленіе на многіе вѣка впередъ. Но какая судьба и какой позоръ наполняютъ собой весь періодъ между той порой и настоящей, между покорностью своей участи и рѣшимостью избавиться отъ нея! Въ этомъ отношеніи сверженіе иноземнаго ига и установленіе политическаго единства отождествились для итальянцевъ. Такимъ образомъ, различныя эпохи дѣйствуютъ разнородными силами, подъ-конецъ же все-таки сливаются во-едино. Но первое вѣское слово, заглушить которое не было никакой возможности, было все-таки сказано Данте. Поэтому мы видимъ вполне заслуженное искупленіе несправедливости, совершенной относительно великаго патріота при его жизни, — въ томъ, что нація, готовясь нынѣ осуществить свое объединеніе, возвѣстила всему міру, внимательно прислушивавшемуся къ ея слову, вмѣстѣ съ далеко раздававшимся ликованіемъ національнаго торжества, также и о чествованіи пятисотлѣтней годовщины дня рожденія ея величайшаго сына.

Роль Данте не менѣ велика и въ вопросѣ совершенно другаго порядка, и теперь еще являющемся причиной раздора между различными политическими системами современной Европы. Данте первый прямо и рѣшительно поставилъ вопросъ объ отношеніяхъ церкви къ государству. Въ одномъ мѣстѣ „Рая“ онъ объявляетъ, что „нѣтъ ничего хуже для человѣка, какъ не быть гражданиномъ“, — мысль, которую мы напрасно бы искали у его предшественниковъ и современниковъ. Мы бы не отыскали точно также у нихъ такой полной, опредѣленной теоріи объ отношеніяхъ нац-

ства въ имперіи,—теоріи, провозгласившей полное, абсолютное равенство какъ той, такъ и другой власти, изъ которыхъ, однакоже, каждая имѣетъ свои атрибуты и свою спеціальную сферу дѣятельности.

Но въ особенности поразительна своимъ трагическимъ характеромъ сама личность Данте—гордая, мрачная, непримиримая, считавшая своимъ священнѣйшимъ правомъ судить народы и государства, высказывать во всеуслышаніе свои теоріи и мечты, свои симпатіи и антипатіи, судившая живыхъ и мертвыхъ, частныхъ лицъ и цѣлыя партіи, монарховъ, папъ и императоровъ, раздававшая похвалу и порицаніе по своему личному усмотрѣнію. Все это, строго говоря, могло бы быть понятно, еслибы Данте былъ однимъ изъ сильныхъ міра сего,—но нѣтъ: онъ не королевскій вассаль, не законникъ, не монахъ; онъ не принадлежалъ ни къ какой вліятельной корпораціи, ни къ какому монашескому ордену, ни къ какой признанной, привилегированной школѣ; онъ только изгнанникъ и скиталецъ! Въ средніе вѣка, ни среди поэтовъ, ни среди художниковъ, ни среди государственныхъ людей, нельзя найти такого сознанія своего человѣческаго достоинства, такого полного, безусловнаго освобожденія личности...

В. Чуйко.



# ТЕОРІЯХЪ ПРОГРЕССА

## III.—ВѢРА ВЪ ВУДУЩЕ \*).

Одинъ изъ самыхъ миролюбивыхъ писателей нашихъ, К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, говоря о восточномъ вопросѣ, заявляетъ твердую вѣру въ будущее военное торжество Россіи надъ Европою. Изъ тѣсныхъ рамокъ дипломатическихъ соглашеній, — говоритъ онъ, — „душа рвется на просторъ. Такой просторъ, такая историческая ширь открывается только кровавой борьбою. Страшно произнести это слово въ нашъ слабонервный вѣкъ, но произнести его надобно, и надо готовиться къ его осуществленію“. Восточный вопросъ, по мнѣнію почтеннаго профессора, „долженъ вызвать къ міровой борьбѣ и кончиться — мы глубоко вѣримъ въ это — созданіемъ новой цивилизаціи“ <sup>1)</sup>.

Если мы пожелаемъ узнать, на чемъ основана эта „глубокая вѣра“, вытекаетъ ли она изъ анализа фактовъ или составляетъ только выраженіе неопредѣленнаго личнаго чувства, то отвѣтъ на это не представить никакихъ затрудненій: мы имѣемъ предъ собою проявленіе безотчетной фантазіи, а не выводъ изъ анализа прошлаго и настоящаго. Оставаясь на почвѣ реальной дѣйствительности, авторъ не имѣлъ бы абсолютно никакого матеріала для своего пророчества. Или пришлось бы предположить, что онъ разсуждалъ слѣдующимъ образомъ: мы взялись устроить балканскія дѣла послѣ двадцатилѣтней передышки и не обнаружили при этомъ умѣлости,

\*) См. выше, мартъ, стр. 265 и слѣд.

<sup>1)</sup> „Теорія культурно-историческихъ типовъ“. Приложение къ книгѣ Н. Я. Данилевскаго: „Россія и Европа“, изд. 4-е, 1889, стр. 595—6.



порядочности въ дѣйствіяхъ и намѣреніяхъ, способности справиться какъ слѣдуетъ даже съ одною Турціею, рѣшительности и пониманія при защитѣ нашихъ интересовъ, но зато обнаружили страшную расточительность, связанную съ системою откровеннаго вазокрадства, — а потому мы имѣемъ всѣ шансы для полнаго торжества надъ Европою, надъ сознательною энергіею ея государственныхъ людей, надъ расчетливостью и ловкостью ея дипломатовъ, надъ точною обдуманностью ея военныхъ и политическихъ плановъ, надъ исправностью и аккуратностью ея интендантствъ, надъ всѣми разнообразными средствами ея культуры и богатства, ея умственнаго и общественнаго развитія. До сихъ поръ западно-европейскіе Меттернихи, Бисмарки и Биссонфильды безъ особеннаго труда справлялись съ нашей внѣшней политикою и даже косвенно руководили ею по своему; мы дали себя обойти даже юному нѣмецкому принцу, котораго сами же назначили болгарскимъ княземъ, — а потому намъ въ будущемъ предстоитъ торжествовать побѣду надъ Западомъ и достигнуть нашихъ отдаленныхъ политическихъ цѣлей, вопреки всей Европѣ. Мы не сумѣли создать единой Болгаріи; удовлетворить Сербію, Черногорію и Грецію, послѣ тяжелой и кровопролитной войны, — а потому мы можемъ объединить славянство и создать „новую цивилизацію“. Недостающія намъ качества и знанія явятся какъ будто съ неба, и великія задачи сами собою рѣшатся въ нашу пользу, въ желанномъ для насъ смыслѣ. Будущее въ этихъ случаяхъ представляется намъ чѣмъ-то совершенно независимымъ отъ прошлаго и настоящаго, въ противность элементарнѣйшимъ предписаніямъ обыкновенной человѣческой логики.

Такой характеръ имѣютъ всѣ формулы будущаго прогресса, основанныя на личныхъ пожеланіяхъ и идеалахъ философствующихъ писателей. „На пути къ счастью, — увѣряетъ публицистъ совсѣмъ другого направленія, чѣмъ г. Бестужевъ-Рюминъ, — человѣчеству остается пройти еще одни великія историческія ворота, надъ которыми стоитъ надпись: человѣкъ для человѣка, все для человѣчества“. Прежде господствовало мировоззрѣніе, по которому всѣ окружающія силы природы считались подчиненными человѣческимъ цѣлямъ; затѣмъ наступилъ періодъ, когда цѣли человѣка лежали внѣ его интересовъ, въ опутавшей его сложной общественной организаціи, при господствѣ раздѣленія труда; въ будущемъ же предстоитъ преобладаніе такого соціальнаго строя, при которомъ всѣ человѣческія личности будутъ развиваться равномерно; раздѣленіе труда, соединенное съ чрезмѣрной специализаціею, уступить мѣсто идеальному простому сотрудничеству, безъ

эксплуатаціи и насилій, при полномъ равенствѣ людей <sup>1)</sup>. Если мы спросимъ, на чемъ построено и откуда взято дѣленіе исторіи на эти три періода, то мы никакого опредѣленнаго отвѣта не получимъ, кромѣ развѣ ссылки на знаменитую философскую триаду Гегеля. Логика здѣсь та же самая, что и въ предположеніи г. Бестужева-Рюмина. До сихъ поръ человѣческія общества развивались путемъ раздѣленія труда и шли неизмѣнно по одной протоптанной исторической дорогѣ;—а потому намъ предстоитъ очутиться на совершенно другомъ пути, прямо противоположномъ, и „пройти еще одни великія историческія ворота“ въ такомъ пунктѣ, отъ котораго мы непрерывно удалялись и удаляемся, если даже допустить, что такой пунктъ гдѣ-либо существуетъ. Идти непрерывно въ одномъ направленіи и ожидать, что мы дойдемъ до мѣста, лежащаго далеко за нами въ туманѣ вѣковъ и, быть можетъ, даже нигдѣ и никогда не существовавшаго,—это, конечно, невинное самообольщеніе, свидѣтельствующее объ упорномъ нашемъ оптимизмѣ; но нельзя выдавать такой оптической обманъ за научную теорію. Періодъ идеальной „цѣлостности“ людей послѣ многихъ тысячелѣтій преобладанія неравенства, раздѣленія труда и специализаціи, падаетъ какъ будто съ неба и является еще болѣе неожиданнымъ, чѣмъ предсказаніе цитированнаго нами выше профессора-славянофила.

Можно было бы ставить вопросы иначе. Г. Бестужевъ-Рюминъ мечтаетъ о торжествѣ нашемъ надъ Европою и о созданіи новой русско-славянской цивилизаціи; поэтому онъ долженъ былъ прежде всего разрѣшить двѣ задачи: во-первыхъ, выяснить и опредѣлить тѣ многоразличныя условія, которыя необходимы для предположенной цѣли, и, во-вторыхъ, разобрать, обладаемъ ли мы этими условіями въ надлежащей мѣрѣ, имѣются ли у насъ въ наличности умственныя, нравственныя и общественныя силы, необходимыя для побѣды надъ западно-европейскимъ міромъ и для созданія новой цивилизаціи; а если этихъ условій у насъ не оказывается въ настоящее время, то откуда явятся они въ нужный моментъ? Почтенный послѣдователь фантастическаго ученія Н. Я. Данилевскаго не опирался бы тогда на свою личную „глубокую вѣру“, которая ни для кого неубѣдительна и часто бываетъ обманчива, а далъ бы намъ опредѣленный, положительный выводъ, который могъ бы имѣть свою теоретическую и практическую цѣнность. Авторъ нашелъ бы тогда, быть можетъ, что прежде чѣмъ думать о „мировой борьбѣ“ съ Европою и о насажденіи

<sup>1)</sup> См. „Сочиненія“ Н. К. Михайловскаго, т. IV, стр. 135 и др.

новой невѣдомой еще цивилизаціи, мы должны позаботиться объ удовлетворительномъ устройствѣ нашихъ собственныхъ дѣлъ, объ искорененіи нашихъ старыхъ общественныхъ и административныхъ недуговъ, о приобрѣтеніи и распространеніи знаній, о повышеніи нравственнаго и умственнаго уровня русскаго общества, о созданіи у насъ условій для выработки политическихъ характеровъ и талантовъ. Быть можетъ, авторъ убѣдился бы даже, что намъ нужно передѣлать самихъ себя и усвоить качества и достоинства, которые пока еще намъ не присущи; онъ тогда воздержался бы отъ пагубной мысли о томъ, что „надо готовиться къ осуществленію“ кровавой катастрофы, а напротивъ, совѣтовалъ бы стремиться къ отсрочкѣ ея на долгое время, пока мы не успѣемъ заручиться всѣми шансами прочной и омоничальной побѣды. Въ настоящемъ же своемъ видѣ „глубокая вѣра“ г. Бестужева-Рюмина имѣетъ такое же значеніе, какъ и испытанная въ свое время глубокая вѣра тѣхъ, которые убѣждены были передъ крымской войною, что мы закидаемъ Европу шапками, или которые позднѣе утверждали, что походъ въ Турцію будетъ лишь военною прогулкою.

Такъ же точно писатель, рисующій себѣ будущее въ видѣ фантазмагоріи „дѣлостныхъ“ личностей, которыя явятся неизвѣстно откуда и какимъ способомъ, долженъ былъ бы прежде всего поставить себѣ вопросъ: основательно ли примѣшивать свои личные мечтанія къ предполагаемому ходу историческаго развитія человѣчества, когда не подвергнуты еще анализу реальныя условія существованія народовъ,—условія, которыя, быть можетъ, совершенно несомѣстимы съ достиженіемъ придуманнаго нами идеала? Авторъ могъ бы сказать, что желательно было бы повернуть исторію человѣческихъ обществъ въ другую сторону и дать имъ направленіе, обратное тому, котораго они придерживались до сихъ поръ; но, высказывая такую идею, слѣдовало бы прежде всего остановиться надъ мыслью о томъ, соответствуетъ ли наше желаніе дѣйствительной природѣ людей и вещей, можетъ ли оно быть исполнено и какими путями, способно ли оно дать намъ тѣ результаты, на которые мы рассчитываемъ. Иначе, безъ этого разбора, ожиданіе воцаренія какой-то всеобщей идилліи въ будущемъ остается столь же безцѣльною фантазією, какъ и мечта о появленіи крыльевъ у человѣка. Выдавать подобную фантазію за формулу того прогресса, которому дѣйствительно слѣдуетъ или должно слѣдовать человѣчество,—по меньшей мѣрѣ, странно.

Вѣра въ будущее, безъ анализа, мѣшаетъ намъ видѣть существенныя стороны жизни, противорѣчащія нашему чувству, и

даетъ совершенно произвольную, одностороннюю окраску окружающимъ насъ явлениямъ. Г. Карѣвъ посвятилъ цѣлую книгу разработкѣ ученія о прогрессѣ и не могъ ничего объяснить, кромѣ своихъ личныхъ хорошихъ желаній, — именно благодаря усвоенному имъ неправильному „субъективному“ методу. „Окидывая взоромъ все человѣчество въ пространствѣ и времени, — говоритъ онъ, — мы можемъ сказать, что оно прогрессируетъ“. Этотъ утѣшительный взглядъ достигается тѣмъ, что всѣ неприятыя или неудобныя явленія отбрасываются или игнорируются, и самая оцѣнка ихъ дѣлается крайне поверхностно и огульно, по какому-то заранее установленному шаблону. Напримѣръ, господство католицизма въ средніе вѣва и Наполеоновскія войны въ началѣ текущаго столѣтія отнесены къ разряду фактовъ регрессивныхъ; другіе писатели съ гораздо бѣльшимъ правомъ могли бы утверждать и утверждаютъ, что средневѣковый католицизмъ былъ великою благотворною силою, и что войны Наполеона имѣли свою долю пользы, всколыхнувъ то историческое болото, въ которомъ прозябали европейскіе народы. Г. Карѣвъ придерживается того мнѣнія, что „идея прогресса есть продуктъ субъективной оцѣнки“, и что „формулу прогресса мы можемъ выработать только a priori, начертавъ себѣ извѣстный идеалъ и указавъ, какая комбинація частныхъ эволюцій въ области мысли и жизни можетъ вести къ осуществленію этого идеала“. Замянивъ изученіе и анализъ условій человѣческаго развитія созданіемъ идеаловъ, авторъ прямо переходитъ въ область бесплодныхъ и безсодержательныхъ отвлеченностей, не имѣющихъ ни малѣйшей связи съ фактическимъ ходомъ исторіи.

„Если люди, — заявляетъ г. Карѣвъ, — будутъ вести нормальную, здоровую жизнь, они не будутъ преждевременно состариваться отъ излишествъ и лишеній, и дѣти у нихъ будутъ рождаться здоровыя и умныя. Только правильный прогрессъ, руководимый вѣчно юнымъ духомъ (sic), умудреннымъ опытностью старости, можетъ предохранить отдѣльные народы и все человѣчество отъ того восхнѣнія на несовершенныхъ формахъ быта, вину котораго сваливаютъ на органическую дряхлость расы“... и т. д. Откуда возьмется этотъ „вѣчно юный духъ“, необходимый для „правильнаго“ (т.-е. небывалаго) прогресса — неизвѣстно.

„Прогрессъ, — по словамъ названнаго автора, — состоитъ не только въ развитіи способности къ духовнымъ интересамъ, къ дѣятельности по убѣжденіямъ, къ гражданскому самосознанію, но и въ томъ, чтобы самое содержаніе этихъ интересовъ, этихъ убѣжденій, этого самосознанія улучшалось, чтобы ложное миро-

совершаніе замѣнялось истиннымъ, чтобы негѣлая мораль замѣнялась разумною, чтобы дурныя учрежденія замѣнялись хорошими, чтобы человѣкъ имѣлъ интересъ только къ тому, что оправдывается разумомъ, дѣйствовалъ только по убѣжденіямъ, содержаніе которыхъ выработано тѣмъ же разумомъ, и сознавалъ свою внутреннюю солидарность только съ тѣми учрежденіями, которыя выдерживаютъ критику съ точки зрѣнія идеаловъ истиннаго, справедливаго и полезнаго“.

Къ сожалѣнію, понятія объ истинномъ и ложномъ, дурномъ и хорошемъ, разумномъ и ошибочномъ, крайне измѣнчивы и шатки; каждый понимаетъ эти слова по своему, и ничего строить на нихъ нельзя. Если, однако, принять эту вульгарную терминологию въ томъ смыслѣ, какой придаетъ ей авторъ, то окажется только, что для „правильнаго“ прогресса нужны идеальные люди, которыхъ нигдѣ не существовало и не существуетъ. Выводъ этотъ вполне равносильнъ идеѣ о чудесномъ превращеніи нынѣшнихъ испорченныхъ типовъ культурнаго человѣчества въ новый видъ „цѣлостныхъ индивидуумовъ“. Правда, г. Карѣевъ не предвидитъ скорого появленія этихъ новыхъ существъ, руководимыхъ только разумомъ; онъ связываетъ свою формулу прогресса съ такими условіями, которыя дѣлаютъ ее почти непримѣнимою къ реальной жизни народовъ. „Прогрессъ, по его мнѣнію, лишь тогда возможенъ, когда сознательная дѣятельность беретъ перевѣсъ надъ бессознательною, цѣлесообразная—надъ произвольною, основанная на критикѣ мысли—надъ основанною на безотчетномъ творествѣ нашей мыслительной способности“. Тѣмъ не менѣе, человѣчество все-таки прогрессируетъ, по убѣжденію г. Карѣева, хотя бессознательное творчество несомнѣнно господствуетъ надъ сознательнымъ, вопреки взгляду автора. „Наше просвѣщеніе,—поясняетъ онъ,—совершеннѣе и доступнѣе массамъ, чѣмъ это было въ древности; съ другой стороны, нѣтъ уже того грубаго неравенства политическаго, юридическаго и даже экономическаго, которое характеризуетъ античный міръ. Другое важное наше преимущество вотъ въ чемъ: античный міръ погибъ, самъ хорошенько не понимая причинъ своей гибели, не зная, въ чемъ заключались его главныя язвы, не имѣя никакого представленія о средствахъ своего исцѣленія. Критика мысли была слишкомъ слаба (?) и слишкомъ мало участвовала въ ходѣ событій. Умственный и нравственный прогрессъ поставилъ насъ въ возможность лучше узнать законы, управляющіе жизнью народовъ, и лучше постигнуть природу и цѣли общезитія: наши нравственныя и общественныя науки,—психологія, этика, педагогика, социологія,

политика, юриспруденція и политическая экономія, — сдѣлали громадный шагъ впередъ, и прогрессъ приводитъ насъ къ лучшему знанію того нормальнаго пути, по которому должно (?) идти человечество. Вообще прогрессъ имѣетъ значеніе и выработки новой и болѣе совершенной программы дальнѣйшаго прогресса... Чѣмъ болѣе прогрессируетъ человечество, тѣмъ болѣе оно сознаетъ *ненормальность хода исторіи*, тѣмъ болѣе оно сознаетъ, каковою *ходъ исторіи былъ бы нормальнымъ*"<sup>1)</sup>).

Подчеркнутыя нами выраженія показываютъ наглядно, какъ извращается задача теоретика при замѣнѣ объективнаго анализа субъективными фантазіями. вмѣсто того, чтобы изслѣдовать дѣйствительный ходъ историческаго развитія, опредѣлить въ немъ сравнительное значеніе элементовъ совершенствованія и упадка, и уже изъ этого разобраннаго матеріала извлечь выводы и уроки относительно будущаго, авторъ поступаетъ какъ разъ наоборотъ: онъ начинаетъ съ формулировки своихъ собственныхъ требованій отъ человечества, доходить до изобрѣтенія идеальныхъ разумныхъ людей и кончаетъ смутнымъ предположеніемъ о какомъ-то „нормальномъ“ ходѣ исторіи, который явится результатомъ воздѣйствія будущихъ „нормальныхъ“ человѣческихъ существъ. вмѣсто изученія и объясненія условій прогресса, намъ предлагается какая-то прагматическая „программа дальнѣйшаго прогресса“, отчасти совершенно фантастическая и безцѣльная. Программа подобнаго рода должна была бы слѣдовать за изученіемъ и анализомъ, въ видѣ прагматическихъ выводовъ, а не предшествовать, въ видѣ заранѣе составленной теоріи. Похвальные желанія, лежація въ основѣ этихъ формулъ, имѣютъ такой же научный вѣсъ, какъ и славянофильская мечта о побѣдѣ надъ Западомъ и о созданіи „новой цивилизаціи“ при помощи самобытнаго матеріала, дающаго пока только Ашиновыхъ.

Въ безконечный и непрерывный прогрессъ вѣрятъ писатели двухъ категорій: во-первыхъ, тѣ изслѣдователи соціальныхъ явленій, которые занимаются изученіемъ быта дивныхъ народовъ, и, во-вторыхъ, хвалители специально промышленныхъ и техническихъ успѣховъ, касающихся внѣшней обстановки культурной жизни. Понятно, что ученые теоретики, придерживающіеся этнографическаго направленія въ соціологіи, поражаются прежде всего громадною разницею между состояніемъ первобытныхъ племенъ и современнымъ развитіемъ европейскихъ націй; они не-

<sup>1)</sup> „Основные вопросы философіи исторіи“ (Спб., 1887), т. II, стр. 159, 201—2, 228, 249—50, 274 и др.

вольно примѣняютъ это наблюдение къ будущему и приходятъ къ тому оптимистическому выводу, что человѣчество, пройдя длинный путь совершенствованія отъ первоначальной дикости до нынѣшней утонченной цивилизаціи, достигнетъ со временемъ такого блестящаго умственнаго и культурнаго процвѣтанія, о какомъ мы въ настоящее время даже приблизительно не можемъ себѣ составить понятія. „Еслибы, какъ въ сказкахъ, какой-нибудь волшебникъ могъ вызвать предъ нами картину будущаго, быть можетъ, не слишкомъ отдаленнаго,—говорить, напримѣръ, Летуридъ,—мы увидѣли бы высшія человѣческія расы преобразованными въ республиканскія федераціи съ глубоко измѣненнымъ общественнымъ строемъ. Племенные единицы, входяція въ составъ союза, образуютъ тогда небольшія группы, управляющія сами своими дѣлами во всемъ томъ, что не касается непосредственно общихъ интересовъ республики. Въ каждой изъ этихъ группъ социальная дѣятельность всецѣло поглощена полезными занятіями: съ величайшею заботою слѣдятъ за физическимъ, нравственнымъ и умственнымъ воспитаніемъ молодыхъ поколѣній; стараются уменьшить надлежащими упражненіями органическія неравенства,—единственныя, которыя еще существуютъ въ это счастливое время. Правило: „всякому по дѣламъ его“—возведено на степень общаго социальнаго принципа; неравенство положеній основано исключительно на различіяхъ по индивидуальнымъ достоинствамъ и заслугамъ. Всѣ бесполезныя преграды устранены; запрещено только то, что несомнѣнно вредило бы обществу. Всѣ искусственныя неравенства исчезли; волшебная фея наслѣдствъ не бросаетъ уже богатства ни въ какую колыбель, и общество оказываетъ поддержку всѣмъ нуждающимся. Отдѣльнымъ личностямъ помогаютъ, насколько возможно, но управляютъ ими какъ можно меньше. Браманы сдѣлали божество изъ силы наказанія. Европейцы будущаго будутъ мало наказывать, много предупреждать и реформировать. Никого не подавляя, они будутъ постоянно улучшать бѣдный человѣческій родъ посредствомъ рациональнаго подбора, довѣряя лучшимъ управленіе социальною жизнью. Ихъ девизомъ будутъ наука, справедливость, солидарность“<sup>1)</sup>. Изображая эту заманчивую картину будущаго, Летуридъ не выдаетъ ее за научное положеніе, а откровенно ссылается на „волшебника“, который позволяетъ ему фантазировать. Летуридъ сознаетъ трудность социальныхъ вопросовъ, стоящихъ на очереди

<sup>1)</sup> La sociologie d'après l'ethnographie, p. 523—4. Op. „L'évolution de la propriété“, p. IX.

въ Европѣ, и не претендуетъ на разрѣшеніе ихъ при помощи какой-нибудь сочиненной а ргіогі формулы; онъ просто заявляетъ, что „принадлежить къ числу тѣхъ, которые вѣрятъ въ будущее“.

Самыми горячими и убѣжденными проповѣдниками всеобщаго прогресса являются писатели, для которыхъ на первомъ планѣ стоятъ успѣхи промышленнаго развитія и техническихъ знаній. О великомъ законѣ прогресса всего чаще разсуждаютъ историки и публицисты этого самодовольнаго направленія. Выразителемъ такого оптимизма выступилъ еще недавно авторъ трактата о новой научной исторіи, Луи Бурдѣ. Эти философы вѣрятъ не только въ будущее, но и въ настоящее. „Никогда еще жизнь не была такъ широка и легка для большинства, какъ теперь,—увѣряетъ Бурдѣ:—ремесленники нашихъ городовъ и зажиточные крестьяне нашихъ деревень приобрѣтаютъ съ незначительными усиліями больше житейскихъ удобствъ, чѣмъ короли Гомеровской эпохи. Человѣкъ, обладающій художественнымъ вкусомъ, находитъ въ постоянно увеличивающемся выборѣ предметовъ искусства больше разнообразныхъ наслажденій, чѣмъ могли имѣть современники Перикла или Медичи. Обработанный умъ знаетъ теперь больше, чѣмъ Аристотель. Какая-нибудь добродѣтель, ставшая вульгарною, свидѣтельствуетъ о болѣе здоровомъ умѣ и о болѣе мужественной практикѣ долга, чѣмъ бесполезный героизмъ или самобичеваніе легендарныхъ мучениковъ. Гражданинъ современныхъ демократій гораздо свободнѣе въ своемъ скромномъ положеніи, чѣмъ гордый рабовладѣлецъ въ древнихъ аристократіяхъ. Вообще средний уровень людей превосходитъ теперь выдающіеся умы прежнихъ временъ. Чтѣ бы ни говорили хулители настоящаго, мы не имѣемъ повода жалѣть о прошломъ. Несмотря на всѣ недостатки и бѣдствія, нашъ вѣкъ лучше и выше всѣхъ предшествовавшихъ вѣковъ“. Въ сущности, выходитъ, что нашъ вѣкъ лучше уже потому, что мы въ немъ живемъ.

„Мы вступили въ періодъ сознательной возмужалости,—утѣшаетъ себя Бурдѣ,—когда главнѣйшей задачей оказывается разработка наукъ. Надо надѣяться, что со временемъ, когда настанетъ эпоха полной зрѣлости, спокойный, просвѣщенный разумъ выдвинетъ отставшую нравственность на подобающее ей мѣсто, а мудрость—плодъ опыта всѣхъ столѣтій—утвердитъ болѣе высокую степень справедливости въ законахъ политическихъ и социальныхъ“.

Отмѣтимъ, въ видѣ курьеза, что съ точки зрѣнія автора старая французская нація еще не достигла даже полной зрѣлости



и находится пока въ періодѣ молодости. Нація, среди которой массы людей, и въ томъ числѣ весьма умныхъ и искреннихъ, способны увлекаться генераломъ Буланже, подчинится вдругъ „сповойному просвѣщенному разуму“, имѣющему свалиться на нее свыше; общество, глубоко скептическое и разочарованное, внезапно проникнется уваженіемъ къ „отставшей нравственности“, и богиня мудрости, столь рѣдко участвовавшая въ совѣтахъ правителей, явится на помощь законодателямъ.

Мысль объ „опытѣ столѣтій“ при социальномъ строительствѣ опровергается самимъ же авторомъ въ другомъ мѣстѣ. „Живое вдохновеніе государственныхъ людей, — говоритъ онъ, — которые, вмѣсто того чтобы сидѣть надъ книгами, проникались жизнью своего времени и его нуждами, должно быть предпочитаемо пустому знанію книжниковъ, имѣвшихъ больше сношеній съ мертвыми, чѣмъ съ живыми, и близко знаемыхъ только съ исчезнувшими вѣками и дѣлами. Лучшіе историки не дѣлаются проникательными министрами. Для спасенія государства отъ опасности представляются болѣе полезными такіе дѣятели, какъ сельскій работникъ Цинциннатъ, пастиуха Жанна д'Аркъ или дровосѣкъ Линкольнъ, ничего не знающіе о прошломъ, но имѣющіе чувство настоящаго, — чѣмъ ученые историки, которыхъ умъ, поглощенный педантическими комбинаціями, упорствуетъ въ слѣдованіи предвзятымъ аналогіямъ между несходными положеніями и обстоятельствами. Человѣкъ думалъ повторить во Франціи то, что устроилось въ Англии послѣ революціи 1688 года, а на дѣлѣ шелъ къ новой революціи и погубилъ Луи-Филиппа, обѣщая ему судьбу Вильгельма Оранскаго“.

Это замѣчаніе Бурдэ затрагиваетъ одну изъ глубокихъ сторонъ вопроса о прогрессѣ, но авторъ проходитъ мимо и продолжаетъ рисовать себѣ розовые призракы будущаго. Онъ представляетъ объ Америки плотно населенными и цвѣтущими, Австралію — соперницею Европы, Азію — ассимилированную, Африку — изслѣдованною и просвѣщенною. „Повсюду цивилизація подвигается впередъ, варварство отстываетъ, дикость исчезаетъ. Владѣя всѣми средствами земного шара, человѣчество свободно разовьется и возвысится. Земля, имѣющая теперь около полутора миллиарда жителей, изъ которыхъ едва четвертая часть носитъ названіе цивилизованныхъ, можетъ прокормить населеніе, вдвое, втрое и даже вдесятеро болѣе значительное, посредствомъ лучшей эксплуатаціи производительныхъ силъ природы. Плодородіе земли увеличится, міръ животныхъ и растений будетъ очищенъ и усовершенствованъ, благодаря разумному подбору; минеральныя богатства будутъ въ изобиліи извлекаться изъ земныхъ нѣдръ; воз-

растающая легкость сообщеній уничтожить значеніе разстояній на сушѣ и морѣ; даже воздухъ сдѣлается, при помощи воздухоплаванія, безбрежнымъ океаномъ; способы моментальныхъ сношеній сблизятъ между собою умы всего свѣта; все, что теперь кажется только возможнымъ, превратится въ совершившійся фактъ, и много усовершенствованій, считаемыхъ неосуществимыми, достигнуто будетъ искусными приспособленіями:—вотъ что обѣщаетъ и дастъ намъ будущее“. Человѣчество исправится и улучшится также въ другихъ отношеніяхъ. „Альтруистическія чувства, менѣе стѣсненные, получатъ особенное развитіе и ограничатъ эгоизмъ, владычество котораго такъ долго преобладало... Предстоятъ еще блестящія эпохи литературы и искусства, какихъ мы даже вообразить не можемъ, подобно тому, какъ египтяне времени фараоновъ не могли предвидѣть художества грековъ, современникъ Перикла—христіанское искусство, люди среднихъ вѣковъ—эпоху возрожденія“. Научныя тайны будутъ разгаданы и объяснены; образуется новый, болѣе совершенный языкъ, общій для всѣхъ народовъ, и единство языка будетъ связано съ единствомъ цивилизаціи. Человѣкъ будетъ „свободно подчиняться предписаніямъ чистаго разума“. Народы, доселѣ разъединенные, „предпочтутъ соединиться, чтобы не соперничать между собою, и провозгласятъ всеобщій союзъ, учредивъ соединенные штаты всего міра“. При новомъ порядкѣ вещей, „законное и признанное первенство будетъ принадлежать наиболѣе цивилизованнымъ націямъ“; все, по видимому, указываетъ на то, что эта преобладающая роль перейдетъ къ Сѣверной Америкѣ, послѣ упадка Европы. Авторъ допускаетъ паденіе нашей европейской культуры и замѣну ея новою, болѣе высокою цивилизаціею,—хотя это какъ-то не вяжется съ общимъ оптимистическимъ характеромъ его идей. „Быть можетъ,—замѣчаетъ онъ,—наши столицы, столь блестящія нынѣ, превратятся когда-нибудь въ груды развалинъ безъ имени, потерянныя среди пустынь, обитаемыхъ дикими животными, и археологи будущаго явятся туда для раскопокъ. Это—повороты исторіи, которыхъ печальное впечатлѣніе разсѣвается при общемъ взглядѣ на совокупность явленій. Существенное и неизбежное—въ томъ, что человѣчество не перестаетъ идти вперед“<sup>1)</sup>.

Очевидно, что реальное представленіе о гибели нынѣшнихъ европейскихъ націй съ ихъ культурными центрами опрокидываетъ весь прежній ходъ мыслей и надеждъ автора: наполненіе всѣхъ частей свѣта размножившимися цивилизованными людьми, раз-

<sup>1)</sup> „L'histoire et les historiens“, par Louis Bourdeau (P., 1888), стр. 386 и слѣд.

витіе культуры и богатства до небывалой еще степени, и въ то же время безыменные развалины среди пустынь, съ блуждающими дикими звѣрами и одинокими любознательными путниками, на мѣстахъ современныхъ столицъ! Одно исключаетъ другое, — и этого какъ будто не видитъ Бурдд, увлеченный безотчетною вѣрою въ „законъ“ непрерывнаго прогресса. Онъ отмѣчаетъ и темныя стороны цивилизаціи; но онъ убѣжденъ, что добро всегда беретъ верхъ надъ зломъ, и что достойнѣйшимъ представителямъ человѣческаго рода достанется „полная жизнь, господство надъ міромъ и безграничная будущность“. Безполезно спорить противъ такихъ убѣжденій, основанныхъ на субъективномъ чувствѣ.

Совершенно иначе разсуждаютъ писатели, привыкшіе анализировать явленія и вдумываться въ дѣйствительный ихъ смыслъ. „Что прогрессъ человѣчества непостояненъ, — говорить, между прочимъ, извѣстный Альбертъ Ланге, — этому учить насъ каждая страница исторіи. Можно даже вообще усомниться въ томъ, что такой прогрессъ существуетъ въ общемъ, хотя мы видимъ — то проявленіе, то исчезновеніе его въ частностяхъ. Въ настоящемъ вѣкѣ кажется несомнѣннымъ, что, рядомъ съ повышеніями и пониженіями культуры, которыя мы такъ ясно различаемъ въ исторіи, происходитъ постепенное совершенствованіе, дѣйствіе котораго только отчасти скрывается за указанною смѣною культурныхъ волнъ; но это заключеніе не настолькоъ вѣрно, какъ признаніе прогресса въ частностяхъ, и оно нерѣдко отвергается дѣльными мыслителями, близко знакомыми съ природою и исторіею. Если даже предположить вполнѣ основательнымъ наше наблюденіе для того періода исторіи, который мы имѣемъ въ виду, то это можетъ быть только болѣе значительная волна, которая, достигнувъ своей высшей точки, потечетъ обратно. Поэтому съ простымъ догматомъ вѣры или съ общепризнанною истиною ничего здѣсь подѣлать нельзя, а нужно ближе изучить причины, могущія вызвать упадокъ культуры“.

По мнѣнію Ланге, дальнѣйшее повышеніе и развитіе индивидуализма неизбежно приведетъ къ порчѣ, которая можетъ оказаться роковою. „Главнѣйшія причины упадка старыхъ культуръ давно установлены изслѣдователями исторіи. Культура замыкалась большею частью въ тѣсныя общественныя слои, которые послѣ нѣкотораго времени нарушались въ своей обособленности и поглощались болѣе широкими кругами, стоявшими въ массѣ на низшемъ уровнѣ“. Антагонизмъ между культурнымъ обществомъ и рабочимъ классомъ обостряется; „злоупотребленіе силою капитала относительно голодающихъ искателей труда составляетъ по-

вое кулачное право, хотя дѣло идетъ только объ упроченіи зависимости неимущихъ отъ капиталистовъ". Бѣдствія пролетаріата „пугаютъ теперь чувствительныя сердца; но отъ этого состояніи невозможно уже возвратиться къ старой простотѣ нравовъ. Владѣющіе классы постепенно приучились къ богатому и разнообразному пользованію утонченными наслажденіями жизни. Развились искусства и науки. Рабскій трудъ пролетаріевъ даетъ способнымъ умамъ досугъ и средства для изслѣдованій, изобрѣтеній и художественнаго творчества. Обязательно, повидимому, сохранить эти высшія блага человѣчества, и легко утѣшить себя мыслью, что они сдѣлаются когда-нибудь общимъ достояніемъ. Между тѣмъ быстрое увеличеніе богатствъ отърываетъ доступъ къ удовольствіямъ множеству лицъ, остающихся въ душѣ грубыми и неразвитыми. Другіе дичаютъ въ нравственномъ отношеніи, лишаясь уже всякой способности удѣлять вниманіе и сочувствіе какому бы то ни было интересамъ, лежащимъ внѣ обычнаго круга ихъ жизни. Живыя формы симпатій къ страданіямъ ближнихъ исчезаютъ, уже вслѣдствіе однообразнаго благоденствія богатыхъ. Последніе начинаютъ признавать себя особенными существами; они смотрятъ на бѣдныхъ и несчастныхъ какъ на неизбѣжную обстановку своего благосостоянія; они уже не понимаютъ ихъ участи. Съ разрывомъ нравственныхъ связей гаснетъ чувство стыда, которое прежде удерживало отъ излишествъ въ наслажденіяхъ. Умственная сила гложетъ среди жизненныхъ удовольствій; одинъ пролетаріатъ остается грубымъ, подавленнымъ, но умственно свѣжимъ. Въ такомъ состояніи находился древній міръ, когда христіанство и переселеніе народовъ положили конецъ его владычеству: онъ созрѣлъ тогда для паденія“.

Сходство между настоящею эпохою и временемъ разложенія древней культуры несомнѣнно существуетъ, какъ полагаетъ Ланге: „мы имѣемъ чрезмѣрное наростаніе и сосредоточеніе богатствъ; мы видимъ размноженіе пролетаріата, упадокъ нравовъ и религіи; современный строй государствъ почти вездѣ подвергается колебаніямъ, и вѣра въ предстоящую всеобщую великую революцію широко распространена и глубоко пустила корни“. Однако наше время „обладаетъ громадными цѣлебными средствами, и если буря переходнаго кризиса не превзойдетъ всѣхъ нашихъ предположеній, вѣроятно, человѣчеству не придется вновь начинать свою работу съ самаго начала, какъ при Меровингахъ“. Европу волнуетъ социальный вопросъ: „всѣ революціонные элементы науки, религіи и политики сошлись какъ будто въ обширной области этого вопроса для великой рѣшительной битвы. Останется ли эта

битва безкровною борьбою умовъ, испровергнуть ли она въ прахъ, подобно землетрясенію, развалины проплаго историческаго періода и похоронить подъ ними миллионы жизней, — во всякомъ случаѣ, наше время не побѣдитъ, если не станетъ подъ знамя великой идеи, которая отброситъ эгоизмъ и выдвинетъ новую цѣль, въ видѣ человѣческаго совершенствованія въ человѣческомъ общеніи, на мѣсто неустаннаго труда, имѣющаго въ виду исключительно личныя выгоды<sup>1)</sup>. Ланге не надѣется на смягченіе борьбы при помощи безстрастнаго пониманія, вносимаго теоретическимъ изученіемъ спорныхъ проблемъ; умственные усилія немногихъ могли бы „содѣйствовать тому, чтобы неотвратимое произошло болѣе легкимъ путемъ, съ избѣжаніемъ страшныхъ жертвъ, и чтобы сокровища культуры перенесены были въ сохранности въ новую эпоху; но рассчитывать на это трудно, и нельзя скрыть отъ себя, что слѣпныя партійныя страсти приобрѣтаютъ все болшую силу и что беспощадная борьба интересовъ становится все болѣе недоступною вліянію теоретическихъ изслѣдованій“<sup>1)</sup>).

Мрачные выводы Ланге кажутся намъ ошибочными въ томъ отношеніи, что они построены на одной экономической сторонѣ соціального вопроса, хотя и имѣютъ связь съ нравственными и культурными его особенностями. Авторъ какъ будто упустилъ изъ виду военно-политическую организацію современныхъ государствъ, даже республиканскихъ; при этой организаціи вооруженная часть народа, принадлежащая въ громадномъ большинствѣ въ низшему классу, легко пускается въ дѣло противъ этого же рабочаго населенія, когда оно поднимаетъ голову противъ буржуазіи и правительства. Кровавые іюньскіе дни 1848 года и расправа съ парижскою коммунаю 1871 года доказали, что въ демократической Франціи военная сила, вышедшая изъ народа, можетъ быть съ успѣхомъ направлена противъ пролетаріата. Это обстоятельство значительно измѣняетъ характеръ и вѣроятный ходъ соціальной борьбы. При нынѣшнихъ миллионныхъ арміяхъ, безусловно повинующихся своимъ вождямъ, не можетъ быть и рѣчи о той открытой и рѣшительной внутренней битвѣ, которую предвидитъ Ланге. Представители рабочаго класса въ западной Европѣ имѣютъ предъ собою одинъ только путь, могущій привести ихъ въ цѣли: они могутъ пытаться завладѣть государствомъ при помощи всеобщаго народнаго голосованія, такъ какъ численное большинство принадлежитъ низшимъ слоямъ населенія. Этой практической программы и при-

<sup>1)</sup> „Geschichte des Materialismus“, von Fr. Alb. Lange, 1877. Bd. II, стр. 477 и сл., 561—2.

держиваются наиболѣе дальновидные изъ социалистовъ Франціи и Германіи. Политическая сторона социальнаго вопроса, составляющая его существенный узелъ, часто забывается теоретиками; она отсутствуетъ и въ печальной картинѣ будущаго, изображенной въ размышленіяхъ Ланге. Выводъ не можетъ быть правиленъ, если онъ не опирается на всесторонній объективный анализъ явленій.

#### IV.—ПОПЫТКА АНАЛИЗА.

Весьма оригинальную теорію прогресса или, вѣрнѣе, регресса выработалъ австрійскій профессоръ, Гумпловичъ. Его ученіе, изложенное въ двухъ трактатахъ—о „борьбѣ расъ“ и объ „основахъ социологіи“, можетъ служить характернымъ образчикомъ тѣхъ ложныхъ приемовъ, которые все еще примѣняются въ социальныхъ изслѣдованіяхъ. Гумпловичъ рассуждаетъ такъ: исторія человѣчества совершается по какимъ-нибудь общимъ законамъ; эти законы могутъ быть только естественные, и слѣдовательно исторія есть процессъ естественный; но всѣ процессы въ природѣ заключаются въ взаимодействіи разнородныхъ элементовъ, и такими элементами въ человѣчествѣ могутъ быть только племенные единицы или расы, такъ какъ отдѣльныя личности не удовлетворяли бы условію разнородности. Поэтому историческій процессъ, будучи естественнымъ, предполагаетъ непременно соприкосновеніе и взаимодействіе различныхъ племенъ и расъ. Гдѣ такого взаимодействія нѣтъ, тамъ нѣтъ исторіи. Народъ, не ставящийся въ другіи и живущій только своими собственными внутренними интересами, не даетъ матеріала для естественно-историческаго процесса и не можетъ быть названъ историческимъ народомъ. Какъ въ солнечной системѣ дѣйствуетъ притяженіе между различными тѣлами, какъ въ химическомъ процессѣ происходитъ взаимодействіе между разнородными элементами, какъ въ мірѣ животныхъ и растений естественный процессъ возбуждается привосновеніемъ разнополыхъ зародышей, такъ и въ социологическихъ явленіяхъ должно происходить непосредственное взаимодействіе разнородныхъ племенныхъ элементовъ, ибо иначе процессъ исторіи не былъ бы естественнымъ, подобнымъ физическому, химическому и органическому.

Слѣдя за мыслью автора, мы видимъ, что онъ сначала опредѣляетъ признаки естественнаго процесса во внѣшней природѣ, а затѣмъ напередъ объявляетъ это опредѣленіе обязательнымъ для человѣческой исторіи: факты приноравливаются къ данному заранѣе

опредѣленію, извлеченному изъ наблюденія совершенно другихъ категорій явленій. Не было, очевидно, никакой надобности обращаться въ процессамъ химическимъ или органическимъ для формулированія того бесспорнаго положенія, что между людьми и племенами происходитъ взаимодействіе; но Гумпловичъ полагаетъ, что это человеческое взаимодействіе должно совершаться именно по образцу процессовъ физической природы, причѣмъ общность словеснаго опредѣленія безсознательно принимается за доказательство однородности самыхъ явленій. Ходъ исторіи названъ естественнымъ процессомъ, а естественные процессы совершаются такъ-то, по такимъ-то законамъ; слѣдовательно исторія происходитъ такъ же точно и подчиняется такимъ же неизбѣжнымъ началамъ. Вся теорія основана, въ сущности, на понятіи или опредѣленіи, придуманномъ Гумпловичемъ; она должна быть причислена поэтому къ прозвѣщеніямъ схоластики въ чистомъ видѣ.

Гумпловичъ увѣренъ, однако, что онъ слѣдуетъ методу естественныхъ наукъ; онъ дѣлаетъ какъ будто объективный анализъ содержанія исторіи и смѣло выставляетъ общіе соціологическіе законы, на основаніи словеснаго сходства между процессами физическими и социальными. Къ своей основной капитальной ошибкѣ онъ присоединяетъ другую, еще болѣе любопытную: онъ придаетъ своимъ „законамъ“ значеніе безусловно обязательныхъ нормъ, которымъ по-неволѣ должно подчиняться человѣчество, и отъ которыхъ никакія уклоненія невозможны. Съ этой точки зрѣнія, представлялись бы немислимыми громомоводы, посредствомъ которыхъ мы уклоняемся отъ дѣйствія естественныхъ силъ; немислимы были бы всѣ тѣ многочисленныя приспособленія, при помощи которыхъ мы пользуемся законами природы для нашихъ человеческихъ цѣлей. Естественные законы сами по себѣ неизмѣнны; но комбинаціи и условія, при которыхъ они проявляются, могутъ быть измѣняемы, и тѣ природныя силы, которыя прежде служили намъ во вредъ, превращаются въ наши послушныя орудія. Говорить объ обязательности научныхъ законовъ, въ смыслѣ бесполезности и невозможности какого-либо воздѣйствія на ихъ фактическія проявленія, — значитъ смѣшивать научные выводы съ принудительными предписаніями, благодаря двойственному смыслу слова „законъ“. И этотъ грубый элементарный промахъ дѣлается Гумпловичемъ. Онъ находитъ, что физическія тѣла должны безусловно притягиваться, и что атомы не могутъ не соединяться известнымъ образомъ; поэтому и люди дѣйствуютъ по непреложнымъ началамъ естественно-историческаго процесса. Но тѣла могутъ быть удалены одно отъ другого, и взаимодействіе ихъ измѣ-

нается; химическое соединеніе произойдетъ только въ томъ случаѣ, если нужные элементы будутъ поставлены въ надлежащія для этого условія, и оно не можетъ произойти, если мы устранимъ эти элементы и условія; образовавшійся продуктъ химическаго процесса можетъ быть разложенъ обратно на его составныя части, или онъ можетъ перейти въ другое соединеніе, при включеніи новаго родственнаго элемента; такъ же точно люди и народы могутъ дѣйствовать такъ или иначе, смотря по обстоятельствамъ и условіямъ, въ которыхъ они находятся. Карточный домикъ, построенный Гумпловичемъ, разрушится тотчасъ же, если вспомнить, что люди и расы обладаютъ свойствами, которыхъ нѣтъ у атомовъ и физическихъ тѣлъ, что сознательныя живыя существа подлежатъ болѣе сложнымъ законамъ, чѣмъ элементы простаго химическаго и физическаго процесса. Авторъ не только сравниваетъ, но отождествляетъ предметы, совершенно разнородныя по существу, и посредствомъ такого смѣшенія приходитъ къ результатамъ чисто фантастическимъ.

Опредѣлить сущность взаимодѣйствія социальныя или племенные элементы было уже не трудно, послѣ возведенія простыхъ физическихъ процессовъ на степенъ законовъ исторіи. Гумпловичъ ставитъ формулу, которой, по его собственнымъ словамъ, „невозможно отказать въ совершенной, почти математической точности и всеобщности“. А именно: „каждый сильнѣйшій племенной или социальный элементъ стремится въ тому, чтобы подчинить своимъ дѣламъ слабѣйшіе элементы, находящіеся въ предѣлахъ его вліянія. Это положеніе, со всѣми вытекающими изъ него выводами, — по увѣренію автора, — даетъ ключъ къ разрѣшенію всей загадки естественнаго процесса человѣческой исторіи. Приведенный тезисъ всегда и вездѣ осуществляется въ прошломъ и настоящемъ, и легко будетъ убѣдиться въ его всеобщей силѣ. Въ этомъ отношеніи онъ ни въ чемъ не уступаетъ такимъ естественнымъ законамъ, какъ притяженіе и тяготѣніе, химическое сродство или законы растительной и животной жизни“. Стремленіе къ подчиненію чужихъ социальныя элементы есть для Гумпловича „вѣчный непреложный законъ природы“, противъ котораго человѣческая воля бессильна; историческіе дѣятели суть только „маріонетки, подвигаемыя взадъ и впередъ таинственными пружинами этого вѣчнаго естественнаго закона“; люди не замѣчаютъ этихъ пружинъ, которыя „безшумно совершаютъ отъ начала временъ свои неизмѣнно одинаковыя движенія и заставляютъ человѣчество идти всегда одними и тѣми же путями, съ



такую же равномерностью, какъ движеніе солнца и луны, какъ чередованіе дня и ночи и время года“.

Фатализмъ много разъ выдавался за научную доктрину; но едва ли онъ предлагался когда-нибудь въ болѣе грубой и наивной формѣ, чѣмъ въ теоріи Гумпловича. Авторъ безыскусственно извлекаетъ свои выводы изъ своего собственнаго опредѣленія „естественнаго процесса“: такъ какъ, — говоритъ онъ, — развитіе человѣчества есть процессъ естественный, а естественные процессы всегда одинаковы, то и сущность хода исторіи должна быть всегда одинакова. „Это признаніе есть только необходимое послѣдствіе *понятія* естественнаго процесса“. Анализъ понятій и словъ подставленъ вполнѣ откровенно на мѣсто анализа явленій. Гумпловичъ идетъ еще далѣе: изъ того, что естественные процессы всегда одинаковы, онъ заключаетъ, что разнородные племенные элементы должны были всегда дѣйствовать одинаково въ исторіи, и что различія расъ должны были существовать для этого съ первобытныхъ временъ, чѣмъ доказывается будто бы несостоятельность теоріи объ единствѣ происхожденія человѣческаго рода. Авторъ далеко перешагнулъ за предѣлы даже своего собственнаго представленія объ естественныхъ процессахъ, такъ какъ онъ не утверждаетъ, что существующія нынѣ физическія тѣла должны были существовать вѣчно и не могли произойти изъ единой матеріи, въ виду установленной будто бы необходимости взаимодействія между разнородными тѣлами. Законъ вѣченъ и непреложенъ, а потому тѣ предметы и комбинаціи, въ которыхъ онъ проявляется, должны сами существовать вѣчно и неуклонно, чтобы давать естественнымъ законамъ возможность проявлять на нихъ свою силу, — такова поразительная идея, которую серьезно проводитъ авторъ. Здѣсь совершенно теряется смыслъ понятія о законѣ, какъ о формулѣ, опредѣляющей отношенія причинности и связи между явленіями. Гдѣ нѣтъ предметовъ, тамъ нѣтъ и тѣхъ явленій, къ которымъ примѣнима формула даннаго закона; требовать, во имя научнаго закона, чтобы самыя явленія, объясняемыя имъ, всегда существовали неизмѣнно, — это, очевидно, верхъ нелѣпости.

Непонятно также, почему Гумпловичъ считаетъ племенную разнородность необходимымъ условіемъ взаимодействія социальныхъ элементовъ: однородныя физическія и небесныя тѣла притягиваютъ другъ друга съ такою же силою, какъ и разнородныя. Установивъ а ригорі неразрывную связь борьбы съ племенною разнородностью, авторъ отыскиваетъ различіе расъ повсюду, гдѣ есть борьба; по его мнѣнію, антагонизмъ между общественными классами долженъ непремѣнно сопровождаться разницею проис-

хожденія, а такъ какъ часто этотъ элементъ отсутствуетъ, то самое понятіе расы измѣняется и получаетъ характеръ чего-то неуловимаго и неопредѣленнаго, для избѣжанія прямыхъ противорѣчій между теоріею и фактами. Авторъ готовъ подъ расою разумѣть простыя соціальныя группы, раздѣленныя экономическими и политическими условіями, лишь бы не колебать своего общаго „научнаго“ положенія. Въ то же время изъ понятія о „законѣ“ взаимодѣйствія онъ выводитъ „желѣзный и вѣчный законъ борьбы“ между человѣческими племенами и группами, какъ будто „взаимодѣйствіе“ можетъ быть только насильственнымъ. Слѣдуя своимъ аналогіямъ, онъ долженъ былъ бы скорѣе считать физическое „притяженіе“ равносильнымъ взаимной симпатіи людей и обществъ, стремленію ихъ къ мирному сближенію и общенію, какъ это дѣлаетъ американскій теоретикъ Кэри.

Что взаимодѣйствіе и притяженіе означаютъ именно борьбу, и притомъ борьбу насильственную, кровавую, — это проповѣдуется Гумпловичемъ съ настойчивостью, достойною лучшаго дѣла, и даже съ какимъ-то особеннымъ радостнымъ чувствомъ, которое для насъ совершенно непостижимо. Еслибы люди и народы, — объясняетъ онъ, на примѣръ, — руководствовались своими сознательными интересами, они не подчинялись бы одинъ другому и не боролись бы между собою. „Къ счастью, — говоритъ далѣе Гумпловичъ, — естественный процессъ исторіи не зависитъ отъ усмотрѣнія личностей; природа, повидимому, позаботилась объ этомъ предусмотрительно, какъ и во многихъ другихъ отношеніяхъ. Она вложила въ сердце человѣка сильнѣйшіе, неодолимые инстинкты, которые поддерживаютъ этотъ историческій процессъ и способствуютъ его неустанному развитію, точно также какъ различныя физическія силы поддерживаютъ процессы звѣздные, химическіе и органическіе“. Природа превращается у автора въ особое грозное существо, имѣющее свои цѣли и мотивы, дающее людямъ принудительные законы и жестоко карающее непослушныхъ. Иногда этотъ первобытный взглядъ высказывается вполне ясно, хотя самъ авторъ, вѣроятно, не отдаетъ себѣ въ этомъ яснаго отчета. Люди и народы желали бы сохранить свою самостоятельность и свободу, неприкосновенность своего языка и своей культуры; человѣческое чувство возстаетъ противъ кровавыхъ столкновеній, но „непреложный законъ“ Гумпловича требуетъ, чтобы народы смѣшивались и объединялись насиліемъ, на томъ основаніи, что и химическія и физическія тѣла притягиваются и соединяются между собою. При этомъ забывается уже, что природныя соединенія совершаются только при извѣстныхъ усло-

вияхъ, безъ которыхъ они не будутъ имѣть мѣста; для человѣчества нѣтъ никакихъ условій,—оно всегда и повсюду должно дѣйствовать одинаково, согласно неумолимой превратной логикѣ Гумпловича.

„Такъ рѣшено въ совѣтѣ боговъ!—воскликаетъ авторъ:—соединенія происходятъ только путемъ вѣчной борьбы расъ, путемъ войны и мира, — иначе нельзя“. Какъ бы ни дорожили люди своею племенной независимостью, они „должны объединяться,—ибо того хочетъ планъ природы (sic). Такъ начинается борьба, которая находитъ свою мирную и правовую форму въ организаціи господства, въ государствѣ. Процессъ длится долго, много столѣтій. Антагонизмъ двухъ естественныхъ законовъ, изъ которыхъ одинъ управляетъ личностью, а другой—человѣчествомъ, даетъ почву для трагедіи жизни, для кровавой драмы исторіи“. Раса образуется посредствомъ борьбы племенъ, которую авторъ единично называетъ кровообращеніемъ; образовавшись, она вступаетъ въ столкновение съ другими элементами и продолжаетъ бороться безъ конца. На случай, еслибы кто-либо вообразилъ себѣ возможность успокоенія съ образованіемъ большихъ отдѣльныхъ и разъединенныхъ расъ, Гумпловичъ считаетъ долгомъ утѣшить сомнѣвающихся ссылкою на „вѣчный законъ движенія“, по которому „расы непрерывно шествуютъ по земному шару и отыскиваютъ мѣстопробываніе чужихъ расъ, чтобы войти въ соприкосновеніе съ ними и вновь начать борьбу, которая грозила уже погаснуть и перейти въ застой“. Химическіе элементы по крайней мѣрѣ не отыскиваютъ удаленныхъ отъ нихъ веществъ, для насильственнаго соединенія во что бы то ни стало; это исканіе борьбы для борьбы предоставлено специально человѣчеству, не въ примѣръ прочимъ „естественнымъ процессамъ“ природы. Гумпловичъ категорически рѣшаетъ,—вслѣдъ за рѣшеніемъ „совѣта боговъ“, — что бессмысленная „вѣчная борьба расъ есть законъ исторіи“ и что „вѣчный миръ есть пустая мечта идеалистовъ“.

Разумѣется само собою, что съ точки зрѣнія Гумпловича нѣтъ никакого прогресса въ общемъ круговоротѣ исторіи, а есть только для каждаго народа или племени „начало развитія, высшая степень его и неминуемый упадокъ“. Три великія расы—романская, германская и славянская — стоятъ теперь лицомъ къ лицу въ Европѣ; онѣ должны будутъ неизбежно исполнить законъ, который удалось открыть Гумпловичу посредствомъ истолкованія понятія объ „историческомъ процессѣ“. Тутъ дошли мы до такого пункта, — ужасается уже самъ беспощадный авторъ,—гдѣ далекое

будущее бросаетъ впередъ свою кровавую тѣнь. „Какія страшныя національныя и міровыя войны должны будутъ разыграться, прежде чѣмъ разрѣшится борьба трехъ культуръ, представляемыхъ тремя враждебными расами,—прежде чѣмъ онѣ испытаютъ и истощатъ свои силы въ взаимныхъ войнахъ и прежде чѣмъ изъ культурныхъ міровъ—романскаго, германскаго и славянскаго—образуется единая европейская культура и единая европейская раса! Цѣлые вѣка кровопролитныхъ расовыхъ войнъ отдѣляютъ насъ отъ этого момента. Между тѣмъ предъ нашими глазами выростаетъ изъ безчисленныхъ разнородныхъ элементовъ, за океаномъ, новый культурный міръ, новая раса — американская. Мы видимъ: надолго приняты мѣры, чтобы расовая борьба не остановилась. Въ необозримомъ будущемъ ожидается еще зрѣлище расовой борьбы между Европою и Америкою (!), и такъ движется по земному шару борющееся человѣчество. Естественный социальный процессъ создаетъ для новой борьбы все новыя расы, все громаднѣйшія амальгамы племенъ и народовъ, обнимающія все большія культурныя области и ведущія все съ большею утонченностью взаимныя истребительныя войны. И въ чемъ же конецъ? Для человѣческаго вора этотъ конецъ такъ же необходимо далекъ, какъ за нами — начало. Для насъ безконечность лежитъ позади, безконечность — впереди. Предъ нами открывается еще цѣлая часть свѣта, не тронутая культурою, куда европейскія государства посылаютъ еще своихъ развѣдчиковъ для собранія свѣдѣній о новыхъ территорияхъ; сколько еще народныхъ избиеній и расовыхъ войнъ произойдетъ въ этой Африкѣ! А что сказать объ Азіи, гдѣ на развалинахъ мѣстныхъ расъ и культуръ встрѣтятся еще для борьбы европейцы и американцы, если сами азіаты не успѣютъ раньше захватить Европу! Насколько человѣческой глазъ можетъ проникнуть въ будущее, не видно конца расовой борьбѣ; естественный социальный процессъ лежитъ въ своей безконечности впереди насъ, какъ и позади“ <sup>1)</sup>. Въ этомъ, конечно, мало утѣшительнаго, по признанію самого автора. „Естественный законъ истории приноситъ народамъ печальныя необходимости, не менѣе печальныя, чѣмъ и естественный законъ жизни отдѣльнаго человѣка. Но станетъ ли кто возражать противъ знанія жизненныхъ законовъ на томъ основаніи, что они не общающъ ему ни вѣчной жизни, ни постоянныхъ наслажденій? Взамѣнъ разрушенныхъ иллюзій это знаніе даетъ

<sup>1)</sup> „Der Rassenkampf“. Sociologische Untersuchungen, von Ludwig Gumplowicz (Innsbruck, 1893).

другое преимущество, — что люди не будутъ отдаваться пустымъ, неосновательнымъ самообольщеніямъ“.

Все ясно и просто для Гумпловича въ исторіи и въ социаль-ныхъ явленіяхъ: стоитъ только примѣнить къ нимъ мѣрку „естественнаго процесса“ въ томъ смыслѣ, какъ опредѣлилъ его авторъ. Разъ процессъ начинается съ взаимодѣйствія разнородныхъ элементовъ, а человѣческими элементами заранѣе признаны племена и расы, то дальнѣйшее вытекаетъ уже неизбежно, съ кажущеюся логическою послѣдовательностью, — при двухъ, однако, условіяхъ; чтобы взаимодѣйствіе понималось почему-то какъ насиліе и борьба, и чтобы социальна-историческіе законы, въ отличіе отъ физическихъ, приводили неизмѣнно къ одинаковымъ результатамъ при всякой комбинаціи обстоятельствъ и отношеній, независимо отъ внутренняго состава и свойствъ элементовъ, отъ раздѣляющихъ ихъ разстояній и преградъ. На этихъ своеобразныхъ началахъ построенъ „опытъ соціологіи“ Гумпловича. „Всякая государственная организація и всякое культурное развитіе начинаются съ момента прочнаго подчиненія одного племени другимъ, и потому даже суровые, варварскіе побѣдители суть слѣпныя орудія человѣческаго прогресса и могущественные двигатели и основатели культуры“. Для утвержденія мирной цивилизаціи нужны „суровые сыны пустыни“, употребляющіе грубую силу при устройствѣ системы власти и подчиненія, какъ будто элементы силы и власти не образуются внутри отдѣльныхъ племенъ и народовъ, даже на культурной почвѣ. „Какъ только одна социальная группа подвергается воздѣйствію другой, тотчасъ выступаетъ на сцену та игра естественныхъ силъ, которая обуславливаетъ социальный процессъ. Нигдѣ и никогда не возникали государства иначе, какъ путемъ подчиненія чужихъ племенъ со стороны одного или нѣсколькихъ союзныхъ народностей“. Эта вѣчная борьба социальныхъ группъ оскорбляетъ нравственное чувство человѣка; но „требованія морали могутъ удовлетворять только личности: общества обрушиваются (!!), какъ лавины, на свои жертвы, съ неудержимою разрушительною силою. О совѣсти можетъ быть рѣчь только у отдѣльныхъ лицъ; общества не имѣютъ совѣсти. Всякое средство хорошо, когда оно ведетъ къ цѣли. Въ этомъ отношеніи всѣ социальныя группы и націи сохранили характеръ дикихъ ордъ, и это относится одинаково и къ общественной внутренней борьбѣ, и къ взаимной борьбѣ государствъ. Пусть ищутъ вѣрности, правды и совѣсти въ взаимныхъ сношеніяхъ цивилизованныхъ націй! На каждой страницѣ исторіи мы видимъ ложь и обманъ, вѣроломство и измѣну“. Какъ дикія орды, государства

вступаютъ въ союзъ для нападенія на соперниковъ и руководствуются единственно лишь расчетомъ и выгодой. Въ соперничествѣ націй не играютъ никакой роли личныя качества и намѣренія правителей; „только социальныя интересы добиваются своего удовлетворенія съ неумолимою настойчивостью. Надъ дѣйствіями дикихъ полчищъ, общество и государство господствуетъ слѣпой законъ природы“.

Легко замѣтить, что подъ дѣйствіями общества и государства авторъ разумѣетъ, въ сущности, только дѣйствія правительства, которыя далеко не всегда соответствуютъ желаніямъ и стремленіямъ народовъ. Привычка отождествлять общество и государство съ даннымъ правительственнымъ строемъ твердо укоренилась у нѣмецкихъ теоретиковъ, и она объясняетъ многое въ ихъ социальныхъ ученіяхъ и выводахъ. Гумпловичъ могъ бы вспомнить, что эра Бисмарка въ Германіи водворилась вопреки волѣ большинства нѣмецкаго населенія, послѣ горячей борьбы съ народнымъ представительствомъ, причѣмъ колебался даже королевскій тронъ Вильгельма I: одно время поставленъ былъ вопросъ объ отреченіи. Если нѣмецкое общество, въ концѣ концовъ, подчинилось навязанной ему системѣ, благодаря побѣдѣ при Садовой, то это еще не значитъ, что оно пошло бы по тому же пути крови и желѣза, еслибы оно пользовалось свободой и могло само распоряжаться своими политическими судьбами. Какъ понимали задачу національнаго объединенія лучшіе классы нѣмецкаго народа, — это можно видѣть изъ дѣятельности франкфуртскаго парламента и прусской палаты депутатовъ въ 1848 и 1849 годахъ, когда общее объединительное движеніе должно было уже привести къ желанной цѣли и встрѣтило лишь отпоръ со стороны прусскаго короля и его реакціонныхъ министровъ.

„Политическія положенія принудительны, — объясняетъ далѣе Гумпловичъ: — въ нихъ дѣйствуетъ законъ природы, а не воля отдѣльныхъ лицъ, которыя съ кажущеюся свободой выполняютъ соотвѣтственныя дѣйствія. Если слабое государство находится среди нѣсколькихъ могущественныхъ государствъ или въ сосѣдствѣ съ ними, не укрѣпившись союзами, то раздѣлъ его между сильными сосѣдями неминуемъ. Такія событія суть просто естественныя явленія, вытекающія изъ совмѣстнаго дѣйствія слѣпыхъ силъ. Жертвы этихъ событій называютъ ихъ преступленіями. Съ такимъ же основаніемъ можно бы назвать преступленіемъ землетрясеніе, отъ котораго гибнутъ тысячи людей. Разница только въ томъ, что въ политическомъ дѣлѣ мы какъ будто видимъ виновниковъ, исполнителей, тогда какъ мы напрасно искали бы ихъ

при землетрясеніи<sup>1)</sup>. Къ сожалѣнію, авторъ не пытался объяснить, съ своей точки зрѣнія, тотъ странный фактъ, что Бельгія, Голландія, Швейцарія, Румынія и даже маленькая республика Санъ-Марино существуютъ и процвѣтаютъ безпрепятственно, рядомъ съ могущественными великими державами, и что никакой „слѣпой законъ природы“ не мѣшалъ до сихъ поръ мирному самостоятельному развитію этихъ маленькихъ политическихъ организацій. Поэтому есть основаніе думать, что и въ будущемъ „слѣпые социальныя законы“ останутся слѣпыми и не коснутся указанныхъ небольшихъ народностей, вопреки пророчествамъ Гумпловича.

Повидимому, идеи, излагаемыя профессоромъ Гумпловичемъ съ такимъ страстнымъ убѣжденіемъ, нисколько не лучше и не основательнѣе тѣхъ, которыя выдаются за научную истину нѣкоторыми нашими доморощенными философами; но нѣмецкій профессоръ имѣетъ безспорное преимущество предъ послѣдними въ томъ отношеніи, что онъ хочетъ изучить и анализировать существующую природу социальныхъ явленій, не подмѣниваетъ задачи изученія установкою своихъ субъективныхъ желаній и идеаловъ, не беретъ придумывать формулы или „программы дальнѣйшаго прогресса“ для человѣчества, вмѣсто анализа дѣйствительнаго хода исторіи въ прошломъ и настоящемъ для болѣе основательныхъ предположеній о будущемъ. Гумпловичъ попалъ на ложную дорогу, и его труды пропали даромъ; еще многіе другіе изслѣдователи будутъ блуждать ощупью въ обширной области неустановившейся еще науки—соціологіи;—но со временемъ отыщется настоящій путь, и будущіе ученые не помянутъ дурнымъ словомъ даже такихъ неудачныхъ искателей истины, какъ Гумпловичъ.

Л. Слонимскій.



<sup>1)</sup> „Grundriss der Sociologie“, von Dr. Ludwig Gumplowicz Wien, 1885.

---

## КРАСИВАЯ СМЕРТЬ

---

Ни толкотни людей, ни бѣга экипажей,  
Ни улицъ, ни домовъ не видно изъ окна.  
За днями дни идутъ, и лишь одна и та же  
Снѣговъ глубокихъ гладь мнѣ бѣлая видна.

То деревенское спокойствіе, въ которомъ  
Мнѣ жить такъ по сердцу, не можетъ быть полнѣй.  
Предъ слухомъ—тишина; пустыня—передъ взоромъ,  
И смерти чутся владычество надъ ней.

Но, Боже, что за смерть! О, какъ она красива,  
Когда, соединясь, и солнце, и морозъ  
Въ причудахъ инея, какъ сказочное диво,  
Меня уносятъ въ міръ какъ бы застывшихъ грѣзь!

Гуляя межъ снѣговъ, и весело и странно  
Мнѣ на пути встрѣчать, въ волшебные тѣ дни,  
То формы скудныя съ отдѣлкой филигранной,  
То искръ безчисленныхъ холодные огни.

Вездѣ цѣпочки звѣздъ, подвѣси и запястья;  
Все радужной игрой лучей озарено...  
Зима не вѣдаетъ отличій и пристрастья,  
И жертвы смерти всѣ украсила равно.

Алексѣй Жемчужниковъ.





# ПИТАНИЕ И ПРОДОВОЛЬСТВІЕ

СЪ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРѢНІЯ. •

Нашъ практическій вѣкъ давно заставилъ насъ во многихъ отрасляхъ знанія опуститься изъ высшихъ и отвлеченныхъ сферъ изслѣдованія, — гдѣ наука работаетъ для науки, — къ болѣе низменнымъ слоямъ текущихъ общественныхъ потребностей. Изучая эти послѣднія съ научной же точки зрѣнія, представители прикладныхъ наукъ принесли не мало пользы общественной жизни, давъ серьезныя указанія техникѣ и промышленности. Но едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что, сравнивая добытое съ тѣмъ, чего еще желательно достигнуть, трудно и представить себѣ предстоящую массу дальнѣйшихъ практическихъ задачъ, ждущихъ своего рѣшенія.

Въ области гигиены такихъ задачъ также не мало. Страннымъ, однако, всегда кажется то явленіе, что болѣе насущные вопросы, обыкновенно вызывающіе сомнѣнія, недоразумѣнія, излишнія затраты, какъ будто менѣе другихъ останавливаютъ на себя вниманіе изслѣдователей. Такъ и вопросъ о способѣ болѣе рациональнаго питанія въ средѣ частныхъ лицъ и общественныхъ массъ слишемъ еще далеко отъ своего сколько-нибудь удовлетворительнаго рѣшенія.

Дадимъ себѣ трудъ остановить наше вниманіе пока на одной сторонѣ этого вопроса, болѣе другихъ, повидимому, соприкасающейся съ практикою общественной жизни. Постараемся отвѣтить: *можетъ ли наука, и при какихъ условіяхъ, дать въ дѣлѣ питанія такія указанія, которыя было бы возможно непосредственно приложить къ жизни и осязательно повліять ими на матеріальное благосостояніе общества?* Говоря короче, я по-

зволить бы себѣ резюмировать этотъ же вопросъ такъ: *при какихъ условіяхъ указанія гигиены въ дѣлѣ питанія людей могутъ имѣть политико-экономическій характеръ?*

Должно откровенно сознаться, что вопросъ, затронутый нами, не особенно легко поддается обсужденію, такъ какъ заключаетъ въ себѣ двѣ разнохарактерныя стороны: теоретическую и практическую; но обѣ онѣ стоятъ въ тѣсной зависимости одна отъ другой. Къ первой, теоретической, мы относимъ установленіе наукой законовъ питанія человѣческаго организма, или *физиологію питанія*, а ко второй, практической—обиденные способы удовлетворенія этихъ законовъ, или *продовольствованіе народныхъ массъ*.

Если законы питанія человѣческаго организма сравнительно легче опредѣляются его строеніемъ, его дѣятельностью,—однимъ словомъ, какъ мы говоримъ, его физиологическими потребностями, то законы продовольствованія, къ сожалѣнію, подлежатъ влиянію гораздо болѣе сложныхъ условій. Къ числу ихъ относится не только необходимость удовлетворить физиологическимъ требованіямъ организма, но и требованіямъ, сопряженнымъ съ производствомъ питательныхъ веществъ, съ качествомъ послѣднихъ, ихъ заготовкою, приготовленіемъ въ пищу и т. д. и т. д.

Гораздо легче опредѣлить, сколько нужно человѣку муки на каждый день для того, чтобы приготовленный изъ нея хлѣбъ утолил голодъ, нежели указать, гдѣ получить лучшую и болѣе дешевую муку, какъ удобнѣе для каждаго даннаго случая приготовить изъ нея ту или другую пищевую форму, и не выгоднѣе ли, наконецъ, совершенно устранить муку, замѣнивъ ее болѣе цѣлесообразнымъ пищевымъ средствомъ?

Такимъ образомъ, согласимся, что вопросъ, подлежащій нашему обсужденію, затрагиваетъ самыя практическія стороны жизни, требуя для нихъ строго-научно поставленныхъ и опредѣлительно выраженныхъ указаній положительнаго знанія. Мыслимо ли получить такія указанія? Несомнѣнно возможно, какъ мы увидимъ далѣе, но при условіяхъ болѣе благоприятныхъ, чѣмъ какія сопровождали разработку подобныхъ вопросовъ до послѣдняго времени.

Хотя и теперь наука указываетъ количество необходимой намъ пищи, существуютъ даже принятыя большинствомъ ученыхъ цифры наименьшаго количества потребныхъ для организма бѣлковъ, жировъ и крахмаловъ; однако, въ виду накопляющихся наблюдений, свидѣтельствующихъ часто объ отклоненіяхъ практической жизни отъ установленныхъ нормъ, мы не въ правѣ еще настаивать на

томъ, что ученіе о питаніи сказало свое послѣднее слово. Наоборотъ,—новые факты, открываемые наукою, призываютъ насъ къ болѣе тщательному просмотру уже сдѣланнаго. Установленныя нормы для данной минуты хотя и могутъ временно руководить насъ при рѣшеніи практическихъ вопросовъ, но во всякомъ случаѣ едва ли совпадаютъ съ тѣми возможно болѣе близкими къ истинѣ величинами, которыхъ мы должны еще искать.

Весьма многіе стремились для уясненія дѣятельности организма приравнять ее къ дѣятельности машины или паровоза. Какъ въ послѣднемъ движеніе возможно только подъ условіемъ снабженія топливомъ, такъ и организмъ человѣка дѣлается бессильнымъ для работы, если лишается пищи. Однако сравненіе это имѣетъ въ виду лишь внѣшнее сходство. Различныя части машины, приходя въ дѣйствіе, не видоизмѣняются, тогда какъ дѣятельныя части организма, его мышцы, мѣняютъ каждое мгновеніе свой составъ подъ вліяніемъ производимой ими работы.

Дѣятельность машины однообразна и въ каждомъ данномъ случаѣ можетъ быть математически точно вычислена. Дѣятельность же организма до крайности разнообразна, и размѣръ работы, имъ производимой, стоитъ въ зависимости не только отъ внѣшнихъ физическихъ, внутреннихъ физиологическихъ, но даже отъ психическихъ вліяній. Поэтому, если мы можемъ разъ навсегда точно вычислять количество топлива, потребнаго для ожидаемой отъ локомотива работы, то не можемъ того же достигнуть при опредѣленіи необходимой человѣку пищи. Она будетъ мѣняться сообразно тому или другому роду дѣятельности людей. Конечно, разнообразіе дѣятельности ихъ не безконечно и лежитъ въ извѣстныхъ предѣлахъ. Тѣмъ не менѣе, при рѣшеніи нашего вопроса, мы можемъ пытаться установить не абсолютный, но лишь *средній уровень питанія* человѣка.

Норма средняго уровня питанія, вполне удовлетворяющаго физиологическимъ потребностямъ питанія человѣка, могла бы быть *при извѣстныхъ условіяхъ* точно установленною, и чѣмъ наши знанія будутъ идти далѣе, тѣмъ еще болѣе точно опредѣлится нашъ средній пищевой раціонъ или пищевыя единицы мѣры питанія.

Точное же опредѣленіе такой мѣры, нормы или единицы питанія крайне важно въ практическомъ отношеніи.

Представимъ себѣ на минуту, что мы достигли наконецъ вполне точной установки среднихъ нормъ питанія человѣка,—послѣдствія этого были бы безпредѣльны. Силы людей для производства той или другой работы не превышаютъ опредѣленныхъ

границъ и изучены уже нашимъ вѣковымъ опытомъ. Какъ скоро мы узнаемъ точно то количество пищевыхъ веществъ, какое требуется для развитія необходимыхъ для человѣческой работы силъ, то произвольность оцѣнки всѣхъ произведеній дѣятельности людей въ значительной степени будетъ намъ облегчена, такъ какъ однимъ изъ наиболѣе главныхъ факторовъ дѣятельности ихъ является и *пища*.

При расцѣнѣ работъ, главной составной частью платы за трудъ входятъ также соображенія о продовольствіи. Чѣмъ правильнѣе будетъ оцѣнка по количеству и качеству пищевыхъ единицъ, участвовавшихъ въ работѣ, тѣмъ вѣрнѣе опредѣлится ея истинная цѣнность.

Все существующее вокругъ насъ соизмѣряется въ дѣйствительности количествомъ пищевыхъ единицъ. Съ каждымъ ударомъ молота рудобоя затрачивается опредѣленная часть пищи; въ каждомъ локомотивѣ, пролетающемъ по длиннымъ рельсовымъ путямъ, играютъ роль тѣ же пищевыя единицы людей, и безъ нихъ не были бы осуществлены ни соборъ св. Петра въ Римѣ, ни св. Исаакія Далматскаго въ Петербургѣ. Добываетъ руду, строитъ, примѣняетъ къ дѣлу локомотивъ и создаетъ несравненные намятники водчества все тотъ же человѣкъ, существованіе котораго безъ опредѣленнаго количества пищевыхъ единицъ невысказуемо. Все, чѣмъ гордятся не только отдѣльныя лица, но цѣлыя страны, государства: ихъ слава, побѣды, науки, искусства, — все это сводится къ одному и тому же элементарному источнику всякой силы, всякой дѣятельности, — къ пищѣ, потребляемой въ опредѣленномъ количествѣ единицъ. Трудно спорить противъ преобладающаго значенія пищи не только въ области тѣлеснаго развитія и механической работы, но даже интеллектуальнаго прогресса человѣчества.

Умственный прогрессъ, безъ сомнѣнія, громаднымъ образомъ обязанъ гениальнымъ свѣточамъ человѣчества. Но много ли даетъ намъ исторія Галлилеевъ, Бойлей, Ньютоновъ, Лавуазье, Остроградскихъ, Ломоносовыхъ и имъ подобныхъ? Ихъ работа, наконецъ, была бы безплодною, еслибы ею не пользовались массы. Допустимъ даже, что свѣтлыя идеи гениальныхъ ученыхъ являлись результатомъ не столько ихъ питательныхъ отравленій, сколько слѣдствіемъ особаго строенія ихъ мозга и нервной системы, особой силы ихъ духовной сферы. Что же касается тѣхъ массъ, воими были усвоены и примѣнены къ дѣлу гениальныя истины, то совершалось это только при условіяхъ нормальнаго питанія, безъ котораго невысказуемо нормальная человѣческая дѣя-

тельность. Правда, не исключительно въ одной пищѣ сводятся всѣ неизбѣжныя потребности человѣческой природы. Мы дышемъ, намъ необходимъ чистый воздухъ и хорошее жилье; мы каждое мгновеніе отдаемъ внѣшней средѣ развиваемое нами тепло и должны ограничивать эту потерю одеждой; мы накопляемъ свою жизнь, своей дѣятельностью массу отбросовъ, для насъ вредныхъ, и требуемъ избыточной воды для ихъ устранения. Всѣ эти нужды, однако, далеко не въ такой степени важны, какъ потребность правильнаго питанія. Статистика болѣзненности убѣждаетъ насъ въ томъ, что люди, живущіе при совершенно одинаковыхъ условіяхъ невыгодной обстановки: холоднаго жилья, дурной одежды, грязи, страдаютъ несравненно менѣе, если питаются хорошо — и наоборотъ. Истощенные, дурно-питаемые субъекты населенія даютъ обычно самую благодарную ниву для жатвы различныхъ эпидемій.

Итакъ, вопросы о питаніи и продовольствіи, тѣсно сливаясь съ каждымъ шагомъ человѣческой дѣятельности, даже подчиняя ее себѣ въ большинствѣ случаевъ, представляются крайне сложными для разработки и для вѣрнаго рѣшенія въ жизни. Нормальный трудъ человѣка вполне зависитъ отъ нормальнаго питанія и продовольствія. Для того же, чтобы подойти къ отвѣту, для насъ необходимому, чтобы выяснитъ границы, въ которыхъ пищевое довольствіе вліяетъ на экономическое благосостояніе людей, мы прежде всего должны ознакомиться съ существующими способами установки понятій о нормальномъ уровнѣ пищевой дачи человѣка и указать, какимъ путемъ можемъ мы достигнуть болѣе вѣрныхъ данныхъ. Посмотримъ, какими способами рѣшается этотъ вопросъ въ настоящее время. Установленіе нормальнаго средняго уровня питанія возможно какъ путемъ изученія физиологическихъ процессовъ, — что достигается при посредствѣ опыта, — такъ и путемъ наблюденія надъ свободнымъ питаніемъ людей во время ихъ обыденной жизни. Результатами того и другого способа изслѣдованій, дополняющими другъ друга, и руководствуются при опредѣленіи средней пищевой дачи, необходимой ежедневно каждому.

Въ первомъ случаѣ мы взвѣшиваемъ человѣка, опредѣляемъ состояніе его здоровья, точно изучаемъ размѣръ пищи, которую онъ употребляетъ, собираемъ всѣ изверженія и, сопоставляя то, что съѣдено, и то, что выдѣлено, узнаемъ, сколько пищевыхъ веществъ въ тѣлѣ такого человѣка осталось, или — какъ говорятъ — усвоилось. Продолжая такого рода опыты въ теченіе нѣсколькихъ дней, убѣждаясь, что вѣсъ тѣла не уменьшается, что здо-

рове не страдаетъ, мы приходимъ къ убѣжденію, что пища, потреблявшаяся человѣкомъ, удовлетворяла его физиологическія потребности, что она представляла нормальную пищевую дачу. Производя подобныя же опыты надъ многими людьми, возможно было бы опредѣлить тотъ средній размѣръ пищевой дачи, который и обусловитъ нормальный уровень питанія. Онъ не будетъ ни чрезмѣрно большимъ для однихъ, ни чрезмѣрно малымъ для другихъ.

Второй способъ опредѣленія состоитъ въ томъ, что взвѣшиваютъ все количество пищи, потребляемое нѣсколькими совершенно здоровыми и достаточными людьми, въ теченіе нѣсколькихъ дней, а потомъ вычисляютъ, сколько среднимъ числомъ пищи употребляло ежедневно каждое изъ наблюдавшихся лицъ. Дѣлая такія наблюденія надъ многими семьями, артелями и другими группами людей, также какъ въ первомъ способѣ наблюденій, доходятъ до опредѣленія средняго уровня питанія человѣка. Сравненіе результатовъ, полученныхъ по первому способу съ полученными по второму, при взаимной ихъ повѣрѣ, служитъ для окончательной установки нормальной пищевой дачи.

Мы видимъ такимъ образомъ, что въ томъ и въ другомъ случаѣ путь изслѣдованія отличается своимъ статистическимъ характеромъ. Это не что иное какъ статистика пищевого равновѣсія. Очевидно, что при рѣшеніи вопроса, законы питанія изучаются не у одного только извѣстнаго человѣка, но у массы ему подобныхъ и далеко не тождественныхъ съ нимъ людей, — другимъ путемъ и идти было бы невозможно. Физиолого-статистическій методъ, нами примѣняемый, является единственнымъ средствомъ для того, чтобы нивелировать всѣ разнородныя особенности, встрѣчающіяся въ процессѣ питанія различныхъ людей, и выдѣлить въ то же время тѣ общія всѣмъ потребности, которыя и должны удовлетворить средній уровень питанія, или средняя пищевая дача. Но хотя мы и пользуемся статистическимъ методомъ, однако должны сознаться въ томъ, что главнѣйшія условія этого метода, т.-е. численность наблюденій, далеко нами не выполняются. Законы статистики требуютъ не менѣе 300 наблюденій для установки вывода сколько-нибудь достовѣрнаго; наши же наблюденія и опыты до сихъ поръ ограничиваются лишь десятками цифръ. Такимъ образомъ, условно установленный въ настоящее время и почти повсюду принятый средній уровень питанія человѣка покоится еще на не вполне точныхъ основаніяхъ.

Помимо только-что указаннаго и капитальнаго недостатка въ методахъ изслѣдованія, мы можемъ найти въ нихъ не мало

и другихъ пробѣловъ. Указать ихъ необходимо. Чѣмъ откровеннѣе сознаемся мы въ томъ, чего намъ недостаетъ, тѣмъ яснѣе представится истинное положеніе вопроса о питаніи, тѣмъ ярче выдѣлятся и тѣ ошибки, которыя мы несомнѣнно можемъ вносить въ практическую жизнь, благодаря не вполне точнымъ указаніямъ теоріи. Наиболѣе точные методы изслѣдованія имѣютъ тѣмъ большее значеніе уже потому, что мы только-что признали неоспоримую важность вопросовъ питанія для народной жизни во многихъ отношеніяхъ.

Дѣйствительно, окидывая даже бѣглымъ взглядомъ научныя изслѣдованія, положенныя въ основу ученія о питаніи и служащія намъ руководящими нитями, мы должны сознаться, что многія стороны питанія далеко еще не изучены, и масса обычныхъ условій, при которыхъ оно совершается, не опредѣлена, а безконечное разнообразіе побочныхъ, случайныхъ обстоятельствъ, несомнѣнно влияющихъ на питаніе, только-что начинаетъ обращать на себя вниманіе ученыхъ. Кто станетъ отрицать, что питаніе должно стоять въ тѣсной связи съ мышечной силой, развиваемой человѣкомъ? Однако, много ли сдѣлано въ этомъ направленіи со времени прошедшаго столѣтія, когда появились работы Ренье и его динамометръ, и можемъ ли мы довольствоваться существующими въ нашихъ справочныхъ книгахъ указаніями на размѣръ силы, развиваемой человѣкомъ. Доказано несомнѣнными фактами, что охлажденіе тѣла, вызывая излишнія потери тепла, влечетъ за собою и усиленіе его образованія въ охлаждаемомъ организмѣ. Такое развитіе тепла очевидно влечетъ за собою и увеличеніе матеріала, изъ котораго тепло вырабатывается. Безъ топлива появленіе тепла и въ обыденной жизни немислимо. Немислимо оно и въ тѣлѣ безъ пищи. До сихъ поръ, однако, никто не даетъ еще намъ точныхъ указаній, какіе организмы, при какой степени охлажденія, какой требуютъ добавки пищевыхъ веществъ? Само собою затѣмъ дѣлается понятнымъ, что при столь существенныхъ пробѣлахъ въ ученіи о питаніи трудно и получить основательныя отвѣты на часто обращаемые къ врачу вопросы общества, желающаго точно знать—какъ долженъ видоизмѣняться выборъ и распредѣленіе пищи подъ влияніемъ самыхъ разнообразныхъ усложненій житейской обстановки? Когда лучше ѣсть? Сколько разъ въ сутки? Какія количества до работы—и послѣ нея? Кто отвѣтитъ на все это?

Но нужно ли, однако, все это знать точно, и можемъ ли мы надѣяться достигнуть когда-либо разрѣшенія этихъ вопросовъ? Многіе скажутъ: жили же люди безъ указаній науки; и

жилось имъ хорошо. Чтѣ прибавить къ счастью жизни новый научный фактъ, на основаніи котораго должны будутъ измѣняться вѣками усвоенныя привычки людей, или, еще того проще, будетъ подтверждена питательность однихъ и питательность другихъ веществъ, давно сознанная практикой жизни?

На это можно отвѣтить сопоставленіями, сдѣланными маститымъ отцомъ экспериментальной гигиены, проф. М. Петтенкоферомъ. Принесла ли пользу, — спрашиваетъ онъ, — астрономія? Тѣла небесныя вращались по своимъ орбитамъ до появленія человѣка на землѣ, и наука, имъ созданная, ничего не измѣнила въ теченіи міровыхъ свѣтилъ. Однако изученіе законовъ ихъ движеній принесло громадныя выгоды человѣчеству. Неужели изученіе жизненныхъ функцій самого человѣка обѣщаетъ быть менѣе плодотворнымъ? Мало ли заблужденій разрушала наука? Сколько привычныхъ, вѣками существовавшихъ обычаевъ она устранила? Вспомнимъ еще столь недавно царившее въ средѣ народа убѣжденіе о необходимости для здоровья повторныхъ кровопусканій, — убѣжденіе, перешедшее даже въ узаконенія, обязывавшія каждаго врача ходить постоянно съ ланцетомъ. Гдѣ же теперь это убѣжденіе, и кому, какъ не наукѣ, обязаны мы устраненіемъ безцѣльнаго кровопролитія? Вѣрно поставленный научный фактъ всегда способенъ быстро видоизмѣнять привычный строй обычаевъ практической жизни и служить ея пользѣ. Равнымъ образомъ, и подтвержденіе наукою эмпирически усвоенныхъ приемовъ питанія, конечно, не бываетъ бесполезнымъ или безцѣльнымъ. Способы питанія, усвоенныя вѣковымъ опытомъ, никогда не могутъ быть имъ же выяснены до такой степени, чтобы не вызывать ошибокъ при самыхъ малѣйшихъ усложненіяхъ житейской обстановки. Всякій знаетъ, что гречневую кашу ѣстъ нашъ народъ и что она питательна, но до тѣхъ поръ пока наука не выяснила, въ какой мѣрѣ питательна гречиха, нельзя было сказать — какимъ количествомъ и какого хлѣба можно было бы замѣнить ее, еслибы не хватило гречневого зерна.

Нельзя не согласиться, что тогда только мы можемъ дѣйствовать основательно и точно во всемъ, когда дѣйствія наши могутъ быть подвергнуты счисленію, числовому расчету, при которомъ мы опредѣлили бы цифрою, сколько силы мы своею дѣятельностью отдаемъ, и сколько пищи получать мы для того должны. Желательно дойти до того идеала, который обезпечивалъ бы намъ возможность сказать: намъ предстоитъ работа, требующая затраты столькоихъ-то килограмметровъ, и такъ какъ для развитія въ нашемъ тѣлѣ этой силы требуется столько-то углерода, то не-



обходимо такое-то количество хлѣба и мяса въ пищу. Наука намъ этого еще не даетъ, но сама жизнь давно требуетъ именно такого расчета. Крестьяне г. Энгельгардта въ его „Письмахъ изъ деревни“ прямо говорятъ, что горохъ хорошъ, но для рабочей поры неспособенъ, и, идя на пахоту или косьбу, они его никогда не употребляютъ. Это, какъ мнѣ кажется, даетъ намъ наилучшее доказательство всей важности болѣе детальной разработки вопросовъ питанія и продовольствія. Отчего, однако, эти детали до сихъ поръ плохо нами выработаны? Гдѣ лежатъ причины пробѣловъ въ теоріи и практикѣ питанія?

Причинъ, затрудняющихъ изученіе, не мало, но укажемъ только на главнѣйшія изъ нихъ.

Вліяніе привычки и усвоенныхъ предрасудковъ при оцѣнкѣ нормальнаго уровня питанія имѣетъ громадное значеніе. Что выбрать въ самомъ дѣлѣ критеріемъ для удовлетворенія человѣка пищею? Какимъ признакомъ руководствоваться въ наступленіи сытости, насыщенія, и гдѣ граница недостаточнаго питанія, голода? Какъ понимать самый голодъ, въ виду различнѣйшихъ на него взглядовъ? Чтобы сколько-нибудь установить болѣе прочныя точки отправленія въ нашихъ сужденіяхъ, ознакомимся сначала съ самымъ элементарнымъ явленіемъ недостатка пищи — съ голодомъ.

Анатому, физиологу, гигиенисту, часто приходится разрушать господствующія иллюзіи и съ почвы поэзіи сводить ликующее настроеніе на почву суровой жизненной прозы. Какъ анатомъ, вскрывая своимъ ножомъ прекраснѣйшія формы тѣла, сходныя съ бюстами классическихъ образцовъ скульптуры, обнажаетъ подъ привлекательною внѣшностью непривлекательныя детали грубаго строенія тѣла, такъ и физиологъ сводитъ высокія проявленія духовныхъ силъ къ тѣмъ же законамъ питанія, какими обуславливаются и низменные инстинкты человѣчества. Но научная истина должна быть всегда поставлена при серьезномъ изслѣдованіи на первомъ планѣ, и мнѣ въ качествѣ гигиениста также приходится разрушать иллюзіи и убѣжденія — будто всегда духъ сильнѣе плоти.

Смѣло можно утверждать, что крайнія проявленія голода вызываютъ въ человѣкѣ наиболѣе императивныя ощущенія, чувства роковой рѣшимости во что бы ни стало удовлетворить мучительныя страданія. Правда, исключительные люди являютъ иногда примѣръ изумительной стойкости духа, не подчиняющагося ощущеніямъ тѣлесныхъ мученій и бодро противостоящаго голоду. Но много ли въ исторіи культуры такихъ страстотерпцевъ? Масса же людей

чаще всего жертвуетъ всѣмъ дорогимъ въ пользу удовлетво- ренія чувства голода. Самыя возвышенныя чувства, доходя- щія до религіознаго экстаза, встрѣчаясь съ голодомъ, уступаютъ ему. Вспомнимъ грандіозную эпоху первыхъ крестовыхъ по- ходовъ, когда Петръ Аміенскій, по благочестивому влеченію сердца, оставилъ свѣтъ, избралъ жизнь пустынную и босой, съ обнаженной головой, одѣтый въ рубище, опоясанный веревкою, воздвигнулъ своимъ краснорѣчіемъ Европу и повелъ ее въ Пале- стину. Отсутствіе продовольствія, по Бауману <sup>1)</sup>, было, однако, такъ велико, что крестоносцы погибали болѣе отъ голода, чѣмъ отъ меча сарациновъ, и самъ Петръ Пустынникъ, не выдержавъ испытаній судьбы, пытался бѣжать, почти достигнувъ уже вратъ святого города.

Наиболѣе естественныя чувства — инстинктивно робовны, чувства любви въ собственнымъ дѣтямъ — не всегда выдерживаютъ испытанія голода. Еще у пророка Іереміи встрѣчаемъ мы о ги- бели Іерусалима слѣдующія слова: „На улицахъ столицы изнемо- гаютъ отъ голода отрогъ и младенецъ. Матерямъ своимъ говорятъ они: гдѣ хлѣбъ и вино? Воззри, Господи, и посмотри, надъ кѣмъ ты совершилъ это? Развѣ не ѣли женщины плода своего, дѣтей, взлелѣянныхъ ими?“ То же доказываетъ намъ печальная исторія башни голода и семейства графа Уголино. Поэтъ заканчиваетъ рассказъ злополучнаго отца слѣдующими строфами:

Такъ видѣлъ я: всѣ другъ за другомъ вскорѣ  
Отъ пятаго и до шестого дня  
Попадали. Ослѣпнувъ на просторѣ,  
Бродилъ я три дня, мертвыхъ звалъ дѣтей!  
Потомъ... Но голодь былъ сильнѣй, чѣмъ горе!..

Случаи каннибализма подъ вліяніемъ голода не рѣдкость среди бѣлыхъ расъ и въ болѣе поздніе періоды исторіи.

Наконецъ, въ самыхъ побѣдоносныхъ арміяхъ энергическия чувства патриотизма, доведеннаго до крайнихъ предѣловъ, голодь способенъ также разрушать безслѣдно. Бауманъ <sup>2)</sup>, описывая не- счастье великой Наполеоновской арміи, вслѣдствіе недостатка про- довольствія, говоритъ, что тяжело было видѣть потерявшихъ чувство солдатской чести, когда-то храбрыхъ, но измученныхъ голодомъ гренадеръ, едва способныхъ подниматься подъ ударами шпоръ непріятели, съ криками: „Nous n'avons pas mangés depuis trois

<sup>1)</sup> Studien über die Verpflegung d. Kriegssee im Felde. I, 120.

<sup>2)</sup> L. c., II, 4 Abth. 785.

jours, nous sommes écrasés des fatigues, nous sommes si malades!“

Но не только ужасныя картины крайняго голода, ведущаго къ быстрой смерти, пугаютъ наше сознание. Недостаточное питание или ограниченное голоданіе также вредно отзывается на организмѣ. Еще въ прошедшемъ столѣтіи Мессансъ, въ своемъ сочиненіи: „Recherches sur la population, 1766“, — доказалъ, что съ 1674 до 1764 смертность шла параллельно съ цѣнами на пшеницу, вмѣстѣ съ ними падая и возвышаясь. Менше <sup>1)</sup> даже доказываетъ, что въ годы дороговизны понижается нравственность народа, суды запружаются большимъ числомъ преступниковъ, — и тѣмъ подтверждаетъ одновременно выводы Мессанса. Самая болѣзненность растетъ вмѣстѣ съ дороговизною. Въ Дублинѣ, въ Ирландіи, когда-то исключительно питавшейся картофелемъ, въ 1845 году, при цѣнѣ на картофель въ 2—4 шиллинга, больныхъ тифомъ въ госпитали не поступало; въ 1847 году, при 8—9 шил., больныхъ было 95; въ 1849 цѣна пала до 6—7 шил., и больныхъ было менше—до 87 и т. д. <sup>2)</sup>.

Кетле, Виллермэ, Энгель и др. дальнѣйшими изслѣдованіями не разъ подтверждали справедливость мнѣнія, что параллельно съ увеличеніемъ цѣнъ на пшеницу и рожь растетъ болѣзненность и смертность—и обратно.

Вѣковой опытъ народовъ посѣялъ убѣжденіе въ томъ, что съ ограниченной пищей связаны болѣзнь и смерть, и чѣмъ обильнѣе люди ѣдятъ, тѣмъ они дѣлаются болѣе здоровыми. Поэтому чувство привычной сытости всюду, не только у народа, но и у интеллигентныхъ его представителей, считается за неоспоримый признакъ обеспеченнаго здоровья. Наоборотъ, субъективныя ощущенія голода являются доказательствомъ недостаточной для организма пищи.

Такия возрѣнія, сильно укоренившіяся всюду, представляютъ естественный quasi-логическій выводъ изъ эмпирическихъ наблюденій надъ послѣдствіями голода, проходившаго предъ глазами многихъ поколѣній. Можетъ ли, однако, признать и наука убѣжденія массы правильными, — это еще подлежитъ сомнѣнію. Чтѣ такое, въ самомъ дѣлѣ, ощущеніе насыщенія? Не есть ли чувство сытости—чувство условное и чаще всего зависящее отъ привычекъ, климатическихъ, бытовыхъ условий, а не истинныхъ требованій организма? Многочисленные примѣры вполне подтверждаютъ, что чувствомъ насыщенія всегда руководствоваться нельзя, и что оно

<sup>1)</sup> Mém. de l'Acad. d. méd. v. X, 193. Etudes sur les substitutions.

<sup>2)</sup> Oesterlen. Handb. d. Hyg. 1876, S. 436.

еще далеко не указываетъ на неудовлетворенныя потребности организма. Эскимосы, по указанію Парри <sup>1)</sup>, съѣдаютъ до 9 ф. мяса въ сутки и не считаютъ этого количества чрезмѣрнымъ. То же рассказываютъ о бушменахъ и готтентотахъ Ю. Африки. По Пржевальскому, монголу ничего не стоитъ сразу съѣсть 5 ф. баранины. Нѣмцу необходимъ разъ въ день солидный обѣдъ; французъ требуетъ уже кромѣ обѣда и завтрака; англичанинъ не довольствуется однимъ завтракомъ, но устраиваетъ до обѣда luncheon и breakfast, а въ помѣщичьихъ русскихъ семьяхъ вкупаютъ часто за утреннимъ чаемъ плотно, затѣмъ на завтракъ, за обѣдомъ, за вечернимъ чаемъ и за ужиномъ, что напоминаетъ древній Римъ, требовавшій во времена своей роскоши не менѣе 5 столовъ въ сутки <sup>1)</sup>. Сопоставимъ съ этими фактами диаметрально противоположныя данныя. Туареки въ Ю. Африкѣ, на Гаттскихъ горахъ, могутъ по восьми дней не питаться ничѣмъ. Арабы въ своихъ путешествіяхъ питаются поразительно скудною пищею. Вегетаріанцы Европы удивляютъ ограниченнымъ количествомъ питательныхъ веществъ, коими безболѣзненно и долгіе годы поддерживаютъ свою жизнь. Чаттертонъ обычно говѣлъ черезъ нѣсколько дней, а знаменитый венеціанецъ Корнаро употреблялъ менѣе 1 ф. пицци и питья въ день и достигъ 100-лѣтней старости. Наконецъ, недавніе опыты Таннера, Зуччи и др. убѣдили насъ теперь, что при извѣстныхъ условіяхъ даже здоровье не страдаетъ послѣ 40-дневнаго абсолютнаго поста.

Гдѣ же, при подобномъ разнообразіи явленій, слѣдуетъ искать границу между насыщеніемъ и пресыщеніемъ? Необходимо, конечно, придти только къ тому, что ощущеніе неполной сытости есть ощущеніе условное, но брать его мѣриломъ при опредѣленіи нормальнаго уровня питанія было бы большою ошибкою, которую, однако, и теперь дѣлаютъ весьма часто. И эта ошибка ведетъ къ крайне невыгоднымъ послѣдствіямъ даже въ нашей обыденной жизни. Мы ѣдимъ обычно гораздо болѣе, чѣмъ это требуется. Такое положеніе должно принять не только для средняго класса общества, но для другихъ городскихъ жителей, а въ исключительныхъ случаяхъ даже и для жителей деревень.

До сихъ поръ никто не занялся крайне интересной статистикою—счисленіемъ людей тучныхъ и упитанныхъ. Можно думать, однако, а priori, что процентъ ихъ былъ бы вездѣ опредѣленъ немалый. Тучные люди чаще всего несутъ на себѣ послѣдствія злоупотре-

<sup>1)</sup> Second voyage for the discovery of the North-West Passage, 1828, by Parry.

<sup>2)</sup> Oesterl. I. c. 412.

треблений пищею. Теперь уже сдѣлалось неоспоримой истиной, что тучность есть болѣзненное состояніе, а доводить до него излишнее питаніе. Такимъ образомъ, и пища можетъ вести къ болѣзни, можетъ быть отравою для организма, особенно когда вызываетъ не только толщину, но еще и такіе результаты чрезмѣрнаго питанія, какъ, напр., мучительную подагру, расстройство дѣятельности сердца и т. п. Привыкать же къ этой отравѣ не только легко, но и пріятно. При распространенномъ и твердомъ убѣжденіи, что чувство сытости есть залогъ здоровья, одна изъ сильныхъ человѣческихъ страстей, страсть объядвнія, поощряется, и слабый характеръ человѣка постепенно развиваетъ свои аппетиты, проѣдая напрасно и даже съ вредомъ для себя излишнія матеріальныя средства. Сколько бы ихъ сохранилось для другихъ, болѣе полезныхъ цѣлей, еслибы человѣкъ привыкъ къ убѣжденію, что сытость не есть необходимое ощущеніе, и что здоровье не обуславливается ею.

До сихъ поръ мы не можемъ пова отрѣшиться отъ сужденія о питательности пищи по субъективному ощущенію голода. Даютъ, напр., для питанія точно высчитанное количество пищевыхъ веществъ въ консервахъ—начинаются жалобы на ощущенія неполнаго насыщенія, а такія жалобы многими признаются за противопознаніе относительно количества и качества даваемой пищи. Борются съ ложными представленіями о порядкѣ питанія какъ частныхъ лицъ, такъ и сборныхъ общественныхъ группъ—слѣдуетъ, но одновременно съ тѣмъ необходимо указать и потребный для организма размѣръ пищи и входящихъ въ ея составъ веществъ.

Чѣмъ же руководствоваться, однако?—спросятъ многіе. Чтѣ можно поручиться намъ за то, что преодолевая субъективныя ощущенія ненасыщенія, мы не доведемъ себя до истощенія?

Руководство, и надежное, даетъ намъ въ этомъ случаѣ наука, несмотря на всю неполноту частей теоріи питанія. Уже теперь массой наблюденій мы приведены къ точному выводу о томъ, какія количества азотистыхъ и безазотистыхъ веществъ должны входить въ наименьшій размѣръ пищевой дачи, способной поддерживать здоровье человѣка. Если онъ живетъ, чувствуетъ себя здоровымъ, работаетъ безъ затрудненій, не теряетъ въ вѣсѣ и въ силахъ и столько же выдѣляетъ азота изъ тѣла, сколько принимаетъ его въ пищу, однимъ словомъ, когда человѣкъ находится въ такъ-называемомъ азотистомъ равновѣсіи, то минимальный размѣръ пищи, удовлетворяющій указаннымъ требованіямъ, долженъ быть признанъ тою нормою питанія, которую мы ищемъ.

Само собою разумѣется, что всякое увеличеніе расхода силъ должно вызывать и соотвѣтственное увеличеніе размѣра пищи.

На ряду съ только-что разсмотрѣннымъ предразсудкомъ стоитъ и другой. Это жалобы на вкусъ. Ученіе о значеніи въ пищу вкусовыхъ веществъ вызвало, какъ это часто бываетъ, совершенно преувеличенныя представленія объ ихъ вліяніи. Во избѣжаніе недоразумѣній я долженъ оговориться и заявить, что вовсе не желаю отрицать громадную пользу вкусовыхъ веществъ, но не могу считать правильнымъ входить въ этомъ случаѣ въ крайности и полагать будто пища, не отвѣчающая постоянно требованіямъ вкуса, должна быть признана бесполезною. Ячная крупа, невкусная для южанъ, можетъ тѣмъ не менѣе столь же хорошо служить имъ пищей, какъ и просо. Кукуруза, сѣдаемая на югѣ въ большихъ количествахъ и невкусная для сѣверянъ, при случаѣ не должна быть исключается и изъ ихъ пищи. Треска Бѣлаго моря, не взирая на свой вкусъ, нравящійся только привычнымъ ея потребителямъ, конечно, будетъ весьма питательной и для жителей черноморскихъ береговъ. Люди, съ отвращеніемъ проглатывающіе устрицъ, не отнимаютъ и сотою доли удобоваримости послѣднихъ. Вкусъ можетъ быть приученъ, развитъ и приспособленъ не только въ потребленію устрицъ, но даже рѣчныхъ ракушекъ, даже улитокъ. La moule и les escargots, какъ извѣстно, составляютъ распространенную пищу у французовъ. Уже давно опыты надъ животными показали Пануму, Ферстеру <sup>1)</sup> и др., что безвкусныя вещества въ пищу животныхъ уподоблялись ими безупречно. Опыты Рійюдерса и др. <sup>2)</sup> то же самое доказали на людяхъ, тогда какъ Бишофъ и Гофманъ, прибавляя вкусовыя вещества въ дурно-варимую пищу животныхъ, не достигали улучшенія, увеличенія усвояемости ея.

Флюгге, при безвкуснѣйшей, смѣшанной пищѣ, которую онъ принуждалъ себя принимать долгое время съ неохотою и отвращеніемъ, показалъ, что тѣмъ пищевареніе у него не менѣе совершалось правильно.

Я хочу только сказать: что какъ *ощущенія ненасыщенія* при питательной пищѣ, такъ и *отсутствіе вкусового влеченія* къ питательной, но непривычной, не должны служить руководящими факторами при установленіи основной пищевой дачи.

Такъ же какъ возможно въ извѣстныхъ предѣлахъ приучить себя ѣсть больше или меньше, такъ же можно привыкнуть ѣсть ту

<sup>1)</sup> Förster's Ernährung. Hug. v. Pettenk. I, erste Abth. 94. См. Труды пр. Заблужна и его учениковъ. Диссертація др-въ: Рубца, Макарова, Кіаницина.

<sup>2)</sup> Handwörterb. d. Chemie, v. Liebig - Fehling. III. 1118. 1880.

или другую пищу. Многие же у нас готовы браковать пищевое средство, если оно не вызывает чувства пресыщенія при употребленіи его въ пищу, или когда оно не представляетъ обычной виѣшней формы и другихъ качествъ, отвѣчающихъ привычному вкусу потребителей. Я увѣренъ, что перемѣны въ этихъ взглядахъ значительно способствовали бы установленію болѣе правильнаго и менѣе неразсчетливаго выбора пищи.

Второй рядъ затрудненій при изученіи вопросовъ питанія сводится на техническія стороны дѣла. Для установкы основной пищевой единицы необходимы наблюденія и опыты въ широкихъ размѣрахъ. Въ одномъ рядѣ наблюденій требуется опредѣлять количество пищи, съѣдаемой человѣкомъ при различныхъ условіяхъ его дѣятельности; въ другомъ же рядѣ опытовъ необходимо изучить, насколько вся принятая пища усвоилась организмомъ, и какая часть ея прошла черезъ организмъ, не принося пользы. Для выполненія первой части задачи можно было бы воспользоваться, для опредѣленій только количествъ обычно употребляемой пищи, ежедневной выдачей пищевыхъ средствъ на кухняхъ какъ въ самыхъ малочисленныхъ семейныхъ группахъ, такъ и въ громадныхъ хозяйствахъ общественныхъ сборныхъ единицъ. Путемъ наблюденія, счисленія, статистическаго вывода среднихъ цифръ возможно при этомъ установить по крайней мѣрѣ размѣры пищевого довольствія, въ предѣлахъ обычнаго потребленія его въ практической жизни. Такія вычисленія ѣ дѣлаются; но каждый ими занимавшійся знаетъ всю массу затрудненій, встрѣчаемыхъ при выполненіи подобныхъ работъ.

Государствомъ установлены строго опредѣленныя единицы мѣры, какъ напримѣръ, для объема существуютъ—ведро, штофъ, кружка. Въ практикѣ же мѣряютъ молоко—стаканами, бутылками, квартами, а капусту—ушатами, обрѣзами и т. д. Очевидно, что при сопоставленіи количествъ пищи, выраженныхъ такими произвольными и неопредѣленными единицами мѣры, нѣтъ и возможности опредѣлить—что представляетъ изъ себя бутылка или ушата, не выдѣлываемые по одному, строго указанному образцу. Даже и въ тѣхъ случаяхъ, когда при отпускѣ пищевыхъ средствъ повидимому примѣняютъ установленныя закономъ мѣры,—въ сущности, и такія мѣры иногда не отвѣчаютъ одной какой-либо опредѣленной единицѣ. То, что понимаютъ подъ четвертью муки въ западныхъ губерніяхъ, т.-е. 7 п. 15 ф., не отвѣчаетъ четверти московской въ 9 п. Наконецъ, еще болѣе затрудненій при отпускѣ пищевыхъ средствъ счетомъ, какъ напримѣръ, капусты—тысячами кочановъ, огурцовъ—сотнями, яицъ—десятками. Хотя

средній составъ этихъ веществъ и опредѣленъ довольно точно, но отдѣльные образцы каждаго изъ поименованныхъ предметовъ могутъ бесконечно различаться въ величинѣ и такимъ образомъ отнимать всякій достовѣрный характеръ отъ вычислений пищевыхъ единицъ при подобныхъ условіяхъ.

Если мы не можемъ вмѣшиваться въ порядки каждаго частнаго хозяйства и заставлятъ на кухняхъ не измѣрять муки пригоршнями, соли щепотами, а коренья по вкусу, то казалось бы, что государство могло бы въ управляемыхъ имъ обширныхъ хозяйственныхъ учрежденіяхъ примирить все разнообразіе применяемыхъ мѣръ, сведя ихъ всюду на пріемъ припасовъ исключительно по вѣсу. Тогда стало бы возможно и контролирующей власти вѣрнѣе производить ея учеты, и изслѣдователямъ получать болѣе точные выводы изъ собранныхъ ими цифръ.

Остающаяся часть затрудненій по техникѣ производства опытовъ еще сложнѣе. Для опредѣленія — какое количество принимаемой пищи усвоится, и какое употребляется бесполезно, — для опредѣленія, другими словами, удобоваримости, усвояемости или истинной питательной цѣнности пищи, мало наблюдений, — необходимо уже опытъ и непременно на людяхъ. Такъ какъ основная пищевая единица, нормальный пищевой рационъ, не можетъ опредѣляться для каждаго человѣка въ отдѣльности, но для всѣхъ одновременно, то расчетъ долженъ удовлетворять общимъ требованіямъ питанія, встрѣчающимся у каждаго въ одинаковыхъ приблизительно границахъ. А для того, чтобы установить такую среднюю или основную единицу питанія, необходимо воспроизводить опыты на большомъ числѣ людей и при различныхъ условіяхъ ихъ дѣятельности, чтобы личныя особенности каждаго уравнивались противоположными особенностями другихъ лицъ, и дабы изъ опыта вытекали только выводы, удовлетворяющіе основнымъ требованіямъ организма. Люди, подвергаемые такому опыту, очевидно должны стать въ самыя строгія условія надзора. Люди эти не должны принимать никакой другой пищи и питья, кромѣ тѣхъ, которыя будутъ отвѣшены и отвѣрены; все несъѣденное и недопитое еще разъ взвѣшивается, изверженія организма за время опыта тоже тщательно собираются и подвергаются анализу.

Такимъ образомъ, самый вѣрный опытъ будетъ тогда, если люди, ему подвергающіеся будутъ до извѣстной степени лишены свободы и будутъ жить исключительно по предписаніямъ экспериментатора. Отсюда ясны затрудненія, состоящія въ отысканіи лицъ, добровольно отдающихъ себя на время опыта въ оковы, налагаемыя на ихъ свободу производителемъ опыта. Кромѣ лю-



дей, надъ коими производится опытъ, необходимо и соответствующее помѣщеніе, необходимъ и надзоръ за строгимъ выполненіемъ опыта.

Вотъ почему такого рода изслѣдованія производятся до сихъ поръ надъ двумя, тремя людьми, и въ короткіе сроки времени, тогда какъ результаты опытовъ только въ томъ случаѣ были бы вполне надежны и вѣрны, еслибы производство изслѣдованій распространялось на десятки, сотни экспериментируемыхъ лицъ.

Третья категорія затрудненій, относящаяся къ разногласіямъ научныхъ воззрѣній и несовершенству методовъ, сама собою вытекаетъ изъ предыдущаго. Различія во взглядахъ на нѣкоторыя не вполне выясненныя стороны вопроса зависятъ всецѣло отъ недостаточнаго количества опытовъ. Будетъ ихъ болѣе—все разъяснится само собою, и довольно быстро.

Взглянемъ, однако, на то, что затрудняетъ изслѣдованія съ научной стороны—теперь. Степень питательности пищи принято измѣрять по количеству содержащихся въ ней четырехъ основныхъ составныхъ частей—воды, бѣлковъ, жировъ и крахмаловъ. Усвоение пищи опредѣлять по водѣ трудно, такъ какъ она оставляетъ нашъ организмъ не только въ формѣ жидкихъ изверженій, но и паробразныхъ. Мы выдыхаемъ воду и съ легочнымъ, и съ кожнымъ дыханіемъ. Поэтому только остальные элементы могутъ намъ доставлять указанія на то—сколько изъ принятой пищи перешло въ ткань организма и сколько выдѣлилось неувоеннымъ. Такъ какъ бѣлокъ всегда содержитъ опредѣленное количество азота, то по этой составной части бѣлковой пищи и принято обычно опредѣлять ея судьбу въ тѣлѣ.

Количество азота служитъ такимъ образомъ мѣриломъ для сужденія о томъ, сколько бѣлка изъ пищи усвоилось организмомъ наблюдаемаго человѣка, и сколько выдѣлилось съ изверженіями. Если выдѣляется столько же, сколько воспринимается, то очевидно пища абсолютно неудобоварима; если выдѣляется мало, то усвояемость пищи хороша; если же въ выдѣленіяхъ встрѣчаются лишь незначительныя количества азота, то пища идеальна. Такъ, напр., дурно перевариваемый черный хлѣбъ выдѣляется изъ организма почти въ  $\frac{1}{3}$  части неувоеннымъ, а иногда и до  $\frac{1}{2}$ , отдавая въ изверженіяхъ отъ 30 до 50% своего азота. Тогда какъ мясо, принимаемое даже въ большихъ количествахъ, не отдаетъ выдѣленіямъ болѣе 2% своего азота, т.е. переваривается идеально.

Чтобы высчитать по азоту бѣлки пищи необходимо, конечно, быть увѣреннымъ, что азотъ ея содержится только въ бѣлкахъ;

иначе мы впадемъ въ ошибку, потому что азотъ другихъ составныхъ частей будемъ принимать также за азотъ бѣлковъ. До сихъ поръ на это обстоятельство не обращали вниманія, и лишь въ послѣднее время всѣ признали, что до сихъ поръ ошибочно азотъ пищи считали исключительно принадлежащимъ бѣлкамъ ея. Благодаря методу Штудера, мы имѣемъ теперь возможность раздѣлять азотъ бѣлковъ пищи отъ азота, принадлежащаго въ ней къ такъ-называемымъ экстрактивнымъ веществамъ, т.-е. непитательнымъ составнымъ частямъ, заключающимся въ ней наряду съ бѣлками. Исправленіе такой ошибки ведетъ къ признанію разницы между прежними и теперешними наблюденіями въ 50%.

Такъ напр., послѣдніе сдѣланные анализы картофеля <sup>1)</sup> показываютъ, что принимавшійся до сихъ поръ азотъ въ немъ только на половину принадлежитъ бѣлкамъ. Если выдѣлить азотъ, принадлежащій экстрактивнымъ веществамъ, то истинныхъ бѣлковъ въ картофелѣ будетъ не 2,14%, какъ до сихъ поръ принималось, а 1,13%. Точно также анализы трески показали, что и ея азотъ, который считали весь принадлежавшимъ бѣлкамъ, входитъ въ составъ экстрактивныхъ веществъ мяса этой рыбы, и бѣлковъ въ ней должно считаться на 27% менѣ <sup>2)</sup>.

Практическое же значеніе этихъ цифръ такое. Еслибы мы предположили, что мы обязаны снабжать большое населеніе пищею, въ составъ которой входитъ картофель, то разница въ его отпускѣ при томъ или другомъ расчетѣ на бѣлки была бы немалая.

Принято, что въ пищевой недѣльной раскладкѣ, нормально составленной для рабочихъ артелей или для солдатъ, одни пищевыя вещества, ради разнообразія, могутъ быть замѣняемы другими, но въ томъ случаѣ, когда замѣна эта не вызоветъ уменьшенія питательности пищи. Такимъ образомъ, если ежедневно въ щи отпускается примѣрно 48 золотниковъ капусты, то въ другіе дни, когда щи замѣняются картофельной похлебкой, картофель долженъ замѣнять капусту въ томъ количествѣ, какое отвѣчаетъ содержанію въ ней бѣлковъ. Прежде принимали, что и капуста, и картофель, содержатъ одинаковое количество бѣлковъ, поэтому могутъ замѣнять другъ друга одинаковыми въсовыми количествами. Теперь же оказывается, что въ картофелѣ почти вдвое менѣ бѣлковъ, и его отпускать слѣдуетъ поэтому вдвойнѣ противъ капусты, т.-е. въ размѣрѣ уже 1 ф. въ день на человѣка. При

<sup>1)</sup> Ньмченковъ. Картофель и его питательность, 1876.

<sup>2)</sup> Кіаницинъ. Питательность трески. 1887.

раціональной раскладкѣ въ недѣлю картофельная похлебка не повторяется болѣе двухъ разъ. Такимъ образомъ, въ 52 недѣли года мы будемъ вынуждены затратить лишнихъ 52 ф. картофеля на человѣка. Припомнимъ же, что средняя цѣна 1 ф. равна копѣйкѣ, получимъ новыхъ затратъ примѣрно ежегодныхъ на 30-тысячный корпусъ 1.560 р., а на 20 корпусовъ—31.200 р. Вотъ какъ отзывается ошибка анализа только на 1% при опредѣленіи азота пищи.

Но есть еще другой источникъ ошибокъ, стоящій еще дороже. Азотъ не во всѣхъ бѣлкахъ содержится въ одномъ и томъ же количествѣ. Въ однихъ онъ равенъ 16%, въ другихъ 17%; есть даже бѣлки съ 18 и 19% азота. Такъ какъ по азоту мы высчитываемъ питательность пищи, то, конечно, мы должны обратить вниманіе на то—какіе бѣлки входятъ въ составъ того или другого ея образца. Въ ржаномъ хлѣбѣ до сихъ поръ высчитывали содержаніе бѣлковъ, принимая, что они относятся только къ растительному растворимому бѣлку или альбумину, содержащему 16% азота. Однако изслѣдованія Ритгофена показываютъ, что въ ржаномъ зернѣ много муцедона съ 17% и даже клейберныхъ бѣлковъ съ еще высшими процентами азота. Но примемъ даже, что при вычисленіяхъ мы ошибаемся только на 1%, и что слѣдуетъ считать бѣлки ржаного хлѣба содержащими вмѣсто 16—17% азота. Попробуемъ опредѣлить теперь, насколько практически будетъ эта разница вліять на цѣнность продовольствія народныхъ массъ. Въ ржаномъ хлѣбѣ мы принимаемъ, согласно анализамъ послѣдняго времени, 1,1% азота. Если взять прежнія цифры, то въ черномъ хлѣбѣ опредѣлимъ въ 9% бѣлковъ; если же возьмемъ новыя, то получимъ въ 46% бѣлковъ, т.-е. разницу почти въ 0,5%. Эти 0,5% бѣлковъ въ 3 фунт. ежедневно отпускаемаго солдату хлѣба вызовутъ увеличенный расходъ на  $\frac{1}{5}$  ф. въ день на человѣка, что составитъ излишняго расхода, считая фунтъ въ 2 коп., 1 р. 46 к. въ годъ на каждого и 438 т. р. на 30.000-ный корпусъ арміи, или 876 т. р. на 20 корпусовъ въ годъ.

Вліяніе ошибки въ вычисленіяхъ отражается не только на излишествѣ денегъ, затрачиваемыхъ на приобрѣтеніе, но и на перевозкѣ. Принимая въ основаніе расчета 10-дневный запасъ нормальнаго транспорта нашихъ войскъ, должно допустить, что при томъ или другомъ счетѣ вѣсъ муки и крупы долженъ будетъ уменьшиться или увеличиться на 150 пудовъ, а перевода тотъ же расчетъ для 30.000 арміи, получимъ разницу уже въ 2.250 пудовъ перевозочной кладѣ.

Итакъ, ошибка въ  $\frac{1}{2}$ % въ вычисленіяхъ можетъ вести къ

милліоннымъ затратамъ. Не только растительные продукты, но и животная пища — мясо, при вычитываніи его питательности, представляетъ питательную цѣнность, не вполне отвѣчающую дѣйствительности. Мясо состоитъ, какъ всѣмъ извѣстно, изъ мышечной ткани, сухожилій, сосудовъ, нервовъ и перепонъ соединительной ткани. Не всѣмъ, однако, извѣстно, что сухожилія и соединительно-тканые элементы мяса вовсе не имѣютъ того питательнаго значенія, какое связано съ бѣлками чистой мышечной ткани. Не всѣ, однако, сорта мяса одинаковы, и комиссіей, учрежденной по распоряженію военнаго министра въ 1884 г. <sup>1)</sup> для изслѣдованія консервовъ, найдено, что разница по содержанию сухожилій можетъ доходить до  $\frac{1}{5}$  по вѣсу, т.-е. до 20%. Въ толстомъ филе 99% сухожилій, а въ зарѣзѣ ихъ 29,4%. Даже между бедромъ и вострецомъ разница въ 5%. Въ бедрѣ 7,2% сухожилій, а въ вострецѣ—12,5%. Въ тонкомъ край 12,5%, а въ толстомъ—11,3% <sup>1)</sup>. Поэтому  $\frac{1}{5}$  части по вѣсу недостаетъ въ зарѣзѣ для должнаго содержанія бѣлковъ, а тонкій край менѣе питателенъ, чѣмъ толстый, слишкомъ на 1%. Недостатки питательности, очевидно, не могутъ не отзываться и на излишней затратѣ денегъ.

Иной разъ было бы выгодно, основываясь на содержаніи истиннаго бѣлка въ различныхъ сортахъ мяса, давать болѣе высшіе сорта, но въ меньшихъ количествахъ. Такъ напр., исходя изъ только-что приведенныхъ различій въ составѣ, мы должны принять, что количество бѣлковъ, заключающихся въ  $\frac{1}{2}$  ф. 1-го сорта мяса изъ бедра, будетъ находиться въ толстомъ край лишь въ  $\frac{5}{8}$  ф. <sup>2)</sup>.

Слѣдовательно, при существующихъ цѣнахъ на мясо, одно и то же количество бѣлковъ 1-го сорта стоитъ 7 к., а 2-го—9 к., т.-е. низшій сортъ въ сущности обходится дороже.

Принимая за ежедневную дачу солдата  $\frac{1}{2}$  ф. мяса, найдемъ, что въ теченіе 240 скоромныхъ дней на второмъ сортѣ мяса можно переплатить 4,17 р. на челоуѣа въ годъ, что для 30 т. корпуса дастъ 125 т., а для 20 корпусовъ—2 $\frac{1}{2}$  милліона рублей въ годъ.

Наконецъ, помимо вопросовъ о количествѣ, степени удобоваримости, мы еще до сихъ поръ не обращали вниманія на кухонную обработку пищевыхъ веществъ и мало знаемъ о видоизмѣ-

<sup>1)</sup> О значеніи мяса и пищевыхъ консервовъ въ хозяйствѣ вообще и войскѣ въ частности. 1887.

<sup>2)</sup> Принимая же во вниманіе и лишніе 5% сала, получимъ, что лишь  $\frac{3}{4}$  ф. тонкаго края— $\frac{1}{2}$  ф. бедра.

неніяхъ, коимъ они подвергаются при этомъ, и даже не опредѣлили самую трату питательныхъ веществъ, напр. картофеля при его чисткѣ, мяса при его обдѣлѣ съ устраненіемъ жира, жиры и перепонки, раскрошки хлѣба въ хлѣборѣзняхъ и т. д. Приведенныя цифры, смѣю думать, ясно намъ доказываютъ, что цѣнность вопросовъ питанія должна быть признана не только для отдѣльныхъ малыхъ хозяйствъ, но и для громаднхъ продовольственныхъ задачъ цѣлыхъ странъ и государствъ. Трудно отрицать, что изученіе вопросовъ питанія человѣка представляетъ не одинъ только интересъ научный, но и интересъ государственный.

Если же это такъ, то неизбѣжно напрашивается мысль о причинахъ, препятствующихъ болѣе быстрому развитію науки о питаніи, и тому, чтобы ее поставить впереди другихъ, менѣе практически важныхъ предметовъ изученія. Причины, тормозящія развитіе изысканій въ области вопросовъ питанія, обуславливаются почти исключительно недостаткомъ матеріальныхъ средствъ.

Люди, посвящающіе себя научнымъ изслѣдованіямъ, какъ известно, никогда не блистали избыткомъ состоянія, — не выдаются они имъ и теперь. Изъ своихъ скудныхъ средствъ люди науки не могутъ жертвовать большихъ суммъ на производство дорогихъ работъ. А мы видѣли ранѣе, насколько подобнаго рода изслѣдованія могутъ быть разорительными для всякаго частнаго лица. Дѣло всегда идетъ объ опытахъ надъ большимъ числомъ людей, которымъ надобно платить, которыхъ необходимо на свой же счетъ кормить, содержать для нихъ особое помѣщеніе, нанимать надежный надзоръ и прислугу, помимо всѣхъ тратъ на анализы и лабораторію.

Откуда мы неизбѣжно приходимъ въ тому выводу, что если изученіе вопросовъ питанія имѣетъ цѣнность не только для отвлеченной науки, но и для практической жизни, — притомъ въ размѣрахъ не только обыденныхъ потребностей мелкаго хозяйства частныхъ лицъ, но и въ смыслѣ государственной экономіи, — то, очевидно, государству и надлежитъ поощрять и поддерживать серьезныя изслѣдованія способовъ питанія человѣка. Теперь и настаетъ, повидимому, время, когда государства будутъ удѣлять болѣе и болѣе вниманія разработкѣ этихъ вопросовъ, доказательство чему мы видимъ въ двухъ, почти одновременно предпринятыхъ, на большемъ числѣ людей изслѣдованіяхъ. Одно было сдѣлано въ Берлинѣ на арестантахъ Плацензе, подъ наблюденіемъ правительственныхъ врачей, для выясненія вопроса о цѣнности питанія людей мяснымъ порошкомъ Мейнерта <sup>1)</sup>. Другое выпол-

<sup>1)</sup> Ueber Massenernährung, v. D-r Meinert. 1886.

нено въ Петербургѣ по распоряженію военнаго министра особою комиссіей <sup>1)</sup> для изученія питанія людей консервами, и было произведено надъ арестантами здѣшней военной тюрьмы. О цѣнности расходовъ, сопряженныхъ съ этими грандіозными изслѣдованіями, можно судить уже потому, что берлинской комиссіей было сдѣлано до 1.300 анализовъ и до 1.200 опредѣленій азота. Работы же нашей комиссіи вызвали необходимость произвести 1.206 анализовъ и 1.858 опредѣленій состава частей мясной туши.

Все это показываетъ, до какой степени сильны матеріальныя препятствія къ выполненію подобныхъ изслѣдованій. Безъ помощи государства серьезное изслѣдованіе вопросовъ питанія совершенно немислимо.

Можно было бы думать, что установка правильнаго взгляда на питаніе лишь косвенно можетъ вліять на матеріальное благосостояніе людей частныхъ и населенія страны вообще. Кто можетъ, повидимому, заставить свободныхъ людей ѣсть больше, если они это не считаютъ возможнымъ, или наоборотъ—какими законами мыслимо ограничить чрезмѣрное потребленіе пищи? Вопросы, подобные этимъ, имѣютъ, однако, лишь кажущуюся серьезность. Конечно, государство не можетъ заставить бѣдныхъ людей ѣсть необходимое для нихъ количество пищи, если ее не на что имъ купить. Но какъ скоро пища дешевѣетъ, инстинкты организма такъ сильны, что самые бережливыя тотчасъ же начинаютъ, помимо всякаго принужденія, ѣсть въ размѣрахъ даже обильныхъ, чѣмъ какіе вызываются потребностями организма. Очевидно, что для повышенія уровня питанія не требуется никакихъ понужденій, а тутъ нужно лишь *удешевленіе* пищи. Когда же будетъ доказано и всѣми признано, что скудно питающееся населеніе слишкомъ слабо для успѣшнаго, производительнаго труда, и, не доставляя, съ одной стороны, государству никакихъ матеріальныхъ выгодъ, оно, съ другой стороны, обременяетъ его своею крайнею болѣзненностью и смертностью,—тогда сдѣлаются неизбѣжными и заботы о специальной разработкѣ государственными средствами вопросовъ объ удешевленіи пищевыхъ веществъ и способовъ ихъ обработки.

Но, не останавливаясь даже на этой сторонѣ дѣла, имѣющей значеніе лишь для болѣе или менѣе отдаленнаго будущаго, никто даже теперь не станетъ отрицать громадной важности правильныхъ взглядовъ на питаніе при продовольствованіи государствомъ массы людей, состоящихъ на его иждивеніи. Оно кормитъ сотни учениковъ въ интернатахъ, тысячи рабочихъ на казенныхъ заво-

<sup>1)</sup> L. c. О значеніи мяса и пр.

дахъ, десятки тысячъ арестантовъ и сотни тысячъ войскъ. Каждый недостающій золотникъ пищи или каждая даже доля ея отзываются невыгодно уже въ близкомъ будущемъ, а каждое данное мгновеніе—десятками тысячъ рублей или изъ прибрѣтенныхъ государствомъ средствъ, или изъ превышающихъ его смѣту.

Такимъ образомъ, говоря о политико-экономическомъ значеніи, о цѣнности вопросовъ питанія, мы должны считать ихъ не только цѣнными для науки, но цѣнными и въ приложеніи къ практической жизни, особенно же цѣнными по тѣмъ расходамъ, какіе влечетъ за собою ихъ изученіе.

Конечно, еще долгіе годы пройдутъ, пока найдутся средства для послѣднихъ расходовъ; но и то малое, чѣмъ начата теперь новая эра изслѣдованій по этому вопросу, представляется уже намъ надежнымъ шагомъ впередъ.

Скажемъ въ заключеніе, что хорошіе примѣры всегда поучительны. Это доказалъ намъ опытъ. Усвоивъ систему военныхъ силъ нашихъ по образцу Германіи, не устранившихъ, впрочемъ, тягостныхъ для насъ смѣтъ военнаго бюджета, мы должны слѣдовать и далѣе примѣру нашего сосѣда и не страшиться тѣхъ затратъ, которыми Германія щедро обезпечиваетъ дѣятельность своихъ университетовъ, техническихъ школъ и многочисленныхъ *Versuchsstationen*—опытныхъ станцій.

А. Доброславинъ.



## ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 апрѣля 1889 г.

Законъ о порядкѣ возбужденія отвѣтственности министровъ.—Новыя законодательныя мѣры въ области преступленій противъ вѣры.—Предполагаемая нормировка земскаго обложенія.—Неуравнительность земскаго сбора по мѣстностямъ и категориямъ имуществъ; мѣры къ ея устраненію.—Способы поддержки нуждающихся земствъ.—„Наблюденія и соображенія“ г. Безобразова о новомъ фабричномъ законодательствѣ и о фабричной инспекціи.

Именной Высочайшій указъ 15-го февраля, опредѣлившій съ болѣею точностью порядокъ привлеченія къ отвѣтственности членовъ государственнаго совѣта, министровъ и главноуправляющихъ отдѣльными частями, вносить весьма существенныя поправки въ дѣйствовавшія до сихъ поръ постановленія перваго тома свода законовъ. Эти постановленія страдали отчасти излишнею подробностью, отчасти—неопредѣленностью и неполнотою. Статья 259-я имѣла задачей *исчерпать* различныя поводы отвѣтственности министровъ—и, какъ это почти всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, слишкомъ детальная номенклатура все-таки обнимала собою не всѣ возможныя случайности. Не упоминалось, напримѣръ, ни объ обвиненіи одного министра другимъ, ни о донесеніи преемника, обнаруживающемъ неправильныя дѣйствія предшественника. Существовала, такимъ образомъ, опасность, что возбужденіе преслѣдованія встрѣтитъ формальныя затрудненія въ казуистической редакціи закона. Эта опасность предупреждена первой статьей новаго указа, говорящей, въ самыхъ общихъ выраженіяхъ, только о *донесеніяхъ* и *жалобахъ*. Донесенія—это *официальныя* представленія, отъ кого бы они ни исходили и чѣмъ бы ни были вызваны; жалобы—это заявленія *частныхъ* лицъ. Эти двѣ рубрики, именно вслѣдствіе ихъ общности, обнимаютъ собою самыя разнообразныя случаи. Теперь, какъ и прежде (т. I, ст. 262), первоначальное возбужденіе вопроса объ отвѣтственности зависитъ непосредственно отъ усмотрѣнія Верховной власти; на обсужденіе государ-



ственного совѣта передаются только донесенія и жалобы, *уважен- ная* Государемъ, т.-е. признанныя имъ заслуживающими вниманія. Дальнѣйшій ходъ дѣла значительно упорядоченъ и упрощенъ. На основаніи свода законовъ (ст. 263—265), оно поступало въ общее собраніе государственнаго совѣта, потомъ въ избранную совѣтомъ изъ своей среды, для производства слѣдствія, комиссію, потомъ опять въ общее собраніе совѣта. Теперь дѣло передается сразу въ департаментъ гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ, служащій, смотря по обстоятельствамъ, либо обвинительной камерой, либо судомъ дисциплинарнымъ. Въ качествѣ обвинительной камеры департаментъ можетъ постановить заключеніе о преданіи суду или о прекращеніи дѣла, въ качествѣ дисциплинарнаго суда—о наложеніи на обвиняемаго административнаго взысканія. Предварительное слѣдствіе, если оно будетъ признано необходимымъ, производится однимъ изъ сенаторовъ кассационныхъ департаментовъ, что, конечно, гораздо болѣе цѣлесообразно, чѣмъ производство слѣдствія цѣлою комиссіей. Окончательное заключеніе департамента гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ представляется на Высочайшее усмотрѣніе. Если Государь утвердитъ заключеніе о преданіи суду, то министръ юстиціи составляетъ обвинительный актъ и вноситъ его въ верховный уголовный судъ, образуемый и дѣйствующій на точномъ основаніи устава уголовного судопроизводства (ст. 1062—65), съ тою только разницей, что къ его составу присоединяется предсѣдатель соединеннаго присутствія кассационныхъ и перваго департаментовъ сената. Въ сводѣ законовъ было постановлено, что причины отвѣтственности министровъ „тогда только пріемиются въ уваженіе, когда будутъ основаны на ясныхъ доказательствахъ, и когда предметъ ихъ составляетъ какой-либо важный государственный ущербъ или злоупотребленіе“ (ст. 260). Последствія отвѣтственности опредѣлялись такъ (ст. 267): „когда по теченію слѣдствія откроется, что министръ хотя не нанесъ съ умысломъ государству ущерба, но образомъ управленія своего лишился Высочайшаго довѣрія, тогда министръ лишается своего званія. Когда, напротивъ, откроются важныя государственныя вины, тогда дѣло передается верховному уголовному суду“. Все это вмѣстѣ взятое давало поводъ думать, что къ возбужденію отвѣтственности министровъ непримѣнимы общія начала уголовного процесса. Въ силу этихъ началъ, рассмотрѣнію уголовного суда подлежить всякое обвиненіе въ преступленіи или проступкѣ, если имѣются на-лицо достаточныя основанія *предполагать* виновность обвиняемаго, и если, притомъ, *возможна* его отвѣтственность выходить за предѣлы дисциплинарныхъ взысканій. Приведенныя нами статьи свода законовъ ставили на мѣсто *предположеній—ясныя доказательства*; для преданія суду они

требовали „важнаго государственнаго ущерба или важной государственной вины“. Отсюда возможность толкованія ихъ въ томъ смыслѣ, что уголовной карѣ подлежитъ только *дѣйствіе*, а не *бездѣйствіе* министра, только *злой умыселъ* его, а не преступная небрежность или неосторожность. Новый законъ не оставляетъ мѣста для такой интерпретации; ничего не упоминая объ особыхъ условіяхъ, при которыхъ министръ можетъ быть преданъ суду, онъ уничтожаетъ этимъ самымъ всякое различіе между задачами департамента гражданскихъ и духовныхъ дѣлъ и задачами обыкновенной обвинительной камеры. Какъ и послѣдняя, первый можетъ довольствоваться предположеніями, уликами, потому что „ясныя доказательства“ необходимы лишь для *осужденія*, но не для *преданія суду*. Какъ и для послѣдней, выборъ между преданіемъ суду и административнымъ взысканіемъ долженъ зависѣть для перваго исключительно отъ юридическаго свойства обвиненія. Пояснимъ нашу мысль примѣромъ. По ст. 341 уложенія о наказаніяхъ, виновный въ противозаконномъ бездѣйствіи власти подвергается, смотря по важности дѣла и сопровождавшимъ его обстоятельствамъ, или отрѣшенію отъ должности, или исключенію изъ службы, или заключенію въ крѣпости на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ, а въ случаяхъ особенно важныхъ—лишенію всѣхъ особыхъ правъ и ссылки на житье въ Сибирь. Ни одно изъ этихъ наказаній не можетъ быть рассматриваемо какъ дисциплинарное, административное взысканіе. За силою примѣчанія въ ст. 69 уложенія, высшій размѣръ дисциплинарнаго взысканія не идетъ дальше удаленія отъ должности и семидневнаго ареста; *всѣ прочія затѣмъ наказанія и взысканія по службѣ налагаются не иначе, какъ по суду*. Въ указѣ 15-го февраля не сдѣлано никакихъ изыятій изъ этого общаго правила, совершенно категорическаго и яснаго; отсюда явствуетъ, что при наличности основаній къ обвиненію министра въ бездѣйствіи власти возможно только одно—преданіе его суду, а отнюдь не „наложеніе взысканія безъ суда“. Правда, существуетъ еще 343-я статья уложенія, понижающая наказаніе за бездѣйствіе власти до замѣчанія, выговора или вычета отъ одного до шести мѣсяцевъ изъ времени службы; но и здѣсь высшая мѣра взысканія—вычетъ изъ времени службы—выходитъ за предѣлы дисциплинарной кары, а подсудность проступка опредѣляется именно *высшимъ* изъ наказаній, которыя могутъ быть за него назначены. Примѣнимъ ст. 343, притомъ, только къ такому бездѣйствію власти, послѣдствія котораго не были *и не могли быть важны*; это значительно ограничиваетъ кругъ ея дѣйствія, обязывая принимать въ расчетъ не только то, что случилось, но и то, что *могло* случиться... Чѣмъ обширнѣе власть, чѣмъ вліятельнѣе пользующееся ею лицо, тѣмъ серьезнѣе и

опасѣ бездѣйствіе власти, точно такъ же какъ и ея превышеніе; одно изъ главныхъ достоинствъ новаго закона заключается, поэтому, именно въ уравненіи министровъ, активно или пассивно злоупотребляющихъ властью, съ другими должностными лицами, обвиняемыми въ томъ же преступленіи. Довольно и того, что для министровъ установленъ совершенно особый порядокъ преданія суду; идти еще дальше и ограничиваться, по отношенію къ нимъ, административными взысканіями, когда въ обстоятельствахъ дѣла есть поводъ къ отвѣтственности уголовной, не представляется никакого основанія. Замѣтимъ, въ заключеніе, что однимъ изъ мотивовъ новаго указа послужило, какъ видно изъ вступительныхъ словъ его, желаніе согласовать порядокъ отвѣтственности высшихъ чиновъ государственнаго управленія „съ преподанными въ судебныхъ уставахъ императора Александра II правилами судопроизводства“. Въ другое время такое соображеніе разумѣлось бы само собою; но теперь, въ виду непрекращающихся подкоповъ подъ основныя начала судебной реформы, оно заслуживаетъ особеннаго вниманія и сочувствія.

Почти одновременно съ предъидущимъ появился другой процессуальный законъ, состоявшійся 10-го января нынѣшняго года. По статьѣ 1009 устава уголовного судопроизводства, въ разрѣшеніи дѣлъ о преступленіяхъ противъ православной вѣры могутъ участвовать, въ качествѣ присяжныхъ засѣдателей, только лица православнаго исповѣданія. Въ составленномъ, года полтора тому назадъ, проектѣ примѣненія судебной реформы къ остзейскому краю это правило было распространено и на коронныхъ судей. Цѣлесообразность такой поправки возбудила въ насъ большія сомнѣнія, хотя мы и думали, что она предположена только по отношенію къ прибалтійскимъ губерціямъ. „Отъ присяжныхъ,—замѣтили мы тогда <sup>1)</sup>,—отъ присяжныхъ, призываемыхъ къ отправленію правосудія лишь на короткое время, скорѣе можно ожидать увлеченія посторонними соображеніями, чѣмъ отъ судей профессиональныхъ, назначенныхъ правительствомъ и мотивирующихъ свои рѣшенія. Коронные судьи не могутъ не понимать, что въ функціяхъ суда нѣтъ мѣста для вѣроисповѣдныхъ симпатій и антипатій; они не могутъ не понимать, что преступленіе противъ православной вѣры должно быть караемо ими не какъ оскорбленіе личныхъ ихъ вѣрованій, а какъ нарушеніе государственнаго закона. Судить о немъ, поэтому, они всѣ одинаково компетентны, къ какому бы вѣроисповѣданію они ни принадлежали“. Такъ относились къ вопросу не только судебные уставы, но и прежніе законы судопроизводства; они не устанавливали никакихъ ограничительныхъ правилъ для

<sup>1)</sup> См. Внутр. Обзорніе въ № 6 „Вѣстн. Европы за 1868 г.

состава суда, призваннаго постановить приговоръ по обвиненію въ религиозномъ преступленіи. Законъ 10-го января 1889 г. представляется, съ этой точки зрѣнія, нововведеніемъ вполне радикальнымъ. Правило, первоначально проектированное только для одной изъ окраинъ, получаетъ силу для всей имперіи, обнимаетъ собою всѣ суды, новые и старые—и не только суды, но и прокурорскій надзоръ (а въ судахъ прежняго устройства—и секретарей). Оно расширяется еще въ другомъ направленіи: на одинъ уровень съ дѣлами о преступленіяхъ противъ православной вѣры ставятся дѣла о преступленіяхъ противъ церковныхъ установленій. Не думаемъ, чтобы основаніемъ для такой мѣры послужили данныя уголовной статистики; процентъ обвинительныхъ приговоровъ по религиознымъ преступленіямъ никогда, сколько намъ извѣстно, не падалъ особенно низко. Правда, присяжные оказывались, въ дѣлахъ этого рода, болѣе строгими, чѣмъ коронные судьи; но едва ли это можно приписать дѣйствию ст. 1009. Преступленія противъ вѣры, подсудныя присяжнымъ засѣдателямъ, принадлежатъ къ числу наиболѣе важныхъ. Нѣкоторыя изъ нихъ (напр. принадлежность къ свопческой сектѣ) доказываются сравнительно легко и возмущаютъ нравственное чувство. Понятно, что по отношенію къ такимъ преступленіямъ оправданіе встрѣчается лишь какъ рѣдкое исключеніе... Какъ бы то ни было, между коронными судьями едва ли слѣдовало устанавливать различія, основанныя на вѣроисповѣдномъ началѣ. Каждый судья, назначенный правительственною властью, предполагается заслуживающимъ ея довѣрія—а довѣріе не подлежитъ дробленію на части, разграниченію по категоріямъ обязанностей или функций. Кому довѣряютъ въ одномъ, тому едва ли есть поводъ не довѣрять въ другомъ, совершенно однородномъ. Руководящія начала дѣятельности судьи не должны зависть отъ свойства дѣлъ, подлежащихъ его рѣшенію; безпристрастіе обязательно для него всегда, въ одной и той же мѣрѣ. Если онъ способенъ нарушить свой долгъ подъ вліяніемъ вѣроисповѣдныхъ воззрѣній, то нѣтъ никакого ручательства въ томъ, что его не увлечетъ въ сторону какое-либо другое чувство.

Въ томъ же законѣ 10-го января заключается поправка къ ст. 196 уложенія о наказаніяхъ. Послѣдняя часть этой статьи, въ прежней ея редакціи, опредѣляла отвѣтственность раскольника, „дозволившаго себѣ публично проповѣдывать своё лжеученіе православнымъ или склонять и привлекать ихъ въ свою ересь, когда это не имѣло послѣдствіемъ отпаденіе кого-либо изъ православія въ расколъ“. Теперь къ числу дѣйствій, наказуемыхъ по этой статьѣ, присоединено совершеніе раскольникомъ духовныхъ требъ для лицъ православнаго исповѣданія. Minimum наказанія, устанавливаемого ст. 196—

заключеніе въ тюрьмѣ на время отъ восьми мѣсяцевъ до одного года и четырехъ мѣсяцевъ, съ лишеніемъ нѣкоторыхъ особыхъ правъ; въ случаѣ повторенія преступленія наказаніе повышается до четырехлѣтняго заключенія въ крѣпости, а затѣмъ и до ссылки на житье въ Сибирь (или отдачѣ въ исправительныя арестантскія отдѣленія). Съ нашей точки зрѣнія, хорошо извѣстной читателямъ „Вѣстника Европы“, всякое распространеніе или обостреніе уголовныхъ каръ, относящееся къ области религіозныхъ вѣрованій, не представляется ни желательнымъ, ни цѣлесообразнымъ; но въ данномъ случаѣ новая законодательная мѣра вызываетъ и другія, чисто техническія возраженія. Попытка совращенія, совершаемая путемъ сочиненія или проповѣди, влечетъ за собою одинаковое наказаніе и для раскольниковъ, и для христіанъ-иновѣрцевъ (ср. ст. 189 и 196); между тѣмъ за совершеніе духовныхъ требъ первые наказываются гораздо строже, чѣмъ послѣдніе. Мы видѣли уже, что для раскольниковъ оно влечетъ за собою заключеніе въ тюрьмѣ и еще болѣе суровыя кары; что касается до священнослужителей иновѣрныхъ христіанскихъ исповѣданій, то они подвергаются, за то же самое правонарушеніе, въ первый разъ—удаленію отъ мѣста на время отъ шести мѣсяцевъ до одного года, во второй—лишенію духовнаго сана и отдачѣ подъ надзоръ полиціи (ст. 193). Правда, полное уравниеніе наказаній представлялось здѣсь невозможнымъ, потому что расколическіе „попы“ не признаются нашимъ закономъ за священнослужителей и не могутъ быть, слѣдовательно, ни удаляемы на время отъ исполненія своихъ духовныхъ функцій, ни лишаемы духовнаго сана; тѣмъ не менѣе нельзя не замѣтить, что кратковременное удаленіе отъ мѣста и довольно продолжительное тюремное заключеніе—наказанія слишкомъ различныя по тяжести и силѣ... По отношенію къ священнослужителямъ иновѣрныхъ исповѣданій законъ предусматриваетъ, притомъ, совершеніе для православныхъ духовной требы по *незвѣденію*, влекущее за собою только строгій выговоръ; по отношенію къ раскольникамъ не устанавливается ничего подобнаго. Какъ понимать это молчаніе закона? Въ томъ ли смыслѣ, что для примѣненія ст. 196 (въ ея новой редакціи) достаточно одного *факта* совершенія раскольникомъ духовной требы для лица православнаго исповѣданія, все равно, зналъ ли раскольникъ или не зналъ, что имѣетъ дѣло съ православнымъ—или въ томъ, что при незнаніи послѣдняго обстоятельства раскольникъ освобождается отъ всякаго взысканія? Въ нашихъ глазахъ послѣднее разрѣшеніе вопроса является единственно возможнымъ—но, во избѣжаніе недоразумѣній, новую редакцію ст. 196 слѣдовало бы дополнить соотвѣтствующею оговоркою.

Въ министерствѣ финансовъ предпринять, какъ мы слышали, пересмотръ узаконеній о земскомъ обложеніи, съ цѣлью установить его максимальныя нормы. За необходимость и своевременность этой мѣры нашъ журналъ высказался уже давно, въ подробной статьѣ о земской реформѣ (1888 г., № 3); намъ остается только коснуться главныхъ вопросовъ, относящихся къ способу ея осуществленія. Особенно разнообразнымъ и неравномѣрнымъ представляется, по официальнымъ свѣденіямъ, земское обложеніе поземельной собственности. Съ десятины земли земскій сборъ взимался, въ 1885 г., въ размѣрѣ отъ  $2\frac{3}{4}$  до 45 копѣекъ. По отношенію къ доходу, опредѣленному изъ 5% съ нормальныхъ оцѣнокъ дворянскаго земельного банка <sup>1)</sup>, это составляетъ отъ  $2\frac{1}{2}$  до 46%, т.-е. отъ одной сороковой до девяти двадцатыхъ всего дохода: разница, несомнѣнно, поразительная. Отъ  $\frac{1}{40}$  до  $\frac{1}{34}$  дохода взимается въ четырехъ уѣздахъ (обоянскомъ и тимскомъ — курской, ливенскомъ и малоархангельскомъ — орловской губерніи), отъ  $\frac{1}{33}$  до  $\frac{1}{21}$  — въ сорока четырехъ уѣздахъ, отъ  $\frac{1}{20}$  до  $\frac{1}{18}$  — въ пятидесяти, отъ  $\frac{1}{18}$  до  $\frac{1}{11}$  — въ девяноста трехъ, отъ  $\frac{1}{10}$  до  $\frac{1}{7}$  — въ семидесяти двухъ, отъ  $\frac{1}{7}$  до  $\frac{1}{5}$  — въ тридцати пяти, отъ  $\frac{1}{5}$  до  $\frac{1}{4}$  — въ двадцати шести, отъ  $\frac{1}{4}$  до  $\frac{1}{3}$  — также въ двадцати шести, свыше  $\frac{1}{3}$  — въ девяти (судогодскомъ — владимірской губерніи, вельскомъ — вологодской, вятскомъ — вятской, пудожскомъ, каргопольскомъ, и повѣнецкомъ — олонечкой, шадринскомъ, екатеринбургскомъ и осинскомъ — пермской губерніи). Всего ниже, сравнительно, поземельный земскій сборъ въ губерніяхъ черноземной полосы, т.-е. тамъ, гдѣ земля наиболѣе доходна. Въ курской губерніи нѣтъ ни одного уѣзда, въ которомъ обложеніе превышало бы  $\frac{1}{18}$  дохода; близко подходятъ къ ней губерніи воронежская и орловская. Всего тяжелѣе обложеніе въ губерніяхъ сѣверныхъ и отчасти среднихъ, нечерноземныхъ; въ олонечкой губерніи, напримѣръ, нѣтъ ни одного уѣзда, въ которомъ земскій сборъ былъ бы меньше  $\frac{1}{5}$  дохода; въ пермской губерніи ниже этой цифры обложеніе падаетъ только въ одномъ уѣздѣ. Иногда, впрочемъ, весьма значительнымъ оказывается различіе и между уѣздами одной и той же губерніи. Въ черниговской губерніи, напримѣръ, обложеніе колеблется между 7% (въ нѣжинскомъ уѣздѣ) и  $28\frac{1}{2}$ % (въ суражскомъ); во владимірской губерніи — между 8% (въ юрьевскомъ уѣздѣ) и 39% (въ судогодскомъ); въ калужской губерніи — между 11% (въ калужскомъ уѣздѣ) и 27% (въ жиздринскомъ); въ костромской губерніи — между  $10\frac{1}{2}$ % (въ костромскомъ уѣздѣ) и 28% (въ чухломскомъ). Уже это одно свидѣтельствуетъ о

<sup>1)</sup> Для тѣхъ мѣстностей, гдѣ по правиламъ банка залогъ имѣній допускается только по специальной оцѣнкѣ, въ основаніе расчета приняты цѣны, установленныя табелью взиманія крѣпостныхъ пошлинъ.

томъ, что разница въ обложеніи зависитъ не только отъ болѣе или менѣе доходности земли; нельзя же допустить, чтобы въ калужскомъ или востромскомъ уѣздѣ земля была втрое доходнѣе, чѣмъ въ живдринскомъ или чухломскомъ. Размѣръ обложенія поземельной собственности обуславливается, въ значительной степени, обиліемъ или скудостью другихъ источниковъ земскаго сбора. Всѣхъ окладныхъ земскихъ поступленій было въ 1885 г. около  $38\frac{1}{2}$  милліоновъ рублей; изъ нихъ на землю упало съ небольшимъ 28 милліоновъ ( $73\frac{2}{3}\%$ ), на городскія недвижимыя имущества—около  $2\frac{1}{2}$  милліоновъ (6%), на фабрики, заводы, торговля и промышленныя заведенія—почти  $3\frac{1}{2}$  милліона (9%), на другія имущества—около  $\frac{3}{4}$  милліона (менѣе 2%), на торговые документы—болѣе  $3\frac{1}{2}$  милліоновъ (болѣе 9%). Таковы среднія цифры; но въ отдѣльныхъ губерніяхъ и уѣздахъ взаимное отношеніе всѣхъ этихъ доходныхъ статей до крайности разнообразно. Въ петербургской губерніи, на примѣръ, сборъ съ городскихъ имуществъ меньше земельного сбора только въ полтора раза, въ полтавской—въ тринадцать, въ тамбовской губерніи—въ *сорокъ восемь* разъ! Объясняется это отчасти бѣдностью многихъ изъ числа нашихъ городовъ, отчасти—низкой оцѣнкой домовъ. Только въ одной орловской губерніи сборъ съ городскихъ имуществъ не уступаетъ, сравнительно, сбору съ земли; въ пяти губерніяхъ разница между тѣмъ и другимъ незначительна; во всѣхъ остальныхъ городскія имущества платятъ въ 2—4 раза меньше, чѣмъ земельныя. Если соединить въ одно цѣлое сборъ съ фабрикъ, заводовъ, промышленныхъ и торговыхъ заведеній и сборъ съ торговыхъ документовъ, то въ нѣкоторыхъ губерніяхъ полученная такимъ образомъ сумма равняется четверти, трети и даже половинѣ всего земскаго бюджета. Это, однако, исключенія: въ общемъ промышленность и торговля обложены въ пользу земства гораздо слабѣе, чѣмъ земля, и даже слабѣе, чѣмъ городскія имущества. По приблизительному разсчету, платимый ими сборъ не составляетъ, въ среднемъ выводѣ, и 5% съ ихъ доходности, между тѣмъ какъ средняя цифра сбора съ городскихъ имуществъ простирается до 6%, средняя цифра сбора съ земли—до 9%.

Помимо доходности земли и обилія или недостаточности другихъ источниковъ земскаго сбора, доля поземельнаго дохода, поглощаемая земствомъ, зависитъ, и весьма существенно, отъ размѣра земскихъ расходовъ. Есть губерніи, гдѣ на одного жителя причитается меньше 50 коп. земскаго расхода; есть другія, въ которыхъ эта цифра превышаетъ полтора рубля (средняя ея величина—около 75 копѣекъ). Въ однихъ губерніяхъ преобладаютъ расходы обязательныя (въ нижегородской и саратовской губерніяхъ, на примѣръ, они составляютъ

больше половины всего земскаго бюджета), въ другихъ—расходы не обязательные (въ губерніяхъ казанской, тверской и самарской они доходятъ до 60%). Въ среднемъ выводѣ обязательные расходы относятся къ необязательнымъ, какъ 45: 55. Большія различія представляютъ, съ этой точки зрѣнія, и отдѣльные уѣзды одной и той же губерніи. Такъ напримѣръ, въ михайловскомъ уѣздѣ, рязанской губерніи, необязательные расходы составляютъ 39%; въ уѣздахъ спасскомъ и раянбургскомъ—68% общей суммы земскаго бюджета. Не слѣдуетъ ли заключить отсюда, что пониженіе земскаго сбора можетъ быть достигнуто путемъ сокращенія необязательныхъ земскихъ расходовъ? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, нужно разсмотрѣть отдѣльно каждую главную группу необязательныхъ расходовъ. Всего больше сомнѣній можетъ возбудить, съ перваго взгляда, расходъ на содержаніе земскаго управленія, составляющій  $9\frac{1}{3}\%$  земскаго бюджета. На самомъ дѣлѣ, однако, даже и онъ—за рѣдкими исключеніями—не представляется чрезмѣрнымъ; лучшимъ доказательствомъ этому служить то, что содержаніе, получаемое теперь предѣдателями и членами земскихъ управъ, меньше, въ общей сложности, ассигнуемаго имъ правительственнымъ проектомъ земской реформы. Мы узнаемъ, кромѣ того, изъ официальныхъ данныхъ, что расходъ на земское управленіе соответствуетъ, болѣею частью, пространству, населенію и благосостоянію данной мѣстности. Всего ниже онъ въ губерніяхъ съ мелкими уѣздами (калужской, ярославской) и въ губерніяхъ лѣсныхъ (костромской, вологодской, олонцевой)—и наоборотъ, всего выше въ губерніяхъ съ обширными, многолюдными уѣздами (херсонской, екатеринославской, таврической, самарской). Расходъ по медицинской части и общественному призрѣнію, составляющій около  $\frac{1}{4}$  всѣхъ земскихъ расходовъ, долженъ быть признанъ, въ виду потребностей населенія, скорѣе недостаточнымъ, чѣмъ слишкомъ значительнымъ. Колебанія его объясняются отчасти степенью населенности различныхъ мѣстностей; такъ напримѣръ, всего болѣе, сравнительно (по 38 копѣекъ на cadaго жителя), тратитъ олонцевая губернія, но только потому, что въ ней приходится лишь по три человѣка на квадратную версту. Въ таврической губерніи наибольшій расходъ на жителя (31 и 49 коп.) упадаетъ на долю уѣздовъ еквиаторійскаго и перекопскаго, всего слабѣе населенныхъ (9 и 6 человѣкъ на квадратную версту); въ уѣздахъ мелитопольскомъ и бердянскомъ абсолютная цифра расхода несравненно выше (44 и 55 тысячъ вмѣсто 14 и 15), но на жителя приходится только 15 и 22 коп., потому что населеніе квадратной версты составляетъ здѣсь отъ 24 до 33 человѣкъ. Расходъ на сельскую врачебную часть достигаетъ особенно высокихъ размѣровъ въ промышленныхъ мѣстностяхъ (напр. въ уѣз-



дахъ шуйскомъ, покровскомъ, вязниковскомъ, владимірской губерніи), гдѣ въ немъ всего сильнѣе чувствуется потребность; расходъ на городскую врачебную часть—тамъ, гдѣ устроено на широкую ногу леченіе и призрѣніе душевно-больныхъ (губерніи рязанская, тамбовская). Все это устраняетъ возможность предполагать, что большая или меньшая величина расхода на врачебную часть зависитъ исключительно отъ произвола земскихъ собраній. Въ расходъ на народное обученіе, составляющемъ около 15% всей суммы земскихъ расходовъ, также можно замѣтить черты не-случайнаго свойства. Въ губерніяхъ сѣверныхъ и среднихъ съ промышленнымъ населеніемъ онъ сравнительно выше, чѣмъ въ губерніяхъ черноземныхъ—и это объясняется не только меньшею населенностью первыхъ, но и большею потребностью въ грамотѣ, меньшею прирѣпченностью населенія къ землѣ и деревнѣ. Конечно, много значить и взглядъ каждаго отдѣльнаго земства на народное образованіе; только въ немъ можно исвать объясненія крупнымъ различіямъ, замѣчаемымъ иногда, при большомъ сходствѣ всѣхъ остальныхъ условий, между двумя уѣздами одной и той же губерніи. Въ михайловскомъ уѣздѣ, рязанской губерніи, расходъ на начальное обученіе составляетъ, напримѣръ, по  $3\frac{1}{2}$  коп. на жителя, а въ спасскомъ уѣздѣ, той же губерніи, по  $30\frac{1}{2}$  копѣекъ, т.-е. почти въ девять разъ больше. Изъ всѣхъ этихъ данныхъ, разсматриваемыхъ съ точки зрѣнія земскаго обложенія, вытекаетъ заключеніе, что въ большей части губерній—какъ и слѣдовало ожидать, въ виду заинтересованности земствъ въ недопущеніи неумѣренныхъ и несвоевременныхъ расходовъ—установилась довольно однообразная оцѣнка мѣстныхъ потребностей, подлежащихъ безотлагательному удовлетворенію. Уклоненія отъ средняго размѣра расходовъ часто вызываются мѣстными особенностями и не оказываютъ большого вліянія на высоту земскаго обложенія. Еслибы и можно было сократить земскіе расходы въ нѣкоторыхъ губерніяхъ—пониживъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, и безъ того невысокій уровень земскаго хозяйства, —то это сокращеніе было бы весьма кратковременно, такъ какъ земскія потребности растутъ быстро, нерѣдко опережая развитіе мѣстнаго благосостоянія. Это заключеніе чрезвычайно важно: оно снимаетъ съ земства обвиненіе въ расточительности, даже въ нерасчетливости, и уничтожаетъ одинъ изъ главныхъ аргументовъ въ пользу установленія надъ земствомъ административной опеки.

Не выдерживаетъ критики и другая варіація на ту же тему, основанная на тенденціозно-враждебномъ, будто бы, отношеніи земскихъ учреждений къ высшимъ общественнымъ классамъ, къ личному землевладѣнію. Официальныя данныя удостовѣряютъ, что въ меньшей степени, чѣмъ земли частнаго владѣнія, крестьянскія земли обложены только

въ *тридцати* уѣздахъ (изъ 360). Значительною эта разница можетъ быть названа только по отношенію къ тринадцати уѣздамъ, причѣмъ она почти вездѣ основана на соображеніяхъ весьма серьезныхъ. Такъ напримѣръ, въ нолинскомъ и орловскомъ уѣздахъ, вятской губерніи, взимаются съ крестьянской земли по 22<sup>1</sup>/<sub>2</sub> и 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> коп., съ частновладѣльческой — по 40 и 36 коп.; но это объясняется ничтожнымъ количествомъ частныхъ земель (въ нолинскомъ уѣздѣ—137 десятинъ изъ полумилліона, въ орловскомъ — 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> тысячи изъ 566 тысячъ) и высокою ихъ доходностью, обусловливаемою большимъ количествомъ поемныхъ луговъ. Въ уѣздахъ симферопольскомъ и ялтинскомъ, таврической губерніи, высота обложенія частныхъ земель зависитъ отъ того, что между ними много виноградниковъ и фруктовыхъ садовъ. Въ ста сорока трехъ уѣздахъ (степныхъ и черноземныхъ) средній сборъ съ земли одинаковъ для земель крестьянскихъ и частновладѣльческихъ; въ *сто восьмидесяти семи* уѣздахъ онъ *выше* для первыхъ, чѣмъ для послѣднихъ. Эти уѣзды принадлежатъ, большею частью, къ мѣстностямъ лѣснымъ и нечерноземнымъ. Весьма низко облагаются здѣсь лѣса, которыхъ почти вовсе нѣтъ въ составѣ крестьянскихъ надѣловъ; много, наоборотъ, платитъ усадебная земля, которой у крестьянъ, *сравнительно*, гораздо больше, чѣмъ у частныхъ владѣльцевъ. Въ гдовскомъ уѣздѣ, петербургской губерніи, частные владѣльцы платятъ около 5 коп. съ десятины, крестьяне—16<sup>1</sup>/<sub>2</sub> коп.; въ холмскомъ уѣздѣ, псковской губерніи, соответствующія цифры — 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> и 17 коп., въ повѣнецкомъ уѣздѣ олонцкой губерніи — 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> и 34<sup>1</sup>/<sub>2</sub> коп. Въ семи уѣздахъ смоленской, въ шести уѣздахъ костромской губерніи усадебная земля оцѣнена выше пахатной; въ спасскомъ уѣздѣ, казанской губерніи, оцѣнка первой превышаетъ оцѣнку послѣдней вчетверо; въ перемышльскомъ уѣздѣ, калужской губерніи — вдесятеро. Можно ли говорить, въ виду всѣхъ этихъ данныхъ, о „мужикофильской“ тенденціозности земскихъ учреждений?

Путемъ пересмотра узаконеній о земскомъ обложеніи предполагается достигнуть болѣе уравнительнаго распредѣленія земскаго сбора между различными категориями имуществъ, болѣе правильной оцѣнки отдѣльныхъ имуществъ и нѣкотораго облегченія для мѣстностей, особенно обремененныхъ земскими расходами. Сообразно этимъ цѣлямъ намѣчены и средства. Оклады земскаго сбора приводятся въ одинаковое процентное отношеніе къ доходности облагаемыхъ имуществъ, безъ различія между землями и домами, между недвижимою собственностью и торговыми или промышленными предпріятіями. Доходность каждаго имущества или каждой группы имуществъ вычисляется на основаніи опредѣленныхъ правилъ, учрежденіями смѣшаннаго состава, т.-е. соединяющими въ себѣ представителей различ-

ныхъ вѣдомствъ и интересовъ. По отношенію къ недвижимымъ имуществамъ такимъ учрежденіемъ является уѣздная оцѣночная коммиссія, состоящая, подъ предсѣдательствомъ уѣзднаго предводителя дворянства, изъ податнаго инспектора, непрѣмѣннаго члена уѣзднаго крестьянскаго присутствія, уполномоченныхъ отъ казны и удѣла (если въ уѣздѣ есть имущества казенныя и удѣльныя) и выборныхъ отъ города и отъ земства. Постановленія уѣздной оцѣночной коммиссіи, вмѣстѣ съ замѣчаніями уѣзднаго земскаго собранія и заявленіями частныхъ лицъ, представляются въ губернскую оцѣночную коммиссію (также смѣшаннаго состава), а постановленія послѣдней вносятся на разсмотрѣніе губернскаго земскаго собранія, и затѣмъ на утвержденіе губернатора. Въ случаѣ разногласія между губернской коммиссіею и губернскимъ собраніемъ, а также въ случаѣ неутвержденія оцѣнокъ губернаторомъ или опротестованія ихъ управляющимъ казенной палатой, окончательное установленіе оцѣнокъ зависитъ отъ министровъ финансовъ, внутреннихъ дѣлъ и государственныхъ имуществъ. Общая переоцѣнка недвижимыхъ имуществъ производится не раньше, какъ по истеченіи десяти лѣтъ. Опредѣленіе доходности торговыхъ и промышленныхъ предпріятій предоставляется податнымъ присутствіямъ, при участіи выборныхъ отъ земства. Оклады земскаго сбора не должны превышать извѣстной доли оцѣночнаго дохода, устанавливаемой въ законодательномъ порядкѣ. Если земскіе сборы, ограниченные этой максимальной нормой, окажутся недостаточными для производства тѣхъ расходовъ, которые какъ уѣздное, такъ и губернское собраніе найдутъ необходимыми и неподлежащими сокращенію, то уѣздное земство получаетъ соотвѣтственную помощь отъ губернскаго, въ видѣ денежнаго пособія или отнесенія на губернской счетъ нѣкоторыхъ уѣздныхъ расходовъ. Отказъ губернскаго земства придти на помощь уѣздному не имѣетъ окончательной силы; возникшее разногласіе вносится на разрѣшеніе особаго губернскаго присутствія (смѣшаннаго состава), а послѣднее слово предоставляется министрамъ финансовъ и внутреннихъ дѣлъ. Для вспоможенія земствамъ тѣхъ губерній, гдѣ земское обложеніе повсемѣстно или почти повсемѣстно достигло максимальной нормы, образуется общій по имперіи земскій капиталъ, посредствомъ дополнительнаго земскаго сбора со всѣхъ предметовъ обложенія въ остальныхъ губерніяхъ европейской Россіи. Размѣръ этого сбора опредѣляется въ законодательномъ порядкѣ на три года, а выдача изъ него пособій зависитъ отъ государственнаго совѣта.

Таковы, какъ мы слышали, главныя черты проектируемой реформы земскаго обложенія — реформы, находящейся еще, повидимому, въ одномъ изъ самыхъ раннихъ фазисовъ своего движенія. Многое ка-

жется намъ въ ней какъ нельзя болѣе цѣлесообразнымъ. Полнѣйшаго сочувствія заслуживаетъ, прежде всего, отмѣна привилегированнаго положенія, созданнаго для промышленности и торговли закономъ 21-го ноября 1866 г. Уравненіе различныхъ категорій земскаго сбора, т. е. подчиненіе ихъ всѣхъ одному общему началу (одинаковаго отношенія между сборомъ и доходомъ), повлечетъ за собою чувствительное облегченіе земли, теперъ всего болѣе обремененной земскимъ сборомъ. По приблизительному разсчету, безъ измѣненія сборъ съ земли долженъ остаться только въ шести губерніяхъ, повыситься—только въ двухъ; во всѣхъ остальныхъ онъ долженъ понизиться, и иногда весьма значительно (въ девяти губерніяхъ—отъ  $\frac{1}{4}$  до  $\frac{1}{3}$ , въ двухъ—на  $\frac{2}{5}$ ). Большое значеніе имѣетъ, далѣе, обязательное приспособленіе оцѣнки къ дѣйствительной доходности имущества. Теперъ оцѣнка земли слишкомъ часто устанавливается одна и та же для цѣлаго уѣзда, безъ всякаго различія по роду, качеству и положенію имущества. Такъ на примѣръ, въ воронежскомъ уѣздѣ всѣ безъ изъятія земли оцѣнены для взиманія земскаго сбора по 45 рублей за десятину, между тѣмъ какъ на основаніи свѣденій, доставленныхъ дворянскому банку именно мѣстнымъ земствомъ, для залога въ банкѣ установлены три различныя нормальныя оцѣнки—въ 110, 90 и 60 рублей. Въ елизаветградскомъ уѣздѣ, херсонской губерніи, земская оцѣнка также одна—10 рублей за десятину, а для залога въ дворянскомъ банкѣ ихъ три—60, 45 и 25 рублей... Самымъ важнымъ изъ всѣхъ проектированныхъ нововведеній представляется, въ нашихъ глазахъ, организація взаимной земской помощи. Это, прежде всего—единственное возможное средство согласить нормировку земскаго обложенія съ безпрепятственнымъ удовлетвореніемъ неотложныхъ земскихъ потребностей. Ввести *только* нормировку, безъ всякаго корректива, значило бы поставить нѣкоторыя земства въ самое затруднительное, иногда—безвыходное положеніе. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только припомнить сказанное нами, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, о земскихъ бюджетахъ пермской губерніи, на сокращеніи которыхъ настаивало министерство финансовъ<sup>1)</sup>. Земскіе расходы, вызванные *только* прихотью, существуютъ развѣ въ видѣ рѣдкаго исключенія; всякое сколько-нибудь значительное уменьшеніе необязательныхъ расходовъ равносильно, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, отказу въ услугахъ, необходимыхъ или до крайности цѣнныхъ для населенія. Поддержка губернскаго земства—или вспоможеніе изъ общеземскаго капитала—позволить облегчить плательщиковъ, не урѣзывая ни въ чемъ существенномъ земское хозяйство. Несправедливой такая помощь можетъ показаться только

<sup>1)</sup> См. Обществ. Хроника въ № 10 „Вѣсти. Европа“ за 1888 г.

тѣмъ, кто привыкъ переносить въ общественную жизнь эгоистическій принципъ: „своя рубашка ближе къ тѣлу“. Есть городскіе дѣятели, желающіе низвести до минимума участіе города въ земскихъ расходахъ; есть земцы, мечтающіе о строго-пропорціональномъ распредѣленіи земскихъ средствъ между приходами или волостями—но мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что какъ тѣхъ, такъ и другихъ сравнительно немного. Послѣдовательное проведеніе подобныхъ взглядовъ закончилось бы дробленіемъ общественнаго организма на самыя мелкія части, совершенно обособленныя другъ отъ друга. Если на одну часть города или уѣзда сплошь и рядомъ тратится, изъ городскихъ или земскихъ сборовъ, больше, чѣмъ на другую, если, напримеръ, мостъ, построенный на земскія деньги, приноситъ больше пользы одной группѣ деревень, чѣмъ другой, а для нѣкоторыхъ селеній является даже совершенно ненужнымъ, то мы не видимъ причины, по которой такое же нарушеніе равновѣсія не могло бы быть допущено и въ пользу нѣкоторыхъ уѣздовъ или губерній. И теперь, при расходованіи губернскаго земскаго сбора, вовсе не принимается за правило, чтобы каждый уѣздъ получалъ изъ него именно столько, сколько уплатилъ—не болѣе и не менѣе. Рѣчь идетъ, слѣдовательно, только о распространеніи и регулированіи существующаго уже порядка. Большихъ пертурбацій въ земское хозяйство этимъ путемъ внесено не будетъ. Еслибы максимальной нормой сбора было признано 15% доходности имущества, то въ казанской губерніи, напримеръ, гдѣ въ одномъ уѣздѣ (чебоксарскомъ) норма уже достигнута, а въ другомъ (козьмодемьянскомъ)—превыжена, земскій сборъ для остальныхъ уѣздовъ повысился бы только на одну тридцатую; въ нижегородской губерніи, гдѣ норма превыжена въ двухъ уѣздахъ (макарьевскомъ и семеновскомъ) — на одну двадцать-пятью. Нѣсколько больше увеличились бы оклады лучшихъ уѣздовъ въ губерніяхъ владимірской и ярославской, гдѣ норма превыжена въ пяти или семи уѣздахъ. Совершенно невозможнымъ передоженіе излишняго бремени на другіе уѣзды оказалось бы только въ сѣверныхъ губерніяхъ (олонецкой, вологодской, вятской, пермской), всѣ или почти всѣ уѣзды которыхъ и теперь уже обложены свыше нормы. Суммы, необходимыя для ихъ облегченія, увеличили бы земскій сборъ остальныхъ губерній лишь въ самой незначительной мѣрѣ. Достаточной гарантіей того, что вспомошествованія изъ губернскаго или обще-имперскаго сбора вызываются дѣйствительною потребностью и получаютъ производительное употребленіе, будетъ служить проектируемый порядокъ назначенія вспомошествованій. Намъ кажется только, что окончательное разрѣшеніе разногласій, возникающихъ по этому предмету между земствами губернскимъ и уѣзднымъ или между зем-

ствомъ и администраціей, цѣлесообразнѣе было бы предоставить не министрамъ, а первому департаменту сената. То же самое замѣчаніе примѣнимо и къ разрѣшенію разногласій, относящихся къ оцѣнкамъ. Въ различныхъ мнѣніяхъ сторонъ сенатъ найдетъ всѣ данныя для правильнаго рѣшенія вопроса. Къ столкновениямъ правъ и интересовъ коллегіальный способъ производства подходитъ гораздо лучше, чѣмъ административное усмотрѣніе. Здѣсь идетъ рѣчь не о томъ, чтобы какъ можно скорѣе и рѣшительнѣе разсѣчь гордіевъ узелъ; нужно, наоборотъ, всестороннее, тщательное изслѣдованіе дѣла, вполне соответствующее привычкамъ административно-судебнаго учрежденія. *Мнѣніе* министровъ будетъ имѣть въ виду и сенатъ, но только какъ одинъ изъ элементовъ, обуславливающихъ рѣшеніе. Въ сенатѣ, правда, дѣла не всегда двигаются впередъ достаточно быстро; но окончательное установленіе оцѣнокъ вовсе и не требуетъ особенной поспѣшности, а для рѣшенія вопросовъ о вспоможеніи уѣзднымъ или губернскимъ земствамъ ничто не мѣшало бы назначить срокъ по возможности короткій. Земству слѣдовало бы предоставить право доводить до сената не только разногласія съ оцѣночными комиссіями, но и разногласія съ податными присутствіями.

Новое фабричное законодательство, составляющее, въ нашихъ глазахъ, несмотря на свою неполноту и недостаточность, одно изъ лучшихъ приобрѣтеній истекающаго десятилѣтія, возбуждало противъ себя съ самаго начала много нареканій и жалобъ. Въ послѣднее время такихъ жалобъ стало какъ будто бы поменьше; рѣже, во всякомъ случаѣ, сдѣлались отголоски ихъ въ печати. Ошибочно было бы думать, однако, что ослабѣла самая вражда противъ фабричной инспекціи и примѣняемыхъ ею постановленій; она только затихла, отчасти вслѣдствіе переменъ въ личномъ составѣ инспекціи и въ инструкціяхъ министерства финансовъ, отчасти—и преимущественно—подъ вліяніемъ надежды на общій пересмотръ фабричнаго законодательства. Эта надежда была возбуждена въ фабрикантахъ извѣстною рѣчью министра финансовъ, произнесенной на нижегородской ярмаркѣ 1887 г.; теперь она находитъ новую опору въ „Наблюденіяхъ и соображеніяхъ В. П. Безобразова относительно дѣйствія новыхъ фабричныхъ узаконеній и фабричной инспекціи“, напечатанныхъ по распоряженію департамента мануфактуръ и торговли. Изъ официальнаго характера этого изданія выводится заключеніе, что оно отражаетъ въ себѣ взгляды министерства финансовъ. Не знаемъ, такъ ли это на самомъ дѣлѣ; но едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что „наблюденія“ производились г. Безобразовымъ не въ качествѣ частнаго изслѣдо-

вателя. Это сообщает имъ интересъ, котораго они сами по себѣ вовсе бы не представляли. Отличительной ихъ чертой является, прежде всего, нѣкоторая уклончивость, напоминающая знаменитую формулу: „нельзя не сознаться, но должно признаться“. Высказавъ то или другое положеніе, авторъ, сплошь и рядомъ, беретъ его отчасти назадъ, ограничиваетъ его разными оговорками. Новые законы „внесли у насъ начало права въ такую область, гдѣ прежде господствовали полный произволъ и *безправіе*“; но... „не слѣдуетъ преувеличивать прежнихъ золъ“ (да развѣ безправіе—такое зло, которое можно преувеличить?). Побужденія, вызвавшія фабричное законодательство, „правильны и гуманны“; но... „нельзя не имѣть при этомъ въ виду весьма естественнаго и *часто весьма справедливаго непріязненнаго чувства промышленнаго міра противъ вторженія въ него чуждаго ему бюрократическаго элемента*“ (слѣдовательно надзоръ за фабрикантами нужно было поручить самимъ фабрикантамъ?). Нельзя согласиться съ тѣмъ, что новыя узаконенія „составлены въ духѣ непріязни или антипатіи къ нанимателямъ, къ высшему капиталистическому классу, и въ духѣ пристрастнаго покровительства рабочимъ“; но... „все-таки нельзя не видѣть въ этомъ известной доли правды“ (итакъ, у насъ оказываются на-лицо законы, не чуждые „вредныхъ“ тенденцій?). Это балансированіе между двумя противоположными мнѣніями налагаетъ свою печать и на практическіе выводы г. Безобразова. Онъ не стремится къ отмѣнѣ фабричнаго законодательства или фабричной инспекціи, но совокупность рекомендуемыхъ имъ мѣръ привела бы къ обезцвѣченію перваго, къ обезличенію послѣдней. Чтобы убѣдиться въ этомъ, рассмотримъ нѣсколько подробнѣе главныя изъ числа его предположеній и предложеній.

Во всякомъ проектѣ реформы много значитъ исходная точка. У г. Безобразова она заключается въ томъ, что „при пересмотрѣ фабричнаго законодательства правительство обязано *всљчески стараться удалить всѣ поводы къ раздраженію со стороны владѣльцевъ и распорядителей промышленныхъ заведеній*“. Правда, къ этому общему положенію авторъ, вѣрный своей всегдашней привычкѣ, прибавляетъ оговорку: „насколько это возможно, не уклоняясь отъ существенныхъ цѣлей законодательства“,—но она, очевидно, не имѣетъ никакого серьезнаго значенія. *Всљчески стараться удалить всѣ поводы къ раздраженію одной изъ заинтересованныхъ сторонъ* — значитъ заранѣе предрѣшить полную побѣду *именно* этой и *только* этой стороны. Неудовольствіе противъ новаго законодательства выражалось, если вѣрить г. Безобразову, какъ въ средѣ фабрикантовъ, такъ и въ средѣ рабочихъ; почему же вся забота должна быть направлена къ успокоенію и удовлетворенію первыхъ, почему цѣлью пересмотра

не провозглашается, между прочимъ, устраненіе „поводовъ къ раздраженію“ со стороны рабочихъ? Не ясно ли, что въ основаніе проекта легла съ самаго начала предвзятая мысль, исключаящая возможность полнаго безпристрастія?.. Пойдемъ далѣе. Находя, и совершенно справедливо, что въ новыхъ фабричныхъ законахъ не опредѣлено съ достаточною ясностью понятіе о *фабрикѣ* и *заводѣ*, а слѣдовательно не установлены точныя границы дѣйствія этихъ законовъ, г. Безобразовъ высказывается за примѣненіе ихъ только къ *самымъ крупнымъ промышленнымъ заведеніямъ*. А между тѣмъ самъ авторъ признаетъ, что степень эксплуатаціи рабочаго люда, говоря вообще, *обратно пропорціональна* размѣрамъ заведеній и предпріятій. Изъять изъ дѣйствія новыхъ правилъ пришлось бы, такимъ образомъ, именно тѣмъ категоріи рабочихъ, которыя всего больше нуждаются въ охранѣ! Въ мелкихъ заведеніяхъ,—говоритъ г. Безобразовъ,—дурныя стороны быта рабочихъ парализуются *патріархальностью* отношеній между нанимателями и нанимаемыми“. Хороша патріархальность, совмѣстимая съ усиленной эксплуатаціей! Не говорить за предложеніе автора и то обстоятельство, что слишкомъ большое число заведеній, подчиненныхъ надзору инспекціи, уменьшаетъ дѣйствительность надзора. Главное затрудненіе, встрѣчаемое инспекціей—это наши громадныя разстоянія; а оно осталось бы въ полной силѣ и при устраненіи изъ круга дѣйствій инспекціи менѣе крупныхъ промышленныхъ заведеній. Не всѣ же большія фабрики сосредоточены вблизи отъ мѣста постояннаго пребыванія инспектора или его помощника: развѣзжать агентамъ инспекціи все равно пришлось бы очень много, и развѣзжать, весьма часто, мимо заведеній, искусственно изъятыхъ изъ-подъ ихъ надзора. Между менѣе крупными промышленными заведеніями много такихъ, которыя требуютъ усиленнаго наблюденія вслѣдствіе опасности, сопряженной съ процессами производства; назовемъ, для примѣра, спичечныя, рогожныя, стеклянныя фабрики, играющія столь печальную роль въ большинствѣ инспекторскихъ отчетовъ <sup>1)</sup>... Вмѣсто того, чтобы сокращать область дѣятельности инспекціи, подъ предлогомъ несоразмѣрности между обширностью первой и малочисленностью послѣдней, не лучше ли было бы подумать объ усиленіи инспекціи, привлеченіемъ къ участию въ ея трудахъ органовъ земскаго и городского самоуправления?

Озабоченный, повидимому, облегченіемъ обязанностей инспекціи, г. Безобразовъ стоитъ, однако, за такую мѣру, которая неизбѣжно должна привести къ крайнему ихъ усложненію. Онъ думаетъ, что инспекція должна быть лишена принадлежащаго ей теперь права воз-

<sup>1)</sup> См. Внутреннее Обзорѣніе въ № 1 „Вѣстн. Европы“ за 1887 г.



лагать на полицію судебное преслѣдованіе виновныхъ въ нарушеніи фабричныхъ правилъ. Другими словами, всѣ подобныя преслѣдованія должны быть возбуждаемы и поддерживаемы на судѣ *лично* чинами инспекціи. Одно изъ двухъ: или инспектора и ихъ помощники будутъ проводить большую часть времени въ переѣздахъ отъ одного мирового судьи къ другому (припомнимъ, что инспекторъ или его помощникъ завѣдуетъ, въ большинствѣ случаевъ, нѣсколькими губерніями; воронежскій инспекторъ имѣетъ, напримѣръ, въ своемъ непосредственномъ вѣденіи пять губерній—воронежскую, пензенскую, самарскую, саратовскую и астраханскую!)—или они махнутъ рукой и не станутъ, за самыми рѣдкими исключеніями, возбуждать преслѣдованій, очевидно превышающихъ ихъ силы. Послѣднее гораздо вѣроятнѣе, чѣмъ первое. Правила, нарушеніе которыхъ остается безнаказаннымъ, скоро перестаютъ быть правилами. Еслибы мысль г. Безобразова перешла въ жизнь, фабричное законодательство сдѣлалось бы мертвой буквой. Этого, быть можетъ, желаетъ большинство фабрикантовъ—но, конечно, не желаетъ самъ г. Безобразовъ, сочувствующій „существеннымъ цѣлямъ“ закона. Да и гдѣ же основанія къ тому, чтобы освободить полицію отъ участія въ преслѣдованіи фабричныхъ нарушеній? Чѣмъ они отличаются отъ другихъ проступковъ, по которымъ она является обвинительницей на судѣ? Для обнаруженія нарушеній акціаннаго устава также существуютъ особые органы, гораздо болѣе многочисленныя, чѣмъ чины фабричной инспекціи—но никто не выводитъ отсюда, что полиція должна быть устранена отъ преслѣдованія этихъ нарушеній. По мнѣнію г. Безобразова, дѣятельность фабричной инспекціи имѣетъ характеръ преимущественно полицейскій. Допустимъ, что это справедливо; что же изъ этого слѣдуетъ? Только то, что инспекція можетъ и должна *участвовать* въ преслѣдованіи фабричныхъ нарушеній—но отнюдь не то, что на ней *одной* должна лежать *вся* тяжесть этого дѣла.

Обязанность преслѣдовать фабричныя нарушенія — говорить г. Безобразовъ—„подходить всего ближе къ характеру *репрессивной* дѣятельности инспекціи, который желательно было бы ей усвоить, и эта обязанность будетъ дѣятельнѣе и легче исполняема фабричными инспекторами, когда будетъ сокращена ихъ *превентивная* и опекательная дѣятельность“. Намъ думается, наоборотъ, что „превентивная“ дѣятельность фабричной инспекціи гораздо важнѣе „репрессивной“. Гораздо важнѣе предупредить истощеніе дѣтей непосильной работой, чѣмъ оштрафовать фабриканта, допустившаго ихъ къ такой работѣ; гораздо важнѣе принять мѣры къ своевременному оздоровленію фабрики, чѣмъ возбудить преслѣдованіе за многократное нарушеніе санитарныхъ правилъ. Фабричный инспекторъ, какимъ пред-

ставляетъ его себѣ г. Безобразовъ—это нѣчто среднее между прокуроромъ и контролеромъ. Его обязанности исчерпываются формальнымъ надзоромъ и „пресѣченіемъ злоупотребленій“. Всего менѣе „новая фабричная администрація должна задаваться мыслью объ улучшеніи быта рабочихъ и возвышеніи уровня ихъ благосостоянія, посредствомъ дѣйствій, направленныхъ къ увеличенію вознагражденія за трудъ и заработковъ“. Исходя изъ этого положенія, г. Безобразовъ возстаетъ не только противъ отдѣльныхъ распоряженій фабричной инспекціи, болѣе чѣмъ другія проникнутыхъ попечительностью о рабочихъ, но и противъ многихъ постановленій, вошедшихъ въ составъ новаго фабричнаго законодательства. Такъ напримѣръ, статья 17 закона 3 іюня 1886 г. воспрещаетъ взиманіе съ рабочихъ платы за врачебную помощь, за освѣщеніе мастерскихъ и за пользованіе при работахъ орудіями производства. По мнѣнію г. Безобразова, эта статья бесполезна, потому что ведетъ къ уменьшенію рабочей платы, и вредна, потому что противодѣйствуетъ бережливости въ обращеніи съ лампами, свѣчами, инструментами и т. п. Статья 27 правилъ 3 іюня, предоставляющая инспекціи утвержденіе таксъ платежа за пользованіе фабричными квартирами, банями и т. п., также признается безцѣльной, потому что по мѣрѣ пониженія таксъ будетъ уменьшаться и рабочая плата. Надзоръ инспекціи за фабричными лавками г. Безобразовъ предлагаетъ ограничить наблюденіемъ, чтобы рабочіе не были принуждаемы къ забору въ этихъ лавкахъ, и чтобы въ нихъ не были продаваемы злокачественные и вредные для здоровья припасы. Обязательность *срочно* расчета съ рабочими поощряетъ, по мнѣнію автора, расточительность рабочихъ и усиливаетъ пьянство... Основной мотивъ всѣхъ этихъ возраженій—экономическая свобода, исключаящая „вмѣшательство“ и „опеку“. Кому выгодна такая свобода—это давно извѣстно. Фабриканты будутъ, конечно, очень довольны, когда опять приобрѣтутъ право платить рабочимъ когда угодно и брать съ нихъ что угодно за квартиру, баню, освѣщеніе, врачебную помощь, съѣстные припасы; но гдѣ же ручательство въ томъ, что они будутъ пользоваться всѣми этими правами лучше, чѣмъ до 1886-го года? Вѣдь были же чѣмъ-нибудь вызваны ограниченія, установленныя въ этомъ году; были же какія-нибудь соображенія, говорившія въ пользу охраны рабочаго класса <sup>1)</sup>. Съ тѣхъ поръ едва ли что-либо въ этомъ отношеніи измѣнилось; появилось вновь только „раздраженіе“ фабрикантовъ—но оно едва ли достаточно для поворота назадъ, на только-что оставленную до-

<sup>1)</sup> *Охрану*, въ данномъ случаѣ, отнюдь не слѣдуетъ смѣшивать съ *опекой*. Опека ограничиваетъ права опекаемаго; охрана направлена только къ безпрепятственному и полному осуществленію права.

рогу... Другое дѣло, еслибы г. Безобразовъ доказалъ фактически, что запрещеніе взимать плату за врачебную помощь, освѣщеніе и инструменты, вмѣстѣ съ ограниченіемъ платы за фабричныя квартиры и бани, вмѣстѣ съ регламентаціей торговли въ фабричныхъ лавкахъ, повлекло за собою соотвѣтственное пониженіе рабочей платы; но онъ не представляетъ по этому вопросу даже того, что называется у французовъ un commencement de greuve. Прямо уменьшить рабочую плату не такъ легко, какъ кажется; гораздо удобнѣе понизить ее косвенно, едва замѣтно для рабочихъ, путемъ разныхъ вычетовъ или надбавокъ, ничтожныхъ въ отдѣльности, немаловажныхъ въ цѣломъ. Фабричная лавка, какъ способъ возвращенія въ фабричную кассу значительно большей части денегъ, выдаваемыхъ оттуда въ видѣ рабочей платы; замедленный по возможности расчетъ, какъ средство запутать рабочаго и уплатить ему меньше чѣмъ слѣдуетъ — все это существовало въ дѣйствительности, все это именно и привело къ изданію правилъ 1886 г. Было бы болѣе чѣмъ странно приступать къ ломкѣ этихъ правилъ въ силу однихъ только общихъ соображеній, почерпнутыхъ изъ старыхъ учебниковъ политической экономіи.

О личномъ составѣ и дѣятельности фабричной инспекціи г. Безобразовъ отзывается хорошо, хотя и не безъ половинчатости, ему привычной. Онъ признаетъ, что въ этой отрасли администраціи „водворился нравственный духъ“, что представители ея отличаются „безукоризненною честностью, любовью къ дѣлу, личнымъ умственнымъ къ нему интересомъ, помимо всякаго формальнаго исполненія служебнаго долга“ — но въ другомъ мѣстѣ онъ называетъ фабричную инспекцію „бюрократическимъ элементомъ, даже въ лучшихъ случаяхъ склоннымъ, по своимъ традиціоннымъ навыкамъ, къ педантическому, безцеремонному и иногда самовластному распоряженію игнорируемыми имъ личными интересами“. Г. Безобразовъ упускаетъ изъ виду, что громадному большинству чиновъ фабричной инспекціи, какъ вслѣдствіе ихъ прежней дѣятельности, такъ и вслѣдствіе самой постановки новаго учрежденія, были совершенно чужды бюрократическія традиціи и навыки. Меньше всего фабричныхъ инспекторовъ можно упрекнуть въ „педантизмъ“, именно потому, что они не довольствовались „формальнымъ исполненіемъ служебнаго долга“... Года два тому назадъ возникалъ вопросъ о передачѣ фабричной инспекціи въ вѣденіе министерства внутреннихъ дѣлъ, съ подчиненіемъ ея губернскому начальству. Г. Безобразовъ, и здѣсь вѣрный своей обычной манерѣ, высказывается противъ одного, но за другое. „Отторженіе фабричной инспекціи отъ министерства финансовъ“ онъ признаетъ неудобнымъ, но находитъ полезнымъ „нѣкоторое, большее

чѣмъ нынѣ подчиненіе чиновъ инспекціи губернскому начальству, для желательной, болѣе согласной съ общей полиціею (!) дѣятельности инспекціи“. Неужели онъ не видитъ, что съ потерей самостоятельности фабричная инспекція лишилась бы всѣхъ лучшихъ своихъ свойствъ и въ самомъ дѣлѣ низошла бы на степень зауряднаго „бюрократическаго элемента“?. Та же aberrация зрѣнія заставляетъ автора утверждать, что законъ 3 іюня 1886 г. проникнуть пристрастіемъ къ нанимаемымъ, въ ущербъ нанимателямъ. Гораздо ближе къ истинѣ было бы прямо противоположное заключеніе <sup>1)</sup>. Чтобы достигнуть цѣли, чтобы убѣдить въ необходимости радикальной контръ-реформы въ фабричномъ дѣлѣ, г. Безобразовъ не отступаетъ даже передъ вызовомъ „краснаго призрака“; онъ утверждаетъ, что заботливость фабричной инспекціи объ улучшеніи быта рабочихъ можетъ „искусственнымъ образомъ создать у насъ такъ-называемый *рабочій вопросъ*, пока несуществующій въ Россіи“...



---

<sup>1)</sup> Мы старались доказать это въ свое время, путемъ подробнаго разбора фабричныхъ узаконеній 1886 г. (см. Внутр. Обзоръ въ № 10 „Вѣстн. Европы“ за 1886 г.).

## ЗАМѢТКА.

По поводу съѣзда представителей городскихъ обществъ взаимнаго страхования.

Въ прошедшемъ мѣсяцѣ одинъ за другимъ состоялись два съѣзда представителей нашихъ страховыхъ обществъ, вначалѣ акціонерныхъ и затѣмъ городского взаимнаго страхования. Причины, вызвавшія оба эти съѣзда, лежатъ въ той борьбѣ, которую уже очень долго ведетъ акціонерное страхование съ взаимнымъ. Последняго вида страхование появилось какъ протестъ со стороны страхователей имуществъ противъ неизменно высокихъ премій за страхъ, назначаемыхъ акціонерными обществами. У насъ существуетъ до 14 акціонерныхъ страховыхъ обществъ, но представители ихъ очень скоро поняли, что худой миръ лучше доброй ссоры, и свою взаимную конкуренцію замѣнили „конвенціей“, близко похожей на стачку. Благодаря такимъ „конвенціямъ“, страховая премія, взимаемая съ имуществъ, росла въ прогрессіи ужающей для обладателей ихъ. На первомъ съѣздѣ, напр., 1882 г. постановлено было возвысить премію съ городскихъ имуществъ сразу отъ 20 до 30%. Затѣмъ обществамъ и этого показалось мало; тогда на 2-мъ съѣздѣ того же года премія была повышена еще отъ 30 до 60% для различнаго вида имуществъ, подробно опредѣлявшихся въ „конвенціи“. Объ огромныхъ барышахъ страховыхъ акціонерныхъ обществъ можно судить уже и по тому обстоятельству, что акціи большинства ихъ на биржахъ цѣнятся почти въ 2½ раза выше номинальной стоимости.

Естественно, что раньше или позже долготерпѣнію злополучныхъ страхователей имуществъ долженъ былъ наступить конецъ. Обыватели стали высчитывать цифры „коммисіонныхъ“, которыя взимаются акціонерными страховыми обществами за свое, въ сущности, лишь посредничество,—и пришли въ ужасъ. Такъ, 14 частныхъ обществъ собрали въ 1884 г. 34 мил. руб. премій, а убытковъ уплатили 22 мил. руб. или около 64% собранныхъ премій. За вычетомъ расходовъ на администрацію, весьма щедрыхъ, къ слову сказать, чистой прибыли получено около 5 мил. р. или до 15% премій. Въ предшествовавшемъ году прибыль эта составляла 23% премій. Такимъ образомъ, въ среднемъ коммисіонныя страховыя общества составляютъ

до 20% премій, или около 8 мил. р. ежегодно <sup>1)</sup>). Относительно же, напр., Россійскаго страхового общества, существующаго уже 49 лѣтъ, вычислено, что убытки для него получились одинъ разъ въ 12 лѣтъ, причемъ ни въ одинъ годъ убытки не достигали средняго барыша 32% собранныхъ премій.

Тула первая рѣшила сбросить съ себя онеку акціонерныхъ обществъ и организовать взаимное городское страхованіе. Въ прошломъ году тульское общество взаимнаго страхованія праздновало 25-лѣтіе своего существованія. Успѣхъ его показалъ, насколько борьба съ акціонернымъ страхованіемъ представляется возможной и выгодной. Тульское общество значительно понизило размѣръ страховыхъ премій, установило много другихъ льготъ для страхователей, и тѣмъ не менѣе ко дню своего юбилея располагало уже запаснымъ капиталомъ въ 700 т. р. Вслѣдъ за Тулой общества взаимнаго страхованія начали возникать и во многихъ другихъ городахъ. Въ настоящее время ихъ существуетъ до 60.

Возникновеніе обществъ взаимнаго страхованія встрѣчено было акціонерными обществами, конечно, весьма недружелюбно. При помощи новыхъ „конвенцій“ они вознамѣрились убить взаимное страхованіе, значительно понижая размѣръ премій для тѣхъ городовъ, гдѣ таковое возникло. Но общества взаимнаго страхованія дѣлаютъ тоже самое, и средство, выбранное акціонерными обществами, оказалось въ данномъ случаѣ безсильнымъ. Затѣмъ, общества взаимнаго страхованія, не располагая въ началѣ своей дѣятельности крупными запасными капиталами, избѣгаютъ высокой оцѣнки имущества. Обладатели ихъ начали поэтому практиковать дополнительную застраховку въ акціонерныхъ обществахъ. Но послѣднія тотчасъ сообразили всю выгоду своего положенія и, согласно заключенной „конвенціи“, не только запретили своимъ агентамъ принимать имущества въ дополнительную страховку, но постановили вовсе не страховать имущества тѣхъ владѣльцевъ, у которыхъ хотя бы часть строеній застрахована была въ обществѣ взаимнаго страхованія.

Насколько взаимное страхованіе развилось и окрѣпло въ нашихъ городахъ, несмотря на противодѣйствіе акціонерныхъ обществъ, и насколько оно выгодно для страхователей имущества, видно изъ слѣдующихъ данныхъ, выяснившихся на послѣднемъ слѣздѣ. Въ прошломъ году 60 обществъ взаимнаго страхованія собрали 1.365 т. р. страховыхъ премій. Убытки при этомъ, по выдачѣ премій, составили 364 т. р. Такимъ образомъ, прибыль всѣхъ обществъ выражалась въ суммѣ до 1 мил. р. При такихъ условіяхъ у нихъ уже образовался

<sup>1)</sup> Докладъ пензенскаго общ. взаим. страх. 27-го ноября 1888 г.

запасной капиталъ, простирающійся до 7 мил. руб. Предпріятіе по этому можно было бы считать находящимся въ самомъ блестящемъ положеніи, еслибы веденіе его было общимъ для всѣхъ обществъ. Но въ настоящее время, при разрозненной ихъ дѣятельности, ни одно общество не застраховано даже отъ полного банкротства въ случаѣ опустошительныхъ мѣстныхъ пожаровъ. Такъ и случилось въ минувшемъ году; два общества, напр., почти разорились.

Изъ такого положенія единственнымъ выходомъ является организациа взаимной поддержки, которая только и можетъ предупредить частныя разоренія отдѣльныхъ обществъ. Подобная поддержка называется, впрочемъ, иногда обществами по отношенію другъ къ другу и безъ особой организациа этого дѣла. Такъ, въ минувшемъ году потерпѣло огромные убытки симбирское общество взаимнаго страхованія, вслѣдствіе бывшаго безпримѣрнаго въ Симбирскѣ пожара. Оно обратилось за помощію къ другимъ обществамъ, и 28 изъ нихъ уже сдѣлали постановленія объ отчисленіи 2% своего запаснаго капитала въ пользу пострадавшаго коллеги. Помощь эта оказывается въ видѣ безпроцентной ссуды на 20 лѣтъ. Но такіе благотворительные подвиги нельзя считать вполнѣ дѣйствительной гарантіей. Въ виду этого, настоящій съѣздъ образовалъ двѣ комиссіи для выработки проекта организациа взаимной поддержки. Два проекта, выработанные комиссіями, и разсматривались на съѣздѣ. Одинъ изъ нихъ имѣетъ характеръ установленія круговой отвѣтственности общества взаимнаго городского страхованія другъ за друга. Согласно ему, каждое общество погашаетъ убытки полнымъ сборомъ премій и процентами съ запаснаго капитала; убытки же, превосходящіе эту сумму или „чрезвычайные“, разлагаются на всѣ остальные общества, вошедшія въ „союзъ“. Другой проектъ значительно обширнѣе. Имъ предполагается образованіе общій для „союза“ запасной капиталъ, изъ котораго и выдаются ссуды обществамъ, убытки которыхъ, какъ и въ первомъ проектѣ, превосходятъ сумму собранныхъ премій вмѣстѣ съ процентами на запасной капиталъ. Осуществленіе перваго изъ этихъ проектовъ нельзя не признать дѣломъ очень сложнымъ. Онъ требуетъ, прежде всего, непремѣнной взаимной опеки. Дѣйствительно, деревянные дома какого-нибудь маленькаго города нуждаются въ установленіи высшихъ премій противъ каменныхъ зданій большихъ городовъ, не говоря уже о различіи въ огнегасительныхъ средствахъ. „Союзъ“ и долженъ будетъ наблюдать за этимъ, такъ какъ иначе будутъ страдать его интересы. Точно также „союзу“ придется и вообще заняться установленіемъ отъ себя тарифовъ во всѣхъ городахъ, въ виду того, что низкіе противъ нормальныхъ тарифы, устанавливаемые какимъ-нибудь обществомъ, влекутъ за собою и низкій

сборъ премій, при которомъ „чрезвычайные“ убытки сдѣлались бы обыденнымъ явленіемъ, и расплачиваться за нихъ приходились бы „союзѣ“. При такихъ условіяхъ возможно только полное сліяніе всѣхъ обществъ взаимнаго страхованія въ одно „союзное“. Второй проектъ несравненно удобоисполнимѣе и не налагаетъ руки на самостоятельность отдѣльныхъ обществъ. Можно сказать, что будущее—за первымъ проектомъ, такъ какъ сліяніе всѣхъ обществъ взаимнаго страхованія въ одно союзное—дѣло желательное и полезное. Но пока взаимное страхованіе находится лишь въ зародышѣ и не успѣли сформироваться его отдѣльныя ячейки, сліяніе ихъ можетъ оказаться преждевременнымъ и невыполнимымъ. Не удивительно поэтому, что большинство на сѣздѣ и высказалось за принятіе второго проекта.

В. Б.





## ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го апрѣля 1889.

Переимѣна правительства въ Сербіи.—Два періода въ царствованіи Милана.—Вынужденныя связи его съ Австріею.—Мнимая „русская“ партія, и заблужденіе „Славянскихъ Извѣстій“ по этому предмету.—Русскій патриотизмъ въ „Nouvelle Revue“.—„Ашиновцы“ въ журналистикѣ.—„Инцидентъ“ въ Сагалло и его различные отголоски.—Французскія дѣла.—Графъ П. А. Шуваловъ и его внѣшняя политическая дѣятельность.

Въ Сербіи произошелъ мирный государственный переворотъ: король Миланъ отрекся отъ престола въ пользу своего сына, тринадцатилѣтняго принца Александра, и передалъ управленіе регентству изъ трехъ лицъ—Ристича, Белимарковича и Протича. Это событіе, официально возмѣщенное 22-го февраля (6-го марта), давно уже ожидалось многими, слѣдившими за сербскою политикою послѣднихъ лѣтъ. Король Миланъ долго велъ энергическую борьбу противъ проявленій народнаго недовольства и раздраженія; наконецъ, онъ долженъ былъ уступить,—и можно сказать, что онъ съ честью сошелъ со сцены. Утративъ популярностъ въ странѣ, не вида возможности справиться съ финансовыми и политическими затрудненіями, которыя все болѣе увеличивались со времени злополучной его попытки нашествія на Болгарію, король рѣшился прибѣгнуть къ весьма разумному и цѣлесообразному средству: онъ предоставилъ народу всѣ тѣ права, въ которыхъ упорно самъ же отказывалъ раньше, и добровольно сложилъ съ себя власть, во имя интересовъ своей династіи. Оказывается, что уже нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ онъ сообщилъ о своемъ твердомъ рѣшеніи австрійскому министру иностранныхъ дѣлъ, графу Кальноки. Составленіе новой сербской конституціи было первымъ приготовительнымъ шагомъ къ задуманной переимѣнѣ правительства. Общественное настроеніе Сербіи сразу измѣнилось, когда былъ обнародованъ новый „уставъ“, выработанный представителями всѣхъ партій при дѣятельномъ личномъ участіи короля. Вполнѣ понятное недовѣріе возбуждалось только мыслью о томъ, что практическое осуществленіе реформы можетъ встрѣтить преграду въ старыхъ реакціонныхъ привычкахъ и наклонностяхъ самого Милана. Чтобы положить конецъ этимъ справедливымъ опасеніямъ и избавить себя отъ неприятой необходимости дѣйствовать наперекоръ своимъ прежнимъ взглядамъ, король привелъ въ исполненіе свою давнишнюю мысль объ отреченіи, возникшую у него впервые послѣ военной неудачи

подъ Сливницей. Переходъ власти совершился вполне спокойно, безъ всякихъ волненій или колебаній; даже популярность вернулась къ Милану, и народъ съ восторгомъ привѣтствовалъ заключительный актъ его царствованія — одинъ изъ лучшихъ и благотворнѣйшихъ актовъ короля со времени его вступленія на престолъ. Во главѣ сербскаго правительства поставленъ теперь тотъ же Ристичъ, который въ 1868 году призвалъ на царство юнаго Милана, воспитывавшагося въ Парижѣ; тогда онъ былъ регентомъ до совершеннолѣтія князя, а теперь ему вновь выпала та же роль регента, до совершеннолѣтія новаго правителя, имѣющаго уже титулъ короля.

Царствованіе Милана, продолжавшееся болѣе двадцати лѣтъ, распадается на двѣ половины: первый періодъ, до берлинскаго конгресса, можетъ быть признанъ довольно удачнымъ и счастливымъ; внутреннія усложненія, политическія блужданія и разочарованія начинаются лишь съ того момента, когда Сербія, принявши на себя починъ въ освободительной борьбѣ съ Турціею, была забыта и обойдена при заключеніи русско-турецкаго мира, — когда сосѣднія боснійско-герцеговинскія земли, ради которыхъ она начала воевать, были отданы Австріи, и когда въ отвѣтъ на свои естественныя напоминанія и ходатайства она, въ лицѣ Ристича, получила въ Берлинѣ отъ насъ извѣстный отвѣтъ: „*adressez-vous à l'Autriche*“. Такъ какъ Сербія дѣйствовала совместно съ Россіею и принесла значительныя жертвы для достиженія своихъ національныхъ цѣлей при могущественной русской поддержкѣ, то отдача сербскихъ интересовъ въ руки непріязненной имъ державы — Австріи — была сильнѣйшимъ ударомъ для національной сербской партіи и надолго оттолкнула страну отъ Россіи. Недовольство сербовъ отозвалось и на внутреннихъ дѣлахъ княжества. Милану пришлось по-неволѣ искать содѣйствія и покровительства Австріи, согласно данному совѣту; пришлось подчиниться австрійскимъ требованіямъ въ области промышленности и торговли, поставить Сербію въ финансовую зависимость отъ австрійскихъ банкировъ и предпринимателей, отдать даже источники государственныхъ доходовъ на откупъ австрійцамъ и слѣдовать всѣмъ указаніямъ изъ Вѣны и Пешта. При содѣйствіи вѣнскаго кабинета Сербія достигла на берлинскомъ конгрессѣ болѣе значительныхъ результатовъ, чѣмъ предложенные ей въ Санъ-Стефанскомъ мирномъ договорѣ. Благодаря тому же союзу съ Австріею, она изъ княжества превратилась въ королевство и стала играть видную роль въ балканскихъ дѣлахъ. Но народное недовольство росло, вслѣдствіе увеличенія финансовыхъ тягостей; вышній долгъ дошелъ до непосильныхъ для небольшой страны размѣровъ — до внушительной цифры 300 милліоновъ франковъ. Народъ не видѣлъ пользы для себя въ австрійскомъ союзѣ, смотрѣлъ враждебно на

преобладающее вліяніе „швабовъ“ и предпочель бы полную самостоятельность и независимость въ политикѣ и въ финансахъ; а между тѣмъ Сербія, по своему географическому положенію, не могла обойтись безъ могущественныхъ вѣдшихъ гарантій, и, повинутая нами, она неизбѣжно должна была попасть въ сферу политическаго преобладанія Австріи. Поэтому вторая половина царствованія Милана, отъ 1878 года, была полна затрудненій, невгодъ и разочарованій: внутренняя политика страдала отъ вѣдшихъ обязательствъ, которыя усложнялись еще личными слабостями короля, прельщенного дружбою императора Франца-Иосифа, вниманіемъ его министровъ и австрійской знати, дорогими удовольствіями и развлеченіями вѣнской жизни.

Отреченіе Милана должно было произвести крайне непріятное впечатлѣніе въ Вѣнѣ, гдѣ сербскій король считался надежнымъ оплотомъ австрійскаго вліянія на Балканскомъ полуостровѣ. Дипломатическія попытки удержать короля отъ рокового шага не имѣли, однако, успѣха; самъ императоръ Францъ-Иосифъ убѣждалъ его въ подробномъ письмѣ остаться на своемъ посту, — что было совершенно понятно въ виду замѣшанныхъ въ дѣло интересовъ Австріи. Несравненно болѣе любопытнымъ является тотъ фактъ, что такое же убѣдительное и пространное письмо (на семи страницахъ, по свидѣтельству корреспондентовъ иностранныхъ газетъ) было прислано Милану императоромъ Вильгельмомъ II; въ этомъ письмѣ въ самыхъ дружескихъ и краснорѣчивыхъ выраженіяхъ поддержаны были доводы австрійскаго монарха. До сихъ поръ Германія уклонялась отъ прямого вмѣшательства въ дѣла балканскихъ государствъ, чтобы не задѣть политическаго самолюбія Россіи; на этотъ разъ берлинскій кабинетъ отступилъ отъ своей прежней системы и оказалъ непосредственное содѣйствіе вѣнскому двору по отношенію къ Сербіи. Король не поддажся этимъ авторитетнымъ увѣщаніямъ — и, вѣроятно, не могъ исполнить выраженную въ нихъ волю, такъ какъ хроническій сербскій кризисъ требовалъ рѣшительной развязки въ ту или другую сторону. Въ числѣ прочихъ причинъ, вліявшихъ на короля Милана, не послѣднее мѣсто занимали, повидимому, и семейныя, домашнія обстоятельства.

Новое сербское правительство составлено изъ лицъ, пользующихся общимъ уваженіемъ и довѣріемъ въ странѣ. Особенно слѣдуетъ это сказать о двухъ наиболѣе выдающихся дѣятеляхъ Сербіи — о регентѣ Ристичѣ и генералѣ Груичѣ; послѣдній, бывший долго посланникомъ въ Петербургѣ и оставившій здѣсь по себѣ самыя лучшія воспоминанія, назначенъ главою министерства, въ качествѣ министра иностранныхъ дѣлъ. Новая конституція получить теперь надлежащее,

вполнѣ безпристрастное примѣненіе, и поводы для народнаго недовольства сами собою исчезнутъ. Что сербскій конституціонный „уставъ“ долженъ обезпечить народу болѣе правильное и спокойное развитіе,— это признаютъ даже тѣ, которые обыкновенно возражаютъ противъ всякихъ вообще конституцій. Здѣшнія „Славянскія Извѣстія“ находятъ долю правды въ существующемъ будто бы мнѣніи, что „для славянскихъ народностей всѣ вообще конституціи по западному образцу вполнѣ непригодны“; но, по словамъ тѣхъ же „Славянскихъ Извѣстій“, „есть законы,—какъ напримѣръ законы, охраняющіе личность гражданина отъ произвола администраціи,—которые не могутъ считаться принадлежностью лишь парламентскаго образа правленія: законы, охраняющіе свободу личную, свободу печати, свободу слова, необходимы славянамъ точно такъ же, какъ и западнымъ европейцамъ“ (№ 9, стр. 218). Охрана этихъ личныхъ и общественныхъ правъ именно и достигается тѣми самыми законами, о которыхъ названный журналъ приводитъ мнѣніе, что они будто бы непригодны для славянскихъ народностей.

Какъ и слѣдовало ожидать, переходъ правительственной власти въ Сербіи въ руки Ристича и Груича вызвалъ въ нашей печати обычныя самодовольныя разсужденія о торжествѣ русской партіи, къ которой будто бы принадлежатъ эти сербскіе дѣятели. „Славянскія Извѣстія“, которыя должны были бы обладать болѣе точными свѣденіями о положеніи дѣлъ въ славянскихъ земляхъ, доводятъ эту идею до абсурда, утверждая, что „весь сербскій народъ по духу, по мысли, по убѣжденію и стремленіямъ можно назвать русской партіей, готовою, ни минуты не думая, идти за Россією, жертвовать собою (!) для ея благосостоянія и славы“. Эта „самая сильнѣйшая по своей численности партія горячо любитъ Россію, ея царя и русскій народъ но она до сихъ поръ была совсѣмъ безсильна во внутреннихъ и внѣшнихъ дѣлахъ своего отечества, потому что у нея не было вождей-патріотовъ“ и т. д. (№ 10, стр. 267). Когда наконецъ поймутъ наши такъ-называемые славянофилы, что ни сербы, ни болгары, ни прочіе славяне не хотятъ и не думаютъ служить матеріаломъ для „русской партіи“, что они хотятъ остаться самими собою и жить для себя, и что совершенно нелѣпо приписывать имъ желаніе, „ни минуты не думая, идти за Россією“ и „жертвовать собою для ея благосостоянія и славы“? Русской партіи, какъ говоритъ тотъ же журналъ въ другомъ мѣстѣ, „въ Сербіи вовсе не существуетъ теперь, да и едва ли она раньше существовала“. Зачѣмъ же выдумывать небывлицы о томъ, что будто бы весь сербскій народъ принадлежитъ къ этой несуществующей русской партіи? Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что Ристичъ и Савва Груичъ стоятъ за дружбу съ Россією и русскими

народомъ; но они руководствуются при этомъ исключительно сербскими интересами, которые требуютъ дружбы и съ Австріею, и съ Германіею. Создавать какія-то иллюзіи о готовности сербовъ „идти за Россіею“ и „жертвовать собою для ея славы“—не только нелѣпо, но и вредно въ политическомъ отношеніи. Особенно странно встрѣчать подобныя заблужденія въ журналѣ, поставившемъ себѣ спеціальною задачею ознакомленіе русскаго общества съ дѣйствительными потребностями, взглядами и стремленіями различныхъ славянскихъ народностей.

Въ нѣкоторыхъ французскихъ журналахъ появились въ послѣднее время спеціальные сотрудники по русскимъ дѣламъ, высказывающіе отъ имени Россіи и русскаго общества такіе взгляды, которые даже въ нашихъ ультра-реакціонныхъ газетахъ показались бы слишкомъ дикими. Наибольшее усердіе въ этомъ направленіи обнаруживаетъ „Nouvelle Revue“ г-жи Жюльетты Аданъ. Въ каждой книжкѣ этого журнала помѣщается нѣсколько статей о русской политикѣ, за подписью русскихъ именъ, въ родѣ г. Чернова, г. Петрова, и т. п.; сверхъ того, сама издательница усиленно занимается нашими дѣлами, на основаніи свѣденій, сообщаемыхъ ей представителями пресловутаго „вольнаго казачества“. Въ статьяхъ этихъ бросается въ глаза одна странность; г. Петровъ говоритъ: „mon ami Tchernoff“; г. Черновъ въ свою очередь говоритъ: „mon ami Petroff“, и всѣ они вмѣстѣ, съ самою г-жею Аданъ во главѣ, говорятъ: „mon ami Atschinoff“. Мы имѣемъ предъ собою, очевидно, какую-то дружескую организацію, цѣль которой—систематически вводить въ заблужденіе иностранныхъ читателей относительно русскаго общественнаго настроенія.

Г. Черновъ (вѣроятно, псевдонимъ) напечаталъ въ концѣ прошлаго года статью подъ заглавіемъ „Un âpôtre de l'idée russe“: оказывается, что „апостоломъ (!) русской идеи“ выставленъ не кто иной, какъ Ашиновъ, знаменитый отнынѣ предприниматель экспедиціи для невѣдомыхъ дѣлъ на африканскомъ берегу. Затѣмъ, въ книжкѣ отъ 15-го марта, г. Петровъ, ссылаясь на „mon ami Tchernoff“, повторяетъ бессмысленную сказку о томъ, что Ашиновъ служитъ „выразителемъ различныхъ оттѣнковъ общественнаго мнѣнія (!) въ Россіи“, и что вообще онъ „человѣкъ необыкновенный“. Г. Петровъ (вѣроятно, тоже псевдонимъ) объясняетъ французской публикѣ, что насильственное изгнаніе Ашиновской шайки изъ мѣстности Сагалло глубоко оскорбило наше національное и особенно религіозное чувство, что для насъ архимандритъ Писій „олицетворялъ собою священный принципъ православія“, что наше министерство иностранныхъ дѣлъ поступило будто бы незаконно, отказавшись отъ солидар-

ности съ предпріятіемъ Ашинова и компаніи; что въ дѣйствительности это предпріятіе имѣло будто бы вполне официальный характеръ, въ виду прямого разрѣшенія и поддержки властей; что наши дипломатическіе представители въ Парижѣ, еслибы они были православные, а не лютеране, „почерпнули бы въ своемъ внутреннемъ убѣжденіи необходимое мужество для отступленія отъ данныхъ имъ инструкцій“ (!); что правительственное сообщеніе объ Ашиновскомъ дѣлѣ не имѣетъ особеннаго значенія, такъ какъ оно „могло быть написано только директоромъ азіатскаго департамента“, а министръ „долженъ былъ (!) одобрить рѣзкій тонъ этого документа“, хотя самъ онъ, министръ, написалъ бы, вѣроятно, совсѣмъ иначе, и т. д.

Если все это въ самомъ дѣлѣ писалъ русскій человекъ, г. Черновъ, то какое понятіе даетъ онъ иностранцамъ о нашихъ порядкахъ и о нашей политикѣ? Не замѣчаетъ ли этотъ мнимый патриотъ и ревнитель православія, что онъ пишетъ карикатуру на наши порядки? Выходитъ, по его словамъ, что у насъ дѣлается гдѣ-то иностранная политика независимо отъ министерства иностранныхъ дѣлъ, что формальныя заявленія нашего правительства не заслуживаютъ вѣры и не имѣютъ серьезнаго значенія, что у насъ возможны такіе исполнители, которые „въ своемъ внутреннемъ убѣжденіи почерпаютъ мужество“ для неисполненія предписаній начальства и что этою способностью обладаютъ будто бы православные, въ отличіе отъ лютеранъ. Самъ министръ иностранныхъ дѣлъ, по объясненіямъ г. Петрова-Чернова, не представляетъ собою правительства въ области внѣшней политики. Гдѣ же у насъ правительство и какъ могутъ у насъ министры дѣйствовать независимо отъ высшей власти и нарушать должное уваженіе къ православію? Еслибы французы повѣрили г-ну Петрову, они неизбѣжно заключили бы, что у насъ въ сущности нѣтъ ни организованнаго цѣльнаго правительства, ни сознательной политики,—что наши чиновники могутъ свободно слѣдовать внушеніямъ своего личнаго произвола, что министры „должны“ подписывать бумаги, составляемыя ихъ подчиненными, что каждый департаментъ имѣетъ свою собственную независимую политику и что въ „Правительственномъ Вѣстникѣ“ печатаются официальные сообщенія, съ которыми несогласно русское правительство и русское общественное мнѣніе. Если допускается мысль, что наши православные дипломаты могутъ превысить или нарушить инструкціи лютеранскихъ начальниковъ, то вся наша государственная машина должна была бы возбуждать къ себѣ недовѣріе. И все это проповѣдуется во имя русскаго патриотизма, въ назиданіе иностранцамъ! Добиваться того, чтобы нашимъ официальнымъ заявленіямъ совсѣмъ перестали вѣрять за границею и чтобы въ сношеніяхъ съ нашими дипломати-

ческими представителями иностранные кабинеты принимали въ расчетъ какой-то небывалый у насъ антагонизмъ между лютеранскими и православными чиновниками, — до такой нелѣпости не доходили еще реакціонные публицисты и въ нашей печати. Но то, что было бы и неудобно, и нелѣпо говорить у насъ, гг. Черновы и Петровы развязно переносятъ въ заграничную журналистику, выдавая свои выдумки за мнѣнія русскаго общества.

Что мистификація относительно русскихъ дѣлъ производится систематически въ иностранныхъ журналахъ, въ одномъ опредѣленномъ духѣ, при посредствѣ лицъ болѣе всѣхъ, чѣмъ безыменные Петровы и Черновы, — это видно уже изъ тѣхъ загадочныхъ „дружескихъ“ связей, которыя устроились въ Парижѣ въ пользу полуграмотнаго „вольнаго казака“ Ашинова. Какъ могъ этотъ темный человекъ попасть въ дружбу къ Деруледу и г-жѣ Аданъ? Кто его представилъ имъ какъ „выразителя русскаго общественнаго мнѣнія“ и „апостола русской идеи“? Даже увлекающіеся французы не повѣрили бы на слово первому встрѣчному, въ подобныхъ случаяхъ. Къ сожалѣнію, мы видимъ нѣкоторые слѣды этой непонятной для насъ мистификаціи въ нашихъ такъ-называемыхъ патріотическихъ газетахъ. Послѣ первыхъ разоблаченій, выяснившихъ истинный характеръ экспедиціи Ашинова, газеты стали вновь возводить этого предпринимателя въ герои и не стѣснялись печатать невѣроятныя нелѣпости по поводу „инцидента“ въ Сагалло, со словъ будто бы отца Паксія и другихъ „достоверныхъ“ свидѣтелей. Съ одной стороны, — мы имѣемъ теперь официальные объясненія бывшаго французскаго министра иностранныхъ дѣлъ, Гобле, въ засѣданіи палаты депутатовъ 28-го (16) февраля — объясненія, имѣющія безспорный характеръ достоверности, такъ какъ никто еще не имѣлъ повода усомниться въ правдивости министра Гобле и адмирала Ольри. По этимъ свидѣніямъ, отрядъ Ашинова представляется просто безпорядочною шайкою, которую нельзя было оставить на подвластной французамъ территоріи, въ виду опасности для туземцевъ; нѣсколько недѣль велись переговоры съ цѣлью побудить мнимаго „атамана“ выдать оружіе или удалиться изъ Сагалло, и только послѣ упорныхъ и дерзкихъ отказовъ Ашинова рѣшено было прибѣгнуть къ силѣ, предупредивъ объ этомъ наше правительство. Теперь газеты предпочитаютъ вѣрить нелѣпымъ баснямъ союзниковъ „вольнаго казака“ и, забывъ извѣстные всѣмъ факты, рассказываютъ, что французы совершили нападеніе внезапно, безъ надлежащаго предуведомленія, что ашиновцы, уже получивъ ультиматумъ, расположились чай пить и спать, что они приняли первый выстрѣлъ за „салютъ“ (кому и чему?), что они великодушно не вступили въ войну съ Франціею, хотя имѣли возможность прогнать

французскій десантъ, что они согласились „заключить миръ“, но были при этомъ жестоко ограблены и оскорблены въ своихъ религіозныхъ чувствахъ: пиратами оказались вовсе не они, а французскіе моряки и офицеры! Въ ящикахъ съ оружіемъ, отобранныхъ французами, равно какъ и въ багажѣ, находились будто бы деньги (въ багажѣ!), которыя пропали. Французы нарочно стрѣляли въ церковь, въ женщинъ и дѣтей; они оскорбляли православную святиню, — словомъ, вели себя, какъ разбойники, въ противоположность невиннымъ ашиновцамъ. И эту возмутительную бессмыслицу разводятъ подробнѣйшимъ образомъ на многихъ газетныхъ столбцахъ; на этихъ явныхъ выдумкахъ строятъ серьезные заключенія и дѣлаютъ выводы о политикѣ. Въ одномъ и томъ же номерѣ газеты сообщается официальный отзывъ русскаго морского офицера, видѣвшаго Ашиновскій отрядъ еще до отплытія изъ Портъ-Саида: офицеръ нашелъ, что „эта экспедиція дѣлаетъ намъ стыдъ и позоръ“, что это банда „какихъ-то оборванцевъ, пьяныхъ и шумящихъ на весь городъ“. А рядомъ, въ другомъ столбцѣ, излагается уже сожалѣніе о томъ, что министерство иностранныхъ дѣлъ „съ полнымъ равнодушіемъ отнеслось къ *блазому русскому начинанію*, успѣхъ котораго принесъ бы *огромную нравственную (!) пользу* нашему отечеству и усилилъ бы его политическое положеніе на востокъ“. Благое начинаніе въ видѣ шайки буйныхъ и пьяныхъ оборванцевъ; огромная нравственная польза отъ успѣха чисто-грабительскаго предиріятія, — можно ли представить себѣ что-либо болѣе постыдное? И этотъ сумбуръ печатается не въ какой-нибудь мелкой газетѣ, а въ органѣ славянскаго комитета (№ 8, стр. 199 и 205).

Въ извѣстіяхъ о бомбардировкѣ Сагалло обращаетъ на себя вниманіе одно крайне странное обстоятельство: убито нѣсколько дѣтей и женщинъ, въ томъ числѣ одна въ послѣднихъ дняхъ беременности. Чтò это такое? Какъ попали дѣти и беременныя женщины въ экспедицію, имѣвшую характеръ временной полу-религіозной мисіи? Съ какихъ поръ женщины и дѣти посылаются въ далекія страны для политическихъ цѣлей? Не жестоко ли было допускать такое присоединеніе дѣтей и беременныхъ женщинъ къ путешествію, сопряженному съ лишеніями и опасностями? Если вѣрить одному изъ „очевидцевъ“, въ отрядѣ были и дѣвушки, и отецъ Паисій даже устроилъ бракосочетаніе одной пары. Все это похоже скорѣе на сказку, чѣмъ на печальную дѣйствительность. Нигдѣ въ цѣломъ свѣтѣ, кажется, невозможны такія дѣла—устройство экспедиціи изъ разгульныхъ оборвышей, въ сопровожденіи беременныхъ женщинъ и дѣтей, неизвѣстно куда и зачѣмъ. Очевидно, дѣти были прямо обречены на гибель. Тѣ же „очевидцы“, выставляющіе французовъ варварами, а ашиновцевъ—невинными барашками, упоминаютъ



о церкви, въ которую будто бы умышленно направлялись выстрѣлы. Откуда взялась церковь въ старомъ запущенномъ фортѣ Сагалло? Вѣдь не успѣли же русскіе воздвигнуть храмъ въ двѣ-три недѣли своего пребыванія въ этомъ пунктѣ. И въ этомъ отношеніи пускается въ ходъ грубая, бессмысленная выдумка: подѣ церковью надо будто бы разумѣть то мѣсто, гдѣ находились иконы, а находились онѣ въ палаткѣ. Почему французы должны были догадаться, что палатка означаетъ собою церковь—неизвѣстно. А пока на этой недѣлности основывается выводъ, что французскіе католическіе миссіонеры испугались будто бы появленія русскихъ монаховъ и побудили правителей республики дѣйствовать энергично для охраны интересовъ папства. Вообще не болѣе почетнымъ, чѣмъ самое предпріятіе и поведеніе ашиновцевъ, представляется и образъ дѣйствій союзниковъ ихъ въ печати.

Въ послѣднее время французское правительство проявило неожиданную энергію въ борьбѣ съ буланжизмомъ: оно закрыло лигу патріотовъ и привлекло къ суду ея руководителей, подписавшихся подѣ „горячимъ“ протестомъ противъ бомбардировки въ Сагалло. Лига патріотовъ, основанная поводомъ Деруадоомъ, была терпима, пока она имѣла спеціальную цѣль—поддержаніе патріотическихъ чувствъ въ обществѣ и сохраненіе близкихъ связей съ франкофильскими элементами Эльзасъ-Лотарингіи. Но въ послѣдніе годы, особенно со времени президентскихъ выборовъ конца 1887 года, лига совершенно измѣнила свой характеръ и занялась внутренними политическими дѣлами; она всецѣло отдалась генералу Буланже и превратилась въ слѣпое орудіе буланжистской агитаціи. Министерство воспользовалось неумѣстнымъ заступничествомъ лиги за Ашиновскую кампанію и прибѣгло къ строгимъ мѣрамъ. Въ арестованныхъ бумагахъ лиги оказались документы, свидѣтельствующіе о существованіи цѣлой организаціи на случай внутреннихъ волненій; многочисленныя отряды лиги должны были при извѣстныхъ обстоятельствахъ собраться на улицахъ по первому призыву и двинуться въ тѣ пункты, которые назначены будутъ распорядителями. Такъ какъ въ одномъ Парижѣ лига располагаетъ нѣсколькими десятками тысячъ человекъ, то этотъ планъ совмѣстныхъ дѣйствій имѣетъ неизмѣримо больше значенія, чѣмъ мнимая опасность вмѣшательства въ международныя дѣла. Если подтвердятся извѣстія о слѣдахъ прямого заговора для насильственного захвата власти въ пользу Буланже, то положеніе дѣателей лиги и самого генерала можетъ сдѣлаться довольно серьезнымъ; но едва ли эти люди были столь наивны, чтобы излагать на бумагѣ подобныя проекты,—если вообще предположить, что они питали приписываемые

имъ замыслы. Палата депутатовъ, въ засѣданіи 14-го марта (н. ст.), охотно разрѣшила судебное преслѣдованіе депутатовъ Лагерра, Турке и Лезана, а сенатъ разрѣшилъ привлечь къ суду сенатора Наке.

Нѣсколько дней спустя, буланжисты устроили торжественную манифестацію въ Турѣ, чтобы показать всѣмъ и каждому, что они не боятся преслѣдованій, и что всякія правительственныя мѣры могутъ только усиливать популярность генерала. На банкетѣ въ Турѣ официальный теоретикъ буланжизма, сенаторъ Наке, объяснилъ программу новой „національной партіи“, причемъ старался главнымъ образомъ показать католикамъ и монархистамъ перспективу полной религіозной свободы при республикѣ Буланже. Генераль, съ своей стороны, произнесъ длинную рѣчь,—вѣроятно написанную, по обыкновенію, однимъ изъ его союзниковъ,—на тему о вѣрности его республиканскимъ принципамъ и о готовности идти рядомъ съ реакціонными партіями, но не поощрять ихъ особыхъ надеждъ и расчетовъ.

Трудная задача—удерживать за собою толпы республиканцевъ и даже крайнихъ радикаловъ и въ то же время привлекать къ себѣ монархистовъ и клерикаловъ—удается до сихъ поръ буланжистамъ, благодаря двусмысленности и недосказанности ихъ политическихъ программъ. Въ этомъ—главная, дѣйствительная сила буланжизма, и въ этомъ же—важнѣйшій источникъ слабости нынѣшнихъ группъ парламентскаго большинства. Борьба противъ духовенства и клерикализма, предпринятая Гамбеттою, Жюлемъ Ферри и Клемансо, была крупною ошибкою республиканцевъ; она внесла элементъ неискоренимаго разлада между различными классами французскаго общества, безвозвратно оттолкнула отъ республики большинство религіознаго католическаго населенія и дала внушительную оппозиціонную силу консервативнымъ партіямъ въ странѣ. Попытка буланжистовъ воспользоваться этимъ старымъ республиканскимъ грѣхомъ для своихъ политическихъ цѣлей свидѣтельствуетъ о несомнѣнной ловкости и тонкомъ пониманіи положенія со стороны руководителей „генеральской“ агитаціи.

Въ виду возрастающихъ успѣховъ буланжизма, правительство признало нужнымъ оказать нѣкоторое удовлетвореніе умѣреннымъ консерваторамъ, готовымъ применить къ осторожной и либеральной республикѣ. Между прочимъ, съ этою цѣлью отмѣненъ декретъ объ изгнаніи герцога Омальскаго изъ предѣловъ Франціи, и престарѣлый герцогъ, ненавидящій Буланже и крайне недовольный двусмысленною политикою графа Парижскаго, возвратился на родину, гдѣ однако ему едва ли предстоитъ какая-либо политическая роль.

Министерство Тирара-Констана, несмотря на нѣкоторые внѣшніе успѣхи, не можетъ однако считаться долговѣчнымъ; отдѣльные мѣ-

инетры терпѣли неудачи въ палатѣ, хотя и по частнымъ вопросамъ, а министр финансовъ Рувье два раза рисковалъ выйти въ отставку, благодаря враждебному настроенію монархистовъ и значительной части радикаловъ. Между тѣмъ Рувье признается однимъ изъ самыхъ дѣльныхъ и честныхъ представителей республиканской партіи; въ послѣднемъ финансовомъ кризисѣ, грозившемъ привести къ опасному краху, онъ выказалъ замѣчательную дѣловитость, энергію и искусство, — и только благодаря ему спасены были видныя банковыя учрежденія, какъ „Comptoir d'escompte“, гибель которыхъ разорила бы массу вкладчиковъ и произвела бы сильѣйшую панику въ денежномъ мірѣ. Буланжисты не безъ успѣха эксплуатируютъ печальныя стороны биржевой спекуляціи для нападений на современный республиканскій порядокъ и на парламентаризмъ. Депутатъ Лоръ, въ засѣданіи 21-го марта, потребовалъ отдачи подъ судъ виновниковъ незаконной скупки металловъ, приведшей „Comptoir d'escompte“ къ опасности банкротства; онъ по этому поводу напалъ на финансовыхъ дѣльцовъ и особенно на Ротшильда, причѣмъ повторялъ предположенія и сплетни, собранныя въ скандальныхъ книгахъ Дрюмона. Палата, несмотря на доводы Рувье, отвергла простой переходъ къ очереднымъ дѣламъ, и депутату Лору едва не удалось достигнуть своей цѣли — низверженія министра финансовъ; но другая резолюція, предложенная друзьями Рувье, была принята большинствомъ и предотвратила частный министерскій кризисъ. Среди такихъ постоянныхъ опасностей и колебаній приходится кабинету Тирара бороться съ буланжизмомъ и готовиться къ открытію всемірной выставки.

Кончина графа Петра Андреевича Шувалова, игравшаго видную роль не только во внутренней, но и особенно во внѣшней политикѣ прошлаго царствованія, дала поводъ къ газетной полемикѣ на старую тему — о причинахъ нашихъ неудачъ на берлинскомъ конгрессѣ. Поверхностные умы довольствуются отысканіемъ какаго-нибудь отдѣльнаго виновника и слагаютъ на него всѣ случившіяся бѣды; для этихъ искателей дешевой истины вопросъ вполне разрѣшается признаніемъ отвѣтственности того или другого лица за всякія неприятыя политическія событія. Но дѣйствительно ли виновато тутъ лицо?

Прежде всего слѣдуетъ обратить вниманіе на то, что видная роль гр. П. А. Шувалова во внутренней политикѣ отнюдь не можетъ быть признана приготовленіемъ его въ дипломатическому поприщу. Онъ приобрѣлъ свою репутацію въ области высшаго полицейскаго управленія; отъ должности оберъ-полиціймейстера онъ быстро дошелъ до первостепеннаго поста шефа жандармовъ или начальника бывшаго

третьяго отдѣленія. Въ одной газетѣ выражено даже предположеніе, что „можетъ быть въ интересахъ Россіи тогда требовалось и еще болѣе консервативное направленіе“, чѣмъ то, которому слѣдовалъ гр. Шуваловъ, и что „во всякомъ случаѣ, преслѣдуя такое, графъ Шуваловъ не въ ту сторону (?) направилъ свои грома, куда слѣдовало“ (?). Этотъ жалкій взглядъ на „интересы Россіи“, какъ на нѣчто, требующее бросанія ударовъ „куда слѣдовало“, до сихъ поръ еще попадаетъ въ той печати, которая свои интересы считаетъ интересами Россіи. Но „интересы Россіи“ не могутъ совпадать съ интересами какой-нибудь случайной общественной клики, имѣющей основаніе желать устраненія противниковъ,—быть можетъ, несравненно болѣе честныхъ и полезныхъ, чѣмъ эти крикливые патриоты, всегда стремившіеся эксплуатировать метаніе „громовъ“ въ свою пользу.

Какъ бы то ни было, графъ Шуваловъ былъ энергическимъ шефомъ жандармовъ и приобрѣлъ, конечно, большую опытность въ этой сферѣ дѣятельности. Отъ такого спеціальнаго служебнаго поста онъ прямо переведенъ былъ на должность представителя Россіи въ Лондонѣ; одна сфера занятій замѣнена другою, почти противоположною и во всякомъ случаѣ не имѣющею рѣшительно ничего общаго съ задачами третьяго отдѣленія. Графъ Шуваловъ, такимъ образомъ, былъ вдругъ поставленъ лицомъ къ лицу съ вопросами внѣшней европейской политики, гдѣ ему пришлось имѣть дѣло съ такими тонко-образованными умами, каковы англійскіе государственные дѣятели. И удивительнѣе всего, что, по словамъ той же газеты, изъ которой мы выше привели цитату, бывший шефъ жандармовъ обнаруживалъ „преклоненіе предъ англійскими порядками“, которымъ совершенно чужды порядки бывшаго третьяго отдѣленія. „На бѣду—продолжаетъ авторъ статьи—судьба поставила во главѣ англійскихъ дѣлъ человѣка гениальнаго, хотя и со слабостями, — лорда Биконсфильда: онъ безъ труда проводилъ графа Петра Андреевича. Такъ, послѣдній и не подозревалъ о договорѣ англичанъ съ турками, повлекшемъ къ уступкѣ Англій острова Кипра и протекторату надъ Малою Азіею“.

Но какъ бы талантливъ ни былъ человѣкъ отъ природы, онъ не можетъ вдругъ сдѣлаться компетентнымъ въ незнакомыхъ ему вопросахъ и соперничать въ политическомъ искусствѣ съ людьми, проводившими весь свой вѣкъ на поприщѣ широкой парламентской дѣятельности. Можно ли добросовѣстно винить въ этомъ графа Шувалова? Можно ли требовать отъ государственнаго человѣка, даже самаго способнаго и даровитаго, чтобы, при такомъ быстромъ переходѣ отъ одной дѣятельности къ другой, совершенно отличной, онъ вдругъ проявилъ пониманіе восточнаго вопроса и конкурировалъ съ такими

мастерами въ политикѣ, какъ лордъ Биконсфильдъ или князь Бисмаркъ?

Не всякій спеціалистъ есть eo ipso политикъ и дипломатъ; какое дѣло,—и тѣмъ болѣе такое сложное и важное, какъ политика,—требуетъ спеціальной подготовки, умѣнья, опыта и особеннаго таланта. Принявъ все это во вниманіе, мы не будемъ обвинять графа Шувалова за промахи и ошибки на берлинскомъ конгрессѣ, еслибы они оказались когда нибудь доказанными. Несомнѣнно же пока одно, что берлинскій трактатъ послѣдовалъ за нашими побѣдами только надъ одними турками, но силы западной Европы въ то время еще не были нами сломлены, и едва ли въ Берлинѣ мы могли бы тогда диктовать условія мира Европѣ, опираясь на однѣ наши побѣды надъ Турціею, а не надъ Европою. Случай вступить въ борьбу съ Европою дѣйствительно представился бы намъ именно только тогда, когда бы не состоялся берлинскій трактатъ. Мы, правда, не воспользовались этимъ случаемъ, но не по тому ли, что не могли не сознавать, какою цѣною были куплены нами одержанныя побѣды даже надъ турками. Безъ сомнѣнія, это обстоятельство имѣлъ въ виду и авторъ замѣтки о гр. П. А. Шуваловѣ въ официальной газетѣ, говоря, что „желаніе отстоять постановленія савъ-стефанскаго договора, во всей ихъ цѣлости, могло вовлечь Россію въ новыя осложненія, которыя не приминули бы тяжело отозваться на ея будущности“.



---

## ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1-го апрѣля, 1889.

— Полное собраніе сочиненій И. А. Гончарова. Томъ девятый. Спб., 1889.

Закончивъ, двадцать лѣтъ тому назадъ, короткій, но блестящій рядъ своихъ крупныхъ произведеній, И. А. Гончаровъ, къ великому сожалѣнію многочисленныхъ его почитателей, возвращался къ творчеству лишь изрѣдка и ненадолго. Въ началѣ семидесятыхъ годовъ онъ написалъ единственную свою критическую статью, сразу поставившую его на одно изъ первыхъ мѣстъ въ этой литературной области. Къ „Милйону терзаній“ присоединились, во второй половинѣ семидесятыхъ годовъ, еще три очерка—и затѣмъ наступило долгое молчаніе, прерванное только въ 1887 и 1888 г. двумя серіями „Воспоминаній“ и четырьмя этюдами, соединенными подъ общимъ именемъ: „Слуги стараго вѣка“. И тѣ, и другіе вошли теперь въ составъ девятого тома полнаго собранія сочиненій Гончарова. Мы будемъ говорить только о послѣднихъ; первые, безъ сомнѣнія, хорошо памяты читателямъ нашего журнала.

Въ предисловіи къ „Слугамъ“ Гончаровъ отвѣчаетъ на вопросъ, почему онъ никогда не касался въ своихъ романахъ крестьянъ, никогда не изображалъ народной жизни. Отвѣтъ получается весьма простой и какъ нельзя болѣе убѣдительный: авторъ не жывалъ въ деревнѣ, не имѣлъ случая близко узнать крестьянъ. Онъ провелъ весь свой вѣкъ въ городахъ, преимущественно въ Москвѣ и Петербургѣ; внутрь Россіи онъ заглядывалъ мало и не надолго. Описаніе крестьянскаго быта вышло бы у него заимствованнымъ или сочиненнымъ. А между тѣмъ Гончаровъ безспорно принадлежитъ къ той группѣ великихъ русскихъ реалистовъ, творчество которыхъ неразрывно связано съ наблюденіемъ, съ изученіемъ дѣйствительности. Они не ждали, чтобы необходимость этой связи была торжественно провозглашена и возведена въ систему; имъ не нужно было теорій

„натурализма“ или „экспериментализма“, чтобы приблизиться къ жизни и ограничить сферу выдумки. Каждый изъ нихъ невольно останавливался на той средѣ, которая была ему всего болѣе знакома. Островскій началъ съ изображенія замоскворѣцкихъ нравовъ, Писемскій и Салтыковъ—съ картинъ чиновническаго быта, Левъ Толстой—съ военныхъ разсказовъ, Крестовскій (псевдонимъ)—съ наблюдений надъ провинціальной дворянской семьей, Тургеневъ—съ этюдовъ надъ двумя противоположными полюсами русской жизни: интеллигенціей московскихъ „кружковъ“ и сѣрой мужицкой массой. Въ силу того же естественнаго приспособленія, примѣръ котораго былъ еще раньше поданъ Гоголемъ, въ романахъ Гончарова выдвинулось на первый планъ петербургское общество. Мало замѣтную, но далеко не послѣднюю роль играли здѣсь, какъ и вообще въ крѣпостной Россіи, „слуги стараго вѣка“, не даромъ же выведенныя на сцену въ „Горѣ отъ ума“, въ „Капитанской дочкѣ“, въ „Ревизорѣ“ и „Лаврейской“. Типы, взятые Гончаровымъ изъ этого міра, исключаютъ возможность обвинять его въ высокомѣрномъ презрѣніи къ низшимъ, въ систематическомъ игнорированіи всего того, что дѣлается за стѣнами салоновъ и кабинетовъ. По справедливому замѣчанію Гончарова, слуги, дворовые люди, особенно прежніе крѣпостные—тоже „народъ“, тоже принадлежатъ къ „меньшей братіи“. Кто создалъ Захара, тотъ огражденъ уже этимъ однимъ отъ упрека въ литературномъ барствѣ. Теперь къ Захару, Евсею, Аграфенѣ присоединилась еще цѣлая портретная галерея, иллюстрирующая все ту же скромную среду и предохраняющая отъ забвенія такихъ представителей ея, которые отошли или отходятъ въ прошедшее.

Самая выдающаяся фигура между „Слугами стараго вѣка“—это Матвѣй, нарисованный Гончаровымъ съ большою тщательностью и любовью. Про Матвѣя говорятъ, что онъ „смѣшной“; самъ Гончаровъ находитъ его „жалкимъ“, иногда—„гадкимъ“, и всѣ эти эпитеты къ нему вполне примѣнимы. Въ немъ совмѣщаются и уживаются различныя, иногда даже противоположныя свойства: доброта и злость, смиреніе и ожесточенность, жадность и великодушіе. Насколько горяча любовь его къ барину, обращающемуся съ нимъ по-человѣчески, настолько безгранична ненависть его къ вору или заподозрѣннымъ въ воровствѣ. Онъ чуждъ истительнаго чувства по отношенію къ помѣщику, искалѣчившему и эксплуатирующему его—но его забавляетъ зрѣлище арестантовъ, которыхъ везутъ на казнь. Онъ даетъ деньги въ ростъ, дрожитъ надъ каждой копѣйкой—но прощаетъ пріятелю, растратившему его деньги, продолжаетъ даже помогать ему. Этимъ кажущимся противорѣчіямъ слѣдуетъ приписать недоразумѣніе, встрѣченное нами недавно въ одной статьѣ—не помнимъ, га-

зетной или журнальной. Гончаровъ, по мнѣнію автора статьи, относится къ Матвѣю съ специфически-барской точки зрѣнія; онъ рисуетъ его въ благопріятномъ свѣтѣ, потому что видитъ въ немъ отличнаго слугу, и забываетъ изъ-за этого всѣ отталкивающія черты его, какъ человѣка. Намъ кажется, что въ основаніи такого мнѣнія лежитъ двойная ошибка. Чтѣ антипатично въ Матвѣѣ читателямъ, тѣ антипатично въ немъ и Гончарову; это видно съ полною ясностью изъ нѣсколькихъ мѣстъ очерка (стр. 251, 253). Если, тѣмъ не менѣе, общее впечатлѣніе оказывается скорѣе въ пользу Матвѣя, то это объясняется не тѣмъ, что авторъ смотрѣлъ на него какъ *барина*, а тѣмъ, что онъ изображалъ его какъ *психолога*. Преобладаетъ въ Матвѣѣ одна черта: жажда воли, доходящая до страсти. Изъ-за нея онъ отказывается себѣ во всемъ, моритъ себя голодомъ, ходитъ чуть не въ лохмотьяхъ; изъ-за нея онъ становится ростовщикомъ, лишь бы только поскорѣе накопить деньги, нужныя для выкупа; изъ-за нея онъ безпощадно преслѣдуетъ всякаго вора, потому что украшій у другихъ могъ или можетъ украсть и у него самого; изъ-за нея онъ теряетъ способность жалѣть объ арестантахъ и казнимыхъ, потому что понятіе о преступникѣ сливается въ его глазахъ съ понятіемъ о ворѣ. Обостренію всѣхъ темныхъ его сторонъ способствуютъ, какъ это ни странно, лучшія свойства его натуры. Еслибы онъ былъ способенъ обманывать своего барина, ему незачѣмъ было бы искать спасенія въ одномъ ростовщичествѣ; не могъ бы онъ тогда съ такою яростью накидываться на воровъ. Самое ростовщичество, разрѣшенное ксендзомъ—подъ условіями, которыя Матвѣй въ точности соблюдаетъ,—вовсе не кажется ему чѣмъ-то особенно предосудительнымъ. Есть чувства, которыя берутъ въ немъ верхъ даже надъ главнымъ стремленіемъ его жизни: будь онъ неудержимо жаденъ къ деньгамъ, онъ не пощадилъ бы кума, по винѣ котораго замедлилось на нѣсколько лѣтъ достиженіе его завѣтной цѣли. Еслибы Матвѣй былъ для Гончарова *только* лакеемъ, онъ вышелъ бы изъ-подъ его пера, быть можетъ, нѣсколько менѣе сложнымъ, но навѣрное менѣе своеобразнымъ; получилась бы разновидность преданнаго слуги, а не фигура живого человѣка, созданнаго обстоятельствами и обстановкой. Въ наше время Матвѣя трудно себѣ представить, но въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ онъ былъ, по всей вѣроятности, не единственнымъ въ своемъ родѣ.

Въ „Валентинѣ“ вліаніе „старога вѣка“ чувствуется не такъ сильно, какъ въ „Матвѣѣ“; но все же и здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ современнымъ слугой. Едва ли найдется теперь много грамотныхъ людей, у которыхъ процессъ чтенія напоминалъ бы Валентина. Читать исключительно для того, чтобы читать, и не только не



гнаться за яснымъ пониманіемъ прочитапнаго, но, напротивъ, находить особенную прелесть въ непониманіи—это черта, свойственная младенческому возрасту грамотности, первымъ фазисамъ распространения ея въ народной массѣ; позже ее все больше и больше вытѣсняетъ правильно устроенная начальная школа. Валентинъ, какъ и подобаетъ „столичной штучкѣ“, стоитъ одною ступенью выше провинціала—гоголевскаго Петрушки. Петрушкѣ было совершенно все равно, чтó читать—похожденіа ли влюбленнаго героя, или букварь, или молитвенникъ; ему нравилось, что „вотъ-де изъ буквъ вѣчно выходитъ какое-нибудь слово, которое, иной разъ, чортъ знаетъ чтó и значить“. У Валентина есть, наоборотъ, весьма опредѣленные вкусы. Онъ не любитъ того, что пойметъ „каждый мальчишка или деревенская баба; прочиталъ разъ, понялъ, да и бросилъ—чтожь тутъ занятнаго? Если все понимать, такъ и читать ненужно. Иныя слова понимаешь—и то слава Богу!“ Его прельщаетъ, очевидно, сознание побѣжденной трудности—и вмѣстѣ съ тѣмъ погруженіе въ заманчивую темноту, въ которой или за которой можно предполагать все, чтó угодно. Петрушку мы не видимъ читающимъ, мы только узнаемъ, какъ онъ читалъ; чтеніе Валентина изображается авторомъ со всѣми оттѣнками и производитъ неотразимо-комическое впечатлѣніе. Какъ забавна, на примѣръ, его наивная и несокрушимая увѣренность, что непонятное для него столь же непонятно и для другихъ! На этой почвѣ онъ не видитъ никакой разницы между собою и бариномъ; къ попыткамъ послѣдняго объяснить неясныя мѣста онъ относится съ недоувѣріемъ, принимающимъ рѣшительно-ироническій характеръ, когда баринъ говоритъ о возможности понять даже „Покалипсъ“ (т.-е. Апокалипсисъ). Валентинъ, какъ и Матвѣй, стоитъ передъ нами какъ живой; мы точно видимъ, какъ онъ „шмыгаетъ по комнатамъ, ступая на одну ногу легче, нежели на другую, едва касаясь ею пола“, чтобы придать своей походкѣ „нѣкоторую грацію“. Селадонство совмѣщается въ немъ съ своеобразной амбиціей; онъ думаетъ, что дѣлаетъ честь „мужичкамъ“, ухаживая за ними и преслѣдуя ихъ любовными записками. Менѣе характеристичны слуги-пьяницы—Антонъ, Степанъ и другіе; но безъ нихъ чего-то бы недоставало въ вереницѣ русскихъ слугъ „старога вѣка“. Въ формѣ всѣхъ четырехъ этюдовъ видна рука мастера, сохранившаго, на протяженіи болѣе полувѣка, тѣ художественныя приемы, которые сдѣлали его однимъ изъ наслѣдниковъ Пушкинской прозы.

— *Григ. Джаншиевъ, С. И. Зарудный и судебная реформа. Историко-біографическій эскизъ. Москва, 1889.*

Въ наше время болѣе чѣмъ когда-либо утѣшительно и полезно возвращаться мысленно къ великой эпохѣ реформъ, унижаемой и оскорбляемой реакціонными теченіями. Всякое безпристрастное изслѣдованіе, направляемое въ эту сторону, все яснѣе и яснѣе выставляетъ на видъ заслуги преобразователей и необходимость преобразованій. Нельзя, поэтому, не быть благодарнымъ г. Джаншиеву, и въ книгахъ, и въ газетныхъ и журнальныхъ статьяхъ неустанно разрабатывающему исторію первыхъ фазисовъ и первыхъ дѣятелей судебной реформы. Новый трудъ его заслуживаетъ еще большаго вниманія, чѣмъ прежній, посвященный Д. Н. Замятнину. Мы замѣтили, въ свое время <sup>1)</sup>, что бывший министръ юстиціи (1862—1867 г.) не принималъ существенно-важнаго участія въ составленіи судебныхъ уставовъ; даже при введеніи ихъ въ дѣйствіе его роль была скорѣе пассивная, чѣмъ активная, и для возведенія его на степень „легендарнаго героя реформы“, „легендарнаго носителя ея идеи“, не представляется достаточныхъ основаній. Иное дѣло—С. И. Зарудный; это—несомнѣнно одно изъ центральныхъ лицъ судебной реформы. Надъ самымъ текстомъ судебныхъ уставовъ трудились, вмѣстѣ съ Заруднымъ, многіе другіе; нѣкоторые изъ членовъ редакціонной коммисіи не уступали ему, быть можетъ, ни по усердію, ни по вліянію (назовемъ, для примѣра, хотя бы Н. А. Буцковскаго),—но никому изъ нихъ не была дана такая продолжительная близость къ преобразовательной работѣ, такая выдающаяся роль въ самыхъ критическихъ ея минуты. Еще молодымъ чиновникомъ, едва вступившимъ на службу по министерству юстиціи, С. И. Зарудный принимаетъ участіе въ обсужденіи вопроса о частныхъ процессуальныхъ реформахъ, проектированныхъ тогдашнимъ главноуправляющимъ II-мъ отдѣленіемъ собственной Е. И. В. Канцеляріи, гр. Блудовымъ. Въ 1852 г. онъ становится дѣлопроизводителемъ коммисіи, учрежденной съ тою же цѣлью; въ 1857 г. онъ переходитъ на службу въ государственный совѣтъ, гдѣ въ то же самое время начинается разсмотрѣніе проекта новаго устава гражданскаго судопроизводства. Чрезвычайно интересна историческая справка, почерпнутая г. Джаншиевымъ изъ малоизвѣстныхъ, почти забытыхъ архивныхъ дѣлъ. Онъ показываетъ, опираясь на безспорные документы, какимъ образомъ въ умѣ гр. Блудова, осторожнаго и мнительнаго по преимуществу, составилось, мало-помалу, убѣжденіе въ недостаточности частичныхъ поправокъ, въ

<sup>1)</sup> См. Литературное Обзоріе въ № 6 „Вѣстника Европы“ за 1888 г.

неизбѣжности коренной передѣлки всего порядка судопроизводства. Уже въ 1857 г. онъ высказывается въ пользу устраненія самой *причины зла*, въ пользу „принятія другой системы, совершенно отличной отъ настоящей“. Нѣсколько позже гр. Блудовъ является защитникомъ отдѣленія судебной власти отъ законодательной и административной. Изъ записки, составленной гр. Блудовымъ въ 1860 г., враги новаго суда могутъ узнать, по выраженію г. Джаншіева, что „мысль о мнимой *судебной конституціи*, т.-е. о независимости власти судебной отъ административной, не съ неба къ намъ свалилась или, лучше сказать, не была исторгнута изъ революціоннаго ада либералами шестидесятихъ годовъ, а была постепенно подготовляема исторіею“... Какъ бы то ни было, судебная реформа встрѣчала еще и въ 1860 г. не мало препятствій; они пали только послѣ освобожденія крестьянъ, когда направленіе преобразовательныхъ работъ перешло отъ гр. Блудова къ болѣе рѣшительному Буткову, руководителемъ котораго былъ, *de facto*, С. И. Зарудный. Исторія составленія основныхъ положеній 1862 г. и судебныхъ уставовъ 1864 г. сравнительно болѣе извѣстна; остается только опредѣлить долю участія и степень вліянія, принадлежавшаго каждому изъ главныхъ работниковъ—но для этого еще не настало время. Несомнѣнно, во всякомъ случаѣ, что С. И. Зарудный до самаго конца не переставалъ занимать одно изъ первыхъ мѣстъ между своими товарищами. Послѣднимъ его трудомъ на этомъ поприщѣ было изданіе судебныхъ уставовъ съ разсужденіями, на которыхъ они основаны. 1-го января 1869 г. громадная, свѣжая сила была сдана, за ненадобностью, въ архивъ; С. И. Зарудный, не достигшій еще пятидесяти лѣтъ, полный энергіи и любви къ дѣлу, былъ назначенъ сенаторомъ въ старый сенатъ, гдѣ и оставался до самой своей смерти. Въ новомъ судебномъ мірѣ не нашлось мѣста для одного изъ тѣхъ, кому онъ всего больше былъ обязанъ своимъ существованіемъ. Какъ ни богата исторія послѣднихъ тридцати лѣтъ подобными насмѣшками судьбы, къ нимъ нельзя привыкнуть, ни къ одной изъ нихъ нельзя относиться равнодушно, потому что онѣ не только ломали и портили жизнь лучшихъ нашихъ государственныхъ дѣятелей, но и отзывались до крайности вредно на судьбѣ самихъ преобразованій.

— О Франціи. Статьи проф. В. И. Модестова. Спб., 1889 г.

Около года тому назадъ <sup>1)</sup> мы привѣтствовали выходъ въ свѣтъ другого однороднаго сборника статей г. Модестова, посвященныхъ

<sup>1)</sup> См. Литерат. Обзорніе въ № 6 „Вѣстн. Европы“ за 1888 г.

Германіи—германской наукѣ, германской школѣ, германскому парламенту. Статьи о Франціи, отличающіяся такимъ же разнообразіемъ сюжетовъ и такою же общедоступностью изложенія, появляются въ свѣтъ столь же встати. Подъ вліяніемъ узкаго, мелкаго патріотизма—или, лучше сказать, псевдо-патріотизма, мѣшающаго видѣть свѣтлыя стороны нѣмецкой жизни, унижается у насъ, сплошь и рядомъ, и все французское; Франція провозглашается отжившей, безповоротно павшей, обреченной на болѣе или менѣе быстрое разложеніе. Вся книга г. Модестова—горячій и убѣдительный протестъ противъ подобныхъ взглядовъ. Какъ и въ предыдущемъ сборникѣ, особенный интересъ представляютъ статьи, относящіяся къ школьному дѣлу. Написанныя въ разное время, онѣ знакомятъ читателей съ послѣдовательнымъ ходомъ французской школьной реформы—съ ея исходными точками, съ ея осуществленіемъ, съ ея результатами. Авторъ не отстываетъ безусловно всѣхъ мѣръ, принятыхъ французскимъ правительствомъ, съ конца семидесятыхъ годовъ, по отношенію къ народной школѣ; но онъ находитъ, и совершенно справедливо, что заботливость о начальномъ обученіи составляетъ самую крупную заслугу третьей республики. Совершенно правъ онъ и тогда, когда отзывается съ большою похвалою о преобразованіяхъ въ области средней школы, направленныхъ къ облегченію учениковъ и болѣе цѣлесообразной организаціи преподаванія. Всего менѣе извѣстны, хотя и далеко не мало-важны успѣхи, сдѣланные Франціей въ сферѣ высшаго образованія; г. Модестовъ останавливается и на нихъ, приводя, между прочимъ, слѣдующія знаменательныя цифры. Уже въ семидесятыхъ годахъ были основаны три новые медицинскіе факультета; на прежде существовавшихъ факультетахъ (всѣхъ наименованій) учреждено *сто пять* дополнительныхъ кафедръ. Бюджетъ высшаго образованія въ десять лѣтъ (1868—78) болѣе чѣмъ удвоился (вмѣсто 3.900.000 фр.—9.165.000). На одну перестройку факультетскихъ зданій ассигновано, съ 1868 по 1884 г., 82 милліона франковъ (отчасти правительствомъ, отчасти городскими муниципалитетами). Стипендій для лицъ, готовящихся къ профессурѣ, въ концѣ шестидесятыхъ годовъ не было вовсе; черезъ десять лѣтъ ихъ было уже 300, въ 1883 г.—576. Ожесточеніе противъ Германіи не мѣшаетъ французамъ внимательно изучать нѣмецкіе университеты и серьезно обсуждать вопросъ о томъ, что можно было бы заимствовать оттуда съ пользою для Франціи... Отмѣтимъ еще въ книгѣ г. Модестова цѣлый рядъ замѣтокъ о рѣчахъ и сочиненіяхъ Ренана, слишкомъ уже, быть можетъ, переполненныхъ похвалами даровитому писателю, но во всякомъ случаѣ весьма интересныхъ, и прекрасную статью по поводу двухсотлѣтія со времени отмѣны нантскаго эдикта („Экскурсія въ исторію“).—К. К.

— Русскія древности въ памятникахъ искусства, издаваемыя графомъ *И. Толстымъ* и *Н. Кондаковымъ*. Выпускъ первый. Классическія древности Южной Россіи. Съ 145 рисунками въ текстѣ. Спб. 1889. 4°. Ц. 1 р.

Передъ нами начало изданія, которое общааетъ статью замѣчательнымъ явленіемъ нашей археологической науки. Это трудъ, какой давно былъ желателенъ для русской археологіи, и имена лицъ, которымъ принадлежитъ изложеніе „Русскихъ Древностей“, даютъ достаточное ручательство, что научное предпріятіе будетъ совершаемо съ полнымъ обладаніемъ всѣми средствами науки. Въ небольшомъ предисловіи составители книги указываютъ на громадный объемъ изслѣдованій, подлежащихъ археологической наукѣ въ предѣлахъ нашего отечества. Въ теченіе двухъ съ половиною тысячъ лѣтъ,—говорятъ они,—въ этихъ предѣлахъ жило и основалось на памяти исторіи много племенъ и народностей, — „и чѣмъ разнообразнѣе былъ самый племенной составъ, чѣмъ продолжительнѣе время претворенія его въ одно государство съ единымъ народомъ, тѣмъ обильнѣе былъ владѣть въ общую сокровищницу русской древности. Въ нее вносили свою лепту и огреченный скиѣцъ, и корсунскій мастеръ, и генуэзскій торговецъ въ Крыму, и нѣмчинъ въ Москвѣ. Эту сокровищницу наполняли и арабскіе караваны, везшіе товаръ волжскимъ болгарамъ и зычской Руси, и набѣги руссовъ на Византію, и домовитое хозяйство великихъ собирателей земли Русской.

„Краснорѣчивыми свидѣтелями двухъ тысячелѣтій являются тысячи тысячъ кургановъ, которыми усѣяна русская земля, и многочисленные памятники русской старины и искусства въ древлехранилищахъ, храмахъ и церковныхъ ризницахъ. Деревянные церкви отдаленнаго сѣвера, монументальные памятники Крыма и Грузіи, храмы Кіева и Новгорода и сорокъ-сороковъ церквей московскихъ, ростовскихъ и владимірскихъ, съ ихъ оригинальною и разнообразною архитектурою, ихъ стѣнописью, рѣзбою и поливными изразцами, работали русскій стиль.

„Искусство греческихъ колоній береговъ Чернаго моря распространялось до Кіева, но слилось у варварскихъ народностей южной Россіи съ ихъ собственнымъ искусствомъ, идущимъ изъ Персіи. Торговля предметами художественнаго производства съ Восточною Имперією началась задолго до варяжскихъ набѣговъ и русскихъ договоровъ, а глухая Пермь получала изъ сассанидской Персіи свои драгоценныя серебряныя блюда. Но, кромѣ торговыхъ сношеній съ Византією и Персією черезъ Кавказъ, существовалъ широкій путь въ собственномъ смыслѣ народный, по которому формы восточной культуры передвигались сами собою на западъ, путь народовъ изъ глубины

Средней Азии и Сибири на берега Дуная. Московская земля никогда не утрачивала художественныхъ связей съ Византією и азіатскимъ Востокомъ, которыя еще въ эпоху господства готевъ на Днѣпрѣ дали оригиналы искусству ранняго европейскаго средневѣковья, а въ до-монгольское время способствовали древней Руси въ достиженіи высокой культуры“.

Все это наслѣдіе долгихъ вѣковъ,—говорится далѣе въ предисловіи,—было усвоено русскимъ народомъ, стало его художественнымъ преданіемъ и образовало древнее русское искусство. Оно сложилось въ оригинальный историческій типъ и остается жизненнымъ до сихъ поръ во множествѣ мѣстныхъ художественныхъ произведеній. Цѣлью настоящаго изданія было представить историческое развитіе древне-русскаго искусства въ точныхъ снимкахъ памятниковъ древности съ необходимымъ объяснительнымъ текстомъ.

Такова обширная задача, предположенная издателями, и задача тѣмъ болѣе сложная, что до сихъ поръ наша археологическая литература слишкомъ небогата трудами, которые могли бы служить подготовленіемъ для подобнаго цѣльнаго обзора. Русская археологія считаетъ едва нѣсколько десятковъ лѣтъ своего существованія, и только въ самое послѣднее время въ ней начали ставиться опредѣленные историческіе вопросы. При своемъ началѣ эта археологія была дѣломъ немногихъ любителей и направлялась только на отдѣльные предметы древности, почти не задаваясь вопросами о какой-либо внутренней связи, ихъ соединяющей, или задаваясь ими только въ кругу нѣкоторыхъ спеціальныхъ предметовъ. Особенное вниманіе обратили на себя съ сороковыхъ годовъ классическія древности южной Россіи, которыя поразили необыкновеннымъ богатствомъ художественныхъ находокъ, составившихъ одну изъ главныхъ достопримѣчательностей въ коллекціяхъ Эрмитажа. Съ другой стороны въ царствованіе императора Николая историческій и патріотическій интересъ обратился на памятники отечественной старины и описаніе ихъ явилось въ извѣстномъ великолѣпномъ изданіи „Древностей російскаго государства“, а также — „одежды и вооруженія російскихъ войскъ“. Въ этихъ двухъ археологическихъ предпріятій совершались отрывочныя изслѣдованія о памятникахъ церковной старины, о нумизматикѣ, о старыхъ художественныхъ производствахъ и т. п. Съ 1860-хъ годовъ изученіе русской древности принимаетъ болѣе широкіе размѣры: на ряду съ изысканіями о древнемъ бытѣ, народно-поэтической старинѣ потребовали вниманія памятники древне-русскаго искусства. Результатомъ этого новаго интереса было основаніе новыхъ археологическихъ обществъ и археологическіе съѣзды, которые распространяли вкусъ къ древности въ болѣе широкихъ кругахъ общества; поиски размножились больше, чѣмъ когда

либо прежде; археологическія экскурсіи, раскопки стали дѣломъ не только специалистовъ, но и многихъ любителей. При всемъ томъ, дѣло русской археологіи какъ науки оставалось неяснымъ: слишкомъ громаденъ былъ матеріалъ, которымъ приходилось овладѣвать, а скудость серьезной научной разработки давала слишкомъ мало средствъ къ тому, чтобы подготовить археолога, достаточно компетентнаго для всѣхъ разнообразныхъ вопросовъ, которые представлялись изслѣдованію. Въ самомъ дѣлѣ, область русской археологіи охватывала хронологически цѣлыя тысячелѣтія, топографически — громадныя пространства Европы и Азіи, этнографически — едва обозримое разнообразіе племенъ арійскихъ, чудскихъ, турецкихъ и неизвѣстныхъ; самыя изслѣдованія были трудно исполнимы въ матеріальномъ отношеніи. Къ этому присоединялось другое важное обстоятельство, затруднявшее успѣхи археологіи, — обстоятельство отрицательное: бѣдность литературы по общимъ вопросамъ археологическаго и художественно-историческаго знанія, и отсутствіе археологической школы. Въ литературѣ не было ни обзора того матеріала, какой собранъ донныѣ для изученія русскихъ древностей, ни методологическихъ указаній, ни тѣхъ пособій, какія въ такомъ обилии представляетъ западная литература по исторіи искусства и бытовой археологіи. Только недавно открыты въ университетахъ каеэдры исторіи искусства, которыя должны бы стать разсадниками археологическаго знанія, но, какъ извѣстно, эти каеэдры до сихъ поръ остаются въ нѣкоторыхъ университетахъ вакантными — ихъ негѣмъ замѣстить, да и негдѣ было приобрѣтать компетенцію для занятія подобной каеэдры. Для метода и пособій оставалась школа и литература иностранная, и личнымъ усиліямъ молодой ученой школы предоставлялось обобщать матеріалъ, накопившійся въ столь разнообразныхъ областяхъ русской древности и пока еще ни въ одной изъ нихъ достаточно невыработанный. Не мудрено, что наша археологія издавна разбивалась на детали и такъ часто дѣлалась чистымъ любительствомъ, которое удовлетворяло личному вкусу и оставалось равнодушно къ настоящимъ задачамъ науки или совсѣмъ было неспособно къ ихъ постановкѣ. Дѣйствительное, широкое пониманіе этихъ задачъ было принадлежностью немногихъ, исключеніемъ...

При этомъ положеніи дѣла становятся чрезвычайно важны для успѣховъ науки именно труды обобщающаго, руководящаго характера: для ученыхъ специалистовъ подобныя труды облегчаютъ обзоръ сдѣланнаго, указываютъ пробѣлы, требующіе изслѣдованія; для начинающихъ это школа, образующая научное пониманіе; для массы читателей это — раскрытіе отдѣла знанія, иначе остающагося для нея недоступнымъ, и очевидно, что чѣмъ больше будетъ распространено

въ массѣ общества свѣденій, тѣмъ больше будетъ набираться въ его средѣ людей, способныхъ содѣйствовать научной разработкѣ предмета. Въ кругу самихъ археологовъ, спеціалистовъ и любителей, давно чувствуется эта необходимость расширенія научныхъ интересовъ въ массѣ и необходимость обобщенія существующаго матеріала: таково было самое учрежденіе археологическихъ съѣздовъ, которые при всѣхъ неудачахъ, какія случались, имѣли въ общемъ несомнѣнное вліяніе на распространеніе интереса къ дѣлу; таковы давно обдумываемые планы общихъ трудовъ, какъ составленіе археологической карты Россіи, составленіе археологическаго словаря, какъ трудъ гр. Уварова о каменномъ вѣкѣ и т. под.

Такимъ обобщающимъ предпріятіемъ является изданіе гр. И. Толстого и г. Кондакова. Оба имени столь извѣстны въ русской археологіи, что мы не сомнѣваемся, что въ ихъ трудѣ наша археологическая литература получаетъ, наконецъ, изданіе, въ которомъ давно чувствуется настоятельная потребность. Гр. Толстой принадлежитъ къ равностѣйшимъ дѣателямъ нашей археологіи; г. Кондаковъ, давно уже профессоръ исторіи искусства, работающій нынѣ въ петербургскомъ университетѣ и въ имп. археологической комиссіи, есть спеціалистъ по византійскому искусству, пользующійся европейскою извѣстностью. Какъ мы видѣли выше изъ предисловія, изданіе, предпринятое гр. Толстымъ и г. Кондаковымъ, предполагаетъ объять всѣ области русской археологіи, начиная отъ древнѣйшихъ памятниковъ классическаго и скифо-сарматскаго міра до памятниковъ московской Россіи и современнаго народнаго русскаго искусства. Повидимому каждому изъ отдѣловъ этой долгой исторіи будетъ посвященъ особый трактатъ, какъ настоящій выпускъ изданія посвященъ классическимъ древностямъ южной Россіи.

Изложеніе начинается историческими свѣденіями о первомъ возникновеніи греческихъ колоній по берегамъ Чернаго моря и Босфора, объ ихъ дальнѣйшихъ отношеніяхъ съ сосѣднимъ варварскимъ міромъ, объ основаніи греко-варварскаго Босфорскаго царства, о внутреннемъ бытѣ этихъ поселеній и, наконецъ, объ отраженіяхъ этого быта въ памятникахъ искусства. Масса этого археологическаго матеріала добыта новѣйшими раскопками, которыя открыли цѣлый невѣдомый прежде міръ греческаго искусства: передъ нами проходятъ здѣсь разнообразныя произведенія греческаго художественнаго творчества отъ предметовъ религіознаго культа до вещей домашняго обихода. Тѣмъ, кто осматривалъ образчики этихъ древностей въ залахъ Эрмитажа, знакомы эти удивительныя произведенія классическаго искусства, поражающія своимъ изшествомъ и необычайною тонкостью работы. Въ настоящемъ изданіи, снабженномъ множествомъ весьма



отчетливо исполненныхъ рисунковъ, указаны замѣчательнѣйшіе образчики этихъ памятниковъ — отъ древнихъ статуй и саркофаговъ до мелкихъ ювелирныхъ вещицъ, съ объясненіемъ ихъ религіознаго историческаго и бытового значенія. Описаніе даетъ авторамъ поводъ къ любопытнымъ объясненіямъ изъ исторіи древнаго классическаго искусства.

Въ концѣ книги сообщены свѣденія о самой исторіи археологическихъ изслѣдованій, доставившихъ этотъ матеріалъ. Большая часть могильныхъ кургановъ, въ которыхъ заключались эти памятники, какъ извѣстно, были уже давно болѣе или менѣе разграблены старыми искателями владовъ. Еще генуэзцы, господствовавшіе на южномъ берегу Крыма до конца XV-го столѣтія, раскапывали эти курганы и сплавляли золотыя вещи, находимыя въ гробницахъ; курганы нетронутые составляютъ большую рѣдкость; всего чаще оказывалось, что искатели владовъ уже похитили главнѣйшіе предметы и оставались только вещи второстепенныя, или оставленныя безъ вниманія, или ускользнувшія отъ искателей; тѣмъ не менѣе случались драгоцѣнныя находки, которыя даютъ достаточное понятіе о богатствѣ и высокомъ художественномъ достоинствѣ хранившихся здѣсь произведеній. Научное изслѣдованіе начинается только со времени русскаго покоренія Крыма или собственно только съ первыхъ десятилѣтій нашего вѣка. Первымъ изслѣдователемъ былъ любитель, нѣкто Дюбрюксъ, французскій выходецъ, состоявшій на русской службѣ; въ 1826 былъ уже основанъ керченскій музей; въ 1831 году слѣдано было Дюбрюксомъ въ присутствіи керченскаго градоначальника Стемпковскаго знаменитое открытіе гробницы куль-обскаго кургана, которое богатствомъ находокъ обратило на себя вниманіе правительства, и съ тѣхъ поръ раскопки дѣлались по порученію и подъ надзоромъ правительства. Въ литературѣ первыя свѣденія о классическихъ древностяхъ этого края даны были особливо въ путешествіи Дюбуа-де-Монперѣ (1832—1834), изданномъ въ шести томахъ въ Парижѣ 1838—1843, а порусски въ сочиненіяхъ извѣстнаго въ свое время археолога Спасскаго (1846), директора керченскаго музея Ашика (1848—1849), Кене (1848—1850), Сабатье (1861), графа Уварова (1851—1853). Въ 1854 г. вышло великолѣпное изданіе „Древностей Босфора Киммерійскаго“ съ каталогомъ эрмитажной коллекціи, составленнымъ Стефани, и съ историческимъ введеніемъ Жюля. Въ 1859 году учреждена была императорская археологическая коммиссія, цѣлью которой вообще поставлено было разысканіе предметовъ древности, находимыхъ въ предѣлахъ Россіи, также какъ собраніе археологическихъ свѣденій и научная оцѣнка памятниковъ. Въ научномъ опредѣленіи значенія открывавшихся здѣсь памятниковъ греческаго искусства извѣстны въ

особенности труды академика Келера (ум. 1838), а впоследствии Стефани (многочисленные трактаты въ „Отчетахъ“ императорской археологической комиссіи). Въ послѣднее время совершены были новыя важныя работы по исторіи и археологіи этой классической территоріи: съ переходомъ курганныхъ раскопокъ въ вѣденіе археологической комиссіи, число вновь найденныхъ предметовъ чрезвычайно возросло, такъ что, напримѣръ, когда по описанію 1854 года вся коллекція босфорскихъ древностей Эрмитажа составляла до 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> тысячъ предметовъ, въ настоящее время по одному разряду золотыхъ вещей считается до 10 тысячъ предметовъ, а во вновь образованномъ отдѣлѣ древностей скиео-сарматскихъ до 8 тысячъ по одному разряду золотыхъ вещей. Въ новѣйшее время изслѣдованія кургановъ производились Гроссомъ, Люценко, гр. Бобринскимъ, на Таманскомъ полуостровѣ Герцомъ, Забѣлинымъ, барономъ Тизенгаузенномъ; нумизматическія изслѣдованія сдѣланы гг. Бурачковымъ (1884) и Орѣшниковымъ (1888), эпиграфическія—гг. Помяловскимъ (1881) и Латышевымъ (1885). Настоящая книга представляетъ сжатый обзоръ того, что выработано до сихъ поръ изслѣдованіями въ этой области археологіи. Книга является тѣмъ болѣе кстати, что до сихъ поръ въ нашей литературѣ нѣтъ цѣльнаго труда, обнимающаго этотъ предметъ: старыя сочиненія не существуютъ въ продажѣ и слишкомъ отстали отъ современнаго положенія изысканій, а „Древности Босфора Киммерійскаго“, представляющія великолѣпный атласъ рисунковъ, изданы были въ небольшомъ числѣ экземпляровъ и составляютъ рѣдкость, недоступную по цѣнѣ; наконецъ, множество другихъ изысканій, какъ напр. ученые комментаріи Стефани, остаются разбѣянными по отчетамъ археологической комиссіи и слишкомъ спеціальны для обыкновенныхъ читателей. Настоящее изданіе, какъ выше замѣчено, представляетъ множество рисунковъ и чертежей, изображающихъ нѣкоторыя мѣстности раскопокъ и всякаго рода памятники, какъ гробницы, статуи, барельефы, картины, монеты, мелкія украшенія и бытовые предметы.

Возвращаясь къ общему плану изданія, повторимъ, что предпріятіе почтенныхъ издателей обѣщаетъ дать нашей литературѣ трудъ въ высокой степени цѣнный и необходимость котораго давно очевидна. Если въ настоящемъ выпускѣ издатели имѣли дѣло съ предметами болѣе или менѣе разработанными, то въ продолженіи труда они должны встрѣтиться съ вопросами или едва затронутыми, или крайне сложными и запутанными, и имъ предстоитъ самимъ прокладывать новыя пути изслѣдованія. Такъ спеціалисты и любители археологіи должны съ величайшимъ интересомъ ожидать втораго выпуска изданія, который печатается и долженъ заключать „древности

скино-сарматскія<sup>4</sup>. Вопросъ объ этихъ племенахъ съ перваго своего появленія въ наукѣ вызывалъ множество самыхъ противорѣчивыхъ мнѣній; русскіе археологи, торопясь покончить съ недоумѣніемъ, господствующимъ на первыхъ историческихъ страницахъ о русской территоріи, не однажды приходили въ слишкомъ смѣлымъ рѣшеніямъ. Для этихъ рѣшеній между прочимъ былъ употребляемъ и матеріалъ археологическихъ данныхъ: эти данныя должны быть пересмотрѣны новыми изслѣдователями и отъ ихъ внимательности и обширнаго знанія мы въ правѣ ожидать важныхъ разъясненій.

Цѣна книги (1 рубль за выпускъ красиваго иллюстрированнаго изданія) чрезвычайно умѣренная и свидѣтельствуетъ, что особенной заботой издателей была возможно широкая популяризація свѣденій о предметѣ ихъ изслѣдованій.

---

— Жизнь и труды М. П. Погодина, Николая Барсукова. Книга вторая. Спб. 1889.

Мы говорили о первой части сочиненія г. Барсукова<sup>1)</sup>. Если первая часть могла показаться растянutoй, то еще больше можетъ показаться растянutoю настоящая книга, гдѣ на пространствѣ 400 страницъ описаны только четыре года (1826 — 1829): во сколькихъ книгахъ виѣстится вся біографія при этомъ способѣ изложенія — трудно сказать; но, очевидно, способъ изложенія имѣетъ нѣкоторыя излишества. Авторъ, повидимому, желаетъ сдѣлать Погодина центромъ событій общественныхъ и литературныхъ, собрать около него свѣденія о множествѣ лицъ, съ какими ему случалось приходить въ соприкосновеніе; это было бы возможно развѣ въ томъ случаѣ, еслибы Погодинъ въ самомъ дѣлѣ игралъ такую центральную роль въ литературѣ, наукѣ, общественной и политической жизни, но этого, вѣроятно, не скажетъ и самъ авторъ, при всемъ его пристрастіи къ герою біографіи. Главнымъ поводомъ къ этой чрезмѣрной обширности было то, что въ рукахъ г. Барсукова нашелся обширный матеріалъ въ дневникѣ Погодина, въ сохраненныхъ имъ письмахъ къ нему отъ разныхъ его друзей и корреспондентовъ, наконецъ въ его изданіяхъ. Составитель біографіи широко пользуется этими источниками, иногда снабжая ихъ объяснительными подробностями, иногда оставляя какъ есть, въ сыромъ видѣ, и слишкомъ часто забывая отличать важное отъ неважнаго. При этомъ случается, что въ біографію попадаютъ даже и обстоятельства совершенно ей чуждыя. Напримѣръ, на первыхъ страницахъ мы находимъ подробный разсказъ о томъ, какъ че-

---

<sup>1)</sup> Литературное Обозрѣніе, „Вѣстн. Европа“ 1883.

резъ Москву шла погребальная процессія съ гробомъ императора Александра I; г. Барсуковъ привелъ даже рѣчь московскаго архіепископа и стихи Михаила Дмитріева на этотъ случай; все это нужно было только потому, что въ процессію назначень былъ и Погодинъ, записавшій въ дневникъ: „Назначили въ ассистенты при несеніи орденовъ. Шель подлѣ и несъ орденъ св. Духа. *Взянулъ на множество народа*“ (1). Потомъ такимъ же образомъ автору показалось нужнымъ описать вѣздъ императора Николая въ Москву, коронаваніе, и привести рѣчь Филарета. Дальше понадобился не весьма нужный эпизодъ объ А. Н. Муравьевѣ. Въ 1827 году происходилъ юбилей знаменитаго въ свое время профессора Лодера, не имѣвшій къ Погодину никакого отношенія; но ему посвящено нѣсколько страницъ. Погодина избирають членомъ-корреспондентомъ академіи наукъ; біографъ описываетъ засѣданіе академіи (на которомъ Погодинъ *не былъ*) и приводитъ поздравительное письмо Булгарина по случаю избранія. Въ обществѣ любителей россійской словесности Погодинъ читаетъ рѣчь: біографъ приводитъ не только эту рѣчь, но и ни мало къ ней не относящіеся стихи Раича. Погодинъ посылаетъ Ермолову свой журналъ: авторъ приводитъ благодарственное письмо Ермолова, совершенно незначительное. Страницы 264—276 попали въ біографію Погодина по ошибкѣ, потому что ихъ настоящее мѣсто было бы въ біографіи Каченовскаго. Совершенно излишенъ эпизодъ о Грибоѣдовѣ (стр. 300 и д.). Переписка Кубарева съ фельдмаршаломъ Барятинскимъ (котораго Кубаревъ былъ нѣкогда учителемъ) попала въ біографію Погодина также по ошибкѣ и едва ли была бы нужна даже въ біографіяхъ Барятинскаго или самого Кубарева, и т. д. Мы далеко не перечислили всѣхъ излишествъ, которыя бросаются въ глаза при чтеніи книги г. Барсукова. Понятно, что это можетъ вредить и самой біографіи; читатель безпрестанно отрывается отъ главнаго предмета въ массу подробностей, не имѣющихъ къ этому предмету ни малѣйшаго отношенія.

Другой недостатокъ изложенія—чрезмѣрное обиліе сырого матеріала. Текстъ біографіи на гораздо большую долю состоитъ не въ разсказѣ, а въ безпрестанныхъ выпискахъ—изъ дневника, писемъ, статей и т. п. Масса лицъ, введенныхъ въ біографію и частію не нужныхъ для нея, остается однако безъ характеристики, какъ, напримѣръ, самый кружокъ „Московского Вѣстника“, редакторомъ котораго былъ Погодинъ. Этотъ журналъ въ свое время былъ весьма замѣтнымъ изданіемъ; къ нему примыкало, вмѣстѣ съ Пушкинымъ, много лучшихъ силъ тогдашней журналистики; біографъ сообщаетъ, путемъ упоминутыхъ выписокъ, много подробностей о внутреннихъ отношеніяхъ редакціи, но тѣмъ не менѣе роль журнала остается невыясненной.

Само собою разумѣется, что въ этой массѣ фактовъ, заимствованныхъ изъ современной переписки и дневника, изъ пересмотра тогдашней литературы, встрѣчаются черты любопытныя не только для біографіи Погодина, но и для изображенія того времени. Таковы эпизоды отношеній Погодина съ Пушкинымъ, съ Хомяковыми, таковы подробности о тогдашнихъ мнѣніяхъ Погодина объ „Исторіи государства Россійскаго“, переписка Погодина съ Арцыбашевымъ, извѣстнымъ тогда противникомъ Карамзина; далѣе, любопытны многія черты изъ личныхъ дѣлъ самого Погодина и нѣкоторыя изъ его мнѣній, записанныхъ въ дневникѣ (напримѣръ, стр. 17—о русскомъ народѣ, стр. 297—о русскомъ управленіи: „Думалъ о нашихъ правителяхъ. Всѣ невѣжи. Машина держится тяжестью“. Или тамъ же его размышленія: „Какъ велики стали мои требованія при раздачѣ титуловъ людямъ. Кого почиталъ я великимъ, того не назову теперь и среднимъ. Иначе уже смотрю я на Ростопчина, Филарета, Карамзина,—и чувствую, что вижу дальше ихъ“, и т. п.) Въ дневникѣ Погодинъ повидимому всего чаще писалъ своимъ извѣстнымъ лаконическимъ стилемъ, который вѣкогда такъ забавно былъ пародированъ Герценомъ; нѣкоторыя выписки, сдѣланныя г. Барсуковымъ, очень характерны. Далѣе, любопытны подробности о семействѣ Аксаковыхъ; однажды Погодинъ записываетъ въ дневникѣ: „Петръ прорубилъ окошко (въ Европу), а Аксаковъ его заколотить“ (стр. 315). Рѣчь идетъ въ 1829 г. о С. Т. Аксаковѣ; такимъ образомъ, основаніе позднѣйшему крайнему славянофильству и стремленію „домой“, въ XVII-е столѣтіе, положено было еще отцомъ семейства.

Подобныхъ замѣтокъ и новыхъ, весьма интересныхъ данныхъ о литературѣ того времени и о дѣятельности самого Погодина разсѣяно не мало въ книгѣ г. Барсукова, но вообще она производитъ пока впечатлѣніе предварительнаго собранія матеріала, и читателю все кажется, что біографія еще предстоитъ впереди.—А. П.

---

— Императоръ Николай и иностранные дворы. Историческіе очерки С. С. Татищева. Спб., 1889.

Г. Татищевъ принадлежитъ къ числу тѣхъ авторовъ, которые неумоимо собираютъ и излагаютъ факты, опровергающіе ихъ собственные воззрѣнія. Опровергая самихъ себя, они дѣлаютъ это не вслѣдствіе избытка добросовѣстности, а только потому, что не замѣчаютъ прямого противорѣчія между фактическимъ матеріаломъ и присовокупляемыми къ нему идеями.

Занявшись изслѣдованіемъ внѣшней политики Россіи при импе-

раторъ Николаѣ I, г. Татищевъ поставилъ себѣ цѣлью доказать, что политическіе принципы того времени были превосходны и возвышенны, но дипломатія не примѣняла, будто бы, ихъ съ надлежащею точностью: всѣ наши неудачи и ошибки происходили, значить, отъ этого несоотвѣтствія между руководящею волею и ея исполнителями, въ области международныхъ дѣлъ.

Какъ ни странно самое предположеніе о какомъ-либо принципиальномъ разладѣ между императоромъ Николаемъ и его дипломатами, но оно упорно поддерживается г. Татищевымъ, вопреки очевидности. Все фактическое содержаніе трудовъ самого автора по тогдашней виѣшней политикѣ доказываетъ съ безспорною ясностью, что личная политическая программа имп. Николая I невольно отдавала Россію въ распоряженіе Австріи и Пруссіи, вовлекала насъ въ ненужныя войны и привела къ крымскому погрому; а г. Татищевъ, излагая эти печальныя событія, хочеть увѣрить всѣхъ, что виною нашихъ бѣдствій были отдѣльные дипломаты, не стоявшіе на высотѣ чисто-русскихъ національныхъ чувствъ и убѣжденій государя. Эти дѣятели, по словамъ автора, „не только не придерживались одинаковаго съ государемъ образа мыслей и чувствъ, но исповѣдывали взгляды прямо ему противоположныя“ (!). Они „почти всѣ безъ исключенія были инородцы по происхожденію, иновѣрцы по религіи, чуждые Россіи по воспитанію своему, по родственнымъ связямъ, по образу жизни, по усвоеннымъ привычкамъ и приемамъ“. Такое „отчужденіе русской дипломатіи въ руки инородцевъ состоялось задолго до вступленія императора Николая на престолъ“. Министромъ иностранныхъ дѣлъ назначенъ былъ человѣкъ, который, „разумѣется, не умѣлъ ни говорить, ни писать по-русски“, и который, „по общему свидѣтельству современниковъ, былъ воплощенною бездарностью“. На естественный вопросъ: кто же назначалъ этихъ бездарныхъ иновѣрцевъ министрами и дипломатами?—авторъ развязно отвѣчаетъ, что, конечно, не самъ Нессельроде сдѣлалъ себя министромъ, но „и не императоръ Николай, который не назначалъ его, а унаслѣдовалъ отъ высокочтимаго брата и предшественника“.

Мы отказываемся понять смыслъ этого удивительнаго заявленія. Чтобы имп. Николай I цѣлыхъ тридцать лѣтъ держалъ около себя министра, котораго онъ „не назначалъ“, а только пассивно унаслѣдовалъ, — все это до того неправдоподобно, что едва ли самъ авторъ можетъ серьезно вѣрить своимъ словамъ. Сократилось ли, по крайней мѣрѣ, привлеченіе дальнѣйшихъ иностранныхъ элементовъ въ составъ русской дипломатіи, при императорѣ Николаѣ? И на этотъ вопросъ авторъ вынужденъ дать отрицательный отвѣтъ. „Дѣйствительно,—говорить онъ,—за тридцать лѣтъ Николаевскаго правленія это и безъ того ненормальное племенное отношеніе въ нашей дипломатической

службѣ измѣнилось въ еще бѣльшій ущербъ русской народности“; въ общей сложности „вмѣсто двухъ пятыхъ противъ трехъ — получаемъ одну треть русскихъ на двѣ трети иностранцевъ“. При этомъ „ни мало не улучшилось и качественное отношеніе: всѣ вліятельнѣйшія мѣста, какъ внутри, такъ и внѣ, отданы были чужеземцамъ“ и т. д. Чѣмъ же объяснить это обстоятельство, не имѣющее уже ничего общаго съ „унаслѣдованіемъ“?

Мы не говоримъ уже о недѣльной исходной точкѣ зрѣнія, различающей достоинства и патриотизмъ государственныхъ людей по ихъ фамиліямъ, вѣроисповѣданію и происхожденію. Самъ же авторъ приписываетъ главнѣйшія ошибки нашей дипломатіи лицамъ съ чисто-русскими фамиліями, а иностранцевъ Поццо-ди Борго и Каподистрію онъ считаетъ представителями русскаго патриотическаго направленія. На берлинскомъ конгрессѣ наши первые уполномоченные, соглашавшіеся на всякія уступки, не были также ни иновѣрцами, ни иностранцами. Для чего же авторъ припутываетъ здѣсь вопросъ о племенномъ и вѣроисповѣдномъ составѣ дипломатіи? Министры и дипломаты, кто бы они ни были, исполняли и должны были исполнять то, что имъ указано; а если результаты были неудачны, то только потому, что русскіе народныя интересы мало принимались въ расчетъ и могли приноситься въ жертву чисто-личнымъ чувствамъ дружбы къ тому или другому изъ иностранныхъ монарховъ. Русское общественное мнѣніе не существовало; русскія войска посылались защищать чужіе интересы; русскія силы и средства тратились на чуждыя и враждебныя намъ цѣли,—а г. Татищевъ видитъ въ этомъ политическую мудрость, которую нарушали только иновѣрные исполнители, совѣтовавшіе дѣйствовать болѣе осторожно и сообразоваться хотя отчасти съ потребностями и ресурсами государства.

Авторъ, впрочемъ, допускаетъ, что императоръ Николай могъ ошибаться: такъ, „государю показалось“, что іюльская революція во Франціи грозитъ намъ опасностью и что нужно „оказать монархіямъ запада дѣятельную поддержку“. Но тогда г. Татищевъ ставитъ въ вину нашимъ дипломатамъ, что они не противодействовали этому „заблужденію“ государя, а напротивъ приняли его взгляды къ исполненію и руководству. Гдѣ и для кого пишетъ авторъ? Мыслимо ли серьезно утверждать, что сановники императора Николая имѣли право и возможность противорѣчить его волѣ?

„Состоялся, — по разсказу г. Татищева, — обширный заговоръ съ цѣлью опутать сѣтями и совлечь съ національнаго пути русскаго государя, и въ заговорѣ томъ, руководимомъ и направляемомъ австрійскимъ канцлеромъ, соучастницею иностранцевъ явилась русская дипломатія“. Но вѣдь если этотъ небывалый заговоръ существовалъ,

то главную первенствующую роль долженъ былъ бы играть въ немъ самъ императоръ Николай, такъ какъ русская дипломатія только усвоила себѣ личные его взгляды и слѣдовала его указаніямъ. Авторъ готовъ даже безмолвіе тогдашней печати и общества приписать коварной иноземной интригѣ. „Винить ли государя, — продолжаетъ онъ, — за то, что онъ не разгадалъ этой коварной игры и такъ легко вдался въ обманъ? Но вѣдь всѣ свои впечатлѣнія императоръ Николай воспринималъ отъ двухъ категорій лицъ, съ которыми исключительно обсуждалъ дипломатическіе вопросы: отъ иностранныхъ государей и членовъ ихъ домовъ и отъ дипломатовъ, своихъ и чужихъ. Всѣ они повторяли ему въ одинъ ладъ одни и тѣ же напѣвы. Возвышенная душа его была чужда всякой подозрительности, а *предостережъ ея было некому: русская общественная мысль дремала въ безмолвіи*, на которое была обречена во внѣшней политикѣ едва ли не болѣе, чѣмъ во внутренней“. Еслибы авторъ хоть немного вдумался въ значеніе своихъ же словъ, то ему не трудно было бы замѣтить, что правительственная система, создававшая это общественное безмолвіе и заглушавшая обычные способы всесторонняго освѣщенія и пониманія событій, была ошибочна и опасна въ самой основѣ. Какими бы ни были дипломаты, они не въ силахъ были бы ослабить коренной недостатокъ политической дѣятельности того времени.

Г. Татищевъ смотритъ на исторію съ самой мелочной и узкой точки зрѣнія; онъ ничего не видитъ, кромѣ отдѣльныхъ лицъ, и всѣ вопросы ставятся имъ въ формѣ вопросовъ о виновности. Онъ думаетъ, что въ ошибкахъ и несчастіяхъ Николаевской эпохи виноваты отдѣльныя лица; а такъ какъ самого императора Николая нельзя обвинять въ чемъ бы то ни было, то, очевидно, виновны исполнители и прежде всего иновѣрные дипломаты. Это разсужденіе до того первобытно, что надо только удивляться смѣлости или наивности автора, выступающаго съ подобными теоріями. Г. Татищевъ самъ замѣчаетъ между прочимъ, что „императоръ Николай не разъ имѣлъ поводъ усомниться въ достоинствахъ навязанной (!) ему политики“, и что тѣмъ не менѣе послѣ 1848 года онъ „великодушно протянулъ руку помощи своимъ погибавшимъ союзникамъ и спасъ австрійскаго императора отъ торжествующаго мятежа мадьяръ“ и проч. Исторія, по словамъ автора, „засвидѣтельствуетъ, что императоръ Николай не былъ сообщникомъ своей дипломатіи: онъ самъ былъ обманутъ ею“. Намъ кажется, что исторія не засвидѣтельствуетъ подобной нелѣпости уже потому, что самый вопросъ, поставленный авторомъ, не имѣетъ смысла. Называть такого самодержца, какъ имп. Николай I, „сообщникомъ“ своихъ слугъ — можно лишь иносказательно, на подобіе того, какъ полководецъ есть „сообщникъ“ своей арміи; а что императоръ былъ въ чемъ-либо



обмануть русскою дипломатією,—это трудно допустить уже въ силу того заявленія государя, которое приволится самимъ г. Татищевымъ. „Меня всякій можетъ обмануть *разъ*,—писалъ государь въ 1854 г.,—но зато послѣ обмана я уже никогда не возвращаю утраченнаго довѣрія“. Такъ какъ до конца своего царствованія императоръ Николай сохранялъ довѣріе къ графу Нессельроде и пользовался его совѣтами, то, значить, онъ ни разу не былъ обманутъ своимъ министромъ,—развѣ предположить, что слово „разъ“ можетъ означать тридцатилѣтній періодъ дѣятельности графа Нессельроде, какъ министра иностранныхъ дѣлъ.

Въ книгѣ г. Татищева приведено не мало фактическихъ свѣдѣній, характеризующихъ особенности нашей внѣшней политики въ прежнее время. Франція при Луи-Филиппѣ употребляла всѣ усилія для сближенія съ Россією,—но напрасно. Усилія эти „постоянно разбивались о непоколебимость“ чисто-личныхъ чувствъ, которыя имп. Николай I „ставилъ выше всѣхъ политическихъ соображеній“ и выше всякихъ выгодъ Россіи (стр. 128 и сл.). Нессельроде, хотя и иновѣрецъ, высказывалъ твердое убѣжденіе, что „императоръ не сожжетъ ни одного заряда, не прольетъ ни единой капли русской крови, не истратитъ ни гроша для исправленія совершенныхъ во Франціи ошибокъ“. Но „Нессельроде — по словамъ автора—ошибался. Императоръ совершенно иначе взглянулъ на дѣло“ (стр. 146), т.-е. считалъ необходимымъ дѣйствовать, вопреки мнѣнію своего иновѣрнаго министра. Французское правительство много разъ пыталось сойтись съ нашей дипломатією; но эти примирительныя попытки, какъ объясняетъ г. Татищевъ, „не только не улучшили, но, можно даже сказать, въ значительной степени ухудшили (!) отношенія ея (Франціи) къ Россіи. Выяснилась истинная причина разлада, тѣмъ труднѣе устранимая, что заключалась она не въ недоразумѣніи относительно обоюдныхъ интересовъ, а въ личныхъ воззрѣніяхъ императора Николая на короля Луи-Филиппа и на источникъ его власти. Нигдѣ и ни въ чемъ политика Франціи не перечила нашей; напротивъ, у обѣихъ странъ оказывались несомнѣнныя точки соприкосновенія, общность видовъ и выгодъ. И все это разбивалось о брезгливость русскаго государя, ни за что не хотѣвшаго протянуть руку королю французовъ, какъ равноправному члену семьи европейскихъ монарховъ“ (стр. 210). Виноваты ли въ этомъ дипломаты съ нѣмецкими фамиліями? То же самое повторялось позднѣе. „Тѣ же причины, какъ и за два десятилѣтія передъ тѣмъ, побудили императора Николая уклониться отъ сближенія съ третьимъ Бонапартомъ. Послѣдствіемъ была крымская война“ и т. д. (стр. 219). Произошло ли это по винѣ иновѣрцевъ, или вслѣдствіе „обмана“ со стороны русской дипломатіи?

Самое поразительное въ новой книгѣ г. Татищева, которая вообще составлена довольно поверхностно,—это защита такихъ явныхъ ошибокъ прошлаго, какъ дѣятельное участіе Россіи въ устройствѣ чужихъ государственныхъ дѣлъ и въ охранѣ постороннихъ державъ на русскій народный счетъ. Сопоставляя настоящее положеніе нѣмецкаго народа съ прежнимъ, авторъ выражаетъ мысль совершенно невѣроятную: онъ даетъ понять, что судьбы Германіи были „болѣе обезпечены отъ всякаго рода опасностей внутреннихъ или вѣншихъ, когда резервомъ сравнительно немногочисленнаго прусскаго войска служили вооруженныя силы великаго русскаго государства и народа“ (стр. 386). Эти строки убѣждаютъ насъ въ томъ, что мы и раньше подозрѣвали, а именно, что г. Татищевъ не имѣетъ даже элементарныхъ свѣденій о задачахъ историка и о вопросахъ политики, о которыхъ онъ однако печатаетъ обширныя компіляціи. Даже сами пруссаки не заходили такъ далеко въ своихъ ожиданіяхъ, чтобы смотрѣть на „вооруженныя силы великаго русскаго государства и народа“ какъ на „резервъ для прусскаго войска“; нѣмцы всегда понимали, что Россія должна имѣть свои особые интересы и потребности, и что нелѣпо было бы разсчитывать на ея военныя силы для спеціально-прусскихъ надобностей; а г. Татищевъ этого не понимаетъ и выдаетъ за національную русскую политику превращеніе Россіи въ „резервъ“ для Пруссіи! Предположить, что для самихъ нѣмцевъ было лучше находиться подъ опекою русской дипломатіи и русскихъ войскъ — значить, не имѣть понятія о значеніи національнаго чувства и объ условіяхъ правильнаго развитія народовъ. Правительственная система, приведшая насъ къ севастопольскому погрому, была въ глазахъ нѣмцевъ системою грубаго иноземнаго гнета и вмѣшательства, и если авторъ допускаетъ патріотизмъ для русскихъ, онъ долженъ и за нѣмцами признать право стремиться къ политической самостоятельности. Въ концѣ концовъ, мы рѣшительно не видимъ никакой разумной цѣли въ разсужденіяхъ г. Татищева о превосходствѣ политическихъ принциповъ, безвозвратно осужденныхъ исторіею и принесшихъ Россіи неисчислимыя бѣдствія.—Л. С.

Въ теченіе марта мѣсяца въ редакцію поступили слѣдующія книги и брошюры:

Бао, А. Нравственныя воззрѣнія В. Вундта („Этика“, ч. 1 и 2, изд. „Русск. Богат.“). Ворон., 89. Стр. 137. Ц. 80 к.

Бодановъ, проф. М. Н. Изъ жизни русской природы. Зоологическіе очерки и рассказы, съ предисл. Н. П. Вагнера. Спб., 89. Стр. 434. Ц. 2 р. 50 к.

Вержбицкій, Т. И. Краткое описаніе г. Житомира. Житом., 89, Стр. 32. Ц. 30 к.

*Верналь-Фонтениль*. Крокодилы, гипнотическій разсказъ. Перев. съ франц. Ел. Луценко. Спб., 89. Стр. 37. Ц. 20 к.

*Джанниевъ*, Григ. С. И. Зарудный и судебная реформа. М., 89. Стр. 170. Ц. 1 р.

*Зелинский*, В. Справочникъ по русскому правописанію. Составл. по „Руководству“ Акад. Наукъ. Изд. 3-е. М. 89. Стр. 100. Ц. 25 к.

*Ильинъ*, А. Подробный атласъ російской имперіи, съ планами главн. городовъ. Вып. 8. Рязанская, Астраханская, Калышская и Сѣдлецкая губерніи; карта распредѣленія пахатной земли европ. Россіи по главнѣйш. посѣвамъ, и карта европ. Россіи съ показаніемъ душевого надѣла и отношенія въ немъ общиннаго къ подворному владѣнію. 5 картъ. Спб., 1886.

*Карамзинъ*, Н. М. Исторія государства російскаго. Царствованіе Васи́лія Шуйскаго и междоцарствіе. Изд. 2-е. Дешевая Библиотека. Спб., 1889. Стр. 280. Ц. 20 к.

— Тоже. Великій князь Дмитрій Донской. Изд. 2-е. Деш. Библ. Спб., 1889. Стр. 100. Ц. 10 к.

*Краузе*, В. Землевѣденіе въ низшей и средней школь. Спб., 89. Стр. 82. Ц. 1 р.

*Крыловъ*, Н. А. Экономическое значеніе Бѣломорскаго канала. Петрозаводскъ, 89. Стр. 261.

*Кюи*, Ц. А. Кольцо Нибелунговъ, трилогія Рих. Вагнера. Спб., 89. Стр. 64. Ц. 50 к.

*Леонтьевъ*, К. Національная политика, какъ орудіе всемірной революціи. М., 89. Стр. 48.

*Месковский*, А. Трагедія Шекспира для сцены и чтенія. I. Гамлетъ, принцъ датскій. Спб., 89. Стр. 128.

*Михайловъ*, М. Перелетныя птицы, романъ. Спб., 89. Стр. 415. Ц. 1 р. 35 к.

*Моргулицъ*, М. Г. Вопросы еврейской жизни. Собраніе статей. Спб., 89. Стр. 594. Ц. 3 р.

*Нейштабъ*, д-ръ Я. Т. Обь организаціи земской медицины. Спб., 89. Стр. 20.

*Радъ*, Валери. Луи Пастеръ. Исторія одного ученаго. Перев. съ франц. п. р. д-ра Гамалѣя, съ предисл. И. И. Мечникова. Одесса, 1889. Стр. 37. Ц. 1 р. 60 к.

*Сахаровъ*, Влад. Апокрифическія и легендарныя сказанія о пресвятой Дѣвѣ Маріи, особенно распространенныя въ древней Руси. Спб.-Тула, 1888 (1889) Стр. 148. Ц. 80 к.

*Сербиновичъ*, Я. А. Контръ-проектъ о бумажно-денежномъ нашемъ обращеніи. Кіевъ, 89. Стр. 33. Ц. 50 к.

*Скворцова*, учительница О. Е. Диктантъ для начальныхъ сельскихъ и городскихъ училищъ. Курсъ I и II года. М., 89. Стр. 145. Ц. 40 к.

*Смайльсъ*, Сам. Характеръ. Воспитаніе и образованіе. Перев. съ англ. С. Майковой. Изд. 5-е. Спб., 89. Стр. 402. Ц. 90 к.

*Сазоновичъ*, И. Очеркъ средневѣковой нѣмецкой эпической поэзіи и литературная судьба пѣсни о Нибелунгахъ. Варш. 89. Стр. 132.

*Соколовъ*, М. Е. Краткая исторія философіи. Симбир., 89. Стр. 96. Ц. 70 к.

*Стасовъ*, В. Александръ Порфирьевичъ Бородинъ. Его жизнь, переписка и музыкальныя статьи. Спб., 89. Стр. 332. Ц. 1 р. 50 к.

*Студенскій*, проф. Н. А. Госпитальная хирургическая книжка имп. казан. университета, 1861—1888. Каз., 89. Стр. 140. Ц. 55 к.

*Татищевъ*, С. С. Императоръ Николай и иностранныя дворы. Съ прилож.: Императоръ Вильгельмъ I о Россіи. Спб., 89. Стр. XXV и 459. Ц. 3 р.

- Тэнъ*, Иш. Чтеніе объ искусствѣ, пять курсовъ лекцій. Перев. А. Н. Чуднова. 3-е изд. Спб., 89. Стр. 447. Ц. 1 р. 75 к.
- Федоровъ*, В. Абиссинія. Историко-географич. очеркъ. Спб., 89. Стр. 76. Ц. 75 к.
- Филимоновъ*, Е. С. Румянцевская генеральная опись суражскаго уѣзда. 1767 г. Вятка, 88. Стр. 32.
- Штейнцвергъ*, И. С. Первые уроки географіи въ катехизической формѣ. Вып. I: Землеустройство; вып. II: Отечествоустройство. Варш., 89. Стр. 82. Ц. 30 к.
- Штумлицъ*, А. Изслѣдованіе о началахъ: политическаго равновѣсія, легитимизма и національности, въ трехъ частяхъ. Ч. I: Начало равновѣсія. Спб., 89. Стр. 312. Ц. 2 р.
- Щелковъ*, Д. Исторія социальных системъ. Т. II. Спб., 89. Стр. 439. Ц. 4 р. 50 к.
- Bogisić*, V. Quelques mots sur les principes et la méthode suivis dans la codification du droit civil au Monténégro. Par., 88. Стр. 19.
- Combothecca*, X. S. Esfai sur le régime parlementaire. Par., 89. Стр. 158.
- Durand-Greville*, E. Chefs-d'oeuvres dramatiques de A. N. Ostrovsky, trad. de russe et précédés d'une étude sur la vie et les oeuvres de A. N. Ostrovsky. Par. 1889. (Chacun a sa place—l'Orage—Fleur de Neige.)
- Hurban*, I. M. Oleikar, Roman z počiatku XIX stoletia. Turé Sv. Martin. 89. Стр. 112.
- Main*, Sir Henry Sumner. Etudes sur l'histoire du droit. Par., 89. Стр. 704.
- O. N.* Un sacrifice. St-Pét., 89. Стр. 170.
- Домашень Учитель, научно-литературно списаніе. Излиза всѣки мѣсяць. Январій, 1889. Софія. Стр. 40.
- Македонскій въпросъ. Пловдивъ, 89. Стр. 20.
- Елисаветопольская губернія. Сводъ статистич. данныхъ, извлеченныхъ изъ посемейныхъ списковъ населенія Кавказа. Тифл., 83. Стр. 435.
- Засѣданіе петербургскаго собранія сельскихъ хозяевъ. 1889 г. Спб., 89. Стр. 39.
- Кубанское казачье войско, 1696—1888. Сборникъ краткихъ свѣдѣній о войскѣ. Изд. п. р. Е. Д. Фелицына. Ворон., 88. Стр. 438.
- Матеріалы по статистикѣ народнаго хозяйства въ Спб. губерніи. Вып. VI: Крестьянское хозяйство въ лужскомъ уѣздѣ. Вып. X: Частно-владельческое хозяйство въ пинисельбургскомъ уѣздѣ. Спб., 89. Стр. 316 и 111. Ц. 1 р. 50 к.
- Отчетъ госуд. дворянскаго земельного банка за 1887 г. Спб., 89.
- Отчетъ комиссiи по сооруженію памятника-фонтана А. С. Пушкину. Одесса, 89. Стр. 46.
- Сборникъ свѣдѣній для изученія быта крестьянскаго населенія Россіи. Обычное право, обряды, вѣрованія и пр. Вып. I, п. р. Н. Харузина. М., 89. Стр. IV, 406, 59 и 10 стр. нотъ. Ц. 2 р.
- Судебный отчетъ. Шесть убійствъ на морѣ. Дѣло Яна Умба. Спб., 89. Стр. 36.
- Двойное убійство. По дѣлу о крест. М. Королевѣ. Ростовъ-на-Дону, 89. Стр. 47. Ц. 20 к.
- Чтенія въ Историческомъ Обществѣ Нестора-гѣтописца. Кн. II. П. р. Н. П. Димевица и А. И. Соболевскаго. Кіевъ, 88. Стр. 285 и 128. Ц. 2 р. 25 к.



## НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

### I.

Le socialisme d'état et la réforme sociale, par *Claudio Jannet*. Paris, 1889.

Въ объемистой книгѣ Жаннэ „государственный социализмъ“ об-суждается съ точки зрѣнія католической церкви и ея спеціально-религіозной морали. Авторъ, профессоръ политической экономіи въ „католическомъ институтѣ“ въ Парижѣ, утѣшаетъ себя мыслью, что церковное вліяніе растетъ и усиливается въ обществѣ, и что со вре-менемъ всѣ социальныя недоразумѣнія разрѣшатся при содѣйствіи служителей алтаря, подъ высшимъ руководствомъ римскаго папы. Соціальный вопросъ, по мнѣнію автора, имѣетъ свой корень въ сла-бостяхъ человѣческой природы, испорченной „первороднымъ грѣхомъ“; неравенство богатства и положенія вызываетъ въ людяхъ чувство за-висти, которое становится хроническимъ и приводитъ къ постоянному антагонизму между классами. Упадокъ религіи въ народѣ составляетъ, будто бы, главную причину современнаго развитія социализма.

Несостоятельность основной точки зрѣнія не уменьшаетъ однако положительныхъ достоинствъ труда Жанне. Книга состоитъ изъ от-дѣльныхъ этюдовъ, въ которыхъ излагается ходъ социальнаго дви-женія и законодательства въ Германіи, во Франціи и отчасти въ Англии. Авторъ обнаруживаетъ большое знакомство съ нѣмецкою ученою литературою, приводитъ много фактическихъ данныхъ объ иностранныхъ законахъ, проектахъ и требованіяхъ въ пользу рабо-чаго класса, подвергаетъ критику новѣйшія реформаторскія попытки князя Бисмарка и отзывается о нихъ вполне отрицательно. „Великій канцлеръ,—замѣчаетъ онъ,—повидимому переживаетъ теперь психо-логическій моментъ, который такъ хорошо описанъ Тьеромъ относи-тельно Наполеона. Онъ теряетъ чувство мѣры и выполнимости. Со-ціальныя и финансовыя предположенія, овладѣвающія его могучимъ умомъ, превышаютъ условія дѣйствительнаго хода человѣческихъ дѣлъ. Онъ испытываетъ головокруженіе, подобное тому, которое толк-нуло Наполеона въ походъ противъ Россіи“. Выводъ этотъ не со-всѣмъ вытекаетъ изъ разбора скромныхъ мѣропріятій, придуманныхъ княземъ Бисмаркомъ для разрѣшенія социальнаго вопроса: недоста-токъ ихъ вовсе не въ томъ, что они слишкомъ широко ставятъ за-дачу, а напротивъ—въ томъ, что они затрогиваютъ только поверх-

ность рабочаго движенія и предлагаютъ очень мало существеннаго взаимнѣ новыхъ весьма обременительныхъ тягостей и обязательствъ. Къ такому заключенію приводитъ и дѣлаемый авторомъ разборъ проекта страхованія рабочихъ на время старости.

Личные взгляды Жаннэ опредѣляются двумя принципами: вѣрой въ нормальность существующихъ основъ народнаго хозяйства и внесеніемъ нравственнаго, религіознаго начала въ сферу отношеній между трудомъ и капиталомъ. „Мы имѣемъ, — говоритъ онъ, — въ нашемъ католическомъ прошломъ идеаль, который и былъ осуществленъ въ извѣстной мѣрѣ. Это идеаль христіанскаго міра, связаннаго общностью вѣрованій и соблюдающаго десять заповѣдей, какъ законъ отношеній между народами, насколько это совмѣстимо съ условіями жизни человѣчества. Это зданіе было разрушено протестантскою реформою. Но мысль, лежавшая въ его основѣ, не исчезла и внушила нѣсколько попытокъ въ новѣйшее время. Особенно замѣчательнъ былъ планъ христіанской республики Генриха IV. Онъ былъ вновь выдвинутъ въ „священномъ союзѣ“ 1815 года (!). Безъ сомнѣнія, эти попытки не были свободны отъ постороннихъ примѣсей; но онѣ указываютъ, какому пути нужно слѣдовать, и онѣ будутъ съ пользою возобновлены въ тотъ день, когда начнется открытая борьба между революціею и христіанствомъ, и народы признаютъ, что возстановленіе права, какъ основы власти, составляетъ для нихъ жизненную необходимость. Франція, благосостояніе которой наиболѣе нарушено, ближе всѣхъ заинтересована въ томъ, чтобы подать сигналъ къ обновленію“ (стр. 516). Но идеаль этотъ весьма неясенъ самъ по себѣ и построенъ на очевидныхъ иллюзіяхъ. Примѣшивать къ проектамъ христіанской республики „священный союзъ“, давшій Европѣ рядъ несправедливыхъ войнъ и особенно пагубно отзывавшійся на положеніи Франціи, — болѣе чѣмъ странно для французскаго писателя.

Говоря о милитаризмѣ, авторъ свидѣтельствуетъ о безусловномъ миролюбіи французскаго народа. „Во Франціи послѣдній изъ крестьянъ знаетъ, что война никогда не вспыхнетъ по нашей (т.-е. французовъ) винѣ, и что она будетъ необходима только для защиты существованія отечества; потому онъ и подчиняется воинской повинности и тяжелымъ налогамъ, не дѣлаясь врагомъ общественнаго порядка. Точка зрѣнія нѣмецкаго рабочаго — неизбѣжно совсѣмъ другая. Онъ знаетъ, что никакая опасность не грозитъ странѣ, что ея національное единство вполне обезпечено, и что только военная каста — прусское конкерство — желаетъ войны и имѣетъ возможность возбудить ее. Крутая политика желѣзнаго канцлера дѣлаетъ больше для распространенія социалистическихъ идей и страстей, чѣмъ могуще-

ственная скрытая организація партіи и смѣлая проповѣдь ея писателей. Въ этомъ заключается тайна того возрастающаго числа голосовъ, которое пріобрѣтаютъ демократы при каждахъ парламентскихъ выборахъ“. Нельзя согласиться съ этимъ взглядомъ на предполагаемое мнѣніе нѣмецкаго народа о причинахъ непрерывныхъ вооруженій: нѣмцы, вѣроятно, также твердо убѣждены въ необходимости защищать отечество отъ посягательствъ Франціи и Россіи, какъ и французы увѣрены въ воинственныхъ планахъ Германіи.

Этюдъ Жаннэ посвященъ вопросамъ о роли государства по отношенію къ режиму труда, о научномъ социализмѣ и социальной политикѣ въ Германіи, о нѣмецкихъ земледѣльческихъ союзахъ, о реформѣ нѣмецкихъ законовъ о наслѣдствѣ, объ обязательномъ страхованіи, о французскихъ промышленныхъ синдикатахъ, о католическихъ профессиональныхъ ассоціаціяхъ и кооперативныхъ обществахъ потребления, о состояніи земледѣлія во Франціи и объ условіяхъ конкуренціи съ другими странами, о необходимости пересмотра гражданскаго кодекса по отдѣлу семейныхъ правъ, объ естественномъ эконоическомъ порядкѣ и о будущности европейскихъ обществъ. Въ концѣ книги приложены свѣденія о рабочихъ биржахъ, о религиозномъ союзѣ „сестеръ для рабочаго“, о мѣрахъ германскаго правительства для охраны нераздѣльности крестьянскихъ жилищъ и въ пользу малолѣтнихъ сиротъ въ мелкомъ землевладѣніи Эльзаса и Лотарингіи, и наконецъ объ отменѣ обязательнаго раздѣла земельныхъ наслѣдствъ въ Австріи.

## II.

*Le peuple allemand, ses forces et ses ressources, par Charles Grad. Paris, 1888.*

Сочиненіе эльзасскаго депутата въ германскомъ имперскомъ сеймѣ, Шарля Града, имѣетъ цѣлью представить французамъ вѣрную картину современнаго состоянія нѣмецкаго народа и нѣмецкой имперіи. При всемъ своемъ желаніи быть безпристрастнымъ, авторъ изобразилъ Германію въ крайне одностороннемъ и непривлекательномъ свѣтѣ: онъ приводитъ много статистическихъ и литературныхъ свѣденій о разныхъ сторонахъ германскаго быта, но не коснулся самаго существеннаго и богатѣйшаго источника нѣмецкихъ „forces et ressources“ — громаднаго развитія и процвѣтанія наукъ, литературы, журналистики, широкаго народнаго образованія, господства свободной общественной жизни въ видѣ массы „ферейновъ“, образовательныхъ и воспитательныхъ союзовъ. Эти существенные пробѣлы дѣлаютъ книгу Града совершенно непригодною для ознакомленія читателей съ дѣйствительнымъ положеніемъ нынѣшней Германіи.

Авторъ останавливается особенно на статистикѣ нѣмецкаго населенія, на вопросахъ о социальномъ и рабочемъ движеніи, о военныхъ силахъ имперіи и ея финансовыхъ средствахъ. Говоря о численности *нѣмцевъ* въ Европѣ, онъ относитъ къ нимъ почему-то не только голландцевъ и бельгійскихъ фламандцевъ, но и еврейскихъ обитателей русской Польши, вслѣдствіе чего получается внушительная цифра 60-ти милліоновъ нѣмецкаго племени на европейскомъ материкѣ (стр. 67). Языкъ голландскій и фламандскій рассматривается авторомъ какъ нѣмецкій, и на этомъ основаніи, въ виду известной патріотической пѣсни Арндта о томъ, что Германія находится повсюду, гдѣ раздается нѣмецкая рѣчь, Шарль Градъ дѣлаетъ выводъ, что нѣмцы хотятъ завладѣть Голландіею и частью Бельгіи. Въ доказательство онъ ссылается на какія-то географическія карты, гдѣ подъ именемъ нѣмецкихъ странъ обозначены Австрія, Нидерланды и часть Бельгіи.

Все это несерьезно и даже довольно легкомысленно. Какъ эльзасско-французскій патріотъ, авторъ приписываетъ германскимъ государственнымъ людямъ такіе замыслы, которые до сихъ поръ ни въ чемъ не проявлялись и никѣмъ не высказывались. Эта тенденціозность тѣмъ болѣе неприятна со стороны автора, что онъ повидимому знакомъ съ нѣмецкою литературою и имѣлъ возможность слѣдить за настроеніемъ лучшихъ классовъ нѣмецкаго общества. Съ наибольшимъ полнотою и съ относительнымъ безпристрастіемъ разработаны въ книгѣ Града отдѣлы о рабочемъ движеніи и о социальномъ законодательствѣ въ Германіи.

### III.

*Les principes de 1789 et la science sociale, par Th. Fernexil. Paris, 1889.*

Трудъ Фернеля принадлежитъ къ числу самыхъ основательныхъ и поучительныхъ работъ по вопросамъ политики въ новѣйшей французской литературѣ. Авторъ разбираетъ основныя начала демократіи съ точки зрѣнія реальныхъ интересовъ страны, сопоставляетъ ходячіе отвлеченныя принципы съ требованіями народной жизни, критикуетъ господствующія теоріи и вполне разумно объясняетъ условія правильного развитія республики. Все болѣе расширяется во Франціи кругъ писателей, знакомыхъ съ иностранными литературами и свободно пользующихся ими, въ отличіе отъ прежней обособленности и самодовольнаго игнорированія. Къ этому сравнительно новому направленію долженъ быть причисленъ и Фернелъ. Онъ принимаетъ во вниманіе спеціальныя англійскія и нѣмецкія изслѣдованія по занимающимъ его предметамъ, причемъ высказывается съ полною сво-



бодом о принципахъ, возведенныхъ французами на степень непоколебимыхъ догматовъ.

Республиканскій девизъ: „liberté, égalité et fraternité“, рискуеть, по мнѣнію автора, превратиться въ формулу узкаго индивидуальнаго эгоизма, выставляя на первый планъ предполагаемыя права человѣка въ ущербъ его обязанностямъ относительно общества. Слово „братство“ въ сущности не выражаетъ ничего опредѣленнаго; оно должно быть замѣнено болѣе точнымъ терминомъ: „солидарность“. Главное зло современности—чрезмѣрное господство индивидуализма. „Нравственность, основанная исключительно на началѣ личности, отжила свой вѣкъ, такъ же точно какъ и политика, имѣющая въ виду единственно лишь охрану правъ отдѣльныхъ гражданъ. Нынѣшній общественный строй заставитъ людей все болѣе работать не только для себя, но и для другихъ, такъ какъ становится все труднѣе достигать своихъ цѣлей одиночными силами и обезпечивать свое существованіе безъ взаимнаго содѣйствія. Солидарность политическая и общественная должна лежать въ основѣ стремленій современныхъ народовъ“. Авторъ не признаетъ себя безусловнымъ поклонникомъ демократическихъ идей и учреждений; но онъ видитъ ихъ преимущество передъ другими государственными системами, по крайней мѣрѣ для Франціи. Онъ возражаетъ противъ доводовъ англійскихъ теоретиковъ, требующихъ установленія различій въ правахъ избирателей по степени образованія. Личныя достоинства, знанія и таланты и безъ того даютъ возможность вліять на умы и мнѣнія другихъ людей; всякій выдающійся человѣкъ, имѣя формально одинъ голосъ наравнѣ съ послѣднимъ рабочимъ, дѣйствительно располагаетъ нѣсколькими или даже многими голосами лицъ, подчиненныхъ его вліянію, его силѣ убѣжденія, его умственному или общественному авторитету. Богатые люди имѣютъ въ своемъ распоряженіи голоса избирателей, зависящихъ отъ нихъ въ экономическомъ или социальномъ отношеніи,—такъ что естественное неравенство гражданъ сохраняетъ свою силу при системѣ всеобщаго голосованія, вопреки опасеніямъ противниковъ и критиковъ демократіи. Относительно социальнаго вопроса авторъ рекомендуетъ постепенное образованіе и развитіе кооперативныхъ ассоціацій производства, въ которыхъ „отношенія между трудомъ и капиталомъ примутъ свою окончательную форму“.

Фернелъ не раздѣляетъ мнѣній тѣхъ, которые желали бы приписать въ французскому республиканскому устройству нѣкоторыя правила американской конституціи; онъ находитъ, что политическій темпераментъ французовъ, ихъ традиціи и возрѣнія, равно какъ и международное положеніе Франціи, не допускаютъ перенесенія аме-

риканскихъ принциповъ на французскую почву. Онъ подробно доказываетъ великій вредъ партійнаго управленія и парламентской розни; онъ думаетъ, что монархисты не извлекутъ никакой пользы изъ поддерживаемаго ими внутренняго разлада, такъ какъ „существованіе монархіи не импровизируется“ по произволу. „Было бы странно иллюзіею разсчитывать на переходъ наслѣдства къ умѣренной монархіи, въ случаѣ паденія парламентской республики. Если послѣдней суждено пасть подъ ударами партій, то наслѣдство ея перейдетъ къ диктатурѣ и быть можетъ къ самой унижительной и постыдной. Какъ въ 1851 году республика попала въ руки авантюриста, котораго печальное прошлое не могло быть заглажено именемъ Наполеона, такъ и теперь подобная судьба ожидаетъ страну, ибо одинаковыя причины обыкновенно приводятъ къ одинаковымъ послѣдствіямъ“. Но Фернелъ не вѣритъ въ осуществленіе этой возможности и указываетъ своимъ соотечественникамъ на „научные“ способы вывести республику на надлежащій путь.

## IV.

*Jules Simon. Souviens-toi du Deux-Décembre. Paris, 1889.*

Какъ видно изъ самаго заглавія, книга остроумнаго академика и политическаго дѣятеля имѣетъ цѣлью напомнить французамъ, что увлеченіе идеями цезаризма можетъ и должно привести къ гибели общественныхъ и политическихъ вольностей, подобно тому, какъ это произошло въ 1852 году при принцѣ Луи-Наполеонѣ.

Жюль Симонъ замѣчаетъ сходство между обстоятельствами того времени и нынѣшними успѣхами генерала Буланже—даже въ частности. Такъ, Луи-Наполеона поддерживали многіе республиканцы, радикалы и социалисты; о немъ господствовало мнѣніе, что онъ безвреденъ уже въ силу своей бездарности и безцвѣтности, и что съ нимъ легко будетъ справиться въ случаѣ его торжества, что можно будетъ управлять имъ и что онъ не посмѣетъ нарушить законныя права гражданъ и народнаго представительства. Генерала Буланжé также считаютъ ничтожествомъ и на этомъ основаніи смотрятъ равнодушно на его стремленіе къ диктатурѣ. Особенно крупнымъ недостаткомъ этого своеобразнаго претендента кажется автору характеръ лицъ, его окружающихъ: это настоящіе политическіе аферисты, безпардонные и наглые, среди которыхъ ученый химикъ и политикъ, сенаторъ Накé, долженъ чувствовать себя крайне неловко.

Книга Жюля Симона составила изъ газетныхъ статей, которыя отчасти только касаются буланжизма. Статьи эти въ большинствѣ

легковѣсны и даже неостроумны, въ противоположность обычнымъ разсужденіямъ автора. Въ нихъ говорится о мелкихъ „событіяхъ“ дня съ довольно мелкой точки зрѣнія. Авторъ часто повторяется и этимъ еще болѣе вредитъ впечатлѣнію, такъ что французскіе читатели, пробѣжавъ эти отрывочныя и нерѣдко скучныя замѣтки, едва ли вспомнятъ объ угрозѣ 2-го декабря, выставленной въ заглавіи.

## V.

*Essai sur le régime parlementaire, par X. S. Combothecra. Paris, 1889.*

Книжка Комботекры содержитъ въ себѣ добросовѣстно составленный сводъ догматическихъ свѣденій о главныхъ функціяхъ и органахъ представительной или парламентской системы управления. Авторъ разумѣетъ парламентаризмъ въ специальномъ англійскомъ смыслѣ, такъ что въ тему его не входитъ оцѣнка сѣверо-американской и швейцарской конституцій. По мнѣнію Комботекры, мѣстное самоуправленіе составляетъ необходимое условіе правильнаго дѣйствія народнаго представительства. „Парламентскій режимъ есть прежде всего школа политическаго воспитанія народа. Его главное назначеніе — привлечь различные общественные классы къ служенію общимъ интересамъ страны. Этотъ режимъ легко примиряетъ тенденціи демократическія, аристократическія и монархическія, заставляя ихъ дѣйствовать вмѣстѣ и дополнять себя взаимно“. Если парламентскій порядокъ не вездѣ и не всегда дѣйствуетъ правильно, то это — какъ справедливо заключаетъ авторъ — зависитъ больше отъ слабостей человѣческой природы, чѣмъ отъ недостатковъ самого режима.

## VI.

*Études sur l'histoire du droit, par Sir Henry Sumner Maine. Paris, 1889.*

Три тома изслѣдованій Мэна появились уже во французскомъ переводѣ; теперь вышелъ четвертый, заключающій въ себѣ извѣстный трудъ о сельскихъ общинахъ на западѣ и на востокѣ, вмѣстѣ съ этюдами объ Индіи, о значеніи ея для Англій и для идей современной Европы, о патриархальной семьѣ, о римскомъ правѣ и о юридическомъ образованіи, о теоріи доказательствъ. Сэръ Генри Мэнь, занимавшій значительный постъ въ администраціи Остъ-Индіи и затѣмъ бывший профессоромъ въ Англій, представляетъ собою чрезвычайно симпатичный типъ скромнаго и осторожнаго изслѣдователя; богатство идей соединялось у него съ старательною разработкою фактовъ, и самыя заман-

чивыя обобщенія устранились имъ, когда для нихъ не оказывалось достаточно данныхъ. Оттого, какъ справедливо замѣчаетъ французскій переводчикъ въ весьма дѣльной вступительной статьѣ, многочисленныя работы Мэна производятъ впечатлѣнныя какъ бы одной цѣльной книги: онѣ дополняютъ одна другую, но не исправляютъ и не измѣняютъ даже въ частностяхъ, такъ какъ автору не приходилось дѣлать послѣдныя выводы, отъ которыхъ нужно было бы впоследствии отрекаться. Труды Мэна по сравнительному изученію древняго права приобрѣли популяриность и авторитетъ и у насъ въ Россіи, особенно благодаря усиліямъ двухъ талантливыхъ профессоровъ—гг. Максима Ковалевскаго и Муромцева.

Изслѣдованія Мэна о сельской общинѣ были наиболѣе плодотворны; они дали сильный толчокъ научнымъ работамъ о крестьянскомъ землевладѣніи въ Европѣ, возбудили серьезное вниманіе къ существующимъ остаткамъ общинныхъ порядковъ и обычаевъ и значительно способствовали правильному освѣщенію и пониманію ихъ. Заслугу Мэна въ этомъ отношеніи раздѣляетъ Эмиль де-Лавелѣ, который нѣсколько позже занялся тѣмъ же предметомъ и въ 1874 году выпустилъ свою книгу о первобытныхъ формахъ собственности. Работы Мэна имѣли не только теоретическое, но и большое практическое значеніе: онѣ кореннымъ образомъ измѣнили взгляды европейскихъ администраторовъ въ Остѣ-Индіи и въ другихъ странахъ относительно сельскаго землевладѣнія и крестьянской общины. Что касается изученія общины, то оно вошло въ кругъ преподаванія и сдѣлалось даже предметомъ практическихъ студенческихъ экскурсій въ нѣкоторыхъ америванскихъ университетахъ, подъ вліяніемъ книги Мэна, какъ видно изъ свѣденій, приведенныхъ въ вступительной статьѣ къ французскому переводу.

## VII.

Volk und Nation. Eine Studie von *Fr. I. Neumann*. Lpz., 1888.

Въ небольшомъ и весьма интересномъ изслѣдованіи Нейманна подробно рассмотрѣны тѣ измѣнчивыя понятія, которыя въ разное время соединялись съ словами: народъ, нація, національность. Авторъ дѣлаетъ попытку анализировать общепринятый смыслъ этихъ терминовъ въ современной культурной Европѣ и установить съ возможною точностью содержаніе ихъ, для болѣе правильнаго и однообразнаго употребленія въ литературѣ. Слово: „народъ“, какъ видно изъ объясненій Нейманна, употребляется въ четырехъ различныхъ смыслахъ: оно означаетъ совокупность лицъ, принадлежащихъ къ извѣстному государству въ смыслѣ политическаго цѣлаго; во-вторыхъ, оно

означаетъ также часть этого цѣлаго, имѣющую свои особенности по мѣстному, социальному или политическому положенію; въ-третьихъ, — отдѣльную группу населенія, въ смыслѣ племени или народности, и наконецъ, въ-четвертыхъ, — націю въ культурно-политическомъ смыслѣ. Авторъ опредѣляетъ націю какъ „населеніе, которое вслѣдствіе высокаго и своеобразнаго развитія культуры достигло своеобразнаго общественнаго быта, передаваемого отъ поколѣнія къ поколѣнію въ предѣлахъ значительной территоріи“. Націею въ болѣе широкомъ значеніи называется совокупность подданныхъ или гражданъ государства, которое „признается способнымъ выработать націю въ собственномъ смыслѣ“, или заключаетъ въ себѣ необходимый для этого элементъ, въ видѣ значительнѣйшей составной части своего населенія. Понятіе національности включаетъ въ себѣ различныя представленія; оно означаетъ существенныя черты народности или племени, совокупность особенностей даннаго политическаго союза или населенія, совокупность лицъ извѣстнаго племени и наконецъ совокупность гражданъ государства. Книжка Неймана поучительна еще въ томъ отношеніи, что въ ней приводятся любопытные примѣры перемѣнчивости и разнообразія смысла словъ въ разное время и у разныхъ народовъ.—Л. С.



## ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1-го апрѣля 1889.

Официальная статистика нашихъ университетовъ.—Переимѣнъ въ дерптскомъ университетѣ.—Отношеніе нѣкоторыхъ органовъ печати къ остзейскимъ дѣламъ.—Возобновленіе приѣма на высшіе женскіе курсы.—Начало городскихъ выборовъ по III разряду въ Петербургѣ и Москвѣ, на основаніи новаго закона.

Намъ не разъ случалось выражать сожалѣніе о томъ, что у насъ такъ мало сдѣлано и дѣлается по статистикѣ народнаго образованія. Недавній трудъ центрального статистическаго комитета, посвященный университетамъ и среднимъ учебнымъ заведеніямъ, также не можетъ быть названъ большимъ шагомъ впередъ къ пополненію этого пробѣла. Въ довольно обширномъ томѣ, составляющемъ третій выпускъ изданія: „Статистика россійской имперіи“, напечатана масса цифровыхъ таблицъ, данныя для которыхъ добыты переписью 20-го марта 1880 г.; а въ № 1 „Временника центрального статистическаго комитета“ мы находимъ подробную разработку этихъ данныхъ,

сдѣланную г. Дубровскимъ. Первое обстоятельство, уменьшающее цѣнность обоихъ изданій, заключается въ ихъ запоздалости; свѣденія, относящіяся къ началу 1880 г., появились въ свѣтъ только восемь лѣтъ спустя,—въ 1888 г. Въ предисловіи къ третьему выпуску „Статистики російской имперіи“ медленность работы объясняется, между прочимъ, тѣмъ, что прежде перехода къ высшему и среднему образованію нужно было покончить съ низшимъ. Матеріалъ, касающійся сельскихъ училищъ, обнародованъ въ декабрѣ 1884 г.; съ тѣхъ поръ до выхода въ свѣтъ разбираемыхъ нами изданій прошло болѣе трехъ лѣтъ — промежутокъ времени черезъ-чуръ значительный и едва ли соразмѣрный съ трудностью дѣла. Мы не видимъ, притомъ, основаній, по которымъ обѣ части работы не могли бы идти параллельно и быть приведены къ концу въ одно и то же время. Говорится еще о позднемъ возвращеніи нѣкоторыхъ изъ числа вопросныхъ листовъ, разосланныхъ въ учебныя заведенія; но при большей настойчивости эта причина медленности едва ли оказалась бы неустранимой. Значенію опубликованныхъ свѣденій вредить, далѣе, ихъ изолированность; они не связаны ни съ болѣе раннимъ временемъ, ни съ послѣдующимъ, между тѣмъ какъ многія изъ нихъ могутъ быть надлежащимъ образомъ освѣщены только путемъ сравненія. Еслибы разсылка вопросныхъ пунктовъ была повторена нѣсколько лѣтъ сряду, хотя бы и по меньшему числу предметовъ, то въ результатѣ получилась бы картина движенія гораздо болѣе знаменательная, чѣмъ фотографическій снимокъ съ одного случайно выбраннаго момента... Недостааетъ, наконецъ, въ большинствѣ случаевъ, *комментарія* къ группированнымъ цифрамъ, столь важнаго для ихъ правильной оцѣнки. Къ этимъ общимъ замѣчаніямъ можно было бы прибавить немало частныхъ. Не перечисляя ихъ всѣхъ, укажемъ, для примѣра, на неудобства, проистекающія изъ отдѣленія общихъ учебныхъ заведеній отъ специальныхъ (свѣденія о послѣднихъ войдутъ въ составъ особаго сборника). Между заведеніями, причисленными составителямъ сборника къ разряду специальныхъ, много такихъ, настоящее мѣсто которыхъ было бы именно на ряду съ общими. Таковы, на примѣръ, ярославскій демидовскій лицей, составляющій, въ сущности, не что иное какъ университетъ, сокращенный до размѣровъ одного (юридическаго) факультета. Таковы историко-филологическіе институты—петербургскій и нѣжинскій,—ничѣмъ существенно не отличающіеся отъ историко-филологическихъ университетскихъ факультетовъ. Такова петербургская военно-медицинская академія, исполнѣ соответствующая медицинскимъ факультетамъ. Сюда же можно отнести, хотя и съ нѣкоторыми оговорками, училище правовѣденія и александровскій лицей—эти болѣе или менѣе отдаленныя подобія юридическаго фа-

культета. Не принимая въ расчетъ всёхъ названныхъ нами заведеній, нельзя дать правильнаго отвѣта на вопросъ, какъ распредѣляются у насъ слушатели между главными отдѣлами университетскаго преподаванія, какую долю учащейся молодежи привлекаютъ, въ данную минуту, науки юридическія, медицинскія, историко-филологическія. А это, между тѣмъ, одинъ изъ самыхъ важныхъ вопросовъ, съ которыми можно обратиться къ статистикѣ высшаго образованія. Не совсѣмъ цѣлесообразнымъ кажется намъ также устраненіе изъ сборника духовныхъ семинарій. Это—гораздо больше общія учебныя заведенія, чѣмъ спеціальныя; для множества юношей онѣ замѣняютъ собою именно гимназіи. Если составитель сборника включилъ въ его составъ военныя гимназіи, то съ такимъ же правомъ могли бы найти въ немъ мѣсто и духовныя семинаріи.

Разсматривая данныя, относящіяся къ положенію высшаго образованія въ началѣ 1880 года, мы сравнивали ихъ, когда могли, съ доступными намъ позднѣйшими свѣдѣніями. Поражаетъ, при этомъ сравненіи, замѣчательно быстрый ростъ числа учащихся въ университетахъ, составляющей отличительную черту первой половины восьмидесятыхъ годовъ; во второй половинѣ текущаго десятилѣтія онъ былъ, какъ извѣстно, остановленъ различными мѣрами, и за приливомъ послѣдовалъ отливъ, продолжающійся, повидимому, и въ настоящее время. Мы знаемъ изъ отчета министерства народнаго просвѣщенія за 1884 г., что въ этомъ году учащихся въ восьми университетахъ (петербургскомъ, московскомъ, харьковскомъ, казанскомъ, новороссійскомъ, кіевскомъ, дерптскомъ и варшавскомъ) было 12.105. Въ 1880 г., т.-е. всего четырьмя годами раньше, ихъ было только 8.193. Въ короткій періодъ времени, такимъ образомъ, число студентовъ увеличилось почти на 50%. Распредѣленіе студентовъ между факультетами было, въ 1880 г., во многихъ отношеніяхъ иное, чѣмъ въ 1884 г. Юристы составляли тогда только 22% всёхъ учащихся, между тѣмъ какъ въ 1884 г. ихъ было уже 30%. Довольно сильно понизилось относительное число медиковъ; въ 1880 г. ихъ было 45%, въ 1884 г. — только 37%; зато повысилось число слушателей физико-математическаго факультета (въ 1880 г.—почти 20%, въ 1884 г. — около 21<sup>1</sup>/<sub>3</sub>%). Положеніе историко-филологическаго факультета почти не измѣнилось; какъ въ 1880, такъ и въ 1884 г. онъ заключалъ въ себѣ около 11% общаго числа студентовъ. Пониженіе—суда по петербургскому университету, весьма сильное<sup>1)</sup>—началось здѣсь только подъ вліяніемъ правилъ 1885 г.

Очень интересны цифры распредѣленія учащихся по курсамъ.

<sup>1)</sup> См. Общ. Хронику въ № 11 „Вѣстн. Европы“ за 1888 г.

Въ петербургскомъ университетѣ, въ 1880 г., на первый курсъ приходилось 41<sup>0</sup>/<sub>0</sub> общаго числа студентовъ, на второй—27<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, на третій—17<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, на четвертый—15<sup>0</sup>/<sub>0</sub>; въ московскомъ университетѣ соотвѣтствующія цифры были 32, 20<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 20 и 20<sup>1</sup>/<sub>2</sub> (7<sup>0</sup>/<sub>0</sub> остается на долю пятаго курса, котораго въ петербургскомъ университетѣ, за отсутствіемъ медицинскаго факультета, нѣтъ вовсе). Есть и такіе университеты, гдѣ на второмъ курсѣ студентовъ было болѣе чѣмъ на первомъ (харьковскій, новороссійскій, казанскій). Быстрота паденія числа студентовъ, по мѣрѣ приближенія къ концу ученія, въ варшавскомъ университетѣ еще поразительнѣе, чѣмъ въ петербургскомъ (46, 26<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub>); по устойчивости числа студентовъ къ московскому университету приближается новороссійскій (25, 29<sup>3</sup>/<sub>4</sub>, 23<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 21<sup>3</sup>/<sub>4</sub><sup>0</sup>/<sub>0</sub>). Объясненія этихъ противоположныхъ явленій напрасно было бы искать въ текстѣ сборника; кое-что, въ видѣ догадки, можно вывести только изъ цифръ, относящихся къ распредѣленію студентовъ по курсамъ и *факультетамъ*. Такъ напримѣръ, въ петербургскомъ университетѣ особенно быстро падаютъ, по мѣрѣ прохожденія курса, цифры студентовъ физико-математическаго факультета (по отдѣленію математическихъ наукъ — съ 46<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup>/<sub>0</sub> въ первомъ курсѣ до 22<sup>0</sup>/<sub>0</sub> во второмъ, по отдѣленію естественныхъ наукъ—съ 52<sup>0</sup>/<sub>0</sub> до 27<sup>1</sup>/<sub>2</sub>). По отдѣленію естественныхъ наукъ скачки внизъ продолжаются и въ слѣдующихъ курсахъ (съ 11<sup>0</sup>/<sub>0</sub> на третьемъ курсѣ—до 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> на четвертомъ). Не зависитъ ли это отъ того, что именно въ Петербургѣ особенно многіе изъ числа студентовъ-математиковъ и естественниковъ переходятъ, по простествіи одного года или двухъ лѣтъ, въ другія учебныя заведенія—военно-медицинскую академію, институтъ путей сообщенія, технологическій институтъ и т. п.? Весьма сильныя колебанія представляетъ, далѣе, юридическій факультетъ, какъ въ петербургскомъ университетѣ (36<sup>0</sup>/<sub>0</sub> на первомъ курсѣ, 27<sup>1</sup>/<sub>4</sub> на второмъ, 20<sup>1</sup>/<sub>2</sub> на третьемъ, 16<sup>1</sup>/<sub>4</sub> на четвертомъ), такъ и почти во всѣхъ другихъ. Не обусловливается ли это, между прочимъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что на юридическій факультетъ поступаетъ, сравнительно, всего больше молодыхъ людей, не имѣющихъ опредѣленнаго призванія и выбирающихъ юриспруденцію только какъ предметъ менѣе спеціальный и болѣе легкій? Для такихъ студентовъ въ особенности вѣроятна остановка въ самомъ началѣ пути; многіе изъ нихъ либо вовсе оставляютъ университетъ, либо переходятъ съ одного факультета на другой, казущійся имъ болѣе привлекательнымъ. Число студентовъ историко-филологическаго факультета въ петербургскомъ университетѣ оказывается наиболѣе устойчивымъ, но въ другихъ университетахъ и оно представляетъ рѣзкія колебанія, объяснимыя только путемъ подробнаго изученія мѣстныхъ условій.



Цифры распределенія студентовъ по сословіямъ не подтверждаютъ распространеннаго мнѣнія о демократизаціи университетовъ. Дѣти потомственныхъ дворянъ, личныхъ дворянъ, чиновниковъ и духовныхъ лицъ составляли, вмѣстѣ взятыя, почти три четверти (болѣе 70%) общаго числа студентовъ; на каждую изъ трехъ категорій (считая личныхъ дворянъ и чиновниковъ за одну) приходилось почти равное число студентовъ. Болѣе 9%, затѣмъ, причиталось на долю потомственныхъ гражданъ и купцовъ; мѣщанъ и крестьянъ было только 15<sup>1</sup>/<sub>2</sub>%. Въ отдѣльныхъ университетахъ отношенія между сословіями были весьма различны. Всего выше число студентовъ трехъ первыхъ категорій поднималось въ университетахъ харьковскомъ (почти 78%), петербургскомъ (около 77<sup>1</sup>/<sub>2</sub>%) и новороссійскомъ (74%); всего ниже падало въ университетахъ казанскомъ (около 64%) и дерптскомъ (около 52<sup>3</sup>/<sub>4</sub>%). Особенно любопытной кажется намъ послѣдняя цифра, мало гармонирующая съ обычными представленіями о дерптскомъ университетѣ. Его считаютъ обыкновенно самымъ аристократичнымъ — а онъ оказывается чуть ли не самымъ демократичнымъ. Потомственныхъ дворянъ въ немъ, сравнительно, меньше, чѣмъ въ трехъ другихъ университетахъ (варшавскомъ, петербургскомъ и кievскомъ), зато больше крестьянъ, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Въ семи университетахъ процентное отношеніе крестьянъ къ общему числу студентовъ колеблется между 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>% (Харьковъ) и 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>% (Казань); въ дерптскомъ университетѣ оно доходитъ до 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub>%! Весьма много въ немъ и мѣщанъ—12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>%; больше, чѣмъ въ Дерптѣ, ихъ только въ Кіевѣ (17<sup>1</sup>/<sub>8</sub>%) и въ Варшавѣ (22%). Можно было бы думать, что въ Дерптѣ очень много студентовъ изъ духовнаго званія, т.-е. сыновей пасторовъ; оказывается, однако, что ихъ только 11%, между тѣмъ какъ въ трехъ русскихъ университетахъ сыновья священно-и церковнослужителей составляютъ больше <sup>1</sup>/<sub>3</sub> общаго числа студентовъ (38<sup>3</sup>/<sub>4</sub>% въ Харьковѣ, больше 42% въ Казани, почти 52% въ Одессѣ). Намъ могутъ замѣтить, что мы напрасно причисляемъ студентовъ изъ духовнаго званія къ высшимъ сословіямъ, такъ какъ между ними есть сыновья причетниковъ или пономарей; но ошибка, зависящая отъ недостаточно дробной группировки статистическихъ данныхъ (дѣти священнослужителей не отдѣлены отъ дѣтей церковнослужителей), едва ли велика, потому что священники и дьяконы гораздо чаще доводятъ своихъ сыновей до университета, чѣмъ нижніе чины церковной іерархіи. Она уравнивается, притомъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что между дѣтьми почетныхъ гражданъ и купцовъ, а также и между дѣтьми иностранцевъ (отнесенныхъ къ категоріи „другихъ сословій“), многіе вышли изъ среды, общій уровень которой не уступаетъ средѣ чиновничьей и дворянской. По вѣроисповѣданію

студенты въ 1880 г. группировались такъ: православныхъ было около  $64\frac{1}{2}\%$ , католиковъ — около  $13\frac{3}{4}\%$ , протестантовъ — около  $14\frac{1}{4}\%$ ; остальные  $7\frac{1}{2}\%$  распределялись между евреями ( $6\frac{3}{4}\%$ ), армяно-григоріанами и магометанами. Высокій процентъ протестантовъ и католиковъ объясняется преобладаніемъ первыхъ — въ дерптскомъ ( $82\frac{3}{4}\%$ ), послѣднихъ—въ варшавскомъ университетѣ ( $72\%$ ). Если взять только шесть остальныхъ университетовъ, то православныхъ окажется здѣсь почти 81%. Стипендіями пользовалась почти одна пятая часть студентовъ ( $18\frac{1}{2}\%$ ); другая пятая слушала лекціи бесплатно или за уменьшенную плату; остальные три пятыхъ вносили полную плату за слушаніе лекцій. Всего больше студентовъ послѣдней категоріи было въ университетѣ дерптскомъ (свыше 80%), варшавскомъ (свыше 75%) и петербургскомъ ( $70\frac{1}{2}\%$ ), всего меньше—въ университетахъ харьковскомъ ( $35\frac{1}{2}\%$ ) и новороссійскомъ ( $29\frac{1}{4}\%$ ). Въ послѣднемъ университетѣ всего больше было степендіатовъ (41%), а всего меньше числилось ихъ въ дерптскомъ университетѣ ( $5\frac{1}{2}\%$ ). Всего больше лицъ, пользующихся тѣми или другими льготами, было на историко-филологическомъ факультетѣ, всего меньше—на юридическомъ.

Отъ учащихся въ университетахъ сборникъ переходитъ къ учащимъ и распределяетъ ихъ по семейному положенію (холостые, женатые и вдовцы), по возрасту, по сословію, изъ котораго они происходятъ, по вѣроисповѣданію, по служебному званію и по учебнымъ заведеніямъ, въ которыхъ они получили образованіе. Отмѣтимъ нѣкоторыя цифры, представляющія общій интересъ. Всѣхъ учащихся въ восьми университетахъ было, въ 1880 г., пятьсотъ сорокъ пять <sup>1)</sup>, въ томъ числѣ 317 профессоровъ (250 ординарныхъ и 67 экстраординарныхъ) и 228 доцентовъ, лекторовъ, преподавателей. Цѣлая треть учащихся, по происхожденію — потомственные дворяне; болѣе одной десятой—иностраннаго происхожденія (на высоту этой послѣдней цифры вліяетъ, конечно, дерптскій университетъ, въ которомъ иностранцы составляютъ почти половину всѣхъ учащихся). Въ каждомъ университетѣ — за исключеніемъ новороссійскаго, о которомъ свѣдѣній этой категоріи нѣтъ, и варшавскаго, вѣроятно вслѣдствіе недавняго его основанія — большинство учащихся принадлежитъ къ

<sup>1)</sup> Въ двадцати-одномъ германскомъ университетѣ было, въ 1884 г., 1.809 учащихся, т.-е. въ среднемъ выводѣ по 86 учащихся на университетъ; у насъ ихъ приходится по 64, но это отношеніе должно намѣняться въ нашу пользу, если принять въ расчетъ, что въ Германіи богословскіе факультеты существуютъ во всѣхъ университетахъ (въ иныхъ—даже по два), а у насъ только въ одномъ дерптскомъ, и что мѣсто медицинскаго факультета въ Петербургѣ занимаетъ военно-медицинская академія.

числу учившихся въ томъ же университетѣ. Особенною вѣрностью своей alma mater отличаются бывшіе московскіе студенты; они составляютъ болѣе  $86\frac{1}{2}\%$  всѣхъ учащихся въ московскомъ университетѣ. Это не мѣшаетъ имъ, однако, быть сравнительно многочисленными и между учащими другихъ университетовъ. Всего дороже, относительно, обходятся государству тѣ университеты, въ которыхъ меньше студентовъ. На каждаго изъ 657 студентовъ харьковскаго университета тратилось, напримѣръ (въ 1880 г.), по 619 рублей, на каждаго изъ 346 студентовъ новороссійскаго университета — по 697 рублей, между тѣмъ какъ въ кievскомъ университетѣ, при 1.016 студентахъ, расходъ не превышалъ 378 рублей на каждаго, въ петербургскомъ, при 1677 студентахъ—267 рублей. Этого не слѣдуетъ упускать изъ виду, когда обсуждается вопросъ о перенесеніи университетовъ изъ большихъ городовъ въ менѣе населенные или о взаимномъ изолированіи факультетовъ.

Отлагая до другой хроники разборъ данныхъ, относящихся къ средней школѣ, пожелаемъ, чтобы статистическія данныя объ учащихся собирались непрерывно, сообщались во всеобщее свѣдѣніе по возможности скорѣе и разрабатывались лицами, близко стоящими къ дѣлу образованія. Пора сдѣлать для нашихъ университетовъ нѣчто въ родѣ того, что исполнено въ Германіи профессоромъ Конрадомъ, книга котораго: „Das Universitätsstudium in Deutschland während der letzten 50 Jahre“ (Jena, 1884) была разобрана у насъ подробно въ № 11 „Вѣстника Европы“ за 1885 г.

Кстати объ университетахъ. Въ истекшемъ мѣсяцѣ обнародовано довольно важное правительственное распоряженіе, касающееся дерптскаго университета. На юридическомъ факультетѣ этого университета одна изъ кафедръ мѣстнаго (остзейскаго) гражданского права замѣнена кафедрой русскаго гражданского права и судопроизводства; кафедра русскаго права обращена въ кафедру исторіи русскаго права; кафедра политической экономіи переведена съ историко-филологическаго факультета на юридическій; учреждена вновь кафедра полицейскаго права и введено чтеніе (доцентами) лекцій по энциклопедіи и философіи права, по церковному, финансовому и торговому праву. Лицамъ русскаго происхожденія или обязавшимся читать лекціи на русскомъ языкѣ предоставляется высшій окладъ вознагражденія или жалованья, сравнительно съ получаемымъ вообще учащими въ дерптскомъ университетѣ. Мотивомъ этихъ перемѣнъ всеподданнѣйшій докладъ министра народнаго просвѣщенія выставляетъ предстоящее примѣненіе къ остзейскимъ губерніямъ судебныхъ уставовъ импера-

тора Александра II и введеніе дѣлопроизводства на русскомъ языкѣ. „Въ этихъ видахъ,—сказано въ докладѣ,—я полагаю бы вполне справедливымъ и желательнымъ организовать на первое время преподаваніе хотя нѣкоторыхъ предметовъ (каковы, напримѣръ, исторія русскаго права, русское государственное право, русское гражданское право, русское уголовное право, и процессъ и полицейское право) на русскомъ языкѣ, сблизивъ постановку преподаванія на юридическомъ факультетѣ дерптскаго университета съ существующею въ другихъ университетахъ, на основаніи устава 1884 г.“. Если сопоставить это мѣсто доклада съ основаннымъ на немъ правительственнымъ распоряженіемъ, то остается не совсѣмъ яснымъ, обязательно ли *теперь же* чтеніе на русскомъ языкѣ предметовъ, перечисленныхъ въ докладѣ, или же единственной побудительной къ нему мѣрой является, пока, назначеніе добавочнаго содержанія. Вѣроятно же второе изъ этихъ двухъ предположеній, потому что о *немедленномъ* переходѣ отъ нѣмецкаго языка къ русскому въ Высочайшемъ повелѣніи 4-го февраля не сказано ни слова. Толкованіе, болѣе соответствующее тексту распоряженія, кажется намъ и болѣе справедливымъ. Оно не влечетъ за собою ломки существующаго порядка, не требуетъ безотлагательной отставки профессоровъ, недостаточно знакомыхъ съ русскимъ языкомъ. Намъ думается, что цѣль реформы была бы вполне достигнута, еслибы черезъ нѣсколько лѣтъ въ дерптскомъ университетѣ установилось преподаваніе на русскомъ языкѣ предметовъ, непосредственно относящихся къ судебной дѣятельности (русское гражданское, торговое, уголовное право). Всѣ остальные предметы могли бы быть и впредь преподаваемы, безъ всякаго неудобства, на нѣмецкомъ языкѣ, точно такъ же какъ и всѣ или почти всѣ учебные предметы другихъ факультетовъ <sup>1)</sup>. Въ 1880 г. на юридическомъ факультетѣ дерптскаго университета было 163 протестанта, 21 католикъ и только 11 православныхъ; на физико-математическомъ — 68 протестантовъ, 4 католика и 9 православныхъ; на историко-филологическомъ—143 протестанта, 8 католиковъ и 10 православныхъ; на медицинскомъ—388 протестантовъ, 43 католика и 34 православныхъ. Вѣроисповѣданіе служить здѣсь вѣрнымъ признакомъ происхожденія и подтверждаетъ какъ нельзя яснѣе, что въ общей замѣнѣ нѣмецкаго языка русскимъ не предстоитъ никакой надобности. Трудно предположить, чтобы она могла привлечь въ Дерптъ большее число чисто-русскихъ; правдоподобнѣе, въ нашихъ глазахъ, противоположный результатъ. Во всемъ подведенный подъ общую мѣрку, дерптскій университетъ перестанетъ

<sup>1)</sup> Исключеніе дѣлается уже теперь для русской литературы и, кажется, русской исторіи.

отличаться отъ остальныхъ и сдѣлается обыкновеннымъ провинціальнымъ университетомъ, слишкомъ, вдобавокъ, близкимъ отъ одной изъ столицъ. Жители ближайшихъ русскихъ губерній — петербургской, псковской, витебской — все-таки будутъ стремиться не въ Дерптъ, а въ Петербургъ, и Россія потеряетъ, безъ всякой надобности, оригинальный уголокъ, сослужившій ей немалую службу. Нѣсколько разъ, въ самыя мрачныя эпохи нашей университетской жизни, дерптскій университетъ становился пристанищемъ для значительной части русской молодежи и поддерживалъ въ русскомъ обществѣ представленіе объ истинной „академической свободѣ“. Съ этой точки зрѣнія распоряженіе 4 февраля, затрогивающее, и то лишь отчасти, одинъ юридическій факультетъ, кажется намъ признакомъ, не совсѣмъ неблагоприятнымъ для будущности дерптскаго университета. Оно полагаетъ конецъ толкамъ о переводѣ университета въ другой городъ и спорамъ о томъ, кому достанется наслѣдство; оно позволяетъ надѣяться, что Дерптъ не будетъ избранъ матеріаломъ для новыхъ опытовъ искусственной руссификаціи и что не оправдается слухъ о переводѣ въ другое мѣсто лютеранскаго богословскаго факультета. Преимущества соединенія всѣхъ факультетовъ въ одно цѣлое слишкомъ велики, чтобы жертвовать ими изъ-за какихъ-то неопредѣленныхъ опасеній. Высшая богословская школа, гдѣ бы она ни помѣщалась и какъ бы ни называлась, всегда будетъ готовить усердныхъ, убѣжденныхъ проповѣдниковъ своего ученія. Ничего другого отъ нея нельзя ни ожидать, ни требовать; богословіе и вѣроисповѣдныи индифферентизмъ — понятія, взаимно исключаютія другъ друга. Существуетъ мнѣніе, что богословскій факультетъ сообщаетъ дерптскому университету „его германизирующій или, вѣрнѣе, узко-остзейскій характеръ“. Намъ это мнѣніе кажется болѣе чѣмъ страннымъ. Учащихся на богословскомъ факультетѣ было въ Дерптѣ, въ 1880 г., 132 (изъ 1080), учащихся — семь (изъ 68); какимъ же образомъ эти двѣ небольшія группы могли имѣть преобладающее вліяніе на большинство? Свойство предметовъ, преподаваемыхъ на богословскомъ факультетѣ, способствовать этому не могло; они не принадлежатъ къ числу тѣхъ, которыми — какъ напримѣръ философіей, исторіей — могутъ интересоваться и увлекаться студенты всѣхъ факультетовъ. Въ Германіи богословскому факультету удавалось, до извѣстной степени, налагать свою печать на цѣлый университетъ только въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда между богословами появлялись выдающіеся люди, а въ богословской наукѣ — выдающіяся движенія (такъ было, напримѣръ, въ Гейдельбергѣ при Паулусѣ, въ Галле — при Ульманнѣ и Толукѣ, въ Тюбингенѣ — при Баурѣ). Ничего подобнаго въ Дерптѣ не было и нѣтъ; если протестантскій характеръ и не чуждъ дерпт-

скому университету, то это объясняется исключительно тѣмъ, что протестантизмъ—религія мѣстной интеллигенціи и четырехъ пятыхъ мѣстнаго студенчества. Эти условія не измѣнились бы и въ случаѣ выдѣленія богословскаго факультета изъ состава дерптскаго университета. „Оздоровленіе школы“, о которомъ много кричатъ газеты реакціоннаго лагеря, достигается не устраненіемъ изъ нея того или другого вѣроисповѣднаго элемента, а равноправностью, при которой нѣтъ повода подчеркивать и обострять различіе вѣроисповѣданій.

Вопросъ о дерптскомъ университетѣ—только одинъ изъ тѣхъ, по которымъ наша реакціонная пресса является *plus royaliste que le roi*. Тяжелое впечатлѣніе производятъ уже сами по себѣ вѣсти, доходящія до насъ, въ послѣднее время, изъ Риги и вообще изъ остзейскаго края—но еще печальнѣе отношеніе къ нимъ печати извѣстнаго пошиба. Намъ ненавистна кулачная расправа, гдѣ бы и въ чемъ бы она ни проявлялась; намъ противно, поэтому, нападеніе, которому подвергся недавно редакторъ рижской „Düna-Zeitung“, противно сочувствіе, съ которымъ отнеслась къ этому нападенію часть мѣстнаго общества. Но чтó сказать о предложеніяхъ, съ которыми выступаютъ, по этому поводу, нѣкоторыя русскія газеты? „Говорятъ,—читаемъ мы въ одной изъ нихъ,—что политическая подделка въ проступкѣ г. Досса, совершившаго дикое нападеніе на редактора „Düna-Zeitung“, будетъ якобы совершенно игнорироваться судомъ и что этого господина будутъ судить не болѣе какъ только за оскорбленіе частнаго лица. Вѣрить этому мы отказываемся, потому что истинный смыслъ этого нападенія понятенъ всѣмъ и каждому не только въ прибалтійскомъ краѣ, но и внѣ его“... „Оппозиція прибалтійскихъ бароновъ и рижскихъ мѣщанъ,—говоритъ та же газета нѣсколько дней спустя,—получила острый характеръ... Не слишкомъ ли далеко идетъ наша покладливость? Не достигаетъ ли она цѣлей, прямо обратныхъ тому, чего требуетъ благоразуміе? Въ подобныхъ обстоятельствахъ твердыя и даже суровыя мѣры предупреждаютъ пущее зло, а потому не только въ общегосударственныхъ, но и въ мѣстныхъ интересахъ онѣ предпочтительнѣе. Чрезмѣрная мягкость русскихъ властей истолковывается какъ слабость и принимается за уступчивость, а мысль о нашей уступчивости даетъ надежду, что мы уступимъ тѣмъ больше, чѣмъ меньше уступятъ они. Эту задорную агитацію легко остановить однимъ движеніемъ дѣйствительно властной руки: пусть только убѣдятся сопротивляющіеся, что съ ними не шутятъ и что съ русской властью шутки плохія—мы убѣждены, что шутки тотчасъ прекратятся и все пойдетъ своимъ чередомъ, безъ малѣйшихъ осложненій“.

Что это такое, какъ не призывъ къ чрезвычайной репрессіи, не стѣсняющейся ни закономъ, ни процессуальными правилами? Все имѣющее характеръ преступленія или проступка и теперь, конечно, не оставляется безъ преслѣдованія со стороны мѣстныхъ властей; требовать отъ нихъ чего-то большаго, доказывать необходимость особыхъ мѣръ, твердыхъ и даже *суровыхъ*, значить прямо взывать къ нарушенію закона. Только этимъ путемъ можно сообщить политическую окраску дѣлу объ оскорбленіи частнаго лица; только этимъ путемъ можно навести на общество тотъ „спасительный страхъ“, за который распинается газета. Теорія немедленнаго, безпощаднаго, ни передъ чѣмъ не останавливающагося „обузданія“, іезуитски мотивируемая интересомъ самихъ обуздываемыхъ, не въ первый разъ находитъ защитниковъ въ нашей печати—но въ данномъ случаѣ она представляется особенно возмутительною, потому что не имѣетъ для себя даже отдаленнаго оправданія въ серьезности предполагаемаго зла. Положеніе дѣлъ въ остзейскихъ губерніяхъ натянуто, это правда; но отсюда еще очень далеко до такихъ компликацій, при которыхъ обыкновенно возникаетъ мысль о недостаточности легальныхъ средствъ охраненія и восстановленія порядка... Газеты, возстающія противъ „излишней мягкости“ и „покладливости“ власти, оказываются столь же мало расположенными къ свободѣ печати, какъ и ко всякой другой. Когда одной изъ рижскихъ газетъ было воспрещено печатаніе объявленій, а вслѣдъ за тѣмъ запрещеніе было распространено и на другую газету, чѣмъ-то связанную съ первой, то въ нашей печати раздались голоса, привѣтствовавшіе послѣдовательность и неуклонность административныхъ каръ! И этому, пожалуй, бывали уже примѣры; es ist schon alles da gewesen,—но есть вещи, къ которымъ нельзя привыкнуть,—нельзя, какъ бы часто онѣ ни повторялись, отнестись иначе, какъ съ отвращеніемъ.

Къ числу свѣтлыхъ явленій нашей современной жизни слѣдуетъ отнести рѣшенное, въ принципѣ, возобновленіе приѣма на высшіе женскіе курсы. Условія, на которыхъ оно допущено, не могутъ не быть названы весьма тяжелыми—но это выкупается, до извѣстной степени, возможностью продолжать дѣло, которому грозилъ скорый и трудно поправимый перерывъ. Въ главныхъ чертахъ новое устройство высшихъ курсовъ совпадаетъ съ тѣмъ, которое было проектировано, около года тому назадъ, особой правительственной комиссіей и разобрано нами въ одной изъ нашихъ хроникъ (1888 г., № 7). Завѣдываніе курсами переходитъ изъ рукъ общества, создавшаго ихъ и управлявшаго ими до настоящаго времени, въ руки директора,

избирающаго преподавателей, и инспектрисы, руководящей воспитательной частью. Какъ директоръ, такъ и инспектриса, назначаются министерствомъ народнаго просвѣщенія. При курсахъ можетъ быть образованъ попечительный совѣтъ, завѣдывающій исключительно хозяйственною ихъ частью. Слушательницы, число которыхъ ограничивается извѣстной нормой, должны жить либо у родителей или близкихъ родственниковъ, либо въ устроенномъ при курсахъ интернатѣ, а не на частныхъ квартирахъ. Курсы состоятъ изъ двухъ отдѣлений — историко-филологическаго и физико-математическаго; учебные планы обоихъ утверждаются министерствомъ народнаго просвѣщенія. На физико-математическомъ отдѣленіи прекращается преподаваніе физиологіи человѣка и животныхъ, естественной исторіи и гистологіи, „какъ предметовъ, прямо входящихъ въ кругъ наукъ, которыя будутъ преподаваться въ проектируемомъ женскомъ медицинскомъ институтѣ“. Въ этой послѣдней оговоркѣ заключается весьма важное и утѣшительное обѣщаніе—но сама по себѣ, въ примѣненіи къ существующимъ высшимъ курсамъ, она представляется трудно объяснимой. Съ такимъ же точно правомъ можно было бы закрыть разрядъ естественныхъ наукъ въ физико-математическихъ университетскихъ факультетахъ, сославшись на существованіе медицинскихъ факультетовъ и медицинской академіи... Съ исключеніемъ естественныхъ наукъ изъ учебнаго плана высшихъ женскихъ курсовъ мы встрѣчались и въ проектѣ особой комиссіи, и въ извѣстной книгѣ госпожи Пиллеръ („Итоги женскаго образованія въ Россіи и его задачи“); послѣдняя пла еще дальше и стояла за недопущеніе на курсы математики, химіи, физики, за ограниченіе программы курсовъ единственно такъ-называемыми словесными науками. Это мнѣніе имѣетъ на своей сторонѣ преимущество послѣдовательности; оно налагаетъ veto на всѣ роды знаній, обладающихъ, съ сентиментальной точки зрѣнія, свойствомъ „иссушать сердце“ и уничтожать „женственность“ (есть, впрочемъ, взглядъ еще болѣе прямолинейный, приписывающій это свойство всякому вообще основательному, не поверхностному знанію!). Допущеніе физико-математическихъ наукъ и устраненіе наукъ естественныхъ — это средняя мѣра, менѣе радикальная, но зато и менѣе понятная. Назначеніемъ высшихъ женскихъ курсовъ считается, между прочимъ, приготовленіе учительницъ для старшихъ классовъ женскихъ гимназій, въ программу которыхъ, какъ нынѣ дѣйствующую, такъ и проектируемую, входитъ естественная исторія. Почему же устраняется возможность преподаванія этого предмета учительницами, получившими образованіе на высшихъ курсахъ? Вѣдь нѣтъ же причинъ, въ силу которыхъ естественная исторія должна быть преподаваема въ женскихъ гимназіяхъ непременно учителями? Или, быть можетъ,



естествознаніе признается вреднымъ, и притомъ вреднымъ именно и единственно для женщинъ? Этому противорѣчитъ преподаваніе его въ женскихъ гимназіяхъ. Вредны, значить, извѣстныя его стороны, въ гимназіяхъ не затрогиваемы? Въ такомъ случаѣ кто же мѣшаетъ исключить ихъ и изъ программы высшихъ курсовъ, утвержденіе которой зависитъ всецѣло отъ министерства народнаго просвѣщенія?.. Опытъ послѣднихъ десяти лѣтъ доказалъ съ полною ясностью, что женщинамъ вполне доступны высшіе отдѣлы естествознанія. Нѣкоторыя изъ слушательницъ бестужевскихъ курсовъ достигли въ этой области большихъ успѣховъ. Исслѣдованіе госпожи Погожевой объ окончаніи нервовъ въ концахъ портняжной мышцы у лягушки было представлено къ напечатанію въ бюллетеняхъ академіи наукъ, какъ имѣющее значеніе по вопросу о самостоятельной мышечной возбудимости. Исслѣдованіе госпожи Соломко: „Кристаллическія породы села Исакчи“ напечатано, по удостоенію петербургскаго общества естествоиспытателей, въ берлинскомъ журналѣ: „Neues Jahrbuch für Mineralogie“. Работы госпожъ Россійской и Андрусовой объ исторіи развитія *Orchestia littorea* и объ инфузоріяхъ Керченской бухты, были доложены въ зоологическомъ отдѣленіи только-что названнаго общества. Госпожи Россійская и Соломко оставлены при курсахъ въ качествѣ ассистентокъ, первая — по кафедрѣ зоологіи, вторая — по кафедрѣ минералогіи. Если, такимъ образомъ, для женщинъ оказывается возможной *ученая*, активная дѣятельность въ сферѣ естественныхъ наукъ, то можно ли сомнѣваться въ ихъ способности овладѣть той степенью званія, которая достаточна для людей специально-образованныхъ, но не записныхъ ученыхъ? Эта степень знанія можетъ сослужить женщинамъ великую службу какъ матерямъ, какъ воспитательницамъ, какъ хозяйкамъ, при уходѣ за больными, въ самыхъ разнообразныхъ случаяхъ жизни. Мы надѣемся, поэтому, что программа физико-математическаго отдѣленія высшихъ курсовъ скоро будетъ восстановлена въ прежнихъ ея размѣрахъ... О другихъ условіяхъ, которыми обставлено возобновленіе приѣма на бестужевскіе курсы, мы говорить не будемъ, потому что ничего не можемъ прибавить къ сказанному нами прежде; замѣтимъ только, что, при всей ихъ стѣснительности, они имѣютъ бесспорное преимущество передъ предположеніями особой комиссіи. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно вспомнить, что доступъ на курсы комиссіи предлагала открыть только дѣвкамъ, имѣющимъ аттестатъ зрѣлости... За возобновленіемъ приѣма на бестужевскіе курсы послѣдуетъ, безъ сомнѣнія, такая же мѣра по отношенію къ московскимъ курсамъ профессора Герье и всѣмъ другимъ, закрытымъ въ силу распоряженія 1886 года. Когда къ этимъ курсамъ присоединится женскій медицинскій институтъ, вриаясь

высшаго женскаго образованія, начавшійся еще въ 1882 г. прекращеніемъ приѣма на врачебные курсы, можно будетъ считать, въ принципѣ, благополучно закончившимся.

Новый законъ о частномъ измѣненіи порядка городскихъ выборовъ, Высочайше утвержденный 25-го ноября 1888 г. и опубликованный мѣсяцъ спустя, 23-го декабря, относился только къ гг. Петербургу и Москвѣ, и въ этихъ двухъ городахъ—исключительно къ одному третьему и послѣднему разряду городскихъ избирателей; ко дню публикаціи новаго закона и въ Петербургѣ, и въ Москвѣ, выборы по первымъ двумъ разрядамъ были уже окончены. Другая особенность новаго закона состоитъ въ томъ, что онъ объявленъ временнымъ — „въ видѣ опыта“ — на одно предстоящее съ 1889 г. четырехлѣтіе, изъ чего можно вывести заключеніе, что настоящіе выборы по третьему разряду, начавшіеся въ половинѣ марта и въ Петербургѣ, и въ Москвѣ, должны послужить основаніемъ къ рѣшенію вопроса: слѣдуетъ ли новый порядокъ удержать и на будущее время? Утвердительнаго отвѣта, конечно, можно ожидать только въ томъ случаѣ, если „опытъ“ докажетъ, что цѣль, какую могъ имѣть въ виду законодатель, достигнута новымъ закономъ 25-ноября. Изъ всей предшествующей исторіи самого дѣла видно, что оно началось лѣтъ 10 тому назадъ и притомъ по совершенно особому случаю, а именно: послѣ перваго же четырехлѣтія петербургской Думы оказалось, что въ теченіе этого періода выбылъ изъ числа гласныхъ довольно значительный процентъ, а кандидатовъ къ нимъ не имѣлось, хотя они и указаны въ Городовомъ Положеніи. Причину отсутствія кандидатовъ,—какъ оказалось тогда же, а потомъ на слѣдующихъ выборахъ подтвердилось,—усматривали въ несогласованіи двухъ статей Городового Положеніи (ст. 38 и 49), касающихся порядка избранія гласныхъ и кандидатовъ къ нимъ. Въ гласные законъ дозволяетъ избирать вторичною баллотировкою тѣхъ, которые только-что были забаллотированы на первой и даже оказались бы забаллотированными и вторично, но получили бы большее число избирательныхъ шаровъ; между тѣмъ, въ той статьѣ, которая говоритъ о кандидатахъ въ гласные,—не разъяснено, можно ли при вторичной баллотировкѣ избирать не только гласныхъ, но и кандидатовъ къ нимъ. Выборы первыхъ четырехлѣтій доказали, что на первой баллотировкѣ почти никогда не удавалось избрать полного числа даже гласныхъ, и потому всегда приходилось прибѣгать къ перебаллотировкѣ, т. е. къ такому способу, который дозволялъ избирать въ гласные изъ числа забаллотированныхъ, но не кандидатовъ къ нимъ, почему въ Думѣ почти никогда не было кандидатовъ, число же вы-

бывшихъ и умершихъ въ теченіе четырехъ лѣтъ доходило и иногда превышало 10%. Въ виду такого обстоятельства, здѣшняя Дума, начиная съ 1878 г., нѣсколько разъ обращала вниманіе на это дѣло и ходатайствовала о дополненіи статьи Городового Положенія о кандидатахъ, соотвѣтственно содержанію статьи того же закона о выборѣ гласныхъ.

Сколько намъ извѣстно, въ результатѣ этого ходатайства оказалось только одно, что правительствующій сенатъ призналъ, что упомянутыя статьи Городового Положенія дѣйствительно не вполне согласованы одна съ другой, но такое согласованіе ихъ могло бы произойти не иначе какъ законодательнымъ порядкомъ; съ своей стороны, министерство внутреннихъ дѣлъ предложило Думѣ принять другую мѣру для достиженія той же цѣли, а именно, раздѣлить на территориальныя участки многочисленныхъ избирателей III разряда, и каждому участку дать для избранія соотвѣтственное его величинѣ число гласныхъ, подлежащихъ избранію. При этомъ предполагалось, что каждый участокъ представить тогда небольшую группу и избирателей, и избираемыхъ, а потому выборы облегчатся, и такимъ образомъ не будетъ надобности прибѣгать къ перебаллотировкѣ, а слѣдовательно явится сама собою возможность имѣть кандидатовъ къ гласнымъ. Въ виду того, что первые два разряда и теперь немногочисленны, однако и тамъ до сихъ поръ нельзя было обойтись безъ перебаллотировки, почему и въ этихъ разрядахъ почти никогда не было кандидатовъ, — а съ другой стороны, находя, что такое распоряженіе Думы было бы равносильно существенному измѣненію той статьи Городового Положенія (ст. 24), которая даетъ право каждому избирателю принять участіе въ баллотировкѣ всѣхъ 84 гласныхъ его разряда, а не одной только части этого числа, — Дума не нашла возможнымъ воспользоваться указаніемъ министерства: предлагаемая имъ мѣра не обѣщала достиженія главной цѣли, судя по примѣру первыхъ двухъ разрядовъ, а самые выборы могли бы быть справедливо опротестованы избирателями. Вѣроятно, вслѣдствіе такихъ соображеній, министерство внутреннихъ дѣлъ и направило вопросъ о подраздѣленіи какъ избирателей, такъ и избираемыхъ III разряда законодательнымъ порядкомъ, въ результатѣ чего и явился новый законъ 25-го ноября 1888 г., видоизмѣнившій ст. 24 Городового Положенія въ томъ отношеніи, что теперь постановлено, въ видѣ опыта, одинъ третій разрядъ, какъ самый многочисленный (17—18 тысячъ), раздѣлить на 12 территориальныхъ участковъ, съ тѣмъ, чтобы каждый участокъ избиралъ небольшое число гласныхъ изъ всего числа 84, опредѣленныхъ этому разряду, а министру внутреннихъ дѣлъ предоставлено было указать, какое именно число гласныхъ приходится на каждый участокъ, соотвѣтственно какъ раз-

мѣрамъ городскихъ сборовъ cadaго участка, такъ и числу всѣхъ его избирателей; министру же предоставлялось преподавать Думѣ наставленія относительно примѣненія новаго порядка выборовъ по III разряду.

Новый законъ, какъ то видно изъ предыдущаго, а особенно изъ наставленія министерства, не ограничился первоначальною цѣлю—облегчить Думѣ выборы кандидатовъ къ гласнымъ, что до сихъ поръ оказывалось невозможнымъ: имѣлось въ виду уже не только облегчить процессуальную сторону выборовъ, но и улучшить самые выборы, для чего введены выборы территориальныя, въ томъ предложеніи, что такіе выборы приобретутъ мѣстный характеръ,—избиратели одного участка, предполагалось, знаютъ лучше другъ друга и будутъ вообще дѣйствовать при выборахъ самостоятельно; министерскія же наставленія разрѣшили, кромѣ того, и вопросъ о довѣренности, ограничивъ право на нихъ, по крайней мѣрѣ, для третьаго разряда, тѣмъ, что, хотя сенатъ и объяснилъ, что каждый избиратель имѣетъ право на 1 голосъ за себя и 1 по довѣренности не только въ своемъ разрядѣ, но и въ другихъ двухъ разрядахъ можетъ участвовать въ избраніи съ одной довѣренностью въ каждомъ,—но, по министерскому наставленію, тѣ изъ избирателей, которые уже пользовались довѣренностями въ первыхъ двухъ разрядахъ, не могли больше являться съ довѣренностями въ III разрядѣ. Наконецъ, вслѣдствіе новаго закона ожидалось увеличеніе интереса къ выборамъ и уменьшеніе числа лицъ, которыя не только не соглашались идти на службу городу, но и уклонялись отъ исполненія самыхъ простыхъ обязанностей, какъ избирателей.

Оправдалъ ли опытъ всѣ ожиданія добрыхъ послѣдствій закона 25-го ноября—на этотъ вопросъ можно дать полный отвѣтъ только по совершенномъ окончаніи выборовъ къ началу апрѣля; до сихъ же поръ выборы окончились и въ Петербургѣ, и въ Москвѣ, не болѣе какъ на половину. Впрочемъ, уже и начало обнаружило, къ сожалѣнію, что едва ли опытъ оправдаетъ тѣ надежды, какія возлагались на новый законъ. Особенно, можно сказать, неудачно въ этомъ смыслѣ начались выборы въ Москвѣ. Въ первомъ участкѣ (Мѣщанская часть) избирателей всего 1.802 лица, и къ избранію предложено было 109 лицъ, изъ которыхъ предстояло избрать 5 гласныхъ, доставшихся на долю этого участка по количеству вносимыхъ его избирателями сборовъ (54.650 р.). Что же вышло на дѣлѣ? Изъ 1.802 избирателей желали воспользоваться своимъ правомъ всего 248 лицъ, т.-е. 13%!! Изъ 109 лицъ, предложенныхъ въ гласныя, 61 лицо отказалось отъ этой чести, и только 48 приняли предложеніе. Самый результатъ выборовъ былъ не болѣе удовлетворителенъ: участокъ не могъ выбрать и 5 гласныхъ изъ тѣхъ 48; выбраны были только всего двое—москов-

скіе мѣщане Бровкины, а для избранія остальныхъ трехъ пришлось дѣлать перебаллотировку, причемъ, какъ мы видѣли, уже не требуется перевѣса избирательныхъ голосовъ, и изъ 6 первыхъ по старшинству шаровъ, забаллотированныхъ на первыхъ выборахъ, первые три назначаются гласными во всякомъ случаѣ. При этомъ оказалось, что только одинъ изъ этихъ трехъ при перебаллотировкѣ получилъ большинство избирательныхъ голосовъ, а двое и на второй баллотировкѣ получили большинство неизбирательныхъ голосовъ, т.-е. были вторично забаллотированы, но, согласно Городовому Положенію, всѣ трое были внесены въ число избранныхъ гласныхъ. При этомъ, конечно, о кандидатахъ къ гласнымъ не могло быть и рѣчи, по причинамъ, вышеобъясненнымъ. () вліяніи новаго закона на качество избранныхъ также, къ сожалѣнію, нельзя выразить большихъ надеждъ на улучшеніе, если сравнить званія лицъ избранныхъ и забаллотированныхъ. По свидѣтельству „Московскихъ Вѣдомостей“, въ „числѣ забаллотированныхъ новыхъ кандидатовъ значатся: чиновники, домовладѣльцы, подавленные мѣщанскою партіей“ (слѣдуютъ имена). „Вполнѣ понятно теперь, — присовоупляетъ мѣстная газета, — при такомъ исходѣ выборовъ, что изъ числа заявленныхъ (предложенныхъ) кандидатовъ совсѣмъ не пожелали баллотироваться: купецъ И. Е. Басевъ, на дняхъ виѣстѣ съ супругою своею А. В., пожертвовавшій Думѣ 200.000 руб. на дѣло призрѣнія душевно-больныхъ въ Москвѣ; заслуженный профессоръ, т.-с. Г. А. Захарыинъ; домовладѣльцы: ст. сов. В. Н. Нахровъ, кол. сов. С. Т. Ромашевъ, надв. сов. А. М. Ропардъ, потомственные дворяне А. И. и И. С. Перловы (извѣстная фирма), инж.-мех. С. И. Бакастовъ, потомств. почет. гражд. Павелъ и Петръ А. Болотновы и мн. др.“

Еще неудачнѣе былъ исходъ выборовъ во второмъ участкѣ (Тверская часть), гдѣ изъ 1.545 явилось на выборъ 200, т.-е. менѣе 13%, а изъ предложенныхъ 130 только 50 съ небольшимъ лицъ согласились подвергнуться баллотировкѣ. Результатъ самой баллотировки оказался совсѣмъ печальный: изъ 4 гласныхъ, приходившихся на долю этого участка, не было выбрано ни одного, и всѣ 53 предложенные въ гласные оказались поголовно забаллотированными, въ противность ожиданію закона, имѣвшаго въ виду, что живущіе въ одномъ участкѣ лучше знаютъ другъ друга. При послѣдовавшей затѣмъ перебаллотировкѣ восьми первыхъ между забаллотированными, опять ни одинъ не получилъ перевѣса избирательныхъ шаровъ, и, слѣдовательно, какъ бы вторично всѣ были забаллотированы, но, согласно Городовому Положенію, первые четыре изъ нихъ, получившіе наибольшее число избирательныхъ шаровъ, были зачислены въ гласные. О кандидатахъ и здѣсь также не могло быть рѣчи, по выше-разъясненной причинѣ. Почти то же самое повто-

рилось и съ третьимъ участкомъ (Якиманская и Пятницкая части), гдѣ изъ 1.393 избирателей приняли участіе въ выборахъ всего 195, вмѣстѣ съ довѣренностями, и изъ 8 гласныхъ, назначенныхъ этому участку, на первой баллотировкѣ были выбраны только 2, а остальные 6—опять по перебаллотировкѣ.

Начало выборовъ въ петербургской Думѣ, совпавшее по времени съ московскими, если и не было такъ неудачно, какъ въ Москвѣ, то, съ другой стороны, говоря безотносительно, и выборы въ Петербургѣ нельзя назвать особенно удачными. Въ петербургскомъ участкѣ (Петербургская часть: всѣхъ жителей около 63.000) изъ общаго числа 1.154 избирателей на выборы явилось только 414, хотя входныхъ билетовъ на участіе въ выборахъ выдано было 468 (287 по личному праву и 181 по довѣренностямъ). Несмотря на новый законъ, воздержаніе отъ выборовъ обнаружилось весьма сильное, да и изъ тѣхъ, которые ваяли билеты для участія на выборахъ, 54 вновь уклонились отъ такого участія. Изъ 68 предложенныхъ лицъ рѣшились выступить на баллотировку всего 31, изъ которыхъ предстояло избрать всего 5 гласныхъ, и—ровно 5 было избрано, подобно тому, какъ и въ первомъ, и во второмъ разрядѣ было избрано ровно 84—ни болѣе, ни менѣе, такъ что кандидаты при этомъ не могли оказаться.

Въ выборгскомъ участкѣ (Выборгская часть: всѣхъ жителей около 47.000) изъ общаго числа 439 избирателей на выборы явилось 126 (а билетовъ взято 177, изъ нихъ 126 по личному праву и 51 по довѣренностямъ), и предложено въ гласные 11, а согласилось на баллотировку 9, изъ которыхъ предстояло выбрать 2 гласныхъ—и опять ровно столько и было избрано въ гласные, а слѣдовательно безъ кандидатовъ.

Въ василеостровскомъ участкѣ (Василеостровская часть: всѣхъ жителей 83.000) изъ общаго числа избирателей 1.792, на выборы явилось 423 (а билетовъ было взято 575,—изъ нихъ 443 по личному праву и 132 по довѣренностямъ; слѣдовательно не явилось на выборы 132), и предложено въ гласные 120, но согласилось на баллотировку 37, изъ которыхъ предстояло выбрать 10 гласныхъ; на этотъ разъ было избрано 11; такимъ образомъ, явился, наконецъ, 1 кандидатъ къ гласнымъ или вообще третьяго разряда, или—что болѣе соответствовало бы мѣстному духу новаго закона—василеостровскаго участка.

Въ адмиралтейскомъ участкѣ (Адмиралтейская часть: всѣхъ жителей 42.000) изъ общаго числа избирателей 609, на выборы явилось 99 (изъ нихъ 67 по личному праву и 32 по довѣренностямъ), и предложено въ гласные 25, но согласилось на баллотировку всего 9, изъ которыхъ предстояло выбрать 4 гласныхъ—и ровно 4 было избрано.

Окончательные выводы, конечно, можно будет сдѣлать только по заключеніи всѣхъ выборовъ III разряда по всѣмъ его участкамъ; пока можно сказать одно, что начало ихъ едва ли соответствуетъ тѣмъ ожиданіямъ, какія могъ имѣть въ виду законъ 25-го ноября, направленный къ улучшенію вовсе не одного процессуальнаго порядка выборовъ: воздержаніе, съ одной стороны, избирателей, а съ другой—избираемыхъ, особенно въ Москвѣ, осталось въ прежней силѣ: самый небольшой процентъ избирателей явился на выборы, и весьма немногіе согласились подвергнуться баллотировкѣ; устранялись и были устраняемы преимущественно лица высшаго образовательнаго ценза; въ Москвѣ, по прежнему, нельзя было обойтись безъ перебаллотировокъ, а въ Петербургѣ, за самымъ пока небольшимъ исключеніемъ, выбиралось *ровно* столько гласныхъ, сколько предоставлялось закономъ, но и это не вслѣдствіе новаго закона, а потому, что существовали списки партій, заранѣе изготовленные; эти списки не имѣли въ виду кандидатовъ, а потому, по прежнему, и въ Петербургѣ, и въ Москвѣ, новый законъ не могъ обезпечить ихъ избранія. Даже нельзя сказать, чтобы число довѣренностей, особенно въ Петербургѣ, значительно уменьшилось, вслѣдствіе ограниченія ихъ министерскимъ распоряженіемъ для III разряда: въ выборскомъ участкѣ, напримѣръ, число довѣренностей достигло почти половины всего числа явившихся на выборы.

Все это, вмѣстѣ взятое, можетъ дать только поводъ воспользоваться настоящимъ опытомъ для того, чтобы еще болѣе убѣдиться въ давно сознаваемой многими истинѣ, а именно: если городскіе выборы представляютъ недостатки, то устраненіе ихъ возможно не путемъ улучшенія одного процессуальнаго порядка, т.-е. процедуры выборовъ, или какихъ-нибудь частныхъ измѣненій, а путемъ пересмотра самого выборнаго начала, въ смыслѣ расширенія его, и ограниченіемъ довѣренностей только тѣми случаями, когда самъ законъ не допускаетъ представителя имущества пользоваться городскими правами—по его полу или вслѣдствіе недостиженія имъ совершеннолѣтія. Даже гласные Думы не могутъ, по закону, въ случаѣ болѣзни или вообще отсутствія за невозможностью прибыть въ собраніе, довѣрять свой голосъ другимъ гласнымъ; почему же такое право предоставлено избирателямъ? Но—скажутъ намъ—отсутствующіе гласные могутъ представлять въ собраніе письменное мнѣніе. Это—справедливо; только не слѣдуетъ ли изъ этого, что такое право возможно было бы распространить и на избирателей—замѣнивъ избраніе шарами подачею письменныхъ бюллетеней, что одновременно облегчило бы и процедуру выборовъ, и благопріятно подѣйствовало бы на ихъ правильность.



## ИЗВѢЩЕНІЯ.

---

Отъ Редакціи.—Въ редакціи получены 5 рублей изъ г. Казанна отъ Г. С. и А. В. въ пользу земской начальной школы имени Кавелина и препровождены почтою въ земскую управу бѣлевскаго уѣзда, тульской губерніи, куда былъ сданъ редакціею весь капиталъ, собравшійся на содержаніе упомянутой школы въ с. Ивановѣ того же уѣзда.

---

### ПОПРАВКИ:

Выше, на стр. 793, слѣдуетъ исправить допущенныя по недосмотру опечатки:

	<i>Напечатано:</i>	<i>Вмѣсто:</i>
Строк. 4 св.	Приюмна	Принимая
” 18 ”	Ритгофена	Ритгаузена
” 19 ”	мудедона	мудедина
” 11 св.	488 т. р.	48.800 р.

---

Издатель и редакторъ: М. Стасюлевичъ.



# СОДЕРЖАНІЕ

## ВТОРОГО ТОМА.

МАРТЪ — АПРѢЛЬ, 1889.

Книга третья. — Мартъ.

	СТР.
Пошехонская старина. — Жизнь и приключенія Никанора Затрапезнаго. — XXX. — Словушскія дамы и проч. — XXXI. Заключение. — Н. ЩЕДРИНА.	5
Лжецонтъ де-Диль. — Изъ современной французской литературы. — I. — М. Ф.	41
Нарушеніе воли. — ИВ. А. ГОНЧАРОВА.	71
Миражи. — Романъ въ четырехъ книгахъ. — Книга вторая: XXII-XXIX. — О. А. ШАПОРЪ	91
Завѣтный поэтъ. — А. И. Полежаевъ и его стихотворенія. — А. Н. ПЫЦИНА.	153
Новый Фараонъ. — Романъ въ четырехъ книгахъ, соч. Фр. Шпильгагена. — Книга третья. — А. Э.	198
Литературный обзоръ. — А. А. Фетъ. Вечерніе огни. — К. К. АРСЕНЬЕВА	248
Стихотворенія. — Они, какъ звѣзды въ мутной мглѣ. — А. М. ЖЕМЧУЖНИКОВА	264
О теоріяхъ прогресса. — I. Характеристическія черты современной социологии. — II. Спенсеръ и г. Михайловскій. — Л. З. СЛОНИМСКАГО	265
В. Я. Стоунинъ. — Биографическій очеркъ. — В. Д. СИПОВСКАГО	298
Географическая теорія развитія историческихъ народовъ. — Д. М.	331
Хроника. — Внутреннее Овозрѣніе. — Отчетъ оберъ-прокурора св. синода за 1886 г. — Борьба съ католицизмомъ въ западныхъ губерніяхъ и съ лютеранствомъ въ остзейскомъ краѣ. — Расколъ при дѣйствіи закона 3-го мая. — Церковно-приходскія школы и церковно-приходскія попечительства. — „Инословные“ воспитанники духовно-учебныхъ заведеній. — Бракоразводныя дѣла. — Отчетъ департамента неокладныхъ сборовъ за 1887 г. — Ликующая московская газета	363 383
Судьба земской статистики. — В. Б.	383
Иностранное Овозрѣніе. — Новое министерство во Франціи. — Волненія рабочихъ въ Италіи и неудачи министра-президента Криспи. — Положеніе дѣлъ въ Венгріи. — Парламентская борьба въ Румыніи. — Печальный конецъ экспедиціи Амшнова и архим. Пансія	388
Литературное Овозрѣніе. — Памяти В. М. Гаршина. Художественно-литературный сборникъ. — Красный цѣвѣтокъ. Литературный сборникъ въ память В. М. Гаршина. — Что читать народу? Критическій указатель книгъ для народнаго и дѣтскаго чтенія. — И. Я. Фойницкій. Ученіе о наказаніи въ связи съ тюрьмовѣденіемъ. — П. В. Мавалинскій. С.-Петербургская присяжная адвокатура. — В. Ф. Мухинъ. Обычный порядокъ наследованія у крестьянъ. — К. К. — Дневникъ школьника. Книга для дѣтей Эдмонда де-Амичисъ. — Очеркъ литературной исторіи малорусскаго нарѣчія въ XVII и XVIII вв. П. Житкоцаго. — А. П.	403
Новости иностранной литературы. — I. W. Stead, Truth about Russia. — II. The Bismarck dynasty. — III. J. Lubbock, The pleasures of life. — Д. С. — Dietzel, Karl Rodbertus. Darstellungen s. Lebens und s. Lehre. — А. И.	420
Письмо въ редакцію. — В. С. СОЛОВЬЕВА	431
Изъ Овѣстивной Хроникѣ. — По вопросу: кого Амшновъ обманулъ больше — Петербургъ или Москву? — Изъ переписки Амшнова съ И. С. Аксаковымъ и m-me Adam.	433
Извѣщенія. — I. Отъ Распорядительнаго Комитета по устройству саратовской земской сельско-хозяйственной и кустарно-промышленной выставки 1889 года. — II. О подпискѣ на сооруженіе памятника Н. В. Гоголю	446
Библиографическій Листокъ. — Полное собраніе сочиненій И. А. Гончарова, т. IX. — Приключенія и впечатлѣнія въ Италіи и Египтѣ, Дѣдова (В. П. Книгъ). — Жизнь европейскихъ народовъ, Е. Н. Водрозовой, т. I. — Гиена, А. Доброславина, ч. I. — Эмиль де-Лавеле, Балканскій полуостровъ, пер. Н. Е. Васильева.	

## Книга четвертая. — Апрель.

стр.

Леконтъ де-Диль.—Изъ современной французской литературы.—II.—Окончание.—М. Я. ФРИШМУТЪ . . . . .	441
Миражи.—Романъ въ четырехъ книгахъ.—Книга третья: XXX-XXXVIII.—О. ШАПИРЪ . . . . .	484
Россия и Америка на хлѣвномъ рынкѣ.—I-IV.—А. А. ИСАЕВА . . . . .	545
Стихотворенія.—I. Ночное плаваніе. Изъ „Романдеро“, Гейне.—II. Съ итальянскаго: 1. Эпиграмма Дж. Б. Строщи на статуу „Ночь“, Микель-Анджело; 2. Отвѣтъ Микель-Анджело.—В. С. СОЛОВЬЕВА . . . . .	581
Обзоръ русскихъ изученій Славянства.—I. Время до-Петровское.—А. Н. ПИПИНА . . . . .	584
Новый фараонъ.—Романъ въ четырехъ книгахъ, Фр. Шинльгагена.—Книга четвертая и послѣдняя: I-X.—Окончание.—А. Э. . . . .	626
Модная форма веллетристки.—К. К. АРСЕНЬЕВА . . . . .	679
Изъ бумагъ прокурора.—Стих. А. АПУХТИНА . . . . .	695
Легенда о Дантѣ.—В. ЧУЙКО . . . . .	708
О теоріяхъ прогресса.—III. Вѣра въ будущее.—IV.—Попытка анализа.—Л. З. СЛОНИМОСКАГО . . . . .	750
Красивая смерть.—Стих. А. М. ЖЕМЧУЖНИКОВА . . . . .	774
Питаніе и продовольствіе, съ политико-экономической точки зрѣнія.—А. П. ДОБРОСЛАВИНА . . . . .	775
Хроника.—Внутреннее Овозрѣніе.—Законоу о порядкѣ возбужденія ответственности министровъ.—Новыя законодательныя мѣры въ области преступлений противъ вѣры.—Предполагаемая нормировка земскаго обложенія.—Неуравнительность земскаго сбора по мѣстностямъ и категориямъ имуществъ; мѣры къ ея устраненію.—Способы поддержки нуждающихся земствъ.—„Наблюденія и соображенія“ г. Безобразова о новомъ фабричномъ законодательствѣ и о фабричной инспекціи . . . . .	793
Замѣтка.—По поводу сѣзда представителей городскихъ обществъ взаимнаго страхованія.—В. Б. . . . .	819
Иностранное Овозрѣніе.—Перемѣна правительства въ Сербіи.—Два періода въ царствованіи Милана.—Вынужденныя связи его съ Австріей.—Мниная русская партія и заблужденіе „Славянскихъ Извѣстій“ по этому предмету.—Русскій патриотизмъ въ „Nouvelle Revue“.—Амнионцы въ журналистикѣ.—„Инцидентъ“ въ Сагалло и его различные отголоски.—Французскія дѣла.—Графъ П. А. Шуваловъ и его внѣшняя политическая дѣятельность . . . . .	823
Литературное Овозрѣніе.—Полное собраніе сочиненій И. А. Гончарова, т. IX.—С. И. Зарудный, Григ. Джаншѣва.—О Франціи. Статья пр. В. И. Модестова.—К. К.—Русскія древности, издаваемая гр. И. Толстымъ и Кондаковимъ, вып. 1.—Жизнь и труды Погодина, Н. Барсукова.—А. П.—Императоръ Николай I и иностранныя дворы. С. С. Татищева.—Л. С. Новыя книги и брошюры . . . . .	896
Новости иностранной литературы.—I. Le socialisme d'état et la réforme sociale, par C. Jannet.—II. Le peuple allemand, ses forces et ses ressources, par Ch. Grad.—III. Les principes de 1789 et la science sociale, par Th. Ferneuil.—IV. Souviens-toi du 2 décembre, par J. Simon.—V. Essai sur le régime parlementaire, par X. Combotheca.—VI. Etudes sur l'histoire du droit, par sir H. Sumner Main.—VII. Volk und Nation, von Fr. Neumann—Л. С. . . . .	859
Изъ Овещественной Хроники.—Официальная статистика нашихъ университетовъ.—Перемѣны въ дерптскомъ университетѣ.—Отношеніе некоторыхъ брагеновъ печати къ остзейскимъ дѣламъ.—Возобновленіе прѣма на высшіе женскіе курсы.—Начало городскихъ выборовъ по III разряду въ Петербургѣ и Москвѣ, на основаніи новаго закона . . . . .	367
Извѣщенія.—Отъ Редакціи . . . . .	396
Библиографическій Листокъ.—Изъ жизни русской природы, М. Н. Богданова Характеръ, Сам. Смайлса; перев. С. Майковой.—Исторія социальныя системъ, Д. Щеглова т. II.—Антропология Е. Ю. Петри, вып. 1.—Очеркъ современной Испаніи, И. Яковлева (И. Я. Павловскаго).—Chefs-d'oeuvre dramatiques de A. N. Ostrovsky, trad. par E. Durand-Gréville . . . . .	

## БИБЛОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

Изъ жизни египетской природы. Зоологическіе очерки и рассказы М. Н. Богданова, проф. Сиб. университета. Ст. 8-я рас. и многія политивалами въ текстѣ, съ портретами, биограф. очеркомъ и предисловіемъ Н. П. Вагнера. Сиб. 1889. Стр. 434. Ц. 2 р. 50 к.

Настоящее изданіе трудовъ проф. М. Богданова, скончавшагося въ познѣмъ дѣлѣ силъ, два года тому назадъ, займетъ, безъ сомнѣнія, весьма видное мѣсто въ числѣ дѣтской литературы, на долю которой вообще рѣдко достается счастье имѣть для себя такое талантливое и вмѣстѣ авторитетное въ науцѣ перо. Авторъ при жизни помѣщалъ свои очерки, начиная съ 1872 г., въ дѣтскихъ журналахъ, и вышедшій нынѣ сборникъ соединяетъ въ себѣ все, что было напечатано при жизни пр. Богданова, и въ его чисто-научной дѣятельности. Интересное жизнеописание покойнаго, приложенное къ изданію, объясняетъ, какимъ образомъ еще въ дѣтствѣ Богданова, на Поволжьи, занало въ душу ребенка сама любовь къ природѣ, какъ оно разрослось, заложивъ потомъ собою все его существованіе, и сдѣлало изъ него впоследствии не только исследователя, но, такъ сказать, бытописателя природы, понимающаго ея языкъ, и вслѣдствіе того преиспавшагося по временамъ изъ шатуравности въ поэта. Вся его дѣятельность—такъ заключаетъ биографическій очеркъ Н. П. Вагнеръ—кажъ бы говоривша вышеству: „любите жизнь, любите природу, трудаетесь,—чтобы быть полезными; будьте полезны,—чтобы быть любимыми“.

Характеръ. Сам. Смайльса. Воспитаніе и образованіе. Перев. съ англ. С. Майковой. Изд. 5-е. Сиб. 1889. Стр. 402. Ц. 90 к.

Трудъ Смайльса не нуждается ни въ указаніи, ни въ рекомендаціи, а судя потому, что русскій переводъ его достигъ пятаго изданія, онъ приобрялъ себѣ полное право гражданственности и у насъ. Это—новѣйшій Плутархъ, замѣстующій, съ цѣлью назиданія и урока, образцы жизни и силъ возн. отдѣльныхъ лицъ иль обитавшихъ по-лато мира, съ тѣмъ, чтобы показать, какое вліаніе на формированіе „характера“ личности оказываютъ семья, трудъ, общество людей, общество книгъ, бракъ, и т. д. „Что такое всѣ розанъ—восхваляетъ Смайльсъ, вдохновенный своимъ идею,—находяще себѣ такое огромное число читателей, какъ не вымышленныя биографія? Что такое драма, на представленія которыхъ собираются толпы зрителей, какъ не биографія въ дѣйствіи? Странно, что таланты наиболее даровитыхъ писателей болѣею частью посвящаются вымышленнымъ биографіямъ, а такъ много послѣдственныхъ способностей идетъ на составленіе настоящихъ!“

Исторія социальныхъ системъ. Д. Щеглова. Томъ II. Критическое обозрѣніе социальныхъ учений Фурье, Кабѣ, Луи Влана, Ламенѣ, Уэли, Вюше, Конта и Литтле. Сиб., 1889. Стр. XXVII и 939. Цѣна 4 р. 50 к.

Первый томъ труда г. Щеглова появился еще въ 1870 году; вышедшая нынѣ книга имѣетъ, впрочемъ, вышій самостоятельное значеніе, какъ то видно изъ самаго ея содержанія. Нельзя не сказать, что въ интересномъ предмету своего

исследованія авторъ безъ всякой предвзятости присоединилъ къучу-то личную и не всегда приличную полемику съ профессорами, давшими неодобрительный отзывъ о первомъ томѣ „Исторія социальныхъ системъ“. Причины раздраженія автора настолько ясны, доводи его такъ шатали, что вся аргументація является совершенно напрасною и безцѣльною. Не будь неприятной „профессорской“ рецензіи въ 1870 году, хоть мысли и заключенія г. Щеглова были бы, значить, иныя. Еслибы тогда похвалили его книгу, онъ, въ свою очередь, можетъ расхвалитъ бы „профессоровъ“ и „либераловъ“. Между тѣмъ самый трудъ сильно пострадалъ въ способѣ достоинствѣ отъ внесенныхъ авторомъ выходовъ, помѣщеныхъ и въ текстѣ, и въ примѣчаніяхъ.

Антропология. Э. Ю. Петри. Выпускъ I. Сиб., 1889. Стр. 48.

Мысль объ изданіи систематическаго курса антропологии какъ весьма болѣе счастливая и исполненна авторомъ съ несомнѣннымъ знаніемъ дѣла; но, судя по первому выпуску, для успѣха этого почтеннаго труда, было бы необходимо въ дальнѣйшемъ изложеніи предмета ввести болѣе легкихъ и послѣдовательный порядокъ изложенія и предпочесть полноту научнаго матеріала общій ученымъ именъ и вѣдѣвшихъ цитатъ; сверхъ того, и самый языкъ долженъ быть болѣе точенъ и простъ, безъ всякой начурности и дѣйствителн.

Очерки современной Испаніи. 1884—1885. П. Яковлева (П. Я. Павловскаго). Сиб., 1889. Стр. 622. Цѣна 3 р.

Испанія особенно посвященна въ нашей литературѣ; едва успѣли выйти два тома г. Немировича-Данченка объ этой странѣ, какъ явилась опять обширная книга о томъ же предметѣ. Въ социальнѣ, количество описаній не всегда соотвѣтствуетъ качеству ихъ и мало увеличиваетъ сумму дѣйствительныхъ свѣдѣній объ любезной намъ турістамъ Испаніи. Больша часть своего богатства, многотомна жемчужина; одинъ и то же повторяется въ различныхъ формахъ, какъ въ нѣсколькихъ, и различныхъ авторомъ, печатавшихся до сихъ поръ свои путешествія замѣтки. Многие принадлежатъ просто къ ряду фельетонной бытовни,—въ родѣ разговоровъ съ пріятелями, прощаній и прощаній, бесѣдъ въ вагонахъ желѣзныхъ дорогъ и т. и. Таковъ измѣнъ встрѣчается и въ книгѣ г. Яковлева; но замѣтки его вообще написаны не безъ таланта и читаются съ интересомъ.

Chefs-d'oeuvres dramatiques de A. N. Ostrovsky, trad. de russe avec l'approbation de l'auteur et précédés d'une étude sur la vie et les oeuvres de A. N. Ostrovsky, par E. Durand-Gréville. Par. 1889. Стр. 248. 3 фр. 50 cent.

Имя переводчицы произведеній Островскаго давно уже вѣстна по его трудамъ, опиканымъ французскую публику съ нашей литературой. Въ числѣ трехъ переведенныхъ нынѣ книгъ являе находится весьма кстати и „Гроза“, испитавшая въ послѣднее время неудачу на одной изъ парижскихъ сценъ, именно, какъ выговаривать, благодаря, между прочимъ, и неудовлетворительности другого перевода, поставленнаго на сцену.

# ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДПИСКѢ

въ 1889 г.

(Двадцать-четвертый годъ)

## „ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ“

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ ИСТОРИИ, ПОЛИТИКИ, ЛИТЕРАТУРЫ

— выходить въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца, 12 книгъ въ годъ, отъ 28 до 30 листовъ обыкновеннаго журнальнаго формата.

### ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

	На годъ:	По полугодіямъ:		По четвертямъ года:			
		Янв.	Іюль	Янв.	Апр.	Іюль	Окт.
Безъ доставки, въ Конторѣ журнала . . . .	15 р. 50 к.	7 р. 75 к.	7 р. 75 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 90 к.	3 р. 80 к.
Въ Петербургѣ, съ доставкой . . . . .	16 „ — „	8 „ — „	8 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
Въ Москвѣ и друг. городахъ, съ перес. . . . .	17 „ — „	9 „ — „	8 „ — „	5 „ — „	4 „ — „	4 „ — „	4 „ — „
За границей, въ госуд. почтов. союза . . . . .	19 „ — „	10 „ — „	9 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	5 „ — „	4 „ — „

Отдѣльная книга журнала, съ доставкой и пересылкою — 1 р. 50 к.

Примѣчаніе.—Вмѣсто разсрочки годовой подписки на журналъ, подписка по полугодіямъ, въ январѣ и іюлѣ, и по четвертямъ года, въ январѣ, апрѣлѣ, іюлѣ и октябрѣ, принимается—безъ повышенія годовой цѣны подписки.

Съ перваго марта открыта подписка на вторую четверть 1889 года.

Книжные магазины, при годовой и полугодовой подпискѣ, пользуются обычномъ уступкомъ.

ПОДПИСКА принимается — въ *Петербургѣ*: 1) въ Конторѣ журнала, на Вас. Остр., 2 лин., 7; и 2) въ ея Отдѣленіяхъ, при книжн. магаз. К. Риккера, на Невск. просп., 14, и А. Ф. Цинзерлинга, Невск. пр., 46, противъ Гостин. Двора;—въ *Москвѣ*: 1) въ книжн. магаз. Н. И. Мамонова, на Кузнецкомъ Мосту; Н. П. Карбасникова, на Моховой, домъ Коха, и 2) въ Конторѣ Н. Печковской, Петровскія линіи.—*Иногородные* и *иностранные*—обращаются: 1) по почтѣ, въ Редакцію журнала, Спб., Галерная, 20; и 2) лично—въ Контору журнала.—Тамъ же принимаются **ИЗВѢЩЕНІЯ И ОБЪЯВЛЕНІЯ.**

Примѣчаніе.—1) *Почтовый адресъ* долженъ заключать въ себѣ: имя, отчество, фамилію; съ точнымъ обозначеніемъ губерніи, уѣзда и мѣстожителства, съ названіемъ ближайшаго къ нему почтоваго учрежденія, гдѣ (NB) *допускается* выдача журналовъ, если нѣтъ такого учрежденія въ самомъ мѣстожителствѣ подписчика. — 2) *Перемяна адреса* должна быть сообщена Конторѣ журнала своевременно, съ указаніемъ прежняго адреса, при чемъ городскіе подписчики, переходя въ иногородные, доплачиваютъ 1 руб. 50 коп., а иногородные, переходя въ городскіе—40 коп.— 3) *Жалобы* на неисправность доставки доставляются исключительно въ Редакцію журнала, если подписка была сдѣлана въ вышепоименованныхъ мѣстахъ, и, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, *не позже* какъ по полученіи слѣдующей книги журнала.—4) *Билеты* на получение журнала высылаются Конторою только тѣмъ изъ иногородныхъ или иностранныхъ подписчиковъ, которые приложить къ подписной суммѣ 14 коп. почтовыми марками.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: М. М. Стасюлевичъ.

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ“:

Спб., Галерная, 20.

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА:

Вас. Остр., 2 л., 7.

ЭКСПЕДИЦІЯ ЖУРНАЛА:

Вас. Остр., Академ. пер., 7. Digitized by Google







